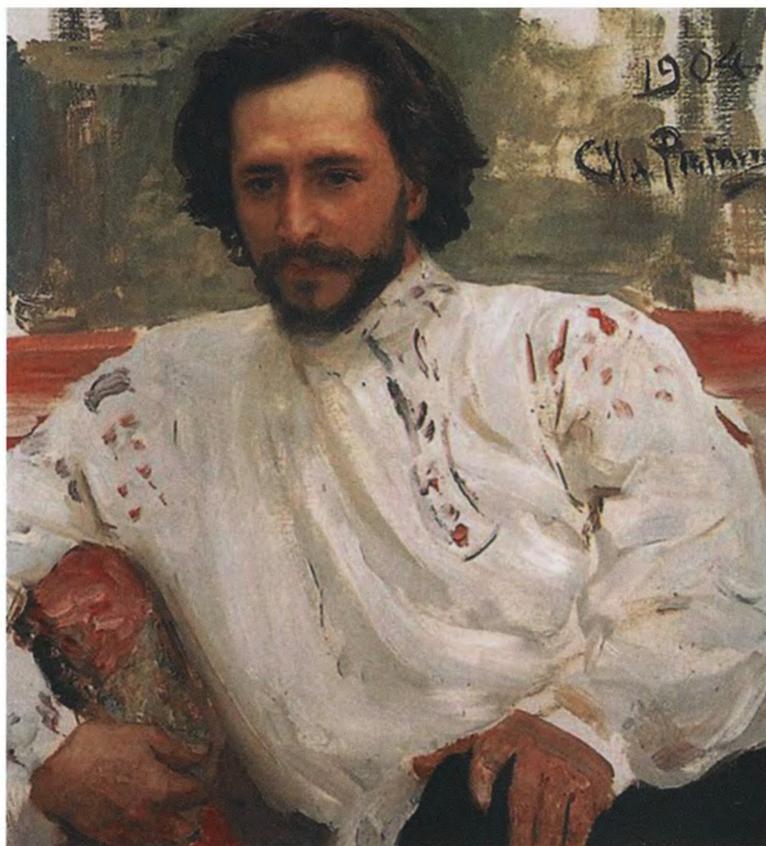


Л. Н. АНДРЕЕВ

Л. Н. АНДРЕЕВ

4

НАУКА



ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ  
АНДРЕЕВ

*Портрет работы И.Е. Репина. 1904 г.*

РОССИЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ  
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
им. А. М. ГОРЬКОГО

ИНСТИТУТ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

РОССИЙСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

ЛИДССКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
(Великобритания)

# Л. Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание  
сочинений и писем

В двадцати трех томах



МОСКВА НАУКА 2017

# Л. Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание  
сочинений и писем

Том четвертый

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
1904–1905



МОСКВА НАУКА 2017

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
А65

ISBN 978-5-02-036248-2

ISBN 978-5-02-039204-5 (т. 4)

- © Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Лидский университет (Великобритания), составление, статьи, комментарии, 2017
- © Российская академия наук и издательство “Наука”, Полное (академическое) собрание сочинений и писем Л.Н. Андреева в 23 томах, разработка, оформление, 2007 (год начала выпуска), 2017
- © ФГУП Издательство “Наука”, редакционно-издательское оформление, 2017

# Рассказы и повести



# ПРИЗРАКИ

## I

Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около десяти лет, начальство, снисходя к его болезни и двадцатипятилетней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, с которой он уже не жил лет пятнадцать, обнаружила притязание на пенсию и прислала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным. 10

Лечебница находилась за городом и снаружи, со стороны шоссеной дороги, походила на обыкновенную дачу, приткнувшуюся к опушке небольшого смешанного леса. Над среднюю часть дома выступал мезонин, как во всех дачах, с очень высокою и острою крышею, напоминавшей опрокинутый дровяной топор, и с резным шпилем, на который в праздники вывешивали красный флаг для удовольствия больных. В тихие безветренные утра ранней весной или осенью со стороны города приносился звон церковей и мягкий гул езды, а в остальное время было тихо – тише, чем в самой деревне, где лают собаки, поют петухи и кричат дети. Тут не было ни детей, ни собак, которых заменял высокий глухой забор; кругом расстился выгон, принадлежавший лечебнице и поэтому всегда безлюдный, и только в версте среди деревьев поднималась узкая железная труба какой-то фабрики. Она никогда не дымила, и, сама невидимая в лесу и молчаливая, фабрика казалась покинутой. 20 30

Только немногие из проезжих по шоссе знали, что за высоким плоским забором с плотно запертыми воротами находятся сумасшедшие, а остальные – мужики на подсакивающих пылящих телегах, редкие городские извозчики, велосипедисты, вечно куда-то торопящиеся на своих бесшумных машинах, – привыкли

к глухому забору и не замечали его. Если бы все находящиеся за ним разбежались или внезапно умерли, то, вероятно, очень долго никто бы этого не заметил, – всё так же спокойно проезжали бы пылящие телеги и вечно торопящиеся велосипедисты.

40 Буйных сумасшедших доктор Шевырев в свою больницу не принимал, и от этого там было очень тихо, как во всяком приличном доме, где живут хорошо воспитанные и сдержанные люди. Единственный звук, который раздавался в больнице непрерывно и днем и ночью в течение уже десяти лет, с самого основания больницы, был так правилен, негромок и ровен, что его не слышали и не замечали, как не замечают люди тиканья часового маятника или биения своего сердца. Это стучал в свою дверь больной, запертый в комнате: где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее;

50 если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и снова стучал – он хотел, чтобы все двери были открыты. И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал, – иначе он умер бы от бессонницы; но спящим его не видали, и стук никогда не прерывался.

И тихо было. И только изредка, большею частью в ночь, когда невидимый лес шумел от ветра, с кем-нибудь из больных делался припадок острой тоски, и он начинал кричать. Обыкновенно его очень быстро успокаивали, но случалось, что страх и тоска его

60 были очень велики и не поддавались ни уговорам, ни лекарству, и он продолжал кричать. Тогда тревога передавалась всему населению разбуженного дома, и все больные, точно заведенные куклы, которых сразу пустили в ход, начинали беспокойно расхаживать по своим комнатам, размахивать руками и громко болтать всякий вздор. И все, даже самые тихие, стучали неистово в двери и просили их куда-то выпустить. В этих случаях фельдшер вызывал по телефону доктора из “Вавилона”, загородного ресторана, где Шевырев проводил свои ночи, и тот одним своим появлением

70 успокаивал больных. Но долго еще за одинаковыми дверьми не замирала бессвязная болтовня, как в разбуженном птичнике, куда заглянул остромордый хорек.

Но это бывало редко, и ночью по шоссе почти никто не проезжал. Да и крик, смягченный стенами и расстоянием, был похож на самый обыкновенный крик разгулявшихся людей, тем более что среди больных были такие, которые при всяком беспокойстве пели.

## II

Егору Тимофеевичу отвели комнату с высоким потолком и окном прямо в лес, так что в летние дни, когда окно было открыто и прохладную комнату наполнял аромат березы и сосны, а на столе красовался кувшинчик с цветами, было действительно похоже на дачу. На бревенчатых стенах Егор Тимофеевич развесил картин-ки, которые привез с собою, и большой фотографический портрет сына, умершего еще ребенком от дифтерита, и тогда комната приняла совсем уютный, даже праздничный вид. А картинки были такие: девушка с гусями на лугу, ангел, благословляющий город, и мальчик-итальянец. Егор Тимофеевич был так доволен своей комнатой, что приводил всех больных смотреть ее и с доктором Шевыревым разговаривал не иначе как у себя. Если кто-нибудь – доктор или больные – отказывались идти к нему, он прибегал к хитрости: уверял, что у него есть там соловей, который прекрасно поет. Потом и он, и заманутые больные, и, видимо, сам доктор забывали о соловье и просто сидели так и разговаривали или рассматривали картинную галерею. Больным также очень нравилась комната Померанцева, и когда они начинали расхваливать свое заведение, то обязательно ссылались на нее.

И с самого начала Егор Тимофеевич знал, что он в сумасшедшем доме, но не придавал этому никакого значения, так как был уверен, что по желанию может делаться бесплотным и тогда может летать и ходить по всему миру. И первые дни он каждое утро летал на службу в губернское присутствие, но потом отвлекался более важными занятиями. Был он высокого роста, худощавый, с очень еще черными вихрастыми волосами, добродушно торчавшими в разные стороны, и такой же бородой. Носил очень сильные очки, и когда смеялся, то открывал десны, отчего казалось, что смеется он весь, снаружи и с изнанки, и что даже волосы его смеются. И смеялся часто. Голос у него был низкий, клокочущий бас, производивший такое впечатление, будто на нем постоянно кто-то сидит и подпрыгивает, а при сильном смехе переходил в высокий тенор.

Очень быстро он перезнакомился со всеми больными и занял среди них видное и вполне определенное положение покровителя. Ему всегда грезилось, что он представляет собою что-то высокое, но вполне точного представления не было, и поэтому он постоянно менялся: то чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым, чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, безграничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его

в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым. Последнее случалось, когда вместо Георгия его называли Егором. Он возмущался до слез, кричал, что под него подкапываются, и писал обстоятельные жалобы в Св. синод и капитул ордена георгиевских кавалеров. Доктор Шевырев немедленно присылал формальный ответ, что жалоба Егора Тимофеевича уважена, и он совершенно успокаивался и даже слегка подшучивал над доктором и его испугом при получении казенной бумаги.

– А я сам таких бумаг писал в день по сотне, – говорил он и смеялся. – И если захочу, то и сейчас могу написать.

130 С этого “Георгия” и началось явно его сумасшествие, как общили доктору родственники больного.

Больных в лечебнице было немного: одиннадцать мужчин и три дамы. Все они одевались, как прежде дома, в обыкновенное платье, и только очень внимательный взгляд мог заметить неуловимый налет неряшливости и беспорядка, которого, при всех усилиях, не мог устранить доктор Шевырев. И волосы у них были как следует, и только одна дама, желавшая ходить с распущенными волосами, производила несколько странное впечатление да больной Петров имел огромную дикую бороду и поповскую гриву: он боялся бритвы и ножниц и не позволял стричь себя из опасения, что его зарежут. Зимой больные сами устраивали каток, катались на коньках и на лыжах, а весной и летом занимались огородом и цветами и были похожи на самых обыкновенных здоровых людей. Во всех этих занятиях Егор Тимофеевич был первым, и только трое не принимали никакого участия ни в деле, ни в забавах: тот Петров с дикой бородою, больной, который стучит, и пожилая сорокалетняя девушка Анфиса Андреевна. Она много лет служила экономкой у своей дальней родственницы – графини, и как-то так случилось, что для спанья ей дали очень короткую, почти детскую кровать, на которой она не могла вытянуть ног. И когда она сошла с ума, ей стало казаться, что ноги согнулись у нее навсегда и она не может на них ходить. И постоянно ее мучила мысль, что после смерти ей купят очень короткий гроб, в котором нельзя будет протянуть ног. Была она очень скромная, тихая, с бескровным красивым лицом, какое рисуют у монахинь или святых, и когда говорила, то всегда поправляла длинными белыми пальцами разорванные кружева на груди. Денег на ее содержание выдавалось немного, и носила она старые, странные платья, давно вышедшие из моды.

150 В Егора Тимофеевича она верила и убедительно просила его позаботиться о гробе.

– Конечно, и доктор обещал, но кто ж их знает. Они на то и поставлены, чтобы говорить нам неправду. А вы – дело другое, вы свой человек. Да и дело-то в пустяках: длинный гроб будет стоить на три рубля дороже короткого – я уже составила расчетик. Главное, чтобы кто-нибудь позаботился. Вы обещаете?

– Непременно, сударыня, непременно. Я устрою подписку среди больных и сделаю вам склеп.

– Вот это хорошо. Склеп – это совсем хорошо. Благодарю вас, Георгий Тимофеевич.

170

И бескровное лицо ее слегка розовело, как молочное облако на восходе, когда коснется его первый солнечный луч. В Бога Анфиса Андреевна давно не верила и на именины графа, когда в дом были приглашены иконы, совершила над одной из них страшное кощунство. Тогда и обнаружилось ее сумасшествие.

Во время прогулок, которые для всех больных были обязательны, Петров держался в стороне, так как боялся внезапного нападения, и летом держал в кармане камень, а зимою – кусок льда или сдавленного снега; в стороне от других находился и тот больной, что стучит. Быстро пройдя все отпертые двери, он оставался у калитки и начинал стучать – неторопливо, настойчиво, с равномерными промежутками. Вначале, когда он еще только попал в больницу, все суставы его нежных и белых пальцев были покрыты струпами и свежими ссадинами; но постепенно пальцы загрубели, а на сгибах образовались большие твердые наросты, и стук от них получался твердый, сухой, как от камня.

180

Каждый раз Егор Тимофеевич считал своим долгом поговорить с ним.

– Доброе утро, милостивый государь. А вы всё стучите?

– Стучу, – тихо отвечал больной, переводя на Егора Тимофеевича большие печальные и странно-глубокие глаза.

– И не отворяют?

– Нет, не отворяют, – так же тихо отвечал больной.

Голос у него был бледный, тихий, как эхо, но такой же странно-глубокий, как глаза.

– Дайте-ка я открою, – говорил Егор Тимофеевич и начинал дергать засов и ковырял пальцем в замочной скважине. Но дверь не поддавалась, и тогда он предлагал другое: – Вот что, милостивый государь, я придумал: вы отдохните, а я постучу.

И несколько минут он добросовестно и громко барабанил кулаком в дверь, а больной отдышал: тихонько поглаживал пальцы и, прищурившись, удивленно-равнодушными глазами обводил небо, сад, больницу, больных. Был он высокий, красивый и все

200

еще сильный; ветерок слегка раздувал его седеющую бороду – точно сугробы наметал на красивое строго-печальное лицо.

Однажды к нему подкрался Петров и шепотом спросил:

– Там кто-нибудь есть? Кто там?

– Нужно, чтобы было открыто.

– Как это глупо. А если она войдет?

210 – Нужно, чтобы было открыто.

– Как вас зовут?

– Не знаю.

Петров недоверчиво засмеялся и, крепко сжимая в кармане ледяшку, осторожно вернулся на свое место за дерево, где он был в сравнительной безопасности от внезапного нападения.

Вообще, больные охотно и много разговаривали, но после первых же слов переставали слушать друг друга и говорили только свое. И от этого беседа их никогда не утрачивала жгучего интереса. И каждый день то возле одного, то возле другого сидел доктор Шевырев и внимательно слушал, и казалось, что сам он много говорит, но на самом деле он постоянно молчал. Каждую ночь, с десяти вечера до шести часов утра, он проводил в загородном ресторане “Вавилон”, и было непонятно, когда он успевает спать и так внимательно заниматься собою, чтобы быть всегда хорошо одетым, чисто выбритым и даже слегка надушенным.

220

### III

У Егора Тимофеевича случились сильные головные боли, и ему поставили на затылок мушку. Когда ее сдирали, он кричал от боли и ругался, а потом повертел головою, засмеялся и сказал:

230 – Хорошо. Освежает, знаете ли. Очень хорошо. Вы неоцененный человек, Николай Николаевич!

И всегда и всем он был очень доволен. Кроме сумасшествия, у него был катар желудка, подагра и много других болезней; ему приходилось назначать диету и держать впроголодь, но он ел и не ел с одинаковым удовольствием, гордился своими болезнями, а за подагру даже благодарил доктора Шевырева и весь тот день громко покрикивал на больных, строивших снежную гору: ему смутно представлялось, что он генерал, назначенный наблюдать за постройкою грозной крепости. И всегда, что бы ни случилось, он находил, что это к лучшему. Однажды зимою в трубе загорелась сажа, и была опасность, что вспыхнет дом, и все больные и здоровые были по-своему перепуганы. Один только Егор Тимофеевич остался доволен: по его мнению, вместе с сажой должна

240

была выгореть нечистая сила, которая ютится в трубе и по ночам воеет. И когда в трубе действительно почему-то перестало выть, он написал донесение в Святейший синод и получил благодарственный ответ. По-прежнему он изредка летал на службу в губернское присутствие, но большею частью занимался другим: по ночам к нему приходил Николай Чудотворец, и они вместе облетали все столичные больницы и исцеляли больных. 250

По утрам он просыпался разбитым, с отеками ногами, опухшим лицом и с такой сильной ломотою в шее, что несколько часов, пока разгуляется, должен был держать голову набок. И день свой он начинал получасовым мучительным кашлем, от которого надувались вены на лбу и краснели белки глаз.

– Ну, как вы себя чувствуете сегодня? – спрашивал доктор Шевырев, присаживаясь рядом с ним на не убранную еще кровать.

Егор Тимофеевич сопел носом и тяжело носил грудью, сдерживая поднимавшийся кашель. 260

– Отлично. Никогда не чувствовал себя так хорошо.

Он отдувался, окончательно побеждал кашель и, весело сияя глазами и улыбкой, продолжал:

– Устал только немного. Да и сами посудите: в Андрониевскую больницу слетай, в Дегтеревскую слетай, в Шепилевскую слетай. А дела сколько! В одной Дегтеревской пятеро ребят в крúпе, задыхаются мальцы, один уже свистит. Ну, дунул на него Николай – и сейчас, это, дыхание ровное, улыбнулся, пить попросил. А уже два дня ничего не пил и не ел. Так мы с Николаем даже прослезились от радости. Честное слово! 270

Веки Егора Тимофеевича налились слезами, но он пошутил доктору:

– Каков у вас тезка-то, а? Не вам чета. Ну-ну, не обижайтесь, доктор. Я ведь шучу. Я знаю, что вы благороднейший человек и сейчас, это, тоже лечите, конечно. И лицом вы похожи на святого Эразма. Никола – тот седенький, маленький, а вы – на святого Эразма. Тоже хороший святой.

– А вы его видели?

– Как же. Всех видел.

И он долго рассказывал, какие прекрасные и благородные 280 лица у святых. Потом бодро прошелся по комнате, держа голову набок, точно свернутую, сделал легкое мускульное упражнение руками и остановился у окна.

– Как тает-то! Ах, хорошо! Что будем нынче делать, доктор?

– Хотите на катке лед скалывать?

– Лед скалывать! Боже мой! Ведь это же первое мое удовольствие! Лед скалывать и сейчас, это, – помогать весне! Ах, боже мой! Чудеснейший вы человек, Николай Николаевич.

– А вы счастливейший человек, Георгий Тимофеевич.

290 И большими друзьями они уходили, и уже через четверть часа Егор Тимофеевич, весь обрызганный мелкими осколками льда и снега, озабоченно вонзал кирку в мягкий, вялый лед, похожий на плохой постный сахар. Было жарко от работы, и шея как-то распрямилась, на ладонях сладко ныли свежие мозоли, и день улыбался. Он стоял тихий, немного пасмурный, но теплый, и улыбался. И отовсюду капало: с крыш, с деревьев, с забора, и от этого забор и деревья были совсем темные. Пахло блинами, Великим постом, тающим снегом и лошадиным навозом.

– Ловко я работаю? – кричал Егор Тимофеевич фельдшернице, 300 маленькой девушке в ватной шубке.

Она сидела на лавочке, зябко поджав маленькие ноги, заботливо следила за больными, и носик ее краснел от сырости.

– Очень хорошо, Георгий Тимофеевич, – отвечала она слабым голосом и ласково улыбалась. – Я всегда люблюсь вами, когда вы работаете.

Егор Тимофеевич знал, что фельдшерница влюблена в него и, хотя сам не мог отвечать на любовь, высоко ценил ее расположение и усиленно старался не скомпрометировать ее какой-нибудь неосторожностью. В его представлении она была героиней долга, 310 бросившей аристократическую семью, чтобы ухаживать за больными, – у фельдшерницы семьи не было, она была из подкидышей, – светлой личностью и красавицей, за которой ухаживали гвардейские офицеры. И держался он с нею особенно, кланялся очень низко, водил ее под руку к столу и посылал ей летом через сторожа цветы, но наедине оставаться с нею избегал, из опасения поставить ее в неловкое положение.

Из-за этой фельдшерницы у него часто бывали ссоры с больным Петровым, который держался о девушке совершенно противоположного мнения. Петров уверял, что, как все женщины, она 320 развратна, лжива, не способна к истинной любви, и когда уходит, то обязательно смеется над оставшимися.

– Вы смотрите, – говорил он однажды Егору Тимофеевичу, придерживая рукой свою взлохмаченную дикую бороду. – Вот сейчас она кокетничала с вами и со мной, а теперь стоит за дверью и хохочет, говорит: “Дураки!” – и хохочет. Вот она! слышите? И рожи, наверное, делает. Я ее знаю.

– Не может быть. Я тоже ее знаю.

– Ага! Вон она. Слышите? Давайте поймаем ее.

И осторожно, на цыпочках, взявшись за руки, они крались к двери, Петров распахивал ее и торжествующе говорил: 330

– Ушла! Услыхала наш разговор и ушла. Они хитрые. Их никогда не поймашь. Можно ловить всю жизнь – и не поймашь.

По его словам, у фельдшерицы был от сторожа ребенок, и она убила его, удушила подушкой, и ночью закопала в лесу; и место это, где ребенок зарыт, Петров хорошо знает. Этого Егор Тимофеевич не мог выдержать. Он отошел на шаг, протянул руку и торжественно сказал:

– Вы, Петров, совершеннейший злодей. Никогда в жизни я не подам вам руки и буду жаловаться на вас товарищескому суду.

Но товарищеский суд не мог состояться. Больные разместились полукругом, как их усадил Егор Тимофеевич, но тут дама с гордой осанкой и распущенными волосами заявила, что надо вынимать фанты, и все перепуталось. А через полчаса они опять дружески разговаривали, так как забыли о происшедшем, и говорили именно о фельдшерице, о ее красоте, которую оба они признавали. Только Егор Тимофеевич утверждал, что она прекрасна, как ангел, а Петров – что она красива, как демон. Потом Петров долго шепотом говорил о своих врагах. 340

У него были враги, которые поклялись погубить его. Они печатали о нем в газетах под видом финансовых отчетов клеветнические статьи, выпускали каталоги и афиши, гонялись за ним по всему городу на пыхтящих автомобилях и по ночам подстерегали его за всеми дверьми. Они были могущественны. Они подкупили братьев Петрова и мать его, старушку, и та ежедневно отравляла его пищу, так что он чуть не умер с голода. Они были могущественны. Они могли входить в камни, в стены, в деревья, и случилось однажды: он проходил по лесу, а дерево, осина быстро наклонилась и протянула скользкие ветви, чтобы удушить его. Вставая утром, он не знал, будет ли он жив к вечеру; ложась спать, он не знал, будет ли он жив к утру. Они могли входить в его тело, и бывало так, что рука или нога переставала слушаться Петрова и делала не то, что он хочет. Они могли даже входить в его душу и часто по утрам хитро уговаривали его убить себя и давали советы: как разбить стекло и осколком его перерезать вену на левой руке около локтя. И доктор Шевырев хорошо знал об этом; третьего дня утром он сказал ему: 350

– Вы несчастнейший человек, Петров.

Очень приятно хоть раз услышать слово правды и сочувствия, тем более что обыкновенно доктор Шевырев – очень эгоистичный человек, пьяница и развратник, устроивший лечебницу только для того, чтобы обирать дураков. Очень возможно, что он тоже 370

подкуплен его матерью и ждет благоприятного момента, когда может разделаться с ним. В прошлое воскресенье Петров сам видел, что за углом стояла его мать, старушка, и пристально глядела в его окно, и когда он закричал, она торопливо скрылась, а доктор Шевырев уверял, что никого тут не было. Тогда как он сам, своими глазами, видел ее, вот тут за углом – в барашковой шапочке, сдвинутой набок, и с пристальными ужасными глазами.

Он рассказывал, и в его сдавленном голосе, в дикой взлохмаченной бороде был безнадежный ужас. Уже давно он был один, в своей комнате, но не помнил, как это случилось, и не думал об этом. Он расхаживал по комнате, бормотал, прижимал руки к голове и плакал. Потом грозил кому-то и снова плакал слезами безвыходного отчаяния и тоски. Что-то вспомнил и, оживившись, возбужденно сверкая глазами, целый час прижимался к окну и выслеживал мать. Несколько раз ему казалось, что из-за угла высовывается сдвинутая набок барашковая шапочка и старушечье бледное лицо с ужасными глазами, и он готовился испустить всегда готовый, всегда стоящий в гортани крик, – но видение исчезало. Быстро падали за стеклом тяжелые капли тающего на крыше снега, и глянцевитые деревья тихо парились в белом, густом и теплом воздухе ранней весны. И светло было.

Возбуждение улеглось, исчезли отрывки мыслей, и осталась только тоска. Петров лег на постель, и тоска, как живая, легла ему на грудь, впилась в сердце и замерла. И так лежали они в неразрывном безумном союзе, а за стеклом быстро падали тяжелые крупные капли, и светло было.

Со стороны катка приносился сквозь двойные рамы беспечный хохот. Это Егор Тимофеевич пускал в луже кораблики на па-  
400 русах и гоготал от удовольствия.

#### IV

Фельдшерница Мария Астафьевна не была влюблена в Егора Тимофеевича: уже три года, с тех пор как поступила она в эту лечебницу, она безнадежно любила доктора Шевырева и не смела открыться ему. Она любила его за ум, за благородство, за мужественную красоту, за то, что от него всегда пахнет какими-то особенными аристократическими духами, за то, что он всегда молчит и, по-видимому, очень одинок и несчастен. В трех комнатах мезонина, где жил доктор, она знала каждую мелочь обстановки, 410 каждый клочок бумажки, каждую картинку; она раскрывала все его книги, которые раскрывал он, как будто там остался еще от-

печаток его задумчивого взгляда; она пересидела на всех креслах и диванах и даже раз ночью, когда доктор, по обыкновению, был в ресторане “Вавилон”, осторожно прилегла на его кровать. На подушках остался след ее головы, и она испуганно хотела взбить их, чтобы уничтожить впадину, но раздумала – и всю ночь, стыдливо кутаясь в жесткое больничное одеяло, сгорая от стыда, от счастья, от любви, целовала свою беленькую девичью подушку. На туалетном столике доктора Шевырева она давно открыла флакон с теми духами, осторожно надушила свой платок, берегла его, 420 как драгоценность, и упивалась его запахом, как пьяница запахом вина.

Кроме трех жилых комнат, в мезонине была четвертая, совершенно пустая, с огромным итальянским окном, занимавшим почти целую стену. Все окно состояло из мелких разноцветных стекол в узорчатой сетке деревянного переплета и было сделано архитектором для красоты; и снаружи было действительно красиво, но внутри создавалось что-то беспокойное, неопределенное, раздражающее. Каждый раз, бывая наверху, Мария Астафьевна подолгу просиживала в этой комнате, рассматривая сквозь стекла 430 знакомый и странно-необыкновенный вид. Видны были небо, забор, шоссе, большая луговина и лес – и только. Но от стекол, то красных, то желтых, то синих, голубых и зеленых, все это странно менялось и, если смотреть так: быстро переходя через все стекла, – походило на очень странную музыку. А если долго смотреть через одно какое-нибудь стекло, то менялось настроение. Особенно противно было желтое: как бы хорош и ярк ни был день, оно делало его мрачным, призрачным, зловещим, угрожающим какою-то бедою, намекающим на какое-то страшное преступление. И становилось тоскливо, и не верилось, что доктор Шевырев 440 сделает ее своею женою. Если бы не это стекло, она давно объяснилась бы с ним; и каждый раз Мария Астафьевна давала клятву не смотреть в окно, и каждый раз смотрела, пугаясь, тоскуя, не узнавая привычного, странно изменившегося вида. И соседство этого окна с кабинетом доктора тревожило ее, как какая-то близкая, но несознаваемая опасность.

Одиночество доктора Шевырева будило в Марии Астафьевне чувство, схожее с материнским.

Она заботилась о его книгах, о его белье и ужасно жалела, что не имеет власти над кухней, и доктор Шевырев ест бог знает 450 какую гадость. Ревновала его к больным, к сторожу, которому он давал какие-то таинственные, интимные поручения, и уже давно хранила в комодке вместе с платком большую исписанную тетрадь, в которой заклинала доктора Шевырева отказаться от посещения

“Вавилон”, от шампанского и от ужасной развратной жизни, о которой она догадывается. Когда она написала “развратной”, ей стало так больно, так обидно, она так возненавидела и себя и доктора Шевырева, что не могла продолжать, легла на постель вместе с тетрадью и всю ночь проплакала на тетради, испортивши слезами две страницы.

460 В той же тетради она смело предлагала себя доктору Шевыреву, но только в жены и только с тем условием, чтобы он оставил посещения “Вавилон” и шампанское, и доказывала, что это будет выгоднее: как жене он не будет платить ей жалованья, а стол останется все равно тот же. И кроме того, она, с его разрешения, расширит его врачебное дело, так как много занималась и занимается литературой по психиатрии и хорошо видит недостатки в теперешней постановке лечебницы. И умоляла его решить вопрос поскорее, так как ей уже двадцать четыре года и она скоро

470 начнет отвечать, и тогда уже будет поздно.  
Два года лежала тетрадка, но Мария Астафьевна не осмелилась ее отдать и часто в отчаянии хотела поскорее умереть, чтобы дать только возможность доктору Шевыреву прочесть написанное. А он ничего не знал и каждый вечер в десять часов аккуратно уезжал в ресторан “Вавилон” и возвращался на рассвете. Каждый раз в прихожей, уезжая, он наталкивался на фельдшерицу и говорил:

– А вы еще не ложились? Спокойной ночи.

И она отвечала:

480 – Спокойной ночи.

В “Вавилоне” доктор Шевырев был как свой и после метрдотеля считался первым человеком. Он знал всех официантов по именам, а также всех хористов и хористок из цыганского и русского хоров, разделял все горести и радости заведения, одним своим присутствием и двумя-тремя словами улаживал недоразумения между администрацией ресторана и пьяными посетителями и выпивал за ночь три бутылки шампанского – не больше и не меньше. И так как находился не в больнице, был не доктором, а частным человеком, то позволял себе изредка улыбаться, но гово-

490 рил все так же мало.  
Часов до двенадцати, до часу он сидел в общей зале, за одним из бесчисленных столиков, среди целого разноцветного моря лиц, голосов, костюмов, боком к открытой сцене, где поочередно являлись певицы и певцы, иногда и жонглеры и акробаты. Стекла бокалов и рюмок звенели, голоса сливались в ровный живой шум, пахло духами и вином, скользившие между столиков красивые, накрашенные женщины улыбались доктору Шевыреву,

и все заливал ослепительный, праздничный свет электрических лампочек. Люди за столиками менялись: одни уходили, другие тотчас занимали их места, но казалось, что все это одни и те же люди – так равнял их свет электричества, живой, непрерывающийся гул, запах вина и духов. Так в метель толкутся снежинки перед освещенным окном, и кажется, что все это одни и те же, а это все разные, все новые, приходящие из тьмы, уходящие во тьму. И только потому чувствовалось время, что бутылка шампанского пустела, да жарко становилось, да живее, тревожнее, острее делался непрерывный гул. Он то падал до половины почти тишины, когда ясно слышалось отдельное слово, сказанное в другом конце залы, то возрастал, порывисто, судорожно, точно взбегал на изломанные ступеньки, обрывался, снова бежал – и рассыпался, как фейерверк, яркими огоньками: красными, голубенькими, зелеными. И казалось, что в толпе прибавилось басов и женских высоких голосов, и взлетали, как брызги при столкновении волн, отдельные громкие, часто иступленные крики: заливи́стый смех, похожий на истерику, обрывок песни, слепое ругательство. И все чаще взлетали ругательства: нельзя было различить людей, которые бранятся, а ругательства чертили воздух, колючие, кривые, как летучие мыши, ослепшие от яркого света. Сильнее пахло духами и вином, и трудно становилось дышать; опьяневший воздух точно убежал от жадно открытого рта.

В час или два приезжала какая-нибудь компания знакомых доктора Шевырева, – а в “Вавилоне” он перезнакомился почти со всем городом, – и метрдотель приглашал его к приехавшим в отдельный кабинет. Там доктора встречали радостными криками и шутками, многие целовались с ним, так как считали его своим другом, и он помогал составить меню ужина, выбирал вина, назначал очередь хорам и выбирал из них солисток и солистов. Потом усаживался на краю стола с своею бутылкою шампанского, которую всюду носили за ним, и улыбался, когда к нему обращались, отчего казалось, что он много говорит, но на самом деле он молчал.

В кабинете было прохладно, вначале даже холодно, но очень быстро он нагревался, а оттого что он был теснее залы и стены ближе, происходившее казалось страннее и беспорядочнее. Пили, смеялись, говорили все сразу, слушая только себя, объяснялись в любви, целовались и иногда дрались. Каждый вечер люди менялись: проходили перед доктором Шевыревым артисты, писатели и художники, купцы, дворяне, чиновники и офицеры из провинции; кокетки и порядочные дамы, иногда совсем молоденькие, чистые девушки, от всего приходившие в восторг и пьяневшие

от первой капли вина. Но все делали одно и то же. Входили цыгане: мужчины высокие, долгошеие, с угрюмыми, скучными лицами, и женщины – скромные, почти все в черном, усиленно равнодушные к разговорам, замечаниям и винам на столе. Потом – внезапный гик, визг, завитуха гортанных диких голосов, бешенство страстей, безумие веселья, точно все перевернулось, точно открылось все. И пляска. Какой-то скелет в платье женщины бешено носится, у стола кружится, в исступлении подергивает костлявыми плечами, – и снова тишина, порядок, скромные женщины, одетые в черное, скучные лица мужчин. И только 550 груди поднимаются выше да у той худощавой, что танцевала, дрожат руки.

Смуглая красивая девушка поет, опустив черные ресницы. Всем хочется взглянуть в ее глаза, а она опустила их, смуглая, красивая, чужая, и поет:

560 Я не вправе любить и забыть не могу,  
И терзаюсь душой я на каждом шагу.  
Быть с тобою нельзя, а расстаться нет сил, –  
Без тебя же весь мир безнадежно уныл.  
О забвенья моля, проклиная недуг,  
Я ищу этих жгучих и сладостных мук.  
Я не смею любить и забыть не могу,  
Ни порвать, ни связать эту тонкую нить...

И так просто пела она, ни на кого не глядя, смуглая, красивая, чужая, как будто рассказывала одну только правду, и все верили, что это правда. И грустно становилось, просыпалась грустная любовь к кому-то призрачному и прекрасному, и вспоминался кто-то, кого не было никогда. И все, любившие и не любившие, 570 вздыхали и жадно глотали вино. И, глотая, чувствовали внезапно, что та прежняя трезвая жизнь была обманом и ложью, а настоящее здесь, в этих опущенных милых ресницах, в этом пожаре мыслей и чувств, в этом бокале, который хрустнул в чьих-то руках, и полилось на скатерть, как кровь, красное вино. Громко рукоплескали и требовали новых песен и нового вина.

Потом, по выбору доктора Шевырева, поет белокурая пожилая цыганка с истощенным лицом и огромными расширенными глазами – поет о соловье, о встречах в саду, о ревности и молодой любви. Она беременна шестым ребенком, и тут же стоит ее муж, высокий рябой цыган в черном сюртуке и с подвязанными 580 зубами, и аккомпанирует ей на гитаре. О соловье, о лунной ночи, о встречах в саду, о молодой красивой любви поет она, и ей также верят, не замечая ни тяжелой беременности ее, ни истощенного старого лица.

И так до утра. Доктор Шевырев не старался запомнить ни лиц, ни фамилий своих друзей и не замечал, когда одни исчезали и на смену являлись другие. Он молчал, улыбался, когда к нему обращались, пил свое шампанское, а они кричали, плясали вместе с цыганами, хвастались и жаловались, плакали и смеялись. Большею частью было весело и нелепо, но иногда случались несчастья. Два года назад, когда пела молодая, красивая цыганка, 590 застрелился студент, тут же, при всех. Отошел в угол, наклонился, точно собираясь плюнуть, и выстрелил себе в рот, еще пахнувший вином. Один из приятелей доктора, расцеловавшись с ним, уехал из “Вавилона” и в ту же ночь в каком-то притоне был убит и ограблен. Несколько лет назад он встречал здесь Петрова. Тогда у него была красивая подстриженная бородка; он смеялся, лил зачем-то вино в цветы и ухаживал за красивой цыганкой. И цыганки той нет. Она заболела после искусственного выкидыша и куда-то исчезла. А впрочем, быть может, никогда такой цыганки и не было и доктор смешал с нею других, – кто знает. 600

В пять часов доктор Шевырев кончал третью бутылку шампанского и уходил домой. Зимой в это время было еще темно, и он уезжал на извозчике, а осенью и весной, если была хорошая погода, шел пешком, так как до больницы было недалеко: пять или шесть верст. Идти нужно было сперва большим пригородным селом, а дальше по шоссе, полем и опушкой леса. Солнце только что поднималось, и глаза его были еще как будто красны от сна: и воздух, и лесок на солнечной стороне, и пыль по дороге были окрашены нежно-розовой краской. Ехали в город на базар мужики и бабы, и в их плотно одетых фигурах чувствовался еще холодок недавней ночи; 610 пыль за телегами поднималась лениво, как сонная, и у безлюдного трактира играли щенки. Попадались люди с котомками, те загадочные люди, которые всю жизнь куда-то идут, на зорях, ранними утрами, а потом начиналось росистое поле и лес, влажный, прохладный, немного суровый, еще не прогретый ранним солнцем. И в лес не хотелось, и не хотелось идти в тень, а тянуло на солнце.

Так шел он, бритый, в цилиндре, задумчиво помахивал рукою в палевой перчатке и что-то насвистывал – в тон птицам, заливавшимся в лесу. А за ним в свежем утреннем воздухе далеко тянулся легкий запах духов, вина и крепких сигар. 620

## V

Прошло лето, и настала дождливая осень. Две недели лил дождь, почти не переставая, а когда на несколько часов затихал – отовсюду поднимались дымчатые холодные туманы. Прошел раз снег большими белыми хлопьями, прилег на минуту белым ра-

зорванным ковром на зеленой еще траве и тотчас же растаял, – и стало еще мокрее, еще холоднее. В больнице уже с пяти часов зажигали огонь, а весь день стоял холодный сумрак, и деревья за окном уныло размахивали ветвями, словно стряхивали с себя последние мокрые листья. От непрерывного шума дождя по железной крыше, от сумрака и отсутствия развлечений больные беспокоились, чаще страдали припадками и постоянно на что-нибудь жаловались. Некоторые простудились, и в том числе больной, который стучит: у него сделалось воспаление легких, и несколько дней можно было думать, что он умрет, и другой умер бы, как утверждал доктор, но его сделала непостижимо живучим, почти бессмертным его страшная воля, его безумная мечта о дверях, которые должны быть открыты: болезнь ничего не могла сделать с телом, о котором забыл сам человек. В бреду он говорил об открытой двери, умолял, просил, требовал так грозно, что сиделка боялась оставаться с ним, – хотя он был одет в горячечную рубашку и был привязан к кровати. Поправлялся он очень быстро, и доктор Шевырев велел дверь в его комнату держать открытой; прикованный слабостью к постели, невольно радующийся возвращенной жизни, он забывал, что за этой дверью есть другие, закрытые, и не мог узнать этого. И весь этот день он был счастлив. Но уже на следующее утро послышался его слабый стук у соседней запертой двери.

Простудился и Егор Тимофеевич: у него был жестокий насморк, и, кроме того, он потерял голос, так что говорил сиплым, но громким шепотом. Но чувствовал он себя великолепно. За лето он вырастил сам, своими трудами, огромную тыкву и поднес ее фельдшернице; та хотела отнести ее на кухню, но Егор Тимофеевич не позволил, сам выбрал ей место на столе и часто забегал в комнату взглянуть на нее; тыква смутно напоминала ему земной шар и говорила о чем-то великом.

Кроме того, доктор Шевырев подарил ему десять открытых писем с рисунками, и Егор Тимофеевич занялся составлением каталога к своей картинной галерее и сам рисовал обложку. На обложке он прежде всего нарисовал себя в могущественном виде, как собственника галереи, и так увлекся этим, что на всех страницах тетради повторил тот же рисунок. Потом попросил у доктора самый большой лист бумаги и во всю его величину опять нарисовал себя, а сверху вдохновенно, без размышлений, сделал надпись: “многоуважаемый Георгий Победоносец”. Картину повесил в столовой, у самого потолка, и те из больных, которые могли любоваться ею, хвалили Померанцева.

Но дурная погода влияла и на Егора Тимофеевича, и ночные видения его были беспокойны и воинственны. Каждую ночь на него 670  
нападала стая мокрых чертей и рыжих женщин с лицом его жены, по всем признакам – ведьм. Он долго боролся с врагами под грохот железа и наконец разгонял всю стаю, с визгом и стоном разлетающуюся от его огненного меча. Но каждый раз после битвы наутро он бывал настолько разбит, что часа два лежал в постели, пока не набирался свежих сил.

– Конечно, и мне попало, – откровенно сознавался он доктору Шевыреву. – Один, это, здоровенный черт взял бревно и сейчас, это, мне под ноги, а потом навалился на меня и давай душить. Ну, я ему сейчас, это, и показал, где раки зимуют! Обещали нынче 680  
опять прийти. Если ночью шум услышите, так не пугайтесь, а посмотреть приходите: интересно!

И долго, с новыми и интересными подробностями, рассказывал о ночном сражении.

Хуже всех чувствовал себя Петров. От постоянного сумрака, ползшего в окна, ему казалось, что уже наступает конец, и каждую минуту он ожидал чего-то ужасного. Предчувствие надвигающейся беды было так осязательно, что по целым часам он сидел неподвижно, не смея встать, не смея шевельнуться. Он знал, что, пока он сидит неподвижно, этого не может быть, но стоит 690  
ему встать, шевельнуться, косо, назад себя взглянуть глазами – оно, это ужасное, сейчас же случится. А вставши и начав ходить, он не смел остановиться, так как ужас был в неподвижности, и ходил все быстрее, поворачивался все чаще, озирался все острее, пока в изнеможении не падал на кровать. По ночам он так зарывался в подушки и одеяло, что почти задыхался, но открыться не смел, хотя всю ночь в комнате горел огонь и напротив него спала сиделка, приставленная к нему ввиду его особенного беспокойного состояния. И так же, как днем, или он лежал неподвижно, как труп, или весь непрерывно двигался мелкими частыми движениями, похожими на обыкновенную дрожь от холода. Весь ужас его сосредоточивался в матери, слабенькой старушке с бледным лицом. Он уже не думал, что ее подкупили врачи, и не приискивал никаких объяснений, он просто боялся ее и именно того момента, когда она покажет свое старушечье лицо и скажет:

– Сашенька!

Что произойдет тогда, он не знал и не смел и не мог думать. И всегда он чувствовал ее близость. Она ходила по лесу в своей барашковой, сдвинутой набок шапочке, она пряталась под столом, под кроватями, во всех темных углах. А ночью она стояла 710  
у его дверей и тихонько дергала ручку.

В воскресенье утром приезжала его мать и целый час плакала в мезонине у доктора Шевырева. Петров ее не видал, но в полночь, когда все уже давно спали, с ним случился припадок. Доктора вызвали из “Вавилона”, и, когда он приехал, Петров значительно уже успокоился от присутствия людей и от сильной дозы морфия, но все еще дрожал всем телом и задыхался. И задыхаясь он бегал по комнатам и бранил всех: больницу, прислугу, сиделку, которая спит. На доктора он также накинулся.

720 – Что у вас за сумасшедший дом! – кричал он через плечо, на бегу, оглядываясь на него. – Что это за сумасшедший дом, в котором на ночь не затворяют дверей, так что может войти всякая... всякий, кому захочется. Я жаловаться буду! Если нет денег на лишнего сторожа, то лучше не заводить больниц, иначе это мошенничество. Да, сударь, мошенничество, грабеж. На вас полагаются как на честного человека...

– Дайте-ка пульс, – сказал доктор Шевырев.

– Натe. Только вашими пульсами вы меня не обманете.

Петров остановился и, с ненавистью глядя на бритое лицо  
730 доктора, неожиданно спросил:

– В “Вавилоне” были?

Доктор утвердительно мотнул головой.

– Ну, как там?

– Хорошо.

– Я думаю, хорошо. Еще бы не хорошо. Но только вы двери все-таки велите запирать. “Вавилон” – “Вавилоном”, а больница – больницей. – Он громко захохотал, но губы его дрожали, и смех вышел также дрожащий и напоминал скорее лай озябшей собаки.

740 – Да, я велю запирать. На этот раз простите. Небрежность прислуги.

– Вам небрежность, а для меня это черт знает чем пахнет. Ну да ладно, на первый раз прощается. Слышали? – строго обратился он к фельдшеру и прислуге. – Сейчас же затворить все двери! – Он громко рассмеялся: – А то мы с вашим доктором моментально удерем в “Вавилон”!

Когда Петрова уложили в постель и он уснул, доктор Шевырев пошел наверх и в коридоре, у лестницы, встретил Марию Астафьевну. Она была совсем одета, и глаза ее в полусвете горели.

750 – Доктор!.. – шепнула она, но захлебнулась словом и громко повторила: – Николай Николаевич!

– А, это вы! Отчего вы не спите? Поздно.

– Николай Николаевич!..

– Что? Нужно что-нибудь?

– Николай Николаевич... – Дыхание ее захватило; она хотела сказать многое: о своей любви, о “Вавилоне”, о шампанском, но выговорилось другое: – Бром Поляковой давать?

– Как же, давайте. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи. Вы опять уедете?

Доктор Шевырев взглянул на часы: они показывали половину 760 четвертого.

– Поздно уже, пожалуй? Не поеду.

– Благодарю вас.

Марья Астафьевна всхлипнула и убежала с нарастающим громким рыданием, такая маленькая в большом и высоком коридоре, как девочка. Доктор Шевырев посмотрел ей вслед, еще раз взглянул на часы и, покачав головою, отправился к себе наверх.

Следующий день был суровый, без дождя, но очень холодный – видимо, погода поворачивала на зиму. И как-то очень быстро подсыхало. К четырем часам, когда больных выпустили 770 на полчаса погулять, дорожки были совершенно сухи и тверды, как камень, и опавший лист шуршал под ногами с легким отзвуком жести. Доктор, Егор Тимофеевич и Петров вначале гуляли по дорожке, причем доктор и Петров молчали, а Егор Тимофеевич забавлялся тем, что зарывал ногу в шуршащий лист, а потом глядел назад – остался след от его ноги или не остался. И болтал что-то об осени в Крыму, где он никогда не был, об охоте с гончими собаками, которых он никогда не видал, и о многом другом, бесвязном, но веселом и интересном.

– Сядем, – предложил доктор.

780

Они сели на скамеечку, доктор Шевырев посередине, а остальные по бокам, и как-то так, что прямо перед их глазами открылось холодное небо с бледно-серыми высокими облаками. Уже вечерело, и далеко за версту над едва видимыми верхушками деревьев носилась огромная стая галок, искавших ночлега. Они металась сплошной, но живую полосой и кричали, и, хотя их было много, в озабоченном крике их звучало одиночество осени, предчувствие долгой, холодной ночи, бесплодная жалоба. Несколько галок отделилось от стаи, и, когда они приблизились, видно стало, что четыре галки преследуют одну, – и скоро все они скрылись за лесом. Петров, несколько успокоившийся после вчерашнего припадка, напряженно и странно всматривался в галок, переводя глаза на доктора и снова на галок. Егор Тимофеевич тоже замолчал и неодобрительно вглядывался в незаметно темневшее небо и в галок.

790

– Хорошо теперь дома, – почему-то удивленно сказал он. – Пойти и сейчас, это, чаю выпить.

– Они сюда летят, – сказал Петров.

Он побледнел и слегка придвинулся к доктору Шевыреву.

800 – И то пойдемте, – ответил доктор. – Георгий Тимофеевич, вы вперед.

В этих словах Егору Тимофеевичу послышался призыв к власти. Он мужественно выпрямился и отчетливо зашагал, подражая руками движению барабанщика, бьющего в барабан, и выделявая голосом соответствующие звуки:

– Там-тара-та-там! Там-тара-та-там!

810 Так шел он впереди и барабанил, отчетливо отбивая шаги, а за ним невольно в такт шагали те двое. И Петров прижимался к доктору и все оглядывался назад – на беспокойную, растерянную стаю галок, на холодное, безнадежное, темнеющее небо.

– Там-тара-та-там! Там-тара-та-там!

Сторож издалека увидел доктора и широко распахнул двери. Первым, громко барабана, с гордо закинутой головой, торжественно вступил Егор Тимофеевич. За ним, невольно шагая в такт, вошли те двое, и Петров обернулся в дверях, и на лице его был ужас.

---

К ночи поднялся сильный ветер, гремевший железными листами на крыше, – и в эту ночь умер от страха Петров.

820

## VI

Покойника отнесли в большую холодную комнату, имевшуюся в больнице для таких случаев, обмыли и одели в черный сюртук, топорщившийся на груди. Днем приехали мать Петрова и старший брат его, очень известный писатель, поклонились праху и пошли к доктору Шевыреву в мезонин. Старушка, совсем обессилевшая от горя, едва взошла на лестницу, упала на диван и, маленькая, вся высохшая от долгой жизни и страданий, стала похожа на черный измятый комок с белым лицом и волосами. Скупой плач последними старушечьими слезами, она долго рассказывала, как все родные любили Сашу и каким горем поразила их неожиданная и страшная болезнь его. Во всем их роду не было сумасшедших, и Саша всегда был очень здоровый юноша, хотя несколько мнительный. И о мнительности его она говорила очень долго, и казалось, что она в чем-то оправдывается, что-то старается доказать, но не может. Доктор Шевырев односложно успокаивал ее, а писатель, высокий, мрачный, черноволосый, немно- 830 го похожий на покойного брата, раздраженно прохаживался

по комнате, пощипывал бороду, посматривал в окно и всем поведением своим показывал, что рассказ матери ему не нравится. У него было свое мнение о болезни брата, очень умное, отчасти 840 основанное на науке, отчасти ставившее болезнь Саши в зависимость с общим неудовлетворительным укладом жизни. Но теперь, когда Саша лежал мертвым, говорить об этом было как-то неловко, тем более что пришлось бы коснуться и дурного характера покойного. Наконец он не выдержал и перебил мать:

– Мамочка! Пора ехать. Мы мешаем господину доктору.

– Сейчас, Васенька, два слова только.

И она снова плела свою бесконечную историю, в чем-то оправдывалась, что-то хотела доказать, но не могла. Сын с раздраженным любопытством вглядывался в ее качающуюся седую голову 850 в черной кружевной наколке, вспомнил, какие нелепости говорила она дорогою, и думал, что мать его совсем выжила из ума, что внизу, запертые по своим комнатам, сидят сумасшедшие, что брат его, который умер, тоже был сумасшедшим. Все выдумывал что-то беспокойное, бредовое, мучительное, каких-то врагов. Врагов! Вот если бы ему дать его врагов, настоящих врагов, беспощадных, могущественных, неутомимых, не брезгающих клеветою и доносом, – что бы он сказал тогда!

– Как хотите, мама. Нужно же наконец ехать.

– Сейчас, Васенька. А можно мне будет, Николай Николаевич, 860 провести ночь около Саши? А то один он. Никто во всем нашем роду не умирал в больнице, один он, бедненький, мальчик мой бедненький!.. – И она заплакала.

Доктор Шевырев любезно выразил согласие, и Петровы уехали, и дорогою старушка снова говорила нелепости, а сын ее морщился и тоскливо смотрел в осеннее темное поле.

Егора Тимофеевича, ввиду полной его безвредности, никогда не запирали, и весь этот беспокойный день он возбужденно толочся на народе, присутствовал на всех панихидах, выдавал и снова отбирал свечи, и если кто забывал погасить свою свечу, Егор Тимофеевич сам громко и деловито задувал огонь. К покойнику он чувствовал жгучий интерес, каждые полчаса забегал в комнату полюбоваться на него, поправлял покрывало и упрямо топорщившийся сюртук и чувствовал себя почти таким же важным и интересным, как сам покойник. Он был жив и хлопотал, а это было ничуть не менее интересно, загадочно и важно, чем умереть и лежать в гробу, и он это сознавал. И пока он бегал и распорядился, в голове его звучали красивые, гордые слова: “усопший”, “в Бозе почивший”, “новопреставленный”, и от этих слов, и от всего, что делалось кругом, чувствовал себя необыкновенно 880

счастливым. И только в глубине его сознания было что-то тревожное, растерянное, как будто он забыл что-то очень важное, хочет вспомнить и не может. На бегу он часто останавливался, озабоченно потирал лоб и потом приставал к Марии Астафьевне с вопросом:

– Мария Астафьевна! Что вы мне сказали сделать? Я все сделал.

Фельдшерица была еще до сих пор счастлива, что доктор Шевырев тогда ночью не поехал в “Вавилон”, и ласково успокаивала  
890 больного:

– Вы все сделали, Георгий Тимофеевич. Мы очень вам благодарны – я и доктор. Понимаете: я и доктор? Я и доктор.

– Ну то-то. А то мне показалось... – И он снова убежал хлопотать.

И когда наступила ночь, Егор Тимофеевич никак не мог уснуть: ворочался, кряхтел и наконец снова оделся и пошел поглядеть на покойника. В длинном коридоре горела одна лампочка и было темновато, а в комнате, где стоял гроб, горели три толстые восковые свечи, и еще одна, четвертая, тоненькая, была прилеплен  
900 на к псалтырю, который читала молоденькая монашенка. Было очень светло, пахло ладаном, и от вошедшего Егора Тимофеевича по дощатым стенам побежало в разные стороны несколько прозрачных, легких теней.

– Дайте-ка, матушка, я почитаю, – сказал Егор Тимофеевич.

Молоденькая монашенка, молодость которой проходила в том, что она читала по покойникам, охотно уступила место, так как приняла Егора Тимофеевича за какое-нибудь начальство или за старшего родственника, и отошла к стороне. С дивана при звуке шагов и разговора поднялась закутанная от холода в платок  
910 мать Петрова. Сухая маленькая голова ее с седыми волосами слабо покачивалась, а лицо было такое доброе и такое чистое, как будто она десять раз на день промывала его во всех морщинках. Она уже давно лежала на диванчике, но не спала и все думала.

Вначале Егор Тимофеевич читал очень выразительно и хорошо, но потом стал развлекаться свечами, кисеей, венчиком на белом лбу мертвеца, начал перескакивать со строки на строку и не заметил, как подошла монашенка и тихонько отобрала книгу. Отойдя немного в сторону, склонив голову набок, он полюбовался покойником, как художник любит свою картину, потом  
920 похлопал по упрямо топорщившемуся на груди сюртуку и успокоительно сказал Петрову:

– Лежи, брат, лежи. Я скоро опять приду.

– Вы знали Сашеньку? – спросила мать Петрова, подходя.

Егор Тимофеевич обернулся.

– Да, – решительно сказал он. – Он был мой лучший друг. Друг детства.

– А я его мать. Мне очень приятно, что вы так отзываетесь о Сашеньке. Позвольте с вами побеседовать?

Егору Тимофеевичу представилось, что он – доктор Шевырев, выслушивающий жалобы больных, и, сделав внимательное, 930 серьезное, ученое лицо, он предупредительно ответил:

– Пожалуйста. Но не хотите ли присесть, так будет удобнее...

– Нет, я так. Скажите, ведь неправда, что Сашенька был плохой человек?

– Он был великолепнейший человек, – искренно опроверг Егор Тимофеевич. – Это был лучший из людей, какого я знал. Конечно, были у него некоторые... странности, но кто из людей не имеет их?

– Вот то же и я говорю, а Васенька сердится. Вы так меня радуете, так утешаете меня. И скажите, Сашенька не жаловался 940 вам?.. Он, бедненький, думал, видите, что я мало его любила, а я, верьте Богу, так его любила, так любила...

И, тихонько плача, она рассказала Егору Тимофеевичу всю скорбную повесть материнских страданий, когда на глазах ее погибал, неизвестно отчего, ее любимый сын и она ничем не могла помочь ему; и снова она оправдывалась в чем-то и что-то хотела доказать, но не могла. И как будто ни для нее, ни для Егора Тимофеевича, спокойно облокотившегося на край гроба, не было здесь покойника, как будто смерть не являла здесь своего страшного обра- 950 за: старушка так близко к себе чувствовала смерть, что не придавала ей никакого значения и путала ее с какой-то другой жизнью, а Егор Тимофеевич не думал о ней. Но слезы старой седой женщины трогали его, и то же прежнее беспокойство с силой овладевало им.

– Дайте-ка пульс. Так, хорошо. Не волнуйтесь, все устроится прекрасно. Я сделаю все, что возможно. Будьте совершенно спокойны.

– Вы так утешаете меня, вы так добры... Благодарю вас. – И старушка неожиданно схватила его руку и поцеловала.

– Что вы, что вы? – сконфуженно и возмущенно крикнул Егор Тимофеевич. – Разве у мужчины целуют руку? 960

Он густо и наивно покраснел, как краснеют только пятидесятилетние морщинистые люди, и быстро вышел. Но в коридоре было темно, и он пошел тише, и уже через несколько шагов возле него появился Николай Чудотворец. Он был низенький, седенький старичок в татарских туфлях с загнутыми носками и с золотым ободком вокруг головы. Егор Тимофеевич шел понурился голову, и

Николай Чудотворец шел понури́в голову и ступал неслышно, как по войлоку. И очень долго шли они, как будто коридор был бесконечен, шли и оба думали. По бокам белели запертые двери, одни  
970 безмолвные, и за ними чувствовался сон, а за другими слышалась ровная, невнятная болтовня беспокойных больных, у которых не было покоя, не было сна. И бесконечен был коридор, и бесконечно тянулись запертые двери.

За одной из них, с левой стороны, слышался негромкий, но твердый и размеренный звук, такой постоянный, что казался тишиною: это стучал больной, на днях вставший с постели и снова принявшийся за свою бесконечную работу.

– Стучит, – сказал Егор Тимофеевич, не поднимая головы.

– Стучит, – ответил Николай, не поднимая головы.

980 – Хорошо все.

– Хорошо, – согласился Николай.

Они шли и оба думали.

– Только отчего вот тут, в груди, под сердцем, бывает иногда так тяжело, так тяжело? Так тяжело, Никола!

– Нельзя же сидеть в сумасшедшем доме и не поскучать порою.

– Ты думаешь? – Егор Тимофеевич повернулся к Николаю. Тот ласково глядел на него, улыбался тихонько и плакал. – Отчего ты плачешь? Улыбаешься и плачешь?

990 – Ты сам улыбаешься и плачешь.

И снова они шли и думали.

– Стучит, – сказал Егор Тимофеевич.

– Стучит, – ответил Николай.

– Мне жалко тебя, Никола. Такой ты старенький, хворенький, в чем душа держится, а все ходишь, все ходишь, все летаешь, все беспокоишься. Вот ко мне прилетел, не позабыл.

– Я в туфлях. А в сапогах тяжело.

– Стучит, – сказал Егор Тимофеевич. – Полетим куда-нибудь, Никола, пожалуйста. А то скучно мне очень, так скучно. И ноги  
1000 болят.

– Полетим, – согласился Николай.

И они полетели.

В полутемном коридоре царила беспокойная тишина. Тянулись запертые двери, и за некоторыми слышалась невнятная, тревожная болтовня тех, кто не знал покоя и сна. В конце коридора за безмолвною дотоле дверью послышался громкий крик:

– Ку-ка-ре-ку!

Это кричал больной, который считал себя петухом. С точностью хронометра он просыпался в двенадцать, три и шесть

часов, хлопал руками, как крыльями, и кукарекал, будя спящих. 1010  
Но никто из спящих не проснулся и не отозвался, и сам больной, считающий себя петухом, скоро заснул; и только за одной белой дверью, с левой стороны, продолжался все тот же размеренный, непрерывный стук, похожий на тишину.

Ночь убывала, а он все стучал. Уже гасли огни в “Вавилоне”, а он все стучал, безумно-настойчивый – неумолимый – почти бес-  
смертный.

*11 октября 1904 г.*

# КРАСНЫЙ СМЕХ

## ОТРЫВКИ ИЗ НАЙДЕННОЙ РУКОПИСИ

### Часть I

#### ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

...безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов, сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слышал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натывались на его тело, падали, молча поднимались и не оглядываясь шли дальше – как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натывался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались – точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе загло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу, забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела,

в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и 40 легкий, чужой и страшный.

И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате – и я их не вижу – будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, – остановила меня. Так же торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти 60 люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, – что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня всё идут, и всё так же дрожит земля и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня всё идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они 80 похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко

от меня лежит кто-то голой спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченном мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

– Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведет руки, и они тотчас распадутся.

– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаюсь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены – а у него расплылись они во весь глаз: какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи!

И как будто он ждал только слова – он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда

запахавшись я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

130

## ОТРЫВОК ВТОРОЙ

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия – остальные подбиты – шесть человек прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих – и мы, живые, бродили как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно, – но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот – все поражало меня своей новизной и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате – и я их не вижу – находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал

обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже  
170 ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: “Кто-то убит!” – но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распорядился, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног – и больше ничего.

180 В это время было уже светло, и вдруг – капнул дождь. Дождь – как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал – плащ не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула  
190 и разорвалась шрапнель, и тихо стало – так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стучают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины; с тою же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-  
200 под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; гохнуло орудие, за ним второе – и снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода, – вероятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удер-

жаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, 210 вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх – и больше ничего. 220

– Вы боитесь? – повторил я ласково.

Губы его дергались, сиюсь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня – и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот 230 красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!

А они, отчетливо и спокойно как лунатики...

## ОТРЫВОК ТРЕТИЙ

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне... 240

## ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже

мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, – и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее  
250 двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями – так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя,  
260 как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся грудю окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валяли человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые  
270 страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом – восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составиля целый очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели – и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли  
280 голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.

– Красный смех, – сказал я.

Но он не понял.

– Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навывлет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подрыгивал ногами,

как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспоминает об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как буд- 290  
то с желанием еще раз испытать то же самое.

– И опять пулю в грудь? – спросил я.

– Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

– А матери послал телеграмму? – спросил я.

300

Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

– Что же это такое, а? Что же это? – пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.

– Что?

– Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество?

310

– Красный смех, – ответил я.

– Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить – а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты знаешь, у нее слова – седые. А ты... – он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: – А ты полысел. Ты заметил?

– Тут нет зеркал.

– Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из ла- 320  
зарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом – как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания, – но скоро умолкали, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, 330  
почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, ху-

дые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга – увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица – и не мог найти. Эти люди, беспокойные, то-ропливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, – были новые, чужие люди, которых  
340 я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на само-  
350 вар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый и непонятный.

– Где мы? – спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

– На войне, – ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глу-  
360 хим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

– Чего он хохочет? – возмутился кто-то. – Послушайте, пере-станьте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча насадала на землю, и мы с трудом различали желтые, при-зрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

– А где же Ботик?

“Ботик” – так звали мы товарища, маленького офицера в боль-ших непромокаемых сапогах.

– Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?

370 – Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими са-погами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал гру-бый негодующий голос:

– Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

– Он только сейчас был здесь. Это ошибка.

– Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.

– И мне! И мне!

– Лимон весь.

380

– Что же это, господа, – с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. – А я только ради лимона и пришел.

Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз – и замолчал. Кто-то сказал:

– Завтра наступление.

И несколько голосов раздраженно крикнули:

– Оставьте! Какое там наступление!

– Вы же сами знаете...

– Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это! 390

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

– Как-то теперь дома? – неопределенно спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все – до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена – и сразу замолчали, уступая непонятному.

– Дома? – закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова 400 у него не выходили, как будто он разучился их говорить. – Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны – понимаете, ванны с водой – с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то паршь, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите – дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг, – вы говорите – дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не 410 пошел бы теперь на улицу – мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:

– Это черт знает что. Я пойду домой.

– Домой?

– Вы не понимаете, что такое дом!..

– Домой? Слушайте: он хочет домой!

Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали *это*. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играют, и те, кто слушают, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром.

А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную, молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался и прыгал и бежал куда-то в сторону от других, одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпой, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

## ОТРЫВОК ПЯТЫЙ

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

– Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

– Пять суток... – пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно поталкивая меня в бока и ноги.

– Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые...

– Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

– Голубчик, не сердитесь, – бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. – Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказываются. Я сам боюсь 460 заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет – он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли, – так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов – паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только 470 от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.

– Что это? – спросил я, отступая.

– Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, – бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

– Черт вас знает! – закричал я громко. – Не могли вы взять другого...

– Тише, пожалуйста, тише! – Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

– Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы взлезть – и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами, и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:

– На седьмой версте.

– А фонари забыли?

– Нет, он не пойдет.

– Сюда давай. Осади немного. Так.

Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и когда я взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу.

500 Студент-санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

– Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоумело поводя глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

– Хорошо бы сейчас водки хлебнуть, – сказал студент.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розовесть, покраснел – где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево,

510 как будто среди ночи всходило солнце.

– Это далеко. Верст за двадцать.

– Мне холодно, – сказал доктор, ляскнув зубами.

Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта молчаливой цепью стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц всходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же

520 красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

– Много раненых? – спросил я.

Он махнул рукой.

– Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

– Настоящих?

– А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

– Перестаньте, – сказал я, отворачиваясь.

530 – Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное.

– Мне холодно, – сказал он и улыбнулся.

– Ну вас всех к черту! – закричал я, отходя в угол вагона. – Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылок с вьющимися волосами был молодой, 540 и когда я глядел на него, мне почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представ-

ление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

– Вам сколько лет? – спросил я, но он не обернулся и не ответил.

Доктор покачивался.

– Мне холодно.

– Когда я подумаю, – сказал студент, не оборачиваясь, – когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога.

– Раненый?

– Нет, убитый. Голова оторвана. Только как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.

Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

– Послушайте! – с тихим ужасом прошептал кто-то.

Как мы не слышали раньше! Отовсюду – места нельзя было точно определить – приносился ровный, поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что это стонет сама земля или небо, озаренное невсходящим солнцем.

– Пятая верста, – сказал машинист.

– Это оттуда, – показал доктор рукой вперед.

Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:

– Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!

– Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно-красная от того тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий, неслышанный стон, не имевший видимого источника, – как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу – ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна – эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставляв-

шие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много – слишком много для этой зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждую частицею своего существа.

– Что же это! – кричал доктор и грозил кому-то кулаком. –

590 Вы – слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определеннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу, кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза – так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде  
600 была безумная радость оттого, что он видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

– Ну что?

И отвернулся. Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он  
610 двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов.

– Ты бы сел! – крикнул доктор, но он не ответил.

Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные  
620 раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дож-

дем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и па- 630  
дая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было размозжено  
лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и  
был он почти голый, как из бани. Толкнув меня, он нащупал гла-  
зом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

– Я тебе в морду дам! – крикнул он и, тряся доктора, длитель-  
но и едко прибавил циничное ругательство. – Я тебе в морду дам!  
Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, за-  
кричал:

– Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь 640  
работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:

– Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошел к стороне покурить и отдохнуть.  
От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки, и  
с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я  
закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным,  
совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни  
позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда,  
но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я 650  
никак не мог вспомнить – где. Шагал он твердо, точно марширо-  
вал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше.

– А они спят, – сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспылil, точно упрек касался меня.

– Вы забываете, что они десять дней дрались как львы.

– А они спят, – повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом  
наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно  
продолжал:

– Я вам скажу. Я вам скажу.

– Что?

660

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил  
пальцем и повторял точно законченную мысль:

– Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.

И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив паль-  
цем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколь-  
ко не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую  
руку, я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам.

– Студент-то застрелился. Кажется, еще жив, – сказал я док-  
тору.

Тот схватил себя за голову и простонал:

670

– А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово, – он закричал сердито и угрожающе: – я тоже! Да! И прошу вас – извольте идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подошел к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

– Перестаньте, – сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

680 Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него был молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови – должно быть, хватался руками.

– Ну? – сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, стариковски сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, всё куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому.

690 – Стойте! – крикнул я, остановившись.

Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков – это ушел поезд. Я был один – среди мертвых и умирающих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое, – или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле – тонкий, безнадежный, похожий на детский плач или на визг  
700 тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался взад и вперед – взад и вперед...

## ОТРЫВОК ШЕСТОЙ

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они,

710

видимо, узнали нас: они подвигались к нам совершенно спокойно, в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и еще улыбались – под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и – я твердо помню это – мы все увидели, что это неприятель и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации. 720

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив – жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши, – и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и – это удивительнее всего – чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненым в этом бою, отношение было вначале несколько странное, – нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, – дает мне право думать, что тут была ошибка. 730 740 750

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь изжелта-седые редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

– Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно.

760 – Что такое?

– Да так. Неладно. В наше время было попроще.

Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

– Да, неладно, – вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. – Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:

770 – Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:

– Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головой и подтвердил:

– Да. Красный смех.

780 Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые!

Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.

– Так что же? – так же шепотом и испуганно спросил я.

– Ничего. Как здоровые!

– Красный смех, – сказал я.

790 – Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.

– Вы с ума сошли, доктор!

– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.

Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то

очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся 800 того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

– А это вы понимаете? – таинственно спросил он.

Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:

– А это вы можете объяснить?

– Раненые, – сказал я. – Раненые.

– Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?.. 810

С гибкостью, неожиданную для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:

– А это... вы также... понимаете?

– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:

– И никто этого не понимает. 820

– Вчера опять стреляли.

– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утвердительно мотнул он головой.

– Я хочу домой! – с тоскою сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.

Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:

– Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты! 830

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!

– Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал, и лез драться. Его накормили и выгнали назад – в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванны- 840

ми, зловещими призраками бродят они по холмам взад и вперед и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупам, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озьявших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком...

– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши.

И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измененный мозг новые ужасные слова:

– ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся как герои – всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, там все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, подымавшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:

– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов – мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, – мы попляшем на развалинах.

Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда, великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, – какой веселый смех огласит вселенную!

– Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!

890

– Друзья! – продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теньям. – Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..

## ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ

...это было безбожно, это было незаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

## ОТРЫВОК ВОСЬМОЙ

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза, – даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила – она очень славная и добрая женщина.

– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

– Одну разбили, – сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.

Я засмеялся.

– Чего ты? – спросил брат.

– Так. Ну, ответите-ка меня еще разок в кабинетик. Потрудитесь для героя! Побездельничали без меня, теперь баста, я вас подтяну, – и я в шутку, конечно, запел: “Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...”

920

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водой. И он был немного запылен.

– Налейте-ка мне водицы отсюда, – весело приказал я.

– Ты же сейчас пил чай.

– Ничего, ничего, налейте. А ты, – сказал я жене, – возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

930 И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

– Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно не ложится спать?

– Он рад, что ты вернулся. Милый, походи к отцу.

Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.

– Отчего он плачет? – с недоумением спросил я и оглянулся кругом. – Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:

940 – Мы не молчим.

И сестра повторила:

– Мы все время разговариваем.

– Я похлопочу об ужине, – сказала мать и торопливо вышла.

– Да, вы молчите, – с неожиданной уверенностью повторил я. – С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменялся? Да, так переменялся? Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

– Сейчас я принесу, – ответила жена и долго не возвращалась, 950 и зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него, и – я уже видел себя в вагоне, на вокзале – это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. А они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок, – так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

– Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно:

– Да. Ты мало изменился. Полысел немного.

– Поблагодари и за то, что голова осталась, – равнодушно ответил я. – Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня еще по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек грязи – от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

– В нашем полку только четыре офицера осталось в живых, – угрюмо сказал я. – Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

970

– Хорошо, я возьму, – покорно согласился брат. – Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги – это, право...

– Конечно. Я не почтальон.

Брат внезапно остановился и спросил:

– А отчего у тебя трясется голова?

– Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!

– И руки тоже?

– Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова 980 вернулась ко мне, когда мне стали готовить постель – настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло, – а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы от смеха.

– А теперь раздень-ка меня и положи, – сказал я жене. – Как хорошо!

– Сейчас, милый.

– Поскорее!

– Сейчас, милый.

– Да что же ты?

– Сейчас, милый.

990

Она стояла за моею спиною, у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

– Что же это!

И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача:

– Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это? Кому это 1000 нужно было? Ты, мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

– Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил 1010 четыре года назад – перед свадьбой...

## ОТРЫВОК ДЕВЯТЫЙ

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

– Сам посуди: ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике – давать сознание. Главное – сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий – как вот мясники, 1020 или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познавши истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные 1030 возбуждения, – но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны, – что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

– Красный смех, – весело сказал я, плескаясь.

– И я скажу тебе правду, – брат доверчиво положил холодную 1040 руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул ее, – я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел, – объясни мне.

– Убирайся к черту! – шутливо ответил я, плескаясь.

– Вот и ты тоже, – печально сказал брат, – никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь, а потом покрепче, и удушю, – что это будет?

1050

– Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.

Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:

– Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

– Надеюсь, – улыбнулся я, плескаясь.

– Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, – почему не зарезать, если нож острый?

1060

– Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:

– Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого, и начнется убийство. И ты знаешь, – таинственно наклонился он к моему уху, – газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов, – у человечества один разум, и он начинает мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лед. Я должен сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума... Уже четверть часа, – тебе пора выходить из ванны.

1070

– Немножечко еще. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

1080

– Го-го-го! – загрохотал я, плескаясь.

– Что с тобой? – испугался брат и побледнел.

– Так. Весело, что я дома.

1090 Он улыбнулся мне, как ребенку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

– Куда уйти? – сказал он, пожав плечами. – Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я – как щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня с силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия. И я упаду в нее, я должен в нее упасть.

1100 Ты еще не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают, – ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой, – это было участием всех тех, кто в безумии своем становился близок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой – как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

– Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом

1110 меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любуясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было

1120 вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках.

– А теперь надо работать, – серьезно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок, – и, как лягушка, привязанная на нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые

1130 смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевелился – я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука

прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном, живом, безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были еще там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевелиться, я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком, – один, лишенный возможности 1140 двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

– Это ничего, – громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего. – Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Милтон, когда писал свой “Возвращенный рай”. Я могу мыслить – это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Милтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, 1150 бессмысленную фразу о каком-то Милтоне, – и не мог.

– “Возвращенный рай”, “Возвращенный рай”, – твердил я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения. Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами – длинными часами потери сознания или бесчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить. 1160

Я хотел позвать жену, но забыл, как ее зовут, – это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:

– Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они боялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было – настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. “Милые, как они заботятся обо мне!” – подумал я, милый.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце 1170 зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. Цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное – цветы и песни. Цветы и песни...

## Часть II

### ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая  
10 листки один за другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель, благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию окна весь день были завешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица – лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал, до восковой прозрачности трупa или подвижника, и совершенно поседел; и начал  
20 он свою безумную работу еще сравнительно молодым, а кончил ее – стариком. Иногда он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении, с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не  
30 может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

– Конечно, я не рассчитываю на признание современников, – гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на грудy пустых листков, – но будущее, но будущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь,  
40 кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выра-

жения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неумоимо плел бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да еще мать решились подходить к нему. Однажды я попробовал дать ему вместо сухого пера карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко воцелились в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне как камень и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила еще одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в деревню, к родственникам, и я один во всем доме – в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время – я один и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна, – мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглазого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного отупелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель часового на своем посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль – еще жи-

вая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя, – мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

90 – Сейчас прекратите войну, или...

Но какое “или”? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно – и разве это хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает бешенство – бешенство войны, которую я ненавижу. Мне хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их женами  
100 и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, – я встал бы перед ними, черный...

Да, я должен сойти с ума, – но только бы скорее. Только бы скорее...

## ОТРЫВОК ОДИННАДЦАТЫЙ

110 ...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рывкнула – рывкнула, как один огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рывкнула и замолчала, тяжело дыша, – а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинной палкой. Но один шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки, и когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться, – он ждет от меня всего.

120 Я побежал вместе с толпой, чтобы еще раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, и еще раз взгля-

нул на меня. И тут я увидел в его черных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

– Кто этот, с глазами? – спросил я у конвойного.

– Офицер. Сумасшедший. Их много таких.

– Как его зовут?

130

– Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, приبلудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!.. – Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один, среди врагов, которых он считает способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, легкой.

А быть может, он действительно сумасшедший? Солдат ска- зал: их много таких...

150

## ОТРЫВОК ДВЕНАДЦАТЫЙ

...начинается... Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале, – пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть, – но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всех комнатах зажигать огонь, – да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете, – так все-таки остается сомнение.

160

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале – теперь я каждое утро хожу туда – и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно, – и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты – в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно по этому поводу:

– Их нужно вешать без суда, – сказал один, испытующе оглядев всех и меня. – Изменников нужно вешать, да.

– Без жалости, – подтвердил другой. – Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны, и они сами плачут, – что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны...

## ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать, – красная 210  
кровь просится наружу и течет так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалывшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под конвоем дисциплинированных солдат – они походили на рабов древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинуясь штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиною 220  
шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперед, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такую пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не пускала – и он шел, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, 230  
и, видимо, уже давно они шли так, – чувствовались усталость и равнодушие в том, как они несли ружья, как они шагали враздρόбь, по-мужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

– Куда вы их ведете? – спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей. 240

– Отойди! – сказал солдат. – Отойди, а не то...

Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал – легкой трусцою он отбежал к решетке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще. Собирался народ. Послышался смех, крики...

## ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

250 ...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог  
260 стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разорваться каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны и как я далек от выхода. Они спокойны, а если крикнуть – “пожар!”... И с ужасом я ощутил жуткое, страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть – привстать, обернуться назад и крикнуть:

270 – Пожар! Спасайтесь, пожар!

Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоюют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии своем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и дико-весело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка, – а они не будут слышать ничего – они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, за-  
280 мысловатым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству, – а они будут злобно бить их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство – спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда половину они сделают трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь 290 лживой улыбкой, – я выйду на сцену и скажу им со смехом:

– Это все потому, что вы убили моего брата.

И скажу им со смехом:

– Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

– Тише! Вы мешаєте слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

– Что такое? – спросил он недоверчиво. – Зачем вы так смотрите? 300

– Тише, умоляю вас, – прошептал я одними губами. – Вы слышите, как пахнет гарью? В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня, и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хотелось 310 мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война, – там все было спокойно, и ночные, желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. “Быть может, все это сон и никакой войны нет?” – подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:

– Громовое сражение. Огромные потери. Купите телеграмму – ночную телеграмму!

У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре 320 тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходиться в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу, и он заперт на ключ – со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух как будто хранит еще следы разговоров и смеха и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение 330 сухого пера; и когда ложусь в постель...

## ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрывку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю; я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом, – и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала – и в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие, еще невинные дети превратились в полчище детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачную кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь – и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне.

– Я хочу к тебе, – сказал он.

360 – Ты убьешь меня.

– Я хочу к тебе, – сказал он и побледнел внезапно и страшно и начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

“Он может пролезть под дверь”, – с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под дверь парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошел; и долго я ничего не слышал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не

было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех сторон; и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно, я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбирававшихся к горлу.

– Я не могу! – простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

– Успокойся! – сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый. – Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и вы осмелили меня, как безумца, но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

– Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

– Да, вижу. Она смеется.

– Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался.

– Она кричит.

– Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай – я лягу на тебя.

– Мне тяжело, мне страшно.

– Мы, мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

– Тепло.

– Хорошо тебе?

– Я умираю.

– Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я уйду...

## ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг – и вновь наступила пятница и про-  
шла, – а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей, 420  
стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды; и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу, – а они стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило 430  
снарядов, и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, 440  
когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и наступает тишина, а на земле валяются новые изуродованные трупы, – кто их убил? Ты знаешь, брат: кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, 450  
вдруг, темною ночью, раздастся одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами – в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают бледнея: отчего так много сумасшедших – ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

– Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! – говорят они бледнея, и им хочется верить, что теперь как прежде и что это мировое насилие над разумом не коснется их слабого 460  
умишка.

– Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба – закон жизни, – говорят они уверенно и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо: – воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колышется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел 470  
этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и иступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие:

– Когда же кончится эта безумная бойня!

У одних знакомых, где я не был давно, быть может несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; 480  
но его не узнала и мать, которая его родила: если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем белый; черты лица его мало изменились, – но он молчит и слушает что-то – и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали “ура” так громко, что почти заглушали выстрелы, – и вдруг прекратились выстрелы, – и вдруг прекратилось “ура”, – и вдруг наступила могильная тишина: 490  
это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит наступить минутной тишине – он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные ночи, – и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непре- 500

рывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто – не в военное платье, – занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных, усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали всё, я подошел и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара, – и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в которых я хуже, чем один, – подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоем.

– Какой вы бледный, и под глазами круги, – сказала она ласково. – Вы больны? Вам жалко своего брата?

– Мне жалко всех. И я нездоров немного.

510 – Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да?

– За то, что он сумасшедший, да.

Она задумалась и стала похожа на брата – только очень молоденькая.

– А мне, – она остановилась и покраснела, но не опустила глаз, – а мне позвольте поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:

– Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала:

– Я не верю.

– И я также.

На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

– Ты знаешь, – сказала она, – я еду туда.

– Поезжай. Но ты не выдержишь.

– Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

– Да. А ты?

540 – Я буду помнить. Прощай!

– Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко – как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый

раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом и открыл кабинет брата, и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услышал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой:

“Работай, брат, работай! Твое перо не сухо – оно обмокнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми, – своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!” 550

...А сегодня утром я прочел, что сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозг. Оно идет, оно близко – оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

## ОТРЫВОК СЕМНАДЦАТЫЙ

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

## ОТРЫВОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

560

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к живому; мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти, – он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть, – и когда прошел без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива, – не знаю, не слышал. 570

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он клеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который 580

называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро – а оно плыло; он был убит – а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землей – а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призраком в сером штемпелеванном конверте. И теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

“...Теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей – умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лун-теннис планетами и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага – вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали...

...Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду, – и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клонуть – он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?

...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик – и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают.

Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и

поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на..., чем на офицера победоносной армии.

Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать 630 такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, – это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты – все плакал, плакал... Как не стыдно офицеру плакать!

Воронье кричит. Ты слышишь, друг: воронье кричит. Чего надо ему?..”

640

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз, борода такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украсить и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи, – брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, 650 ни смерти.

...Воронье кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда.

...Воронье кричит...

660

Нет, это правда. Несчастливая земля, ведь это правда. Воронье кричит. Это не выдумка праздного писаки, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабоумные звери! Вы звери! За что убили вы моего

брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою – приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всю силу моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей – я проклинаю вас, несчастные слабоумные звери!

## ОТРЫВОК ПОСЛЕДНИЙ

...от вас мы ждем обновления жизни!

Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: “Долой войну!”

670 – ...Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

– ...Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разружьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выно-  
690 сить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завывало; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и куда-то в сторону и наконец притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам; мгновенное затишье – и снова рев, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжелое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топчущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав себе все ногти, взбирался на штабели дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе

с водопадом стучающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу выбрался, – а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рев и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода: его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабели дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад: я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налету, легшему на черные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам неся еще далекий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении: это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановились в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный насторожившийся силуэт.

– Ты откуда? – спросил он.

– Оттуда.

– А куда ты бежишь?

– Домой.

– А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали

мое горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мною по пустынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал, – должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые, и я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилу я нашел его, хотя он был тут же в наружном кармане. И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и после некоторого размышления хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня.

“Буду так ждать смерти. Ведь все равно”, – решил я.

В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку – и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

780 “Теперь все равно, – подумал я. – Никому это не нужно”.

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходящую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно оттого, что езда прекратилась, мне показалось совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, треск чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были

окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

– Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

“Идут сюда!” – подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы, но все это не го- 800  
дилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти ка-  
сались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок.

– Кто тут? – шепотом спросил я, но никто не ответил.

А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, 810  
от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал голову: она была горячая как огонь.

“Пойду лучше туда, – подумал я. – Он все-таки свой”.

Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: 820  
черный, чугунный профиль, очерченный узкой красною полосой.

– Брат! – сказал я.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица – и вдруг сразу стало так не-  
обыкновенно тихо, как бывает только там, где много мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрел неуловимый от-  
тенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка туск-  
лый. Я подумал, что от брата идет такая тишина, и сказал ему об этом.

– Нет, это не от меня, – ответил он. – Посмотри в окно. 830

Я отдернул драпри и отшатнулся.

– Так вот что! – сказал я.

– Позови мою жену: она этого еще не видала, – приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила и, увидев мое лицо, по-  
слушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за мной. Я

отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками.

840 Мы подошли к окну. От самой стены дома, от карниза, начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и трехугольники подбородков. И было тихо, — очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

— Их становится больше, — сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только

850 по голосу.

— Это кажется, — сказала сестра.

— Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежащих рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

860 — Смотрите, им не хватает места, — сказал брат.

Мать ответила:

— Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

— Они и в детской, — сказала няня. — Я видела.

— Нужно уйти, — сказала сестра.

— Да ведь нет прохода, — отозвался брат. — Смотрите.

870 Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевелинулись и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их вверх.

— Они нас задушат! — сказал я. — Спасемтесь в окно.

— Туда нельзя! — крикнул брат. — Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный Смех.

*8 ноября 1904 г.*



*Л.Н. Андреев с женой Александрой Михайловной  
на даче И.Е. Репина "Пенаты".  
Фото К. Буллы. 1905 г.*

Л. АНДРЕЕВЪ

LEONID ANDREJEW,

▷ Krassny Ssmjeh ◁  
(„Das rote Lachen“!)

КРАСНЫЙ СМѢХЪ.

VERLAG »SNANIJE«  
BERLIN

*Обложка издания:  
Андреев Л. Красный смех.  
Берлин, [1905]*



*Muertos recogidos.*  
Ф. Гойя. "Muertos recogidos" ("Собрание мертвецов").  
Офорт из серии "Бедствия войны"



Кадр из кинофильма "Христиане" (1987).  
В главной роли – Л. Полищук



*Кадры из кинофильмов:  
"Белый орел" (1928; Губернатор – В. Качалов, Сановник – В. Мейерхольд);  
"Губернатор" (1991; Губернатор – Б. Химичев)*



*Иллюстрации к рассказам "Призраки" и "Христиане" в издании:  
Andreyev L. Judas Iscariot. The Christians. The Phantoms. L., 1947.  
Художник Брайен Робб (Brian Robb)*

10 Октября 1905

Кто знает?

кто знает о издании газеты и редакцией Заревания?

Почему Заревание Зуба?

покажи ~~Ваша~~ Километру еврейскому Симон-Томасу, там

и описан: 5X.

длина ~~\_\_\_\_\_~~, Ширина 26

длина 26 см.

О чем известно, ~~\_\_\_\_\_~~ 6

длина ~~\_\_\_\_\_~~ 24

длина 18.

длина 26.

архив и печать Километру 18.

Варшава, а-ч. кто знает, где Километру выданы? в длину 30.

~~\_\_\_\_\_~~ Шмидт.

Смарт:

Иван.

I

Зреть. Слово «издано» верно? или? читать куда то вкрат-  
очу? в каком-то смысле. Везде, но австрия и, Католи-  
кский, но в Католике Католический Католике, Католический Католический  
или? в Католике Католический Католический Католический Католический

“К звездам”.

Автограф ранней редакции.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). С.-Петербург

Самостоятельно?

а если бы и в самом деле было известно и извещено в силу этого  
Звону Фришера - прообразованное молчание Орлово - чужое, каковы бы,  
иногда? Пусть и в самом деле чужое, как и вбого в Голландии  
молчание и слезы в восторг и удивление вбого и восторг и восторг?

Они и восторг, и восторг, и восторг у него молчание вбого - Звон-  
сидраш-быть восторгам и на одном и том же времени в восторгом  
молчании - тогда давай и пока отворились восторгом и восторгом  
сказано. Восторгам - в восторгом и восторгом: восторгом они и восторгом и в-  
восторгом, восторгом восторгом и восторгом, но они и восторгом и восторгом  
- и восторгом восторгом, восторгом восторгом, но восторгом и восторгом и  
~~восторгом~~ восторгом.

А еще было много и восторгом, как и восторгом в мире. Сво-  
Звон, тогда восторгом: <sup>как и восторгом</sup> восторгом и восторгом и восторгом -  
и восторгом восторгом, и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом -  
восторгом; восторгом и восторгом восторгом и восторгом и восторгом и восторгом  
и восторгом и восторгом. Восторгом тогда восторгом и восторгом и восторгом  
и восторгом. Восторгом восторгом восторгом восторгом и восторгом и восторгом.  
Звонком в восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом.

Восторгом и восторгом, кто и восторгом восторгом - и восторгом и восторгом  
и восторгом и восторгом восторгом восторгом и восторгом и восторгом.

И в восторгом восторгом восторгом восторгом восторгом, восторгом  
восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом  
и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом  
и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом  
и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом и восторгом.

А восторгом и восторгом восторгом восторгом и восторгом и восторгом,  
и восторгом. Восторгом, кто восторгом и восторгом восторгом, восторгом

"Из глубины веков".

Автограф рассказа с пометами М. Горького.

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва



## I

Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, собрался в гости к своей прежней любовнице, проститутке, жившей верст за семьдесят от Москвы. На вокзале он сидел в буфете I-го класса, ел пирожки и пил пиво, и ему прислуживал человек во фраке; а потом, когда все двинулись к вагонам, вмешался в толпу и как-то нечаянно, подчиняясь общему возбуждению, вытащил кошелек у соседа, пожилого господина. Денег у Юрасова было достаточно, даже много, и эта случайная, необдуманная кража могла только 10 повредить ему. Так оно и случилось. Господин, кажется, заметил покражу, потому что очень пристально и странно взглянул на Юрасова, и хотя не остановился, но несколько раз оглянулся на него. Второй раз он увидел господина уже из окна вагона: очень взволнованный и растерянный, со шляпой в руках, господин быстро шел по платформе и заглядывал в лица, смотрел назад и кого-то искал в окнах вагонов. К счастью, пробил третий звонок, и поезд тронулся. Юрасов осторожно выглянул: господин, все еще со шляпой в руках, стоял в конце платформы и внимательно 20 осматривал пробегающие вагоны, точно отсчитывая их; и в его толстых ногах, расставленных неловко, как попало, чувствовалась все та же растерянность и удивление. Он стоял, а ему, вероятно, казалось, что он идет: так смешно и необыкновенно были расставлены его ноги.

Юрасов выпрямился, выгнув назад колена, отчего почувствовал себя еще выше, прямее и молодеватее, и с ласковой доверчивостью обеими руками расправил усы. Усы у него были красивые, огромные, светлые, как два золотые серпа, выступавшие по краям лица; и, пока пальцы нежились приятным ощущением мягких и пушистых волос, серые глаза с беспредметной наивной суровостью 30 глядели вниз – на переплетающиеся рельсы соседних путей. Со своими металлическими отблесками и бесшумными извилами они похожи были на торопливо убегающих змей.

Сосчитав в уборной украденные деньги – их было двадцать четыре рубля с мелочью, – Юрасов брезгливо повертел в руках коше-

лек: был он старый, засаленный и плохо закрывался, и вместе с тем от него пахло духами, как будто очень долго он находился в руках женщины. Этот запах, немного нечистый, но возбуждающий, приятно напомнил Юрасову ту, к которой он ехал, и, улыбнувшись, веселый, беспечный, расположенный к дружелюбной беседе, он пошел в вагон. Теперь он старался быть как все, вежливым, приличным, скромным; на нем было надето пальто из настоящего английского сукна и желтые ботинки, и он верил в них, в пальто и в ботинки, и был уверен, что все принимают его за молодого немца, бухгалтера из какого-нибудь солидного торгового дома. По газетам он всегда следил за биржей, знал курс всех ценных бумаг, умел разговаривать о коммерческом деле, и иногда ему казалось, что он, действительно, не крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи и сидевший в тюрьме, а молодой порядочный немец, по фамилии Вальтер, по имени Генрих. Генрих – звала его та, к которой он ехал; товарищи звали его “немцем”.

– Это место свободно? – вежливо осведомился он, хотя сразу видно было, что место свободно, так как на двух диванчиках сидело только двое, отставной офицер, старичок, и дама с покупками, по-видимому дачница. Никто ему не ответил, и с изысканной аккуратностью он опустился на мягкие пружины дивана, осторожно вытянул длинные ноги в желтых ботинках и снял шляпу. Потом дружелюбно оглядел старичка-офицера и даму и положил на колесо свою широкую белую руку так, чтобы сразу заметили на мизинце перстень с огромным бриллиантом. Бриллиант был фальшивый и сверкал старательно и голо, и все действительно заметили, но ничего не сказали, не улыгнулись и не стали дружелюбнее. Старик перевернул газету на новую страницу, дама, молоденькая и красивая, уставилась в окно. И уже со смутным предчувствием, что он открыт, что его опять почему-то не приняли за молодого немца, Юрасов тихонько спрятал руку, которая показалась ему слишком большою и слишком белою, и вполне приличным голосом спросил:

– На дачу изволите ехать?

Дама сделала вид, что не слышит и что она очень задумалась. Юрасов хорошо знал это противное выражение лица, когда человек безуспешно и злобно прячет насторожившееся внимание и становится чужим, мучительно чужим. И, отвернувшись, он спросил у офицера:

– Будьте любезны справиться в газете, как стоят Рыбинские? Я что-то не припомню.

Старик медленно отложил газету и, сурово оттянув губы книзу, уставился на него подслеповатыми, как будто обиженными глазами.

– Что? Не слышу!

Юрасов повторил, и, пока он говорил, старательно разделяя 80 слова, старик-офицер неодобрительно оглядел его, как внука, который нашалил, или солдата, у которого не все по форме, и понемногу начал сердиться. Кожа на его черепе между редких седых волос покраснела, и подбородок задвигался.

– Не знаю, – сердито буркнул он. – Не знаю. Ничего тут нет такого. Не понимаю, о чем только люди спрашивают.

И, уже снова взявшись за газетный лист, несколько раз опускал его, чтобы взглянуть сердито на надоедливого господина. И тогда все люди в вагоне показались Юрасову злыми и чуждыми, и странно стало, что он сидит во II-м классе на мягком пружинном диване, и с глухой тоской и злобой вспоминалось, как постоянно и всюду среди порядочных людей он встречал эту иногда затаенную, а часто открытую, прямую вражду. На нем пальто из настоящего английского сукна, и желтые ботинки, и драгоценный перстень, а они как будто не видят этого, а видят что-то другое, свое, чего он не может найти ни в зеркале, ни в сознании. В зеркале он такой же, как и все, и даже лучше. На нем не написано, что он крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, а не молодой немец Генрих Вальтер. И это неуловимое, непонятное, предательское, что видят в нем все, а только он один 100 не видит и не знает, будит в нем обычную глухую тревогу и страх. Ему хочется бежать, и, оглядываясь подозрительно и остро, совсем теперь не похожий на честного немца-бухгалтера, он выходит большими и сильными шагами.

## II

Было начало июня месяца, и всё перед глазами, до самой дальней неподвижной полоски лесов, зеленело молодо и сильно. Зеленела трава, зеленели посадки в оголенных еще огородах, и всё было так углублено в себя, так занято собою, так глубоко погружено в молчаливую творческую думу, что, если бы у травы и у деревьев было лицо, все лица были бы обращены к земле, все лица были бы задумчивы и чужды, все уста были бы скованы огромным бездонным молчанием. И Юрасов, бледный, печальный, одиноко стоявший на зыбкой площадке вагона, тревожно почувствовал эту стихийную необъятную думу, и от прекрасных, молчаливо-загадочных полей на него повеяло тем же холодом отчуждения, как от людей в вагоне. Высоко над полями стояло небо и тоже смотрело в себя; где-то за спиной Юрасова заходило солнце и по всему 110

простору земли расстилало длинные, прямые лучи, – и никто не  
120 смотрел на него в этой пустыне, никто не думал о нем и не знал.  
В городе, где Юрасов родился и вырос, у домов и улиц есть глаза,  
и они смотрят ими на людей, одни враждебно и зло, другие ласково,  
– а здесь никто не смотрит на него и не знает о нем. И вагоны  
задумчивы: тот, в котором находится Юрасов, бежит нагнувшись  
и сердито покачиваясь; другой, сзади, бежит ни быстрее, ни медленнее,  
как будто сам собой, и тоже как будто смотрит в землю и прислушивается.  
А понизу, под вагонами, стелется разноголосый грохот и шум: то как песня,  
то как музыка, то как чей-то чужой и непонятный разговор – и все о чужом,  
все о далеком.

130 Есть тут и люди. Маленькие, они что-то делают в этой зеленой  
пустыне, и им не страшно. И даже весело им: вот откуда-то принесся  
обрывок песни и утонул в грохоте и музыке колес. Есть тут и дома.  
Маленькие, они разбросались свободно, и окна их смотрят в поле.  
Если ночью подойти к окну, то увидишь поле – открытое, свободное,  
темное поле. И сегодня, и вчера, и каждый день, и каждую ночь  
проходят здесь поезда, и каждый день раскидывается здесь это  
тихое поле с маленькими людьми и домами. Вчера Юрасов в эту пору  
сидел в ресторане “Прогресс” и не думал ни о каком поле, а оно было  
такое же, как сегодня, такое же тихое, красивое, о чем-то думающее.  
140 Вот прошла небольшая роща из старых больших берез с грачиными  
гнездами в зеленых верхушках. И вчера, пока Юрасов сидел в ресторане  
“Прогресс”, пил водку, галдел с товарищами и смотрел на аквариум,  
в котором плавают бессонные рыбы, – все так же глубоко покойно  
стояли эти березы, и мрак был под ними и вокруг них.

Со странной мыслью, что только город – настоящее, а это все  
призрак, и что если закрыть глаза и потом открыть их, то никакого  
поля не будет, – Юрасов крепко зажмурился и притих. И сразу  
стало так хорошо и необыкновенно, что уже не захотелось снова  
150 открывать глаза, да и не нужно было: исчезли мысли и сомнения  
и глухая постоянная тревога; тело безвольно и сладко колыхалось  
в такт колыханиям вагона, и по лицу нежно струился теплый и  
осторожный воздух полей. Он доверчиво поднимал пушистые усы  
и шелестел в ушах, а внизу под ногами расстился ровный и мелодичный  
шум колес, похожий на музыку, на песню, на чей-то разговор о далеком,  
грустном и милом. И Юрасову смутно грезилось, что от самых ног  
его, от склоненной головы и лица, трепетно чувствующего мягкую  
пустоту пространства, – начинается зелено-голубая бездна, полная  
тихих слов и робкой, притаившейся ласки. И так странно – как будто  
160 где-то далеко шел тихий и теплый дождь.

Поезд замедлил бег и остановился на мгновение, на одну минуту. И сразу, со всех сторон Юрасова охватила такая необъятная и сказочная тишина, как будто это была не минута, пока стоял поезд, а годы, десятки лет, вечность. И все было тихо: темный, облитый маслом маленький камень, прильнувший к железному рельсу, угол красной крытой платформы, низенькой и пустынной, трава на откосе. Пахло березовым листом, лугами, свежим навозом – и этот запах был все той же всевременною необъятной тишиною. На смежное полотно, неуклюже цепляясь за поручни, 170 соскочил какой-то пассажир и пошел. И такой был он странный, необыкновенный в этой тишине, как птица, которая всегда летает, а теперь вздумала пойти. Здесь нужно летать, а он шел, и тропинка была длинная, безвестная, а шаги его маленькие и короткие. И так смешно перебирал он ногами – в этой необъятной тишине.

Бесшумно, точно сам стыдясь своей громогласности, двинулся поезд и только за версту от тихой платформы, когда бесследно сгнула она в зелени леса и полей, свободно загрохотал он всеми звеньями своего железного туловища. Юрасов в волнении прошелся по площадке, такой высокий, худощавый, гибкий, 180 бессознательно расправил усы, глядя куда-то вверх блестящими глазами, и жадно прильнул к железной задвижке, с той стороны вагона, где опускалось за горизонт красное огромное солнце. Он что-то нашел; он понял что-то, что всю жизнь ускользало от него и делало эту жизнь такой неуклюжею и тяжелой, как тот пассажир, которому нужно было бы лететь как птице, а он шел.

– Да, да, – серьезно и озабоченно твердил он и решительно покачивал головою. – Конечно, так. Да. Да.

И колеса гулко и разногласно подтверждали: “Конечно, так, да, да”. “Конечно, так, да, да”. И как будто так и нужно было: 190 не говорить, а петь, – Юрасов запел сперва тихонько, потом все громче и громче, пока не слился его голос со звоном и грохотом железа. И тактом для этой песни был стук колес, а мелодией – вся гибкая и прозрачная волна звуков. Но слов не было. Они не успевали сложиться; далекие, и смутные, и страшно широкие, как поле, они пробегали где-то с безумной быстротою, и человеческий голос свободно и легко следовал за ними. Он поднимался и падал; и стлался по земле, скользя по лугам, пронизывая лесную чащу; и легко возносился к небу, теряясь в его безбрежности. Когда весною выпускают птицу на свободу, она должна лететь так, 200 как этот голос: без цели, без дороги, стремясь исчертить, обнять, почувствовать всю звонкую ширь небесного пространства. Так, вероятно, запели бы сами зеленые поля, если бы дать им голос;

так поют в летние тихие вечера те маленькие люди, что копошатся над чем-то в зеленой пустыне.

Юрасов пел, и багровый ответ заходящего солнца горел на его лице, на его пальто из английского сукна и желтых ботинках. Он пел, провожая солнце, и все грустнее становилась его песня: как будто почувствовала птица звонкую ширь небесного пространства, содрогнулась неведомой тоскою и зовет кого-то: приди.

Солнце зашло, и серая паутина легла на тихую землю и тихое небо. Серая паутина легла на лицо, меркнут на нем последние отблески заката, и мертвеет оно. Приди ко мне! отчего ты не приходишь? Солнце зашло, и темнеют поля. Так одиноко и так больно одинокому сердцу. Так одиноко, так больно. Приди. Солнце зашло. Темнеют поля. Приди же, приди!

Так плакала его душа. А поля все темнели, и только небо над ушедшим солнцем стало еще светлее и глубже, как прекрасное лицо, обращенное к тому, кого любят и кто тихо, тихо уходит.

220

### III

Проследовал контроль, и кондуктор вскользь грубо заметил Юрасову:

– На площадке стоять нельзя. Идите в вагон.

И ушел, сердито хлопнув дверью. И так же сердито Юрасов послал ему вдогонку:

– Болван!

Ему подумалось, что все это, и грубые слова и сердитое хлоппанье дверью, все это идет оттуда, от порядочных людей в вагоне. И снова, чувствуя себя немцем, Генрихом Вальтером, он обидчиво и раздраженно, высоко поднимая плечи, говорил воображаемому солидному господину:

– Нет, какие грубияны! Всегда и все стоят на площадке, а он: нельзя. Черт знает что!

Потом была остановка с ее внезапной и властной тишиною. Теперь, к ночи, трава и лес пахли еще сильнее, и сходявшие люди уже не казались такими смешными и тяжелыми: прозрачные сумерки точно окрылили их, и две женщины в светлых платьях, казалось, не пошли, а полетели как лебеди. И снова стало хорошо и грустно и захотелось петь, – но голос не слушался, на язык подвертывались какие-то ненужные и скучные слова, и песня не выходила. Хотелось задуматься, заплакать сладко и безутешно, а вместо того все представляется какой-то солидный господин, которому он говорит вразумительно и веско:

– А вы заметили, как поднимаются Сормовские?

И темные сдвинувшиеся поля снова думали о чем-то своем, были непонятны, холодны и чужды. Разноголосо и бестолково толкались колеса, и казалось, что все они цепляются друг за друга и друг другу мешают. Что-то стучало между ними и скрипело ржавым скрипом, что-то отрывисто шаркало: было похоже на толпу пьяных, глупых, бестолково блуждающих людей. Потом 250 эти люди стали собираться в кучку, перестраиваться, и все заперестрели яркими кафешантанными костюмами. Потом двинулись вперед и все разом пьяным, разгульным хором гаркнули:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Так омерзительно-живо вспомнилась Юрасову эта песня, которую он слышал во всех городских садах, которую пели его товарищи и он сам, что захотелось отмахиваться от нее руками, как от чего-то живого, как от камней, брошенных из-за угла. И такая жестокая власть была в этих жутко бессмысленных словах, липких и наглых, что весь длинный поезд сотнею крутящихся колес 260 подхватил их:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Что-то бесформенное и чудовищное, мутное и липкое тысячами толстых губ присасывалось к Юрасову, целовало его мокрыми нечистыми поцелуями, гоготало. И орало оно тысячами глоток, свистало, выло, клубилось по земле, как бешеное. Широкими круглыми рожами представлялись колеса, и сквозь бесстыжий смех, уносясь в пьяном вихре, каждое стучало и выло:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

И только поля молчали. Холодные и спокойные, глубоко погруженные в чистую творческую думу, они ничего не знали о человеке далекого каменного города и чужды были его душе, встревоженной и ошеломленной мучительными воспоминаниями. Поезд уносил Юрасова вперед, а эта наглая и бессмысленная песня звала его назад, в город, тащила грубо и жестоко, как беглеца-неудачника, пойманного на пороге тюрьмы. Он еще упирается, он еще тянется руками к неизведанному счастливому простору, а в голове его уже встают, как роковая неизбежность, жестокие картины неволи среди каменных стен и железных решеток. И то, что поля так холодны и равнодушны и не хотят ему помочь, как чу- 280 жому, наполняет Юрасова чувством безысходного одиночества. И Юрасов пугается – так неожиданно, так огромно и ужасно это чувство, выбрасывающее его из жизни, как мертвого. Если бы он заснул на тысячу лет и проснулся среди нового мира и новых людей, он не был бы более одинок, более чужд всему, чем теперь. Он хочет вызвать из памяти что-нибудь близкое, милое, но его нет,

а наглая песня ревет в поработанном мозгу и родит печальные и жуткие воспоминания, бросающие тень на всю его жизнь. Вот тот же сад, где пели эту “Маланью”. И в этом саду он украл что-то, и его ловили, и все были пьяны: и он, и те, кто гнались за ним с криком и свистом. Он спрятался где-то, в каком-то темном углу, в черной дыре, и его потеряли. Он долго сидел там, возле каких-то старых досок, из которых торчали гвозди, рядом с развалившейся бочкою засохшей извести; чувствовались свежесть и покой разрыхленной земли, и молодым тополем сильно пахло, а по дорожкам, недалеко от него, гуляли разодетые люди, и музыка играла. Прошла мимо серая кошка, задумчивая, равнодушная к слову и музыке, – такая неожиданная в этом месте. И она была добрая кошка: Юрасов позвал ее: “кыс-кыс”, и она подошла, помурлыкала, потерялась у его колен и дала поцеловать себя в мягкую мордочку, пахнущую мехом и селедкой. От его поцелуев она зачихала и ушла, такая важная и равнодушная, как высокопоставленная дама, а он после этого вылез из своей засады, и его схватили.

Но там была хоть кошка, а здесь только равнодушные и сытые поля, и Юрасов начинает ненавидеть их всюю силою своего одиночества. Если бы дать ему силу, он забросал бы их камнями; он собрал бы тысячу людей и велел бы вытоптать догола нежную лживую зелень, которая всех радует, а из его сердца пьет последнюю кровь. Зачем он поехал? Теперь он сидел бы в ресторане “Прогресс” и пил бы вино, и разговаривал, и смеялся. И он начинает ненавидеть ту, к которой едет, убогую и грязную подругу своей грязной жизни. Теперь она богатая и сама содержит девушек для продажи; она любит его и дает ему денег, сколько он захочет, а он приедет и изобьет ее до крови, до поросычьего визга. А потом он напьется пьян и будет плакать, душить себя за горло и петь рыдая:

– Маланья моя...

Но колеса уже не поют. Устало, как больные дети, они жалобно рокочут и точно жмутся друг к другу, ища ласки и покоя. С высоты спокойно глядит на него строгое звездное небо, и со всех сторон обнимает его строгая, девственная тьма полей, и одинокие огоньки в ней – как слезы чистой жалости на прекрасном задумчивом лице. А далеко впереди маячит зарево станционных огней, и оттуда, от этого светлого пятна, вместе с теплым и свежим воздухом ночи прилетают мягкие и нежные звуки музыки. Кошмар исчез, – и с привычной легкостью человека, который не имеет места на земле, Юрасов сразу забывает его и взволнованно прислушивается, улавливая знакомую мелодию.

– Танцуют! – говорит он и вдохновенно улыбается и счастливыми глазами оглядывается кругом, поглаживая себя руками, 330 точно обмываясь. – Танцуют! Ах, ты, черт возьми. Танцуют!

Расправляет плечи, незаметно выгибается в такт знакомому танцу, весь наполняется живым чувством ритмического красивого движения. Он очень любит танцы и, когда танцует, становится очень добр, ласков и нежен, и уже не бывает ни немцем Генрихом Вальтером, ни Федором Юрасовым, которого постоянно судят за кражи, а кем-то третьим, о ком он ничего не знает. И когда с новым порывом ветра рой звуков уносится в темное поле – Юрасов пугается, что это навсегда, и чуть не плачет. Но еще более громкими и радостными, словно сил набравшись в темном поле, воз- 340  
вращаются умчавшиеся звуки, и Юрасов счастливо улыбается:

– Танцуют. Ах, ты, черт возьми!

#### IV

Возле самой станции танцевали. Дачники устроили бал: пригласили музыку, навешали вокруг площадки красных и синих фонариков, загнав ночную тьму на самую верхушку деревьев. Гимназисты, барышни в светлых платьях, студенты, какой-то молоденький офицер со шпорами, такой молоденький, как будто он нарочно нарядился военным, – плавно кружились по широкой площадке, поднимая песок ногами и развевающимися платьями. 350 При обманчивом сумеречном свете фонариков все люди казались красивыми, а сами танцующие – какими-то необыкновенными существами, трогательными в своей воздушности и чистоте. Кругом ночь, а они танцуют; если только на десять шагов отойти в сторону от круга, необъятный всевластный мрак поглотит человека, – а они танцуют, и музыка играет для них так обаятельно, так задумчиво и нежно.

Поезд стоит пять минут, и Юрасов вмешивается в толпу любопытных: темным бесцветным кольцом облегли они площадку и цепко держатся за проволоку, такие ненужные, бесцветные. 360 И одни из них улыбаются странно осторожной улыбкой, другие хмуры и печальны – той особенной бледной печалью, какая рождается у людей при виде чужого веселья. Но Юрасову весело: вдохновенным взглядом знатока он приглядывается к танцорам, одобряет, легонько притоптывает ногой и внезапно решает:

– Не поезду. Останусь танцевать!

Из круга, небрежно раздвигая толпу, выходят двое: девушка в белом и высокий юноша, почти такой же высокий, как Юра-

сов. Вдоль полусонных вагонов, в конец дощатой платформы, где  
370 сторожко насупился мрак, идут они, красивые, и как будто несут  
с собою частицу света: Юрасову положительно кажется, что де-  
вушка светится – так бело ее платье, так черны брови на ее белом  
лице. С уверенностью человека, который хорошо танцует, Юра-  
сов нагоняет идущих и спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, где здесь можно достать билеты на  
танцы?

У юноши нет усов. Строгим взглядом влоборота он окиды-  
вает Юрасова и отвечает:

– Здесь только свои.

380 – Я проезжий. Меня зовут Генрих Вальтер.

– Вам же сказано: здесь только свои.

– Меня зовут Генрих Вальтер, Генрих Вальтер.

– Послушайте! – Юноша угрожающе останавливается, но де-  
вушка в белом увлекает его.

Если бы она только взглянула на Генриха Вальтера! Но она не  
смотрит и, вся белая, светящаяся, как облако противу луны, долго  
еще светится во мраке и бесшумно тает в нем.

– И не надо! – гордо вслед им шепчет Юрасов, а в душе его  
становится так бело и холодно, как будто снег там выпал – белый,

390 чистый, мертвый снег.

Поезд еще стоит почему-то, и Юрасов прохаживается вдоль  
вагонов, такой красивый, строгий и важный в своем холодном  
отчаянии, что теперь никто не принял бы его за вора, трижды  
судившегося за кражи и много месяцев сидевшего в тюрьме. И он  
спокоен, все видит, все слышит и понимает, и только ноги у него  
как резиновые – не чувствуют земли, да в душе что-то умирает,  
тихо, спокойно, без боли и содрогания. Вот и умерло оно.

Музыка снова играет, и в ее плавные танцующие звуки вме-  
шиваются отрывки странного, пугающего разговора:

400 – Слушайте, кондуктор, отчего не идет поезд?

Юрасов замедляет шаги и вслушивается. Кондуктор сзади  
равнодушно отвечает:

– Стоит, стало быть, есть причина. Машинист танцевать по-  
шел.

Пассажир смеется, и Юрасов идет дальше. На обратном пути  
он слышит, как два кондуктора говорят:

– Будто он в этом поезде.

– А кто же его видел?

– Да никто не видел. Жандарм сказывал.

410 – Врет твой жандарм, вот что. Тоже не глупее его люди...

Бьет звонок, и Юрасов одну минуту в нерешимости. Но с той стороны, где танцы, идет девушка в белом с кем-то под руку, и он вскакивает на площадку и переходит на другую ее сторону. Так он и не видит ни девушки в белом, ни танцующих; только музыка в одно мгновение обдает его затылок волною горячих звуков, и все пропадает в темноте и молчании ночи. Он один на зыбкой площадке вагона, среди смутных силуэтов ночи; все движется, все идет куда-то, не задевая его, такое постороннее и призрачное, как образы сна для спящего человека.

## V

420

Толкнув дверь Юрасова и не заметив его, через площадку быстро прошел кондуктор с фонарем и скрылся за следующей дверью. Ни его шагов, ни даже хлопанья двери не было слышно за грохотом поезда, но вся его смутная, расплывающаяся фигура с торопливыми наступающими движениями произвела впечатление мгновенного, резко оборванного вскрика. Юрасов похолодел, что-то быстро соображая, – и как огонь вспыхнула в его мозгу, в его сердце, во всем его теле одна огромная и страшная мысль: его ловят. О нем телеграфировали, его видели, его узнали и теперь ловят по вагонам. Тот “он”, о котором так загадочно говорили 430 кондуктора, есть именно Юрасов: и так страшно – узнать и найти себя в каком-то безличном “он”, о котором говорят посторонние, незнакомые люди.

И теперь они продолжают говорить о “нем”, ищут “его”. Да, там, от последнего вагона идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарями, они рассматривают пассажиров, заглядывают в темные углы, будят спящих, шепчутся между собою – и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной неизбежностью приближаются к “нему”, к Юрасову, к тому, кто стоит на площадке и прислушивается, вытянув шею. 440 И поезд несется с свирепой быстротой, и колеса уже не поют и не говорят. Они кричат железными голосами, они шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою – остервенелая стая разбуженных псов.

Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: спрыгнуть при такой быстроте нельзя, до ближайшей остановки еще далеко; нужно пройти на перед поезда и там ждать. Пока они обыщут все вагоны, может что-нибудь случиться – та же остановка и замедление хода, и он соскочит. И в первую дверь он входит спокойно, улыбаясь, чтобы не казаться подозри- 450

тельным, держа наготове изысканно-вежливое и убедительное “pardon!” – но в полутемном вагоне III-го класса так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода и теряется в чувстве нового неожиданного страха. Как пробиться сквозь эту стену? Люди спят, но их цепкие ноги отовсюду тянутся к проходу и загораживают его: они выходят откуда-то снизу, они свисают с полок, задевая голову и плечи, они перекидываются с одной лавочки на другую – вялые, как будто податливые и страшно враждебные в своем стремлении вернуться на прежнее место, принять прежнюю позу. Как пружины, они сгибаются и выпрямляются вновь, грубо и мертво толкая Юрасова, наводя на него ужас своим бессмысленным и грозным сопротивлением. Наконец он у двери, но, как железные болты, ее перегораживают две ноги в огромных сборчатых сапогах; злобно отброшенные, они упрямо и тупо возвращаются к двери, упираются в нее, выгибаются так, будто у них совсем нет костей, – и в узенькую щель едва пролезает Юрасов. Он думал, что это уже площадка, а это только новое отделение вагона – с тою же частою сетью нагроможденных вещей и точно оторванных человеческих членов. И когда, нагнувшись как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как у быка, и темный ужас животного, которое преследуют, и оно ничего не понимает, охватывает его черным заколдованным кругом. Он дышит тяжело, прислушивается, ловит в грохоте колес звуки приближающейся погони и, нагнувшись как бык, преодолевая ужас, идет к темной, безмолвной двери. А за нею снова бестолковая борьба, снова бессмысленное и грозное сопротивление злых человеческих ног.

В вагоне I-го класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которым не спится. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках, и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавеску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.

– Pardon! – говорит он с тоскою. – Pardon.

Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота

ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.

– Pardon! – говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкою неохотно придвигается к стене.

А потом снова эти ужасные вагоны III-го класса – как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена 500 багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.

И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая стена, на которую он измученно оперся, тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет и снова толкнет – как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, 510 задыхаясь и стеноя от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся, тупо-упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всю свою топчущей громадой они устремятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один – а их тысячи, их миллионы, они весь мир: они сзади его и впереди, и со всех сторон, и нигде нет от них спасенья.

Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится 520 перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах, какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, одни их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом, а там, за несколько вагонов сзади, быть может за четыре, быть может только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью 530 подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери... еще одни двери...

Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полосу, закрывающую вход, и, перегнув-

шись, закинул руки вверх; он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба – и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка, он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающейся материи. Это зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов ощупывает вырванный клоч, как будто это самое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..

После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо с фонарями, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч, от одного конца к другому. И уже снова он хочет, бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона – когда огненный, хриплый ширококозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно громкое:

– А-га-а-а!..

И когда из мрака впереди пронесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда, он отбросил железную перекладину и спрыгнул туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом, – прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.

Значения их он не понял.

*Сентябрь 1904 г.*

## БЕН-ТОВИТ

В тот страшный день, когда совершилась мировая несправедливость и на Голгофе среди разбойников был распят Иисус Христос, – в тот день с самого раннего утра у иерусалимского торговца Бен-Товита нестерпимо разболелись зубы. Началось это еще накануне, с вечера: слегка стало ломить правую челюсть, а один зуб, крайний перед зубом мудрости, как будто немного приподнялся и, когда к нему прикасался язык, давал легкое ощущение боли. После еды боль, однако, совершенно утихла, и Бен-Товит совсем забыл о ней и успокоился – он в этот день выгодно выменял своего старого осла на молодого и сильного, был очень весел и не придавал значения зловещим признакам. 10

И спал он очень хорошо и крепко, но перед самым рассветом что-то начало тревожить его, как будто кто-то звал его по какому-то очень важному делу, и когда Бен-Товит сердито проснулся – у него болели зубы, болели открыто и злобно, всею полнотою острой сверлящей боли. И уже нельзя было понять, болел ли это вчерашний зуб, или к нему присоединились и другие: весь рот и голова полны были ужасным ощущением боли, как будто Бен-Товита заставили жевать тысячу раскаленных докрасна, острых гвоздей. Он взял в рот воды из глиняного кувшина – на минуту ярость боли исчезла, зубы задергались и волнообразно заколыхались, и это ощущение было даже приятно по сравнению с предыдущим. Бен-Товит снова улегся, вспомнил про нового ослика и подумал, как бы был он счастлив, если бы не эти зубы, и хотел уснуть. Но вода была теплая – и через пять минут боль вернулась еще более свирепая, чем прежде, и Бен-Товит сидел на постели и раскачивался как маятник. Все лицо его сморщилось и собралось к большому носу, а на носу, побледневшем от страданий, застыла капелька холодного пота. Так, покачиваясь и стеноя от боли, он встретил первые лучи того солнца, которому суждено было видеть Голгофу с тремя крестами и померкнуть от ужаса и горя. 30

Бен-Товит был добрый и хороший человек, не любивший несправедливости, но, когда проснулась его жена, он, еле разжимая рот, наговорил ей много неприятного и жаловался, что его оста-

вили одного, как шакала, выть и корчиться от мучений. Жена терпеливо приняла незаслуженные упреки, так как знала, что не от злого сердца говорятся они, и принесла много хороших лекарств: крысиного очищенного помета, который нужно прикладывать к щеке, острой настойки на скорпионе и подлинный осколок камня от разбитой Моисеем скрижали завета. От крысиного помета стало несколько лучше, но ненадолго, так же от настойки и камешка, но всякий раз после кратковременного улучшения боль возвращалась с новой силой. И в краткие минуты отдыха Бен-Товит утешал себя мыслью об ослике и мечтал о нем, а когда становилось хуже – стонал, сердился на жену и грозил, что разобьет себе голову о камень, если не утихнет боль. И все время ходил из угла в угол по плоской крыше своего дома, стыдясь близко подходить к наружному краю, так как вся голова его была обвязана платком, как у женщины. Несколько раз к нему прибежали дети и что-то рассказывали торопливыми голосами о Иисусе Назорее. Бен-Товит останавливался, минуту слушал их, сморщив лицо, но потом сердито топал ногой и прогонял: он был добрый человек и любил детей, но теперь он сердился, что они пристают к нему со всякими пустяками.

Было также неприятно и то, что на улице и на соседних крышах собралось много народу, который ничего не делал и любопытно смотрел на Бен-Товита, обвязанного платком, как женщина. И он уже собирался сойти вниз, когда жена сказала ему:

– Посмотри, вон ведут разбойников. Быть может, это развлечет тебя.

– Оставь меня, пожалуйста. Разве ты не видишь, как я страдаю? – сердито ответил Бен-Товит.

Но в словах жены звучало смутное обещание, что зубы могут пройти, и нехотя он подошел к парапету. Склонив голову набок, закрыв один глаз и подпирая щеку рукою, он сделал брезгливо-плачущее лицо и посмотрел вниз.

По узенькой улице, поднимавшейся в гору, беспорядочно двигалась огромная толпа, окутанная пылью и несмолкающим криком. По середине ее, сгибаясь под тяжестью крестов, двигались преступники, и над ними вились, как черные змеи, бичи римских солдат. Один – тот, что с длинными светлыми волосами, в разорванном и окровавленном хитоне, – споткнулся на брошенный под ноги камень и упал. Крики сделались громче, и толпа, подобно разноцветной морской воде, сомкнулась над упавшим. Бен-Товит внезапно вздрогнул от боли – в зуб точно вонзил кто-то раскаленную иглу и повернул ее, – застонал: “У-у-у”, – и отошел от парапета, брезгливо-равнодушный и злой.

– Как они кричат! – завистливо сказал он, представляя широко открытые рты с крепкими неболеющими зубами и как бы закричал он сам, если бы был здоров.

И от этого представления боль освирепела, и он часто замотал 80  
обязанной головой и замычал: “М-у-у...”

– Рассказывают, что Он исцелял слепых, – сказала жена, не отходявшая от парапета, и бросила камешек в то место, где медленно двигался поднятый бичами Иисус.

– Ну, конечно! Пусть бы Он исцелил вот мою зубную боль, – иронически ответил Бен-Товит и раздражительно, с горечью добавил: – Как они пылят! Совсем как стадо! Их всех нужно бы разогнать палкой! Отведи меня вниз, Сара!

Жена оказалась права: зрелище несколько развлекло Бен-Товита, а быть может, помог в конце концов крысиный помет, и ему удалось уснуть. А когда он проснулся, боль почти исчезла, и только на 90  
правой челюсти вздулся небольшой флюс, настолько небольшой, что его едва можно было заметить. Жена говорила, что совсем незаметно, но Бен-Товит лукаво улыбался: он знал, какая добрая у него жена и как она любит сказать приятное. Пришел сосед, кожевник Самуил, и Бен-Товит водил его посмотреть на своего ослика и с гордостью выслушивал горячие похвалы себе и животному.

Потом, по просьбе любопытной Сары, они втроем пошли на Голгофу посмотреть на распятых. Дорогою Бен-Товит рассказывал Самуилу с самого начала, как вчера он почувствовал лому 100  
ту в правой челюсти и как потом ночью проснулся от страшной боли. Для наглядности он делал страдальческое лицо, закрывал глаза, мотал головой и стонал, а седобородый Самуил сочувственно качал головою и говорил:

– Ай-ай-ай! Как больно!

Бен-Товиту понравилось одобрение, и он повторил рассказ и потом вернулся к тому отдаленному времени, когда у него испортился еще только первый зуб, внизу с левой стороны. Так в оживленной беседе они пришли на Голгофу. Солнце, осужденное светить миру в этот страшный день, закатилось уже за отдаленные холмы, и на западе 110  
горела, как кровавый след, багрово-красная полоса. На фоне ее неразборчиво темнели кресты, и у подножия среднего креста смутно белели какие-то коленопреклоненные фигуры.

Народ давно разошелся; становилось холодно, и, мельком взглянув на распятых, Бен-Товит взял Самуила под руку и осторожно повернул его к дому. Он чувствовал себя особенно красноречивым, и ему хотелось досказать о зубной боли. Так шли они, и Бен-Товит под сочувственные кивки и возгласы Самуила делал страдальческое лицо, мотал головой и искусно стонал, – а из глубоких ущелий, с далеких обожженных равнин поднималась черная ночь. Как будто 120  
хотела она сокрыть от взоров неба великое злодеяние земли.

## МАРСЕЛЬЕЗА

Это было ничтожество: душа зайца и бесстыдная терпеливость рабочего скота. Когда судьба насмешливо и злобно бросила его в наши черные ряды, мы смеялись как сумасшедшие: ведь бывают же такие смешные, такие нелепые ошибки. А он – он, конечно, плакал. Я никогда в жизни не встречал человека, у которого было бы так много слез и они текли бы так охотно – из глаз, из носа, изо рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая в кулак. И в наших рядах я видел плачущих мужчин, но их слезы  
10 были огонь – от которого бежали дикие звери. От этих мужественных слез старело лицо и молодели глаза: как лава, исторгнутая из раскаленных недр земли, они выжигали неизгладимые следы и хоронили под собою целые города ничтожных желаний и мелких забот. А у этого, когда он поплачет, только краснел его носик да намокал платочек. Вероятно, он сушил его потом на веревочке, иначе откуда набрал бы он столько платков?

И во все дни изгнания он таскался к начальникам, ко всем начальникам, какие только были и каких он мог придумать, кланялся, плакал, клялся в своей невиновности, умолял пожалеть его  
20 молодость, давал обещания на всю жизнь не открывать рта иначе, как для просьб и славословий. И те смеялись над ним, как и мы, и называли его: “маленькая несчастная свинья”, и кричали ему:

– Эй ты, маленькая свинья!

И он послушно бежал на зов: он думал каждый раз услышать весть о возвращении на родину, а они только шутили. Они знали, как и мы, что он невиновен, но его муками они думали напугать других маленьких свиной – как будто и так не достаточно трусливы они!

Приходил он и к нам, гонимый животным страхом одиночества; но суровы и замкнуты были наши лица, и тщетно он искал  
30 ключа. Теряясь, он называл нас милыми товарищами и друзьями, а мы качали головой и говорили:

– Смотри! Тебя услышат.

И он позволял себе глядеть на дверь, эта маленькая свинья. Ну разве можно было сохранить серьезность! И мы смеялись

отвыкшими от смеха голосами, а он, ободренный и утешенный, присаживался ближе и рассказывал, и плакал о своих любимых книжечках, оставшихся на столе, о своей мамаше и братцах, о которых он не знает, – живы они или уже умерли от страха и тоски.

Под конец мы его выгоняли.

Когда началась голодовка, его охватил ужас – невыразимо-комичный ужас. Ведь он очень любил покушать, бедная свинья, и он очень боялся милых товарищей и очень боялся начальников: растерянно бродил он среди нас и часто вытирал платком лоб, на котором выступило что-то – слезы или пот. И нерешительно спросил меня:

– Вы долго будете голодать?

– Долго, – сурово ответил я.

– А потихоньку вы ничего не будете есть?

– Мамаши будут присылать нам пирожков, – серьезно согласился я.

50

Он недоверчиво посмотрел на меня, покачал головой и, вздохнув, ушел. А на другой день заявил, зеленый от страха как попугай:

– Милые товарищи! Я тоже буду голодать с вами.

И был общий ответ:

– Голодай один.

И он голодал! Мы не верили, как не верите вы, мы думали, что он ест что-нибудь потихоньку, и так же думали надсмотрщики. И когда под конец голодовки он заболел голодным тифом, мы только пожалы плечами: “Бедная маленькая свинья!” Но один из нас – тот, что никогда не смеялся, угрюмо сказал:

– Он наш товарищ. Пойдемте к нему.

Он бредил, и жалок, как вся его жизнь, был этот бессвязный бред. О своих любимых книжечках говорил он, о мамаше и братцах; он просил пирожков и клялся, что невиновен, и просил прощения. И родину он звал, звал милую Францию, – о, будь проклято слабое сердце человека! Он душу раздирал этим зовом: “Милая Франция!”

Мы все были в палате, когда он умирал. Сознание вернулось к нему перед смертью, и тихо он лежал, такой маленький, слабый, и тихо стояли мы, его товарищи. И все мы, все до единого, слышали, как он сказал:

– Когда я умру, пойте надо мною “Марсельезу”.

– Что ты говоришь! – воскликнули мы, содрогаясь от радости и закипающего гнева.

И он повторил:

– Когда я умру, пойте надо мною “Марсельезу”.

И впервые случилось так, что сухи были его глаза, а мы – мы плакали, плакали все до единого, и, как огонь, от которого бегут  
80 дикие звери, горели наши слезы.

Он умер, и мы пели над ним “Марсельезу”. Молодыми и сильными голосами пели мы великую песню свободы, и грозно вторил нам океан и на хребтах валов своих нес в милую Францию и бледный ужас и кроваво-красную надежду. И навсегда стал он знаменем нашим – это ничтожество с телом зайца и рабочего скота и великою душою человека. На колени перед героем, товарищи и друзья!

Мы пели. На нас смотрели ружья, зловеще щелкали их замки, и острые жала штыков угрожающе тянулись к нашим сердцам, –  
90 и все громче, все радостнее звучала грозная песня; в нежных руках бойцов тихо колыхался черный гроб.

Мы пели “Марсельезу”!

*Август 1903 г.*

## ХРИСТИАНЕ

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы – они так и назывались “судебные драмы”, – и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались 10 пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни, и особенно там, где изо дня в день разыгрываются “судебные драмы”. Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то брэнчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики – слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любитесь. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликивает свидетелей: 20

- Ефимов! Как ваше имя, отчество?
- Ефим Петрович Ефимов.
- Согласны принять присягу?
- Согласен.
- Отойдите к стороне. Карасев!
- Андрей Егорыч... Согласен.
- Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отхо- 30 дят к стороне; других вопрос застаёт врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия, или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали

полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он обрачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

– Согласны принять присягу? Отойдите...

– Нет.

50 Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко – голос был женский, – но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел в список.

– Пелагея Васильева Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

– Нет.

60 Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпку и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

– Да вы православная?

– Православная.

– Отчего же вы не хотите присягать?

70 Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите, – вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

– Нет.

– Не сектантка?

– Нет.

– Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично, – понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать, – понимаете? Теперь согласны? 80

– Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

– Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

– Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет? 90

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

– Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

– Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт каким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. “Нужно бы зажечь электричество...” – думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу: 100

– С сумочкой...

110

Тот молча кивает головой.

– Ну так что же, что проститутка? – говорит председатель, и слово “проститутка” произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: “убийца”, “грабитель”, “жертва”. – Ведь вы же христианка?

– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который 120

все время улыбался, и спрашивает его согласия. Та же улыбка и кивок головы.

– Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка, – вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

– Теперь вы хватили... Разбойник – а потом товарищ прокурора!.. И потом, торгует, – кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

– Так вот, – говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена, – свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

– Нет.

– Нет? Почему же?

– Как же я такая пойду в церковь?

– Но у исповеди и у святого причастия бываете?

– Нет.

Свидетельница отвечает негромко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом “нет” в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее, радостно шепчет для всеобщего сведения:

– Вот так загвоздила!

– Ну, а Богу-то вы молитесь, конечно?

– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

– Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких...  
160 Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

– Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

– Проститутка!.. – быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: “Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...”

– Вы согласны принять присягу?

– Согласна.

– Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

– Согласна! – густым контральто, почти басом отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

– Ну вот видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же?

Караулова молчит.

– Не согласны?

– Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и 180 председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

– Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы, не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

– Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

– Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...

– Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

– Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

– Все мы, сударыня, грешны перед Господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и Ему, Многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно 200 Богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас Господь, памятуя, что без воли Его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на преме-

нение воли Божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает Господь болезни и потерю имущества; вы же, в гордыне вашей...

210 – Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

– ...предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной церковью. Вы знаете Символ веры?

– Нет.

– Но вы веруете в Господа нашего Иисуса Христа?

– Как же, верую.

– Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

220 – Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа... – подтверждает председатель.

– Нет! – решительно отвечает Караулова. – Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианка, я не была бы такая. Я и Богу-то не молюсь.

– Это правда... – подтвердила свидетельница Пустошкина. – Она никогда не молится. К нам в дом – дом у нас хороший, пятнадцатирублевый – икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.

230 – Господь наш Иисус Христос, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покаялась...

– Так она покаялась; а я разве каялась?

– Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

– Нет. Разве когда старая буду или помирать начну, тогда покаюсь, – да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покаялась. Нет уж, дело конченное.

– Какое уже тогда покаяние! – басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко. – Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там, хват, и покаялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.

240 Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевелинулась.

“Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, – подумал защитник, – у этой грудь, как кузнечные мехи. С тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню”.

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

– Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что беспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналоя, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого борода за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

– Вот так загвоздила! – шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову, поспешно крутил усики и что-то соображал.

Суд совещался.

– Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно говорил председатель. – Ее люди в царство небесное тащат, а она... 260

– По моему мнению, – сказал член суда, – нужно бы освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

– Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделяет!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать. 270

– Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

– Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

– Обвиняемая, – виноват, свидетельница, – как вас зовут?

– Груша. 280

– Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...

– Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.

– Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?

– Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

– Но вы же...

Председатель перебил:

– Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей. Вы поглядите! 290

– Тогда я ничего не имею...

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд на обвиняемого и защитника.

Караулова ждала. Получалось что-то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на залу и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин пристав!  
300 Если кто будет разговаривать, то удалите его из залы.

Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:

– Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?

– Восемь лет.

– А до того чем занимались?

– В горничных служила.

– А кто обольстил? Сынок или хозяин?

310 – Хозяин.

– А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в рядах.

– Стоило из-за этого идти!

– Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

– Дети были?

– Один был.

– Куда девала?

– В воспитательном помер.

320 – А больна была?

– Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

– И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

– Бывают старички и больше дают! – вступилась за подругу Пустошкина. – Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

– Свидетельница, молчите, – вас не спрашивают! – строго  
330 остановил председатель. – Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

– Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло... – тонким, почти детским голоском сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полуша-

рий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы. – Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с Богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: “Не христианка я”; а завтра воровать по этой же причине пойдешь либо кого из гостей сонным зельем опоишь, – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены; а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуль на свете не живи.

– Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

– Вот попадется такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь.

– Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают... – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти, – спасибо, застрял. “Я, говорит, воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое поганое дело ишли”, а сам-то пьян-распьянехонек. А по-моему...

– Молчите, свидетельница!

– Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

– Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, господин прокурор?

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значит, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

– Сейчас заговорит о паспорте... – шепнул председатель и перебил прокурора: – Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

– Нет.

– Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а

она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: “Вот я тебя  
380 гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!” Сосед не глядя отвечает: “А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!” – “Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от Господа дан”. – “А бороду где выщипали?” – “Где бы ни выщипали, а выщипали...” Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

– Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

390 – Да вы-то что? Что ж, я нарочно, по-вашему? – покраснел председатель. – Вы поглядите на эту, на толстую, на Кравченко, – ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче, – мы и так потеряли уже полчаса.

400 Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание:

– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но помните же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с Богом...

410 – Виноват... – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова “мистический”. Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задышающийся шепот – вот эмбрион всех сфинксов...

– Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу... – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует особого языка... Одним словом, – нужна близость к Богу. 420

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к Богу и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: “Сукин ты сын, а еще лысый”. А он говорит: “Молчи, говорит, мурзик, – свет Христов и во тьме сияет”. Так и сказал. 430

– Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

– Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

– Это зачем еще?

– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет. 440

– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

– Нет, примете!

– Нет.

– Посмотрим...

– Посмотрите...

– Довольно, довольно!.. – сердито крикнул председатель. – А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся. 450

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публичке угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: “Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят, – как самовар заблестят”. – “Ну, это вы слишком!” – “Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!” – “Бороду-то где выщипали?” – “Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи”.

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин судебный пристав! Примите меры! 460

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда. – Получается скандал.

– Пожалуй, что... Ну что еще вам нужно, господин защитник?

470 Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

– Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головой председатель. – Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям:

480 – Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии... – начинает он медленно.

– Господин защитник! – строго перебивает председатель. –

Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

– Слушаю-с.

490 Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва упали бесильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

– Господа судьи и господа присяжные заседатели!

500 И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не отвердет глаз.

– Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его

для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны – ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

– Господин защитник, что же это такое! – возмущается председатель. – Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленных законом власти. Я лишу вас слова. 510

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

– Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

Не обращая внимания на прокурора, защитник снова кланяется суду:

– Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря “нет”, в сущности, говорит “да”! 520

Какой-то большой и красивый образ смутно и притягательно блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она... 530

– Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом, она не крестьянка, а мещанка города Воронежа. 540

– Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же, с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорб-

лениями, быть может, побоями, – разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части  
550 душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это истрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию – в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти  
560 в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это. И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла  
570 возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

– За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги – все за это за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь, – жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, – выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда ни совести: прикажете голой раздеваться – разденусь; прикажете на крест наплевать – наплюю.

580 Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки доньшками кверху, а за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит. А я смеялась, – ведь и правда, очень смешно было. И к церкви я равнодушна,  
590

и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: “Молиться”, – а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то, что мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь – хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил, – а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, – а он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям – отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начал говорить 600 и о моем детстве и о прочем и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: Господи, да унеси Ты меня отсюда! А студент говорит: “Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие иметь”. Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она; но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господа судьи, зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такую меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

– Двугривенный я тут уронила, поднять можно? 610

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

– Ну а вы-то, – с горечью обратился председатель к Пустошкиной и Кравченко, – вы-то согласны принять присягу?

– Мы-то согласны... – ответила Кравченко, плача. – А она нет!

– Господин председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный. – Ввиду того что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кошунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы 620 знать, не помнит ли она имен?..

– Ну, какое там кошунство! – ответила Караулова. – Просто пьяны были. Да и не помню я, – разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: “Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги”.

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом. Пристав громко говорит:

– Прошу встать! 630

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

– Поднимите руки!

Все подняли руки.

– Повторяйте за мною, – говорит он одним голосом и другим продолжает: – Обещаюсь и клянусь...

640 Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко:

– Обещаюсь и клянусь...

– Перед Всемогущим Богом и святым Его Евангелием...

– Перед Всемогущим Богом... и святым... Его... Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно.

Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, 650 что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель. – Ну, правду-то, понимаете, правду говорить будете?

– Скажу, что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует 660 на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взгляды-вает на потолок.

– ...Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. 13-го марта прошедшего года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

– ...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: 21 декабря, 7 января, 25 того же 670 января и 1 февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

1905 г.

# ГУБЕРНАТОР

## I

Уже пятнадцать дней прошло со времени события, а он все думал о нем – как будто само время потеряло силу над памятью и вещами или совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять – о самом чужом, о самом далеком, – уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась об него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль: подумает он о своем давнем путешествии 10 по Италии, полном солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего – и сразу станет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнёт на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной и оттого не особенно беспокойной, хотя и надоедливой; но вскоре случилось так, что все стало напоминать событие – неожиданно, нелепо, и потому особенно больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит точно со стороны свой генеральский смех и вдруг 20 возмутительно ясно увидит какого-нибудь убитого – хотя он тогда и не думал смеяться, да и никто не смеялся. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул, протянет ли руку к хлебу – все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален: рабочие 30 с пригородного завода, уже три недели бастовавшие, всю свою массу в несколько тысяч человек, с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он как губернатор осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающе и дерзко: кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имев-

шая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда свитские увели его на балкон, – он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее, – рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол  
40 в губернаторском доме и ранили полицеймейстера. Тогда он разгневался и махнул платком.

Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить, и убитых было много – сорок семь человек; из них девять женщин и трое детей, почему-то всё девочек. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае третьей полицейской части. Конечно, не нужно было ездить; но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел,  
50 была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками, и казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему.

В длинном сарае было темно и прохладно, и убитые, под пологою серого брезента, лежали двумя правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке: вероятно, к приезду губернатора подготовились и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища, ноги, точно для счета, оставались на виду – неподвижные ноги, одни в стоптанных, рваных сапогах  
60 и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар. Дети и женщины были положены особо, в сторонке; и в этом опять-таки чувствовалось желание сделать как можно более удобным обозрение трупов и их подсчет. И было тихо – слишком тихо для такого множества людей, и вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой перегородкой возился около лошади конюх; видимо, и он не подозревал, что за стеною есть кто-нибудь, кроме мертвых, потому что говорил лошади спокойно и сердечно:

– Тпруу, дьявол! Стой, когда говорят.

70 Губернатор взглянул на ряды ног, уходивших в темноту, и сдержанным басом, почти шепотом сказал:

– Однако, много!

Из-за спины его выдвинулся помощник пристава, очень молодой, с безусым, угреватым лицом, и, козыряя, громко доложил:

– Тридцать пять мужчин, девять женщин и трое детей, ваше превосходительство.

Губернатор сердито поморщился, и помощник пристава, козырнув, вновь пропал за его спиной. Ему еще хотелось, чтобы

губернатор обратил внимание на дорожку между трупов, которая была тщательно прометена и слегка присыпана песком, но губернатор не заметил, хотя внимательно смотрел вниз. 80

– Детей трое?

– Трое, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?

Губернатор молчал.

– Тут есть разные лица, ваше превосходительство, – почтительно настаивал помощник пристава и, приняв молчание за согласие и внезапно перейдя на громкий шепот, распорядился: – Иванов, Сидорчук, живо, за тот конец, ну-ну!

С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц, бородатых и старых, молодых 90 и безбородых, всё разных, но объединенных между собою тем страшным сходством, какое придает смерть. Ран и крови почти не видно было, они остались где-то под одеждой, и только у одного глаз, выбитый пулей, неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь. Большинство смотрело совершенно одинаковым белым взглядом; некоторые жмурились, так же одинаково, и один закрывал рукою лицо, точно от сильного света; и помощник пристава страдальчески взглянул на этого мертвеца, нарушившего порядок. Губернатор знал наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе, в ближайших 100 к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними, – но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что придала им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно-неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости, и в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность; и так выжидающе-внимательны они были, что даже неловко было говорить в их присутствии. Если бы вдруг, сразу, окаменел город со всеми людьми, которые идут и едут, остановилось солнце, замерла листва и замерло все, – он, вероятно, имел бы такой же странный 110 характер незавершенного стремления, внимательного ожидания и загадочной готовности к чему-то.

– Осмелюсь спросить, прикажете заказать гробы, ваше превосходительство, или же в братскую могилу? – громко, не догадываясь, спросил помощник пристава; важность события, переполох допускали, казалось ему, некоторую почтительную фамильярность. И он был молод.

– Какую братскую могилу? – невнимательно спросил губернатор.

– Это, ваше превосходительство, роется такая большая яма...

120

Губернатор резко повернулся и пошел к выходу; когда он сел в коляску, он слышал еще громкий скрип ржавых петель: то запирали мертвых.

130 На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить, не давая совершиться, не давая окончиться тому, что уже совершилось и окончилось, он посетил в городской больнице раненых. Мертвые – те глядели на него, а от этих он не мог дожидаться взгляда; и в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося. Конечно, что-то огромное кончено, и больше не за чем и некуда протягивать руки.

И вот с этого мгновения для него как будто остановилось время и наступило то, чему он не мог прибрать имени и объяснения. Это не было раскаяние – он сознавал себя правым; это не было и жалостью, тем мягким и нежным чувством, которое исторгает слезы и одевает сердце мягким и теплым покровом. Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях; сломанными куклами казались они, и не мог он почувствовать их 140 боли и страданий. Но он не мог не думать о них, он продолжал видеть их ясно – эти фигурки из папье-маше, эти сломанные куклы – и в этом была страшная загадка, что-то похожее на чародейство, о котором рассказывают няньки. И для всех людей со времени события прошло четыре – пять – семь дней, а для него как будто и часа одного не прошло, и он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка, в этом ощущении чего-то бесповоротно совершающегося – бесповоротно совершившегося.

И он уверен, что скоро успокоился бы и позабыл то, о чем нет смысла помнить и думать, если бы окружающие меньше обра- 150 щали на него внимания. Но в их обращении, в их взглядах и жестах, в почтительно-участливых речах, обращенных точно к неизлечимо больному, звучит твердая уверенность, что он думает, не может не думать о происшедшем. Полицеймейстер через день успокоительно докладывает, что вот еще два-три раненых выздоровели и выписались из больницы; жена, Мария Петровна, каждое утро пробует губами его голову, не горячая ли, – как будто он ребенок, а убитые – зеленое, которого он перекушал. Какой вздор! А через неделю после события приехал с визитом сам преосвященный Мисаил, и после первых фраз ясно стало, что он 160 заботится о том же, о чем и все, и хочет успокоить его христианскую совесть. Рабочих назвал злодеями, его – умиротворителем, и – хитрый! – не привел ни одного заезженного и выдохшегося текста, зная хорошо, что губернатор не особый охотник до по-

повского красноречия. И противен и жалок показался ему этот старик, бесцельно лгавший перед своим Богом.

Во время разговора архиерей обыкновенно подставлял собеседнику ухо; и, покраснев от гнева, – он сам чувствовал, как горячо стало его глазам, – губернатор сложил губы трубой и гулко загрохотал в наклоненное к нему бескровное, мягкое ухо, покрытое седеньким пушком:

– Злодеи-то – злодеи. А я бы, ваше преосвященство, будь я на вашем месте, отслужил бы панихиду по убиенным.

Архиерей отстранил ухо, развел над животом сухими, как гусиные лапы, руками и, склонив голову, коротко сказал:

– На всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то бы не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!

Потом он любезно преподал благословение и, шурша шелком, поплыл к выходу, и вид имел такой, будто кланяется всему, 180 мимо чего проходит, и все благословляет. В прихожей он долго и любовно возился с глубокими, как корабли, калошами и с одеванием, поворачивал ухо то направо, то налево; а губернатору, который с отвращением, из необходимой вежливости, помогал ему облачаться, твердил с убедительной ласковостью:

– Не утруждайте себя, ваше превосходительство, не утруждайте.

Из этого опять-таки выходило, что губернатор неизлечимо больной человек, которому вредно всякое усилие.

В тот же день приехал из Петербурга в недельный отпуск сын-офицер, и хотя сам он не придавал никакого значения своему 190 необычному приезду, был шутив и весел, но чувствовалось, что привлекла его сюда все та же непонятная забота о губернаторе. О событии он отозвался очень легко и передал, что в Петербурге восхищаются мужеством и твердостью Петра Ильича, но настойчиво советовал вытребовать сотню казаков и вообще принять меры.

– Какие меры? – удивился хмуро губернатор, но толку добиться не мог.

Тем более удивительны были все эти заботы, что в городе с того самого дня царило полное спокойствие. Рабочие тогда же приступили к работам; прошли спокойно и похороны, хотя полицеймейстер чего-то опасался и держал всю полицию наготове; ни 200 из чего не видно было, чтобы и впредь могло повториться что-либо подобное событию 17-го августа. Наконец из Петербурга, на свое правдивое донесение о происшедшем, он получил высокое и лестное одобрение, – казалось бы, что этим все должно закончиться и перейти в прошлое.

Но оно не переходит в прошлое. Точно вырвавшись из-под власти времени и смерти, оно неподвижно стоит в мозгу – этот труп прошедших событий, лишенный погребения. Каждый вечер он настойчиво зарывает его в могилу; проходит ночь, наступает утро – и снова перед ним, заслоня собою мир, все собою начиная и все кончая, неподвижно стоит окаменевший, изваянный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

## II

Губернатор давно закончил прием, собирается ехать к себе на дачу и ждет чиновника особых поручений Козлова, который поехал кое за какими покупками для губернаторши. Он сидит в кабинете за бумагами, но не работает и думает. Потом встает и, заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна и, слегка растопырив большие, толстые пальцы, внушительно и громко говорит:

10 – Но в чем же дело?

И чувствует, что, пока он думал, он был просто человек, как всякий другой, Петр Ильич, а с первым же звуком голоса, с этим жестом он сразу стал губернатором, генерал-майором, его превосходительством. Становится неприятно, мысли разбиваются и бегут; и резко, по-губернаторски, дернув левым погоном, он отходит от окна и снова меряет комнату. “Так – ходят – губернаторы”, – думает он нелепо, в такт крупным и твердым шагам, и садится опять, стараясь не шевелиться, чтобы каким-нибудь неосторожным движением снова не вызвать в себе губернаторского.

20 Звонит.

– Не приезжал?

– Никак нет, ваше превосходительство.

И пока лакей, почтительно изогнувшись, мягко излагает титул, он внезапно вспоминает: “Ах, да, ведь там побиты стекла, а я еще не смотрел. До сих пор еще не смотрел”.

– Когда приедет, скажи, я буду в зале.

Рамы в высоких окнах делились по-старинному на восемь частей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией. В трех ближайших к балкону окнах стекла были вставлены заново, но были грязны и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев: очевидно, никому из многочисленной и ленивой челяди в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы проис-

шедшего. И всегда так: скажешь – сделают, а не скажешь – сами никогда не пошевельнут пальцем.

– Сегодня же вымыть. Безобразие!

– Слушаю, ваше превосходительство.

Захотелось выйти на балкон, но неудобно было привлекать на себя внимание проходящих, и сквозь мутное стекло он стал разглядывать площадь, на которой тогда бесновалась толпа, трещали 40 выстрелы и сорок семь беспокойных людей превратились в спокойные трупы. Рядом, нога к ноге, плечо к плечу – как на каком-то парадном смотре, на который глядеть снизу.

Спокойно. Перед самым окном стоял тополь с ободранною мочалившеюся корою, уже окрашенный осенью, а за ним, спокойная и сонная, лежала под солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камешки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густая в ложбинах и канаве. Безлюдная, глухая, немного наивная была площадь, но оттого ли, что он смотрел сквозь мутные и грязные стекла, 50 все казалось скучным, бестолковым, изнывающим в чувстве тупой и безнадежной тошноты. И хотя до ночи было далеко, все это – и ободранный тополь и ровные камешки, по которым никто не ездит, – точно умоляло ночь прийти скорее и мраком своим погасить их ненужную жизнь.

– Не приезжал?

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Когда приедет, проси сюда.

По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе, а быть может, и еще раньше – так грязны и закопчены были доро- 60 гие тисненые обои; и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратно старческого рта. Зимой, при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мутило. Вот картина: какой-то итальянский лунный пейзаж – висит он криво, и никто этого не замечает, и кажется, что всегда висел он так, и при старом губернаторе, и при том, который был еще раньше. Мебель тоже дорогая, но просиженная, потертая, пропитанная пылью, – похоже вообще на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер от удара, а дело 70 ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собою наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был чужой, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города – семинария и окружной суд, – четыре незнакомые чиновника, два сидят и два стоят над ними, – какой-то выцветший архиерей – и круглая дыра до самого переплета.

– Какая мерзость! – громко сказал губернатор и брезгливо бросил альбом.

Рассматривал карточки он стоя и, повернувшись на каблуках, 80 дернув погоном, сердито зашагал прямыми твердыми шагами: “Так ходят губернаторы. Так ходят – губернаторы”.

Так ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор, и тот, что был до него, и другие, неизвестные. Откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами, а над ними боком висел итальянский пейзаж, устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли – что-то в этом роде было при третьем до него губернаторе.

По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью, – и опять никого. С ободранного тополя 90 внезапно оторвался желтый дырявый лист и кружась поплыл книзу – и сразу вихрем в голове закружились: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Встают ненужные подробности: как он готовил платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и, зажав в маленький твердый комок, держал в правой руке; потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал что. Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог, и железная дверь с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади – и нет возврата.

100 – Ах, это вы, Лев Андреевич! Наконец-то, я вас заждался.

– Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.

– Ну, едем, едем. Да, послушайте! – Губернатор остановился и раздраженно, сделав рот трубой, заговорил: – Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был как-то я в жандармском управлении – так ведь это что же такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.

– Денег нет.

110 – Вздор! Отговорки! А это, – губернатор широко обвел рукою, – вы взгляните, что же это такое. Это же мерзость.

– Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему. Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее пресвосходительство вполне разделяет..

Уже на ходу губернатор отрывисто бросил:

– Не стóбит.

Чиновник сочувственно взглянул на его широкую спину, жилистую шею, двумя колонками подпирающую череп, и, вкладывая в голос беззаботность, сказал:

– Да, кстати. Встретил сейчас Судака, говорит, что вчера послед- 120  
него раненого выписали. Самого тяжелого, почти никакой  
надежды не было, что поправится. Удивительно живучий народ.

Судаком в губернаторском домашнем кругу назывался полиц-  
еймейстер – за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный  
рост и узкую рыбку спину.

Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осен-  
ней свежестью и солнечным теплом – как будто существовали они  
отдельно, и свежесть и тепло, и чувствовались также порознь.  
И небо было милое: нежное, далекое, неожиданное и прелестно  
голубое. Хорошо теперь на даче! 130

Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место вле-  
завшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, со-  
гнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз,  
он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый  
белокурый затылок и загорелую молодую шею и заметил, что ша-  
гает он осторожно и неслышно, как босой, шагает и горбится и  
прячется в себя, и спина его словно смотрит назад. “Какой непри-  
ятный и странный человек”, – подумал губернатор. То же поду-  
мали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди  
коляски на извозчика: привычным и согласным движением они 140  
заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли  
и понеслись впереди губернатора. Извозчик у них был лихач, на  
резинах, колеса подпрыгивали, и кузов пролетки колыхался, и си-  
дели они, наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко  
ушли, чтобы не пылить губернатору.

– Кто эти двое? – спросил он чиновника, искоса подозритель-  
но глядя на него, и тот равнодушно ответил:

– Агенты.

– А зачем это? – так же отрывисто спросил губернатор.

– Не знаю, – уклончиво ответил Лев Андреевич. – Судака все 150  
старается.

При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком  
сапог и молодцевато козырнул безусый помощник пристава, тот,  
что демонстрировал трупы, а когда проезжали мимо части, из  
раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко  
захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовно-  
сти, и смотрели они оба, не отрываясь, в спину губернатора. Чи-  
новник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взгля-  
нул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых  
перчатках. 160

Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице,  
где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кир-

пичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Один мальчишка мелькнул на заборе, в красных листьях рябины – и быстро скользнул вниз, за забор, притаившись, очевидно, у широкой щели. Летом попадались на Канатной куры и грязные поджарые поросята, привязанные к кольшкам, но теперь не было и их, – очевидно, трехнедельная голодовка по-  
170 добрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз, и в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.

– Послушайте, – вскрикнул губернатор, хватая чиновника за колено. – Ведь этот человек...

– Какой человек?

Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника – словно в запертом и заколоченном  
180 доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом, сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно, всем широким туловищем обернулся назад и внимательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное грозою стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. Потом пустырь, остатки забора, забитый колодец с опустившейся вокруг землею – и  
190 огромные липы за высокой полуразобранной огорожей, большой барский дом, какими-то судьбами попавший в это захолустье, давно уже не жилой, дряхлый, с закрытыми ставнями и заржавевшей от времени железной дощечкой: “Сей дом продается”. Дальше опять домишки и три подряд голые, кирпичные корпуса без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами. Они еще новы; видна засохшая известь, и не заделаны углубления, на которых держались подмости, – но уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.

200 Вот и выезд в поле, и последний домишко – без одного деревца вокруг, без забора; весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около – ни одного человека.

– А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью. Здесь ведь, наверно, грязь невылазная.

Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось – как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме.

### III

Было много веселых игр, смеха и песен – на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. На зеленых лужайках и прогалинах, под золотом и багрянцем листьев, в изумрудной прозрачности освещенных лесных далей рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин и мундиры военных. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк – громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под 10 старыми, строгими деревьями, и, когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.

Полицеймейстер Судак, сильно выпивший за обедом, благо-склонно глядел на всю эту веселую суматоху, остроумно козырял дамам и был счастлив. И когда из дымной темноты рядом с ним слышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять за губернаторскую талию – сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне мундира, бро- 20 сил в траву только что закуренную папиросу и сказал:

– Ах, ваше превосходительство, какой волшебный праздник!

– Послушайте, Илиодор Васильевич, – перебил губернатор сдержанным басом, – зачем вы посылаете каких-то агентов? К чему это?

– Злодеи злоумышляют на вашу священную жизнь, ваше превосходительство, – с чувством сказал Судак, прижимая обе руки к мундиру. – И помимо прочего, я обязан...

Треск лопающихся бураков, смех и испуганные крики заглушили его слова; потом посыпался дождь голубых, зеленых и 30 красных огней, выделив из дымного мрака пуговицы и погоны губернатора.

– Я знаю это, Илиодор Васильевич, то есть догадываюсь. Но не думаю, чтобы было серьезно.

– Очень даже серьезно, ваше превосходительство. Весь город трубит, даже удивительно, до чего трубит. Я уже троих в части выдержал, да не те попались.

Новый взрыв выстрелов и веселых криков прервал его речь, а когда шум улегся, губернатора уже не было.

40 После ужина был веселый и шумный разъезд, и заправлял им молодой помощник пристава. Все: и фейерверк, на который смотрел он из кустов, и экипажи, и люди казались ему чрезвычайно красивыми, и собственный молодой голос поражал его своею силою и звучностью. Судак был совсем пьян, острил, хохотал и даже пел Марсельезу, первые слова:

Allons, enfans de la patrie,  
Le jour de gloire est arrivé!.. \*

Наконец уехали.

– Что ты все хмуришься, милый папа? – сказал офицер и с по-  
50 кровительственной лаской положил руку на плечо Петра Ильича.

В семье губернатора любили, а губернаторша даже немного боялась его, но почему-то с некоторого времени его считали очень старым и слегка презирали за это.

– Вздор! Я ничего, – нерешительно ответил Петр Ильич. Ему и хотелось поговорить с сыном, и боялся он этого разговора, так как давно уже разошелся с ним во взглядах. Но теперь эта именно рознь могла оказаться полезной. – Дело в том, видишь ли, – продолжал он конфузясь, – что меня смущает этот случай, ну, с рабочими.

60 Он открыто взглянул на сына; тот ответил удивленным взглядом и снял с плеча руку.

– Но ведь ты же получил одобрение из Петербурга?

– Да, конечно, и я очень счастлив, но... Алеша! – С неуклюжей ласковостью пожилого и важного человека он заглянул в красивые глаза сына. – Ведь они же не турки? Они свои, русские, всё Иваны да тезки – Петры, а я по ним, как по туркам? А? Как же это?

– Они бунтовщики.

– Алеша! Ведь на них кресты, а я, – он поднял палец, –  
70 по крестам!

– Насколько мне известно, ты никогда, папа, не придавал особенного значения религии. При чем тут кресты? Это хорошо для какого-нибудь приказа по полку, что ли, а...

– Конечно, конечно, – торопливо согласился губернатор, – не в крестах тут дело. А я о том, что свои. Понимаешь, Алеша,

---

\* Вперед, дети родины,  
День славы пришел!.. (франц.)

свои. Будь я немец, Август Карлович Шлиппе-Детмольд, а то ведь Петр, да еще Ильич.

Офицер становился все суше.

– Ты что-то путаешь, папа. При чем тут оказались немцы? Наконец, если хочешь, немцы тоже стреляли в немцев, французы во французов, и так далее. Отчего же русским не стрелять в русских? Как государственный деятель ты должен понимать, что в государстве прежде всего порядок, и кто бы ни нарушал его, безразлично. Нарушь его я – и ты должен был бы стрелять в меня, как в турка.

– Это верно! – кивнул головой губернатор и заходил по комнате. – Это верно.

И остановился.

– Да ведь с голоду, Алеша! Если бы ты их видел.

– Зензивеевские мужики тоже с голоду бунтовали, а это не мешало тебе великолепно их выдрать.

– Одно дело выдрать, а другое... Этот дурак разложил их в ряд, как дичь, и я взглянул на их ноги и подумал: никогда эти ноги не будут ходить... Ты не хочешь понять меня, Алексей. Палач – тоже государственная необходимость, но быть им...

– Что ты говоришь, отец!

– Я знаю, я чувствую это: меня убьют. Я не боюсь смерти, – губернатор закинул седую голову и строго взглянул на сына, – но знаю: меня убьют. Я все не понимал, я все думал: но в чем же дело? – Он растопырил большие толстые пальцы и быстро сжал их в кулак. – Но теперь понимаю: меня убьют. Ты не смейся, ты еще молод, но сегодня я почувствовал смерть вот тут, в голове. В голове.

– Папа, я прошу тебя, выпиши казаков, потребуй денег на охрану. Тебе дадут. Я прошу тебя, как сын, и я прошу тебя от имени России, которой нужна твоя жизнь.

– А кто же убьет меня, как не Россия? И против кого я выпишу казаков? Против России – во имя России? И разве могут спасти казаки, и агенты, и стражники человека, у которого смерть вот тут, во лбу. Ты сегодня немного выпил за ужином, Алеша, но ты трезв, и ты поймешь: я чувствую смерть. Еще там, в сарае, я почувствовал ее, но не знал, что это такое. Это вздор, что я тебе говорил о крестах и о русских, и не в этом дело. Ты видишь платок?

Он быстро вынул из кармана платок, расправил его и, как фокусник, показал Алексею Петровичу.

– Вот. Смотри!

Он быстро махнул платком вперед, так что волна душистого воздуха дошла до неподвижно сидевшего офицера.

– Вот. Вы новые, вы академики, вы ни во что не верите, а я  
120 верю в старый закон: кровь за кровь. Увидишь!

– Так выходи в отставку, уезжай куда-нибудь.

Он точно ждал этого предложения и не удивился.

– Нет. Ни за что! – твердо ответил он. – Ты сам понимаешь,  
что это было бы бегство. Вздор! Ни за что!

– Прости, папа, но ведь это же получается такая бессмыслица,  
– офицер прижал красивую голову к плечу и развел руками:  
– ведь это же я не знаю что такое. Мама охает, ты толкуешь о какой-то смерти – ну из-за чего это? Как не стыдно, папа. Я всегда  
знал тебя за благоразумного, твердого человека, а теперь ты точно  
130 ребенок или нервная женщина. Прости, но я не понимаю этого.

Он сам не был нервен и не был похож на женщину, этот молодой, красивый офицер с розовыми, гладко выбритыми щеками и спокойными, уверенными движениями человека, который не только уважает, но даже чтит себя. Когда он бывал в народе, он чувствовал себя так, как будто он совершенно один и других людей возле него нет; и нужно было быть очень значительным человеком, особой не ниже генерала, чтобы он ощутил его присутствие и испытал то легкое стеснение, чувство самоограничения, какое обычно испытывается на людях. Он любил и умел плавать;  
140 и, купаясь летом на Неве, в общей купальне, он так спокойно, внимательно и сосредоточенно изучал свое тело, точно никого здесь не было. Однажды в этой же купальне появился китаец, и все с любопытством рассматривали его – одни искоса, другие открыто, не стесняясь; и только он один даже не взглянул на него, так как считал себя и интереснее и важнее китайца. Все в мире для него было ясно и просто, все делилось без остатка, и он знал, что с казаками во всяком случае лучше, чем без казаков.

И в упреках его звучало искреннее негодование, смягчаемое только вежливостью да боязнью задеть стариковское самолюбие... То, что происходило с его отцом, хотя и не было для него  
150 полною неожиданностью – он всегда знал отца за фантазера, – но возмущало его, как что-то грубое, варварское, атавистическое. Кресты, кровь за кровь, Петры да Иваны – как все это нелепо!

“Однако, плохой ты губернатор, хотя тебя и похвалили”, – медленно подумал он, провожая красивыми глазами шагавшего отца.

– Так как же, папа? Ты обижаешься на меня?

– Нет, – просто ответил губернатор. – Я благодарен тебе за твое чувство, и ты хорошо сделаешь, если успокоишь мать. Я же  
160 совершенно спокоен и только высказал тебе свои соображения.

По-твоему – так, по-моему – иначе, а там увидим. Однако иди спать, тебе пора.

– Мне еще не хочется. Не пройдемся ли немного по саду?

– Хорошо.

Их сразу охватила тьма, и они исчезли друг для друга – только голоса да изредка прикосновение нарушали чувство странной, всеобъемлющей пустоты. Но звезд было много, и горели они ярко, и скоро Алексей Петрович там, где деревья были реже, стал различать возле себя высокий и грузный силуэт отца. От темноты, от воздуха, от звезд он почувствовал нежность к этому 170  
темному, едва видимому, и снова повторил свои успокоительные объяснения.

– Да. Да, – отрывисто отвечал Петр Ильич, и непонятно было, соглашается он или нет.

– Как темно, однако! – сказал Алексей Петрович, останавливаясь: они вошли в глубину аллеи, и дальше ничего нельзя было разобрать в сплошном мраке. – Ты бы, папа, фонари, что ли, велел поставить!

– Незачем фонари. А вот ты скажи...

Оба они стояли неподвижно, и шороха шагов не слышно 180  
было, и всеобъемлющая пустота царила безраздельно и властно.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Алексей Петрович.

– Говорит тебе что-нибудь эта темнота?

“Опять фантазии”, – подумал офицер и наставительно заметил:

– Она говорит, что тебе одному здесь не следует ходить. За любым деревом может кто-нибудь сидеть и подстерегать!

– Подстерегать! Вот и мне она говорит то же. Вообрази, что здесь за каждым деревом сидят люди – невидимые люди – и подстерігают. Их много – сорок семь, сколько было убитых, – и они 190  
сидят, слушают, что я говорю, и подстерігают.

Офицеру стало неприятно. Он оглянулся кругом, ничего не увидел, кроме мрака, и сделал шаг, чтобы идти.

– Охота себя расстраивать! – недовольно заметил он.

– Нет, погоди! – И от легкого прикосновения пальцев офицер вздрогнул. – Вообрази, что и там, в городе, и везде, куда бы я ни пошел, меня подстерігают. Иду я, идет какой-то человек и меня подстеригает. Или сажусь я в коляску, а мимо проходит человек и кланяется – он меня подстеригает.

Тьма становилась зловещей, и голос, когда не видно было че- 200  
ловека, звучал странно и чуждо.

– Довольно, папа, идем!

Офицер быстро, не ожидая отца, зашагал.

– Вот то-то! – с неожиданной шутливостью сказал Петр Ильич знакомым басом. – А ты не веришь мне. Я тебе говорю – вот она, во лбу.

Когда блеснул свет из окна, он показался так далек и недоступен, что офицеру захотелось побежать к нему. Впервые он нашел изъян в своей храбрости, и мелькнуло что-то вроде легкого  
210 чувства уважения к отцу, который так свободно и легко обращался с темнотой. Но и страх и уважение исчезли, как только попал он в освещенные керосином комнаты, и было только досадно на отца, который не слушается голоса благоразумия и из старческого упрямства отказывается от казаков.

#### IV

Зимой и летом губернатор вставал в семь часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал двухчасовую пешую прогулку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил и при своих пятидесяти шести годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади, глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковски мясистый нос с красною вдавленною полоскою от очков. Пенсне  
10 он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки.

На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Но со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел – было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно болезненное. И большую часть дня, когда не ездил в город, проводил в аллеях огромного, в пятнадцать десятин, парка, меряя их прямыми, твердыми шагами.

20 Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, и иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую, длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случалось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша, – и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое, всему враждебное, то веселое, приятное, нежное, ищущее ласки, позволяло догады-

ваться о характере этой сокровенной, загадочной работы где-то 30  
в недоступных глубинах мозга. После события обычное настроен-  
ние – каковы бы ни были явные мысли – оставалось неизмен-  
но печальным, сурово безнадежным; и каждый раз, очнувшись  
от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти  
часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь. Однажды  
в молодости он утопал в быстрой и глубокой реке; и долго по-  
том он сохранял в душе бесформенный образ удушающего мрака,  
бессилия и втягивающей в себя, засасывающей глубины. И теперь  
было что-то похожее.

Через два дня после отъезда сына, в солнечное, безветренное 40  
утро он также ходил по аллее и думал. С аллеи уже успели смести  
напавший за ночь желтый лист, и на бороздках от метлы отчетли-  
во ложились следы больших ног, с высоким каблуком и широкой  
четырёхугольной подошвой, – вдавленные следы, точно к тяже-  
сти человека прибавилась тяжесть его мыслей и вдавливала его  
в землю. Минутами он останавливался, и тогда где-то над головой  
в путанице освещенных солнцем ветвей слышался отчетливый  
рабочий стук дятла. Раз в одну из остановок аллею перебежала  
белка, точно красноватый комок на колесиках перекатился с од-  
ного дерева на другое.

“Убьют меня, наверное, из револьвера, теперь есть хорошие 50  
револьверы, – думал он. – А бомб в нашем городишке и делать  
не умеют, да и вообще бомбы для государственных деятелей, ко-  
торые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют  
бомбой, – придумал Петр Ильич, и левый ус его приподнялся лег-  
кой насмешливой улыбкой, хотя глаза оставались по-прежнему  
хмуры и серьезны. – А прятаться не стану, нет, довольно уже того,  
что я сделал”.

Он остановился и снял с тужурки паутинку.

“Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и 60  
храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют,  
как негодяя. Очень жаль, но ничего не поделаешь. И говорить не  
стану. Зачем разжалобивать судьбу? Судью разжалобивать не-  
честно. Ему и так трудно, а тут еще перед ним будут хныкать: я  
честный, честный”.

Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его  
взял, и, главное, взял так, как будто это вопрос давно уже ре-  
шенный. Словно он уже крепко спал, и во сне кто-то разъяснил  
ему все что нужно про судью и убедил его; потом он проснул-  
ся, сон позабыл, объяснения позабыл, а знает только, что есть 70  
судья, вполне законный судья, облеченный огромными и грозными  
полномочиями. И теперь, после минутного удивления, он принял

этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.

“Вот Алеша этого не понимает. По его – все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость – стрелять в голодных. Государственная необходимость – кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается”.

И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух и захватил дыхание, и одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное:

– Поздно!

Он не знал, была ли это мысль, или чувство, или он вслух произнес его, как слово; оно прозвучало громко и отовсюду и удалилось быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного, разрозненного бегства, болючих столкновений, – и мертвенное спокойствие, почти отдых.

Блеснули на солнце, сквозь деревья, стекла оранжереи, треногий угольник белой стены, как кровью окрапленный красными листьями дикого винограда; и, подчиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.

– А садовника нет?

– Нету, ваше превосходительство. В город уехал, за прививками – нынче пятница.

– Ага! Хорошо идет все?

– Слава богу.

Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную, тяжелую влагу; и чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая на солнце огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.

– Ну как, брат Егор?

Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос; он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.

– Слышал я, Егор, будто хотят меня убить. За рабочих, знаешь, тогда...

Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки – спрятал их за спину и молчал.

– Так как же думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Да говори, чего там, наше дело стариковское.

Егор мотнул головой, рассыпав по лбу сизые, курчавые волосы, поглядел на губернатора и ответил:

– Кто их знает. Пожалуй что убьют, Петр Ильич.

– А кто же убьет-то?

– Да народ! Общество – по-нашему, по-деревенскому.

– А садовник что говорит?

– Не знаю, Петр Ильич, не слышал.

Оба вздохнули.

– Плохо, значит, дело, старик? Ты бы сел.

Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.

– А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются, чуть в меня не попали...

– От тоски это. Намедни на базаре один пьяный, мастеровой что ли, кто его знает, плакал-плакал, а потом поднял каменюгу да как бацнет. От тоски это, не иначе как.

– Убьют, а потом сами пожалеют, – задумчиво сказал губернатор, представляя себе лицо сына Алексея Петровича.

– Пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то: горькие слезы прольют.

Вспыхнула надежда:

– Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик!

Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглой, словно затвердел. И весь он на мгновение показался высеченным из камня; и мягкость складок кумачовой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею и совсем как живые, – все это было словно обман со стороны безмерно талантливому художнику, облекшего твердый 140 камень видом пушистых и легких тканей.

– Кто их знает, – ответил Егор не глядя. – Народ, стало быть, желает. Да вы не задумывайтесь, ваше превосходительство, мало ли болтают зря. Поговорят-поговорят, а там и сами забудут.

Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал; но была в его словах странная убедительность, как в тех полуснах, что грезились губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза: “народ желает” – очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич, и была особенно убедительной, неопровержимой; но, быть может, даже не в словах Егора была эта 150 странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежеею землею.

А солнце светило.

– Ну, прощай, Егор. Дети есть?

– Будьте здоровы, Петр Ильич.

Губернатор застегнулся наглухо, выправил плечи и достал из кармана серебряный рубль.

– На-ка, старик, купишь там себе чего-нибудь.

Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна  
160 была, казалось, скатиться, как с крыши, и поблагодарил.

“Странные эти люди, – подумал губернатор, рассекая блики и тени пронизанной солнцем аллеи и сам дробясь на светлые и темные кусочки. – Очень странные люди: у них нет обручальных колец, и никогда не поймешь – женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца: серебряные. Или даже оловянные. Как это странно: оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в три рубля. Какая бедность. Я не посмотрел: у них в сарае тоже были, вероятно, оловянные кольца. Оловянные с тоненьким пояском посередине, теперь я помню”.

170 Все ниже и ниже, кружась, как ястреб над замеченным кустом, и суживая круги, опускалась мысль в глубину; и солнце погасло, и исчезла аллея – стукнул дятел, лист проплыл, и исчезло все; и сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.

Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль, точно заранее намечая череп; рот открыт широко и страшно – он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше, легко, без треска, как мягкую бумагу,  
180 и обнажает грудь. Грудь белая, и половина шеи белая, а с половины к лицу она темная – как будто туловище у него общее со всеми людьми, а голова наставлена другая, откуда-то со стороны.

– Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть. Но белая обнаженная грудь слепо лезет на него.

– На, возьми! Вот она! А правду отдай. Правду отдай.

– Но где же я возьму правду? Какой ты странный.

Женщина говорит:

– Детки все перемерли. Детки все перемерли. Детки-детки-детки все перемерли.

190 – Оттого так и пусто у вас на улице.

– Детки-детки-детки все перемерли. Детки.

– Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок, маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, но ведь у вас оловянные кольца.

– На нас железные кольца. Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца.

На черном крыльце, в тени, горничная чистит платье Марьи Петровны; окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями, грязно.  
200

“Куда я пришел! – удивляется губернатор. – Ведь это кухня! О чем я думал? Вот о чем: нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Еще рано, десять. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить”.

И еще долго ходил он по аллеям и все думал. И в том, как он думал, был похож на человека, переходящего вброд широкую и незнакомую реку; то идет он по колена, то надолго исчезает под водою и возвращается оттуда бледный, полузадохшийся. Думал он о сыне Алексее Петровиче, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно 210 прибегала к событию, роясь в нем, как в неистощимом руднике. И даже странно было, о чем он мог думать раньше – до несчастья; все, помимо его, казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.

Зензивеевских крестьян он выпорол около пяти лет тому назад, на второй год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра; и с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание как на сына очень энергичного и распорядительного человека. Он смутно, за давностью времени, 220 помнит, что мужики насильственно забрали у помещика какой-то хлеб, а он приехал с солдатами и полицией и отобрал у мужиков. Не было ничего ни страшного, ни угрожающего – скорее что-то нелепо-веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними, под шутки и смех развеселившихся полицейских и солдат. Потом они вскрикивали, дико взмахивали руками и, словно слепые, тыкались в загорожи, в стены, в солдат. Один мужик, оторванный от мешка, молча трясущимися руками шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. На версту кругом нельзя было найти ни 230 одного камня, а он все шарил, и, по знаку исправника, полицейский презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он стал на четвереньки и так, на четвереньках, куда-то пополз. И как будто все они, и этот мужик, и другие, были сделаны из дерева – так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях: чтобы повернуть мужика лицом куда надо, его ворочали двое. И уже став как следует, он все еще не догадывался, куда надо смотреть, а когда находил, то уже не мог оторваться, и опять двое людей с усилием поворачивали его.

– Ну-ка, дядя, скидай портки. Купаться будешь. 240

– Чего? – недоумевал мужик, хотя дело было ясно.

Чужая рука расстегивала единственную пуговицу, портки спадали, и мужицкая тощая задница бесстыдно выходила на свет.

Пороли легко, единственно для острастки, и настроение было смешливое. Уходя, солдаты затащили лихую песню, и те, что ближе были к телегам с арестованными мужиками, подмаргивали им. Было это осенью, и тучи низко ползли над черным жнивьем. И все они ушли в город, к свету, а деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, глинистых полей  
250 с коротким и редким жнивьем.

– Детки все перемерли. Детки-детки все перемерли. Детки.

Ударили в гонг к завтраку. Быстрые веселые удары звонко разнеслись по парку. Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы – было без десяти минут двенадцать. Спрятал часы и остановился.

– Позорно! – гулко и гневно произнес он, скривив рот. – Позорно. Боюсь, что я негодаю.

После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Хмуро и рассеянно, поблескивая очками, он разбирал конверты, одни откладывая в сторону, другие обрезая  
260 ножницами и невнимательно прочитывая. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Отложив конверт, он развернул тонкий, промокший от чернил лист и прочел:

“Убийца детей”.

Все белее и белее становится лицо; вот оно почти такое же белое, как волосы. И расширенный зрачок сквозь толстые выпуклые стекла видит:

270 “Убийца детей”.

Буквы огромны, кривы и остры и страшно черны; и они колыхаются на лохматой, как дерюга, бумаге:

“Убийца детей”.

## V

Уже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Никто еще не говорил, а все уже знали: как будто в эту ночь, когда живые тревожно спали, а убитые все в том же удивительном порядке, ногою к ноге, спокойно лежали в пожарном сарае, над городом пронесся кто-то темный и весь его осенил своими черными крыльями.

И когда люди заговорили об убийстве губернатора, одни раньше, другие – сдержанные – позже, то как о вещи уже давно и  
10 бесповоротно кем-то решенной. И одни, очень многие, говори-

ли равнодушно, как о деле, их не касающемся, как о солнечном затмении, которое будет видимо только на другой стороне земли и интересно только жителям той стороны; другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. Мнения разделялись; но в спорах, самых непримиримых, не было особенной горячности: как будто речь шла не о событии, которое еще только может совершиться, а о факте случившемся, в котором никакие взгляды ничего изменить не могут. 20 И у людей образованных спор вследствие этого очень быстро переходил на широкую теоретическую почву, а о самом губернаторе они забывали, как о мертвом.

В спорах выяснилось, что у губернатора больше друзей, чем врагов, и даже многие из тех, кто в теории стоял за политические убийства, для него находили извинения; и если бы произвести в городе голосование, то, вероятно, огромное большинство, руководясь различными практическими и теоретическими соображениями, высказалось бы против убийства, или казни, как называли ее некоторые. И только женщины, обычно жалостливые и боящиеся 30 крови, в этом случае обнаруживали странную жестокость и непобедимое упрямство: почти все они стояли за смерть, и, сколько им ни доказывали, как ни бились над ними, они твердо и даже как будто тупо стояли на своем. Случалось, что женщина сдавалась и признавала ненужность убийства, – а наутро как ни в чем не бывало, точно заспав вчерашнее свое согласие, она снова твердила о том, что убить нужно.

И, в общем, была все та же путаница мыслей и жестокая разногласица; и если бы кто-нибудь свежий со стороны послушал, что говорят, он никогда не понял бы, следует убивать губернатора 40 или нет. И, удивленный, спросил бы:

– Но почему же вы думаете, что он будет убит? И кто убьет его?

И не получил бы ответа; а через некоторое время знал бы, как и все, черпая знание свое из того же неведомого источника, как и все, – что губернатор будет убит и смерть неотвратима. Ибо все, и друзья губернатора и враги, и оправдывающие его и обвиняющие, – все подчинялись одной и той же непоколебимой уверенности в его смерти. Мысли были разные, и слова были разные, а чувство было одно – огромное, властное, всепрони- 50 кающее, всепобеждающее чувство, в силе своей и равнодушии к словам подобное самой смерти. Рожденное во тьме, само по себе неисследимая тьма, оно царило торжественно и грозно, и тщетно

пытались люди осветить его свечами своего разума. Как будто сам древний, седой закон, смерть карающий смертью, давно уснувший, чуть ли не мертвый в глазах невидящих, – открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего. И, несмысленно лживые в своем сопротивлении, люди подчинились  
60 велению и отошли от человека, и стал он доступен всем смертям, какие есть на свете; и отовсюду, изо всех темных углов, из поля, из леса, из оврага, двинулись они к человеку, пошатываясь, ковыляя, тупые, покорные, даже не жадные.

Так, вероятно, в далекие, глухие времена, когда были пророки, когда меньше было мыслей и слов и молод был сам грозный закон, за смерть платящий смертью, и звери дружили с человеком, и молния протягивала ему руку, – так в те далекие и странные времена становился доступен смертям преступивший: его жалила пчела, и бодал остророгий бык, и камень ждал часа падения  
70 своего, чтобы раздробить непокрытую голову; и болезнь терзала его на виду у людей, как шакал терзает падаль; и все стрелы, ломая свой полет, искали черного сердца и опущенных глаз; и реки меняли свое течение, подмывая песок у ног его, и сам владыка-океан бросал на землю свои косматые валы и ревом своим гнал его в пустыню. Тысячи смертей, тысячи могил. В мягком песке своем хоронила его пустыня и свистом ветра своего плакала и смеялась над ним; тяжкие громады гор ложились на его грудь и в вековом молчании хранили тайну великого возмездия – и само солнце, дающее жизнь всему, с беспечным смехом выжигало его мозг и  
80 ласково согревало мух в провалах несчастных глаз его. Давно это было, и молод, как юноша, был великий закон, за смерть платящий смертью, и редко в забытии смежал он свои холодные орлиные очи.

Скоро в городе смолкли и разговоры, отравленные бесплодностью. Нужно было или принимать убийство, как святой факт, на все возражения и доводы приводя, подобно женщинам, одно непоколебимое: “нельзя же убивать детей”, или же безнадежно запутываться в противоречиях, колебаться, терять свою мысль, обмениваться ею с другими, как иногда пьяные обмениваются  
90 шапками, и все же ни на иоту не подвигаться с места. Говорить стало скучно, и говорить перестали, и на поверхности не осталось ничего, что напоминало бы о событии; и среди наступившего молчания и спокойствия грозовой тучей нарастало великое и страшное ожидание. И те, кто был равнодушен к событию и странным выводам из него, и те, кто радовался предстоящей казни, и те, кто глубоко возмущался ею, – все одним огромным ожи-

данием, напряженным и грозным, ожидали неизбежного. Умри в это время губернатор от лихорадки, от тифа, от случайно разрядившегося охотничьего ружья, никто не счел бы это случайностью и за видимой причиной нашли бы другую, невидимую, даже 100 несознаваемую, но настоящую. И по мере того как нарастало ожидание, все больше и больше думали о Канатной.

А на Канатной было спокойно и тихо, как и в самом городе, и многочисленные сыщики тщетно доискивались признаков нового бунта или какого-нибудь преступного и страшного замысла. Как и в городе, они наткнулись на слух о предстоящем убийстве губернатора, но источника также найти не могли: говорили все, но так неопределенно, даже нелепо, что нельзя было ни о чем догадаться. Кто-то очень сильный, даже могущественный, бьющий без промаха, должен на днях убить губернатора – вот и все, 110 что можно было понять из разговоров. Сыщик Григорьев, притворяясь пьяным, подслушал в воскресенье в пивной лавке один из таких таинственных разговоров. Два рабочих, сильно выпивших, почти пьяных, сидели за бутылкой пива и, перегибаясь друг к другу через стол, задевая бутылку неосторожными движениями, таинственно вполголоса разговаривали.

– Бомбой убьют, – говорил один, видимо более осведомленный.

– Н-ну, бомбой? – удивлялся другой.

– Ну да, бомбой, а то как же, – он затаился папиросой, выпустил дым прямо в глаза собеседнику и строго и положительно добавил: – на клочки разнесет. 120

– Говорили, что на девятый день.

– Нет, – сморщился рабочий, выражая высшую степень отрицания, – зачем на девятый день. Это суеверие, девятый день. Убьют просто утром.

– Когда?

Рабочий отгородился от залы пятью растопыренными пальцами, нагнулся покачиваясь вплотную к собеседнику и громким шепотом сказал: 130

– В то воскресенье, через неделю.

Оба, покачиваясь и странно расплываясь в глазах друг друга, таинственно помолчали. Потом первый таинственно поднял палец и погрозил.

– Понимаешь?

– Они уж маху не дадут, нет, не таковские.

– Нет, – поморщился первый. – Какой там мах! Дело чистое, четыре туза.

– Хлюст козырей, – подтвердил второй.

140 – Понимаешь?  
– Ну да, понимаю.  
– А если понимаешь, так выпьем еще? Уважаешь ты меня,  
Ваня?

И долго с величайшей таинственностью они шептались, переглядывались, жмурились глаза и тянулись друг к другу, роняя пустые бутылки. В ту же ночь их арестовали, но ничего подозрительного не нашли, а на первом же допросе выяснилось, что оба они решительно ничего не знают и повторяли только какие-то слухи.

150 – Но почему же ты даже день назначил, воскресенье? – сердито говорил жандармский подполковник, производивший допрос.

– Не могу знать, – отвечал встревоженный, три дня не куривший рабочий. – Пьян был.

– Всех бы вас, ссс... – кричал подполковник, но ничего добиться не мог.

Но и трезвые были не лучше. В мастерских, на улице они открыто перекидывались замечаниями относительно губернатора, бранили его и радовались, что он скоро умрет. Но положительно не сообщали ничего, а вскоре и говорить перестали и терпели-

160 во ждали. Иногда за работой один бросал другому:

– Вчера опять проезжал. Без солдат.

– Сам лезет.

И опять работали. А на следующее утро в другом конце слышалось:

– Вчера опять проезжал.

– Пускай поездит.

Точно отсчитывали каждый лишний день его жизни. И уже два раза было так, что внезапно, почти одновременно во всех концах Канатной и на заводе создавалась уверенность, что губерна-

170 тор сейчас только убит. Кто первый принесил весть, доискаться было невозможно, но, собравшись в кучку, передавали подробности убийства – улицу, час, число убийц, оружие. Находились почти очевидцы, слышавшие гул взрыва. И стояли все бледные, решительные, не выражая ни радости, ни горя, – пока уже через несколько минут не приходило опровержение слуха. И тогда так же спокойно расходились, без разочарования – как будто не стоило огорчаться из-за дела, которое отложено на несколько дней – быть может, часов – быть может, минут.

180 Как и в городе – женщины на Канатной были самыми неу- молимыми и беспощадными судьями. Они не рассуждали, не доказывали, они просто ждали – и в ожидание свое вносили весь пламень непоколебимой веры, всю тоску своей несчастной жиз-

ни, всю жестокость обнищавшей, голодной, задушенной мысли. У них в жизни был свой особенный враг, которого не знали мужчины, – печка, вечно голодная, вечно вопрошающая своей открытой пастью маленькая печка, более страшная, чем все раскаленные печи ада. С утра и до ночи, каждый день, всю жизнь она держала их в своей власти; убивая душу, она вытравляла из головы все мысли, кроме тех, которые служат ей и нужны ей самой. Мужчины этого не знали: когда женщина утром, проснувшись, 190  
взглядывала на печь, плохо прикрытую железной заслонкой, она поражала ее воображение, как призрак, доводила ее почти до судорог отвращения и страха, тупого, животного страха. Ограбленная в мыслях своих, женщина даже не умела назвать своего врага и грабителя; оглушенная, она вновь и вновь покорно отдавала ему душу, и только смертельная, черная тоска окутывала ее непроницаемым туманом. И от этого все женщины Канатной казались злыми: они били детей, забывая их чуть не насмерть, ругались друг с другом и с мужьями; и их уста были полны упреков, жалоб и злобы. 200

И во время страшной трехнедельной голодовки, когда по несколько дней не топилась печь, женщины отдыхали – странным отдыхом умирающего, у которого за несколько минут до смерти прекратились боли. Мысль, на минуту вырвавшаяся из железного круга, со всею своей страстью и силой прилепилась к призраку новой жизни – точно борьба шла не из-за лишних пяти рублей в месяц, о которых толковали мужчины, а из-за полного и радостного освобождения от всех вековых пут. И хороня детей, умиравших от истощения, и оплакивая их кровавыми слезами, темнея от горя, усталости и голода, – женщины в эти тяжелые дни 210  
были кротки и дружелюбны, как никогда: они верили, что не может даром пройти такой ужас, что за великими страданиями идет великая награда. И когда 17-го августа на площади, сверкая в солнечных лучах, к ним вышел губернатор, они приняли его за самого седого Бога. А он сказал:

– Нужно стать на работу. Прежде чем вы станете на работу, я не могу с вами разговаривать.

Потом:

– Я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Становитесь на работу, и я напишу в Петербург. 220

Потом:

– Хозяева ваши не грабители, а честные люди, и я приказываю вам так не называть их. А если вы завтра же не станете на работу, я прикажу закрыть завод и разошлю вас.

Потом:

– Дети мрут по вашей вине. Становитесь на работу.

Потом:

– Если вы будете так вести себя и не разойдетесь, я прикажу разогнать вас силой. Становитесь на работу.

230 Потом хаос криков, плач детей – трескотня выстрелов, давка – и ужасное бегство, когда человек не знает, куда бежит, падает, снова бежит, теряет детей, дом. И снова быстро, как будто и мгновения одного не прошло, – проклятая печь, тупая, ненасытная, вечно раскрывающая свою пасть. И то же, все то же, от чего они ушли навсегда и к чему вернулись – навсегда.

Быть может, именно в женской голове зародилась мысль о том, что губернатор должен быть убит. Все старые слова, которыми определяются чувства вражды человека к человеку, ненависть, гнев, презрение, не подходили к тому, что испытывали женщины. Это было новое чувство – чувство спокойного и бесповоротного осуждения; если бы топор в руке палача мог чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же – холодный, острый, блестящий и спокойный топор. Женщины ждали спокойно, не колеблясь ни на минуту, не сомневаясь, и ожиданием своим наполняли воздух, которым дышали все, которым дышал губернатор. Они были наивны. Стоило где-нибудь громко хлопнуть дверью, стоило кому-нибудь, топая ногами, пробежать по улице, – они выбегали наружу, простоволосые, почти уже удовлетворенные.

– Убит?

250 – Нет, так. Сенька за водкой пробежал.

И так до нового стука и нового топота ног по притихшей, омертвевшей улице. Когда проезжал губернатор, они жадно из-за занавесок глядели на него; губернатор проезжал – и они снова возвращались к печке. Их не удивило, когда губернатор, всегда ездивший со стражниками, вдруг стал ездить один, без охраны, – как топор, если б он мог чувствовать, не удивился бы, увидав голую шею. Так нужно, чтоб она была голая. Из серых нитей действительности они сплетали пышную легенду. И это они, серые женщины серой жизни, разбудили старый седой закон, за смерть платящий смертью.

260 Горе об убитых выражалось сдержанно и глухо: оно было только частицей общего великого горя и поглощалось им бесследно – как соленая слеза соленым океаном. Но в пятницу, к концу третьей недели после убийства, внезапно сошла с ума Настасья Сазонова, у которой была убита дочь, семилетняя девочка Таня. Три недели она работала, как и все, у своей печки, ссорилась с соседками, кричала на двоих оставшихся детей и внезапно, когда никто этого не ожидал, потеряла рассудок. Еще с утра у нее

стали дрожать руки, и она разбила чашку; потом словно туман нашел на нее, и она начала забывать, что хочет делать, бросалась 270 от одной вещи к другой и бессмысленно повторяла:

– Господи! Что это я!

И наконец замолчала совсем и молча, с дикой покорностью совалась из угла в угол, перенося с места на место одну и ту же вещь, ставя ее, снова беря – бессильная и в начавшемся бреде оторваться от печки. Дети были на огороде, пускали змея, и, когда мальчишка Петька пришел домой за куском хлеба, мать его, молчаливая и дикая, засовывала в потухшую печь разные вещи: башмаки, ватную рваную кофту, Петькин картуз. Сперва мальчик засмеялся, а потом увидел лицо матери и с криком побежал 280 на улицу.

– А-а-а-й! – бежал он и кричал, полоша улицу.

Собрались женщины и стали выть над нею, как собаки, охваченные тоской и ужасом. А она, ускоряя движения и отпихивая протянутые руки, порывисто кружилась на трех аршинах пространства, задыхалась и бормотала что-то. Понемногу резкими короткими движениями она разорвала на себе платье, и верхняя часть туловища оголилась, желтая, худая, с отвислыми, болтающимися грудями. И завывала она страшным тягучим воем, повторяя, бесконечно растягивая одни и те же слова: 290

– Не могу-у, го-о-лубчики, – не мо-о-г-у-у-у.

И выбежала на улицу, а за нею все. И тогда, на мгновение, вся Канатная превратилась в один сплошной бабий вой, и уже нельзя было разобрать, кто сумасшедшая и кто нет. И только тогда прекратился он, когда приказчики из заводской лавки поймали сумасшедшую и веревками скрутили ей руки и ноги и облили ее несколькими ведрами воды. Она лежала на дороге, среди свежей лужи от воды, плотно прилегая голой грудью к земле и выставя кулаки скрученных и посиневших рук. Лицо она отвернула в сторону и смотрела дико, не мигая; седоватые мокрые волосы 300 облипали голову, делая ее странно маленькой, и вся она изредка вздрагивала. С завода прибежал муж, испуганный, не успевший отмыть закопченного лица; блуза у него была также закопченная, лоснящаяся от масла, и промасленной грязной тряпкой был завязан обожженный палец на левой руке.

– Настя! – хмуро и сурово сказал он, наклонившись. – Что это ты? Ну чего?

Она молчала, вздрагивала и смотрела дико, не мигая. Посмотрел на затекшие, побагровевшие руки, стянутые веревкой безжалостно, и развязал их, тронул пальцами голое желтое плечо. Уже 310 ехал на извозчике городской.

Когда толпа расходилась, двое из нее пошли не к заводу, как все, и не остались на Канатной, а медленно направились к городу. Шли они задумавшись, в ногу и молчали. В конце Канатной они простились.

– Какой случай! – сказал один. – Зайдешь ко мне?

– Нет, – коротко ответил второй и зашагал.

У него была молодая загорелая шея, и из-под картуза вились белокурые волосы.

## VI

В губернаторском доме узнали о предстоящей смерти губернатора не раньше и не позже, чем в других местах, и отнеслись к ней со странным равнодушием. Как будто близость к живому, здоровому и крепкому человеку мешала понять, что такое смерть – его смерть; чем-то вроде временного отъезда представлялась она. В половине сентября, по настоянию полицеймейстера, убедившего Марию Петровну, что жизнь на даче становится опасной, переехали в город, и жизнь потекла обычным, много лет не меняющимся порядком. Чиновник Козлов, сам не любивший грязь и казенщину губернаторского жилища, почти самовольно приказал оклеить новыми обоями залу и гостиную и побелить потолки и заказал новую декадентскую мебель из зеленого дуба. Вообще он присвоил себе права домашнего диктатора, и все были этим довольны: и прислуга, почувствовавшая оживление, и сама Мария Петровна, ненавидевшая хозяйство и домостроительство. При всей своей огромности губернаторский дом был очень неудобен: отхожие места и ванная были чуть ли не рядом с гостиной, а кушанья из кухни лакеи должны были носить через стеклянный холодный коридор, мимо окон столовой, и часто видно бывало, как они ругаются и толкают друг друга под локоть. И это все хотел переделать Козлов, но приходилось отложить до будущего лета.

“Доволен будет”, – думал он про губернатора, но почему-то представлял себе не Петра Ильича, а кого-то другого; но не замечал этого, охваченный порывом реформаторства.

По-прежнему Петр Ильич представлял центр дома и его жизни, и слова: “его превосходительство желает”, “его превосходительство будет сердиться” – не сходили с языка; но если бы вместо него подставить куклу, одеть ее в губернаторский мундир и заставить говорить несколько слов, никто бы не заметил подмены: такую пустоту формы, потерявшей содержание, веяло от губернатора. Когда он действительно сердился и кричал на ко-

го-нибудь и кто-нибудь пугался, то казалось, что все это нарочно, и крики и испуг, а на самом деле ничего этого нет. И убей он кого-нибудь в это время, то и сама смерть не показалась бы настоящей. Еще живой для себя, он уже умер для всех, и они вяло возились с мертвецом, чувствуя холод и пустоту, но не понимая, что это значит. Мысль изо дня в день убивала человека. Черная силу во всеобщности, она становилась более могущественной, чем машины, орудия и порох; она лишала человека воли и 40 ослепляла самый инстинкт самосохранения; она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить. Мысль убивала его. Повелительная, она вызывала из тьмы тех, кто должен нанести удар, – создавала их, как творец. И незаметно для себя люди отходили от обреченного и лишали его той невидимой, но огромной защиты, какую для жизни одного человека представляет собой жизнь всех людей.

После первого анонимного письма, где губернатор назывался “убийцею детей”, прошло несколько дней без писем, а потом, 50 точно по молчаливому уговору, они посыпались как из разорвавшегося почтового мешка, и каждое утро на столе губернатора вырастала кучка конвертов. Как выходит из чрева созревший плод, так эта убийственная повелительная мысль, дотоле слышная только по глухому биению сердца, неудержимо стремилась наружу и начинала жить своей особенной, самостоятельной жизнью. В разных концах города, из разных почтовых ящиков, разными людьми выбирались рассеянные письма, затерянные в груде других; потом они собирались в однородную кучку и одним человеком приносились к тому, кто был их единственной целью. 60 И раньше приходилось губернатору получать анонимные письма, редко с бранью и неопределенными угрозами, большею частью с доносами и жалобами, и он никогда не читал их; но теперь чтение их стало повелительной необходимостью, такую же, как неумирающая мысль о событии и о смерти. И читать их, как и думать, нужно было одному, когда никто не мешает.

Редко днем, а чаще вечером он крепко усаживался в кресло перед столом с разбросанными бумагами и стаканом остывающего чая, расправлял плечи, надевал золотые, сильно увеличивающие очки и, внимательно оглядев конверт, обрезал его по краю. Теперь 70 уже по одному виду он научился узнавать эти письма, ибо при всем разнообразии почерков, бумаг и марок было в них что-то общее, как у тех мертвых в сарае; и не только он, но и швейцар, принимавший личную корреспонденцию Петра Ильича, безошибочно узнавал их. Читал он внимательно, серьезно, с начала до конца каждое

письмо, и если какое-нибудь слово было неразборчиво, то долго вглядывался и соображал, пока не разберет. Письма неинтересные или наполненные одной сплошной и неприличной бранью он рвал; также уничтожал он письма, в которых неизвестные доброжелатели  
80 предупреждали его о готовящемся убийстве; но другие он помечал номером и откладывал для какой-то смутно им чувствуемой цели.

В общем, при всем внешнем различии в языке и степени грамотности, содержание писем было утомительно однообразно: друзья предупреждали, враги грозили, и выходило что-то вроде коротких и бездоказательных “да” и “нет”. К словам: “убийца” – с одной стороны, и “доблестный защитник порядка” – с другой, он привык, так часто, почти неизменно повторялись они в письмах; как будто привык он и к тому, что все, и друзья и враги, одинаково верили в неизбежность смерти. И только холодно  
90 становилось и хотелось согреться, но нечем было: чай был холодный – теперь всегда почему-то ему подавался холодный чай, и холодна была высокая, казенная кафельная печка. Уже давно, с самого поселения своего в этом доме, он хотел сделать камин, но так и не устроил, а старая печь плохо прогревалась при самой усиленной топке. Безнадежно потершись спиной о холодные кафли, только внизу чуть-чуть теплевшие, он прохаживался раза два по холодному кабинету, согревал руку о руку и говорил своим великолепным, командующим басом:

– Однако как я стал зябок!

100 И снова садился за письма, доискиваясь в них чего-то самого важного и самого главного.

“Ваше превосходительство! Вы генерал, но и генералы смертны. Одни генералы умирают своею смертью, другие же насильственной. Вы, ваше превосходительство, умрете смертью насильственной. Имею честь остаться вашим покорнейшим слугою”.

Улыбнувшись, – он тогда еще улыбался, – губернатор хотел разорвать тщательно выписанное письмо, но раздумал, пометил на широком поле номер: 43, 22 сентября 190... г., и отложил.

110 “Г. губернатор, или, по-настоящему, турецкий паша! Вы вор и наемный убийца, и я мог бы доказать перед всем светом, что за убийство рабочих вы содрали с акционеров кругленькую сумму...”

Губернатор побагровел, скомкал письмо, сорвал с покрасневшего большого носа очки и громко произнес, точно ударил в бубен:

– Болван!

Потом, заложив руки в карман и оттопырив локти, заходил по комнате сердитыми, отбивающими такт шагами. Так – ходят – гу-

бернаторы. Успокоившись, расправил письмо, прочел его до конца, пометил слегка дрожащей рукой номер и бережно отложил. 120  
“Пусть почитает”, – подумал он про сына.

Но в тот же вечер судьба послала ему другое письмо, подписанное “Рабочий”. Впрочем, кроме этой подписи ничто не говорило о человеке мускульного труда, малообразованном и жалком, каким привык представлять их себе губернатор.

«На заводе и в городе говорят, что вы будете скоро убиты. Мне в точности неизвестно, кем это будет сделано, но не думаю, чтобы представителями какой-нибудь организации, а скорее кем-нибудь из добровольцев-граждан, глубоко возмущенных вашей зверской расправой над рабочими 17-го августа. Сознаюсь откровенно, что 130  
я и некоторые мои товарищи против этого решения, не потому, конечно, чтобы мне было вас жаль, – ведь вы сами не пожалели же даже детей и женщин, – и думаю, никто во всем городе вас не пожалеет, но просто потому, что по взглядам моим я против убийства, как против войны, так против смертной казни, политических убийств и вообще всяких убийств. В борьбе за свой идеал, который состоит в “свободе, равенстве и братстве”, граждане должны пользоваться такими средствами, которые не противоречат этому идеалу. Убивать же – это значит пользоваться обычным средством людей старого мира, у которых девизом служит “рабство, привилегии, вражда”. Из плохого ничего хорошего выйти не может, и в борьбе, которая ведется оружием, победителем всегда будет не тот, который лучше, а тот, который хуже, то есть который жесточе, меньше жалеет и уважает человеческую личность, неразборчив в средствах, одним словом, иезуит. Хороший человек, если будет стрелять, так непременно либо промахнется, либо устроит какую-нибудь глупость, от которой попадет, потому что душа его стоит против того, что делает его рука. По этой именно причине, я думаю, так мало в известной нам истории удачных политических убийств, потому что те господа, которых хотят убить, подлецы, 140  
знающие всякие тонкости, а убивающие их – честные люди и влопываются. Поверьте, г. губернатор, что если бы покушающиеся на вашего брата были подлецы, так они нашли бы такие лазейки и способы, которые и в голову не могут прийти людям честным, и давно бы всех поукокошили. Я и революцию, по моим взглядам, признаю только как пропаганду идей, в том смысле, в каком были христианские мученики, потому что когда рабочие даже как будто победят, то подлецы только притворяются побежденными, а сами сейчас же и придумают какое-нибудь жульничество и облапошат 160  
своих победителей. Побеждать нужно головой, а не руками, потому что на голову подлецы слабы; по этой-то причине они и прячут

книги от бедного человека и держат его во тьме невежества, что боятся за себя. Вы думаете, почему хозяева не хотят дать восьмичасового дня? Вы думаете, они и сами не знают, что при восьми часах производительность будет не меньше, чем при одиннадцати, а только дело в том, что при восьми часах рабочие станут умнее хозяев и отберут у них дела. Они ведь и умными считаются только потому, что всех задурили, а против настоящего умного человека им грош цена. Извините, что я ударился в рассуждения о таких материях, но это затем, чтобы по первым моим словам против вашего убийства вы не приняли меня за отступника от общего дела всех честных людей. Должен еще к этому добавить, что 17-го числа я и другие мои товарищи, которые разделяют мои убеждения, на площадь не ходили, потому что хорошо знали, чем это кончится, и не хотели разыгрывать из себя дураков, которые верят, что у вашего брата есть справедливость. Теперь и остальные, конечно, товарищи согласились и говорят: “Теперь уж если пойдем, так не просить, а разносить”, а по-моему, и это глупость, и я говорю: зачем ходить, скоро к нам сами придут с поклоном и ласковыми словами, вот тогда мы и покажем. Милостивый государь! Извините, что я имел дерзость обратиться к вам с моим словом рабочего-самоучки, но мне все-таки удивительно, что человек образованный и не такой подлец, как другие, мог так обойтись с несчастными, доверившимися ему рабочими, чтобы стрелять в них. Может быть, вы окружите себя казаками, нагоните шпионов или уедете куда-нибудь и таким образом спасете свою жизнь, и тогда мои слова могут вам принести пользу и привести вас на путь истинного служения интересам народа. У нас на заводе говорят, что вы были подкуплены хозяевами, но я этому не верю, потому что хозяева наши не дураки и не станут даром бросать денег, а кроме того, я знаю, что вы не взяточник и не вор, как другие ваши коллеги, которым нужны деньги на арфисток и шампанское с трюфелями. Скажу даже, что вы вообще честный человек...»

Губернатор бережно положил на стол письмо, торжественно снял с носа затуманившиеся очки, торжественно и медленно протер их кончиком платка и с уважением и гордостью сказал:

– Благодарю, молодой человек.

Прошелся неторопливо по комнате и, обращаясь к холодной печке, веско добавил:

200 – Жизнь мою вы берите, она ваша, но моя честь...

Он не договорил и, закинув голову, несколько смешной в своей важности, вернулся к столу.

«...Скажу даже, что вы вообще честный человек – вообще честный человек – вообще честный человек – и сами не обидите

и курицы, если вам не прикажут ее обидеть. Но как вы, честный человек, можете подчиняться таким приказаниям, вот в чем для меня вопрос. Милостивый государь! Народ не курица. Народ – дело святое, и если бы вы понимали, что такое народ с его страданиями, вы вышли бы на ту самую площадь, поклонились бы земно и попросили бы прощенья. Вы подумайте только: из рода 210 в род, из поколения в поколение, от тех самых первых рабов, которые строили пирамиды по прихоти тирана-царя, ведем мы свое существование, и как есть среди вас потомственные дворяне, то есть угнетатели, так среди нас есть потомственные рабочие, потомственные рабы. И вы подумайте, что во все эти тысячи лет нас только били и угнетали, и как бы далеко ни заглянул я в прошлое моих предков, я ничего не вижу там, кроме слез, отчаяния и дикости. И все это ложилось на душу, и все это в сохранности, как единственный капитал, передавалось от отца к сыну, от матери к дочери, и вы разверните душу настоящего рабочего или мужика – ведь это же ужас! Еще не родившись, мы уже тысячекратно 220 обижены, а когда мы вылезаем в жизнь, так сразу попадаем в какую-то нору и пьем обиду, и едим обиду, и одеваемся обидой. Вот рассказывают, что в третьем году вы пороли каких-то мужиков, понимаете ли вы, что вы сделали? Вы думаете, что вы только их зад оголили, а вы их тысячелетнюю душу рабскую оголили, вы и покойников, и будущих, еще не родившихся людей розгами хлестали. И хоть вы и генерал и превосходительство, а скажу вам грубо, недостойны губами приложиться к мужицкому заду, как к святыне, а не только что хлестать его розгами. А когда пришли 230 к вам рабочие, вы думаете, это кто пришел? Это пришли рабы воскресшие, которые строили пирамиды, пришли со своими тысячелетними мозолями и слезами за любовью, за советом и помощью, как к образованному и гуманному человеку XX века, а вы как с ними поступили? Эх, вы! Подумать, так ваш дедушка был надсмотрщиком над этими рабами и хлестал их плеткой и вам передал эту глупую ненависть к рабочему классу. Милостивый государь! Народ просыпается! Пока он только еще во сне ворочается, а у вашего дома подпорки уже трещат, а вы погодите, как он совсем проснется! Вам новы эти мои слова, подумайте над ними. 240 А засим прошу прощения, что обеспокоил, и во имя “братства” желаю, чтобы вас не убили».

“Убьют!” – подумал губернатор, складывая письмо. Вспомнился на миг рабочий Егор с его сизыми завитками и утонул в чем-то бесформенном и огромном, как ночь. Мыслей не было, ни возражений, ни согласия. Он стоял у холодной печки – горела лампа на столе за зеленым матерчатым зонтиком – где-то далеко

играла дочь Зизи на рояле – лаял губернаторшин мопс, которого, очевидно, дразнили, – лампа горела. Лампа горела.

## VII

Несколько следующих дней прошло без писем. Точно по уговору, письма прекратились сразу, и наступившее безмолвие было необычно и жутко. Во внезапности безмолвия не чувствовалось конца, что-то еще продолжалось там, в тишине – как будто в новую фазу вступила мысль и таинственно творила что-то. И быстро шли дни, как взмахи огромных крыльев: вверх взмахнет – день, вниз повеет – ночь.

10 Два раза в необычные часы был принят губернаторшей полицеймейстер Судак. В прихожей, подставляя руки швейцару, чтобы тот стащил с них пальто, он вполборота энергичным шепотом бранил его, как своего городского или извозчика. И, уже раздевшись и натягивая свежую перчатку, он наклонял прилизанную голову к пушистым бакам швейцара, скалил гнилые, прокопченные табаком зубы и в самый нос совал полуодетую перчаткою руку с болтающимися плоскими пальцами. То же, хотя в меньших размерах, проделал он с лакеем. Потом принял великосветский вид и поднялся по лестнице наверх. Раньше он ни в каком случае не осмелился бы бранить прислугу губернатора, но теперь выходило  
20 как-то так, что бранить можно, даже необходимо. Вчера у самого губернаторского подъезда вечером был арестован выслеженный агентами очень подозрительный человек: утром он издалека провожал губернатора в его пешей прогулке, а потом весь день шатался у дома, заглядывал в нижние окна, прятался за деревьями и вообще вел себя крайне подозрительно. При аресте ни оружия, ни каких-либо подозрительных предметов и бумаг у него не нашли, и оказался он мещанином Ипатиковым, по профессии скорняком; но объяснения он давал запутанные и лживые, уверял, что только раз прошел мимо дома, и вообще, видимо, что-то скрывал. При  
30 обыске в мастерской ничего, кроме обыкновенных обрезков меха, начатого гимназического мехового пальто и других предметов мастерства, а также домашнего хозяйства, у него не нашли; ни оружия, ни бумаг – но случай оставался очень темным и неразъясненным. И никто из губернаторской прислуги, ни швейцар, ни другие, не заметили подозрительного субъекта, хотя он десятки раз прошел мимо парадного; а ночью один из агентов для опыта подергал дверь, и она оказалась не запертой, так что он походил по швейцарской, для доказательства сделал царапину на стене и

незамеченный ушел. То, что дверь была не заперта, швейцар объяснил забывчивостью, но в такое время, когда все ждут преступления, подобное ротозейство было непростительно. 40

– Я в невозможном положении, ваше превосходительство, – жаловался губернаторше Судак, прижимая к надушенной груди белую перчатку. – От охраны их превосходительство решительно отказываются и даже не позволяют ни об чем говорить; агенты, извините за выражение, с ног сбились, ходивши за их превосходительством, и все без результатов, так как любой мерзавец из-за угла или даже через забор камнем может ушибить их превосходительство. В случае не дай бог чего скажут: полицеймейстер виноват, полицеймейстер не уследил, а что же я могу поделывать против 50 священной воли их превосходительства? Войдите в мое положение, ваше превосходительство, прямо, извините за выражение, хоть в отставку подавать, ваше превосходительство.

Оказалось, что у Судака готов уже и план: пусть губернатор возьмет двух- или трехмесячный отпуск и уедет за границу на воды на предмет поправления здоровья; в городе все снаружи спокойно, к губернатору в Петербурге благоволят и никакой поддержки не сделают.

– Иначе я ни за что не ручаюсь, ваше превосходительство, – с чувством закончил полицеймейстер. – Есть мера сил человеческих, ваше превосходительство, и со всей откровенностью говорю: иначе ни за что не ручаюсь. А пройдет два-три месяца, и все прекраснейшим манером позабудется, и тогда пожалуйста к нам, ваше превосходительство. К тому времени сюда и итальянская опера прибудет: мы будем слушать, а их превосходительство пусть себе гуляют на здоровье! 60

– Ну уж, какая это опера! – сказала губернаторша, но на предложение полицеймейстера согласилась, так как была очень обеспокоена.

Внизу полицеймейстер снова разнес швейцара, но на этот раз 70 уже громко, не стесняясь:

– Я тебе покажу! Я тебе баки-то подрежу, жирная морда! Распустил баки, как тайный с-советник, сукин сын, и думает, что дверь можно не закрывать! Ты мне попляшешь! Ты...

В тот же вечер Мария Петровна попросила мужа ехать с нею и детьми за границу.

– Я прошу тебя, Ригге, – говорила она томно и закрывала глаза большими коричневыми веками, и желтая напудренная кожа обвисала на щеках, как у легавой собаки. – Ты знаешь, как у меня плохи почки, и мне положительно необходим Карлсбад. 80

– Но разве ты не можешь поехать с детьми, без меня?

– Ах, нет, Ригге, что ты говоришь. Без тебя я буду так беспокоиться. Я прошу тебя.

Она не сказала, отчего будет беспокоиться, да и так понятно было. К ее удивлению, Петр Ильич охотно согласился на поездку, хотя для возражений и спора, помимо даже исключительности обстоятельств, достаточно было того, что просила его она. Так у них бывало.

“Это не будет трусость, нет, – думал губернатор. – Я не сам  
90 придумал эту поездку, и, может, ей действительно необходимо полечиться: желта она как лимон. У них еще достаточно времени, чтобы меня убить, а если они ничего не сделают, то, значит, прав буду я, а не они. И тогда я выйду в отставку, и уеду совсем, и устрою хорошую оранжерею”.

Но, думая так, он не верил ни в за границу, ни в оранжерею – быть может, только поэтому он и согласился ехать. И, согласившись, тотчас же забыл об этом, как будто дело касалось кого-то другого, постороннего, непонятно медлил с написанием бумаги, назначал день, когда написать, и вспоминал о нем два дня спустя. И снова назначал, и снова настойчиво забывал. Успокоенная  
100 решением уехать, губернаторша вяло торопила его – она как-то запоздала в этот раз с своим осенним туалетом, и нужно было время, чтобы покончить с портнихами. Не была готова и Зизи.

В молчаливой пустоте, охватившей губернатора с внезапным прекращением писем, ему чувствовалось что-то неокончательное – словно намек на тихий голос, звучащий где-то вдалеке. Так чувствуется в пустой комнате, когда за стеною говорят и голосов не слышно. И когда получилось письмо – последнее запоздалое письмо, – он взял его, как будто только его и ждал, и только удивился тому, что было оно в нежно окрашенном узком конверте с изображением незабудки на обратной стороне. И пришло оно не днем, как другие, которые опускаются в ящик вечером или ночью, а с вечерней почтой, следовательно, было опущено несколько часов тому назад. Небольшой листок был так же нежно окрашен, и наверху была голубая незабудка; почерк был четкий, старательный, но к обрезу строчки часто загибались вниз, как будто писавшая не совсем верила в свое умение правильно переносить слова и предпочитала дописывать их маленькими сползающими буквочками. Иногда, еще задолго до обреза, предвидя, что слова не  
120 упишутся, она уже начинала сгибать строчку, и похоже было на снежную горку, с которой гуськом катятся на санках дети, самые маленькие спереди. Подписано было: “Гимназистка”.

“Вчера мне приснились Ваши похороны, и я решила писать Вам, хотя это нехорошо и оскорбляет тех несчастных рабочих

и девочек, которых Вы убили. Но Вы тоже несчастный человек, достойный сожаления, и поэтому я пишу Вам это письмо. Мне приснилось, что хоронили Вас не в черном гробу, как стариков и вообще пожилых людей, а в белом, как хоронят девушек, и несли Ваш гроб по Московской улице городовые, но не на руках, а на головах. И за гробом шли одни только городовые, а родственников Ваших не было, и вообще не было никого из публики, так что даже окна и калитки, где Вас пронесли, были все закрыты ставнями, как ночью. Мне сделалось так страшно, что я проснулась и стала думать, о чем теперь и напишу Вам. И я подумала: вероятно, у Вас и вправду нет никого, кто мог бы о Вас поплакать, когда Вы умрете. Те люди, которые Вас окружают, черствые эгоисты и думают только о себе, и когда Вас убьют, то они будут, мне кажется, даже рады, потому что сами думают о месте губернатора. Вашей жены я не знаю, но не думаю, чтобы в этой среде, заеденной тщеславием и погоней за наслаждениями, могли встретиться чуткие и хорошие женщины. Из честных же людей Вас никто провожать не пойдет, потому что все возмущены Вашим поступком с рабочими, а от одного человека я даже слышала, что Вас хотели исключить из клуба, но только боятся правительства. Панихиды же ничего не стоят, потому что наш архиерей, как Вы сами знаете, готов отслужить панихиду и по собаке, только бы ему хорошо заплатили за это. И когда я подумала, что, вероятно, Вы сами все это хорошо знаете и без моих слов, то мне сделалось страшно жаль Вас, как будто бы я знала Вас лично. Видела я Вас только два раза: один раз очень давно, на Московской улице, а другой раз на нашем акте, когда Вы приезжали с архиереем, но Вы меня, конечно, не помните. И клянусь, что буду молиться о Вас и буду плакать о Вас, как будто я была Ваша дочь, потому что мне очень, очень жаль Вас.

Р. S. Пожалуйста, сожгите это письмо. Мне очень жаль Вас, очень”.

Гимназисточку он полюбил. Поздно вечером, уже перед сном, он прошел через темную залу и вышел на балкон, тот самый, откуда он подал знак белым платком. Уже началось осеннее ненастье и слякоть, и ночь темнела густым осенним мраком; и в тяжести этого мрака чувствовалось, как далеко солнце – как давно оно ушло и как еще не скоро вернется. Далеко налево, у подъезда, горели два яркие фонаря с рефлекторами; белый свет их вонзался во тьму, но не разгонял ее: тут же она и стояла, спокойная, густая, тяжелая. Город, вероятно, уже спал, так как, кроме редких фонарей на улицах, не видно было ни одного освещенного окна и езды не слышно было. Под одним фонарем смутно блестело что-

то – вероятно, лужа. В гимназии давно учатся, и она, вероятно, уже приготовила уроки и спит – где-то в этом черном пространстве, полном безмолвия. Оттуда шлют ему письма и угрозы, откуда придет к нему смерть... – но там есть девочка, которая спит и которая будет о нем плакать.

Как спокойно, как темно – как тихо!

## VIII

За две недели до смерти губернатора в губернаторский дом была доставлена посылка, обшитая полотном и оцененная в три рубля. Когда раскрыли ее, то оказалась она адской машиной – снарядом, начиненным порохом и устроенным так, чтобы взорваться при открытии. Но устроена она была плохо, неопытными руками какого-то любителя, только слыхавшего о существовании подобных вещей, и взорваться никаким образом не могла. И в этой наивности снаряда было что-то тупо-жестокое и устрашающее: точно слепая, смерть выпускала щупальцы и шарила ими в потемках. Полицеймейстер поднял тревогу, а губернаторша настояла, чтобы Петр Ильич в тот же день отправил заявление в Петербург о болезни, сама съездила к своей портнихе и, кроме того, от себя послала сыну французское письмо, полное ужасов.

И никто не заметил, когда это случилось, в тот же день, или немного раньше, или немного позже, – с губернатором произошла странная и решительная перемена, давшая новый образ на месте знакомого и привычного человека. Все тот же он был – но стал он правдив лицом и игрою его, и от этого казалось, что лицо у него новое. Оно улыбалось там, где раньше было спокойно, хмурилось, где прежде улыбалось, было равнодушно и скучно, когда раньше выражало интерес и внимание. И так же страшно правдив стал в чувствах своих и их выражении: молчал, когда молчалось, уходил, когда хотелось уйти, спокойно отворачивался от собеседника, когда тот становился скучен. И те, кто много лет были спокойно уверены в его любви и расположении, знали все его чувства и настроения, вдруг почувствовали себя покинутыми, отброшенными куда-то в сторону и совершенно не знающими ни его чувств, ни настроений. Вдруг исчезли куда-то все улыбки, поклоны, пожатия руки и ласковые взгляды, пропали все эти мимолетные вставки в речи: “пожалуйста – голубчик – вы сделаете большое одолжение – дорогой”, – все то, что составляло привычный и знакомый облик, – и люди были изумлены странной и даже страшной новизной явившегося. Так, вероятно, звери,

привыкшие думать, что платье человека составляет самого человека, бывают поражены, увидев его голым.

Только вежливым перестал он быть, и сразу распалась связь, соединявшая его много лет с женою, детьми, окружающими, – как будто только улыбками и поклонами держалась она и исчезла вместе с поцелуями рук. Не осудил их, не возненавидел, даже чего-нибудь 40  
нового, отталкивающего в них не заметил, – они просто выпали из его души, как выпадают зубы изо рта, как вылезают волосы, как отпадает умершая кожа: безболезненно, нечувствительно, спокойно. Смертельно одинок он был, сбросивший покров вежливости и привычки, и даже не почувствовал этого – словно всегда, во все дни его долгой и разнообразной жизни одиночество было естественным, ненарушимым его состоянием, как сама жизнь.

Утром он забывал поздороваться, вечером – проститься, и когда жена подставляла свою руку, а дочь Зизи – свой гладкий лоб, он как-то не понимал, что нужно делать с рукой и гладким 50  
лбом. Когда являлись к завтраку гости, вице-губернатор с женой или Козлов, то он не поднимался к ним навстречу, не делал обрадованного лица, а спокойно продолжал есть. И, кончив еду, не спрашивал у Марии Петровны позволения встать, а просто вставал и уходил.

– Куда же ты, Pierre? Побудь с нами, нам скучно. И сейчас же будет кофе.

Он спокойно отвечал:

– Нет, лучше я пойду к себе. А кофе не хочу.

И невежливость ответа исчезла в его искренности и простоте. 60  
Отказывался смотреть новые платья Зизи, не выходил к гостям, предоставляя губернаторше выдумывать предлоги, и совершенно перестал заниматься делами и отказывался, без объяснения причин, выслушивать доклады. Но просителей раз в неделю он принимал и внимательно выслушивал каждого, с интересом, несколько даже невежливым, оглядывая его с ног до головы.

– Вы уверены, что так будет лучше? – спрашивал он, выслушав.

И, получив удивленный, но утвердительный ответ, обещал просьбу исполнить. Вероятно, он не думал в это время о пределах 70  
своей власти или имел о ней преувеличенное представление, но часто разрешал дела ему неподведомственные; и впоследствии новому губернатору пришлось долго возиться с создавшейся путаницей, тем более что много дел было непозволительно кляузного характера.

Вечерами, чтобы несколько рассеять дурное настроение мужа, Мария Петровна приходила к нему в кабинет, пробовала

ему голову рукой, не горячая ли, и начинала говорить о загранице. Но он просто и невежливо удалял ее:

80 – Ну хорошо, ступай. Мне хочется побыть одному. У тебя же есть свои комнаты, и я к тебе не хожу.

– Как ты изменился, Pierre!

– Вздор, вздор! – говорил он своим гулким командующим басом и прижимался спиной к холодной, негреющей печке. – Пойди, пойди, да уйми своего мопса, только и слышно в доме, что его лай.

От прежних привычек у Петра Ильича остались только карты; играл он два раза в неделю в винт, по маленькой, и играл с видимым удовольствием, серьезно, деловито и, когда партнер ошибался, подвергал его громовому разносу.

90 – Вы о чем же, сударь, думаете? Ведь я же показывал вам бубны? – гулко грохотал он, выговаривая “бубны” так, точно ударял в бубен, и Мария Петровна из гостиной с улыбкой ловила слова мужа и с томной снисходительностью покачивала головой. Желтые щеки у нее обвисали, как у легавой собаки, сыпалась пудра с лица, и коричневые большие шарообразные веки спускались из-под лба, как железный ставень в магазине, и снова поднимались. И ей, и другим казалось в этот миг невозможным, чтобы кто-нибудь решился убить человека, который так играет в карты.

И все две недели, до самой смерти, он ждал. Вероятно, были  
100 в его голове другие мысли – об обычном, о житейском, о прошлом, привычные старые мысли человека, у которого давно заостенели мышцы и мозг; вероятно, думал он о рабочих и о том печальном и страшном дне – но все эти размышления, тусклые и неглубокие, проходили быстро и исчезали из сознания мгновенно, как легкая зыбь на реке, поднятая пробежавшим ветром. И снова и всегда спокойною, черною водою омота стояло бездонное, молчаливое ожидание. Казалось, что и с мыслями, как и с людьми, его соединяла только вежливость и привычки, и, когда привычка и вежливость отпали, исчезли куда-то мысли. И в голове своей он был так  
110 же одинок, как и в доме.

Он ждал. Как и всегда, он вставал в семь, обливался ледяной водой, пил молоко и в восемь уже выходил на обычную прогулку; и каждый раз, переступая порог своего дома, ожидал, что обратно его уже не перешагнет и двухчасовая прогулка превратится в бесконечное падение куда-то. Одетый в генеральское пальто с красной подкладкой, высокий, широкоплечий, воинственный, несущий седую голову немного назад, он два часа величавым призраком кружился по городу – вдоль почерневших от дождя деревянных домишек, вдоль бесконечных заборов и пустырей, мимо  
120 магазинов и лавок с продрогшими, низко кланяющимися приказ-

чиками. Светило ли подслеповатое октябрьское солнце, моросил ли настойчивый, тоскливый дождь, он неизменно появлялся на улицах – величавый и печальный призрак с размеренными и твердыми шагами, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы. Прямо по грязи и по лужам шагал он, блестя в них красной подкладкой расстегнутого пальто, прямо пересекал улицы, не замечая ни козырявших городских, ни экипажей и останавливая их движение; и если бы сверху проследить его ежедневный путь ожидания, то представился бы он причудливым сцеплением прямых и коротких линий, вонзающихся друг в друга, спутывающихся в колючий, болезненно изломанный клубок. 130

Он мало смотрел по сторонам и никогда не оглядывался назад; но едва ли впереди себя видел он что-нибудь, поглощенный бездонным черным ожиданием, – много поклонов оставил он без ответа, и много испуганных глаз встретили и пропустили сквозь себя его скользкий, невидящий взор, прямой, как его шаги. И когда он был уже убит и давно похоронен и новый губернатор, молодой, вежливый, окруженный казаками, быстро и весело носился по городу в коляске, – многие вспоминали этот двухнедельный странный призрак, рожденный старым законом: седого человека в генеральском пальто, шагающего прямо по грязи, его 140 закинутую голову и незрячий взор – и красную шелковую подкладку, остро блистающую в молчаливых лужах.

Многолюдие главных улиц с его назойливым любопытством его утомляло, и чаще углублялся он в грязные глухие переулки, с их трехкоконными домишками, заборами и узкими, деревянными, скользкими мостками вместо тротуаров. Было у него во все эти дни постоянное желание: заглянуть на Канатную и пройти всю, взад и вперед, с одного конца до другого, но осуществить его он так и не решился: казалось неловко и страшно, страшнее, 150 чем смерть. И он смутно удивлялся, как это раньше, в сентябре, он так просто и безбоязненно ездил по этой улице и даже хотел кого-нибудь встретить, чтобы поклониться.

Но на одну улицу он заглядывал ежедневно и проходил ее неторопливо, и был похож на спокойно гуляющего старого генерала, добродушного и немного чудаковатого. Эта улица вела к женской гимназии, и по утрам, в девятом часу, по ней проходило много гимназисток; и первый он почтительно и серьезно кланялся девочкам, самым маленьким из них, у которых были коротенькие по колена коричневые платица, тоненькие ножки и огромные 160 ранцы, и они конфузливо отвечали. Его близорукие глаза не различали лиц, и все они, и у девочек и у взрослых, стройных девушек, казались ему одинаковыми розовыми лепестками в шапоч-

ках. Пропустив последнюю, он тихонько улыбался левым усом и смотрел хитро, а за поворотом снова превращался в мертвеца, церемониальным маршем ищущего могилы.

В первые дни, по тайному приказу полицеймейстера, за ним в некотором отдалении следовали два агента, которых он не замечал, так как не оглядывался назад. Вначале они добросовестно ходили за ним, подчиняясь всем его капризным движениям, но вскоре начали отставать: казалось, глупо ходить и смотреть в спину человека, который бестолково вертится в самых опасных местах. И то они останавливались у знакомых лиц, то болтали с городовыми, то на четверть часа забегали в трактир и, случалось, на целый час теряли губернатора из виду.

– Все равно ничего не поделаешь, – говорил, оправдываясь, один, похожий на консistorского чиновника, бритый, благообразный и в высшей степени трезвый. Он торопливо прожевывал горячий пирожок и, еще не доев, левой рукой поднимал металлическую крышку с ящика, чтобы достать новый. – Если человек от старости из ума выжил и сам на рожон лезет, то что же с ним поделаешь, скажите, пожалуйста?

– Одна форма, – сказал буфетчик.

– А Судак? – спросил второй, усатый, мрачный, похожий на пропившегося помещика, но в действительности бывший мелкий шулер-неудачник.

Он мрачно, большими собачьими глотками, глотал колбасу, селедку, все, что попадало под руку, и казалось, ест медленно, но на самом деле поглощал быстро и много. И водку он пил так же, но никогда не бывал пьян, как не бывал и сыт.

– Ну что ж Судак? Сам понимает, что мы не ангелы с небеси.

– Это как лошадь на пожаре: ее тащат, а она упирается. Так и сгорит, а не пойдет, – сказал буфетчик.

– Не ангелы мы, – вздохнув, повторил первый.

Правда, они не были похожи на ангелов, эти два приниженные человека, и не их рукам было отстранить гору, падавшую на человека.

Возвращаясь домой и перешагивая порог, губернатор не ощущал радости и даже не думал, что вот еще на один день он остался жив; он принимал это без размышлений, как будто забыв даже значение своей прогулки, – и ждал следующего дня огромным, темным ожиданием. И пустые, бездеятельные дни проходили страшно быстро, но время не подвигалось вперед: словно испортился механизм, подающий новые дни, и вместо следующего дня подавал старый, все один и тот же. И календарь на письменном столе, который он всегда переворачивал сам, чаще с вечера, точ-

но призывая следующий день, – замер неподвижно на каком-то из старых, давно минувших дней; и, взглядывая иногда на эту застывшую черную цифру и даже не догадываясь, в чем дело, он ощущал жжение в груди, что-то вроде легкой тошноты, и быстро 210 отводил глаза.

– Вздор! – говорил он сердито; теперь, оставаясь один, он часто вслух произносил отрывочные слова, не связанные ни с какой определенной мыслью, и особенно часто повторял два слова: “вздор!” и “позорно!”.

Смерти он не боялся и представлял ее себе только с внешней стороны: вот в него выстрелят, а он упадет; потом похороны, музыка, несут ордена, и это все. Встретить ее он хотел мужественно. Не думал он совсем и о том, будет за гробом какая-нибудь жизнь и суд или нет; для него все кончалось здесь. И ел он хорошо, с 220 обычным аппетитом, и спал крепко, без сновидений. Но однажды ночью – это было за три дня до убийства – ему, вероятно, приснилось что-нибудь очень тяжелое, и проснулся он от собственного глухого и хриплого стона. И, услышав этот свой необыкновенный и страшный голос, встретив перед глазами тьму, почувствовал смертельный ужас и истому. Укрылся одеялом с головой, сжался в узловатый комок, подтянув костлявые колени к лицу, и, точно в одно мгновение пройдя весь обратный путь от старости к детству, – заплакал тихо и горько и стал просить мокрую, теплую, мягкую подушку: 230

– Пожалейте меня! Придите же ко мне кто-нибудь, придите. Пожалейте же меня! О-о-о!..

Но у него оставалось большое старое тело и гулкий грубый голос, и скоро сквозь слезы он почувствовал всего себя, всю свою странную позу, и смолк.

И долго лежал молча все в той же странной позе и широко открытыми глазами глядел в тьму под одеялом.

А наутро снова надел он генеральское пальто; и еще два дня мелькала, отражаясь в лужах, красная подкладка и крутился по улицам величавый призрак, мертвец, церемониальным маршем 240 ищущий могилы.

Произошло это просто и быстро, точно картина передвинулась в панораме. На перекрестке, при выходе на маленькую грязную площадь, где по пятницам продавалось сено, – чей-то нерешительный голос окликнул губернатора:

– Ваше превосходительство?

– А?

Он остановился и повернул голову: к нему через дорогу, от глухого забора, расплываясь ногами в грязи, торопливо подхо-

250 дили два человека, один в высоких сапогах, другой в ботинках, без калош, но с подвернутыми брюками. Вероятно, ему было холодно от промоченных ног: лицо у него было зелено-бледное, и белокурые волосы точно отделялись от кожи. В левой руке он держал свернутый четырехугольник бумаги, а правую глубоко запустил в карман.

И сразу стало понятно все: ему – что пришла смерть, им – что он знает об этом.

– Извините! – сказал один, и лицо его быстро передернулось.

– Прощение? О чем? – так же ненужно, но точно обязанный  
260 поддерживать игру, спросил губернатор. Но руки за бумагой не протянул.

А тот, все еще держа в левой руке никого не обманывающую бумагу и не отдавая ее губернатору, правой тащил запутавшийся в подкладке револьвер, морщась от усилий.

Губернатор быстро, искоса, огляделся: грязная пустыня площади, с втоптаннами в грязь соломинками сена, глухой забор. Все равно уже поздно. Он вздохнул коротким, но страшно глубоким вздохом и выпрямился – без страха, но и без вызова; но была в чем-то, быть может в тонких морщинах на большом, старчески  
270 мясистом носу, неуловимая, тихая и покорная мольба о пощаде и тоска. Но сам он не знал о ней, не увидали ее и люди. Убит он был тремя непрерывными выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий треск.

Минуты через три прибежал городской, за ним сыщики и народ – как будто все они где-то поблизости, за углом, ожидали конца. И труп закрыли. А еще через десять минут ехала уже лазаретная фура с красным крестом – и по всему городу стучали, как камни, перекрестные вопросы и ответы:

– Убит?

280 – Наповал.

– А кто? Поймали?

– Нет, убежали. Неизвестные какие-то. Трое.

И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни – порицая, другие – одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха: что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами, выступил в тумане грозный образ Закона-Мстителя.

Гимназисточка плакала.

290 *Август 1905 года*

# ТАК БЫЛО

## I

Стояла на площади огромная черная башня с толстыми крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. Построили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло их, и стала она наполовину тюрьмой для опасных и важных преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый городок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых крыш. Когда на западе светлело зеленое небо и в окнах кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная громада башни приобретала причудливые и фантастические очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обыкновенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан. И думалось о старом, давно умершем и забытом. 10

На башне были огромные старые часы, видимые издалека. Их сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за ним одноглазый человек, которому было удобно смотреть в лупу. От этого он сделался часовщиком и долго возился с маленькими часами, прежде чем ему отдали большие. Тут он почувствовал себя хорошо и часто без надобности, днем и ночью, заходил в комнату, где медленно двигались зубчатые колеса и рычаги и широкими, плавными взмахами рассекал воздух маятник. Достигая вершины своего качания, маятник говорил: 20

– Так было.

Падал, поднимался к новой вершине и добавлял:

– Так будет. Так было – так будет. Так было – так будет.

Таковыми словами передавал одноглазый часовщик однообразный и таинственный звук маятника; от близости с большими часами он сделался философом, как тогда говорили. 30

Над древним городом, где стояла башня, и над всею страной высоко поднимался один человек, загадочный владыка города и страны, и его таинственная власть – одного над миллионами – была так же стара, как и город. Назывался он королем и прозвище носил “Двадцатый”, по числу своих одноименных предшествен-

ников, но это ничего не объясняло. Как никто не знал начала города, так не знал никто и начала этой странной власти, и, насколько хватало человеческой памяти, – в самом глубоком прошлом вырисовывался все тот же загадочный образ: одного, который повелевает миллионами. Была немая древность, над которой уже не имела власти человеческая память; но и она изредка раскрывала уста: роняла камень, маленькую плитку, исчерченную какими-то знаками, обломок колонны, кирпич из разрушенной стены, – и в этих знаках уже была начерчена повесть об одном, который повелевает миллионами. Менялись титулы, имена и прозвища, но образ оставался неизменным, как будто бессмертным. По тому, что король родился и умирал, как и все, по его виду, присущему всем людям, он был человеком; но когда представляли себе ту неизмеримую громаду власти и могущества, какими он обладал, то легче становилось думать, что он Бог. Тем более что и Бог всегда изображался похожим на человека, и это не нарушало Его совсем особой, непостижимой сущности.

Двадцатый был король. Это значило, что он мог сделать человека счастливым и несчастным; мог отнять имущество, здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч людей шли на войну, убивать и умирать; во имя его творилось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жестокое и милосердное. И его законы были не менее повелительны, чем законы самого Бога; и еще тем он был велик, что Бог никогда не меняет Своих законов, а он мог менять свои постоянно. Далеким или близким, он всегда стоял над жизнью: рождаясь – человек вместе с природою, городами и книгами находил короля; умирая – с природою, городами и книгами оставлял короля.

История страны, язвущая и письменная, являла примеры королей великодушных, справедливых и добрых, и хотя на земле всегда существовали люди лучшие, чем они, все же казалось понятным, почему они повелевают. Но чаще случалось, что король был худшим на земле, лишенным добродетелей, жестоким, несправедливым, даже безумным, – но и тогда оставался он загадочным, одним, который повелевает миллионами, и власть его возрастала вместе с преступлениями. Его все ненавидели и проклинали, а он один повелевал всеми ненавидящими и проклинаящими, – и эта дикая власть становилась загадкой, и к страху человека перед человеком присоединялся мистический ужас неведомого. И от этого происходило, что мудрость, добродетель и человечность ослабляли власть и делали ее спорной, а тирания, безумие и злость укрепляли ее. И от этого происходило, что творчество и добро бывали не под силу самому могущественному из этих загадочных владык, а в раз-

рушении и зле самый слабый из них превосходил дьявола и все адские силы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно – 80 этот таинственный ставленник безумия, смерти и зла; и тем выше бывал трон, чем больше костей клалось в основу его.

И в других, соседних странах так же сидели на тронах владыки, и власть их терялась в бесконечности времен. Бывали годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств исчезал таинственный владыка; но никогда еще не случалось, чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый в слиянии бессилия и бессмертного могущества. И загадочностью своею он очаровывал людей: во все 90 времена встречались среди них такие, и их было много, которые любили его больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как из руки самого Бога, без ропота и сожаления принимали от него и во имя его самую жестокую и позорную смерть.

Двадцатый и его предшественники редко показывались народу, и видели их немногие; но все они любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всюду украшая его и совершенствуя художественным вымыслом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – одного и того же, простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося в память, покорявшего воображение, приобретающего мнимое вездесущие, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу лет назад. И от этого, как ни просто бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная смерть. 110

Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи: за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:

– Так было – так будет.

## II

И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. 120

Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый, – а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы – огромный, взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.

Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все ближе подби-  
140 рались к трону – уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.

Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля  
150 прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:

– Да здравствует Двадцатый!

Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду, и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:

– Да здравствует Двадцатый!

Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозрительность во взорах: как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый  
160 народ? Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, ко-

того осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда – если только там есть кто-нибудь живой.

– Да здравствует Двадцатый!

Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, поднятые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.

– Да здравствует Двадцатый!

Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и придвинулись к толпе. Что-то заползло по стенам и уходит на крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми и вдруг исчезла, и стало ровно – народ движется.

– Да здравствует Двадцатый!

За окнами забежали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся взад и вперед, – похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются, – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица темны, и может быть, это не они.

– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!

Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровые колеблющиеся лица. Вопли в дальних рядах:

– Это не они! Король бежал!

Но ближайšie уже кричат с радостью минувшего испуга:

– Да здравствует Двадцатый!

Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молчит и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.

– Говори, Двадцатый! Говори!

Странный жест рукою, призывающий к молчанию, – странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть, – и  
210 тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:

– Я рад видеть мой добрый народ.

И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад! Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя, Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.

– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здрав-  
220 ствует господин!

– Рабы!

Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обрато движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.

Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса.  
230 И всю ночь реют над городом страшные сны.

### III

Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того, – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию.  
240 Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в рабелепные слезы; сквозь толстые стены он сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в на-

роде, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползши со своих тронов, собираются такие же могущественные владыки и приводят орды 250  
диких, одурченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в гордых чертогах народного собрания – всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.

Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати 260  
часам дня все находились в своих жилищах; и когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатались по опустевшим, безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых стен встревоженные, изумленные кошки; они не понимают – день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. 270  
Скрылись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдие, тишина.

И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и экипажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники, – 280  
и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.

И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопшилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенистый прибой у скалы, светлелись 290

отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.

300 Потом ходили к черной башне и, задрвав головы, кричали в толстые стены:

– Смерть Двадцатому! Смерть!

В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:

– Смерть Двадцатому!

И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и тюрьмы, рас-  
310 пертые изменою и предательством.

И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; брали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.

Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них.  
320 А в народном собрании царило смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некоторые улыбаются – они что-то знают.

– Убийцы!

– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.

Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови, – и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе!  
330 С запада приходят страшные вести о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою, свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все

ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с запада или востока, – он приносит ропот угроз и гнева и радостью отдается в ухо того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи, – и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими, яркими и страшными глазами – потемнел, растаял, угас, и точно горный взъерошенный хребет опрокинулась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу! Горе свободе!

А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами, и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всю свою незримую массу. А когда часы поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке, режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

#### IV

Уже была низвергнута тысячелетняя монархия. Поименного голосования не нужно было: поднялись все, кто был в народном собрании, и сверху донизу оно наполнялось стоящими, как будто выросшими людьми. Поднялся и тот больной депутат, которого принесли в кресле: поддерживаемый друзьями, он выпрямил старые, разбитые параличом ноги и встал, похожий на высокий высохший пень, поддерживаемый двумя молодыми деревцами.

– Республика принята единогласно, – говорит кто-то звонким голосом, ликование которого он напрасно старается сдержать.

Но все стоят. Проходит минута, другая; уже на площади, полной ожидающего народа, поднялся громopodobный, радостный рев, – а здесь молчание и тишина, как в церкви, и суровые, величаво-серьезные люди, застывшие в позе гордого почтения. Перед кем стоят они? Короля уже нет; нет и Бога, этого короля и тирана неба, – уже давно низвергнут и Он с Своего небесного престола. Они стоят перед свободой. Старый депутат, у которого много лет старческою дрожью дрожала голова, теперь держит ее молодо и гордо; вот легким движением руки он отстранил друзей – он стоит один, – свобода совершила чудо! Уже давно отвыкли плакать эти люди, живущие среди бурь, мятежа и крови, а теперь они плачут. Жестокие орлиные глаза, спокойно, не мигая смотревшие на кровавое солнце революции, не выдержали мягкого блеска свободы и плачут.

Молчание в зале. Гул за окнами. Вырастая в силе и обширности, он теряет остроту; ровный и могучий, он напоминает гул безбрежного океана. Теперь все эти люди свободны. Свободен умирающий, свободен рождающийся, свободен живущий. Рухнула таинственная власть одного, тысячи лет державшего в оковах миллионы, распались черные своды тюрьмы – и ясное небо над головою.

– Свобода! – шепчет кто-то тихо и нежно, как имя возлюбленной.

– Свобода! – говорит кто-то, задыхаясь от безмерной радости, весь стремление, весь вдохновение и полет.

– Свобода! – звучит железо.

400 – Свобода! – поют струны.

– Свобода! – грохочет многоголосый океан.

Он умер, старый депутат. Не выдержало сердце его безмерной радости и остановилось, и последним биением его было: свобода. Счастливейший из людей! В могильную таинственную сень он унесет с собою бесконечный сон о молодой свободе.

Ожидали в городе безумств, но их не было. Дыхание свободы облагородило людей, и они стали кротки, и нежны, и целомудренны в проявлениях радости, как девушки. Даже не плясали. Даже не пели почти. Только глядели друг на друга, только ласкали друг друга осторожным прикосновением рук: так приятно ласкать свободного человека и глядеть в его глаза! И никого не повесили. Нашелся безумец, который крикнул в толпе: “Да здравствует Двадцатый!” – закрутил усы и приготовился к короткой борьбе и длительной агонии в смертоносных объятиях рассвирепевшего народа. И некоторые уже нахмурились, но другие, большинство, только удивились и с любопытством начали разглядывать крик-

нувшего, как на пристани толпа зевак рассматривает привезенную из Бразилии обезьяну.

И отпустили его.

О Двадцатом вспомнили только поздней ночью. Кучка граждан, никак не могших расстаться с этим великим днем и решивших бродить до рассвета, случайно вспомнила о Двадцатом и направилась к башне. Черная, она почти сливалась с небом и в тот момент, когда подошли граждане, глотала какую-то звезду. Маленькая, яркая звездочка подошла близко, сверкнула – и пропала в темном пространстве. Довольно низко над землей тепло светились два маленькие оконца: то бодрствовали стражи.

Пробило два часа.

– Знает он или нет? – сказал один из пришедших, тщетно всматриваясь в черную громаду и пытаясь разгадать ее. От стены отделился какой-то темный силуэт, и вялый, утомленный голос ответил:

– Он спит, граждане.

– Кто вы, гражданин? Вы испугали меня: вы ходите тихо, как кошка.

С разных сторон придвинулись еще несколько темных силуэтов и молча остановились перед пришедшими.

– Что же вы не отвечаете? Если вы призрак, то поскорее проваливайтесь: собрание отменило привидения.

Так же вяло неизвестный ответил:

– Мы сторожим тирана.

– Вас назначила коммуна?

– Нет. Мы сами. Нас здесь тридцать шесть человек. Было тридцать семь, но один умер. Мы сторожим тирана. Два месяца, может быть больше, мы живем у этих стен. Мы устали.

– Нация благодарит вас. Вы знаете, что произошло сегодня?

– Да, мы слышали что-то. Мы сторожим тирана.

– Что теперь республика – свобода?

– Да. Мы сторожим тирана. Мы устали.

– Поцелуемтесь, братья!

Холодные губы вяло прикоснулись к горячим устам.

– Мы устали. Он так лукав и опасен. Мы день и ночь смотрим во все окна и двери. Я смотрю вон в то окно: вы его сейчас не найдете. Так вы говорите: свобода? Это хорошо. Но нам нужно идти на свои места. Будьте спокойны, граждане: он спит. Мы получаем сведения через каждые полчаса. Он спит.

Силуэты закачались – отодвинулись – пропали, точно ушли в стену. Черная башня стала как будто еще выше, и от левого зубца к городу протянулась такая же темная бесформенная туча. Каза-

460 лось, что башня растет и протягивает руки. В сплошном мраке стены вдруг вспыхнул огонь и погас – что-то похожее на сигнал. Туча протянулась над городом и пожелтела от зарева огней; заморосил дождь. Было тихо и беспокойно.

Вправду ли он спит?

## V

Прошло еще несколько дней в новых и сладостных ощущениях свободы – и снова, как черные жилы в белый мрамор, всюду протянулись темные нити недоверия и страха. С подозрительным спокойствием тиран принял весть о своем низложении, – как может быть спокоен человек, лишаемый царства, если только не задумал он чего-то страшного? И как может быть спокоен народ, если в среде его живет некто загадочный, одаренный пагубной силой очарования? Низверженный, он продолжает быть страшным; заключенный, он свободно проявляет свою дьявольскую власть, возрастающую на расстоянии. Так земля, темная вблизи, кажется яркою звездой, если смотреть на нее из глубины синего пространства. Да и вблизи – над его страданиями плачут. Видели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража, смахнувшего с глаз слезу; слышали оратора, призывавшего к милосердию. Как будто даже теперь он не счастливее тысяч людей, которые никогда не видали света и которых снова и снова хотят принести ему в жертву. Кто поручится, что завтра же страна не вернется к старому безумию и на коленях не поползет умолять его о прощении и снова не воздвигнет трона, разрушенного с таким трудом, с такую болью!

Ощетинившись от ярости и страха, многомиллионный народ прислушивается к речам народного собрания. Станные речи, пугающие слова! О его неприкосновенности говорят – о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как судят всех, что его нельзя наказывать, как наказывают всех, что его нельзя умертвить, потому что он король. Следовательно, короли еще существуют! И говорят это, клянясь в любви к народу и свободе, говорят люди испытанной честности, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глубины недр его, истерзанных беспощадною и святотатственной властью королей. Зловещая слепота!

Уже большинство склоняется на сторону низложенного – словно желтый туман, идущий от башни, ворвался в святые чертоги народного разума, и спит ясные очи, и душит молодую свободу – молодую невесту в белых цветах, обретшую смерть

в час брачного торжества. Тоска и отчаяние закрадываются 500  
в сердца, и много рук судорожно нащупывают оружие: лучше  
умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавианом.

Последние возгласы, полные смертельного негодования:

– Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и тридцать пять миллионов скотов!

Да, они хотят. Они молчат, потупив глаза, они устали бороться, устали желать – и в их утомлении, в их потягиваниях и зевках, в их бесцветных, но магически действующих холодных речах уже чудятся очертания трона. Отдельные возгласы – тусклые речи – и слепое молчание единодушного предательства. Гибнет свобода, 510  
бедная невеста в белых цветах, обретшая гибель в час брачного торжества.

Но – чу! Слышен топот. Идут. Словно десятки гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-трам-трам. Идут предместья. Трам-трам-трам. Идут защищать свободу! Рам-рам-рам. Горе изменникам! Трам-трам-трам. Горе предателям!

– Народ просит разрешения пройти перед собранием.

Но разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не трогай!

Распахиваются двери: вот они, предместья! Землистые лица. 520  
Обнаженные груди. Бесконечная фантастика разноцветного тряпья, заменяющего одежду. Восторг порывистых, несдержанных движений. Зловещая стройность беспорядка; марширующий хаос. Трам-трам-трам. Глаза, горящие огнем. Пики, косы, трезубцы. Колья из огады. Мужчины, женщины и дети. Трам-трам-трам.

– Да здравствуют представители народа! Да здравствует свобода! Смерть изменникам!

Депутаты улыбаются, хмурятся, приветливо кланяются. Голова кружится от этого пестрого бесконечного движения: как будто стремительная река пробегает в пещере. Все лица становятся похожи на одно; все крики сливаются в один сплошной однообразный гул; топот ног делается похож на стук дождя по крыше – усыпляющий, парализующий волю, внедряющийся в сознание. Гигантская крыша, гигантские капли.

– Там-там-там.

Идут час, идут два и три. По-видимому, уже наступила ночь. Чадят багрово-красные огни. Оба отверстия – и то, откуда народ вливается, и то, куда он пропадает, – черны, как две раскрытые пасти: словно черная, отливающая медью и железом лента продергивается из одной в другую. Утомленные глаза рисуют миражи. То бесконечный ремень; то огромный, распухший, волосатый червяк; 540

тем, кто сидит над дверью, кажется, что они на мосту и они начинают плыть. Минутами ясное и необыкновенно живое сознание: так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще невиданной свободы. Свободный народ – какое счастье!

– Трам-трам-трам.

Уже восемь часов идут они, и еще не видно конца. С обеих сторон – и с той, откуда народ является, и с той, куда он пропадает, – гремит революционная песня. Слова едва слышны; отчетливо выделяются только музыкальные такты, падения и подъемы, мгновенная тишина и грозные взрывы. К оружию, граждане! Сбирайтесь в батальоны! Идем – идем!

Идут.

Голосования не нужно. Еще раз спасена свобода.

## VI

Настал великий день суда над королем. Таинственная власть, древняя, как мир, должна дать ответ – народу, который она поработала тысячи лет, миру, который она позорила, как торжествующая бессмыслица. Лишенная шутовских погрешек и золоченого трона, лишенная громких титулов и всех этих странных символов власти – обнаженная, предстанет она перед народом и даст ясный ответ: почему она была властью, что дало ей силу и право повелевать миллионами в лице одного, безнаказанно творить зло и насилие, лишать свободы, причинять смерть и поранения? Двадцатый осужден заранее совестью всего народа; пощады ему нет и не может быть, – но пусть перед казнью он откроет свою таинственную душу, пусть ознакомит людей не с делами своими – они всем известны, – но с мыслями и чувствами царей. Мифический дракон, пожиравший 560 девушек и в ужасе державший страну, связан цепями, притащен на городскую площадь, и сейчас увидят люди его чешуйчатую спину, его раздвоенный язык, его жестокую пасть, дышащую огнем.

Чего-то боялись. Уже с ночи по тихим улицам двигались в разные стороны войска, заливая площади, проезды, одевая весь путь короля щетиной штыков, стеною сумрачных, торжественно-строгих лиц. Над черными силуэтами зданий и церковей, острых, квадратных, странно неопределенных в предутреннем сумраке, слабо засветилось желтоватое облачное небо, холодное городское небо, старое, как дома, покрытые копотью и ржавчиной. Точно гравюра 580 в одной из темных зал старого рыцарского замка.

Город спал в суровом ожидании великого и страшного дня, а по улицам, сдерживая грузный топот ног, тихо двигались строй-

ные массы граждан, превращенных в солдат, с наглым грохотом, опустив подбородки к земле, проползали пушки, и у каждой мерцал красноватый огонек фитиля. Командовали отрывисто, вполголоса, почти шепотом – точно боялись разбудить кого-то, кто спит ненадежно и чутко. Боялись ли за короля, за его безопасность, или боялись самого короля, – этого не знал никто; но все знали, что нужно подготовиться, нужно вызвать и собрать всю силу, какая есть у народа. 590

Долго не разгорался день; желтые сплошные облака, пушистые, грязные, точно смазанные мокрой тряпкой, угрюмо висели над колокольнями; и только в тот момент, когда король выходил из башни, в голубом прорыве вспыхнуло солнце. Счастливое предзнаменование для народа, грозное предостережение тирану.

Везли его так: в узком коридоре из сплошной неразрывной линии войск двигались вооруженные отряды: один, другой, десятый – нельзя сосчитать; потом пушки: грохочут, грохочут; потом в тесных объятиях ружей, сабель и штыков еле движется темная карета. И снова пушки и отряды. И на всем многоверстном пути, 600 и впереди кареты, и сзади, и вокруг нее, – тишина. В одном месте на площади раздался неуверенный крик нескольких голосов:

– Смерть Двадцатому!

Но, не подхваченный толпою, разрозненно смолк. Так в облаве на кабана твякают только шавки, а те, кто будет терзать и будет растерзан, молчат, накопляя ненависть и силу.

В собрании сдержанный шум и разговоры. Уже несколько часов ждут они так медленно ползущего тирана и в возбуждении расхаживают по коридорам, ежеминутно меняют места, смеются без повода, болтают оживленно о чем-то. Но многие сидят неподвижно, в позе каменных изваяний – на камень они похожи и лицами своими. Молодые лица, но старые, глубокие морщины, точно прорубленные топором; жесткие волосы; глаза, то зловеще ушедшие в глубину черепа, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъемлющие, как будто лишенные ресниц, – факелы в черных нишах тюремной ограды. Нет в мире страшного, на что не могли бы бестрепетно взглянуть эти глаза; нет в мире жестокого, печального, призрачно-смутного, перед чем дрогнул бы этот взор, добела раскаленный в горниле революции. Те, кто первый начал это великое движение, давно умерли, рассеяны 620 по земле, забыты; забыты их мысли, чаяния и мечты. Бывалый гром их речей кажется побрякушкой в руках ребенка; их великая свобода, о которой они мечтали, кажется постелькою для детей с тонким пологом от мух и яркого света дня. Маленькие, странные люди, пигмеи, подточившие гору. А эти – взращенные среди бурь

и живые в бурях; любимые дети грозных дней – окровавленных голов, которые носят на пиках, как тыквы; мясистых, губчатых сердец, из которых выжимают кровь; могучих, титанических речей, где слово острее кинжала и мысль беспощадней, чем порох.

630 Покорные только воле державного народа, они вызвали призрак таинственной власти – и сейчас, холодные, как ученые анатомы, как судьи, как палачи, они исследуют его голубое сияние, пугающее невежд и суверцев, разнимут его прозрачные члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней казни.

Вот стихает шум за стенами, и тишина становится глубокой и черной, как ночное небо; вот громяют, приближаясь, пушки. Смолкают. У входа легкое движение. Все сидят – они должны встретить тирана сидя. Стараются казаться равнодушными. Грузный топот распределяемых по зданию отрядов, тихое бряцание 640 оружия. За стенами догромыхивают последние пушки. Железным кольцом облегают они здание, жерлами наружу, навстречу всему миру – западу и востоку, северу и югу.

Вошло что-то маленькое.

С верхних, отдаленных скамей – это толстенький, низенький человек с быстрыми, но неуверенными движениями. Вблизи – это среднего роста толстяк, с большим, побагровевшим от холода носом, обвисшею кожей на щеках, маленькими тусклыми глазками, – выразительная смесь добродушия, ничтожества и глупости. Он ворочает головою, не зная, кланяться ему или нет, и слегка кланяется; стоит нерешительно на раздвинутых ногах, не зная, можно 650 ему сесть или нет. Все молчат, но сзади стоит стул, по-видимому, для него, и он садится сперва немного, потом больше, потом принимает величественную позу. По-видимому, у него насморк. Торопливо вытаскивает платок и с наслаждением сморкается в два приема, каждый раз издавая носом резкий трубный звук. Оправляется, прячет платок и величественно замирает. Он готов.

Это и был Двадцатый.

## VII

Ожидали короля, а явился шут. Ожидали дракона, а пришел 660 носатый буржуа с носовым платком. Смешно, и странно, и немного жутко. Уж не произошло ли подмены?

– Это я – король, – говорит и Двадцатый.

Да, это он: какой смешной! Вот так король! Улыбались, пожимали плечами, еле сдерживая смех, и посылали друг другу с конца в конец насмешливые улыбки и приветливые жесты, и точно спрашивали:

– Хорош?

Депутаты – те были очень серьезны, ужасно серьезны, даже бледны; вероятно, их подавляла ответственность, но народ тихо веселился. Как удалось ему пробраться в собрание? Так же как 670 проходит вода: он просочился – в высокие окна, в какие-то щели, чуть ли не в замочные скважины. Сотни оборванных, пестро и фантастически одетых, но чрезвычайно приветливых и вежливых незнакомцев. Тесня депутата, они спрашивают:

– Я не помешаю вам, гражданин?

Очень вежливы. Целыми темными гнездами, как птицы, они лепятся на подоконниках, загораживая свет, и что-то телеграфируют руками вниз, на площадь. По-видимому, что-то смешное.

Но депутаты были серьезны, очень серьезны, даже бледны. Как увеличительные стекла, они наводят свои выпуклые глаза на Двадцатого, смотрят долго и странно – и хмуро отворачиваются. Некоторые совсем закрыли глаза: видимо, им противно смотреть на тирана. 680

– Гражданин депутат! – с веселым ужасом шепчет один из приветливых незнакомцев. – Вы посмотрите, как горят глаза у тирана.

Не поднимая опущенных век:

– Да.

– Как он упился нашей кровью!

– Да.

– Однако вы не из болтливых, гражданин!

Молчание. А внизу уже бормочет что-то Двадцатый. Он не 690 понимает, в чем можно его обвинить. Он всегда любил свой народ, и народ любил его. И теперь он любит народ, несмотря на все оскорбления, и если думают, что народу лучше республика, то пусть будет республика: он ничего против этого не имеет.

– Но зачем же тогда ты призвал других тиранов?

– Я их не звал, они сами пришли.

Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавливающие факт переговоров. Но он запирается – грубо и глупо, как первый попавшийся пройдоха, уличенный в мошенничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал только о народе. Неправда, 700 что он жесток, – он всегда миловал, кого можно было помиловать; неправда, что он разорил государство: он тратил на себя так мало, как всякий небогатый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мотом. Он любит греческих и латинских классиков и столярное мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скромного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающими трубный звук, много можно встретить по праздникам на реке, где они целыми часами ловят рыбу. Ничтожные, смешные люди с большими носами. 710

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда всякий может быть королем; тогда безграничным повелителем над людьми может стать и горилла? И ей воздвигнут золоченый трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она будет устанавливать законы жизни для людей – горилла с волосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

Уже кончается короткий осенний день, и народ начинает выражать нетерпение: зачем так долго возятся с тираном? Уж не новая ли измена? В полутемной комнате, где тихо, встречаются  
720 два представителя, ушедшие из собрания. Они присматриваются, узнают друг друга и молча ходят рядом, почему-то избегая прикосновений. Ходят.

– Но где же тиран? – внезапно вспыхивает один и схватывает другого за плечо. – Скажи мне – где тиран?

– Не знаю. Мне стыдно идти туда.

– Ужасные мысли! Неужели ничтожество и есть тирания? Неужели ничтожные и есть тираны?

– Не знаю. Мне стыдно.

Было тихо в маленькой комнате, но отовсюду – со стороны со-  
730 брания, с площади, где толпился народ, – приносился ровный гул. Быть может, каждый говорил тихо, а вместе получался стихийный грохот, подобный грохоту далекого океана. На стенах забегали красные полосы и пятна – по-видимому, внизу за окнами зажгли факелы. Где-то поблизости послышался грузный топот ног и тихое бряцание оружия: сменяли караулы. Кого они караулят: неужели этого?

– Его нужно выбросить из страны.

– Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.

– Но ведь это же будет новый обман.

Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смутные  
740 дымчатые тени: словно в неясном сне проходят кровавые дни прошлого и настоящего – и нет им конца. Гул на площади растет; уже чудятся отдельные вскрики.

– Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.

– И отчаяние. И стыд.

– И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!.. Здесь, перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы погибнем, я это почувствовал сегодня, но, погибая, крикнем: “Свобода! Свобода, братья!” Так крикнем, чтобы весь мир рабов содрогнулся  
750 от ужаса. Крепче жми мне руку, брат!

Было тихо, и багровые пятна вспыхивали на стенах, и дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все яростнее грохотала бездна. Словно сорвался страшный ветер – с севера

и юга, с запада и востока – и поднял страхом трепещущую массу. Обрывки песен – вой, – и в хаосе звуков огромными, зубчатыми черными линиями выведенное слово:

– Смерть!.. Смерть тирану!

Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходило, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Тысячи прозрачных 760 лет окружали их великим и грозным молчанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались и падали и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Минутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий ритм волны и грохот обрушивающегося прибора.

– Смерть!.. Смерть тирану!

Шевельнулись.

– Что же, пойдем туда.

– Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшней день кончит борьбу с тиранией.

– Она только еще начинается. Идем!

770

Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреб, – и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскаленного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и общий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говорили каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь – и под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полутемная, чадная; задыхающиеся без воздуха красные язычки свеч. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.

На дне провала, среди двух оплывающих свеч фигурка Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается над столом и что-то невнятно бубнит – это он читает свою первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Двадцатый! Ведь ты король. Возвись свой голос, облагородь топор и палача!

780

Нет. Бормочет что-то – глупец, трагически-серьезный.

## VIII

На казнь короля многие смотрели с крыш; но и на крышах не хватило места для всех желающих, и некоторым так и не пришлось увидеть, как казнят королей. А высокие узкие дома, с этими странными, черными, шевелящимися волосами вместо крыш, стали как живые; и раскрытые окна у них похожи были на черные 790 мигающие глаза. За домами торчали в небе тупые и острые колокольни, как будто обыкновенные, – но если вглядеться, то некоторые линии у них, поперечные, были слишком черны и словно шевелились. Это тоже был народ. Оттуда уже совсем ничего не видно было, но они – смотрели.

С крыш эшафот казался маленьким, как детская игрушка, – что-то вроде опрокинутой детской тачки со сломанными ручками. Отдельные люди около эшафота – единственные отдельные люди, которые были видны на всей площади, так как остальное  
800 слилось в одну неразрывную, слитную массу, похожую на своеобразный черный газон, – отдельные люди смешно напоминали муравьев, поднявшихся на задние ножки. Все казалось плоским, а они медленно и трудно взбирались на какие-то невидимые ступени и суетились. И так странно было, что рядом, на крыше, стоят большие люди с большими головами, ртом, носами.

Били барабаны.

Подплыла к эшафоту маленькая черная каретка, и долго ничего нельзя было разобрать. Потом отделилась кучка и очень медленно поднялась на невидимые ступени. Разбилась на части, рас-  
810 ползлась, и посередине остался один маленький.

Били барабаны. Сердце замирало. Вдруг хрипло, оборванной линией замолкла барабанная дробь. Стало тихо. Одинокая фигурка подняла ручку, опустила, опять подняла. Должно быть, говорит, но ничего не слышно. Что он говорит? Что он говорит? Рванулись барабаны, затрещали, рассыпались, разорвали воздух на миллиарды дрожащих частиц, мешающих смотреть.

На эшафоте какое-то движение. Маленькая фигурка исчезла. Казнят. Трещат барабаны, и вдруг сразу, той же хриплой, рассыпающейся линией смолкают. Тихо. На том месте, где только что  
820 стоял Двадцатый, новая фигурка с протянутой рукой. А в руке что-то крохотное, светлое с одной стороны, темное – с другой, как булавоочная головка, окрашенная в две краски. Это и была голова короля. Наконец-то...

...Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом короля и головою: боялись, что ярость народа не пощадит и останков тирана. А народ был страшен. Проникнутый старым рабым страхом, он все еще не верил, что это могло случиться, что неприкосновенный, недосягаемый, могущественный владыка сложил голову под топором палача, – отчаянно и слепо ломился он к эшафоту: гла-  
830 за часто обманывают, и слух часто лжет, – нужно пощупать эшафот, нужно вдохнуть запах королевской крови, по локоть омочить в ней руки. Дрались, душили, падали и визжали. Что-то мягкое, как сверток тряпья, упрямо перекачивается под ногами. Задавленный. Еще и еще. Добравшись до груды обломков, оставшихся от эшафота, дрожащими руками отламывали кусочки, отдирали ногтями, ломая их, жадно и слепо хватали целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их тяжестью. И толпа смыкалась над головою упавших, а бревно, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то течению, снова ныряло, выставляя наружу

иззубренный конец, и где-то пропадало. Находили лужицу еще не 840  
всосавшейся и не растоптанной крови и макали в нее платки, одежду;  
многие мазали кровью губы и ставили на лбу какие-то странные знач-  
ки – кровью короля совершали помазание на новое царство свободы.

Опьянели от дикой радости. Без пения, без слов, кружились, за-  
дыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу окровавленные  
тряпки, разливались по городу, неся с собою крики, гул и неудер-  
жимый, странный хохот. Пробовали петь, но песня была слишком  
медленна, слишком плавна и ритмична, и снова переходили к хохо-  
ту и крику. Ходили благодарить собрание за освобождение отече-  
ства от тирана, но по дороге увлеклись преследованием какого-то 850  
изменника, крикнувшего: “Король умер, – да здравствует король! Да  
здравствует Двадцать Первый!” И разбежались. Кого-то повесили.

Многие из тех, кто продолжал тайно любить короля, не выдер-  
жали мысли, что он казнен, и сошли с ума; многие, даже трусы,  
убили себя. До последней минуты они чего-то ждали, на что-то на-  
деялись и верили в успех своих молитв; а когда казнь совершилась,  
они впали в отчаяние и одни угрюмо и тускло, другие яростно, с бо-  
гохульством, пронизали себя ножами. Были такие, что в дикой жаж-  
де мученичества выбегали на улицу, навстречу несущейся лавине  
народа, и бешено кричали: “Да здравствует Двадцать Первый!” 860

И погибали.

---

Кончался день, и подступала к городу ночь – суровая и правди-  
вая ночь, ибо нет у нее глаз на видимое. В городе было еще светло  
от огней, а река под мостом была черна, как растворенная сажа;  
и только там, на повороте, где за широкой тупой башней умирал  
бледный и холодный закат, тускло блестела она холодными отсве-  
тами полированного металла. На мосту стояли двое и, облокотив-  
шись на камень, смотрели в загадочную и темную глубину.

– Ты веришь, что сегодня наступила свобода? – спросил один, 870  
спросил тихо, потому что в городе еще горели огни, а река под  
мостом чернела.

– Посмотри, вон плывет труп, – сказал другой, сказал тихо, потому  
что труп был близко и смотрел вверх синим пятном широкого лица.

– Их много теперь плывет по реке. Они плывут в море.

– Я не верю в ихнюю свободу. Они слишком радуются смерти  
Ничтожного.

Из города, где горели еще огни, принесся гул голосов, смеха и  
песен. Там еще было весело.

– Нужно убить власть, – сказал первый. 880

– Нужно убить рабов. Власти нет – есть только рабство. Вон  
еще труп и еще. Как их много! Откуда они выплывают? Они так  
внезапно появляются под мостом.

– Но ведь они любят свободу.

– Нет, они только боятся бича. Когда они полюбят свободу, они станут свободны.

– Пойдем отсюда. Меня тошнит от вида трупов.

И они повернулись, чтобы идти, и тут – когда в городе еще горели огни, а река была черна, как разведенная сажа, они увидели нечто тяжелое и смутное, рожденное тьмою и светом. Со стороны, противоположной закату, где река терялась в черных берегах и густая тьма копошилась, как живая, подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое. Поднялось и остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз, оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протягивало их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило и дышало. Было страшно.

– Это туман над рекою, – сказал один.

– Нет, это облако, – сказал другой.

900 Это было и облако и туман.

– Оно как будто смотрит!

Оно смотрело.

– Оно как будто слышит!

Оно слышало.

– Оно идет сюда!

Нет, оно стояло неподвижно. Оно стояло неподвижно, огромное, бесформенное, слепое, и на странных выпуклостях его краснели отблески городских огней, а внизу у его ног терялась в черных берегах черная река, и тьма копошилась, как живая. Угрюмо покачиваясь, плыли туда трупы и пропадали в темноте, и новые  
910 безмолвно приходили на их место и покачиваясь уходили – бесчисленные, тихие, думающие о чем-то своем, таком же черном и холодном, как уносящая их вода.

А на высокой башне, откуда рано утром увезли короля, крепко спал под маятником одноглазый часовщик. В этот день он был доволен тишиною башни и даже пел, – одноглазый пел! – и до самой темноты любовно прохаживался между колесами и рычагами. Потрогал канаты, посидел на лесенке, болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так как делал вид, что сердится на него. А потом искося взглянул и рассмеялся, – и хохотом ответил обрадованный  
920 маятник. Качался, улыбался широко своею медною рожеею и хохотал:

– Так было – так будет. Так было – так будет.

– Ну-ну? – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.

– Так было – так будет!

А когда наступила темнота, одноглазый тут же лег спать и крепко заснул; но маятник не спал и всю ночь носился над его головою, навевая странные сны.

*Октябрь 1905 г.*

# Пьеса



# К ЗВЕЗДАМ

## ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Терновский Сергей Николаевич. Русский ученый, уехавший за границу. Директор обсерватории. Знаменит; член многих академий и ученых обществ. Пятьдесят шесть лет, но на вид кажется моложе. Движения плавные, спокойные и очень точные; так же сдержан и точен в жестикуляции, — ничего лишнего. Вежлив, внимателен, но от всего этого отдает холодом.

10

Терновская Инна Александровна. Жена его, тех же почти лет.

Дети Терновских { Николай, 27 лет.  
Анна, 25 лет. Красива и суха, одета не к лицу.  
Петя, 18 лет. Бледный, изящный, хрупкий; черные вьющиеся волосы; белый отложной воротник.

Верховцев Валентин Алексеевич. Муж Анны. Лет 30. Рыжий. Самоуверен, повелителен, насмешлив. Иногда 20 груб. Инженер.

Маруся. Невеста Николая. 20 лет. Красивая.

Ассистенты Терновского { Поллак. Сухой, высокий, с большим лысым черепом, корректный. 32 года. Механичен. Курит сигары.  
Лунц Иосиф Абрамович. Еврей. 28 лет. Привычка обращаться с точными инструментами придает движениям сдержанность и точность; но при волнении Лунц не выдерживает и жестикулирует со страстностью южанина-семи- 30  
Житов Василий Васильевич. Неопределенного возраста. Велик, волосат, медведеобразен. Всегда сидит. Своёобразно красив.

Трейч. Рабочий, 30 лет. Черный, худощавый, очень красивый; сильно изогнутые брови; дальновзорок. Прост, серьезен, несловоохотлив.

40 Шмидт. Молод. Маленького роста; мелкие, но правильные черты лица; одет тщательно; говорит тонким голосом. Имеет вид незначительный.

Минна – служанка.

Франц – слуга.

Старуха.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Обсерватория в горах. Поздний вечер. Сцена представляет две комнаты; первая – нечто вроде столовой, большая, с белыми толстыми стенами; у окон, за которыми мечется во тьме что-то белое, очень широкие подоконники; огромный камин, в котором горят поленья. Убранство простое, строгое, отсутствие мягкой мебели и занавесок. Несколько гравюр: портреты астрономов, волхвы, приведенные звездой ко Христу. Лестница вверх, в библиотеку и кабинет Терновского. Задняя комната – обширный рабочий кабинет, в общем похожий на первую комнату, но без камина. Несколько столов. Фотографии звезд и лунной поверхности, некоторые простейшие инструменты. Сидит за работой ассистент Терновского – Поллак. В передней комнате Инна Александровна и Житов разговаривают; Петя читает; Лунц ходит взад и вперед. У очага кухарка-немка готовит кофе. За окнами свист и вой горной вьюги. Потрескивают дрова в камине. Равномерно звонит колокол, сзывая заблудившихся.

Инна Александровна. Звонит, звонит, а все без толку. 60  
За четыре дня хоть бы кто пришел. Сидишь, сидишь да и подумаешь: уж живы ли там люди-то?

Петя (*отрываясь*). А кому прийти? Кто пойдет сюда?

Инна Александровна. Ну, мало ли кто! Снизу может кто прийти...

Петя. Не до того им, чтобы по горам лазить.

Житов. Да, положение затруднительное. Дороги нет – как в осажденном городе, ни оттуда, ни отсюда.

Инна Александровна. Денька через два и есть нечего будет. 70

Житов. Так посидим.

Инна Александровна. Вам-то хорошо говорить, Василий Васильевич, – вы, как медведь, своим жиром неделю сыты будете, – а что мне с Сергеем Николаевичем делать?

Житов. А вы ему запас сделайте, мы и так обойдемся. Лунц, а Лунц, вы бы сели!

Лунц не отвечает, ходит.

Инна Александровна. Ну и сторонка! Постоите, словно постучал кто. Постоите-ка! (*Прислушиваются.*) Нет, показалось. Какая метель, у нас такой не бывает. 80

Житов. Бывает... в степи.

Инна Александровна. В степи не жила... не знаю. Как бьет в окна!

Петя. Ты напрасно ждешь, мама, – никто не придет.

Инна Александровна. А может?.. (*Пауза.*) Газеты старые почитать, что ли... да уж читаны-перечитаны. Иосиф Абрамыч, вы ничего новенького не слышали?

Лунц (*останавливаясь*). Откуда же я могу услышать? Как вы странно спрашиваете. Ведь это же невозможно, ей-богу. Откуда я могу услышать, сами посудите. Странно!

Инна Александровна. Ну-ну, я – так, не сердитесь. Душа кровью обливается, как подумаешь, что там делается! Господи!

Житов. Дерутся.

Инна Александровна. Дерутся! Вам-то легко говорить, Василий Васильевич, у вас там никого своих нету, а у меня ведь дети! И ничего-то не знаешь, как в лесу... да какое – в лесу! В лесу хоть птица пролетит, заяц пробежит, а тут...

Лунц (*на ходу*). Может быть, там уже полная победа. Может быть, там уже новый мир – на развалинах старого.

Житов. Не думаю. Не похоже было.

Петя. Почему это не думаете? Вы читали, что министерство подало в отставку, что весь город в баррикадах, что пролетариат уже овладел ратушей? А за пять дней – что могло произойти!

Житов. Ну, может быть, не знаю. Лунц, вы бы сели. По моему расчету, вы за эти дни верст двести сделали.

Лунц. Отстаньте! Я вам не мешаю, и вы мне не мешайте. Как это некультурно: врывать в чужую жизнь. Я же не говорю вам: Житов, не дремлите по целым часам, вы уже проспали вечность. Я не говорю!

Петя подходит к Лунцу и тихо разговаривает с ним о чем-то. Ходят рядом, изредка обмениваясь словами.

Инна Александровна (*тихо Житову*). Экий недотрога! Ну что же, Василий Васильевич, выпьем кофейку, что ли, с горя...

Житов. Я бы чаю выпил.

Инна Александровна. Сказал! Я бы и сама, батюшка, чайку бы выпила, да где его возьмешь. С малиновым вареньем бы – хорошо.

Житов. А я так – вприкуску.

Инна Александровна. Да что уж! Вы вот что скажите, Василий Васильевич, – ко всему я тут привыкла, ну ко всему – и к горам этим и к безлюдью, а вот березку позабыть не могу. Как подумаю, как вспомню – так часа два плачу как угорелая. У нас в имени усадьба на горке стояла, а вокруг березовая роща – какая роща! После дождя такой, бывало, подымется запах, что... что... (*Утирает глаза.*)

Житов. А вы бы взяли да и съездили в Россию месяца на два.

Инна Александровна. А с кем же я его оставлю? Он тоже меня сколько раз уговаривал, – да разве это можно! Ну вдруг заболит? – года у меня с ним не маленькие.

Житов. Я останусь.

Инна Александровна. Нет, нет, и не говорите. Нету березки и не надо, – ведь я к слову сказала. Нет, нет. Тут тоже хорошо. Вот весна идет...

Житов. А если б его в Сибирь услали? Поехали б?

Инна Александровна. А почему ж не поехать? И в Сибири люди живут. Эка!

Житов. Вы славная, Инна Александровна.

Инна Александровна (*нежно*). А ты глупый, – разве старухам такие вещи говорят? А и вправду, Василий Васильевич, 140 отчего бы вам не жениться? Жили бы вы тут да поживали, как мы вот с Сергеем Николаевичем.

Житов. Нет, куда мне... Человек я непоседливый.

Инна Александровна (*смеясь*). То-то, похоже.

Житов. Нет, верно. Нынче здесь, а завтра там. Я и астрономию скоро брошу. Я ведь в Австралии еще не был.

Инна Александровна. А туда зачем?

Житов. Да так. Посмотреть, как люди живут.

Инна Александровна. Да ведь у вас, Василий Васильевич, и денег-то нет. Это тому хорошо путешествовать, у кого есть 150 деньги.

Житов. Да я не путешествовать, я так. Поступлю на железную дорогу или на завод.

Инна Александровна. Из астрономов-то?

Житов. Что же, этому легко научиться. Я механику знаю. Мне немного надо, я человек неизбалованный.

Пауза. Свист вьюги сильнее.

Петя. Мама, а папа где? работает?

Инна Александровна. Да... просил не мешать ему.

Петя (*пожимая плечами*). Как он может работать в такое 160 время! Не понимаю.

Инна Александровна. А так и может. Что же, лучше, если он вот так метаться будет? Вон Поллак тоже работает.

Петя. Ну, Поллак... Про него я уж не говорю. Поллак. (*Тихо говорит с Лунцем.*)

Житов. Поллак человек талантливый, он через пять лет знаменитостью будет. Энергичный человек.

Инна Александровна смеется.

Чего вы смеетесь, разве не правда?

170 Инна Александровна. Да нет, я не тому. Очень он чудак, – иной раз и нехорошо, а не удержишься... Он на какой-то инструмент похож, – какой у вас есть инструмент вроде него?

Житов. Не знаю.

Инна Александровна. Астролябия, кажется.

Житов. Не знаю. А как вот можете вы смеяться, удивляюсь я.

Инна Александровна (*вздыхает*). Без смеха нельзя, только смехом иногда и спасаешься. Вот тоже расскажу я вам. Ехали мы тогда из России с детьми, со скарбом... дела были плохие, на билеты денег хватило, да и все тут. И как это случилось, до сих пор понять не могу, – потеряла я билеты. Никогда ничего не теряла, а тут...

Житов. Где же это, в России?

Инна Александровна. Если бы в России, а то за границей уже. Сидим мы на какой-то австрийской станции... дети, чемоданы, подушки... взглянула я на эти подушки да как захохочу! Ей-богу! Сейчас смешно вспомнить.

Житов. А скажите, Инна Александровна, я до сих пор толком не разберусь: за что Сергей Николаевич выслан из России?

Инна Александровна. Да его не выслали, сам уехал.  
190 Поссорился с начальством. Бумагу какую-то скверную заставляли его подписать, а он не стал, а потом министру дерзостей наговорил. Ну и уехали, а тут предложили ему эту обсерваторию, – вот двенадцать лет на камнях и живем.

Житов. Значит, он может вернуться, если захочет?

Инна Александровна. Да зачем? В России, вы знаете, таких обсерваторий нет.

Житов. А березка-то!

Инна Александровна. Ну вот, пустяки какие! Постойте, кто-то стучит.

200

Вой метели.

Житов. Нет. Показалось.

Инна Александровна. А все-таки... Минна, голубушка, сходите, узнайте, будто приехал кто. Этот колокол всю душу вымочает. Все кажется, словно идет кто или едет. Слышите?

Вой метели, звук колокола.

Житов. Эти мартовские бури всегда самые свирепые. Внизу весна, а у нас зима настоящая. Миндаль уже отцвел, пожалуй.

Минна. Никого нет.

Инна Александровна. Что там делается! Что там делается! Главное, я за Коленьку боюсь. Ведь он такой, он ни на что не смотрит: ружья не ружья, пушки не пушки. Господи! Я и

подумать об этом не могу! Хоть бы весточка какая, а то четыре дня – как в могиле.

Ж и т о в. Ну, обойдется, скоро все узнаете. Барометр поднимается.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. А главное, будь бы за свое дело дрался. А то и люди чужие и страна чужая, – ну какое ему дело!

П е т я (*горячо*). Николай – рыцарь. Он за всех угнетенных, кто бы они ни были. Все люди одинаковы, и чья бы страна ни была, все равно.

220

Л у н ц. Чужие! Страна, государство – не понимаю я этого. Что значит – чужие, государство? Вот это разделение и создает рабов, потому что когда в одном доме грабят, то в другом сидят спокойно, в одном доме убивают, то в другом говорят: это нас не касается. Свои! Чужие! Я вот еврей, у меня своей страны нет – так, значит, я всем чужой? Нет, я всем свой, да... (*Ходит.*) Да!

П е т я. Конечно. Это уозсть – разбивать землю на какие-то участки.

Л у н ц (*ходит*). Да. Только и слышишь – свои, чужие! Негры, жида!

230

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну, вы опять на свое повернули. Как не стыдно! Разве я что-нибудь говорю? Разве я говорю, что Коленька плохо делает? Сама ж я посылала: поезжай, голубчик, поскорее, а то здесь еще больше ты измучишься. Господи, Коля-то да нехорошо, – я о том, что сердце у меня изболелось. Ведь я неделю в такой муке живу, в такой муке... Вы ночь-то спите, а я глаз не смыкаю, все слушаю, слушаю: вьюга да колокол, колокол да вьюга. Плачет, хоронит кого-то... нет, не увижу я Колюшки!

Вьюга, колокол.

П е т я (*ласково*). Ну, успокойся, мамочка, все обойдется. Он не один там, – почему непременно с ним что-нибудь случится? Успокойся.

Ж и т о в. Не говоря уже о том, что с ним Маруся и Анна Сергеевна с мужем. Все-таки поберегут. Да и так, вы знаете, как его любят все, – у него теперь свита, как у генерала, даром пропасть не дадут.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Знаю, знаю, да что поделаешь! Но только про Марусю вы мне не говорите. Анна – женщина благоразумная, а Маруся – та сама вперед полезет. Знаю ее.

П е т я. А ты чего, мама, хотела бы? Чтоб Маруся пряталась?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Опять... Да деритесь себе сколько хотите, разве я что говорю? Только не успокаивайте меня: сама

знаю, что знаю, не маленькая. Как помоложе была, сама с волками дралась. Вот что!

Ж и т о в. С волками? Вот вы какая, не ожидал. Как же это вы так?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да пустяки. Раз ночью зимой ехала одна на лошади, на меня и напали. Отстрелялась. А меня они и дразнят до сих пор.

260 Ж и т о в. А вы и стрелять умеете?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Чему, Василий Васильевич, при такой жизни не научишься. Я с Сергеем Николаевичем в Туркестан ездила на экспедицию, так полторы тысячи верст верхом сделала, по-мужски. Мало ли бывало! Тонула раз, два раза горела... *(Тихо.)* Только скажу вам, Василий Васильевич, – нет ничего страшнее в мире, как болезнь детей. Раз, тоже в экспедиции, у Колюшки жаба открылась, но показалось нам сначала, что это дифтерит. Что это было! Ни доктора, ни лекарств, до ближнего жилья верст пятьдесят, а то и больше. Выбежала я из палатки да как брякнулась о землю... вспомнить страшно. Ведь у меня двое детей умерло, вы знаете. Один на седьмом году, Сереженька, другой еще грудным. Анюта раз при смерти была, да что вспоминать... Тяжелая наша материнская доля, Василий Васильевич... Благодарение еще богу, что дети хорошие вышли.

Ж и т о в. Да, Николай Сергеевич у вас удивительный человек.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Коля-то! Сколько я перевидала людей, а такой души еще не встречала. Вот говорила я – чужое дело, сразу видно, что эгоистка... а Коля: если увидит он, что лев разоряет муравьиную кучу, так он один с голыми руками на льва  
280 пойдет. Вот он какой! Что-то там делается! Что-то делается!..

Ж и т о в. Если бы мне не так хотелось в Австралию...

П о л л а к *(входит)*. У вас не найдется, уважаемая Инна Александровна, чашки черного кофе?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Как же не найдется? Найдется! Минна! *(Идет.)*

Ж и т о в. Ну, как дела, коллега?

П о л л а к. Хорошо. А вы что же ничего не делаете?

Ж и т о в. Погода... Какая тут работа! Да и события такие...

П о л л а к. А не русская лень?

290 Ж и т о в. Может быть, и лень. Кто знает?

П о л л а к. Нехорошо, дорогой товарищ. Лунц, вы произвели вычисления, которые поручил вам Сергей Николаевич?

Л у н ц *(резко)*. Нет.

П о л л а к. Напрасно.

Лунц. Напрасно, не напрасно, это вас не касается. Вы такой же ассистент, как и я, и не имеете права делать мне замечания. Да.

Поллак (*отворачивается, пожимая плечами*). Скажите, Житов, чтобы кофе мне подали туда.

Житов. Ладно. А над чем сейчас работает Сергей Николаевич? Я как-то отошел от дела за это время.

Поллак. О, у него такая работа! Я сам могу много работать, но я удивляюсь настойчивости Сергея Николаевича, силе его мозга. Трение, это возмутительное трение, отсутствует в нем, как в наших инструментах. И работает он с правильностью часового механизма: я убежден, что в его вычислениях за тридцать лет нельзя найти ни одной ошибки.

Лунц (*прислушиваясь*). Он не только работник, он – талант.

Поллак. Совершенно верно. У него числа и цифры – живые и движутся, как солдаты.

Лунц. Вы все сводите к дисциплине. Какая юнкерская поэзия!

Поллак. Без дисциплины нет победы, дорогой Лунц.

Житов. Верно!

Лунц. Я о нем думаю лучше, чем вы. Я думаю, что он видит вечность, видит, как мы вот эти стены. Да!

Поллак. Я не возражаю. У вас нет сведений, кончилась эта революция или нет?

Житов. Какие тут сведения! Слышите, что на дворе делается?

Поллак. Я упустил это обстоятельство из виду.

Петя. По последним газетам...

Поллак. Нет, нет. Вы мне скажите, когда все это кончится. Я не хочу входить в подробности.

Инна Александровна (*входит*). Нет никого. Выходила сама посмотреть – пустыня.

Поллак. Так я попрошу вас, уважаемая Инна Александровна, дать мне кофе туда.

Инна Александровна. Хорошо, хорошо, работайте. Сейчас работа – это прямо счастье.

Поллак уходит во вторую комнату.

Петя. А я думаю, что бывают минуты, когда работать над чем-нибудь нечестно.

Инна Александровна. Петя, Петя!

Петя. Я не могу! Отчего вы не пускаете меня туда? Я тут с ума схожу, в этой дыре!

Инна Александровна. Петечка, голубчик, ведь тебе восемнадцати лет еще нету.

Петя. Николай в девятнадцать лет в тюрьме уже сидел!

Инна Александровна. Ну что же тут хорошего?

340 Петя. Он работал!

Инна Александровна. Ах, господи, ну поговори с отцом... как он скажет, так и будет.

Петя. Он говорит: ступай.

Житов. За чем же дело стало?

Петя. Я не знаю, я не могу. Там такая великая борьба, а я... Я не могу, я не могу! (*Уходит.*)

Лунц. Петя опять нервничает. Вы, Инна Александровна, занялись бы им. (*Идет вслед за Петей.*)

350 Инна Александровна. Ну что же я поделаю? Боже мой, боже мой!

Житов. Ничего, пройдет.

Инна Александровна. Нежный он такой, совсем как девочка... ну куда ему! И что с ним в эти дни сделалось! А тут еще этот Лунц: нужно бы успокоить, а он...

Житов. Ну, у Лунца у самого того и гляди истерика делается.

Инна Александровна. Вижу уж. Спасибо вы, Василий Васильевич, еще спокойны, а то хоть ложись в гроб да умирай.

360 Житов. Ну, я-то что. Я всегда спокоен, у меня уж характер такой. Иной раз и рад бы поволноваться, да не выходит.

Инна Александровна. Хороший характер.

Житов. Не знаю. Удобный, конечно, характер. Жаль вот только, что газет нету: люблю почитать, как люди там волнуются.

Инна Александровна. А вы знаете, что у Лунца четыре года назад, когда он тут, за границей, еще студентом был, родителей убили? Во время еврейского погрома...

Житов. Знаю, слышал.

370 Инна Александровна. Он сам об этом никогда не говорит, не выносит. Несчастный молодой человек... я иногда на него без слез смотреть не могу. Опять стучит?

Житов. Нет.

Инна Александровна. В третьем году в такую погоду разносчик к нам попал. Чуть живой. А оттаял – сейчас же торговать начал.

Житов. Вот и я разносчиком в Австралию пойду.

Инна Александровна. Да ведь вы английского не знаете.

Житов. Немного знаю. В Калифорнии научился.

Инна Александровна. Ну, а я все-таки газеты читаю. Ни о чем другом думать не могу. И вы бы читали что-нибудь, 380 Василий Васильевич.

Житов. Не хочется. Я у камина посижу.

Инна Александровна надевает очки и разбирает газеты; Житов садится у камина. Поллак работает. Вьюга, колокол.

Инна Александровна. Что-то мой Сергей Николаевич? Я уж его два дня не видала: и пьет и ест там. И входить не велел.

Житов. М-да.

Пауза.

Инна Александровна (*читает*). Какие ужасы! Что это такое пулеметы, Василий Васильевич? 390

Житов. Это такая пушка особенная.

Пауза. Минна приносит Поллаку кофе.

Инна Александровна. Взяла бы я сама пулемет да их бы...

Житов. М-да. Штука серьезная.

Пауза.

Инна Александровна. Как воеет! Читать нельзя. А мне вас жалко будет, Василий Васильевич, если вы в Австралию уедете. Не ездите, а?

Житов. Невозможно. Непоседливый я человек. Мне бы, 400 Инна Александровна, хотелось всю землю кругом ощупать – какая она. Из Австралии я в Индию поеду, я еще тигров на свободе не видал.

Инна Александровна. А зачем они вам понадобились?

Житов. Не знаю. Я, Инна Александровна, смотреть люблю. Как все это вообще. У нас в деревне бугор был, так я, мальчишкой еще, по целым дням сидел, смотрел все. Я и астрономией-то занялся, чтобы смотреть, а вычислять не люблю: не все ли равно, двадцать миллионов миль или тридцать. И разговаривать я тоже не люблю. 410

Инна Александровна. Ну-ну, не буду. Смотрите себе.

Пауза. Вьюга. Колокол.

Житов (*не оборачиваясь*). А вы и в Канаду с Сергеем Николаевичем поедете? На затмение?

Инна Александровна. А? В Канаду? Поеду. Как же он без меня?

Житов. Тяжело будет. Далеко.

Инна Александровна. Пустяки. Только бы тут все обошлось. Господи, господи, подумать страшно!

420

Молчание. Вьюга. Колокол.

Василий Васильевич!

Житов. Что?

Инна Александровна. Вы слышите?

Житов. Нет.

Инна Александровна. Опять что-то показалось.

Пауза.

Василий Васильевич, вы слышите?

Житов. Ну?

Инна Александровна. Выстрел был.

430

Житов. Откуда тут выстрел? Просто – галлюцинация слуха.

Инна Александровна. А я так ясно слышала.

Пауза. Далекий выстрел.

Житов. Эге! Стреляют!

Инна Александровна (*бежит*). Минна, Минна! Франц!

Житов медленно поднимается. Второй выстрел, ближе. Быстро проходят Петя и Лунц.

Петя. Что это?

Лунц. Не знаю. Идем!

440

Житов слушает у окна. Поллак поворачивает голову, смотрит на пустую комнату и снова работает. Где-то хлопает дверь; собачий лай.

Инна Александровна (*входит*). Послала людей с Вулканом. Вероятно, кто-нибудь заблудился.

Житов. А колокол?

Инна Александровна. Ветер оттуда. Вы слышали, как ясны выстрелы?

Поллак (*входит*). Я ничем не могу быть полезен?

Инна Александровна. Пока нет. Нужно приготовить горячего.

450

Хлопает снова дверь. Слышен говор. В сопровождении всех входят закутанные и запорошенные снегом Анна и Трейч и вносят Верховцева.

Инна Александровна (*на пороге*). Что это? Анна?

Анна (*снимая платок*). Мама, поскорее чего-нибудь горячего. Мы чуть живы. Я боюсь, что Валентин отморозил себе что-нибудь. Скорее! (*В полубормочном состоянии падает на стул.*)

Инна Александровна (*быстро подходит к принесенному*). Валентин! Что такое?

Трейч. Он ранен.

Верховцев (*слабо*). Не... беспокойтесь, теща, неважно...  
ноги... 460

Инна Александровна. А это кто?

Трейч. Друг.

Инна Александровна (*осматривается с диким ужасом вокруг*). А Коля?

Пауза. Петя со слезами бросается к Инне Александровне.

Петя. Mamочка, мамочка! Это ничего, ты не пугайся, это ничего.

Инна Александровна (*слегка отстраняя его, более спокойно*). А Коля где?

Анна (*приходя в себя и начиная хлопотать около раненого*). 470  
Ах, мама! Да ничего особенного, он в тюрьме.

Лунц. Значит? Пойдите, погодите, я ничего не понимаю.  
Значит?

Инна Александровна. В тюрьме! В какой тюрьме?

Анна. Ну, господи, как этого не понять. Мы бежали, вот и все... и хотим укрыться здесь.

Поллак. Революция кончилась?

Лунц. Но я не понимаю. Неужели?..

Трейч. Да. Мы разбиты.

Пауза.

480

Анна. Мама, да распорядись же относительно горячего!  
Воды, коньяку... Вата у вас есть?

Инна Александровна. Сейчас все будет. Минна!  
(*Идет.*) В тюрьме!..

Житов. А нужно бы позвать Сергея Николаевича.

Инна Александровна. Я пошлю за ним.

Поллак. Расскажите, пожалуйста, как это случилось... господин...

Трейч. Трейч.

Верховцев (*слабо*). Без Трейча... я бы подох. Анна, да не  
суетись ты так, я чувствую себя... великолепно. 490

Анна. Как мы дошли, я не понимаю! Это такой ужас. Мы  
сегодня с восьми часов в горах. Целый день. Нас чуть не схватили  
на границе.

Лунц. Я не могу поверить...

Петя. Валя, что у тебя? Тебе больно?

Верховцев. Ноги ободраны... осколком и... голова... немно-  
го. Вздор.

Лунц. В вас посылали бомбы?

- 500     В е р х о в ц е в. Буржуа... защищался... недурно.  
А н н а. Валентин, тебе нельзя говорить. Какой это был ужас, какой это был ужас! Бомбы рвали на клочки, убитых тысячи – десятки тысяч. У ратуши я видела гору трупов.  
И н н а А л е к с а н д р о в н а (*подходит*). А Коля? Расскажите мне про Колю.  
А н н а. В сущности, неизвестно, где он.  
И н н а А л е к с а н д р о в н а. Что? Ты же сказала...  
П е т я. И Маруси нет! Вы что-то скрываете. А вот вы говорили, Лунц...
- 510     Л у н ц. Петя, Петя! Да разве я думал! Я не могу поверить...  
А н н а. Очень нужно скрывать.  
Т р е й ч. Успокойтесь, госпожа Терновская. Я убежден, что Николай жив.  
А н н а. Вон Трейч расскажет. Он был рядом с Колей на баррикаде.  
Т р е й ч. В последний момент, когда баррикада была почти в руках войск, Николая ранили. Он стоял рядом со мной, и я видел, как он упал.  
И н н а А л е к с а н д р о в н а. Господи! Опасно? Может быть, 520 убит? Да говорите же!  
Т р е й ч. Не думаю, чтобы опасно.  
Ф р а н ц (*входит*). Господин профессор приказали сказать, что сейчас придут.  
А н н а. Конечно, чего торопиться!  
И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну-ну! Да говорите же!  
Т р е й ч. Кажется, пулевая или картечная рана в плечо. Вначале он был в сознании, но потом впал в беспамятство. Я донес его до перулка, но здесь встретился отряд драгун. Долго я бороться не мог, тем более что я подвергал его опасности расстрела; и я оставил тело 530 им, а сам вернулся к нашим. Теперь, вероятно, он в тюрьме.  
И н н а А л е к с а н д р о в н а (*плачет*). Колюшка, Колюшка! А мы-то сидим и ничего не знаем. Чужало мое сердце, чужало. Ну, не опасно он, скажите? А?  
Т р е й ч. Не думаю.  
П е т я. А Маруся? Отчего вы ничего не скажете про Марусю? Она убита?  
А н н а. Да нет! Валя, хочешь воды с коньяком?  
Т р е й ч. Мы видели ее на одну минуту. Она осталась, чтобы разыскать товарища Николая!
- 540     И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ах, Маруська! Молодец, ей-богу! Так и надо, так и надо. Вот скажите, какая девушка! Как вас – Трейч... хотите коньяку? На вас лица нет. Выпейте, голубчик. Я бы вас поцеловала, да знаю, что ваш брат этого не любит.

Тр е й ч. Сочту за особенную честь.

Целуются.

Инна Александровна. Ах, ты, Маруська, Маруська!  
И этот тоже... Минна! (*Выходит.*)

Лунц (*почти в безумии*). Значит, напрасно?

Поллак. По-видимому.

Лунц. Значит, напрасно вся эта кровь, эти тысячи жертв, эта 550  
беспримечательная борьба, эта... эта... Проклятье! Зачем я был здесь?  
Зачем я не лег там, с моими братьями?

Верховцев. Как же... вы хотите, чтобы... буржуа... сразу  
отдал... свое владычество над землей? Буржуа... не дурак. И лечь  
еще успеете.

Тр е й ч. Борьба не кончена.

Поллак. Вы рабочий, господин Трейч?

Тр е й ч. Рабочий. Кстати: я не сказал госпоже Терновской, так  
как не хотел тревожить ее напрасно, что Николай, быть может,  
расстрелян. 560

Петя. Расстрелян!

Тр е й ч. Уже по дороге сюда я слышал, что они расстреливают  
всех пленных без суда... и раненых также.

Петя (*вздрагивает и закрывает лицо руками*). Какой ужас!

Лунц. Звери! Они всегда питались человеческой кровью.  
Они сыты ею по горло.

Верховцев. Да... они никогда не были... вегета... рианцами.

Лунц. Как можете вы шутить!

Анна. Валя, ведь тебе же нельзя говорить.

Верховцев. Это ободранные... ноги приводят меня в та- 570  
кое... настроение. Я замолчу, Анна, я устал. Мне только... инте-  
ресно взглянуть... на физиономию звездочета.

Тр е й ч. Тише.

Входит Инна Александровна.

Они борются, и мы, конечно, не можем предписывать им правил  
борьбы.

Житов. А вот и Сергей Николаевич.

На верху лестницы показывается Сергей Николаевич и на ходу бросает:

Сергей Николаевич. Что это? Где Николай?

Инна Александровна. Не пугайся, отец. Он ранен, 580  
в тюрьме.

Сергей Николаевич (*останавливаясь, сверху*). Разве  
там еще убивают? Разве там еще есть тюрьмы?

Верховцев (*злобно*). С неба... свалился.

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Весеннее ясное утро в горах; небо безоблачно; все залито солнцем. Справа, в глубине, угол здания обсерватории с уходящей вверх башней; середина – двор, по которому проложены асфальтовые дорожки, как в монастырях; двор неровный, опускается вниз, к задней стороне сцены, где низкий каменный забор и ворота. За ним цепь гор, но не выше той, на которой расположена обсерватория. Слева и ближе к авансцене угол дома с каменной верандой над обрывом. Полное отсутствие растительности. Со времени первого действия прошло три недели. Верховцев в кресле на колесах; его возит взад и вперед

10 Анна. Житов сидит у стены – греется на солнце. Все одеты по-весеннему, кроме Житова, который в одном пиджаке.

Житов (*сидит*). А то дали бы мне, Анна Сергеевна, я бы повозил.

Анна. Нет, уж сидите, никого не люблю утруждать. Тебе хорошо, Валя?

Верховцев. Хорошо, только за каким чертом вертимся мы здесь, как крысы в крысоловке. Поставь меня рядом с Житовым, я тоже хочу запастись энергией от солнца. Так, хорошо. Приятно!

Анна. Отчего вы не работаете, Житов?

20 Житов. Погода такая. Я, как зыграет весеннее солнце, так уж не могу в комнатах сидеть. Вот погреюсь, погреюсь, да и...

Верховцев. Житов, а вы не турок?

Житов. Нет.

Верховцев. А как вам бы шло: сесть этак да на пупок смотреть, или как там...

Житов. Нет, я не турок.

Верховцев. А я вас понимаю: приятно на солнышке. Жалко Николу: ему этого удовольствия не получить. Я знаю эту Штернбергскую тюрьму: в нее не только солнце не заглядывает, в ней и

30 неба-то не видно. Я в ней только месяц просидел, так и то в какой-то сплошной компресс превратился от сырости. Мерзость!

Анна. Хорошо, что хоть жив. Я была убеждена, что его расстреляли.

Верховцев. Погоди, за этим еще дело не станет. Нужно бы разбудить Маруську, узнать все поскорее.

Житов. Она поздно приехала.

Верховцев. Слышал. Весь дом пением разбудила. Я даже удивился, кто может петь в этом мавзолее. Подумал, уж не Поллак ли новую звезду открыл.

40 Житов. Раз поет, значит, все хорошо.

Анна. Я не понимаю этого: петь, когда все спят.

Инна Александровна (*показывается на веранде*). А Лунц не приходил?

А н н а. Нет.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Господи, что же это! Его Сергей Николаевич спрашивает, – ну что я скажу? Разбрелись все, как овцы, один Поллак работает. А Марусечка-то вчера – запела! Как я услышала – дух захватило... Ну, думаю...

В е р х о в ц е в. Разбудите-ка ее, теща.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ни-ни. И не думай. Пусть хоть 50 до вечера спит.

В е р х о в ц е в. Ну Шмидта этого.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. И Шмидта не стану будить. Человек с дороги, такую радость привез, а я ему поспать не дам! Вот вы этого Лунца пришлите, когда вернется. *(Идет и у двери останавливается.)* Солнышко-то греет, Василий Васильевич! Как у нас. Я нынче утром в ящик земли насыпала да редиску посеяла. Пусть растет, кое-кому пригодится! *(Уходит.)*

В е р х о в ц е в. Энергичная старушка. Редиска, хм!

Пауза.

60

А н н а. Вы думаете о чем-нибудь, Житов, когда вот так устаетесь?

Ж и т о в. Нет. Зачем думать? Я так смотрю.

В е р х о в ц е в. Врете вы. Как можно не думать, – ну, если не думаете, так вспоминаете что-нибудь.

Ж и т о в. У меня воспоминаний не бывает. А впрочем... хорошо в Нью-Йорке было: жил я в гостинице на самой шумной ихней улице, и балкон у меня был...

В е р х о в ц е в. Ну?

Ж и т о в. Так вот: хорошо очень было. Сидишь и смотришь: 70 как это они там ходят, ездят. Воздушная дорога. Интересно.

А н н а. У американцев высокая культура.

Ж и т о в. Нет, я не об этом. А так, интересно очень. *(Пауза.)*  
А правда, где Лунц?

А н н а. Вчера еще с вечера с Трейчем ушел в горы.

В е р х о в ц е в. На исследования?

Ж и т о в. Исследования?

В е р х о в ц е в. Трейч всегда что-нибудь исследует. Он уже, наверное, исследовал ваш храм Урании и решил, что он может быть превосходным складом для оружия. Теперь он исследует 80 горы: вероятно, ищет места для оружейного завода.

А н н а. Трейч – фантазер.

В е р х о в ц е в. Ну, не совсем. В его фантазиях есть странная черта. При всем иногда явном безумии они как-то осуществляются. Вообще любопытный малый. Говорит немного, а пропаган-

дировать никто так не умеет, как он. Выражаясь вашим астрономическим языком, – он луну заставит разгореться, как солнце. Откуда его Николай вытащил, не знаю.

Петя (*входит*). Добрый день.

90 Верховцев. Что это ты, Петушок, такой хмурый?

Петя. Так.

Анна. Ты знаешь? Николай в тюрьме.

Петя. Знаю, мне мама говорила.

Анна. Я не понимаю; отчего ты киснешь. Точно уксусу напился – противно смотреть.

Петя. И не смотри.

Житов. Петя, поедете со мной в Австралию.

Петя. Зачем?

100 Анна. Ты, как маленькие дети, все – зачем, зачем. Его вчера в горы зовут, а он: “зачем?” А зачем ты ешь?

Петя. Не знаю. Отстань от меня, Анна.

Верховцев. Не могу сказать, чтобы ты был чрезмерно вежлив, мой друг. А вот и наши!

Показываются забрызганные грязью Трейч и Лунц.

Лунц, вас звездочет спрашивал. Держитесь, влетит вам теперь.

Лунц. А ну его к... Виноват, Анна Сергеевна.

Анна. Можете. Я не из нежных дочерей и присоединяюсь к вашему пожеланию.

110 Петя. Как это пошло!

Верховцев. Ну, как погуляли, Трейч? Нашли что-нибудь?

Трейч. Местность хорошая.

Анна. А вы знаете, что Маруся ночью приехала?

Трейч (*делая шаг вперед*). Ну?! Николай? Николай?

Верховцев. Расстрелян. Повешен. Колесован.

Анна. Да нет – жив, жив!

За окном музыка и пение Маруси.

Маруся. “Сiju за решеткой в темнице сырой – вскормленный на воле орел молодой...”

120 Трейч. Он в тюрьме? Спасен?

Маруся. “Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном...”

Верховцев (*поет*). “Клюет – и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. – Зовет меня взглядом и криком своим – и вымолвить хочет: давай улетим”.

Маруся (*выходит, страстно*). “Мы вольные птицы! Пора, брат, пора – туда, где за тучей белеет гора, – туда, где синеют морские края, – туда, где гуляют – лишь ветер да я!”

Трейч. Маруся!

Анна. Какой неуместный концерт!

130

Инна Александровна (*идет сзади, утирая глаза*). Орлятки вы мои...

Верховцев. Вы, теща, произносите совершенно так же, как: цыплятки вы мои...

Инна Александровна. Да и цыплятки: вон ты как оципан, хоть сейчас в суп.

Маруся. Анна, здравствуйте! (*Трейчу*.) Вам – поцелуй!

Трейч (*быстро закрывает рукой глаза и тотчас отнимает руку*). Я счастлив.

Маруся. И всем, и всем. Тебе, инвалид, тоже.

140

Верховцев. Да ты видела его?

Маруся. Давай улетим!

Лунц. Это даже нехорошо. Все так хотят знать...

Маруся. И видела, и все. Да... вот этот господин... это Шмидт, позвольте представить. Это удивительный господин. Пока он так, служит в банке, но со временем окажет массу услуг для революции. Он страшно похож на шпиона, и он так помог мне... Кланяйтесь, Шмидт.

Шмидт. Я очень рад. Добрый день.

Маруся. Петя, милый мальчик, отчего ты такой грустный?

150

Верховцев. Это, Маруся, выражаясь скромно, – свинство.

Маруся. Ну-ну, калека, не сердись. Разве можно сегодня сердиться? Ну, он в Штернбергской тюрьме...

Голоса. Знаем. Знаем.

Маруся. Ну – и хотели его расстрелять.

Инна Александровна. Господи, Колю-то?!

Маруся. Успокойтесь, мамочка, ничего этого не будет. А я – графиня Мориц. Родовитая ужасно, но только родовые поместья мои там. (*Обводит рукой по воздуху*.) А они злы, но страшно глупы.

160

Верховцев. Да, есть-таки.

Маруся. Труднее всего было узнать, где он. Они скрывают имена захваченных, чтобы иметь возможность тихонько – без суда – расправиться с ними. Но тут помог мне Шмидт. Шмидт, кланяйтесь.

Входит Сергей Николаевич. Он в потертом пальто и маленькой меховой шапочке; приветствуют его почтительно, но холодно.

Инна Александровна. Отец, ты послушай, что Маруся рассказывает. Они его расстрелять хотели!

170 Маруся. Так вот. Долго рассказывать. Одним словом, я грозила, умоляла, ссылаясь на общественное мнение Европы, наученый авторитет его отца, – и расправа отложена. И я была в тюрьме...

Верховцев. Ну, как он?

Маруся (*затуманиваясь*). Он... немного грустен, но это пройдет, конечно.

Инна Александровна. А рана?

Маруся. Это пустяки. Уже зарубцевалась, он ведь такой крепкий. Но что это за камера: это подвал, погреб, болото – я не  
180 знаю как назвать.

Верховцев. Знаю, сживал.

Маруся. Но я подняла такой шум, что его обещали перевести в лучшую. Вам, Сергей Николаевич, он крепко жмет руку, желает успеха в работе и вообще очень интересуется, как у вас...

Анна. В таком положении – и думать о пустяках.

Сергей Николаевич. Милый мальчик! Я очень благодарен ему.

Анна. Как великодушно!

Лунц. Но как же вы-то сами? Как вас не схватили?

190 Маруся. Меня и схватили солдаты – в тот день. Но я так плакала, я так безумно рыдала о больной бабушке, которая ждет меня из магазина, – что меня отпустили. Один, правда, слегка ударил прикладом...

Лунц. Какая гнусность!

Маруся. А у меня под юбкой знамя было. Наше знамя.

Верховцев. Оно цело?

Маруся. Я приколола его английскими булавками – но какое оно тяжелое! Я привезла его сюда. В этот раз оно заменяло Шмидту фуфайку. Вообще, если бы Шмидт не был такого маленького  
200 кого роста...

Верховцев. Он был бы большого. Отчего ты не принесла его сюда? Взглянул бы... Наше знамя! Черт возьми, а?

Маруся. Нет, я разверну его, когда мы снова пойдем в битву. Трейч, вы знаете, кто предал нас?

Трейч. Знаю.

Шмидт. Изменников и предателей нужно карать смертью.

Маруся смеется. Трейч слегка улыбается.

Верховцев. Какой вы, однако, кровожадный, господин Шмидт.

Ш м и д т. Можно убивать электричеством, тогда без крови. 210

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Ну, а Колюшка-то!

М а р у с я. Николай? Ну слушайте. Здесь нет никого? Прислуга у вас? Ну хорошо. Так вот – бежать.

Т р е й ч. Я поеду с вами.

М а р у с я. Нет, Трейч, Коля велел вам оставаться здесь. Вы знаете, как вас ищут.

Т р е й ч. Это не имеет значения.

М а р у с я. Да и не нужно: я уже все устроила, все готово, а вы здесь, Трейч, на границе, займетесь кое-чем. Нужны только деньги – много денег; вместе с Колей бегут один солдат и смотритель. 220 И, конечно, он придет сюда – это само собой. И я сегодня же еду, – нельзя терять ни минуты.

В е р х о в ц е в. Ловко, Маруся!

М а р у с я. Голубчик, я так счастлива!

И н н а А л е к с а н д р о в н а (*смотрит на Сергея Николаевича*). Деньги?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч (*смотрит на Инну Александровну*). А у нас есть деньги? Инна, ты заведешь этим делом.

И н н а А л е к с а н д р о в н а (*смущенно*). Только те три тысячи...

230

М а р у с я. Нужно пять.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да и те... (*Смотрит на Сергея Николаевича, тот молча кивает головой; радостно.*) Ну, вот три тысячи и есть. Слава богу!

Ж и т о в (*конфузясь*). Можно собрать. Вот у меня есть двести рублей.

Л у н ц. Поллак – богатый человек, очень богатый.

А н н а. Неприятно к нему обращаться. Он такой сухарь.

В е р х о в ц е в. Пустое. Вот таких и нужно обдирать! Петя, позови-ка сюда Поллака... скажи – важно, а то не пойдет. 240

М а р у с я. Ну вот, главное сделано, деньги есть. (*Поет.*) “Зовет меня взглядом и криком своим – и вымолвить хочет: давай улетим!” Трейч, мне надо с вами поговорить. Какой вы грязный! Где вы были?

Уходят.

Л у н ц. Какая девушка! Это – солнце! Это вихрь огненных сил! Это Юдифь!

А н н а. Да, слишком много огня. Революция не нуждается в ваших вихрях и взрывах, – это, если хотите знать, ремесло, в которое нужно вносить терпение, настойчивость и спокойствие. 250 А эти вихри...

Лу н ц. И для революции нужен талант.

А н н а. Не знаю. Люди уж очень злоупотребляют этим словом – талант. На канате хорошо ломается – талант. На звезды всю жизнь смотрит...

В е р х о в ц е в. Да. А как у вас, уважаемый звездочет, обстоят дела на небе?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Хорошо. А у вас на земле?

В е р х о в ц е в. Довольно скверно, как видите. На земле всегда  
260 скверно, уважаемый звездочет, всегда кто-нибудь кого-нибудь душит; кто-то плачет, кто-то кого-то предает... Ноги вот болят. Нам далеко до гармонии небесных сфер.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Там не всегда гармония. Там также бывают катастрофы.

В е р х о в ц е в. Очень жаль... значит, и на небо надежда потеряна. А вы о чем задумались, господин... господин... Шмидт?

Ш м и д т. Я думаю, что всякий человек должен быть сильным.

В е р х о в ц е в. Ого! А вы сильны?

Ш м и д т. К сожалению, нет. Природа при рождении лишила  
270 меня некоторых свойств, которые составляют силу. Я очень боюсь крови и...

В е р х о в ц е в. И пауков? Кстати: вы платье готовое покупаете или на заказ?

П о л л а к (*подходит*). Чем могу служить? Добрый день, господи!

В е р х о в ц е в. Вот что, Поллак: нужны две тысячи... не скажу, чтобы взаймы, потому что едва ли вам их кто отдаст...

П о л л а к. А для какой надобности, смею спросить?

В е р х о в ц е в. Надо устроить бегство Николая Сергеевича.  
280 Можете дать?

П о л л а к. С удовольствием.

В е р х о в ц е в. Он...

П о л л а к. Нет, нет, прошу без подробностей. Уважаемый Сергей Николаевич, могу я сегодня воспользоваться вашим рефракто-  
ром?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Пожалуйста. Сегодня у меня праздник.

Поллак уходит, кланяясь.

В е р х о в ц е в. Вот это ученый. Хорош, Сергей Николаевич?  
290 Сергей Николаевич. Он очень способный.

А н н а (*вообще*). А для чего существует астрономия?

В е р х о в ц е в. Для календарей, должно быть.

Маруся и Трейч подходят.

Маруся. Так вы сделаете это, Трейч... На вас нападают, Сергей Николаевич? Анна так ненавидит астрономию, как будто это ее личный враг.

Сергей Николаевич. Я уж привык к этому, Маруся.

Анна. У меня нет личных врагов, вы это хорошо знаете. А астрономию я не люблю потому, что не понимаю, как люди могут столько времени глазеть на небо, когда на земле все устроено так плохо. 300

Житов. Астрономия – торжество разума.

Анна. По-моему, разум больше бы торжествовал, если бы на земле не было голодных.

Маруся. Какие горы! Какое солнце! Как вы можете говорить, спорить, когда так светит солнце!

Лунц. Вы как будто против науки, Анна Сергеевна!

Анна. Не против науки, а против ученых, которые науку делают предлогом, чтобы уклониться от общественных обязанностей. 310

Шмидт. Человек должен говорить: “я хочу”, обязанность – это рабство.

Инна Александровна. Не люблю я этих разговоров, и охота людям себе кровь портить. Василий Васильевич... да подымитесь же! Вот что (*отводит его к веранде*): вы денег-то своих не давайте. Хватит. Поллак – очень великодушный молодой человек и, в случае чего... (*Смеется.*) А все-таки – астрябия.

Житов. Как же теперь ваша экспедиция в Канаду, Инна Александровна? Деньги-то?

Инна Александровна. Ну, достану! Год еще впереди. Я ловка денег доставать. А вы вот что, Василий Васильевич, прошу вас, как друга: нападать они будут на моего старика, – рады, что он молчит, – так вы уж постоите за него, хорошо? 320

Житов. Хорошо.

Инна Александровна. А я пойду. Нужно Колюшке белье приготовить, так хлопот много... (*Уходит.*)

Сергей Николаевич (*продолжает*). Я очень люблю хорошие разговоры. Во всех речах я вижу искорки света, и это так красиво, как Млечный Путь. Очень жаль, что люди большею частью говорят о пустяках. 330

Анна. Красивыми словами люди часто отделиваются от работы.

Верховцев. Вот вы очень спокойный человек, Сергей Николаевич, вы даже неспособны, кажется, обижаться, – а случилось ли вам когда-нибудь плакать? Я, конечно, беру не тот счастливый возраст, когда вы путешествовали без штанов, а вот теперь?..

Сергей Николаевич. О да! Я очень слезлив.

Верховцев. Вот как!

Сергей Николаевич. Когда я увидел комету Биелу, пред-  
340 сказанную Галлеем, я заплакал.

Верховцев. Причина уважительная, хотя для меня и не совсем понятная. А вы ее понимаете, господа?

Лунц. Да, конечно. Ведь Галлей мог ошибаться.

Верховцев. Что же, тогда нужно было бы рвать волосы от отчаяния?

Маруся. Вы преувеличиваете, Валентин.

Анна. А когда сына чуть не расстреляли, он остался совершенно спокоен.

Сергей Николаевич. В мире каждую секунду умирает  
350 по человеку, а во всей вселенной, вероятно, каждую секунду разрушается целый мир. Как же я могу плакать и приходить в отчаяние из-за смерти одного человека?

Верховцев. Так. Шмидт, не правда ли, это очень сильно, как раз по-вашему? Так что, если Николаю не удастся бежать и его...

Сергей Николаевич. Конечно, это будет очень грустно, но...

Маруся. Не шутите так, Сергей Николаевич. Мне больно, когда я слышу такие шутки.

360 Сергей Николаевич. Да я и не шучу, милая Маруся. Вообще, я никогда не умел шутить, хотя очень люблю, когда шутят другие, например Валентин.

Верховцев. Благодарю вас.

Житов. Это правда, Сергей Николаевич никогда не шутит.

Маруся (*затуманиваясь*). Тем хуже.

Верховцев. Что значит – заткнуть уши астрономической ватой! Хорошо, спокойно. Пусть весь мир взвоят, как собака...

Лунц. Когда молодой Будда увидел голодную тигрицу, он отдал ей себя, да. Он не сказал: я бог, я занят важными делами, а ты  
370 только голодный зверь, – он отдал ей себя!

Сергей Николаевич. Вы видите надпись (*показывая на фронтон обсерватории*): Haec domus Uraniae est. Curae procul este profanae. Temnitur hic humilis tellus. Hinc ITUR AD ASTRA. Это значит: это храм Урании. Прочь, суетные заботы! Попирается здесь низменная земля – отсюда идут к звездам.

Верховцев. Да. Но что вы разумеете под суетными заботами, уважаемый звездочет? Вот у меня ноги содраны до кости осколком... это тоже, по-вашему, суетная забота?

Анна. Конечно.

Сергей Николаевич. Да. Смерть, несправедливость, не- 380  
счастья, все черные тени земли – вот суетные заботы.

Верховцев. Значит, явись завтра новый Наполеон, новый  
деспот, и зажми весь мир в железном кулаке – это тоже будет су-  
етная забота?

Сергей Николаевич. Д... Я так думаю.

Верховцев (*обводит всех взглядом и грубо смеется*). Так  
вот оно что!

Анна. Это возмутительно! Это какие-то боги, которые пре-  
доставляют людям страдать, как им угодно, а сами...

Маруся. Трейч, почему вы ничего не возразите?

390

Трейч. Я слушаю.

Верховцев. Так может говорить только тот, кто живет  
на содержании у правительства и в полной безопасности сидит  
на своей крыше.

Сергей Николаевич (*слегка краснея*). Не всегда в без-  
опасности, Валентин. Галилей умер в темнице. Джордано Бруно  
погиб на костре. Путь к звездам всегда орошен кровью.

Верховцев. Мало ли что было... Христиан тоже пресле-  
довали, а это не помешало им, в свою очередь, поджаривать  
на углях невинных астрономов.

400

Анна. У отца даже свои мощи есть, и он держит их за желез-  
ными дверьми.

Сергей Николаевич. Анна! Это нехорошо.

Верховцев. Это еще что за чепуха?

Анна. Кусок кирпича от какой-то развалины, – обсерватория  
развалилась, – да клочки подлинной рукописи.

Маруся. Анна! Как это неприятно! Коля не позволил бы  
себе так говорить...

Анна. Николай слишком деликатен. Это его недостаток.

Подходит Петя и, незамеченный, молча становится у стены.

410

Верховцев (*раздраженно*). Оттого-то нас и бьют на каж-  
дом шагу...

Маруся. Не надо!.. Не надо! Трейч, да что же вы!..

Трейч (*сдержанно*). Надо идти вперед. Здесь говорили о по-  
ражениях, но их нет. Я знаю только победы. Земля – это воск в ру-  
ках человека. Надо мять, давить – творить новые формы. Но надо  
идти вперед. Если встретится стена – ее надо разрушить. Если  
встретится гора – ее надо срыть. Если встретится пропасть – ее  
надо перелететь. Если нет крыльев – их надо сделать!

Верховцев. Хорошо, Трейч! Надо сделать!

420

Маруся. Я уже чувствую крылья!

Трейч (*сдержанно*). Но надо идти вперед. Если земля будет расступаться под ногами, нужно скрепить ее – железом. Если она начнет распадаться на части, нужно слить ее – огнем. Если небо станет валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его – так! (*Отбрасывает.*)

Верховцев. У-ах! Так!

Некоторые невольно повторяют позу Трейча – Атланта, поддерживающего мир.

Трейч. Но надо идти вперед, пока светит солнце.

430 Лунц. Оно погаснет, Трейч!

Трейч. Тогда нужно зажечь новое.

Верховцев. Да, да. Говорите!

Трейч. И пока оно будет гореть, всегда и вечно, – надо идти вперед. Товарищи, солнце ведь тоже рабочий!

Верховцев. Вот это – астрономия! Ах, черт!

Лунц. Вперед, всегда и вечно.

Верховцев. Вперед! Ах, черт!

Все в возбуждении разбиваются на группы.

440 Лунц (*волнуясь*). Господа, я прошу... это нельзя так оставить. А убитые! Нет, господа, не только те, кто мужественно боролся и погиб за свободу, а вот эти... жертвы. Ведь их миллиарды, ведь они же не виноваты... А их убили!

Молчание.

Маруся (*звонко кричит*). Клянусь перед вами, горы! Клянусь перед тобою, солнце: я освобожу Николая!.. У этих гор есть эхо?

Лунц. Здесь нет. Но если бы было, оно ответило бы, как в сказке: да!

450 Анна (*Житову*). Как это сентиментально. Я не понимаю Валентина...

Житов. Нет, ничего. Знаете, я погожу ехать в Австралию: мне тоже захотелось повидать Николая Сергеевича.

Маруся (*глядя в небо*). Как хочется лететь!

Верховцев. Вот это – астрономия. Ну, как, звездочет, нравятся вам такие астрономы?

Сергей Николаевич. Да. Нравятся. Его фамилия, кажется, Трейч?

Верховцев. Он такой же Трейч, как я – Бисмарк. Сам черт не знает, как его зовут по-настоящему.

460 Лунц (*перебегая от одной группы к другой*). Я счастлив, я так счастлив. Вы знаете... мои родители – они убиты. И сестра. Я не хотел, я никогда не хотел говорить об этом... Зачем говорить? –

думал я. Пусть останется глубоко-глубоко в душе и пусть я один только знаю. А теперь... Вы знаете, как они были убиты? Трейч, вы понимаете меня? Я никогда не хотел...

Петя (*Житову*). Зачем все это?

Житов. Нет, приятно.

Петя. Зачем, когда все это умрет, и вы, и я, и горы. Зачем?

Все разбились на группы. Сергей Николаевич стоит один.

Верховцев (*Марусе, в восторге*). Повесить мало Трейча. 470  
Ну и откопал Николай. Ну, Маруська, ведь убежит, а?

Маруся (*затуманиваясь*). Я другого боюсь...

Верховцев. Чего еще?

Маруся. Но – не стоит говорить. Пустое.

Верховцев. Да в чем дело? О чем ты задумалась?

Маруся (*не отвечает; потом неожиданно смеется и поет*).

Давай улетим!

Инна Александровна (*высовывается в окно*). Орлятки! Обедать!

Верховцев. Цып-цып-цып!

480

Маруся. Будем пить шампанское! Мамочка, есть?

Голоса. Да, да. Шампанское!

Инна Александровна. Шампанского нет, а киршвассер есть.

Смех, восклицания.

Сергей Николаевич (*отводит Марусю*). Ну, Маруся, я пойду к себе. Я не хочу вам мешать.

Маруся (*холодно*). Нет, отчего же. Сегодня так весело.

Сергей Николаевич. Да. И я хотел устроить себе маленький праздник ради вашего приезда, но – не вышло. 490

Маруся. Пообедайте с нами.

Луниц (*кричит*). Нужно притащить Поллака. Он порядочный человек, он очень хороший человек. Я иду за ним.

Голоса. Поллака! Поллака!

Сергей Николаевич. Нет, пообедайте без меня.

Маруся. Как жаль! Инна Александровна будет очень огорчена.

Сергей Николаевич. Скажите ей, что я работаю. Перед отъездом вы зайдете ко мне, Маруся? (*Никем не замеченный, уходит*.) 500

Маруся. Шмидт, где вы? Вы будете моим кавалером. Нам еще с вами столько дела. Господа, не правда ли, как он похож на шпиона?

Инна. Маруся становится неприлична.

Маруся. Вы знаете: мне нужно было переночевать у него, а он говорит: нельзя, – я живу в тихом немецком семействе и дал обещание не водить к себе женщин и собак.

Шмидт. И чтоб никто не ночевал. И у меня стоит диван, обитый новым шелком, и они каждый вечер смотрят, не лежит ли  
510 на нем какой-нибудь человек. Ужасные люди!

Верховцев. А вы бы уехали, Шмидт, какого черта!

Шмидт. Нельзя. Они берут плату вперед.

Инна. А вы бы не давали!

Шмидт. Нельзя. Они...

Лунц (*ведет Поллака, кричит*). Вот он! Насилу оторвал. Присосался к рефрактору, как пиявка!

Поллак. Господа, это насилие. У меня там не кончено...

Маруся. Поллак, милый Поллак! Сегодня так весело! И вы такой хороший человек, такой милый, вас так любят все.

520 Поллак. Это очень приятно слышать, но я не знаю, отчего вам так весело? Революция кончилась не в вашу пользу.

Верховцев. Мы придумали новый план. Мы...

Поллак (*отмахивается рукой*). Да, да. Я верю, я верю вам.

Маруся. Мы выпьем за астрономию. Да здравствует орбита!

Поллак. Я не могу, к сожалению, принимать алкоголя: он причиняет мне головную боль и тошноту.

Верховцев. Лучший напиток для Поллака – машинное масло. Поллак, вы будете пить масло?

530 Маруся. Нет. Мы киршвассеру выпьем. самого чистого киршвассеру!

Лунц. Идем, товарищ. Вы хороший, честный человек.

Инна Александровна (*высовываясь*). Да идите же! Что же это, не дозовешься!

Маруся. Сейчас, мамочка, сейчас. Вот Поллак упирается. Что же, господа, неужели мы так и пойдем? Житов, вы умеете петь?

Житов. Подтягивать могу.

Лунц. Марсельезу!

540 Маруся. Нет, нет. Марсельезу, как и знамя, нужно беречь для боя.

Трейч. Я согласен. Есть песни, которые можно петь только в храме.

Верховцев. Повеселей что-нибудь! Эх, как греет солнце!

Инна. Валя, не раскрывай ног.

Маруся (*запевает*). Небо так ясно, – солнце прекрасно, – солнце зовет...

Все, кроме Пети, подхватывают.

В веселой работе – чужды заботе, – братья, вперед.

Слава веселому солнцу! Солнце – рабочий земли!

Слава веселому солнцу! Солнце – рабочий земли!

550

В е р х о в ц е в. Да поживей, Аня! Ты везешь меня, как покойника.

В с е (*поют. Поллак серьезно и сдержанно дирижирует*).

Грозы и бури – ясной лазури – не победят.

Под бури покровом, в мраке грозовом – молнии горят!

Слава могучему солнцу! Солнце – властитель земли!..

Последние слова песни повторяются за углом дома. Петя остается один и угрюмо смотрит вслед ушедшим.

В с е (*за сценой*). Слава могучему солнцу! Солнце – властитель земли!..

560

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Большая темная комната, нечто вроде гостиной. Мебели мало, ничего мягкого, два книжных шкапа, пианино. Задняя стена: дверь и два большие итальянские окна выходят на веранду. Окна и дверь открыты, и видно темное, почти черное небо, усеянное необыкновенно яркими мигающими звездами. В углу у стены, ближе к авансцене, стол, на нем под темным абажуром лампа. За столом Инна Александровна читает газеты, Анна что-то шьет. Лунц ходит взад и вперед. У одного из шкапов Верховцев на костылях достает книгу. Глубокая тишина, какая бывает только в горах. Молчание продолжается некоторое время после открытия занавеса.

10

Верховцев (*бормочет*). А, черт!

Инна Александровна. Валя, ты читал, что президент отказал Кассовскому в помиловании?

Верховцев. Читал.

Инна Александровна. Что же это такое, а?

Верховцев. Расстреляют.

Инна Александровна. Докуда же это будет, господи? Неужели и так мало жертв?

Верховцев (*несет книгу под мышкой, роняет*). А, чтоб  
20 тебя черт... Анна, подними.

Анна (*медленно встает*). Сейчас.

Лунц молча поднимает книгу, кладет на стол и продолжает ходить.

Верховцев (*медленно садится, перелистывает книгу; Анне*). Неужели тебе не надоест ковырять?

Анна. Нужно же что-нибудь делать.

Верховцев. Читала бы.

Анна не отвечает. Молчание.

Верховцев. Нет, не могу. Какая дьявольская тишина, как в гробу! Еще неделя такая, и я брошусь в пропасть, запью – по-  
30 бью Поллака.

Лунц (*нервно*). Ужасная тишина! Точно осуществился сон Байрона: солнце погасло, все уже умерло на земле, и мы – последние люди. Ужасная тишина!

Верховцев. Житов, вы что там делаете?

Житов (*с веранды*). Смотрю.

Верховцев (*презрительно*). “Смотрю”!

Молчание.

Не могу я без работы!

Анна. Что же поделаешь, надо терпеть.

40 Верховцев. Терпи ты, если хочешь, а я... Черт! (*Читает.*)

Инна Александровна (*сидит задумавшись*). Серезеньке теперь было бы двадцать один год уж... Красивый он был мальчик, на Колю похож был... Анята, ты его помнишь?

Анна. Нет.

Инна Александровна. А я так помню... Ты, Анята, била его, ты злая была маленькая. И как скрутило быстро: в три дня. Воспаление слепой кишки – у такого-то крошки! Как стали резать ему животик, так, поверите ли, Иосиф Абрамович...

Верховцев. Да ну вас, ей-богу! Весь вечер сегодня все о покойниках. Ну, умер и умер, и хорошо сделал, что умер. Житов, 50 идите сюда разговаривать!

Житов. Сейчас.

Лунц. Какая тоска!

Верховцев. А что Маруся-то пишет, Инна Александровна?

Инна Александровна (*со вздохом*). Пишет много, да толку не добьешься. Обещает через неделю, а там опять что-нибудь задержало, а там опять через неделю. Вот и во вчерашнем письме то же...

Верховцев. Знаю, знаю, я думал, нет ли чего нового.

Инна Александровна. Уж не заболел ли Колюшка? 60

Верховцев. Так и заболел уж! Скажите еще: умер.

Лунц. Она тогда мертвого его украдет и привезет.

Инна Александровна. Да что вы? Что вы говорите-то, подумайте!

Житов (*входит*). Ну, о чем говорить?

Верховцев. Садитесь. Вы что там делаете?

Житов. На звезды смотрел. Какие они сегодня красивые и беспокойные.

Входит Петя. Вообще в течение действия он несколько раз проходит сцену.

Лунц. А я сегодня не могу смотреть на звезды. Я не знаю, 70 куда бы от них ушел, я спрятался бы в подвал, но и там я буду их чувствовать. Понимаете: как будто нет расстояний. Как будто все эти громады, живые и мертвые, столпились над землей и приближаются к ней, и что-то такое в них есть... Я не знаю. (*Ходит, продолжая жестикулировать.*)

Житов. Атмосфера тут очень чистая. Вот в Калифорнии...

Верховцев. А вы были в Калифорнии?

Житов. Был. Вот в Калифорнии, на обсерватории Лика, так, правда, иногда жутко смотреть.

Петя. Мама, откуда у вас в кухне эта старуха?

80

Инна Александровна. Какая? А, эта-то? Пришла, я и велела ее приютить. Снизу она, из долины. Нищенка, что ли, глухая, у нее не поймешь.

Петя. Как же она взошла на гору? Как она могла?

Верховцев. Вам бы тут, теща, богадельню устроить.

Инна Александровна. А что ты думаешь? Может быть, и устрою, если Сергей Николаевич согласится. Ты почитал бы...

Петя (*настойчиво*). Мама, как она взошла?

Инна Александровна. Да не знаю, голубчик. Ты почитал бы, что Марусечка о голодных детках пишет: мамочка, хлеба хочу, – ну и пошла мать за хлебом, и уж как она его там достала – и говорить не стоит... Пришла, а девочка-то уже мертвая.

Анна. Благотворительностью ничего не сделаешь.

Инна Александровна. Что же, так пусть и умирают?

Петя. Пусть умирают. Иосиф, вы что-то грустны сегодня?

Лунц. Да, Петя, у меня очень тяжелые мысли. Это такая ночь, я не знаю, какая это ночь. Это ночь призраков. Вы смотрели сегодня на звезды?

Петя. А мне вот весело! (*Бренчит что-то дикое на рояле.*)

100 Верховцев. Оставь!

Петя (*играет и поет*). Как мне весело!

Инна Александровна. Да ну, Петечка, оставь же!

Петя громко захлопывает крышку рояля и выходит на веранду. Молчание.

Лунц. А Трейч скоро вернется?

Верховцев. Не вышло... значит, сегодня или завтра. Житов, что вы все молчите?

Житов. Так. Не хочется говорить что-то.

Лунц. У меня такие тяжелые мысли! Такие тяжелые мысли! Так можно убить себя.

110 Верховцев. Пустое. Среди астрономов нет самоубийц.

Лунц. Я плохой астроном. Очень, очень плохой.

Анна. Тем и лучше, вот и займитесь чем-нибудь дельным.

Лунц. Я сегодня боюсь звезд. Я думаю: какие они огромные, какие они равнодушные и как им нет никакого дела до меня, и я становлюсь такой маленький, такой жалкий – как, знаете, цыпленок, который во время еврейского погрома спрятался куда-нибудь, сидит и ничего не понимает.

Петя входит.

120 Верховцев. Звезды – и еврейский погром... Странная комбинация.

Инна Александровна (*предостерегающе кивает головой Верховцеву*). Это оттого, Иосиф Абрамович, что у всех нас

нервы развинтились. Ведь подумать только: уже полтора месяца, как уехала Маруся, а ничего нет. Я сама, на что ко всему привычный человек, а и то вздрагивать начала.

Лунц. Летает пух, звенят стекла, а он сидит – и что он думает?

Верховцев. Ничего не думает. Думает, что снег идет.

Лунц. Меня пугает бесконечность. Какая бесконечность? Зачем бесконечность? Вот я смотрю на звезды: одна, десять, миллион – и все нет конца. Боже мой, кому же я жаловаться буду? 130

Верховцев. А зачем жаловаться?

Лунц. Вот я, маленький еврей... (*Ходит, продолжая жестикулировать.*)

Поллак (*входит*). Добрый вечер. Я могу, господа, посидеть с вами? Я не помешаю?

Инна Александровна. Конечно, нет. Пожалуйста.

Поллак. Магнитная стрелка очень колеблется, Лунц. Завтра нужно наблюдать солнце.

Лунц что-то бормочет.

140

Вам я уж не говорю, Житов, – вы, по-видимому, окончательно бросили занятия. Вы уезжаете?

Житов. Да. Послезавтра.

Инна Александровна. Что это? Ведь вы же, Василий Васильевич, хотели подождать Колюшку? Как же это вы так? сразу?

Житов. Да нет уже. Надо ехать. Засиделся.

Верховцев. Вот будет тощища, как вы уедете. Пошлите вы к черту эту Зеландию.

Житов. Нет, надо.

150

Анна. А вы что же не работаете, господин Поллак?

Поллак. Сегодня я мечтаю, уважаемая Анна Сергеевна. Сегодня мне исполнилось тридцать два года, и именно в эту минуту. Я родился вечером, в десять часов тридцать семь минут. Вычитая разницу во времени, получается (*смотрит на часы*) как раз десять часов шестнадцать минут.

Верховцев. Поздравляю.

Поллак. Благодарю вас. И я сегодня немного мечтаю. В мои тридцать два года я уже сделал довольно много для науки, и мое имя... Впрочем, я не буду входить в подробности. И я уже имею 160 право устраивать личную жизнь.

Верховцев. Да неужели вы женитесь? Вот так штука!

Поллак. Да, вы угадали. Я женюсь.

Инна Александровна. И хорошо делаете, голубчик. Только бы жена попалась хорошая.

Поллак. Моя невеста в этом году оканчивает курс в университете, и скоро, уважаемая Инна Александровна, ваше уютное жилище перестанет считать меня своим членом.

Инна Александровна. Вот какой тихоня! И как-то вы  
170 ни разу не проговорились.

Петя (*резко*). Я тоже женюсь. У меня тоже есть невеста. Красавица!

Поллак. Да? Вы шутите?

Инна Александровна. Петя!

Петя хохочет и уходит на веранду.

Анна. Что это с ним? Как распустился!

Инна Александровна. И не знаю. С того дня, как вы приехали, прямо узнать нельзя. Иосиф Абрамович, вы ближе с Петей, не знаете, что с ним такое? Беспокоюсь я.

180 Лунц. С Петей? Он хороший мальчик, честный мальчик. И у него тоже тяжелые мысли.

Поллак. Итак, продолжайте, господа... Я сегодня немного нервно настроен и с удовольствием послушаю вашу беседу.

Лунц (*бормочет*). Звезды, звезды...

Поллак. Что вы хотите рассказать нам о звездах, дорогой Лунц?

Лунц. Вот и тогда они светили где-то над тучами, когда мы сидели, и ждали, и думали, что там уже полная победа, и теперь они светят... Можно с ума сойти...

190 Верховцев. Работать, работать надо, а тут сидишь как на цепи, в этом чертовом гробу. Эх! (*Ковыляет по комнате к окну, смотрит некоторое время и возвращается обратно.*) Кажется, Трейч вернулся.

Поллак. Мне очень нравится господин Трейч. Это очень серьезный человек.

Инна Александровна. Значит, опять ничего?

Верховцев (*грубо*). А вы чего ждали? Ведь вам уже писали, что ничего.

Инна Александровна. Господи, Господи! Колюшка  
200 мой, Колюшка! Не дождусь я тебя, голубчика, чует мое сердце. (*Тихо плачет.*)

Трейч (*входит, здоровается со всеми и усаживается*). Добрый вечер!

Инна Александровна. Устали, голубчик. Поесть не хотите?

Трейч. Благодарю вас, я кушал дорогой.

Верховцев. Что нового?

Трейч. Много арестов. О том, что Занько повешен, вы, конечно, знаете?

Голоса. Разве? Занько? Нет. Когда же это?

210

Верховцев. Бедный малый! Ну, как он?..

Инна Александровна. Такой молодой!.. Ведь это он был здесь с Колюшкой в прошлом году? Такой черненький, с усиками.

Анна. Да, он.

Инна Александровна. Руку мне поцеловал... Такой молодой... Мать у него есть?

Анна. Ах, мама!.. Не знаете, Трейч, не проговорился он?

Трейч. Он храбро встретил смерть, хотя с ним поступили подло. Он просил, чтобы при казни присутствовал его защитник: у него нет родных, и он имел на это право. Ему обещали и обманули его, и в последнюю минуту он видел только лица палачей и звезды. Его казнили вечером.

Лунц. Звезды, звезды!

Молчание.

Трейч. В Тернахе солдаты убили около двухсот рабочих. Много женщин и детей. В Штернбергском округе – голод. Утверждают, что были случаи поедания трупов.

Верховцев. Вы черный вестник, Трейч.

Трейч. В Польше начались еврейские погромы.

230

Лунц. Что? Опять?

Поллак. Какое варварство! Какие глупые люди!

Инна Александровна. Ну, может быть, еще только слухи. Много говорят...

Верховцев. Ну, а наши? А наши?

Трейч (*пожимает плечами*). Завтра я иду туда.

Анна. Ну, и вас повесят. Больше ничего. Нужно выждать.

Верховцев. И я с вами! К черту!

Анна. Куда же ты с такими ногами пойдешь? Одумайся, Валентин, ты не ребенок.

240

Верховцев. А!..

Трейч. А как ваши ноги, Валентин?

Верховцев машет рукой.

Анна. Плохо.

Инна Александровна. А про Колюшку – ничего?

Трейч. В назначенный час на месте никого не было, и я понял, что дело отложено. Я сам теряюсь в догадках. Завтра я иду туда.

Инна Александровна. Бог вам в помощь, голубчик.  
250 Благословляю вас, как сына.

Трейч целует у нее руку.

Поллак (*Житову*). Скажите пожалуйста – рабочий, а как воспитан. Я удивлен.

Житов. М-да.

Поллак. И мне очень нравится, что он рассказывает так ясно и коротко.

Лунц (*кричит*). Вы слышали?

Анна. Что с вами? Как вы кричите! Испугали...

Лунц. Опять! Опять убивают отцов и матерей, опять рвут  
260 детей на части. О, я почувствовал это, я понял это сегодня, когда взглянул на эти проклятые звезды!

Поллак. Дорогой Лунц, успокойтесь.

Инна Александровна. Зачем вы сказали это, Трейч!

Трейч. Это ничего.

Лунц. Нет, я не успокоюсь, я не хочу успокаиваться! Я довольно был спокоен. Я был спокоен, когда убили мать, и отца, и сестру. Я был спокоен, когда там, на баррикадах, убивали моих братьев. О, я долго был спокоен! Я и теперь спокоен. Разве я не спокоен? Трейч!.. Значит, все... напрасно?

270 Трейч. Нет. Мы победим.

Лунц. Трейч, я любил науку. Поллак, я любил науку. Когда еще был маленький, такой маленький, что меня били все мальчишки на улице, я уже тогда любил науку. Меня били, а я думал: вот я вырасту и стану знаменитым ученым и буду честью моей семьи – моего дорогого отца, который отдавал мне последние гроши, моей дорогой мамы, которая плакала надо мной... О, как я любил науку!

Поллак. Мне очень жаль вас, Лунц. Я уважаю вас.

Лунц. Когда я не ел, когда я не пил, когда я, как собака, бро-  
280 дил по улицам, ища корки хлеба, – я думал о науке. И тогда, когда убили моего отца, и мать, и сестру, я плакал, рвал волосы и думал о науке. Вот как я любил науку! А теперь... (*Тихо.*) Я ненавижу науку. (*Кричит.*) Не надо науки! Долой науку!

Поллак. Лунц, Лунц, как мне жаль...

Анна. Лунц, возьмите себя в руки. Нельзя же так, ведь это истерия.

Лунц. Ага, истерия! Пусть истерия, и я спокоен, и вы напрасно думаете, что я не спокоен. Я не хочу науки. Я уйду отсюда. Я уйду отсюда. Вы слышите?

Трейч. Пойдемте со мной.

290

Лунц. Да, я пойду с вами. Я не хочу науки. Проклятые звезды. Опять, опять! Ведь я слышу, как они там кричат! Вы не слышите, а я слышу! И я вижу – всех, всех, кого жгли, убивали, рвали на части. Били за то, что среди нас родился Христос, что среди нас были пророки и Маркс. Я вижу их. Они смотрят на меня в окно, холодные, истерзанные трупы, они стоят над моей головой, когда я сплю, они спрашивают меня: и ты будешь заниматься наукой, Лунц? Нет! Нет!

Инна Александровна. Голубчик ты мой, помоги тебе Бог.

300

Лунц. Да, Бог. Я еврей, и я зову еврейского Бога! Боже отмщений, Господи Боже отмщений! Яви себя! Восстань! Судия земли, воздай возмездие гордым! Боже отмщений! Господи Боже отмщений! Яви себя!

Верховцев. Месть палачам!

Лунц молча грозит кулаком и выходит.

Трейч, каков?

Поллак. Какой несчастный юноша! Это так тяжело, если человек любит науку и ему нельзя ей служить. Мне было так весело, а когда он говорил, я заплакал, уважаемая Инна Александровна. 310

Инна Александровна. И не говорите. Сердце у меня разрывается. Когда этому конец будет, господи! Проживешь, а светлых дней так и не увидишь. Жизнь!

Житов. Да, тяжело.

Трейч отводит Верховцева в сторону и, предостерегающе показав на Инну Александровну, шепчет ему что-то. При первых словах Верховцев отдергивает голову и громко говорит.

Верховцев. Не может быть! Нико...

Трейч. Тсс!

Шепчутся.

320

Поллак. Нужно уповать на Бога, уважаемая Инна Александровна, но не Бога отмщения, о котором говорил этот несчастный юноша, а Бога милосердия и любви.

Житов. Да, боги бывают разные, какой кому нужен.

Инна Александровна. Ах, дети, дети! Горе с вами великое!

Входит Сергей Николаевич, здоровается.

Сергей Николаевич. И вы здесь, Поллак?

Поллак. Сегодня день моего рождения, уважаемый Сергей  
330 Николаевич.

Сергей Николаевич. Поздравляю вас. (*Жмет руку.*)

Поллак. И сегодня я имел честь объявить собравшимся господам о моей помолвке с девицей Фанни Эрстрем.

Сергей Николаевич. Так вот вы какой счастливец!

Поллак. Да. Теперь у меня будет спутник, уважаемый Сергей Николаевич. (*Хочет.*)

Сергей Николаевич. Еще раз поздравляю. А скажите, относительно Николая нет ничего нового?

Трейч. По-видимому, бегство отложено.

340 Верховцев. А что на земле делается, почтенный звездочет, если б вы слышали!

Сергей Николаевич. А что? Опять какие-нибудь несчастья?

Верховцев. Да – суетные заботы. (*Склонив голову набок.*) Вот смотрю я так на вас и думаю: есть у вас хоть какие-нибудь друзья или вы так – один и один?

Сергей Николаевич (*показывает на Инну Александровну*). Вот мой друг.

350 Инна Александровна. Не конфузьте меня, Сергей Николаевич. Разве тебе такой друг нужен?

Верховцев. Ну, положим. А еще?

Сергей Николаевич. Есть и еще. Но, представьте, я их никогда не видал. Один живет в Южной Африке, у него обсерватория, другой – в Бразилии, а третий – не знаю где.

Верховцев. Пропал?

360 Сергей Николаевич. Он умер лет полтора назад. А еще один есть, того я совсем не знаю, хотя очень люблю, – так этот еще не родился. Он должен родиться приблизительно через семьсот пятьдесят лет, и я уже поручил ему проверить кое-какие мои наблюдения.

Верховцев. И уверены, что он сделает?

Сергей Николаевич. Да.

Верховцев. Странная коллекция. Вам бы ее в какой-нибудь музей пожертвовать! Не правда ли, Трейч?

Трейч. Мне нравятся друзья господина Терновского.

Быстро входит Петя и оглядывается.

Петя. А Лунц где? Все тут? Хорошо. А Лунц?

Инна Александровна. Он у себя, Петя, походи к нему, поговори, он так взволнован сегодня.

Петя. Пожалуйста, господа, посидите здесь. Я хочу устроить 370 маленькое празднество, сегодня такой день.

Поллак. Уж не фейерверк ли? О, хитрый Петя. Но это уж слишком, хотя, конечно, день такой...

Петя. Я сейчас. *(Уходит.)*

Сергей Николаевич *(прохаживается медленно)*. Вы не знаете, Поллак, каков барометр сегодня?

Поллак. Довольно низко, уважаемый Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич. Это чувствуется.

Поллак. В связи с колебанием стрелки надо думать, что 380 в южных широтах – циклон.

Сергей Николаевич. Да. Беспокойно.

Анна *(Инне Александровне)*. Наверное, Петя задумал какую-нибудь гадость. Напрасно вы поощряете его, мама.

Инна Александровна. Что же с ним поделаю? Ты сама видишь, что с ним...

Верховцев *(идет с Трейчем к столу)*. Какая тут у вас дьявольская тишина: точно в могиле.

Сергей Николаевич. Разве? А мне здесь внизу кажется несколько шумно.

Трейч *(Верховцеву)*. Да, вот еще: если я не вернусь, вы ска- 390 жете ей, что...

Верховцев. Понимаю! Фу, духота какая!

Анна. А по мне, скорее холодно.

Верховцев. Духота, холодно – все один черт. Если я тут поживу еще неделю...

Поллак. А не устроить ли нам, господа, более или менее правильную беседу, в которой все могли бы принимать участие? Председателем мы изберем...

Лунц *(входит)*. Меня звали? Вы звали меня, Сергей Николаевич? 400

Сергей Николаевич. Нет.

Лунц. Что же Петя сказал мне? *(Хочет уйти.)*

Поллак. Посидите с нами, дорогой Лунц. Теперь, когда вы несколько успокоились, я хочу сказать вам, что я не согласен с вами относительно науки.

Лунц. Ах, оставьте! Сергей Николаевич, я должен вам сказать: я оставляю обсерваторию.

Голос Пети за дверью: “Пажи! Шире дорогу герцогине!”

Поллак *(смеется)*. Ах, это Петя! Какой забавный мальчик! Слушайте, слушайте! 410

Распахиваются двери. Входят Петя и старуха. Она перегнулась пополам, под прямым почти углом, и еле идет – ужасный образ нищеты, старости и горя. Петя, взяв ее за руку, выступает торжественно, как в опере. У дверей улыбающиеся физиономии Минны, Франца и еще кого-то из прислуги.

Петя. Позвольте представить, господа, вот моя невеста – прелестная Эллен.

Верховцев (*грубо смеется*). Вот дурак!

Анна. Я говорила!

Поллак (*встает*). Это насмешка! Я не позволю насмехаться над моей невестой!

Петя (*громко*). Прелестная Эллен, поклонитесь собранию!

Старуха кланяется.

Поллак. Я протестую! Это оскорбление!

Инна Александровна. Он шутит. Петечка, нехорошо, не нужно шутить над старым человеком.

Лунц. Нет, это не шутка! Я понимаю. О, я понимаю!

Петя. Так. Теперь поговорим, прелестная Эллен. Вам сколько лет?

Старуха молчит и трясет головой.

430 Вы сказали, семнадцать? Вам семнадцать лет, очаровательная девица. Герцог, ваш отец, и герцогиня, ваша мать, согласны на наш брак?

Старуха молчит и трясет головой.

Поллак. Глубокоуважаемый Сергей Николаевич! Меня оскорбляют в вашем доме...

Лунц (*бешено*). Да что вы лезете? Кому вы нужны с вашей идиотской невестой.

Поллак. Господин Лунц, вы ответите!

Лунц. Звезды, проклятые звезды!

440 Петя. Как я счастлив, прелестная Эллен! Вы слышите запах роз? Вы слышите, как заливаются в саду соловей? – Это о нашей любви поет он, прелестная Эллен.

Лунц. Проклятые звезды!

Петя. Ваш благоухающий ротик, прелестная Эллен...

Лунц. Да, да...

Петя. ...ваши жемчужные зубки...

Лунц. Да, да!

Петя. ...ваши нежные щечки – я влюблен в вас безумно, прелестная Эллен! Зачем так скромно потупили вы очаровательные  
450 глазки ваши?

Лунц. Позор! И вам не стыдно, Поллак? Наука! А это вы видите? Это моя мать, это моя мать...

Поллак. Я не понимаю...

Петя. Выпрямьте ваш стройный стан и гордо объявите себя моей женой, очаровательная Эллен! В ваших объятиях найдет вечный покой мое беспокойное сердце!

Старуха трясет головой.

Анна. Их всех надо в сумасшедший дом.

Верховцев (с испугом). Анна, молчи!

Поллак. Это такое...

460

Лунц. Молчи, буржуй, а не то... Это моя мать. (К старухе.) Старая женщина! (Отталкивает Петю.) Послушайте меня, старая женщина, вот стою я перед вами на коленях, маленький еврей. Вы – моя мать, и дайте же, дайте, я поцелую вашу руку...

Петя (кричит). Это моя невеста!

Лунц. Это моя мать, оставьте ее...

Анна. Дайте воды!

Лунц. Старая женщина! Простите меня: я любил науку, глупый еврей... жид!..

Верховцев (Трейчу). Нужно что-нибудь сделать!

470

Трейч. Ничего.

Лунц. Я люблю только вас, милая, старая женщина. Возьмите мою голову и сердце мое возьмите. Проклятые звезды! Проклятые звезды!

Трейч. Вы идете со мной, Лунц.

Петя (кричит). Это моя невеста!

Инна Александровна. Господи! Петюшка! С ним дурно!

Анна. Воды!

Лунц. Я иду с вами. И клянусь Богом...

480

Верховцев. Да замолчите вы!

Петя бьется в припадке. Все, кроме Трейча, бросаются к нему; Сергей Николаевич делает шаг, но останавливается и смотрит на Лунца.

Лунц (стоя на коленях). Старая женщина! Вы видите, я плачу, старая женщина, я – маленький еврей, который любил науку. Вы – моя мать, вы – мать моя, и, клянусь перед Богом, всю жизнь мою я отдам вам, моя милая, моя старая женщина. Я плачу... Проклятые звезды!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В правом углу сцены купол обсерватории в разрезе, одной третью своей уходящий за кулисы. Вокруг купола галерея с чугунной прозрачной решеткой. Низ сцены – часть какой-то крыши, примыкающей к главному зданию обсерватории, и еле намеченные контуры гор. Все же остальное – одно огромное пространство ночного неба. Созвездия. Внутри купола очень темно; налево смутно уходят очертания огромного рефрактора; два стола, на них лампы с темными, непрозрачными колпаками. Створы купола раскрыты, и в них проглядывает звездное небо. Лестница вниз также в разрезе. Тишина, тихий стук метронома. Сергей Николаевич, Петя и Поллак.

10

Поллак. Итак, уважаемый Сергей Николаевич, вы будете любезны наблюдать за камерой. Я уйду, необходимо окончить таблицы.

Сергей Николаевич. Работайте, работайте! До свиданья!

Поллак (*обращаясь к Пете*). Ну, как мы себя чувствуем сегодня, юный жрец богини Урании?

Петя. Хорошо. Благодарю вас.

Поллак. И мы уже больше не будем насмехаться над бедным  
20 Поллаком, которому так хочется жениться?

Петя. Честное слово, я не хотел...

Поллак. Я знаю, знаю...

Сергей Николаевич. Он уже тогда был нездоров.

Поллак. Я шучу, уважаемый Сергей Николаевич. Вообще я должен с удивлением отметить, что открыл в себе огромные запасы юмора. Когда сегодня Франц разлил молоко, я сказал ему: Франц, вы оставляете за собой млечный путь, – и он очень смеялся. (*Хохочет.*) Но я не буду входить в подробности. До свидания. (*Уходит.*)

30 Петя. Какой смешной этот Поллак! Папа, я тебе не помешаю, если останусь здесь?

Сергей Николаевич. Нет, дружок.

Петя. Мне не хочется вниз. Теперь там так скучно. Ты знаешь, Житов вчера прислал телеграмму из Каира: “Сижу и смотрю на пирамиды”. А ты видал пирамиды?

Сергей Николаевич. Видал. Я боюсь, дружок, что маме одной будет тяжело.

Петя. Сейчас она уже спит. А днем я с ней много бываю. Она все толкует, папа, о Коле.

40 Сергей Николаевич. Да ведь ничего неизвестно. От Анны нет известий?

Петя. Нет. Она не любит писать письма. Конечно, ничего еще неизвестно, я все время твержу это маме, но ты знаешь, как

трудно говорить с женщинами... Ну, я не буду мешать тебе. Ты тоже будешь вычислять?

Сергей Николаевич. Да. Немного. Я что-то устал.

Петя. А я почитаю... Да, папа, вчера я в журнале прочел, что ты совершил какое-то громадное открытие относительно туманностей и что это ставит тебя наряду...

Сергей Николаевич. Это открытие, дружок, я совершил уже десять лет тому назад. Астрономическая слава приходит поздно – нами интересуются мало.

Петя. И я не знал!

Сергей Николаевич. Мы по-прежнему остаемся обособленными, как египетские жрецы, хотя и против воли.

Петя. Как это глупо! Папочка, а почему ты, когда я был болен, велел положить меня сюда? Ведь я, наверное, мешал тебе.

Сергей Николаевич. Нет. Но когда что-нибудь становится мне очень мило, мне хочется поднять его сюда. У меня, Петя, смешное убеждение, что здесь не может быть страданий, 60 болезни. Тут – звезды.

Петя. Раз ночью я проснулся и увидел тебя: ты смотрел на звезды. Было тихо, и ты смотрел на звезды. И вот тогда я что-то понял... Нет, почувствовал. Не знаю – что, я не умею объяснить. Как будто в мире мы одни, ты, звезды и я... или как будто мы уже умерли. И от этого не было страшно, а спокойно, как-то хорошо – чисто. Мне теперь так хочется жить – отчего это? Ведь я по-прежнему не понимаю, зачем жизнь, зачем старость и смерть? – а мне все равно. Ну, работай, работай, я не буду входить в подробности, как говорит Поллак.

Сергей Николаевич (*задумчиво*). Да. Человек думает только о своей жизни и о своей смерти – и от этого ему так страшно жить и так скучно, как блохе, заблудившейся в склепе... Чтобы заполнить страшную пустоту, он много выдумывает, красиво и сильно, но и в вымыслах – он говорит только о своей смерти, только о своей жизни, и страх его растет. И становится он похож на содержателя музея из восковых фигур, – да, на содержателя музея из восковых фигур. Днем он болтает с посетителями и берет с них деньги, а ночью – одинокий – он бродит с ужасом среди смертей, неживого, бездушного. Если бы он знал, что всюду жизнь! 80

Петя. Ты знаешь, папа, чего я первый раз испугался? Я увидел стул в пустой комнате, самый простой стул, – и вдруг мне стало так страшно, что я закричал.

Сергей Николаевич. Его мысль рождена птицей – могучей и свободной царицей пространств, а он связал ей крылья и посадил ее в птичник – с проволочными, бесстыдно лгушими

стенами. И небо сквозь сетку дразнит ее, и она ссорится с другими птицами, тупеет, становится глупой – вместо того чтоб летать.

Петя. Бедная царица!

90 Сергей Николаевич. Да, все живет. И когда поймет это человек, ему станет радостно жить, как греку, как язычнику. Явятся снова дриады и нимфы, и эльфы запляшут в лунном свете. Человек будет ходить по лесу и разговаривать с деревьями и цветами. Он никогда не будет один, ибо все живет: и металл, и камень, и дерево.

Петя (*смеется*). Ты очень смешной, папа.

Сергей Николаевич. Да? Разве?

Петя. Ты вежлив со стульями. Нет, это правда, и ты вежлив с предметами. Когда ты берешь что-нибудь в руки, ты делаешь  
100 это как-то вежливо. Я не умею объяснить. Ты очень рассеянный, а ходишь так ловко, что никогда ничего не зацепишь, не толкнешь, не уронишь. Когда стулья, шкапы, стаканы собираются ночью, как у Андерсена, и начинают разговаривать, они, вероятно, очень хвалят тебя.

Сергей Николаевич. Да? Это мне нравится, что стулья разговаривают.

Петя. А что тут делается, когда ты уходишь? Вероятно, все поет?

Сергей Николаевич. Оно и при мне поет.

110 Петя. Труба басом, да?

Сергей Николаевич. А ты слышишь, мой мальчик, что поют звезды?

Петя. Нет.

Сергей Николаевич. Они поют, и песнь их таинственна, как вечность. Кто хоть раз услышит их голос, идущий из глубины бесконечных пространств, тот становится сыном вечности! Сын вечности! – да, Петя, так когда-нибудь назовется человек.

Петя (*смеется*). Папочка, не сердись: неужели и Поллак – сын вечности?

120 Сергей Николаевич. Может быть.

Петя. Но он такой нелепый, такой узкий... Ну, ну, я не буду. Сажусь. Какой у тебя здесь воздух – в комнатах такого никогда не бывает. Ты все думаешь?

Сергей Николаевич. Да.

Петя. Ну, думай. Конечно, читаю.

Молчание.

Сегодня ровно три недели, как уехал Лунц.

Сергей Николаевич. Да?

Молчание. Петя читает. Сергей Николаевич выходит из задумчивости и медленно придвигает к себе работу. Работает.

130

Петя. Первые ночи, когда у меня был жар, я очень боялся рефрактора. Он двигался по кругу за звездой, и когда я снова открывал глаза, он уже успевал немного передвинуться. И мне казалось – не знаю – как будто это один огромный черный глаз... в сюртуке и с фалдочками.

Молчание. Сергей Николаевич откладывает работу и думает, опершись подбородком на руку.

Сергей Николаевич. Петя, ты знаешь, какие стихи написал астроном Тихо Браге по поводу одного инструмента. Это был параллактический инструмент, которым пользовался Коперник во всех своих работах и который сделал он сам из трех деревянных жердочек, ужасно плохой инструмент: у арабов были лучше. Так вот послушай:

«Тот, солнцу кто сказал: “Сойди с небес и стой”,  
Кто землю на небо, луну на землю вскинул,  
И, весь перевернув порядок мировой,  
Скреп мира не расторг нигде и не раздвинул,  
А проще не в пример представил и стройней  
Нам твердь, знакомую по опыту очей, –  
Тот муж, Коперник сам, кого я разумею,  
Вот эти палочки в простой сложив прибор  
И им осуществив столь дерзкую затею,  
Законы наложил на весь небес простор,  
Светила горния во славе их теченья  
Кусочкам дерева ничтожным подчинил,  
К самим проник богам, куда со дня творенья  
Рок смертным всем почти дорогу возбранил.  
Каких преодолеть преград не может разум!  
Нагроможденные когда-то Пелион  
И Осса с Этною, Олимп с другими разом  
Горами многими вотще со всех сторон –  
Свидетели тому, что силой тела дикой  
Гиганты мощные, но слабые умом,  
Не досягнули звезд. Он, он один, великий,  
Искавший помощи лишь в разуме своем,  
Не мышцы крепкие, а тоненькие жерди  
Орудием избрав, – возвысился до тверди.  
Каких могучих здесь произведенье дум!  
Хотя, по существу, в нем стоимости мало,

150

160

Но золото само, когда б имело ум,  
Такому дереву завидовать бы стало!..»

Молчание. Внизу музыка – несколько нерешительных и грустных аккордов:  
“Сажу за решеткой... в темнице сырой...”

Петя (*вскакивает*). Что это, музыка? Кто же это – там только мама!

Сергей Николаевич (*обернувшись*). Да. Не Маруся ли?

Петя (*кричит*). Марусяка приехала! Я сейчас, сейчас!..  
(*Бежит вниз.*)

Сергей Николаевич (*повторяет*). “...Но золото само,  
180 когда б имело ум, такому дереву завидовать бы стало!..”

Длительное молчание. На лестнице показываются Маруся и Петя.

Маруся. Не плачь. Что плакать? Пойди к маме.

Петя плачет, сдерживая рыдания.

Пойди, пойди, она одна. Поддержи ее – ты мужчина.

Петя. А ты?

Маруся. Я ничего. Ступай. (*Целует его в голову; расходятся.*)

Сергей Николаевич. Маруся, милая! Как я рад, что вы  
190 приехали. Вы не верите в то, что я могу чувствовать что-нибудь,  
а я сегодня весь день чувствовал ваш приезд.

Маруся. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вы работаете?

Сергей Николаевич. А что Николай? Он бежал?

Маруся. Да. Он ушел из тюрьмы.

Сергей Николаевич. Он здесь?

Маруся. Нет.

Сергей Николаевич. Но он в безопасности, Маруся?

Маруся. Да.

Сергей Николаевич. Бедная Маруся! Как вы уста-  
200 ли, вероятно. Сегодня весь день я думаю о вас и о нем, – о вас  
и о нем. О вас я говорить не смею, но вы – как музыка, Маруся!  
Я так рад! Позвольте мне поцеловать вашу руку – вашу нежную  
ручку, которая так много поработала над железными замками и  
решетками. (*Церемонно целует руку.*) Садитесь, рассказывайте.

Маруся (*показывая на галерею*). Пойдем туда.

Сергей Николаевич. Я так рад. Я возьму для вас стул –  
вы так устали, Маруся.

Выходят.

Ну, садитесь. Здесь, правда, хорошо?

210 Маруся. Да. Очень хорошо.

Сергей Николаевич. А я сидел здесь с Петей. Он такой милый мальчик! Он в последнее время напоминает мне Николая...

Маруся. Да.

Сергей Николаевич. Но в Пете много женственного, слабого, иногда я беспокоюсь за него. А Николай – он такой энергичный, такой смелый. Как в нем все гармонично и стройно, как нежно и сильно! Это прекрасный образец человека мужественного, редкая, красивая форма, которую природа разбивает, чтобы не было повторений.

Маруся. Да. Разбивает. Я хотела сказать...

220

Сергей Николаевич. Он пленителен, как юный Бог, в нем какие-то чары, против которых нельзя устоять. Ведь его, Маруся, так любят все, даже Анна – даже Анна. И он так красив! Вам, Маруся, покажется это нелепо: он напоминает мне звездное небо перед зарею.

Маруся. Да. Звездное небо перед зарею.

Сергей Николаевич. Он не мог не бежать, я был уверен в этом. Тюрьма! Что такое тюрьма – эти ржавые замки и трухлявые глупые решетки. Я удивляюсь, как они могли так долго держать его: они должны были улыбнуться и дать ему дорогу, как 230 молодому счастливому принцу!

Маруся (*падая на колени, с тоской*). Отец, отец, какой это ужас!

Сергей Николаевич. Что, что с вами, Маруся?

Маруся. Разбита прекрасная форма! Отец, разбита, разбита прекрасная форма!

Сергей Николаевич. Он умер! Да говори же!

Маруся. Он... Его покинул разум.

Молчание.

Маруся (*вскакивает*). Что же это! Проклятая жизнь! Где 240 же Бог этой жизни, куда Он смотрит? Проклятая жизнь! Изойти слезами, умереть, уйти! Зачем жить, когда лучшие погибают, когда – разбита прекрасная форма! Ты понимаешь это, отец? Нет оправдания жизни – нет ей оправдания.

Сергей Николаевич. Расскажи мне все.

Маруся. Зачем? Разве можно это рассказать? Чтобы рассказать, нужно понять, – а разве это можно понять?

Сергей Николаевич. Расскажи.

Маруся. Он был моим знаменем. Когда варвары бросили его в тюрьму, я думала: но ведь это варвары, а он – солнце. Я думала: 250 вот сейчас поднимутся все, кто любит его, и разрушат тюрьму, – и снова засияет мое солнце. Мое солнце!

Сергей Николаевич. Как это случилось?

Маруся. Как гаснет звезда? Как умирает птица в неволе? Перестал петь, стал бледен и грустен, – но успокаивал меня. Раз только сказал: я не могу понять железной решетки. Что такое железная решетка, – она между мною и небом.

Сергей Николаевич. Между мною и небом.

Маруся. А тут их избили. Да, да. Они подняли бунт в тюрь-  
260 ме. В их камеры ворвались тюремщики и били их – по одному. Били руками, ногами, их топтали, уродовали лица. Долго, ужасно их били – тупые, холодные звери. Не пощадили они и твоего сына: когда я увидела его, его лицо было ужасно. Милое, прекрасное лицо, которое улыбалось всему миру! Разорвали ему рот, уста, которые никогда не произносили слова лжи; чуть не вырвали гла́за – глаза, который видел только прекрасное. Ты понимаешь это, отец? Ты можешь это оправдать?

Сергей Николаевич. Говори.

Маруся. И уже тут в нем проснулась эта страшная, смер-  
270 тельная тоска. Он никого не упрекал, он защищал предо мною тюремщиков – своих убийц, – но в его глазах росла эта черная тоска: душа его умирала. И все еще успокаивал меня, все еще утешал. И раз только сказал: всю тоску мира ношу я в душе.

Сергей Николаевич. Дальше.

Маруся. Стал забываться. Потом умолк. Молча выходил  
ко мне – молчал, пока я говорила, и молча уходил. Глаза у него стали огромные, черные, как будто из них смотрела тоска всего  
мира, – и такой красоты я не видала, отец! А когда сегодня я при-  
шла на свидание, он был уже в больнице. Когда вчера вели его на  
280 прогулку, он хотел броситься с лестницы, в пролет, но его удержали. Потом – безумие, горячечная рубашка – и все.

Сергей Николаевич. Ты видела его?

Маруся. Я видела его. Но об этом я не стану говорить. Я не могу. Разбита прекрасная форма!

Сергей Николаевич. Они всегда избивали своих про-  
роков!

Маруся. Отец! Как же можно жить среди тех, кто избивает своих пророков? Куда мне уйти, я не могу больше. Я не могу  
290 смотреть на лицо человека – мне страшно! Лицо человека – это так ужасно: лицо человека. Я выплакала мои слезы – та же тоска впереди – смертельная, последняя тоска. Ты видишь: я спокойна. Как много звезд!

Пауза.

Сергей Николаевич. А Инна знает?

Маруся. Да.

Сергей Николаевич. Что говорят врачи?

Маруся. Они говорят: идиот.

Сергей Николаевич. Николай – идиот?

Маруся. Да. Он будет долго жить. Он станет равнодушен, он будет много пить, есть, потолстеет, он проживет долго. Он будет 300  
дет счастливым.

Сергей Николаевич. Николай – идиот! Как трудно это представить. Этот прекрасный человек, этот гармоничный, светлый дух – погружен во тьму, в скучный, бедный, еле колышущийся хаос. Он некрасив теперь, Маруся?

Маруся (*с горечью*). Да, он некрасив. А тебя это беспокоит?

Сергей Николаевич. Я рад, что ты так спокойна, я не думал, что ты так сильна.

Маруся. Уж месяц я переживаю изо дня в день эту муку. Я привыкла. Что, отец, привычка: это, должно быть, тоже что-то 310  
вроде сумасшествия?

Сергей Николаевич. Что же ты хочешь делать теперь?

Маруся. Не знаю, я еще не думала об этом. Как-то стыдно, отец, над свежей могилой думать о своей – о новой жизни. Даже собаке нужно время, чтобы привыкнуть к потере щенка.

Сергей Николаевич. Николая я устрою, ему теперь немного надо. А ты, Маруся, больше не ходи к нему. Совсем не ходи.

Маруся. Нет, я буду ходить!

Сергей Николаевич. Это кошунство. Это такое же ко- 320  
шунство, как оставить в своей комнате труп. Трупы надо сжигать на огне.

Маруся. Я и труп оставила бы у себя в комнате.

Сергей Николаевич. Зачем?

Маруся. Ты знаешь прелестную Эллен? Я беру ее с собой.

Сергей Николаевич. Против кого это?

Маруся. Не знаю. Против тебя.

Сергей Николаевич. Против меня?

Маруся. Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду делать. Я построю город и поселю в нем всех старых, как прелестная Эллен, всех убогих, калек, сумасшедших, слепых. Там будут глухонемые от рождения и идиоты, там будут изъеденные язвами, разбитые параличом. Там будут убийцы...

Сергей Николаевич. Мне жаль тебя, Маруся.

Маруся. Там будут предатели и лжецы и существа, подобные людям, но более ужасные, чем звери. И дома будут такие же, как жители: кривые, горбатые, слепые, изъязвленные; дома –

убийцы, предатели. Они будут падать на головы тех, кто в них поселится, они будут лгать и душить мягко. И у нас будут посто-  
340 янные убийства, голод и плач; и царем города я поставлю Иуду и назову город: “К звездам!”

Сергей Николаевич. Бедная Маруся, мне жаль тебя!

Маруся. Оставь! Ты не жалеешь сына.

Сергей Николаевич. У меня нет детей. Для меня одинаковы все люди.

Маруся. Как это бездушно! Нет, я не пойму тебя.

Сергей Николаевич. Это оттого, что я думаю обо всем. Я думаю о прошлом и о будущем, и о земле, и о тех звездах – обо всем. И в тумане прошлого я вижу мириады погибших; и в тумане  
350 будущего я вижу мириады тех, кто погибнет; и я вижу космос, и я вижу везде торжествующую безбрежную жизнь – и я не могу плакать об одном!

На лестнице показываются Петя и Инна Александровна. Она идет с трудом, и Петя ее поддерживает. Медленно проходят через купол.

Инна Александровна (*бросается к мужу*). Колюшка наш, Колюшка!

Петя. Мамочка, мамочка! Не плачь!

Инна Александровна. Колюшка!

Сергей Николаевич (*усаживает ее, выпрямляется, кричит*). Отняли сына! Безумцы! Слепцы, на себя поднимающие  
360 руку!

Инна Александровна. Ничего... отец, проживем. Колюшка, мой Колюшка...

Сергей Николаевич. Если бы солнце висело ниже, они погасили бы солнце – чтобы издохнуть во мраке. Отняли сына! Отняли сына! Свет отняли! (*Топает ногой.*)

Петя и Маруся плача становятся на колени и ласкают Инну Александровну.

Сергей Николаевич отходит на несколько шагов и возвращается.

Маруся. Прости меня, отец.

370 Сергей Николаевич. Не надо плакать, не надо. У нас есть мысль. У нас есть мысль. Да помоги же ты!.. Да, должно быть, я стар.

Инна Александровна. Колюшка!

Сергей Николаевич. Это ничего. Жизнь, жизнь везде. Сейчас, в эту минуту – да, в эту минуту! – родится кто-то – такой же, как Николай, лучше, чем он, – у природы нет повторений.

Маруся. Родится для безумия, для гибели! Родится для того, чтобы так же плакала над ним мать! Ты это хочешь сказать?

Сергей Николаевич. Мать? Да. Да. Он погибнет, Маруся. Как садовник, жизнь срезает лучшие цветы, – но их благоуханием полна земля... Взгляни туда, в этот беспредельный простор, в этот неиссякаемый океан творческих сил. Взгляни туда! Там тихо, – но если бы ты могла слышать сквозь пространство и видеть сквозь вечность, ты, может быть, умерла бы от ужаса, а быть может – сгорела бы от восторга. С холодным бешенством, покорные железной силе тяготения, несутся в пространстве по своим путям бесконечные миры, – и над всеми ими господствует один великий, один бессмертный дух.

Маруся (*вставая*). Не говори мне о Боге!

Сергей Николаевич. Я говорю о существе, подобном нам, о том, кто так же страдает, и так же мыслит, и так же ищет, как и мы. Я его не знаю – но я люблю его, как друга, как товарища. В тот миг, как при случайной встрече двух неведомых сил загорелась первая жизнь – маленькая, крохотная жизнь амебы, протоплазмы, – уже в этот миг все эти сверкающие громады нашли своего господина. Это мы – те, кто здесь, и те, кто там. Великий простор небес! Древняя тайна! Ты над головою моею, ты в душе моей – и ты уже у моих ног, у ног твоего господина.

Маруся. Оно молчит, отец! Оно смеется над вами!

Сергей Николаевич. Но я хочу – и оно говорит! Туда, в эту синюю глубину, посылаю я мой взор, и он скользит в пространствах и настигает то, чего никогда еще не видел человек. Я зову, и оттуда, из мрака преисподней, выползает на мой зов трепещущая тайна. Она корчится от злобы и страха, и грозит раздвоенным языком, и моргает ослепшими глазами, – бессильное, жалкое чудовище. И тогда я радуюсь, и тогда я говорю в века и пространства: привет тебе, сын вечности! Привет тебе, мой неизвестный и далекий друг!

Маруся. Но смерть, но безумие, но дикое торжество рабов? Отец, я не могу уйти от земли, я не хочу уходить от нее: она так несчастна. Она дышит ужасом и тоской, – но я рождена ею, и в крови моей я ношу страдания земли. Мне чужды звезды, я не знаю, кто обитает там... Как подстреленная птица, душа моя вновь и вновь падает на землю.

Сергей Николаевич. Смерти нет.

Маруся. А Николай? А сын твой?

Сергей Николаевич. Он в тебе, он в Пете, он во мне – он во всех, кто свято хранит благоухание его души. Разве умер Джордано Бруно?

Маруся. Он был велик.

420

Сергей Николаевич. Умирают только звери, у которых нет лица. Умирают только те, кто убивает, а те, кто убит, кто растерзан, кто сожжен, – те живут вечно. Нет смерти для человека, нет смерти для сына вечности.

Инна Александровна. Колюшка! Колюшка!

Сергей Николаевич. В храмах древних поддерживался вечный огонь. Испепелялось дерево, выгорало масло, но огонь поддерживался вечно. Разве ты не чувствуешь его – тут, везде? Разве в себе не ощущаешь его чистого пламени? Кто дал тебе  
430 эту нежную душу, чья мысль, улетевшая из брэнного тела, живет в тебе – ты можешь ли сказать, что это мысль твоя? Твоя душа – лишь алтарь, на котором свершает служение сын вечности! (*Протягивает руку к звездам.*) Привет тебе, мой неизвестный, мой далекий друг!

Маруся. Я пойду в жизнь.

Сергей Николаевич. Иди! Отдай ей то, что ты взяла у нее же. Отдай солнцу его тепло! Ты погибнешь, как погиб Николай, как гибнут те, кому душой своей, безмерно счастливой, поддерживать вечный суждено огонь. Но в гибели твоей ты обретешь  
440 бессмертие. К звездам!

Петя. Ты плачешь, отец. Дай поцеловать мне руку, дай!

Инна Александровна. Уж ты... не плачь, отец. Как-нибудь... проживем...

Маруся. Я пойду. Как святыню, сохранию я то, что осталось от Николая, – его мысль, его чуткую любовь, его нежность. Пусть снова и снова убивают его во мне – высоко над землей понесу я его чистую, непорочную душу.

Сергей Николаевич (*протягивая руки к звездам*). Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!

450 Маруся (*протягивая руки к земле*). Привет тебе, мой милый, мой страдающий брат!

Инна Александровна. Колюшка... Колюшка!..

Занавес.

3 ноября 1905 года

# Неопубликованное



Нам не спалось. Мы вошли в вагон с желанием отдохнуть в его прозрачных потемках, под говор колес, под ритмическое колыхание мягких диванов, когда дремотная мысль точно плывет по волнистому безбрежью, – а случилось так, что мы о чем-то заговорили, о каких-то совсем далеких людях и вещах, и проговорили полночи. Не знаю отчего, но все<sup>1</sup> люди в дороге становятся философами: оторванные от обычного, они точно просыпаются, и с удивлением смотрят назад и вперед, и вспоминают очень далекое, и грезят о таком же далеком грядущем. Если бы человеческая мысль могла стать образом, то каждый стремительно бегущий поезд окутался бы роем теней, и не слышно бы стало его грохота за тысячами их протяжных и глухих голосов. Для людей в вагоне нет настоящего, проклятого настоящего, что в тисках держит мысль и в движении руки, – быть может, оттого люди в вагоне и<sup>2</sup> становятся философами.

И мы говорили – о людях<sup>3</sup> говорили мы и о жизни, о ее красоте и богатстве, о глубинах ее бездонных, над которыми беззаботно и слепо плавают люди-щепки. Одну поверхность ее знают они, и легкие, слишком легкие, никогда не опускаются на дно. Случается, накроет их зеленая(?) волна и на миг ⟨л. 2⟩ откроет им жизнь<sup>4</sup> свои загадочные недра и ослепит и напугает – а потом опять поверхность, опять голубой шатер<sup>5</sup>, как для уютности называют они небо, опять сонное, слепое колыхание, и так до конца – пока не стгниют. Так долго говорили мы – в прозрачных сумерках вагона под тихий звон колес, не видя друг друга, но чувствуя, как растет близость и нежная приязнь. Оторванные от обычного, люди в вагоне становятся чутки вечно одиноким сердцем своим и жадно

<sup>1</sup> но все *вписано*.

<sup>2</sup> и *вписано*.

<sup>3</sup> *Было: жизни*

<sup>4</sup> *жизнь вписано*.

<sup>5</sup> *Далее было: неба*

пьют тихую мимолетную ласку – как в засуху цветы пьют дождевую воду.<sup>6</sup>

– Надо спать, – сказал он.

– Пора бы, – ответил я.

Улыбаясь, мы закрыли глаза, а через полчаса, выйдя из купе, стояли в коридорчике и глядели в окно. Вероятно, где-нибудь за облаками стояла луна, и ночь была светла, и снежная муť земли неприметно сливалась с лунной муťю зимнего ночного неба. Под толстым слоем снега сглаживались бугры и неровности, но мы часто проезжали по этой дороге и все, что проходило мимо, казалось знакомым и виденным.

– А ведь это неправда, – сказал я. – Мы ничего не видим и не знаем.

Он понял меня и, не отрываясь от окна и только ближе прижавшись своею головой к моей, ответил:

– А кажется знакомым. Глаза обманывают.

– Глаза обманывают. Когда я еду по этой дороге, ⟨л. 3⟩ я постоянно смотрю в окно, и взгляд мой охватывает все, что до горизонта. И мне кажется, много, а это – только до горизонта. Когда я проеду несколько раз, в памяти моей останутся кое-какие дома<sup>7</sup> и станции, и некоторые лица, и лес, и даже отдельные деревья. И мне кажется, что это все, – а это только некоторые дома<sup>8</sup>, некоторые лица и отдельные деревья. Я знаю здесь одну березу. Она стоит у опушки леса, отдельно от других, и имеет такой вид, как будто она выбежала из леса и жадно смотрит в поле. Но если ее срубят, я не найду места, где она стояла, и, вероятно, даже не вспомню о ней.

– Я знаю эту березу. Она как будто кричит.

– Да. А ты помнишь, где стоит она?

– Где-то здесь. Не знаю. Не помню. И давно уже я не видел ее.

– Кажется, ее срубили.

Прошел мимо редкий зимний лес и дохнул на нас холодом, ночью и одиночеством. И снова снежная муť и такое же мутное небо. И оттого что мы часто ездили по этой дороге, самое небо казалось знакомым и давно известным, и не верилось, что это новое небо, которого мы никогда не видали. Мелькнул зеленый огонь, какие-то крыши, покрытые снегом, и поезд остановился.

– Станция Белево, – сказал кондуктор.

---

<sup>6</sup> *Далее было:* Он был живой(?) и суровый человек, мой товарищ.

<sup>7</sup> *Было:* деревни

<sup>8</sup> *Было:* деревни

Так как поезд всегда стоит здесь пять минут, то мы хорошо знали эту станцию, но почему-то ничего не сказали об этом.

⟨л. 4⟩ – Белево? – повторил кто-то сзади нас. – Здесь хорошие пирожки. Я знаю.

И хлопнул дверью. Наш вагон остановился как раз против телеграфа, и сквозь широкое огромное окно видны *были*<sup>9</sup> работающие люди. Они не знали, что за ними наблюдают, и равнодушно делали свое дело, и *было* немного похоже на сцену с поднятым занавесом. Один телеграфист, молодой, с усами, *был* обращен лицом к нам и раз даже встретился со мною взором, – но в глазах его не *было* выражения. Стекло в большом окне слегка<sup>10</sup> отражало огни станции, и от этого ясно видна *была* только освещенная часть его лица, а то, что<sup>11</sup> находилось в тени, пропадало – точно не существовало совсем.

– Получше взглядишь в телеграфиста, – сказал мне товарищ.

Я смотрел. Телеграфист все так же равнодушно работал, потом сказал что-то в сторону, закурил папиросу и встал. Отошел на один шаг и тотчас же пропал в блестящем стекле. И снова показался, и снова сел за работу. Папироса в зубах видимо мешала ему, он морщился освещенной половиной лица и наконец положил папиросу на край стола.

И все. Поезд тронулся, и станция прошла мимо в обратном порядке: фонари<sup>12</sup>, какие-то крыши, покрытые снегом, зеленый огонь – и снова поле, снова снежная муть, и такое же<sup>13</sup> мутное небо. Так должны являться призраки: войдет в одну дверь и уйдет в другую, а комната все та же – ⟨л. 5⟩ тот же стол, те же кресла, то же молчаливое мигание свечи. И только в глазах останется бледный, словно тающий, образ да сердце говорит о чем-то, замирая.

– Вот и Белево, которое мы знаем, – сказал товарищ.

– А если поехать назад, оно снова явится.<sup>14</sup>

– И снова исчезнет.

– А если в нем остаться!

– Надолго? – спросил он, тихо. – Надолго? – повторил он, улыбаясь только мыслью.

И снова мы стояли прижавшись и глядели в окна, а за нами по снежному полю точно гнался тот – равнодушный телеграфист

---

<sup>9</sup> Здесь и далее во всем абзаце формы глагола “быть” подчеркнуты синим карандашом (стилевые пометы?).

<sup>10</sup> Далее было: блестело

<sup>11</sup> Далее было: был(о)

<sup>12</sup> Было: огни

<sup>13</sup> Далее было: небо

<sup>14</sup> Далее помета-галочка синим карандашом.

за блестящим стеклом. Но это казалось. Он был в наших глазах – только в наших глазах.

– У него хорошее лицо, – сказал я, припоминая.

– Он молод. Вероятно, ему лет двадцать пять. И уже лет шесть или семь он работает на телеграфе, на этом телеграфе – что-то привычное и долгое чувствуется в<sup>15</sup> движениях его руки, в выражении его лица, в этой папиресе, положенной на край стола.

– Он не видел нас. Там у них светлее, и он не видел нас.

– Вероятно, он видел только силуэт вагона. Он видит только вагоны и силуэты их. Каждые сутки он дежурит на телеграфе, и мимо него проходят десятки, сотни вагонов. По этой дороге много ездят, и каждые сутки мимо него проходят в ту и другую сторону тысячи людей. Быть может, уже пол-России <л. 6> прошло – и все только мимо него. И он ничего не знает о тех, кто прошел.

– По этой дороге часто ездит Лев Толстой.

– По этой дороге ездит Лев Толстой. Ездят по ней министры, князья, великие художники, писатели и певцы. И уже тысячи глаз равнодушно останавливались на нем, а он так же равнодушно сидел и работал. Кто знает, – быть может, на него смотрел Толстой, а он в это время разговаривал с кем-то, курил и жадно затягивался скверным табаком. Он видит только вагоны и силуэты их. Вот на пустые пути из мрака или из солнечного света приходят вагоны и останавливаются, и стоят так, как будто это на всю жизнь. А через пять минут уходят, и снова пусты молчаливые пути, как будто никогда и никто не стоял здесь. Летом в окнах мелькают лица, а зимою вагоны заперты, заморожены инеем и так глухи, как будто в них нет живого человека. Глухо проходят и глухо, не раскрывшись, уходят, – а он сидит, работает и ничего не знает о тех, кто проехал. Он работает – это значит, он передает слова. Пусть как день ясны эти слова для него, они заперты, как вагоны, – он ведь не знает ни тех, кто говорит, ни тех, кто слушает<sup>16</sup>. И мимо него<sup>17</sup>, как вагоны, проходят слова – чья-то радость, чье-то горе, чьи-то мысли, соображения, приказы. Он только передает. И у него есть уши и глаза, а он – глух и слеп, как будто не было у него никогда ни слуха, ни зрения.

– У него есть своя жизнь.

<л. 7> – Он живет в Белеве у какой-нибудь мещанки в трехоконном домике над оврагом, – если только на миг сойти с протоптанной тропинки, то с головой провалишься в снег. Единствен-

---

<sup>15</sup> Далее было: его

<sup>16</sup> Далее было: слова

<sup>17</sup> него вписано.

ные темные пятна перед глазами – кучка золы и застывших помоев да голый, корявый ствол ракиты. У него маленькая, жаркая комнатка с лежанкой, и на этой лежанке он сидит на праздниках<sup>18</sup>, по утрам, и играет на гитаре. Он любит вышитые русские рубашки, которые ему дарят на именины, мечтает о новой форменной ту-журке и лакированных сапогах. Он еще не пьет, он молод и мечтателен, и оттого в комнатке его чисто, платье завешено простыней, и на окне кисейные занавески. И когда он читает какую-нибудь старую, разорванную книгу, у которой не хватает страниц, и не подозревает, что эту книгу тоже написал человек, – она существует для него самостоятельно, как корявая ракита, на которую он смотрит, и так же мало вызывает размышлений. Когда ночью он возвращается с дежурства, то очень боится собак, а дома быстро раздевается и, посмотрев на потертые на пятке носки, засыпает с мыслями о носках и телеграфе. Все, что совершается в мире великого, громкого, ослепительного, проходит где-то стор(оно)ю, и он не подозревает и не думает, что автор той разорванной книги пассажир и вчера проехал, быть может, мимо него. Богатая человеческая душа его как скрипка Страдивариуса, отданная уличному музыканту: на ней играют дрянные польки, и она никогда (л. 8) не узнает самой себя, своего настоящего голоса, так как тот, кто мог извлечь его, жизнь-артист<sup>19</sup>, жизнь-художник, жизнь – великий музыкант, проходит где-то мимо, и он никогда не узнает о ней. И пропуская мимо себя глухие замкнутые вагоны, он проходит и мимо себя самого, такого же замкнутого, такого же глухого и преходящего.

Так сказал мой товарищ и задумался, и щека его, прижавшаяся к моей, похолодела.

– Но, быть может, он вовсе не такой, и ты все это выдумал.

– Быть может. Ведь мы проехали только мимо.

Вагон покачивался, и проплывали снежные поля. Они казались знакомыми и обманывали: я никогда не видал этих полей! Рядом со мною стоял он, и щека его прикоснулась к моей щеке, и он обманывал меня этим прикосновением: я не знаю его! Завтра мы расстанемся, и образ его останется только в моих глазах, а мимо меня пойдут другие люди, – и я пойду мимо других людей. Быть может, мимо себя.

---

<sup>18</sup> *Вместо:* на праздниках – *было:* по праздникам

<sup>19</sup> *Было:* а. музы(кант) б. х(удожник)

Рассказ

I

Он жил недолго, как всякий человек, и умер давно: тысячи лет прошли с тех пор, как он умер, и под прахом новых мертвецов бесследно исчез его царственный прах. Так давно это было, что странное имя его звучит таинственно и чуждо, как имена отдаленнейших звезд, и самая жизнь его кажется вымыслом и сказкою. Гордое имя, чуждое имя, пусть останется оно добычею забвения: ведь и у имени есть душа, и ей будет грустно и больно, когда глухо прозвучит оно на чуждой земле, среди чуждых людей, бледное, худое, истощенное тысячами, обессиленное злоющей дальностью. Когда-то оно гремело в ушах<sup>2</sup>, как гром, блистало в глазах, как молния, а теперь найдется человек, который никогда не слышал его и скажет: какое глупое имя, его трудно прость!

Был царь. Он жил недолго, как всякий человек, и умер давно – тысячи лет прошли с тех пор.

II

20 У него было красивое и сильное тело, спокойное и ⟨л. 2⟩ царственно ленивое, когда он отдыхал, крепкое и гибкое, как тетива натянутого лука, когда он гневался и убивал людей и диких зверей пустыни. И лицо его было прекрасно. Глубокою ночью, когда погаснет свет и тьма полуночи разрушит чары времен, раскрой широко глаза, и смотри долго, и смотри долго. Заволнуется безумно мрак и родит из себя бледный и печальный образ, бледный, печальный и строгий, как песок пустыни, побеленный луною. Тускло взглянут на тебя огромные глаза, и смутен и призрачен будет<sup>3</sup> строгий и прекрасный лик – ведь тысячи лет прошли с тех  
30 пор, как умер владыка мира, могучий и славный царь.

---

<sup>1</sup> Было: Царь

<sup>2</sup> в ушах вписано.

<sup>3</sup> Далее было: печальны⟨й⟩

Он был красив и силен и<sup>4</sup> ясен умом, но ему захотелось быть мудрым мудростью бога – и он убил свою темную человеческую душу. Он долго боролся с нею, пока победил. Он сделал ее рабыней и наложил на нее ярмо и цепи, а она плакала, как плачут рабы, и пела песни на чуждом и странном языке – и в этих слезах, и в этих загадочных песнях хранила свободу. Он выколол ей очи и язык вырвал – но звоном цепей она отравляла тишину ночей его. Тогда он поразил ее смертью и над трупом ее воздвиг дивный саркофаг<sup>5</sup> стройных мыслей, светлых желаний и чувств.

Он был царь – в себе самом носил он закон жизни и хранил 40 его твердо. Любовь и ненависть – удел слабых; удел сильных – справедливость, и он был справедлив. *〈л. 3〉* Поэтому его не считали человеком, и одни называли его Жизнью, другие Смертью, и для всех он был богом на земле. В самых темных глубинах человеческих душ был запечатлен его образ неизгладимо и зловеще – они знали только любовь и ненависть, а он был справедлив. И люди молились ему в храмах, как богу, а он любил звезды. Он любил звезды и часто смотрел на них.

Он был царь и умер давно, и так странно сказать: он был 50 хороший человек. Хороший человек – какая загадка в этих простых словах о том, кто был царь и умер так давно – так давно. Ласкал своих жен и детей, и случилось однажды: его маленький сын, маленький человечек, засмеялся первый раз в жизни, – и он, недоступный и справедливый, бог, которому молились в храмах, ответил ему беспечным смехом. А в другой раз он играл с этим маленьким человечком и сделал страшное лицо, чтобы напугать его, – а он не испугался и маленькой рукой своею ударил по лицу того, перед кем в страхе и молитвах сгибался весь мир. И мать была тут: она сидела возле и счастливо смеялась; и это так странно, и<sup>6</sup> этому так трудно поверить – ведь тысячи лет прошли с тех 60 пор, как умерли они: и славный отец, и сын, и счастливая смеющаяся мать.

Лучший из людей, он был властителем города, лучшего из городов, какие стояли на земле. Глубокою *〈л. 4〉* ночью, когда погаснет свет и тьма полуночи разрушит чары времен, уйди в пустыню и стань недвижимо, и слушай долго, и слушай долго. Вздрогнет безмолвие ночи и смутным гулом бесчисленных голосов всколыхнется зыбкий воздух пустыни. Лиюющие смелые крики, яркий смех и протяжные долгие вопли; звон цепей, лязг оружия, воин-

<sup>4</sup> *Далее было:* мудр он был

<sup>5</sup> *Далее было:* светлых

<sup>6</sup> *и вписано.*

- 70 ственные и дикие завывания труб; голос женский и нежная песня, беспокойная нежная песня о чем-то далеком-далеком: о радости мгновенных встреч, о горечи вечной<sup>7</sup> разлуки, о чьей-то жизни, о чьей-то смерти, о чьей-то смерти. Многое может сказать пустыня тому, кто понимает шорох песка<sup>8</sup>, взметаемого ветром, и тревожный лепет гибкого тростника; кто в долгие часы одинокого раздумья внимал тысячеустому говору морской волны, болтливой хранительницы неразгаданных тайн. Но бледны, но призрачны и печальны будут протяжные голоса – ведь тысячи лет прошли с тех пор, как умер большой и прекрасный город и все, кто жили в нем.
- 80 Остались безымянные камни. На них греются под солнцем властительницы-змеи, а ночью, когда луна побелит пустыню и к небу вознесет ее туманные границы, тяжелые камни сделаются воздушными<sup>9</sup> и молчаливо-звонкими, как легкие сны, близкие к пробуждению. И станут они стройными рядами, и примут образ величественных<sup>10</sup> зданий и храмов, и черную<sup>11</sup> тень бросят на голубой песок. И неподвижные<sup>12</sup> округло-ломанные тени затрепещут *(л. 5)* призраком далекой и странной жизни: в фантастических очертаниях своих они примут образ людей и животных, и много<sup>13</sup> увидишь ты странно-знакомых лиц, неподвижно распростертыми
- 90 на голубом песке. Есть там камень, исчербленный обломок<sup>14</sup> колонны; он бессильно и тяжело оперся на другие округлые камни, и каждую ночь, когда светит луна, в один и тот же<sup>15</sup> полуночный час, он послушно чертит на песке огромный<sup>16</sup> и грозный образ умершего царя. Вот прямая, строго-прекрасная линия носа и лба; вот скорбно-стиснутые, царственные губы; вот в округлых завитках черная борода – огромная, грозно красивая голова на гордо изогнутой шее. Так каждую ночь под бледным и таинственным светом луны просыпается мертвый город и<sup>17</sup> стоит до утра, и снова владеет им давно умерший<sup>18</sup> царь.
- 100 Большой и красивый был город, – а теперь, когда кому-нибудь из ученых удастся доказать, что он существовал, все радуются

<sup>7</sup> Было: долгой

<sup>8</sup> В рукописи: песку

<sup>9</sup> Далее было: легкими

<sup>10</sup> Было: прекрасных (незач. вар.)

<sup>11</sup> Далее было: прячущую

<sup>12</sup> Было: черные

<sup>13</sup> Далее было: странны(х)

<sup>14</sup> Было: остаток

<sup>15</sup> же вписано.

<sup>16</sup> Было: черный

<sup>17</sup> Далее было: снова м(ертвый)

<sup>18</sup> Вместо: давно умерший – было: мертвый и грозный

и говорят, как сильна наука. Так наступит время, когда ученые будут доказывать существование городов, в которых живем мы, и не докажут. Ведь люди располагают годами, а во власти смерти все бесконечное время.

Улицы там были. Простые улицы, по которым ходили люди, разговаривали, торговались и спорили. Дети играли в тени; оставляли помет свой ослы и верблюды, и возле водоемов плоские камни были холодны и сыры. И часто *⟨л. б⟩* высоко в раскаленном воздухе колыхались носилки царя, и все опускали голову – разве 110 смеет кто-нибудь из людей смотреть в глаза самому богу?

Самый лучший из людей, царь был и самым счастливым. Врагов своих он победил, а друзья ему не нужны были – и в гордом покое и красоте, подобная солнцу и луне, светила душа его над миром. И он любил звезды. И он часто смотрел на звезды.

### III

На солнце находит черная тень и гасит его, луна прячется за косматые тучи, – случилось так, что надоело царю счастье его, и мудрость, и могущество, и добродетель. Он убил свою темную человеческую душу и тяжелым саркофагом укрыл ее холодный 120 труп, – но кто знает, быть может, он похоронил то, что было еще живо. Много неиссякаемых источников жизни у темной человеческой души, и часто притворяется она мертвою, чтобы обмануть и посмеяться: она любит смеяться, когда что-нибудь падает.

С высоты своих пышных носилок царь увидел однажды прокаженного, лицо которого было ужасно, – и подумал, что знает он все, а не знает того, как быть прокаженным, лицо которого ужасно. И эта новая мысль, которая не приходила ему ранее, была ему неприятна, и благородная красота его собственного лица показалась ему бедностью *⟨л. 7⟩* и обманом. Он увидел собак, пожирающих 130 горячий помет, и подумал, что знает он все, а не знает того, как быть скотом, который питается падалью и пометом. И бледностью и обманом показался ему его собственный рот, никогда не знавший нечистой пищи. И в тот вечер он не стал смотреть на звезды; долго и тщетно ждали они царя в чутком безмолвии ночи и, не дождавшись, угасли.

А царь смотрел на землю. Широко и зорко взглянул он вокруг себя и увидел злобу, тупость, безумие и разврат, услышал крики людей и животных, которых бьют и оскорбляют, – и он позавидовал всем, кого оскорбляют, кто злобен, кто лишен разума 140 и развратен. На их темных и скорбных главах увидел он темную

корону неведомого царства – и он ужаснулся ей, и поклонился ей, сумрачный и гордый. Тогда восстала в нем мудрость, гордость и стыд, – и он возненавидел мудрость свою, гордость и стыд и смело назвал их тюрьмою и обманом.<sup>19</sup>

Тысячи лет прошли с тех пор, как он умер; глух и невнятен<sup>20</sup> голос молвы, идущий из разрушенных могил, и этому так трудно поверить; он<sup>21</sup> замолчал, чтобы не говорить мудро, он перестал судить, чтобы не судить справедливо. Загадочными и прямыми глазами он смотрел на царедворцев и вельмож –<sup>22</sup> *〈л. 8〉* и с<sup>23</sup> покорным ужасом ответно смотрели на него царедворцы и вельможи. Если бы ты взглянул на них, ты не различил бы их друг от друга, и не подумал бы, что это живые люди.<sup>24</sup> С своими продолговатыми лицами и черными бородами они были похожи один на другого, как красивые<sup>25</sup> куклы из одной мастерской, и двигались они<sup>26</sup> равномерно – все сразу, как куклы. Сразу кланялись и поднимали руки, сразу улыбались и пугались; и казалось, что для каждой из их рук и ног, для их языка и глаз существует свой особенный, отдельный закон, которому они подчиняются. И то, что царь молчал и ничего  
160 не приказывал, наполняло их чувством тревоги и потерянности, и они молчали и ничего не делали. И черными кругами, подобными движению чумной заразы, распространялось от дворца безмолвие и скоро достигло крайних пределов города. Померк яркий смех, как зимою цветы<sup>27</sup>; не стало радости, не стало песен; умолкли и цитры и гусли, тимпан и свирель. Воцарилось безмолвие.

Семь дней молчал царь, и семь дней задыхался в безмолвии город. И те, кто были близки царю и окружали его трон, увидели на лице его непостижимую и зловещую перемену. Исчезла ясная мудрость и кротость взгляда – глаза сузились, глаза ушли в глупину черепа и хитростью и холодной свирепостью сверкали они.  
170 А ночью они светились и гасли, как глаза хищного зверя были зелены и кровавы, и никто *〈л. 9〉* не мог сказать, в каком месте появятся они: так беспокойно, так бесшумно двигался царь по<sup>28</sup>

---

<sup>19</sup> *Далее было с абзаца:* Он был царь и в себе самом носил он закон жизни.

<sup>20</sup> и невнятен *вписано.*

<sup>21</sup> *Было:* царь

<sup>22</sup> *Далее было:* и с молчаливым ужасом в глазах ответно глядели на него люди: безмолвие воцарилось в

<sup>23</sup> *Далее было:* ответным

<sup>24</sup> *Далее было:* У всех продолговатые лица, похожие на их остроконечные странные письма, черные бороды

<sup>25</sup> красивые *вписано.*

<sup>26</sup> *Далее было:* все

<sup>27</sup> *Было:* цветы зимою

<sup>28</sup> *Далее было начато:* опуст(елым?)

безмолвным чертогам<sup>29</sup>. Они вспыхивали в углу, они появлялись за спиной и исчезали, чтобы на мгновение мелькнуть на верху дворца и надолго затаиться в глубокой тьме переходов<sup>30</sup>. Привычно стройными толпами размеренно двигались царедворцы, сразу кланялись, сразу пугались и поднимали руки – безумные от страха и зловещего ожидания.

На<sup>31</sup> восьмой день, когда исполнилась у них мера терпения 180 и страха<sup>32</sup>, они все сразу пошли к жене царя, самой любимой из всех жен, просить у нее помощи и защиты. Так еще молода она была, что у нас ты назвал бы ее девочкой, а там<sup>33</sup> была она женщиной и царицей.<sup>34</sup> Это было давно, тысячи лет прошли с тех пор, как она умерла, и никто не скажет, как была она прекрасна. Но взгляни на прозрачное небо, когда на нем только что показался остророгий месяц, прислушайся звездной ночью, как тихо спит в колыбели твое дитя, переживи снова твою печаль о прекрасном и чистом, и ты можешь сказать: я видел молодую и прекрасную царицу, ту, что умерла ужасной смертью тысячи 190 лет тому назад.

Она тихо пела песенки, когда к ней пришли. Она засмеялась, когда они все сразу поклонились и подняли руки; *(л. 10)* она стала грустна, когда они рассказали ей о своем страхе и безумных ожиданиях.

– Хорошо. Я пойду к царю, – сказала она. И вздохнула о чем-то. И улыбнулась. И пошла к царю легкими шагами<sup>35</sup> девочки, стройной поступью женщины и царицы.

Ничего не сказало ей сердце.<sup>36</sup> Ничего не сказали ей очи.

Сузившиеся, запавшие глаза с косым и переменчивым взглядом, выдававшая челюсть, судорожная улыбка, стыдливо открывающая белизну крепких зубов, – суровый, мрачный и коварный 200

<sup>29</sup> Было: палатам

<sup>30</sup> Далее было: При дворце было много худых и тощих собак и ночью собаки выли и визжали от страха, а кони рвались на привязях своих и лягали всех, кто подходил.

<sup>31</sup> Было: И на (*правка А.М. Горького*)

<sup>32</sup> Вместо: исполнилась у них мера терпения и страха – было: уже дольше они не могли терпеть

<sup>33</sup> Далее было: тогда(?)

<sup>34</sup> Далее было: Тысячи

<sup>35</sup> Вместо: легкими шагами – было: легкой поступью

<sup>36</sup> Далее было: Ты видал людей: весело идут они по улице, смотрят в небо, смотрят на себя и радуются, а еще не успеет [пробежа(ть?)] растаять [про(бежавшее?)] набежавшее на солнце облачко – этих людей несут по той же дороге назад, холодных, обезображенных, мертвых. Смерть ждала их за углом, а они не знали этого и весело шли ей навстречу.

образ. Кошачьи изгибы шеи, жуткая ласковость и мягкость движений. Царственный жест и выжидающее молчание.

Еще не поздно было, она еще могла уйти и скрыться среди женщин. Но разве может быть страшен тот, кто целовал?<sup>37</sup> И она стала на колени, и изогнулась красиво, и протянула молитвенно руки.

– Царь!

210 Он смотрел в сторону и молчал, а она плакала, немного смеялась и просила:

⟨л. 11⟩ – Ты печален, мой повелитель, мой царь, мой бог. Возьми мое сердце, мое сердечко. Оно даст тебе радость.

Быстро взглянул на нее царь, отвернулся и сказал – первые слова после долгих дней молчания, последние слова, какие пришлось слышать в своей жизни молодой и прекрасной царице.

– Хорошо, – сказал он. – Выньте у нее сердце и принесите ко мне.

220 Ее увели,<sup>38</sup> разрезали белую грудь и вынули сердце – сердце девочки, сердце женщины. Она плакала и умоляла палачей, и смешные люди с размеренными движениями плакали вместе с ней, – но царь велел, и из груди ее вынули сердце. На золотом блюде принесли его царю, и оно еще билось – быть может, последним страхом, быть может, последней любовью. Потом замерло и стало куском мяса.

Царь боязливо коснулся его пальцем. Оно встрепенулось, дрогнуло и остановилось – навсегда. Давно это было, тысячи лет прошли с тех пор.

– И только? – задумчиво сказал царь. – Отдайте собакам.<sup>39</sup>

230 ⟨л. 12⟩ Сердце женщины отдали собакам, и собаки подрались из-за него. Но самой маленькой и слабосильной, у которой было только три ноги и хвост был обрублен, ничего не досталось, и она пришла в отчаяние: жалобно визжала и умоляюще поднимала на царя жалкую морду, колотя по земле обрубок хвоста.

– Вы видите: она просит, – сказал царь, искоса глядя на вельмож.

И вельможи искоса взглянули на собаку и все сразу потупились.

---

<sup>37</sup> *Далее было:* Разве его поцелуй и ласки не крепкая броня, под которой легко и спокойно телу девочки, телу женщины?

<sup>38</sup> *Далее было начато:* в(ынули?)

<sup>39</sup> *Далее было (с абзаца):* И сердце женщины отдали собакам. Это было давно, и не хочет твой разум понять эти простые слова: сердце женщины отдали собакам. Но поздней ночью, когда уснут люди, отгони чистый сон от головы твоей и пойдя в город.

– Не огорчайся: у них плохие сердца, – сказал царь трехногий собаке. – А тебе я дам хорошее сердце – сердце царя.

Это был старый, седобородый царь. Когда-то в своей земле 240 он также назывался богом, но, побежденный в битве двух царств, стал<sup>40</sup> человеком и пленником. И он также любил звезды. И из его старой, сухой груди вынули его царственное сердце и дали собаке, у которой было три ноги и обрубленный хвост. Но старое истрадавшееся сердце было жестко и невкусно, и собака не стала есть его.

Царь вспыхнул и, выгибаясь, наклонился вперед:

– Жри! – крикнул он. – Ведь это сердце царя!

Завизжав, убежала собака, и царь задохнулся от ярости. Почти падая с трона, он вытянул руки к вельможам и вместе с безумным 250 огнем своего взгляда бросил в них страшные и безумные слова:

– Эй вы! Жрите! Я вам говорю.

⟨л. 13⟩ И они двинулись вперед, толкаясь и прячась за спины друг друга, и ужас темным облаком окутал задрожавший дворец. И ужас темным облаком спустился на город, и далеко на гноище один прокаженный сказал другому:

– Ты знаешь, царь лишился разума.

– А кто имеет разум? – ответил тот. – Если бы мы имели разум, разве мы жили бы?

#### IV

260

Царя покинул светлый разум, и безумный бог воцарился над землей и городом. Тысячи лет прошли с тех пор, как это случилось, тяжкий поток времен смыл следы царя и города, и трудно понять, что это значит: над землей воцарился безумный бог. Но есть и сейчас места, где неспокойна земля: под силою мощного огня она коробится и ломается, как стекло, волнуется безумно, как море, и раскрывается, как пасть, и поглощает города и народы. Пойди туда, вмешайся в толпу полумертвых людей и, стоя над пропастью, загляни в огненное сердце земли, – и ты узнаешь, что значит царство и власть безумного бога. Раз- 270 ные сны бывают у бедной земли, и часто за светлыми грезами невесты, ждущей жениха, приходит дикий и кровавый кошмар. Кровавым шаром без лучей стоит над землей угрюмое солнце; звонко ⟨л. 14⟩ скачет смерть по опустошенным полям и на безглазом черепе ее, с его спокойною усмешкой, играют отблески

<sup>40</sup> Далее было начато: пле(нником)

пожаров. Теряет силу свою свет, и<sup>41</sup> среди дня звери выходят из логовищ<sup>42</sup>, как среди ночи; и торжествующим воем приветствуют они<sup>43</sup> звонко скачущую смерть. Припадая к земле, ползет истерзанное безумие, хрипит и стонет тяжело и медленно во-  
280 рочает бледной головою и смотрит тускло из-под разметанных волос.

Огонь, и кровь, и день подобный ночи – разные сны бывают у бедной земли и часто бывают они ужасны.

## V

Семь дней прошло, как мудрый и справедливый царь стал зверем, и на восьмой день сила и злоба покинули его. Он сидел на троне, на честном троне своем, и был подобен скоту. Опухшие глаза были бессмысленны и тупы, сквозь клочья изодранных одежд бесстыдно сквозило грязное тело, и тяжелая сонливость  
290 обнимала размякшие бессильные члены. Он моргал, и слюна текла из отвисшего рта; он моргал, чесал ногтями бока и живот, и на лице его выражалось удовольствие.

Привычно-стройными толпами окружали трон царедворцы и вельможи. Общение с царем-зверем слегка развратило их, и они также стали немного зверями, совсем немного: сделались слегка более жадны, чем прежде, более *〈л. 15〉* злы и более лукавы. Но с виду остались те же: сразу кланялись, сразу поднимали руки, сразу пятились, сразу двигались вперед. И все вместе почтительно и бесстрастно смотрели на царя, переставшего быть  
300 страшным.

Вот, тупым и неловким движением скота, отдых которого превали, тяжело опираясь на руки, царь поднялся и мутным взором<sup>44</sup> окинул толпу. И что-то страшное сказали ему почтительные и бесстрастные лица: вздрогнув, он выпрямился гордо, сверкнул глазами и крикнул:

– Слушайте! Я...

Но голос человека сменился мычанием скота, и медленно царь опустился на землю. Но не упал, а пошел на четвереньках, как скот, сея лъстивые улыбки, почесываясь и просительно по-  
310 визгивая в ожидании ласки или удара. Перед ним почтительно отступали, а он терся у ног, лизал опущенные руки и катался

<sup>41</sup> *Далее было начато: зве(ри)*

<sup>42</sup> *Далее было: своих*

<sup>43</sup> *они вписано.*

<sup>44</sup> *Было: взглядом*

по полу, подметая бородою пыль. Тысячи лет прошло с тех пор,<sup>45</sup> как это случилось; много сменилось царств и царей, и твой усталый ум равнодушно приемлет образ владыки мира, превратившегося в животное.<sup>46</sup> Но разве ночью, когда блеснет перед глазами упавший метеор, твое сердце не сожмется печалью и тоскою смутного предчувствия? А ведь это только камень, только раскалившийся камень. А если бы упало солнце; *⟨л. 16⟩* а если бы с высот небесного престола низвергся в зияющую бездну времен и пространства могучий Орион – упал, рассеялся, погас? Разве не исполнился 320 бы ужасом дух твой, и темноглазая печаль не стала бы верной спутницей твоей недолгой жизни?

Он ползал, мычал, терся у ног молчаливых и бесстрастных вельмож, и не одна нога дрогнула в гневном порыве – чтобы дать пинка отвратительному и грязному скоту. Дрогнула – и подалась назад: ведь они не знали наверное, вправду оскотинился их царь или он только шутит – немного странно, немного грязно, но царственно необычно и<sup>47</sup> зловеще.

А ему было легко и свободно, как никому в мире. Свободнее, чем человеку, каким он был<sup>48</sup>: у человека есть разум с его 330 холодными велениями, есть жгучий стыд и могучее стремление к свободе и<sup>49</sup> звездам; золотыми цепями сковывают они волю и направляют ее. Свободнее, чем хищному зверю, каким он был<sup>50</sup>: жестокость и гордость и жажда свободы кладут свой неумолимый закон в темной душе зверя и делают ее несвободной. Свободен лишь тот, кто не желает свободы, и последним на земле дана великая радость, которой не знают первые. И, в безумном восторге безмерного освобождения, царь выл ликующе и дико, кувыркался в бессмысленной пляске скота и жадно припадал к ногам, жалко лобзая их царственными устами. 340

С этого дня не стало надолго царя над землею и городом. Тот, кто был царем и богом, бесследно, казалось, *⟨л. 17⟩* исчез в ползающем, блаженно прыгающем скоте. Он подружился с собаками и ел с ними из одной чашки и дрался и спал на одной постели – на грязных камнях двора. Загадочно и спокойно смотрели звезды с вышины, а он лежал в одном клубке с животными и блаженно храпел, повизгивая во сне. Собаки часто кусали его, но он на-

---

<sup>45</sup> *Далее было:* много (с тех пор?)

<sup>46</sup> *Далее было:* Но не завершился еще круг железного предначертания – будут еще царства и еще цари.

<sup>47</sup> *Далее было:* страшно грозно

<sup>48</sup> , каким он был *вписано*.

<sup>49</sup> к свободе и *вписано*.

<sup>50</sup> , каким он был *вписано*.

учился зализывать раны, и они быстро заживали. И что делали собаки, то делал и он, и был бесстыден во всем, что делал.

- 350 Однажды из дворца царь выполз наружу, в город, и царедворцы молчаливыми и<sup>51</sup> привычно-стройными толпами последовали за ним. Назад, во дворец, хотели они загнать его, но не осмелились; раздраженные, с трудом хранили они бесстрашие, которого требовал от них закон. И собрались люди со всего города, свободные<sup>52</sup> и рабы, и смотрели, как кувыркается в грязи их бог, превратившийся в скота. Сумрачными рядами теснились они к владыке, на которого не смели раньше поднять глаз, и видели: вот быстро и ловко бегаёт он на четвереньках, совсем голый, как обезьяна, визжит и скалит зубы и жадно подбирает на камнях горячий помет.
- 360 Так добежал он до своего храма, в котором ему молились, взбежал по ступенькам<sup>53</sup> – и с отвращением, с тоскою и злобой отвернулись от постыдного зрелища люди, свободные и рабы. Кто-то в задних рядах засмеялся и внезапно умолк, оглушенный чьим-то ударом; колыхнули воздух чьи-то вздохи; потом *⟨л. 18⟩* снова смех,<sup>54</sup> в одном месте, в другом, все громче, все беспощаднее, все шире. Огоньками вспыхивал он над толпой, и скоро вся она была охвачена пожаром свистящего, грохочущего, всеразрушающего смеха. Смеялись все, свободные и рабы, и смеясь дружелюбно клали руки на плечи соседей, – в глазах у многих<sup>55</sup> горела свирепая злота и по лицу катились тяжелые ядовитые слезы.

– Глядите! Глядите! – прорезали смех призывные вопли смертельного любопытства и утопали в урагане хохота.

Он остановился. Он сел, опираясь на руки, как собака. Он с изумлением и беспокойством окинул взглядом толпу и увидел, что вся она смеется, как один огромный рот с белыми зубами. И в диком восторге, беснуясь, завертелся по земле и захохотал, и смех его был смехом человека. Так безумно ликовали они и смеялись, глядя друг на друга: огромная безликая толпа и тот, кто был ее царем и богом, а теперь превратился в скота.

- 380 Вот с возрастающим смехом двинулись они вперед, прошли ворота города и добрались до места, где лежали на гноище своем прокаженные. Остановились царедворцы, и все сразу протянули руки к бесноватому царю, умоляя его вернуться; остановился народ, свободные и рабы. Погас неистовый смех, и тихо стало. А он, ласкаясь и припадая к земле, подполз к прокаженному и с неж-

---

<sup>51</sup> *Далее было начато:* стройн(ыми)

<sup>52</sup> *Было:* граждане

<sup>53</sup> , взбежал по ступенькам *вписано.*

<sup>54</sup> *Далее было начато:* все гр(омче)

<sup>55</sup> у многих *вписано.*

ностью (л. 19) преданной собаки начал лизать горячим языком его гнойные раны. Но прокаженный был свободнее, чем человек, чем зверь, чем сам царь, превратившийся в скота: сама смерть пристально смотрела в его потухшие очи и сторожила его сон. И с высоты своего недостижимого отчаяния, близкого к покою, 390 он равнодушно взглянул на царя, стирая этим мертвым взглядом всю бесконечную разницу между царем и<sup>56</sup> <sup>57</sup>животным, ударил ногою в лицо царя и животное и сказал им обоим:

– Вон отсюда!

Тогда вздрогнула и заревела очнувшаяся<sup>58</sup> толпа. Как будто теперь только ей стало ясно, что бога своего она потеряла – бога, без которого не может, не умеет жить. Какой ужас, какое отчаяние, какая ненависть овладели ею! Точно распалась связь души, и все частицы ее восстали друг на друга, и каждая грудь стала очагом кровавой, безысходной и свирепой борьбы. Свободные и рабы, 400 все смешались в одну безобразную кучу, все слились в одно стадо бесноватых. Одни кричали: убьем прокаженного! – и убили его камнями; другие, внезапно лишившись разума, присоединились к царю и блаженно повторяли его движения скота; иные безутешно плакали, закрыв лица руками; иные смеялись и с удивлением озирались<sup>59</sup> вокруг, как будто в первый раз увидели они небо, землю и солнце. И те, кто плачет, вступили в смертельный бой с теми, кто смеется, многих убили, многих изувечили и трупы устлали землю. (л. 20) Кто-то бросил камнем в царя – и туча свистящих<sup>60</sup> камней затмила солнце; сильно израненного<sup>61</sup> царя извлекли<sup>62</sup> 410 солдаты<sup>63</sup> из кучи тел и поспешно понесли к городским воротам. А он, опираясь о<sup>64</sup> их плечи, поворачивал окровавленную голову назад и смеялся – и смех его был смехом человека.

Настала ночь, и звезды взглянули с неба, но их не видели люди: толпами бесцельно бродили они по улицам, как люди,<sup>65</sup> потерявшие свой дом, бессмысленно кричали и пели, и убивали друг друга. Многие в эту ночь разрушили свои жилища, говоря: бог умер и нам не нужно жилищ; многие взбирались на вершину

---

<sup>56</sup> и вписано.

<sup>57</sup> Далее было: зверем

<sup>58</sup> Было: проснувшаяся

<sup>59</sup> Далее было начато: впер(ед)

<sup>60</sup> свистящих вписано.

<sup>61</sup> Далее было: извлекл(и)

<sup>62</sup> извлекли вписано.

<sup>63</sup> Далее было (вписано и зачеркнуто): извлекли

<sup>64</sup> Было: на

<sup>65</sup> люди, вписано.

безмолвных и мрачных храмов, бросались оттуда вниз и расшибались насмерть. Существовало огромное здание в этом городе, светлый храм на высоких колоннах; в нем в тысячах папирусных свитков хранилась бережно мудрость веков, драгоценное наследие, оставленное мертвыми живым. И в эту страшную ночь беснующиеся рабы сожгли его, говоря: “бог умер и нам не нужны мудрецы”.

## VI

Двое людей, сохранивших разум, старик и юноша, удалились в пустыню и с высокого холма смотрели, как горит город и, подобно огненным птицам, летят к небу пылающие свитки.

430 – Смотри, отец, смотри! – с тоскою воскликнул юноша, ломая смуглые руки. – Они всё уничтожат. Всё разрушат!

– Нет, – равнодушно ответил старик. – Они не успеют всего разрушить. Завтра они найдут нового<sup>66</sup> царя.

⟨л. 21⟩ И отвернувшись от города, он поднял глаза к спокойно сияющим звездам. Спину его и локоны седых волос озарял беспокойный отсвет<sup>67</sup> пожара, а в глазах отражалось спокойное сияние звезд.

Юноша же ломал свои смуглые руки и восклицал с тоскою и гневом:

440 – Отец! Они всё уничтожат. Всё разрушат. Отец!

## VII

Царь выздоровел. Несколько дней он провел в уединении, скрывая лицо свое от людей, а когда вышел наконец из опочивальни и явился перед царедворцами, все было как прежде. Так же высоко и торжественно возвышался трон, и вельможи толпились вокруг него привычно-стройными рядами. В просветы между колонн синело пламенное небо, и под ним в солнечной дали гордо<sup>68</sup> высились храмы и дворцы и скромно прилегали к земле жилища народа и рабов. То, что умерло, то, что сгорело и погибло, молчало тихим молчанием небытия и чем-то старым, и уже привычными казались груды обожженных развалин. Все было, казалось, как прежде, и только он один был другой: за знание свое

450

---

<sup>66</sup> *Далее было:* бога

<sup>67</sup> *Было:* отблеск

<sup>68</sup> *гордо вписано.*

заплатил он сединою волос и ранними морщинами лица<sup>69</sup>, и немолчимый стыд тяжким камнем лежал на его веках<sup>70</sup>.

Потупив глаза, он взошел на трон. Сел; принял обычную величаво-небрежную позу, но глаз не поднял. И долго (л. 22) сидел так, тревожно играя пальцами, молчал, и молчали все. Потом на мгновение вскинул глаза – и тотчас же с содроганием глубоко зарыл их в орбиты, а на лице, на бледном лице, заалелся румянец. Покраснели щеки, лоб; нежная краска скользнула по шее и точно 460 растаяла; и снова смуглой бледностью оделось лицо.

Он ждал человеческого слова. Быть может, то будет слово гнева и беспощадного укора, быть может, слово понимания и ласки, – но оно рассеет тьму, в которой томится его измученная, окровавленная душа. У его опущенных глаз, пересекая наискось последнюю ступеньку трона, лежал на мраморных плитах золотистый солнечный луч, и в нем кружились пылинки. По этим плитам<sup>71</sup> он ползал; эти пылинки взметал он бороною.

Но все молчат, и даже не слышно дыхания. Быть может, они ушли? Он вскинул глаза: за светлой полосой луча смутно мелькнул ряд смуглых, удлинённых лиц, ряд черных, бесстрастно-почтительных<sup>72</sup> очей. А дальше синее небо и черные колонны<sup>73</sup>, а внизу – ярко-белые мраморные плиты.

– Что же вы молчите? – тихо спросил царь.

Пусть они судят его, как судьи, и он найдет что им сказать. “Я убил, я разрушил, я дал ужас человека, ставшего скотом. Заплатите за<sup>74</sup> смерть смертью, за ужас<sup>75</sup> ужасом, и это будет справедливо. Но убивши, воздвигните мне новый храм, мне, царю бесстрашия, царю недовольства, царю свободы и знания. И это будет справедливо”. Но они молчат. Бездушно и тяжело (л. 23) 480 молчат.

Есть дивная музыка в голосе человека, даже когда он грозен или насмешлив. Тогда они смеялись, хотя и отвернулись, – он помнит. И сейчас он мог бы найти ту ногу, что украдкой толкнула его в ответ на скотские лобзания, – и почему же сейчас они так неподвижны, так холодны и немы – как могилы, навеки сокрывшие в себе его стыд и муку.

– Что же вы молчите? Разве вам нечего сказать?

---

<sup>69</sup> лица *вписано*.

<sup>70</sup> Было: *глазах*

<sup>71</sup> Было: *пылинкам*

<sup>72</sup> Далее было: *глаз*

<sup>73</sup> и черные колонны *вписано*.

<sup>74</sup> за *вписано*.

<sup>75</sup> Было: *ужасом*

Тому, кто сказал бы слово, он отдал бы дружбу свою и любовь;  
490 он отдал бы ему корону и царство свое и одинокие слезы царя. Он  
припал бы к его груди и<sup>76</sup> так бы смеялся, и так бы плакал, как  
если бы хранилищем всех слез, всего смеха на земле<sup>77</sup> была его  
грудь. Молчат. Бездушно и тяжело молчат.

“Среди вас нет судей, – так будьте палачами до конца!”

Не поднимая глаз, царь вынул свой меч, свой меч, со славою  
служивший<sup>78</sup> в битвах, и жестом холодного величия бросил его  
на мраморные плиты, к ногам царедворцев и вельмож. И меч за-  
звенел, ударившись об мраморные<sup>79</sup> плиты. Тысячи лет прошли  
с тех пор, как это случилось, и умер царь, и земля всосала заржав-  
500 ленное железо<sup>80</sup>, – но и сейчас слышится над землею звон упав-  
шего меча. Глубокою ночью, когда тьма полуночи разрушит чары  
времен и таинственный сон раздвинет пределы жизни, звенящий  
голос разорвет покровы тишины и гулким ликованием войдет  
в твоё испуганное ухо. Это мертвый (л. 24) царь бросил свой мерт-  
вый меч перед мертвой толпою.

Он ждал, опустив глаза, и сердце медленно билось в ожида-  
нии братского удара, несущего смерть и жизнь. Вот кто-то вышел  
из рядов. Вздохнул, поднимая меч. Подходит ближе, прорезывая  
тенью золотистый солнечный луч. И чья-то рука почтительно по-  
510 дает царю его меч, держа его за острие. И снова молчат. Бездушно  
и тяжело молчат.

Но ведь говорят же их лица, говорят же их глаза! И медлен-  
но обводит он взором привычно-стройные ряды.<sup>81</sup> И<sup>82</sup> видит под  
маскою почтительности и бесстрастия растерянность и тоже стыд;  
за тонкой оболочкою зрачков является ему тяжелое и страшное  
видение. Там, за каждой парюю глаз, в глубине<sup>83</sup> мозга неизгладимыми  
чертами врезана картина его падения, его позора и скотства.  
Вот сидит он на троне, прекрасный и недосягаемый, как солнце, –  
и он же, повторенный столько раз, сколько есть здесь людей, уби-  
520 вает, зверствует, валяется в грязи и лижет ноги, бесстыдствует, как  
скот, утративший личину человека. Им тяжело, им беспокойно,  
их тяготит печальный образ, – но нет силы в их плоской душе.  
Как тело раба покорно хранит рубцы от полученных ударов,

<sup>76</sup> *Далее было:* так бы плакал

<sup>77</sup> *на земле вписано.*

<sup>78</sup> *Далее было:* ему

<sup>79</sup> *Было:* каменные

<sup>80</sup> *Вместо:* заржавленное железо – *было:* заржавленный меч

<sup>81</sup> *Далее было:* Лица(?)

<sup>82</sup> *И вписано.*

<sup>83</sup> *Далее было:* черепа

не одеваясь новой кожей,<sup>84</sup> так их убогая душа, лишенная творческой мощи, не может ни исторгнуть из себя ненавистный образ, ни дать ему новый претворенный вид. Их память – их проклятие, которым прокляла их беспощадная судьба. Только сильный и справедливый умеет забывать и в гнусном облике скота творчески (л. 25) прозревать светлый образ человека и бога.

Вот стоят они и смотрят, и за каждую парюю глаз в глубине серого мозга пламенеет мучительный образ зверя и скота, увиденный ими однажды. Пройдет время, и рядом встанет другой, дивно светлый, дивно радостный и покоряющий образ владыки, гения и бога. И не сольются они вместе в убогой душе, и в вечной братоубийственной войне будут стоять один против другого – светлый лик<sup>85</sup> бога и черный образ зверя и скота.

Царь спокойно вложил в ножны возвращенный меч, устало откинулся назад и закрыл глаза – как будто один он<sup>86</sup> находился здесь и не было вокруг него внимательных и памятливых людей. Солнечный луч поднялся выше и покорно лег<sup>87</sup> у его ног; тихо было, и в просветы между колонн синело пламенное небо. И увидели люди: бледнело прекрасное лицо царя, и напряженно сдвинулись черные брови, глубокой складкой рассекши высокое и мощное чело: точно вглядывался он во что-то. И увидели люди: разгладилось высокое чело, спокойствием и миром оделся закрытый взгляд, и странное выражение легло на прекрасное и бледное лицо. Такого выражения никогда не видали они ни на человеческом, ни на зверином лице. Это не было ни радость и<sup>88</sup> ни горе, ни мир и ни битва; это было новое, невиданное, непостижимое, чего не умели они ни назвать, ни оценить, ни понять. И обо всем рассказали они людям, которые в вечном течении жизни и смерти шли им на (л. 26) смену: и о том, как их царь стал зверем и скотом и страшно напугал их и измучил; и о том, как чудесно вернулся он к мудрости своей и славе и очень обрадовал их и утешил. А о том, какое лицо было у царя, когда в сокровенной<sup>89</sup> глубине закрытых век он созерцал что-то одному ему видимое, – об этом они не сумели рассказать, промолчали и скоро забыли. Тысячи лет прошли с тех пор; тысячи лет тысячью гигантских камней придавили неразгаданную тайну – и только новый царь сумеет разгадать ее. Ибо не умерла она, хотя и похоронена.

<sup>84</sup> не одеваясь новой кожей, *вписано*.

<sup>85</sup> Было: образ

<sup>86</sup> Далее было: был

<sup>87</sup> Было: лежал

<sup>88</sup> Было: ,

<sup>89</sup> Вместо: в сокровенной – было: с закр(ытыми?)

Царь вышел из задумчивости, и лицо его стало приятно и просто, как прежде когда-то. Милостиво оглядел толпу<sup>90</sup>, милостиво улыбнулся и совсем просто правой рукой почесал левую и левую ногу переложил на правую, – а раньше было наоборот. И они, смешные люди с размеренными движениями, тоже<sup>91</sup> улыбнулись, но почтительно и все сразу. За то время, как ихний царь был скотом, они несколько развратились и тоже немного стали скотами, совсем немного: прибавилось проворства в ласкательных движениях, безответнее стало послушание и несколько убавилось от-  
570 вращения к нечистой пище. И они еще продолжали улыбаться, когда царь громко и раздельно сказал:

– Рабы!

Это было неожиданно и неопределенно, и они не знали, что  
(л. 27) нужно сделать. Поэтому молчали и ожидали дальнейшего.

– Идите<sup>92</sup> вон!

Они поклонились и вышли, соблюдая старшинство. Первым вышел самый старший и за ним остальные, по порядку.<sup>93</sup>

Они вышли, и царь остался один. Один в своей палате. Один в городе. Один в целом мире.

580 – Рабы!

## VIII

Далеко позади дворцов и храмов, осыпая их дождем золотисто-красных искр; позади приземистых и плоских жилищ народа и рабов, кутая их в лиловую дымку и совсем ровняя с землей,<sup>94</sup> далеко за пределами песчаной, почерневшей пустыни – опускалось в неведомую бездну гаснущее<sup>95</sup> солнце. Черный край земли уже вычерчивал на нем свою прямую и тяжелую линию, и видно было, как огромно оно, как пламенно и грозно. И тишиной грядущей ночи дышало оно, и тихими снами реяли над городом<sup>96</sup>

---

<sup>90</sup> *Вместо:* оглядел толпу – *было:* улыбнулся

<sup>91</sup> *Далее было:* почтит(ельно)

<sup>92</sup> *Было:* Ступайте

<sup>93</sup> *Далее было (в рукописи заклеено):* Через час царь пожелал прогуляться по городу, и на высоких носилках его подняли рабы и понесли. Народ гнул спины и приветственно кричал; вертелись между ног тощие, голодные собаки, и горячий помет золотился на солнце. И царь спокойно смотрел на собак, на помет, на безлицый, громко кричащий народ и шептал бескровными устами: // – “Рабы. Рабы”.

<sup>94</sup> *Далее было:* опускалось

<sup>95</sup> *Было:* красное, тухнущее

<sup>96</sup> *Было:* Вавилоном

последние звуки блаженно умирающего дня. Где-то молились <sup>590</sup> и <sup>97</sup> пели жрецы, и сдержанной страстью, подобной гаснущему <sup>98</sup> солнцу, темнели их низкие и глубокие голоса; внизу на невидимых террасах нежно и грустно рокотали струны многочисленных арф, – и возносясь над *〈л. 28〉* землей и городом, попирая ногою <sup>99</sup> пышную красоту его храмов и песнопений, близкий к небу, равный солнцу, одиноко <sup>100</sup> стоял на кровле своего дворца могучий и мудрый царь. Огромными глазами царя он обнимал город, землю и небо, и тихую нежностью того, кто понял все, трепетало его царственное сердце. Как мать, любил он прекрасную <sup>101</sup> землю, и как дитя свое, любил <sup>102</sup> ее. Пусть спит спокойно в грядущей ночи <sup>600</sup> и человек, и зверь, и камень. Пусть спит спокойно в грядущей ночи все <sup>103</sup> злое, все доброе, все мертвое и живое. Усните спокойно, коварно-красивые змеи, и в черных грезах жальте врагов. Усните, рабы, и в сонном видении вновь переживайте ужасы бича и вновь мечтайте о свободе. Усни, великая пустыня.

А они, те, что <sup>104</sup> внизу, молились и пели, и в неведомую бездну погружалось солнце. Тихой <sup>105</sup> мглой убиралась земля, погасли золотистые искры на дворцах и храмах и бесследно исчезли во мраке плоские жилища народа и рабов. Огромными и тихими шагами бежала, согнувшись, высокая ночь и сдирала с неба его <sup>610</sup> обманчивый голубой покров: обнаженное, оно величаво сверкнуло на землю мириадами своих таинственных миров, и грозным голосом самой бесконечности была его великая тишина. И крохотными, рассеянными огоньками, одинокими, как души, ответил черный город.

Ночь крепла. Все ярче блистало небо, и все темнее становилась земля. Утихали сонные звуки; один за другим умирали одинокие огоньки, и густая тьма обволакивала город. *〈л. 29〉* Скоро в тишине и мраке исчез он совсем, как призрак, который является только днем, и казалось, что у <sup>106</sup> самых ног царя начинается <sup>107</sup> <sup>620</sup> молчаливый и бездонный <sup>108</sup> провал и уходит в неведомую глуби-

<sup>97</sup> *Далее было начато:* плака(ли)

<sup>98</sup> *Было:* тухнущему

<sup>99</sup> *Далее было начато:* царстве(нную?)

<sup>100</sup> *одиноко вписано.*

<sup>101</sup> *прекрасную вписано.*

<sup>102</sup> *Далее было:* он

<sup>103</sup> *Далее было начато:* д(оброе)

<sup>104</sup> *, те, что вписано.*

<sup>105</sup> *Было:* Тихою

<sup>106</sup> *Вместо:* казалось, что у – было: от

<sup>107</sup> *Вместо:* начинается – было: уходил в глубину

<sup>108</sup> *Было:* черный

ну. И откуда-то из черной глубины долетали к нему усталые звуки одинокой арфы. Кому-то не спалось, кому-то было грустно. Нежные пальцы блуждали по струнам, и струны мелодично звенели и посылали в тьму ту дивную, светло-правдивую речь души, для которой нет слов на живом человеческом языке. Звенели струны, смеялись и плакали, и плакали о чем-то.

Кто-то ушел. Умолкла одинокая арфа. Ночь полновластно овладела землею и городом. И всю ночь до утра над мрачною  
630 громадою<sup>109</sup> безмолвного дворца неподвижно темнел одинокий силуэт человека. К звездам было обращено его прекрасное и гордое лицо.

*15 февраля 1904*

---

<sup>109</sup> *Далее было начато: заснув(шего)*

## СТАРУХИ

(*Сценка из судебной жизни*)<sup>1</sup>

⟨л. 1⟩<sup>2</sup> В Шестаковском приюте для одиноких старух произошло событие: призреваемая Елена Драгоманова украла у Феклы Михеевой тридцать рублей, которые та приготовила себе на похороны, и из украденных денег успела растратить 2 р. 65 копеек прежде, чем кража обнаружилась и ее уличили.<sup>3</sup> Сумма была незначительная, но так как Елена Драгоманова была<sup>4</sup> потомственная дворянка, то судить ее должны были в Окружном суде с участием присяжных заседателей.

Накануне суда, в ночь, выпал первый ноябрьский снег, а к утру ударил мороз, засверкало яркое, негреющее солнце, и на улицах стало так весело, что многие, кому и не нужно было, придумывали себе какое-нибудь дело и выходили из домов. И солнце сверкало. Но в здании суда, в его каменных коридорах, в его глубоких залах стояли ровные негустые потемки и такая же ровная теплота, всегда одинаковая – и летом, и зимой, и в солнце, и в осенний дождь. Окна того зала, где совершался суд, выходили на север, и в них видны были только угол какой-то<sup>5</sup> глухой каменной стены и часть высокой башни с огромными круглыми часами. ⟨л. 2⟩ Циферблат был<sup>6</sup> тусклый, грязный, и когда длинные стрелки, прямые, твердые, туго ползающие, становились наискось друг к другу, то похоже делалось на огромный, медленно смыкающийся рот. Стрелки сходились, вытянувшись в одну линию, рот закрывался, точно проглатывал что, – и снова с холодной и тупой жадностью раздвигался все шире и шире, и снова глотал. И при каждом глотке сквозь двойные зимние рамы глухо приносился

---

<sup>1</sup> *Название и подзаголовок рассказа напечатаны на листе позднейшего происхождения – обложке домашнего архива. Здесь же рукой неизв. лица вписан шифр домашнего архива – “№ 8”, а в верхнем левом углу – римская цифра “I”.*

<sup>2</sup> *В левом верхнем углу дата: 12 августа 905*

<sup>3</sup> *Далее было: Хотя*

<sup>4</sup> *Было: происходила из*

<sup>5</sup> *Далее было: высокой*

<sup>6</sup> *Далее было начато: гря(зный)*

жидкий, дребезжащий, трясущийся звон. В самом зале на стене висели другие круглые часы, с белым полем и короткими, тупыми стрелками, молчаливые и как будто немного бестолковые; но<sup>7</sup> шли они верно и, точно в зеркале, отражали большие, угрюмые и жадные часы башни.

Судебная работа шла торжественно, неспешно<sup>8</sup> и в то же время очень быстро. Никто не торопился, и многие из публики зевали, так медленно, казалось им, совершается судопроизводство, и к трем часам уже четыре разных человека<sup>9</sup> успели войти за решетку, где находилась скамья подсудимых, и уйти оттуда – один оправданным и трое обвиненными. Никто не запомнил их лиц; как отражения на стене, мелькнули они и исчезли, и дубовая, тяжелая скамья, лоснящаяся от сидения, снова стояла пустою. Кто-то из тех четверых плакал, отвернувшись в сторону, и на скамье осталось маленькое сырое пятнышко; но очень скоро исчезло и оно – теплый сухой и ровный воздух поглотил слезу. Присяжные заседатели и судьи ходили завтракать, и сторожа, открыв фортку, проветривали зал; пустой, с красным сукном стол, с своей<sup>10</sup> массивной (л. 3) мебелью, зеркалом и странными пиками решетки, он казался еще торжественнее и беспощаднее, чем во время заседания. Своими добродушными иногда лицами и речами люди смягчали суровое значение происходящего, а в выжидательной пустоте и тишине зала, в<sup>11</sup> готовности его кресел и решеток и незакрытой чернильницы на столе прошлое смешивалось с будущим в одну неразрывную цепь. Так пустой гроб, выставленный торговцем на шумной и веселой улице, больше иногда говорит о беспощадности смерти, чем сам мертвец. И большие часы, глядя в сторону от пустого зала, медленно и скучно разевали свой беззубый рот – все шире и шире.

И в этом угрюмом и зловещем зале вдруг началось смешное – и началось оно с делом Елены Драгомановой. Еще в то время, как слушались другие дела, к председателю несколько раз подбегал старичок судебный пристав и, почтительно изогнувшись, шепотом докладывал что-то и одну руку слегка отводил в сторону в знак недоумения. Председатель<sup>12</sup>, откинув голову, через пенсне строго смотрел на пристава, потом шептался направо и налево с членами суда и, еще раз строго взглянув на пристава, отсылал его

---

<sup>7</sup> Далее было: двигались

<sup>8</sup> Было: неторопливо (незач. вар.)

<sup>9</sup> Далее было начато: в(ошли?)

<sup>10</sup> Было начато: тя(желой)

<sup>11</sup> Далее было: его

<sup>12</sup> Было начато: О(ткинув)

с каким-то приказанием. И это повторялось несколько раз, так что и прокурор заинтересовался; пристав и ему сообщил, в чем дело, и уже развел в знак недоумения обе руки. Потом оба засмеялись: пристав почтительно, а т(оварищ) прокурора фамилиарно в отношении к суду. Улыбнулся в ответ и председатель – но строго.

⟨л. 4⟩ Так как Е. Драгоманова не находилась под стражей, то место ее в суде было не за решеткой, а рядом с защитником; и привел ее старичок пристав. Вежливо, но крепко он держал ее двумя пальцами за черный большой платок и направлял короткими решительными фразами:

– Не туда, сударыня. Сюда. Сюда.

Старушка шла быстро, короткими, семенящими шагами, равнодушная к словам пристава и такая маленькая и сухая, что, если бы не платье, ее можно бы сзади принять за девочку. Усевшись, она поправила платок, расправила платье на коленях и, быстро, по-птичьи, ворочая головой, оглядела зал, публику, судей. Личико у нее было маленькое, с острым носиком и глазками, губы были обидчиво поджаты,<sup>13</sup> и не видно было, чтобы торжественная обстановка суда, мундиры и красное сукно произвели на нее какое-нибудь впечатление.

– Как вас зовут? – спросил председатель.

Старушка взглянула на него одним глазом и презрительно отвернулась.

– Как вас зовут, я вас спрашиваю? – строго повторил председатель.

Все так же обиженно глядя в сторону, старушка ответила тонким и резким голосом:

– Ты<sup>14</sup>,<sup>15</sup> батюшка, лучше у нее спроси.

– Что такое?

– Ничего. У ней спроси, куда мой сахар девала.

Председатель пошептался с членами суда и громко заявил:

⟨л. 5⟩ – Вас зовут Елена Драгоманова, вам 82 года. Так?

– Может и так. Взятся судить, так суди. Только дай и тебе Бог дожить до моего в невинности. Вот тебе и мой ответ.

– Прошу быть сдержаннее. Вас оттого тут судят, а не у мирового, что вы дворянка. Понимаете?

Старушка презрительно отвернулась.

– Признаете себя виновной?

---

<sup>13</sup> губы были обидчиво поджаты, *вписано*.

<sup>14</sup> Было: Вы

<sup>15</sup> Далее было начато: лу(чше)

– Это в чем? – она быстро повернулась. – Нет, уж ты лучше у нее спроси, а я тебе не ответчица. Что выдумал!

Встретив взгляд прокурора, она быстро перешла к нему, несмотря на предостерегающие жесты пристава и защитника, и сказала:

– Ты вот тоже в мундире, ты и рассуди.

– Идите на место, – дергал ее пристав.

– Ты и рассуди, – настаивала Драгоманова.

– Да усадите ее! – кричал председатель. – Г(осподин) суд(ебный) пристав, что же вы?

Ее усаживали, и она снова уходила, сухая, подвижная, презирающая все<sup>16</sup> приличия и порядки этого торжественного места. Изнемогая от чувства неприличия и беспорядка, старичок пристав, сам сухонький и маленький, но проникнутый важностью места и обстановки, водил ее двумя пальцами и что-то яростно шептал ей на ухо, а она не слушала его и издали кричала прокурору:

– Ты ее про сахар спроси!

Потом она решительно обиделась и замолчала, поджав губы (л. б) и отвернувшись в сторону, и этим воспользовался суд, чтобы призвать в залу свидетелей. И они вошли – двенадцать старух, одетых в черные платки, двенадцать странных существ, изъеденных старостью, далеких от обычаев и правил этого торжественного места, беспорядочных, бестолково шумных, расползающихся во все стороны, как обрывки черного дыма, разорванного ветром. Одни шли медленно, тяжело опираясь на палки, другие забирались вперед, влезали на возвышение, где находился суд, на трибуну прокурора; вступали в беседу с прис(ажными) заседателями, с публикой – и весь красный от натуги бессильно метался вокруг них старичок пристав. Пока он устанавливал одну, другие расходились, и на все это бессильно смотрел председатель, охрипший от крика и тоже красный.

---

<sup>16</sup> Далее было: правила

# Незаконченное. Наброски



# 〈ДВЕ СЕСТРЫ〉<sup>1</sup>

〈1〉

〈л. 1〉<sup>2</sup> И та и другая – обе они были совершенно похожи на людей. Все у них было на своем месте, и руки, и ноги и голова, как у людей, и старшая была даже красива, а младшая очень миловидна. Кожа на теле была у них господская, тонкая, нежная и необыкновенно чистая от постоянных обмываний, и только прямые слегка жесткие волосы да большая нога<sup>3</sup> напоминали о том, что ихний прадед был простой мужик, землешапец. Но волосы свои они ежедневно завивали, а ноги обували так изящно, что все<sup>4</sup> это выходило даже лучше, чем настоящие вьющиеся волосы и настоящие красивые ноги. Лица свои они<sup>5</sup> всегда подкрашивали, но очень легко и искусно, поправляя только то, что портилось от времени, нездоровья или дурного настроения, и от этого в течение пяти лет, с тех 〈пор〉 как обе они<sup>6</sup> вышли замуж, они оставались неизменными, совершенно одинаковыми утром и вечером, вчера и сегодня, как будто для них не было времени, которое все меняет и разрушает. Ели они очень много и сытно и были, вероятно, чрезвычайно здоровы, так как могли во время сезона танцевать каждую ночь подряд, а весь день делать и принимать визиты и непрерывно разговаривать, но нисколько от этого не утомлялись. Кроме природного русского, они легко говорили еще на трех языках, английском, французском и итальянском; были они обе ни 〈л. 2〉 умны, ни глупы, и то, что они говорили, было ни умно и<sup>7</sup> ни глупо и никогда ни у кого не оставалось в памяти. Всем было известно, что они очень религиозны, и ежедневно они

<sup>1</sup> Рукопись без заголовка хранится в обложке из сложенного вдвое листа клетчатой бумаги, на первой странице которого рукой А.И. Андреевой написано: *Две сестры*. // Начатый очень давно рассказ, собирався при мне продолжать его.

<sup>2</sup> В верхнем правом углу помета: 13 апреля.

<sup>3</sup> Далее было: говорили

<sup>4</sup> все вписано.

<sup>5</sup> Далее было начато: еже(дневно?)

<sup>6</sup> Вместо: обе они – было: они обе

<sup>7</sup> Было: ,

молились Богу на французском языке. Обычно же они предпочитали язык английский, и весь уклад жизни у них был английский, так как только в Англии, по их словам, есть настоящая аристократия. Точную цифру своего огромного состояния знали только они одни, и даже ихние мужья, очень родовитые, очень знатные,<sup>8</sup> но бедные дворяне, гадали на этот счет приблизительно, что объяснялось отчасти их слабостью в деле сложных и запутанных вычислений.<sup>9</sup>

(л. 3) Когда обе они решили ехать на войну к своим мужьям, их очень жалели и с ужасом, закрывая глаза, говорили о тех испытаниях и лишениях<sup>10</sup>, которые им предстоит, о тех картинах страданий и боли, что увидят их глаза – такие молоденькие и прелестные глаза. А они привычно улыбались, что-то возражали, что сейчас же забывалось, и были так спокойны, как самые храбрые и благородные люди. И никто не мог понять, почему они едут, так как мужья у них были такие, каких любить нельзя; и вначале многие приписывали их подвиг рисовке и своеобразному кокетству. Но они нисколько не рисовались, смотрели ясно и открыто и очень мало говорили о предстоящем тяжелом пути, а если говорили, то главным образом о костюмах, которые требовались исключительностью их положения. И, по-видимому, они мало догадывались, что их ждет на театре войны, так как среди новых платьев, заказанных ими, были бальные. Единственное, в чем чувствовался намек на войну, был новый фотографический аппарат, приобретенный младшей сестрою, – но она всюду, во все путешествия, возила с собою аппарат, и кроме того, о будущих своих снимках она говорила так просто, как будто ей предстояло снимать народные сцены в Неаполе, а не убитых и изувеченных на поле сражения. И тогда знакомые решили, сдержанно<sup>11</sup> улыбаясь, что они действительно любят своих мужей, но многие в глу-

---

<sup>8</sup> *Далее было: дворяне*

<sup>9</sup> *Далее было с абзаца:* Когда на Дальнем Востоке началась эта жестокая, немислимо кровопролитная война, их мужья, занимавшие высокие посты при генеральном штабе, уехали в действующую армию, а они остались в Петербурге и вначале занимались пожертвованиями и разговаривали еще больше, чем обычно, так как прибавилась новая неистощимая тема. И уже сотни тысяч людей погибли на войне, когда кто-то подал мысль, что русские женщины никогда не оставляют в опасности своих мужей и что это очень аристократично. Это было сказано на одном визите, а уже через два дня весь Петербург знал, что они обе едут на театр войны к своим мужьям, и все удивлялись им, таким молоденьким и прелестным, таким храбрым и благородным. И на визитах говорили только о них

<sup>10</sup> и лишениях *вписано.*

<sup>11</sup> *Было: насмешливо*

бине души остались в недоумении относительно истинной цели путешествия, тем более, что и громкого патриотизма, обычного в их кругу, сестры не проявляли. Правда, ⟨л. 4⟩ они жертвовали очень много денег и получали благодарность от весьма высокопоставленных лиц, но нисколько не скрывали, что цель пожертвований – устранить препятствия, какие могут встретиться на их необыкновенном пути. И никому не пришло в голову, что в их поездке совсем нет цели.

С деньгами они умели обращаться, и через месяц к их услугам были готовы два собственных вагона: в одном находилась кухня и комната для прислуги, в другом<sup>12</sup> помещались они. Для отделки ихнего вагона был приглашен знаменитый художник-архитектор; он искренне увлекся своей задачей и создал такую красоту, какая редко встречается в самой бесконечно щедрой природе. Было там дерево, белое, как слоновая кость, и золото, и пурпурные ткани, и картины, статуэтки и цветы, и когда обе они, красивые, изящные, чистые, находились в вагоне, то казался он особенным<sup>13</sup> мирком красоты, движущимся по серой земле, ярким цветком, брошенным в черный колодец. И воздух в нем был особенный – растворенный нежным запахом духов, приятно теплый и легкий.

Обычный штат прислуги пришлось сократить, и в дальнюю дорогу сестры взяли только одну горничную, Веру, повара, Степана Васильевича, и француза-куафера, m-eur Густава. Кроме того, был нанят для ихнего вагона особый проводник, который заведовал топкой и электрическим освещением, а за неделю до отъезда сестры внезапно решили нанять секретаря-англичанина. Мистер Чарльз Бридж, рекомендованный им в английском посольстве, ⟨л. 5⟩ очень им понравился, так как оказался самым английским англичанином: ни слова не говорил ни на каком языке, кроме английского, был высок, силен, спокоен и прекрасно воспитан. В Россию он приехал недавно, и она его изумляла. Несколько изумило его приглашение быть секретарем у двух молоденьких и знатных дам, и он потребовал точного и ясного определ(ен)ия своих занятий, и уже совсем было отказался, когда сестры нашли ему настоящее дело: вести дневник их путешествия. При этом младшая сестра, Мария Агафоновна, взяла на себя задачу иллюстрировать дневник своими<sup>14</sup> фотографиями, что в целом должно было составить очень оригинальный альбом.

---

<sup>12</sup> Далее было начато: наход(ились?)

<sup>13</sup> Далее было: подвижным

<sup>14</sup> своими вписано.

Мистер Бридж должен был кушать вместе с господами, и это, в связи с его национальностью, послужило вначале причиной острого<sup>15</sup> нерасположения к нему m-eug Густава. Но так как m-eug Густав был самым французским французом<sup>16</sup>, то вскоре все его нерасположение свелось к смеху и безобидным шуткам: он очень искусно передразнивал м-ра Бриджа, кушающего за столом с господами. Но делал это в отсутствие м-ра Бриджа, так как м-р Бридж был высок, силен и искусен в боксе, а сам он, при огромном развитии духовных свойств, был ростом мал и слабосилен. Ни на каком языке, кроме французского, m-eug Густав не говорил, но это не мешало ему оживленно разговаривать со всеми, даже с поваром Степаном Васильевичем, мрачным и несообщительным человеком, тайным алкоголиком, вечно терзаемым упреками совести за прошлые и будущие грехи.

⟨л. б)⟩<sup>17</sup> Был октябрьский вечер, и земля плакала, когда ярко освещенные вагоны двинулись от Петербургского вокзала и, как падающие звезды, вонзились во тьму и ненастье. От окон бежали<sup>18</sup> по земле светлые четырехугольники, и как призраки выступали из тьмы и пропадали клочки мокрой травы, изъеденной ненастьем и холодом, странно одинокой среди безбрежного мрачного пространства, лужи<sup>19</sup>, какие-то столбы, какие-то неподвижные, точно изваянные, фигуры. Потом полил дождь. На одной остановке мистер Бридж<sup>20</sup> вышел, чтобы подышать воздухом перед ночным сном. Качались деревья, бестолково махая черными осклизлыми ветвями, косою дождь забегал под крышу платформы, блестел черный асфальт, и все огни горели так тускло, как будто они были не настоящие и явились только, чтобы показаться поезду и кого-то обмануть, а когда поезд<sup>21</sup> уйдет, они тотчас погаснут и вечная<sup>22</sup> ночь и пустыня воцарятся на их<sup>23</sup> месте. Длинное<sup>24</sup> пальто било м-ра Бриджа под коленами, и, вздрогнув от холода и невыносимой тоски, разлитой вокруг, он поспешно вернулся в вагон и энергично встряхнулся: ему казалось, что дождь черный, как чернила, и редкие капельки, оставшиеся в ворсе сукна, давят

---

<sup>15</sup> острого вписано.

<sup>16</sup> Было: французским (описка)

<sup>17</sup> Далее было: П (обозначение начала новой главы; в середине листа)

<sup>18</sup> Было: двигались

<sup>19</sup> лужи вписано.

<sup>20</sup> Далее было: , еще не

<sup>21</sup> Далее было: ,

<sup>22</sup> и вечная вписано.

<sup>23</sup> их вписано.

<sup>24</sup> Было начато: П⟨альто⟩

какой-то глухой тяжестью. В его просторном купе было светло, очень уютно и как-то очень умно от большого количества книг; пахло приятно, теми же нежными духами, что и у господж, и еще чем-то, английским. Тщательно вымывшись и одевшись в свежее ночное белье, мистер Бридж потушил огонь, (л. 7) лег на правый бок и приготовился уснуть крепким молодым сном – но сон не приходил. Сквозь мягкий грохот поезда приносился неровный, странно торопливый шум дождя, какие-то широкие вздохи и сдержанные, точно придавленные, стоны. Кто-то большой лежал голой грудью на вагонах, свесив голову с длинными<sup>25</sup> волосами, мокрыми и прямыми, как у утопленника,<sup>26</sup> безутешно плакал и вздыхал.

– Как это нелепо, – думал м-р Бридж, но сон не являлся, и было предчувствие какой-то беды, и при каждом более резком толчке чудилось<sup>27</sup>, что поезд переехал человека.

– Нужно больше заниматься гимнастикой, – решил м-р Бридж, и это<sup>28</sup> сразу его успокоило. Упрямо<sup>29</sup> закрыв глаза и точно оторвав<sup>30</sup> себя от этой неприятной и чуждой ночи, он быстро и спокойно уснул. Кто-то большой продолжал стонать и плакать, но уже никто не слышал его; окна вагонов были темны, и не слышно было тихого<sup>31</sup> дыхания спящих. Только м-еиг Густав, спавший навзничь, тихонько посвистывал носом, и было в этом приятном посвистывании что-то общительное, располагавшее к знакомству и разговору.

## II

Уже трое суток двигались безостановочно, и не было никаких происшествий, о которых мог бы записать м-р Бридж. В первое утро, когда он увидел черные, взмоченные поля, холодные, неприютные, покорно готовые принять долгую мертвую зиму, что-то большое и грустное колыхнулось в его груди, и показалось, (л. 8) что можно очень много писать об одних этих полях. Но уже в первых десяти строках он сказал о них все – а поля все шли и все та же огромная, покорная и молчаливая грусть ле-

---

<sup>25</sup> длинными вписано.

<sup>26</sup> Вместе: волосами, мокрыми и прямыми, как у утопленника, – было: мокрыми и прямыми, как у утопленника, волосами

<sup>27</sup> Было: казалось

<sup>28</sup> Далее было: его

<sup>29</sup> Было: Решительно

<sup>30</sup> В рукописи: оторвал (описка)

<sup>31</sup> тихого вписано.

жала на них. И попадался ли редкий, свинцово-серый лес, или проходила деревня с мокрыми темными хижинами, все дышало холодом, нищетой и бесприютностью, и все время представлялся кто-то одинокий и забытый: он потерял дорогу и нет у него дома, и уже сумерки наступают, а он идет полем, завязая в грязи, идет лесом, среди мокрых хлопающих листьев. И вот уже ночь наступила, а он, одинокий, не имеющий дома, все еще где-то там, в холодной<sup>32</sup> мгле, где не светится ни одного огонька. Как холодно ему! И тогда м-р Бридж понял, что самого главного, что<sup>33</sup> есть в этих полях, он назвать не может. Ему стало скучно, а поля все шли, один день и другой и третий, и уже что-то грозное звучало порою в их грустном однообразии.

– Как велика Россия и как она неприятна, – думал м-р Бридж, отворачиваясь от зеркальных стекол окна. И когда он не смотрел в окна, все казалось хорошо и приятно, и было радостно думать, что он чужой этой стране – такой большой и неприятной.

В вагонах было тепло и сухо, и каждый день проходил в строгом порядке – как будто одни законы были для всего, что вне вагона, и другие – для тех, кто живет в нем. Сестры очень много спали, потом принимали душ, занимались гимнастикой – по совету м-ра Бриджа, кушали, очень долго одевались и причесывались. М-ср Альфред<sup>34</sup> во время прически сообщал им (л. 9) разные новости, которые отчасти сочинял сам, не в силах обуздать свою фантазию, частью узнавал какими-то непостижимыми путями. Необыкновенным путешествием он увлекался, и даже изобрел для сестер какую-то особенную прическу – батальную: от волос получалось впечатление такое, будто среди них разорвалась шрапнель. Вначале м-ру Бриджу и другим было дико смотреть на эти странно разметанные волосы, но потом все привыкли и нашли красивыми. В те часы, когда сестры не ели, не одевались и не спали, они терпеливо сидели у окон, так как читать не любили – одетые, как на празднике,<sup>35</sup> неизменно красивые, с своими странными прическами. Глаза их были ясны и спокойны, и не видно было, что думают они о пробегающих полях, тем более, что говорить о них они никогда не говорили. Иногда сестры по целым часам оживленно говорили друг с другом, короткими странными фразами, похожими на птичье щебетанье, и со стороны трудно было уловить смысл их речей. Мелькали имена петербургских знакомых,

---

<sup>32</sup> Было: черной

<sup>33</sup> Было начато: о(н)(?)

<sup>34</sup> Здесь и далее прежнее имя персонажа Густав заменено на Альфред.

<sup>35</sup> Далее было начато: краси(вые)

потом что-то о платьях, о шляпках, опять о платьях. И очень рано, взяв ванну и расчесавшись на ночь, отходили они<sup>36</sup> ко сну.

– Это прелестные женщины! – говорил француз. – Это настоящие гордые аристократки, мистер Бридж. У них дедушка пахал землю, и теперь у них сто миллионов и мужа их приняты при дворе. Вы понимаете?

М-р Бридж кивал неопределенно головой и предлагал m-eur Альфреду сигару. Тот давился крепким вонючим дымом, *⟨л. 10⟩* но из вежливости докуривал до конца, обжигая пальцы. Он искренне преклонялся перед всякой силой, богатством, знатностью, сестер считал необыкновенными существами, ангелами, сошедшими на землю, и уважал даже их кожаные на пуговках ботинки<sup>37</sup>, которые имел счастье чистить грубый<sup>38</sup> проводник. М-р Бридж не понимал слов француза, но видел его восторг, и соглашался с ним: он так же уважал богатство<sup>39</sup> и породу и в невозмутимом спокойствии сестер видел скрытую силу.

– Это – настоящее, – говорил он убежденно. – Они не совсем воспитанны, но это ничего; вообще я в России не встречал вполне воспитанных людей.

– Это ангелы! – восторженно восклицал m-eur Альфред. – Бог создал их в лучшую свою минуту, в тот день, когда создавал цветы. Хорошо сказано, м-р Бридж? И волосы у них хотя и жестки – но какое богатство, какая сила – первобытная сила, могу вас уверить. Я готов умереть за них. Пусть эти хунхузы только нападут на нас, мы им покажем. Верно, м-р Бридж?

– Это – настоящее, – подтверждал секретарь.

Потом м-р Бридж учил француза играть в шахматы. При игре иногда присутствовал Степан Васильевич. Он молча смотрел на доску и иногда, так же молча, и большею частью невпопад, передвигал фигуру. М-р Бридж спокойно ставил ее на место,<sup>40</sup> француз кипятился и красноречиво упрекал молчаливого Степана Васильевича, а тот шурился и презрительно смотрел в сторону. Потом вздыхал и уходил, задевая плечом о косяк. Однажды *⟨л. 11⟩* вечером, ложась уже спать, м-р Бридж услышал в конце вагона однообразные, несколько скрипучие, деревянные звуки, отдаленно напоминавшие музыку. Они странно гармонировали с шумом дождя, лязгом колес и глухой тоскою, неподвижно прижимавшейся к стенам вагона, – и стояли от всего особняком,

---

<sup>36</sup> они вписано.

<sup>37</sup> Было: башмаки (незач. вар.)

<sup>38</sup> грубый вписано.

<sup>39</sup> Было: силу

<sup>40</sup> Далее было: но(?)

резкие, крикливые, безнадежные в своей нищете. Каждая нота, широко открыв рот, выкри(ки)вала свое и точно пряталась под землю; за нею кричала другая и третья; иногда, обернувшись<sup>41</sup> в разные стороны, кричали две-три сразу. М-ру Бриджу чудилось, в<sup>42</sup> полусне, что у<sup>43</sup> клавиш<sup>44</sup> есть лица, одни худые, другие толстые, но все бледные и угрюмые; одни кричат, широко и нелепо разинув рот, другие опускают губы книзу – а в общем получается какая-то дикая, унылая гармония.

Оказалось, что это играл на гармонике Степан Васильевич. И каждый вечер играл он, и все одну и ту же песню, однообразную, тягучую, без начала и конца. М-р Бридж был к музыке равнодушен, но музыкальный француз выходил из себя и сам наконец стал учить Степана Васильевича новым мотивам. Но ничего из этого не вышло, так как Степан Васильевич не верил французам, сам поправлял его, молча, пренебрежительно и всегда невпопад, и кончилось дело жестокой ссорой.

На третий день стало проглядывать<sup>45</sup> осеннее солнце – тусклым желтым пятном, с расплывающимися краями и темными жилками туч поперек диска. Темнее сделались тучи, и у горизонта слились с землею в одну синюю непроницаемую, холодную массу. Точно в огромной низкой пещере (л. 12) двигался поезд, и было в ней холодно, сыро, неудобно. Было утро. Мистер Бридж открыл дверь на площадке, дышал воздухом и<sup>46</sup> хмуро, с чувством неприязни, глядел на грязный проселок, тянувшийся вдоль полотна. Раза два на нем мелькнули пешеходы; показалась и быстро осталась позади телега, которую, вытягиваясь, тащила малорослая лошадь. Сидевшие на телеге видимо торопились<sup>47</sup> и били лошадь, но с поезда казались неподвижными.

Приближался какой-то город. Над оврагом мелькнули темные острые силуэты крыш;<sup>48</sup> один домик лепился совсем на краю и точно собирался прыгнуть вниз с кручи; проплыла белая, точно голая, церковь; от нее куда-то вниз спускалась деревянная лестничка, на которой не было никого. Поезд замедлял ход, как-то неровно, толчками, точно машинист испугался чего-то впереди себя, – и удивленный мистер Бридж услышал странный, непо-

---

<sup>41</sup> Было: отвернувшись

<sup>42</sup> Было: что

<sup>43</sup> Далее было: каждой

<sup>44</sup> Было: клавиши

<sup>45</sup> Далее было: желтое

<sup>46</sup> Далее было начато: вра(ждебно?)

<sup>47</sup> Далее было: , но

<sup>48</sup> Далее было: какой-то

нятный и несколько пугающий звук. Он приносился со стороны станции, и было похоже, будто<sup>49</sup> тысячи людей играют на гармониках, на самых высоких нотах, или поют необыкновенно высокими тонкими голосами – и не было похоже ни на что. М-р Бридж был храбрый и спокойный человек, но в новизне и загадочной необычности звука было что-то страшное, толкающее назад, зовущее спрятаться, уйти, не слышать, и на одно мгновение, невольным порывом он захлопнул дверь. Потом тотчас же открыл ее – и уже всё, и он сам, было во власти загадочного звука, *〈л. 13〉* ставшего сильным, крепким, необъятным. Дальнейшее произошло очень быстро и оставило впечатление мгновенности, хотя длилось не менее десяти-пятнадцати минут. Поезд медленно прошел мимо каких-то станционных зданий, красных товарных вагонов; на минуту показался двор станции, полный лошадей. На телегах не было ни души, и маленькие лошади стояли понурившись, грязные до самого живота, все серые и тусклые, несмотря на разность окраски.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Далее было начато: игра(ют)

<sup>50</sup> Текст обрывается.

⟨л. 2⟩ *Примечание.* В настоящем очерке, весьма мало претендующем на художественность, автор пытается дать “настроение” известных исторических моментов, именуемых революциями. Не относясь ни к определенной стране, ни к году, предлагаемый очерк ограничивается задачами чисто психологическими.

НАРОД

Очень долго вокруг меня были только стены моей тюрьмы, и были они так близки, что, протянув руки, я почти касался их; и лежал ли я, не шевелясь, на постели, или кружился по камере, я казался себе мертвенно неподвижным, как человек на крохотном островке, мимо которого бежит широкая и вольная река. Я был молод, и, как подсолнечник, как весеннюю травинку, меня тянуло к солнцу – а между солнцем и мною всегда была железная решетка, и клетчатая угрюмая тень ее медленно ползла по камере, неслышно обнимала меня, когда я становился на ее пути, и молча таяла на потолке – черная на красном. И так в тяжелой и тесной одежде из камня и железа проводил я долгие дни и ночи – долгие дни и ночи, пустые, как вечность. Словно орех, заключенный в твердую скорлупу и брошенный посреди шумной улицы, незрячий, глухой, погруженный в тьму – я смутно слышал далекий и бодрый шум жизни, и был он загадочен, тревожно-радостен и тревожно-печален. Что делается там?

Вечерами, когда тишина каменной тюрьмы становилась живою и ясно чувствовались ее пытливые глаза, легкие взмахи и колыхания ее широкого покрывала, ее неслышный и тревожный  
⟨л. 3⟩ бег среди камней, когда слабое движение руки казалось ударом в звонкий колокол и биение вспугнутого сердца звучало как

---

<sup>1</sup> Заголовок “Народ (к революции)” – машинопись, располагающаяся на отдельном (“титულном”) листе позднейшего происхождения. В левом верхнем углу номер домашнего архива – “34”.

гулкая дробь военного барабана, – мои уши точно раскрывались, широко, как ворота, и звали к себе звуки и из жалких крох тюремного шума, из самой тишины, творили сложную и дивную музыку жизни. За решеткой, там, где был город, я слышал сперва<sup>2</sup> неясный и широкий гул, как будто от движения множества экипажей или тысячной толпы, беспокойной, громко кричащей, как волна разливающейся по улицам и площадям. Словно весь народ вышел из домов и всю своей грозною массой движется куда-то – бежит – кричит громко и страстно.

– Нет, это неправда! – думал я, с ненавистью через плечо<sup>3</sup> глядя на тускло блестящее, грязное стекло тюремного окна. – Это ты снова хочешь обмануть меня, мое сердце! Это ты зовешь свободу, мое сердце, и гремишь, как барабан, и кричишь так громко и страстно! А они спят и еще не скоро проснутся они.

Но говоря так, я уже не верю себе. Стены становятся легкими и туманно-прозрачными, как будто сделаны они не из камня, а из серого дыма, и чувство у меня такое, что если я пойду прямо на стену, то она расступится и пропустит меня. А тревога в городе все растет, и уже вся камера моя полна звуками, и весь воздух ее гудит и трепещет и поет, как огромный орган. Я слышу<sup>4</sup> выстрелы. Я слышу музыку. Я слышу широкое, все поднимающееся пение, все покрывающее собою, все принимающее в себя: и выстрелы, и грозные вскрики, и ликования победы. Нет сомнения – это *(л. 4)* голос битвы, это звон разорванных цепей восставшего народа. Да здравствует свобода! Да здравствует народ!

Мне кажется, я вижу над городом зарево – но стекло отражает огонь лампы и блеском своим мешает. Но отчего так тихо в тюрьме и никто<sup>5</sup> не поднимает тревоги? Тихо, как в могиле. Вот где-то наверху хлопнула дверь – и снова тишина. Чьи-то легкие шаги около моей двери – или это мне показалось? Я жду<sup>6</sup> тревожного хлопанья дверьми, частых и испуганных шагов, жду криков смятения и страха и освободительного растерянного звяканья<sup>7</sup> ключей – и я не понимаю этой холодной, пустой тишины. А голоса снаружи все громче, все ближе; уже слова грозной<sup>8</sup> песни различаю я, и весь воздух моей камеры кричит и поет – точно возопили

---

<sup>2</sup> сперва *вписано*.

<sup>3</sup> через плечо *вписано*.

<sup>4</sup> *Далее было начато: под(нимающееся?)*

<sup>5</sup> *Было: нет*

<sup>6</sup> *Далее было начато: исп(уганных?)*

<sup>7</sup> *Было: звона (незач. вар.)*

<sup>8</sup> грозной *вписано*.

самые камни тюрьмы, этого чудовищного порождения слепых и страшных сил:

– К оружию, граждане! К оружию!

В коридорах все так же тихо, но там, вверху и внизу, где в каменных ящиках заключены такие же, как и я, я чувствую молчаливое возбуждение – я почти вижу моих славных товарищей, трепетно вслушивающихся в голоса за окнами. Я беспокоюсь, ворочаю головой, отмахиваюсь от звуков, в которых смутно подозреваю обман, а они растут, крепнут, пылают, все покрывая собою, все освещая, над всем господствуя, как равномерные удары волн о скалы, как огненные языки среди багрового дыма:

– К оружию, граждане! К оружию!

(л. 5) Я поднимаюсь к окну, откидываю раму, прижимаюсь лицом к холодным прутьям решетки – и унылая тишина ночи встречает меня. Ни выстрелов, ни криков, ни пенья. На соседнем дворе за стеною однообразно и скучно поскрипывает под ветром тюремный фонарь, настойчиво, тягуче, повторяясь звук в звук, как бесцветный, давно страдающий человек, у которого нет сил на сильную и страстную жалобу. А вдали, где город, сонно мерцают во тьме неподвижные, одинокие огоньки – все на тех же местах, что и вчера, что и месяц тому назад, и кажется, что это не железный<sup>9</sup> фонарь под ветром, а они, такие жалкие, стонут и плачутся и тихонько подрагивают от неугасимой боли. Если все их собрать в кучу, нагромоздить один на другой, то и тогда не вспыхнут они ярким пламенем грозного пожара – жалкие, неподвижные огоньки сонного города. А пройдет еще два-три часа, и один за другим бесшумно погаснут они, – наступит тьма, и только тюрьма будет всю ночь светиться своими окнами – как будто она, назло бессмысленной жизни, вобрала в себя весь ее робкий, рассеянный свет.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> железный вписано.

<sup>10</sup> Текст обрывается.

# Другие редакции и варианты



# ПРИЗРАКИ

(С. 7)

**ЧН**

## СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Сумасшедший. Бухгалтер Николай Иванович. Мания величия в своеобразной форме – добродушие, великолепное настроение, совершает исцеления и чудеса, дарит дворцы. Все знает, все понимает. Совместно с Николаем Чудотворцем. Поет дрянь, говорит великолепно. Папиросы. Рожа. Кричит, потом – “пустое, это даже хорошо, подбадривает как-то”. Решает всякие задачи в два приема. Влюблен в фельдшерицу и ежедневно дарит ей дворцы.

Другой. Мания преследования. Тайны, ужасы, мрак, смерть. Боится есть, пить, думает, что отравлен. Влюблен в ту же фельдшерицу и в отчаянии. Тоска, одиночество.

Доктор. Весь день с ними, а ночью у “Яра”. Шампанское, цыгане. Разгул и странная тоска. Все кажутся сумасшедшими.

### *Варианты автографа<sup>1</sup> (ЧА)*

- 42 живут хорошо воспитанные / живут воспитанные ◇  
43–44 раздавался в больнице непрерывно и днем и ночью / а. раздавался в больнице и д(нем) б. раздавался в больнице непрерывно днем и ночью  
47 стучал в свою дверь больной, / стучал в свою дверь запертый, ◇  
48 запертый в комнате / запертый в своей комнате ◇  
50 если дверь / если эту дверь  
177 так как боялся / так как опасался  
179–180 находился и тот больной, / был и тот больной, ◇  
195 как глаза. / как и глаза.  
196 – Дайте-ка я открою, – / – Дайте-ка я попробую открыть, – ◇  
197 дергать засов и ковырял / а. дергать засов и поворачивать) б. дергать засов и ковырять  
198 не подавалась, / не подавалась,

<sup>1</sup> Автограф представляет из себя три разрозненных фрагмента, соответствующих строкам 40–45, 176–215, 633–648 ОТ.

- 198–199 милостивый государь, я придумал: вы отдохните, / м(ило-  
 стивый) г(осударь), вы отдохните, ◇  
 203 Был он высокий, красивый / Был он красивый, ◇  
 213 крепко сжимая / крепче сжимая  
 634–635 и несколько дней / и два ◇  
 635–636 как утверждал доктор, / как говорил доктор, ◇  
 645 за этой дверью / за этой открытой дверью  
 647–648 у соседней запертой двери. / у соседних дверей. ◇

*Варианты корректуры-гранок “Правды” (Кор-г)  
 и прижизненных изданий (Правда, Зн, Пр)*

- 31 немногие из проезжих / немногие из проезжавших (Кор-г,  
 Правда, Зн)  
 41–56 очень тихо, как во всяком приличном доме ~ И тихо было.  
 И только изредка / очень тихо, и только изредка (Кор-г,  
 Правда)  
 43–44 и днем и ночью / днем и ночью (Зн, Пр)  
 50 если дверь открывали / если эту дверь открывали (Зн)  
 59 страх и тоска / страхи и тоска ◇ (Кор-г) / страхи и тоска  
 (Правда)  
 64–65 болтать всякий вздор / болтать свой обычный вздор (Кор-г,  
 Правда, Зн)  
 86 девушка с гусями / девушка с гусятами (Пр)  
 101 но потом отвлекался / но потом отвлекся (Кор-г, Правда,  
 Зн)  
 126 над доктором и его испугом / над доктором и его стра-  
 хом ◇ (Кор-г)  
 145 и только трое не принимали / и только двое не принимали  
 (Кор-г, Правда)  
 146 , больной, который стучит, – нет (Кор-г, Правда)  
 176–215 Во время прогулок, ~ от внезапного нападения. – нет.  
 (Кор-г, Правда)  
 197 и ковырял пальцем / и ковырять пальцем (Зн)  
 197–198 дверь не подавалась / дверь не подавалась (Зн, Пр)  
 203 Был он высокий, красивый / Был он высокий, красивый (Зн,  
 Пр)  
 216 Вообще больные охотно / Больные охотно (Кор-г, Правда)  
 229 и сказал: / и сказал доктору: (Кор-г, Правда, Зн, Пр)  
 260 поднимавшийся кашель / поднимающийся кашель (Кор-г,  
 Правда, Зн, Пр)

- 261 Отлично. Никогда не чувствовал себя так хорошо. / Отлично, – говорил он, глотая кашель. – Отлично. Никогда не чувствовал себя так хорошо. (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 267–268 дунул на него Николай – / а. как в тексте б. дунул на него Никола – (*Кор-г*) / как в *Кор-г*, вар. б (*Правда*)
- 269 мы с Николаем / а. как в тексте б. мы с Николой (*Кор-г*) / как в *Кор-г*, вар. б (*Правда*)
- 271–272 но он пошутил доктору / но он поборол минутную слабость и, гордо смеясь, пошутил доктору (*Кор-г, Правда, Зн*)
- 317 часто бывали ссоры / изредка бывали ссоры (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 321 смеется над оставшимися. / смеется над оставшимися. (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 354–355 отравляла его пищу / отравляла ему пищу (*Зн, Пр*)
- 356 входить в камни / входить в камины  $\diamond$  (*Кор-г*) / входить в камины (*Правда*)
- 357 случилось однажды: он проходил / случилось однажды, что он проходил (*Кор-г, Правда*)
- 367 Вы несчастнейший человек / Вы несчастный человек (*Кор-г, Правда*)
- 383–384 плакал слезами безвыходного отчаяния / плакал глазами безвыходного отчаяния (*Зн, Пр*)
- 393–394 оставалась только тоска / осталась только тоска (*Кор-г, Правда*)
- 428 создавалось что-то беспокойное / создавало что-то беспокойное (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 435 очень странную музыку / очень странную, красивую безмолвную музыку (*Кор-г, Правда, Зн*)
- 491 в общей зале / в общем зале (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 494 являлись певицы и певцы, иногда и жонглеры / являлись певцы и певицы, плясуны, иногда и жонглеры (*Кор-г, Правда, Зн*)
- 500 все это одни и те же / все это одни (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 508–509 в другом конце залы / в другом конце зала (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 515 слепое ругательство / сильное ругательство  $\diamond$  (*Кор-г*)
- 541 от первой капли вина / от первой рюмки вина  $\diamond$  (*Кор-г*)
- 545 визг, завитуха / визг, завитухи  $\diamond$  (*Кор-г*) / визг, завитухи (*Правда*)

- 550–551 только груди поднимаются / грудь поднимается  $\diamond^1$  (Кор-г) /  
только грудь поднимается (Правда)
- 555 красивая, чужая / красивая, черная (?)  $\diamond$  (Кор-г)
- 582 ни тяжелой беременности ее / ни беременности ее  $\diamond$   
(Кор-г)
- 584 не старался запомнить / не старался запоминать (Кор-г,  
Правда, Зн)
- 608 на солнечной стороне / по солнечной стороне  $\diamond$  (Кор-г) /  
по солнечной стороне (Правда, Зн, Пр)
- 618–619 птицам, заливавшимся в лесу / птицам, запевавшим в лесу  
 $\diamond$  (Кор-г)
- 625–626 белым разорванным ковром / а. как в тексте б. белым  
разорванным покрывалом (Кор-г) / как в Кор-г, вар. б  
(Правда)
- 633–649 больной, который стучит ~ Простудился и – нет (Кор-г,  
Правда)
- 662 тот же рисунок / этот рисунок  $\diamond$  (Кор-г)
- 667–668 которые могли любоваться ею, хвалили Померанцева /  
а. как в тексте б. которые могли, любовались ею и хва-  
лили Померанцева (Кор-г) / как в Кор-г, вар. б (Правда)
- 684 о ночном сражении. / о ночных сражениях.  $\diamond$  (Кор-г)
- 686–687 каждую минуту он ожидал / каждую минуту ожидал (Кор-г,  
Правда, Зн, Пр)
- 698–699 ввиду его особенного беспокойного состояния / ввиду его  
особенно беспокойного состояния (Кор-г, Правда, Зн)
- 703 что ее подкупили врачи / а. как в тексте б. что ее подку-  
пили враги (Кор-г)
- 718 он бегал по комнатам / он бегал по комнате (Кор-г, Правда)
- 770 когда больных выпустили / когда больных выпускали  $\diamond$   
(Кор-г)
- 802–803 послышался призыв к власти. / послышалась команда.  $\diamond$   
(Кор-г)
- 810 холодное, безнадежное, темнеющее небо / холодное, без-  
надежно темнеющее небо (Кор-г, Правда, Зн)
- 815 и Петров обернулся / а Петров обернулся  $\diamond$  (Кор-г)
- 851–852 вспомнил, какие нелепости говорила она / вспоминал, ка-  
кие нелепости говорила она (Кор-г, Правда, Зн)
- 854–855 что-то беспокойное, / что-то бесконечное,  $\diamond$  (Кор-г)
- 865 и дорогою старушка / а дорогою старушка  $\diamond$  (Кор-г)
- 900–901 Было очень светло, пахло / Было очень светло, праздни-  
чно, пахло (Кор-г, Правда, Зн, Пр)

<sup>1</sup> В рукописи: поднимается (незаверш. правка)

- 912 во всех морщинках / во всех его морщинках (*Кор-г, Правда, Зн, Пр*)
- 920 похлопал по упрямо топорщившемуся / похлопал рукой по упрямо топорщившемуся (*Кор-г, Правда, Зн*)
- 965 в татарских туфлях / в татарских красных туфлях (*Кор-г, Правда, Зн*)
- 974–977 За одной из них ~ свою бесконечную работу. / В одну дверь внутри кто-то тихонько и равномерно стучал с одинаковыми промежутками, так что стук иногда казался тишиной.<sup>1</sup> // Это стучал больной, недавно привезенный: где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее; если эту дверь открывали, он находил другую запертую дверь и снова стучал – он хотел, чтобы все двери были открыты. И стучал дни и ночи, коченея от усталости. (*Кор-г, Правда*)
- 979 Николай, не поднимая головы / Николай, не подымая головы (*Правда, Зн, Пр*)
- 1005 кто не знал покоя и сна. В конце коридора / Кто не знал покоя и сна. Равномерно и осторожно стучал новый больной, и стук его временами казался тишиной.<sup>2</sup> В конце коридора (*Кор-г, Правда*)
- 1011–1017 Но никто из спящих ~ почти бессмертный. / Стук на минуту прекратился и снова начался, непрерывный, размеренный, похожий на тишину.<sup>3</sup> // – Ку-ка-реку! // На мезонине, у доктора, пробили часы. Было двенадцать часов, и в “Вавилон” только еще начинали съезжаться. (*Кор-г, Правда*)
- 1018 11 октября 1904 г. – нет (*Правда*)

<sup>1</sup> В *Кор-г* первоначально было: машиной.

<sup>2</sup> В *Кор-г* первоначально было: машиною.

<sup>3</sup> В *Кор-г* первоначально было: на машину.

# КРАСНЫЙ СМЕХ

(С. 32)

## ЧН1

Уже давно не было войны, и люди стали забывать о ней. Те, кто сами дрались когда-то, состарились и многое позабыли, а то, что они помнили, было очень обыкновенно, очень просто и походило на всегдашнюю мирную жизнь. Остальные знали о войне только из книг, и казалась она страшною и в ужасе своем захватывающе красивою, как сказка. И многим хотелось отведать войны и ужасами ее насытить беспокойное любопытство – они забыли, что такое война, и не знали, что такое они сами, люди долгих мирных лет и разумной жизни. Часто грозили войною, часто вызывали из тьмы ее грозно-обольстительный образ и, напугав самих себя и людей, легко и быстро мирились и удовлетворенно продолжали свою разумную и спокойную жизнь. Уходил во тьму грозно-обольстительный образ, неясный и призрачный, и такой послушный, как слуга. И снова являлся, когда его звали, – такой послушный, как будто всегда, каждую минуту, чутко ждал он за стеною, чутко ждал.

## ЧН2

(1)

⟨л. 1⟩ Уже давно не было войны, и люди стали забывать о ней. Десятки лет глубокого мира приучили людей к господству разума, а непрерывная проповедь любви, жалости и уважения к человеку облагородила их души, сделала их чуткими и нежными, и отзывчивыми к страданиям. Бесконечная борьба человека с человеком за<sup>1</sup> свободу, за справедливость и счастье все так же продолжалась, но была она теперь только в области мысли, а руки бездействовали: ударить человека и причинить<sup>2</sup> страдание его телу<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Далее было начато: сча(стье)

<sup>2</sup> Далее было: ему

<sup>3</sup> Далее было начато: был(о)

казалось странным, немного смешным и таким же нелепым, как жечь книгу, с мыслями которой не согласны. Случались, как и прежде, убийства и насилия, но все чаще и чаще убийцы назывались больными, и старые тюрьмы дряхлели, и рядом с ними строились светлые, огромные больницы. Как и тысячу лет тому назад, люди не могли доказать, что убивать нельзя, но привыкли не убивать, всей своею жизнью признали, что убийство безрассудно, и были уверены, что кто-то давно доказал это так неопровержимо и ясно, как математическую истину.

Но всех этих разительных перемен, этих новых состояний души своей люди не замечали, как не замечают они перемен в своем характере, и, ставши добрыми, охотно говорят и мечтают *(л. 2)* о молодой жестокости. Души стали новыми, а слова остались старые и только немногие догадывались, что слова эти мертвы и ждут только погребения. И всем существом своим отрицая безрассудное убийство,<sup>1</sup> жестокость и насилие, люди создавали иногда остроумные и увлекательные теории, в которых жестокость возводилась в догмат, а насилие – в неизбежное средство. И спорили горячо<sup>2</sup> об этих теориях, а сами, всем миром ужасались, когда где-нибудь, в одном уголке его, погибал пароход с людьми или поезд насккакивал на поезд.

И, совершенно забывши о<sup>3</sup> том, что такое война, люди охотно и часто говорили о ней, и так как войн не было, то многие горячо хвалили ее и доказывали, что она необходима для быстрого и правильного развития человечества. И сами правительства, и печать, разделявшая с ними влияние на народ, часто грозили<sup>4</sup> друг другу войною, и поднимали такой шум, что, казалось, война уже наступила. Но никому не хотелось войны, и шум так же быстро утихал, как и поднимался, и было все это<sup>5</sup> похоже на шутку. Да и сам призрак войны был так послушен: он быстро являлся на зов, как будто всегда каждую минуту он где-то поджидал за стеною, как слуга, и так же быстро и послушно уходил – этот молчаливый безликий призрак, послушный и кроткий, как слуга.

И как прежде, во всех больших государствах существовали огромные полчища людей, одетых в особую форму и снабженных оружием, и назывались они военными. Большинство из них сучало и тяготилось ношением ненужного оружия и особым порядком *(л. 3)* жизни, многие служили в войске так же, как служили

---

<sup>1</sup> Далее было: люди

<sup>2</sup> горячо вписано.

<sup>3</sup> Далее было: войне

<sup>4</sup> Далее было начато: вой(ною)

<sup>5</sup> все это вписано.

бы они в торговой конторе или<sup>1</sup> государственном учреждении, и никогда не думали о том, что они – военные; но было много и таких, которые горячо интересовались делом войны и служили ему бескорыстно, как художники. Они талантливо строили неприступные крепости и титанические суда, недоступные гибели; они изобретали новые разрушительные орудия и с математическими таблицами в руках вычисляли дальность полета и силу удара. Они были творцами в деле разрушения и их<sup>2</sup> вдохновенные грезы были грезами поэта. Из ружей и орудий стреляли. Из ружей солдаты стреляли в человека, нарисованного на доске, и пронизывали его всего, а он<sup>3</sup> все так же<sup>4</sup> стоял, молодцеватый и бессмертный. Из орудий стреляли в дерево, в камень и железо – и дерево, камень и железо разрушались прекрасно, без крика, без стога и без крови. И в начале каждое лето устраивали маневры: собирались десятками тысяч и возбужденно и весело играли в войну, стреляя холостыми, негромкими выстрелами. Но после того, как на одних маневрах от неосторожности погибло три солдата, общественное мнение возмутилось и сами военные признали игру опасной, дорогостоящей и бесцельной, и маневры решили заменить передвижением войск на бумаге.

Так новая душа и старая мертвая снова мирно уживались в людях, и люди не подозревали опасности этого соседства.

## II

Война началась неожиданно для всех, оттого, что были (л. 4) перепутаны слова на телеграфе. Как уже часто бывало, поднялся вначале безвредный шум и угрозы войною, и часть войск была приведена в боевую готовность; и шум уже начал утихать, когда внезапно, среди ночи, на наш флот было произведено нападение, а к утру уже состоялось первое морское сражение. Начало войны было так случайно и нелепо, что целую неделю никто не считал этого за настоящую войну, называли это конфликтом и все еще думали, что дело уладится. Но близость враждебных эскадр вызвала новое столкновение, и к концу недели были уже сотни убитых, были побежденные и победители<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Далее было начато: театр(е)

<sup>2</sup> Далее было: грезы

<sup>3</sup> Далее было: все

<sup>4</sup> все так же вписано.

<sup>5</sup> Текст обрывается.

⟨л. 1⟩ Я медленно двигался в уличной толпе и о чем-то думал, – не помню о чем, – когда в глаза мне бросился бегущий мальчик с утренними телеграммами. Продолжая о чем-то думать, своим обыкновенном, я остановил его, взял телеграмму – и с пробудившимся вниманием долго смотрел ему вслед; он быстро шмыгал между прохожими, раздавал телеграммы и снова бежал, и в его необъяснимой поспешности было что-то тревожное, необыкновенное. Потом я много видел и этих поспешно бегущих мальчуганов с телеграммами, и взрослых, бегущих так же быстро с бледными лицами и хриплыми криками, – но этот маленький черноволосый, с большими ушами, навсегда остался мне памятен, как начало того ужасного, непостижимого и безумного, что в ближайшие дни поставило весь мир на грани смерти и сумасшествия.

Все еще не догадываясь, я взглянул на телеграмму и понял: война. В коротких, точно обрезанных и страшно глубоких словах общалось, что нынче ночью – нынче ночью, когда я спал, – на наш флот напал неприятельский, и что один броненосец потоплен, и что погибло 260 человек. Нынче ночью, когда я спал, когда все мы спали. Слова бежали с бумаги, слова кричали, а я быстро огляделся, чтобы увидеть, слышат ли их другие. Другие шли, как всегда, ехали, и все было обыкновенно, как будто ничего ⟨л. 2⟩ не случилось, и только у многих белели в руках телеграммы. И я снова читал коротенькие, немые и громкие строчки, и снова глядел вокруг себя на спокойно двигающуюся толпу, и постепенно в шорохе шагов, как будто учащенном, в неясном гуле разговоров, как будто более громких, я уловил ответную тревогу и радостное возбуждение. И не знаю почему – я никогда не был другом войны – какой-то странный восторг охватил меня: восторг страха, восторг ожидания, восторг какой-то еще неведомой опасности. Но его нужно было почему-то скрывать, этот немного преступный восторг, и я скрыл его и медленно, очень медленно двинулся дальше. И всю дорогу, до самой конторы, мне казалось, что на всех лицах, усиленно равнодушных, во всех движениях, усиленно медленных, я вижу тот же потаенный, немного преступный, немного бессмысленный восторг.

Как всегда, я запоздал и все в конторе уже занимались, и мне пришлось с виноватым видом немедленно усесться за работу.

[...] убивали. Это была хладнокровная, деловая война, и оттого она была так невыносима для сознания, в самых устоях колебала ум. И как в жизни мы разными глазами смотрим на убийство

из<sup>1</sup> ревности, по страсти, по ненависти, по любви – и на убийство хладнокровное, так разною является и война.

Как близость без любви, хотя бы она прикрывалась браком, есть разврат и мерзость, так и война без ненависти и гнева – гнусность и разврат ума. Только в моей страсти, будет ли это любовь или ненависть, черпаю я оправдание, в ней нахожу и смысл

## ЧА I

⟨л. 45⟩ – Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. “Пускай – подумал я, – пускай не приходит, а я буду работать”.

И тут я заметил, что лист бумаги слегка розовеет<sup>2</sup> – как будто вместо белого на лампу надели красный абажур. Я оглянулся: в мое окно и во все другие окна сквозь опущенные драпри пробивался красноватый свет, тихий и неподвижный. Я отдернул драпри – и отшатнулся.

– Надо позвать жену, она этого не видала, – подумал я.

Я пошел в столовую и тихонько тронул жену за плечо. Она работала, что-то шила, но, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнув иглу в полотно, и пошла за мной. В кабинете было темно, но сквозь опущенные драпри пробивался все тот же красноватый свет, неподвижный и тихий. Я отдернул занавеси на всех окнах – и в широкие отверстия свободно влился этот свет, но почему-то не сделал комнату светлее: она осталась так же темна и только огни неподвижно горели красными большими четырехугольниками. [...] <sup>3</sup>

⟨л. 47⟩ Правда, ногами они уже касались нас и лежали плашмя, рука к руке. И вот они пошевелились и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и толкали их кверху.

– Они нас задушат, – сказал я. – Спасемтесь в окно.

– Туда нельзя! – крикнула жена. – Туда нельзя! Взгляни, что там!

За окном, в багровом и неподвижном свете...

---

<sup>1</sup> Далее было начато: ст⟨расти?⟩

<sup>2</sup> Было: краснеет

<sup>3</sup> Л. 46 отсутствует.

## ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ

...к счастью, он умер неделю тому назад. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий, весь разбитый, он уже приехал не совсем умственно здоровым, а в ту ночь лишился рассудка, и целый месяц наполнял дом криком, воплями и диким смехом. Хорошо еще, что он не мог ходить<sup>1</sup>. Как выдержала его жена эту невыносимую пытку, как выдержала мама и все мы – я не понимаю и объясняю только тем, что внутренний ужас, ужас нашего дома, уравновешивался ужасом извне. Вся семья наша уехала в деревню, спасаясь, как и многие, и я остался один: я хочу до конца присутствовать при этом разрушении. Если только, конечно, выдержит голова, на что у меня так же<sup>2</sup> мало надежды, как и у всех.

Все, что рассказал мне брат<sup>3</sup> себе, включая сюда и последнюю ночь, я записал, многое прямо с его слов, – но в общем не могу, конечно, поручиться за полную точность и *(л. 48)* безошибочность в описании военных действий. Отчасти виноват в этом и сам брат, который про один и тот же случай рассказывал совершенно по-разному, сам того не замечая. О многом я не стану даже писать – так страшно и запутанно выходит это в<sup>4</sup> многократном изложении брата. О нашем разговоре и о последней ночи, когда он сошел с ума, он так часто говорил в бреде, что я мог вполне, мне кажется, точно восстановить всю последовательность ощущений. К сожалению, о том весьма интересном: что увидел брат из окна, когда жена его крикнула: “Туда нельзя”, я ничего не могу сказать. В бреде, доходя до этого<sup>5</sup> момента, брат бледнел и умолкал, иногда даже лишался чувств. И умер он как раз в одну из таких минут.

По-видимому, это было что-то ужасное. Мир его праху, – если только<sup>6</sup> существует мир для праха. Есть данные думать, что его нет.

Тороплюсь вернуться к рассказу, так как события идут с неслыханной быстротой.

---

Уже давно с войной происходит что-то странное, чего еще не бывало ни<sup>7</sup> с одной войной – с тех самых пор, как Каин убил

<sup>1</sup> ходить *вписано*.

<sup>2</sup> у меня так же *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было: войне

<sup>4</sup> Далее было: изложении

<sup>5</sup> Далее было: места

<sup>6</sup> Далее было: есть

<sup>7</sup> ни *вписано*.

Авеля. По крайней мере, многочисленные статьи престарелых участников прежних войн, вызванные настоящими событиями, и все книги, в которых говорится о войне, дают совершенно иную картину – полных трезвых ощущений и *(л. 49)* живых и ярких красок, определенности контуров и даже какой-то совершенно непонятной красоты. Я охотно верю им во многом, и только одного не могу понять<sup>1</sup> – этой загадочной красоты убийства и крови.

Уже давно с войной происходит что-то странное. Уже с некоторого времени затемнилась первоначальная ясность событий, а два месяца тому назад вести с войны внезапно прекратились на целых четыре дня. Чем был вызван этот перерыв, никто до сих пор объяснить не может. Бесчисленные телеграммы и запросы со стороны правительства и частных лиц оставались без ответа, а потом – все снова пошло как будто так же, как и раньше: появились телеграммы, корреспонденции. Кажется, правительству что-то известно о причине странного перерыва, но облечено величайшей тайной. Но перерывы стали повторяться все чаще и чаще, и вот уже вторые сутки, как на театре войны царит гробовое молчание.

И в последних телеграммах и корреспонденциях, очень многословных, иногда слишком многословных, чувствуется что-то недосказанное, потерянное, темное. Авторы писем чрезвычайно подробно<sup>2</sup> передают все мелочи движения какого-нибудь отдельного отряда, говорят о новых громадных потерях, называют какие-то новые местности, хвалят неиссякаемое мужество войск, – но совершенно не дают представления о происходящем. Постоянные путаница и ошибки в числах месяца и названии полков и отдельных начальников увеличивают недоумение: одни и те же полки то оказываются поголовно истребленными, то одерживают *(л. 50)* какие-то необыкновенные победы; то же с отдельными лицами.<sup>3</sup> Изумительные ошибки повторялись<sup>4</sup> и с местностями:<sup>5</sup> местечко с одним названием<sup>6</sup> оказывается одновременно и в наших руках и в неприятельских. Тем же характером сбивчивости и темноты отличаются сведения о войне и из неприятельских источников: такие же перерывы, и всегда одновременные, такая же обстоятельность в передаче мелочей и отсутствие главного. И уже два месяца мы не знаем, на какой стороне действительный успех.

---

<sup>1</sup> понять *вписано*.

<sup>2</sup> подробно *вписано*.

<sup>3</sup> *Далее было*: Те же

<sup>4</sup> повторялись *вписано*.

<sup>5</sup> *Далее было*: одно и то же

<sup>6</sup> с одним названием *вписано*.

Тревога, созданная таким положением вещей<sup>1</sup>, переходит все границы нормального и грозит неисчислимыми бедствиями, так как во многих отраслях труда все работы прекратились ввиду массовых помешательств. Печать всего мира с энергией ужаса требует прекращения этой загадочной, сверхъестественной войны, и правительства уже ведут, будто бы, переговоры – и вместе с тем посылаются новые войска. В настоящий момент, по вычислению газет, на театре войны находится более миллиона солдат.

И в последние дни произошло новое, не менее странное явление: совершенно прекратилось прибытие поездов с востока. Туда поезда идут, а обратно не возвращаются, и нет никакой возможности установить, в каком пункте дороги происходит задержка: ближайшие станции и города отвечают незнанием, а с дальних получаются непонятные ответы или молчание. Куда деваются тысячи раненых, которых доставляли сюда, неизвестно. Но еще более смущения вызывает вопрос о сумасшедших, потерявших рассудок под *(л. 51)* влиянием ужасов войны. Уже давно с каждым поездом их доставлялись сотни, и уже больницы и тюрьмы полны ими, и нет почти дома в городе, где их не было бы на попечении родственников или знакомых, и уже трудно выйти на улицу, чтобы не встретить в толпе одну или две этих страшных зловещих фигуры, похожих на теней из другого мира, – а теперь и их не привозят. Некоторые видят в этом счастливый поворот, но другие с гораздо большим основанием строят очень страшные догадки.

И отсутствие точных вестей возмещается слухами, которые никогда не были так обильны, так выпуклы, так определены и ярки. Слушая их, можно подумать, что установился какой-то новый способ сношений, доселе неизвестный в науке, что-то вроде нового беспроволочного телеграфа с тою разницею, что слова входят прямо в уши – входят днем и ночью, когда люди спят. Ибо сам я, проснувшись, знал, был уверен, что знаю то, о чем ни от кого не слышал накануне. Восприимчивость ко всякого рода внушениям – это новая, очень опасная черта, созданная настоящею войною. На днях, когда мы, несколько человек, сидели вместе, один из нас уверенно сказал, что по соседству пожар. И мы все увидели огонь, пожарных, слышали запах гари, а потом оказалось, что никакого пожара не было. Эта неустойчивость видимого мира создает недоверчивое отношение к действительно существующим предметам, и теперь не редкость встретить совершенно здорового *(л. 52)* человека, пытливо ощупывающего стул, прежде чем сесть на него. Во многих театрах и общественных собраниях уже были, под влия-

---

<sup>1</sup> вещей *вписано*.

нием этого тревожного<sup>1</sup> настроения и податливости к внушениям, случаи непреодолимой паники, влекшей за собою массу жертв. И закрытие театров и всех общественных собраний должно при-  
ветствовать как необходимую и вполне разумную меру.

Неустойчивость видимого мира, страшная зыблемость всех его явлений увеличивается еще одним обстоятельством, коренящимся в том же крайне<sup>2</sup> возбужденном воображении и<sup>3</sup> постоянном чувстве тревоги. Это галлюцинации. Многие постоянно видят отсутствующих и даже умерших людей, и обыкновенно при таких естественных условиях, что необходимо крайнее напряжение ума, чтобы понять ошибку. Отсутствующие или умершие появляются на улицах, в домах, с ними вступают в беседу – затем они бесследно исчезают, увеличивая чувство нарушенного мирового порядка и возбуждая полное недоверие к себе и к миру. Сам я каждый вечер, входя в кабинет брата, где я теперь работаю, вижу его сидящим в кресле в той самой позе, в какой нашел его в ту роковую для него ночь. Он сидит неподвижно, вытянувшись как струна, и остановившимся взглядом, взглядом беспредельного ужаса, смотрит на что-то перед собою. Когда я подхожу к креслу, видение исчезает, и я уже привык к этому и нисколько не пугаюсь, но только ни за что, ни при каких усилиях ума не могу почувствовать свою квартиру пустой. Я знаю, что в ней никого, но что бы я ни делал, днем, вечером (л. 53<sup>4</sup>) или ночью – меня не покидает неприятное чувство, что в остальных комнатах, где меня нет, сидят какие-то люди и молчат.<sup>5</sup> Вчера вечером это неле-

---

<sup>1</sup> *Далее было:* состояния

<sup>2</sup> *Было:* крайнем

<sup>3</sup> *Далее было начато:* т(ревоге?)

<sup>4</sup> *Было:* 41

<sup>5</sup> *Далее было:* Эти галлюцинации стали в настоящее время таким обычным явлением, что появился даже новый термин: “вечеринка с галлюцинациями”. [Это] Несомненный юмор, который чувствуется в этом названии, показывает, что некоторые наиболее сильные и уравновешенные умы уже начали приспособляться к новым условиям жизни. Я был на одной из таких вечеринок и нахожу ее настолько интересною, что расскажу о ней подробнее. // – Господа, – а свет вам не помешает? – любезно осведомился хозяин, инициатор этих странных вечеринок. Ему ответили рассеянным смехом и возбужденно продолжали начатый разговор о войне. И как всегда, эта мрачная и ужасная война, посылавшая к нам неудержимую заразу безумия, постепенно увеличивала тревогу и бледность утомленных лиц и лихорадочный огонь провалившихся глаз. Разговор становился короче и отрывистее, движения острее и беспокойнее, и уже никто не сидел на месте, а все ходили взад и вперед, друг мимо друга, обмениваясь короткими фразами. И я заметил: все ходившие, и сам я в числе их, усиленно старались не задевать друг друга, как будто все мы были стеклянные и при малейшем толчке должны были разбиться. И если кто-нибудь нечаянно наступал

пое чувство, мешавшее работать, выгнало меня на улицу.<sup>1</sup> (⟨л. 54⟩) На улице горели фонари и происходило обычное движение людей и экипажей, и если бы взглянул на это кто-нибудь совершенно посторонний, с другой планеты, он ни за что не догадался бы, что все эти люди находятся на краю гибели и несут в душе своей страшный образ безумия. С сохранившейся еще привычкой отгораживаться от мира бесстрастным лицом, люди спокойно шли и ехали, заходили в открытые магазины, заглядывали в лица женщин – и только излишняя суетливость движений или, наоборот, крайняя напряженная медлительность наполняла улицы чувством необыкновенного возбуждения, готового (л. 55<sup>2</sup>) в каждую минуту разразиться какой-то неслыханной катастрофой.

В толпе, заметно редевшей к ночи, показывались все в большем количестве особенные, зловещие фигуры с скотским выражением лица. Это была умственная чернь, созданная веками несправедливости, свою невольную и жалкую ограниченность сделавшая орудием мести. Бессилие их мозга, не поддающегося ни внушениям, ни безумию, их страшная противоположная близость к животным создали в них неожиданных и грозных врагов. В нормальное время они сами были безумцами, а теперь, когда светлый человеческий разум пошатнулся в основах своих, они явились господами положения, единственными властителями несчастного города. Трусливые, нападающие только стаею, слабоумные, они еще обманывались внешним порядком жизни и не догадывались о своей страшной силе – они еще только хищно приглядывались и в мраке ночи производили отдельные, еще неуверенные опыты убийства и грабежей. Наутро, на столбцах газет, эти разбросанные убийства сливались в картину уже начинаю-

---

на ногу соседу, он тихонько брал его за плечо и извинялся – хотя рассеянно, но очень настойчиво. // – Посмотрите, сказал мне хозяин. // Один из гостей, седой, красивый господин, похожий на профессора, (л. [42]54) что-то говорил, обращаясь к пустому месту, гневно жестикулировал, снисходительно улыбался и морщился – по-видимому, он оправдывался в каких-то очень несостоятельных напаках на него. Мне стало страшно, а любезный хозяин быстро шепнул мне: // – Люблю я эти галлюцинации: они не требуют расходов и не нужно занимать гостей. // Менее чем через неделю наш любезный хозяин лишился рассудка и перерезал себе горло бритвой, но тут он еще шутил – быть может, именно шуткой отгораживаясь от надвигающегося безумия. В этот момент быстро и часто заговорил кто-то другой, пятясь от пустого угла, и я поспешно ушел с чувством великого отчаяния и страха за потрясенный человеческий ум. На лестнице я встретил нескольких новых гостей, торопливо поднимавшихся вверх, – и эти знакомые мне люди показались мне призраками. Так странно перемешалось все в эти печальные и страшные дни.

<sup>1</sup> Вчера вечером ~ на улицу. *вписано.*

<sup>2</sup> Было: 43

щейся резни – но они не знали об этом, так как не любили читать газет. Но с каждою ночью они становились все<sup>1</sup> смелее и смелее. На некоторых улицах они<sup>2</sup> появлялись уже днем...

...А то, что создало все это, что дохнуло на мир ужасом безумия и разрушения, эта страшная сверхъестественная война, какой еще не знали люди, – она все<sup>3</sup> еще загадочно молчала. Но тем грознее, тем громче и определеннее были жуткие слухи. Говорили с полною уверенностью, что на войне не осталось ни одного *(л. 56<sup>4</sup>)* здорового человека, что обе армии – сошли с ума. Сошли с ума, как сходят отдельные люди. Рассказывали, что уже давно<sup>5</sup> исчезла внешняя правильность убийств, когда люди одной нации и одних мундиров убивали людей другой нации и других мундиров, – разбившись на бесчисленные самостоятельные отряды, они каждый такой отряд, без различия мундиров,<sup>6</sup> считали неприятельским и истребляли друг друга. Стоило небольшой кучке людей отправиться на разведку, чтобы ее уже не узнали при возвращении и чтобы сама она не потеряла своих – и с этого момента она становилась самостоятельной и всем враждебной. Той же участи подвергались и отдельные люди, отбившиеся от своего отряда: отделенные от людей полосой оружейного и орудийного огня, они гибли в борьбе с другими такими же одиночками, или в сумасшедшей<sup>7</sup> единоличной атаке на какой-нибудь отряд. Голод, заразительные болезни ежедневно уничтожали тысячи людей, и масса трупов, которых некому было хоронить, непрестанно возрастала, делая воздух совершенно непригодным для дыхания. Мирное население, захваченное в круг этого поголовного сумасшествия, так же разбилось на отдельные воинствующие отряды, разнося заразу все дальше и дальше и отнимая последнюю надежду на прекращение войны путем всеобщего истребления.

Рассказывают, ссылаясь на секретные официальные источники, что мир между правительствами уже заключен, но о нем не решаются объявить ввиду событий на театре войны и опасаются увеличить смуту. Добавляли, что та болезнь главы *(л. 57<sup>8</sup>)* враждебного государства, которая держит его прикованным к постели и приостановила все приемы, – болезнь неизлечимая и заключается в полной потере рассудка.

---

<sup>1</sup> *Далее было: сильнее*

<sup>2</sup> *они вписано.*

<sup>3</sup> *Далее было начато: м(олчала?)*

<sup>4</sup> *Было: 44*

<sup>5</sup> *Далее было начато: прекр(атилось?)*

<sup>6</sup> *без различия мундиров, вписано.*

<sup>7</sup> *Далее было начато: ат(аке?)*

<sup>8</sup> *Было: 45*

Отсылку<sup>1</sup> на театр войны новых войск объясняли<sup>2</sup> тем, что оба правительства, по взаимному соглашению, решили выделить очаг войны и окружить его<sup>3</sup> сплошною цепью карантина. И с ужасом, бледнея, озираясь, невольно понижая голос, рассказчики намекали, что и свежие войска постигла та же участь: еще не доехав до границы, они забыли о своем назначении и бесследно исчезли в массе воинствующих отрядов. Неожиданное для всех объявление мобилизации новых округов(?), вызвавшее страшное замешательство и повсеместные бунты и быстро отмененное, было произвольным актом со стороны одного высокопоставленного лица, не избежавшего общей участи<sup>4</sup> этих печальных и страшных дней. Требования печати всего мира о распусчении и разоружении всех войск находят поддержку в правительствах всех государств, имеющих армии, и не осуществляются только из опасения, что все эти сотни тысяч людей, пока еще скованных дисциплиной, внесут новое замешательство, если их сразу выбросить в жизнь. В то же время во многих полках уже были бунты, о которых тщательно замалчивают. Их, к счастью, удалось прекратить, расстреляв половину восставших, но уже те, которые расстреливали, сами начинают волноваться и грозить, создавая полную и ужасную безвыходность.

Оно идет, разбуженное чудовище. От тех черных туч, (л. 58<sup>5</sup>) от тех кровавых порыжелых полей<sup>6</sup>, где в страшном сне мечутся истерзанные тени, идет оно, припадая к земле, и медленно кивает бледной головой, и смотрит. Ты чувствуешь этот взор? Пустой и всеобъемлющий, как воздух, холодный, неумолимый, непреклонный, ибо безумен он. Ты чувствуешь, как ползет оно, и дрожит несчастная земля – эта бедная невеста в белых цветах, обретшая смерть и безумие в час брачного торжества.<sup>7</sup>

«л. 64»

## ОТРЫВОК ОДИННАДЦАТЫЙ<sup>8</sup>

...маленькие, самые маленькие дети. Тот дом, где они есть, считается счастливым домом, и те люди, у кого есть они, считаются счастливыми людьми. В этот ужасный час, когда измученной мысли нигде нет отдыха и защиты, ни у женщин, ни

---

<sup>1</sup> Было: Отсылка

<sup>2</sup> Было: объяснялась

<sup>3</sup> Далее было начато: це(пью)

<sup>4</sup> Далее было: в

<sup>5</sup> Было: 46

<sup>6</sup> Далее было: идет оно

<sup>7</sup> На полях авторский знак вставки и указание, что текст отрывка на л. 64(–66) переносится сюда.

<sup>8</sup> Было: пятнадцатый

у друга, – они, эти маленькие живые капельки, дают хотя минутное забвение. Дети побольше – не то. Они уже отравлены, и мне страшно смотреть, когда они невинно играют в войну и неосторожно ранят и убивают; мне страшно подумать, что среди сумасшедших, рожденных войною, есть дети десяти-двенадцати лет.

Но эти капельки! Они ничего не знают и плачут оттого, что им не тотчас дали молока. Когда семья брата еще не уезжала в деревню, я целыми часами возился с Диди. Ему уже два года, он уже перебирает кое-какие слова, но не расстается с пузырьком и не подозревает, что у него умер отец. Он не особенно любит ласки, так как они мешают ему заниматься делом: лазить по *⟨л. 65⟩*<sup>1</sup> стульям, дергать кошку за хвост, есть бумагу и рвать книги. Если я хочу угодить ему, то должен ходить с ним по комнатам и вставлять всем статуям в рот зажженные папиросы – это доставляет ему несколько насмешливый восторг. Но когда наступает час есть *⟨так!⟩* молоко, он берет в руки пузырек – пальцы охватывают только половинку – ложится на диван и меня кладет рядом с собою. От удовольствия вкусной еды и покоя он становится удивительно нежен и ласков: то одну, то другую руку, непременно в строгой очереди, он кладет мне на губы, на лицо и гладит. И в этом нежном и легком прикосновении, прикосновении пушинки, столько еще нетронутого ума и прелести, что минутами начинаешь во что-то верить...

И во всяком доме, где есть дети, много посетителей – смешных и странных посетителей. Бородатые, старые, уже седые и лысые,<sup>2</sup> отдавшие горю и ужасу всю краску своих лиц, они толпятся вокруг ребенка – и льстят ему, как царю. Когда Диди был еще здесь, у него была великолепная свита старых измученных людей,<sup>3</sup> бесстыдно искавших его покровительства. Диди верит в безграничное могущество поцелуя и когда ушибает палец или обжигает его о спичку, то молча и со слезами протягивает к первым попавшимся губам:

– На!

И после поцелуя, все еще плача, уверяет:

– Нет!

Это значит, что боль прошла. И эти старые, измученные люди притворялись, что у них болит голова, грубо и нелепо ревели, подражая *⟨л. 66⟩* плачу – с единственной целью получить исцеляющий поцелуй Диди: он так же свято верит в целебную силу и

---

<sup>1</sup> В правом верхнем углу листа помета: 31 октября (1904 г.)

<sup>2</sup> Далее было: они

<sup>3</sup> Далее было: стыдливо

своего поцелуя. И глубоко несчастны были те, кого Диди обходил своею ласкою – по неизвестным, но, видимо, уважительным причинам.

И в эти страшные дни безумия и крови, когда живое перемешалось с мертвым и погранные законы ума точно пошатнули самые законы миропорядка, – детская стала нашим храмом. Казалось, что пока есть еще дети, эти маленькие светлые капельки – еще можно во что-то верить, на что-то надеяться...

Но ведь там, на войне, убивают и детей. И когда...

## ОТРЫВОК<sup>1</sup> ДВЕНАДЦАТЫЙ<sup>2</sup>

...Вестей нет. Ввиду событий прошлой недели все суда, торговые и пассажирские, задерживаются в гаванях и море опустело. О флоте никаких известий. Ежедневно поступают запросы о без вести пропавших судах. Вчера в городе был огромный пожар, кончившийся только к утру. Некоторые газеты выходят с траурной каймой.

В низших слоях населения давно замечается возврат к религиозному чувству. Забытые церкви теперь полны народу и весь день над городом стоит однообразный и печальный звон колоколов. Появился особый род религиозного умопомешательства: сумасшедшие выдают себя за пророков и проповедуют на улицах и площадях. На днях я видел одного из таких проповедников. Оборванный, косматый, босой, *(л. 59<sup>3</sup>)* несмотря на мороз, он действительно походил на древнего пророка, обманывающего народ. И слова его были пламенны, хотя и безумны. Я стоял далеко и смутно слышал что-то о гордости и высокомерии, о гневе Господнем, о том, что ученые погубили землю – обычную галиматью, которой не чужды еще некоторые дешевые и грязные газеты, даже и в это страшное<sup>4</sup> время<sup>5</sup> продолжающие эксплуатировать невежество и тупоумие.

По предложению сумасшедшего толпа, в которой я заметил много этих зловещих лиц со скотским и хищным выражением, направилась в центр города, где много книжных магазинов, с целью уничтожить и сжечь все книги. По счастью, полиция, которая еще действует, хотя и слабо, задержала безумцев.

---

<sup>1</sup> *Далее было:* одиннадцатый

<sup>2</sup> двенадцатый *вписано.*

<sup>3</sup> *Было:* 47

<sup>4</sup> *В рукописи:* в этот страшный (*неиспр. вар.*)

<sup>5</sup> *время вписано.*

С<sup>1</sup> большим трудом сформирована дивизия добровольцев и под опытным руководством отправлена на границу с поручением – какими бы то ни было мерами задержать<sup>2</sup> движение заразы. На эту дивизию, составленную из отборно здоровых людей, одушевленных желанием мира и отчаянием, возлагаются большие надежды. Уже ни для кого не тайна, что обе армии действительно сошли с ума, и хотя официальных сообщений об этом нет, но на частные запросы даются вполне откровенные ответы с просьбой оставить надежду на возвращение кого-либо с театра войны.

Многие не доверяют, однако, успешному исходу экспедиции и<sup>3</sup> уезжают в деревню, так как в городе жизнь становится невозможной. Жена брата зовет *(л. 60<sup>4</sup>)* и меня, уверяя, что у них гораздо спокойнее и тише: лес и поля дышат миром и отпугивают призрак безумия. С этим не совсем вяжется, однако, ее боязнь за безопасность свою и ребенка, какие-то<sup>5</sup> стуки по ночам в закрытые двери и сообщение о каких-то истерзанных, полудиких людях, появившихся в окрестности. Боюсь, что и чистые поля опозорены появлением этой заразы. Вся надежда...

## ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ<sup>6</sup>

...очень страшная телеграмма:

“Неприятель разбит наголову. Победа полная. Пленных не берем. Потери огромные, у неприятеля еще больше. Подъем духа в войсках необычайный, многие серьезно раненные остались в строю. Завтра готовится генеральное сражение”.

И знакомая подпись. По-видимому, надежд никаких не осталось. Что же это будет? В городе царит такой ужас, что я не решаюсь показаться на улицу. Роясь от скуки в бумагах брата, я нашел распечатанное письмо, без даты<sup>7</sup>, очевидно, от одного из его товарищей, обещавшегося *(так!)* писать ему. Написано карандашом, на каких-то грязных клочках, покрытых не то ржавчиной, не то засохшей кровью. Но почерк твердый, разгонистый, уверенный. Вот полностью его содержание:

<sup>1</sup> Было: Сто(?)

<sup>2</sup> Далее было начато: з(аразу?)

<sup>3</sup> Далее было: продолжают семьями

<sup>4</sup> Было: 48

<sup>5</sup> Далее было: ночные

<sup>6</sup> Было: двенадцатый

<sup>7</sup> Вместо текста: Роясь от скуки ~ письмо, без даты – было: Вчера получил письмо на имя брата

“Только тепер я понял высокую радость войны. Бедный друг, как жаль, что ты должен был уехать с этого кровавого пира. Мы бродим по колена в крови, мои славные <л. 61<sup>1</sup>> ребята называют это красным вином, и мы упиваемся им допьяна.

Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит! Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они нас провожают всюду – и всегда мы под ними, точно под черным зонтиком, точно под<sup>2</sup> движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клонуть – он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?

Какая радость – я представлен к ордену. Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Шашкой не звякнул никто – так осторожно и бесшумно подкрадывались мы. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками – чтобы не было крика. Понимаешь: чтобы не было крика. Крикни он, и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его душат.

Они все спали у тлеющих еще костров, и почему-то пахло жженым мясом. Кажется, они жарили ворон – в неприятельской армии страшный голод и они едят всякую дрянь. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне <л. 62<sup>3</sup>> палец, а я начисто отвернул ему голову, надеюсь, мы квиты? Как они не проснулись! Слышно ведь<sup>4</sup> было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собою. Мой друг, не сердись на шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, – но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью юбку и больше похож на ..., чем на офицера победоносной армии. [...]

<<л. 63<sup>5</sup>>> <...пос>ле долгих колебаний и сличений письма с другими, открыл автора. Это был жених моей сестры, обручившийся с ней перед отъездом, и большой друг брата. По-видимо-

---

<sup>1</sup> Было: 49

<sup>2</sup> Далее было: черным

<sup>3</sup> Было: 50

<sup>4</sup> ведь вписано.

<sup>5</sup> Было: 51

му, покойный брат хотел скрыть<sup>1</sup> письмо от сестры, почему я так поздно и нашел его. [...]

⟨л. 64<sup>2</sup>⟩            ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ<sup>3</sup>

...весь день гудят колокола...<sup>4 5</sup>

⟨л. 67⟩                ОТРЫВОК ПОСЛЕДНИЙ

...от вас мы ждем обновления жизни, – кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: “Долой войну”. – Вы, молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливают глаза. Небо валится на нас, земля расступается под ногами. Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разводите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разрушайте казармы и снимите с людей эту<sup>6</sup> блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить. Люди умирают...

Его ударил и шиб с столбика высокий солдат в синей<sup>7</sup> шинели. Я не успел рассмотреть лицо солдата, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, заволновалось, завывало; над головами поднялись кулаки, кого-то бившие; все лица<sup>8</sup> превратились в одно озверелое лицо; меня ударил кто-то, и я упал. Послышались выстрелы, и вой усилился. Через меня прыгали, меня топтали,

<sup>1</sup> Далее было: его

<sup>2</sup> Было: 52

<sup>3</sup> Было: тринадцатый

<sup>4</sup> Текст на нижней половине л. 64 и на л. 65–66 перенесен согласно авторскому указанию на л. 58.

<sup>5</sup> Далее было: *Отрывок последний* // ...кажется, началось. // Когда утром я вышел из дома, город был странно пуст, как ночью, и только немногие магазины были открыты. Несмотря на то, что все было спокойно и нигде не было сигналов о пожаре, чувство было такое, будто где-то происходит огромный небывалый пожар и все люди убежали оттуда. Но как всегда стояли извозчики, продавались газеты и понемногу толпа начала увеличиваться, возвращая городу обычный характер тревожной и бестолковой суеты. И было отчего-то страшно, и тянуло глядеть на небо: нет ли за крышами черных клубов дыма. Но небо было чисто: облачное, задумчивое, молчаливое, оно серым покрывалом висело над городом и молчало.

<sup>6</sup> Далее было: одежду

<sup>7</sup> Было: серой

<sup>8</sup> Далее было начато: *выр(ажали?)*

и я не знаю, как выбрался я оттуда. Когда я опомнился, я бежал по улице, почти голый, так как с меня сорвали одежду, кричал и захлебывался кровью, которая текла откуда-то с онемелого лица. И все бежали мимо меня, рядом со мною, наперерез, толкаясь, падая и сшибая меня с ног. И все кричали. На каком-то бульваре я спрятался и видел, как прошла огромная нестройная толпа солдат, *(л. 68)* волоча за собою пушку. Солдаты смеялись. Офицеров между ними я не заметил. Потом промчалась взбесившаяся лошадь, колотя по мостовой остатками разломанных оглобель, за ней другая с экипажем без седоков и кучера<sup>1</sup>. Экипаж раскачивался, как лодка в море. И опять побежал народ, но уже в другую сторону. С обратной стороны на него хлынула волна таких же беглецов, и снова в воздухе замелькали кулаки и поднялся вой. Невдалеке что-то прогрохотало и рассыпалось, как будто разрушился пятиэтажный дом. За ним другой, третий. Происходило что-то непонятное. Улица снова опустела, но отовсюду доносился все тот же многоголосый вой.

В кусты, где я лежал, вбежал какой-то человек, оборванный, как и я, увидел меня, вскрикнул и хотел повернуть назад. Но раздумал и, угрожающе оскалив зубы и протянув руки, направился ко мне.

– Что вы, что вы, я тоже прячусь, – крикнул я, приготавливаясь к защите.

Он недоверчиво посмотрел на меня и опустился на траву в двух шагах сбоку.

– Что такое происходит? – спросил он. – Отчего у вас лицо разбито?

– Должно быть, восстание.

– Кто восстал?

– Не знаю.

– А в кого стреляют солдаты?

– Разве они стреляют?

*(л. 69)* – Я видел: они стреляли в других солдат. Вероятно, пришел неприятель.

– Неприятель далеко.

– Что же тогда?

По улице прогрохотали орудия: их так же везли солдаты и так же смеялись, двигаясь расстроенной, беспорядочной толпой. Против нас они остановились и что-то стали делать около пушек. Я снова побежал и уже стемнело, когда я попал на свою улицу. Без фонарей она казалась страшно черною и незнакомою, и я хотел повернуть назад, когда заметил свой дом. Нигде ни в одном окне на всей улице

---

<sup>1</sup> и кучера *вписано*.

не было огня, и дома казались мертвыми, и эхо от моих шагов пугало меня самого – так было оно громко и необыкновенно. [...] <sup>1</sup>

*⟨л. 71⟩* Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание коснулось моей шеи.

– Кто тут? – шепотом спросил я, но никто не ответил.

В опустевшей детской я вспомнил Диди, и он показался мне отрывком давнего сна, чем-то никогда не существовавшим. А они все ходили за мною. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен, и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать мелкою и частою дрожью. Я пощупал голову: она была горячая как огонь.

– Пойду туда, – подумал я. – Он все-таки свой.

Он сидел в кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как всегда, а остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него, на диване, и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. Они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже ясно видел в кресле <sup>2</sup> его: черный, чугунный <sup>3</sup> профиль, обведенный узкой красной полоской.

– Брат! – сказал я.

Но он молчал. <sup>4</sup>

*⟨л. 72⟩* – Брат! – повторил я тише.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица. Шум за окном вырос, подошел близко, превратился в ровный, сплошной вой – и внезапно стих. И так тихо стало, как никогда еще не было в этих пустых и темных комнатах; ни шороха, ни звука – как на дне моря, как в облаках. И словно застывший, словно умерший, бесшумно пробивался сквозь завесы багровый неподвижный свет. И тихо было. <sup>5</sup>

Я двинулся к окну.

– Туда нельзя! – крикнул брат.

За окном в багровом <sup>6</sup> и неподвижном свете...

*31 октября 1904 г.*

---

<sup>1</sup> Л. 70 отсутствует.

<sup>2</sup> в кресле вписано.

<sup>3</sup> чугунный вписано.

<sup>4</sup> Далее было (с абзаца): – Брат! – повторил я, вставая... // Глава последняя // Вчера мы хоронили брата, скончавшегося в психиатрической

<sup>5</sup> Далее было (с абзаца): Тихо

<sup>6</sup> Было начато: неп(одвижном)

⟨л. 12⟩ – А на что тебе Георгий?

– Ну вот, чужак. Сам получил, а другим уже и не надо. Конечно<sup>1</sup>, хорошо бы, – он мечтательно прищурил ввалившиеся глаза, обведенные темными, почти черными кругами.

– А мать как? Послал ей телеграмму?

– Послал, – лицо его омрачилось. – Да что!..

Он угрюмо замолчал и даже слегка отвернулся от меня, но в глазах его явилось новое выражение. А когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но еще сильною рукою, и вопросительно, стыдливо и задумчиво посмотрел на меня.

– Что же это такое? – спросил он, и рука его была горячая – горячая и еще сильная.

– Что?

– Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество? – он махнул рукой.

– Красный смех, – ответил я.

– Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить ей, – а разве ей объяснишь?

– Он начинал волноваться. При выходе я сказал сестре, что у раненого, кажется, жар, и она утвердительно кивнула головой.

– Рана закрылась, но у него гнойник. Вы понимаете...

Я понял.

Вечером, в закат, мы пили чай у меня под деревом: я и еще трое наших. Пили, как следует, из самовара, – тут у нас еще был самовар – и даже с лимоном. Но дерево было чужое, закат чужой и все чужое<sup>2</sup>, и от этого, вероятно, мы не могли почувствовать ⟨л. 13⟩ себя<sup>3</sup> дома,<sup>4</sup> на пикнике – как предлагал поручик. Закат был желтый, холодный, придавленный тяжелыми синими тучами

<sup>1</sup> Было начато: Х(орошо?)

<sup>2</sup> и все чужое вписано.

<sup>3</sup> Далее было: как

<sup>4</sup> Далее было: как

*Варианты чернового автографа  
(ЧА2)*

1-2 КРАСНЫЙ СМЕХ / ОТРЫВКИ ИЗ НАЙДЕННОЙ РУ-  
КОПИСИ / а. ВОЙНА *⟨Нрзб.⟩*<sup>1</sup> б. ВОЙНА // ОТРЫВКИ  
ИЗ НАЙДЕННОЙ РУКОПИСИ

ЧАСТЬ I

- 3 ЧАСТЬ I – *нет.*  
6 по энской дороге / по мандаринской(?) дороге ◇  
9 через три-четыре часа / а. через два часа б. через три часа ◇  
21 железных колес / железных ободьев ◇  
23 я не слышал / я не слышал ◇  
34 стволе ружья, / стволе,  
36-37 огненно-белые / белые ◇  
38 палящий жар / пронизывающий жар ◇  
43 клочок голубых обоев / кусочек голубых обоев ◇  
48 этот простой и мирный образ / этот образ ◇  
51 раздвигая толпу / раздвигая ряды ◇  
54-55 опущенных горячих штыков / опущенных назад горячих  
штыков ◇  
57 какой-то овраг / какой-то ров ◇  
58 этот шершавый, горячий камень / этот камень ◇  
59 моих стремлений / моих желаний ◇  
62 это безумные / это сумасшедшие ◇  
65 торопливо пробирается / торопливо падает ◇  
66 над толпою / над рядами ◇  
69-70 сгущается народ / сгущается толпа ◇  
84 опрокинутой руки / опрокинутой в(низ) руки ◇  
84-85 точно у живого / как у живого ◇  
85 желтоватый налет / темный налет ◇  
87-88 призрачные покачивающиеся ряды / покачивающиеся  
ряды ◇  
89-91 но жду этого ~ запутанных видений / но жду этого  
*⟨7(?) нрзб.⟩*<sup>2</sup> ◇  
93 На минуту он / На мгновение он ◇  
102 он, видимо, старается / он старается ◇  
110 в его взгляде / в его глазах ◇  
112-113 больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти / больше,  
чем смерть, чем ужас смерти ◇

<sup>1</sup> Первоначальный заголовок густо зачеркнут.

<sup>2</sup> Текст густо зачеркнут.

- 119 когда слева, на вершине / *а. как в тексте б. когда слева,*  
на вершине, куда я хотел бежать ◇
- 120 как эхо, два других / как эхо, еще ◇
- 120 Где-то над головою / *а. И над головою б. И где-то над голо-*  
*вою*
- 121 визгом, криком и воем проносится граната. / *а. визгом,*  
*криком и шипением разрывается шрапнель. б. визгом,*  
*криком и воем проносится шрапнель. ◇*
- 123 Нет уже более смертоносной жары / Нет более страха ◇
- 124 когда / и когда
- 125–126 вижу просветлевшие / вижу посветлевшие
- 129 как ведьма, резнула воздух граната. / как ведьма, где-то  
резнула воздух шрапнель. ◇
- 130 Я подошел. / Я подошел...
- 134 шесть человек / семь(?) человек
- 136 тучей безумия / тучею безумия
- 140 были уверенны и быстры / были точны, уверенны и бы-  
стры ◇
- 146 или слушал грохот / или слушать грохот
- 157–158 обоев и нетронутый / обоев, нетронутый ◇
- 171–172 самого взрыва / самой канонады ◇
- 185 прикорнул там / прикорнул ◇
- 185 могли каждую минуту / могли там каждую минуту ◇
- 187 и что-то искал – плащ, не то зонтик. / и чего-то искал. ◇
- 187–205 И сразу на всем огромном пространстве ~ дождь продол-  
жался довольно долго... / И сразу наступила такая тиши-  
на, что слышно было, как сопит фейерверкер и стучают  
по камню капельки дождя. И с такой же внезапностью,  
как попрятались, все вылезли наружу, гохнуло оружие,  
за ним второе, фейерверкер на кого-то закричал, и один  
только ездовой, взявшись руками в бока, заплясал и за-  
пел: // – Дождик, дождик, перестань, // Я поеду в Арес-  
стань, // Христу поклониться, // Богу помолиться... // Он  
неуклюже топтался, взявшись в бока, а левая бровь у него  
дергалась и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. По-  
том он стал подавать снаряды и ходил пляшущей поход-  
кой и видно было, что он что-то поет, вероятно, ту же  
песенку о дожде, сам дождь давно перестал. ◇
- 190 разорвалась шрапнель / разорвалась граната ◇
- 207–208 просит нас удержаться / просит нас прод(ержаться) ◇
- 224–225 дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня / дунуло  
теплым ветром ◇
- 225 на месте / вме(сто) ◇

- 238 в нашей и неприятельской армии / в нашей и в неприятельской армии
- 238–239 появилось много / много появилось ◊
- 239–240 четыре психиатрических покоя / четыре психиатрических лазарета ◊
- 244 и солдаты с криком / и все(?) с криком ◊
- 247 а те волоклись / а они волоклись ◊
- 249–250 не менее двух тысяч / не менее пятисот ◊
- 254 Но десять или двенадцать непрерывных рядов / а. Но пять или шесть неправильных рядов б. Но десять или двенадцать неправильных рядов
- 255–256 борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям с набитыми на дне кольями – так закружили / борьба с нею, так закружили ◊
- 258–266 Одни, точно сослепу ~ вонзались в глаза и душили. – нет. ◊
- 261 копошащуюся грудь / копошащуюся, перепутанную грудь ◊
- 264 сотни пальцев / десятки пальцев ◊
- 276–282 Да, они пели ~ красным бенгальским огнем. – нет. ◊
- 293 А хорошо бы, товарищ, / А хорошо бы, брат, ◊
- 293–294 получить орден за храбрость. / получить Георгия, ⟨нрзб.⟩, за храбрость. ◊
- 304–305 в меня провалившимися / в меня своими провалившимися ◊
- 326–351 По одному, по два ~ чужой, мертвый и непонятный. / Но(?) [небо(?)] дерево было чужое, и закат был чужой, и все было чужое, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир странных [теней] грез и зловещих, пасмурных теней. Закат был желтый, холодный, над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи и [небо] земля под ними была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на своих боках желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый и непонятный. ◊
- 329 избегая смотреть / избегали смотреть
- 330–331 грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами / грязные, заросшие волосами
- 333 мы точно сейчас только / они только только сейчас ◊
- 337–338 позади себя, старающиеся / позади себя, почесывающиеся, старающиеся

- 338 заполнить ту / наполнить ту  
 347 висели черные, ничем не освещенные / висели ничем не  
 освещенные ◊
- 356 можно было встретить / можно было встречать  
 364 туча наседала / тучи наседали  
 365 Кто-то спросил / Кто-то сказал ◊
- 366–382 – А где же Ботик? ~ ради лимона и пришел. / – Как  
 тихо. // – Сейчас был выстрел. // – Это кажется, что  
 тихо. Эй, за самоваром, отрежьте мне лимона. // – И мне!  
 И мне! // – Лимон весь. // – Что же это, господа! ◊
- 391 Туча поднялась / Тучи поднялись  
 394 была виноватая в чем-то улыбка. / была виноватая, в чем-  
 то виноватая улыбка.
- 405 на голове у меня струпья, какая-то паршь / на голове  
 у меня струпья, на голове у меня струпья, какая-то паршь
- 426–427 Внезапно, совсем близко от нас, вероятно у полкового  
 командира, заиграла музыка, / У полкового командира,  
 совсем близко от нас, внезапно заиграла музыка. ◊
- 429–430 торопливая, нестройная, слишком громкая / торопливая,  
 слишком громкая ◊
- 430–431 и видно было, что / и видно, что ◊
- 444 ...я уже спал / ...уже спал  
 445 Я вскрикнул, просыпаясь / Я вскрикнул, вска(живая) ◊  
 448 Я вас испугал / Я вас напугал
- 452–463 – Но очень нужно ~ ну, так, так... / – Но очень нужно. Так  
 нужно. Мне все кажется... Я не могу заснуть. Мне все  
 кажется, что там еще остались раненые. Я выпросил па-  
 ровоз и пять вагонов. Ведь это на пути, мы доедем, и вы  
 дорогой еще подремлете. Я умоляю вас. Все спят, все от-  
 казываются. Я сам боюсь заснуть. ◊
- 479 Доктор схватил / схва(тил) ◊  
 489 отпихивая его ногами / отпихивая его ◊  
 491 На седьмой версте / На шестой версте ◊  
 500 осветил стены / осветив стены  
 503 я по себе знаю / я его знаю ◊  
 509 огромное молчаливое зарево /огромное зарево ◊  
 513 рукой поманил меня / рукой позвал меня ◊
- 513–514 Я посмотрел / Я взглянул ◊  
 522 Он махнул рукой. / Он махнул рукою.  
 530 посмотрите-ка на него / посмотрите на него ◊  
 531 сидел, поджав ноги / сидел на корточках ◊  
 539–545 его затылок с вьющимися волосами ~ и не ответил. / в его  
 молодом затылке с вьющимися волосами было что-то на-

- поминавшее [то далекое] о том далеком, о чем не нужно думать – и оттого еще более ужасное. ◇
- 541–542 это представление было так неприятно / это было так неприятно ◇
- 558–559 нога на миг задралась / нога задралась ◇
- 560 в черной канаве / в те(мноте?) ◇
- 564–565 как будто равнодушный / как будто спокойный ◇
- 570 показал доктор рукой вперед / показал рукой доктор вперед
- 573 – Двигаемся! / – Едем!
- 581 на лугу / на летнем лугу
- 600 он видит людей и огни / он видит людей и фонари
- 602 грезились наклонившиеся люди / грезились люди ◇
- 604–614 Мы тронулись дальше ~ он не ответил. – *нет.* ◇
- 615 Это были первые, ужаснувшие нас. / Это был первый, ужаснувший нас. ◇
- 615–616 А потом все чаще они стали попадаться / А потом они стали попадаться ◇
- 630–643 Некоторые подползали сами ~ – Сволочи! Я в морду дам! – *нет.* ◇
- 671–672 тот сейчас тоже застрелится / тот тоже сейчас застрелится ◇
- 677–678 плечо его вздрагивало / плечи его вздрагивали
- 685–703 Он откачулся от вагона ~ – взад и вперед... / Он откачулся от вагона и, наивно, по-ребячьи закрыв руками лицо, куда-то пошел натываясь. И не знаю, почему я пошел за ним и, долго шел, и мне стало страшно. // Стойте! – крикнул я, остановившись. // Но он шел и плакал. И скоро пропал в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей, и я остался один. Вероятно, в той стороне, где был самый большой пожар, загорелось что-нибудь новое, так как зарево ожило и запрыгало. Оно молчаливо прыгало, расплываясь и суживаясь, как в смехе, и по земле молчаливо прыгало что-то и тихонько смеялось. // И далеко кругом... ◇
- 692 со своими / с своими
- 696 Я был один / Я остался один ◇
- 701 замерзающих щенят / а. замерзающих дете(й) б. замерзающих щенков ◇
- 702 и медленно двигался / – двигался ◇
- 713 в этом покойном движении / а. и в этом движении б. и в этом покойном движении ◇
- 716–717 под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших / когда – целый град шрапнели и пуль осыпал нас, сразу выхватив ◇

- 727–728 я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня  
к сомнениям и новому, еще не испытанному страху. / я  
узнал истину – ту истину, что в ближайшие дни должна  
была всколыхнуть уже ⟨?⟩ ⟨нрзб.⟩ весь мир. ◇
- 729 Да, кажется, это были наши / Да, это были наши ◇
- 734–735 И вспоминали об этом случае / И говорили об этом  
случае ◇
- 740 под свои же снаряды / под свои снаряды ◇
- 744 а потом их, оранжевую / а потом ихнюю, оранжевую
- 744–745 И как-то очень скоро / И очень скоро ◇
- 752 два отряда / два корпуса ◇
- 753 дойдя ночью до / дойдя до ◇
- 755–758 Наш доктор ~ прищулив глаза: / По-видимому, уже в это  
время, на шестой месяц этой неслыханно кровопролит-  
ной войны, общее возбуждение приняло те необычно-  
венные формы, при которых дальнейшая война стала не-  
возможной. // Наш старик-доктор, который отрезал мне  
ноги, сказал: ◇
- 765–766 скрывшись в облаке табачного дыма – нет. ◇
- 774 падение тысячи зданий / падение тысячи камней ◇
- 787 спросил я / повторил я ◇
- 797 мы с ним только двое знали / мы с ним двое знали ◇
- 800 осторожно, двумя пальцами коснулся / осторожно коснул-  
ся ◇
- 813 лицо налилось кровью / лицо покрас⟨нело?⟩ ◇
- 813–814 упорно смотря на меня / смотря упорно на меня
- 830–831 Зачем я поеду? / Зачем я поеду? Зачем я поеду?
- 834–835 Вчера я видел: к нам пришел / Вчера к нам пришел ◇
- 837 как заросли и мы все / как все здесь заросли ◇
- 840 Куда же их девать? / Куда же их девать? Их тысячи прихо-  
дят к нам, их тысячи приходят к нам. ◇
- 840–841 Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят  
они / Дни и ночи тысячами оборванных, зловещих при-  
зраков они бродят ◇
- 842–843 Размахивают руками, хохочут, кричат / Размахивают рука-  
ми, кричат ◇
- 846–847 отъевшимися одичалыми собаками / отъевшимися  
собаками
- 850 около него вырос десяток / около него не выросло десятка
- 855–856 долбили мой измученный мозг / мой измученный мозг  
долбили ◇
- 867 там все будет / там б⟨удет⟩ ◇

- 882 их здания, их университеты и музеи / *а.* здания, университеты, музеи *б.* их здания, их университеты, музеи
- 883 огненного смеха / брызжущего(?) смеха ◇
- 886–887 единым его владыкою / *а.* единым его повелителем *б.* единым владыкою ◇
- 917 в кабинетик / в кабинет ◇
- 923–924 лампу с зеленым колпаком / лампу с синим колпаком ◇
- 931 и я их не видел / и их не видал
- 932 Так, хорошо. / Так хорошо. Но поч(ему)(?) ◇
- 945 я только один болтаю / и только один болтаю
- 951 это было то же лицо / и это было то же лицо
- 962 А я уж не пожалею / А я уже не пожалею
- 968 четыре офицера осталось в живых / четыре офицера остались в живых
- 977 И руки тоже? / И руки... тоже?
- 982 на кровати / *а.* на моей кровати *б.* на на(шей)(?) кровати ◇
- 986 раздень-ка меня / раздень меня
- 986–987 сказал я жене. – Как хорошо! / сказал я жене. ◇
- 991–992 Да что же ты? // – Сейчас, милый. / Да что же ты? ◇
- 993 за мою спину, у туалета, и я / *а.* за моей спиной, и я *б.* за моей спину, у туалета, и я
- 1016–1017 ковыряя пальцем штукатурку / ковыряя пальцем замаску
- 1017 горячо продолжал / продолжал ◇
- 1028–1029 я менее чувствителен / я становлюсь менее чувствителен
- 1040 но как будто испугался / как будто испугался
- 1045 шутиливо ответил я / шутиливо сказал я ◇
- 1046 никто не в силах / никто не может ◇
- 1053–1054 ночи, в которые я не спал, не мог заснуть / ночи, когда я не спал, ◇
- 1054 странные мысли / странные вещи(?) ◇
- 1068–1069 бросятся один на другого / бросятся друг на (друга) ◇
- 1095 одновременность ощущений, мыслей / одновременность ощущений, слез, мыслей
- 1098 бывает один страшный момент / бывает страшный момент ◇
- 1100 *После:* Ты еще не все знаешь, брат. – Он встал и сказал спокойно, сказал, как человек, у которого нет надежды. Он сказал: // – Для меня настал час страшного испытания. Оно идет, разбуженное чудовище. От тех черных туч, от тех кровавых, порыжелых полей, где в страшном сне мечутся истерзанные тени, идет оно, припадая к земле, и медленно кивает бледной головой, и смотрит. Брат, брат, ты чувствуешь этот взор? Пустой и всеобъемлю-

щий, как воздух, холодный, неумолимый, непреклонный, ибо безумен он. Ты чувствуешь, как ползет оно и дрожит испуганно бедная, несчастная земля, эта бедная невеста в белых цветах, обретшая смерть и безумие в час брачного торжества. Невинная в своих грехах, бессильная в своем могуществе, она дрожит и плачет тихо. Брат, брат, отдай мне мой светлый разум. Мои невинные, мои прекрасные и благородные мысли, – кто наступил на вас грязною ногою, обесчестил вас, опозорил, как насильник. Безумие и ужас. Оно идет, оно идет – от тех черных туч, от тех кровавых, порыжелых полей. // И замолчал. Уже тогда он был безумен, но так хорошо скрывал это ото всех, что еще долго все считали его здоровым – это было участью многих в то печальное и страшное время. ◇

1106 пусть себе скрывают / пусть себе идет ◇

1106 мне надо вылезать / мне пора вылезать

1108 я пил душистый чай / я пил чай ◇

1114 наслаждение так глубоко / наслаждение так огромно ◇

1115 начать чтение / начать читать

1136 они жили / они ожили

1145–1146 мыслить – это главное / мыслить и это главное

1148–1149 когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. /  
когда я подходил к концу, я уже забывал начало фразы. ◇

1155 страшно рассеян / странно рассеян

## ЧАСТЬ II

<sup>1</sup> ЧАСТЬ II – *нет*.

9–10 отбрасывая листки / отбрасывал листки

14 По его требованию окна / По его требованию, дра(при) ◇

20 свою безумную работу / свою ра(боту) ◇

28–36 А потом снисходительно рассказывал ~ будущее поймет  
мою идею. – *нет*. ◇

34 гордо и вместе с тем скромно говорил он / говорил он ◇

39–40 кроме нее / вне нее ◇

42–43 В безмолвии ночей / По ночам ◇

61 лежит на мне, как камень / лежит во мне, как камень

66 иногда дворник / и только дворник

78–79 как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. / как  
брат. ◇

90 Сейчас прекратите войну / Сейчас же прекратите войну

92 слова, на которые / и на которые ◇

94 слезами оглашают мир / слезами оглушают мир ◇

97 когда я так чувствую / когда я почувствую ◊  
 103 я был дьявол! / я был диавол!  
 114 заискивающе улыбаясь бледными губами / улыбаясь блед-  
 ными губами  
 115–116 ударить длинной палкой / ударить длинной палкой  
 116–117 в стороне, спокойный, серьезный, / в стороне, серьезный, ◊  
 124 и еще раз / и тут ◊  
 132 Его уж раз вынули / Его уже раз вынули  
 138–139 испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не счи-  
 тает своими. / испуганных людей. ◊  
 147 не заметивший этого солдат / не заметивший этого наш сол-  
 дат  
 148 чтоб защищаться / чтобы защититься  
 159–160 я не вставал с кресла / я не встал с кресла  
 173 все целиком смотрело / все смотрело ◊  
 181 поеду и я. / поеду и я. Из одной я услышал крик, или это мне  
 показалось, не знаю. ◊  
 208 повсеместные побоища / повсеместные бунты  
 222 наклонился вперед / наклонялся вперед  
 222 перед собою / под собою  
 233–234 бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление /  
 бессмысленное и молчаливое сопротивление ◊  
 246 подошел вплотную, нагнулся / подошел вплотную, ◊  
 267 я не могу вспомнить без того, чтобы / я не могу вспомнить  
 без содрогания ◊  
 287 спокойствие сытого зверя / спокойствие зверя  
 290 у выхода / у входа ◊  
 305–306 поднялся, даже не поблагодарил меня, и пошел / поднялся  
 и, даже не поблагодарив меня, пошел ◊  
 308–309 не дадут уйти ему / не дадут ему уйти ◊  
 313 желтые от огней облака / желтые от огней тучи ◊  
 326 на лестнице начинаю жечь спички / на лестничке я начинаю  
 жечь спички  
 332–390 ...этот нелепый и страшный сон. ~ снова, кажется, заснул... /  
 ...в дымном и багровом огне качались и плыли, как клочки  
 тумана, какие-то странные образы. Временами они пропада-  
 ли в темных углах, но иногда резко выдвигались вперед и  
 тогда я видел лица, освещенные с одной стороны, и клочки  
 изорванных одежд. Они все непрестанно двигались и меня-  
 лись, но по их низким, приплюснутым лбам, по хищному и  
 тревожному голодному выражению скотских лиц я узнал[,  
 кто это] [этих людей] этих людей, умственную чернь го-  
 рода, созданную веками несправедливости, свою тупость

и ограниченность сделавшую орудием жестокой, бессознательной мести. Но я не знал, что их так много, что они собираются вместе и настолько овладели формами общезнания, что могут устраивать настоящие правильные собрания. И помню, я, кажется, поздравил их или похвалил, а они все захохотали, но хохотали бесшумно: сразу открылось множество черных ртов с плохими зубами, и лица покрылись морщинами смеха, но звука не было. “Они, должно быть, мертвые”, подумал я, и мне стало страшно, и они все сразу побледнели, закрыли глаза и заколыхались в багровом и дымном огне, пропадая в живой, подвижной темноте углов. Но я закурил папиросу, и они ожили, закурили папиросы, и председатель сказал: // Не нужно галлюцинаций и диких снов. Надо говорить прямо и умно, как мы думаем. // У оратора было сонное лицо и сонные глаза, прикрытые тяжелыми веками, и говорил он медленно и очень умно. Слов я не слышал, и иногда они казались мне строчками – красными строчками на черной бумаге. // – Прежде всего нужно истребить все их книги и бумагу, – думал оратор, – потому что без книг они ничего не могут. У них у всех особенные лица, и вы их знаете, эти особенные лица, [и когда] не похожие на наши [и вы их знаете, эти особенные лица, не похожие на наши]; и когда на улице вы увидите такое лицо, оно украшено всегда хорошою, дорогою шляпою, и человек всегда одет очень тепло, хорошо и дорого. Значит, их книги – жульничество, их они одевают, а нас раздевают, и, значит, книги нужно уничтожить. Сколько мы ни крадем, сколько ни грабим и ни убиваем, а среди нас есть таланты и гении, – оратор поклонился собранию, и собрание ответило безмолвным широким “браво”, а председатель бесшумно позвонил в колокольчик, – сколько мы их ни грабим, они все одеты, а мы все раздеты. Следовательно, их способ лучше, и книги нужно уничтожить. Долото и отмычка так же бессильны против книг, как кулак или нож против пушки. Равным образом хлороформ и другие средства, употребляемые некоторыми из моих уважаемых товарищей при их операциях для придания объекту надлежащей податливости, ничего не стоят в сравнении с их книгами, и только то, что мы их книги не читаем, сохранило для нас свободное распоряжение членами. Я прочел все их книги... // Собрание затряслось от безмолвного хохота, и отовсюду посыпались возражения: // – А отчего же он гол? Оратор, где ваша шуба? // Председатель зазвонил, и оратор, покачиваясь

на носках, сонным взглядом обвел собрание и продолжал, – но прочел их кверху ногами и оттого остался невредим, и без шубы. Собранию известна причина, собравшая нас сюда. Их предложение отправить всех нас на войну, [для за(?)] так как здесь мы никому не нужны, а там можем заполнить их волчьи ямы, – было напечатано на бумаге, и многие свидетели могут подтвердить это под присягой... // – Да! Да! Под присягой! Продолжайте. // ...Но мы порядочные люди и так далеко на войну не поедem... // Долой оратора! Собрание протестует! Нас оскорбляют... // Председатель позвонил и мягко обратился к оратору: // – Товарищи оскорблены вашим эпитетом: порядочные. Прошу вас удерживаться в границах парламентской вежливости. // Оратор пожал плечами и поклонился. // – Извиняюсь. Но так далеко на войну мы не пойдем и вместо того, чтобы резать людей там, будем резать их здесь. [Здесь] Тут я снова перейду к вопросу о книге. Если, как предположено, мы сегодня отправимся на нашу войну, – то что бы мы делали, если бы не было книг? Мы могли бы бить кулаками, ножами, пожалуй, наконец, жечь дома, – но при всех усилиях это привело бы нас к ничтожнейшим результатам: даже при ихнем 11-часовом рабочем дне средний человек не может зарезать более трех-четырёх десятков, а принимая в расчет неизбежное сопротивление, даже, быть может, одного или двух. Но их ученые, составляющие книги, открыли более совершенные способы, ныне с таким успехом применяемые на войне, и дающие отличные результаты. // – Я всегда так думал! – закричал я в восторге. // Я надеюсь, что среди нас нет шпионов, – оратор, покачиваясь, сонно, несколько рисуясь, [обвел] оглядел собрание, – и я уполномочен г. председателем [р(?)] сообщить, что в распоряжении четвертой секции находится несколько десятков пудов динамита. Также приняты меры к тому, чтобы хотя часть их прекрасной артиллерии была своевременно захвачена в наши руки. Но начать нужно, я повторяю, с книг. Я кончил. // Председатель спросил, как настоящий, и все рассмеялись: // – Кто имеет возразить? // Поднялся большой грузный человек и, весь надуваясь и опадая, как шар, грубо сказал: // – Я стою за старый способ. Огонь также хорошее [орудие] средство... // Первый оратор, пивший глотками воду, вяло перебил: // – Я также не имею ничего против огня, более того, считаю его необходимым. Если бы вы читали книги, вы знали бы, что огонь, именно огонь [составляет] входит

в состав динамита – и всего остального. // – Я удовлетворен. Я только против новшеств... // – Кто еще? // Что-то с грохотом упало, все закружилось, огни и лица и клубы дымного, багрового тумана, и я упал куда-то очень глубоко. И в самое мое ухо торопливо, как колокольчик, резко и назойливо зазвучал чей-то высокий дребезжащий голос. // – Это ничего, что вы во сне и ворочаетесь. Я все равно скажу, так как необходимо точно установить возраст тех, кого мы будем истреблять. Я полагал бы, что их дети также подлежат истреблению... // – Не надо детей! – умолял я. // – Но особенно интересует меня вопрос об изнасиловании, – как поступать с женщинами и девушками, которых мы удостоили ласк? С одной стороны... // – Оставьте это: “с одной стороны”, – сказал председатель. // – Но с другой стороны, они, эти девушки, ведь будут матерями наших детей, – лицо оратора приняло сентиментальное выражение, – наших детей, господи! // – Отец всегда неизвестен, – [сказал я] прочел я в книге, которая была у меня в руках. Их тоже надо убивать. Для них лучше, если их убивать. // – Город уже горит: смотрите, какое зарево! – сказал кто-то. // Мы стояли за рекою, у стены какого-то огромного здания, со множеством дверей, откуда выходили темные силуэты людей, – и вдали горел город. Огонь и клубы красного дыма отражались в воде, и она была как кровь. Я попробовал ее – это была кровь, густая, горячая и соленая. // – Приведите пленного – сказал генерал. // Этот пленный был я. Меня взяли в сражении, и я был связан по рукам, и меня подвели к генералу. // – Смотрите, какой он белый, – сказал генерал. // Я был голый, и мне было стыдно и холодно. // – Ты шпион, и мы тебя повесим. // Это правда: я был шпионом и помню, как высматривал расположение их войск. Мне было страшно, а они все навалились на меня и душили, и я задыхался и громко стонал.

417 восьмой день / седьмой день ◊

421 непрерывно посылают / непрерывно стреляя ◊

422–423 живые люди превращаются в трупы / превращаются в трупы ◊

430–431 Если остатки этих людей / Когда остатки этих людей ◊

438 Будто бы появились / Будто бы... Будто бы появились ◊

441 самый ясный день / сам ясный день

462–463 ничего не было такого? / ничего не было такого? – говорят ◊

465 скорей стакан воды / скорее стакан воды

- 468–469 непрерывно из людей делают трупы / непрерывно делают трупы ◊
- 472 еще больше я встретил / еще больше я видел ◊
- 475 выкрикивал из человека / кричал из человека ◊
- 475–476 последнее свое проклятие / последнее проклятие ◊
- 491–492 тишины не выдержал его рассудок / тишины он не выдержал ◊
- 493 Теперь он спокоен / И теперь он спокоен ◊
- 494 кричат, и он тогда прислушивается и ждет / а. кричат, б. кричат, и он прислушивается и ждет ◊
- 498 долгие безмолвные ночи / безмолвные ночи ◊
- 499 немного сумасшедший / несколько сумасшедший ◊
- 505 со своими белыми / с своими белыми
- 511–512 ухаживала за мной / ухаживала за мною
- 517–518 под глазами круги, – сказала она ласково. / под глазами круги. ◊
- 527 стал перед ней / встал перед ней
- 537–538 как тебе, как брату. Они не виноваты. / как тебе, как брату. ◊
- 542 И я стал спокоен, и мне сделалось легко / Теперь я спокоен и мне легко ◊
- 550 своей зловещей пустотой / своей зловещей пустотою
- 563–564 вместе с покойным братом. А через час / вместе с покойным братом. До этого они работали с братом в одной редакции, и письмо адресовано на имя брата: по-видимому, ему еще не успели *(нрзб.)* или(?) сообщить о его смерти. А через час ◊
- 564–565 на имя брата / на имя покойного брата ◊
- 566 это все же лучше / это лучше ◊
- 572 каждый день с сатанинской аккуратностью писал / каждый день писал ◊
- 578 долго рассматривал конверт / долго рассматривал письмо ◊
- 589–590 написано карандашом на клочках / написано на клочках ◊
- 593 неизмеримо более интересных / неизмеримо более лукавых ◊
- 600–601 называют его в шутку / называют в шутку ◊
- 625 между собой / между собою
- 626 С твоей щепетильностью / С твоею щепетильностью
- 630 тебе не совсем / тебе сов(сем) ◊
- 631 ты понимаешь? Женщины. Черт возьми / ты понимаешь? Черт возьми ◊
- 641–642 нельзя было разобрать. / нельзя было разобрать. Я долго старался по почерку угадать писавшего *(нрзб.)* ◊

- 650 ни кровавой резни / ни крови ◇  
653–654 мне ясно стало, что / мне ясно, что  
656 Я сплю на спине / Я сплю ◇  
658 и сам я / и сам  
693–694 Все задвигалось, завыло / Все задвигалось, заволновалось,  
завыло  
696 ударила о забор, потом отнесла назад / ударила о забор, от-  
несла назад ◇  
703 полено, крутятся / полено, вертятся ◇  
704 концом ударило меня / ударило концом меня  
704 я упал и полез / я упал и вскочил ◇  
710–711 что-то рухнуло / что-то загрохотало ◇  
714–715 похожем на коридор / похожем на глухой коридор ◇  
717 снова чернели штабели / чернели штабели ◇  
719–720 сырым деревом, и снова выбрался наружу и не смел / сы-  
рым деревом, и не смел ◇  
720–721 что делается там / что там ◇  
726 но не знаю / но не помню ◇  
736 за моей спиной / за моей спиной  
738–739 увидел кусочек прилавка / увидел прил(авок) ◇  
740 Невдалеке от магазина / Невдалеке отсюда ◇  
744 Ты откуда? / Ты оттуда?  
750–751 нащупывали мне горло / нащупывали мое горло  
751 Я укусил его / Но я укусил его ◇  
756–757 пробежал бы ее / пробежал бы и ее  
759 казался мне чужим / казался мне неузна(ваемым?) ◇  
762 насили я нашел его / насили нашел его  
762–763 тут же, в наружном кармане / тут же, в кармане ◇  
766 Сперва я спрятался / ...Сперва я спрятался  
768 ошупью я запер / ошупью я закрыл ◇  
769 хотел загородить их / загородил их ◇  
774 где лицо было разбито / где было разбито ◇  
777–778 взглянуло из темноты что-то настолько безобразное / взгля-  
нуло что-то такое безобразное ◇  
779 был переломлен нос / был надломлен нос ◇  
781 Мне стало весело. / И мне стало весело.  
788 мне показалось / б(ыло) ◇  
789 Но я скоро / Но скоро я  
797 поблескивающий обрывок / обры(вок) ◇  
800 щупал камин, отворял шкапы / а. ошупывал камин, откры-  
вал шкафы б. ошупывал камин, отворял шкафы  
803 и сейчас это было бы / и это было бы ◇  
805 двигались молча какие-то люди / двигались молча какие-то ◇

809–810 я болен и у меня / я болен, но ◊  
 816 но ничего не освещал / но не ◊  
 828 что от брата идет / что это от брата идет  
 836 в широкие отверстия влился / в широкие отверстия свобод-  
 но влился  
 837 багровый свет / этот свет ◊  
 840 Мы подошли к окну. / Мы подошли к самому окну. ◊  
 845 и трехугольники подбородков. / (и треугольные) головы,  
 между шеей и подбородком.  
 848 Он также стоял у окна / а. Он тоже был здесь б. Он тоже сто-  
 ял у окна  
 849 жил в этом доме / жил в доме  
 851 сказала сестра / сказала жена ◊  
 857 вся земля просветлела / вся земля посветлела  
 868 сказала сестра / сказала жена ◊  
 871 И вот они пошевельнулись и дрогнули / И вот они дрог-  
 нули ◊

### МАПИ

(л. 59) ...в дымном и багровом огне, качались иплыли, как клочки тумана, какие-то странные образы. Временами они пропадали в темных углах, но иногда резко выдвигались вперед, и тогда я видел лица, освещенные с одной стороны, и клочки изорванных одежд. Они все непрестанно двигались и менялись, но по низким, приплюснутым лбам, по хищному и тревожно голодному выражению скотских лиц я узнал этих людей – умственную чернь города, созданную веками несправедливости, свою тупость и ограниченность сделавшую орудием жестокой бессознательной мести. Но я не знал, что их так много, что они собираются вместе и настолько овладели формами общежития, что могут устраивать настоящие правильные собрания. И помню, я, кажется, поздравил их или похвалил, а они все захохотали, но хохотали бесшумно: сразу открылось множество черных ртов с плохими зубами (л. 60) и лица покрылись морщинами смеха, но звука не было... “Они, должно быть, мертвые”, – подумал я, и мне стало страшно, и они все сразу побледнели, закрыли глаза и заколыхались в багровом и дымном огне, пропадая в живой, подвижной темноте углов. Но я закурил папиросу, и они ожили, закурили папиросы, и председатель сказал:

– Не нужно галлюцинаций и диких снов. Надо говорить прямо и умно, как мы думаем.

У оратора было сонное лицо и сонные глаза, прикрытые тяжелыми веками, и говорил он медленно и очень умно. Слов я не слышал, и иногда они казались мне строчками – красными строчками на черной бумаге.

– Прежде всего нужно истребить все их книги и бумагу, – думал оратор, – потому что без книги они ничего не могут. У них у всех особенные лица, и вы их знаете, эти особенные лица, не похожие на наши; и когда на улице вы увидите такое лицо, оно украшено всегда хорошею дорогою шляпою, и человек всегда одет очень тепло, хорошо и дорого. Значит, их книги – жульничество, их они одевают, а нас раздевают, и, значит, книги нужно уничтожить. Сколько мы ни крадем, сколько ни грабим и ни убиваем, а среди нас есть таланты и гении – оратор поклонился собранию, и собрание ответило безмолвным широким “браво”<sup>1</sup> – сколько мы их ни грабим, они все одеты, а мы все раздеты. Следовательно, их способ лучше, и книги нужно уничтожить. Долото и отмычка так же бессильны против книги, как кулак или нож против *⟨л. 61⟩* пушки. Равным образом хлороформ и другие средства, употребляемые некоторыми из моих уважаемых товарищей при их операциях для придания объекту подлежащей податливости, ничего не стоят в сравнении с их книгами, и только то, что мы их книг не читаем, сохранило для нас свободное распоряжение членами. Я прочел все их книги....

Собрание затряслось от безмолвного хохота, и отовсюду посыпались возражения:

– А отчего же он гол? Оратор, где ваша шуба?

Председатель зазвонил, и оратор, покачиваясь на носках, сонным взглядом обвел собрание и продолжал:

– ...но прочел их кверху ногами и оттого остался невредим, и без шубы. Собранию известна причина, привлекающая нас сюда. Их предложение отправить всех нас на войну, так как здесь мы никому не нужны, а там можем заполнить их волчьи ямы – было напечатано на бумаге, и многие свидетели могут подтвердить это под присягой....

– Да! Да! Под присягой! Продолжайте.

– ...Но мы порядочные люди и так далеко на войну не поедем.

– Долой оратора! Собрание протестует! Нас оскорбляют...

Председатель позвонил и мягко обратился к оратору:

– Товарищи оскорблены вашим эпитетом: порядочные. Прошу вас удерживаться в границах парламентской вежливости.

Оратор пожал плечами и поклонился.

---

<sup>1</sup> *Далее было:* , а председатель бесшумно позвонил в колокольчик

– Извиняюсь. Но так далеко на войну мы не пойдем и вместо того, чтобы резать людей там, будем резать их здесь. Тут я снова перейду к вопросу о книге. Если, как предположено, мы сегодня отправимся на нашу войну – то что бы мы делали, если бы *(л. 62)* не было книг! Мы могли бы бить кулаками, ножами, пожалуй, наконец, жечь дома – но при всех усилиях это привело бы нас к ничтожнейшим результатам: даже при ихнем 11-часовом рабочем дне средний человек не может зарезать более трех-четыре десятков, а принимая в расчет неизбежное сопротивление, даже, быть может, одного или двух. Но их ученые, составляющие книги, открыли более совершенные способы, ныне с таким успехом применяемые на войне и дающие отличные результаты.

– Я всегда так думал! – закричал я в восторге.

– Я надеюсь, что среди нас нет шпионов, – оратор, покачиваясь сонно, несколько рисуясь, оглядел собрание, – и я уполномочен г. председателем сообщить, что в распоряжении четвертой секции находится несколько десятков пудов динамита. Также приняты меры к тому, чтобы хотя бы часть их прекрасной артиллерии была своевременно захвачена в наши руки. Но начать нужно, я повторяю, с книг. Я кончил.

Председатель спросил как настоящий, и все рассмеялись.

– Кто имеет возразить?

Поднялся большой грузный человек и, весь надуваясь и опадая, как шар, грубо сказал:

– Я стою за старый способ. Огонь также хорошее средство.

Первый оратор, пивший глотками воду, вяло перебил:

– Я также не имею ничего против огня, более того, считаю его необходимым. Если бы вы читали книги, вы знали бы, что огонь, именно огонь, входит в состав динамита и всего остального.

– Я удовлетворен. Я только против новшеств...

– Кто еще?

*(л. 63)* Что-то с грохотом упало, все закружилось, огни и лица и клубы дымного багрового тумана, и я упал куда-то очень глубоко. И в самое мое ухо торопливо, как колокольчик, резко и назойливо зазвучал чей-то высокий дребезжащий голос.

– Это ничего, что вы во сне и ворочаетесь. Я все равно скажу, так как необходимо точно установить возраст тех, кого мы будем истреблять... полагал бы, что их дети также подлежат истреблению...

– Не надо детей! – умолял я.

– Но особенно интересует меня вопрос об изнасиловании – как поступать с женщинами и девушками, которых вы удостоили ласк? С одной стороны...

– Оставьте это: “с одной стороны”, – сказал председатель.

– Но с другой стороны, они, эти девушки, ведь будут матерями наших детей, – лицо оратора приняло сентиментальное выражение: – наших детей, господа!

– Отец всегда неизвестен, – прочел я в книге, которая была у меня в руках. – Их тоже надо убивать. Для них лучше, если их убивать.

– Город уже горит: смотрите, какое зарево! – сказал кто-то.

Мы стояли за рекою, у стены какого-то огромного здания, со множеством дверей, откуда выходили темные силуэты людей, – а вдали горел город. Огонь и клубы красного дыма отражались в воде, и она была как кровь. Я попробовал ее – это была кровь, густая, горячая и соленая.

### *Варианты машинописной редакции*

#### (МАП2)

#### ЧАСТЬ I

- 3 ЧАСТЬ I – *нет*.
- 34 на каждом стволе ружья, / на каждом стволе,  
120 Где-то над головою / И где-то над головою  
124 когда / и когда  
125–126 вижу просветлевшие / вижу посветлевшие  
130 Я подошел. / Я подошел...  
136 тучей безумия / тучею безумия  
146 или слушал грохот / или слушать грохот  
157–158 обоев и нетронутый / обоев, нетронутый ◊  
330–331 грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие  
волосами / грязные, заросшие волосами  
337–338 позади себя, старающиеся / позади себя, почесывающиеся,  
старающиеся  
338 заполнить ту / наполнить ту  
394 была виноватая в чем-то улыбка. / была виноватая, в чем-то  
виноватая улыбка.  
405 на голове у меня струпья, какая-то паршь / на голове  
у меня струпья, на голове у меня струпья, какая-то паршь  
416 что такое дом!.. / что такое долг!..  
444 ...я уже спал / ...уже спал  
500 осветил стены / осветив стены  
570 показал доктор рукой вперед / показал рукой доктор  
вперед  
573 – Двигаемся! / – Едем!  
581 на лугу / на летнем лугу

594 в своем призрачном свете, когда почти рядом / в своем  
призрачном свете. Тогда почти рядом  
600 он видит людей и огни / он видит людей и фонари  
692 со своими / с своими  
744 а потом их, оранжевую / а потом ихнюю, оранжевую  
813–814 упорно смотря на меня / смотря упорно на меня  
846–847 отъевшимися одичалыми собаками / отъевшимися  
собаками  
850 около него вырос десяток / около него не выросло десятка  
931 и я их не видел / и я их не видал  
951 это было то же лицо / и это было то же лицо  
968 четыре офицера осталось в живых / четыре офицера оста-  
лись в живых  
993 за мою спиною, у туалета, и я / за моей спиною, у туалета,  
и я  
1028–1029 я менее чувствителен / я становлюсь менее чувстви-  
телен  
1040 но как будто испугался / как будто испугался  
1095 одновременность ощущений, мыслей / одновременность  
ощущений, слез, мыслей  
1136 они жили / они ожили  
1145–1146 мыслить – это главное / мыслить и это главное  
1172 роняя цветы и песни. / роняя цветы и песни. Цветы  
и песни.

## ЧАСТЬ II

<sup>1</sup> ЧАСТЬ II – *нет*.

66 иногда дворник / и только дворник  
90 Сейчас прекратите войну / Сейчас же прекратите войну  
103 я был дьявол! / я был диавол!  
114 заискивающе улыбаясь бледными губами / улыбаясь блед-  
ными губами  
115–116 ударить длинной палкой / ударить длинной палкой  
132 Его уж раз вынули / Его уже раз вынули  
147 не заметивший этого солдат / не заметивший этого наш  
солдат  
148 чтоб защищаться / чтобы защититься  
159–160 я не вставал с кресла / я не встал с кресла  
222 перед собою / под собою  
232–233 враздробь / вразброд  
326 на лестнице / на лестничке

332–390 ...этот нелепый и страшный сон. ~ снова, кажется, заснул...<sup>1</sup>  
349 Что-то зловещее горело / Что-то зловеще горело  
376 оно упорно отставало / он упорно стаскивал  
378 они лежали беззащитными / они лежали беззащитные  
441 самый ясный день / сам ясный день  
505 со своими / с своими  
527 стал перед ней / встал перед ней  
550 своей зловещей пустотой / своей зловещей пустотою  
693–694 Все задвигалось, завыло / Все задвигалось, заволновалось,  
завыло  
704 концом ударило меня / ударило концом меня  
736 за моей спиной / за моей спиной  
744 Ты откуда? / Ты оттуда?  
750–751 нащупывали мне горло / нащупывали мое горло  
756–757 пробежал бы ее / пробежал бы и ее  
781 Мне стало весело. / И мне стало весело.  
789 Но я скоро / Но скоро я  
800 щупал камин, отворял шкапы / ощупывал камин, отворял  
шкафы  
836 в широкие отверстия влился / в широкие отверстия свободно  
влился  
845 и трехугольники подбородков. / и треугольные головы, меж-  
ду шеей и подбородком.  
848 Он также стоял у окна / Он тоже стоял у окна  
849 жил в этом доме / жили в этом доме  
857 вся земля просветлела / вся земля посветлела

*Варианты прижизненных изданий*  
(Б, СбЗн, Зн, Пр)

ЧАСТЬ I

120 Где-то над головою / И где-то над головою (Б, СбЗн, Зн)  
124–125 резки; когда, запыхавшись, / резки, и, когда, запыхавшись,  
(Б, СбЗн)  
130 Я подошел. / Я подошел... (Б, СбЗн)  
136 тучей безумия / тучею безумия (Б, СбЗн)  
146 или слушал грохот / или слушать грохот (Б, СбЗн, Зн)  
180–181 Дождь – как у нас / Дождь! – как у нас (Б, СбЗн, Зн, Пр)

---

<sup>1</sup> В машинописи данный текст наклеен на более раннюю версию сна героя (см.: Варианты ЧА2), от которой на л. 60 и 64а остались фрагменты частично зачеркнутого текста.

- 225 перед моими глазами / перед глазами моими (Б, СбЗн, Зн)  
 338 заполнить ту загадочную пустоту / наполнить ту загадочную пустоту (Б, СбЗн, Зн, Пр)
- 405 и на голове у меня струпья, какая-то паршь / и на голове у меня струпья, на голове у меня струпья, какая-то паршь (Б, СбЗн, Зн, Пр)
- 416 что такое дом!.. / что такое долг!.. (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
 500 осветил стены / осветив стены (Б, СбЗн, Зн)
- 713 в этом покойном движении / и в этом покойном движении (Б, СбЗн, Зн)
- 716–717 градом шрапнелей / градом шрапнели (Б, СбЗн, Зн)  
 780–781 зашептал учашенно, по-стариковски двигая / зашептал, учашенно, по-стариковски двигая (Б, Зн, Пр)
- 849 собираются на огонь / собираются на огонь (Б, СбЗн)  
 917 еще разок / еще разик (Б, СбЗн, Зн, Пр)
- 923 снова увидел голубенькие обои / снова увидел: голубенькие обои (Б, СбЗн)
- 932 Так, хорошо. / Так хорошо. (Б)  
 968 четыре офицера осталось в живых / четыре офицера остались в живых (Б, СбЗн, Зн)
- 993 за мою спину / за моей спиной (Б, СбЗн, Зн)  
 1028–1029 я менее чувствителен / я становлюсь менее чувствителен (Б, СбЗн, Зн, Пр)
- 1040 но как будто испугался / как будто испугался (Б, СбЗн, Зн)  
 1042 Я не могу понять, что это такое происходит. / нет (Б)  
 1095 одновременность ощущений, мыслей, страданий / одновременность ощущений, слез, мыслей, страданий (Б, СбЗн, Зн, Пр)
- 1136 они жили / они ожили (Б, СбЗн, Зн)  
 1154–1155 стал страшно рассеян / стал странно рассеян (Б, СбЗн, Зн, Пр)

## ЧАСТЬ II

- 37 не вспоминал ни разу / не вспомнил ни разу (Б, СбЗн, Зн)  
 38 призрачная бесконечная работа / призрачная и бесконечная работа (Б)
- 66 иногда дворник / и только дворник (Б, СбЗн, Зн)  
 67 по утрам приходит / по утрам приходил (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
 99–100 дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, / дома, с их женами и детьми, (Б)
- 103 я был дьявол! / я был диавол! (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
 141 не хочет назвать своего имени. / не хочет назвать своего имени! (Б)
- 148 чтоб защищаться / чтобы защититься (Б, СбЗн, Зн)  
 159–160 я не вставал / я не встал (Б, СбЗн, Зн)

- 174–175 не переводя взора / не переведя взора (Б, СбЗн, Зн)  
191 Довольно их жалели / Довольно уж жалели (Б, СбЗн)  
222 смотрел вниз перед собою / смотрел вниз под собою (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
334 беззащитный, обнаженный, он / беззащитный, он (Б)  
344–345 кто-то уж плакал / кто-то уже плакал (СбЗн)  
348 в полчище детей-убийц / в полчища детей-убийц (СбЗн)  
349 Что-то зловещее горело / Что зловеще горело (Б, СбЗн)  
378 лежали беззащитными / лежали беззащитные (Б, СбЗн)  
489–490 – и вдруг прекратились выстрелы, – и вдруг прекратилось “ура”, / нет (Б)  
550 своей зловещей пустотой / своей зловещей пустотою (Б, СбЗн, Зн)  
634–635 что-то печальное, такое печальное, такое грустное / что-то печальное, такое грустное (Б)  
644 представлял себе / представил себе (Б, СбЗн)  
680 Вы молодые, вы / Вы, молодые, вы (Б, СбЗн, Зн) / Вы молодые, вы (Пр)  
693–964 Все задвигалось, завывло / Все задвигалось, заволновалось, завывло (Б, СбЗн, Зн)  
744 Ты откуда? / Ты оттуда? (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
756–757 пробежал бы ее / пробежал бы и ее (Б, СбЗн, Зн)  
781 Мне стало весело. / И мне стало весело (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
800 щупал камин / ощупывал камин (Б, СбЗн, Зн)  
800 отворял шкапы / отворял шкафы (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
820 свет становился все сильнее / свет становился сильнее (Б)  
836 в широкие отверстия влился / в широкие отверстия свободно влился (Б, СбЗн, Зн)  
845 треугольники подбородков / треугольные головы (Б, СбЗн)  
848 Он также стоял / Он тоже стоял (Б, СбЗн)  
857 земля просветлела / земля посветлела (Б, СбЗн, Зн, Пр)  
878 8 ноября 1904 г. / нет (Б)

## ВОР

(С. 81)

### ЧА I

*⟨л. 1⟩* Он быстро, с испугом, точно спасаясь от близкой пого-ни, захлопнул за собою дверь вагона – и в то же мгновение пол дрогнул, мимо окна проплыло чье-то равнодушное лицо и колесо стукнуло мягко и осторожно: так. Так-так – ответили где-то сзади колеса, торопясь и сбиваясь; и он вздохнул глубоко, сильно, всем телом и сразу стал так презрительно спокоен, как будто никогда и никто не гнался за ним и не кричал: вор! держите вора!

И даже не улыбнулся он. У него были красивые, светлые, огромные усы, как два золотые серпа выступавшие по краям лица, и любовно он расправил<sup>1</sup> их, скручивая, завивая, нежа пальцы приятным ощущением густых и мягких волос. Потом поправил галстук, потом поиграл мизинцем, на котором старательно и голо сверкал огромный, фальшивый бриллиант, – и тогда только огляделся вокруг себя и увидел, что он один в пустом и грязном закоулке между уборной и двумя запертыми<sup>2</sup> дверями. Но он уже знал это. С закрытыми глазами, с ушами, заложенными ватой, он всегда безошибочно угадал<sup>3</sup> бы, один он или его окружают люди: как волк, он чувствовал присутствие людей. И как волк, любил *⟨л. 2⟩* их страшную и дразнящую близость.

В уборной он рассмотрел кошелек, уже старый, с засалив-шейся, потемневшей кожей: было в нем 24<sup>4</sup> рубля и мелочь, кото-рую он не стал считать. Была там еще какая-то записка и десять слипшихся марок: и то и другое он равнодушно выбросил. Он не любил этих смятых записок, этих марок и квитанций: они были чужие, и в них неприятно чувствовался<sup>5</sup> обокраденный человек.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Было: разгладил

<sup>2</sup> Было: закрытыми

<sup>3</sup> Было начато: угадав(?)

<sup>4</sup> Было: 54

<sup>5</sup> Далее было начато: тот –

<sup>6</sup> Далее было с абзаца: Вагон раскачивался и что-то пели колеса. На мгновение он почувствовал эту загадочную многообразную песнь струящегося железа и, снова беспокойный, вошел в вагон. Было уютно на мягком диване, и дама

Вагон раскачивался и что-то пели колеса. На мгновение он уловил эту загадочную песню бегущего железа, почувствовал в ней широкий простор и волю и, что-то в такт<sup>1</sup> надпевая, вошел в вагон. Теперь он старался быть, как и все, ⟨л. 3⟩ приличным, порядочным, вежливым, таким, чтобы все принимали его не за вора, а за чиновника из государственного банка. Садясь и вытягивая длинные ноги в желтых ботинках, он<sup>2</sup> слегка задел даму напротив и скромно извинился:

– Pardon!

Пальто у него было серое, из настоящего английского сукна, и ботинки желтые, и дама посмотрела на пальто и ботинки, потом на усы, и что-то ей не понравилось. И не ответила, когда он вежливо наклонился к ней длинным и худощавым туловищем и спросил:

– На дачу изволите ехать?

Он улыбнулся, а господин, рядом, потупил глаза и начал доставать папиросу. И оба они, господин и дама, внимательно<sup>3</sup> смотрели на его руку, лежавшую на коленях, – очень большую, очень белую руку с короткими ногтями. И сразу рука сделалась чужой, странной и сжалась в кулак, и сам он злобно и нагло осмотрел даму и господина и развязно закачал ногой.

– Дайте прикурить, – сказал он господину.

Тот молча протянул папиросу, и, прикуривая, Вальц<sup>4</sup> пристальным<sup>5</sup> и тяжелым взглядом остановился на его холодном и враждебном лице.

– У вас скверный табак, – нагло сказал он ⟨л. 4⟩ и бросил папиросу. – Охота курить такую дрянь.

И засмеявшись, очень довольный своею шуткой<sup>6</sup>, он вышел из вагона, и был совсем не похож на банковского чиновника, ни на кого из тех, кто сидели здесь и делали вид, что ничего не слышат и не видят.

---

напротив была хорошенькая, но она читала книгу и не смотрела на его усы. А бриллиант сверкал старательно и голо и бедно и как всегда, и как везде он почувствовал себя отдельным, непохожим, чужим. Было во всем его костюме что-то такое, что мешало ему слиться с порядочными красиво одетыми пассажирами [старших] [высших] первых классов и простыми людьми третьего.

<sup>1</sup> в такт *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было: ного(й)*

<sup>3</sup> *Было: пристально*

<sup>4</sup> *Было: он*

<sup>5</sup> *Было: пристально(?)*

<sup>6</sup> *Текст: очень довольный своею шуткой – вписан.*

Качался вагон и пели колеса, и пыль на толстом стекле золотилась от солнца. Уже было восемь<sup>1</sup> часов вечера, а майское<sup>2</sup> солнце еще светило и через все поле, через кустарники и бугры расстилало длинные красные лучи. На открытой площадке третьего класса, куда<sup>3</sup> перешел Вальц<sup>4</sup>, было широко, светло, пахло каменным углем и полем. И громче грохотали колеса, ляскало железо, что-то стучало; многоголосый шум расстилался под бегущим поездом, и был<sup>5</sup> похож на песню, на музыку, на торопливый разговор. И совсем не было города. Были зеленые<sup>6</sup> луга, и лес и прекрасные задумчивые дали, а города не было. В безмолвном и чутком просторе полей одиноко грохотал убегающий поезд<sup>7</sup>, на площадке одиноко стоял задумавшийся, удивленный человек – и не было ни мостовых, ни извозчиков, ни ресторанов. Пробежала кучка домов, и дома эти были маленькие, и разбросались свободно, и окна их смотрели в поле – прямо в поле. Если ночью подойти к окну и поглядеть, то увидишь поле – открытое, свободное и темное поле.

Вальцу стало неприятно, и захотелось в город, в ⟨л. 5⟩ ресторан “Прогресс”. Здесь на полях<sup>8</sup> еще день, а там горит уже электричество, в зеленом аквариуме плавают бессонные рыбы, и так хорошо там, так уютно. Здесь эти поля! Какой смысл в этом просторе? Кто смотрит оттуда впалыми, враждебными очами?

На коротенькой остановке таившаяся необъятная тишина полей точно проглотила все звуки, грохот и песню колес, и так красиво пахла она: березовым листом, травой и бесконечной далью. И то, что пел соловей, было тоже тишиной; и то, что кондуктор сказал “готово” – было тоже тишиной. На смежное полотно неуклюже, цепляясь<sup>9</sup> за подножку, соскочил какой-то пассажир и не оглядываясь<sup>10</sup> пошел. И такой он был странный, необыкновенный в этой тишине, как птица, которая всегда летает, а теперь вздумала пойти. Здесь нужно летать, а он шел, и тропинка была длинная, безвестная, а шаги его маленькие и короткие. И так смешно перебирал он ногами, – в этой тишине, в этой необъятной тишине.

---

<sup>1</sup> Было: девять (незач. вар.)

<sup>2</sup> майское вписано.

<sup>3</sup> Далее было: он

<sup>4</sup> Вальц вписано.

<sup>5</sup> В рукописи: было

<sup>6</sup> Далее было начато: пол(я)

<sup>7</sup> поезд вписано.

<sup>8</sup> на полях вписано.

<sup>9</sup> цепляясь подчеркнуто.

<sup>10</sup> оглядываясь подчеркнуто.

Перегнувшись за барьер, Вальц долго следил за ним – и улыбнулся ласково, как смешному ребенку. Но тотчас же нахмурился и с угрюмой враждебностью отвернулся от<sup>1</sup> полей. Вагоны бежали. Тот, в котором был Вальц, бежал как будто нагнувшись и сердито раскачивался; за ним ни быстрее, ни медленнее, точно сам собою, бежал другой (л. 6) такой же вагон, и был задумчивый, рассеянный, с потупленными глазами. А внизу расстилался многоголосый шум и чугунные колеса с мучительным восторгом пели и кричали что-то. И вдруг тот же мучительный восторг, похожий на слезы отчаяния, загорелся в его душе; и<sup>2</sup> стискивая в руках железный прут решетки, он закричал полю что-то призывное и громкое. Тряс<sup>3</sup> железный прут и кричал как испуганный.

Голос сливался с грохотом и звоном железа и<sup>4</sup> незаметно перешел в песню, и тактом для нее был стук колес, а мелодией – вся гибкая и прозрачная волна звуков. Но слов не было. Они не успевали сложиться; далекие и смутные и страшно широкие, как поле, они пробегали где-то с безумной быстротой, и человеческий голос свободно следовал за ними. Он поднимался и падал; и стлался по земле, скользя по лугам, пронизывая лесную чащу, и легко возносился к закатному небу, такому прекрасному и нежному. Когда весною выпускают птицу на свободу, она должна лететь так, как этот голос: без цели, без дороги, стремясь исчертить, обнять, почувствовать всю необъятную ширь небесного пространства.

Вальц пел, закинув голову назад, сверкая загоревшимися глазами, выставляя небу крепкие ровные зубы. Ему казалось, что только<sup>5</sup> силою его голоса, его (л. 7) желаний<sup>6</sup> движется весь этот тяжелый поезд, и крепко сжимал он согревшееся железо. О каком-то полете он пел; и те слова, что смутно мелькали в сознании и, быть может, громко выкрикивались им, были такие:

– Мы летим. Мы летим. Мы летим.

Он пел о какой-то радости, головокружительной бешеной радости, которую дают сила и победа; кого-то он пригнетал к земле, кого-то душил беспощадно и злобно – и забыв о нем, ложился грудью на зеленую траву и ласкался к ней:

– Милая. Милая. Милая!

И звал кого-то: приди. Отчего он не приходит? Солнце зашло и темнеют поля. Отчего он не приходит? Солнце зашло и темнеют

---

<sup>1</sup> Далее было: бегущих

<sup>2</sup> Далее было: впившись руками в

<sup>3</sup> Было начато: Ж(елезный?)

<sup>4</sup> Далее было: постепенно

<sup>5</sup> только вписано.

<sup>6</sup> Далее было начато: двиг(ается)

поля. Так одиноко, и так больно одинокой душе. Так одиноко, так больно. Приди. Солнце зашло. Темнеют поля. Приди!

Он уже не пел и еле слышно<sup>1</sup> протяжно говорил<sup>2</sup> побледневшими губами:

– Какая тоска. Какая смертная тоска. Вальц, Вальц, какая, брат, смертная тоска!

И замолчал, и потухшими глазами внимательно следил, как серой колючей лентой бежали камни на смежном пути. И тогда запели колеса, и пели они тихо и грустно<sup>3</sup>; лаская и мучая. О ком-то, кого ждут и он не приходит, о ком-то *⟨л. 8⟩* потерянном, о ком-то забытом. Нежно и задумчиво звенела тихая мелодия, а поля все темнели, и только небо над ушедшим<sup>4</sup> солнцем стало еще светлее и глубже, как прекрасное лицо, обращенное к тому, кого любят и кто тихо-тихо уходит.

## II

Прошел контроль и кондуктор вскользь, грубо заметил Вальцу:

– На площадке стоять нельзя. Идите в вагон.

И ушел, сердито хлопнув дверью. И так же сердито Вальц послал ему вдогонку:

– Болван!

И долго не мог успокоиться, как будто кондуктор жестоко оскорбил его. Расправлял усы и вслух громко твердил:

– Болван! Всегда и все стоят на площадке, а он: нельзя. Такая скотина.

Потом была остановка с ее внезапной и властной тишиною. Теперь, к ночи, трава и лес пахли еще сильнее, и сходявшие люди уже не казались такими смешными и тяжелыми<sup>5</sup>: прозрачные сумерки дали воздушность их телам и две женщины в светлых платьях, казалось, не пошли –<sup>6</sup> полетели, как лебеди. И опять стало весело и захотелось петь.

*⟨л. 9⟩* Но голос не слушался, на языке подвертывались какие-то ненужные, непевучие слова, и песня не выходила. Вальц сделал усилие, вызвал исчезнувшую грусть и что-то стало получать-

---

<sup>1</sup> Далее было начато: шепта*⟨л?⟩*

<sup>2</sup> говорил *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было: ; безнадежная уста*⟨лочь?⟩*

<sup>4</sup> Было: закатившимся (*незач. вар.*)

<sup>5</sup> Было: необыкновенными (*незач. вар.*)

<sup>6</sup> не пошли – *вписано*.

ся, когда внезапно выскочили дикие слова какой-то песни, часто<sup>1</sup> слышанной им в кафе-шантане:

– Маланья моя, лупоглазая...

Маланья моя, лупоглазая...

И слова были наглые, тоже какие-то лупоглазые, и прилипали они к мозгу бестолково, настойчиво, как муха, которая упорно садится на одно и то же место. Вальц пел что-то другое, а язык его покорно выговаривал:

– Маланья моя, лупоглазая...

Он досадливо морщился, кусал усы, но глупые и наглые слова не уходили. Он перестал петь и стал слушать грустную песню колес – но песни не было. Разноголосо и бестолково толклись колеса, и казалось, что все они цепляются друг за друга и друг другу мешают. И что-то стучало между ними и скрипело, и<sup>2</sup> было похоже на толпу пьяных, глупых, бестолково блуждающих людей. Но вот стали сливаться звуки; зарождалась песня; – и с отвращением он услышал:

– Маланья моя, лупоглазая!..

Тысяча гнусавых голосов с пьяным ухарством ⟨л. 10⟩ вопила, кричала, пела, свистела<sup>3</sup>. Широкими, круглыми ртами представлялись колеса<sup>4</sup> и сквозь бесстыжий смех, уносясь в пьяном вихре, каждое стучало и выло:

– Ма-ла-нья моя, лупо-глазая...

Угромо и враждебно, словно отвернувшись лицом, уходили во тьму пустынные поля, и скучно стало. Опять вспомнился ресторан “Прогресс”, и вспоминался настойчиво, подробно, с своими бессонными рыбами. Был он близко, как будто за дверью, и был он далеко, точно за сотни верст. И опять зарождался вопрос, тяжелый, смутный и злобный: зачем эти безграничные поля, и запахи травы, и тишина?<sup>5</sup> Вот бегут эти поля, все бегут, темные, молчаливые, притаившиеся; вон огонек: кто-то живет там. Странная жизнь. Ночью он подойдет к окну и увидит тьму; он выйдет за порог – будет тишина, будет грустный и широкий и вздыхающий запах поля. И тьма и тишина. А далеко от него<sup>6</sup> прогрехочет поезд – в нем, на площадке, стоит какой-то Вальц. Какой-то Вальц.

<sup>1</sup> часто *вписано*.

<sup>2</sup> *Было начато*: б(ыло)

<sup>3</sup> *Далее было* (с абзаца): – Маланья моя...

<sup>4</sup> *Было*: колесами

<sup>5</sup> *Далее было*: Какие-то люди, какие-то люди живут среди этих полей; какие-то люди

<sup>6</sup> от него *вписано*.

У него красивые большие усы и в кармане украденные деньги: 24 р(убля) и мелочь. Какой-то Вальц.

– Маланья моя, лупоглазая...

Страшно захотелось к людям. Нерешительно вздохнув и поправив шляпу, точно попрощавшись с площадкой и своими песнями, Вальц вошел в вагон. Сразу <л. 11> стало тише и бросился в нос<sup>1</sup> привычный запах человеческого<sup>2</sup> жилья. Верхние доски для спанья были подняты, и на них кто-то уже спал; внизу разговаривали, закусывали; какая-то баба качала ребенка. Вальц присел на кончик скамьи, небрежно потеснив кого-то, и стал слушать. Но разговор прервался, и минуты две стояло молчание.

–<sup>3</sup> Значит, плохо? – спросил наконец сосед Вальца, старый человек в городском платье, сильно поношенном, но чистом. По тону голоса видно было, что ему скучно и разговор для него неинтересен.

– На что уже хуже, – степенно ответил собеседник, и<sup>4</sup> голос его был уныло ровный, без изгибов, и слова выговаривались с мрачной и кроткой обстоятельностью. Вальц взглянул: высокий костлявый узкогрудый парень в пиджаке и сапогах бутылками; лицо длинное, истощенное, с застывшим выражением тупого удивления и скорби в приподнятых бровях. Вдоль лица висели гладко причесанные длинные и сухие волосы. И только взглянув, Вальц возненавидел этого парня, и его волосы и эту тупую и унылую<sup>5</sup> обстоятельность слов – о чем-то противном напоминали они.

Парень молчал, сосредоточенно переживая тупое удивление и скорбь.

– Однако, – сказал собеседник.

– В чем дело-то? – грубо осведомился Вальц.

<л. 12> Парню было безразлично, с кем говорить. Он вздохнул, поджал губы и обдуманно ответил:

– Дело такое, господин. С тех пор, как умерли мои родители, мне больше нигде стало столоваться. По первоначалу...

– Экая маланья! – раздраженно прервал Вальц.

– По первоначалу столовался я у шурина. Но, конечно, человек он грубый, и к тому же семья, каждый кусок на счету. Скажите, говорит, Иван Павлович, скажите, по какому...

---

<sup>1</sup> Далее было: обычны(й)

<sup>2</sup> Было: человеческая

<sup>3</sup> Далее было: Ну та(к?)

<sup>4</sup> Далее было: в противность словам,

<sup>5</sup> Было начато: ск(учную)

– Да ну тебя! – устало сказал Вальц и, точно тупое удивление парня передалась ему, медленно направился к выходу, толкаясь плечами о чьи-то ноги и не поднимая опущенных глаз.

Звуки бестолково и нудно толклись, и казалось, что они не движутся вперед, а расползаются, как раки. Что-то неприятно и равномерно скрипело, ржавым, надоедливый скрипом; было темно и скучно и никуда не хотелось: ни в город, ни туда, где в домике над рекой ждет его водка, женщины и угар.

– Все-таки напьюсь, – подумал Вальц, а что-то внизу скрипело ржавым однообразным скрипом и колеса уныло и безнадежно выстукивали: с тех пор, как умерли мои<sup>1</sup> родители, мне больше негде столоваться. С тех пор, как умерли мои родители...

Впереди засветились огни, и с порывом<sup>2</sup> встречного *⟨л. 13⟩* ветра на площадку ворвалась стая гармоничных, громких танцующих звуков военной музыки. Затишье – и снова, и снова закружились танцующие, веселые звуки. И так странны они были среди спящих полей, и так хороши, и так захотелось вмешаться в невидимую толпу и танцевать с нею, двигаться медленно и красиво, кланяться и улыбаться, и победоносно впиваться глазами в чьи-то улыбающиеся, грустные, глубокие глаза.

– Где это? Где это? – торопливо вслух спрашивал Вальц, перебегая<sup>3</sup> с одной стороны на другую. – Как хорошо!

### III

У самой станции, на площадке, был дачный бал. Висело много красных и синих фонариков, но они не могли рассеять тьмы, шедшей от огромных, старых деревьев. И, слабо освещенные, плавно двигались пары, кланялись и улыбались, и впивались глазами в глаза, и с сдержанной красивой страстью нежно<sup>4</sup> касались друг друга – такие странные среди огромной тьмы полей и леса, такие красивые, такие созвучные музыке, как будто не люди это были, а самые звуки, упавшие на землю<sup>5</sup>. И Вальцу казалось, что не в ушах его звучит музыка, а в нем самом, в его ногах и во всем его теле – и легкой походкой, внезапно сделавшейся красивой, он<sup>6</sup> подошел *⟨л. 14⟩* к кругу.

---

<sup>1</sup> мои *вписано*.

<sup>2</sup> Далее было начато: *ве⟨тра⟩*

<sup>3</sup> Было: *перебегал*

<sup>4</sup> Было: *еле*

<sup>5</sup> упавшие на землю *вписано*

<sup>6</sup> Далее было: *соскочил*

“Разве плюнуть и остаться здесь потанцевать?” – подумал он, чувствуя всего себя: сильного, красивого, с большими золотистыми усами, как острые края серпа выступающими по краям лица. И победоносно призывно, с таинственным намеком на какое-то неизведанное счастье и муку, он взглянул на девушку в белом. Она была высокая, красивая и стройная, эта девушка в белом, и она шла одна, эта девушка в белом. И она только что танцевала, и танец еще не покинул ее подымающейся<sup>1</sup> груди и ищущих, затуманенных глаз. И она взглянула на Вальца – эта гордая и прекрасная девушка в белом – и ударила его своим взглядом, как ножом ударила, в самую душу ударила. Только женщины умеют делать это – одним взглядом вырыть яму под ногами, унижить, растоптать, осудить спокойно на смерть – и спокойно уйти. Только они одни умеют это – одним<sup>2</sup> своим взглядом сказать о вражде и<sup>3</sup> ненависти всего мира и всей жизни.

Быстро, шагая к вагону, Вальц наткнулся на жандарма, извинился и<sup>4</sup> вспрыгнул на площадку. И тотчас погасли огни и музыка ушла куда-то назад – снова тьма, и холод и грохот колес. Холодно.

(л. 15) Бессильно склонив голову, Вальц застыл в тяжелой и мертвой думе. У нее не было ни начала, ни конца, и не двигалась она; и было это – отчаяние. Он видел себя и мир, и весь этот мир, с его душистыми и светлыми полями, с его необъятностью и красотой, с его чистыми девушками в белом и жандармами – был его врагом. А<sup>5</sup> он был маленький<sup>6</sup>, лишний и ненужный, как тот, кто пришел на пиршество без зова.

– Вальц, Вальц – какая, брат, смертная тоска!

<sup>7</sup>Вальцу часто приходилось оставаться одному, но теперь казалось, что<sup>8</sup> первый раз в жизни он один – среди этой тьмы, перед лицом чуждых, немых, загадочных полей. И как будто нет на нем ни пальто из настоящего английского сукна, ни желтых ботинок, а стоит он голый – единственное живое существо в этом безграничном мире. Бегут колыхаясь какие-то вагоны; какие-то темные и серые пятна и одинокие огни проносятся перед глазами – так непонятно все, так чуждо.

---

<sup>1</sup> подымающейся *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато*: быстр(ым)

<sup>3</sup> *Было начато*: в(сего?)

<sup>4</sup> *Далее было*: вошел в вагон

<sup>5</sup> *А вписано*.

<sup>6</sup> маленький *вписано*.

<sup>7</sup> *Перед*: Вальцу – *было*: Как

<sup>8</sup> *Далее было*: в

Но вот где-то хлопнула дверь вагона. Хлопнула она как обыкновенно, и был этот звук мирный и простой – но сердце его остановилось и внезапно все стало другим, живым, говорящим и страшным. Только дверь хлопнула – а он понял, узнал, как узнают это звери: что гонятся за ним. О нем телеграфировали, его видели, его узнали – и теперь ищут по вагонам.<sup>1</sup> Наклонившись, расширив *(л. 16)* глаза, остановивши дыхание, весь превратившись в напряженно-безмолвный комок, он слушает. Да, там идут, он чувствует это. Трое или четверо, с фонарем, они рассматривают пассажиров, приглядываются, будят спящих, шепчутся друг с другом – и шаг за шагом, с роковой неизбежностью приближаются к нему. И некуда бежать, и поезд несется с безумной быстротой, точно и ему нужно кого-то нагнать, кого-то спасающего(ся) и испуганного. И колеса не поют. Они кричат железными голосами, они шепчутся свирепо и глухо или визжат в диком упоении злобою, и всю свою озлобленную стаю звуков несутся в погоню.

Вальц быстро проходит<sup>2</sup> полуосвещенный вагон, на минуту останавливается, слышит дикий свист, скрежет и грохот погони, снова идет, толкаясь, наступая на ноги. Он дергает ручки дверей, и двери не под(д)аются, и от этого рождается ужас. И каждая открытая и пройденная увеличивает ужас и отнимает соображение. Ему кажется, что он прошел уже десятки, сотни вагонов, а впереди еще площадка, еще запертые двери – а там опять люди, и двери. И все это колыхается, и пол, и двери, и встречающиеся люди, и сам он качается как пьяный, и колеса свирепо грохочут. Вот наконец последняя площадка и перед нею глухая, темная стена багажного вагона<sup>3</sup> – дальше некуда бежать. Но он не может стоять. С безумной торопливостью в два шага<sup>4</sup> он перебегает с одного *(л. 20<sup>5</sup>)* конца площадки до другого, и ему кажется, что она не толчется на месте, а все убегает вперед.<sup>6</sup>

Наконец, утомленный, бессильный, он останавливается на дрожащих, подгибающихся ногах и прислоняется к<sup>7</sup> холодной стене вагона. Он поправляет и закручивает<sup>8</sup> усы, но трясущиеся<sup>9</sup> непослушные пальцы дергают волосы и причиняют боль. Холод-

<sup>1</sup> *Далее было начато: Ост(ановивши?)*

<sup>2</sup> *Далее было: один*

<sup>3</sup> *Вместо: багажного вагона – было: тендера*

<sup>4</sup> *в два шага вписано.*

<sup>5</sup> *Было: 17*

<sup>6</sup> *Текст: конца площадки ~ убегает вперед. – зачеркнут.*

<sup>7</sup> *Далее было: твердой*

<sup>8</sup> *Далее было начато: дро(жащими?)*

<sup>9</sup> *Было: дрожащие*

но, темно, и так страшно. Опять месяцы тюрьмы, быть может, годы. С него снимут пальто из английского сукна и желтые ботинки, наденут халат и твердые, стучащие туфли, и будет скука, грязь, расчесанное до крови тело, бесцельная ругань и злость. И это на целые месяцы, быть может, на годы.

Все колыхается и бежит, и в голове так мутно, и всю ее наполняет сатанинский грохот и вой. Вагоны бешено раскачиваются, толкают, отбрасывают его то к стене, то к узенькой железной полоске, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. И так странно, что гонятся именно за ним – хотя он тут же стоит на площадке; и так странно, и так страшно – участвовать в погоне за самим собою.

На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно – если крепче схватиться руками и тверже стать на ногах, то можно подумать, что все<sup>1</sup> это – страшный сон, какие бывают после водки. Снится *(л. 21<sup>2</sup>)* ночь и поезд. Снится, что он украл деньги и его преследуют. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно растворяют двери, рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся – и с дикой, смешной и жуткой медленностью шаг за шагом подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери...

Вальц снова бежит по площадке, качаясь от толчков, как пьяный. Жестокий, нерассуждающий страх бросает его от дерева и к железу, и снова к дереву, снова к железу – за которым, свистя и дыша холодом, поднимая волосы, приносится мутная, зловещая пустота. Тьма слепит его, и обжигает<sup>3</sup>, как самый яркий огонь; его оглушают дикие железные голоса преследователей. Они кричат и шепчутся, и хохочут с такой безумной веселостью, как будто опьянели они от злобы и быстрого бега. Двери открыты, – а они стучатся в них; двери открыты, – а они ломают их железными ржавыми ломками. Они разговаривают, быстро, потаенно, вонзаясь во тьму<sup>4</sup> острыми змеиными головами:

– Где он? Где он? – Его нет. Он там. – Его нет. – Сюда, скорее сюда. – Его нет. Ха-ха – сюда, сюда. – Несите огонь. – Что эт(о) там, вон там? – Ха-ха-ха. – Сюда. Он тут, он здесь.

И дикий, хриплый свист, ни на что не похожий, ни на один из смертных голосов, обнимает испуганного человека. То засвистал

---

<sup>1</sup> Было: это

<sup>2</sup> Было: 18

<sup>3</sup> и обжигает вписано.

<sup>4</sup> Далее было начато: бе(лыми?)

паровоз, приветствуя встречный<sup>1</sup> *⟨л. 19⟩* поезд, а Вальцу почудилось в нем что-то неопишимо ужасное, от чего поднялись волосы на голове его. И когда из мрака принеся ответный, все растущий, все приближающий(ся) рев – он отбросил железку и спрыгнул на смежное полотно, уже колеблющееся, мерцающее под быстро ползущим светом. Больно ударился обо что-то, охнул, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами – уже над ним почти висели три каких-то фонаря, три небольшие лампы за круглыми<sup>2</sup> стеклами.

Значения их он не понял.

*13 сентября 1904 г.*

## ЧА2

*⟨л. 1⟩*

ВОР

*⟨1⟩*

Федор Юрасов, вор, трижды<sup>3</sup> судившийся за кражи, собрался в гости к своей прежней любовнице, проститутке, жившей верст за семьдесят<sup>4</sup> от Москвы. На вокзале он сидел в буфете<sup>5</sup> первого класса, ел пирожки и пил пиво, и ему прислуживал человек во фраке; а потом, когда все двинулись к вагонам, вмешался в толпу и как-то нечаянно, подчиняясь общему возбуждению, вытащил кошелек у соседа, пожилого господина. Денег у Юрасова было достаточно, даже много, и эта случайная, необдуманная кража могла только повредить ему. Так оно и случилось. Господин<sup>6</sup>, кажется, заметил покражу, потому что очень пристально и странно взглянул на Юрасова и хотя не остановился, но несколько раз оглянулся на него. Второй раз он увидел господина уже из окна вагона: очень взволнованный и растерянный, со шляпою в руках, господин быстро шел по платформе и заглядывал в лица, смотрел назад и кого-то искал в окнах вагонов. К счастью, пробил третий звонок и поезд тронулся. Юрасов осторожно выглянул: господин,

<sup>1</sup> *Заменяющий несохранившийся фрагмент л. 18/21 текст: Вальц снова бегает ~ приветствуя встречный – печатается по редакции, вписанной в рабочую тетрадь (РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 183).*

<sup>2</sup> *Вместо: за круглыми – было: с грязными*

<sup>3</sup> *Было: четыре раза*

<sup>4</sup> *Было: шестьдесят*

<sup>5</sup> *Было: зале*

<sup>6</sup> *Далее было: (2 нрзб.) хватал (2 нрзб.) руку*

все еще со шляпою в руках, стоял в конце платформы и внимательно осматривал пробегающие *(л. 2)* вагоны, точно отсчитывал их; и в его толстых ногах, расставленных неловко, как попало, чувствовалась все та же растерянность и удивление. Он стоял, а ему, вероятно, казалось, что он идет: так смешно и необыкновенно были расставлены его ноги.

Юрасов выпрямился, выгнул назад колена, отчего почувствовал себя еще выше, прямее и молодеватее, и с ласковой доверчивостью обеими руками расправил усы. Усы у него были красивые, огромные, светлые, как два золотые серпа, выступавшие по краям лица; и пока пальцы нежились приятным ощущением мягких и пушистых волос, серые глаза с беспредметной, наивной суровостью глядели вниз – на переплетающиеся рельсы соседних путей. Со своими металлическими отблесками и бесшумными<sup>1 2</sup> извивами они похожи были на торопливо убегающих змей.

Сосчитав в уборной украденные деньги – их оказалось двадцать четыре рубля с мелочью, – Юрасов брезгливо повертел в руках кошелек: был он старый, засаленный, плохо закрывался, и вместе с тем от него пахло духами, как будто очень долго он находился в руках женщины. Этот запах, немного нечистый, но возбуждающий, приятно напомнил Юрасову ту, к которой он ехал, и улыбнувшись, веселый, беспечный, расположенный к дружелюбной беседе, он пошел в вагон. Теперь он старался быть, как и все, вежливым, приличным, скромным; на нем были надеты пальто *(л. 3)* из настоящего английского сукна и желтые ботинки, и он верил в них, в пальто и в ботинки, и был убежден, что все принимают его за молодого немца, бухгалтера из какого-нибудь солидного торгового дома. По газетам он всегда следил за биржей, знал курс всех ценных бумаг, умел разговаривать о коммерческом<sup>3</sup> деле<sup>4</sup>, и иногда ему казалось, что он действительно не крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды<sup>5</sup> судившийся за кражи и сидевший в тюрьме, а молодой порядочный немец по фамилии Вальтер, по имени Генрих. Генрих – звала его та, к которой он ехал; товарищи звали его “немцем”.

– Это место свободно? – вежливо осведомился он, хотя сразу видно было, что место свободно, так как на двух диванчиках сидели только двое, отставной офицер, старичок<sup>6</sup>, и дама с покупка-

---

<sup>1</sup> Было: мягкими

<sup>2</sup> Далее было вписано: скользкими

<sup>3</sup> коммерческом вписано.

<sup>4</sup> Было: деньгах

<sup>5</sup> Было: дважды

<sup>6</sup> Вместо текста: отставной офицер, старичок – было: студент

ми; по-видимому, дачница. Никто ему не ответил, и с изысканной аккуратностью он опустил на мягкие пружины дивана, осторожно вытянул длинные ноги в желтых ботинках и снял шляпу. Потом дружелюбно оглядел старичка-офицера<sup>1</sup> и даму и положил на колено свою широкую белую<sup>2</sup> руку, так чтобы сразу заметили на мизинце перстень с огромным бриллиантом. Бриллиант был фальшивый и сверкал старательно и голо, и все действительно заметили его, но ничего не сказали, не улыбнулись и не стали дружелюбнее. Старичок<sup>3</sup> перевернул газету на новую страницу, дама, молоденькая и красивая, уставилась в окно. И уже со смутным предчувствием, что он открыт, что его опять *⟨л. 4⟩* почему-то не приняли за молодого немца, Юрасов тихонько спрятал руку, которая показалась ему слишком большою и слишком белою, и вполне приличным голосом спросил:

– На дачу изволите ехать?

Дама сделала вид, что не слышит и что она очень задумалась. Юрасов хорошо знал это противное выражение<sup>4</sup> лица, когда человек безуспешно и злобно прячет насторожившееся внимание и становится чужим, мучительно чужим. И отвернувшись, он спросил у офицера<sup>5</sup>:

– Будьте любезны справиться в газете, как стоят Рыбинские? Я что-то не припомню.<sup>6</sup>

Старичок медленно отложил газету и, сурово оттянув губы книзу, уставился на него подслеповатыми, как будто обиженными глазами.

– Что? Не слышу?

Юрасов повторил, и пока он говорил, старательно разделяя слова, старичок-офицер неодобрительно оглядел его, как внука, который нашалил, или солдата, у которого не все по форме, и понемногу начал сердиться. Кожа на его черепе между редких седых волос покраснела, и подбородок задвигался.

– Не знаю, – сердито буркнул он. – Не знаю. Ничего тут нет такого. Не понимаю, о чем только люди спрашивают.

---

<sup>1</sup> Было: студента

<sup>2</sup> Было: большую

<sup>3</sup> Было: Студент

<sup>4</sup> Далее было: человеческого

<sup>5</sup> Было: студента

<sup>6</sup> Далее было с абзаца: [Студент] Старичок *⟨2 строки нрзб.⟩* // – Что? // Юрасов повторил вопрос, и пока он говорил, студент какими-то странно свободными, странно правдивыми глазами осмотрел всего его и так же странно правдиво и откровенно выразил на лице своем и досаду и даже как будто отвращение. // – Не знаю – сердито мотнул он головой. – Не знаю. Ничего тут нет такого. // И тогда все люди в вагоне показались

И уже снова взявшись за газетный лист, несколько раз опу-  
скал его, чтобы взглянуть сердито на надоедливого господина.  
И тогда все люди в вагоне показались<sup>1</sup> Юрасову<sup>2</sup> злыми и чужды-  
ми, и странно стало, что он сидит на мягком пружинном диване, и  
с глухой тоскою и злобой вспомнилось, как постоянно и всюду  
среди порядочных людей он встречает эту иногда<sup>3</sup> затаенную, а  
часто<sup>4</sup> открытую прямую вражду. На нем *(л. 5)* пальто из насто-  
ящего английского сукна и желтые ботинки и драгоценный пер-  
стень, а они как будто не видят этого, а видят что-то другое, свое,  
чего он не может найти ни в зеркале, ни в сознании. В зеркале он  
такой же, как и все, и даже лучше. На нем не написано, что он кре-  
стьянин Федор Юрасов, вор, дважды судившийся за кражи, а не  
молодой немец Генрих Вальтер. И это неуловимое, непонятное,  
предательское, что видят в нем все, а он только один не видит и не  
знает, будит в нем обычную глухую тревогу и страх. Ему хочется  
бежать, и, оглядываясь подозрительно и остро, совсем теперь не  
похожий<sup>5</sup> на честного немца-бухгалтера, он выходит большими и  
сильными шагами.

## II

Было начало июня месяца, и все перед глазами, до самой  
дальней неподвижной полоски лесов, зеленело молодо и сильно<sup>6</sup>.  
Зеленела трава, зеленели листья на деревьях, зеленели посадки  
в оголенных еще огородах, и все было так углублено в себя, так  
занято собою, так глубоко погружено в молчаливую творческую  
думу,<sup>7</sup> что если бы у травы и у деревьев были лица – все лица  
были бы обращены к земле, все лица были бы задумчивы и чуж-  
ды, все уста были бы скованы огромным бездонным молчанием.  
И Юрасов, бледный, печальный, одиноко стоявший на зыбкой  
площадке вагона, *(л. 6)* тревожно почувствовал эту стихийную  
необъятную думу, и от прекрасных, молчаливо загадочных полей  
на него повеяло<sup>8</sup> тем же холодом отчуждения, как и от людей  
в вагоне. Высоко над полями стояло небо и тоже смотрело в себя,

---

<sup>1</sup> *Текст:* Старичок медленно отложил ~ все люди в вагоне показались – *вписан на л. 3 об.*

<sup>2</sup> Юрасову *вписано.*

<sup>3</sup> *Было:* то

<sup>4</sup> *Вместо:* а часто – *было:* то

<sup>5</sup> *не похожий вписано.*

<sup>6</sup> *Далее было:* в глубоком покое свободно развивающейся жизни

<sup>7</sup> *Было:* –

<sup>8</sup> *Было:* веяло

где-то за<sup>1</sup> спиною Юрасова<sup>2</sup> заходило солнце и по всему простору земли расстилало длинные, прямые лучи – и никто не смотрел на него в этой пустыне, никто не думал о нем и не знал. В городе, где Юрасов родился и вырос, у домов и улиц есть глаза, и они смотрят ими на людей, одни враждебно и зло, другие ласково – а здесь никто не смотрит на него и не знает о нем. И вагоны задумчивы: тот, на котором находится Юрасов<sup>3</sup>, бежит нагнувшись и сердито покачиваясь; другой, сзади, бежит ни быстрее, ни медленнее, как будто сам собою, и тоже как будто смотрит в землю и прислушивается. А понизу под вагонами стелется разноголосый грохот и шум: то как песня, то как музыка, то как чей-то чужой и непонятный разговор – и все о чужом, все о далеком.<sup>4</sup>

Есть тут<sup>5</sup> и люди. Маленькие, они что-то делают в этой зеленой пустыне, и им не страшно. И даже весело им: вот откуда-то принесся обрывок песни и утонул в грохоте и музыке колес. Есть тут<sup>6</sup> и дома. Маленькие, они разбросались свободно, и окна их смотрят в поле, прямо в поле. Если ночью подойти к окну, то увидишь поле – открытое, свободное, темное<sup>7</sup> поле.

⟨л. 7⟩ И<sup>8</sup> сегодня и вчера, и каждый день, и каждую ночь проходят здесь поезда, и каждый день раскидывается здесь это тихое<sup>9</sup> поле с маленькими людьми и домами. Вчера Юрасов в эту пору сидел в ресторане “Прогресс” и не думал ни о каком поле, а оно было, такое же как сегодня, такое же тихое, красивое, о чем-то думающее. Вот прошла небольшая роща из старых больших берез с грачиными гнездами в зеленых верхушках. И вчера, пока Юрасов сидел в ресторане “Прогресс”, пил водку, гадел с товарищами и смотрел на<sup>10</sup> аквариум, в котором плавают<sup>11</sup> бессонные рыбы, – все так же глубоко покойно стояли эти березы, и мрак был под ними и вокруг них.

Со странной мыслью, что только город – настоящее, а это все призрак, и что если закрыть глаза и потом открыть их, то никакого поля не будет, – Юрасов крепко зажмурился и притих. И сразу стало так хорошо и необыкновенно, что уже не захотелось снова

---

<sup>1</sup> Далее было начато: Юр(асовым)

<sup>2</sup> Юрасова вписано.

<sup>3</sup> Было: Вальц

<sup>4</sup> Далее было: Все о чужом, все о далеком.

<sup>5</sup> тут вписано.

<sup>6</sup> тут вписано.

<sup>7</sup> Было: притаившееся

<sup>8</sup> Далее было: вчера и

<sup>9</sup> Было: зеленое

<sup>10</sup> Далее было начато: б(ессонных?)

<sup>11</sup> Далее было: странные(?)

открывать глаза, да и не нужно было: исчезли мысли, сомнения и глухая, постоянная тревога; тело безвольно и сладко колыхалось в такт колыханиям вагона, и по лицу нежно струился теплый и осторожный воздух полей. Он доверчиво поднимал пушистые усы и<sup>1</sup> шелестел в ушах, а внизу под ногами расстилался ровный и мелодичный шум колес, похожий на музыку, на песню, на чей-то *⟨л. 8⟩* разговор о далеком, грустном и милом. И Юрасову смутно грезилось, что от самых ног его, от склоненной головы и лица, трепетно чувствующего мягкую пустоту пространства, – начинается зелено-голубая бездна, полная тихих слов и робкой, притаившейся ласки.<sup>2</sup> И так странно: как будто где-то далеко шел тихий и теплый дождь.

Поезд замедлил бег и остановился, на мгновение, на одну минуту. И сразу, со всех сторон, Юрасова охватила такая необъятная и сказочная тишина, как будто это была не минута, пока стоял поезд, а годы, десятки лет, вечность. И все было тихо: темный, маленький камень, прильнувший к железному рельсу, угол красной крытой платформы, низенькой и пустынной, трава на откосе. Пахло березовым листом, лугами, свежим навозом – и этот запах был все той же всевременною необъятной<sup>3</sup> тишиною. На смежное полотно неуклюже, цепляясь за поручни, соскочил какой-то пассажир и пошел. И такой был он странный, необыкновенный в этой тишине, как птица, которая всегда летает, а теперь вздумала пойти. Здесь нужно *⟨л. 9⟩* летать, а он шел, и тропинка была длинная, безвестная, а шаги его маленькие и короткие. И так смешно перебирал он ногами – в этой тишине, в этой необъятной тишине.<sup>4</sup>

Бесшумно, точно сам стыдясь своей громогласности, двинулся поезд, и только за версту от тихой<sup>5</sup> платформы, когда бесследно сгнула она в зелени леса и полей, свободно<sup>6</sup> загрохотал он всеми звеньями своего железного туловища. Юрасов в волнении прошелся<sup>7</sup> по площадке, такой высокий, худощавый, гибкий,

---

<sup>1</sup> и *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было*: Разорванно мелькали в мозгу клочки каких-то улиц с ярко освещенным булыжником, какие-то лица, аквариум с бессонными рыбами, и таяли, как дым от паровоза, а за ними, из неведанной глубины, вставало что-то огромное, тихое, страшно радостное и страшно грустное.

<sup>3</sup> *Было*: необъятною

<sup>4</sup> *Далее было с абзаца*: И снова тихонько запели колеса свою загадочную песню неустанного бега. Юрасов в волнении прошелся

<sup>5</sup> тихой *вписано*.

<sup>6</sup> свободно *вписано*.

<sup>7</sup> *Текст*: Бесшумно, точно сам ~ Юрасов в волнении прошелся – *вписан на л. 8 об.*

бессознательно расправил усы, глядя куда-то вверх блестящими глазами, и жадно прильнул к железной задвижке, с той стороны вагона, где<sup>1</sup> опускалось<sup>2</sup> за горизонт красное<sup>3</sup> огромное<sup>4</sup> солнце<sup>5</sup>. Он что-то нашел; он понял что-то, что всю жизнь ускользало от него, и делало эту жизнь такой неуклюжею и тяжелой, как тот пассажир, которому нужно было бы лететь, как птице, а он шел.

– Да, да – серьезно и озабоченно твердил он и решительно покачивал головою. – Конечно, так. Да. Да.

И колеса гулко и разноголосо<sup>6</sup> подтверждали: “конечно, так – да<sup>7</sup>, – да”, “конечно, так – да, да”. И как будто так и нужно было<sup>8</sup>: не говорить, а петь, – Юрасов запел сперва тихонько, потом все громче и громче, пока не слился его<sup>9</sup> голос с звоном и грохотом железа<sup>10</sup>. И тактом для этой песни был стук колес<sup>11</sup>, а мелодией – вся гибкая и прозрачная волна звуков. Но слов не было. Они не успевали сложиться; далекие, и смутные, и страшно широкие, как поле, они пробегали где-то *(л. 10)* с безумной быстротою, и человеческий голос свободно и легко следовал за ними. Он поднимался и падал; и стлался по земле, скользя по лугам, пронизывая лесную чащу, и легко возносился к небу, теряясь в его безбрежности. Когда весною выпускают птицу на свободу, она должна лететь так, как этот голос: без цели, без дороги, стремясь исчертить, обнять, почувствовать всю звонкую<sup>12</sup> <sup>13</sup>ширь небесного пространства. Так, вероятно, запели бы сами зеленые поля, если бы дать им голос; так поют в летние тихие вечера те маленькие<sup>14</sup> люди, что копошатся над чем-то в зеленой пустыне.

<sup>15</sup>Юрасов пел, и багровый отсвет заходящего солнца горел на его лице, на его пальто из английского сукна и желтых ботинках. Он пел, провожая солнце, и все грустнее становилась его песня: как будто почувствовала птица всю звонкую ширь небесного

---

<sup>1</sup> *Далее было:* заходил

<sup>2</sup> *Было:* опускался

<sup>3</sup> *Было:* красный

<sup>4</sup> *Было:* огромный

<sup>5</sup> *Было:* солнечный шар

<sup>6</sup> *Вместо:* гулко и разноголосо – *было:* в такт

<sup>7</sup> *Было:* Да

<sup>8</sup> *Далее было начато:* *(нрзб.)*

<sup>9</sup> *Далее было:* простой и не по-городски свежий

<sup>10</sup> *Было:* колес

<sup>11</sup> колес *вписано.*

<sup>12</sup> *Было:* необъятную

<sup>13</sup> *Далее было начато:* не(бесную?)

<sup>14</sup> *Далее было:* серые

<sup>15</sup> *Далее было:* Вальц

пространства, содрогнулась неведомою тоскою и зовет кого-то: приди.

Солнце зашло, и серая паутина легла на тихую землю и тихое небо. Серая паутина легла на лицо; меркнут на нем последние отблески заката, и мертвеет оно. Приди ко мне! Отчего ты<sup>1</sup> не приходишь<sup>2</sup>? Солнце зашло, и темнеют поля. Отчего ты<sup>3</sup> не приходишь<sup>4</sup>? Солнце зашло, и темнеют поля. Так одиноко и так больно одинокому сердцу. Так одиноко, так больно. Приди! Солнце зашло. Темнеют поля. Приди же! Приди!

⟨л. 11⟩<sup>5</sup> Так плакала его душа.<sup>6</sup> А поля все темнели, и только небо над ушедшим солнцем стало еще светлее и глубже, как прекрасное лицо, обращенное к тому, кого любят и кто тихо-тихо уходит.

### III

Проследовал<sup>7</sup> контроль, и кондуктор вскользь, грубо, заметил Юрасову:

– На площадке стоять нельзя. Идите в вагон.

И ушел, сердито хлопнув дверью. И так же сердито Юрасов послал ему вдогонку:

– Болван!

Ему подумалось<sup>8</sup>, что все это, и грубые слова, и сердитое хлопанье дверью, все это идет оттуда, от порядочных людей в вагоне. И снова чувствуя себя немцем, Генрихом Вальтером, он обидчиво и раздраженно, высоко поднимая плечи, говорил воображаемому солидному господину:

– Нет, какие грубияны! Всегда и все стоят на площадке, а он: нельзя. Черт знает что!

Потом была остановка с ее внезапной и властной тишиною. Теперь к ночи трава и лес пахли еще сильнее, и сходявшие люди уже не казались такими смешными и ⟨л. 12⟩ тяжелыми: прозрачные сумерки точно окрылили их, и две женщины в светлых

---

<sup>1</sup> Было: он

<sup>2</sup> Было: приходит

<sup>3</sup> Было: он

<sup>4</sup> Было: приходит

<sup>5</sup> Далее было: Тихо и грустно пели колеса, как будто и их ⟨2 нрзб.⟩ опутала серая паутина ⟨нрзб.⟩. О ком-то, кого ждут и он не приходит, о ком-то потерянном, о ком-то забытом.

<sup>6</sup> Текст: Так плакала его душа. – вписан.

<sup>7</sup> Было: Прошел

<sup>8</sup> Было: показалось

платях, казалось, не пошли, а полетели, как лебеди. И снова стало хорошо и грустно и захотелось петь – но голос не слушался, на язык подвертывались какие-то ненужные и скучные слова, и песня не выходила. Хотелось задуматься, заплакать сладко и безутешно, а вместо того все представлялся какой-то солидный господин, которому он говорит вразумительно и веско:

– А вы заметили, как поднимаются Сормовские?

И темные, сдвинувшиеся поля снова думали о чем-то своем, были непонятны, холодны и чужды. Разноголосо и бестолково толклись колеса, и казалось, что все они цепляются друг за друга и друг другу мешают. Что-то стучало между ними и скрипело ржавым скрипом<sup>1</sup>, что-то отрывисто<sup>2</sup> шаркало: было похоже на толпу пьяных, глупых, бестолково блуждающих людей.<sup>3</sup>

Потом эти люди стали собираться в кучку, перестраиваться, и все запестрели яркими кафешантанными костюмами. Потом двинулись вперед и все разом пьяным разгульным хором гаркнули:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

---

<sup>1</sup> ржавым скрипом *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато: тьявка(ло)*

<sup>3</sup> *Далее было (под вклейкой на л. 12):* Но вот стали нерешительно сливаться звуки; зарождалась песня; – и все разом, пьяным разгульным хором колес(?) гаркнули: // – Ма-ланья моя, лупоглазая!.. // Юрасов злобно стиснул зубы, отбиваясь от наглых жутко бессмысленных слов, но они липли к мозгу, как мухи, которые упорно садятся на одно и то же место – но они липли, [такие] наглые, тоже какие лупоглазые и безмерно бесстыдные: // – Ма-ланья моя, лу-по-глаз-зая, лупо-гла-за-я... // <л. 13 (старая пагинация)> Что-то бесформенное и чудовищное, мутное и липкое тысячами толстых губ присасывалось к Юрасову, целовало его мокрыми нечистыми поцелуями и гоготало, как зверь, открывая темную и зловонную пасть. И орало тысячами глоток, свистало, выло, завивалось в [к(лубок)] маслянистый клубок – и снова рассыпалось скачущим бессмысленно радостным хаосом звуков. Широкими, круглыми рожами представлялись колеса, и сквозь бесстыжий смех, уносясь в пьяном вихре, каждое стучало и выло: // – Ма-ланья моя, лупо-гла-за-я... // Юрасов тоскливо морщился, отмахивался головою, как человек, которому очень больно и он ничем не может унять назойливую, сверлящую боль, но ничего не мог сделать. И пока [голо(ва)] слух его разрывался диким и пьяным хором, в памяти вставали нелепые, странные и почему-то дрожащие картины. Вот [кусочек на тарелке] на бумаге [кусочек] обрезок колбасы с кусочками сала – стоит перед глазами – ворочается вместе с ними и сам как будто смотрит. Вот какие-то лица, смазанные, колеблющиеся, точно плавающие на воде. Вот высокая, плоская, кирпичная стена огромного дома – глухая, без окон, красная и тупая. И все это прыгает, бестолково мечется в голове, как голодные крысы в крысоловке, сплетается в бессвязный и мучительный кошмар. И крутится, уносясь в диком вихре, все тот же хохочущий вой: // – Маланья моя, лупогазая...

Так омерзительно живо вспомнилась Юрасову<sup>1</sup> эта песня, которую он слышал во всех городских садах, которую пели его товарищи и он сам, что захотелось отмахиваться от нее руками, как от чего-то живого, как от камней, брошенных из-за угла. И такая жестокая власть была в этих жутко-бессмысленных словах, липких, наглых,<sup>2</sup> что весь длинный «(л. 13)» поезд сотнею крутящихся колес подхватил<sup>3</sup> их:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Что-то бесформенное и чудовищное, мутное и липкое тысячами толстых губ присасывалось к Юрасову, целовало его мокрыми нечистыми поцелуями, гоготало. И орало оно тысячами глоток, свистало, выло, клубилось по земле, как бешеное. Широкими круглыми рожами представлялись колеса и сквозь бесстыжий смех, уносясь в пьяном вихре, каждое стучало и выло:

– Маланья моя, лупоглазая.<sup>4</sup>

«(л. 13а)» И только поля молчали. Холодные и спокойные, глубоко<sup>5</sup> погруженные в чистую творческую думу, они ничего не знали о человеке далекого каменного города и чужды были его

---

<sup>1</sup> Юрасову *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было*: каких-то лупоглазых и бесстыдных,

<sup>3</sup> *Далее было*: ее:

<sup>4</sup> *Далее было с абзаца*: И только поля молчали. // На вокзале Юрасов выпил одну лишь бутылку пива, а от этой песни ему казалось, что он пьян, давно пьян, тяжелым бредовым хмелем; и то, что самовольно [встава⟨ло⟩] поднималось в разбуженной памяти, было разорванно, дико, без начала и конца, и все почему-то дрожало. Какие-то незнакомые лица, смазанные, колеблющиеся, точно плавающие на воде. Кусок колбасы на тарелке. Высокая плоская кирпичная стена огромного дома – глухая, без окон, страшная. И сад. В этом саду... о-х! в этом саду его раз ловили и все были пьяны: и он и те, кто гнались за ним. Было немного похоже на игру и вместе с тем очень страшно. Где-то сидел он в темном углу, в темной дыре, а возле ходили, и музыка играла. Какие-то доски, свежесть и покой разрыхленной земли, [боч⟨ка⟩] развалившаяся бочка с засохшей известью. Кошка прошла мимо, [такая] задумчивая, равнодушная кговору и музыке, такая неожиданная в этом месте. Он был пьян и позвал ее: кысь-кысь, (л. 14) и кошка [подошла] вернулась, дала себя погладить и ушла, такая [...] задумчивая, посторонняя. Кошка. Какая-то кошка... А на полях тишина. А колеса грохочут, и воют; и ⟨вертя⟩тся ⟨?⟩ в голове жутко-бессмысленные слова. // Совсем близко – перед самыми глазами, вскакивает та, к которой он едет: с вытянутым, точно перекосившимся лицом и жадными, неморгающими глазами, она молча прыгает перед ним, держась руками за юбки. Под [одним] левым глазом у нее то появляется, то сходит синяк, и Юрасов никак не может рассмотреть его. Давно когда-то, еще в Москве, он жестоко избил ее и у нее был синяк, много синяков, а теперь она богатая, сама держит девушек для продажи, у нее много водки, много закусок. И он будет пить много-много; и он опять избьет ее до крови, до поросычьего визга, а она будет извиваться у его ног, [целовать] лизать его руки, как кошка, как собака. А потом он будет

<sup>5</sup> *Было начато*: пог⟨руженные⟩

душе, встревоженной и ошеломленной мучительными воспоминаниями. Поезд уносил Юрасова вперед, а эта наглая и бессмысленная песня звала его назад, в город, тащила грубо и жестоко, как беглеца-неудачника, пойманного на пороге тюрьмы. Он еще упирается, он еще тянется руками к неизведанному счастливому простору, а в голове его уже встают, как роковая неизбежность, жестокие картины неволи среди каменных стен и железных решеток. И то, что поля так холодны и равнодушны и не хотят ему помочь, как чужому, наполняет Юрасова чувством безысходного одиночества. И Юрасов пугается – так неожиданно, так огромно и ужасно это чувство, выбрасывающее его из жизни, как мертвого. Если бы он заснул на тысячу лет и проснулся среди нового мира и новых людей, он не был бы более одинок, более чужд всему, чем теперь.<sup>1</sup> Он хочет вызвать в памяти что-нибудь близкое, милое, но его нет, а наглая песня ревет в поработанном мозгу и родит печальные и жуткие воспоминания, бросающие тень на всю его жизнь. Вот тот же сад, где пели эту “маланью”. И в этом саду он украл что-то и его ловили, и все были пьяны: и он, и те, кто гнались за ним с криком и<sup>2</sup> свистом. Он спрятался где-то, в каком-то темном углу, в черной (л. 13б) дыре, и его потеряли. Он долго сидел там, возле каких-то старых досок, из которых торчали гвозди, рядом с развалившейся бочкою засохшей извести; чувствовалась свежесть и покой разрыхленной земли, и молодым тополем сильно пахло, а по дорожкам, недалеко от него,<sup>3</sup> гуляли разодетые люди, и музыка играла. Прошла мимо серая кошка, задумчивая, равнодушная к говору и музыке, –<sup>4</sup> такая неожиданная в этом месте. И она была добрая кошка: Юрасов позвал ее: “кыс-кыс”, и она подошла, помурлыкала, потерлась у его колен и дала поцеловать себя в мягкую мордочку, пахнущую мехом и селедкой. От его поцелуев она зачхала и ушла, такая важная и равнодушная, как высокопоставленная дама, а он после этого вылез из своей засады и его схватили.

Но там была хоть кошка, а здесь только равнодушные и сытые поля, и Юрасов начинает ненавидеть их всюю силою своего одиночества. Если бы дать ему силу, он забросал бы их камнями; он собрал бы тысячу людей и велел бы вытоптать догола эту нежную лживую зелень, которая всех радует, а из его сердца пьет последнюю кровь. Зачем он поехал? Теперь он сидел бы в ресто-

---

<sup>1</sup> *Далее было:* Ему хо(чется?)

<sup>2</sup> *Далее было:* визгом

<sup>3</sup> *Далее было:* ходили

<sup>4</sup> *Далее было начато:* не(ожиданная?)

ране “Прогресс” и пил бы пиво, и разговаривал, и смеялся. И он начинает ненавидеть ту, к которой едет, убогую и грязную подругу своей грязной жизни. Теперь она богатая<sup>1</sup> и сама содержит девушек для продажи; она любит его и дает ему денег, сколько он захочет, а он приедет и изобьет ее до крови, до поросычьего визга. А потом он напьется пьян и будет<sup>2</sup> *⟨л. 14⟩* плакать, душить себя за горло и петь, рыдая:

– Маланья моя...

Но колеса уже не поют. Устало, как больные дети, они жалобно рокочут и точно жмутся друг к другу, ища ласки и покоя. С высоты спокойно глядит на него строгое звездное небо и со всех сторон обнимает его строгая, девственная тьма полей, и одинокие огоньки в ней – как слезы чистой<sup>3</sup> жалости на прекрасном и задумчивом лице. А далеко впереди маячит зарево станционных огней, и оттуда, от этого светлого пятна, вместе с теплым и свежим воздухом ночи прилетают мягкие и нежные<sup>4</sup> звуки музыки. Кошмар исчез; – и с привычной легкостью человека, который не имеет места на земле<sup>5</sup>, Юрасов сразу забывает его и взволнованно прислушивается, улавливая знакомую мелодию.

*⟨л. 15⟩* – Танцуют! – говорит он и вдохновенно<sup>6</sup> улыбается, и счастливыми глазами оглядывается кругом, поглаживая себя руками, точно обмываясь. – Танцуют! Ах ты черт возьми. Танцуют!

Расправляет плечи, незаметно выгибается в такт знакомому танцу, весь наполняется живым чувством ритмического, красивого движения. Он очень любит танцы, и когда танцует, становится очень добр, ласков и нежен, и уже не бывает ни немцем Генрихом Вальтером, ни Федором Юрасовым, вором, которого постоянно судят за кражи, а кем-то третьим, о ком он ничего не знает. И когда с порывом ветра рой звуков уносится в темное поле – Юрасов пугается, что это навсегда, и чуть не плачет. Но еще более громкими и радостными, словно сил набравшись в темном поле, возвращаются умчавшиеся звуки, и Юрасов счастливо улыбается:

– Танцуют. Ах ты черт возьми!

---

<sup>1</sup> *Далее было начато: , он(а)(?)*

<sup>2</sup> *Текст: И только поля молчали ~ А потом он напьется пьян и будет – написан на двух нумерованных листах с пометой: (стр.13) – рукой неуст. лица в начале первого листа.*

<sup>3</sup> *чистой вписано.*

<sup>4</sup> *и нежные вписано.*

<sup>5</sup> *Вместо: места на земле – было: на земле места*

<sup>6</sup> *Было: счастливо*

Возле самой станции танцевали. Дачники устроили бал: пригласили музыку, навешали вокруг площадки красных и синих фонариков, загнав ночную тьму на самую верхушку деревьев. Гимназисты, барышни в светлых платьях, студенты, какой-то молоденький офицер со шпорами, такой молоденький, как будто он нарочно нарядился<sup>1</sup> военным, – плавно кружились по широкой площадке, поднимая песок ногами и развешиваясь (л. 16) платьями. При обманчивом, сумеречном свете фонариков все лица<sup>2</sup> казались красивыми, а сами танцующие – какими-то необыкновенными существами, трогательными в своей воздушности и чистоте. Кругом ночь, а они танцуют; если только на десять шагов отойти в сторону от круга, необъятный всевластный<sup>3</sup> мрак поглотит человека – а они танцуют, и музыка играет для них так обаятельно, так задумчиво и нежно.<sup>4</sup>

Поезд стоит пять минут, и Юрасов вмешивается в толпу любопытных: темным бесцветным кольцом облегли они площадку и цепко держатся за проволоку, такие ненужные, бесцветные. И одни из них улыбаются странною отраженной улыбкой, другие хмуры и печальны – той особенной бледной печалью, какая рождается у людей при виде чужого веселья. Но Юрасову весело: вдохновенным взглядом знатока он приглядывается к танцорам, одобряет, легонько притоптывает ногой и внезапно решает:

– Не поеду. Останусь танцевать!

Из круга, небрежно раздвигая толпу, выходят двое:<sup>5</sup> девушка в белом и высокий юноша, почти такой же высокий, как Юрасов. Вдоль полусонных вагонов, в конец дощатой<sup>6</sup> платформы, где сторожко насупился мрак, идут они, красивые, и как будто несут с собою частицу света: Юрасову положительно кажется, что девушка светится – так бело ее платье, так черны брови на ее белом<sup>7</sup> лице. С уверенностью человека, который хорошо танцует, Юрасов нагоняет идущих и спрашивает:

<sup>1</sup> *Далее было начато:* оф(ицером)

<sup>2</sup> *Было:* люди

<sup>3</sup> *всевластный* *вписано.*

<sup>4</sup> *Далее было (с абзаца):* – Останусь танцевать! – думает Юрасов, через плечи толпы с жадным восторгом смотрящий на танцоров. Он ищет, у кого бы спросить о билетах, и [видит] замечает: из круга, небрежно раздвигая почтительно расступающуюся толпу любопытных, выходят двое –

<sup>5</sup> *Текст:* Поезд стоит пять минут ~ выходят двое: – *вписан на л.15 об.*

<sup>6</sup> *дощатой* *вписано.*

<sup>7</sup> *белом* *вписано.*

– Скажите, пожалуйста, где здесь можно достать билеты на танцы?

У юноши нет усов. Строгим взглядом, вполоборота, он окидывает Юрасова и отвечает:

– Здесь только свои.

– Я проезжий. Меня зовут Генрих Вальтер.

– Вам же сказано: здесь только свои.

⟨л. 17⟩<sup>1</sup> – Меня зовут Генрих Вальтер. Генрих Вальтер.

– Послушайте! – юноша угрожающе останавливается, но девушка в белом увлекает его. Если бы она только взглянула на Генриха Вальтера! Но она не смотрит и, вся белая, светящаяся, как облако противу луны, долго еще светится во мраке и бесшумно тает в нем.

– И не надо! – гордо вслед им<sup>2</sup> шепчет Юрасов, а в душе его становится так бело и холодно, как будто снег там выпал – белый, чистый, мертвый снег. Поезд еще стоит почему-то, и Юрасов прохаживается вдоль вагонов, такой красивый, строгий и важный в своем холодном отчаянии, что теперь никто не принял бы его за вора, трижды судившегося за кражи и много месяцев сидевшего в тюрьме. И он спокоен, все видит, все слышит и понимает, и только ноги у него как резиновые – не чувствуют земли, да в душе что-то умирает, тихо, спокойно, без боли и содроганий. Вот и умерло оно.

Музыка снова играет, и в ее плавные танцующие звуки вмешиваются отрывки странного пугающего разговора:

– Слушайте, кондуктор, отчего не идет поезд?

Юрасов замедляет шаги и вслушивается. Кондуктор сзади равнодушно отвечает:

– Стоит, стало быть, есть причина. Машинист танцевать пошел.

Пассажир смеется, и Юрасов идет дальше. На обратном ⟨л. 18⟩ пути он слышит, как два кондуктора говорят:

– Будто он в этом поезде.

– А кто же его видел?

– Да никто не видел. Жандарм сказывал.

– Врет твой жандарм, вот что. Тоже не глупее его люди...

Бьет звонок и Юрасов одну минуту в нерешимости. Но с той стороны, где танцы, идет девушка в белом с кем(-то) под руку, и он вскакивает на площадку и переходит на другую ее сторону. Так

<sup>1</sup> Первую редакцию продолжения текста см. в ЧН1.

<sup>2</sup> вслед им вписано.

он и<sup>1</sup> не видит ни девушки в белом, ни танцующих; только музыка на одно мгновение обдает его затылок волною горячих звуков, и все пропадает в темноте и молчании ночи. Он один на зыбкой площадке вагона среди смутных силуэтов ночи; все движется, все идет куда-то, не задевая его, такое постороннее и призрачное, как образы сна для спящего человека.

## V

Толкнув дверь Юрасова и не заметив его, через площадку быстро прошел кондуктор с фонарем и скрылся за следующей дверью. Ни его шагов, ни даже хлопанья двери не было слышно за грохотом поезда, но вся его смутная расплывающаяся фигура с торопливыми, настигающими движениями произвела впечатлительное мгновенное резко оборванного вскрика. Юрасов похолодел, что-то быстро соображая – и как огонь, вспыхнула в его мозгу, в его сердце, во всем его теле одна огромная и страшная *(л. 19)* мысль: его ловят. О нем телеграфировали, его видели, его узнали, и теперь ловят по вагонам. Тот “он”, о котором так загадочно говорили кондуктора, есть именно Юрасов; и так страшно – узнать и найти себя в каком-то безличном “он”, о котором говорят посторонние незнакомые люди.

И теперь они продолжают говорить о “нем”, ищут “его”. Да, там, от<sup>2</sup> последнего вагона идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарем, они рассматривают пассажиров, заглядывают в темные углы, будят спящих, шепчутся между собою – и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной неизбежностью приближаются к “нему” – к Юрасову, к тому, кто стоит на площадке и прислушивается, вытянув шею. И поезд несется с свирепой быстротой, и колеса уже не поют и не говорят. Они кричат железными голосами, они шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою – остервенелая стая разбуженных псов.

Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: спрыгнуть при такой быстроте нельзя, до ближайшей остановки еще далеко – нужно пройти на перед поезда и там ждать. Пока они обыщут все вагоны, может что-нибудь случиться – та же остановка или замедление хода, и он соскочит. И в первую дверь он входит спокойно, улыбаясь, чтобы не казаться подо-

---

<sup>1</sup> и вписано.

<sup>2</sup> Далее было начато: з(?)

зрительным, держа наготове изысканно вежливое и убедительное “pardon!”<sup>1</sup>, но в полутемном вагоне третьего класса так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, (л. 20) отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода и<sup>2</sup> теряется в чувстве<sup>3</sup> нового неожиданного страха<sup>4</sup>. Как пробиться сквозь эту<sup>5</sup> стену? Люди спят, но их цепкие ноги отовсюду тянутся к проходу и загораживают его: они выходят откуда-то снизу, они свисают с полок, задевая голову и плечо, они перекидываются с одной лавочки на другую – вялые, как будто податливые, и страшно цепкие, страшно враждебные в своем стремлении вернуться на прежнее место, принять<sup>6</sup> прежнюю позу. Как пружины, они сгибаются и выпрямляются вновь, грубо и мертво толкая Юрасова, наводя на него ужас своим бессмысленным и грозным сопротивлением. Наконец он у двери – но, как железные болты, ее перегораживают две ноги в огромных сборчатых сапогах; злобно отброшенные, они упрямо и тупо возвращаются к двери, упираются в нее, выгибаются так, будто у них совсем нет костей – и в узенькую щель едва пролезает Юрасов. Он думал, что это уже площадка, а это только новое отделение вагона – с той же частою сетью нагроможденных вещей и точно оторванных человеческих членов. И когда, нагнувшись как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как у быка, и темный<sup>7</sup> ужас животного, которое преследуют и оно ничего не понимает, охватывает его черным заколдованным кругом. Он дышит тяжело, прислушивается, ловит в грохоте колес звуки приближающейся погони и, нагнувшись, как бык, преодолевая ужас, идет к темной, безмолвной двери. А за нею снова бестолковая борьба, снова бессмысленное и грозное сопротивление злых человеческих ног.

(л. 21) В вагоне первого класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которых не спит. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавеску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.

– Pardon! – говорит он с тоскою. – Pardon!

<sup>1</sup> Далее было: (нрзб.)

<sup>2</sup> Далее было: пугается

<sup>3</sup> чувстве вписано.

<sup>4</sup> Вместо: нового неожиданного страха – было: новом неожиданном страхе

<sup>5</sup> Далее было начато: ж(елезную?)

<sup>6</sup> Далее было начато: по(зу?)

<sup>7</sup> темный вписано.

Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.

– Pardon! – говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкой неохотно придвигается к стене.

А потом снова эти ужасные вагоны третьего класса – как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.

(л. 22) И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая стена, на которую<sup>1</sup> он измученно оперся, – тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет, и снова толкнет – как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной, беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, задыхаясь и стеная<sup>2</sup> от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся тупо упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всю свою топчущей громадой они устрелятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один – а их тысячи, их миллионы, они весь мир; они сзади его и впереди и со всех сторон, и нигде нет от них спасения.

Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются; – и похожи они на бешеных железных чудовищ, на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а<sup>3</sup> то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах; какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Вместо:* на которую – *было:* с которой

<sup>2</sup> и стеная *вписано.*

<sup>3</sup> *Далее было:* то, что п(роносится)

<sup>4</sup> исчезающие *вписано.*

в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, и одни<sup>1</sup> их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом – а там за несколько вагонов сзади, быть может за четыре, быть может только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью *(л. 23)* подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери... еще одни двери...

Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полосу, закрывающую вход, и перегнувшись, закинул руки вверх – он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба – и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка,<sup>2</sup> он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающей(ся) материи. Это<sup>3</sup> зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов<sup>4</sup> ощупывает вырванный клоч, как будто это самое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..

После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо, с фонарем, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч – от одного конца к другому. И уже снова он хочет, *(л. 24)* бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона<sup>5</sup> – когда огненный хриплый ширококозевый рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий,<sup>6</sup> врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно огромное:

---

<sup>1</sup> *одни* вписано.

<sup>2</sup> *Далее было начато:* Ю(расов)

<sup>3</sup> *Было начато:* З(ацепилось)

<sup>4</sup> *Было:* он

<sup>5</sup> вагона вписано.

<sup>6</sup> *Далее было:* ни на один из смертных голосов,

– А-га-а-а!..

И когда из мрака впереди принесся ответный, все растущий, все приближающий(ся) рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда – он отбросил железную перекладину и прыгнул, туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом – прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.

Значения их он не понял.

## ЧНІ

⟨л. 17⟩ – Меня зовут Генрих Вальтер. Генрих Вальтер.

– Послушайте!.. юноша останавливается, но девушка в белом увлекает его. Если бы она только взглянула на Генриха Вальтера! Но она не смотрит и вся, белая, светящаяся, как облако на закате, долго еще светится во мраке и бесшумно тает в нем.

– И не надо! – гордо, вслед им, шепчет Юрасов, а в душе его становится<sup>1</sup> так бело и холодно, как будто<sup>2</sup> снег там выпал – белый, чистый, мертвый снег.

Все вагоны одинаковы для Юрасова, ни в одном ничего он не оставил – но с тупым усердием он разыскивает свой вагон, тот, где он стоял и пел. По дороге он<sup>3</sup> наталкивается на жандарма, и тот особенно пристально и зорко вглядывается в его лицо.

– И не надо! – устало шепчет ему Юрасов и тяжело взлезает на площадку. – И не надо! – говорит он громко, когда поезд трогается и в последний раз, как видение, проплывает тесный освещенный круг и в нем кружащиеся пары.

Погасли огни, и так темно, как будто только теперь началась настоящая ночь, а раньше был яркий день. По откосу бегут мутные<sup>4</sup> расплывчатые пятна вагонных окон, и за ними – бездонный мрак и пустота. Вверху висят звезды, но никому не светят, и непонятно становится, зачем высыпано на небо так много холодных и мертвых огоньков. И холодно стало. Раньше было тепло, а теперь холодно стало: ветер кусающийся, знобящий и железка, за кото-

<sup>1</sup> В рукописи: становился

<sup>2</sup> будто вписано.

<sup>3</sup> Далее было: в

<sup>4</sup> Далее было начато: п(ятна?)

рую держится рука Юрасова, не нагревается, *⟨л. 18⟩* а словно все больше леденеет<sup>1</sup>.

Проходят минуты долгого и мертвого забытья. Юрасов думает о железке, о том, что темно и холодно, и поезд все идет. Потом надолго забывается, и снова думает: о железке, о том, что темно и холодно и поезд все идет. Минутами движение поезда странно меняется: будто не по земле он скользит<sup>2</sup>, а с страшной быстротой падает сверху вниз в какой<sup>3</sup>-то черный провал. И будто уже<sup>4</sup> глубоко ушел он в землю и<sup>5</sup> весь мир, с людьми и огнями, остался наверху, а внизу,<sup>6</sup> куда направлено бесцельное падение – одна лишь непрерывная тьма, без огней, без просветов, без единого дыхания жизни.<sup>7</sup>

## V

Где-то стукнуло. Отрывисто и осторожно стукнуло и замерло в грохоте колес. Был этот звук мирный и простой и только очень осторожный – но сердце Юрасова вспрыгнуло, как бешеное, и внезапно все стало другим, живым, говорящим и громким.

Его ловят.

О нем телеграфировали, его видели, его узнали – и теперь ищут по вагонам. Тот жандарм, на которого он наткнулся, и трое или четверо еще.

Вытянув шею, расширив глаза, остановивши дыхание,<sup>8</sup> весь превратившись в напряженно-безмолвный комок, – он слушает. Да, там идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарем, они рассматривают пассажиров, приглядываются, заглядывают в темные углы<sup>9</sup>, будят спящих, шепчутся между собою – и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной *⟨л. 19⟩* неизбежностью приближаются к нему. И некуда бежать, и поезд несется с свирепой быстротой, точно и ему нужно кого-то нагнать, кого-то испуганного, кого-то спасающегося. И колеса не поют и не говорят. Они кричат железными голосами,

<sup>1</sup> *Далее было:* и твердеет

<sup>2</sup> *Было:* идет

<sup>3</sup> *Далее было:* -то провал. Тогда сильно кружится голова и подгибаются колени и Юрасов тихонько стонет.

<sup>4</sup> *уже вписано.*

<sup>5</sup> *Далее был повтор:* И будто

<sup>6</sup> *Было:* –

<sup>7</sup> *Текст:* -то черный провал ~ дыхания жизни. – *вписан на л. 17 об.*

<sup>8</sup> *Далее было начато:* пр(евратившись)

<sup>9</sup> *Текст:* заглядывают в темные углы – *вписан.*

они<sup>1</sup> шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою – остервенелая стая разбуженных псов.

Юрасов быстро проходит полуосвещенный вагон, на мгновение останавливается на площадке, слышит неистовый свист, скрежет и грохот погони – и снова идет, толкаясь о стены,<sup>2</sup> цепляясь о чьи-то ноги. Их множество, этих ног, свисающих с лавочек, перегораживающих дорогу, вялых и цепких. Он дергает ручки дверей, и двери не поддаются, и от этого рождается ужас. И каждая открытая и пройденная дверь увеличивает ужас и отнимает соображение. Ему кажется, что он прошел уже десятки, сотни вагонов, а впереди еще площадки, еще запертые двери – а там опять цепкие ноги и неподатливые двери. И все это колышется, и пол, и двери, и встречающиеся люди, и сам он качается, как пьяный, и колеса свирепо грохочут. Вот наконец последняя площадка и перед нею глухая, темная стена багажного вагона – дальше некуда бежать. Но он не может остановиться. С безумной торопливостью, в два шага, он перебегает с одного конца площадки к другому, и ему кажется, что он не толчется на месте, а все убегает вперед.

*(л. 20)* Обессиленный, он, наконец,<sup>3</sup> останавливается<sup>4</sup> на подгибающихся ногах и ищет опоры у холодной стены. Но стена колышется, как живая, и как живая отталкивает его – со смутным ужасом покорно<sup>5</sup> Юрасов отодвигается от нее, хватается за железную перекладину и крепко держит ее. Холодно, темно, и так страшно. Все колышется и бежит, и в голове мутно, и всю ее наполняет сатанинский грохот и вой. Только одну бы минуту неподвижности и тишины! Но вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, отрывают его от узенькой железной полоски; – и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках<sup>6</sup>, которые согнулись<sup>7</sup> <sup>8</sup>, хитро прилегли к земле и гонятся. И так странно, что гонятся именно за ним, хотя он стоит тут же, на площадке, и так странно, так жутко – участвовать в погоне за самим собою.

На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах; какие-то при-

---

<sup>1</sup> *Далее было начато: в(изжат)*

<sup>2</sup> *Далее было: задевая*

<sup>3</sup> *наконец, вписано.*

<sup>4</sup> *Далее было вписано: нак(онец)*

<sup>5</sup> *покорно вписано.*

<sup>6</sup> *на коротеньких ножках вписано.*

<sup>7</sup> *Было. пригнулись*

<sup>8</sup> *Далее было: к земле и*

зрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие<sup>1</sup> в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, и одни<sup>2</sup> их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом – а там за несколько вагонов сзади, быть может за четыре, быть может только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью<sup>3</sup> (л. 21) подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери... еще одни двери...<sup>4</sup>

Юрасов снова бежит по площадке, качаясь от толчков, как пьяный. Жестокий, нерассуждающий страх, страх всей жизни, бросает его от дерева к железу, и снова к дереву, и снова к железу – за которым, свистя и дыша холодом,<sup>5</sup> поднимая волосы, проносится мутная, живая, зловещая пустота. Тьма слепит его и обжигает, как самый яркий огонь; его оглушает стремительный стук колес – как будто тысячи ног бегут и<sup>6</sup> топчут. Они свисали с лавочек неподвижно, эти ноги, но и тогда уже были они цепкие и злые; а теперь они гонятся за ним и топчут, топчут – точно весь мир<sup>7</sup> живых людей, и призраков и самой зловещей пустоты сорвался с места и гонится за ним. Двери открыты, а они стучатся в них; двери открыты – а они ломают их ржавыми железными ломками. И хохочут, уже не скрываясь, и кто-то один поет, смеясь, рыдая, разрывая грудь острыми ногтями:

– Маланья моя...

Его хватают за горло, его душат, но он поет, а сзади одни за другими, быстро и медленно, наступают ноги, тысяча ног. Они опускаются тихо, а железные полы гудят, как под тяжелыми молотами, и все это надвигается на него – с роковой неизбежностью, с беспощадной медленностью. Вот распахнулись еще одни двери...

(л. 22) И огненный, хриплый, широкозевный рев,<sup>8</sup> не то свист, не то крик, ни на что не похожий, ни на один из смертных голосов, – обнимает загнанного человека. То засвистал над головою<sup>9</sup> паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось

<sup>1</sup> исчезающие *вписано*.

<sup>2</sup> одни *вписано*.

<sup>3</sup> *Текст:* то, что проносится ~ и жуткой медленностью – *восстановлен по фрагменту, вырезанному из ЧА1 и наклеенному на л. 22 ЧА2.*

<sup>4</sup> *Более раннюю редакцию продолжения текста см. в ЧН2.*

<sup>5</sup> *Далее было начато:* проно(сится)

<sup>6</sup> *Далее было:* злорадно

<sup>7</sup> *Далее было:* сорвался

<sup>8</sup> *Далее было:* ни на

<sup>9</sup> *над головою вписано.*

что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное, от чего поднялись волосы на голове его. И когда из мрака впереди принесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося поезда – он отбросил железную перекладину и прыгнул – туда, где<sup>1</sup> совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом – прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.

Значения их он не понял.

## ЧН2

⟨л. 21⟩<sup>2</sup> Юрасов снова бегаёт по площадке, качаясь от толчков, как пьяный. Жестокий, нерассуждающий страх, страх всей обесчеловеченной жизни, бросает его от дерева к железу, и снова к дереву, снова к железу – за которым, свистя и дыша холодом, поднимая волосы, проносится мутная, зловещая пустота. Тьма слепит его и обжигает, как самый яркий огонь; его оглушают дикие железные голоса преследующих. Они кричат и шепчутся и хохочут с такой дьявольской веселостью, как будто опьянели они от злобы и отчаянного<sup>3</sup> бега. Двери открыты – а они стучатся в них; двери открыты – а они ломают их железными ржавыми ломками. Они разговаривают, быстро, потаенно, вонзаясь в тьму острыми змеиными головами:

– Где он? Где он? – Его нет. Он там. – Его нет. – Сюда скорее, сюда. – Тише, тише. – Его нет. – Ха-ха, сюда, сюда. – Несите огонь. – Что это там, что это там? – Ха-ха! Ха-ха! – Сюда. Он тут, он здесь.

И огненный, хриплый, широкозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, ни на один из смертных голосов, – обнимает<sup>4</sup> загнанного человека. То засвистал ⟨л. 22⟩ паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то неопишимо ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное, от чего поднялись волосы на голове его. И когда из мрака впереди принесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег тихий, ползущий свет –

<sup>1</sup> *Далее было:* было свет(лее)

<sup>2</sup> *Было:* 20

<sup>3</sup> *Было:* быстрого (незач. вар.)

<sup>4</sup> *Далее было начато:* дрожащ(его?)

он отбросил железную задвижку и спрыгнул туда, где было светлее. Больно ударился обо что-то зубами, охнул, несколько раз перевернулся и когда поднял лицо с смятыми усами и беззубым ртом – над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие<sup>1</sup> лампы за выпуклыми стеклами.

Значения их он не понял.

*Варианты прижизненных изданий*  
(СбЗн, Зн, Пр)

- <sup>5</sup> I-го класса / первого класса (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>17</sup> К счастью / К счастью (СбЗн, Зн)  
<sup>34</sup> их было / их оказалось (СбЗн, Зн)  
<sup>44</sup> был уверен / был убежден (СбЗн, Зн)  
<sup>60</sup> с огромным брильянтом. Брильянт был / с огромным бриллиантом. Бриллиант был (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>79</sup> Не слышу! / Не слышу? (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>88</sup> чтобы взглянуть / чтоб взглянуть (СбЗн, Зн)  
<sup>90</sup> во II-м классе / нет (СбЗн) / во втором классе (Зн, Пр)  
<sup>91</sup> вспоминалось, как / вспомнилось, как (СбЗн, Зн)  
<sup>97</sup> как и все / как все (СбЗн, Зн)  
<sup>107–108</sup> Зеленела трава, зеленели посадки / Зеленела трава, зеленели листья на деревьях, зеленели посадки (СбЗн, Зн)  
<sup>124</sup> тот, в котором / тот, на котором (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>125–126</sup> бежит ни быстрее, ни медленнее / бежит не быстрее, но медленнее (СбЗн)  
<sup>134</sup> смотрят в поле. / смотрят в поле, прямо в поле. (СбЗн, Зн)  
<sup>139</sup> а оно было такое же, как сегодня / а оно было, такое же, как сегодня (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>150</sup> открывать глаза / открывать глаз (СбЗн)  
<sup>166</sup> облитый маслом – нет (СбЗн)  
<sup>202</sup> звонкую ширь / всю звонкую ширь (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>213–214</sup> Приди ко мне! отчего ты не приходишь? Солнце зашло, и темнеют поля. Так одиноко. / Приди ко мне! Отчего ты не приходишь? Солнце зашло и темнеют поля. Отчего ты не приходишь? Солнце зашло и темнеют поля. Так одиноко. (СбЗн, Зн)  
<sup>242</sup> все представляется / все представлялся (СбЗн, Зн)  
<sup>286</sup> вызвать из памяти / вызвать в памяти (СбЗн, Зн, Пр)  
<sup>301</sup> она зачихала и ушла / она зачихала и ушла (СбЗн)

---

<sup>1</sup> Было: небольшие

- 307–308 нежную лживую зелень / эту нежную лживую зелень (СбЗн)  
336 Федором Юрасовым, которого постоянно судят / Федором  
Юрасовым, вором, которого постоянно судят (СбЗн, Зн)  
360 такие ненужные, бесцветные / такие непутные, бесцветные  
(СбЗн)  
409 Да никто не видел / Да никто не видал (СбЗн)  
449 остановка и замедление / остановка или замедление (СбЗн)  
452 вагоне III-го класса / вагоне третьего класса (СбЗн, Зн, Пр)  
479 В вагоне I-го класса / В вагоне первого класса (СбЗн, Зн, Пр)  
786 Pardon! – говорит он с тоскою. – Pardon. / Pardon! – говорит  
он с тоскою. – Pardon! (СбЗн)  
497 вагоны III-го класса / вагоны третьего класса (СбЗн, Зн, Пр)  
513–514 всю свою топчущей громадой / всю своей топчущей  
громадой (СбЗн, Зн)  
572 Сентябрь 1904 г. – нет (СбЗн)

## БЕН-ТОВИТ

(С. 95)

### *Варианты прижизненных изданий* (НС, Зн, Пр)

- <sup>17</sup> нельзя было понять, болел ли это / нельзя было понять, болит ли это (НС)
- <sup>30</sup> покачиваясь и стеля от боли / покачиваясь и стоня от боли (НС)
- <sup>34-35</sup> когда проснулась его жена, он, еле разжимая рот / когда проснулась его жена, еле разжимая рот (Пр)
- <sup>56-57</sup> ничего не делал и любопытно смотрел / ничего не делает и любопытно смотрит (НС, Зн) / ничего не делал и любопытно смотрит (Пр)
- <sup>95-96</sup> сосед, кожевник Самуил, / сосед кожевник Самуил (НС)
- <sup>96-97</sup> посмотреть на своего ослика / посмотреть на нового ослика (НС, Зн)
- <sup>111</sup> как кровавый след, багрово-красная полоса / как кровавый след, узкая, багрово-красная полоса (НС, Зн)

## МАРСЕЛЬЕЗА

(С. 98)

### *Варианты прижизненных изданий* (НС, Зн, Пр)

- <sup>35</sup> отвыкшими от смеха голосами / отвыкшими от смеху голосами (НС, Зн, Пр)
- <sup>62</sup> Пойдемте к нему / Пойдем к нему (НС, Зн, Пр)
- <sup>65</sup> он просил пирожков и клялся / он просил пирожков, – холодных, как лед, вкусных пирожков, и клялся (НС, Зн)

# ХРИСТИАНЕ

(С. 101)

## ЧА1

⟨л. 1⟩

ХРИСТИАНЕ

Председатель, следя по списку, быстро окликал свидетелей:

– Ефимов!<sup>1</sup> Как ваше имя, отчество?

– Ефим Петров Ефимов.

– Согласны принять присягу?

– Согласен.

– Отойдите к стороне. Карасев!

– Андрей Егорыч.

– Согласны пр... пр... Отойдите к... Натансон!

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещалась слева направо. На вопрос председателя одни отвечали громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходили к стороне; других он заставлял врасплох, они недоумело молчали, не зная, к ним относится названная фамилия или тут<sup>2</sup> есть другой человек с такой же фамилией, и оглядывались<sup>3</sup>. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь и не волнуясь; к стороне они отходили лишь<sup>4</sup> после приказания председателя.<sup>5</sup> Подсудимый<sup>6</sup>, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного, и снова с удвоенною торопливостью крутил усы и соображал. Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель наткнулся ⟨л. 2⟩ на неожиданность:

– Вы согласны принять присягу?

– Нет.

---

<sup>1</sup> Было: ?

<sup>2</sup> тут вписано.

<sup>3</sup> и оглядывались вписано.

<sup>4</sup> Было: только

<sup>5</sup> Далее было: Оставалось человек шесть свидетелей. Обвиняемый

<sup>6</sup> Подсудимый вписано.

Как человек, в темноте наткнувшийся на дерево, председатель на миг потерял нить своих вопросов и, вытянув голову и ворочая ею направо и налево, искал ответившую.

– Пелагея Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на кучку из четырех женщин и двух мужчин.

– Нет.

Теперь он видел ее. Женщина средних лет, некрасивая, стоит сзади других. Несмотря на шляпку и модное платье с грушеобразными рукавами, она не кажется ни богатой, ни образованной. В руках, сложенных на животе, она держит сумочку.

– Вы православная?

– Православная.

– Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит в глаза председателю и молчит. Стоявшие впереди ее расступились, и теперь вся она на виду с своей сумочкой и носками больших ног,<sup>1</sup> высовывающихся из-под юбки.

– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Отвечайте, не бойтесь. Суд примет во внимание ваши объяснения, и ничего вам за это не будет.

– Нет.

– Нет? Но, быть может, вы опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо, неприятное... неудобное для вас лично. Но тогда вы можете не отвечать на такие вопросы. При этих условиях вы согласны, надеюсь, принять присягу?

– Нет.<sup>2</sup> Председатель пожимает плечами и шепчется с членом суда налево. Тот также шепотом отвечает:

⟨л. 3⟩ – Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

– Ну уж вы скажете. При чем тут беременность? Да и не заметно. Свидетельница Караулова! Суд желает знать, почему вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте. Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то говорит тусклым, силным голосом: точно глухо<sup>3</sup> кашлянул кто-то под полом.

– Я не слышу. Пожалуйста, громче.

– Я проститутка.

---

<sup>1</sup> Далее было начато: выгля(дывающих)

<sup>2</sup> Текст: Нет? Но, может быть, вы ~ Нет. – вписан на л. 1 об.

<sup>3</sup> глухо вписано.

Председатель слегка конфузится. Свидетели, не оборачиваясь на Караулову, продолжают глядеть на суд; защитник, товарищ прокурора и присяжные заседатели, заинтересованные, рассматривают ее, и один, старик, говорит соседу:

– С сумочкой.

Тот молча кивает головой.

– Ну так что же, что проститутка. Ведь вы христианка.

– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Нахмурившись, председатель советуется с членом суда на лево; потом вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбается, и говорит с ним. Тот, улыбаясь, кивает головой.

– Свидетельница! Суд считает необходимым разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует вас закон. Но ваши занятия – каковы бы они ни были, дело вашей совести, и мы в это мешаться не можем, а на принадлежность *(л. 4)* вашу к известному культу они влиять не могут. Вы понимаете меня? Можно быть даже разбойником или<sup>1</sup> грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот мы все здесь, товарищ прокурора, г. присяжные заседатели, занимаются разным делом, кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами...

Член суда слева шепчет:

– Теперь вы хватили. Разбойник – а потом товарищ прокурора. Нельзя, неловко.

– Так вот, – протяжно говорит председатель, отворачиваясь от члена суда, – занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

– Нет.

– Нет? Почему же?

– Как же я, такая, пойду в церковь.

– Но у исповеди и у св. причастия бываете?

– Нет.

Свидетельница отвечает тихо, но внятно; руки ее застыли на животе, и смотрит она не отрываясь в глаза председателю.

– Но, а Богу-то вы молитесь, конечно?

– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

– Свидетельниц спросите. Они тоже ведь. Спросите.

---

<sup>1</sup> Далее было начато: да(же)

Председатель неохотно берет список и говорит:

– Свидетельница Пустошкина! Вы тоже, если не ошибаюсь...

– Проститутка! – быстро с готовностью отвечает свидетельница, *(л. 5)* молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье, и улыбается Карауловой. Караулова отвечает ей улыбкой и снова становится серьезной.

– Вы согласны принять присягу?

– Согласна.

– Ну, вот видите, Караулова. Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... Вы согласны?

– Согласна, – густым контральто, почти басом, отвечает Кравченко.

– Ну вот видите, и еще. Все согласны. Ну так как же?

Караулова молчит.

– Не согласны?

– Нет.

Суд совещается, и председатель, сделав любезное лицо, обращается к священнику, который наготове стоит у аналоя и молча слушает.

– Батюшка! В виду упрямства свидетельницы не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка. Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает три шага вперед. Слегка покраснев, священник поправляет на груди наперсный крест и очень тихо говорит:

– Все мы, сударыня, грешны перед Господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и Ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. И грешно было бы сомневаться, что в благодати своей и неизреченном милосердии Он помилует и простит грехи, и нельзя самовольно отречься от церкви. Вы знаете символ веры?

– Нет.

*(л. 6)* – Но вы веруете в Господа нашего Иисуса Христа?

– Как же, верую.

– Всякий верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

– Нет, – упрямо мотнула головой Караулова. – Так что же из того, что я<sup>1</sup> верую, когда я такая. Когда б<sup>2</sup> я была христианка, я не была бы такая. Я и Богу-то не молюсь.

---

<sup>1</sup> Далее было: такая

<sup>2</sup> б вписано.

– Верно, – подтвердила свидетельница Пустошкина. – Она никогда не молится. К нам в дом икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы ее как уговаривали, так нет. Плачет, а нейдет. Уж такая она, извините.

– Господь наш Иисус Христос, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покаялась...

– Так она покаялась, а я разве каялась?

– Но вы покаетесь...

– Нет. Я покаюсь, а кто же меня кормить будет? Разве когда старая буду или умирать начну, тогда покаюсь. Да уже тогда поздно, какое уже тогда покаяние.

– Какое уже тогда покаяние, – басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко.

Председатель развел руками и, снова сделав любезное лицо, отпустил священника:

– Извините, батюшка. Такое упрямство. Извините, что обеспокоили.

Священник стал на свое место у аналоя. Суд совещался. Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову, крутил усики и что-то соображал:

⟨л. 7⟩ – Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно<sup>1</sup> говорил председатель.

– По-моему, – сказал член суда, – нужно освидетельствовать ее умственные способности.

– Вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделяет.

Товарищ прокурора, молодой человек в воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался обратить на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головой, улыбался и всем взглядом подавался вперед к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Видно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

– Вам что угодно, г. прокурор?

– Позвольте мне... – и не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову: – Обвиняемая, виноват, свидетельница. Как вас зовут?

– Татьяна.

– Так-с. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, называли Татьяной. Следовательно...

– Нет. Когда меня крестили, так называли Пелагеей.

---

<sup>1</sup> Далее было начато: пр(?)

- Но вы же сказали, что вас зовут Татьяной?
- Ну да, Татьяной. А крестили меня Пелагеей.
- Я не понимаю... Впрочем, ничего больше не имею.

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, строго взглянув на обвиняемого и его защитника. Встал один из присяжных (л. 8) заседателей, старик, в долгополом сюртуке, старообрядец, и обратился к председателю:

– Можно мне спросить?... Караулова, вы давно занимаетесь<sup>1</sup> блудом?

- Десять лет.
- А до того чем занимались?
- В горничных служила.
- А кто обольстил? Барчук или хозяин?
- Хозяин.
- А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да на платье. У них свой магазин.

- Стоило из-за этого идти.
- Молода была, глупа.
- Больна была?
- Была.

– И верно, какая ты христианка. За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

– Бывает, старички и больше дают, – вступилась за подругу Пустошкина, не глядя на старика. – Особенно которые из благочестивых.

– Свидетельница, молчите, вас не спрашивают. Вы кончили? Вам что еще угодно, г. прокурор.

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, это у вас кличка Татьяна, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили, а если вас крестили, то вы христианка. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

(л. 9) – Он сейчас заговорит о паспорте, – шепнул председатель и перебил прокурора: – Свидетельница, вы согласны?

- Нет.
- Ну вот видите, она не согласна.

Встает защитник, помощник присяжного поверенного и просит слова. Председатель, пожимая плечами, разрешает.

– Остроумные упражнения г. товарища прокурора в богословии... – начинает защитник.

<sup>1</sup> Далее было: этим делом

– Г. защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без личностей.

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

– Слушаю-с. Г.г. судьи и г.г. присяжные заседатели! Существует на свете обширная категория людей, никогда не выходящих из рамок действующих законоположений, и вместе с тем едва ли могущих по существу<sup>1</sup> назваться христианами. Ростовщик, берущий законные двенадцать процентов, ежедневно ходящий в церковь, каждый пост говеющий и даже жертвующий пяточки нищим за помин души родителей, таких же ростовщиков и грабителей...

Председатель перебивает:

– Г. защитник! Еще раз предлагаю вам воздержаться от личностей. Среди присутствующих могут быть г.г. коммерсанты, которым... Иначе я лишу вас слова.

– Слушаю-с. Чиновник, блюдуший только букву закона, аккуратно получающий жалованье и столь же аккуратно, на законном, впрочем, основании, погашающий самые элементарные запросы духа...

Товарищ прокурора явно возмущен. Он демонстративно пожимает *(л. 10)* плечами и строго, как олицетворение самого закона, смотрит на члена суда справа, который улыбается.

– Воин, во имя призрачного понятия о чести...

Прокурор вскакивает:

– Прошу занести в протокол слова г. защитника. Он оскорбляет армию.

– Г. защитник!

– Слушаю-с. Во всех этих случаях, о которых, к сожалению, я лишен возможности распространяться, формальные признаки христианина не совпадают с существом этого высокого звания. И наоборот, мы знаем другую категорию людей, быть может, не столь высоко стоящих на общественной лестнице, которые, даже нарушая закон и<sup>2</sup> правила условной морали, тем не менее даже в этом случае остаются христианами. Переходя ближе к настоящему делу, я должен сослаться на нашего великого психолога и моралиста Достоевского, который лучом своего таланта осветил душу простит(ут)ки Сони Мармеладовой. Мы видим, как...

Защитник говорит полчаса, выматывая душу у присяжных заседателей. Подсудимый, перестав соображать, держится неподвижно за ус и смотрит в окно: он вспомнил что-то неожиданное

---

<sup>1</sup> существу *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было: условия*

и не может понять, входит оно в систему его защиты или нет. Судьи шепчутся.

– Послушайте, ведь это бог знает что! – говорит член суда. – Что мы, судим ее, что ли, эту Караулову? Настоящее судоговoreние.

– Уж не знаю, кого судим, ее или нас. Вы послушайте этого гуся. А на днях в гражданском такое дело провел... Ей-богу, прокурор жаловаться будет.

– Да остановите его, надоел. Маньяк какой-то.

*(л. 11)* – Теперь уже нужно кончить. Ведь этак все проститутки объявятся не христианками. Вы поглядите, как слушает эта, толстая, Кравченко, что ли.

Кравченко, толстая, с двойным подбородком и маленькими глазами, с крупными, как бревна, руками, с жадным любопытством глядела поочередно на говорящих. Когда Караулова производила свое упрямое и спокойное “нет”, она вскидывала голову и победоносно оглядывала суд, присяжных, свидетелей. Раз она, подойдя на цыпочках к Карауловой,<sup>1</sup> толстыми, короткими, с трудом сгибающимися пальцами сняла у ней с рукава ниточку.

– ...И покаяние, как мы видим, не в том, чтобы идти в церковь и каяться, а в известного рода моральных ощущениях, – заканчивал защитник. – Если субъект признал<sup>2</sup> свои поступки греховными<sup>3</sup>, то этим самым он уже совершил акт покаяния и очистил свою душу...

– Нет, – перебила Караулова, и Кравченко басом повторила: – Нет.

– Почему же-с?

– Какое ж это покаяние, когда то же самое делаешь? Вы поглядите, – она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. – Вот за что я эти деньги получила? За это, за самое. Нет, какая уж я христианка.

Двугривенный выскочил и колесом покатился по цветным камушкам бетонного пола. Все внимательно<sup>4</sup> проследили его движение, но никто не нагнулся, и так он и остался лежать на виду, под попитром защитника.

– Позвольте мне сказать несколько слов, – поднялся присяжный заседатель, молодой еще человек, чрезвычайно интеллигент-

---

<sup>1</sup> *Далее было:* сняла

<sup>2</sup> *Было начато:* изв(естные?)

<sup>3</sup> греховными *вписано.*

<sup>4</sup> *внимательно вписано.*

ного, даже одухотворенного вида. Волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или *(л. 12)* молодого попа, кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Получив любезное согласие председателя, он повернулся к Карауловой.

– Я согласен с батюшкой, что сущность христианства в том, чтобы веровать в Христа. И верующий не только приемлет имя христианина, как не совсем точно выразился батюшка, но действительно становится христианином. Сущность христианства<sup>1</sup> в мистической близости с Богом...

– Виноват, – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Г. присяжный заседатель! Она не понимает слова “мистический”. Выражайтесь, пожалуйста, проще, вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни царства, ни богатства. Прерывистый, задышающийся шепот, вот эмбрион всех сфинксов.

– Г. присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу. Нужна близость к Богу.

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к Богу, и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость, при таком деле? Я и лампадки в комнате не держу. Другие держут, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: “Сукин ты сын, а еще лысый”. А он говорит: *(л. 13)* “Молчи, говорит, мурзик, свет Христов и во тьме сияет”. Так и сказал.

– Безобразники бывают промеж гостей, – подтвердила Пуштошкина. – Что делают, что делают, чистые безбожники.

– Но ведь вы же согласны принять присягу? – обеспокоенно спросил председатель.

– Мы-то согласны, – сказала Кравченко, – а она не согласна.

– Нет, – сказала Караулова. – Какая тут присяга?

После продолжительного совещания суд постановил допросить свидетельницу без присяги. Свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где облачившийся священник взял в руку крест и сказал:

– Поднимите руки.

---

<sup>1</sup> христианства *вписано*.

Все подняли.

– Повторяйте за мною: обещаю и клянусь.

Толпа разрозненно прогудела:

– Обещаюсь и клянусь...

– Перед всемогущим Богом и святым его евангелием.

– Перед всемогущим Богом и святым... его... евангелием...

Пока длилась присяга и свидетели целовали крест, Караулова стояла на том же месте, сложив руки на животе, и смотрела на спины. Защитник наклонился, достал двугривенный и, поскрипывая новыми сапогами, подошел к свидетельнице и отдал.

– Мерси.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой. Председатель строго обратился к ней.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну правду, по чистой совести. Обещаетесь?

⟨л. 14⟩ – Нет.

– Это, наконец, почему же?

Караулова спокойно ответила:

– Какая же у меня совесть. Нету у меня никакой совести.

И<sup>1</sup> все-таки ее допросили.

*1 сентября 1905*

## ЧН

И к церкви я равнодушна и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Все это обман для слабых людей, чтобы не так страшно жить было. Бог простит, да Бог наградит, да Бог помилует – конечно, про мертвого все сказать можно, что его и простили, что его и наградили, он спорить не станет, а вот чтобы живых Бог миловал да награждал, я что-то не видала. Конечно, когда Христос по земле ходил, тогда, может, и лучше было, больных он исцелял, голодных кормил, да тогда и больных-то меньше было, не столько как теперь. Так ведь это давно было, а теперь, вы сами знаете, голодного никто даром<sup>2</sup> кормить не станет.

---

<sup>1</sup> Было: Но

<sup>2</sup> даром вписано.

⟨л. 12⟩ В горничных служила.

– А кто обольстил? Сынок или хозяин?

– Хозяин.

– А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру<sup>2</sup> на платье. У них свой магазин в рядах.

– Стоило из-за этого идти.

– Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

– Дети были?

– Один был.

– Куда девали?

– В воспитательном помер.<sup>3</sup>

– А больна<sup>4</sup> была?

– Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:<sup>5</sup>

– И впрямь, какая ты христианка. За десять рублей душу диаволу продала, тело опоганила.

– Бывает, старички и больше дают! – вступилась за подругу Пустошкина. – Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде, как вы...

В публике засмеялись.

– Свидетельница, молчите, – вас не спрашивают! – строго остановил председатель. – Вы кончили? А вам что угодно, г. присяжный заседатель? Тоже спросить?

– Да уж дозвоьте и мне слово вставить, когда на то дело пошло, – тонким, почти детским голоском<sup>6</sup> сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из системы шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы.<sup>7 8</sup> – Вот что, Караулова, или как тебя там – ты с Богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: “Не христианка я”; а завтра

<sup>1</sup> Текст второй половины редакции (начало соответствует строкам 308–675 ОТ). Текст первой половины, близкий к ОТ, учитывается в “Вариантах”.

<sup>2</sup> кашемиру вписано.

<sup>3</sup> Текст: Дети были? ~ помер. – вписан на л. 11 об.

<sup>4</sup> Вместо: А больна – было: Больна

<sup>5</sup> Старик сухо ~ сидя, сказал: – вписано.

<sup>6</sup> Было: голосом

<sup>7</sup> Вместо: шаров и полушарий ~ розовые губы. – было: полушарий и шаров: живот, грудь, щеки, губы, [грудь].

<sup>8</sup> Текст: круглый живот ~ розовые губы. – вписан на л. 11 об.

воровать по этой же<sup>1</sup> причине пойдешь либо кого из гостей сонным (л. 13) зелием опиошь, – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены; а от веры не отступайся<sup>2,3</sup> потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, так тогда хуть на свете не живи...

– Что ж, может, и красть буду... Сказала, что не христианка.

Купец качнул головой, – сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

– Вот попадетя такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь.<sup>4</sup>

– Они и толстые которые, г. судья, не все честные бывают, – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти, – спасибо, застрял. “Я, говорит, воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое поганое дело ишли”, а сам-то пьян распянехонек. А по-моему...

– Молчите, свидетельница!

– Просто он жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

– Молчите, свидетельница, а то я<sup>5</sup> прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, г. прокурор?<sup>6</sup>

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут<sup>7</sup> вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили, по установленному обряду, то вы христианка, как это и значится, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения... – прокурор, овладевая темой, становился все строже.

– Сейчас заговорит о паспорте... – шепнул председатель и перебил прокурора: – Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка.<sup>8</sup> Вы<sup>9</sup> согласны?

– Нет.

---

<sup>1</sup> же вписано.

<sup>2</sup> Было: отказывайся

<sup>3</sup> Далее было: в какой поставлена

<sup>4</sup> Далее было (с абзаца): – Вам что еще угодно, господин прокурор?

<sup>5</sup> Далее было: а. в {ас?} б. велю

<sup>6</sup> Текст: – Они и толстые которые ~ Вам что еще угодно, г. прокурор? – вписан на л. 12. об.

<sup>7</sup> Было: крестили

<sup>8</sup> вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. – вписано.

<sup>9</sup> Было: вы

– Ну вот видите, прокурор<sup>1</sup>, она не согласна.<sup>2</sup>

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась<sup>3</sup> нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: “Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!” Сосед не глядя отвечает:<sup>4</sup> “А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!” – “Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от Господа дан”. – “А бороду где выщипали?” – “Где бы ни выщипали, а выщипали...” Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.<sup>5</sup>

⟨л. 14⟩ – Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

– Да вы-то что? Что ж<sup>6</sup>, я нарочно, по-вашему<sup>7</sup>? – покраснел председатель. – Вы поглядите на эту, на толстую, на<sup>8</sup> Кравченко, – ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся<sup>9</sup>! Благодарю вас<sup>10</sup> покорнейше! И не могу же я

<sup>1</sup> прокурор *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было:* Встает защитник и просит слова. Председатель, пожимая плечами, с неудовольствием разрешает. // – Остроумные упражнения г. товарища прокурора в богословии... – начинает защитник. // – Г. Защитник! – строго останавливает председатель. – Прошу ⟨л. 14⟩ без личностей. // Защитник поворачивается к суду и кланяется: // – Слушаюсь-с. // Нарастало глупое раздражение. Пустяки, женское вздорное упрямство тормозило все дело и вместо плавного, красивого и стройного судопроизводства создавало [какую-то] нелепую и обидную бестолковщину. Не христианка! Все тут христиане, и неприятно об этом говорить так долго и бесплодно. И никто уже не смеялся, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и сказал: “Вот я тебя гвозданул бы разок, небойсь сразу бы поняла!” К тайному мужскому презрению к женщине примешивалось явное чувство какого-то оскорбления; и мутило(?).

<sup>3</sup> *Далее было начато:* как(ая-то?)

<sup>4</sup> Сосед не глядя отвечает: – *вписано*.

<sup>5</sup> *Текст:* Становилось досадно ~ совещающихся судей. – *вписан на л. 13 об.*

<sup>6</sup> ж *вписано*.

<sup>7</sup> *Было:* что ли

<sup>8</sup> на *вписано*.

<sup>9</sup> *Было:* отдувайся

<sup>10</sup> вас *вписано*.

отказывать, раз уже позволил... Вам угодно что-нибудь сказать, г. присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче, – мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида. Волосы у него были<sup>11</sup> большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь *(л. 15)* в тихом голосе его слышится страдание:

– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с Богом...

– Виноват, – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Г. присяжный заседатель! Она не понимает слова “мистический”. Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот, вот эмбрион всех сфинксов...

– Г. присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу, – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует особого языка... Одним словом, нужна близость к Богу.

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к Богу, и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость при таком деле. Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: “Сукин ты сын, а еще лысый”. А он говорит: “Молчи, говорит, мурзик, свет Христов и во тьме сияет”. Так и сказал.

*(л. 16)* – Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

---

<sup>11</sup> были *вписано*.

– Ваше превосходительство!<sup>1</sup> Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

– Это зачем еще?

– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом, я живо, ваше превосходительство. Она присягу сейчас<sup>2</sup> примет.

– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава. Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

– Нет, примете.

– Нет.

– Посмотрим!

– Посмотрите!

– Довольно, довольно!.. – сердито крикнул председатель. – А вы, г. пристав, идите на свое место, мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: “Ну, теперь держись, баба. Зубки-то начистят, как самовар<sup>3</sup>, заблестят”. – “Ну, это вы слишком!” – “Слишком? Молчите, господин, вы этого дела не понимаете, а я вот как<sup>4</sup> понимаю!” – “Бороду-то где выщипали?” – “Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут<sup>5</sup> буфет для третьего класса. Надо чирикнуть –<sup>6</sup> за упокой души рабы Божьей Пелагеи<sup>7</sup>”.

– Тише там! – крикнул председатель. – Г. судебный пристав! Примите меры!

*(л. 17)* Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в коем случае не пропустит написанного.

– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда. – Получается скандал.

– Пожалуй, что... Ну что еще вам нужно, г. защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

<sup>1</sup> *Далее было:* Позвольте

<sup>2</sup> *сейчас вписано.*

<sup>3</sup> *Далее было начато:* блест(еть?)

<sup>4</sup> *вот как вписано.*

<sup>5</sup> *Далее было:* где

<sup>6</sup> *чирикнуть – вписано.*

<sup>7</sup> *Далее было:* чирикнуть

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:<sup>1</sup>

– Но раз было предоставлено слово г. товарищу прокурора...

– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головою председатель<sup>2</sup>. – Ну хорошо, говорите, если так уже хочется,<sup>3</sup> только, пожалуйста, покороче.

Защитник поворачивается к присяжным заседателям:

– Остроумные упражнения г. товарища прокурора и частного пристава в богословии... – начинает он медленно.

– Г. защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:<sup>4</sup>

– Слушаю-с.<sup>5</sup>

Затем снова поворачивается к присяжным,<sup>6</sup> окидывает их<sup>7</sup> светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову<sup>8</sup>.<sup>9</sup> Обе руки его подняты на высоту груди,<sup>10</sup> глаза крепко<sup>11</sup> закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то<sup>12</sup> смертельно влюбленного, не то собирающегося чхнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может<sup>13</sup> выйти<sup>14</sup>, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва<sup>15</sup> упали бессильно руки, потом<sup>16</sup> слегка приоткрылись глаза, потом<sup>17</sup> медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его<sup>18</sup> воли, из уст выпали проникновенные слова:

---

<sup>1</sup> Текст: Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит: – *вписан на л. 16 об.*

<sup>2</sup> – с безнадежной иронией покачал головою председатель. – *вписано.*

<sup>3</sup> если так уже хочется, – *вписано.*

<sup>4</sup> Далее было: Слушаю-с. Г. судьи и г. присяжные заседатели! Вы слышали только

<sup>5</sup> Далее было: а. Затем б. Он

<sup>6</sup> Затем снова поворачивается к присяжным, – *вписано.*

<sup>7</sup> Вместо: их – было: присяжных заседателей

<sup>8</sup> опустив голову *вписано.*

<sup>9</sup> Далее было начато: Рук(и)

<sup>10</sup> Далее было (*вписано и зачеркнуто*): голова оп(ущена?)

<sup>11</sup> Было: скорбно(?)

<sup>12</sup> Далее было: безнадежно

<sup>13</sup> может *вписано.*

<sup>14</sup> Было: выйдет

<sup>15</sup> сперва *вписано.*

<sup>16</sup> потом *вписано.*

<sup>17</sup> потом *вписано.*

<sup>18</sup> его *вписано.*

– Г.г. судьи и г.г.<sup>1</sup> присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не<sup>2</sup> отведет глаз.

– Г.г. судьи и г.г. присяжные заседатели! Вы слышали только<sup>3</sup> сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и г. частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны, – ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

– Г. защитник, что же это такое! – возмущается председатель. – Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. *(л. 18)* Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

– Я просил бы занести слова г. защитника в протокол.

Не обращая внимания на прокурора, защитник снова кланяется суду:

– Слушаю-с. Я хотел только сказать, г.г. присяжные заседатели, что г-жа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице г-жи Карауловой мы видим, г.г. присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря “нет”, в сущности говорит “да”!

Какой-то большой и красивый образ смутно и притягательно блеснул в голове адвоката<sup>4</sup>; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, г.г. присяжные заседатели! Показания свидетельниц г-ж Пустошкиной и Кравченко и признания самой подсудимой<sup>5</sup> нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может,

<sup>1</sup> судьи и г.г. *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато: а. от(?) б. опуст(ит?)*

<sup>3</sup> *Текст: – Слушаю-с. ~ Г.г. судьи и г.г. присяжные заседатели! Вы слышали только – вписан на л. 16 об.*

<sup>4</sup> *Было: защитника*

<sup>5</sup> *и признания самой подсудимой – вписано. На полях напротив вставки – вопросительный знак.*

только что оторванная от<sup>1</sup> деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного<sup>2</sup> сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

– Нельзя ли покороче, г. защитник! Нам известно с самого начала, что г-жа Караулова занимается проституцией. Г.г. присяжные заседатели не дети и сами прекрасно<sup>3</sup> знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом она не крестьянка, а мещанка г. Воронежа.

⟨л. 19⟩ – Слушаю-с, г. председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей г-жа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же, с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями, разрушает и оскверняет этот чистый<sup>4</sup> образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа г-жи Карауловой. Г.г. присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию – в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище. И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это. И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> *Вместо:* оторванная от – было: из

<sup>2</sup> *Далее было начато:* ст(арика?)

<sup>3</sup> *прекрасно вписано.*

<sup>4</sup> *чистый вписано.*

<sup>5</sup> *Текст:* Одна монетка ~ Но никто не нагнулся ее поднять. – *вписан на л.18 об.*

– За что вот я эти деньги получила? За это, за самое. А платье (л. 20) вот это, а шляпка, а серьги – все за это самое. Раздень меня до самого голого<sup>1</sup> тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь, жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? – портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда ни совести: прикажете голой раздеться, разденусь; прикажете на крест наплевать, наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.<sup>2</sup>

– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно<sup>3</sup>: вместо венцов над головой ночные вазы<sup>4</sup> держали, вместо свечек пивные бутылки донушками кверху<sup>5</sup>, а за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит.<sup>6</sup> А я смеялась, – ведь и правда, очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю.<sup>7</sup> Вот тоже говорили тут<sup>8</sup>: “молиться”, – а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и<sup>9</sup> вы не знаете, несмотря на то, что вы мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь, хуже не будет, а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил, – а пришлось в Воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, – а он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым лю-

<sup>1</sup> голого *вписано*.

<sup>2</sup> *Текст*: Слезы у нее не точились ~ где было щекотно. – *вписан на л. 19 об.*

<sup>3</sup> конечно *вписано*.

<sup>4</sup> *Вместо*: ночные вазы – *было*: горшки

<sup>5</sup> *Вместо*: донушками кверху – *было*: кверху ногами

<sup>6</sup> Она поплакать-то любит. *вписано*.

<sup>7</sup> *Далее был знак вставки, позднее зачеркнутый. Соответственно на л. 19 об вписан и позднее зачеркнут текст вставки*: Все это, по-моему, обман для слабых людей, чтобы не так страшно жить было. Бог простит, да Бог наградит, да Бог помирует – конечно, про мертвого все сказать можно, [он] что и простил его, что и наградили его, он не станет спорить, а вот чтобы живых Бог миловал да наградил, я что-то не видала. А уже если живого не помиловал, так мертвого нечего, мертвый сам себя помиловал.

<sup>8</sup> тут *вписано*.

<sup>9</sup> глядишь, и *вписано*.

дям, отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начал говорить и о детстве моем и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: “Господи, да унеси ты меня отсюда!” А студент говорит: “Вот теперь ты человеком *(л. 21)* стала, и могу я теперь<sup>1</sup> с тобою любовное занятие иметь”. Отучил. Конечно, я на него не сержусь, каждому<sup>2</sup> приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она, но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уже, какая я христианка, г.г. судьи, зачем пустое<sup>3</sup> говорить? Есть я Груша-цыганка, такую меня и берите.

Караулова<sup>4</sup> вздохнула слегка<sup>5</sup>, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:<sup>6</sup>

– Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели<sup>7</sup>, пока Караулова, перегнувшись,<sup>8</sup> поднимала монету со скользкого пола.

– Ну, а вы-то, – с горечью обратился<sup>9</sup> председатель<sup>10 11</sup> к Пустошкиной и Кравченко<sup>12</sup>, – вы-то согласны принять присягу?

– Мы-то согласны, – ответила Кравченко плача. – А она нет!

– Г. председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный<sup>13</sup>. – Ввиду того, что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

– Ну, какое там кощунство! – ответила Караулова. – Просто пьяны были. Да и не помню я, разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: “Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги”.

Остальные свидетели тесной<sup>14</sup> кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

<sup>1</sup> теперь *вписано*.

<sup>2</sup> Было: всякому

<sup>3</sup> Было: зря

<sup>4</sup> Далее было *вписано*: слег(ка)

<sup>5</sup> слегка *вписано*.

<sup>6</sup> Текст: Караулова вздохнула ~, и просто добавила: – *вписан на л. 20 об.*

<sup>7</sup> глядели *вписано*.

<sup>8</sup> Далее было: доставала

<sup>9</sup> Вместо: с горечью обратился – было: сказал

<sup>10</sup> Далее было: с горечью

<sup>11</sup> Далее было (*вписано и зачеркнуто*): к Кравченко

<sup>12</sup> к Пустошкиной и Кравченко *вписано*.

<sup>13</sup> Было: даже сердитый

<sup>14</sup> тесной *вписано*.

Пристав громко говорит:

– Прошу встать!

Все встанут и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны ⟨л. 22⟩ одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

– Поднимите руки!

Все подняли руки.

– Повторяйте за мною, – говорит он одним голосом и другим продолжает: – Обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко.

– Обещаюсь и клянусь...

– Перед всемогущим Богом и св. его евангелием...

– Перед всемогущим Богом... и святым... его... евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель. – Ну, правду-то, понимаете,<sup>1</sup> правду говорить будете?

– Скажу, что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень ⟨л. 23⟩ подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.

... – Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. 13-го марта прошедшего года я зашел в велосипедный магазин<sup>2</sup> Мархлевского...

...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку,

<sup>1</sup> понимаете, *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было: Густавсона(?)*

то был я там всего четыре раза: 21 декабря, 7 января, 25<sup>1</sup> того же января и 1-го февраля, и<sup>2</sup> три раза деньги платил за меня мой товарищ Протасов<sup>3</sup>; относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами<sup>4</sup> тьма. Весело, тепло, уютно.

10 сентября 1905 г.

*Варианты рукописных редакций  
и прижизненных печатных изданий  
(ЧА2, БКАП, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)*

- 7-8 и приятно видеть было и публику, и слушать / и приятно было видеть публику, слушать (ЧА2, БКАП) / и приятно было видеть публику и слушать (НР, Шт) / и приятно видеть было публику и слушать (ЖДВ) / и приятно видеть было и публику и слушать (Зн, Пр)
- 13 застрелился как-то / застрелился когда-то (БКАП)
- 16-17 на своих местах, присяжные заседатели / на своих местах: присяжные заседатели (БКАП)
- 20 перекликивает свидетелей / перекликает свидетелей (ЧА2, БКАП, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 22 Ефим Петрович / а. как в тексте б. Ефим Петров (БКАП)
- 25 Отойдите к стороне / Отойдите к сторонке ◊ (БКАП) / Отойдите к сторонке (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 26 Андрей Егорыч / Андрей Егорович ◊ (БКАП)
- 27 Блументаль / Блюменталь (БКАП) / Натансон ◊ (ЧА2)
- 29-30 одни отвечают / один отвечает ◊ (БКАП)
- 36 и с другими / – с другими ◊ (БКАП)
- 36 с другими не смешивались / с другими как-то не смешивались ◊ (ЧА2)
- 41-42 еще молодой человек, зевал / а. как в тексте б. еще молодой человек, но уже опытный,<sup>5</sup> зевал (БКАП)
- 42 гибко потягивался / зябко потягивался (ЧА2, БКАП)
- 43-44 большие мокрые хлопья / большие хор(ошие?) ◊ (БКАП)

<sup>1</sup> Было: 26

<sup>2</sup> Далее было: деньги

<sup>3</sup> Было: Нароков(?)

<sup>4</sup> Было: окном

<sup>5</sup> Вписано от руки автором.

- 44–45 в буфете горячей ветчиной с горошком / в буфете: горячую ветчину с горошком (ЧА2, БКАП, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 50 Как человек / Когда человек ◊ (БКАП)
- 74 вы не бойтесь, говорите / вы не бойтесь говорить ◊ (БКАП)
- 90 Ну, уж скажете... / Ну уже вы скажете. (ЧА2) / Ну уж вы скажете. (БКАП, НР, Шт) / Ну, уж вы скажете? (ЖДВ, Зн)
- 91–92 на каком основании / по каким основаниям (БКАП)
- 92 вы отказываетесь / вы желаете ◊ (БКАП)
- 92 Ведь не можем / Ведь не может ◊ (БКАП)
- 96 ничего нельзя разобрать. / ничего разобрать нельзя. ◊ (ЧА2)
- 105 вспыхнувшие лампочки / вспыхнувшие канделябры ◊ (ЧА2)
- 106–107 остаются равнодушны / равнодушны ◊ (ЧА2)
- 121 все время улыбался / все время улыбается (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ)
- 122 кивок головы / кивок головою (ЧА2)
- 126 обязует нас закон / обязует вас закон (ЧА2, НР, Шт)
- 128 в это дело мешаться / в это мешаться (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ)
- 139 говорит протяжно / протяжно говорит (ЧА2)
- 139–140 от члена, / от члена суда, (ЧА2, НР, Шт)
- 145 Как же я такая пойду / Как же я, такая, пойду (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ)
- 175 Ну так как же? / Ну так как же? // – Не согласны? ◊ (ЧА2)
- 189 Нет, уж, батюшка / Нет уже, батюшка (ЧА2)
- 193–194 но едва ли христианские чувства / но это едва ли христианские чувства (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ)
- 205 сударыня, самоосуждение / сударыня, но самоосуждение (ЧА2)
- 205 отлучение себя от церкви / отлучение себя от Церкви (ЖДВ, Зн, Пр)
- 219–220 нужно только верить во Христа... – подтверждает председатель. / а. нужно только верить в Христа, любить(?) (нрзб.) б. нужно только верить в Христа. (ЧА2) / нужно только верить в Христа. ◊<sup>1</sup> (НР)
- 221 решительно отвечает / решительно перебила ◊ (ЧА2)
- 225–226 хороший, пятнадцатирублевый / дорогой, двадцатирублевый ◊ (ЧА2)
- 227 Уж мы как / Уже мы как (ЧА2)

<sup>1</sup> – подтверждает председатель. вписано от руки автором.

- 227 так нет. Уж такая она / так нет. Плачет, а не идет. Уже такая она (ЧА2) / так нет. Плачет, а не идет.<sup>1</sup> Уж такая она ◊ (НР)
- 234 да уж это какое / да уже это какое (ЧА2)
- 239 Нет уж, дело конченное / Нет уже, дело конченное (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 241 не пошевелинулась / не шевельнулась (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 243 кузнечные мехи / кузнечные меха (НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 249–250 руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали / а. руки его слегка дрожали б. руки его, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали (ЧА2)
- 254 загвоздила! – шептал он / загвоздила! – громко шептал он (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 259 гневно говорил / гневно говорит (ЧА2, Шт)
- 260 Ее люди в царство небесное ташат / а. Ее, дьявола, в царство небесное ташут б. Ее люди в царство небесное ташут (ЧА2)
- 271 всем телом подавался вперед / всем взглядом подавался вперед (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (НР)
- 290 в списке значится Пелагеей / в списке значится Пелагея (ЧА2, НР, Шт)
- 293–294 бросив строгий взгляд / бросив обиженный взгляд ◊ (ЧА2)
- 297 оглядывался на залу / оглядывался на зал (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 300 удалите его из залы / удалите его из зала (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 306 Восемь лет / Десять лет ◊ (ЧА2)
- 308–675 В горничных служила ~ 1905 – в связи с обширной правкой в последней части рассказа в ЧА2 эта часть дана как редакция (см. выше: ЧА2 (редакция)), но варианты, соприкасающиеся с вариантами НР и печатными изданиями, указываются ниже.
- 318 Куда девала? / Куда девали? (ЧА2, Шт) / Куда девали? ◊ (НР)
- 323–324 душу дьяволу продала / душу диаволу продала (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 325 Бывают старички / Бывает, старички (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 330–331 Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? – нет (Шт)
- 332 Да уж позвольте / Да уж дозвольте (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)

<sup>1</sup> Текст густо зачеркнут. Восстанавливается предположительно по ЧА2.

- 334–335 состоящий из шаров и полушарий / состоящий из системы шаров и полушарий (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ)
- 336 к центру кружочком / к центру кружочками ◊ (НР)
- 340 сонным зельем / сонным зелием (ЧА2, НР, Шт)
- 341–342 на то церкви поставлены / на то церкви поставлены (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ)
- 343 хуть на свете не живи / хоть на свете не живи (Шт)
- 344 Сказано, что / Сказала, что (ЧА2, НР)
- 353–354 на такое поганое дело ишли / на такое поганое дело ушли (Шт)
- 394 раз уж позволили / раз уже позволил (ЧА2) / раз уже позволили (НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 397–398 одухотворенного вида; волосы у него / одухотворенного вида. Волосы у него (ЧА2, НР, Шт)
- 443 грудь с орденами / грудь с орденом ◊ (НР)
- 489 не то собирающегося чихнуть / не то собирающегося чхнуть (ЧА2, НР, Шт)
- 499 И дальше он говорит / И дальше он говорил (Пр)
- 509 что же это такое / что же такое (Шт)
- 572 За это за самое / За это, за самое (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 573 за это за самое / за это самое (ЧА2) / за это самое (НР) / за это, за самое (ЖДВ, Зн)
- 587 так и ходил / так и ходит ◊ (НР)
- 591 мимо стараюсь не ходить / мимо старалась не ходить (НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 594 что мужчины / что вы мужчины (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 597–598 в воспитательный отдать / в Воспитательный отдать (ЧА2, НР, Шт)
- 601 о моем детстве / о детстве моем (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн)
- 606–607 Нет уж / Нет уже (ЧА2, НР, Шт, ЖДВ, Зн, Пр)
- 608 такую меня и берите / такую вы меня и берите (Шт)
- 643 Его Евангелием / его евангелием (ЧА2) / Его евангелием (НР, Шт)
- 644 Его... Евангелием... / его... евангелием... (ЧА2, НР, Шт)
- 675 1905 / 10 сентября 1905 г. (ЧА2) / а. 10 сентября 1905 года б. нет (НР) / нет (Шт, ЖВД, Зн)

# ГУБЕРНАТОР

(С. 117)

ЧН1

⟨А⟩

⟨л. 1⟩ Как докладывал полицеймейстер, всего убитых оказалось тридцать восемь человек и раненых – сто десять. В городе полное спокойствие. Большинство рабочих уже сегодня приступило к работам, и можно надеяться, что завтра жизнь города войдет в обычную колею. Трудно даже было ожидать, что такое крупное и небывалое в их городе движение прекратится так быстро и легко.

– А убитые? – спросил граф. Он стоял красиво и прямо, двумя пальцами касаясь стола, в той изысканно красивой и умышленно властительной позе, в какой он был изображен на своем портрете в приемной зале. Но лицо было желто и одутловато, глаза припухли и на крепких еще зубах лежал желтовато-серый налет, как будто он позабыл их сегодня почистить; и вся непрочная красота старости куда-то исчезла, и казалось, что от этого человека идет дурной и тяжелый запах, неслышимый<sup>1</sup> только благодаря сильным<sup>2</sup> духам.

Полицеймейстера сильно беспокоило, что его почему-то не приглашают садиться, и он не понял вопроса и почтительно наклонил стриженую голову.

– Ну да! – нетерпеливо сказал граф. – Где, я говорю – убитые?

⟨л. 2⟩ ⟨Куда⟩<sup>3</sup> их девали?

⟨– Я⟩ распорядился сегодня утром предать их погребению, ваше сиятельство.

– Всех?

---

<sup>1</sup> Было: незамечаемый

<sup>2</sup> сильным вписано.

<sup>3</sup> Рукописи повести (весь архивный источник) повреждены: на большинстве листов отсутствует (вырван) угол левого верхнего поля и, соответственно, утрачен текст (одно или два слова). В ряде случаев утраченный в данных местах текст восстановлен (в угловых скобках); обычно он совпадает с аналогичным текстом ОТ. Невосстановимые фрагменты обозначены пометой: [...] (многоточие в квадратных скобках).

Полицеймейстер опять не понял и слегка растопырил пальцы в знак недоумения.

– Ах Господи, какой вы бестолковый. Всех, я говорю? Там была еще девочка какая-то, мне сообщали. Какая-то девочка.

– Ах, да! – просиял полицеймейстер. – И детей также-с.

– Детей? Послушайте, как вы блещите! Отойдите немного в сторону.

На полицеймейстера сквозь высокое окно падал<sup>1</sup> столб солнечного света и все на нем блестело и сверкало: пуговицы, шитье, эфес шашки. Когда он послушно шагнул за черту освещенного четырехугольника и погас, то<sup>2</sup> как будто потемнело и в комнате, и губернатор утомленно сел.

– Жарко сегодня?

– Семнадцать градусов в тени. Дивная осень, ваше сиятельство.

За окном, почти касаясь стекол, стоял густо разросшийся тополь и уже желтел кое-где, а за ним, в просвете, виделась залитая солнцем безлюдная площадь. Вчера на ней был народ в серо-коричневых промасленных<sup>3</sup> блузах, крик, выстрелы, а сейчас было тихо, и крови нигде не было заметно: вероятно, забросали пылью или землей.

– Сегодня я поеду на дачу, – сказал граф, глядя в окно.

– Слушаю, ваше сиятельство.

Граф быстро поднялся и направился к выходу; и эта новая *(л. 3)* [...], которая была не в обычае у хорошо воспитан(ного и) доброго старика, сперва еще сильнее обеспокоила полицеймейстера как выражение немилости. Но взглядевшись пристальнее в шею и плечи шагавшего впереди графа, он увидел в них что-то нерешительное, слабое, как будто жалующееся, успокоился и развязно заметил:

– Вот это окно было разбито.

В высоком окне, разделенном рамою, по-старинному, на шесть частей, одно из стекол было, по-видимому, только что вставлено: оно мутно серело и на краях хранило белые мучнистые следы пальцев. И оба старика, остановившись, долго разглядывали стекло и думали о вчерашнем, а на площади за окном было все так же загадочно тихо, и солнце светило.

---

<sup>1</sup> *Далее было: луч*

<sup>2</sup> *то вписано.*

<sup>3</sup> *промасленных вписано.*

– Возможно, что это мальчишка бросил, – заметил губернатор. – Мальчишки любят бросать камни. Я сам, маленький, побил много стекол.

Полицеймейстер рассмеялся, но граф не заметил: он изумленно и внимательно разглядывал белые стены и высокий потолок зала, как будто раньше никогда не видал их. Белые обои давно, по-видимому, не менялись, были закопчены и грязны<sup>1</sup>, и сквозь показное, казенное великолепие проглядывало что-то потертое, чуждое; и кроме портрета графа, висевшего на одной из стен, тут не было ничего своего, приобретенного, сделанного, поставленного по своему вкусу. Таким он этот дом принял, таким оставит и своему преемнику, и тот проживет здесь, ничего не меняя, года три-четыре, и тоже куда-то <л. 4> [...] на площади светило солнце, и тихо было, и вдруг [...] дорогих, закопченных обоев огромными тусклыми <глаз>ами на графа взглянул мертвый ужас. На один короткий миг открылась какая-то тайна жизни и смерти, и было открывшееся непостижимо грозно и ужасно – и снова исчезло<sup>2</sup> оно, но не быстро, а медленно: точно со стен сползало что-то, пока снова не стали они привычными, которых не замечаешь.

– Я скоро умру! – подумал граф вслед удалявшемуся ужасу, но пока он был еще жив – и он почувствовал это глубоко и радостно. Вспомнил ежедневную гимнастику, обливание ледяной водой, ежедневные многоверстные прогулки пешком, и все более утверждаясь в растущем, ликующем чувстве жизни, решительно и спокойно ответил кому-то: вздор, нервы, я еще переживу всякого молодого.

– Так-то, полковник! – весело и шутливо сказал он: – значит, революция?

Тот рассмеялся:

– Шутить изволите, ваше сиятельство. Просто беспорядки.

– А все-таки стрелять не нужно было.

– Помилуйте! Да ведь это такой народ, такой народ. Они друга перерезать готовы. У них у каждого в кармане нож или долото. Они весь дом разнесли бы. Помилуйте! И как просят! Разве так люди просят? Поверьте честному слову, ваше сиятельство, никогда этого прежде не было.

– Эта баба чуть мне рукав не оторвала.

<л. 5> [...] Ну теперь больше не будет...

– Что?

<Полко>вник замялся.

<sup>1</sup> были закопчены и грязны *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было:* в

– Послушайте, – сказал граф: – я хочу навестить раненых.

– Долг человеколюбия...

Губернатор продолжительно, не скрываясь, взглянул на полицеймейстера: был он толстый, красный, стриженный и очень глупый, и об этом знали даже в Петербурге. И был он ни добрый, ни злой, – только глупый, и одни эту глупость принимали за доброту, а другие за злобу, и уже давно он всем надоел, даже дома.

– А шея-то у вас коротенька, – заметил почему-то граф с удовольствием. – Через полчаса я еду.

– Прикажете казаков?

– Каких казаков?

Они взглянули друг на друга, и в маленьких, бесцветных и наивно-глупых глазах полковника граф увидел простую и ясную уверенность, что он, граф, трусит и теперь ни за что не поедет один, без большой охраны. Полковнику было неловко, он моргал глазами, чтобы скрыть неудачную мысль, но она проглядывала сквозь реденькие ресницы, и граф густо покраснел.

– Каких там еще казаков? Никаких не нужно казаков. Глупости.

– Долг службы...

Когда через полчаса губернатор сел в коляску, было только два обычных верховых стражника, да на углу два господина *⟨л. б⟩* [...] садились на извозчика, притворяясь, что они не *⟨замеч⟩*ают вышедшего губернатора. Он давно знал, кто эти *⟨люди⟩*, и присмотрелся к их лицам, и так как они были *⟨не⟩* нужны ему, то перестал замечать их, как своего швейцара, как и этих смешных неповоротливых стражников. Но теперь подумал с отвращением: какая гадость!

– Вы хоть бы их меняли, – резко сказал он полицеймейстеру. – Какие противные рожи!

Полковник<sup>1</sup> обиженно молчал, подсаживая губернатора, и в<sup>2</sup> наивно-глупых глазах его, плохо прикрытых реденькими ресницами, ясно читалось: “вот убьют тебя из-за угла, тогда и узнаешь. Думаешь, так это тебе и пройдет – убивать народ”.

Но рука его была почтительна, и, в сущности, ему было жалко графа, который так глупо храбрится.

## ⟨Б⟩

Он первый раз увидел так близко от себя этих людей, и что-то новое и страшное почувствовалось им в мятежных и суровых лицах, в тяжелом однообразии рабочей грязной одежды. Их было

<sup>1</sup> Далее было: сердито

<sup>2</sup> в вписано.

много, быть может, несколько тысяч, и все они смотрели на него, о чем-то просили, на что-то жаловались и угрожали кому-то, и их худые лица, сурово и зловеще<sup>1</sup> оттененные машинной копотью и сажей, были бледны и загадочны. Какие-то женщины с детьми на руках, тощие и злые, как волчицы, потерявшие страх от голода, рвались к нему сквозь стену полицейских и солдат, били себя в грудь, отчаянно плакали и всё лезли, всё лезли вперед, пригибаясь, скользя, равнодушно принимая удары,<sup>2</sup> неудержимо, как вода, просачиваясь сквозь расстроенные ряды стражников. Одна уже стояла возле него, что-то кричала, дергала его за рукав, совала ему своего грязного плачущего ребенка, и ее не могли оттащить ни полицейские, ни свои, члены рабочей делегации, которым она тоже мешала.

Он был мягкий и добрый человек, и уже давно обещал им все разобрать и устроить, но толпа требовала чего-то более определенного и ясного, такого же ясного и неопровержимого, как

⟨В⟩

⟨И⟩ страстный нетерпеливый крик: лучше умереть, чем такая жизнь. Нужно было одно только слово, но он не знал его, он беспомощно озирался на лица своей свиты, но и там он видел только слепой страх, растерянность, жалкие попытки сохранить достоинство, кривые и фальшивые улыбки. И только этот низколобый негодяй и взяточник, Протасов, которого он презирал, как будто что-то знал непоколебимо и твердо, и в первый раз его широкое, тупое солдатское лицо показалось графу умным и сильным.

ЧА

⟨л. I⟩<sup>3</sup>

ОСУЖДЕН

I

Уже две недели прошло со времени события, а он все думал о нем, и с каждым днем мысли становились<sup>4</sup> тяжелее и угрюмее. О чем бы он ни начинал размышлять – о самом чужом, о самом далеком – уже через несколько минут мысль приходила к тому

<sup>1</sup> и зловеще *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было: просачиваясь*

<sup>3</sup> *В правом верхнем углу помета: 15 августа 1905*

<sup>4</sup> *Далее было: все*

событию и бессильно билась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и неизбежную. И какими странными путями шла эта мысль: подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полном солнца, любви и песен, вспомнит какого-нибудь нищего – и сразу встанет перед ним толпа грязных рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнёт на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В начале эта связь между представлениями и мыслями была логичной, понятной и оттого не особенно беспокойной, но вскоре все стало напоминать событие, неожиданно и поэтому страшно и больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит свой смех, и вдруг он ему напомнит какого-нибудь убитого – хотя он тогда и не думал смеяться. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный венский стул, протянет ли руку к хлебу – все *⟨л. 2⟩* выз(ывает) перед ним один и тот же образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какую бы он ни попробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

Сам по себе факт был очень прост: рабочие с пригородного завода всею своею массою в несколько тысяч человек пришли к нему с требованиями, которых он как губернатор осуществить не мог, повели себя вызывающе и дерзко: одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда свитские увели его на балкон – он все хотел сговориться с толпой и успокоить ее – рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме, ранили полицеймейстера и нескольких солдат. И тогда он – махнул платком. И теперь он сделал бы то же, и всякий порядочный человек, в его положении и должности, поступил бы так же.

Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить и убито было много: шестьдесят семь человек – из них<sup>1</sup> шестнадцать женщин и трое детей. Он видел убитых детей – почему-то все трое были девочки; потом в больнице он посетил раненых, но не может сказать, чтобы все они возбудили в нем особенную жалость. Конечно, было жалко, особенно невинных детей, но вообще он этих людей не любил, был далек от них всею своею и ихнею *⟨так!⟩* *⟨л. 3⟩* *⟨жизнью?⟩* и тайно даже презирал их – за их грязь, леность, *⟨бу⟩*йство, за их постоянные драки между собой и дикое невежество. И в этот раз, если бы они были хоть немного поумнее, они поняли бы, что он губернатор, а не бог, и уж во вся-

---

<sup>1</sup> Далее было начато: две(надцать)

ком случае не злодей. Будь он Бог, он устроил бы жизнь на земле совсем по-иному, а будь злодей, он не стал бы ждать, пока оторвут рукав и побьют камнями окна. Но он только губернатор.

Дня через три после события у него был с визитом преосвященный Мафусаил, и уже после первых фраз ясно стало, что архиерей беспокоится о состоянии его христианской совести и хочет успокоить его. Рабочих он назвал злодеями, а его заступником и радетелем, благодарил за спокойствие города и – хитрый! – не привел ни одного выдохшегося и заезженного текста. И ему был жалок и отвратителен этот седой старик, лгавший перед своим Богом, трус, всех других считавший такими же трусами и лицемерами.

– А я бы, ваше преосвященство, отслужил бы на вашем месте<sup>1</sup> панихиду по убиенным<sup>2</sup>, – сказал губернатор, глядя ему прямо в серые старческие, непроницаемые глаза.

Архиерей развел слегка пухлыми руками и со змеиной кротостью ответил:

– На всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем бы и стрелять-то<sup>3</sup> не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!

⟨л. 4⟩ Кротко улыбаясь, архиерей преподал благословение и поплыл ⟨к⟩ выходу, шурша шелком и сопутствуемый так же кротко улыбающимся губернатором. И до самого выхода, вопреки сознанию своему и совести, он чувствовал себя мерзавцем – так действовала на него кротость и благочестие этого старичка-хвалителя<sup>4</sup>.

И что еще редко бывает в таких случаях: решительная расправа с бунтовщиками привела к быстрым и прекрасным результатам. Уже на следующий день рабочие приступили к работам; работали даже в день похорон. Хотя губернатор, вопреки настояниям раненого и обозленного полицеймейстера, ничего не имел бы против предания некоторой торжественности печальному обряду. И эта внезапная и неожиданная покорность, радуя его как подтверждение целесообразности принятых мер, в то же время возмущает его, бывшего военного, воспитанного в чувстве товарищества, и убивает остатки жалости. И в городе спокойно и сонно, как всегда, даже как будто еще соннее; и из Петербурга он

---

<sup>1</sup> *Вместо:* на вашем месте – *было:* убитым

<sup>2</sup> по убиенным *вписано.*

<sup>3</sup> -то *вписано.*

<sup>4</sup> хвалителя *вписано.*

получил редкую и лестную похвалу – все идет хорошо, как редко бывает.

Но эта мысль! Упрямая, ожесточенная, она возвращается к событию и точит его, и бьется, и ищет чего-то в нем, чего не заметил никто и что есть самое важное и главное. Для других прошло две недели, а для него и дня как будто не прошло, и он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка, в этом ощущении чего-то недосказанного, (л. 5) [...] недовершенного, еще продолжающегося.

Сейчас он едет на дачу и ждет, пока вернется чиновник особ(ых) поручений, его близкий семейный знакомый, который поехал кое-что купить по поручению жены. Он сидит в кабинете, за бумагами, но не работает и думает. Потом встает и, заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна и, слегка растопырив пальцы, внушительно и громко говорит:

– Но в чем же дело?

И чувствует, что, пока он думал, он был человек, как и все, Петр Игнатьевич, а с первым же звуком голоса, с этим жестом он сразу стал губернатором, камергером, его превосходительством. Становится неприятно, мысли разбиваются совсем, и резко, губернаторски, дернув левым погоном<sup>1</sup>, он отходит от окна и снова меряет комнату. “Так ходят губернаторы”, – думает он нелепо, в такт крупным и твердым шагам, и снова садится, стараясь не шевелиться, чтобы каким-нибудь неловким движением снова не вызвать в себе губернаторского. Звонит.

– Не приезжал?

– Никак нет, ваше превосходительство.

И пока курьер, вытянувшись, отчеканивает титул, он внезапно с радостью вспоминает: “ах да: ведь там разбиты стекла, а я еще не смотрел”.

– Когда приедет, скажи, я буду в зале.

(л. 6) (Рамы) в высоких окнах делились по-старинному на восемь (част)ей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с тюрьмой или канцелярией. В трех ближайших к балкону окнах почти все стекла были вставлены заново, были мутны и грязны, и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев – очевидно, никому из многочисленной и ленивой дворни и в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы происшедшего. Хотелось выйти на балкон, но неудобно было

---

<sup>1</sup> Было: плечом (незач. вар.)

привлекать к себе внимание проходящих, и сквозь мутные стекла он стал разглядывать площадь, ту площадь, на которой тогда бесновалась толпа, трещали выстрелы и потом как мухи на липкой бумаге валялись плоские трупы шестидесяти семи убитых. Перед самым окном был тополь с ободранной мочалившейся корой, уже окрашенный осенью, а за ним спокойная и сонная лежала под ярким солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камушки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густея в ложбинках и канавке. Безлюдная, спокойная, немного наивная была площадь, но оттого ли, что он смотрел на нее, и на тополь, и на небо сквозь мутные и грязные стекла, все казалось скучным, бестолковым, изнывающим в чувстве тупой и безнадежной тошноты. “Да когда же это кончится!” – как будто взывали безнадежно все они: и ободранный тополь, и ровные камушки, по которым никто не ездит, и само бледно-голубое пустынное небо осени.

– Не приезжал?

– Никак нет, ваше превосходительство.

⟨л. 7⟩ – Когда приедет,<sup>1</sup> пригласи сюда.

По-видимому, зал оклеивали при прежнем губернаторе, быть может, и еще раньше – обои были дорогие, но грязные, закопченные, и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. И все: мебель, люстры – было пышное, дорогое, но безвкусное и грязное, пропитанное пылью, и весь зал похож был на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся друг с другом наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был, кажется, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города, потом незнакомый архиерей – и круглая дыра до переплета.

– Какая мерзость! – громко сказал губернатор и безглаголиво бросил альбом. Рассматривал его он стоя и, повернувшись на каблуках, дернув погоном, сердито зашагал – прямыми твердыми шагами. Так ходят губернаторы. Так – ходят губернаторы.

По площади весь измазанный краской прошел маляр с ведром – и опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый лист и кружась поплыл книзу – и сразу вихрем в голове закружилось: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Так<sup>2</sup> выпукло, так громко, так близко, что кажется – еще минута, и он най-

---

<sup>1</sup> *Далее было:* пошли

<sup>2</sup> *Далее было начато:* гро(мко)

дет – но ослабевшая, разорванная мысль снова путается в подробностях, в пустяках: как он приготовлял платок для<sup>1</sup> условного сигнала. Он заранее вынул его *⟨л. 8⟩* *⟨из⟩* кармана и, скомкав в маленький твердый комочек, держал в *⟨правой⟩* руке, потом осторожно, внизу, расправил его и быстро махнул, не вверх, а вперед, точно бросал что. Точно бросал пули.

– Наконец-то вы, Лев Андреич! Я вас заждался.

– Простите, но в этом городишке ничего не достанешь.

– Ну, едем, едем. Да послушайте! – губернатор остановился и раздраженно заговорил: отчего во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Иль был как-то я в жандармском управлении – ведь что же это такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязь.

– Денег нет.

– Денег нет! А это – вы взгляните, что это за мерзость! Это...

– Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему?

Я уже сколько раз<sup>2</sup> говорил Марии Петровне.

На ходу губернатор отрывисто бросил:

– Не стоит.

– Кстати, встретил Судака, говорит, что вчера последнего раненого выписали.

Судаком в домашнем губернаторском кругу назывался полицеймейстер – за свои вылезшие, бесцветные глаза, длинный рост и узкую спину.

Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и<sup>3</sup> солнечным теплом – как будто они существовали *⟨л. 9⟩* *⟨отдельно?⟩*, и<sup>4</sup> свежесть, и тепло, и чувствовались также порознь. *⟨И небо⟩* было милое: нежное, далекое, неожиданно и прелестно голубое. Хорошо теперь на даче!

Губернатор уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место взлезавшему<sup>5</sup> с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда сгорбившись прошел какой-то человек. Снимая картуз, он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый черный затылок и белую шею, и заметил, что шагает он осторожно и тихо, как босой, шагает и горбится, и спина его словно смотрит на него. “Какой странный и неприятный человек”, – подумал губернатор.

<sup>1</sup> Далее было начато: сигн(ала)

<sup>2</sup> сколько раз вписано.

<sup>3</sup> Далее было начато: тепл(ом)

<sup>4</sup> Далее было начато: т(епло)

<sup>5</sup> В рукописи: взлезавшему

То же подумали, вероятно, два господина, поспешно<sup>1</sup> усаживавшиеся впереди коляски на извозчика: привычным и согласным<sup>2</sup> движением заглянули ему в лицо, ничего подозрительного не нашли, и понеслись впереди коляски. Извозчик у них был лихач, на резинах, и ехали они, наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко ушли вперед, чтобы не пылить губернатору.

– Кто эти двое? – спросил он чиновника, и тот равнодушно ответил:

– Агенты.

– Зачем это? – так же отрывисто спросил губернатор.

– Судак все старается.

Когда проезжали мимо<sup>3</sup> части, из открытых ворот выскочили на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности и смотрели они оба не отрываясь<sup>4</sup> в спину губернатора. И всегда они скакали *⟨л. 10⟩* [за] *⟨губ⟩*ернатором, и он не замечал их, но теперь они были *⟨ему⟩* неприятны.

Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице<sup>5</sup>, где в полуразвалившихся*⟨ся⟩*, темных домах жили<sup>6</sup> заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, точно вымерла и даже не было видно детей<sup>7</sup>. Один мальчишка сидел на заборе, в ветвях красной рябины, но при виде губернатора и стражников соскользнул за забор и притаился у щели. Губернатор ласково улыбнулся, но улица была все так же мертва, и такую она была уже две недели.

– Послушайте! – вскрикнул губернатор, схватывая Льва Андреевича за колено. – Ведь этот человек!..

– Какой человек? – удивился чиновник.

Губернатор не ответил. Сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно всем широким туловищем обернулся назад и внимательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, точно мертвая, лежала под солнцем улица. Дырявые крыши, с переломившимися коньками, кое-где покосившиеся заборы, пустыри. Вот лужа, не пересыхающая во все лето, с узенькой, затоптанной дощечкой, заменяю-

<sup>1</sup> поспешно *вписано*.

<sup>2</sup> и согласным *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было начато: *уч⟨астка?⟩*

<sup>4</sup> не отрываясь *вписано*.

<sup>5</sup> по Канатной улице *вписано*.

<sup>6</sup> Далее было: *семь⟨и⟩*

<sup>7</sup> детей *вписано*.

щей тротуар; картофельное вскопанное поле, издающее резкий осенний запах ботвы; без забора, без одного деревца вокруг, стоит дом, и почему-то спиной к улице. Весь он остро наклонился вперед, и стена, и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около *⟨л. 11⟩* (– ни одного) человека. И над притаившейся, злою и тревожной *⟨в своем⟩* молчании улицей – высокое небо, осенне(?)<sup>1</sup> открытое, ясное, неожиданное и прелестно голубое.

## II

Было много веселых игр, смеха и песен – на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. Под золотисто-желтыми, оранжевыми, изумрудными и, как кровь, красными листьями парка, на зеленой лужайке рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами женские платья, мундиры. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк – громко трескающиеся ракеты, огненные<sup>2</sup> фонтаны, колеса. Удушливый пороховой дым ползал под старыми строгими деревьями, и когда зажгли<sup>3</sup> красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.

Полицеймейстер Судак, сильно выпивший за обедом, покровительственно и любовно смотрел на всю эту веселую суматоху, усиленно козырял дамам и был счастлив. И когда из темноты рядом с ним послышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять его губернаторскую талию – сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне груди и сказал:

*⟨л. 12⟩* (– Ах, ваше) превосходительство, какой волшебный праздник! Как все счастливы, ваше превосходительство.

– Послушайте, Иллиодор Васильевич! – перебил его губернатор, и голос его, бархатный внушительный бас, звучал глухо и сдержанно: – зачем вы посылаете каких-то там<sup>4</sup> агентов. К чему это?

---

<sup>1</sup> осенне(?) *вписано*.

<sup>2</sup> огненные *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было: огонь

<sup>4</sup> там *вписано*.

– Злодеи злоумышляют на вашу священную жизнь, ваше превосходительство, – с чувством сказал Судак, прижимая обе руки к груди, – и я обязан по долгу службы....

Треск лопающихся бураков заглушил его слова; потом посыпался дождь голубых, красных и зеленых огней, выделив из дымного мрака пуговицы и погоны губернатора.

– На мою жизнь? На что им моя жизнь?

Новый взрыв выстрелов и веселых криков заглушил их<sup>1</sup> разговор, и когда расчувствовавшийся полицеймейстер хотел продолжать его, губернатора уже не было.

После ужина был шумный и веселый разъезд. Судак, совсем пьяный, пел первые слова Марсельезы:

Allons, enfants de la patrie,  
Le jour de gloire est arrivé!..

и громким шепотом звал офицера с собою продолжать кутеж. Наконец уехали.

– Что ты все хмуришься, папа? – небрежно-покровительственно спросил офицер. Он был пьян, но по аккуратности и чистоте его мундира и прически, по спокойно-равнодушному выражению его лица об этом нельзя было догадаться.

– Так неловко, все обращают внимание. Неужели тебе жаль тех<sup>2</sup> мерзавцев?<sup>3</sup>

⟨л. 13⟩ (– О)ставь и иди спать. Они не мерзавцы.

⟨– А) кто же? Жертвы? Вот ты сокрушаешься, а я бы на твоём (месте)...

– Перестань! Я честный человек, и...

Илья Петрович улыбнулся и сказал:

– А я, значит, нет. Как это глупо, папа, сердиться из-за всяких пустяков. Ты становишься положительно несносен. Спокойной ночи.

И уже у выхода<sup>4</sup>, держась одной рукой за дверь, вполборота добавил:

– Наконец, если они такие хорошие люди, зачем же ты стрелял в них? Пригласил бы их к нам на журфикс, а то – стрелять – в хороших людей!

Губернатор зимою и летом вставал в семь часов, обливался холодной водой, пил молоко, и затем во всякую погоду совер-

<sup>1</sup> Далее было: слова

<sup>2</sup> Было: этих

<sup>3</sup> – Так неловко ~ мерзавцев? *вписано.*

<sup>4</sup> Было: двери

шал двухчасовую пешую прогулку. И в этот раз в восемь часов он уже твердыми, крупными шагами ходил по одной из отдаленных аллей, свежий, крепкий и здоровый, как юноша. Утро было солнечное,<sup>1</sup> безветренное; за ночь на дорожку нападало желтого и красного листву, и Петр Ильич ходил точно по шуршащему ковру; минутами он останавливался и тогда где-то над головой, в путанице освещенных солнцем ветвей, слышался<sup>2</sup> отчетливый, рабочий стук дятла. Раз, в одну из остановок, аллею перебежала белка – точно красноватый комок на колесах<sup>3</sup> перекатился с одного дерева на другое.

“Убить меня легко, – думал губернатор, закинув гордо голову, – *(л. 14)* *(прямо)* вот тут же, в парке. Спрятался за кустами и стреляй. *(Уж)* конечно, прятаться и оглядываться я не стану. Не стану. Потому *(что)*...”

И он искал, почему он не станет прятаться. Конечно, прежде всего потому, что он храбрый человек и не боится смерти. Но это не все. Был<sup>4</sup> несколько лет назад такой случай: в одной деревне он слегка выпорол десяток мужиков-бунтовщиков и тогда тоже опасались, что его убьют, – и он без всякой стыдливости принял ряд мер к своей безопасности, и даже одно время не выезжал из дому. И с тех пор всегда<sup>5</sup> носил с собой – уже по привычке – револьвер. Стало быть, здесь дело не в одной храбрости.

Вчера, после сообщения Судака, он – странно сказать – как будто обрадовался: точно он нашел то, что искал. И ему ясно, почему это так. Раз его хотят убить – тогда, значит, война, тогда нельзя говорить, что он совершил убийство 67 человек, и он имеет право не думать об этом событии. Конечно, так.

Он выпрямляет грудь, и листья под ногами шуршат громче. Так ходят губернаторы. Так ходят губернаторы. На перекрестной аллее Егор сгребает граблями палые листья.

– Здравствуй, Егор.

Егор кланяется.

– Вчера, брат, я слышал, что меня хотят убить. Правда это? – губернатор смеется, и Егор, отвечая, также улыбается:

– Как можно вас убивать, в*(аше)* превосходитель*(ство)*. Разве на людях креста нет.

*(л. 15)* *(– Так)* ведь говорят.

– Говорить-то говорят.

---

<sup>1</sup> Далее было начато: ти*(хое?)*

<sup>2</sup> Далее было начато: чет*(кий?)*

<sup>3</sup> на колесах *вписано*.

<sup>4</sup> Было: го*(д?)*

<sup>5</sup> всегда *вписано*.

– И много говорят?

– Говорят, – неопределенно и уклончиво отвечает Егор.

– А я и не знаю.

– Откуда ж вам знать.

– А кто говорит?

– Да все говорят. Народ, известно, глупый, рад язык распустить. Разве об таких делах говорить можно. Об таких делах нужно молчать.

Губернатор твердо знает, что Егор<sup>1</sup> любит его и предан ему, и сам он любит этого глуповатого, но честного мужика. Но теперь, почему-то, Егор кажется ему и не таким глупым и не таким честным, и есть в нем что(-то) противное: в этих грубых руках, в подстриженном затылке, в уклончивом лживом взгляде.

“Все они такие”, – думает Петр Ильич уходя – и внезапно пред ним встает все тот же страшный и неотвязный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Все так же наивно и мило стучит дятел, и солнце зажигает ворсинки на черном сукне его сюртука, а он чувствует себя одиноким, чуждым всему – как преступник на эшафоте.

– Да, меня нужно убить, – говорит он внушительно и веско, как будто отдает приказание, и шагает твердо, прямыми веселыми шагами – точно под барабан, точно на расстрел.

⟨л. 16⟩ ⟨После⟩ завтрака уехал Илья Петрович. Должно быть, у него [...] болела голова – проснувшись, он кричал на денщика<sup>2</sup>, он был немного бледен, неразговорчив и [...] со всеми, с матерью и сестрами. Когда все было готово, он уже в одной перчатке зашел к отцу в кабинет проститься и скупно и серьезно сказал ему:

– Как бы то ни было, папа, я очень прошу<sup>3</sup> тебя быть осторожным и беречь себя. Я уже со своей стороны просил Судака принять меры.

– Что это за странная опека? – хмуро удивился Петр Ильич.

– Не опека, а просто твоя жизнь необходима России. Ты же, я знаю, храбр, и, как все храбрые, неосторожен. Если бы ты не был так сантиментален, я посоветовал бы тебе выписать взвод казаков, но...

– Но, к сожалению, я сантиментален, – иронически согласился губернатор. – Но к чему все это, я не понимаю.

– А к тому, что твои хорошие люди очень не прочь подослать к тебе убийц. Об этом говорит весь город.

---

<sup>1</sup> Далее было начато: пр(едан)

<sup>2</sup> проснувшись, он кричал на денщика *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было: вас

– Весь город?

– Да, не улыбайся, весь город. Как они выражаются: губернатор осужден. – Офицер презрительно улыбнулся.

Глядя в окно и постукивая пальцами по столу, губернатор задумчиво сказал:

– И они, пожалуй, будут правы. Кровь за кровь.

Сын строго взглянул на него:

– Папа! Подумай, что ты говоришь! Наконец, при этих взглядах... – он выразительно пожал плечами. – И я не понимаю, что с тобой.

⟨л. 17⟩ – Давно ли это было, ты с таким достоинством вел(?) ⟨себя при(?)⟩ усмирении зензиевских<sup>1</sup> крестьян. И если ты сомневаешься, наконец,<sup>2</sup> прав ты был или нет, приказав стрелять, так ведь ты же получил одобрение из Петербурга!

Так же задумчиво губернатор сказал:

– Одно дело выдрать десяток мужиков, или...

– Извини, папа, но я не вижу разницы. Как там необходимо было сечь, так здесь – стрелять. Вот и все.

– А если разницы нет, то... Впрочем, оставим этот разговор. Никто и не думает меня убивать, просто обывательская праздная болтовня. Тебе пора.

Он говорил “никто”, а сам думал про сторбившегося человека с курчавыми черными волосами и белой шеей, и улыбался важно, и весь был широкий, сильный, здоровый, несмотря на свои пятьдесят шесть лет и седину. У него был большой, стариковски-мясистый нос и слегка подпухшие глаза, а зубы были белые, как у юноши, и брови, густые, черные, сановные. И рядом с ним его сын в туго обтянутом мундире, с утомленным лицом и синими кругами под глазами казался маленьким и нездоровым, и взглянув со стороны, можно было подумать, что он скорее состарится и умрет, чем этот седой сильный человек с густым командующим голосом.

Сын уехал, и в доме затихло, и снова ходил он по дальним аллеям и думал – все о том же. Сухие листья были сметены, и по свежим бороздкам от метлы на песке отчетливо ложились следы больших ног, с высоким каблуком и широкой ⟨л. 18⟩ ⟨четырёх⟩угольной подошвой – глубокие вдавленные<sup>3</sup> следы, точно к тяжести ⟨человека⟩ прибавилась тяжесть его мыслей. О слезах, несчастье и ⟨ненависти?⟩, которые его окружают, думал он. Смутно,

---

<sup>1</sup> зензиевских *вписано*.

<sup>2</sup> наконец, *вписано*.

<sup>3</sup> Было: отчетливые (*незач. вар.*)

как что-то давно позабытое и насильственно исторгаемое из памяти, вспоминались мужики, которых пороли. Лиц он не помнит, вернее, помнит одно лицо – с остановившимися глазами и взлохмаченной, бесцветной бородой, что-то тупое, изумленное, слегка жалкое и смешное. У них отбирали какой-то хлеб – он уже не помнит какой – и они ложились грудью на мешки и волоклись вместе с ними; потом дико взмахивали руками и тыкались в заборы, в стены, друг в друга, как слепые. Помнит он еще одного мужика, который молча, трясущимися руками шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. Никто не сопротивлялся, и камней на траве быть не могло, а он все шарил, и по знаку исправника урядник презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он упал лицом вниз. Когда его вели пороть, в руке у него был клочок вырванной с землею травы. И как будто все они были сделаны из дерева: так неловко, тяжело двигались они: не гнулись руки, не гнулись ноги; чтобы повернуть мужика лицом, куда надо, его ворочали двое. И уже став как следует, он все еще не догадывался, куда надо смотреть, а когда находил, то уже не мог оторваться, и опять двое людей должны были с усилием поворачивать его. Солдаты шутили:

– Ну-ка, дядя, скидайвай портки.

– Чего? – не понимал мужик, и продолжал не понимать, *(л. 19)* *(ка)жется(?)*, тогда, когда его уже пороли. Пороть он велел *(небол)ьно(?)*, единственно для острастки и во исполнение какого-то *(долга)*, и настроение вокруг него среди солдат и начальствующих было смешливое. Уходя, солдаты затащили лихую песню, и те, что были ближе к телегам с арестованными мужиками, шутливо подмаргивали им. В этой деревне был голод, и теперь стыдно вспомнить, что он тоже, кажется, смеялся. Стыдно, и даже страшно.

Тогда он уехал в город и скоро позабыл об экзекуции, а теперь все это воскресло, и мужики безобразным серым комом стоят в голове и смутно утверждают собою что-то непоправимое, неизбежное, страшное. Он не считает себя виноватым – он велел пороть их только для виду – но одно то, что этот безобразный серый ком стоит в голове неподвижно и властно, отдает его во власть кому-то чужому, жестокому. И как противен этот хлеб, который он отнимал у голодных.

– Как нехорошо! Как нехорошо! – твердит он шепотом,<sup>1</sup> и лицо его передергивается от брезгливости. – Как это неприятно.

---

<sup>1</sup> *Далее было начато: внут(ренне?)*

Вот тоже рабочий: он зачем-то разорвал рубаху у себя на груди и, держась руками за лохмотья, выпирая голой костлявой<sup>1</sup> грудью вперед, кричал отчаянно:

– На! Возьми! Вот она! А правду давай, сукин сын, правду не слопаешь!

А женщина, простоволосая, тоже с расстегнутой грудью, совсем безумная, дергала его за рукав и вопила:

⟨л. 20⟩ (– Детки) все перемерли с голоду. Детки все перемерли. Детки!

⟨Она⟩ кричала о голоде, о детях, о правде. И он, прощая оскорбления, обещал написать в Петербург, похлопотать, устроить, а они, недовольные, яростные, измученные двухнедельной голодовкой, требовали правды немедленно, как будто ее, точно слиток золота, можно было передать из рук в руки.

И потом – взмах белого надушенного платка – стая стремительных смертей, посланных в эту толпу голодных, отчаявшихся людей, протягивающих руки к правде.

– Позорно! – громко и гулко говорит губернатор, остановился и отставляя ногу, глядя через плечо, как на смотру. – Позорно! Боюсь, что я негодяй.<sup>2</sup>

И снова он ходит и думает, и уже все дорожки парка исчерчены прямыми линиями глубоких, вдавленных следов.

Через неделю, по настоянию полицеймейстера, напугавшего Марью Петровну опасностью жить в такое время на уединенной даче, переехали в город. Петру Ильичу не сказали истинной причины такого раннего переезда – обыкновенно жили на даче до конца сентября – но он ни о чем и не спрашивал, ⟨л. 21⟩ (был) задумчив и равнодушен к окружающему. Но на одном докладе, когда Судак лично докладывал, что в городе царит полное спокойствие, спросил его:

– Но на даче, вы находите, жить опасно?

– В городе лучше, ваше превосходительство.

Губернатор коснулся двумя пальцами плеча полицеймейстера и сказал:

– Видите ли, дорогой Иллиодор Васильевич, если уж меня решили убить, так убьют.

<sup>1</sup> голой костлявой *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было (с абзаца):* И с внезапным приливом острой нестерпимой жалости к (бедн)ым(?), жалости, от которой глаза мгновенно наполняются слезами, с [великой] смертельной тоской об искуплении, о каком-то великом подвиге, он чувствует в себе силы найти правду и сделать этих людей счастливыми, смеющимися. Но вспоминает свою грязную канцелярию, почтительные лица чиновников, Судака, агентов

– Какие печальные мысли, ваше превосходительство. Поверьте...

– И я покорнейше прошу<sup>1</sup>, – губернатор строго взглянул в вытаращенные глаза Судака, – чтобы не было никаких агентов. Да и стражников не надо. Незачем! Вы поняли?

– Слушаю, ваше превосходительство.

Когда на обратном пути полицеймейстер проезжал по Канатной, он так смотрел на дома, точно хотел уничтожить их одним взглядом. При своем рыбьем прозвище и внешности он способен был к пьяному гневу и жестокости и сердясь бывал смешон и страшен – как бешеный судак.<sup>2</sup> Но зол он был в этот раз не на обитателей Канатной, а именно на губернатора: своею бесхарактерностью и романтическим отношением к случившемуся он ставил его в неловкое положение и вообще нарушал гармонию и порядок сложившихся отношений. Что губернатора хотят убить, это казалось полицеймейстеру вполне естественным, неизбежно вытекающим из сути отношений между ним, начальством (л. 22) [...] людьми; и если бы губернатор, с своей стороны, (уст)роил хороший разнос среди подозрительных лиц или, вернее, дал бы на это право ему, полицеймейстеру, – это было бы так же естественно и всему происходящему дало бы твердую, определенную и приятную форму. А так получалась нелепость, вздор, скука.

– Старый дурак! – шепотом обругал он губернатора. – Начитался книг и думает, что умен. А просто дурак. Проучат тебя, погоди! Вспомнишь Судака!

### III

О том, что губернатора скоро убьют, знал весь город. Кто первый сказал это, кому первому пришла мысль о неизбежности убийства, никто не знал; только уже на второй день после расстрела рабочих все говорили и все знали, что губернатора скоро – быть может завтра – убьют. И похоже было на то, что эта мысль одновременно возникла во всех головах, самых далеких друг от друга, с самым различным отношением к событию, ибо и те, кто хвалил губернатора за твердость, и те, кто бранил его за жестокость и называл убийцей, – все одинаково твердо верили в его близкую и неизбежную смерть. Как будто помимо их самих и ихнего отношения к событию существовал кто-то третий, кто

<sup>1</sup> прошу вписано.

<sup>2</sup> Далее было (по центру листа): III (нумерация очередной главы; незач. вар.)

решает, жить человеку или умереть, и этот третий, неумолимый и всемогущий, уже наложил на губернатора свою каинову печать.

*(л. 23)* [...] говорили о предполагаемой смерти губернатора очень мало и неохотно, как о факте, который всем известен, но думали много и думали странно, как-то в одиночку, отрывочными и бессвязными мыслями. Словно и думать по-настоящему не хотелось о том, что уже решено бесповоротно и непреложно; а когда случайно среди собравшихся людей возникал разговор о губернаторе, то мнения разделялись, непреложное становилось сомнительным и спорным и под конец<sup>1</sup> ясно как будто становилось, что все эти предположения об его убийстве – только предположения, ни на чем не основанные, даже фантастичные. Но стоило одному из говоривших некоторое время побыть одному – он снова твердо верил в близкую и неизбежную смерть того<sup>2</sup>, кого перед этим он почти оправдал и утвердил в жизни. И он ждал этой смерти, ждал беспокойно, хмуро-нетерпеливо.

На Канатной, где жили родные и товарищи убитых рабочих, заговорили о смерти губернатора не раньше и не позже, чем в других местах, и заговорили так же, как о чем(-то) давно и непреложно решенном. И решено оно не здесь, а где-то поблизости, по соседству. Но подавленные глубиной своего горя, своей ненависти говорили еще меньше, чем в городе, и просто ждали. Ждали молчаливо, ждали спокойно и терпеливо, и в этом спокойствии была грозная беспощадность, бесповоротное осуждение, не знающее милости и прощения. Жизнь шла, как и всегда, как и до события – все та же нудная,<sup>3</sup> тоскливая, опутанная заботами о хлебе, о зароботке, о детях, точно разорванная на тысячи бессвязных клочков – дней и черных провалов.

*(л. 24)* [...] была в этой жизни своя<sup>4</sup> особенная тоска – тоска порабощенной, [...] (зад)ушенной мысли, безнадежно запутавшейся в тенетах все одних и тех же мелочей, от которых не было спасения и ночью: перед сном в голове вставал и снова в длительных тягостных мгновениях переживался кошмарный, бестолковый день, а сновидения повторяли, бесконечно повторяли его, с его однообразной работой, печными горшками, слезами и болезнью детей. Особенно страдали женщины. Во сне многие из них стонали – их продолжали во сне бить мужья, а наяву их убивала маленькая жадная печь, вечно раскрывающая свою чер-

---

<sup>1</sup> под конец *вписано*.

<sup>2</sup> того *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было начато: об(ыденная?)

<sup>4</sup> своя *вписано*.

ную голодную пасть, – печь, которая была для них страшнее всех огненных печей ада. Двухнедельная забастовка с ее голодовкою и смертью детей вспоминалась как что-то ужасное, но в то же время притягательное, манящее – ибо была в этом необычность и отдыхала мысль, пока медленно умирало тело. И теперь, когда надежда на какое-то облегчение утонуло в лужах крови у губернаторского дома, обычный строй поработанной мысли стал еще невыносимее, и в потребности забыться мужчины пьянствовали, ссорились, дрались, и уже был один случай бессмысленной ножевой расправы.

И каждый опрокинутый горшок в печи, каждая новая и безнадёжно, бесстыдно старая мелочь – все призывало смерть на голову губернатора. Ее ждали каждый час, ее ждали беспощадно и наивно. Сперва думали, что он будет убит на девятый день после смерти рабочих; но девятый день прошел спокойно, и тогда ее стали приурочивать к каждому празднику, потом к каждому дню и каждому часу. Стоило где-нибудь громко *(л. 25)* *(хлопнуть?)* дверью, и все женщины бросали горшки и выбегали на улицу и ждали почему-то дыма и огня и сообщения о смерти губернатора. Случалось, кто-нибудь быстро пробежит по улице – и опять отрывистые, быстрые вопросы:

– Убит?

– Нет, это так. Антошка за водкой.

И снова терпеливое, даже как будто бесстрастное ожидание. Иногда из города неведомо какими путями<sup>1</sup> приходили слухи, что губернаторский дом взорван, и сам он убит, и все верили в это, а потом спокойно – без разочарования – узнавали, что это неправда, и снова ждали. Когда губернатор проезжал к себе на дачу, от него прятались – сами не зная почему. Так, неприятно было глядеть на человека, который<sup>2</sup> сейчас умрет страшною смертью. Ибо если в городе ждали просто смерти, то на Канатной ждали страшной смерти – какой-то совсем особенной, губернаторской смерти.

И эта всеобщность одной и той же мысли, одного и того же ожидания делала их силою более могущественною, чем сила машин, орудий и пороха. Мысль, одна только повелительная мысль убивала человека: она лишала его воли и как будто уничтожала в нем инстинкт самосохранения, она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить; – и она же вызывала из тьмы тех, кто должен нанести удар – создавала их, как творец.

---

<sup>1</sup> *Далее было:* из города

<sup>2</sup> *Далее было:* вот

В губернаторском доме заговорили *〈л. 26〉* о *〈смер〉*ти губернатора не раньше и не позже, чем в других местах. *〈Заго〉*ворили сдержанно и деловито, как о вопросе, бесповоротно<sup>1</sup> решенном. И когда губернаторская семья вернулась с дачи, весь дом уже был полон трепетным ожиданием смерти того, кто был его хозяином и был здоров и крепок, как юноша. Работали повара в белых балахонах; по вечерам у кухни любезничали лакеи и горничные и звучала смягченно балалайка и гармоника; каждое утро швейцар расчесывал перед зеркалом свои пушистые баки – и было чувство такое, что все это, и повара, и балалайка, и баки не спасут того, кто осужден бесповоротно. Тщательно, как всегда, проверялись все замки и<sup>2</sup> заборы, а казалось, что все открыто, что всякий любовью с улицы может войти в дом – в двери, в окна. И однажды утром швейцар нашел наружную дверь открытой; ничто не пропало, ничто не было тронуту, но он не поверил, что это он сам забыл затворить дверь, и вся прислуга заговорила о ком-то, кто ночью был в доме. Был в доме, и только – а казалось это страшнее, чем сама смерть, само убийство. Те из прислуги, кто был в доме 17 августа, в день бунта, по ночам грезил толпой, которая собирается внезапно и берет беззащитный дом, но не думали о защите, хотя их было много, а приискивали способы безопасного бегства. Но за себя, в общем, не боялись – только зрителями чувствовали они себя.

Позже других узнал о своем осуждении сам губернатор. Но когда узнал, то поверил в него сразу, решительно и твердо. Смутное беспокойство и растерянность мысли, мучившая его первое *〈л. 27〉* *〈время〉* после события, превратилась в ясную и определенную мысль о неизбежности близкой смерти – ту самую мысль, которая весь город превращала в одну голову, в одну волю. И никогда, пожалуй, между ним и подчиненными ему людьми не было большей близости, чем в эти дни, когда одно и то же чувство, одно и то же ожидание связывало их – как щепки на гребне одной и той же волны. Но признав себя осужденным и не смея жаловаться на приговор, он еще выше поднял голову – ибо было его гордостью в эти дни мужественно и спокойно встретить неизбежную смерть. И только однажды мужество как будто изменило ему – это когда губернаторша попросила его ехать вместе с нею и детьми за границу.

– Я прошу тебя, *Pierre*, – говорила она томно и закрывала глаза большими, коричневыми веками, и желтая напудренная кожа

---

<sup>1</sup> бесповоротно *вписано*.

<sup>2</sup> замки и *вписано*.

на щеках обвисала, как у легавых собак. Но сквозь искусственную томность чувствовалась искренняя тревога и даже как будто слезы – особенные, точно напудренные слезы. – Ты знаешь, как плохи у меня почки и мне положительно необходим Карлсбад.

– Но разве ты не можешь поехать с детьми, без меня?

– Ах нет, Ригге, без тебя я буду так<sup>1</sup> беспокоиться. Я прошу тебя.

Она не сказала, отчего она будет беспокоиться, да это и не нужно было. И он ответил, что подумает, и думал два дня – лукаво, как всякий человек, которому неожиданно представилась возможность спасения.

“Это не будет трусость, о нет! – думал он, расхаживая (л. 28) (по паркету?) с закинутой головой. – Это судьба: меня просят поехать, я и еду – ведь я не сам предложил это. У них есть еще время, чтобы убить меня, а если они не убьют, то, значит, я должен жить, и все это пустяки. Так даже лучше, так даже вернее”.

И он согласился ехать. Но нужно было снестись с Петербургом, нужно было даже похлопотать, т. к. естественный заместитель его, вице-губернатор, сам был в отпуску – и делал он это так медленно, с такой забывчивостью, которая едва ли была естественной. Написать нужно было немного, а он откладывал это со дня на день, наконец твердо назначал день – забывал – и снова откладывал. Успокоенная решением уехать, губернаторша вяло торопила его – она как-то запоздала в этот раз с своим осенним туалетом и нужно было еще с месяц, чтобы покончить с портнихами.

А город молчал и ждал. Но уже скоро молчание стало нестерпимым и точно из прорвавшегося почтового ящика в губернаторский дом посыпались письма – странные глухие голоса, отрывочные и бессвязные, как бред. Грязные, тонкие конверты, купленные в молочной лавке за копейку; конверты четырехугольные, деловые, с аккуратно наклеенной маркой и тщательно выписанным титулом; конверты случайные, безликие, с такой случайной разгонистой надписью, по которой нельзя узнать, кто писал. И содержание: кто-то туго ворочая мыслью и пером, грозит убить; кто-то почтительно предостерегает: все хотят убить; вот грубо нарисованный гроб; вот точно сплошные брызги грязи (л. 29) [...], отвратительные ругательства; вот рядом страстное о(бви)нение, целый обвинительный акт, убористым экономным почерком уложенный на десятке страниц.

---

<sup>1</sup> так вписано.

“...Вы убили невинных, Вы убили женщин и детей, и кровь их поднимается к небу. Вы старей, Вы седой и Вы опозорили Ваши седины – проклятие детям, имеющим такого отца! Проклятие женщине, любившей его! Вы горды безнаказанностью своею – но и над Вами есть суд, нелицеприятный и грозный суд народа. Он осудит Вас и напрасно Вы будете жаловаться, взывать к Богу, которого Вы убили в лице его детей – Бог хочет того, чего хочет народ, и скоро раздавит Вас его карающая десница. Слепой старик! Молись и плачь, пока не поздно. Плачь, пока не поздно – у могилы нет голоса, нет слез”.

И подписано: “мать”.

Мраком ночи веяло от писем, и дыханием смерти дышали они. За спокойными стенами домов и под их крышами сидели какие-то люди согнувшись и писали; и ночь окружала их, а они писали – безлицые, неведомые, зловещие, как призраки в невидимости своей. Тишина и ночь окружали их, – а их душа горела белым пламенем и мысли их кричали и пели – и пели торжественно похоронную песнь. Они не знали, во имя кого их неумелые руки вооружило пером, подобным мечу и факелу, – точно разбуженные среди глубокого сна чьим-то повелительным окриком, они торопливо и покорно, как послушные писцы, врезали новую страницу в книгу судьбы.<sup>1</sup> И тайна покрывала их имена – муж скрывался от жены, друг скрывался от друга: как будто *〈л. 30〉* *〈в пись〉*мах этих выливалось то самое таинственное и сокровенное, о чем не должен знать никто из людей. Были среди них глупцы, не имевшие дара речи и бессмысленно мычавшие; тупым и зверским казался чистый и звонкий голос судьи-народа в их гортани животного; и виделись тупые, низкие, грозно наклоненные лбы, и налитые кровью глаза, и яростно бегущая слюна. Были среди них и нежные, трогательно красивые и чистые сердца, и ужас сковывал их, и как цветы они блекли и свертывались под огнем беспощадного веления. Были вдохновенные поэты; были среди них и пророки.

“...Ты умрешь – это я тебе говорю, тот, кто невидим. Ты умрешь. Корчась и дрожа, ты влезешь в свою узкую могилу – и несокрушимым памятником встанет над нею твой великий Позор. Ты видишь людей, что-то копающих в поле,<sup>2</sup> в солнечном зное, в свисте вьюги, под стоны и плач осеннего дождя? – это копают твою могилу. Ты слышишь частый стук топоров по звонкому дереву, и скрежет пилы, и шелест рубанка? – это сбивают гроб для тебя. Ты видишь адский огонь среди ночи – и уродливые тени лю-

---

<sup>1</sup> *Далее было начато:* Т(айна)

<sup>2</sup> *Далее было:* под

дей, прыгающих вокруг огня – и молот в руках – и грохот железа о железо – и лязг – и визг? – это куют решетку для твоей могилы, чтобы не убежал ты оттуда при восстании мертвых. Земля зовет тебя. Иди скорее – земля зовет тебя! Но, уходя, оставь нам то, что тебе не нужно. Оставь богатство – мы отдадим его голодным, у которых ты отнял хлеб; оставь нам ордена твои и золото мундиров – мы отдадим его нашим детям на игрушки. И оставь *⟨л. 31⟩* [...] имя твое – на вечное проклятие, чтобы проклинали мы *⟨его⟩* вечно, как имя Иуды. И голый иди в землю – там все ведь голые, и не стыдятся!”

Подписи нет. И рядом другое письмо:

“Вчера мне снились Ваши похороны, и я решила писать Вам, хотя это нехорошо и оскорбляет тех несчастных рабочих, которых Вы убили. Но Вы тоже несчастный, и поэтому я пишу Вам. Мне снилось, что гроб Ваш несли по длинной и пустой улице городовой, и за гробом тоже никого не шло, кроме городских. И все окна на улице как будто закрыты были ставнями; и ворота тоже все закрыты, и калитки. И так страшно было, что я проснулась и стала думать, о чем теперь и напишу Вам. И я подумала: вероятно, у Вас и вправду нет никого, кто бы мог о Вас поплакать. Те люди, которые Вас окружают, думают только о себе, и когда Вас убьют, то они будут, мне кажется, даже рады, потому что сами думают о месте губернатора. А из честных людей Вас никто провожать не пойдет, потому что все возмущены Вашим поступком с рабочими. Панихиды же ничего не стоят, потому что наш архиерей, как Вы сами знаете, готов отслужить панихиду и по собаке, если ему хорошо заплатят. И когда я подумала, что, вероятно, Вы сами все это хорошо знаете, и без моих слов, то мне стало страшно жаль Вас, как будто бы я знаю Вас лично. Видела я Вас только один раз на нашем<sup>1</sup> акте, когда Вы приезжали вместе с архиереем, но Вы меня, конечно, не помните<sup>2</sup>. И я клянусь, что буду<sup>3</sup> молиться о Вас, и буду плакать *⟨л. 32⟩* [...], как будто бы я была Ваша дочь, потому что мне очень, *⟨очень⟩* жаль Вас”.

За подписью “гимназистка” следовало подчеркнутое P.S. “Пожалуйста, сожгите это письмо”. Или еще письмо:

“Ваше Превосходительство! Вы генерал, но и генералы смертны. Одни генералы умирают своею смертью, другие же насильственною. Вы, ваше превосходительство, умрете смертью

<sup>1</sup> нашем *вписано*.

<sup>2</sup> но Вы меня, конечно, не помните *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было: о Вас

насильственной. Имею честь остаться вашим покорнейшим слугою”.

Каждый день, то по одному, то по два и по три, являлись в губернаторский дом эти темные вестники смерти – таинственные голоса, оторванные от родивших их людей. И все они твердили одно – что смерть близка, что она подходит, что она решена кем-то бесповоротно. Никто из писавших – предупреждавших и грозивших – не доказывал, почему губернатор будет убит, а все брали это как данное, с такою уверенностью, против которой не может устоять жизнь. Так говорят об умирающем человеке, который болен смертельно и для всех явною болезнью; и страшно было слышать это человеку, у которого крепко и безболезненно тело и цела голова. И минутами он сомневался, о нем ли это говорят; минутами же с диким изумлением смотрел на свои пальцы, на одном из которых с детства оставался шрам от пореза, и думал: неужели все это умрет? И как может быть, чтобы оно умерло, с своими ногтями, с своим шрамом и черными волосиками?

Неприятно было по утрам смотреть на себя в зеркало, и особенно было тяжело и жутко<sup>1</sup> видеть себя во весь рост, всю свою фигуру, что изредка случалось в уборной жены или в гостиной, где *(л. 33)* *(были)* большие зеркала. Но смерти он, в общем, не боялся, аккуратно *(читал)* и уничтожал письма, все еще занимался делами и был ровен в настроении, как всегда. Только очень быстро старел – но и этого не замечали люди, видевшие его ежедневно.

Многие письма он недочитывал и рвал их брезгливо, кончиками пальцев; но письмо гимназистки прочел два раза и разорвал особенно старательно, на мелкие клочки. Показалось и этого мало – вечером сжег на свечке. И когда жег, то пожалел, что нет камина: с первых дней своего поселения в этом доме он хотел устроить в своем кабинете камин, но так и не устроил, и стояла только высокая, казенная печь с белыми кафлями, плохо прогревавшаяся при самой сильной топке. И теперь, когда он стал зябок и нужно было жечь письма, это было особенно неприятно.

Гимназисточку он полюбил. Поздно вечером, уже перед сном, он прошел через темный зал и вышел на балкон, тот самый, откуда он подал знак белым платком. Уже начиналось осеннее ненастье и слякоть, и ночь была так темна, что он не видел своей руки; налево, у подъезда горел яркий фонарь, и от этого становилось еще темнее, и левою рукою, как шорою, он отгородился от неприятного бокового света. Город, вероятно, уже спал, потому что

---

<sup>1</sup> *Далее было:* , когда

кроме редких фонарей на улицах не видно было ни одного освещенного окна, и езды не было слышно. В гимназии уже началось учение, и она, вероятно, уже приготовила уроки и спит – где-то в этом черном пространстве, полном безмолвия. Оттуда шлют ему письма и угрозы, оттуда придет к нему смерть ⟨л. 34⟩ ⟨и⟩ там есть девочка, которая спит и которая будет о ⟨нем⟩ плакать, и только о ней он думает. До ее письма он еще как будто сомневался, что должен умереть, но теперь это ему ясно – как ясна ему и вся его жизнь и великий грех этой жизни.<sup>1</sup> Он не может его назвать, и совесть не терзает его, как обыкновенных преступников, – но твердо, непреложно, всем своим существом он знает, что был не таким, каким должен быть человек, и жизнь его не такую, какую должна быть жизнь человека. Он уже стар, и все в нем, привычки и мысли, старчески заостенело, и от этого он не может найти, каким должен быть человек, и от этого он умрет, а не от пули, и не от ножа. Как<sup>2</sup> самоуверенный человек, безнадежно заблудившийся и долго, упрямо и радостно шедший по ложной дороге, только у конца ее узнает свою ошибку – так и он только теперь узнал свою. Но где истинный путь, он не знает и теперь, как не знал и вначале; смутно мелькают в памяти какие-то тропинки, освещенные солнцем, какие-то боковые пути – но кто знает, были они настоящими или также завели бы его в гущу.

А она девочка, и она спит сейчас. Она тоже его осуждает, но когда он умрет, будет плакать о нем. И это все, что нужно. Когда он был помоложе, он был однажды в составе суда, осудившего на смерть солдата за то, что он<sup>3</sup> побил офицера. И он тоже подал голос за смерть, а потом, ночью, плакал, но никому не сказал об этом. Может быть, солдата и не нужно было казнить ⟨л. 35⟩ [...]?

[...] она будет плакать о нем. Как спокойно на балконе! Железные перила мокры и скоро опять польет дождь – так сильно пахнет водою и листьями, и так черно небо. Внизу площадь, на которой лежали убитые и ползали раненые, но теперь их страшный призрак не тревожит его. Как смертельная болезнь, они<sup>4</sup> ушли куда-то в глубину его головы и его сердца, и чувствуются всегда, но думать о них нечего. Все ясно. Вот и дождь – холодные мелкие брызги на лбу, на руках. Как спокойно – как темно – как тихо. Она спит. Будь благословенна<sup>5</sup>, милое дитя!

---

<sup>1</sup> *Далее было:* Совесть его спокойна; перед всяким судом, земным и небесным, он твердо заявил бы о своей невинности.

<sup>2</sup> *Далее было начато:* чело(век)

<sup>3</sup> *Далее было начато:* уб(ил)

<sup>4</sup> *Далее было начато:* глуб(же)

<sup>5</sup> *Так в рукописи!*

⟨л. 36⟩ [...]. Губернатор заявление отправил, но с того же дня ⟨он?⟩ стал носить с собою револьвер – обидно смешным и нелепым казалось это оружие перед лицом беспощадной судьбы, занесшей над ним свою неотвратимую руку, когда всякий встречный человек может быть убийцей². И с этого же дня он перестал шутить и смеяться, и заниматься делами: уже некого и незачем было обманывать притворной веселостью, и пустяками казались все эти дела перед грозным значением того, что ждало его каждую минуту, на каждом шагу, за каждым углом. И как только перестал притворяться, сразу распалась связь, соединявшая его много лет с женою, детьми и окружающими – как будто только улыбками и шутками держалась она и исчезла вместе с поклонами и поцелуем рук. Не осудил он их, не возненавидел – они просто выпали из его души, как выпадают гнилые зубы изо рта, как выпадают волосы, как отпадает умершая кожа: безболезненно, нечувствительно, спокойно. Смертельно одинок он был, и даже не почувствовал этого – как будто всегда, во всю долгую жизнь, одиночество было его естественным, обычным состоянием.

Утром он забывал здороваться, вечером – проститься, и когда жена подставляла свою руку, а дочь³ Зизи свой гладкий лоб, то как-то не понимал, что нужно с ними делать, с рукой и гладким лбом. И когда жена говорила:

– Ригге! Но куда же ты уходишь, побудь с нами.

Он спокойно отвечал:

– Нет, я лучше пойду к себе.

И невежливость ответа исчезала в его искренности и простоте. Отказывался смотреть новые платья Зизи, не выходил к гостям, ⟨л. 37⟩ пре⟨доставляя⟩ губернаторше выдумывать предлоги, а когда она приходила ⟨в⟩ его кабинет, он просто и вежливо удалял ее:

– Ну хорошо, ступай. Мне хочется побыть одному, – говорил он своим гулким командующим басом и прижимался спиной к холодной, негреющей печке.

Мария Петровна пробовала обижаться и впадать в чувствительность, но ничего из этого не вышло, и она решила, что муж ее просто боится убийц и нервничает. Уедут за границу, и там все станет по-прежнему.

¹ Далее утрачена (вырезана) нижняя половина листа.

² когда всякий встречный человек может быть убийцей *вписано*.

³ Далее было: свой

От прежних привычек у Петра Ильича остались только карты; играл он два раза в неделю в винт по одной тысячной<sup>1</sup> с видимым удовольствием, серьезно, деловито, и когда партнер ошибался, подвергал его громовому разносу.

– Вы о чем же, сударь, думаете? Ведь я же показывал вам бубны? – гулко грохотал он, выговаривая бубны так, точно ударял в бубен, и Марья Петровна из гостиной с улыбкой ловила слова мужа и с томной снисходительностью покачивала головой. Щеки у нее обвисали, как у лягавой собаки, и пудра сыпалась с лица, и коричневые, большие, как у филина, веки медленно поднимались и опускались. И ей, и другим казалось в этот миг невозможным, чтобы кто-нибудь решился убить человека, который так играет в карты.

И все две недели, до самой смерти, он ждал. Вероятно,<sup>2</sup> были в его голове другие мысли – об обычном, о житейском, о прошлом, привычные, старые мысли человека, у которого давно заостенели мышцы и мозг; вероятно, думал он и о рабочих, *(л. 38)* *(и о том?)* печальном и страшном дне – но все эти размышления, *(тускл)ые* и неглубокие, проходили быстро и исчезали из памяти бесследно, как рябь на реке, поднятая мимолетным ветром. И снова, и всегда спокойною<sup>3</sup> и черною водою омота стояло бездонное, молчаливое ожидание: словно и с мыслями связь у него порвалась так же, как и с близкими людьми, и в голове своей он был так одинок, как и в доме своем.

Он ждал. Как и всегда, он вставал в семь, обливался холодной, как лед, водой и в восемь выходил на обычную прогулку; и каждый раз, переступая порог своего дома, думал, что обратно его уже не перешагнет и двухчасовая прогулка превратится в бесконечное падение куда-то. Одетый в генеральское пальто с красной подкладкой, высокий, широкоплечий, воинственный, несущий седую голову немного назад, он два часа величавым призраком кружился<sup>4</sup> по городу – вдоль потемневших от воды деревянных домишек, вдоль бесконечных заборов и пустырей, вдоль провинциально-скучных<sup>5</sup> магазинов с продрогшими, низко кланяющимися приказчиками. Светило ли подслеповатое октябрьское солнце, моросил ли<sup>6</sup> настойчивый, угрюмый дождь, он неизменно появлялся на улицах – величавый и печальный призрак с разме-

---

<sup>1</sup> в винт по одной тысячной *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было*: у него

<sup>3</sup> *Было*: глубокою

<sup>4</sup> *Было*: метался (*незач. вар.*)

<sup>5</sup> провинциально-скучных *вписано*.

<sup>6</sup> *Далее было начато*: уг(рюмый)

ренными и твердыми шагами, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы. Прямо по грязи и по лужам шагал он, блестя в них красной подкладкою<sup>1</sup> пальто, которое забыл он застегнуть, прямо пересекал улицы, не замечая экипажей и не останавливаясь перед ними, и если бы сверху проследить его ежедневный путь ожидания, то представился бы он причудливым сцеплением прямых и коротких <л. 39> <линий>, вонзающихся друг в друга и всех вместе спутывающихся <в> колючий, болезненно изломанный клубок. Он мало смотрел по сторонам и никогда не оглядывался назад, но едва ли и впереди себя видел он что-нибудь, поглощенный бездонным черным ожиданием, – много поклонов оставил он без ответа, и много испуганных глаз встретили и пропустили сквозь себя его скользкий, невидящий взор, прямой<sup>2</sup>, как его шаги. И когда он уже был убит и давно похоронен и новый губернатор, окруженный казаками, молодой и вежливый, быстро и весело носился по городу в коляске, многие<sup>3</sup> вспоминали этот двухнедельный странный призрак: седого человека в генеральском пальто, шагающего прямо по лужам, его закинутую голову и незрячий взор, его красную подкладку, мелькающую в желтых, грязных лужах.

Вероятно, многолюдие главных улиц с его назойливым любопытством было ему неприятно, и чаще он углублялся в маленькие глухие переулки с их трехконными<sup>4</sup> домишками, заборами и узкими деревянными, скользкими мостками вместо тротуаров. Один раз он был на Канатной и прошел ее всю, почти никого не встретив, но больше не возвращался: трудно и утомительно было месить полуаршинную невылазную грязь. Спокойной и тихой показалась ему улица, и мелькнуло что-то вроде странного желания зайти в один из этих промокших, сиротливо выглядывающих домов, но тут же и исчезло, поглощенное огромным, черным, не знающим надежды ожиданием.

Но на одну улицу он заглядывал ежедневно и проходил <л. 40> <нето>ропливо и был похож на спокойно гуляющего, добродушного, <немного?> странного<sup>5</sup> старого генерала. Эта улица вела к женской гимназии, и по утрам, в девятом часу, по ней проходило много гимназисток; и первый он почтительно и серьезно кланялся девочкам, самым маленьким из них, у которых были коротень-

---

<sup>1</sup> Далее было начато: расстегнут<ого>

<sup>2</sup> Далее было начато: и не остана<вливающийся?>

<sup>3</sup> Далее было: а. помнят б. помнили

<sup>4</sup> Было: маленькими (незач. вар.)

<sup>5</sup> <немного?> странного вписано.

кие по колена коричневые<sup>1</sup> платица и огромные портфели, и они конфузливо отвечали. Его близорукие глаза не различали лиц, и все они, и у девочек, и у взрослых, стройных девушек, казались ему одинаковыми розовыми лепестками в шапочках. Пропустив последнюю, он тихонько улыбался<sup>2</sup> левым усом и смотрел хитро – а за поворотом снова превращался в мертвеца, церемониальным маршем ищущего могилы.

Возвращаясь домой и перешагивая порог, он не ощущал радости и даже не думал, что вот еще на один день он остался жив; он принимал это без размышлений, как будто забыв даже значение своей прогулки – и ждал следующего дня (с) огромным темным ожиданием. И пустые, бездеятельные дни проходили страшно быстро, но время не подвигалось вперед: как будто испортился механизм, подающий новые дни, и вместо следующего дня подавал старый, все один и тот же. И календарь на письменном столе, который он всегда переворачивал по утрам сам, замер неподвижно на каком-то из старых, давно прошедших дней, и взглядывая иногда на эту застывшую черную цифру и даже не догадываясь, в чем дело, он ощущал тяжесть в груди, что-то вроде легкой тошноты и быстро отводил глаза.

– Вздор! – говорил он сердито, теперь оставаясь один, он (л. 41) (вс)лух произносил отрывочные слова, не связанные как будто (ни)какою мыслью – и особенно часто повторял два слова: (‘‘вздор!’’) и ‘‘позорно!’’.

Смерти он по-прежнему не боялся, твердо решив умереть хорошо, лучше, чем жил; аппетит почти потерял совсем, но спал все так же хорошо и крепко. Но однажды ночью – это было за три дня до убийства – ему, вероятно, приснилось что-нибудь очень тяжелое, и проснулся он от собственного, глухого и хриплого стога. И проснувшись, встретив перед глазами<sup>3</sup> тьму, почувствовал смертельный ужас и истому. И стал просить:

– Сжальтесь<sup>4</sup> надо мною! Милые люди, сжальтесь надо мною. Ведь я не знал, честное слово, я не знал. Разве я стал бы стрелять, если бы знал. Я не знал. Сжальтесь надо мною, добрые люди, сжальтесь.

Он повторял: ‘‘сжальтесь’’ и ‘‘я не знал’’, и ему казалось, что просит он страшно убедительно и доказывает неопровержимо. И уже близко было спасение и рассеивались чары смерти, когда

---

<sup>1</sup> коричневые вписано.

<sup>2</sup> Далее было начато: сед(ым)

<sup>3</sup> Далее было: сплошную и ровную

<sup>4</sup> Было начато: Ми(лые)

ясно представился ему молодой солдат, которого он осудил на смерть. Представилось, как он накануне казни лежал в тюрьме и также ощущал смертельный ужас и истому, и также просил о жалости, о прощении – и никто не пожалел его и не простил. Быть может, он бился головою о стены – вот так же ночью; быть может, он плакал, потому что был он очень молод и красив и имел женщину, которую любил, – но никто не отозвался. И вместо новых жалоб он обратился к молодому, умершему солдату, раскрывая ему сердце:

– Милый, милый, прости меня, старика. Знаю, как больно тебе *(л. 42)* *(было. А?)* ведь и я тоже – и я тоже. Пусть ты будешь мне сын, а *(я твой)* отец. Смотри: я обнимаю тебя – я целую тебя, и будем *(плакать)* – плакать вместе. Я о тебе – и ты обо мне. Плакать-плакать.

И так в слезах он заснул, а на утро вспомнил все это: и свои слезы и молодого солдата – как смутный, тяжелый и неприятный сон. Обливаясь водой, потом слегка покачиваясь под сильными руками слуги, растиравшего ему спину мохнатым полотенцем, он двигал бровями и ртом и раз громко и сердито сказал:

– Вздор! Позорно!

Как всегда отправился гулять. Кланялся гимназисткам – и ждал<sup>1</sup>. В первые дни, по<sup>2</sup> тайному приказу Судака, за ним в некотором отдалении следовали два переодетых агента, которых он не замечал, так как не оглядывался назад. Вначале они добросовестно ходили за ним, подчиняясь всем его капризным движениям, но скоро охваченные, как и все, убеждением в его неизбежной смерти, стали пожимать плечами, задерживались возле знакомых лавок и городских и, случалось, на целый час теряли его из виду.

– Все равно, ничего не поделаешь, – говорил, оправдываясь, один, похожий на отставного консисторского чиновника, бритый, благообразный и всегда хмельной. – Из ума от старости выжил, сам на рожон лезет.

– А Судак? – говорил другой, усатый, мрачный, похожий на пропившегося помещика, но в действительности бывший шулер-неудачник.

– Ну что ж Судак! Понимает, небось, сам, что мы не ангелы.

*(л. 43)* *(Правда?)*, они не были похожи на ангелов, эти два хмельные [...] человека, и не их рукам было отстранить гору, падающую на человека. И еще два дня<sup>3</sup> мелькала, отражаясь

<sup>1</sup> *Далее было:* И еще два дня

<sup>2</sup> *Далее было начато:* пр*(иказу)*

<sup>3</sup> *дня вписано.*

в лужах, красная подкладка, и кружился по улицам величавый призрак, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы.

Произошло это просто и наивно. На перекрестке, при выходе на маленькую, пустынную грязную площадь, чей-то робкий голос окликнул губернатора:

– Ваше превосходительство!

Губернатор остановился и повернул голову: к нему через дорогу, от глухого забора, расплзаясь ногами в грязи, торопливо подходили два человека и один из них был тот – с курчавыми волосами и белой шеей. В левой руке он держал свернутый четырехугольный бумага, а правую опустил в карман, и лица у обоих были серые<sup>1</sup>, растерянные, разбегающиеся. И сразу стало понятно все: ему – что пришла смерть, им – что он знает об этом.

– Извините! – сказал один из них тонким, почти женским голосом, и так странно было это извинение в эту минуту. Другой же, все еще держа в протянутой левой руке ненужную, никого не обманывающую бумагу, правой<sup>2</sup> тащил из кармана запутавшийся в подкладке револьвер, морщась от усилий.

Губернатор молчал и ждал. Ни в его глазах, ни в позе не было ни вызова, ни страха; но была в чем-то, быть может, в тонких морщинках на большом<sup>3</sup> старчески мясистом носу (л. 44) [...], тихая и покорная мольба о пощаде и тоска. Но сам (он не) знал о ней, и люди ее не видали. Убит он был тремя [...] выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий гул.

Минут через пять прибежал откуда-то испуганный городской, придерживающий рукою болтающуюся шашку, потом сыщики; потом собрался вокруг трупа и закрыл его народ. Уже ехала на место фура с красным крестом, и по всему городу порхали перекрестные вопросы и ответы:

– Убит?

– Убит.

– А кто?

– Какие-то... неизвестно. Убежали.

И больше ничего, ни радости, ни горя. Быть может, ощущался в сердцах легкий трепет страха – могущественный народ трепетал перед своим чудодейственным могуществом, перед грозною силою правды, являющейся так редко и так страшно – но снаружи все было спокойно.

Гимназисточка плакала.

*23 августа 1905 г.*

---

<sup>1</sup> Было: бледные

<sup>2</sup> Далее было: с усилием

<sup>3</sup> Было начато: ст(арчески)

⟨л. 3⟩ [...] было много: сорок семь человек – из ⟨них?⟩ одиннадцать женщин и трое детей. Правда, дети были для него неожиданностью: он как-то упустил из виду, что эти безумцы шли к нему семьей, с стариками, женщинами и детьми; во всяком случае в такой момент с этим считаться не приходилось. Он видел убитых детей – по странной случайности все трое были девочки; потом в больнице посетил раненых, но не может сказать, чтобы все они, и убитые, и раненые, возбудили в нем какую-нибудь особенную жалость. Конечно, было очень жаль, особенно невинных детей; но на войне когда-то он видел еще более ужасные вещи и привык глядеть на них спокойно. И на войне солдат было гораздо жалче: то были свои, близкие, почти братья, связанные общностью кровных интересов, а эти... Этих людей он не любил и более того: презирал их. Недисциплинированные, грубые, беспорядочные, хронические алкоголики, они вечно дрались друг с другом, пуская в ход ножи и камни, били жен и детей; лишённые чувства достоинства и чести, они обманывали хозяев, крали, даже грабили – и<sup>1</sup> стояли вечною угрозой всему городу, его порядку, благосостоянию его мирных граждан и безопасности. И глупы они были.<sup>2</sup> И в этот раз, если бы они были хоть немного поумнее, они поняли бы, что он губернатор, а не бог, и уж во всяком случае не злодей. Будь он Бог, он устроил бы жизнь на земле совсем по-иному, а будь злодей – он не стал бы ждать, пока побьют стекла и оторвут рукава. Но он только губернатор.

И результаты решительной расправы с бунтовщиками оказались ⟨л. 4⟩ прекрасные, лучше нельзя было желать: уже на следующий день рабочие дружно приступили к работам; работали даже в день похорон убитых – только близкие родственники провожали некоторых до могилы, да и то, кажется, не всех. И это также противно: точно нет у этих людей самого обыкновенного чувства товарищества, какое есть даже у некоторых животных, как говорят книги. Если они хотят, чтобы с ними обращались как с людьми, то должны прежде всего заставить уважать себя – как людей.

Дня через три после события у него был с визитом преосвященный Мисаил, и уже после первых фраз ясно стало, что архиерей беспокоится о состоянии его христианской совести и хочет утешить его. Рабочих он назвал злодеями, а его заступником и

<sup>1</sup> Далее было: вечно

<sup>2</sup> Далее было: Если бы они

радетелем, благодарил за спокойствие города и – хитрый! – не привел ни одного выдохшегося и заезженного текста, зная, что губернатор не особенный охотник до поповского красноречия. И отвратителен и жалок показался ему этот старик, лгавший перед своим Богом, трус и лицемер, всех других считавший такими же трусами и лицемерами.

Покраснев – он сам чувствовал, как загорелись у него уши и горячо стало глазам – он сделал рот трубою и гулко прогрохотал прямо в глаза архиерею:

– Спокойствие, конечно, спокойствием. А я бы, ваше пресвященство, на вашем месте отслужил панихиду по убиенным. По-христиански.

Архиерей кротко<sup>1</sup> развел над животом сухими, как у мощей, руками, и, склонив голову, тихо ответил:

⟨л. 5⟩ ⟨– На) всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!

– Бунтовщики, – сухо поправил губернатор, сердито отводя глаза.

– Я и говорю: злодеи. Вот служка мне сказывал, – архиерей вздохнул и скромно потупился, – будто в городе такой слух ходит, что намереваются на ваше превосходительство совершить покушение. Думаю так, конечно, что это одни слухи, а все же советовал бы вашему превосходительству поостеречься. Неровен час.

И все с тем же кротким видом архиерей преподал благословение и поплыл к выходу, шурша шелком. В прихожей он долго и любовно<sup>2</sup> возился с глубокими, как корабли,<sup>3</sup> калошами и одеванием, и губернатор нетерпеливо перебирал ногами, но по обязанности улыбался и даже сам помогал владыке. А потом торопливо пошел к себе в кабинет, точно ждал его там кто-то очень важный и интересный.

Когда по траве скользнет ядовитая змея, трава остается зеленою и даже следа не хранит на себе, а человеку, видевшему змею, кажется она особенною, точно живою и страшною. Ушел архиерей, и кабинет был пуст, а где-то еще точно вилась маленькая ядовитая змейка: “вас хотят убить” – где-то здесь, в комнате, за шкафами, под столом, на кресле, где сидел пресвященный.

---

<sup>1</sup> кротко *вписано*.

<sup>2</sup> и любовно *вписано*.

<sup>3</sup> , как корабли, *вписано*.

– Не посмеют! – подумал он тогда спокойно и самоуверенно, и скоро как будто совсем позабыл об угрозе – но как будто с этого именно момента остановилось так странно время и *(л. б)* в [...] вторгся этот неподвижный, всюду его встречающий образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Все, что можно было о нем пере-думать, он передумал – а образ все стоял. Еще и еще раз он допро-сил свою совесть, и добыл от нее без усилий успокоительный от-вет, и поднял глаза, чтобы по-прежнему спокойно, бодро и весело взглянуть на мир – перед ним, заслоняя все, все собою<sup>1</sup>, начиная и все кончая, неподвижно стоял окаменевший, изваянный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Это было непонятно и противно и минутами чуть ли не верилось в какое-то колдовство, о котором рассказывают няньки: так чужд, так явно враждебен, так загадочен был вошедший. Нужно только забыть – и в этом все, но забвение не приходило – это могучее забвение, властвующее над миром. Ложась спать, он думал, что за ночь смягчится яркость воспоминаний и потускнеет, сгладится мучительный образ – но проходила ночь, и наступало утро, и точно сил и загадочной жиз-ни набравшись во тьме, вставал неумирающий мертвец, труп, вторгшийся в среду живых. Он не спрашивал, не упрекал, не гро-зил – он вставал неподвижный, бесстрастный, почти механиче-ский в своей неизменности.

И для людей со времени события<sup>2</sup> прошло семь – десять – пятнадцать дней, а для него не прошло как будто и часа.

*Варианты рукописной копии  
с авторской правкой (РКАП<sup>3</sup>)  
и прижизненных изданий (Шт, Правда, Зн, Пр)*

<sup>1</sup> ГУБЕРНАТОР / БОГ ОТМЩЕНИЙ<sup>4</sup> (РКАП)

*Глава 1*

<sup>12</sup> сразу станет перед ним / сразу встанет перед ним (РКАП,  
*Шт, Правда, Зн, Пр*)

<sup>19–20</sup> Засмеется он / Засмеется ли он (РКАП)

<sup>21</sup> какого-нибудь убитого / кого-нибудь убитого (*Зн, Пр*)

<sup>93</sup> они остались / они оставались (РКАП, *Шт, Правда*)

---

<sup>1</sup> собою вписано.

<sup>2</sup> Далее было: проходили

<sup>3</sup> Текст РКАП обрывается в конце главы 4.

<sup>4</sup> В РКАП заголовок написан рукой Андреева.

- 98 помощник пристава страдальчески взглянул / помощник  
пристава взглянул ◊ (РКАП)
- 131 Конечно, что-то огромное кончено / Кончено – что-то огром-  
ное кончено (РКАП, Шт, Правда)
- 145 и часа одного не прошло / и часа не прошло (Правда)
- 151 в почтительно-участливых речах / в их почтительно участли-  
вых речах (РКАП, Шт, Правда)
- 153–154 Полицеймистер через день успокоительно докладывает /  
Полицеймейстер успокоительно докладывает ◊ (РКАП)
- 157 зеленое, которого он перекушал / зелень, которого он пере-  
кушал (Правда)
- 174 кротко сказал / кротко ответил (РКАП, Шт, Правда)
- 183 поворачивал ухо то направо, то налево / поворачивал ухо на-  
право, налево ◊ (РКАП)
- 187 Из этого опять-таки / И из этого опять-таки (РКАП, Правда)
- 196 удивился хмуро / удивлялся хмуро (РКАП)
- 202 не видно было, чтобы / не видно, чтобы (Правда)
- 207 не переходит в прошлое / не переходило в прошлое ◊ (РКАП)

## Глава 2

- 4 покупками для губернаторши / покупками для губернатора ◊  
(РКАП)
- 5 но не работает и думает / но не работает, а думает ◊ (РКАП)
- 6 с красными лампасами / с лампасами ◊ (РКАП)
- 7–8 твердыми, военными шагами / твердыми, важными шагами ◊  
(РКАП)
- 16–17 “Так – ходят – губернаторы”. / “Так – ходят – губер-наторы”.  
(РКАП, Шт, Правда)
- 50 круглые камешки / круглые камушки (РКАП, Шт, Правда,  
Зн, Пр)
- 56 ровные камешки / ровные камушки (РКАП, Шт, Правда, Зн,  
Пр)
- 56–57 никто не ездит / никто не ездил ◊ (РКАП)
- 62 зала оклеивалась / зал оклеивался (РКАП, Шт, Правда, Зн)
- 70 что всегда висел он так / что всегда висит он так ◊ (РКАП)
- 77–78 четыре незнакомые чиновника / четыре незнакомые челове-  
ка ◊ (РКАП)
- 81 “Так ходят губернаторы. Так ходят – губернаторы”. / Так хо-  
дят губернаторы. Так ходят – губер-наторы. (РКАП, Шт,  
Правда)
- 91 взмах белого платка / взмахи белого платка (Правда)
- 118 двумя колонками / двумя колоннами (РКАП, Правда)

- 129–130 неожиданное и прелестно голубое / неожиданно и прелестно голубое (РКАП, Шт, Правда, Зн)
- 159 на коленях / на коленах (РКАП, Шт, Правда, Зн)
- 169 привязанные к колышкам / привязанные к колушкам (РКАП)
- 180 распахнулись все двери и окна / распахнулись все окна и двери (РКАП)
- 185 После: таилась в глубокой думе улица. – Дрянная, бедная, скучная улица. (РКАП)

### Глава 3

- 6–7 такими же гармоничными и яркими пятнами / такими же громадными и яркими пятнами ◊ (РКАП)
- 20 он приложил руку / он приподнял руку ◊ (РКАП)
- 23 Илиодор Васильевич / Иллиодор Васильевич (Правда) / Иллиадор Васильевич (РКАП, Шт, Зн, Пр)
- 49 папа / папá (РКАП)
- 52 с некоторого времени его считали / с некоторого времени его стали считать ◊ (РКАП)
- 53 очень старым / очень странным (Правда)
- 71 папа / папá (Правда)
- 76 Шлиппе-Детмольд / Шлиппе-Деммольт (РКАП, Правда) / Шлиппе-Детмольт (Шт, Зн)
- 105 Тебе дадут. / Тебе всё дадут. (РКАП, Шт, Правда, Зн, Пр)
- 134 Когда он бывал в народе / Когда он бывал на народе (РКАП, Шт, Правда, Зн, Пр)
- 163 Не пройдемся ли немного / Не пройдемся немного (РКАП, Шт, Правда, Зн)
- 171 снова повторил / снова повторял (РКАП, Шт, Правда)
- 195–196 офицер вздрогнул. – Вообрази, что и там / офицер вздрогнул, – вообразить, что и там (Пр)
- 204 с неожиданной шутливостью / с неожиданной, добродушной шутливостью (РКАП)
- 205 знакомым басом / знакомым густым басом (РКАП)

### Глава 4

- 6–7 Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади. / Зубы у него, только слегка желтоватые, как у старой лошади, были крепкие, ровные. (Правда)
- 10 а когда писал или читал, / а когда читал или писал, (РКАП, Шт, Правда, Зн, Пр)
- 18 проводил в аллеях / проводил на аллеях (РКАП, Правда, Шт, Зн, Пр)

- 62–63 И говорить не стану / И говорить я не стану (*РКАП, Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 68 он уже крепко спал / он крепко спал (*РКАП, Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 89–90 треугольник белой стены, как кровью окрапленный / треугольник белой стены, как кровью окропленной (*Правда*)
- 93 был рабочий Егор / был только рабочий Егор (*РКАП, Правда*)
- 105–106 ласковый, но неопределенный вопрос / ласковый, но неожиданный вопрос ◊ (*РКАП*)
- 110 вежливо улыбался / вежливо молчал ◊ (*РКАП*)
- 127 потом поднял каменюгу / потом поднял кулак ◊ (*РКАП*)
- 152 свежую землю / свежую зеленью (*Правда*)
- 161 Странные эти люди / Странные это люди (*РКАП, Правда, Шт*)
- 162 и сам дробясь / и дробясь (*Правда*)
- 168 были, вероятно, оловянные кольца / были оловянные кольца ◊ (*РКАП*)
- 190 Оттого так и пусто у вас на улице. / Оттого так и пусто у вас на улице? (*Правда*)
- 215 он выпорол / он порол (*Правда*)
- 222 отобрал у мужиков / отобрал хлеб у мужиков (*РКАП, Шт, Правда*)
- 239 *После:* поворачивали его. – Солдаты шутили: (*РКАП*)
- 260 одни откладывая в сторону / одни откладывал в сторону (*РКАП, Шт, Правда, Зн*)
- 265 промокший от чернил / промокший от чернила (*РКАП, Шт, Зн, Пр*)
- 267 белее становится лицо / белее становилось лицо ◊ (*РКАП*)

## Глава 5

- 32 все они стояли за смерть, / все они стояли за смерть, за самую страшную смерть, (*Шт, Правда, Зн*)
- 38 была все та же путаница / была все же путаница (*Шт, Правда, Зн*)
- 42 почему же вы думаете / почему же все вы думаете (*Шт*)
- 132 и странно расплываясь / и страшно расплываясь (*Шт, Правда*)
- 150 день назначил / день назначал (*Шт, Правда*)
- 163 в другом конце / на другом конце (*Правда*)
- 172 число убийц / количество убийц (*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 197 женщины Канатной / женщины на Канатной (*Шт, Правда, Зн*)

- 201–202 по несколькоу дней / по несколькоу дней (*Зн, Пр*)  
 208 от всех вековых пут / от всех вековечных пут (*Шт, Правда, Зн, Пр*)  
 232 и снова быстро, как будто / и снова быстро, так быстро, как будто (*Шт, Правда, Зн*)  
 234 И то же, все то же / И то же, и все то же (*Правда*)  
 250 за водкой пробежал / за водкой побежал (*Правда*)  
 257–258 Из серых нитей действительности они сплетали / Из серых нитей действительно они сплетали (*Шт, Зн, Пр*)

## Глава 6

- 12 оклеить новыми обоями залу / оклеить новыми обоями зал (*Шт, Правда, Зн, Пр*)  
 18 отхожие места и ванная / отхожие места и ванна (*Шт, Зн, Пр*)  
 27–28 и слова: “его превосходительство желает”, “его превосходительство будет сердиться” / и слова: “его превосходительство приказал”, “его превосходительство желает”, “его превосходительство будет сердиться” (*Шт, Правда, Зн, Пр*)  
 47 для жизни одного человека / для жизни одного (*Правда*)  
 105 вашим покорнейшим слугою / вашим покорнейшим слугой (*Правда*)  
 107–108 пометил на широком поле номер: 43 / пометил на широком поле номер: № 43 (*Шт, Правда, Зн*)  
 118–119 Так – ходят – губернаторы. / Так ходят – губернаторы. Так ходят – губернаторы. (*Шт, Правда, Зн, Пр*)  
 120 пометил (...) номер / пометил (...) номер (*Шт, Правда, Зн*)  
 125 каким привык представлять их / какими привык представлять их (*Правда*)  
 133 и думаю / и я думаю (*Шт, Правда, Зн*)  
 142–143 не тот, который лучше, а тот, который хуже / тот, который хуже (*Правда*)  
 147–148 душа его стоит против того / душа его состоит против того (*Шт, Правда, Зн*)  
 151 убивающие их – / убивавшие их – (*Правда*)  
 167 Они ведь и умными считаются / Они ведь, они и умными считаются (*Шт, Правда, Зн, Пр*)  
 171 вы не приняли меня / вы не приняли бы меня (*Шт, Правда, Зн, Пр*)  
 177 Теперь уж если / Теперь уже если (*Правда*)  
 187–188 на путь истинного служения интересам народа / на путь истинного служения интересов народа (*Пр*)

- 194–195 торжественно снял с носа затуманившиеся очки / снял очки  
(*Правда*)
- 219–220 от матери к дочери / от матери к дочке (*Шт, Правда, Зн*)
- 230 хлестать его розгами / хлестать ее розгами (*Шт, Правда, Зн, Пр*)

### Глава 7

- 7 как взмахи огромных крыльев / как взмах огромных крыльев  
(*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 19 бранить прислугу / бранить прислуги (*Шт, Правда, Зн*)
- 44 их превосходительство / его превосходительство (*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 46–47 за их превосходительством / за его превосходительством  
(*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 113–114 было опущено несколько часов тому назад / было опущено  
недавно, несколько часов тому назад (*Шт, Правда, Зн*)
- 129 но не на руках / но не в руках (*Шт, Правда*)
- 152 И клянусь / И я клянусь (*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 153 как будто я была / как будто бы я была (*Шт, Правда*)
- 158 через темную залу / через темный зал (*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 163 белый свет / и белый свет (*Шт, Правда, Зн, Пр*)

### Глава 8

- 5–6 взорваться при открытии / взорваться при открывании (*Шт, Правда, Зн*)
- 29–30 все улыбки / все эти улыбки (*Шт, Правда*)
- 30 пожатия руки / пожатия рук (*Шт, Правда, Зн*)
- 31 вставки в речи / вставки в речь (*Шт, Правда, Зн*)
- 42 как выпадают зубы / как выпадают гнилые зубы (*Шт, Правда, Зн*)
- 48–49 и когда жена / а когда жена (*Правда*)
- 59 лучше я пойду к себе / я лучше пойду к себе (*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 60 невежливость ответа исчезла / невежливость ответа исчезла  
(*Шт, Правда*)
- 72 разрешал дела ему неподведомственные / разрешал ему дела  
неподведомственные (*Зн, Пр*)
- 76 Вечерами, чтобы несколько рассеять / Впрочем, чтобы не-  
сколько рассеять (*Шт, Правда*)
- 95–96 спускались из-под лба / спускались из-подо лба (*Шт, Правда, Зн*)
- 104–105 легкая зыбь на реке / легкая рябь на реке (*Шт, Правда, Зн*)
- 108–109 когда привычка и вежливость отпали / когда исчезли они,  
привычка и вежливость отпали (*Шт, Правда, Зн, Пр*)

- 133 но едва ли впереди себя / но едва ли и впереди себя (*Шт, Правда, Зн, Пр*)
- 135–136 встретили и пропустили сквозь себя / встретил и пропустил  
сквозь себя (*Правда*)
- 173 у знакомых лиц / у знакомых лавок (*Шт, Правда, Зн*)
- 181 от старости из ума выжил / от старости от ума выжил (*Шт, Правда*) / от старости и от ума выжил (*Зн*)
- 225 встретив перед глазами / встретив пред глазами (*Правда*)
- 227 колени к лицу / колена к лицу (*Правда*)
- 229–230 мокрую, теплую, мягкую подушку / мокрую, тайную, мягкую  
подушку (*Шт, Правда*)
- 235 и смолк / и он смолк (*Шт, Правда*)
- 236–237 широко открытыми глазами глядел / широкими глазами  
глядел (*Правда*)
- 269 в тонких морщинах / в тонких морщинках (*Шт, Правда*)
- 285 трепет большого страха / трепет больноого страха (*Правда*)
- 286–287 пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее / про-  
неслось и над жизнью за нужными мелочами ее (*Правда*)
- 290 *Август 1905 года – нет* (*Правда*)

# ТАК БЫЛО

(С. 163)

## ЧН

*Двадцатый.* Император. Власть, сила, жестокость, величие, недостижимость. Революция. Тысячи жертв, ненависть, падение – и суд. Перед судом – ничтожный толстенький человек, мелкий лгун, глупец, невежда. Любит покушать и сморкается с громом. Откуда же сила? (Проблема власти).

## ЧА1

⟨л. 1⟩

ТАК БЫЛО<sup>1</sup>

*рассказ из эпохи французской революции*

⟨I⟩

Бесконечное множество лет тянулась эта странная власть – одного над миллионами. Немая древность хранит молчание; но изредка она роняет камень: маленькую плитку, исчерченную какими-то знаками, осколок колонны, кирпич из разрушенной стены – и в этих знаках уже начерчена повесть об одном, который повелевал миллионами. Все об одном. И говорящая древность повествовала о нем же: менялись имена, прозвища и титулы, но он – загадочный один, повелевающий миллионами, – оставался неизменным, как будто бессмертным. Величался он королем,<sup>2</sup> императором, султаном<sup>3</sup>; назывался Красивым, Грозным, Великим, Коротким, а иногда просто двадцатым, по числу одноименных предшественников, но суть<sup>4</sup> оставалась та же: загадочный один, повелевающий миллионами. По тому, что он родился и умирал, как и все; по его виду, присущему всем людям, он был человеком;

<sup>1</sup> *Вместо:* ТАК БЫЛО – *было:* ВЛАСТЬ

<sup>2</sup> *Далее было:* монархом

<sup>3</sup> *Было:* царем

<sup>4</sup> *Было:* образ (*незач. вар.*)

но когда люди представляли себе ту неизмеримую громаду власти и могущества, которыми он обладал, они переставали думать<sup>1</sup>, что он человек, и охотно верили, что власть вручена ему самим Богом. И часто смешивали его с самим Богом.

Он мог сделать человека несчастным и счастливым; он мог *(л. 2)* отнять имущество, здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч людей шли убивать и умирать; во имя его творилось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жестокое и милосердное. Его законы были не менее повелительны, чем законы Бога; и еще тем они были велики, что Бог никогда не менял своих законов, а он мог менять свои постоянно. Далекий или близкий, он всегда стоял над жизнью; рождаясь, человек вместе с природою, городами и книгами находил царя; умирая – с природою, городами и книгами он оставлял царя. Иногда он бывал добрый, справедливый, мягкий, и хотя всегда существовал<sup>2</sup> на земле люди лучше его, все же казалось понятным, почему он повелевает; но чаще случалось, что он был худшим на земле, лишенным добродетелей, жестоким, несправедливым, даже безумным, – но и тогда оставался он загадочным, одним, который повелевает миллионами, и власть его возрастала вместе с преступлениями. Его все ненавидели и проклинали, а он, один, повелевал всеми ненавидящими и проклинаящими – и эта дикая власть становилась загадкой, и к страху человека перед человеком присоединялся мистический ужас неведомого. И от этого происходило, что мудрость, добродетели и человечность расшатывали трон, а тирания, безумие и злость укрепляли его. И от этого происходило, что творчество и добро бывало неподсильно самому могущественному из этих загадочных владык, а в разрушении и зле самый слабый из них превосходил дьявола и все адские силы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно – этот таинственный ставленник безумия,<sup>3</sup> смерти и зла; и тем выше был трон, чем больше человеческих костей клалось в основу его.

Бывали годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств *(л. 3)* {исчезал таинственный владыка; но никогда еще не<sup>4</sup> случалось, чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый в слиянии

---

<sup>1</sup> Было: верить

<sup>2</sup> Было: были

<sup>3</sup> Далее было: зла

<sup>4</sup> Далее было начато: б(ыло)

бессилия<sup>1</sup> и<sup>2</sup> бессмертного могущества. И загадочностью своею он очаровывал людей: во все времена встречались среди них такие, и их было много, которые любили его больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как из руки самого Бога, без ропота и сожаления принимали от него и во имя его самую жестокую и позорную смерть, веруя, что так нужно.<sup>3</sup>

Одни из владык часто показывались народу, и многие их видели; а все они<sup>4</sup> любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – одного и того же простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося {в память, покорявшего воображение, приобретающего мнимое вездесущие, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу<sup>5</sup> лет назад. И от этого, как ни просто бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная} смерть. Окруженный страхом и любовью, поклонением и ненавистью, далекий от народа и видимый им только в изображениях, как Бог, весь проникнутый тайною безмерной власти, он<sup>6</sup> тысячелетия <л. 4> стоял над жизнью – король,<sup>7</sup> император, султан. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа<sup>8</sup> у змеи: за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый,<sup>9</sup> пятый, второй; и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника<sup>10</sup>, отмечающего<sup>11</sup> минуты<sup>12</sup>. Так было, так будет. Так было, так будет.

<sup>1</sup> Далее было: и энергичности

<sup>2</sup> Далее было начато: за(гадочного?)

<sup>3</sup> Здесь и далее фигурными скобками выделен реставрируемый слой ЧА1 – текст, позже вырезанный автором из этой редакции и перенесенный в ЧА2.

<sup>4</sup> они вписано.

<sup>5</sup>, тысячу вписано.

<sup>6</sup> Далее было начато: ве(ка)

<sup>7</sup> Далее было: царь, монарх,

<sup>8</sup> Было: шкура

<sup>9</sup> первый, вписано.

<sup>10</sup> Было: часовой стрелки

<sup>11</sup> В рукописи: отмечающей (незаверши правка)

<sup>12</sup> Было: минуты часа

## II

И однажды в одном из больших и старых<sup>1</sup> государств, где владыка<sup>2</sup> назывался королем и прозвище носил “Двадцатый”,<sup>3</sup> произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Народ потерял свои многовековые привычки. Привыкший к голоду, насилию и унижению, он внезапно возненавидел и голод, и унижения свои, и несправедливость; привыкший к безропотному подчинению, он словно позабыл, как это делается, и попытки вернуться к старому были смешны и неуклюжи. Исчез и старый страх перед смертью, перед ранами и болью, и вместе с ним исчезло очарование одного, повелевающего миллионами, и в судорогах забились таинственная власть. Все тот же был дворец и трон, и все тот же Двадцатый; все те же оставались улицы, город и народ, – а власть корчилась все страшнее и мучительнее, и смертельные удары, которые она наносила в начале своей<sup>4</sup> странной болезни, становились укусами и царапинами.<sup>5</sup>

(л. 5) Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиниться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу, отовсюду, потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе, позабывая пройденный путь, люди все ближе подбирались к трону, уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины трогали осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка. Король кланялся, бледная<sup>6</sup> королева улыбалась, и из соседнего зала под дверями<sup>7</sup> вползала черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда

---

<sup>1</sup> больших и старых *вписано*.

<sup>2</sup> Было: король

<sup>3</sup> Далее было начато: в(осстали?)

<sup>4</sup> Далее было начато: бол(езни)

<sup>5</sup> Далее было: Так бывает, вероятно, со свободным зверем, которого укротили огнем, железом, взглядом и смутными снами; в неясных грезах своих он видит перед собою что-то огромное (л. 5) и ползает перед ним и лижет руку – и вдруг, в один из вечеров, он видит перед собою нечто маленькое, бессильное, вооруженное только хлыстом и самонадеянно-глупым взглядом, и поспешно с жадностью терзает его.

<sup>6</sup> бледная *вписано*.

<sup>7</sup> Далее было начато: проб(ивалась)

к кафтану короля прикоснулись чьи-то<sup>1</sup> пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:

– Да здравствует Двадцатый!

Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пологатого шута, начинал вопить:

– Да здравствует Двадцатый!

А к вечеру сумрачные лица и подозрительность во взорах: как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ. Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрачно: там *⟨л. (б)⟩* {задумывается что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.

– Да здравствует Двадцатый!

Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, поднятые кверху, торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым бледным светом блистают огромные окна.} [...]<sup>2</sup>

{⟨л. 13⟩

IV

Вся страна, ошетилившись от страха, замирая в готовности к гигантскому прыжку, прислушивается к речам народного собрания. Станные речи, пугающие слова. Говорят о его неприкосновенности – о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как судят всех людей, что его нельзя наказывать, как наказывают всех изменников, что его нельзя умертвить – потому что он король. Кто же он: Бог или человек? И говорят это, клянясь в любви к народу и свободе, говорят это мужи испытанной доблести, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глубины недр его, истерзанных беспощадною и святотатственною властью королей. Черная<sup>3</sup> башня, может, и щурится подслеповато,<sup>4</sup> такая невинная

<sup>1</sup> чьи-то вписано.

<sup>2</sup> Продолжения л. 6 и л. 7–13 перенесены из ЧА1 в ЧА2. Текст не реставрируется, так как близок к ОТ (стк. 184–363; см. также “Варианты ЧА2”).

<sup>3</sup> Было начато: Б(ашня)

<sup>4</sup> Далее было: а сквозь е(е)

на вид, а сквозь ее<sup>1</sup> маленькие окна, сквозь приземистые двери сочится старый яд – ползет на несчастный город диавольский, ослепляющий туман. Охраняемый так ревностно, как жемчужина в глубине океана,} (л. 14) лишенный всего, как последний арестант, ежечасно оскорбляемый и униженный до последней степени унижения – он, загадочный владыка, – король – по-прежнему царит в умах и душит свободу мыслей. Над его страданиями плачут – видели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража, смахнувшего с глаза слезу<sup>2</sup>, слышали оратора, призывавшего к милосердию – как будто даже теперь он не счастливее тысячекратно миллионов своих подданных, которые никогда не видали света и которых снова и снова хотят принести ему в жертву – ненасытному Молоху, тучнеющему от человеческой крови и слез.

Вон сидят на скамьях надменные представители, бросающие народ в объятия призрака, и брезгливо морщатся при гневных криках народа: им не нравится, что народ вмешивается в дела, которые они считают своими, отнимает у них долю их власти. Они уже чувствуют себя маленькими владыками, и скоро они тоже призовут драгунов и национальных гвардейцев для защиты их голов и скамеек. Скамейка депутата хоть и низенький, но все же трон, и с ним жалко расставаться, как с большим. Они защищают Двадцатого и с радостью попросили бы, кажется, защиты у него, если бы не знали, что вместе им не ужиться: как гады в одной банке, они перекусают друг друга.

– Смерть изменникам! Смерть!

Яростные лица; сердца, изъеденные тоскою, страхом старой тирании<sup>3</sup> и ужасом новой, повелительно и жадно поднятые руки, старающиеся стащить с неба какой-то новый, небывало огромный топор. И доверие и улыбка, когда взор упадет на представителя, который сидит один (л. 15) как зачумленный и думает о чем-то.

Это друг народа, и оттого уже давно все партии ищут его смерти, все правительства разыскивают его – и только теперь под защиту народа он впервые выставил на свет свое широкое лицо, покрытое бледностью подвалов. Одну ногу в огромном грязном башмаке<sup>4</sup> он перебросил на переднюю скамью, руку запустил в спутанные грязные волосы и слушает, лениво ворочая тяжелой головой. У него есть и тайные друзья – теперь они стараются не глядеть на него.

<sup>1</sup> Далее было начато: узки(е)

<sup>2</sup> Вместо: с глаза слезу – было: слезу с глаза

<sup>3</sup> Далее было начато: , уж(асом)

<sup>4</sup> Было: сапоге

Вот встает он при гневном ропоте трибун и лениво раскрывает широкий рот – крики и<sup>1</sup> свист и жесты гадливого отвращения.

– Вон отсюда убийцу!

– Молчать! – вопит народ. – Дать слово другу народа.

Бледнея от гнева и страха, стихают трибуны.

– Граждане! Вместо старых идолов и изображения тирана я вижу здесь на высоком цоколе богиню<sup>2</sup> Верховного Разума. Но я боюсь, как бы она не ушла от вас, граждане. Разум – это значит свобода, а здесь так сильно пахнет тираном<sup>3</sup>!

Он обводит тусклым взглядом трибуны и продолжает:

– Двадцатого, конечно, надо уничтожить, выкорчевать, как пень, от которого могут пойти новые зеленые побеги тирании.

И на высоком цоколе снежно-белая мраморная статуя богини Верховного Разума с холодным и спокойным лицом. Она одна неподвижна среди этого бурного человеческого моря; она одна молчит, когда говорят все. Ясная, она полна великой<sup>4</sup> тайны, как сама власть, о которой спорят, и тысячи усталых, измученных глаз (л. 16) тщетно пытаются найти разгадку в каменных, спокойных чертах. Она молчит, когда говорят все, и своим молчанием, своим взором, сурово устремленным вперед, поверх мятущихся человеческих голов, углубляет тревогу и страх. Неужели никогда не раскроются ее уста, и она останется только богом для бедного человеческого стада, и, как бог, будет молчать и обманывать своим молчанием и лгать им, как продажная женщина, отдающая свое тело каждому. Тогда не нужно ее! У человечества достаточно богов и<sup>5</sup> лгущих владык – ему нужен друг и союзник!

Она молчит, пока отстаивают неприкосновенность короля. Вопреки гневному реву трибун это почти удалось: те, кто вначале смотрел открыто и прямо, начинают потуплять глаза; чувствуется что-то ускользающее в нерешительных и уклончивых позах представителей. Одни притворяются равнодушными и широко зевают; другие пугливо шепчутся; многие искренне спят – ведь уже полгода заседают они таким образом, а в полгода человек научается спать и в аду. Тоска и отчаяние закрадываются в сердца верных друзей свободы: таинственная власть побеждает – она победит сейчас – и тогда горе народу! Горе свободе!

---

<sup>1</sup> Далее было начато: скв(ерные?)

<sup>2</sup> Далее было начато: Ра(зума)

<sup>3</sup> Далее было: , что я уже

<sup>4</sup> Было: глубокой

<sup>5</sup> Далее было начато: вла(дык)

– Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и 35 миллионов скотов!<sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Текст на л. 14–16 позднее зачеркнут.

<sup>2</sup> Далее большой фрагмент текста (часть л. 16 и л. 17–25; соответствует гл. V ОТ) отсутствует. Л. 18 и 20–25 перенесены в ЧА2.

<sup>3</sup> Далее на л. 25 (ЧА2) и л. 26–28 было (весь этот текст позднее зачеркнут): {л. 25} VI // Но очарование не может пройти сразу. Не верят в насморк, но верят в величественную позу. Не верят ничтожеству тусклых глаз и сдавленного лба, но верят в гордый, изученный поворот головы. Грозный и таинственный образ, созданный тысячелетиями безграничной власти, пестро изукрашенный рабской фантазией, окутанный розовым туманом легенд и сказаний – застилает собою жалкий образ неподкупной действительности.} (л. 26) Мелькнет как-то особенно ясно багровый нос, узкий череп глупца, нелепая и добродушная плешь – и снова застелется туманом. Шепчутся: // – Смотри, как сверкают глаза у тирана. // – Он толст от нашей крови. // – Какая надменность! // – Народ покажет ему его настоящее место. // Но пусто и деланно звучат слова – как речи неумелых актеров на сцене, упрекающих третьего полупьяного актера в картонной короне в деспотизме и жестокости. Беспощадная действительность разрушает сны и на их месте воздвигает свою грезу, простую и неизмеримо ужасную в своей загадочной простоте. Очарование сползает с лица владыки, как плохо приклеенная борода, как непрочный грим, смываемый простой водою – и все яснее выступает образ ничтожного, растерявшегося человека, даже не понимающего, чего от него хотят. Он мог бы молчать, сделав безвредными все враждебные речи, – но он говорит. Он мог бы сказать свою особенную, королевскую, драконовскую правду, – но он лжет и выворачивается, как карманный воришка, а там, где он говорит правду, считая ее безвредной для себя, он выказывает фантастическую глупость. // – Признаешь ли ты, что ты сделал народ голодным и нищим? // – Нет. Я всегда любил мой народ и хотел ему блага. “Мой народ” он произносит так, как другие говорят: мои очки, мой сапог. // – Что ты сделал его бесправным рабом в руках немногих? Что ты лишил его света знания, что ты убивал, грабил, лишал свободы, насиловал? // (л. 27) – Нет, – с искренним [ужасом] страхом, бледнея, говорит Двадцатый. – Что вы говорите: в моих судах всегда наказывали грабителей, и св[ятая] церковь всегда учила народ. // – Кто дал тебе право повелевать миллионами? // Двадцатый поднимает глаза к небу и почтительно говорит: // – Господь Бог. // В прямых и неотразимых вопросах встает [вся] картина его ужасного царствования: тюрьмы, полные невинных людей, искавших только права и справедливости, вымирающие от голода дикие, суеверные деревни, подкупные, лживые суды, [грабеж] изнывающие в бесправии города, кровь и язвы, страдания и слезы бесконечно несчастного народа. Гора зла и насилия растет, закрывая небо, будя святое негодование и ненависть – а он все спокойнее и даже веселее: как будто он ждал другого какого-то обвинения. И даже обидчив он становится: как воришка, укравший платок, которого вдруг обвинили бы в жестоком убийстве. // – Да, я знаю, – говорит он спокойно, – но все это страшно преувеличено. // Что он, шутит, что ли? Нет, он трагически серьезен, как сама глупость. Он не зол, скорее добр – он просто ничего не понимает. Если бы вместо ожидаемого дракона на площадь привезли слизняка в оковах, не было бы такого изумления, такого стыда и ужаса, как теперь. Что это значит? Где же тиран, в ужасе державший страну, обладатель почти божеской власти, таинственный владыка, в борьбе с которым до сих пор исходит кровавым потом народ?

Ничтожный, маленький Двадцатый.

Увидеть однажды призрак, всю жизнь ходить под тягостным и жутким впечатлением, всю жизнь построить на страхе темных углов и темных комнат – и в один несчастный день узнать, что то была простыня, вывешенная для просушки. Ожидать побежденного, закованного в цепи дракона – и найти среди огромных колец цепи едва видимого слизняка. Желая задушить закованного в железо врага – обнять воздух; приготовив остро наточенных ядовитых стрел – встретить пустое пространство; скопив тысячетлетнюю ненависть и гнев – обрушить их на голову мяукающего котенка.

Но они не верят глазам, не хотят им верить. Наружность так часто обманывает, и в изодранных, грязных ножнах часто таится блестящий<sup>2</sup>, отравленный меч. С кем было так трудно бороться, кто сейчас еще щедро плодит изменников и отовсюду поднимает врагов свободы – не может быть ничтожным. Так убеждают себя одни, уже прозревшие и ужаснувшиеся тайно. Другие еще спят: не верят в насморк, но верят в величественную позу, не верят ничтожеству тусклых глаз и сдавленного черепа, но верят в гордый, изученный поворот головы. Грозный и таинственный образ, созданный тысячами безграничной власти, изукрашенный рабской фантазией, одетой розовым туманом легенд и сказаний, – застилает собою жалкий образ неподкупной действительности.

Еще недавно, в разгар борьбы, они видели его в огне и пороховом дыму, спокойно стоящим над целою пирамидою трупов; еще так ⟨л. 27\*⟩ недавно, преодолевая робость и смущение, они<sup>3</sup> будили величавую старую тишину королевских покоев – его покоев; из их глаз еще не исчез блеск золоченого трона – его трона. Ведь не с деревом же они бились, не камень же они побеждали! С тоскою задерживая пробуждение, они шепчутся:

– Смотри, как<sup>4</sup> горят глаза у тирана!

---

Желая задушить врага – обнять воздух; приготовив остро отточенных стрел – встретить пустое пространство; скопив тысячетлетнюю ненависть, обрушить ее на ⟨л. 28⟩ голову – котенка. Слышен грузный топот, звяканье оружия: то меняют караулы. Кого же они караулят? Этого? Против кого это железное ожерелье пушек?

<sup>1</sup> Здесь и далее цифра со звездочкой означает вторичную пагинацию (взамен пагинации на зачеркнутых листах).

<sup>2</sup> Было: острый

<sup>3</sup> Далее было: преодолевали

<sup>4</sup> Далее было начато: бл(естьят?)

- Он полон кровью народа.
- Какая надменность!
- Народ покажет ему его место.

Но пусто и деланно звучат слова – как речи двух актеров, упрекающих третьего полупьяного актера в картонной короне в деспотизме и жестокости. Сон проходит. Очарование сползает с лица владыки, как плохо приклеенная борода, как дешевый грим, смываемый простою<sup>5</sup> водою.

Ничтожный, маленький Двадцатый.

Скорей бы наступала ночь; скорей бы обманчивый свет ночных огней<sup>6</sup> наложил черные тени на эти плоские бесчувственные лица – но нет, до него далеко. День сияет широко и свободно, и в его сиянии тает старая ночная сказка о величии<sup>7</sup>, о могуществе, о непреклонной всепобеждающей воле. И в ясной холодной пустоте нарастают зловещие, смутные образы, таинственные, как серая, разорванная мгла.

Тот же тихий голос – жирный, расплывающийся басок, слегка охрипший от простуды или волнения:

– Да, это я – король.

– Ты виноват в том, что был королем, что свободный народ ты превратил в рабов одного человека.

(л. 28\*) Этого он не понимает. Он царствовал по праву наследования и как помазанник Божий. Народ всегда любил его и его отца и деда, и он всегда любил свой народ. И теперь он его любит, несмотря на все оскорбления, и если думают, что для народа лучше республика, то пусть будет республика: он ничего против этого не имеет.

– Но зачем же тогда ты призвал других тиранов? Ты знаешь, что они грозят не оставить в стране камня на камне, если мы снова не коронуем тебя.

– Это неправда. Я их не звал, они сами пришли.

{Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавливающие факт переговоров. Но он запирается – грубо и глупо, как первый попавшийся пройдоха, уличенный в мошенничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал только о народе. Неправда, что он жесток, – он всегда миловал, кого можно было помиловать; неправда, что он разорил государство: он тратил на себя так мало, как всякий небогатый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мотом. Он любит греческих и латинских

---

<sup>5</sup> Далее было: краскою

<sup>6</sup> ночных огней *вписано*.

<sup>7</sup> Было начато: м(огуществе)

классиков и столярное мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скромного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающими трубный звук, много можно встретить по праздникам на реке, где они целыми часами ловят рыбу. Ничтожные, смешные люди с большими носами.

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда всякий может быть королем; тогда безграничным повелителем над людьми} (л. 29) может быть и горилла? И ей воздвигнут пышный трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она будет устанавливать законы жизни для людей – горилла с волосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

– Но ведь это же ничтожество! – говорят одни впалые суровые глаза другим, выпуклым и блестящим. Они на миг встречаются друг с другом, и вместе, как две пары увеличительных стекол, направляются на Двадцатого.

– Но где же тиран?

Забыв о Двадцатом, они ищут. Быть может, это те ехидны, пригретые лучами трона, которые теперь бежали за границу и бессильно шипят оттуда? Нет. Их так мало, и они так трусливы; они так же ничтожны, как сам Двадцатый. Те, кто с такою силою и страстью борются сейчас за Двадцатого, отдавая ему жизнь, никогда не пользовались его милостями: это лакеи, откуда-то набравшиеся дворянских чувств, это голодные крестьяне, давно уже обобранные до нитки и теперь поспешно приносящие молоху королевской власти свое последнее достояние, жизнь; это, наконец, неведомые иноземцы, такие же несчастные дети рабского народа, какою-то загадочною силой брошенные на защиту своего убийцы – трона.

И еще кто-то. И еще кто-то. Но кто?

Жирный, слегка утомленный басок монотонно роняет слова. Это Двадцатый читает по запискам свою первую защитительную речь. Пустые глупые слова. Так, вероятно, шавкала бы и горилла, когда ее стали бы судить люди. Слышен грузный топот ног, тихое бряцание<sup>1</sup> оружия. То сменяют караулы. Кого они караулят? Неужели – этого?

(л. 30) Тоска и холодный ужас овладевают собранием. Мысль тускнеет, сталкиваясь с безответной пустотою; слабеют мышцы в бесплодной борьбе с воздухом, ускользающим из рук. Тайственная власть теряет свой ясный облик, меняет лицо – скользит

---

<sup>1</sup> Далее было начато: кара(ула)

и убегает – растворяется в воздухе, превращая его в неуловимый яд тирании. Где же, где же тиран? Нынешним днем они думали победоносно закончить долгую и героическую<sup>1</sup> борьбу, удушив тиранию в лице ее надменного носителя – и вместо того они чувствуют себя только в начале неведомого и страшного пути.

Где же тиран?

Подозрительно оглядываются. На всех головах видят короны. На всех руках видят цепи. Осторожно двигают руками, чтобы не звякнуть цепью; тихо поворачивают голову, чтобы на ней не почувствовать короны. Один из вас предаст меня, – говорит печально<sup>2</sup> свобода.

– Не я ли?

Бормочет что-то Двадцатый. Он утомлен, но, видимо, доволен своей защитой, и вместе с ртом подрагивают его обвисшие щеки. В тюрьме он похудел.

– Не я ли предам тебя, свобода?

## VII

Уже давно сверху и по сторонам слышится легкий шорох<sup>3</sup> и движение. Кое-где на скамьях появляются незнакомые, улыбающиеся, слегка сконфуженные лица – то народ, пока еще бесшумно, просачивается в собрание. Все входы заперты и тщательно охраняются – но разве можно уберечься от (л. 31) стихийно поднимающейся воды, остановить прилив в океане? Народ просачивается: в высокие окна, к которым можно подняться только на воздушном шаре, в какие-то неведомые щели, быть может, в замочные скважины. Утром их было всего шестьсот, а теперь они утроились, учетверились, и уже тесно сидеть от приветливых, но все размножающихся незнакомцев. Их все здесь интересует: скамейки, депутаты, высокие лепные потолки и менее всего Двадцатый: он здесь, на виду, его судят и накажут – следовательно, все хорошо. А слушать его гнусавое бормотанье – неинтересно. Настроенные добродушно, они вежливы и, тесня депутата, справляются:

– Я вам не мешаю, гражданин?

Встречают своих знакомых и из конца в конец шлют приветливые улыбки и жесты.

---

<sup>1</sup> Было: страшную

<sup>2</sup> печально вписано.

<sup>3</sup> Было: шум

Но хмурость депутатов, беспокойство, гнетущее воздух, мало-помалу начинает их раздражать. Им, детям народа, хотелось бы, чтобы в этот великий день все смеялось и радовалось; если бы можно было, они заставили бы плясать самого тирана. А тут – нахмуренные, судорожно сведенные брови, косые взгляды, полные недоверия и странного смятения, бледность сомкнутых челюстей, блаженно бормочущий Двадцатый – уж не вкралась ли измена и сюда, уж не побеждает ли снова Двадцатый? Да – победа, какая-то необъяснимая победа чувствуется на его стороне. А снаружи, от тех, кто не видит, уже поднимается к высоким окнам разгорающийся крик:

– Смерть Двадцатому!

Движения становятся беспокойными. Растет неопределенный говор. Народ тоже начинает хмуриться. Вырываются отдельные, пока только насмешливые восклицания:

⟨л. 32⟩ – Они уже надели траур по Двадцатом.

Депутаты хмуро улыбаются. Не все ли равно? Пусть думает народ, что тирания поймана и будет казнена, пусть хоть ночь одну проспит он спокойно – чтобы завтра же, быть может, проснуться под пятою нового неведомого тирана.

– Смерть Двадцатому!

Кричат. Кричат те, кто не видит. А те, кто видит – они уже отравлены страшной правдой. Они еще не понимают всего, они еще дорожат Двадцатым, – но тяжелая тревога уже заползает в душу.

– Смерть Двадцатому!

Крик растет и ширится, и уходит куда-то вдаль – как будто бы кричат все тридцать миллионов невидящих. А Двадцатый бормочет что-то – громче, Двадцатый! Возвысь свой королевский голос, сверкни очами, стань страшен и велик хоть на минуту – облагородь топор и палача, если не можешь их оправдать! Смотри, как в минуту твоего падения и позора все еще верит в тебя твой великий народ!

– Смерть Двадцатому!

Бормочет что-то, глупец трагически-серьезный. Ни великая ненависть народа, ни предопределение судьбы, так ясно проявившей в нем свою трагическую власть, не могут придать значительности его пустым и вздорным словам. Непоколетимо ничтожный, он самодовольно рассказывает какую-то свою правду, маленькую, узенькую, слепую правду, в которой больше лжи, чем в самом хитром обмане.

Раздражение растет. На миг покоренные ничтожеством, депутаты ощущают прилив новой, свирепой и тоскливой злобы. Это уже не ненависть, ⟨л. 33⟩ с которою можно обращаться к равному

и сильному, – это мучительная, безысходная, свирепая злоба отчаяния и стыда, огромной силы, побежденной ничтожеством. Им стыдно за себя, родившихся и так долго<sup>1</sup> живших под властью короля; им стыдно за все прошедшие века; им стыдно за будущее – ибо прозревают они в его розовой обманчивой дымке множество новых тронов и коронованных глупцов, издающих законы жизни для умных. Пройдут годы, и, быть может, в этот самый зал, куда с таким трудом вошли они, невинные и гордые дети<sup>2</sup> разума и свободы – торжественно вступит при раболепных поклонах пышно разодетая фигурка из жеваной бумаги, и будет она называться: король. Кто знает: быть может, ничтожество и есть тирания; быть может, ничтожные и есть тираны?

– Смерть Двадцатому! Смерть! Смерть!

Народ на площади кипит. Дыхание вновь зародившегося страха уже проникает в высокие окна. Что делают они там с тираном?<sup>3</sup> Чего они так медлят? Наступает новая ночь, а он еще не осужден, и еще одну ночь<sup>4</sup> не будет спокойного сна, и еще одну ночь страшные сновидения будут реять над городом.

– Смерть тирану!

Если так малодушны и нерешительны судьи, то народ сам расправится с изменником-королем. К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны, и пусть нечистая кровь оросит наши поля. Чьи это головы и лица, там, в окнах? Что это так испуганно кричат там, в окнах, и машут руками? Молчите вы, шут. Гражданин солдат, подвиньтесь, я хочу пройти ближе. Что они кричат?

– Смерть тирану!

Это наши. Бросьте оттуда его голову, мы поиграем с нею.

– Смерть тирану!

*(л. 34)* Я только что оттуда, я слышал разговоры – успокойтесь, граждане. Он будет казнен. Я еще не видал головы, которая бы так непрочно сидела на плечах. К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны! Дорогу гражданам-солдатам. Опять громяют пушки. Что это, нападение? Нет, его везут в башню, назад – до завтра. Кто хочет не спать со мною эту ночь? Дорогу гражданам-солдатам! Я ничего не вижу. Где он? Где он?

– Смерть тирану!.. К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны, и пусть нечистая кровь оросит наши поля!.. Смерть тирану!

---

<sup>1</sup> так долго *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато*: св(ободы)

<sup>3</sup> *Далее было начато*: Уже н(аступает?)

<sup>4</sup> *ночь вписано*.

Громяхают пушки, тяжело кивая головами. Ползет карета, страшно безмолвная в этой туче грохота, крика и песен. Громяхают пушки. Уже скрипят, раскрываясь, ворота черной башни, а вверху, среди колесиков и колес, среди канатов и рычагов прохаживается в темноте<sup>1</sup> одноглазый часовщик. Глубоко внизу<sup>2</sup> красное зарево факелов бегаёт по стенам; блестя<sup>3</sup> как расплавленные стекла; светлые точки лиц, черные силуэты; что-то бесчисленное, переливающееся, как черная низкая вода. Грохот, крики и песня. А сбоку, словно разрезая длинным мечом густое тесто нестройного шума, плавно движется в темноте<sup>4</sup> неустанный огромный маятник:

– Так было – так будет. Так было – так будет.

В какую-то щель прорывается с улицы мутный багрово-красный луч и при каждом движении огромного диска, в одном и том же месте, зажигает на нем тускло блистающую, красную точку. Пустота, невидимое движение чего-то<sup>5</sup> тяжелого – красная точка – и снова пустота.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

⟨л. 35⟩

VIII

Таинственный владыка осужден, и сегодня его казнят. В эту ночь никто не спал в огромном городе, и маленькие дети, просыпаясь среди ночи, видели в комнатах необычный странный свет, слышали шум шагов и разговоры. Кто-то невнимательный подошел к постельке и снова поспешно уходил – в освещенные комнаты, где ходят так быстро и разговаривают так глухо. Еще ни разу, с тех пор как стоит этот древний город, он не зажигал всех своих окон – но ведь еще ни разу не ожидал он казни короля.

Никто не верит, что это будет простая казнь – спокойное и холодное умерщвление одного человека другим; ждут чего-то небывалого, страшного: быть может, какого-то безумного сражения, быть может, мировой катастрофы. Ходят зловещие слухи о заговоре, о десятках тысяч вооруженных людей, которые решили перерезать весь народ и спасти тирана. Они где-то здесь, по соседству: сдержат дыхание – услышишь их таинственный шепот, скрежет оттачиваемого оружия. Вон над тем домом весь

---

<sup>1</sup> в темноте *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато*: зар(ево)

<sup>3</sup> *Было*: горят (*незач. вар.*)

<sup>4</sup> в темноте *вписано*.

<sup>5</sup> *Далее было начато*: огр(омного)

день вился дымок: не льют ли там пуль для завтрашних убийств? В непрерывном топоте шагов<sup>1</sup> под окнами сколько ног принадлежит завтрашним убийцам?

Снова грохочут пушки – это хорошо. Но хватит ли снарядов? Медленно движутся назад и вперед, с каждым взмахом приближая великий и страшный день: засияет ли свобода народа или погибнет под ножом<sup>2</sup> изменников и предателей?

Да. Есть (л. 36) дома, где шепчутся и, стиснув зубы, точат оружие. Есть дома, где молятся о чудесном спасении короля и верят в чудо. Там женщины мечутся назад и вперед, залам(ыв)ая белые прекрасные руки; там бледные, подавленные стыдом и горем мужчины сидят часами не шевелясь и с ужасом следят за маятником.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

Но может ли это быть? Может ли быть, чтобы благородного тела короля коснулся грязными руками палач, и святая кровь пролилась на землю?

День настал.

Везут.

Напряженное молчание множества сомкнутых уст. Отдельные, нерешительные вскрики: “Да здравствует король! на защиту короля!” – минутная борьба, одинокий, глухой выстрел – и снова молчание.

Везут.

Помахивают головами лошади, колеса вертятся, стучат подковы.

## ЧН2

⟨л. ⟨I⟩⟩

## VIII

Уже казнили короля. Уже казнили королеву, и умер в тюрьме королевский сын. Опустела черная башня, разошлись по домам утомленные стражи, и одноглазый часовщик рассмеялся, ему так хорошо стало без этих шумных и бестолковых людей, которые сторожат и пугают друг друга. Он даже запел – одноглазый запел! – и весь тот день любовно прогуливался между колесами и рычагами, потрогал канаты, посидел на лесенке, болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так как делал вид, что сердится на него. А потом искоса взглянул и рассмеялся – и хохотом ответил обрадованный маятник. Качался, улыбался широко своею медною рожей и хохотал:

<sup>1</sup> Было: ног (незач. вар.)

<sup>2</sup> Далее было: убийц.

- Так было – так будет. Так было – так будет.
- Ну-ну! – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.
- Так было – так будет!

Потом одноглазый тут же лег спать, а маятник не спал и всю ночь тяжело носился над его головою, навевая странные<sup>1</sup> сны.

Уже казнили короля и королеву, и умер в тюрьме королевский сын – но покой<sup>2</sup> все так же далеко от измученного народа и не находят<sup>3</sup> сна его утомленные, покрасневшие очи. За короткими днями ликования пришли долгие ночи смятения и страха – дикого страха – безумного страха – ибо источником его был мертвец. Власть умерла, казнен тиран и все его отродье – но в тишине ясно слышен стук молотка, сбивающего новый трон для тирана, гроб для народа.

Ищут неведомого тирана, ищут неуловимый призрак власти, тяготеющей над свободным народом.<sup>4</sup> <sup>5</sup>⟨л. ⟨2⟩⟩ Улыбающимся призраком ходит он в народе, сидит в домах, участвуя в беседе, черною птицею реет над несчастною странною, сея ненависть, раздоры, смуту. Уже видели его в собрании народа. Вездесущий, он прячется за спины депутатов, мелькает в чьих-то глазах, отражается в чьей-то улыбке – слышится в чьих-то речах. Его ищут, бешено простирая руки, – а он точно играет в жмурки: слышится там, слышится здесь, смеется над ухом, хватает за плечи.

– Это ты – хочешь быть диктатором. Это ты – тиран! – говорит один депутат другому<sup>6</sup>, и его выпрямленный палец, как острие ножа, намечает новую жертву – новую жертву страха и бессильной любви к недосыгаемой свободе.

Устало звякает топор, и крутится, падая с помоста, бледно-красная голова, ложится ниц, отгибая в сторону мертвецки белый нос, и страшно смотрит в землю. Потом чьи-то пальцы<sup>7</sup> копошатся у затылка, крепко натягивают волосы, поднимают<sup>8</sup> – и она в воздухе. На нее смотрит народ и само небо – и она смотрит на синее небо и народ.

И снова:

– Это ты – тиран!

<sup>1</sup> странные *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было:* был

<sup>3</sup> *Было:* находили

<sup>4</sup> *Вместо текста:* , ищут неуловимый призрак власти, тяготеющей – *было:* Снова и снова хотят убить неведомую власть, тяготеющую

<sup>5</sup> *Далее было:* ⟨3? нрзб.⟩ ⟨л. ⟨2⟩⟩ ⟨3? нрзб.⟩ топор палача рубит головы ⟨2? нрзб.⟩ старая, но голова тирана ускользает.

<sup>6</sup> депутат другому *вписано*.

<sup>7</sup> *Вместо:* чьи-то пальцы – *было:* чья-то рука

<sup>8</sup> *Вместо:* натягивают волосы, поднимают – *было:* схватывают волосы

И снова, и снова:

– Это ты тиран! Это ты!

Палач устал. Он видит красные сны. Он уже не ест больше мяса, его часто тошнит, и он боится гулять по улице: ему странно смотреть, что столько людей носят свои головы на плечах, вращают ими, двигают ими вверх и вниз, и головы улыбаются, скалят зубы, говорят.

⟨л. 33⟩ Была отрублена голова и того депутата, который тогда, в день<sup>1</sup> суда над королем, поклялся вечно защищать свободу. По тем же улицам, по каким везли на казнь короля, везли и его с десятком товарищей, и тот же народ, измученный недоверием и страхом, окружал колесницу криком и свистом. И он думал, глядя на бледные, жалко-свирепые лица:

– Несчастные люди, отравленные ядом тысячелетнего рабства! О, если бы моя голова носила<sup>2</sup> в себе всю Власть, какая есть на земле, – с какою радостью отдал бы я ее вам! Несчастные люди, бессильно жаждущие свободы, рабы, из страха своего ежедневно<sup>3</sup> кующие<sup>4</sup> новые цепи и новые короны!

А тот другой, с кем он говорил тогда, – тот счастливо бежал от казни и скрылся в глубине страны, в хижине угольщика, дикого, черного человека. Несколько дней он радовался вновь обретенной жизни и улыбался<sup>5</sup> деревьям, небу, проталинам в лесу и птичьему весеннему свисту. Но однажды, гуляя и осторожно прячась за<sup>6</sup> мшистыми<sup>7</sup> стволами, он почувствовал стыд, ужас и тоску и выбежал на холм, где его могли видеть все.

### ЧНЗ<sup>8</sup>

⟨л. 33⟩ И погибали. Никто не знает, сколько людей<sup>9</sup> тогда было убито, сколько сошло с ума и убило себя, – и только на низовьях реки, по которой сплавляли трупы, жители узнавали о новых<sup>10</sup> вспышках народного гнева.

---

<sup>1</sup> Далее было: казни

<sup>2</sup> Было: заключала

<sup>3</sup> ежечасно вписано.

<sup>4</sup> Далее было: ежечасно

<sup>5</sup> Далее было: лесу

<sup>6</sup> Далее было: деревьями

<sup>7</sup> мшистыми вписано.

<sup>8</sup> ЧНЗ является первой из двух версий финала рассказа в раннем слове ЧА2, позднее композиционно замененной текстом: И погибали. // --- (ОТ, стк. 861–862).

<sup>9</sup> людей вписано.

<sup>10</sup> новых вписано.

Так быстро проносился этот день. А к ночи над городом вырос зловещий и невероятный слух: он жив! Все знали, что он мертв, видели его смерть, ощущали ее руками – и тем загадочнее, тем страшнее был этот дикий и ужасный слух: он жив! Думали первую ночь заснуть спокойно под сенью незыблемой свободы, – а вместо того снова трепет и страх, и лягз оружия, и дымные огни факелов. Король казнен, о ком же говорят так страшно: он жив?

Всюду войска, сумрачные лица, пушки.<sup>1</sup> Король казнен: для кого же эти войска? Вон кто-то проскакал, звонко стуча подковами.<sup>2</sup> (л. 34) Почему никто не спит и во всех окнах огни, хотя уже ночь давно? Почему у черной башни утроены караулы: король казнен, кого же сторожат<sup>3</sup> они? Он казнен, я видел сам. Вот платок, на нем еще не засохла его черная кровь.

О ком же говорят так страшно: он жив!

Опять войска и пушки. Говорят о какой-то страшной вести с границы. Какое-то сражение. Неужели враги подходят к городу? Бегите, граждане, спасайтесь, тираны у ворот! К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны! К оружию! Я сам видел, он казнен. Вот платок и кровь его на нем.

О ком же говорят так страшно: он жив!

6 октября 1905 г.

## ЧН4

(л. 33) И погибали. Никто не знает, сколько людей<sup>5</sup> тогда было убито, сколько сошло с ума и убило себя, – и только на низовьях реки, по которой сплавливали трупы, жители узнавали о новых<sup>6</sup> вспышках народного гнева.

(л. 34\*) Так проносился этот день. А к ночи на темных улицах выросла зловещая тревога, и ни одна еще ночь не была так страшна, как эта, и никогда еще не хотели так люди вернуть заходящее солнце. Где-то на площади – не знают где – кто-то огромный и бледный – не знают кто – взошел на возвышение и, потрясая

<sup>1</sup> Далее было начато: Для кого эти

<sup>2</sup> Текст: Так проносился ~ стуча подковами. – позднее (при создании ЧН4) был вычеркнут.

<sup>3</sup> Было: караулят

<sup>4</sup> ЧН4 является второй (созданной после ЧН3) версией финала рассказа в раннем слое ЧА2, позднее композиционно замененной текстом: И погибали. // --- (ОТ, стк. 861–862).

<sup>5</sup> людей вписано.

<sup>6</sup> новых вписано.

руками, бросил в свободный народ свирепые и оскорбительные слова:

– Рабы!

Он был задушен тут же, но слово “рабы” осталось. Тысячью угрюмых теней оно разошлось по городу, и дикое ликование сменилось диким страхом. Кто говорит: рабы? Значит, он жив? Значит, он не умер, загадочный владыка, господин на троне, ходящий по головам! Но ведь его же казнили! Или это народ обманут снова, и вместо короля обезглавлена какая-то кукла? Но народ обмануть нельзя. Он ясно слышит бряцание все тех же ржавых цепей, и он будет искать своего тюремщика, своего тирана, пока останется хоть один, любящий свободу.

Недоверчиво заглядывают в лица. Боязливymi толпами бродят по улицам и чего-то ждут. Всюду войска, сумрачные лица, пушки. Король казнен: для кого же эти войска? Вон кто-то проскакал, громко стуча подковами. Почему никто не спит? Уже ночь давно, а везде горят огни и какие-то лица с тревогою и любопытством прижимаются к стеклам.

Ходили на площадь, где утром совершилась казнь. Там темно и тихо; шмыгнули в сторону собаки, привыкшие лизать кровь казненных. Темно и тихо.

А вот опять войска и пушки. У черной башни утроены караулы. Да: ведь там остались еще королева и королевский сын. Как можно быть спокойным, пока жив хоть один человек из королевского *(л. 35)* отродья? И снова кричат голодным криком, задирая головы:

– Смерть королеве!

Башня молчит. Молчит хмурое, зимнее небо. Вот замелькали в воздухе снежинки – идет снег. Завтра все будет бело, улицы и крыши, и по карнизам черной башни лягут белые пушистые полосы. Холодно. Зябкою дрожью пронизывается тело, и голодный, нестройный крик звучит глухо и неуверенно:

– Смерть королеве!

Король казнен – о ком же говорят так страшно: он жив!

*6 октября 1905 г.*

### *Варианты чернового автографа (ЧА2)*

<sup>1</sup> ТАК БЫЛО / ДВАДЦАТЫЙ ◊

<sup>1</sup> После: ТАК БЫЛО (с абзаца) – Очерк из эпохи французской революции

<sup>4</sup> окнами-бойницами / б(ойницами) ◊

<sup>9–10</sup> с неровным лесом труб / с черным лесом труб ◊

- 14 а море, соленый / а море, океан ◇
- 16 видимые издалека. / видимые издалека, и надпись на них  
была такая: ◇
- 17 Их сложный механизм / Сложный механизм часов ◇
- 21 без надобности, днем и ночью, / без надобности ◇
- 22 двигались зубчатые колеса / двигались колеса ◇
- 23 плавными взмахами / плавными размахами ◇
- 23 рассекал воздух маятник / рассекал воздух огромный  
маятник
- 39–40 повелевает миллионами / повелевал миллионами
- 40 древность, над которой / древность, куда ◇
- 44–45 повелевает миллионами / повелевал миллионами ◇
- 47 король родился и умирал / владыка умер ◇
- 63 оставлял короля / оставлял ⟨нрзб.⟩ ◇
- 74 мистический ужас неведомого / ужас неведомого ◇
- 78 из этих загадочных владык / из этих владык ◇
- 79 превосходил дьявола / превосходил диавола
- 94 позорную смерть. / позорную смерть, веруя, что так  
нужно. ◇
- 100 не увидеть лица / не увидеть лица Двадц(атого) ◇
- 105–106 сто, двести, тысячу лет назад / сто, двести лет назад ◇
- 133 стал на дыбы / встал на дыбы
- 134–135 унижений и пыток. / унижений и гнева. ◇
- 147–148 из соседнего покоя вползала из-под дверей / а. из соседне-  
го зала из-под две(рей) б. из соседнего зала из-под дверей  
вползала
- 158–159 с дьявольской хитростью / с диавольской хитростью
- 197 лица медленно движутся / лица медленно опуска(ются) ◇
- 202 в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят  
убийства / в глубину уходят убийства ◇
- 212 я рад видеть / я рад вас видеть ◇
- 225 нужно бы пощупать / а. нужно бы р(?) б. нужно бы ощупать
- 233 к своей дьявольской свободе / к своей диавольской свободе
- 234–235 Не доверяя памяти / Он ◇
- 241 со своим отродьем / с своим отродьем
- 241 выходит он / он выходит ◇
- 244 и только бродячие облака / так что только бродячие облака ◇
- 247–248 они всходят в народе / они всходят в народ
- 248 пятная золотой покров свободы / золотой покров свободы  
пятная ◇
- 248 как шкуру хищного зверя / а. как шкуру хищного тигра  
б. как шкуру хищного ⟨так!⟩ пантеры ◇
- 249 со своих тронов / с своих тронов

- 250 такие же могущественные / такие же могущественные  
и таинственные
- 258 избранники, у которых / избранники, <нрзб.> ◇
- 270 черные метлы, / черные тени, ◇
- 270 выметают город. / выметают их. ◇
- 278 бледных от злости / бледных от страха ◇
- 290–291 как пенный прибой у скалы, светлелись отдельные всплески, / а. были видны отдельные всплески: б. как прибой у скалы, были видны отдельные всплески: ◇
- 294–295 то бегущее стремительно / то несущееся быстро ◇
- 296–297 которому не удалось дойти до тюрьмы / не дошедший до тюрьмы ◇
- 297 вытянутых ног, жадно стремящихся к земле / вытянутых, стремящихся к земле ног ◇
- 303 В бойницах светились / В бойницах теплились ◇
- 308–309 не исторгнутый яд / не выплюнутый яд ◇
- 315–316 в коричневый навоз / в красный навоз ◇
- 316 Семь тысяч было убито. / а. Десять тысяч было убито. б. Пять тысяч было убито. ◇
- 316 Семь тысяч изменников / Пять тысяч изменников ◇
- 329–330 он, таинственный владыка / он, за<ключенный?> ◇
- 332 безумного народа / дикого народа ◇
- 336 с севера или с юга / с севера или юга
- 338 в ухе того, кто заключен / в ухе за<ключенного> ◇
- 348 хребет опрокинулась туча / хребет опрокинулся вместе с тучами ◇
- 352 и, склонив голову набок, смотрит / и склонит голову набок, смотрит
- 354 Так было – так будет. Так было – так будет. / Так было – так будет. Так будет ◇
- 358–359 время плывет сквозь пальцы, падает / время падает ◇
- 367 оно наполнялось / оно наполнилось
- 370–371 на высокий высохший пень / на старый высохший пень ◇
- 376–377 суровые, величаво-серьезные люди / суровые, серьезные люди ◇
- 379 давно низвергнут и Он с Своего небесного престола / а. давно он<?> низвергнут б. давно низвергнут он с его небесного престола в. давно низвергнут и он с своего небесного престола
- 384 живущие среди бурь мятежа и крови / живущие среди бурь, мятежа и крови
- 384–385 теперь они плачут / теперь многие плачут ◇

- 390–391 Свободен умирающий, свободен рождающийся, свободен живущий. / Если кто умирает сейчас, он умирает свободным, если кто родится, он родится свободным. ◇
- 398 весь вдохновение и полет. / весь полет и вдохновение. ◇
- 414 длительной агонии / длительной смерти ◇
- 417–418 толпа зевак рассматривает привезенную из Бразилии обезьяну. // И отпустили его. / толпа зевак разглядывает привезенную из Бразилии обезьяну. Любопытствовали искренно, даже сердечно. // – Какие у него усы, как у кошки! – вдумчиво сказал один из граждан и протянул несколько боязливо руку, чтобы попробовать. // – Негодяи! Бесштанники! – крикнул тот и ударил по руке. // Гражданин отдернул руку и удивленно сказал: // – Дерется! По-видимому, он живой. // Другой [задумчиво] принес откуда-то ведро и задумчиво разглядывал поочередно его и голову дворянина: ведро было великовато. // – Не нужно этого делать, – сказал третий. – Нельзя унижать человека. // – Гражданин, я сильно сомневаюсь, что оно – человек. // – Он уже наказан тем, что он раб и не любит свободы. Пусть идет к другим рабам. Дорогу! // И его пропустили. ◇
- 421 с этим великим днем / с этим днем ◇
- 426–427 тепло светились / св(етились) тепло ◇
- 429 один из пришедших, / один из граждан, ◇
- 446 Вы знаете / Вы слы(шали) ◇
- 459 к городу протянулась / к горизонту протянулась ◇
- 474–475 свою дьявольскую власть / свою диавольскую власть
- 491–517 потому что он король ~ пройти перед собранием. / *нет* (л. 19 отсутствует в ЧА2).
- 523–524 марширующий хаос. / хаос, марширующий как старые солдаты. ◇
- 533 похож на стук дождя / похож на у(сыпляющий?) ◇
- 542 волосатый червяк / рогатый червяк ◇
- 545–546 И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще невиданной свободы. / И любовь к нему и нежность, от которой хочется плакать. ◇
- 550 гремит революционная песня / гремит песня ◇
- 550 Слова едва слышны / Слова не слышны ◇
- 568 не с делами своими, – / не с делами –
- 584–585 у каждой мерцал / у каждой светился ◇
- 589 нужно подготовиться / нужно приготoвиться ◇
- 592–593 угрюмо висели над колокольнями; / а. упрямо висели над городом; б. упрямо висели над церквями; ◇
- 598 грохочут, грохочут; / грохочут, грохочут, грохочут;

- 614 в глубину черепа, / в глубину орбит,  
 632 они исследуют его / они ра(знимают?) ◇  
 633 и суверцев, / и дикарей, ◇  
 634 *После:* предадут его последней казни. – Весь глупый мир  
 восстал против них, апостолов свободы, равенства и брат-  
 ства; в стране изменники; на границах залегли с своими  
 ордами тираны, испуганные за свои пустые головы, и го-  
 товятся к прыжку, – но у них есть могущественный союз-  
 ник, с которым не страшна борьба не только с крохотной  
 землею, но со всею вселенной. Вот он: на черном цоколе  
 снежно-белая [Богиня] богиня Верховного Разума. // Спо-  
 койные снаружи, в глубине своей они полны горделивой  
 радости – восторга сознающей себя силы, готовой сразить-  
 ся с другою неведомою силой. В их бугроватых черепах,  
 за их выпуклыми, могучими лбами уже собираются гро-  
 зовые тучи и изредка уже вспыхивает молния – мысль,  
 зарницею отражаясь в глазах; на их языке уже нарастают  
 громовые, победоносные слова – горе Двадцатому! горе  
 дракону, пожиравшему детей и в ужасе державшему не-  
 счастную страну! ◇
- 636 вот громыхают, / вот грохочут, ◇  
 638 встретить тирана / встретить его ◇  
 643 Вошло что-то / Входит что-то ◇  
 650 стоит нерешительно на раздвинутых ногах, не зная / стоит  
 нерешительно, не зная ◇
- 653–654 насморк. Торопливо вытаскивает / насморк. Быстро ◇  
 657 Это и был Двадцатый. / Это Двадцатый. ◇  
 664 еле сдерживая смех / еле сдерживали смех  
 683 с веселым ужасом / с ужасом ◇  
 685 Не поднимая опущенных век; / Не открывая глаза; ◇  
 693 и если думают / и если они думают ◇
- 711–712 Тогда всякий может быть / Тогда повел(ителем) ◇  
 716 *После:* шатающийся по лесам. – Стыдно за себя, стыдно  
 за все прошедшие века, стыдно за будущее. ◇
- 719 В полутемной комнате, / а. В т(емной) б. В полутемной ком-  
 натке;  
 720 ушедшие из собрания. / а. ушедшие оттуда. б. ушедшие  
 с собрания.  
 730 с площади, где толпился народ / с площади ◇  
 731 каждый говорил / люди говорили ◇  
 746–747 в минуту великого стыда поклянемся, / поклянемся, ◇  
 749–750 содрогнулся от ужаса. / содрогнулся от ужаса, чтобы ◇  
 757 Смерть!.. Смерть тирану! / Смерть!.. Смерть... тирану!

- 759–760 теней огня и дыма / теней огня и гро⟨хота?⟩ ◇
- 764 грохот обрушивающегося прибора / *а. как в тексте б. грохот рухающегося прибора (незач. вар.)* ◇
- 768–769 кончит борьбу с тиранией. // – Она только еще начинается. / кончит борьбу с тиранией, а она... // – Она только что начинается.
- 772 безмолвные, прохладные залы, / безмолвные комнаты, ◇
- 776 и под ногами огромная яма. / и огромная яма под ногами. ◇
- 777–778 красные язычки свеч. / *а. голубые б. красные ого⟨ньки⟩ в. красные язычки свечей.*
- 779 оплывающих свеч / оплывающих свечей
- 789 черными шевелящимися волосами / *а. черными, живыми шапками⟨?⟩ б. черными колышащимися волосами*
- 790–791 похожи были на черные мигающие глаза / были как черные мигающие глаза
- 797–798 со сломанными ручками / с сломанными ручками
- 804–806 суетились. ~ Били барабаны. / суетились. // Били барабаны. ◇  
(за исключением вариантов стк. 804\*, 805\*)
- 804\* так странно было / так страшно было
- 805\* ртом, носами. / ртом, глазами.
- 812 замолкла барабанная дробь. / замолкли барабаны.
- 813 опустила, опять подняла / опустила, подняла ◇
- 821 светлое с одной стороны / белое с одной ⟨стороны⟩ ◇
- 824–849 ...Куда-то умчали, ~ Ходили благодарить / Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом короля и головою: боялись, что ярость народа не пощадит и останков тирана. А народ был страшен. Все еще не веря, что это могло совершиться, что более нет тирана над городом и землей, нет загадочного владыки, сзывавшего тучи, – он слепо и отчаянно ломился к эшафоту: глаза часто обманывают – нужно [усл⟨ышать⟩] пощупать эшафот, нужно услышать запах этой крови, нужно омочить в ней руки. Дрались, душили, падали, визжали. Что-то мягкое упрямо [под] перекачивается под ногами. Задавленный. Еще, и еще. Добравшись до груды обломков, составлявших эшафот, дрожащими руками жадно отламывали кусочки, отдирали ногтями, ломая их, слепо хватали целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их тяжестью и скрывались под черною волною льющегося народа. А бревно, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то течению, ныряло, выставляя иззубренный конец, и где-то терялось. Найдя лужицу еще не вососавшейся и не растоптанной крови, макали в нее платки, одежду, мазали себе губы – всю ее хотели бы ра-

- зобрать, сохранить и разнести по городу – кровь тирана, кровь загадочного владыки, короля. Чтобы все видели, чтобы все знали – нет более тирана! // Опьянели. Без пения, без слов, кружились, [рыд(ая?)] задыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу окровавленные тряпки, разливались по городу, неся с собою крики, гул, неудержимый, странный хохот. Пробовали петь, но песня была слишком медленна, слишком плавна и размеренна, и снова переходили к хохоту и крику. Ходили благодарить<sup>1</sup>
- 828–829\* под топором палача / на эшафоте ◊
- 843\* совершали помазание на новое царство свободы. / свершали помазание на какое-то новое царство, и думали, что это царство свободы.
- 846–847\* гул и неудержимый, странный хохот / гул, неудержимый, странный хохот
- 852 *После: Кого-то повесили. – Многие, не вынеся ужаса, каким дышала улица, закрыли ставни, но ставни были сорваны, а бледных трусов заставили плясать и целовать окровавленные тряпки, <3? нрзб.>*,
- 853 продолжал тайно любить короля / тайно продолжал любить короля
- 858–859 в дикой жажде / в жажде
- 860 “Да здравствует Двадцать Первый!” – *Далее (с абзаца) в раннем слое рукописи следовали два варианта финала рассказа, позднее отвергнутые (см. ЧНЗ и ЧН4).*
- 863 Кончался день, и подступала / Кончался день, и тихо подступала
- 866 на повороте, / на завороте,
- 866 где за широкой тупой башней умирал / а. где еще умирал б. где за высокой острой коло(ко)льной еще умирал
- 868–869 облокотившись на камень, / облокотившись на перила,
- 874 синим пятном широкого лица / синим пятном лица ◊
- 876 в ихнюю свободу / в свободу
- 876–877 *После: смерти Ничтожного. – Ничтожный был тираном. // – Ничтожное бессмертно. Только сильные умирают, а ничтожное бессмертно.*
- 885 они только боятся бича / а. они боятся кнута б. они боятся бича

<sup>1</sup> Отдельный нумерованный лист с данным текстом хранится в составе ЧА2 рядом с л. <32>, на котором имеется почти совпадающий с ОТ (см. ниже варианты стк. 828–829\*, 843\*, 846–847\*) текст того же фрагмента.

- 890 рожденное тьмою и светом / наполнившее их тоскою и страхом
- 892–893 подымалось что-то огромное, бесформенное / а. поднималось что-то огромное, чт(о-то) б. поднималось что-то огромное, бесформенное
- 895 оно протягивало их к городу, и, хотя / а. оно протягивало их городу, оно б. оно протягивало их городу, и, хотя
- 896 Было страшно. / *нет.*
- 904 Оно стояло неподвижно / Оно стояло *⟨нрзб.⟩* ◇
- 906 внизу у его ног, / внизу у ног его,
- 907–908 Угрюмо покачиваясь / Мягко покачиваясь
- 919 своею медною рожеею / своею медною рожеею
- 923–924 лег спать и крепко заснул; / лег спать; ◇

*Варианты прижизненных изданий  
(Шт, Факелы, Зн, Пр)*

- 1 После: ТАК БЫЛО (*с абзаца*) – Очерк из эпохи французской революции (*Шт*)
- 23 рассекал воздух маятник / рассекал воздух огромный маятник (*Шт, Факелы*)
- 51 не нарушало Его / не нарушало его (*Шт, Факелы, Зн*)
- 59 не меняет Своих законов / не меняет своих законов (*Шт, Факелы, Зн, Пр*)
- 79 превосходил дьявола / превосходил диавола (*Шт, Пр*)
- 158–159 с дьявольской хитростью / с диавольской хитростью (*Шт, Пр*)
- 188–189 на балкон выходят король и королева / на балкон выходит король и королева (*Шт, Пр*)
- 233 к своей дьявольской свободе / к своей диавольской свободе (*Шт*)
- 241 со своим отродьем / с своим отродьем (*Шт, Пр*)
- 247–248 они всходят в народе, / они всходят в народ, (*Шт, Пр*)
- 249 со своих тронов / с своих тронов (*Шт, Пр*)
- 250 такие же могущественные / такие же могущественные и таинственные (*Шт, Факелы, Зн*)
- 291 отдельные всплески, переплетшиеся руки / отдельные всплески: переплетшиеся руки (*Шт*)
- 357–358 всю свою незримою массою / всю своей незримою массою (*Шт, Пр*)
- 367 оно наполнялось / оно наполнилось (*Шт*)
- 379 Он с Своего / он с своего (*Шт, Факелы, Зн, Пр*)

- 384 живущие среди бурь мятежа и крови / живущие среди бурь,  
мятежа и крови (*Шт*)
- 436 придвинулись еще несколько / придвинулось еще несколько  
(*Шт, Пр*)
- 474–475 свою дьявольскую власть / свою дьявольскую власть (*Шт*)
- 592 угрюмо висели / упрямо висели (*Шт, Факелы, Зн, Пр*)
- 598 грохочут, грохочут; / грохочут, грохочут, грохочут; (*Шт, Фа-  
келы, Зн, Пр*)
- 664 еле сдерживая смех / еле сдерживали смех (*Шт, Факелы, Зн*)
- 738 Но ведь это же будет новый обман. / Но ведь это же будет  
новый обман! (*Шт*)
- 757 Смерть!.. Смерть тирану! / Смерть!.. Смерть... тирану! (*Шт,  
Пр*)
- 777–778 красные язычки свеч / красные язычки свечей (*Шт, Пр*)
- 779 оплывающих свеч / оплывающих свечей (*Шт, Пр*)
- 805 ртом, носами / ртом и носами (*Факелы*)
- 838 выныривало наверх, плыло / выныривало наверх и плыло  
(*Факелы*)
- 843 совершали помазание / свершали помазание (*Шт*)
- 846–847 гул и неудержимый, странный хохот / гул, неудержимый,  
странный хохот (*Шт, Пр*)
- 892–893 подымалось что-то / поднималось что-то (*Шт, Пр*)
- 919 своею медною рожею / своею медною рожей (*Шт*)

# К ЗВЕЗДАМ

(С. 187)

## ЧНІ

⟨л. 2⟩

### Первое действие

Апрельский вечер, часов 9. Высокий обрыв недалеко от обсерватории, обычное место гулянья для городской публики. Слева уходят вниз два-три дома; в одном желтеет мутный огонек. Справа везде(?)<sup>1</sup> небольшие, еще голые деревья; две скамейки. Над всем – огромное пространство неба с несколькими бледными звездочками и огромной, царящей кометой. Внизу, у линии<sup>2</sup> земли, небо мутнеет. Земля черна и люди кажутся маленькими<sup>3</sup> черными силуэтами на фоне неба.

Разбросанные кучки людей, смотрящих вверх; тихий говор, прерываемый частыми паузами и длительными вздохами.

Старческий голос. Да расточатся врази твои, Господи. Спаси Господи и помилуй.

Молодой женский голос. Спаси и помилуй, господь. Страшно как!

Кто-то. Погоди, еще не то будет! Вчера она меньше была.

Первый молодой голос. Да. Вчера она вот докуда была, а нынче на все небо раскинулась.

Женский голос. Что же это будет? Господи!

Пауза.

Старческий голос. Трудно жить.

⟨л. 3⟩ Первый молодой голос. Страшно жить!

Женский голос. Господи!

Второй старческий голос. У нас хлеба нет.

Женский голос. У нас больны все.

Первый молодой голос. Куда пойти?

Пауза.

Первый старик. Чем прогневали мы Господа?

Детский голос. Тятенька, я звезды боюсь.

Грубый голос. Молчи, девочка, молчи, милая. Сейчас домой пойдешь.

<sup>1</sup> везде(?) вписано.

<sup>2</sup> линии вписано.

<sup>3</sup> маленькими вписано.

Детский голос. Тятенька, я звезды боюсь. Я звезды боюсь, какая страшная!

Грубый голос. Ну пойдем, пойдем, какая глупая!

Суровый голос. Вот говоришь ты, чем прогневали мы Господа? А ворует кто? А кто пьянствует? А кто Бога забыл? Вот и воздвиг Он свое знамение.

Первый старик. Не вор я, голубчик, и не пьяница я. Спи-на у меня кривая, руки у меня мозолистые – рад бы согрешить, да ведь некогда.

Суровый голос. В церковь не ходишь. Богу не молишься.

Первый старик. Милый мой, да ведь некогда! У людей хоть праздники есть...

Второй женский голос (*перебивает*). ...Вот и брожу я, вот и хожу я, день да ночь, день да ночь. Удавилась бы, да силы нет, греха боюсь. Выгнал он меня и домой не велел приходить, а дома горшки(?), а дома дети. Вот и брожу я, вот и хожу я. Тоскою сердце сжимается, удавилась бы я, да силы нету...

Первый женский голос. Господи, Господи!

⟨л. 4⟩ Суровый голос. Муж бьет?

Второй женский голос. Да. Озверел совсем. Ногами бил, поленом бил, все волосья повыдергал. Измочалил мое телушко, высосал мою кровушку. А тут и совсем прогнал: уходи, говорит, а придешь назад, вконец убью! Вот и хожу я, места ищу...

Суровый голос. Вот он грех-то наш!

Первый старик. Ты бы к соседям шла. Приютили бы.

Второй женский голос. И у соседей была, и в поле была, и где я только не была, православные. Вчера в поле сижу я на камне<sup>1</sup>, а тут звезда взошла, а я и говорю ей: звездушка, милая, вот тебя люди страшатся<sup>2</sup>, а я тебе рада. Пади ты на голову мою непокрытую, сожги ты сердце горемычное...

Негодующий голос. Взял бы я звезду эту за голову да хвостом бы ее, как помелом дьявольским, по всей бы земле: гори все! Гори все, когда правды нет. Гори до последнего!

Суровый голос. Правда у Бога!

Негодующий голос. Вот он и послал ее. Надоело и Богу смотреть, как тут дьявол ворочает!

Второй женский голос (*монотонно*). Вот и брожу я, вот и хожу я... (*Уходит.*)

<sup>1</sup> я на камне *вписано*.

<sup>2</sup> *Было: боятся (незач. вар.)*

Суровый голос. Не к ночи будет сказано. Молчал бы ты, паренек, не поминал бы нечистого.

Негодующий голос. А кто же, как не он, все и делает! Отдана, братцы, земля дьяволу, царюет он над ней повсеместно. Пойди ты в город их анафемский, погляди на дома их окаянные: везде-то он из окошек выглядывает, да подмаргивает, да подхихикивает...

Женский голос. Господи! Господи!

⟨л. 5⟩ Суровый голос. Брось! Не пугай народ!

Первый старик. И так напуганы, перепуганы. Брось, миленький, не тревожь людей.

Женский голос. Ай!

Голоса. Чего<sup>1</sup> ты? – Кто кричит? Что случилось там?

Женский голос. Так, почудилось. Я домой пойду. Проводи меня, Аннушка, возьми за руку. Как вдвоем идешь... (Уходят.)

Первый старик. Напугал-таки!

Негодующий голос. А слышали вы, что она идет?

Суровый голос. Ты опять свое. Посдержался бы.

Негодующий голос. Идет она. Писали мне. Молчат об ней.

Первый старик (также шепотом). А где она?

Негодующий голос. Да близко уж.

Женский голос. О Господи! Конец пришел.

Кто-то. И я слышал. Идет она. Косой косит, как рожь валит.

Второй старческий голос. А хлеба нет.

Кто-то. А хлеба нет.

Первый<sup>2</sup> старик. О Господи!

Второй старческий голос. А хлеба нет.

Кто-то. Хлеб есть. Он заперт весь.

Второй мужской голос.<sup>3</sup> Где?

Старик. Заперт.

Второй старик. Кем?

Голоса. Молчи! – Молчи!

Первый старик. О Господи! Конец пришел.

Пауза. Некоторые тихо уходят.

⟨л. 6⟩ Мужик. Вой стоит у нас над деревнею. Воют, воют псы, как скаженные. Горюшко, горюшко!

Суровый голос. В деревне худо.

Первый старик. Чего уж там!

<sup>1</sup> Далее было: ?

<sup>2</sup> Было: Второй

<sup>3</sup> Далее было начато. За(перт?)

Женский голос. И лес кругом. Вот жить не стала бы.

Мужик. Воют, воют псы, как сбесились. И бабы все: горе чистое. Как взойдет она, как завоюют псы – так с двора во двор бабий плач пойдет. Позажмурятся, закачаются – и начнут вопить – жуды жуткие.

Второй мужик. И скотина ревет.

Первый мужик. Ну та с голоду. Вот беда пришла, православные!

Суровый голос. А зачем вы здесь? По делам пришли?

Второй мужик. Лошадей привели, да вот третий день с ними маемся. Не берет никто.

Первый мужик. Прохарчилися. Пропадать совсем.

Кто-то. Я сам мужик и средство дам, как вам избавиться. Когда *она* придет. На духов день сгони всех баб, раздень их догола, напой их водкою. Пусть взявшись за руки идут, поют слова ззорные. А той, что впереди, надень хомут и соху дай, пусть борозду ведет вокруг селения. А сзади две, одна чтоб с образом, другая с хлеб-солью. И по всему полю зажги костры – пусть прыгают.

Первый мужик. И с образом?

Кто-то. И с образом. Не веришь, что ль. Мы делали.

Женщина (*тихо причитает, повторяясь*). Сироты мы несчастные, закидыши мы горькие, на кого нас покинули, на кого нас оставили. Люта тоска сердце грызет, не глядели бы на свет ясны оченки. Сироты мы несчастные, закидыши мы горькие...

⟨л. 7⟩ Кто-то из пришедших. Какая страшная! Иван, ты где? Иди сюда.

Суровый голос. А они смехом смеются.

Наивный голос. Кто?

Первый молодой голос. Они. Не знаешь, что ль?

Второй<sup>1</sup> старик. Молчи. Что зря болтать!

Суровый голос. И так молчим.

Женщина (*тихо причитает*). Сироты мы несчастные, закидыши мы горькие...

Высокий, костлявый,<sup>2</sup> без шапки (*провожаемый неясным говором входит в толпу*). А! И здесь народ!

Кто-то. Сюда пришел!

Молодой голос. Боюсь его!

Кто-то. Пойдем домой.

Молодой голос. Да уж послушаем.

Женщина. На кого нас покинули, на кого нас оставили...

<sup>1</sup> Было начато: Перв(ый)

<sup>2</sup> Далее было начато: пров(ожаемый)

В ы с о к и й. Молчи, баба! Эй, молчите все. Ну!

П е р в ы й с т а р и к. Чего кричишь?

В ы с о к и й. И буду кричать. На весь мир буду кричать, чтобы все слышали, чтоб они слышали<sup>1</sup>. Ограбили! Обидели! Все жилы повымотали! Эй, послушайте! Я все понимаю.

К т о - т о. Да говори, видишь, слушаем.

В ы с о к и й. Я все понимаю. От книги вся неправда. Были люди равны, а выдумал дьявол книгу, и стали господа. Это верно, я все понимаю, я сына из дому выгнал.

В т о р о й м о л о д о й ( г о л о с ). У кого деньги, тот и господин.

В ы с о к и й. Молчи! Неверно. Барин тот, у кого книга. Научи собаку читать, она с собаками жить не захочет.

Г о л о с а. Верно! – Не захочет! – Да у них и собаки другие!

⟨л. 8⟩ В ы с о к и й. А я что говорю? От книги всё.

Ч е й - т о г о л о с. Евангелъе тоже книга.

В ы с о к и й. Неверно! Христос книг не писал, это после придумали. А Христос книги проклял: Книжники вы, говорит, и фарисеи. Я все понимаю. У меня от сердца одна труха осталась. Вот я кто!

Ж е н щ и н а. Сироты мы горемычные...

В ы с о к и й. Молчи, баба! Книги у меня сына отняли. Какой был сын – золото! Молчал я. Терпел. Ждал. А потом выгнал – иди, говорю, и не ворочайся. Был ты мне сын, а стал ворог злой. Проклинаю!

Ж е н с к и й г о л о с. Господи! Сына-то?

В ы с о к и й. Неверно! Нет у меня сына. “Чего ты, говорит, отец, обижаешься? Я такой же, как был”. – Врешь, рожа не та! У меня рожа человеческая, а у тебя господская. – “Я, отец, кормить тебя буду”. Кормить? Нет, шалишь. Откуда у тебя хлеб? Награбил? Не хочу я твоего дьяволова<sup>2</sup> хлеба. Кормить буду! У меня у самого руки есть. А<sup>3</sup>

## ЧН2

⟨л. 1⟩ Над обрывом несколько молчаливых силуэтов – смотрят.

Мужчина в шляпе и накидке. Здесь хорошо видно. В городе дома мешают. Вы не устали? Постоим немного здесь.

Дама. Какой ужасный год! Война, голод, болезни, всякие ужасы, – тут еще эта комета.

<sup>1</sup> чтобы все слышали, чтоб они слышали *вписано*.

<sup>2</sup> дьяволова *вписано*.

<sup>3</sup> Текст обрывается.

Мужчина. Какие пустяки, Настасья Петровна. Неужели вы верите?

Дама. Она мне действует на нервы. Конечно, я знаю, что все это пустяки, просто звезда и ничего тут нет опасного, но понимаете, когда нервы и так расстроены. Вы знаете, что у Лидочки муж, кажется, убит?

Мужчина. Какой Лидочки?

Дама. Впрочем, вы ее не знаете. Это моя подруга по гимназии, только год назад вышла замуж. Вы посмотрите, какой у нее хвост!

Мужчина. Похоже на меч. Только это все пустяки. Комета и комета, их много бывает.

Дама. А почему она пришла именно теперь?

Мужчина. Простое совпадение.

Дама. Ну да, а почему она всегда приходит при каком-нибудь несчастье? Нет, не говорите. Вчера ночью я отдернула занавеску – так это ужас! Тишина, все спят и этот ужас. Я разбудила Ивана Алексеича.

Мужчина. Вот небось ругался.

Дама. Вы все шутите, а посмотрели бы, что с нашей прислугой делается. Плачут, молятся. Анисья в деревню просится, уверена, что это начинается *(л. 2)* светопреставление.

Мужчина. А у меня окна, к несчастью, в другую сторону. Ничего не видно. Вчера мы с крыши пробовали смотреть, да Архангельская колокольня мешает.

Голос в толпе *(испуганно)*. Эх-хе-хе! Господи, батюшки. Помилуй нас Господи!

Дама. Собака наша всю ночь<sup>1</sup> воет. Нет, я не могу, пойдете отсюда.

Мужчина. Животные всегда беспокоятся, когда какие-нибудь небесные знамения. Это пустяки.

Дама. Вам все пустяки, а по-моему животные иногда бывают умнее человека. Вы можете узнать вашего директора по запаху?

Мужчина смеется. Уходят. В толпе неясный говор.

Первый молодой. А может она на землю упасть?

Второй молодой. А кто ее знает. Должно может.

Первый. Тогда ведь сгорит все.

Второй. Ванюшка, милый, ну и пускай горит! Нам-то что? Это вот его высокородию есть что беречь, да и то, поди, застра-

---

<sup>1</sup> всю ночь *вписано*.

хована (*силуэт в шляпе молча отходит*). А нам-то что? Эх!<sup>1</sup> Будь моя сила, взял бы я эту барыню за голову, да хвостом бы, как помелом, по земле! Гори все!

Старик. Верно. Прежде хоть в деревне с голоду дохли, а ныне и в городе на ту же стать пошло. Город! Вчера понес курицу продавать, так насилу за двугривенный отдал.

Первый. А мне жалко, если все сгорит.

Старик. Воистину прогневался Господь! Смотри, какое воздвигнул знамение на страх человекам.

⟨л. 3⟩ Кто-то. Греха много.

Пауза.

Второй. Нынче публикацию читал: “ежели кто найдет собаку, по кличке Моську, так тому будет дано 10 рублей”.

Кто-то. Ничего не бояться. За собаку-то – 10 рублей!

Второй. Чего им бояться. Сами себе господа!

Первый. А церкви тоже сгорят?

Пауза. Приближается низкий лохматый, что-то на плече. Тихо:

Низкий. Работки нету?

Второй. Ты, дядя, очумел? Какая тебе работа?

Низкий. Дровоколы мы. Два дня хожу, ажно уморился. На хлебушко нету. Работки не найдется, а?

Второй. А ты поди собаку поищи, 10 целковых получишь. Собака вот у господ пропала.

Низкий. Собак много, разве ее найдешь?

Второй. А ты ее покличь: Мосинька, Мосинька, Мосинька!.. (*Хохочет.*)

Низкий. Так нету, говоришь, работы?

Старик. Чего грохочешь, бесстыдник? Бога не боишься?

Кто-то. Греха-то сколько, Господи, Господи! Народу-то пропадает, Господи! Вот мы тут стоим, балагурим, папироски курим, а там тысячи убивает. А тут она еще идет.

Первый (*любопытно*). Какая она?

Старик (*сурово*). Не знаешь, так молчи. Не обо всем зубами ляскай!

Первый. Вот животная тоже воеет: отчего она воеет?

Тихий (*подходит*). А вот еще слышал я, братцы вы мои родные, ⟨л. 4⟩ будто затеяли господа весь простой народ изничтожить: тесно, говорят, жить стало и дух плохой.

Второй. Пустое говоришь. А работать кто будет?

<sup>1</sup> Было: Б(удь)

Т и х и й. А работать будто машиной.

В т о р о й. При машине тоже человек нужен.

Т и х и й. Не знаю, милый, как тебя, может, кого и оставят. А только лишнего народу много стало. Вот они и войну затеяли, а теперь вот голод. Хлеба-то много-то, однако он в подземельи спрятан и солдаты его караулят. Кто билет предъявит, тому дают, а без билета нет. А потом, как народ на лебедке ослабнет, они ее пустят.

П е р в ы й. Кого?

Т и х и й. Ее, говорю, пустят.

### ЧНЗ

⟨л. 5⟩<sup>1</sup>Первый голос. Господи! Какое чудище!

Второй голос. Да. Эта с тобой разговаривать не станет.

Третий голос. А она куда больше стала: вчера вот до этого места была, а нынче на все небо раскинулась. Гляди, гляди!

Первый голос. Вижу. Что же это? Кончина мира, что ли?

Второй<sup>2</sup> голос. А кто его знает. Может и кончина. Разве кто знает?

Тонкий голос. Думал я, малафеевские амбары горят. Взлез на крышу, взглянул: и Господи Ты Боже мой! Как и скатился, не помню.

⟨л. 6⟩Второй голос. Скатиться! ⟨так!⟩

Первый голос (со вздохом). Да-а. Сколько лет на свете<sup>3</sup> живу, а такого страху не видал. Нет.

Второй голос. То ли еще будет.

Тонкий голос. А что, дядя, будет?

Второй голос. Других спроси, а я не знаю.

Первый голос. Не знаешь, а говоришь. Зачем народ пугать.

Второй голос. Не я пугаю, а она пугает. А свое время придет, тогда и увидишь.

Женский голос. Надо бы по всем церквам молебны. По всей земле.

Второй голос. Служили.

Пауза.

<sup>1</sup> Перед началом текста оставлено чистым две трети листа (см. коммент.).

<sup>2</sup> Было: Третий

<sup>3</sup> Было начато: ⟨нрзб.⟩

Авторитетный голос. Старики рассказывают, что перед войною это.

Пауза.

Первый голос. Сколько на земле страху! Живут люди, живут, ничего не знают, а тут вдруг этакая... За что? Кому надо?

Второй голос. Значит, надо.

Тонкий голос. А может она на землю упасть?

Авторитетный голос. Может. Подойдет близко – и готово.

Тонкий голос. Сгорит тогда все. Господи, Господи!

Второй голос. А тебе жалко?

Третий голос. Что же это будет? Господи.

Тонкий голос. Как же не жалко. Конечно, жалко. Строили люди, строили...

Второй голос. А чего выстроили?

Тонкий голос. Как чего? Мало ли чего.

Молодой голос. Вот вы говорите: жалко. Конечно, постройки там (л. 7) разные, и все что – а будь моя сила, взял бы я эту звезду за голову, да хвостом ее, да хвостом ее, как помелом по всей бы земле. Гори все! Гори до последнего!

Возмущенные голоса. Что говоришь, Бога побойся...

Грех-то какой!..

Кто это говорит?.. Звезду-то! И так страшно, а он...

Домой пойти.<sup>1</sup> Тут наговорят! Народ!

Тонкий голос (удивленно). Какие люди бывают!

Авторитетный голос. Оттого Господь и знамение свое воздвиг, что перестали его бояться. Вот такие вот выскакивают, а ты за них в ответе.

Молодой голос. Дикий вы народ! Ну вас совсем, и с звездою с вашею.

Авторитетный голос. Полегче, смотри, как бы чего не вышло!

Молодой голос. Ей-богу, тоска!

Первый голос. А другим, думаешь, легче? Вот ты рассуждаешь, а ты погляди глазами: ведь это что же! Ведь это же кончина! Ты говоришь: помирать. Помирать не страшно, а ты вот что пойми: за что это? Кому надо? Ну живу я, никого не трогаю, а тут вдруг оно. Ну кому это надо?

Второй голос. А они смеются.

---

<sup>1</sup> Вместо: Домой пойти. – было: Пойти домой.

Третий голос. Как не смеяться!

Второй голос. “Боишься, говорит, Иван, звезды?” Не то чтоб боюсь, говорю, а страшно. “Ну то-то, смотри, говорит: будешь чисто двор мести, так ничего не будет, боком пройдет”.

Первый голос. Шутят!

Третий голос. Смеются!

Авторитетный голос. Им-то что! Они вывернутся.

Тонкий голос. Ну как вывернуться? Небось не вывернешься.

⟨л. 8⟩ Авторитетный голос. А так и вывернутся. Они свое знают, у тебя спрашивать не пойдут.

Первый голос. Что же это будет, Господи! Куда пойти? Домой пойдешь – бабы воют, собаки воют – жуды жуткие. И хлеба нет. Кому надо?

Кто-то в толпе. Хлеба нет. Нет хлеба, это верно.

Первый голос. Я и говорю: кому это надо? Вот она стоит – кому это надо?

Авторитетный голос. Богу почаще молись, вот что. У простого человека только и есть, что Бог.

Первый голос. И молюсь, и молюсь. Да что!

Второй голос. Помирать надо, вот что. Что толковать!

Пауза.

Кто-то. А слышал я, что это нарочно.

Тонкий голос. Что нарочно?

Кто-то. Да вот это. Звезда. А потом голод будет и мор.

Авторитетный голос. Ну?

Кто-то. А потом по три дня и по три ночи темноту по всей земле пустят. Тогда и порешат – в темноте-то.

Чей-то голос. Что говоришь!

Второй голос. Я и говорю, помирать надо.

Авторитетный голос. Это и я слышал, это правда. Идет она – от моря идет.

Тонкий голос. От моря! Господи!

Пауза.

Голоса<sup>1</sup>. Пойдем домой.

И я, Господи!

Погоди, и я. Вместе-то веселее.

⟨л. 9⟩ Теперь озолоти меня, чтобы ночью на двор выйти – не выйду. Ну ее.

Да и страшна же! Откуда это только берется?

<sup>1</sup> Было: Чей-то голос

У Бога всего много. Идем!  
А что завтра будет? Доживем ли?

Уходят.

Молодой голос. Как погляжу я на все это, так выть хочется, как собаке. Кто со мною в трактир? (*Уходит.*)

Авторитетный голос. Уходи-ка, уходи. Не место тебе тут.

Горбатый. А у нас так делали. На духов день – согнали всех баб с села, раздели их догола и пьяными напоили. И чтобы ручка за ручку, а две бабы, одна с образом, а другая с хлебом-солью. А одну запрягли в соху и нужно, чтобы вокруг всего села борозду. И тоже нужно по всему полю костры и чтобы они через костры прыгали. Через эту борозду она перейти не может.

Тонкий голос. Да ну? И помогло?

Горбатый. Кто ее знает. Много народу померло, а отчего – неизвестно.

Авторитетный голос. Глупости это. Невежество деревенское.

Горбатый. Кто ее знает. Однако, сказывают, в других местах помогло.

Суровый голос. Передушить бы их всех, дьяволов!

Первый голос. Вот тоже и это: кому это надо? Живут люди по малости своей, а тут пришла она и давай косить. За что?

Авторитетный голос. Греха много.

Первый голос. А если греха много, так надо рассудить. А она всех: крушит, без разбору. Кому надо? Вот тоже у меня на той неделе двое ребят померли: затрепыхались, затрепыхались – и померли. А отчего неизвестно. Жили, жили – и померли. Так и померли, да. Что же, может и правду говорят люди: пора *(л. 10)* кончаться миру.

Тонкий голос. А правда, что который человек на себя руки наложит, тот в ад пойдет? У нас кровельщик на сеновале удавился.

Авторитетный голос. Правда. А от чего удавился? Спяну?

Тонкий голос. Нет. Задумываться стал, а тут эта самая – звезда.

Третий голос. Много она бед наделает. Господи! Господи!

Пауза.

Кто - то. Вот тут и живи, как знаешь<sup>1</sup>. Облегло тебя, как тучею...

Второй голос. И помирать не смей. Ну это погоди, она свое покажет...

Чей - то голос. Что же это. Боже мой, Боже мой!

Детский голос. Тянька, я звезды боюсь. Страшная какая (плачет).

Авторитетный голос. Вот еще голова: ребенка приволок. Тут и...

Чей - то голос. Ну, ну, пойдем. Не плачь, говорю, пойдем. Она ничего, она добрая.

Детский голос. Боюсь.

Первый голос. Может, оставить не на кого, вот и приволок.

Авторитетный голос. Ну и сидел бы дома. Небось и там видно.

Тонкий голос. На люди-то, дяденька, тянет. Дома еще хуже. Дома теперь от одних баб сбежишь. Что это за народ такой, Господи!

Неизвестный (с приятностью). Хорошо бы сейчас пожарчик.

Голоса. Что? Кто это?

Неизвестный. Да нет, это я так: пожарчик бы хорошо, говорю. Положить бы это соломки, керосинцем полить, ну там, тряпочек что ли, это как кто понимает...

Авторитетный голос. Да ты шутишь?

Неизвестный. Да я ничего, я что же. Так говорю, смешно это конечно. Или вот тоже еще хорошо бы...

⟨л. 11⟩<sup>2</sup> Тонкий голос. Ну?

Голоса. Договаривай! Это еще откуда?

Неизвестный. Да я ничего, так к слову пришлось. Зверинец тут приехал...

Голос. Ну?

Неизвестный. Так зверей бы выпустить. Свернуть на клетках замки да выпустить. Замок у них дешевый, я видел.

Пауза.

---

<sup>1</sup> Было: хочешь (незач. вар.)

<sup>2</sup> В верхнем правом углу авторская нумерация листа: "7".

⟨л. 1⟩

## К ЗВЕЗДАМ

Дело происходит в небольшом губернском городе, известном своей обсерваторией.

Сергей Николаевич Верховцев – астроном. 52 года, но кажется моложе. Черные, с легкой проседью, борода и волосы; от виска через всю голову проходит серебристая прядь. Одет красиво и спокойно. Движения плавные, спокойные и очень точные; также сдержан и точен в жестикуляции – ничего лишнего. Вежлив, внимателен, но от всего этого отдает холодом.

Инна Александровна, жена его,<sup>1</sup> тех же почти лет и так же моложава. Сухая, стройная, корректная. Строгая. Любит порядок.

Анна, дочь, 27 лет, похожа на мать, но не так красива. И одета некрасиво, не к лицу. Пенсне.

Николай, сын, 25 л., в тюрьме.

Петя, сын, 18 лет, гимназист. Нежен, мягок, легко вспыхивает.

Маруся, невеста Николая, 20 лет. Красивая.

Василий Васильевич Житов, помощник Верховцева, неопределенных лет. Велик, волосат, медведеобразен. При своей внешней медлительности очень деятелен. Влюблен в Верховцева.

Валентин Алексеевич Горбатов, приятель Николая, что-то вроде ⟨л. 2⟩ жениха Анны. Лет 30. Самоуверен, повелителен, иногда груб. В разговоре принижает собеседника легкой иронией.

Шмидт, молодой человек, с растерянными движениями. Постоянно что-нибудь роняет. Восторжен. Служит в Казенной палате.

Евмен – сторож при обсерватории. Надменен.

Старуха.

Толпа.

<sup>1</sup> Далее было: почти(?)

⟨л. 1⟩<sup>1</sup>

К ЗВЕЗДАМ

Дело происходит в небольшом городке с знаменитой обсерваторией.

⟨Пропуск⟩<sup>2</sup>, голод, болезни, бунты.

⟨Аст⟩роном Сергей<sup>3</sup> Николаевич, европейская знаменитость, почетный<sup>4</sup> член ⟨пропуск⟩<sup>5</sup> и академий. 54<sup>6</sup> г.

⟨Его(?) помо⟩щик,<sup>7</sup> Синицын 26

<sup>8</sup>Евмен.

<sup>9</sup>Ольга Андреевна<sup>10</sup>

⟨Ни⟩колай.<sup>11</sup> 24

Петр 18 л.

Анна. 26 л.

⟨М⟩аруся, невеста Николая. 18 л.

Верховцев, с.-д. или эсьер, друг Петра, влюбленный в Анну. 30 л.

<sup>12</sup>Шмидт.

Старуха.

Толпа.<sup>13</sup>

I

Обрыв. Слева спадающей черной линией уходят куда-то вниз ⟨зд⟩ания; в некоторых смутные огоньки. Впереди, на авансцене, кустики ⟨и ска⟩мейки; из-за кулис выглядывают голые, узловатые ветви – ранняя ⟨в⟩есна(?). За низкой линией обрыва – огромное пространство неба с царящею на нем кометой. Внизу небо мутнеет и почти сливается с землей.

Люди – в виде черных странных силуэтов на фоне неба.

<sup>1</sup> В правом верхнем углу помета: 10 октября 1905 г.

<sup>2</sup> Здесь и ниже часть текста утрачена (лист оборван с левой стороны).

<sup>3</sup> Было: Всеволод

<sup>4</sup> почетный вписано.

<sup>5</sup> Текст утрачен.

<sup>6</sup> Было: 52

<sup>7</sup> Далее было: пессимист,

<sup>8</sup> Перед: Евмен – часть текста утрачена.

<sup>9</sup> Перед: Ольга – текст утрачен.

<sup>10</sup> Далее было: урожденная графиня) Х. 50

<sup>11</sup> Далее было: вольноопределяющийся, на войне.

<sup>12</sup> Перед: Шмидт – было: Толпа. ⟨Нрзб.⟩

<sup>13</sup> Толпа. вписано.

⟨л. 3⟩<sup>1</sup>

ПЕРВЫЙ АКТ

Впереди толкутся<sup>2</sup> тени; молчание – неясный говор, вздохи.

О н. Сядем здесь. Здесь хорошо.

О н а. Все равно. Я никуда не могу уйти от нее, и лучше здесь, когда она прямо перед глазами, чем подстерегать ее у окна, чувствовать за спиною. Когда она выходит из-за крыш, она еще страшнее. Крыши, ведь это так просто, так человечно – и вдруг она!

О н. Какой кровавый свет! Как огромный окровавленный нож. Недаром связывают ее с войною.

О н а. До сих пор я знала только город, а теперь вдруг почувствовала землю – и это так страшно: почувствовать маленькую крохотную кругленькую землю. Что же это? Живешь, живешь, не думаешь ни о какой земле и о небе не думаешь – и вдруг оттуда приходит что-то и становится над головой.

О н. Прежде люди<sup>3</sup> умирали от страха, когда появлялась комета. Какой ужасный год!<sup>4</sup> Голод, болезни.

О н а. Что же это? Жить становится страшно. Все умирают – вы подумайте, сколько смертей за один этот год. Того нет, другого нет.

О н. Светлов умер.

О н а. Светлов умер. Лидочка умерла. Отчего она умерла? Ей всего было девятнадцать лет.

О н. Чем больше смотришь, тем она страшнее. Вначале как-будто понимаешь, а потом перестаешь понимать. Сколько народу! И ⟨л. 4⟩ все еще подходят. И вы заметили: на улицах тоже народу больше обыкновенного.

О н а. Дома хуже.

Г о л о с в т о л п е. А ведь она больше стала!

Д р у г и е г о л о с а. Нет.

Больше!

Такая же, что пугаешь.

П е р в ы й г о л о с. Верно говорю, что больше. Вчера она вот досюда была, а теперь смотри, хвост куда раскинулся. Пойти домой сказать.

О н а. Нет, я не могу. Пойдемте отсюда.

<sup>1</sup> В правом верхнем углу помета: 11 октября 1905 г.

<sup>2</sup> Далее было начато: неясные?

<sup>3</sup> Далее было начато: убива(ли)

<sup>4</sup> Далее было: Война, голод

Он. Куда же идти?

Голос в толпе. Думал, малафеевские амбары горят. Взлез на крышу, взглянул: Господи ты Боже мой!

Второй голос. У нас собака всю ночь выла, такую жуду нагнала, хоть в петлю полезай. Запер ее в подвал, а и оттуда слышно. Не придумая, что с нею сделать.

Третий голос. Ничего и не сделаешь. Думаешь, у одного тебя собаки воют? Они по всему городу воют.

Она. Нет, пойдете. Куда-нибудь все равно, но только пойдете.

Он. Ну, давайте руку. Да не волнуйтесь же так. Ведь это же ребячество.

Уходят.

Первый молодой. А может она на землю упасть?

Второй молодой. Кто ее знает. Говорят, что может.

Первый молодой. Сгорит тогда все.

Второй молодой. А тебе-то что? Ну и пускай горит. Это тем страшно, (л. 5) у кого есть что беречь, а у нас ничего не пропадет. Будь моя сила, взял бы я комету за голову да хвостом бы, как помелом, по всей земле. Гори все!

Первый старик. Верно. Прежде хоть в деревне с голоду дохли, а нынче и в городе то же пошло. Город! Вчера понес курицу продавать, насилу-то за двугривенный сбыл.

Первый молодой. А мне жалко будет, если все сгорит.

Второй старик. Воистину прогневался Господь!

Первый молодой. Что же такое?

Второй молодой. Что?

Первый молодой. Да вот звезда эта? Откуда она? Отчего прежде ее не было?

Пауза.

Второй старик. Греха много, вот откуда.

Пауза.

Второй молодой. Нынче в типографии публикацию читали: пропала собака,<sup>1</sup> кличка Миледи, кто найдет, тому 10 рублей.

Второй старик. Ничего не боятся. Такое знамение, а они о собаке<sup>2</sup>.

Второй молодой. Кого им бояться, сами себе господа.

<sup>1</sup> Далее было: по

<sup>2</sup> Далее было: беспокоятся

Первый молодой. А церкви тоже сгорят?

Пауза. Приближается низкий, уродливый, что-то на плече.<sup>1</sup>

Низкий (*тихо*). Работки не найдется?

Второй молодой. Ты, дядя, очумел? Какая тебе работа?

Низкий. Дровокол я. Два дня хожу, очень уморился. На хлебушко нету. Работки не найдется?

Второй старик. Какая тут работа.

Второй молодой. А ты, дядя, пойди собаку поищи, собака пропала. Все *(л. б)* равно ходишь так, так ты ее поищи. 10 целковых дадут.

Низкий. Собак много, разве ее найдешь?

Второй молодой. А ты ее покличь: Миледи, Миледи, Миледюшка! (*Хочет.*)

Низкий. Так нету, говоришь, работки?

Первый старик. Чего грохочешь, бесстыдник? Бога не боишься?

Второй молодой. А чего мне его бояться?

Второй старик. Сколько народу-то пропадает, Господи! Вот мы тут стоим, папироски курим, а там тысячи убивают. Да она еще идет.

Первый молодой (*любопытно*). Какая она?

Пауза.

Первый старик (*сурово*). Не знаешь, так молчи. Не обо всем зубами ляскай. Да сигарку-то бы бросил, дома накуришься.

Кто-то (*подходит*). О чем разговор?

Второй старик. О чем нам говорить. Все о том же.

Кто-то. И вы, значит, слышали?

Второй старик (*уклончиво*). Мало ли говорят.

Кто-то. Ну да. Весь, говорят, простой народ уничтожать будут. По всей земле. Какие где есть бедные, или больные, или немущие, так всех.

Второй молодой. А работать кто будет?

Кто-то. А работать машиной.

Второй молодой. Машина одна не может, при ней тоже человек нужен.

Кто-то. Ну, не знаю, может, и оставят кого. А только чрезмерно лишнего народу народилось, теснота, безобразие, воровство. Вот они посоветовались-посоветовались и порешили.

*(л. 7)* Первый молодой. Кто: они?

<sup>1</sup> Далее было: Тихо:

Первый старик. Все ты, парень, не в очередь лезешь. Не знаешь, так молчи, сам догадывайся.

Кто-то. И порешили извести народ, не сразу, а помаленьку, чтобы невдомек было. А то если сразу, так народ может сопротивление оказать. Так вот, значит, войной начали, как будто воюют; перебьют сколько надо, а тут, значит, голод. Хлеба-то много, миллионы(?), но однако он в подземельях схоронен и стерегут его солдаты с ружьями: кто билет предъявит, тому дают, а кто без билета, того раз! – по голове. И вот, значит, когда народ на глине(?) да на лебеде ослабнет, тогда и ее пустят.

Толпа растет. Возгласы удивления и страха.

Второй молодой. Пустое ты говоришь!

Голоса. Не мешай! Дай сказать! Уходи, если не нравится.

Кто-то. Вот увидишь, недолго осталось. Мне что, я сам в первую голову пойду, такой же. Но однако она не всех заберет, у нее тоже силы, сколько ей полагается; и вот тогда – сделают они по всей земле темноту, на три дня и на три ночи, и всех, какие остались, прикончат.

Второй молодой. Кто сделает-то?

Кто-то (показывая на комету). А кто ее сделал?

Все молча смотрят на комету.

Голоса. Страшная какая! Господи.

Пойти лучше домой; все будто спокойней.

Иван! Где ты, Иван?

Все небо загородила хвостиком.

А что, солнушко-то взойдет либо нет?

Конец народу приходит, конец.

⟨л. 8⟩ Второй молодой. Не может этого быть.

Кто-то. А кому ты нужен, скажи пожалуйста? Ты что делаешь-то? Какое твое занятие?

Второй молодой. Ручку у машины верчу.

Кто-то. Ручку верчу! Приведут к твоей ручке ремень, вот тебе и все. Нет, умно это придумано, нечего и говорить. Если даже(?) бродячих собак не убивать, так сколько расплодится, людям житья не будет.

Второй молодой. Мы тоже люди.

Кто-то. Сказал! Эх ты...

Сдержанный хохот, некоторые отходят.

Кто-то. Люди! Ты себе на рожу-то взгляни – разве у людей такая бывает? Нет, ей-богу, хорошо это придумано. Ну кому мы нужны, скажи на милость? Живем мы, хуже нельзя: пьянство, де-

боширство, драки, – зверье зверьем. Нет, нужно землю очистить, хорошо это придумано.

Ропот.

Второй молодой. Ну и очищай, а я не желаю.

Кто-то. Так тебя и спросят!

Второй молодой. Да и не спрашивай: у самих руки есть.

Кто-то. Руки?

Пьяный (*где-то кричит*). Наплевать мне на твою комету!

Голос. Молчи, дурак. Нехорошо.

Пьяный. Сам дурак! Люди добрые, пожалейте меня, у меня жена утопилась.

Голоса. Где? Как? Что он говорит?

Пьяный. Не знаю где. Вчера из дому ушла и нету. (*Плачет, громко завывая.*) У-у-у! Дал я ей водки, на, говорю, пей, а она выпила (*л. 9*) да кулаками себя по пузу. Брюхатая она, по шестом ребеночку, и давай кулаками по пузу, а потом ушла. Где жена? Что теперь я буду делать без нее? (*Плачет.*) Только приди, я тебе покажу, как уходить.

Первый старик. Увел бы ты его. Нехорошо. Вправду утопилась?

Провожатый. А кто ее знает? Пойдем, будет, водки куплю.

Пьяный (*идет*). Не надо мне водки. Где жена! Постой: что это такое на небе: иллю-ми-нация? Наплевать мне на иллюминацию. Где жена? (*Уходит.*)

Женский голос. До чего народ низок: тут последние дни приходят, а он пьян. Господи, Господи!

Говор.

Гимназист и гимназистка садятся на скамью.

Гимназистка.<sup>1</sup> Я боюсь, тут пьяные.

Гимназист. Ничего, они не тронут. Зато здесь хорошо видно. Какая красивая комета. Вам нравится?

Гимназистка. Да, нравится. Оставьте мою руку.

Гимназист. Ниночка!

Гимназистка. Меня зовут Нина Петровна.

Гимназист. Вы боитесь кометы?

Гимназистка. Боюсь.

Гимназист. Она похожа на классную даму вверх ногами.

Гимназистка (*тихо смеется*). Оставьте руку, ну.

Гимназист. А<sup>2</sup> будете меня жалеть, если я на войну пойду?

<sup>1</sup> Далее было начато: Т(ут?)

<sup>2</sup> Далее было: если

Гимназистка. Нет.

Гимназист. Ниночка!..

Гимназистка. Меня зовут Нина Петровна.

⟨л. 10⟩ Гимназист. Знаете что! Правда, здесь оченьлюдно. Пойдемте еще куда-нибудь. Вы согласны – Нина Петровна?

Уходят направо; слышно: “Оставьте мою руку”.

Голос первый. Передушить бы их всех, дьяволов!

Голос второй. А если светопреставление, то как оно начнется?

Голос третий. Вот так и начнется.

Голос четвертый. Братцы, а ей-богу, она падает. Гляди, гляди, хвостом ворочает!

Голоса. Ври больше, смутьян!

Дай ему по шее!

Да ты что? Я-то при чем?

Женский плач. Кое-кто уходит.

Голос первый. Терпения моего нету: что же это такое! Иван, где ты там, дьявол!

Иван (*широкоплечий, говорит медленно и трудно*). Вот он я, чего орешь. Надо бы разломать все это!

Голос первый. Да что разломать-то? Дьявол несуразный.

Иван. Все это разломать.

Голос первый. Ах ты – да что?

Иван. Да все. Чего пристал. Точно я знаю, что. Ты же сам давеча говорил.

Голос первый. Говорил!<sup>1</sup>

Тонкий (*с приятностью*). Надо бы пожарчик. Если бы в местах в четырех сразу, очень хорошо бы вышло.

Ропот изумления и страха; одни продвигаются, другие уходят.

Голоса. Кто это?

А шут его знает.

Что он говорит? Пожар? Где пожар?

⟨л. 11⟩ Тонкий. Да что вы, я нарочно. В шутку.

Голос. Нашел шутку.

Голос второй. Я его знаю, из ерошкиной компании. Они нынешней зимою зверей хотели выпустить. Зверинец приезжал, так они ночью хотели клетки<sup>2</sup> пораскрывать. Я его знаю.

<sup>1</sup> Голос первый. Говорил! *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато: открыв(ать)*

Г о л о с а. Ага! Так это ты, брат.

Пусти!

Не трогай, у его нож!

Пусти, говорю.

Господи, Господи, что же это! Пойдем<sup>1</sup> от греха. Идем!

Т о н к и й (*высвобождаясь*). Вы скажете, что и комету я выпустил. Дурачье!

Г о л о с а. А кто? Говори. Нечего народ морочить.

Т о н к и й. Когда захочу, тогда и скажу. Слушай, ты, Иван, что ли, пойди-ка на пару слов.

Отходят к авансцене, шепчутся.

Т о н к и й. Ты этого, что в трубу смотрит, знаешь?

И в а н. Какого?

Т о н к и й. Ну что дом-то такой<sup>2</sup> с колпаком?

И в а н. Дом знаю. На горке.

Т о н к и й. Ну?

И в а н (*не понимая*). Ну?

Т о н к и й. А ну тебя к черту! Гривенник есть?

И в а н. Нету. Да и не дам я, пьянице.

Тонкий с ругательством отходит, за ним медленно идет Иван.

Д е т с к и й г о л о с. Тятенька, я боюсь. Звезда какая страшная!

Г о л о с п я т ы й. А что теперь там делается, не приведи Господи!

⟨л. 12⟩ Г о л о с т р е т и й. Где там?

Г о л о с п я т ы й. А в других местах. Палашево⟨?⟩,<sup>3</sup> рассказывают, третьи сутки горит. А где, говорят, уже она пришла. Конец народу!

В ы с о к и й (*костлявый, без шапки, говорит громко*). От книг все. Книги нужно сжечь. От книг все. Много книг, много народу горя. Книг не было – лучше жили. А теперь везде книги.

Г о л о с а. Везде. – Нельзя без грамоты. – То-то ты умен.

В ы с о к и й. Вы меня послушайте, я все понимаю. От книг вся неправда на земле. Какой человек книгу исчитает⟨?⟩, так сейчас становится барин: одевается по-другому, лицо другое, говорит другое. У кого все книги? – у господ. Не будь книг, не было бы господ. Барин не тот, кто богат, а у кого книжки ест. Я все понимаю, у меня сын ученый! Выгнал я его и проклял – проклятием родительским ненарушимым!

Г о л о с. И евангелие – книга.

<sup>1</sup> Было начато: И⟨дем?⟩

<sup>2</sup> -то такой *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было начато: говор⟨ят⟩

В ы с о к и й. Нет. Христос книг не писал, это после него сочинили. А Христос книг не любил: книжники вы, говорит, и лицемеры. Я все понимаю. У меня от сердца одна труха осталась, я все понимаю. Научи собаку читать, так она с другими собаками жить не захочет. “В книгах – говорит – ум”. А вы зачем – говорю – ум у народа ограбили. Иди навоз ковырять. – “Не хочу”. – Выгнал! И говорю я вам, послушайте меня: скоро весь народ подымется. Не стало мочи терпеть. Ограбили! обидели! Всю кровушку высосали! Рыданием земля<sup>1</sup> рыдает, слезьми обмывается. Придет сын – убью, перед Богом говорю, убью и рука не дрогнет.

Чей-то плач.

⟨л. 13⟩ Стонущие<sup>2</sup> голоса. Трудно жить. Смерть легче, чем жизнь такая. Доколе терпеть, о Господи! Нет правды, жалости нету в людях. Пойти, да в омут головой и броситься.

В ы с о к и й. Убью!

Стонущие голоса. К кому пойти, кому пожалиться. Сироты мы несчастные, закидыши мы горькие. Господи, Господи, доколе терпеть, о Господи.

В ы с о к и й. Воздвиг Господь знамение гнева своего, и страх пошел по всей земле. Очисти нас огнем твоим, Господь, не стало мочи жить. Ограблены мы, голодны мы, нищи, как Лазарь!

Входят Верховцев и Петя и, незамеченные, садятся на скамейке.

Голоса. Молиться надо. Страшно тут. Домой. – Говорю, идет. Все говорят, идет. – Больше стала.

В ы с о к и й. Убью! (Уходит.)

В е р х о в ц е в (Петя). Однако вашему родителю сюда небезопасно. С кем он там идет, долго как.

П е т я. С Марусей. Как это ужасно, Валентин Алексеевич. Вы послушайте, что они говорят.

Г о л о с. Ну и старик! Чей он? В темноте-то не разглядишь. Будто Сазонов.

В т о р о й г о л о с. Он самый. Как прогнал сына, так чисто помешался. По лавкам все ходит.

Т р е т и й. Что же, он правду говорит. Сколько этого страху над народом! (Уходят.)

⟨л. 14⟩ Г о л о с. Что-то завтра будет. Вчера она меньше была, это верно.

Понемногу расходятся. Среди оставшихся местами тихий говор, местами – молчание.

<sup>1</sup> Далее было начато: обм(ывается)

<sup>2</sup> Стонущие вписано.

Петя. Им бы нужно объяснить, что это не опасно.

Верховцев. Погодите, Петя, все придет. Теперь это полуживотные, а будет время – людьми станут, как и мы.

Петя. Как вы это говорите, Валентин Алексеевич. Они тоже люди. Вы любите народ?

Верховцев (*тихо смеется*). Какой вы чудака, Петенька! Хороших людей я люблю, а скотов – нет. А вы разве скотов любите?

Петя. Я давно хотел серьезно поговорить с вами, Валентин Алексеевич.

Верховцев. За чем же дело стало?

Голос. Одиннадцать пробило. Айда.

Многие из толпы уходят.

Петя. В чем цель жизни?

Верховцев (*свистит*). Вот оно что.

Петя. Вы не смейтесь. Анна вот сердится – говорит работать. А зачем работать, когда все умрут. Вы умрете, отец, я, вот они – зачем же работать? Я боюсь смерти, Валентин Алексеевич.

Верховцев. Нормальный человек не боится смерти.

Петя. Да я собственно не боюсь, может быть, даже сам убью себя, но я ее не понимаю.

Верховцев. Да и понимать нечего. Смерть это факт, как и эта комета. Жизнь – это другое дело, над жизнью подумать стоит<sup>1</sup>. Но только не искать ее цели, это ненормально. Когда человек разумно устроил свою жизнь, приспособил себя к настоящему делу, он так же мало думает о цели жизни, как о цели еды, когда ест.

⟨л. 15⟩ Петя. А я думаю: зачем я ем?

Верховцев. Ну, вот. Все это пустяки, некоторое обострение общего процесса. А вам о какой работе говорит<sup>2</sup> сестра?

Петя. Говорит, что сперва надо учиться, а потом я сам найду дело. Она вас очень уважает, Валентин Алексеевич. Правда, что вы, как и Коля, три года в тюрьме сидели?

Верховцев. Ваша сестра неглупая девушка. Вы почаще разговаривайте с нею. Это будет для вас полезно.<sup>3</sup>

Петя. Она со мною не любит говорить, она сердится. Мама говорит: отчего вы не женитесь на Анне. Вы против брака?

Верховцев (*смеется*). А отец что говорит?

Петя. Ну, отец... (*видя приближающихся Анну, Синицына и Шмидта, быстро*). А все-таки я, должно быть, убью себя.

Анна. Все о цели жизни, а из гимназии скоро выгонят.

<sup>1</sup> стоит *вписано*.

<sup>2</sup> говорит *вписано*.

<sup>3</sup> Это будет для вас полезно. *вписано*.

Верховцев. Ну, не велика беда. А астронома нашего<sup>1</sup> все еще нет?

Анна. Стоит где-нибудь на дороге и поучает.

Синицын. Повторяю, Анна Всеволодовна, вы несправедливо относитесь к отцу. Его чтит вся Европа как одного из самых выдающихся ученых; у него...

Анна. Мне совершенно безразлично, чтит его Европа или нет.

Синицын. Не знаю, быть может, конечно<sup>2</sup>, я сам несколько увлекаюсь, но я положительно преклоняюсь перед его мощным умом. Какой ум!

Анна. Тем хуже, если такой ум тратится на пустяки.

Шмидт. Анна Всеволодовна, что вы говорите!

Верховцев. Да, вы, Анна, немного слишком. Астрономия тоже наука и весьма почтенная.

Анна. Знаю, знаю. Ассирияне(?), халдеи, а меня это положительно возмущает. Сидит в своем стеклянном колпаке, а что делается (л. 16) на земле, ему совершенно безразлично. Его поведения, когда арестовали<sup>3</sup> Николая, я ему никогда не прощу.

Верховцев. Ну, положим, это сентиментальность. Что он мог сделать?

Анна. Он мог выразить сочувствие.

Верховцев. Он и выражал. Не в истерику же падать.

Синицын. Какая красота! Да вы посмотрите, господа, пришли на комету смотреть, а никто и не взглянет.

Верховцев. Да, недурно.

Анна. По-моему, и от нас хорошо видно, не понимаю, зачем мы сюда пришли.

Верховцев. Ну, ну, не сердитесь, моцион вещь полезная. Были вчера у Николая?

Анна. Нет. Маруся была.

Синицын. Славная девушка! Такая милая, простая...

Верховцев. Ничего себе. Ну что Николай?

Анна. Меня это положительно возмущает: уж если взялась за дело, так делай как следует, а все эти слезы, ахи да охи. Нервы! Не берись, если нервы. Я не понимаю, что Николай нашел в этой Марусе. Он такой умный, энергичный...

Верховцев. Да, парень с головой. Правда, что он так нездоров?

---

<sup>1</sup> нашего *вписано*.

<sup>2</sup> конечно *вписано*.

<sup>3</sup> Далее было начато: Ко(лю)

А н н а. Нет. Я не верю Марусе, она всегда преувеличивает. Может быть, и есть легкое нездоровье, просто от скверного воздуха, а ей бог знает что представляется.

П е т я (*сердито*). Маруся славная.

А н н а (*не отвечая*). Шмидт, о чем задумались?

Ш м и д т.<sup>1</sup> Я думаю, что всякий<sup>2</sup> должен быть сильным.

В е р х о в ц е в. Ого!

⟨л. 17⟩ Ш м и д т. А если он не сильный, то он не имеет права жить.

В е р х о в ц е в. Ого! А брюки отвернули?

Ш м и д т (*сконфуженно смеется*). Я так уважаю вас<sup>3</sup>, Валентин Алексеевич, а вы все смеетесь.

В е р х о в ц е в. Вы знаете, господа, он, когда приходит, так всегда забывает отвернуть брюки. На балу однажды танцевал так.

Ш м и д т. Это неправда, я совсем<sup>4</sup> не танцую.

А н н а. А Верховцев, значит, сильный?

Ш м и д т. Да. Очень.

А н н а. Это интересно. А я?

Ш м и д т. Вы? Вы тоже сильная. Но я очень, очень уважаю Всеволода Николаевича – он чрезвычайно сильный.

А н н а. Чем это? Я не понимаю.

С и н и ц ы н (*поспешно*). А вы сами, Яков<sup>5</sup> Васильевич, сильный?

Ш м и д т (*грустно*). Нет. Я мог бы быть сильным, но природа при моем рождении лишила меня некоторых свойств, которые составляют силу. У меня слабое здоровье, и я не выношу вида крови.

П е т я. Он лягушек боится.

Смех.

В е р х о в ц е в (*медленно*). Да, если кто боится крови, тому жить плохо... Анна, вы сделали, что я вам говорил?

А н н а. Типография задержала. Десять книг готово для выпуска, но этого мало. Завтра опять поеду.

В е р х о в ц е в. Нужно поторопить.

Ш м и д т. У вас книгоиздательство для народа – какая это трогательная и сильная вещь.

---

<sup>1</sup> Далее было: Я

<sup>2</sup> Далее было: человек

<sup>3</sup> Далее было: за силу

<sup>4</sup> совсем вписано.

<sup>5</sup> Было: Василий (описка?)

⟨л. 18⟩ В е р х о в ц е в. Ну! Трогательного я тут ничего не вижу, да и сильного мало. Просто приходится наверстывать упущенное время, как во время экзаменов, когда за ночь проходишь то, на что другие потратили годы. Конечно, все это не настоящее, и самое существование особых книг для народа – только свидетельство о нашей бедности. Но ничего не поделаешь.

Ш м и д т. Меня трогает эта бескорыстная любовь к меньшему брату...

В е р х о в ц е в. Ах, оставьте! Какие пошлости: меньшей брат, любовь! Мне просто противен глупый и невежественный человек, мне ненавистны дикари, которые толкуют здесь о светопределении, и я хочу, чтобы этого не было. Они действуют на меня самого, они и меня делают немного дикарем, и вообще они задерживают ход поступательного процесса.

С и н и ц ы н. А какая цель этого процесса?

В е р х о в ц е в. Я не люблю говорить о целях, это все старая буржуазная закваска. Почему я могу знать, я, человек XX века, какую цель поставит себе человечество XXV<sup>1</sup> века? Я просто вижу ряд явлений, задерживающих развитие человека: невежество, экономическое неравенство, и стараюсь их уничтожить, а что они, будущие<sup>2</sup>, сделают с своей свободой, с своим развитием – это их дело!

А н н а. Если бы все так думали и работали, а не искали каких-то метафизических целей, то давно бы не было таких гадостей, какие<sup>3</sup> делаются. И меня глубоко возмущает...

С и н и ц ы н (умоляюще). Анна Всеволодовна! Перед вами такое огненное напоминание о вечности, как эта комета, а вы привязываете человека к минуте. Это – это самоубийство!

А н н а. Ну вы тоже – астроном, и с вами я никогда не сговорюсь. А меня глубоко возмущает эта ваша астрономия. Каждая наука дала что-нибудь ⟨л. 19⟩ человечеству, а что дала ваша?

В е р х о в ц е в. Календарь.

А н н а. Кому это нужно? Солнце ли вокруг земли, земля ли вокруг солнца – какое это имеет значение для жизни?

С и н и ц ы н. Торжество разума...

А н н а (перебивая). По-моему, разум торжествовал бы больше, если бы не было голодных!

В е р х о в ц е в. Недурно!<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> В тексте описка: XV

<sup>2</sup> будущие вписано.

<sup>3</sup> Далее было начато: тво(рятся?)

<sup>4</sup> В е р х о в ц е в. Недурно! вписано.

Петя. Тише, папа идет.

Анна. Пусть идет, я ему то же скажу.

Пауза. На<sup>1</sup> заднем плане, на фоне неба появляются  
силуэты Всеволода Николаевича и Маруси.

Всеволод Николаевич. Да здесь хорошо видно. Как это красиво! Когда я смотрю у себя, меня охватывает чувство силы, чувство странного покоя и могущества, а отсюда – что-то новое есть в этих силуэтах зданий, прижавшихся к земле, в мглистом темном небе, таком испуганном и древнем. Вы посмотрите, Маруся, – можно ли сказать, что все это нынешнее(?), что это сегодня – а не вчера, не пять тысяч лет тому назад. И в себе я чувствую что-то первобытное: мне и страшно как будто, и хорошо: точно я потерял границы моего тела и лечу куда-то. Как я счастлив, Маруся! Это она! Потерянная в небе сто восемьдесят лет назад, она вернулась, как ей приказано, как ей приказал Галлей. Где она была? В каких безднах пространства, среди каких неведомых миров пролагала она свой стремительный бешеный путь? Какие глаза смотрели на нее? Да, он прав, Маруся. Я так рад, я не могу сидеть дома.

Маруся. Кто прав?

Всеволод Николаевич. Галлей. Глупцы, они сомневались.

(л. 20) Маруся. Где он?

Всеволод Николаевич (<sup>2</sup>рассеянно). Он умер лет полтора назад. Когда минута в минуту, в назначенный ей момент, в назначенном ей месте неба<sup>3</sup> она смутно блеснула в стекле, я, Маруся, я не знаю: я хотел бежать куда-то...

Петя (<sup>2</sup>громко). Папа, мы здесь. Мы тебя ждем.

Всеволод Николаевич медленно подходит.

Верховцев. Ну, как у вас<sup>4</sup> на небе,<sup>5</sup> многоуважаемый звездочет?

Всеволод Николаевич. Как видите. Любуетесь кометой? Не правда ли, какая божественная красота?

Анна. Нет.

Петя (<sup>2</sup>поспешно). Тут, папа, было много народу, когда мы пришли с Валентином Алексеевичем. Какие глупости они говорили!

<sup>1</sup> Далее было начато: пер(еднем?)

<sup>2</sup> Далее начато: он

<sup>3</sup> неба вписано.

<sup>4</sup> у вас вписано.

<sup>5</sup> Было: ?

Всеволод Николаевич. Да? Вероятно, выражали страх. Кометы всегда вызывают в людях ужас<sup>1</sup>. Они смутно чувствуют ужас бесконечности; если бы они не так привыкли к звездам, они чувствовали бы то же самое каждый вечер.

Анна. Просто они невежественны: оттого и боятся. Если бы их побольше учили, они тоже бы находили красоту!

Всеволод Николаевич. Да. Будет время, когда появление кометы будет праздником для земли. Будут устраивать торжественные процессии, петь соответствующие песни...

Верховцев. Астрономическая фантазия, Всеволод Николаевич. Умиравший или голодный едва ли возрадуется, глядя на вашу комету.

Всеволод Николаевич. Да? Умирать, конечно, неприятно. Но когда перед глазами встает в своем величии вечность, смерть, как уничтожение индивидуума, теряет значение.

Анна. Да, кстати: ты знаешь, папа, что Николай болен? Мы только что *(л. 21)* говорили о нем.

Всеволод Николаевич. Да? Маруся мне говорила. Бедный мальчик, ему, вероятно, очень там надоело. Маруся, в какую сторону выходят его окна?

Маруся. Не знаю, кажется, на запад.

Анна. Меня удивляет, как ты это говоришь: надоело. Вообще тебя нисколько, по-видимому, не возмущает это варварское насилие...

Всеволод Николаевич. Меня ничего не возмущает. Ты, Анна, должна это знать особенно хорошо.

Анна. А если Николай умрет в тюрьме, ты тоже останешься спокоен?

Всеволод Николаевич. Да? Разве так серьезно?

Маруся. Нет, нет, Всеволод Николаевич, Анята говорит так, в шутку. Я ведь знаю, я же видела его. Нельзя так шутить, Анята, это так страшно.

Всеволод Николаевич. Да – и тогда я останусь спокоен.

Верховцев. Вы идете к себе, Всеволод Николаевич?

Маруся. Конечно, это неправда. Всеволод Николаевич говорит нарочно.

Шмидт. Но это было бы очень сильно!

Всеволод Николаевич. Какой вы смешной народ! Каждую секунду на земле<sup>2</sup> умирает по человеку; вероятно, во все-

<sup>1</sup> Было: ужасы

<sup>2</sup> Вместо: на земле – было: в мире

ленной каждую секунду умирает по целому миру – и вы хотите, чтобы я терял рассудок из-за смерти одного человека!

А н н а. Это бесчеловечно!

В е р х о в ц е в. Не волнуйтесь, Анна. Вы просто неправильно поставили вопрос, Всеволод Николаевич не понял вас. Смерть, Всеволод Николаевич, может быть естественная, и смерть может быть насильственная; о первой мы говорить не станем, это понятно, а вот о второй. И родственные отношения также оставим – это только затемняет дело. А вот позвольте привести вам пример: здоровый и грубый человек душит ребенка. Как это – оставит вас спокойным, не вызовет *(л. 22)* в вас чувства здорового, активного возмущения?

Всеволод Николаевич *(задумчиво и нерешительно)*. Не могу сказать, чтобы я остался совершенно спокоен, я не могу, к сожалению, управлять своими нервами и слезными железами, но по существу – да, я останусь спокоен.

А н н а. Вот видите, я говорила!

В е р х о в ц е в. Так! Расширим вопрос. Вы признаете, конечно, что наш социальный строй полон жестоких несправедливостей: богатство и нищета, знание, ученость и дикое невежество...

Всеволод Николаевич. Да, да. Очень неразумно.

В е р х о в ц е в. *Это* – возмущает вас?

Всеволод Николаевич. Да нет же. Конечно, нет.

Ш м и д т. Как это сильно.

В е р х о в ц е в *(пренебрежительно)*. Да – я тоже склонен тогда думать, что астрономия довольно вредная наука, по крайней мере для некоторых.

С и н и ц ы н. Астрономия здесь ни при чем. Вы сами втискиваете вопрос в узкие рамки морали и удивляетесь ответу Всеволода Николаевича. Всякий ученый ответит так же, потому что наука не знает чувств возмущения и негодования.

В е р х о в ц е в *(грубо)*. А если у ученого жена сбежит с тенором – он тоже останется спокоен? Нет, тут дело не в науке, а кое в чем другом. Анна, идемте. Шмидт, вы с нами?

М а р у с я. Всеволод Николаевич, что же вы молчите?

Всеволод Николаевич. А? Я задумался немного. Да, да, вы совершенно правы, Валентин Алексеевич, совершенно правы.

Верховцев, смеясь, уходит с Анной; за ними идут Синицын и Шмидт и Петя.

М а р у с я. Подождите, я тоже с вами. Вы идете, Всеволод Николаевич?

Всеволод Николаевич. Нет. Я хотел бы еще немного посидеть здесь. Оставайтесь со *(л. 23)* мною, Маруся.

Маруся *(нерешительно)*. Мне тоже нужно идти. Уже поздно.

Остальные, разговаривая, уходят.

Всеволод Николаевич *(берет Марусю за руку)*. Оставайтесь. Вы такая милая. Я вам хотел еще рассказать о моих работах: вы знаете, 16 июня будет полное<sup>1</sup> солнечное затмение? Так вот...

Маруся *(тихо отнимая руку)*. Как вы можете говорить об этом! Вам сделали такой серьезный упрек, а вы...

Всеволод Николаевич. Ах, они мне так надоели с этими возмущениями, они все время говорят об этом. Жужжат, как мухи.

Маруся. Извините, Всеволод Николаевич, но я тоже... удивлена... Как вы можете так относиться к Николаю. Он так вас любит, гордится вами и постоянно твердит: Маруся, не оставляй отца. А вы...

Всеволод Николаевич. Да, да. Хороший мальчик, я тоже горжусь им. Так вот...

Маруся. Ведь он в тюрьме! Неужели вы не понимаете этого: тюрьма. Стены, решетки; мучительное, унижительное чувство сознавать себя запертым. Мы вот гуляем, дышим, теперь весна, так хорошо...

Всеволод Николаевич. Да, да. Бедный мальчик, он такой хилый. У нас почему-то все хилые, вот Петя тоже. Только одна Анна очень здоровая девушка. Итак, мы говорили...

Маруся. Прощайте. *(Идет.)*

Всеволод Николаевич. Куда же вы? Маруся!

Маруся *(останавливается, гневно)*. Неужели вы не понимаете, как вы возмутительны? Это или старческий эгоизм, или такая сухость сердца, что можно – убить вас. Два часа мы ходили, и вы все о звездах, звездах, звездах, а у меня в голове тюрьма – тюрьма – тюрьма. Вы ничего не видите, как *(л. 24)* самый обыкновенный эгоист. Вы смотрите в трубу, а под самым носом у вас погибает Петя, милый, славный мальчик, который не нынче-завтра убьет себя. Да, да, убьет, он говорил мне. Вы великий ученый, а вас в доме все презирают, презирают, презирают – и я тоже, да! Только один Коля, благородный, великодушный Коля, любит вас, не знаю за что! Если бы он знал! И вся семья ваша ужасная, противная! Все говорят о хорошем, о звездах, о книгах, о людях,

<sup>1</sup> полное вписано.

а если зимою кто постучится к вам в дом, так замерзнет, а не достучится. У вас на кухне два месяца умирает какая-то старуха, ее прислуга приютила, а из вас никто даже не знает о ней. И когда кто-нибудь идет в кухню<sup>1</sup>, старуха переползает в темный угол, боится, что выгонят. И выгонят! Ученый! Если бы в Европе знали, какой вы ученый!.. (*плачет*). Милый Коля, как мне его жаль, милый Коля (*быстро уходит*).

Всеволод Николаевич стоит опустив голову. Потом медленно подходит к краю обрыва и останавливается там. Вдали воют собаки. Комета царит нераздельно.

Всеволод Николаевич. Он прав. Великий Галлей, ты прав!

Занавес.

⟨л. 25⟩

## АКТ ВТОРОЙ

Столовая, обставленная мещански богато. Висячая лампа.  
Вечер, окна в сад<sup>2</sup> раскрыты.

Ольга Андреевна (*за самоваром*). Другие ездят на дачу, а нам нельзя. Всеволод Николаевич и на день один не может расстаться со своей обсерваторией. У меня имение было, так я продала: когда сам не смотришь, так все идет кверху ногами.

Гостья. У вас и так хорошо, никакой дачи не нужно. Кто у вас цветами занимается? Каждый год смотрю и завидую.

Ольга Андреевна. Не знаю. (*Со вздохом.*) Прежде Коля с ними возился, а теперь уж и не знаю кто. Платим садовнику 15 р. в месяц, на нашем содержании, а так ли он делает, не знаю. Я в цветах ничего не понимаю.

Петя (*отрываясь от книги*). Маруся за цветами смотрит.

Гостья. Славная барышня, я ее еще гимназисткой знала. Только семья уж очень несчастная: отец пьяница, мать энергичная женщина, но разве одна с такой семьей управишься?

Ольга Андреевна. Да, она ничего себе. Только сентиментальна очень: Анята часто ее поругивает за это. Да и поделом: дома есть нечего, а она бесплатно уроки дает. Брала бы хоть по полтиннику. Жизнь теперь дорогая: вот и у нас хотя бы, народу как будто и не много, а денег не напасешься. Всеволод Николаевич этого не понимает, а у меня сердце болит, как погляжу

<sup>1</sup> *Вместо:* идет в кухню – *было:* проходит (*незач. вар.*)

<sup>2</sup> в сад *вписано.*

на наши расходы. Вот его тоже дело – плохое дело. В позапрошлом году на<sup>1</sup> мыс Горн он ездил, какое-то там затмение было, и пришлось к командировочным своих две тысячи доплатить. Теперь хочет какую-то свою трубу купить, министерство денег не даст, так он *(л. 26)* на свои хочет. Но я тоже не дам. У нас дети растут, мы не имеем права их грабить. И то Коля свою часть, что от бабушки ему досталось, почти всю уже растранижил. Вот Анюта, та молодец: как решила капитала не трогать, так одними процентами и пользуется. По совести сказать, очень я боялась этого Валентина, Валентина Алексеевича...

Петя. Ах, мама, мама, какие ты глупости говоришь.

Ольга Андреевна. Да я и не говорю ничего. Он очень хороший человек. Открыли они тут кампанией книжное дело – книжки для народа.

Петя. Валентин Алексеевич все свои деньги туда отдал.

Ольга Андреевна. Свои отдал, а Анютиных не тронул, вот это я в нем и ценю. Бранит он меня мешанкой, а я и не сержусь на него, вижу, что хороший человек.

Гостья. Он шутит. Валентин Алексеевич всегда шутником был.

Ольга Андреевна. А кто его знает: у них теперь не разберешь, шутит или нет. Вот шутил-шутил Николай: скоро меня, мамочка, в тюрьму посадят, а там хватить и посадили, да вот второй год уже и сидит.

Петя. А я, мамочка, скоро убью себя. *(Смеется.)*

Ольга Андреевна. Глупо, мой друг. Сын ты великого ученого, а быть тебе пастухом. Вы знаете: в седьмом классе на второй год оставили?

Гостья. Как же это вы так? Я вас своему в пример ставлю, всегда вы первым учеником шли...

Ольга Андреевна. Шел, шел, а вот и перестал идти.

Гостья *(шутливо)*. Уж не влюблены ли?

Петя *(серьезно)*. Да. Нынче, когда все соберутся, я покажу свою невесту.

Ольга Андреевна. Шалости все. Чаю еще налить? Что это ты как будто и чай *(л. 27)* разлюбил? Прежде, поверите ли, по 10 стаканов в вечер пил.

Гостья. А собачки ваши как?

Ольга Андреевна. И не говорите! Третью горничную за полгода меняю. Вчера слышу, лает на улице какая-то собака и

---

<sup>1</sup> Далее было: Нордкап

голос знакомый; пошла; посмотрела, а это Жужу. Долго ли пропасть, а то и собаки разорвут.

Г о с т ь я. Да и украсть могут. Миледи нашлась?

О л ь г а А н д р е е в н а. Нет. Сколько денег на объявления истратила, а все без толку. Приносили много<sup>1</sup>, да все<sup>2</sup> других. Петя, позвал бы ты отца чай пить, самовар уже остыл.

П е т я. Сам знает, когда чай.

О л ь г а А н д р е е в н а. Трудно сходить!

Г о с т ь я. Что Всеволод Николаевич, наблюдения производит? Как это интересно!

О л ь г а А н д р е е в н а. Нет. Вычисляет что-то. Вот, я вам скажу, каторжная работа: видела я у него эти самые листы. Вот такой лист и весь подряд цифрами исписан, голова кружится смотреть. И меньше нет, как миллион или миллиард. Прежде он мне много объяснял, да теперь устарела я, плохо понимаю – да и не интересно это, цифры.

Г о с т ь я. Да, это не наше хозяйство: булочнику 12 рублей!

О л ь г а А н д р е е в н а. Какое там!

Г о с т ь я. А Николая Всеволодовича давно видели?

О л ь г а А н д р е е в н а. Давно. Очень уж тяжело туда ездить: смотрители эти, да надзиратели, да замки, прямо тоска. У него каждое воскресенье Маруся бывает. Вот и сегодня была, придет расскажет. Икры ему нынче(?) послала. Носила как-то Маруся цветы, да не принимают.

Г о с т ь я. Ну что им цветы сделают? Какая жестокость.

О л ь г а А н д р е е в н а. Уж и не говорите, сердце у меня изболелось. А вот и Анна.

(л. 28) Входят А н н а и В е р х о в ц е в. Оба хмурые. Анна здороваается и прямо<sup>3</sup> проходит к себе.

В е р х о в ц е в (хмуро). Здравствуйте, теща!

О л ь г а А н д р е е в н а. Вы сперва женитесь, а потом и величайте тещей. (Звонит, чтобы подали новый самовар.)

В е р х о в ц е в<sup>4</sup> (берет у Пети книжку). Что читаете? Шопенгауэра! Вот так выкопали! И охота вам этой ерундой голову себе забивать. Уж если так захотелось философии, так взяли бы Ницше. А лучше совсем на нее наплевать, здоровей будете. Как насчет цели-то жизни?

П е т я (сердито). Вы нетактичны, Валентин Алексеевич.

<sup>1</sup> много вписано.

<sup>2</sup> Далее было начато: не (то?)

<sup>3</sup> прямо вписано.

<sup>4</sup> Далее было: (Пете)

Верховцев (*сухо смотрит на Петю; раздраженно*). Что же, скоро у вас чай будет?

Ольга Андреевна. Что это нынче вас за муха укусила?

Верховцев. Не муха, а целый слон. Маруся не приходила?

Ольга Андреевна. Нет еще.

Верховцев. А астроном где? В колпаке?

Петя пристально смотрит на Верховцева; снова читает. Гостья уходит.

Ольга Андреевна провожает ее.

Верховцев быстро ходит по комнате.

Верховцев. Эх, философы! Тут черт знает что происходит, а он Шопенгауэра муслит. Хороши будут работнички!

Петя молчит и делает вид, что читает.

Верховцев (*ходит*). Собачья старость! Жить еще не начал, а уже о смерти думает. Барчонок!

Петя. Вы забываете, Валентин Алексеевич, что я не мальчик, которого<sup>1</sup> можно ставить в угол. Мне 18 лет; и я прошу вас оставить меня в покое.

Верховцев. Скажите пожалуйста! В 18 лет рабочие целые семьи содержат, а не тунеядствуют.

⟨л. 29⟩ Анна (*входит*). Что тут такое? Опять философия?

Верховцев (*кивает головой в сторону Пети*). Да вот!..

Анна. Как не надоест! Я скорее помирилась бы, если бы он ухаживал за девчонками, это, по крайней мере, естественно, хотя и глупо, но эта вытянутая ме-та-физическая физиономия... Киснет, киснет!

Петя. Я тебе не мешаю, когда ты купоны у бумаг отрезаешь, а у тебя физиономия тогда тоже не из приятных. Оставь меня в покое.

Анна. Дурак!

Входят Ольга Андреевна с гостьей, за ними Шмидт и Синицын.

Гостья. Ангелы, а не собачки.

Ольга Андреевна. А как умны. Заболел у Мимишки живот<sup>2</sup>, так она, поверить трудно (*шепчет*).

Остальные здороваются.

Верховцев. Теща, чаю! Шмидт, опять брюки не отвернули?

Шмидт отвертывает брюки.

<sup>1</sup> Было: которому

<sup>2</sup> Было: животик

С и н и ц ы н (*щурится*). Когда постоянно над головою звезды, так странно вдруг увидеть лампу и потолок.

Г о с т ь я. Вот у вас еще высокие потолки, а у нас с антресолями, так просто беда. Ходить *(так!)* квартиру менять из-за одних<sup>1</sup> потолков.

Ш м и д т. Он сейчас извозчика нанимал и говорит: Извозчик, на Заезжую, 20 биллионов!

С и н и ц ы н (*смеется*). Нет, правда: когда изо дня в день имеешь дело с биллионами верст и миллионами лет, как-то перестанешь правильно оценивать действительность. Все кажется таким маленьким, коротким<sup>2</sup> – странно маленьким, ни с чем сравнить нельзя. Берешь стакан с чаем, не чувствуешь его веса и крепко, изо всей мочи держишь руками. Или едешь на извозчике – версту десять минут и думаешь: а за это время комета Биела сделала 500–1000–100 000 верст. Вы *(л. 30)* представляете себе, Валентин Алексеевич, быстроту – 500 верст в секунду?

В е р х о в ц е в (*сухо*). Нет. Налейте-ка еще.

С и н и ц ы н. Когда я был маленький, я очень любил ходить на высоких ходулях. Так вот, когда слезешь, бывало, такое же странное чувство: земля точно под самым носом и всё: трава, сучки, камни – кажется большим, и в то же время поразительно маленьким. Нет, господа, напрасно вы нападаете на астрономию: прекрасная наука.

В е р х о в ц е в. Но что лучше: вполне заменяет ходули.

С и н и ц ы н. Нет, серьезно, вы знаете удивительный факт: среди людей, занимающихся астрономией, совершенно нет самоубийств?

В е р х о в ц е в. А если серьезно, так ну ее к черту, вашу астрономию. Тут такое делается сейчас, ей-богу, не до астрономии.

Г о с т ь я. Да, скажите пожалуйста, что такое делается в уезде? Приходят такие ужасные слухи, я не решаюсь(?) верить.

В е р х о в ц е в (*сухо*). А то, что у людей терпение лопнуло. А поестъ вы, Ольга Андреевна, ничего не дадите?

А н н а (*отводит Шмидта на авансцену, тихо*). Шмидт, я знаю, вы порядочный человек!

Ш м и д т (*растроганно*). Анна Всеволодовна!

А н н а. Так вот, прежде всего никому не говорите, о чем я вас попрошу. За Валентином Алексеевичем гонятся, понимаете? его каждую минуту могут арестовать. Накрыли одну... ну да это для

<sup>1</sup> одних *вписано*.

<sup>2</sup> коротким *вписано*.

вас неинтересно. Валентину нельзя ночевать дома; я оставила бы его у нас, но меня и самое могут, понимаете?

Ш м и д т. Боже мой!

А н н а. Голубчик, Шмидт, не можете ли вы на эту ночь, только на эту ночь приютить его у себя? Вы человек вне всяких подозрений, а завтра мы его *(л. 31)* устроим. Я очень прошу вас.

Ш м и д т. Многоуважаемая Анна Всеволодовна!..

А н н а. Ну?

Ш м и д т. Я был бы счастлив, но... Я живу в тихом немецком семействе, и я дал слово не водить к себе собак, женщин и... и... и чтобы никто не ночевал. Они меня самого не пускают, если я прихожу после одного часа ночи: у нас такое условие.

А н н а. Ах, Господи! Ну один-то раз ничего.

Ш м и д т. Анна Всеволодовна! Они поднимут скандал, они за полицией пошлют. Диван у них обит новым<sup>1</sup> шелком, и они каждый вечер смотрят, не лежит ли человек<sup>2</sup> на нем! Анна Всеволодовна.

А н н а. Эх вы – ницшеанец! Синицын?

С и н и ц ы н. Здесь.

А н н а. Можно у вас переночевать одному человеку? Валентину Алексеичу?

С и н и ц ы н. Понимаю. Можно.

В е р х о в ц е в *(громко)*. Вы слышали, господа: всех, кто пойдет по улице после 10 часов, будут обыскивать и сажать.

Г о с т ь я. Вы все шутите, а мне и правда пора.

Прощается, уходит. Верховцев останавливает Ольгу Андреевну.

В е р х о в ц е в *(громким шепотом)*. Охота вам пускать к себе таких идиотов? У вас муж великий ученый, а вы...

Ольга Андреевна укоризненно машет рукой и идет за гостьей.

С и н и ц ы н. А Марии Сергеевны нет? Что-то она редко ходить стала?

А н н а. Она сегодня будет.

С и н и ц ы н *(Пете)*. Что читаете? Вот так мудрец! В саду соловьи поют, а он Шопенгауэра читает!

*(л. 32)* П е т ь я *(сердито хлопывает книгу)*. Как вы мне надоели!

А н н а. Ты сам всем надоел.

С и н и ц ы н. Что, Валентин Алексеич, у вас серьезно?

В е р х о в ц е в. Весьма. Вы что-нибудь слышали?

<sup>1</sup> новым *вписано*.

<sup>2</sup> Было: кто-нибудь *(незач. вар.)*

Синицын. Да, слышал.

Верховцев. Ну ладно. (*Поднимается, подходит к Пете и кладет руку ему на плечо.*) Петя-Петушок, вы не сердитесь на меня, ей-богу, не стоит. А? Не сердитесь? Ведь, ей-богу, противно! Ну мировая, что ли? Руку, товарищ!

Петя (*хмуро протягивает руку*). Я не сержусь. Только очень обидно.

Синицын. Вы выпейте на брудершафт.

Верховцев. Я ни с кем не говорю на ты. Когда перейдешь с человеком на ты, он через полчаса скажет: “голубчик”, через час “дурак”, а через два часа его нужно выталкивать вон. Мы и так с Петушком друзья. Верно?

Всеволод Николаевич (*входит*). Кто с кем? Я люблю слово друг: это самое лучшее слово из всех человеческих слов. Друг!

Верховцев. Мы с Петушком! Ну, как у вас на небе, уважаемый звездочет?

Всеволод Николаевич. Хорошо. А у вас на земле?

Верховцев. Довольно скверно. На земле всегда скверно, господин звездочет: беспорядок, дисгармония, бестолковщина; кто-то кого-то ест, кто-то плачет. Нам далеко до “гармонии небесных сфер”. А разве у вас есть друзья, что вы так пламенно о них говорите?

Всеволод Николаевич. Много. Но представьте, я их никогда не видал. Один живет на Этне, у него обсерватория, другой в Бразилии, а третий – не знаю где.

Верховцев. Пропал?

Всеволод Николаевич. Он умер лет полтора назад. А еще один есть, того я *(л. 33)* совсем не знаю, хотя очень люблю, – так этот еще не родился. Он должен родиться приблизительно через 750 лет<sup>1</sup>, и я уже поручил ему проверить кое-какие мои наблюдения.

Верховцев. Уверены, что он сделает?

Всеволод Николаевич. Да.

Верховцев.<sup>2</sup> Странная<sup>3</sup> коллекция – но мне она нравится. А как вы относитесь к Птоломею?

Всеволод Николаевич. Ненавижу!

Верховцев. Значит, у вас там (*неопределенно поводит по воздуху рукой*) есть и враги?

<sup>1</sup> Вместо: 750 лет – было: 750 000(?) лет

<sup>2</sup> Далее было: Недурно.

<sup>3</sup> Странная вписано.

Всеволод Николаевич. О да. Мало, но есть. Как низко висит лампа!

Анна. Ты, папа, говоришь это всякий раз, как приходишь сюда.

Всеволод Николаевич. А Маруси нет?

Ольга Андреевна (*входя*). Она пришла, раздевается. Опять ты, Всеволод, опоздал, самовар потух. Целый день самовар со стола не сходит.

Петя идет навстречу Марусе и возвращается с нею.

Все. Ну что? Как Николай?

Маруся. Ничего. Кланяется всем. Вас, мама, целует, благодарит<sup>1</sup> за икру (*целует Ольгу Андреевну; потом Всеволоду Николаевичу:*) Вам кланяется, спрашивает, как ваши работы?

Всеволод Николаевич. Милый мальчик. Нужно будет съездить к нему.

Маруся. Он просил вас не беспокоиться, он знает, как вы заняты.

Всеволод Николаевич. Да.<sup>2</sup> Это верно. Ужасно занят. Книги ему отвезли?

Маруся. Да, он очень рад. Он сейчас занимается... да, английским языком занимается. Говорит, хорошо идет дело.

Петя (*тихо, Шмидту*). Маруська врет, я вижу. По лицу вижу, что Николаю плохо.<sup>3</sup> Вы не уходите, я сегодня ей сюрприз<sup>4</sup> приготовил.

⟨л. 34⟩ Ольга Андреевна (*плачет*). Бедный мой Колюшка!

Верховцев. Ну что, теща, нюни(?) распустили? Экая беда, подумаешь. Посидит и вернется, чего там. Еще поправится в тишине-то.

Всеволод Николаевич (*пьет чай*). Да, Валентин Алексеевич, – это движение, о котором я слышу, – очень серьезно или это только вспышка?

Верховцев. А по звездам как выходит?

Всеволод Николаевич. Я вас серьезно спрашиваю.

Верховцев. Серьезно, серьезно! (*Вскакивает бледный.*) Все вы серьезные, а как посмотреть на всех вас вместе, так уме-

<sup>1</sup> благодарит *вписано*.

<sup>2</sup> Да. *вписано*.

<sup>3</sup> По лицу вижу, что Николаю плохо. *вписано*.

<sup>4</sup> Далее было: устрою

реть со смеху можно. Вы слышали<sup>1</sup>, у нас там одну штучку открыли – так знаете, кто нас предал? Я до сих пор поверить не могу!

Ш м и д т. Изменников нужно карать смертью.

В е р х о в ц е в. Душа народа! Лжец и обманщик тот, кто говорит, что знает душу народа! Ему, этому зверю, сердце свое отдашь, мозг свой отдашь, а он взглянет – и растерзает того, кто отдал ему все. Народ! Стадо глупцов и трусов!

А н н а. Вы раздражены, Валентин, вы говорите гадости.

М а р у с я. Они несчастны, им нужно прощать.

С и н и ц ы н. Вы забыли, Валентин Алексеевич, о вашем<sup>2</sup> будущем человеке.

В е р х о в ц е в. Нет, я не забыл. Если бы я забыл о нем, я сегодня же... Человек! я верю в него, я знаю, он придет и очистит землю от этой слякоти. А эти!

М а р у с я. Верховцев, среди них есть герои, у которых мы недостойны поцеловать руку.

В е р х о в ц е в. Герои – в тюрьме. Позор человечеству – его герои всегда в тюрьме.

П е т я. Это уже что-то по Шопенгауэру.

⟨л. 35⟩ В е р х о в ц е в. А хоть бы и по самому черту!

А н н а. Вы никогда, Валентин, не отличались особым оптимизмом, и меня удивляет, откуда это ожесточение? Предоставьте его мечтателям и фантазерам, у которых действительность(?) разбивает их кумиры<sup>3</sup>, а мы, люди трезвого дела, никогда, кажется, и не рассчитывали иметь дело с ангелами. Процесс изменения форм совершается<sup>4</sup> медленно – это не сказка, в которой все делается по шучьему велению. И герои – это, по моему мнению, тоже совершенно лишнее. Они много кричат и о них много кричат, а жизнь делает средний человек, и вот на выработку этого типа, на его организацию, мы и должны обратить все наши силы<sup>5</sup>. Раньше вы, кажется, были согласны со мною.

Верховцев ходит.

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Валентин Алексеевич, вы знаете надпись на фронтоне обсерватории:

<sup>1</sup> Было: знаете

<sup>2</sup> вашем *вписано*.

<sup>3</sup> у которых действительность(?) разбивает их кумиры *вписано*.

<sup>4</sup> Далее было: так

<sup>5</sup> Вместо: наши силы – было: наше внимание

Haec domus Uraniae est. Curae  
procul este profanae!  
Temnitur Hic humilis tellus.  
Hinc ITUR AD ASTRA!

Вы понимаете?

Верховцев на ходу кивает головой.

Анна. Что это значит, переведите.

Всеволод Николаевич. “Это – дом Урании. Прочь низменные и суетные заботы! – Попирается здесь низкая земля – отсюда идут к звездам!” Буквально так. Красивее сказать: отсюда путь к звездам.

Верховцев. А что вы изволите подразумевать под словом: низменные заботы?

Всеволод Николаевич. Предательство – низость – скотство и тупость большинства.

⟨л. 36⟩ Верховцев. Так говорит человек, в безопасности сидящий на своей крыше. А если бы вы сидели в тюрьме...

Всеволод Николаевич. Галилей умер в тюрьме; Джордано Бруно погиб на костре. Если говорить о мученичестве, так путь к звездам также орошен кровью.

Верховцев (*иронически*). Впрочем, и о вас кое-где поговаривают, что это вы призвали на землю комету, а с нею все тысячи зол. Смотрите, как бы суетные заботы не ворвались и к вам!

Ольга Андреевна. Как это глупо: думать, что человек может притащить комету; что же он, за хвост ее, что ли?

Синицын. Да, вы это упустили из виду, Валентин Алексеевич. Если бы астрономия была таким ничтожным делом, как вы полагаете, ее не преследовали бы целыми столетиями.

Верховцев. Мало ли что раньше преследовали! Вот и христиан преследовали, а это не помешало им сесть на шею человечеству и жечь<sup>1</sup> невинных астрономов<sup>2</sup> на костре<sup>3</sup>.

Анна. Можно быть астрономом и не забывать своих общественных обязанностей.

Шмидт. Обязанность – это рабство; человек должен говорить: я хочу.

Петя (*конфузясь*). Я тоже не согласен с папой.

Верховцев. Ого! Петя заговорил. Ну-ну, Петушок, смелее. Так-так.

---

<sup>1</sup> Было: сажать

<sup>2</sup> Далее было: в тюрьму

<sup>3</sup> на костре *вписано*.

Петя. Молодой Будда, когда увидел голодную тигрицу<sup>1</sup>, так отдал ей себя. Он не сказал: я бог, я занят важными делами, а ты только голодный зверь, а отдал ей себя. Вот как нужно, по-моему. Я сказал.

Верховцев. Ну, Петенька, сели в лужу. Это тоже метафизика и не из важных.

Маруся. Как вы любите ото всего отделяться этим словом: метафизика. Это не возражение.

Анна. Тут и возражать нечего. Мы не из общества покровительства *(л. 37)* животным, чтобы кормить голодных львиц.

Верховцев *(хмуро смеется)*. А кто знает: вот сегодня я чувствую себя положительно прогорающим содержанием зверинца или помятым укротителем.

Синицын. Но мы не даем сказать Всеволоду Николаевичу.

Всеволод Николаевич. А. Я ничего, я слушаю<sup>2</sup>. Мне очень нравится то, что вы говорите.

Анна. Очень великодушно.

Всеволод Николаевич. Да? Нет, это не великодушие.<sup>3</sup> Я очень люблю хороший разговор. Во всех речах я вижу искорки света – и это так красиво: как Млечный Путь. Очень жаль, что люди большею частью говорят о пустяках.

Верховцев. А я бы всех ораторов в один мешок да в воду.

Всеволод Николаевич. Нет, зачем же. Слово – это образ мысли, а мысль – это всё.

Анна. Да. Красивыми словами люди часто отделяются от работы.

Петя куда-то уходит. Неловкое молчание.<sup>4</sup>

Всеволод Николаевич. Опять я, кажется, здесь лишний? Вы не стесняйтесь, господа, я могу уйти.

Синицын *(поспешно)*. Нет, нет, что вы, Всеволод Николаевич.

Верховцев *(сухо)*. Да вы никому не мешаете. Скажите, Всеволод Николаевич, вот вы никогда не возмущаетесь, даже не обижаетесь, кажется, – а случилось ли вам плакать? Конечно, я беру не тот счастливый возраст, когда вы ходили без панталон, а вот теперь.

Всеволод Николаевич. О да. Я очень слезлив.

Верховцев. Вот как – я и не знал.

<sup>1</sup> *Вместо:* голодную тигрицу – *было:* львицу

<sup>2</sup> *Было:* задумался

<sup>3</sup> *Далее было:* Мне очень

<sup>4</sup> Неловкое молчание. *вписано.*

Всеволод Николаевич. Когда я увидел Беллу, комету, предсказанную Галлеем, я даже не мог удержаться от слез. Вообще я часто плачу, иногда очень глупо.

Верховцев сухо смеется. За дверью какой-то шум, голос Пети.<sup>1</sup>

Ольга Андреевна. Что это там Петя напроказничал?

(л. 38) Распахиваются двери. Входит Петя и старуха. Она перегнулась пополам и еле идет – ужасный образ нищеты, старости и горя.

Петя рядом с нею выступает торжественно.

Петя. Позвольте представить: вот моя невеста – прелестная Эллен.

Возгласы недоумения, досады.

Верховцев. Какая глупая шутка!

Ольга Андреевна. Что это? Откуда? Что это за безобразие?

Маруся. Эта старуха уже три месяца живет у вас на кухне.

Ольга Андреевна. А я и не знала!

Петя (громко). Прелестная Эллен, поклонитесь собранию.

Старуха кланяется.

Петя. Так. Теперь поговорим, моя прелестная Эллен. Вам сколько лет?

Старуха молчит и трясет головою.

Верховцев. Оставьте, это бесчеловечно!

Петя. Нет, вы теперь оставьте! Вам сколько лет, очаровательная девица?

Старуха. Семнадцать.

Петя. Граф, ваш отец, и графиня, ваша мать, согласны на наш брак?

Старуха шамкает и трясет головою.

Петя. Как я счастлив, прелестная Эллен! Вы слышите запах роз? Вы слышите, как заливается в саду соловей – это о нашей любви поет он, прелестная Эллен!

Старуха трясет головою.

Ольга Андреевна (смеется). Оставь, Петя, нехорошо смеяться над старым человеком.

Петя. Ваш благоухающий ротик, прелестная Эллен, ваши жемчужные (л. 39) зубки, ваши нежные щечки – я влюблен в вас безумно, прелестная Эллен. Зачем так скромно потупили вы очаровательные глазки ваши? Выпрямите ваш стройный стан и гор-

<sup>1</sup> За дверью какой-то шум, голос Пети. *вписано*.

до объявите себя моею женою – очаровательная Эллен. В ваших объятиях найдет вечный покой мое беспокойное сердце!

Старуха трясет головою.

А н н а. Он с ума сошел! Верховцев, остановите его!

П е т я. Моя очаровательная невеста! Позвольте представить вам собравшихся гостей. Это – мой отец. Он<sup>1</sup> великий ученый, и когда у него умрет внезапно сын, он скажет: очевидно, прошла еще секунда, потому что умер человек. Свои часы он ставит по смертям. – А это моя мать, очень милая женщина, любит хозяйство, и когда внезапно умрет ее сын...

М а р у с я. Петя, оставьте.

П е т я. А<sup>2</sup> это видите ли – девушка, которая любит цветы. Девушка, которая любит цветы, о ней мы говорить не станем. А вот это, позвольте вам представить: мой лучший друг, Верховцев. Он не любит людей, но зато как он любит человека!

В е р х о в ц е в. Так, так.

П е т я. Боюсь, прелестная Эллен, что он не оценит вашей красоты: она выходит из границ нормального. Но я хотел бы, чтобы (вы) его поцеловали: аромат вашего жгучего поцелуя, я думаю, и ему вскружил бы голову.

Старуха трясет головою.

П е т я. Как хотите, прелестная Эллен. А это – сестра моя Анна. Как это ни странно, но зовут ее Анна. Больше ничего не смею прибавить.

А н н а. Какой отвратительный дурак!

П е т я. Она груба немного. (*Маруся пытается увести старуху, но Петя не дает.*) Она суха, как камень, и когда внезапно умрет ее брат, она скажет: какой (л. 40) отвратительный дурак! (*Всеволод Николаевич берет старуху и осторожно доводит до дверей, он высокий и прямой, она – перегнутая пополам, отдает горничной и остается у порога.*) Они все как камни!<sup>3</sup> Они хороши для могил, а живым от них больно. Я не знаю, что со мною происходит, я мучаюсь, я схожу с ума и потерял смысл жизни, я не понимаю, зачем все это: зачем молодые, зачем старые, зачем жизнь, зачем смерть. Я ничего не понимаю, а они смеются только. Анна даже сейчас улыбается, я видел, даже сейчас. Уже полгода

<sup>1</sup> Он вписано.

<sup>2</sup> Далее было: вот

<sup>3</sup> Далее – помета (отчеркивающая текст волнистая черта). Рядом с текстом (на полях) помета: 16 окт. 1905

я твержу вам<sup>1</sup>, что убью себя, а вы<sup>2</sup> не верите<sup>3</sup>, смеются, бранят<sup>4</sup> меня психопатом. Это нечестно, ведь я тоже человек!

А н н а. Когда здоровые жизнеспособные люди живут в таких ужасных условиях, нам некогда возиться с деге... с психопатами.

П е т я (*с отчаянием*). Вот опять: что ни скажешь, все психопат, метафизика, буржуйство. (*Кричит.*) Я не понимаю, что такое психопат, вы мне ответьте, зачем жить! Вот как убью себя, тогда пожалеете, да поздно будет.

А н н а. Надоело!

П е т я. Что?! (*Смотрит на Анну.*)

В е р х о в ц е в. А что, Всеволод Николаевич, я что-то не помню: кометы как движутся, по эллипсу или по параболе?

П е т я. Вы не смеете придирааться к папе. Он лучше вас всех:<sup>5</sup> хоть не врет, что<sup>6</sup> любит людей.

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Ты ошибаешься, Петя, я люблю людей.

П е т я (*не слушая, Верховцеву*). А вас я ненавижу, с вашими шуточками, с вашим спокойствием, которым вы только<sup>7</sup> хвастаетесь. (*С усмешкой.*) Спокоен, спокоен, а как самого укусили, так заорал не хуже всякого психопата. Обманщик, лжец!

М а р у с я. Петя, Петечка!..

*(л. 41)* А н н а (*поднимается*). Я ухожу.

В е р х о в ц е в. Когда вы успокоитесь, я с удовольствием с вами поговорю, о чем хотите, хотя о цели жизни. А больных и бешеных я действительно не люблю.

А н н а. У него сейчас начнется истерика. Дайте ему валерьянки!

П е т я. Трус! Его оскорбляют, а он улыбается. Я вас! (*бросается на Верховцева, Маруся и Сеницын удерживают его*). Нет, оставьте меня, Маруся, оставьте!

О л ь г а А н д р е е в н а. Петенька, Петенька, да что же это? Всеволод Николаевич, хоть бы ты, ведь ты же отец!

П е т я. Когда так, я. Я ж... Я же (*вырывается, бежит сперва к одной двери, поворачивает и выбегает через террасу в сад. За ним с восклицаниями выбегают Маруся, Сеницын, выходит*

<sup>1</sup> Было: им

<sup>2</sup> Было: они

<sup>3</sup> Было: верят

<sup>4</sup> смеются, бранят – так! (*незаверш. правка*).

<sup>5</sup> Далее было: он

<sup>6</sup> Далее было: он(?)

<sup>7</sup> только вписано.

*Ольга Андреевна; последним, крупными шагами выходит Всеволод Николаевич<sup>1</sup>).*

Ш м и д т (с ужасом). Он застрелится.

В е р х о в ц е в. У него<sup>2</sup> дрожат руки: промахнется.

В саду глухой выстрел. Шмидт поднимает руки и застывает в позе ужаса.

В е р х о в ц е в. Как все это глупо, глупо, глупо!

Занавес.

⟨л. 42⟩

## АКТ ТРЕТИЙ

В правом от зрителя углу сцены купол обсерватории в разрезе; вокруг него балкон с каменной балюстрадой. Низ<sup>3</sup> сцены – верхушки деревьев; все остальное – огромное синее пространство ночного неба. Созвездия. Тишина, еле слышное, непрерывное постукивание часового механизма. Лампа под зеленым абажуром. На лестнице, ведущей снизу, вверх Синицын, ниже Евмен, сторож. Говорят негромко.

С и н и ц ы н. Ольга Андреевна хочет на тебя жаловаться Всеволоду Николаевичу.

Е в м е н. Пускай жалуется.

С и н и ц ы н. Ведь Всеволод Николаевич велел пускать, если Ольга Андреевна разрешит.

Е в м е н. Мало ли что он велел.

С и н и ц ы н. Вот он тебе задаст.

Е в м е н. Посмотрим. Сам понимает, что, не дай бог, сломают что или так исковеркают.

С и н и ц ы н. А ты следи.

Е в м е н. Стоило того. Разве они понимают что? я бы весь этот народ, что сюда таскается, в три бы шеи спустил. Смотрит в шестидюймовый на Уран<sup>4</sup>: ох, звезда! – планета, а не звезда.

С и н и ц ы н. А ты все знаешь!

Е в м е н. Всего-то и вы не знаете. А кое-что смекаю: всякую звезду объясню.

С и н и ц ы н. А сколько весит солнце?

Е в м е н. Сто двадцать две тысячи триллионов пудов.

С и н и ц ы н. Молодец! А публику все-таки пускай, когда велят.

---

<sup>1</sup> ; последним, крупными шагами выходит Всеволод Николаевич *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато: слаб(ые?)*

<sup>3</sup> *Было: Пол(?)*

<sup>4</sup> *Было: Марс*

Евмен. Ну это еще поглядим. Давеча полицейский приходил, три револьвера сторожам нашим роздал, то же насчет публики: “Публика, говорит, <л. 43> и так вашей кометой очень недовольна, а вы еще затмение устраиваете. Смотрите, как бы чего ни на есть не вышло”. Дурак! Думает, что солнце как фонарь на улице: захотел зажег, захотел – потушил.

Синицын. Неприятно. Нужно бы объявления расклеить, объяснить, что такое затмение.

Евмен. Ни к чему. Я этот народ знаю – они<sup>1</sup> в ведьмов верят.

Синицын. А ты веришь?

Евмен. В ведьмов? – нет. Я в нечистую силу совсем не верю. А этих подлецов надо бы нагайкой вместо разных объявлений – разве их, дураков, словом образумишь. Скоты, и больше ничего.

Синицын. Ну, уж ты того, Евмен. Стыдно так говорить: сам ты из простых людей, а такое говоришь. Их нужно учить, а не бить.

Евмен. Дурака сколько ни учи, все такой же будет. Если дурака не бить, он в Бога перестанет верить, отцу с матерью спуску не даст. Дурак только одно и понимает...

Синицын. Понес!.. А ты вот что скажи: вправду могут они напасть, например, на<sup>2</sup> обсерваторию?

Евмен. Не посмеют. Поставить на низу одного хожалого, так они от него, что воробьи от пугала.

Синицын. Неприятно все-таки. Надо бы предупредить Всеволода Николаевича.

Евмен. Вы и вправду этой глупости не сделайте. Зачем его беспокоить? Мало ли что дуракам в голову взбредет, так к нему со всем этим и лезть. Тоже сказали! У него, я думаю, забот-то поболее нашего.

По лестнице поднимаются Всеволод Николаевич и Петя.  
Здороваются с Синицыным.<sup>3</sup>

Всеволод Николаевич. Вы, Евмен, пожалуйста, впускайте сюда тех, о ком скажет Ольга Андреевна.

Евмен. Хорошо. Нужно будет, позовите, я внизу буду. *(Уходит.)*

<л. 44> Синицын. Я тоже пойду, Всеволод Николаевич. Я вам не нужен?

Всеволод Николаевич. Нет, добрейший Василий Васильевич, идите, пожалуйста. Да, позабыл совсем. Приезжал

<sup>1</sup> они *вписано*.

<sup>2</sup> *Было*: астрономов(?)

<sup>3</sup> Здороваются с Синицыным. *вписано*.

ко мне сегодня полицеймейстер, просит, чтобы составить коротенькое описание затмения, для народа. Расклеивать будут. Нужно, конечно, популярным языком. А то, говорит, брожение в народе.

С и н и ц ы н. Ох, уж этот популярный язык! Читал я одну такую брошюрку для народа: “Труба – это продолговатый, полый внутри цилиндр...”

Всеволод Николаевич. Да, трудно. На разных языках говорим. Но вы уже, пожалуйста, постарайтесь...

Петя. Папа, хочешь я составлю объявление? Я сегодня же напишу.

Всеволод Николаевич. А сможешь? Ну пусть уж он, Василий Васильевич, поработает для астрономии. А вы завтра рано придете? Нужно устанавливать девятидюймовый.

С и н и ц ы н. Я рано приду. У меня теперь бессонница: смешно сказать, но так я волнуюсь, Всеволод Николаевич, как в жизни еще не волновался. Если бы можно было заснуть и проснуться только 16-го утром.

Всеволод Николаевич. Я<sup>1</sup> тоже не совсем спокоен<sup>2</sup>. Как барометр?

С и н и ц ы н. Да что барометр! А вдруг облака? Вдруг облака? От одной мысли я прихожу в бешенство. Ведь что им стоит: вылезут и все тут, а через полчаса уйдут.

Всеволод Николаевич. Ну уж с этим ничего не поделаешь. Подождем тогда следующего затмения.

С и н и ц ы н. Это 26 лет ждать.

Всеволод Николаевич. Вам-то что? Я еще могу и не дожить, а вы и доживете и переживете. Впрочем, нужно отметить<sup>3</sup> интересное явление:<sup>4</sup> средняя облачность в дни солнечных затмений ниже нормальной. Урания покровительствует нам.

⟨л. 45⟩ Петя. Неужели, папа, это правда?

Всеволод Николаевич. Как людям<sup>5</sup> хочется<sup>6</sup> таинственного!

С и н и ц ы н. Ну я не буду вам мешать. До свидания! (Уходит.)

Петя. Папа, а я тебе не помешаю, если я тут сяду писать? Я не люблю на низу.

Всеволод Николаевич. Нет, садись.

---

<sup>1</sup> Далее было начато: бе(спокоюсь?)

<sup>2</sup> Вместо: не совсем спокоен – было: неспокоен

<sup>3</sup> Далее было начато: люб(опытное?)

<sup>4</sup> Далее было начато: обл(ачность)

<sup>5</sup> Было: ⟨нрзб.⟩

<sup>6</sup> Далее было: загадочного!

Петя. Ты только правду скажи: не помешаю? А то лучше я уйду. Я теперь больше в комнате Николая, она такая уютная. А в общем, папа, какое у нас мещанство в обстановке! Вот я уж и начал тебе мешать.

Всеволод Николаевич. Да нет. Вот стол Василия Васильевича – тут все есть, садись и пиши.

Оба рассаживаются. Тишина.

Всеволод Николаевич не работает и думает о чем-то.

Всеволод Николаевич. Да. Люди так жадно ищут таинственного, выдумывают его, насилуя себя и природу, – смешные люди: они обливают себя водой из пригоршни, сидя на дне великого океана. Великая тайна!

Петя внимательно прислушивается.

Всеволод Николаевич. В бесконечность уходят миры. Огромные и маленькие, гигантский<sup>1</sup> Сириус и атом,<sup>2</sup> рождающееся и умирающее, кольца Сатурна и мертвая холодная Луна, Млечный Путь и капля воды – все сливается в одну великую гармонию жизни – гармонию тайн. Ничего лишнего, ни одной фальшивой ноты – какой великий музыкант вселенная. Ты любишь музыку, Петя?

Петя. Я ее не понимаю, папочка, у меня нет слуха. Я люблю только грустные вальсы.

Всеволод Николаевич. Я люблю, и так жаль, что нет Николая: он вечерами, в это время, играл для меня, когда бывал свободен.

Петя. У него большой талант, папа?

Всеволод Николаевич. Когда человек перестанет считать себя чем-то исключительным (л. 46) в природе и свою жизнь особенную, единственной, достойной внимания и интереса, с ним произойдет то же, что с слепым от рождения, когда он прозрел: откроется новый мир. Человек думает только о человеке, и оттого его жизнь такая плоская, такая скучная – мертвая жизнь. Он – как блоха, заблудившаяся в склепе, как содержатель огромного музея, восковых фигур, деревьев из бумаги; днем он болтает с посетителями, а ночью – он один среди смертей, неживого, бездушного. Если бы он знал, что всюду – жизнь!

Петя (задумчиво). Мне теперь так хочется жить, папа. Отчего это? Ведь цели жизни я и теперь не знаю, но только мне все

---

<sup>1</sup> гигантский *вписано*.

<sup>2</sup> *Далее было начато: жи(вущее?)*

равно. Когда я был болен... Зачем ты положил меня здесь, а не внизу – ты нарочно сделал это?

Всеволод Николаевич. Нет. Но когда что-нибудь становится мне очень мило, мне хочется поднять его сюда. У меня, Петя, смешное убеждение, что здесь не может быть страданий, болезни. Тут – *(проводит рукою)* звезды.

Петя. Раз ночью я проснулся и увидел тебя: ты смотрел на звезды. Было тихо, и ты смотрел на звезды. И вот тогда я что-то подумал – нет, почувствовал... Не знаю что. Как будто во всем мире мы одни: ты, я и звезды. Но оттого, что мы одни, не было ни скучно, ни страшно, а весело... как на балу на каком-то. Ты знаешь, та старуха умерла? Но ты работай, пожалуйста, мы и то с Марусей так мешаем тебе.

Всеволод Николаевич. Меня<sup>1</sup> волнует немного затмение... Правда, вдруг облако.

Петя. Вот еще что: отчего ты со мною говоришь, как со взрослым? Вообще ты со всеми говоришь странно одинаково. Вот Синицын по-одному говорит с мамой, по-другому с Евменом и со мной, по-третьему с тобой, а ты со всеми одинаково. *(л. 47)* Вообще ты ужасно смешной человек, папа. Ты с мамиными собаками<sup>2</sup> разговариваешь, как с барышнями.

Всеволод Николаевич *(улыбается)*. Да? Разве?

Петя. И ты *(смеется)* вежлив со стульями. Нет, это правда: ты вежлив с предметами. Когда ты берешь что-нибудь в руки, ты делаешь это как-то... вежливо. Я не умею объяснить. Ты очень рассеянный, а<sup>3</sup> ходишь так ловко, что никогда ничего не зацепишь, не толкнешь, не уронишь. Когда стулья, стаканы, шкафы собираются ночью, как у Андерсена, и начинают разговаривать, они, вероятно, очень хвалят тебя.

Всеволод Николаевич. Однако, ты меня изучил!

Петя. Я влюблен в тебя, папа.

Всеволод Николаевич. Ну, ну... А это мне очень нравится, что стулья разговаривают, очень хорошо. Да, да, они разговаривают.

Петя. Шкаф говорит басом, и его все зовут: многоуважаемый.

Всеволод Николаевич. Да, да.

Петя. А у тебя все, что здесь есть, не разговаривает, а поет. Ты слышишь?

---

<sup>1</sup> *Далее было:* беспокоит

<sup>2</sup> *Далее было начато:* гово(ришь)

<sup>3</sup> *Далее было:* когда ты

Всеволод Николаевич. Все говорит – все поет – все живет. Вот когда люди бросят читать глупые романы и будут изучать астрономию и химию, им станет весело жить, как грекам. Весь мир станет живым: явятся снова дриады и нимфы, и эльфы запляшут в лунном свете. Человек будет ходить по лесу и разговаривать с березками и цветами. Он будет смотреть на звезды – он будет слушать, что поют ему звезды.

Петя. Как здесь тихо, папа. Правда, слышно, как поют звезды. И как хорошо, что здесь нет Анны и Верховцева. Вот кого стулья уж не похвалят.

Всеволод Николаевич. А ты откуда это знаешь. Анна любит мебель.

(л. 48) Петя. Это не то, папа. Она, правда, любит, у нее наставлено и навешано, как на базаре, но она невежлива с вещами. Ну, папа, я больше не буду – я работаю.

Всеволод Николаевич. И я.

Пауза. Оба приспособляются к работе.

Петя. Тебе весело, папа?

Всеволод Николаевич. Весело. А тебе?

Петя. Весело.

Пауза. Постукивает часовой механизм.

Петя. Затмение будет кольцеобразное или полное?

Всеволод Николаевич. Полное.

Пауза. Слышна снизу тихая<sup>1</sup> музыка.<sup>2</sup>

Всеволод Николаевич (*встает*). Что это? Николай?

Петя (*удивленный*). Нет. Этого не может быть. Это, должно быть, Маруся. Она играет все, что и Николай.

Всеволод Николаевич. Но почему же она играет сегодня?

Петя. Может быть, ты говорил ей что-нибудь?

Всеволод Николаевич (*успокаиваясь*). Может быть. Как хорошо!

Петя. Да. Но только Коля лучше играет.

Пауза. Работают. Музыка.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> тихая *вписано*.

<sup>2</sup> Слышна снизу тихая музыка. *вписано*.

<sup>3</sup> Далее знак вставки, отсылающий к тексту, который вписан позднее на обороте предыдущего листа (47 об.). Здесь героя зовут не Всеволод Николаевич, а Сергей Николаевич (как в ОТ):

(л. 47 об.) Сергей Николаевич. Петя, послушай, как пели халдеи песню солнцу. // Петя. Ну? // Сергей Николаевич. О солнце! Я зываю

Петя. А то я лучше схожу узнать? Правда, почему она сегодня вздумала играть?

Всеволод Николаевич работает, не слышит. Пауза.

Петя. Я сейчас приду, папа.

Уходит. Пауза. Музыка обрывается. Пауза. Входят Петя и Маруся.

Петя (*шепотом*). Он работает, видишь. Ты помешаешь ему, Маруська. <л. 49> Играла бы лучше. Отчего ты сегодня такая зеленая?

Маруся. Нездоровится. Пусть работает, я так, постою на балконе.

Петя. Да, не мешай папе, пожалуйста. Верховцев внизу?

Маруся. Внизу.

Кто-то наигрывает собачий вальс.

Петя (*сердито*). Зачем ты не закрыла рояль? Это он шутовствует.

Маруся. Он перестанет сейчас.

Петя. Нашел время. Завтра я запру рояль и ключ спрячу к себе. Марусечка, ты, кажется, плачешь? Марусечка, что с тобой?

Маруся. Так, так, ничего. Нездоровится, нервы расстроены.

Петя. Как у меня раньше. Ну это ничего, пройдет. Ступай на балкон – надо работать.

Музыка внизу смолкает. Петя садится за стол, предостерегающе подняв палец.

Маруся выходит на балкон, смотрит вниз, потом на небо – заламывает руки в позе отчаяния. Пауза.<sup>1</sup>

Всеволод Николаевич (*встает*). Ты еще тут, Петя? Не кончил?

Петя. Маруся пришла. Я сейчас кончу. Очень трудно объяснить, что такое полнолуние.

---

к тебе на светлом небе. Ты обитаешь в тени кедра. Стопы твои на горных высях. Ты – желанный всех стран земных; все, о владыка! ждут твоего прихода. Свет твой лучезарный проливает сияние свое на все страны земные. Ты рсточаешь ложь, [- злые(?)] разрушаешь действие злых знамений, сновидений, чар [и] призраков; ты зло обращаешь к добру... О Солнце! Ты выступил из темной глубины небесной. Ты отодвинул запоры светлого неба – небесных врат. О солнце! Над землею возвысил ты славу свою! Ты наполнил сиянием своим все неизмеримое пространство небесное и все страны земные. // Петя. Да, очень хорошо. Но как трудно писать о затмении. // Пауза.

<sup>1</sup> Пауза. *вписано*.

Всеволод Николаевич. Маруся? Где?

Петя. Не знаю. На балконе.

Всеволод Николаевич (*выходит на балкон*). Здравствуйте, Маруся.

Маруся (*шутливо*). Я, как низменная забота, все вторгаюсь к вам и мешаю.

Всеволод Николаевич. Как вы хорошо играете, я и не знал. Да вы и сами – как музыка, как богиня<sup>1</sup> Урания.

Маруся. Ну какая я богиня.

⟨л. 50⟩ Всеволод Николаевич. И стулья должны очень хвалить вас.

Маруся. Какие стулья, я не понимаю.

Всеволод Николаевич. Нет, это так, мы с Петей говорили. Вы знаете, какой он, оказывается, интересный мальчик! Он напоминает Николая, только в нем много женственного. Николай – тот такой энергичный, смельчак.

Маруся. Да.

Всеволод Николаевич. Я не помню, чтобы Николай<sup>2</sup> когда-нибудь плакал, впадал в отчаяние. Это<sup>3</sup> прекрасный образчик человека мужественного, редкая, красивая форма, которую природа разбивает сама – чтобы не было повторений.

Маруся. Да. Разбивает.

Всеволод Николаевич. Странно – почему он так живо вспоминается сегодня? Это вы, Маруся, музыкой вашей нагнали воспоминания. Как в нем все гармонично и стройно, как нежно и сильно! Меня не удивляет, что его все так любят – даже Анна: в нем необычная сила притягательности, чего-то пленительного, чарующего. И он так красив! Вам, Маруся, покажется это нелепо: он напоминает мне звездное небо. Звездное небо перед зарею.

Маруся. Да. Звездное небо перед зарею.

Всеволод Николаевич. Я уверен, что и в этой гадкой тюрьме он остался тот же: нежный, очаровательный. Даже странно: как могут его держать какие-то железные решетки и ржавые замки<sup>4</sup>: они должны улыбнуться и дать ему дорогу, как молодому счастливому принцу.

Петя (*кричит*). Папа, я кое-как кончил: завтра перепишу. Ты просмотри, пожалуйста, я у тебя на столе положу. А сейчас побе-

<sup>1</sup> богиня *вписано*.

<sup>2</sup> Было: он.

<sup>3</sup> Рядом с текстом (на левом поле) помета: 19 ок(тября)

<sup>4</sup> и ржавые замки *вписано*.

гу ужинать – я теперь постоянно хочу жрать, как волк. Маруська, ты пойдешь?

⟨л. 51⟩ Маруся. Нет. Я не хочу.

Петя. Что?

Маруся. Я не хочу, ступай.

На лестнице Петя сталкивается с Евменом.

Евмен. Разве тут можно так бегать? Уроните что-нибудь. Горничная внизу ждет: ужинать идите. Сюда, дура, хотела идти: каждый раз ее ругаю, так нет. Дура!

Петя. Она за вами ухаживает, Евмен.

Евмен. Вот я ее поухаживаю! (Уходит.)

Всеволод Николаевич. Когда я смотрю на Николая, мне вспоминается все то дурное, что говорят о человеке: как он ничтожен, бессилён, дисгармоничен. И я думаю: а вот есть один, который утверждает другое. А может быть, там (показывает вниз) много таких, строящих жизнь: красивую, светлую, солнечную жизнь. Звездное небо перед зарею.

Маруся (падая на колени, со стоном). Отец, отец, какой это ужас!

Всеволод Николаевич. Что ты, Маруся?

Маруся. Разбита прекрасная форма! Отец – разбита, разбита прекрасная форма (плачет, уткнувшись в колени Всеволода Николаевича).

Всеволод Николаевич. Он умер? Маруся, да говори же: он умер? Маруся!

Маруся. Разум... разум покинул его.

Пауза.<sup>1</sup> Всеволод Николаевич тихо гладит голову Маруси.

Маруся (вскакивая). Что же это! Проклятая жизнь! Где же Бог этой жизни, куда он смотрит? Проклятая жизнь! Изойти слезами, умереть, уйти! Зачем жить, когда лучшие погибают, когда – разбита прекрасная форма! Ты понимаешь это, отец? Нет оправдания жизни – нет ей ⟨л. 52⟩ оправдания!

Всеволод Николаевич. Расскажи мне все, Маруся. Расскажи мне все, деточка моя, моя бедная деточка!

Маруся (со сдержанной страстью). Отец, ты знаешь, как я любила людей. Я отдала им сердце, я отдала им все – я ничего не оставила себе. Мой Николай – он знаменем был моим. Когда люди поклонялись ему, я плакала от гордости, от радости за людей. Когда<sup>2</sup> варвары бросили его в тюрьму – я думала: но ведь это

<sup>1</sup> Пауза. вписано.

<sup>2</sup> Далее было: его

варвары, а он солнце. Я думала: вот сейчас поднимутся все те, кто любит его, и разрушат тюрьму – и снова засияет мое солнце! Мое солнце!

Всеволод Николаевич. Как это случилось. Я не могу понять.

Маруся. Я видела все это, но я не знаю, как это случилось. Как<sup>1</sup> гаснет звезда? Как умирает птица в неволе? Перестал петь – стал бледен и грустен, но успокаивал меня. Раз только сказал: я не могу понять железной решетки. Что такое железная решетка – она между мною и небом.

Всеволод Николаевич (*повторяет*). Между мною и небом.

Маруся. А тут их избили. (*Умолкает.*)

Всеволод Николаевич. Избили? Кого?

Маруся. Их. Они подняли бунт в тюрьме. В их камеры ворвались тюремщики и били их – по одному. Били руками, ногами их топтали, уродовали лица. Долго, ужасно их били – тупые, холодные звери. Не пощадили они и твоего сына: когда я увидела его, уже долго спустя, его лицо было ужасно. Милое, прекрасное лицо, которое улыбалось всему миру. Чуть не вырвали глаза – глаза, которые видели только прекрасное. Ты понимаешь это, отец? Ты можешь это оправдать?<sup>2</sup>

{*л. 52a\*/50*} Всеволод Николаевич<sup>3</sup>. Говори.

Маруся. И уже тут в нем проснулась эта страшная смертельная тоска. Он никого не упрекал, он защищал предо мною тюремщиков – своих убийц, – но в его глазах росла эта черная тоска: душа его умирала. Все еще успокаивал меня, все еще утешал. И раз только сказал: всю тоску мира ношу я в душе.

Всеволод Николаевич. Дальше.

Маруся. Стал забываться. Потом умолк. Молча выходил ко мне – молчал, пока я говорила, и молча уходил. Глаза у него стали огромные, черные, как будто из них смотрела тоска всего мира – и такой красоты я не видала, отец! А когда сегодня я пришла на свидание, он был уже в больнице. Когда вчера его вели на прогулку, он хотел броситься с лестницы, в пролет, но его удержали. Потом – безумие, горячая рубашка – и все.

<sup>1</sup> Далее было начато: пад(ает?)

<sup>2</sup> Далее в рукописи отсутствует л. 50 (по авторской нумерации). Лист был перенесен автором в ЧА2 (вклеен в л. 60), по тексту которого он здесь воспроизводится без учета позднейшей правки: см. след. примеч., а также "Варианты рукописной редакции (ЧА2)", Д. 4, стк. 268–293).

<sup>3</sup> Здесь и далее имя героя дано как в раннем слое; в позднейшей версии (при адаптации текста к ЧА2) оно везде исправлено на "Сергей Николаевич".

Всеволод Николаевич. Ты видела его?

Маруся. Я видела его. Но об этом я не стану говорить, я не могу. Разбита прекрасная форма!

Всеволод Николаевич. Они всегда избивали своих пророков!

Маруся. Отец! Как же можно жить среди тех, кто избивает своих пророков? Куда мне уйти, я не могу больше. Я не могу смотреть на лицо человека – мне страшно. Лицо человека – это так ужасно: лицо человека. Я выплакала мои слезы – та же тоска впереди – смертельная, последняя тоска. Ты видишь: я спокойна. Как много звезд!

Пауза.<sup>1</sup>

Всеволод Николаевич. А Анна знает?

Маруся. Да.

Всеволод Николаевич. Что говорят врачи?]

[л. 53] Маруся. Они говорят: идиотизм!

Всеволод Николаевич. Николай – идиот?!

Маруся. Да.

Всеволод Николаевич. Он может долго жить?

Маруся. Да. Очень долго. Он станет равнодушен, он будет много пить и есть, потолстеет – он проживет долго. Он будет счастлив.

Пауза.<sup>2</sup>

[Всеволод Николаевич. Ты очень огорчена, Маруся?

Маруся. Что за странный вопрос, отец? Ты говоришь точно о разбитой вазе или сломанной игрушке. Или ты притворяешься равнодушным – или снова я перестаю понимать тебя.

Всеволод Николаевич. Нет, я не притворяюсь, я не умею притворяться. Мне очень жаль Николая, но...

Маруся. Здесь не может быть никакого “но”.

Всеволод Николаевич. Милая моя девочка! Я боюсь, что ты опять рассердишься на меня, как тогда на обрыве, но я не могу иначе думать. Я не могу не думать о прошлом и о будущем, и о земле, и о тех звездах – обо всем, обо всем. Меня часто упрекают в холодности, говорят, что у меня нет сердца, – и я не знаю, может быть, это правда. Хотя в молодости я был другой, я был немножко похож на Николая, но только он лучше, гораздо луч-

---

<sup>1</sup> Пауза. вписано.

<sup>2</sup> Далее текст на л. 53–57 зачеркнут; скорее всего, эта правка относится к последнему этапу работы над пьесой.

ше, – но теперь я не могу не думать обо всем. А когда я думаю обо всем, понимаешь, – обо всем...

Маруся. Что же тогда? Мне интересно, что ты скажешь?

Всеволод Николаевич. Вот ты уже сердисься! Милая девочка моя, я знаю, что тебе очень, очень больно...

Маруся. Да ведь сын же ваш, Николай?

⟨л. 54⟩ Всеволод Николаевич. Ну вот, ты тоже: сын. Конечно, он сын, и Петя сын, но я не понимаю, какую создает это разницу между ними и другими людьми? Вообще сын и все это: дети – никакого значения не имеет, скажу тебе прямо, Маруся. И умри, например, Анна, я и минуты бы думать об этом не стал. Умерла и умерла – экая важность. Если говоришь, что я должен жалеть Николая, потому что он сын, то – ты не имеешь права жалеть его, потому что он – и не сын и не брат твой.

Маруся. Я люблю его.

Всеволод Николаевич. Ну, да. И любишь, вероятно, больше, чем своего отца. И это так нужно, потому что Николай был настоящий человек. Уверю тебя, Маруся, все это пустяки: сын, брат, отец. Есть только хорошие люди, которых мы любим, и дурные, о которых не стоит думать.

Маруся. Как это холодно!

Всеволод Николаевич. Уверю тебя, Марусечка, что это так.

Маруся. Как это холодно!

Всеволод Николаевич. Поверь, мне очень, очень жаль Николая. Мне всегда бывает жаль, когда я вижу гибель молодого, красивого, стройного. Мне жаль, когда я вижу в букете срезанный цветок, мне жаль даже разбитого<sup>1</sup> красивого бокала – но... Но я думаю обо всем. И в тумане прошлого я вижу мириады погибших, и в тумане будущего я вижу мириады тех, кто погибнет; и я вижу Вселенную, и я вижу жизнь везде – и мне становится немного грустно, но спокойно. Может быть, сейчас, пока мы говорим, у кого-нибудь родился сын, такой же, как Николай, даже лучше.

Маруся. Родился для гибели – для безумия. Ты это хочешь сказать?

Всеволод Николаевич. Да, вероятно, он погибнет. Жизнь<sup>2</sup>, как и садовник, срезает лучшие цветы, но их благоуханием полна земля. Дикая люди, звери, только ⟨л. 55⟩ недавно поднявшиеся на задние ноги, топчут цветы, а они цветут вновь

---

<sup>1</sup> Далее было начато: ста(кана?)

<sup>2</sup> Было: а. Жизнь б. Смерть (незач. вар.)

и вновь – все такие же чистые и святые. Никогда не исчезнут звери – но никогда не исчезнут и цветы, такие прекрасные в самой гибели своей. Да разве есть гибель, есть смерть? Животное, бесконечно повторяя само себя, живет одною неразрывною жизнью; так будет жить и человек, когда он будет думать обо всем.

Ма р у с я. Но Николая нет!

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Он есть. Он в тебе, во мне, он в сотнях<sup>1</sup> людей, которые свято хранят благоухание его души. Разве умер Джордано Бруно? Разве умер Сократ? Взгляни на звезды. Тысячи лет тому назад на них смотрели человеческие глаза и думали – а я, живущий ныне, знаю эти мысли, и для меня нет времени, и нет смерти. Одно великое, бесконечное – Космос. Все живет.

Тихо входит Петя, садится около Маруси;<sup>2</sup> и обнимает ее, та взглядывает – Петя целует ее в щеку.

П е т я. Сиди, Марусечка, сиди. Я все знаю, сиди.

Ма р у с я. Родной ты мой мальчик (*обнимает Петю и плачет*).

П е т я. Не плачь, Марусечка, не плачь, милая моя, дорогая ты моя сестреночка. Я всегда буду с тобой.

Ма р у с я (*плача*). Что мне до этих звезд!

П е т я (*тоже плачет*). Да ну их к черту! Ты не плачь, Маруся. Папа, да успокой же ты ее.

Ма р у с я. Оставь его. Не надо. Я успокоюсь сама. Это так, это пройдет.

П е т я. Маруся, я не знаю почему, но, ей-богу, не надо отчаиваться.

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Маруся, я уже старею, и жизнь моя гаснет, и мне уже изменяет мысль. Скоро придет настоящая старость, и слабоумие и смерть; и я *(л. 56)* знаю это – но жизнь остается. Жизнь всюду. Жизнь всегда.

Ма р у с я (*вставая*). Нет, отец! Сегодня мы расходимся с тобою навсегда. Быть может, ты и прав, но правда твоя холодна, как лед, безотраднa, как отчаяние. Что мне до звезд! Земля дышит ужасом. Там стоны и плач, там скрежет зубовный, как в аду – и я пойду в эту несчастную жизнь. Как святыню, сохраню я то, что осталось от Николая – его мысли, его чуткую любовь, его нежность. Пусть снова и снова убивают его во мне – высоко над толпою понесу я его чистую, непорочную мысль.

<sup>1</sup> Далее было: тысяч

<sup>2</sup> Далее было начато: та взглядывает?)

Всеволод Николаевич. Ты идешь к звездам. Зачем ты отказываешься от меня – ты ведь тоже идешь к звездам.]

⟨л. 60⟩

#### ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Декорация 3-го<sup>1</sup> действия. Солнечное утро. Синицын нервно расхаживает по балкону, со стороны солнца, и часто глядит вверх и потом на часы. Всеволод Николаевич просматривает бумаги. Евмен так же нервно, как и Синицын, расхаживает взад и вперед и смотрит на часы. Снизу вбегает Петя.

Петя (*громко*). Папа, а толпа растет!

Евмен (*загораживая дорогу*). Ну-ну, чего там. Ну народ и народ.

Всеволод Николаевич. Евмен, вы все сделали?

Евмен. Так точно. Ворота закрыты. Сторожа и садовник там.

Петя. А отчего ты не позвал полицию, папа?

Всеволод Николаевич. Пустяки. Ничего не будет.

Петя (*тихо*). Евмен, а у меня револьвер.

Евмен. У меня тоже! Сунься-ка.

Петя. Я буду стрелять вверх.

Евмен. Вот еще, порох изводить. Жарь прямо в голову, чего их, дураков, жалеть.

Петя. А мне страшновато. А вам?

Евмен. А мне чего? А вы только потише, не егозите. Время серьезное.

Петя. А отчего у вас руки трясутся?

Евмен. Руки-то? А кто их знает? Время-то серьезное: а вдруг оно и не состоится.

Петя. Вот так астроном! Как же может оно не состояться.

Синицын (*с балкона*). Тридцать две минуты.

Всеволод Николаевич. Как небо?

⟨л. 61⟩ Синицын. Пока хорошо, Всеволод Николаевич. Бог даст, пройдет хорошо.

Всеволод Николаевич. Я уверен в этом.

Входят Верховцев и Анна.

Верховцев. Вот как тут у вас. Недурно!

Евмен. Папироску бросьте.

Верховцев. А что?

Евмен. А то. Пожару наделаете, да и так нехорошо, вонь аппарату вредна.

<sup>1</sup> Далее было: акта

А н н а. Какой вы грубый, Евмен.

Е в м е н. Какой есть. Василий Васильевич, прикажите им бросить папироску. Тут не конюшня. А то вон наружу идите.

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Евмен, оставьте Валентина Алексеевича в покое.

В е р х о в ц е в. Всеволод Николаевич! А нам стекляшек копченых не найдется? Тоже и нам любопытно.

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Возьмите у Синицына. Василий Васильевич, дайте им.

Издали слышен гул толпы.

В е р х о в ц е в. Ого! Суетные-то заботы – беспокоятся. А что они не помешают вам, уважаемый звездочет? Я видел там рожи весьма предосудительного свойства. И даже с кольями.

П е т я (*беспокойно*). Папа, хочешь я по телефону вызову полицию?

А н н а. И по-моему, следовало бы. Мало ли что может случиться.

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч. Нет, пустяки. Это продлится несколько минут, и в крайнем случае они успеют только сломать ворота.

В е р х о в ц е в. Верно! А полиция только ускорит процесс.

Е в м е н. Да она и сама боится. И чего, говорит, ваш барин путается, одно беспокойство. Дураки!

⟨л. 62⟩ С и н и ц ы н. Двадцать одна минута. Господа, вы мешаєте Всеволоду Николаевичу.

В е р х о в ц е в. Пойдемте на балкон. Мы сейчас уйдем, не волнуйтесь.

Верховцев, Анна и Петя выходят на балкон.

В е р х о в ц е в. Однако, народу-то порядочно. Взгляните, Анна!

А н н а. И подумать, что все это – несчастные невежды. Сколько их. Вот где сразу видишь, что нужны книги, книги и книги.

П е т я. Они парламентаря присылали для переговоров: чтобы не было затмения. А Евмен, он такой грубый, вместо того чтобы поговорить, побил его.

В е р х о в ц е в. Ваш Евмен образцово глуп.

П е т я. Он очень предан папе и любит астрономию.

А н н а. Как они машут кольями. И смотрите, еще идут, это целая осада.

С и н и ц ы н. Семнадцать минут!

В е р х о в ц е в. Да, теперь и полиция не поможет.

П е т я. Однако жутко! У меня холод по спине.

Верховцев. Вот что, Анна. Вы ступайте-ка вниз, успокойте мать, а я побуду здесь. Отсюда удобнее смотреть.

Анна. Я не пойду.

Верховцев (сухо). Я прошу вас.

Петя. А где Маруся? Вы не знаете?

Верховцев. Черт ее знает где. Пропала.

Синицын. Четырнадцать минут...

Верховцев. Идите, Анна.

Анна. Я боюсь за вас.

Верховцев. Какие глупости! Ничего со мною не будет!

⟨л. 63⟩ Анна. Но ведь это дикари, Верховцев. Для них нет ничего святого.

Верховцев. Это вы мою жизнь, что ли, называете святынею? Тронут, но еще более удивлен. Не мешало бы вам, Анна, смотреть на вещи потрезвее. Здесь две стороны: весьма почтенный и безобидный астроном, которому нужно наблюдать затмение, и группа, быть может, также почтенных, но невежественных и глупых людей, которые желают ему в этом невинном занятии помешать. Я, конечно, на стороне астронома – а вы идите вниз, потому что помочь ничем не можете, а мешать будете.

Анна. Вы не любите меня, Верховцев.

Верховцев. А вы, Анна, не уважаете здравого смысла: это гораздо хуже.

Синицын. Одиннадцать минут!

Анна. Хорошо, я ухожу – но только берегите себя, Валентин!

Верховцев. Хорошо, хорошо. Я ценю мою шкуру, вероятно, не меньше, чем вы ее цените.

Анна. Я боюсь!

Верховцев пожимает плечами и отворачивается. Гул толпы возрастает.

Анна. Если вас убьют, я...

Верховцев. Ну-с?

Анна. Я ухожу. Дайте мне руку.

Верховцев. Извольте.

Анна трясет руку и, оглядываясь на него, уходит. Вбегает Петя, бледный.<sup>1</sup>

Петя. Валентин Алексеевич! Сторож сказал: они пробрались на ту сторону сада там низкая ограда, он уже видел несколько человек в саду.

Верховцев. Так что же?

Петя. Оставайтесь здесь! Я боюсь.

---

<sup>1</sup> Вбегает Петя, бледный. *вписано.*

Верховцев. Да я остаюсь<sup>1</sup>.

⟨л. 64⟩ Петя. Я дам вам свой револьвер.

Верховцев. У меня есть. А вы, Петенька, в случае чего не вздумайте сантиментальничать. Вы стрелять умеете?

Петя. Немножко умею.

Верховцев. Ну так цельте в живот. Понимаете? А то берет вверх.

Петя. Я не хотел убивать.

Верховцев. Ну мало ли чего вы не хотели. Эй, Евмен! Ты, почтенный, загородил бы дверь внизу.

Евмен. Загорожено.

Верховцев. А чего это у тебя руки дрожат? Струсил?

Евмен (сурово). Что? (Уходит.)

Синицын. Восемь минут, Всеволод Николаевич, восемь минут!

Всеволод Николаевич. Я знаю.

Верховцев. А вы знаете, коллега, что ваше положение довольно серьезное?

Синицын. Да, да, как же.

Верховцев. А вы понимаете, о чем я говорю?

Синицын. Да, да, как же. Небо чисто, Всеволод Николаевич, слава богу. Но я не в состоянии двигать руками: так дрожат.

Верховцев. Вы бы валерьянки выпили.

Синицын. Пил! Два раза! Ничего не помогает. Шесть минут, Господи.

Всеволод Николаевич. Вам пора, Василий Васильевич.

Занимают места: Всеволод Николаевич у рефрактора,  
Синицын у фотогр(афического) аппарата.

Верховцев (закуривая папиросу). Кажется, кого-то бьют.

Петя. Да, да. Какой ужас! (Закрывает глаза.)

Верховцев. Кого бы это? Ничего не разберешь за деревьями.

Петя. Кто-то приехал, я видел извозчика.

⟨л. 65⟩ Верховцев. Очень удачный визит. Ничего не понимаю. Кажется, стихло.

Петя (покачнувшись). Мне страшно.

Верховцев. Какой вы трус, Петя! Как не стыдно, вы должны защищать отца, а так раскисаете.

Петя. Мне страшно!

Верховцев. Ну вот. Эх!

<sup>1</sup> Было: останусь

Петя. Я не смерти (боюсь?).

Евмен.<sup>1</sup> Три минуты.

Петя. Мне вдруг представилось что-то... Эти люди... Я вдруг понял... Ведь это ужас. Что они хотят? Что они хотят?

Верховцев. Вы видели, чего они хотят.

Петя. Да, да... Но что же это? Как может человек быть такой?

Верховцев. Он бывает еще хуже.

Петя. Не то, не то. Но зачем это? Какая-то тьма поднимается оттуда. Что же это! Сейчас будет темно, и это не от затмения. Это оттуда идет. Снизу. Мне страшно.

Внизу торопливый стук в дверь.

Петя (*почти кричит*). Идут!

Верховцев. Да нет же, это кто-нибудь свой, по делу. Евмен, пойдите, там стучат.

Евмен. Я никого не пущу.<sup>2</sup> Две минуты.

Верховцев. Если ты не пойдешь, я тебя силой спущу с лестницы, старого болвана. Значит нужно, если стучат.

Евмен идет. Постукивание<sup>3</sup> часов(ого) механизма, возрастающий тревожный гул толпы. Внизу *голоса*. Вбегает Шмидт, платье порвано, на лице кровь.

⟨л. 66⟩ Шмидт (*кричит*). Спасайтесь! Толпа идет! Спасайтесь!

Всеволод Николаевич. Евмен, уберите этого молодого человека, он мешает.

Верховцев втаскивает Шмидта на балкон.

Верховцев (*грубо*). Чего орете? Однако разукрасили вас.

Шмидт (*машет руками*). Спасайтесь! Вас хотят уби...

Верховцев (*зажимает ему рот рукою*). Ну и гарнизон!

Петя (*нервно хохочет*). Шмидт, вот кого не ожидал.

Верховцев. Если вы не будете орать, я вас отпущу. А то свяжу руки, рот заткну платком.

Шмидт (*машет головой, когда Верховцев отпускает руку*). Не буду. Но вас хотят убивать. Я слышал это в городе, но не поверил и поехал сюда, но меня чуть не убили.

Верховцев. У вас есть оружие?

Шмидт. Нет, я не умею стрелять.

Верховцев. Шли бы вы назад.

---

<sup>1</sup> Было: Синицын.

<sup>2</sup> Далее было: Минут(а)

<sup>3</sup> Далее было: метронома

Ш м и д т (*энергично*). Ни за что. Там меня опять убьют.

П е т я (*смеется*). Какой смешной!

Е в м е н. Тридцать секунд.

В е р х о в ц е в (*невольно говорит тише*). Нелепый вы человек, Шмидт. Трус, а лезете, куда не нужно. Сидели бы в своем тихом немецком семействе.

Ш м и д т. Человек должен быть смелым. Но я никогда не оправлюсь от этого потрясения. Что они делали со мною! Они хватили меня за горло, разорвали галстух, жилет. Кто-то очень сильный ударил меня по лицу...

Е в м е н. Десять секунд.

Ш м и д т (*тише*). ...но тогда я вдохновился и сказал: милостивые люди, меня, *(л. 67)* меня послал сюда господин губернатор, чтобы не было затмения...

Е в м е н. Одна секунда.

В е р х о в ц е в. Жаль, что вас не убили.

Ш м и д т. Но...

В е р х о в ц е в. Тише!

В первую минуту уменьшения света почти не заметно. Потом свет тускнеет и в течение дальнейшего доходит до полной темноты.

П е т я. Темнеет!

В е р х о в ц е в. Пока не чувствую. Шмидт, нате стекло, глядите.

Шмидт покорно берет стекло.

П е т я. А вы?

В е р х о в ц е в. Меня больше интересует земля.

Гул растет, близится, становится угрожающим:  
в толпе заметили начавшееся затмение.

П е т я. Темнеет!

Ш м и д т. Я не могу смотреть, у меня прыгает.

В е р х о в ц е в (*прислушивается*). Что же они там?

Г о л о с а с л и т н ы е: Ломай, чего глядишь!

Сюда, сюда.

Бей его!

Ворота вали. Давай нож! Скорее!

Выстрелы.

В е р х о в ц е в. Началось!

П е т я. Темнеет!

Ш м и д т. Они идут, я видел людей с этой стороны. Между деревьями.

Рев. Несколько выстрелов. Верховцев вынимает и осматривает револьвер.  
*(л. 68)* Сильный треск чего-то ломающегося.

Верховцев. Петя, если не можете стрелять, спрячьтесь куда-нибудь.

Петя (*решительно*). Нет, я могу (*вынимает револьвер*). Сейчас стемнеет, они не найдут входа.

Шмидт. Я боюсь.

Голоса близко. Ребята, вали сюда! Давай топоры. Сюда. Вот они. Ломай!

Внизу удары, треск. В стену ударил камень. Где-то звенит стекло.

Верховцев. Евмен! Стреляйте в каждого, кто будет подниматься по лестнице.

Евмен. Знаю!

Внезапная темнота. Зажигаются звезды.

Верховцев. Ну здесь нам нечего делать! Туда! Петя, где вы?! Как темно.

Петя. Я здесь.

Верховцев. Не трусьте. В живот, в живот стреляйте.

Ломают двери. Рев, отдельных криков не слышно.

Всеволод Николаевич (*кричит*). Что же это! Задержите их на несколько минут!

Верховцев. Постараюсь.

Треск прекращается. По лестнице грузный топот.

Ряд выстрелов, падение тяжелого, крики боли.

Голос. Ай, батюшки, убили!

Голос. Они убивают народ. Вали их. Бей!

Голос. Ай, батюшки!

Верховцев. Нет, подожди!

Выстрел, падение тела, новые крики.

Петя. У меня все патроны!

Верховцев. Бегите! Нет, подожди. А ты, вот как!

Выстрел.

Евмен. Дьяволы! Стой!

(*л. 69*) Голос. А ты вот – он. Р-раз.

Падение тела. Хрип. Крики – сдавленные. В темноте кто-то мечется.

Всеволод Николаевич (*кричит*). Только три минуты! Три минуты!

Синицын (*кричит*). Что вы де... ай!..

Верховцев. Не могу. У меня один патрон. Бегите! На полу-чи, скотина. Бегите!

Треск ломающегося дерева, разбиваемых стекол.

Г о л о с. Ломай! Все ломай! Р-раз!

Г о л о с. Круши!

Г о л о с. Чтобы камня не осталось от диаволова гнезда!

Г о л о с. Убийцы, отравители!

Г о л о с. Погасили солнце! Нет, живыми не дадимся. А это кто? ну?

В с е в о л о д Н и к о л а е в и ч (*гневно*). Не смей трогать моих стекол!

Г о л о с. Ага!

Удар, падение тела. Внизу частые выстрелы и разбегающиеся крики страха.

Г о л о с. Ребята, наших бьют! Начали!

Г о л о с. Спаси Господи!

Г о л о с. Конец! Господи! Спасайся, ребята! Конец пришел!

Обсерватория пустеет. Внизу редкие выстрелы, крики. Удаляются. Слышно становится, как тикает уцелевший механизм. Внезапно вспыхивает свет, необыкновенно яркий после тьмы. Картина разрушения. Несколько трупов. Свет становится ярче. Пауза.<sup>1</sup>

Е в м е н (*лежит; поднимает окровавленную, качающуюся голову, тупо смотрит*). Вот оно, солнце-то! (*Падает.*)

Г о л о с В е р х о в ц е в а. Петя, где вы! Петя... Петя!..

Занавес.

20 октября 1905 г.

## ЧНБ<sup>2</sup>

⟨л. 1/21⟩ В е р х о в ц е в. Не могу сказать, чтобы ты был чрезмерно вежлив, мой друг. А вот и они. (*Показываются забрызганные грязью Трейч и Лунц.*). Лунц, вас Сергей Николаевич спрашивал. Попадет вам теперь.

Л у н ц. А ну его к... Виноват, Анна Сергеевна.

А н н а. Можете. Я не из нежных дочерей и присоединяюсь к вашему пожеланию.

П е т я. Как это пошло!

В е р х о в ц е в. Ну как, Трейч. Нашли что-нибудь?

Т р е й ч. Местность хорошая.

А н н а. А вы знаете, что Маруся приехала?

<sup>1</sup> Свет становится ярче. Пауза. *вписано*.

<sup>2</sup> Фрагмент приблизительно соотносится с текстом ОТ: В е р х о в ц е в. Не могу сказать ~ И н н а А л е к с а н д р о в н а (*смотрит на Сергея Николаевича*). Деньги? (Д. 2, стк. 102–226).

Трейч (*делая шаг вперед*). Ну? Николай? Николай?

Анна. Да жив, жив.

За углом слышен голос Маруси.

Маруся<sup>1</sup> (*поет*). Сижу за решеткой в темнице сырой –  
вскормленный на воле орел молодой...

Верховцев (*подхватывает*). Мой грустный товарищ, ма-  
хая крылом – кровавую пищу клюет за окном...

Верховцев и Маруся (*вместе*).

Клюет и бросает и смотрит в окно,  
Как будто со мною задумал одно.  
Зовет меня взглядом и криком своим  
И вымолвить хочет: давай улетим!

Маруся. Давай улетим!

Анна. Какой неуместный концерт!

Инна Александровна (*идет сзади, утирая глаза*). Ор-  
лятки вы мои...

Верховцев. Вы, теща, произносите это совершенно так же,  
как и: цыплятки вы мои.

Инна Александровна. Да и цыплятки: вон ты как ощи-  
пан, совсем в суп готов.

Маруся. Да не хмурься ты, Анята. Поем и поем, эка!  
(*Трейчу*) Вам – поцелуй.

Трейч (*быстро закрывает рукой глаза и тотчас отнимает  
руку*). Я счастлив.

Маруся. И всем, и всем.

Верховцев. Да ты видела его?

Маруся. Давай улетим!

Верховцев. Да говори ты!

Лунц. Это даже нехорошо.

Маруся. И видела, и все. Да, вот этот господин, это Шмидт,  
позвольте представить. Это удивительный господин. Пока он так,  
служит в банке, но со временем он окажет массу услуг для рево-  
люции. Он страшно похож на шпиона, и он так помог мне.

Шмидт. Я очень рад. Добрый день!

Маруся. Петя, милый мальчик! Отчего вы такой грустный?

Верховцев. Даже самая лучшая женщина любит пытаться.

Маруся. Ну-ну! Он в Крейцбургской тюрьме.<sup>2</sup>

Голоса. Знаем.

Маруся.<sup>3</sup> И его хотели расстрелять.

<sup>1</sup> Далее было: Сижу

<sup>2</sup> Далее было (с абзаца): Верховцев. Знаем.

<sup>3</sup> Далее было: А я – графиня Мориц.

Инна Александровна. Господи, Колю-то!

Маруся. Успокойтесь, мамочка, ничего этого не будет. А я – графиня Мориц. Родовитая графиня, только поместье мое там... Долго рассказывать: одним словом, я грозила, умоляла, ссыла-лась на общественное мнение Европы, на ученый авторитет его отца – и дело отложили. И я была в тюрьме...

Входит Сергей Николаевич. Он в потертом пальто и маленькой меховой шапочке, приветствуют его почтительно, но холодно.

Инна Александровна. Отец, ты послушай, что Маруся рассказывает.

Маруся. Так вот, была я в тюрьме. Ну, (*затуманиваясь*) он немного грустен, но это пройдет, конечно.

Инна Александровна. А рана?

Маруся. Поправляется, он такой ведь крепкий. Но что это за камера: это подвал, погреб, болото – я не знаю, как назвать.

Верховцев. Знаю. Сиживал.

Маруся. Обещали перевести в лучшую.

Верховцев. Вот как!

Маруся. Вас, Сергей Николаевич, он крепко-крепко целует, желает успеха в работе и вообще очень интересуется, как у вас.

Инна. В таком положении думать о пустяках. Не понимаю.

Верховцев. Анна!

Сергей Николаевич. Милый мальчик! Я очень благодарен ему.

Инна. Очень великодушно.

Лунц. А как же вы-то? Ведь вас тоже могли...

Маруся. Меня и<sup>1</sup> схватили солдаты – в тот же день. Но я так плакала, я так безумно рыдала о милом папе и о милой маме, которые ждут меня из школы, что меня солдаты отпустили. Один, правда, слегка ударил прикладом.

Лунц. Какая мерзость!

Маруся. Ну слушайте! Тут нет никого? Прислуга у вас?.. Ну хорошо. Так вот – бежать.

Трейч. Я поеду с вами.

Маруся. Нет, Трейч, Николай велел оставаться вам здесь. Вы знаете, как вас ищут? Я все устроила, все сделано, а вы здесь, Трейч, по дороге займетесь кое-чем. Нужны только деньги – много денег. И, конечно, он придет сюда, что само собой. И я сегодня еду, нельзя терять не минуты.

Инна Александровна (*смотрит на Сергея Николаевича*). Деньги?

<sup>1</sup> Далее было: арестовали

⟨л. 57/52⟩ ⟨Маруся⟩ [...] там будут изъеденные язвами, разбитые параличом. И дома будут такие же, как жители: кривые, горбатые, слепые, изъязвленные. И у нас будет постоянный голод. И город этот я назову: “К звездам!”

Сергей Николаевич. Бедная моя Маруся!

Маруся. Зачем ты жалеешь меня? Ты сына не жалеешь.

Сергей Николаевич. Маруся, я же говорил тебе: у меня нет детей. Для меня одинаковы все люди.

Маруся. Как это... бездушно! Нет, я никогда не пойму тебя.

Сергей Николаевич. Это оттого, что я думаю обо всем. Я думаю о прошлом и о будущем, и о земле, и о тех звездах – обо всем. И в тумане прошлого я вижу мириады погибших; и в тумане будущего я вижу мириады тех, кто погибнет; и я вижу космос, и я вижу везде торжествующую безбрежную жизнь – и я не могу плакать об одном.

Тихо входит Петя, садится около Маруси и обнимает ее;  
та оборачивается – он целует ее в щеку.

Петя. Сиди, Марусечка, сиди. Я все знаю, сиди.

Маруся. Родной ты мой мальчик (*обнимает Петю и плачет*).

Петя. Не плачь, Марусечка, не плачь, милая моя, дорогая ты моя сестреночка. Я всегда буду с тобой.

Маруся (*плача*). Что мне до этих звезд!

Петя (*тоже плачет*). Пускай их. Ты не плачь, Маруся. Папа, да успокой же ее.

Маруся. Оставь его. Не надо. Я успокоюсь сама. Это так, это пройдет.

Сергей Николаевич. Да, не нужно плакать. Быть может, сейчас, в эту минуту на свет родился кто-то такой же, как Николай, даже лучше, ибо природа не повторяется.

⟨л. 58/53⟩ Маруся. Родится для гибели, для безумия. Ты это хочешь сказать?

Сергей Николаевич. Да. Вероятно, он погибнет. Жизнь, как и садовник, срезает лучшие цветы, – но их благоуханием полна земля. Взгляни туда, в этот беспредельный простор, в этот неиссякаемый океан творческих сил. Там тихо, – но если бы ты могла слышать сквозь пространство и видеть сквозь вечность, быть может, ты умерла бы от ужаса, а быть может – сгорела бы

<sup>1</sup> Фрагмент приблизительно соотносится с текстом ОТ: Маруся. Там будут предатели и лжецы ~ мой страдающий брат! (Д. 4, стк. 335–451).

от восторга. С холодным бешенством, покорные железной силе тяготения, несутся в пространстве по своим путям бесконечные миры, – и над всеми ими господствует один великий, бессмертный дух.

Маруся. Я не верю в Бога.

Сергей Николаевич. Я говорю о существе, подобном нам, о том, кто так же страдает и так же мыслит и так же ищет, как и мы. Я его не знаю, но я люблю его, как друга, как товарища. Когда при случайной встрече двух неведомых<sup>1</sup> сил загорелась первая жизнь – маленькая, крохотная жизнь амебы, протоплазмы, – уже в этот момент все эти сверкающие громады нашли своего победителя. Это мы – те, кто здесь, и те, кто там. И когда моему взору удастся проникнуть дальше, чем проникал когда-либо человеческий взгляд, и когда мне удастся разгадать еще одну маленькую, от века сокрытую тайну, я радуюсь и говорю: привет тебе, мой неизвестный и далекий друг!

Маруся. Но смерть, но безумие? Отец, я не могу уйти от земли – я не хочу уходить от земли: она так несчастна. Она дышит ужасом и тоскою, но я ее дочь, я в крови моей ношу страдание земли. Мне чужды звезды, и твоя правда холодна, как лед, безотраднa, как отчаяние.

Сергей Николаевич. Смерти нет.

Маруся. Но Николай?..

(л. 59/54) Сергей Николаевич. Он в тебе, он в Пете, он во мне – он во всех, кто свято хранит благоухание его души. Разве умер Джордано Бруно?

Маруся. Он был велик.

Сергей Николаевич. Умирают только звери, у которых нет лица. Человек живет бесконечно. В некоторых храмах древних поддерживался вечный огонь. Сгорало дерево, выгорало масло, но огонь поддерживался вечно. Разве ты не чувствуешь его тут – везде? Разве в себе не ощущаешь-то его чистого пламени? Кто дал тебе эту нежную душу – ты можешь ли сказать, что это душа – твоя? (*Протягивает руки к звездам.*) Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!

Маруся. Я пойду в жизнь.

Сергей Николаевич. Иди! Ты погибнешь, как погиб Николай, как гибнут все, кому душой своею суждено поддерживать вечный огонь. Но в гибели твоей ты обретешь бессмертие. К звездам!

Петя. Ты плачешь, отец. Дай поцеловать мне руку. Дай!

---

<sup>1</sup> неведомых *вписано*.

Маруся. Я пойду. Как святыню, сохраню я то, что осталось от Николая – его мысль, его чуткую любовь, его нежность. Пусть снова и снова убивают его во мне – высоко над головою понесу я его чистую, непорочную душу.

Сергей Николаевич. Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!

Петя (*повторяет*). Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!

Маруся (*повторяет*). Привет тебе, мой далекий, мой милый друг!

Занавес.

### Варианты рукописного автографа (ЧА2)

- <sup>1</sup> После: К ЗВЕЗДАМ (с абзаца) – Itur ad astra<sup>1</sup> ◇  
<sup>2</sup> После: ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ (с абзаца) – Посвящается матери моей // Анастасии Николаевне Андреевой  
<sup>6–7</sup> Пятьдесят шесть лет, но на вид кажется моложе. / 54 года. Моложав. [Одет красиво (*нрзб.*) спокойно(?)]  
<sup>13</sup> 27 лет. / 27 лет, в тюрьме. ◇  
<sup>14–15</sup> Красива и суха, одета не к лицу. / Одет некрасиво, не к лицу. Пенсне.  
<sup>16–18</sup> Бледный ~ воротник. / Нежен и мягок, легко вспыхивает.  
<sup>20</sup> рыжий – нет.  
<sup>24–25</sup> 32 года. Механичен. Курит сигары. / Зол.  
<sup>27–32</sup> Привычка обращаться ~ южанина-семита. – нет.  
<sup>34</sup> Неопределенного возраста / неопределенных лет  
<sup>35–36</sup> Свообразно красив. – нет.  
<sup>37</sup> 30 лет / 32 г(ода).  
<sup>37–39</sup> красивый; сильно изогнутые ~ несловоохотлив. / красивый. Похож на Левитана.  
<sup>40–42</sup> Молод ~ имеет вид незначительный / 26 л(ет), имеет вид подзрительный.  
<sup>43</sup> Минна – служанка. // Франц – слуга. – нет.

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

- <sup>48</sup> у окон, / у окон, загороженных ставнями ◇  
<sup>49</sup> во тьме – нет.  
<sup>51</sup> и занавесок – нет.

<sup>1</sup> Идут к звездам (*лат.*)

- 52 Терновского / Верховцева ◇  
 55 инструменты. Сидит / инструменты. В ней ◇  
 55 Терновского / Верховцева  
 57 Лу н ц / Лу н ц, еврей ◇  
 67–68 Дороги нет – как в осажденном городе / Как в осажденном  
 городе  
 75 мы и так обойдемся / а мы и так обойдемся  
 80 Какая метель / Ну и мятель  
 82–83 Как бьет в окна! – *нет.*  
 86 да уж читаны-перечитаны / да уж перечитаны ◇  
 92 что там делается / что там делается, что там делается  
 99 там уже полная победа. / там уже республика.  
 99–100 Может быть ~ на развалинах старого. – *нет.*  
 111 разговаривает / говорит  
 114 что ли / что ль  
 117 чайку / чайку-то  
 121–122 и к горам этим и к безлюдью – *нет.*  
 125 подымется запах / а. запах поднимется б. поднимется запах  
 130 года у меня с ним / года у нас с ним  
 132–133 Нету березки / Нет березки  
 135 А если б / А если бы  
 139 (*нежно*). /. А ◇  
 141–142 как мы вот с Сергеем Николаевичем / как мы с Сергеем  
 Николаевичем  
 149 Да ведь / Да у ◇  
 150–151 у кого есть деньги / у кого деньги есть ◇  
 163 Вон Поллак тоже работает. / Вон Поллак работает.  
 168–186 Инна Александровна смеется. ~ Сейчас смешно вспомнить. –  
*нет.*  
 188 за что Сергей Николаевич выслан из России / за что Сергея  
 Николаевича выслали из России  
 189 его не выслали / его не выслали  
 192 предложили ему эту обсерваторию / ему эту обсерваторию  
 и предложили ◇  
 193 двенадцать лет / десять лет ◇  
 193 на камнях – *нет.*  
 206 Эти мартовские бури / Эти февра(льские) бури ◇  
 207 Миндаль уже отцвел, пожалуй. – *нет.*  
 222 Вот это разделение / Вот это разделение-то  
 233–234 Сама ж я посылала ~ измучишься. / Конечно, хорошо.  
 257 зимой / зимою  
 258–259 меня они и дразнят до сих пор / меня они дразнят с тех пор  
 263 ездила на экспедицию / на экспедицию ездила ◇

- 265–266 нет ничего страшнее / ничего нет страшнее  
 268–269 до ближнего жилья / до первого жилья  
 274 Благодарение / Да ◊  
 276–277 Сколько я перевидала людей / Сколько я людей перевидала  
 278 если увидит он / если он увидит  
 302 но я удивляюсь / но и я удивляюсь  
 302–303 силе его мозга. Трение / силе его мозга. Это удивительный  
 мозг. Трение  
 303 возмутительное / проклятое ◊  
 308 числа и цифры – живые / числа и цифры, как живые  
 330 уходит во вторую комнату / уходит  
 347 Петя опять нервничает. / Петя очень нервничает.  
 369 не выносит / не любит ◊  
 378 Немного знаю. В Калифорнии научился. / Ничего, научусь.  
 Разносчику немного слов надо. ◊  
 384 Вьюга, колокола. / Вьюга, колокол.  
 389 (*читает*) / К(акие) ◊  
 397 Читать нельзя. / Читать мешает.  
 409 И / Л(юблю?) ◊  
 413–420 Житов (*не оборачиваясь*). ~ Молчание. Вьюга. Колокол. –  
*нет*.  
 440 хлопает дверь; собачий лай. / хлопает дверь. ◊  
 441–442 с Вулканом / с Трезором  
 451 вносят Верховцева / вносят Горбачева ◊  
 455 Скорее / Скорей  
 459 Верховцев / Горбачев ◊  
 459 теща, неважно / теща, пустяки ◊  
 466–467 это ничего / ничего ◊  
 490 Верховцев / Горбачев ◊  
 493 в горах / в дороге  
 493–494 Нас чуть ~ на границе. – *нет*.  
 496 Тебе больно? – *нет*.  
 508–510 А вот вы говорили ~ не могу поверить... – *нет*.  
 513 Вон Трейч / Вот Трейч  
 513 рядом с Колей / вместе с Колей  
 517 Николая ранили / Н(иколай) был ранен  
 522 Ф р а н ц (*входит*). Господин профессор / Ф р а н ц. Про-  
 фессор  
 541 Вот скажите, какая / Вот скажите вот, какая  
 554 над землей / над землю  
 559 может быть / быть может

- 564 Петя (*вздрагивает и закрывает лицо руками*). Какой ужас! – *нет*.  
582–583 Разве там еще / Разве еще там ◊

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

- 2 ; все залито солнцем – *нет*.  
6 на которой расположена / на какой расположена  
8 Полное отсутствие растительности. – *нет*.  
27 на солнышке / на солнце  
28–29 эту Штернбергскую тюрьму / эту Крейцбургскую  
тюрьму  
29–30 в ней и неба-то не видно / в ней неба-то не видно  
35 разбудить Маруську, узнать / разбудить Марусю: от нее  
хочется узнать ◊  
55–58 (*Идет и у двери ~ кое-кому пригодится!* – *нет*.  
59–73 В е р х о в ц е в. Энергичная старушка. ~А так, интересно  
очень. (*Пауза.*) – *нет*.  
75 с Трейчем ушел в горы / с Трейчем ушли в горы  
80 превосходным складом / прекрасным складом  
84 При всем иногда явном безумии / При своем иногда яв-  
ном безумии  
85 Говорит немного / Говорит мало  
86 так не умеет / так не сумеет  
88 Откуда его Николай вытащил / Откуда его вытащил  
Николай  
89 Добрый день / Здра(вствуйте) ◊  
92 Ты знаешь? Николай в тюрьме / Ты знаешь, что Николай  
в тюрьме  
97 со мной / со мною  
102–226 В е р х о в ц е в. Не могу сказать ~ Инна Алексан-  
дровна (*смотрит на Сергея Николаевича*). День-  
ги? – *См. более раннюю версию текста (ЧНБ)*.  
102 чрезмерно / чрезвыч(айно) ◊  
115 Колесован. – *нет*.  
126 вольные птицы! Пора / вольные птицы! Туда ◊  
133 произносите совершенно так же / произносите это  
совершенно так же  
138 *закрывает рукой / закрывает рукою*  
144 И видела, и все. / И видела.  
146 со временем окажет / со временем он окажет  
152 Ну-ну, калека, не сердись. / Ну-ну, не сердись.

- 153 он в Штернбергской тюрьме / он в Крейцбургской  
тюрьме
- 158–159 родовые поместья мои / родовые мои поместья ◊
- 171 ссылаясь на общественное мнение / ссылаясь на обще-  
ственное мнение
- 178–179 он ведь такой крепкий / он такой ведь крепкий
- 191 я так безумно рыдала / я безумно рыдала
- 195 у меня под юбкой / у меня еще под юбкой
- 199–200 Вообще, если бы Шмидт ~ роста... / Кланяйтесь,  
Шмидт.
- 201 Он был бы большого. – *нет*.
- 202 Черт возьми, а? – *нет*.
- 208–210 В е р х о в ц е в. Какой вы, однако ~ тогда без крови. – *нет*.
- 215 вам оставаться здесь / оставаться вам здесь
- 217 Т р е й ч. Это не имеет значения. – *нет*.
- 218 Да и не нужно: я уже все устроила / И я уже все устроила
- 219 на границе / по дороге
- 224 Голубчик, я так счастлива! / Давай полетим!
- 225 И н н а А л е к с а н д р о в н а (с м о т р и т / И н н а А л е к -  
с а н д р о в н а. Д⟨еньги?⟩ ◊
- 231 Нужно пять. / А нужно пять.
- 237 богатый человек, очень богатый. / богатый человек.
- 244 Где вы были? / Где это вы были?
- 272–273 В е р х о в ц е в. И пауков? ~ или на заказ? – *нет*.
- 291 А н н а (в о о б щ е). А для чего / А н н а. А для чего ◊
- 307 Вы как будто против науки / Вы, следовательно, против  
науки
- 314 людям себе кровь портить / людям кровь себе портить
- 314–315 да подымитесь же / да поднимитесь же
- 315–316 не давайте / не отдавайте
- 317 в случае чего... (*Смеется*.) А все-таки – астрябия. /  
в случае чего.
- 318 ваша экспедиция в Канаду / ваша экспедиция на Горн
- 321–322 прошу вас / попрошу вас
- 326 белье приготовить, так хлопот много / белье пригото-  
вить и так, много
- 342 вы ее понимаете, господа? / вы ее понимаете?
- 344 нужно было бы рвать волосы / нужно было рвать волосы
- 354 если Николаю не удастся бежать / если бы Николаю не  
удалось бежать ◊
- 366–370 В е р х о в ц е в. Что значит ~ он отдал ей себя! – *нет*.
- 371–372 С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Вы видите надпись (*показы-  
вая на фронтон обсерватории*): / Сергей Нико-

л а е в и ч. Не торопитесь умозаключать, г.г. Вы видите  
 надпись на фронтоне обсерватории.  
 374 Это значит: это храм / В переводе: Это храм  
 375 низменная земля / низкая земля  
 375 идут к звездам. / идут к звездам! Вот видите.  
 390 почему вы / а. отчего же вы б. почему же вы  
 397 Путь к звездам всегда орошен / Путь к звездам так же  
 орошен  
 400 невинных астрономов. / невинных астрономов. А теперь  
 [это(?)] страдания астрономов, насколько мне известно,  
 ограничиваются получением жалованья и субсидий. ◊  
 401 У отца / У папы  
 403 Это нехорошо. – нет.  
 405–406 от какой-то развалины, – обсерватория развалилась, –  
 да клочки подлинной рукописи. / от какой-то разру-  
 шенной обсерватории и клочки какой-то подлинной  
 рукописи. ◊  
 406 *После:* подлинной рукописи. – М а р у с я. Анна! Как это  
 неприятно!.. // А н н а. Конечно, всякий по-своему  
 с ума сходит. Но только меня возмущает и будет возму-  
 щать, когда люди воображают себя какими-то богами,  
 и страдать и работать предоставляют другим. А если  
 вам не нравится, что я говорю, то я могу уйти. ◊  
 407–408 М а р у с я. Анна! Как это неприятно! Коля не позволил  
 бы себе так говорить... / М а р у с я. Коля не позволил  
 бы себе так говорить... ◊  
 411–434 В е р х о в ц е в (*раздраженно*). Оттого-то нас и бьют на  
 каждом шагу... ~ Товарищи, солнце ведь тоже рабочий! /  
 Т р е й ч. Вот здесь говорили о торжестве разума. Я сам  
 высоко, выше всего, ставлю человеческий ум и уважаю  
 науку... // А н н а. Наука науке рознь.<sup>1</sup> // Т р е й ч. Вино-

<sup>1</sup> Далее было (текст варианта частично зачеркнут, частично располагается на изъятом из ЧА2 листе; соответствует стк. 414–437 ОТ): Трейч. Виноват. Я уважаю и астрономию, хотя лично к ней совершенно равнодушен и даже не понимаю ее. В последнем, б(ыть) м(ожет), виноват я сам, т.к. недостаточно образован – но есть один человеческий глаз *(так!)*, перед мощью и величием которого я преклоняюсь. Несчастные люди, далекие друг от друга, безуспешно боролись в одиночку за справедливость – а он, величием своего гения, собрал их воедино, слил в железные легионы и всю массу бросил на завоевание мира. // Сергей Николаевич. Это – Христос? // Трейч. Христос? – нет. Я говорю о Карле Марксе. Христос дал пролетариату жизнь и право на жизнь, а мысль дал ему Маркс. В тот день, когда наши товарищи взойшли на баррикады и рядом со мною, немцем, стоял русский Николай, еврей Самуил, француз

ват. Я уважаю, конечно, и астрономию, хотя лично совершенно к ней равнодушен и даже не понимаю. Это, конечно, оттого, что образование, полученное мною, недостаточно. Но есть в мире один человеческий ум, перед величием и мощью которого я преклоняюсь. Я говорю о том, кто из пролетариев создал пролетариат, из людей – человечество. Они боролись в одиночку, братья по бесправному рождению, товарищи по жестокой судьбе – они враждовали друг с другом, и была безуспешна их неосмысленная борьба за жизнь. А он, величием своей мысли, собрал их воедино, слил в железные легионы и всею массой бросил на завоевание мира. // Ш м и д т. [Вы(?)] Это – Христос? // Трейч. Христос? – нет. Я говорю о Карле Марксе. Христос оправдал жизнь пролетариату, а Маркс – тот осветил ее мыслью. В тот день, когда товарищи наши взойшли на баррикады и рядом со мною, немцем, [стоял] встал русский Николай, англичанин Линдон, еврей и француз и негр – да с нами стоял негр – в тот день я увидел в нас не рабов, которые борются за свободу, не обездоленных, не лишенных прав, не ограбленных. Я увидел другое: я увидел в нас мысль – да, мысль, которая бьется за свои верховные, священные права. Да. Мысль. // Верховцев. Здорово! Хорошо, Трейч. // Анна. Вот с этим я, пожалуй, соглас-

---

и англичанин и негр – да негр! – я видел в них не обездоленных, не несчастных – я увидел в них мысль, которая борется за свои права! // Верховцев. Здорово! // Анна. Вот с этим я, пожалуй, согласна. // Сергей Николаевич. Вы правы. // Трейч. И как мысль, мы непобедимы! И как мысль – нас не возьмут ни костры, ни пулеметы, ни бомбы буржуазии! Пусть мы разбиты, но мысль жива и мысль зовет: вперед! // Сергей Николаевич. К звездам! // Анна. Хотя теперь оставил бы астрономию! // Лунц. Вперед! // Верховцев. Вперед! // Трейч. Вперед, товарищи! Победа наша! // Лунц. Гг! Я прошу... это нельзя так оставить. Я предлагаю почтить память погибших за свободу. Встаньте! // (Все встают. Молчание). // Маруся (*звонко кричит*). Клянусь перед этими горами! Клянусь перед этим небом: я освобожу Николая! У этих гор есть эхо? // Лунц. Нет. Но если бы было, оно ответило бы вам, как в сказке: да! // Анна (*Житову*). Как это сантиментально. // Житов. М-да. Знаете, я погожу ехать в Австралию: мне тоже захотелось повидать Н(иколая) С(ергеевича). // Верховцев. Это – не астрономия! // Лунц (*перебегая от одного к другому*). Я счастлив, я так счастлив. Вы знаете, мои родители – они были убиты. Я так счастлив. Никогда не хотел говорить об этом, я таил это глубоко в душе, но теперь... Трейч, дайте пожать вашу руку. // Трейч. С удовольствием. // Петя (*Житову*). Зачем все это? // Житов. Нет, приятно. // Петя. Зачем, когда все это умрет, и вы, и я, и горы. Зачем?

- на. // Сергей Николаевич. Он прав. // Трейч. И как мысль – мы непобедимы! И как мысль – нас не возьмут ни костры, ни пулеметы, ни бомбы буржуазии. Мы разбиты; и много еще впереди предстоит нам жестоких поражений, слез и крови; и многие из нас не вкусят иного хлеба, кроме хлеба изгнания, не обретут иных жилищ, кроме тюрем. Но будущее – наше. Растают ничтожные тучи, безумно пытавшиеся сокрыть от земли победоносное солнце – и широко засияет оно на голубом небе равенства, свободы и братства. Товарищи! Солнце ведь тоже пролетарий!..
- 435–436 Ах, черт! // Лу н ц. Вперед / Ах, черт!.. // Лу н ц. Не мешайте. Трейч, говорите. // Трейч. Я уже сказал. Я не зову вас, товарищи: вперед. Не скажешь падающему камню: вниз падай, а не вверх; так и мысль, у которой единственный закон ее движения: вперед. Вперед – всегда и вечно. Так вот... // Лу н ц. Вперед
- 438 Все в возбуждении разбиваются на группы. – *нет*.
- 453 Ма р у с я (*глядя в небо*). Как хочется лететь! – *нет*.
- 456–459 Его фамилия, кажется, Трейч? // В е р х о в ц е в. Он такой же Трейч ~ как его зовут по-настоящему. – *нет*.
- 461 они убиты / они были убиты
- 470 В е р х о в ц е в (*Марусе, в восторге*). Повесить / а. В е р х о в ц е в (*Анне*). П(овесить) б. В е р х о в ц е в (*Анне, в восторге*). Повесить
- 471 Ну, Маруська, ведь убежит, а? – *нет*.
- 472–477 Ма р у с я (*затуманиваясь*). Я другого боюсь... ~ Давай улетим! / А н н а. Да. Приятно, что это не пустые слова, а за ними стоит дело. // В е р х о в ц е в. Мне даже звездочета жалко стало. // А н н а. Вот уж нашел о чем беспокоиться.
- 480 *После: Цып-цып-цып! – Сергей Николаевич (отводит Марусю) ◇*
- 488 (*холодно*) – *нет*.
- 494 Г о л о с а / С е р г е й Н и к о л а е в и ч ◇
- 508 И у меня стоит диван / У меня стоит диван
- 517–531 П о л л а к. Господа, это насилие. ~ Вы хороший, честный человек. / [Поллак. Г.г., это насилие. У меня там не кончено... // Ма р у с я. Поллак, милый Поллак! Вы такой хороший человек, удивительный человек, вас так любят все. // П о л л а к. Он мне чуть рукав не оторвал. // Ма р у с я. Ну что такое рукав? Порадуйтесь с нами немножко. Ведь вам так скучно там одно-

- му. // Поллак. Я работал. // Маруся. Выпьем киршвассеру. Ведь вы знаете, что мы устраиваем. Да, что я: ведь у вас же и денег взяли. // Поллак. Хорошо, я согласен, но только прошу без подробностей. Я замечаю, что у вас действительно здесь весело. (*зачеркнутый вариант*)
- 523 Поллак (*отмахивается рукой*). Да, да. Я верю, я верю вам. / Поллак. Да. Но прошу без подробностей. Я верю вам.
- 527–528 Верховцев. Лучший напиток ~ вы будете пить масло? – *нет*.
- 529 Нет. Мы киршвассеру выпьем. / Да, мы киршвассеру выпьем.
- 539–560 Маруся. Нет, нет. ~ Занавес / Маруся (*затуманиваясь*). Нет. Нет. Другое. Валентин? // Верховцев. Ладно. Затягивайте. // Маруся (*запевает*). “Сижу за решеткой в темнице сырой...” // [(Остальные подхватывают и идут. Скрываются за углом, но пение некоторое время еще слышно). // Занавес] [(Остальные подхватывают и идут. Скрываются за углом, но пение некоторое время еще слышно). // Вскормленный на воле орел молодой, // Мой грустный товарищ, махая крылом, // Кровавую пищу клюет под окном, // Клюет и бросает и смотрит в окно. // Как будто со мною задумал одно, // Зовет меня взглядом и криком своим, // И вымолвить хочет: давай улетим... // Давай улетим... // (Занавес)] Трейч. Я не знаю этой песни. Это русская песня. // Лунц. Конечно, марсельезу. Это для всех. // Маруся. Ну хорошо. (*Идет.*) Allons<sup>1</sup> enfants // (Все, кроме Пети, идущего сзади, подхватывают. Впереди идет Маруся, по бокам – треугольником, как в картине Дорэ, остальные). // Все. de la Patrie, // Le jour de gloire est arrivé! // Contre nous de la tyrannie, // L'étendart sanglant est levé, // L'étendart sanglant est levé. // Entendez-vous dans les campagnes // Mugir ces féroces soldats? // Ils viennent jusque dans vos bras // Egorger vos fils, vos compagnes! // Aux armes, citoyens, // Formez vos bataillons, // Marchons, marchons! // Qu'un sang impur // Abreuve nos sillons! // (Последние слова допеваются за углом дома). // Занавес.

<sup>1</sup> Неизвестной рукой исправлена лишь малая часть многочисленных описок во французском тексте Марсельезы. Правка здесь завершена.

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

- 3 , пианино – *нет*.
- 5 мигающими – *нет*.
- 15 Что же это такое, а? / Что же это будет, а?
- 17 Докуда же это будет / Что же это ◇
- 21 *медленно встает / медленно поднимается* ◇
- 34 вы что там делаете? / что вы там делаете?
- 38 без работы / без дела ◇
- 42 двадцать один / 20 ◇
- 42 год уж / уж год
- 46 ты злая / ты ма(ленькая) ◇
- 46 в три / в два ◇
- 49–50 все о покойниках. / все о покойниках да о покойниках.
- 55–56 да толку / а толку
- 69 Вообще в течение действия он несколько раз проходит сцену. – *нет*.
- 71 спрятался бы в подвал / спрятался бы в подвале
- 72 нет расстояний / нет расстояния ◇
- 73 над землей / над землю
- 80 откуда у вас в кухне / откуда у нас на кухне
- 82 из долины / из кантона
- 82–83 глухая – *нет*.
- 84 Как она могла? – *нет*.
- 85 , теща, – *нет*.
- 86 А что ты думаешь? / а. А вы б. А ты что думаешь?
- 87 Ты почитал бы... // П е т я (*настойчиво*). Мама, как она  
взошла? // И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да не знаю, го-  
лубчик. – *нет*.
- 94 Что же / Что ж
- 95 Пусть умирают / Пусть и умирают
- 112 Тем и лучше / Тем лучше
- 131 и все нет конца / и все нет, и все нет конца
- 131 *После: жаловаться буду? – (Подходит.)* ◇
- 135 Добрый вечер. – *нет*.
- 138 очень колеблется / очень сильно колеблется
- 144 Ведь вы же / Ведь вы ж
- 145–146 так? сразу? / так сразу?
- 148 как вы уедете / как вы еще уедете
- 153 мне исполнилось тридцать два года / мне исполнилось  
ровно 32 года
- 154 тридцать семь минут / 32 минуты
- 160–161 И я уже имею право / а. И уже пора б. И уже я имею право

- 162 Вот так штука! / Вот так!  
 163 Я женюсь. – *нет*.  
 166 в этом году / в нынешнем году осенью  
 169 Вот какой тихоня! / Вот ловко! ◇  
 169 И как-то вы / И как э(то) ◇  
 171–172 Красавица! – *нет*.  
 216–218 Инна Александровна. Такой молодой!.. ~ не  
 проговорился он? – *нет*.  
 225 *После*: Молчание. – В е р х о в ц е в. А вы узнали, кого раз-  
 рывало бомбой? // Т р е й ч. Товарища Поренца. Пред-  
 полагают, что он услышал в коридоре звуки жестяной  
 посуды, и рука у него дрогнула... От него ничего не  
 осталось. // В е р х о в ц е в. Хорошая смерть. ◇  
 226 В Тернахе / В Крейцнахе  
 227 В Штернбергском округе / В Крейцбургском округе  
 232 Какие глупые люди! / Какие люди!  
 233–234 Инна Александровна. Ну, может быть, еще  
 только слухи. Много говорят... – *нет*.  
 255–256 что он рассказывает так ясно и коротко. / что он без этих  
 подробностей.  
 258 А н н а. Что с вами? Как вы кричите! Испугали... / А н н а  
 (*испуганно*). Что с вами? Как вы кричите!  
 263 Зачем вы сказали это / Зачем вы это сказали  
 266 убили мать, и отца / убили маму и папу ◇  
 267 на баррикадах, убивали / уби(вали) ◇  
 274 стану знаменитым ученым / а. стану уч(еный) б. стану  
 знаменитый ученый  
 275 моего дорогого отца / моего дорогого папы ◇  
 275–276 последние гроши / последние деньги ◇  
 276 надо мной / надо мною  
 279 когда я не пил, когда я / когда я не пил, я думал ◇  
 281 убили моего отца, и мать / убили моего папу и маму ◇  
 282 Вот как я любил науку! / Вот как любил я науку!  
 290 со мной / со мною  
 294 Били за то / Нас били за то ◇  
 296 над моей головой / над моею головою  
 310 уважаемая Инна Александровна / Инна Александровна ◇  
 335–337 П о л л а к. Да. Теперь у меня будет спутник, уважаемый  
 Сергей Николаевич. (*Хохочет.*) // С е р г е й Н и к о л а -  
 е в и ч. – *нет*.  
 345 смотрю я так на вас / смотрю я этак на вас  
 346 или вы так / или вы так уж

- 350 Разве тебе такой друг нужен? – *нет*.  
 351 Ну, положим. – *нет*.  
 359 проверить / произвести ◊  
 366 входит Петя и оглядывается / входит Петя, оглядывается  
 381 Сергей Николаевич. Да. Беспокойно. – *нет*.  
 384 Что же я / Что ж я  
 390 Да, вот еще / Кстати  
 394 все один черт / один черт  
 408 герцогине / графине  
 424–425 нехорошо, не нужно шутить / не нужно, нехорошо  
 шутить  
 429 трясет головой / трясет головую  
 431 Герцог, ваш отец, и герцогиня / Граф, ваш отец, и графиня  
 433 трясет головой / трясет головую  
 452 Это моя мать, это моя мать... / Это моя мать, это моя ба-  
 бушка... ◊  
 455 моей женой / моей женою  
 457 трясет головой / трясет головую  
 471 Трейч. Ничего. – *нет*.  
 475 идете со мной / идете со мною  
 480 Я иду с вами / Да я иду с вами  
 482 Все, кроме Трейча, бросаются к нему / Все бросаются к нему  
 486 Вы – моя мать, вы – мать моя / Вы – мать моя, вы – мать  
 моя ◊  
 487–488 Проклятые звезды! / Проклятые звезды! Проклятые  
 звезды! ◊

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

- 2 одной третью своей / одной третью своею  
 10 Петя и Поллак / Поллак и Петя  
 11 вы будете / б(удете) ◊  
 16 (*обращаясь к Пете*) / (*прощаясь с Петей*)  
 37 будет тяжело / будет очень тяжело  
 38 Сейчас она уже / Сейчас уже ◊  
 38–39 Она все толкует / Она все плачет  
 40–41 От Анны нет известий? – *нет*.  
 42–44 Нет. Она не любит писать письма. ~ говорить с жен-  
 щинами... / Так-то так...  
 44 я не буду мешать тебе / я не буду тебе мешать  
 46 Я что-то устал. / а. Я что-то устал, но, может быть, уже  
 мои годы сказываются. б. Я что-то устал немного.  
 72–73 так страшно жить и так скучно / так страшно и так  
 скучно жить ◊

- 73–74 Чтобы заполнить страшную пустоту, он много выдумывает, красиво и сильно, но и в вымыслах – / Художественным вымыслом он старается заполнить пустоту, но и в нем
- 84–91 Его мысль рождена птицей ~ как греку, как язычнику. / Когда люди перестанут читать глупые романы, а будут изучать астрономию и химию, с ними произойдет то же, что с слепым от рождения, который внезапно прозрел: они увидят новый мир. Все вокруг станет живым, и жить будет весело, как грекам, как язычникам.
- 109 Оно и при мне поет. / Оно и пое<т> ◇
- 118 Папочка, не сердись / Папочка, ты не сердись
- 127 Сегодня ровно три / Сегодня ровно дв<е> ◇
- 143 Так вот послушай: // “Тот, солнцу кто сказал / Так вот послушай: // “Тот муж, подобного которому веками // Рождает к доблестям ревнивая земля, // Какого для себя родить чуть могут сами // Светила, хоть они небесные поля // Через сколько полюсов и центров пробегают // Кругами без числа и устали не знают; – // “Тот, солнцу кто сказал
- 172–173 : “Сижу за решеткой... в темнице сырой...” – *нет*.
- 190 я могу чувствовать что-нибудь / я могу что-нибудь чувствовать
- 205 Пойдем туда. / Пойдемте туда.
- 211–212 А я сидел здесь с Петей. Он такой милый мальчик! – *нет*.
- 212 Он в последнее время напоминает мне Николая... // Маруся. Да. // Сергей Николаевич. Но в Пете / Мне Петья в последнее время напоминал Н<иколая> – но в Пете
- 221 как юный Бог / как юный бог
- 224–225 звездное небо перед зарею. / звездное небо. Звездное небо перед зарею.
- 232 с тоской / с тоскою
- 238 Его покинул разум. / Разум покинул его ◇
- 246 Разве можно это рассказать? / Разве можно *это* рассказать?
- 246–247 Чтобы рассказать / Чтобы рассказывать
- 247 разве это можно понять? / разве это можно понять, когда человек душить человека начнет? ◇
- 270 предо мною / передо мною
- 279 вчера вели его / вчера его вели
- 289 мне страшно! Лицо / мне страшно! Мне ◇
- 306 Да, он некрасив. / Да, очень некрасив.

- 309 Уж месяц / а. Уже полгода б. Уже месяц  
309–310 Я привыкла. Что / Я привыкла. Я ◇  
314 думать о своей – новой жизни / думать о своей – о новой  
жизни  
325 Ты знаешь / Ты помнишь ◇  
325 Я беру ее с собой. / а. Теперь она живет у меня. б. Я беру  
ее с собою.  
329 Я нашла, я знаю теперь / Я знаю теперь  
333 Там будут убийцы... // Сергей Николаевич. Мне  
жаль тебя, Маруся. // Маруся. Там будут предатели /  
Там будут убийцы, предатели  
337–338 дома – убийцы, предатели / дома – убийцы и предатели  
342 Бедная Маруся / М(аруся?) ◇  
346 я не пойму тебя / я никогда не пойму тебя  
359–360 (усаживает ее, выпрямляется, кричит). Отняли / (уса-  
живает ее). Отн(яли) ◇  
364–366 Сергей Николаевич. Если бы солнце висело ~  
(Топает ногой.) – нет.  
367 ласкают Инну Александровну / ласкают ее  
368 отходит на несколько шагов и / отходит на несколько шагов,  
пото(м) ◇  
376 После: у природы нет повторений. (с абзаца) – Инна  
Александровна. Колюшка...  
378 плакала над ним / рыдала о нем ◇  
384 может быть / быть может  
388 один великий, один бессмертный дух / один великий,  
бессмертный дух  
393 В тот миг, как / Когда  
395 в этот миг / в это мгновение  
396–406 Великий простор небес! ~ и тогда я говорю / И когда  
моему взору удастся проникнуть дальше, чем прони-  
кал когда-либо человеческий взор, и когда мне удает-  
ся разгадать еще одну маленькую, от века сокрытую  
тайну, я радуюсь и говорю  
411 ужасом и тоской / ужасом и тоскою  
412 страдания земли / страдание земли  
413 я не знаю, кто обитает / я не знаю тех, кто обитает  
416 А сын твой? – нет.  
420 Он был велик. / Он был уб(ит?)  
429 не ощущаешь его чистого пламени / не ощущаешь ты  
его чистого пламени  
430 мысль, улетевшая / мысль, когда-то вылетевшая ◇

433–434 *Протягивает руку / Протягивает руки*  
438–439 поддерживать вечный суждено огонь / суждено поддерживать вечный огонь  
446 над землей / над землею  
448 *протягивает руки / протягивая руки*  
450–451 мой милый / мой несчастный ◊

## ЧН8

### ⟨А⟩

По бесправному рождению – мы<sup>1</sup> братья; по жестокой судьбе – мы товарищи. Нет для нас родины, нет и изгнания. Наша мать земля, наш отец – солнце. Ведь солнце<sup>2</sup> рабочий,<sup>3</sup> как мы(?)!

Мы куем, крошим и дробим, мы меняем лик земли  
Мы – свободе лишь подвластны, мы лишь разума – рабы.  
Тут выйдет к тебе император  
Знамена<sup>4</sup> победно шумят

Тут выйдет к тебе император  
Из гроба твой верный слуга.

Грозою пугает нас небо  
Мы песнью ответим ему  
Нам камень дают вместо хлеба

### ⟨Б⟩

Солнце играет  
Солнце сверкает  
Солнце поет  
Слава веселому солнцу  
Солнце – рабочий земли!

Солнце играет  
Солнце сверкает  
Поет.

---

<sup>1</sup> *Далее было начато:* то(варищи)

<sup>2</sup> *Далее было:* тоже пролетарий!

<sup>3</sup> *Было:*!

<sup>4</sup> *В рукописи здесь и далее проставлены ударения.*

В дружной работе  
С песней со смехом  
Вперед!  
Слава веселому солнцу  
Солнце – рабочий земли!  
Грозы и тучи<sup>1</sup>

**ЧН9**

⟨1⟩<sup>2</sup>

Тр е й ч. Я не знаю этой песни. Это русская песня.  
Лу н ц. Конечно, Марсельезу. Это для всех.  
Ма р у с я. Ну хорошо. (*Идет.*)

Все, кроме Пети, идущего сзади, подхватывают. Впереди идет Маруся, по бокам – треугольником, как в картине Дорэ, остальные.

В с е.<sup>3</sup> Allons enfants de la Patrie,  
Le jour de gloire est arrivé!  
Contre nous de la tyrannie,  
L'étendart sanglant est levé,  
L'étendart sanglant est levé.  
Entendez-vous dans les campagnes  
Mugir ces féroces soldats?  
Ils viennent jusque dans vos bras  
Egorger vos fils, vos compagnes!  
Aux armes, citoyens,  
Formez vos bataillons,  
Marchons, marchons!  
Qu'un sang impur  
Abreuve nos sillons!

Последние слова допевают за углом.

Занавес.

---

<sup>1</sup> Текст обрывается.

<sup>2</sup> Первоначальный, позже заклеенный текстом ⟨3⟩, текст финала.

<sup>3</sup> Текст: Тр е й ч. Я не знаю этой песни. ~ В с е. – написан рукой А.М. Андреевой.

[Маруся. Нет, нет. Марсельезу, как и знамя, нужно беречь для боя!<sup>2</sup>

Трейч. Я согласен. Есть песни, которые можно петь только в храме.

Верховцев. Что-нибудь повеселей! Эх, как светит солнце!

Анна. В⟨аля⟩, не раскрывай ног!

Маруся (запевает). Жил-был на свете царь Додон...

Все (кроме Пети, подхватывают). Об нем уж слух пропал.

О славе, брат, не думал он,

За то, брат, крепко спал.

Ему короной, братец мой,

Колпак был, связанный женой, – ночной.

Так вот, брат, встарь

Какой был царь,

Какой, брат, славный царь!

Маруся. Идем!

Он мужику дал много льгот

И выпить сам любил.

Да если счастлив весь народ,

С чего бы царь не пил?

Так вот...

Верховцев. Да поживей, Аня! Ты везешь меня, как покойника.

Он, брат, спокойный был сосед

И для земли своей

Молил у Бога не побед,

А праведных судей.

Так...

Он, брат, народом не забыт,

Срисован маляром

И вместо вывески прибит

Над старым кабаком.

И каждый праздник, круглый год

Пьет у портрета и поет

Народ.

Так вот, брат, встарь

Какой был царь,

Какой, брат, славный царь!]

<sup>1</sup> Текст на обороте листа.

<sup>2</sup> Далее было: Есть песни, которые можно петь только в храме!]

⟨3⟩<sup>1</sup>

Ж и т о в. Подтягивать могу.

Л у н ц. Марсельезу!

М а р у с я. Нет, нет. Марсельезу, как и знамя, нужно беречь для боя.

Т р е й ч. Я согласен. Есть песни, которые можно петь только в храме.

В е р х о в ц е в. Повеселей что-нибудь! Эх, как греет солнце!

А н н а. Валя, не раскрывай ног.

М а р у с я (*запеваает*). Солнце сверкает – солнце играет – солнце поет...

В с е (*кроме Пети, подхватывают*). В веселой работе – чужды заботе, – братья, вперед! – Слава веселому солнцу – Солнце – рабочий земли!

В е р х о в ц е в. Да поживей, Аня! Ты везешь меня, как покойника.

В с е (*поют*). [Под бури покровом – в мраке грозовом – молнии горят!] Грозы и бури – ясной лазури – не победят – [В мраке] Под бури покровом, – в мраке грозовом – молнии горят! Слава могучему солнцу! Солнце – властитель земли!

Последние слова песни допеваются за углом дома.

Петя остается один и угрюмо смотрит вслед ушедшим.

Занавес.

## ЧН10

⟨1⟩<sup>2</sup>

Ж и т о в. Поллак человек, он через пять лет знаменитостью будет. Очень энергичный человек. (*Инна Александровна смеется*.) Чего вы смеетесь, разве неправда?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да нет, я не то. А только большой он чудак<sup>3</sup>, иной раз не удержишься, не хорошо, а удержаться нельзя. Он на какой-то инструмент похож, – какой у вас есть инструмент<sup>4</sup> вроде него?

<sup>1</sup> Позднейший текст финала, написанный на листе, наклеенном на текст ⟨1⟩.

<sup>2</sup> Фрагмент приблизительно соотносится с текстом ОТ: Ж и т о в. Поллак человек талантливый ~ выслан из России? (Д. 1, стк. 166–188).

<sup>3</sup> Вместо текста: большой он чудак – было: очень он уж смешон

<sup>4</sup> Далее было: ?

Ж и т о в. Не знаю.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Астролябия, что ли?

Ж и т о в. Не знаю. А как вот вы можете смеяться, удивляюсь я.

И н н а А л е к с а н д р о в н а (*машет рукой*). Э, Василий Васильевич, при нашей жизни, да не смеяться, через неделю ноги протянешь. Вот я вам расскажу... Ехали мы тогда из России сюда<sup>1</sup>, с детьми, со скарбом, делишки-то были плохие – ну, на билеты, одним словом, хватило<sup>2</sup>, а больше и не проси. И уже как это случилось, объяснить не могу, человек я осторожный, копейки никогда не потеряла – а тут: потеряла я билеты все.

Ж и т о в. Где же это? в России?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. В России-то бы еще ничего, а то здесь, за границей. Сидим мы на какой-то австрийской станции, дети, чемоданы, подушки, взглянула я на эти подушки – да как захохочу! Ей-богу! Сейчас весело<sup>3</sup> вспомнить.

Ж и т о в. А скажите, Инна Александровна, я до сих пор толком не разберусь, за что Сергея Николаевича выслали из России?

## ⟨2⟩<sup>4</sup>

Ж и т о в. А вы и в Канаду с Сергеем Николаевичем поедете? На затмение?

И н н а А л е к с а н д р о в н а. В Канаду-то? Поеду. Как же он без меня?

Ж и т о в. Тяжело будет. Далеко.

И н н а А л е к с а н д р о в н а. Пустыки. Только бы тут все обошлось<sup>5</sup>. Господи, Господи, подумать страшно!

Молчание. Вьюга. Колокол.

## ⟨3⟩<sup>6</sup>

В е р х о в ц е в (*Марусе*). Повесить мало этого Трейча! Ну и откопал Никола. Ну, Маруся – ведь убежит, а?

<sup>1</sup> сюда *вписано*.

<sup>2</sup> Было: *есть*

<sup>3</sup> Было: *смешно*

<sup>4</sup> Фрагмент *приблизительно соотносится с текстом ОТ: Житов (не оборачиваясь)*. ~ Колокол. (Д. 1, стк. 413–420).

<sup>5</sup> *Вместо текста: все обошлось – было: благополучно все было*

<sup>6</sup> Фрагмент *приблизительно соотносится с текстом ОТ: Верховцев (Марусе, в восторге)*. ~ Давай улетим! (Д. 4, стк. 470–477).

Маруся (*затуманиваясь*). Я другого боюсь.  
Верховцев. Чего еще?  
Маруся. Но – не стоит говорить! Пустое. Давай полетим!<sup>1</sup>

(4.1)<sup>2</sup>

Верховцев (*раздраженно*). Оттого-то нас и бьют на каждом шагу...

Маруся. Не надо, не надо... Трейч!

Трейч. Надо идти вперед. Здесь говорили о поражениях, но их нет. Я знаю только победы. Но надо идти вперед. Если встретится стена – ее надо разрушить. Если<sup>3</sup> встретится гора – ее надо срыть. Если встретится пропасть –<sup>4</sup> ее надо перескочить.

Маруся. Так. Так!

Трейч. Но надо идти вперед. Если встретится бездна – ее надо перелететь. Если нет крыльев – их надо сделать!

Маруся. Я уже чувствую крылья!

Верховцев. Икар, не приближайся к солнцу!

Трейч. Отчего? Солнце ведь тоже пролетарий!

Лунц. Солнце<sup>5</sup> погаснет.

Трейч. Тогда нужно зажечь другое! Земля – это воск в руках человека. Надо мять – давить – искать новые формы. Но надо идти вперед. Если небо станет валиться на головы, нужно протянуть руки и отбросить его.

(4.2)

Верховцев (*раздраженно*). Оттого-то нас и бьют на каждом шагу...

Маруся. Не надо! Не надо!.. Трейч, да что же вы!..

Трейч (*сдержанно*). Надо идти вперед. Здесь говорили о поражениях, но их нет. Я знаю только победы. Земля – это воск в руках человека. Надо мять – давить –<sup>6</sup> творить новые формы. Но надо идти вперед. Если встретится стена, ее надо разрушить.

<sup>1</sup> Далее было: Г.г. будем

<sup>2</sup> Фрагменты (4.1) и (4.2) приблизительно соотносятся с текстом ОТ: Верховцев (*раздраженно*). Оттого-то нас и бьют ~ Все в возбуждении разбиваются на группы. (Д. 2, стк. 411–438).

<sup>3</sup> Вместо.: Если – было: , если

<sup>4</sup> Далее было: перескочить

<sup>5</sup> Было: Оно

<sup>6</sup> Далее было: а. искать б. созд(ать)

Если встретится гора, ее надо скрыть. Если встретится пропасть – ее надо перелететь. Если нет крыльев – их надо сделать!

<sup>1</sup> В е р х о в ц е в. Хорошо, Трейч! Надо сделать!

М а р у с я. Я уже чувствую крылья!

Т р е й ч (*сдержанно*). Но надо идти вперед. Если земля будет расступаться под ногами, нужно скрепить ее – железом. Если она начнет распадаться на части, ее нужно слить – огнем. Если небо станет валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его – так! (*Отбрасывает.*)

В е р х о в ц е в. У-ах! Так!

Некоторые невольно повторяют позу Трейча<sup>2</sup> –  
Атланта, поддерживающего мир.

Т р е й ч. Но надо идти вперед, пока светит солнце. Товарищи, солнце ведь тоже пролетарий!

Л у н ц. Оно погаснет, Трейч!

Т р е й ч. Тогда нужно зажечь новое.

Л у н ц. Да, да. Говорите!

Т р е й ч. Но всегда и вечно, – надо идти вперед. Товарищи, солнце ведь тоже рабочий!

В е р х о в ц е в. Вот<sup>3</sup> это – астрономия! Ах, черт!

Л у н ц. Вперед, всегда и вечно.

В е р х о в ц е в. Вперед! Ах, черт!

Все, в возбуждении, разбиваются на группы.

## ЦЭ1

- <sup>1</sup> После: К ЗВЕЗДАМ – Посвящается моей матери Анастасии Николаевне Андреевой

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- <sup>4</sup> Терновский Сергей Николаевич / Сергей Николаевич Терновский
- <sup>6</sup> Пятьдесят шесть лет, но на вид кажется моложе / 54 года. Моложав.
- <sup>10-11</sup> Терновская Инна Александровна. Жена его, тех же почти лет / Инна Александровна, жена его, тех же почти лет.
- <sup>14</sup> Дети Терновских / Дети

<sup>1</sup> Далее было: Маруся.

<sup>2</sup> Далее было:).

<sup>3</sup> Далее было: так

- 13–14 А н н а, 25 лет. Красива и суха, одета не к лицу. / А н н а.  
25 лет. Одета некрасиво, не к лицу. Пенснэ.
- 15–17 П е т я, 18 лет. Бледный, изящный, хрупкий; черные вью-  
щиеся волосы; белый отложной воротник / П е т я, 18 лет.  
Нежен, мягок, легко вспыхивает.
- 18–19 М у ж А н н ы. Лет 30. / М у ж А н н ы. Лет 30. Рыжий  
24 Механичен. Курит сигары – *нет*.
- 26–32 Привычка обращаться ~ южанина-семита – *нет*.
- 35–36 Своеобразно красив – *нет*.
- 37–39 красивый; сильно изогнутые брови ~ несловоохотлив /  
серьезен и не словоохотлив. Похож на Левитана.
- 40–42 Ш м и д т. Молод. Маленького роста; мелкие, но правиль-  
ные черты лица; одет тщательно; говорит тонким голо-  
сом. Имеет вид незначительный. / Ш м и д т, 26 лет, име-  
ет вид незначительный, говорит тонким голосом.
- 43 М и н н а – служанка – *нет*.
- 44 Ф р а н ц – *нет*.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

- 79 (*прислушивается*) / (*прислушиваются*)
- 99 Может быть, там уже полная победа / Может быть, там  
уже республика?
- 99–100 Может быть ~ на развалинах старого – *нет*.
- 117 чайку / чайку-то
- 121–122 и к горам этим и к безлюдью – *нет*.
- 125 подымется запах / поднимается запах
- 130 года у меня с ним / года у нас с ним
- 132–133 нету березки / нет березки
- 135 А если б / А если бы
- 139 старухам / старушкам
- 144 (*смеясь*) / (*смеется*)
- 146 Я ведь / Я вот
- 192–193 вот двенадцать лет на камнях и живем / вот двенадцать  
лет и живем
- 207 Миндаль уже отцвел, пожалуй – *нет*.
- 233 Сама ж / сама же
- 235 изболелось / разболелось
- 258–259 А меня они и дразнят до сих пор / А меня они и дразнят  
с тех пор
- 265–266 нет ничего страшнее / ничего нет страшнее
- 302 но я удивляюсь / но и я удивляюсь
- 302–303 силе его мозга. Трение / силе его мозга. Это изумитель-  
ный мозг! Трение.

308 числа и цифры – живые / цифры и числа – живые  
322 Вы мне скажите / Вы мне скажете  
330 Поллак уходит во вторую комнату / уходит  
347 Петя опять нервничает / Петя очень нервничает  
360 Иной раз и рад бы / Иной раз я и рад бы  
493 в горах / в дороге  
493–494 Целый день. Нас чуть не схватили на границе – *нет*.  
514 рядом с Колей / вместе с Колей  
517 Николая ранили / Николай был ранен  
522 Ф р а н ц (*входит*). Господин профессор / Ф р а н ц. Про-  
фессор  
541 Вот скажите, какая девушка / Вот скажите, вот какая де-  
вушка  
554 над землей / над землею  
583 Разве там еще есть тюрьмы? / Разве там есть еще тюрь-  
мы?

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

2 Все залито солнцем – *нет*.  
6 на которой расположена / на какой расположена  
8 Полное отсутствие растительности – *нет*.  
29–30 в ней и неба-то не видно / в ней небо-то не видно  
32–33 расстреляли / расстреляют  
58 кое-кому пригодится / кому-нибудь да пригодится  
84 При всем иногда явном безумии / При своем иногда  
явном безумии  
85 Говорит немного / Говорит мало  
92 Ты знаешь? Николай в тюрьме. / Ты знаешь, что Нико-  
лай в тюрьме  
97 поедemте со мной / поедemте со мною  
115 Колесован. – *нет*.  
146 со временем окажет массу услуг / со временем он  
окажет массу услуг  
178–179 он ведь такой крепкий / он такой ведь крепкий  
195 у меня под юбкой / у меня еще под юбкой  
197–198 какое оно тяжелое / какое же оно тяжелое  
202 Черт возьми, а? – *нет*.  
215 Коля велел вам оставаться здесь / Коля велел оста-  
ваться вам здесь  
219 на границе / по дороге  
224 Голубчик, я так счастлива! / Давай улетим!  
236 богатый человек, очень богатый / богатый человек

307 Вы как будто против науки / Вы, следовательно, против науки  
314 людям себе кровь портить / людям кровь себе портить  
314–315 подымитесь же / поднимитесь же  
315–316 не давайте / не отдавайте  
321–322 прошу вас / попрошу вас  
325–326 белье приготовить, так хлопот много / белье приготовить, и так хлопот много  
339 комету Биелу / комету Беллу  
342 А вы ее понимаете, господа? / А вы ее понимаете?  
344 нужно было бы рвать волосы / нужно было рвать волосы  
350 во всей вселенной / во вселенной  
397 Путь к звездам всегда орошен / Путь к звездам также орошен  
433 И пока оно будет гореть, всегда и вечно / И так, оно будет гореть всегда и вечно  
434 солнце ведь тоже рабочий / солнце ведь тоже пролетарий  
464 они были убиты / они убиты  
470 повесить мало Трейча / повесить мало этого Трейча  
488 (холодно) – нет.  
520 слышать / слушать  
523 (отмахивается рукой) / (отмахиваясь рукой)  
523 Да, да. Я верю, я верю вам / Да. Я верю вам  
545–546 М а р у с я (запевает). Небо так ясно, – солнце прекрасно, – солнце зовет / М а р у с я (запевает). Солнце сверкает – солнце играет – солнце поет  
558–559 В с е (за сценой). Слава могучему солнцу! Солнце – властитель земли!.. – нет.

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

3 два книжных шкапа / два книжных шкафа  
8 из шкапов / из шкафов  
34 Житов, вы что там делаете? / Житов, что вы там делаете?  
42 было бы двадцать один год уж / было бы 21 уж год  
49–50 сегодня все о покойниках / сегодня все о покойниках да о покойниках  
65 о чем говорить / о чем говорите  
80 откуда у вас в кухне / откуда у нас на кухне  
82 из долины / из кантона  
82–83 Нищенка, что ли, глухая, у нее не поймешь / Нищенка, что ли, у нее не поймешь  
85 теща – нет.  
86 А что ты думаешь? / А ты что думаешь?

- 87 Ты почитал бы / Ты почитал бы, что Марусечка о голод-  
ных детках пишет? Мамочка, хлеба хочу, ну и пошла  
мать за хлебом, и уже как она его там достала, и гово-  
рить не стоит... Пришла, а девочка-то уже мертвая.
- 88 П е т я (*настойчиво*). Мама, как она взошла? – *нет*.
- 89–90 И н н а А л е к с а н д р о в н а. Да не знаю, голубчик.  
Ты почитал бы – *нет*.
- 90–92 что Марусечка о голодных детях пишет ~ а девочка-то  
уже мертвая – *нет*.
- 95 Пусть умирают. / Пусть и умирают!
- 112 Тем и лучше / тем лучше
- 122 Иосиф Абрамович / Иосиф Абрамыч
- 138 очень колеблется / очень сильно колеблется
- 141 Вам я уж не говорю / Вам я уже не говорю
- 145 Колюшку / Колю
- 145–146 так? сразу? / так сразу?
- 154 в десять часов тридцать семь минут / в 10 часов  
и 37 минут
- 166 в этом году / в нынешнем году
- 178 Иосиф Абрамович / Иосиф Абрамыч
- 263 Зачем вы сказали это? / Зачем вы это сказали?
- 266–267 убили мать, и отца, и сестру / убили отца, и мать, и сестру
- 274 стану знаменитым ученым / стану знаменитый ученый
- 276 надо мной / надо мною
- 282 Вот как я любил науку! / Вот как любил я науку
- 288 не спокоен / не покоен
- 296 над моей головой / над моею головой
- 301–302 Боже отмщений / Бог отмщений
- 337 Еще раз поздравляю / Еще, еще раз поздравляю
- 346 или вы так – один и один / или вы также один и один?
- 366 (входит Петя и оглядывается) / (входит Петя, оглядывается)
- 394 все один черт / один черт
- 402 (*хочет уйти*) / (*хочет уходить*)
- 424–425 не хорошо, не нужно шутить / не хорошо, не хорошо шу-  
тить
- 429 трясет головой / трясет голову
- 475 Вы идете со мной, Лунц / Вы идите со мною, Лунц
- 480 Я иду с вами / Да я иду с вами

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

- 2 Одной третью своей / одной третью свою
- 9–10 Сергей Николаевич, Петя и Поллак / Сергей Нико-  
лаевич, Поллак и Петя

- 16 (обращаясь к Пете) / (прощаясь с Петей)  
38–39 Она все толкует, папа, о Коле / Она все тоскует,  
папочка, о Коле  
40 ничего неизвестно / ничего же не известно  
40–41 От Анны нет известий? – *нет*.  
42–44 Она не любит писать письма. Конечно, ничего еще неиз-  
вестно, я все время твержу это маме, но ты знаешь, как  
трудно говорить с женщинами / так-то так  
44 я не буду мешать тебе / я не буду тебе мешать  
46 Я что-то устал / Я что-то устал немного  
73–76 Чтобы заполнить страшную пустоту, он много выдумыва-  
ет, красиво и сильно, но и в вымыслах – он говорит  
только о своей смерти, только о своей жизни, и страх  
его растет / Художественным вымыслом он старается  
заполнить пустоту, но и в нем он говорит только о сво-  
ей смерти.  
84–91 Его мысль рождена птицей ~ как греку, как язычнику. /  
Когда люди перестанут читать глупые романы, а будут  
изучать астрономию и химию, с ними произойдет то  
же, что с слепым от рождения, который внезапно про-  
зрел: они увидят новый мир. Все вокруг станет жи-  
вым, и жить будет весело, как грекам, как язычникам.  
Бедная царица – *нет*.  
89 с деревьями / березами  
93 Папочка, не сердись / папочка, ты не сердись  
118 у арабов были лучше / у арабов было лучше  
142 я могу чувствовать что-нибудь / я могу что-нибудь чув-  
190 ствовать  
202 вашу нежную ручку / эту нежную ручку  
205 Пойдем туда / пойдете туда  
211–212 А я сидел здесь с Петей. Он такой милый мальчик! – *нет*.  
224–225 он напоминает мне звездное небо перед зарею /  
Он напоминает мне звездное небо. Звездное небо пе-  
ред зарею.  
306 Да, он некрасив / Да, очень некрасив  
329 Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду делать / Да. Я знаю  
теперь, что я буду делать  
334 Мне жаль тебя, Маруся – *нет*.  
346 Нет, я не пойму тебя / Нет, я никогда не пойму тебя  
364–366 Если бы солнце висело ниже, они погасили бы солнце ~  
Свет отняли! (*топает ногой*) – *нет*.  
388 один бессмертный дух / бессмертный дух

- 393 В тот миг, как при случайной встрече / Когда при случай-  
ной встрече  
395 уже в этот миг / уже в это мгновение  
396–398 Великий простор небес ~ господина – *нет*.  
400–408 Но я хочу ~ далекий друг! / И когда моему взору удастся  
проникнуть дальше, чем проникал когда-либо челове-  
ческий взор, и когда мне удастся разгадать еще одну  
маленькую, от века сокрытую тайну, я радуюсь и гово-  
рю в века и пространства: привет тебе, сын вечности,  
привет тебе, мой неизвестный и далекий друг!  
416 А Николай? А сын твой? / А Николай?  
432 свершает / совершает  
433–434 мой неизвестный, мой далекий друг / мой неизвестный  
далекий друг  
438–439 поддерживать вечный суждено огонь / суждено поддер-  
живать вечный огонь

*Варианты прижизненных изданий*  
(Шт, СбЗн, Зн, Пр)

- 2 После: Драма в четырех действиях – Посвящаю матери  
моей Анастасии Николаевне Андреевой. Леонид Ан-  
дреев (Шт, Зн)  
10 Терновская / *нет* (Шт)  
17 отложной воротник / откладной воротник (Шт)  
40 Шмидт / Штольц (Шт)<sup>1</sup>  
43 Минна – служанка – *нет*. (СбЗн)  
44 Франц – слуга – *нет*. (СбЗн)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

- 52 ко Христу / к Христу (Шт)  
80 у нас такой не бывает / у вас такой не бывает (Шт, СбЗн,  
Зн, Пр)  
92 что там делается! / что там делается, что там делается!  
(Шт, СбЗн, Зн)  
113 тихо Житову / тихо, Житову (СбЗн, Зн, Пр)  
117 чайку бы выпила / чайку-то бы выпила (Шт, СбЗн, Зн,  
Пр)  
141 Жили бы вы тут / Жили бы тут (Шт, СбЗн, Зн, Пр)

<sup>1</sup> Такое соотношение вариантов в Шт сохраняется далее до конца пьесы.

- 144 смеясь / смеется (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 146 Я ведь в Австралии / Я вот в Австралии (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 164 я уж не говорю / я уже не говорю (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 172 у вас есть инструмент / у нас есть инструмент (*Шт*)  
 189 его не выслали / не высылали (*Шт, СбЗн, Зн*)  
 224 в одном доме убивают / когда в одном доме убивают (*Шт, СбЗн*)  
 233 я посылала / я его посылала (*Шт, СбЗн*)  
 234 ты измучишься / ты измучаешься (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 302–303 ничего страшнее / ничего страшней (*Шт, СбЗн*)  
 силе его мозга. / силе его мозга. Это изумительный мозг. (*Шт, СбЗн*)  
 322 Вы мне скажите / Вы мне скажете (*Шт, СбЗн*)  
 330 Поллак уходит во вторую комнату / Поллак уходит (*Шт, СбЗн, Зн*)  
 336 Петечка, голубчик / Петичка, голубчик (*СбЗн, Зн, Пр*)  
 392 Минна принесит / Минна пронесит (*Шт, СбЗн, Зн*)  
 538 на одну минуту / не одну минуту (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 541 Вот скажите, какая девушка! / Вот скажите, вот – какая девушка! (*Шт*) / Вот скажите, вот какая девушка! (*СбЗн*)  
 551 Проклятье! / Проклятые! (*Шт, СбЗн, Зн*)  
 575 Они борются / Они ссорятся (*Шт*)  
 578 на ходу бросает / на ходу говорит (*Шт*)

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

- 24 А как вам бы шло / А к вам бы шло (*Шт, СбЗн, Зн*)  
 29–30 в ней и неба-то не видно / в ней неба-то не видно (*Шт*)  
 37 пением разбудила / пеньем разбудила (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 85 Говорит немного / Говорит мало (*Шт, СбЗн*)  
 86–87 Выражаясь вашим астрономическим языком / Выражаясь нашим языком (*Шт*)  
 92 Ты знаешь? Николай в тюрьме / Ты знаешь, что Николай в тюрьме? (*Шт, СбЗн*) / Ты знаешь, Николай в тюрьме? (*Зн*)  
 103 А вот и наши! / А вот и ваши! (*Шт*)  
 128 где гуляют – лишь ветер да я / где гуляет лишь ветер да я (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)  
 133 произносите совершенно так же / произносите это совершенно так же (*Шт, СбЗн*)  
 167 приветствуют его / все приветствуют его (*Шт*)

- 171 ссылаясь на общественное мнение / ссыалась на обще-  
 ственное мнение (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 178 он ведь такой / он такой ведь (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 231 Нужно пять / А нужно пять (*Шт*)
- 260 скверно, уважаемый звездочет / скверный, но, ува-  
 жаемый звездочет (*СбЗн, Зн, Пр*)
- 262 далеко до гармонии / далеко до гармоний (*СбЗн, Зн, Пр*)
- 276 Вот что, Поллак / Вот что, господин Поллак (*Шт, СбЗн,  
 Зн*)
- 307 Вы как будто против науки / Вы, следовательно, против  
 науки (*Шт, СбЗн*)
- 309 чтобы уклониться / чтобы уклоняться (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 321–322 прошу вас / попрошу вас (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 326 так хлопот много / и так хлопот много (*Шт, СбЗн*)
- 329 Млечный Путь / млечный путь (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 329–330 большею частью / большей частью (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 339 Когда я увидел комету Биелу / Когда я видел комету  
 Беллу (*Шт, СбЗн*) / Когда увидел комету Беллу (*Зн, Пр*)  
 по-вашему / по-нашему (*Шт*)
- 354 Джордано Бруно / Джордано Бруно (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 356 солнце ведь тоже рабочий! / солнце ведь тоже пролетар-  
 рий! (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 434
- 488 Ма р у с я (*холодно*). / Ма р у с я. (*Шт, СбЗн*)
- 516 как пивка / как пьавка (*Шт*)
- 521 не в вашу пользу / не в нашу пользу (*Шт*)

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

- 3 два книжных шкапа / два книжных шкафа (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 8 У одного из шкапов / У одного из шкафов (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 23 медленно садится / неловко садится (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 49–50 все о покойниках / все о покойниках да о покойниках  
 (*Шт, СбЗн*)
- 80 откуда у вас / откуда у нас (*Шт*)
- 91 и уж как она / и уже как она (*Шт*)
- 95 Пусть умирают / Пусть и умирают (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 99 что-то дикое на рояле / что-то дикое на рояли (*Шт,  
 СбЗн, Зн*)
- 102 Да ну, Петечка / Да ну, Петичка (*Пр*)
- 103 крышку рояля / крышку рояли (*Пр*)
- 112 Тем и лучше / Тем лучше (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 112 вот и займитесь / вот и займетесь (*Шт, СбЗн*)
- 122 у всех нас / у всех вас (*СбЗн, Зн, Пр*)

- 141 Вам я уж не говорю / Вам я уже не говорю (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 148 как вы уедете / как вы еще уедете (*Шт*)
- 154 в десять часов тридцать семь минут / в десять часов и тридцать семь минут (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 160 я уже имею / уже я имею (*Шт*)
- 169 И как-то вы / И как это вы (*Шт*)
- 271–272 Когда еще был / Когда я еще был (*Шт, СбЗн*)
- 274 стану знаменитым ученым / стану знаменитый ученый (*Шт*)
- 306 и выходит / и уходит (*Шт*)
- 325 Горе с вами / Горе с нами (*Шт*)
- 345 смотрю я так / смотрю я этак (*Шт, СбЗн*)
- 366 входит Петя и оглядывается / входит Петя, оглядывается (*Шт*)
- 397 в которой все могли бы / в которой все бы могли (*Шт*)
- 423 Петечка, нехорошо / Петичка, нехорошо (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 454 Выпрямьте ваш стройный стан / Выпрямите ваш стройный стан (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 463 перед вами на коленях / перед вами на коленях (*СбЗн, Зн*)
- 484 стоя на коленях / стоя на коленях (*СбЗн, Зн*)

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

- 2 В правом углу / На правом углу (*Шт*)
- 39 все толкует / все тоскует (*Шт*)
- 79–80 среди смертей, неживого, бездушного / среди неживого, бездушного (*Шт*)
- 85 свободной царицей / свободной царицею (*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 87 сквозь сетку дразнит ее / сквозь сетку только дразнит ее (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 102 шкапы / шкафы (*Шт, СбЗн*)
- 125 Кончено, читаю / Конечно, читаю (*Шт*)
- 138–171 Сергей Николаевич. Петя, ты знаешь ~ Такому дереву завидовать бы стало!..” – нет (*Шт*)
- 149 Нам твердь / Вам твердь (*СбЗн, Зн, Пр*)
- 179–180 Сергей Николаевич (*повторяет*) ~ завидовать бы стало!..” – нет (*Шт*)
- 205 Пойдем туда / Пойдемте туда (*Шт, СбЗн*)
- 224–225 он напоминает мне звездное небо перед зарею. / он напоминает мне звездное небо. Звездное небо перед зарей. (*Шт*)

- 227 Да. Звездное небо перед зарею / Да. Звездное небо  
перед зарей. (*Шт*)
- 232 падая на колени / падая на колена (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 241 куда Он смотрит? / куда он смотрит? (*Шт, СбЗн,  
Зн, Пр*)
- 258 Между мною и небом. / Между мною и небом?  
(*СбЗн, Зн*)
- 261 Били руками, ногами, их топтали / Били руками – нога-  
ми их топтали (*Шт, СбЗн*) / Били руками – ногами  
и их топтали (*Зн*) / Били руками, ногами и их топ-  
тали (*Пр*)
- 270 защищал предо мною / защищал передо мною  
(*Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 279 Когда вчера вели его / Когда вчера его вели (*Шт, СбЗн*)
- 337–338 дома – убийцы, предатели / дома – убийц, предатели  
(*Шт, СбЗн*)
- 350 я вижу космос / я вижу Космос (*Шт*)
- 363 Колюшка, мой Колюшка... / Колюшка мой, Колюшка...  
(*Шт*)
- 379–380 Да. Да. Он погибнет, Маруся / Да. Да. Он погибнет. Он  
погибнет, Маруся (*Шт, СбЗн*)
- 380 жизнь срезает / жизнь срезывает (*Шт, СбЗн*)
- 393 как при случайной встрече / при случайной встрече  
(*СбЗн*)
- 399 смеется над вами! / смеется над ними! (*Шт*)
- 402 и настигает то, / и постигает то, (*Шт*)
- 402 никогда еще не видел / никогда, – никогда еще не видел  
(*Шт*) / никогда, никогда еще не видел (*СбЗн, Зн, Пр*)
- 412–413 я не знаю, кто обитает там... Как подстреленная птица /  
я не знаю тех, кто обитает там – как подстреленная  
птица (*Шт*) / я не знаю тех, кто обитает там. – Как  
подстреленная птица (*СбЗн, Зн*)
- 419 Джордано Бруно / Джиордано Бруно (*Шт, СбЗн, Зн,  
Пр*)
- 439–440 поддерживать вечный суждено огонь / суждено под-  
держивать вечный огонь (*Шт, СбЗн, Зн*)
- 454 3 ноября 1905 г. – нет (*Шт*)

## ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

(С. 246)

*Редакция рассказа из журнала “Весна”*

### ЦАРЬ

Он жил недолго, как всякий человек, и умер давно: тысячи лет прошли с тех пор, как он умер, и от всей жизни его, от его царства и великих дел осталось в мире столько, сколько остается от громко сказанного слова. Все поглотило великое безмолвие времени, и только странное имя его живет среди нас, как призрак, лишенный плоти, как мертвец, безнадежно ищущий могилы. И мне жаль его: чуждое всем и никому не нужное, печально бродит оно по чуждой земле, среди чуждых людей, покорно является на редкий и равнодушный зов, – и снова уходит, печальное, одинокое, как мертвец, ищущий могилы.

Гордое и несчастное имя, пусть останется оно добычею забвения. Был царь. Он жил недолго и умер давно. Тысячи лет прошли с тех пор.

У него было красивое и сильное тело, соразмерное во всех частях своих, и, лежал ли он спокойно, отдаваясь царственной думе, или бешено гнался за дикими зверями пустыни, всегда казалось, что музыка играет. И лицо его было прекрасно. Глубокой ночью, когда погаснет свет и тьма полуночи разрушит чары времен, раскрой широко глаза, и смотри долго, и смотри долго. Заволнуется бесшумно мрак и родит из себя бледный и печальный образ, бледный, печальный и строгий, как песок пустыни, побеленный луною. Тускло взглянут на тебя огромные глаза, и смутен и призрачен будет строгий и прекрасный лик – ведь тысячи лет прошли с тех пор, как он умер.

Лучший из людей, он был властителем города, лучшего из городов, какие стояли на земле. Глубокою ночью, когда погаснет свет и тьма полуночи разрушит чары времени, уйди в пустыню и стань недвижимо, и слушай долго, и слушай долго. Вздрогнет безмолвие ночи и смутным гулом бесчисленных голосов всколыхнется зыбкий воздух пустыни. Ликующие смелые крики и яркий смех, и протяжные долгие вопли; звон цепей, лязг оружия, воинственные и дикие завывания труб, голос женский и нежная песня, беспокойная нежная песня о чем-то далеком-далеком: о радости

мгновенных встреч, о горечи вечной разлуки, о чьей-то жизни, о чьей-то смерти. Много скажет пустыня тому, кто понимает шорох песка, взметаемого ветром, и тревожный лепет гибкого тростника; кто в долгие часы одинокого раздумья внимал тысячеустому говору морской волны, болтливой хранительницы нераздельных тайн.

Но бледны, но призрачны и печальны будут протяжные голоса – ведь тысячи лет прошли с тех пор, как умер большой и веселый город, и все, кто жили в нем.

Остались безыменные камни. На них греются под солнцем властительницы-змеи, а ночью, когда луна озарит пустыню и к небу вознесет ее туманные границы, тяжелые камни сделаются воздушными и молчаливо-звонкими, как легкие сны, близкие к пробуждению. И станут они рядами и примут личину величественных зданий и храмов, и черную тень бросят на голубой песок. И неподвижные, округло-ломаные тени затрепещут призраком далекой и чуждой жизни: в фантастических очертаниях своих они явят образ людей и животных, и много увидишь ты странно знакомых лиц, неподвижно распростертых на песке. Есть там камень, исщербленный обломок колонны; он бессильно и тяжело оперся на другие круглые камни, и каждую ночь, когда светит луна, он послушно чертит на песке огромный и грозный образ умершего царя. Вот прямая, строго прекрасная линия носа и лба; вот скорбно стиснутые царственные губы; вот черная борода в округлых завитках – огромная, грозно красивая голова на гордо изогнутой шее.

Так в таинственном полете времен роднится со смертью жизнь.

*15 февраля 1904*

# Комментарии



## ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

в 1904–1905 гг.

1904 год Леонид Андреев встретил на волне жизненного и творческого подъема: он наконец-то, после десятилетия крайне неблагоустроенного существования в Москве, переселился (осенью 1903 г.) с женой, сыном Вадимом и матерью в просторную и удобную квартиру в уютном особняке на Пресне. Его первый сборник рассказов выдерживает уже девятое издание, а в марте 1904 г. в свет вышла повесть “Жизнь Василия Фивейского”, которая вызвала многочисленные отзывы в прессе и приблизила его к ряду ведущих литераторов того времени. Весной он впервые выезжает с семьей на отдых в Крым, а не на подмосковную дачу в Царицыне или Бутове.

В конце января началась Русско-японская война, катастрофическое поражение в которой положило начало мощному социально-политическому подъему в стране, приведшему через год к первой русской революции.

Война, а также сама ее атмосфера, всколыхнувшая и во многом переменявшая российское общество, вызвали в писателе глубокий отклик. В мае 1904 г. он пишет директору-распорядителю (и соредктору) сборников “Знание” К.П. Пятницкому из Ялты: «Действительно, творится какая-то всероссийская чепуха. Можно осатанеть от злости, живя в этой проклятой России, стране героев, на которых ездят верхом болваны и мерзавцы. Если война не закончится революцией, то наступит такая черная, глухая, беспросветная реакция, от которой на стену полезешь. Сижу я здесь, спиной к России, и чувствую, как она там стонет, рычит, дичает, воеет с голоду, с тоски, с бессмыслицы. Самодержавная бессмыслица – кошмар, а не жизнь. (...) Seriously, очень хотелось бы знать, как отразилась война на “знаньевских” делах. Не думаю, однако, чтобы застой был продолжительным. Отпадет “случайный” читатель, тот, что еще привыкает только к книжке и колеблется на границе бульварного романа и серьезной беллетристики, и срединный интеллигент настолько уже обескультурен, что долго оставаться дикарем и глазеть хотя бы и патриотическими очами на резню и убийства – не может. Одно верно: мне, Скитальцу, Вересаеву и многим другим придется делать свою литературную карьеру почти сызнова – глубоко уйдет в прошлое то, что было до войны. И читатель будет новый, и требования у него будут новые, и песни ему нужно петь новые, и благо тому, у кого есть слух и голос. Очень для многих из нас, еще во цвете лет сухих, – начинается

уже история. Конечно, какая будет война – ежели простая драка, так и говорить о ней нечего, но если нас будут долго и серьезно колотить, слово мое сбудется» (ЛН72. С. 508).

На этот вызов времени Андреев ответил повестью “Красный смех” – ярким пацифистским опусом, написанным будто бы с позиции литератора, “делающего свою литературную карьеру почти сызнова”. Поразивший современников стиль повести (в которой будущие историки литературы увидят воплощенный образчик экспрессионизма – литературного и художественного направления, де-юре оформившегося в Европе только через несколько лет) оказался своеобразным плавильным тиглем, в котором алхимически были преобразены реалии войны, известные писателю из газет (многочисленные переключки между образами “Красного смеха” и эпизодами из военных репортажей приведены в комментариях). Из писем и ранних набросков мы узнаем, что первоначальный замысел был футурологически-фантазийным: это должна была быть повесть о *будущей* войне – в рационально обустроенном, разумном, долгое время пребывавшем в состоянии мира обществе она оказывалась случайно зародившимся “безумием и ужасом”. Позже акценты меняются: изображаемая война становится близкой по времени, и нарастает ощущение переживания ее изнутри, внешняя событийность становится категорией экзистенциальной; недаром Андреев многократно жаловался в письмах на собственное почти пограничное психическое напряжение во время работы над ней. (Добавим к этому удивительный штрих: в одном из вариантов повести “Война” (раннее название “Красного смеха”) появляется описание Диди – собственного малолетнего сына Вадима, причем в нем использованы реалии, почерпнутые из дневника о первых годах жизни Диди, который вел сам писатель и его жена!)

Любопытно, что, видимо, почти параллельно или чуть позже вызревал сюжет о войне в совсем иной, во многом противоположной “Красному смеху” манере: о двух странных сестрах-аристократках, отправившихся на театр военных действий (“Две сестры”). Сохранилось только начало рассказа (добротное и неспешное повествование, окрашенное в мягко-юмористические, “диккенсовские” тона), но о самом замысле можно судить по характеристике, данной ему автором в письме Г.И. Чулкову: “(...) нечто бессюжетное, на тему о злых и добрых людях, о войне, о бедности и богатстве, о любви к России” (*Письма Чулкову*. С. 13).

Первая русская революция преобразила Грузины – тихий район Пресни, где жил Андреев. 9 февраля 1905 г. Андреев арестован за предоставление своей квартиры для нелегального заседания ЦК РСДРП и посажен в Таганскую тюрьму (см.: *Пухов Ю.С.* Л. Андреев и Скиталец в революции 1905–1907 годов: (По документам Департамента полиции) // Революция 1905 года и русская литература. М.; Л., 1956. С. 418–421), откуда выпущен 25 февраля под залог в 10000 рублей, внесенный Саввой Морозовым. Последующие события охарактеризованы писателем в письме К.П. Пятницкому от 24 октября 1905 г.: «(...) жизнь в Москве для меня становится невозможной. И через участок, и другим путем

(толпа, собирающаяся ночью у двери и выражающая желание “убить с[вол]очь” и т.п.) я получаю предостережения и уже два раза должен был переключиваться с семьей на разные квартиры. В связи со всякими личными делами это делает положение скверным, утомительным: мешать работать и просто жить. (...) И решили мы с Шурой так: уехать месяца на 3 за границу, и как можно скорее» (*Письма Пятницкому*. С. 169). В ноябре 1905 г. писатель вместе с сыном и женой, ожидающей ребенка, уезжает в Германию.

Непосредственная вовлеченность в московские события 1905 г. лишь позже отразится в произведениях писателя (подчас в весьма преобразованном ракурсе, например в реплике персонажа, в первом действии пьесы “Дни нашей жизни” обозревающего панораму Москвы с Воробьевых гор: “Из Таганской тюрьмы, из сто двадцать девятого, Воробьевы хорошо видны. Значит, и Таганку отсюда можно рассмотреть”). Однако созданный осенью “рассказ из эпохи французской революции” “Так было” в целом окрашен в весьма пессимистические тона в отношении *любой* революции. Это задело Максима Горького, отметившего в мемуарах: «(...) в октябре 1905 г. (Андреев) прочитал мне в рукописи “Так было”».

– Не преждевременно ли? – спросил я.

Он ответил:

– Хорошее всегда преждевременно...» (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 345).

Творческая и человеческая близость с Горьким в этот период, вероятно, переживает свой апогей: Андреев в обязательном порядке “читает в рукописи” или в рукописи посылает на отзыв старшему собрату по искусству и ближайшему другу почти каждое свое произведение и с нетерпением ждет его реакции. Горький же нередко раздражается обстоятельным анализом присланной вещи. Однако интенсивная полемика между двумя писателями вокруг рассказа “Из глубины веков” показывает существенные разногласия, возникавшие между ними даже в этот, самый радужный период отношений по кардинальным мировоззренческим вопросам – в данном случае задевающие проблему природы и границ человеческой свободы. В наст. изд., в комментариях к рассказу, публикуются скрупулезные пометы Горького на андреевской рукописи, это разномыслие отражающие. Отметим, что, вероятнее всего, не без влияния горьковской критики, при жизни Андреев опубликовал рассказ лишь в весьма урезанном варианте, но фактически до конца своих дней мечтал претворить положенный в его основу библейский сюжет о безумии царя Навуходоносора – как попытке прорыва к высшей свободе – в форме трагедии.

В рассказе о психиатрической лечебнице “Призраки” писатель изобразил двух безумцев: благостного оптимиста, летающего по ночам во сне с Николаем Угодником, дабы совершать добрые дела и спасти попавших в беду, – и “больного, который стучит”, пытаясь открыть любую затворенную дверь. Последний образ чрезвычайно восхитил Горького; в интерпретации же автора эта пара персонажей в какой-то мере отражала

и различия в мироотношении двух художников. Горький вспоминал: «А по поводу “Призраков” он сказал мне:

– Безумный, который стучит, это – я, а деятельный Егор – ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни» (Там же. С. 337).

Широкую общественную (выходящую за собственно литературно-художественные рамки) полемику в обозреваемый период породили две повести: уже упомянутый “Красный смех” и резонирующий не с войной, а с начавшейся революцией “Губернатор”. “Злободневная” составляющая последнего произведения вызвала ряд негативных интерпретаций, прежде всего со стороны радикально настроенных рецензентов (В. Кранихфельд, А. Луначарский, Ю. Александрович), в целом игнорировавших символику и психологическую структуру “Губернатора” – который, вместе с тем, в будущем оказался одним из немногих творений Андреева, удостоившихся, например, одобрения даже такого сурового к творчеству писателя в целом историка литературы, как Д.С. Святополк-Мирский (*Мирский Д.С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. Л., 1992. С. 615*).

Впрочем, возможность даже косвенной интерпретации бурных дней девятьсот пятого была ограничена и цензурно. А когда писатель замыслил создать произведение более радикального характера, то, по свидетельству мемуариста, даже не планировал его появления в российской печати: «(…) он сообщил, что собирается написать рассказ “К оружию, граждане!”, в котором будет призыв к войне, именно к войне народа с тиранией правительства. Эту вещь он намерен опубликовать за границей» (*Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Изд. подгот. К. Азадовский. М., 2008. С. 403*).

Вероятно, в наибольшей степени революционные события отозвались в первом появившемся в печати драматическом произведении Андреева – драме “К звездам”<sup>1</sup>. Именно в связи с соответственным пафосом пьеса хотя и вышла в свет, но сразу же была запрещена к постановке театральной цензурой, последующие попытки преодолеть которую (предпринимавшиеся и руководством Художественного театра) также потерпели неудачу. В отличие от рассказа “Так было”, радикальная критика в целом встретила ее положительно.

Следует отметить существенные различия между опубликованной версией и первой редакцией драмы. Последняя (особенно в сопоставлении с публикуемыми в наст. изд. самыми ранними набросками)

---

<sup>1</sup> Попытки писать в этом роде литературы Андреев делал и ранее (см., например: *Бабичева Ю.В. Незавершенная драма Леонида Андреева “Закон и люди” // Русская литература XX века: (Дюктябрьский период): Сб. статей. Калуга, 1968. С. 254–265; Козьменко М.В. У истоков драматургии Леонида Андреева: Незвестная пьеса о законе и жизни человека // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. 2012. № 4 (48). С. 192–198*).

интересна не только иным развитием фабулы, но и зачатками новаторской поэтики. В ранней редакции “дело происходит в небольшом губернском городе, известном своей обсерваторией”, т.е. в России. Сюжетной сердцевиной в композиционном плане остается диспут тех же героев-интеллигентов в пространстве обсерватории. Но его обрамляют (в начале и финале пьесы) сцены, в которых участвуют персонажи, в перечне действующих лиц лаконично обозначенные одним словом – “толпа”. “Кабинетной” драме-диспуту здесь противопоставлено “действие”, уличное, массовое и массовидное, обезличенное, “хоровое”, заставляющее вспомнить аналогичные сцены в написанной годом ранее повести “Красный смех” и – одновременно – в рожденном три года спустя экспрессионистском “представлении” “Царь Голод”.

“Метафабулой” для введения этих эпизодов становятся две грандиозные космические “декорации”: явление кометы (в начале пьесы) и солнечное затмение (в ее финале). Темная толпа, со страхом наблюдающая комету и встревоженная слухами о приближающихся голоде и эпидемии, склонна винить во всем господ; в конце концов эта общность персонализируется в фигуре астронома (который, как судачат, скорее всего своими магическими действиями и вызвал комету), и когда наступает затмение, толпа врывается в обсерваторию и убивает звездочета. Уже в первом наброске к пьесе интенсивно явлено искание стилистических средств, которые должны воплотить новаторскую и сложную даже для опытного драматурга задачу. Писатель, задолго до “Жизни Человека” и “Царя Голода”, дает оригинальное решение массовой сцены посредством “хоровой” организации действия, когда персонажи с конкретными именами заменяются анонимными голосами – обезличенными “ярлыками”: Первый (Второй) старик, Старческий (Детский) голос, Первый (Второй) женский голос, Первый (Второй) молодой голос, Грубый (Суровый; Негодующий; Наивный) голос, Первый (Второй) мужик, Кто-то, Высокий... Характерны синтаксические и лексические повторы, “контрапунктивно” или “унисонно” объединяющие формально самостоятельные голоса. Сценографическое обезличивание, “алгебраизация” толпы подчеркивается в начале пьесы особенным освещением составляющих ее фигур, которое исходит от восходящей в вечернем небе кометы (благодаря чему, как указано в ремарке, видны только контуры носителей “голосов”), и абсолютной темнотой – в ее финале (толпа врывается в обсерваторию как раз в момент полного затмения).

В полной мере все эти новации начнут воплощаться лишь через два года – в первой “стилизованной” (по терминологии самого ее создателя) пьесе – “Жизнь Человека”.

\* \* \*

В подготовке настоящего тома принимали участие:

“Призраки”. Подготовка основного текста и комментария – В.Н. Быстров, редакций и вариантов – В.Н. Быстров.

“Красный смех”. Подготовка основного текста, редакций и вариантов – Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко и Л.И. Шишкина, текстологического комментария (с. 584) – М.В. Козьменко, текстологического, историко-литературного и реального комментария (с. 584–629) – Л.И. Шишкина.

“Вор”. Подготовка основного текста, вариантов печатных изданий и комментария – В.А. Келдыш, подготовка редакций – Р.Д. Дэвис.

“Бен-Товит”. Подготовка основного текста и вариантов – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко, комментария – М.В. Козьменко.

“Марсельеза”. Подготовка основного текста и комментария – Г.Н. Боева, подготовка вариантов – Г.Н. Боева и Р.Д. Дэвис.

“Христиане”. Подготовка основного текста, редакций и вариантов – Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко и О.В. Шалыгина, комментария – М.В. Козьменко (с. 647–653) и О.В. Шалыгина (с. 653–658).

“Губернатор”. Подготовка основного текста, редакций и вариантов – Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко и Л.И. Шишкина, текстологического комментария (с. 659–660) – М.В. Козьменко, текстологического, историко-литературного и реального комментария (с. 660–681) – Л.И. Шишкина.

“Так было”. Подготовка основного текста и комментария – В.Н. Быстров, редакций и вариантов – В.Н. Быстров (при участии Р.Д. Дэвиса).

“К звездам”. Подготовка основного текста – Р.Д. Дэвис, Л.Н. Кен, М.В. Козьменко и Ю.Н. Чирва, рукописных набросков (с. 465–478, 529–534) – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко, первой рукописной редакции и вариантов чернового автографа (с. 479–529, 534–548) – Р.Д. Дэвис, Л.Н. Кен, М.В. Козьменко и Ю.Н. Чирва, вариантов печатных изданий (с. 554–564) – Р.Д. Дэвис, Л.Н. Кен и Ю.Н. Чирва, текстологического комментария (с. 691–697) – М.В. Козьменко, историко-литературного и реального комментария (с. 697–744) – Е.В. Булышева, Л.Н. Кен и Ю.Н. Чирва.

“В поезде”. Подготовка текста – В.М. Введенская, комментария – М.В. Козьменко.

“Из глубины веков”, “Старухи”. Подготовка основных текстов и редакции – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко, комментария – М.В. Козьменко.

“Две сестры”, “Народ” (к революции). Подготовка текстов – Р.Д. Дэвис, комментария – М.В. Козьменко.

Все данные о прижизненных переводах произведений Андреева на иностранные языки подготовлены Р.Д. Дэвисом.

Указатели составлены И.С. Багдасарян.

Автор вступительной статьи к комментариям – М.В. Козьменко.

Ответственные редакторы тома – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко.

Редакторы тома благодарят за существенную помощь в подготовке издания Татьяну Михайловну Двинятину (Институт русской литературы (Пушкинский Дом)), Любовь Валерьевну Хачатурян (Российский государственный архив литературы и искусства), Юлию Вадимовну Шевчук (Институт мировой литературы имени А.М. Горького).

# РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

## ПРИЗРАКИ

(С. 7)

Источники текста:

*ЧН* – черновой набросок. Под загл.: “Счастливый человек”. Хранится: *РГАЛИ*. Ф. 11. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 83. Опубл.: *МиИ-2012*. С. 116–117 (публ. М.В. Козьменко).

*ЧА* – черновой автограф (отрывки). Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 15. Item 4. 4 л.

*Кор-г* – корректура-гранки с правкой (рукой неизв. лица). Дата: 11 октября 1904 г. Подпись (типографский набор): Леонид Андреев. Хранится: *ИРЛИ*. Р. 1. Оп. 1. Ед. хр. 91.

*Правда* (журн.). 1904. № 11. С. 2–22.

*Зн.* Т. 2. С. 194–229.

*Пр.* Т. 5. С. 31–75.

*ПССМ*. Т. 2. С. 72–97.

Впервые: *Правда*.

На стадии формирования замысла, согласно *ЧН* (набросок плана, предположительно относящийся к октябрю 1902 г.), у рассказа было другое название: “Счастливый человек”.

Работа над рассказом была завершена 11 октября 1904 г. Видимо, вскоре Андреев передал рукопись в редакцию журнала “Правда”, о чем можно судить по дате в штампе корректуры-гранок (*Кор-г*): “23 октября 1904 г.”

Судя по почерку, правка корректуры производилась не Андреевым, но многие варианты были с ним так или иначе согласованы (см. “Другие редакции и варианты”). Корректурa отражает определенный допечатный этап работы над текстом.

Вверху, рядом с названием, надпись-автограф: “Владимиру Александровичу Ашкинази от неунывающего друга Леонида”. *В.А. Ашкинази* (1873 – не ранее 1941) – журналист, фельетонист, переводчик; с 1896 г. вел в газете “Новости дня” (под псевдонимом Пэк) рубрику “Кстати”, обозревая события литературной и театральной жизни. Именно там он впервые написал об Андрееве (1903. 1 янв. (№ 7028). С. 4; 17 янв. (№ 7044). С. 3; 2 марта (№ 7088). С. 4). Предпочитал в основном юмористические и сатирические жанры; сотрудничал в журналах “Зритель”, “Стрекоза”, “Будильник” и др.

Еще до публикации в журнале Андреев познакомил с рассказом М. Горького. Приблизительно во второй декаде октября 1904 г. сообщал ему: “Написал между прочим превеселенький рассказик из быта сумасшедших. Животики надорвешь!” (*ЛН72*. С. 228). Затем он послал текст Горькому в Ригу; тот откликнулся телеграммой (предположительно посланной между 15 и 19 октября 1904 г., во время второго посещения

Горьким Риги<sup>1</sup>): “Человек который стучит во все закрытые двери превосходная вполне самостоятельная тема ты ограбишь себя вводя эту тему призраки усердно прошу убери рассказ не проиграет очень прост хорош дружное наше мнение пишу благодарю Мария Алексей” (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 163; печатается с исправлением пропусков и ошибок в чтении (подчеркнуто) по подлиннику, хранящемуся в фонде Г.А. Алексинского (Grigorii Alekseevich Aleksinskii Papers) в Колумбийском университете (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. The Rare Book and Manuscript Library. Columbia University (New York)). В письме от (6 ноября 1904 г.) Горький вновь особо отметил героя рассказа, который стучит в закрытые двери: “Какой огромный человек, Леонид, какой дерзкий!” (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 169). Примечательно, что о “стучащихся в двери” как “представителях антимещанского начала” Андреев писал ранее в рецензии на спектакль по пьесе Горького “Мещане” (март 1902), см.: *ЛН72*. С. 479.

Видимо, замечанием в первом из цитируемых писем Горького вызвано отсутствие в тексте “Правды” ряда фрагментов, связанных с Петровым, “больным, который стучит” (стк. 42–55, 176–215, 644–659). Вероятно, Андреев изъясил их из рассказа перед отправкой рукописи в “Правду” и собрал их вместе, возможно, с целью использовать в другом произведении (фрагменты полностью совпадают с *ЧА*).

При подготовке второго тома рассказов Андреев в издательстве товарищества “Знание” Горький, возможно, просил, чтобы Андреев доработал рассказ. 7 апреля 1905 г. он писал К.П. Пятницкому: «Мы с Леонидом составили 2-й том, книжка будет вкусная, если он, как обещал, переделает “Иностранца” и “Призраки”...» (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 44). Андреев внес коррективы в текст, о чем свидетельствует его сообщение в письме К.П. Пятницкому от 13 августа 1905 г. о высылке «проверенных, исправленных и дополненных “Призраков”» (*ЛН72*. С. 421). В этой версии рассказа ранее изъятые из текста и собранные в *ЧА* фрагменты, связанные с “больным, который стучит”, полностью восстановлены.

Несомненный интерес представляет мнение автора рассказа, высказанное им в письме к М.П. Неведомскому (август 1905 г.): «Дорогой Михаил Павлович! Горячо благодарю Вас за письмо о “Призраках”. (...) Очень мне близко то, что говорите Вы о Ницше, да и все, что Вы говорите. А к “Призракам” Вы подошли как раз с той стороны, с какой я сам смотрю на эту вещицу. Именно: два психологических основных типа – величия – преследования; – призрачность счастья, несчастья и многого, что видится; а в общем – ничего печального. Пусть многоуважаемый “Георгий Победоносец” грезит – мне нисколько это не мешает любить его, сочувствовать его победе над мокрыми чертями; и то, что рядом существует Петров, ошалевший от ужаса и тайны, тоже очень хорошо, так как держит руль жизни в равновесии и не дает причалить к тихой пристани. И я говорил своей компании, что рассказ этот – веселый, а они надо мною смеются» (*Искусство*. 1925. № 2. С. 267).

---

<sup>1</sup> Новая датировка (вместо: “между 27 октября и 2 ноября 1904 г.” (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 163)) связана с тем, что именно в это период Андреев изменяет текст рассказа (следуя совету Горького в телеграмме), что отражено в гранках “Правды” со штампом-датой типографии: 23 октября 1904 г.

Существенной для данного произведения является проблема прототипов, о чем можно судить по высказываниям самого автора. Так, Горький вспоминал: «А по поводу “Призраков” он сказал мне:

– Безумный, который стучит, это – я, а деятельный Егор – ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни» (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 337). Отметим попутно, что критик К. Арабажин, не зная об этом свидетельстве автора, тонко почувствовал одну из смысловых доминант “Призраков”: “Символика рассказа ясна: словно перед нами сам автор, безумно стучащий в двери истины; откроет одну, – а уже другая заграждает пути” (*Арабажин 1910*. С. 52–53). Иной точки зрения на сей счет придерживался рецензент газеты “Слово” Ф. Белявский: “Кажется, в лице мрачного Петрова автор указал, и весьма точно, свое место в этом мире людей, для которых самым ужасным и неотвязным призраком является сама их родная мать – жизнь. В ней они видят своего непобедимого смертного врага, отравляющего их существование годами непосильных страданий” (*Слово*. СПб., 1904. 21 дек. (№ 21). С. 6). Этот же аспект затронул в своей книге о писателе В.В. Брусянин, который так передавал признание Андреева: «Писали, что в “Призраках” я изобразил одного известного психиатра в лице своего доктора Шевырева, который дни проводит в работе, а ночи – в подгородном ресторане (Андреев имел в виду, вероятно, пассаж из статьи рецензента газ. “Санкт-Петербургские ведомости” В.В. Быховского, выступавшего под псевдонимом Сторонний Наблюдатель (1904. 5 дек. (№ 334). С. 2). – *Сост.*). Весь подкал действительности здесь сводится только к тому, что однажды, в мой единственный заезд к “Яру”, мне показали там одного доктора с таким пояснением. Ко всему остальному этот доктор уже не был причастен. Если для большинства психологических положений я использовал только свой душевный опыт, то иногда для внешнего облика, так сказать, я пользовался натурщиками, но всегда синтезируя черты. Так, в тех же “Призраках”, в Егоре Тимофеиче, летающем с Николаем-чудотворцем, я слил некоторые черты двух друзей-писателей, и когда я читал рассказ вслух, я почти не мог не выдерживать местный говор одного из них» (*Брусянин В.В.* Леонид Андреев: Жизнь и творчество. М., 1912. С. 74–75). Очевидно, под одним из своих друзей-писателей Андреев подразумевал Горького.

Рассказ вызвал в прессе многочисленные отклики, которые, по обыкновению, были крайне неоднозначны, но группировались в основном вокруг определенных идей, тем и мотивов.

Критика сразу же отметила неслучайность, органичность для художника темы, которую он затронул. Например, И.Н. Игнатов утверждал: “При том направлении, которое приняла литературная деятельность этого писателя, трудно было представить себе, чтобы его наблюдение так или иначе не коснулось жизни сумасшедшего дома. Слишком уж благодарный материал дает психика душевнобольных людей для писателя, ищущего в глубине душевных процессов ужасы, окружающие

человечество, чтобы за рассказами Гаршина и Чехова, изображавшими сумасшедший дом, не последовал рассказ г. Л. Андреева, также посвященный описанию жизни психиатрического заведения. (...) Очень может быть, что с клинической точки зрения ни одна из приведенных в рассказе “историй” не выдерживает критики. Но верность клиническому наблюдению в данном случае – только внешняя правда. Ее отсутствие нисколько не препятствует возможности внутренней правды рассказа, т. е. точной передачи мрака и скорби, витающих за стенами психиатрического заведения” (И. [Игнатов И.Н.]. Литературные отголоски // *РВед.* 1904. 9 дек. (№ 342). С. 3). Андрей Белый в свойственной ему импрессионистической манере также выражал мысль о типичности “Призраков” в творчестве писателя: «Хаос всегда за спиной у героев рассказов Л. Андреева. И по мере того, как рос этот крупный талант, хаос дерзновенный выростал в его произведениях, и когда герои его проходили по комнатам, хаос плясал на стенах уродливыми тенями их. (...) И вот в рассказе “Призраки” сорвана последняя маска обманной здравости, полнозвучней, чудесней звучит в нем песнь торжествующей ночи. (...) Удивляешься, как сохранились в этом круговороте безумия какие-то призрачные нормы здравости, дающие повод к лишению свободы тех, кто неосторожно вздумал переступить черту призрака и попить тень ногами» (Белый Андрей. Призраки хаоса // *Весы.* 1904. № 12. С. 71–72).

Вообще, трагический мотив смешения реального и призрачного, здорового и безумного, характерный для творчества Андреева, является в рассказе, по мнению многих критиков, одним из ключевых, смыслообразующих. По словам А. Б(огдановича), в “Призраках” поставлен “один из вечных вопросов о реальности жизни” (Наша жизнь. 1905. 3 янв. (№ 56). С. 3). «Все человечество, рассматриваемое автором в данном рассказе, – замечал И.Н. Игнатов, – и больное, и здоровое, и кажущееся таковым, окружено призраками” (*РВед.* 1904. 9 дек. (№ 342). С. 3). «Так неужели же все “призраки”? – задается вопросом Н. Геккер. – И нет уже разницы между миром здоровых и сумасшедшим домом? Неужели нет ничего реального и стойкого... (...) И правда ли, что мечты действительности и грезы больного ума так перепутались между собою, что даже и вдохновенному наблюдателю не разобраться в них?» (Геккер Н. Новый рассказ Леонида Андреева // *ОН.* 1904. 5 дек. (№ 6497). С. 5). «...Властные призраки, – писал Н. Минский, – подмечены Л. Андреевым не только в больнице, но и в здоровой жизни, среди людей, считающих себя нормальными. (...) Какая разница между сумасшедшим домом и “Вавилоном”? Никакой!» (Новости. 1904. 11 дек. (№ 342). С. 2). Сходную, по сути, мысль выразили В. Быховский и М. Рейснер: “Можно, конечно, без конца и с одинаково убедительностью доказывать и то, что сумасшедший дом – это вся вообще наша жизнь, так как чем, в сущности, отличается способ каждого из живших там по-своему сходиться с ума...” (Сторонний Наблюдатель [Быховский В.]. Призраки: (Новый рассказ Леонида Андреева) // *СПВед.* 1904. 5 дек. (№ 334). С. 2); «В “Призраках” ресторан “Вавилон” для разумных людей и сумасшедший дом под городом сливаются в одно общее царство безумия. И если обитатели психиатрической больницы находятся во власти бредовых идей и во имя их играют роль

в фантастическом спектакле, то точно так же посетители “Вавилона” оказываются актерами бредовой драмы» (*Рейснер 1909*. С. 44). И рецензент “Киевской газеты”, сравнивая рассказ с драмой Ибсена “Призраки”, в частности, писал: «Первое впечатление, которое овладевает вами после прочтения этих двух произведений, – это какое-то смутное сознание, что настоящая “правда” жизни, будет ли она добро или зло, – закутана какими-то призрачными иллюзиями – то мрачными, то светлыми... И в этом сплошном мираже рая и ада люди живут, страдают, наслаждаются и умирают. И так называемые безумные и разумные одинаково питаются ядом или амброзией этих призраков – так что в конце концов теряешь критерий в суждении об уме и безумии» (*Читатель*. В царстве призраков: Ибсен и Андреев // Киевская газета. 1905. 9 янв. (№ 9). С. 3). Критик Волжский [Глинка А.С.] также подчеркивал, что в рассказе не чувствуется существенной разницы между сумасшедшими и нормальными людьми: “призраками кажутся и те и другие”; “вся жизнь здесь похожа на сумасшествие тихое, тупое, неболящее (...) Действительность здесь призрачна, а призраки – действительны” (*Вопросы жизни*. 1905. № 1. С. 278–279, 280). По мнению Е. Колтоновской, рассказ “является выдающимся образчиком литературы, изображающей больные стороны жизни”: “Ни в одну эпоху не было так трудно установить границу между здоровым и нездоровым, как в нашу. В самом деле, что признать в человеке нормальным, когда весь строй жизни противоестествен, искусствен и уродлив...” (*Колтоновская Е.* Новости беллетристики: (Рассказ г. Андреева “Призраки”) // Вестник и биб-ка самообразования. 1905. 3 марта (№ 9). Стб. 277).

Немало внимания критики уделили вопросу о связи рассказа с другими произведениями Андреева. В Львов-Рогачевский, сравнивая “Призраки” с “Красным смехом”, писал: “*Безумие и Ужас* – вот главные действующие лица обоих рассказов. Противоречия жизни, что-то неладное, непонятное, нелепо жестокое – вот отправная точка художника. Власть призраков над действительностью, господство мертвых над живыми – вот содержание болезненно кричащих образов. (...) Ужас и Безумие преследуют читателя по пятам. Оба рассказа, дополняющие друг друга, полны стенаний и воплей безумных людей” (*Львов В.* [Рогачевский В.Л.] Журнальные заметки: “Призраки” и “Красный смех” // *Обр.* 1905. № 3. Отд. II. С. 122, 123). А Измайлов находил параллели с рассказом “Жили-были”: «В смысле внешнего строения “Призраки” даже несколько напоминают “Жили-были”. Даже сущность трагизма – тихого, не кричащего, не замечаемого чужим глазом, – одна и та же» (*Измайлов А.* Рассказ Леонида Андреева “Призраки” // *БВед.* 1904. 10 дек. (№ 639). Утр. вып. С. 2). М. Неведомский утверждал, что рассказ по теме близок драме “Черные маски”: “Драма как бы служит продолжением и развитием очерка. В последнем все основные *да и нет* человеческого мирозерцания, по мысли автора, имеют всецело определяющий их субстрат в бессознательном предрасположении, в глубине инстинктов. В драме как бы подчеркивается мысль, что без случайного подарка судьбы, в виде жизнь творящего и жизнь приемлющего инстинкта, все утверждения наши лишаются ценности перед судом сознания, а в конце концов последнее поедает само себя или поедается темными, черными,

глубинными силами нашей природы. Философски говоря, идеи очерка и драмы почти тождественны” (*Неведомский М. Песни безвременья // На рубеже: Критич. сб.: (К характеристике современных исканий)*. СПб., 1909. С. 280).

Общим местом стало сравнение рассказа с “Красным цветком” Гаршина и “Палатой № 6” Чехова. «Своими “Призраками”, – прямо писал Вл. Боцяновский, – Л. Андреев, очевидно, хотел сказать то же, что сказал в своей “Палате № 6” Антон Чехов» (Русь. СПб., 1904. 4 дек. (№ 354). С. 2). «...Произведения на эту тему невольно напрашиваются на сравнение с такими перлами искусства, как “Красный цветок” или “Палата № 6”», – замечал почти одновременно с И.Н. Игнатовым Н.М. Минский (Новости. 1904. 11 дек. (№ 342). С. 2). Касаясь этой очевидной аналогии, Е. Колтоновская писала о том, что, по ее мнению, рассказ Андреева “во всех отношениях уступает обоим этим произведениям”: “В нем нет их полноты и глубины, а главное – нет их стихийной естественности, а потому и разобраться в нем труднее. Перед нами не сама жизнь, вскрытая художником, а его искусственная и довольно тяжеловесная постройка. (...) Однако, от нее веет обычной силой и красочностью таланта г. Андреева...” (Вестник и биб-ка самообразования. 1905. 3 марта (№ 9). Стб. 278).

Волжский [Глинка А.С.] сравнил “Призраки” с рассказом Б. Зайцева “Тихие зори” и отдал предпочтение последнему (Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 277). Этот же критик выразил мнение, что “Призраки” уступают ранее опубликованной повести “Жизнь Василия Фивейского”: «Андреев в “Призраках” не на возвышенности, а в долине своего творчества, как бы опущен в прохладную воду апатии после болезненно-напряженного подъема, после лихорадочной нервной встряски “Жизни Василия Фивейского”...» (Там же. С. 281).

Некоторые критики утверждали, что “Призраки” отличаются мотивами безысходности и могут служить художественной иллюстрацией андреевского пессимизма: “Рассказ г. Андреева проникнут безысходно-мрачным настроением и производит тяжелое впечатление. Но он кажется мне одной из удачных иллюстраций к современной кошмарной действительности, которая, по-видимому, уже готова отойти в область прошлого” (*Колтоновская Е.* Указ. соч. Стб. 279); «Трагизм “Призраков” – тихий трагизм неустранимого увядания человеческой личности, ужасного схождения ее на нет, духовной смерти, приближающейся медленно, но неизбежно. И это одинаково для всех героев рассказа – и для больных Егоров Тимофеичей, Петровых и Анфис, и для здорового Шевырева» (*Измайлов А.* Указ. соч. С. 2); «“Призраки” – апофеоз сумасшедшего дома. Тьма беспросветная, полная ужаса, растворяет одинаково как идеальные, так и реальные основы жизни. Все она заливают” (*Белый Андрей // Весы.* 1906. № 5. С. 66); «Задача жизни решена, и решение ее самое безотрадное: жизнь – жестокая шутка равнодушной природы; для одних, еще не потерявших надежды найти в этой бессмыслице следы намеченного плана, это сумасшедший дом; для других, ищущих в жизни только одного – забвения и покоя, – это шумный и развратный “Вавилон”, с диким весельем, чадом вина и чарами женской красоты» (*Белявский Ф. // Слово.* СПб., 1904. 21 дек. (№ 21). С. 5); “И над всем маленьким мирком

чувствуется давление какой-то гнетущей силы, которая преследует беспокойными призраками все живущее. <...> И читатель, кончая последнюю страницу, чувствует такую же тяжесть, как будто в призраках, окружающих страждущее человечество, даже в веселых, даже в счастливых и светлых, заключается какая-то фатальная, ничем не рассеиваемая скорбь. И это впечатление господствует над всеми подробностями рассказа г. Андреева” (*И. [Игнатов И.Н.]*. Указ. соч. С. 4); «Весь мир живет пустыми и фальшивыми призраками, бессильными вымыслами и притворством; и жизнь, напоенная этим бессилием, в самой основе своей является безумной и лживой. И все мы, ушедшие в свои лживые грезы, мы все, живущие призраками и фальшью, – безумцы. Как безумный Петров (в рассказе “Призраки”), ступая по желтым, опавшим листьям большого двора, мы боушаем что-то об осени в Крыму, где никогда не бывали, о счастье грядущем, которого никогда не увидим. А в глубине души шевелится тревожная растерянность, что-то смутное и забытое, что хотелось бы нам, бедным безумцам, припомнить – и не можем!..» (*Войтоловский Л. Леонид Андреев // Книга. Сб. второй. Пг.; М.; Киев, 1920. С. 78*).

У ряда критиков вызвали неприятие и замысел, и художественная концепция “Призраков”: “Все это изображено с удивительно талантливостью и рассказано каким-то особенным, литым языком. Но Бог с ним, с таким талантом, от которого скучно становится на душе и хочется полететь куда-нибудь... Здоровые люди требуют здоровой пищи. Клеветать на них, хотя бы и талантливо, обвиняя их в поголовном сумасшествии, безумно!” (*Кораблев В.Н.* Литературные заметки. СПб., 1908. С. 183); “Повесть эта не только не хороша, но даже не плоха. Про нее нельзя даже сказать, что она неверно задумана или что положенная в ее основу мысль недостаточно ярко выполнена: она как будто вовсе не задумана и написана неведомо для чего. <...> бессвязная повесть, как эмблема бессвязной жизни. Идя по этому пути, можно дописаться до повестей, состоящих из слов непонятных или размещенных в хаотическом беспорядке и, таким образом, символизирующих непонятность и беспорядочность жизни. Легкий, но опасный путь” (*Минский Н.* // *Новости*. 1904. 1 дек. (№ 342). С. 2); «Как вполне слабое и неудачное произведение, мы не можем приветствовать “Призраков” даже с чисто художественной стороны» (*Геккер Н.* // *ОН*. 1904. 5 дек. (№ 6497). С. 5) и др.

Напротив, с безусловным одобрением отозвались о рассказе В. Быховский (*СПбВед*. 1904. 5 дек. (№ 334). С. 2), В. Боцяновский (*Русь*. СПб., 1904. 4 дек. (№ 354). С. 2), А. Курсинский (*Золотое руно*. 1906. № 5. С. 86). А. Измайлов особо отметил “строгую выдержанность здесь красивой, трезво-реальной, простой и чуждой претензий и франтовства манеры, – той, которую завещал русской литературе Чехов” (*Измайлов А.* Указ. соч. С. 2).

При жизни автора рассказ переведен на болгарский (1906), румынский (1908), хорватский (1912), венгерский (1916, 1919), испанский (1919) и итальянский (1919).

С. 8. ...из “Вавилона”, загородного ресторана... – Название загородного ресторана, скорее всего, связано с реально существовавшим в Орле на берегу реки Орлик трактиром “Вавилон” (см.: *Фатов Н.Н.* Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 252, 344).

С. 9. ...чувствовал себя графом Альмавива... – Граф Альмавива – персонаж комедии Бомарше “Севильский цирюльник” (1775).

С. 10. ...в св. синод... – Имеется в виду Святейший правительствующий синод Русской православной церкви.

...и капитул ордена Георгиевских кавалеров. – Капитул – учреждение, ведавшее изготовлением и вручением наград.

С. 12. ...поставили на затылок мушку. – Мушка (шпанская мушка) – здесь: род лечебного пластыря из особого порошка. Вызывал местное раздражение, с покраснением и образованием пузыря. В начале XX в. в медицине был уже малоупотребителен из-за серьезных побочных осложнений.

С. 13. ...приходил Николай Чудотворец... – Николай Чудотворец (Николай Угодник, Святитель Николай) – святой Николай Мирликийский (ок. 270 – ок. 345). Почитается как покровитель моряков, купцов, детей.

И лицом вы похожи на святого Эразма. – Св. Эразм – священномученик, живший в III в. н.э.; совершал чудеса и этим обращал многих язычников ко Христу. Умер 10 июня 303 г.

С. 14; 15. А вы счастливейший человек, Георгий Тимофеевич; Вы несчастнейший человек, Петров. – Вл. Боцяновский, сравнивая Померанцева и Петрова, отмечал: “Выделив этих двух больных и поставив их рядом, я хотел только подчеркнуть основную разницу этих больных – Счастливец и Несчастливцев. {...} Больной мозг Померанцева создал ему призраки успокоительные, счастливые, – и он счастлив. Мозг Петрова преследует его ужасом, – и он несчастен” (Русь. 1904. 4 дек. (№ 354).

С. 2). Другой критик, Ф. Белявский, так характеризовал Померанцева: “Егор Тимофеевич – символ тех счастливых людей, которые не видят ужасных страданий человечества, или, лучше сказать, не мучатся ими, но зато и сами не чувствуют горя и тяжести жизни. Подобно о. Василию Фивейскому в моменты его религиозного иступления, они целиком живут в мире светлых умиротворяющих грез” (Белявский Ф. Указ. соч. С. 5).

С. 16–17. ...она раскрывала все его книги, которые раскрывал он, как будто там остался еще отпечаток его задумчивого взгляда... – Ср. аналогичную ситуацию в “Евгении Онегине” Пушкина: Татьяна в кабинете Онегина (глава 7, строфа XXIII):

На их полях она встречает  
Черты его карандаша.  
Везде Онегина душа  
Себя невольно выражает  
То кратким словом, то крестом,  
То вопросительным крючком.

С. 17. Кроме трех жилых комнат ~ несознаваемая опасность. – Прочитав этот фрагмент, Волжский [Глинка А.С.] утверждал, что “такою представляется Андрееву жизнь, преломленная через стеклянную призму его творчества; напряженно-страстная, нервно-взбудораженная, до призрачности странная и страшная, она подернута какой-то дразнящей взор, тревожно-тоскливой, искаженной желтизной” (Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 277–278).

## КРАСНЫЙ СМЕХ

(С. 32)

Источники текста:

*ЧН1* – черновой набросок. Первоначальный вариант (фрагмент) начала повести. Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 1. 1 л.

*ЧН2* – черновой набросок. Ранний вариант начала повести. Хранится: Там же. 4 л.

*ЧН3* – черновой набросок. Ранний вариант начала повести. Хранится: Там же. 2 л.

*ЧН4* – черновой набросок. Фрагмент начала повести. Хранится: РАЛ. MS. 606/B.34.i.(3). 1 л.

*ЧА1* – черновой автограф. Ранняя редакция второй половины повести (л. 45–72). 31 октября 1904 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 1. 26 л.

*ЧН5* – черновой набросок. Отвергнутый фрагмент из “Отрывка 4” *ЧА2*. Хранится: Там же. 2 л.

*ЧА2* – черновой автограф повести. 17 октября – 8 ноября 1904 г. Под заголовком “Война”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. 115 л.

*МАП1* – машинописная копия (отпуск) с авторской правкой. Фрагмент рассказа (л. 59–63). Хранится: Там же. 5 л.

*МАП2* – машинописная копия (отпуск) с авторской правкой. 8 ноября 1904 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 12. 83 л.

*Б* – Красный смех. Отрывки из найденной рукописи. Berlin: Sranije, [1905]. 127 с. На об. тит. листа: Leonid Andreev. “Krassny ssmjeh” (“Das rote Lachen”). Vom Manuskript gedruckt<sup>2</sup>.

*СБЗн* – Сборник товарищества “Знание” за 1904 год. СПб., 1905. Кн. 3. С. 269–348.

*Зн*. Т. 2. С. 230–303.

*Пр*. Т. 5. С. 77–168.

*ПССМ*. Т. 4. С. 82–144.

Впервые *Б*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

### Часть 1

*Стк. 314*: И ты знаешь – *вместо*: И ты не знаешь (*по ЧА2, МАП2, Б, СБЗн, Зн*)

*Стк. 917–948*: Да, так переменялся? – *вместо*: Да, так переменялся. (*по ЧА2*)

*Стк. 1103*: становился близок – *вместо*: становится близок (*по всем источникам*)

*Стк. 1172*: роня цветы и песни. Цветы и песни. – *вместо*: роня цветы и песни. (*по Б, СБЗн, Зн, Пр*)

<sup>2</sup> Напечатано с рукописи (нем.).

## Часть 2

Стк. 73–74: безглазого скелета – вместо: безглавого скелета (по ЧА2, МАП2, Б, СБЗн)

Стк. 289: половину они сделают трупами – вместо: наполовину они сделают трупами (по ЧА2, Б, СБЗн, Зн, Пр)

Сохранившиеся архивные материалы позволяют выделить следующие этапы работы над повестью. Самые ранние наброски (ЧН1, ЧН2, ЧН3 и ЧН4) сделаны писателем в начале (до 17) октября 1904 г.

Ранняя версия второй половины повести (ЧА1, л. 45–72) датирована 31 октября 1904 г. Более поздняя (полная) редакция – ЧА2 (окончена 8 ноября 1904), однако, имеет датировку начала работы – 17 октября, а также “промежуточную” датировку (на л. 29) – 25 октября. Вероятно, Андреев был относительно удовлетворен первой половиной повести, но кардинально переписал вторую. Поэтому понятие “первой, ранней редакции” к текстологии “Красного смеха” может быть применено условно, исключительно для археографической дифференциации источников. По сути, мы имеем дело с разными слоями единой рукописи, созданной в течение 23 дней.

ЧН5 представляет собой отвергнутый (в ЧА2) фрагмент из “Отрывка четвертого”.

Позднее наиболее существенным текстологическим изменением стала замена кошмарного сна одного из героев-повествователей в “Отрывке пятнадцатом”, которая была совершена под влиянием критики Горького, ознакомленного с ранней версией повести (подробнее см. ниже). Прежняя версия сна сохранилась в изъятой части машинописной копии произведения (МАП1, оттиск, вероятно 3-я копия). В позднем варианте машинописи – полной версии повести, близкой к ОТ (МАП2, оттиск, вероятно 2-я копия), поверх прежнего текста наклеен новый: сон о собрании патологических личностей заменен другим кошмаром – о детях-убийцах, преследующих героя.

Необходимо также отметить, что позднейшее название повести появляется только в МАП2, т.е. после 8 ноября, так как в ЧА2 она именуется еще “Война”.

Подробнее об изменении сюжетной, образной и стилевой структур в разных архивных версиях повести см. ниже.

Повесть “Красный смех” стал откликом писателя на Русско-японскую войну, которая стала значительным историческим событием, обозначившим начало XX века. Уже с первых дней нового, 1904 года российские газеты оживленно обсуждали ситуацию, сложившуюся на Дальнем Востоке, шаг за шагом воссоздавая неизбежность конфликта, обсуждая выдвигаемые войной перед Россией задачи и предполагая возможные последствия. 24 января Япония прервала дипломатические отношения с Россией, а в ночь с 26 на 27 января японский флот атаковал русскую эскадру, стоявшую у крепости Порт-Артур. В этом бою был потоплен миноносец “Стерегающий” и выведены из строя броненосцы

“Ретвизан”, “Цесаревич” и крейсер “Паллада”. 4 февраля газеты сообщили о том, что после героического сражения русские моряки сами затопили крейсер “Варяг” и канонерку “Кореец”. Периодическая печать подробнейшим образом освещала развивающиеся события. Центральными становятся рубрики “Война”, “С театра военных действий”, “Война с Японией”, схемы передвижения армий, карты Маньчжурии с указанием мест боев, фотографии героев войны, прославленных русских кораблей, отдельных войсковых соединений и т.д. Известный критик и публицист А. Измайлов писал: “Война заполнила жизнь. Она захлестнула столбцы газет. Ее отголосками и всеневозможными географическими и этнографическими справками заняты страницы журналов” (Измайлов А. Литература и жизнь // Родная нива. 1905. № 12. С. 112). Круг противоречивых чувств и эмоций писателя, вызванных войной, отражен в его переписке с М. Горьким, относящейся к началу февраля 1904 г. Горький более взвешенно отнесся к общественному ажиотажу, вызванному войной. “В тревожное и спутанное время нужно оперировать с точными принципами или мнениями – из них же первое: воюют правительства, а не народы, и воюют для упрочения своей власти, а не в интересах страны, – писал он Андрееву 4 февраля 1904 г. – Ну, и пускай воюют. Бьют народ? А конечно! Его всегда били, бьют и будут бить, и это до поры, покуда он не научится уважать себя. А газетчиков я бы перевешал, разумеется, не на здешних соснах. Вот – сволочь! Как лгут, что говорят!” (Горький. Письма. Т. 4. С. 41). Позиция Андреева иная. В ней присутствует пока еще интуитивное ощущение войны как переломного события исторической и индивидуальной жизни. В ответном письме Горькому (от 6..7 февраля) он пишет: “Я первый раз сознательно переживаю войну, и, в сущности, ужасно интересно. Человек не то обнажается, не то что-то привходит, но становится он другим и переоцениваются некоторые новые ценности и проявятся дремавшие понятия. (...) Что значит я русский? Огромный вопрос, и вовсе не так легко решается” (ЛН72. С. 194). Писатель ощущает войну как пробуждение общей жизни, как общее движение миллионов: “Все это смутно, сумбурно, но опять-таки интересно. И то чувство умаления, которое переживаешь, очень красноречиво. Обычно внутренняя жизнь бывает так сильна, что людей и их жизнь чувствуешь слабо, ихняя жизнь кажется неподвижной, – а теперь я сижу тут, за тем же столом, а там широкое движение сотен тысяч, миллионов. Много страданий, мужества, огневой, стихийной жизни. Мир как представление исчезает, остается мир как воля” (Там же). В отличие от Горького, он не отделяет себя от “общего движения”, но, напротив, хочет осознать свое место в потоке истории. «Туся Крандиевская (Наталья Васильевна Крандиевская, поэтесса. – *Сост.*) хочет идти в сестры милосердия, спрашивает мнение – тоже вопрос, при котором особенно чувствуется необходимость твердого руководящего принципа. Сказать “не мое дело” (относительно войны) можно, но почувствовать это трудно – а почему я разумнее моих чувств?» (Там же). Очевидно, неслучайна фраза, оброненная им

в письме к уезжавшему на фронт В. Вересаеву: “Если бы я был здоров, я поехал бы на войну обязательно” (*Реквием*. С. 157).

Ощущение войны как некоего апокалиптического события, как перелома в судьбе отдельного человека, в русской истории, в литературной жизни и его собственной писательской судьбе крепнет по мере нарастания событий. В мае 1904 г. он пишет из Ялты К.П. Пятницкому: “Действительно, творится какая-то всероссийская чепуха. Можно осатанеть от злости, живя в этой проклятой России, стране героев, на которых ездят верхом болваны и мерзавцы. Если война не закончится революцией, то наступит такая черная, глухая, беспросветная реакция, от которой на стену полезешь. Сижу я здесь, спиной к России, и чувствую, как она там стонет, рычит, дичает, воеет с голоду, с тоски, с бессмыслицы. Самодержавная бессмыслица – кошмар, а не жизнь” (*ЛН72*. С. 508). А через два месяца в письме В.В. Вересаеву это настроение окрашивается в апокалиптические тона: “Так же трудно сейчас писать письма, как в то, вероятно, время, когда каждый час ожидали люди либо пришествия антихриста, либо Христа, события бегут с силой и какой-то внутренней железной необходимостью, а старая мысль русская, многократно обманутая и обманувшаяся, путается и теряется в догадках. Когда и чем закончится война?.. К чему все сие? Только сумасшедший может ответить на эти вопросы. Но за углом сидит кто-то – сидит – это мы все знаем” (*Вересаев 1985*. Т. 3. С. 391).

Для Андреева становится все более очевидна необходимость новой литературы, которая смогла бы ответить на потребность читателя узнать правду о войне. «Серьезно, очень хотелось бы знать, как отразилась война на “знаньевских” делах, – пишет он 10..12 мая 1904 г. К.П. Пятницкому. – Не думаю, однако, чтобы застой был продолжительным. Отпадет “случайный” читатель, тот, что еще привыкает только к книжке и колеблется на границе бульварного романа и серьезной беллетристики, и серединный интеллигент настолько уже обескультурен, что долго оставаться дикарем и глазеть хотя бы и патриотическими очами на резню и убийства – не может. Одно верно: мне, Скитальцу, Вересаеву и многим другим придется делать свою литературную карьеру почти сызнова – глубоко уйдет в прошлое то, что было до войны. И читатель будет новый, и требования у него будут новые, и песни ему нужно петь новые, и благо тому, у кого есть слух и голос» (*ЛН72*. С. 508). Узнав, что В. Вересаев стал военным врачом, он писал: “И вы приедете, я это знаю, и вы напишете что-нибудь большое о русских людях на войне. Это страшно интересно” (*Реквием*. С. 157).

Возможно, что возникновение центрального образа будущей повести связано с бытовым фактом. Во время отдыха в Ялте Андреев оказался свидетелем несчастного случая, который он описал в письме М. Горькому от 6 августа 1904 г.: “⟨...⟩ нынче вечером возле нашей дачи взрывом ранило двух турок, одного, кажется, смертельно, вырвало глаз и пр. ⟨...⟩ И я видел, как несли одного из них, весь он как тряпка, лицо – сплошная кровь, и он улыбался странной улыбкой, так как был он без памяти. Должно быть, мускулы как-нибудь сократились и получилась

эта скверная красная улыбка” (ЛН72. С. 218). Живший неподалеку С.Я. Елпатьевский вспоминал, что на следующий день после эпизода с турками Андреев сказал ему: “Ну, Сергей Яковлевич, вчера я на войне был. И написал большой рассказ из войны... Да, да, вы не смейтесь. Вот увидите. В голове у меня уже все готово” (Елпатьевский С.Я. Леонид Николаевич Андреев // Былое. 1924. № 27–28. С. 280). Однако, скорее всего, окончательное решение осуществить замысел приходит после катастрофы русской армии в осенней кампании: поражение под Ляояном, отступление после кровопролитных боев и ужасных потерь (газеты называли от 30 до 40 тысяч человек) к Мукдену по размытой Мандаринской дороге, где люди и лошади выбивались из сил, вытаскивая орудия из непролазной грязи; еще более страшные бои под Мукденом, когда командующий русской армией генерал Куропаткин попытался перейти в наступление, но после семидневной битвы у реки Шахэ наши войска были разбиты, потери составили 42 тысячи человек. Разгром сухопутной армии стал потрясением для русского общества.

В письме М. Горькому от 8..12 октября 1904 г., обсуждая состав сборника товарищества “Знание”, посвященного памяти А.П. Чехова, Андреев сообщал: «Для сборника я напишу “Войну”. Рассказ так труден, что я все не решаюсь взяться за него и тренируюсь на мелочах. К концу октября все-таки напишу» (ЛН72. С. 228). Повесть создавалась стремительно, на одном дыхании, в процессе круглосуточной работы и абсолютного погружения в атмосферу “безумия и ужаса” войны. По свидетельству писателя Н. Телешова, когда Андреев писал “Красный смех”, “его по ночам трепала лихорадка, он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть один в комнате” (Телешов Н.Д. Избр. соч. М., 1956. Т. 3. С. 125). «Продолжаю работать над “Войною”, – писал он критику М.П. Неведомскому, – выходит скверно: плоско, бледно, тускло. Есть вопросы, в которых невозможно, кажется, оставаться художником, вот хотя бы эта война. Начну благородно, по-художественному: “стоял – дескать – прекрасный летний день...”, а кончу, как извозчик, ругательствами: “подлецы, мерзавцы, убийцы...” и т. п.» (Искусство. 1925. № 2. С. 268). Позже он признавался тому же адресату: «Когда ругают другие мои рассказы – как вот теперь дружно ругают “Призраки”, – я остаюсь к этому весьма равнодушен (...). А к этому рассказу я не могу простить даже равнодушного отношения – быть может потому, что тут слишком мало “рассказа” и много боли, быть может потому, что слишком еще живы в памяти моей те действительно безумные ночи, когда он писался. Вы поверите: когда часа в 2–3 я кончал работать, вокруг меня все плясало, какие-то тени мелькали, я видел себя и свою тень на стенах и белизну дверей в темноте.

Почти все время, пока я писал, у меня было сердцебиение – а раз, опять-таки ночью, я вдруг страшно почувствовал, что голова моя не держала и я схожу с ума. Ужасное чувство! Ведь не нужно забывать, что замысел, чувства относятся к передаче как 100 – к 1 и что написанное мною только намек на испытанное» (Искусство. 1925. № 2. С. 268).

Долгое время после окончания повести Андреев не мог обрести душевного равновесия. Он постоянно пишет о своей психологической усталости: «Писать не могу, устал. В десять вечеров я накатал “Красный смех” и сейчас нахожусь в состоянии прострации и чернилоненавистничества» (письмо М. Горькому от 12..14 ноября 1904 г. – ЛН72. С. 235); «Писал я рассказ девять дней (5 печатных листов) и совсем развинтился – уж очень мучительная тема» (письмо В. Вересаеву от 6 февраля 1905 г. – *Реквием*. С. 162). В более позднее письмо Вересаеву (от 2/15 марта 1907 г.) он вспоминал: «Восемь месяцев голова моя была разбита, я не мог работать и думал, что и никогда не в состоянии буду. А были дни, когда прямо – вот-вот с ума сойду» (*Реквием*. С. 168).

4 ноября Андреев сообщает К.П. Пятницкому, что “состряпал” рассказ “Война” для чеховского сборника: “Тяжелый был для работы рассказ, бьющий по нервам” (*Реквием*. С. 161). А 14 ноября Горький сообщил Е.П. Пешковой: «Сегодня получен новый рассказ Андреева о войне – “Красный смех”. Еще не успел прочитать, но, кажется, великолепно» (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 178).

Посылая повесть Горькому, Андреев отмечает: “А помимо всего прочего – жалко мне, что ты не был первый, кому я прочел рассказ; пока ты не высказался, у меня остается недоверие к вещи. По совести, между нами: она бледна для тома. Некто посоветовал мне выбросить отрывок 15-й<sup>3</sup>, говорит, рассудочно очень – посмотри, друже, может, и правда” (ЛН72. С. 236. Письмо от 12..14 ноября 1904 г.).

Андреев весьма озабочен отзывом Горького, и в письме, написанном 14 или 15 ноября, торопит его с ответом, одновременно опережая возможные критические замечания старшего друга: “Вот и жди завтрашнего дня. Тебе смешно, а я волнуюсь. Верно, Алексеюшка, то, что ты скажешь, для меня самое важное.

А сам я думаю про рассказ вот что: большой замысел, кургузая одежка. Настроение исключительное, для массы непонятное. В этом смысле рассказ аристократичен. Разум, который не хочет, не может мириться с войною и гибнет, как часовой на своем посту, – разум будущего, а не настоящего; я ведь так вначале и хотел писать фантазию на тему о будущей войне и будущем человеке. А сейчас утилитарно-христианские рассуждения Толстого о вреде войны для хозяйств, – для семьи, для здоровья и доброй нравственности – гораздо понятнее и сильнее и общее. Война – невзгода, это настоящее; война – безумие, это завтрашнее. И странно: к этому убеждению демократия нынешняя придет раньше, чем интеллигенция; демократия как-то обойдет ее с флангов и окажется впереди.

Одного я очень боюсь: если ты скажешь, что рассказ нужно переделать. Не могу. (Во-)1-х) потому, что не знаю, как можно сделать его

---

<sup>3</sup> В второй версии “Отрывка 15” (см.: ЧА2, МАПИ) описан кошмарный сон героя, в котором он присутствует на собрании патологических личностей, а также его арестовывают в качестве шпиона.

лучше, хотя знаю, что такой способ и существует; (во-)2-х) очень противно ходить по жердочке над сумасшедшим домом.

Вообще к чёрту сумасшедших! Надоели они мне хуже горькой редьки. Да здравствует разум!” (ЛН72. С. 242).

Горький дал развернутый отзыв в письме от 16 или 17 ноября 1904 г.: «На мой взгляд – ты прав, дружище, 15-й отрывок надо выбросить вон, он не усиливает впечатления, он разбавляет кровь мутной водой и даже написан не в тоне – это с литературной стороны.

А с общественной – он укрепляет позицию тех, которые будут ругать рассказ. Ведь они будут стоять на точке зрения психической ненормальности героя рассказа, это уж – непременно! – и я даже провижу в будущем статью, озаглавленную так: “Война в изображении сумасшедшего”. Не нужно давать в руки “патриотов” и шовинистов такого оружия, ты понимаешь меня?

Следует также выкинуть и 7-й отрывок, ибо им обязательно воспользуются против японцев, на него будут опираться как на доказательство их зверства<sup>4</sup>.

Мне кажется, что газетная вырезка, приклеенная мною сверху письма, могла бы резче и ярче подчеркнуть твою мысль, чем 15-й отрывок). Подумай – дети!<sup>5</sup> Пожалуйста, Ленька, выбрось 7-й и 15-й! Право, от этого рассказ выигрывает в силе.

В середине рассказа есть нечто психологически невозможное и недопустимое – который из братьев записал сцену купанья в ванне? Первый? Ты думаешь это возможно в такой форме? Необходимо, чтобы ясно был указан момент, до которого дневник писался со слов первого брата, этот момент наступает со времени возвращения первого брата домой, иначе я не понимаю, как мог второй брат *так* писать. Сделать это изменение – легко.

Конец мне не нравится. Не страшно. Когда началась общая бойня – хорошо, а после возвращения домой – нет, нехорошо! Земля, извергающая трупы из недр своих, – это не вышло. Иезекииль – изображает сие красивее и страшнее<sup>6</sup>. Остановиться нужно где-то раньше.

В общем я считаю рассказ чрезвычайно важным, своевременным, сильным – все это так, – но для большего впечатления необходимо оздоровить его. Факты – страшнее и значительнее твоего отношения к ним в данном случае. Первая половина – очень хороша, очень, – но доктора, встающего вниз головой, надо выбросить, это смешит. Это глупая рожа

<sup>4</sup> В “Отрывке 7” говорится о бесчеловечном подрыве противником санитарного поезда.

<sup>5</sup> К письму приложена вырезка из газеты с сообщением о детях, которые, играя в войну, повесили своего товарища.

<sup>6</sup> Подразумевается видение библейского пророка Иезекииля, в котором по велению Бога множество сухих костей в поле обрастает жилами, плотью и кожей, после чего, получив дух, “они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище” (Иез 37: 8).

на похоронах Чехова, это звук гармоники мастерового среди реквиема Бетховена. Это смешит и раздражает.

На 13-й стр. “ищущие”, “вздрагивающие”, “почесывающие”, “стареющиеся”, “чужие” – столпились в одном периоде и заглушают его шипением.

“Много сумасшедших. Больше, чем раненых” – стр. 20-я – не резко ли в такой категорической форме? Мне кажется, надо заставить почувствовать, что их много, а не заявлять об этом словами.

На 53-й – “Ведь все же *плачут* от войны, и они сами *плачут*, что же это *значит*?” Скверная рифма.

На 56-й – “Каждый из них молчал” – и тотчас же – “они кашляли и сморкались”...

На 82-й – “треугольные головы между шеей и подбородком” – не представляю, как это?<sup>7</sup>

Не сердись на меня, Леонид, мне так страстно хочется, чтобы рассказ твой произвел возможно более оглушительное впечатление, и так не хочется, чтобы к тебе привязывались из-за пустяков! {...}

Рассказ читал дважды – прочитал как получить и – сейчас. Действует он очень сильно, – это верно!» (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 180–181).

Несмотря на ранее заявленную важность для него мнения Горького, Андреев в ответном письме (от 17..18 ноября) категорически возражает против сокращения и “оздоровления” “Красного смеха”:

«Милый Алексеюшка! И на этот раз я с тобою совершенно и даже насквозь не согласен.

1. Оздоровить – значит уничтожить рассказ, его основную идею. Здоровая война – достояние прошлого; война сумасшедших с сумасшедшими – достояние отчасти настоящего, отчасти близкого будущего. Моя тема: *безумие* и *ужас*. “Факты важнее и значительнее твоего отношения” – совершенно не согласен. Обращение земли вокруг солнца всегда было фактом, и только различное отношение людей к нему создало историю. Факты войны всегда приблизительно одинаковы, и только отношение к ним меняется. Наконец, *мое отношение* – также факт, и весьма немаловажный.

2. Отрывок седьмой. Для меня нет ни русских, ни японцев; есть две стороны, и обе они совершают достаточно гадостей (письмо офицера, признание в грабеже). И это достаточно в рассказе выражено. И если какие-то идиоты воспользуются этим против японцев, то ведь идиоты и вообще могут нагородить достаточно идиотств. От них ничем не

---

<sup>7</sup> Большинство из горьковских замечаний в первых изданиях “Красного смеха” учтено Андреевым не было. Однако именно под воздействием Горького и присланной им заметки о детях писатель изменяет содержание сна в “Отрывке 15”: в *МАП2* он заменен на другой сон, в котором героя преследуют убийцы-дети (см.: *ОТ*. Ч. II, стк. 333–390). “Треугольные головы” исправлены на “треугольники подбородков” лишь в *Пр* (см.: Варианты прижизненных изданий. Ч. II, стк. 845).

спасешься, и отказываться ради их тупоумия от того, что сам считаешь справедливым и важным, – нельзя.

3. Сумасшедший доктор *мне* кажется лучшим местом рассказа – опять-таки в соответствии с моей идеей безумия войны.

3 *(так!)*. Отрывок 15-й. Я боялся его рассудочности, а если он “безумен” – он, стало быть, важен для темы. О детях (вырезка) я знал раньше, и у меня есть и другие аналогичные факты, но опять-таки для темы они не имеют существенного значения. И у меня было кое-что написано по этому поводу – но я выбросил.

4. Конец слаб. Это весьма даже возможно, но с этим ни черта уже не поделаешь. А для темы существенно и даже необходимо.

5. Психологическая несообразность – кто пишет? Пишет *весь* рассказ второй брат, и в этом, правда, много натянутого, психологически неверного (например, как он мог описать последнюю ночь?) – но это неизбежность как условность, как монолог, например, или описание последних ощущений умирающего, которых никто не знает. Но это меня не смущает, так как на “Красный смех” я не смотрю как на художественную вещь.

И в итоге – нехай рассказ останется как он есть. Главное – его действие, а действие он производит желательное. Его читали средние люди, и впечатление большое и выводы такие: “стыдно в глаза смотреть, что делается на свете” и “если б я был царь, я бы после этого рассказа повесился”. И вот еще что: несмотря на отсутствие в рассказе политического элемента, *все* убеждены в его нецензурности. Мне кажется, это свидетельствует только о силе впечатления.

Ты знаешь, друг, что человек я совсем не самоуверенный, но в данном случае я твердо верю, пожалуй, знаю, что нужно именно так. Мы с тобою хотим одного – чтобы рассказ был оглушительным, и поверь мне, Алексеюшка – переделки и урезки ослабят его. И мне не хочется “искусства” – пусть будет так, как вылилось непосредственно и в страдании. Ни один рассказ не писался так легко и не мучал меня так – так пусть же идет в свет, каким родился!» (ЛН72. С. 244–246).

Одну из причин такого отношения к собственному детищу он позже объяснит в письме О. Дымову от 28 января 1905 г. «Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя удовлетворенным, и “Красный смех” мог бы выйти значительно лучше, сильнее, крепче, если бы над ним поработать. Там есть такие очевидные промахи, несообразности, явные стилистические безобразия; они сильно понижают ценность вещи и удалить их нужно бы – да уж очень это мучительная вещь для работы. Я писал рассказ девять дней, прямо начисто, и даже без плана и больше я не мог работать над ним ни одного дня, ни одного часа: нервы не выдержали бы. И не я владел темой, а она мною – это уж последнее дело для художника» (цит. по: *Иезуитова Л.А.* Творчество Леонида Андреева: 1892–1906. Л., 1976. С. 164).

Сразу же по завершении работы писатель еще в рукописи отправляет “Красный смех” с дарственной надписью Л.Н. Толстому. 17 ноября 1904 г. его привез в Ясную Поляну брат Леонида Андреева, Павел

Николаевич. В сопроводительном письме, датированном 16 ноября, Андреев писал: “Глубокоуважаемый Лев Николаевич! Я очень счастлив, что могу послать Вам рассказ, который при всех своих многочисленных недостатках по своей основной теме близок к тому, чему Вы учили людей последние годы и что еще недавно нашло выражение в Вашем письме против войны<sup>8</sup>. Я первый раз в жизни сознательно переживаю войну, и то, что я увидел, так отвратительно и так страшно, что не находится слов это выразить. И этот недостаток настоящих слов прежде всего чувствуется в моем рассказе – слишком искусственном по построению и деталям. Но есть и другая причина, – кроме неумения выразить свое чувство, – слабость рассказа – это коренная ломка некоторых моих воззрений, ломка, которой я обязан той же войне. Так в новом освещении встают передо мною вопросы: о силе, о разуме, о способах нового строительства жизни. Пока это чувствуется еще неясно, но уже есть основания думать, что со старого пути я сворачиваю куда-то в сторону” (*Реквием*. С. 63–64).

Толстой не успел прочитать всей повести, часть ее только просмотрел, так как брат Андреева тут же ждал ответа. На основании такого ознакомления он написал Андрееву 17 ноября 1904 г. свой краткий отзыв: “Я прочел Ваш рассказ, любезный Леонид Николаевич, и на вопрос, переданный мне Вашим братом, о том, следует ли переделывать, отделять этот рассказ, отвечаю, что чем больше положено работы и критики над писанием, тем оно бывает лучше. Но и в том виде, каков он теперь, рассказ этот, думаю, может быть полезен.

В рассказе очень много сильных картин и подробностей; недостатки же его в большой искусственности и неопределенности” (*Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1933. Т. 75. С. 180–181*).

Признавая повесть полезной, Толстой тем самым видел в Андрееве союзника в той антивоенной борьбе, которую вел в это время в своей публицистике. 16 февраля 1905 г., беседуя с приехавшим в Ясную Поляну Ф.А. Страховым, он сказал о “Красном смехе”, “что он хорош и нужно его распространять” (*Лит. наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 178*).

Необходимость скорейшего распространения повести ввиду ее злободневности прекрасно понимал и сам Андреев. Поэтому еще до публикации он стремится сделать ее фактом литературной и общественной жизни. Он выносит ее на обсуждение литературного объединения “Среда”, где собирались близкие ему писатели. Очевидно, именно об этом сообщали “Петербургские ведомости”: «Леонид Андреев написал новую повесть, с содержанием которой познакомил своих друзей. Повесть носит название “Красный цвет” (*так!*) и заключает в себе 17 глав. В этой повести большое внимание уделено ужасам войны» (*СПбВед.* 1904. 6 дек. (№ 335). С. 7).

Уведомляя Горького, что 5 декабря должен читать “Красный смех” в Обществе любителей словесности в университете, Андреев добавляет: “Думаю, что по теперешним временам огласка не повредит цензурности

<sup>8</sup> Имеется в виду статья Толстого “Одумайтесь!” (подробнее см. ниже).

вещи: она станет шилом, которое в мешке не утаишь” (ЛН72. С. 241). Чтение это не состоялось. В письме Пятницкому Андреев сообщал: «Произошел некоторый курьез. Любители российской словесности назначили сегодня в публичном заседании чтение “Красного смеха”, а вчера на подготовительном заседании Федотов прочел этот самый “Красный смех” и привел господ членов в ужас. Кои чуть в обморок не упали, кои совсем ошалели – и решили: прочесть только половину. Это известие привез мне сегодня Гольцев (он за прочтение всего рассказа). Мотивы такие: 1) в многолюдном собрании “Красный смех” произведет слишком тяжелое впечатление: могут быть истерики и прочие замешательства; 2) студенты могут устроить демонстрацию и общество закроют» (ЛН72. С. 242).

Андреев чрезвычайно болезненно относился к восприятию повести, которая стоила ему стольких душевных сил. В письме В. Вересаеву от 7 ноября 1906 г. он еще раз подчеркнул значение своего произведения: «“Красный смех” мне нравится, быть может, потому, что действительно кровью сердца он написан. И действием его я доволен, судя по тому, что читал о нем в России и за границей. Он многих заставил пережить мучительный кошмар войны» (Реквием. С. 168). Поэтому он не мог простить даже равнодушного к нему отношения. В письме М.П. Неведомскому Андреев писал: «Несколько раз я читал “Красный смех” публично – и с каждым разом это занятие становилось мне все противнее и противнее. И чувство, с которым я возвращался домой, было такое: будто я кому-то протянул руку, чтобы поздороваться, а он, толстый, плоскорожий, самодовольный, поглядел на меня и отвернулся – не то просто не заметил, не то не счел нужным. Так моя рука и осталась в воздухе. А потом... рассуждения о том, что рассказ мой сейчас вреден, “и так тяжело, а вы еще усугубляете эту тяжесть”, вопросы, почему я так односторонне отнесся к войне – “ведь в войне есть и светлые стороны”. Не стану врать: многие уходят смятенные, тронутые, и однажды я имел радость видеть бледные лица – только бледные лица, но в этот раз при чтении было всего пять человек, и читал актер. Но уже одна равнодушная тупая рожа оскорбляет меня. Быть может, рассказ, правда, написан слабо и не может же он знать, писал ли я его с сердцебиением или без сердцебиения, – но ведь, дьявол! Ведь это же о войне, черт тебя раздери совсем! {...}

Повторяю, я вовсе не самолюбив, но если рассказ будет напечатан и его будут бранить – “опять-де Л. Андреев подарил нас сумасшедшим домом, и не понимаю я, к чему это пишет он такие вещи... Эдгар По... Пшибышевский... весна... дружная общественная работа... а он все выдумывает... и на войне-то не был...” – мне будет анафемски неприятно. Теперь я понимаю этих малоталантливых авторов, которые напишут что-нибудь кровью сердца, а над ними насмеются, а они и начинают заниматься самообожанием и презрением.

До самообожания я, к несчастью, никогда дойти не могу, скорее наоборот, а вот этакая сатанински-высокомерная, совсем гиппиусовская мысль у меня мелькала: сжечь рассказ. Показать его издалека и сжечь.

Конечно, это беллетристика, но если рассказ в цензуре не пройдет, особенно огорчаться не стану» (Искусство. 1925. № 2. С. 268, 270).

В донесении Петербургского охранного отделения от 5 августа 1905 г. сообщалось о литературно-музыкальном вечере в Териоках, организованном М.Ф. Андреевой 30 июля 1905 г., где Андреев прочел рассказ “Красный смех”, “в котором рисуются все ужасы войны” (М.Ф. Андреева: Переписка. Воспоминания. Документы. Воспоминания о М.Ф. Андреевой. М., 1968. С. 102).

Нецензурность повести очень беспокоила Андреева. В письме М.П. Неведомскому в декабре 1904 г. он писал: «Ожидаю, как цензура поступит с моим “Красным смехом”. Вырежут, мерзавцы! Он уже здорово окорочен. Даже любители российской словесности, люди либеральные, почтенные, умные, чуть-чуть не анархисты – те читать рассказ отказались: слишком де сильное впечатление (!?) производит (...) Что же может сказать цензура?» (Искусство. 1925. № 2. С. 270). Он сообщает Пятницкому, что в случае, «если цензура заупрямится или потребует важных урезок, он готов издать рассказ “бесцензурно”» (ЛН72. С. 21).

Нецензурность “Красного смеха” беспокоила и М. Горького как редактора знаиьевских сборников. «Прими во внимание: возможно, что “Красный смех” вырежут, а потому, дабы чеховский сборник не вышел без тебя, давай немедленно “Царя”»<sup>9</sup>, – писал он Андрееву 22 декабря 1904 г. Для того чтобы обойти цензуру, Горький прибегнул к определенной уловке, задерживая сдачу сборника до начала рождественских праздников: “Сборник сегодня пошел в цензуру, – нарочно держали до последнего дня, ибо на праздниках цензора – надемся – будут пьяны, а в пьяном виде человек свободолобивее. Это называется – тонкий расчет” (Горький. Письма. Т. 4. С. 205, 206).

“Красный смех” вышел в свет в январе 1905 г. в третьем сборнике товарищества “Знание” за 1904 г. 6 февраля Л. Андреев, посылая сборник В. Вересаеву, который в то время находился в Маньчжурии на театре военных действий, писал: «Там же вы найдете мой “Красный смех” – дерзостную попытку, сидя в Грузинах, дать психологию наступающей войны. (...) Как его пропустила цензура, – тайна Пятницкого: в подцензурных газетах даже о рассказе писать не позволяют» (Вересаев 1985. Т. 5. С. 512).

Сборник “Знание”, в котором была опубликована повесть, разошелся невиданным для того времени тиражом – 60 000 экземпляров. Между тем для еще более широкого ее распространения Андреев предполагал отдельное издание. Об этом он писал Пятницкому еще около 13 ноября 1904 г.: “Рассказ нужно напечатать как можно скорее, тем паче, что к весне, если война не кончится и если рассказ будет иметь успех, его нужно было бы выпустить отдельным изданием” (ЛН72. С. 238). В письме Пятницкому около 10 декабря Андреев снова возвращается к этой теме: «Для меня совершенно выяснился план отдельного издания “Красного

<sup>9</sup> Имеется в виду рассказ “Из глубины веков” (см. наст. изд.).

смеха”. Я видел альбом Гойи “Ужасы войны”, это до того удивительно хорошо, до того подходит к рассказу и в совокупности с ним создает нечто единственное – что я чуть не спятил. Восторг!» (Там же). Издание не состоялось. В фонде Андреева в рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 4) хранится страница картона, испанского с обеих сторон пронумерованными названиями на русском и испанском языках, которые совпадают по нумерации и названиям с отдельными офортами Гойи из серий “Бедствия войны” и “Капричос”. Под номером 63 здесь значится “Красный смех”. Вероятно, именно этот офорт из первой серии, названный художником “Muertos recogidos” (“Собрание мертвецов”) и изображающий груды мертвых тел, казался Андрееву наиболее точно выражающим основной смысл повести.

Реальной основой “Красного смеха” стали факты Русско-японской войны, почерпнутые писателем из газетной и журнальной периодики, на страницах которой публиковалась обширная информация о ходе военных действий на Дальнем Востоке. Ведущая роль в освещении событий принадлежала, безусловно, “Русскому инвалиду”, официальному изданию военного министерства. Но и другие газеты, московские и петербургские, отправляют на театр военных действий своих лучших корреспондентов. Так, например, Н.Г. Гарин-Михайловский, который с апреля 1904 г. состоял в качестве инженера при штабе командующего 1-й Маньчжурской армией, стал корреспондентом московской газеты “Новости дня”. Его первый очерк из цикла “Дневник во время войны” появился в газете 3 мая 1904 г. (№ 7510). “Русское слово” из номера в номер печатало отдельные части “Дневника военного корреспондента” патриарха отечественной военной журналистики Вас.И. Немировича-Данченко, получившего известность еще во время Русско-турецкой войны. В “Русском инвалиде” центральное место занимали яркие очерки П. Краснова “На войне”, не просто фиксировавшие события, но выражавшие свои впечатления от пережитого (первый очерк был напечатан в № 35 от 16 февраля 1904 г.). Их дополняли предельно объективные и трезвые “Походные заметки” К. Агафонова. В “Новом времени” привлекали внимание точностью изложения корреспонденции П. Борисова и А. Ольгинского. В рубрике “Дневник войны” часто появлялись развернутые сообщения за подписью Эфте – псевдоним Ф.Ф. Тютчева, служившего есаулом Аргунского полка. Знающим и оперативным зарекомендовал себя хроникер “Правительственного вестника” Н. Апушкин.

Военные корреспонденты не только воспроизвели хронику войны. Они писали о подвигах самопожертвования русских солдат и офицеров, о невероятных трудностях, выпавших на их долю: нечеловеческом перенапряжении, сутках, проведенных без сна, о страшном зное, поражавшем людей солнечными ударами, о докторам и санитарам, в полусне подбиравших раненых. Сообщались и факты обстрела японцами санитарных поездов, и добивания ими раненых русских солдат, о недоразумениях, когда подразделения одной армии уничтожали друг друга. Многие факты, цифровые данные и другая информация активно включается Андреевым в художественное повествование.

Повествование “Красного смеха” начинается с описания бесконечного марша по “энской дороге”: “⟨...⟩ шли непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас”. Оно отражает отступление русских войск по Ляоянской или Мандаринской дороге после кровопролитных боев под Ляояном 12, 13 и 14 августа. «Нашей армии предстояло совершить тяжелый путь, – писал корреспондент “Русского инвалида” П. Краснов, – отойти на 60 верст под напором с фронта и при угрозе с флангов противника. Убрать госпиталь, лазареты и бесконечные обозы и по нескончаемым дорогам в эту страшную сверхчеловеческую жару отвести войска» (*РИ*. 1904. 19 авг. (№ 181). С. 3). “По всем дорогам, что идут в северном направлении, клубами стелется пыль и идут бесконечные обозы, артиллерийские парки, батареи, двуколки, лазаретные повозки, а потом войска, войска. Войска. Наибольшее движение по широкой Мандаринской дороге”, – продолжал он в следующей корреспонденции (*РИ*. 1904. 21 авг. (№ 183). С. 4).

Мотив жары настойчиво звучит во всех газетных сообщениях. Он сопровождал все описания ляоянского сражения: “Солнце разит почти отвесными лучами, пески желтые, горы, затянутые туманом, и небо без единой тучки” (*РИ*. 1904. 4 июля (№ 145)); “Солнце, не затемненное ни единой тучкою, неподвижно и упорно висело над головами долгие часы ⟨...⟩” (*РИ*. 1904. 7 июля (№ 147)) и особенно усиливается при описании отступления: “Жара и мухи. ...Что может быть хуже, мучительнее этого сочетания. Жара 46 градусов в тени, а на солнце ад” (*РИ*. 1904. 19 авг. (№ 181). С. 3); “В воздухе ни малейшего движения. Облака пыли как поднялись, так и стоят неподвижные, мутные, душные” (*РИ*. 1904. 21 авг. (№ 183). С. 4); “Пехота... идет без песен. Не до песен тут, в горле пересохло. Жара томит” (*РИ*. 1904. 24 авг. (№ 186). С. 5). У Андреева все эти подробности вырастают в фантазмагорическую картину хаоса, состоящего из неровного топота людских и лошадиных ног, скрежета железных колес, сухого надорванного дыхания среди абсолютной тишины (“как будто двигалась армия немых”) и – главное – огромного огненного солнца и раскаленного воздуха, в мареве которого растекаются предметы, а люди превращаются в бесплотные качающиеся тени.

Сообщение о том, что отдельный полк понес потери не столько ранеными, сколько пораженными солнечными ударами: “⟨...⟩ сколько людей лежит на дороге в серых рубашках и штанах! Это пораженные солнечным ударом” (*РИ*. 1904. 24 авг. (№ 186). С. 5), могло отразиться в описании груды “серых людей”, которые лежат неподвижно, мертвые, но с багрово-красными, словно у живых, обожженными лицами и спинами (*ОТ*. Ч. I, стк. 75–81). А краткое упоминание в очерке П. Краснова о пожилom солдате, шедшем “машинально, едва передвигая ноги, с помутившимся от жары рассудком” (*РИ*. 1904. 24 авг. (№ 186)), перекликается в повести с образом безумного солдата с черными бездонными отражающими “бездну ужаса и безумия” зрачками, бессознательно пытавшегося убить главного героя (*ОТ*. Ч. I, стк. 105–113).

“Кошмарная”, “ужасная война”, “не война, а настоящая бойня”, переступившая грань реального и возможного, – таковы были характеристики, которыми пестрели корреспонденции с полей сражений. Газеты подчеркивали, что она была не похожа на предшествующие войны. Впервые сражающиеся стороны не встречались лицом к лицу. “Богом войны” стала артиллерия. Именно она решала исход сражения, как, например, в кровопролитных боях под Тюренченом, Ляфангоу, в которых русские артиллеристы явили подвиг самопожертвования, сражаясь до полной потери орудий, лошадей и прислуги. Сообщалось и о том, что японцы, имея огромный перевес в артиллерийском вооружении, на протяжении многих часов буквально засыпали снарядами русские позиции, защитники которых разрывались в клочья, не успевая вступить в бой. П. Краснов, описывая двухдневный бой под Вафангоу в июне 1904 г., отмечал, что в равной степени вызывает изумление как упорство, презрение к смерти японцев, так и храбрость и стойкость русских. “Двое суток над их головами рвались сотнями шрапнели, и черный дым от мелинитовых гранат, падавших на батарею, ел глаза артиллеристам, а осколки снарядов побивали лошадей, ломали пушки, а люди все топтались на одном месте, валялись в глинистой пыли, в камнях и низком кустарнике, не желая отдавать одни другим кусочек земли” (РИ. 1904. 7 июля (№ 147). С. 4). Подобную же картину создает в начале повести Л. Андреев: “...почти все лошади и прислуга (убиты. – *Сост.*). На восьмой батарее также. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия – остальные подбиты, – шесть человек прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделяя нас от земли, от неба, от своих – и мы, живые, бродили как лунатики” (ОТ. Ч. I, стк. 132–139).

Не случайно Андреев делает своего героя артиллерийским офицером. Именно с батареей, как свидетельствовали корреспонденты, поступало в госпитали самое большое количество людей с нарушенной психикой. “Несколько бессонных ночей у орудий, в вечном грохоте, в страшном напряжении внимания, в выслеживании противника и под его постоянным огнем – доводят их до душевного расстройств”, – писал Вас.И. Немирович-Данченко (*Немирович-Данченко В. Дневники корреспондента // РС. 1904. 11 янв. С. 2*).

Первая война XX в. наглядно обнаружила те тенденции, когда в судьбах человечества определяющую роль стала играть техника. Размышляя над происходящим, обозреватель “Биржевых новостей” В. Гайдебуров писал: “Бывают эпохи, когда общества грезят через своих поэтов. Тогда вырастает роскошная литература, которую называют великой и которую изучают, как народную душу. В другие эпохи поэтов заменяют философы, ученые. В наше время все мечтательные силы общества ушли в технику. Техника одухотворена, она наполнена высшим смыслом и властвует над умами. Техники стали поэтами современности” (*БВед. 1904. 15 февр. (№ 88). Веч. вып. С. 2*). В событиях на Дальнем Востоке отразилась суть цивилизации с ее механизацией, механизацией,

превратившей величайшие достижения научно-технического прогресса в изощренные способы уничтожения человека. Проволочные заграждения, калечившие человеческое тело, ловушки – “волчьи ямы” с острыми кольями на дне, разрывные фугасы, бомбы-шимозы, новый тип оружия, направленный не только на то, чтобы вывести человека из строя, но причинить ему мучительные страдания и пожизненные увечья, разрывные пули “дум-дум”, заменившие обычные пули, пушечные снаряды и мины, заряженные мелинитом, которые не только убивали своими осколками, но и душили газами, – впервые были широко применены в ходе Русско-японской войны и стали реальным фактом, широко обсуждаемым на страницах печати. Например, капитан Заболотный, автор трактата “Что такое война”, участник лоянского сражения, раненный в атаке тремя пулями, писал: “Когда атака была отбита, страшно было глядеть на место боя, кучи трупов усеяли гору, в особенности много их навалилось на месте искусственных препятствий” (*СПбВед.* 1904. 5 окт. (№ 273). С. 5). Все эти признаки нового типа войны не могли не поразить Андреева и нашли отражение в его описаниях: “Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извилах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями – так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления” (*ОТ.* Ч. I, стк. 249–257).

Современников поражало небывалое кровопролитие этой войны. Видавшие виды военные корреспонденты с немалой долей изумления фиксировали картины массового уничтожения и невольной жестокости сражавшихся. Подобный оттенок присутствует, например, в описании подвига молодого офицера, который, будучи раненым, успел взорвать фугас перед наступающим батальоном японцев. “Взрыв удался, и целый батальон погиб. Восемьсот человек, обезображенных, с оторванными руками и головами, мертвых и раненых, было раскидано ужасным взрывом по полю” (*РИ.* 1904. 25 сент. (№ 210). С. 4).

“Биржевые ведомости” под заглавием “Кровавая баня у Чемульпо” поместили рассказ очевидца морского боя, в котором погиб крейсер “Варяг”, воссоздавшего следующую картину: “Везде только и видны были ручьи крови. Кровь, кровь без конца... Оторванные руки, ноги. Истерзанные, пронизанные картечью тела, куски разорванного мяса” (*БВед.* 1904. 9 февр. (№ 72). Веч. вып. С. 4). “Русский инвалид” в одной из корреспонденций сообщал о случае, когда после попадания снаряда командира полка разметало на части так, что от него остались только рука и окровавленная челюсть (*РИ.* 1904. 30 мая (№ 116). С. 5). И таких свидетельств было множество. В этом контексте акцентированные подробности “Красного смеха”: “прорванные животы”, “вырванные глаза”, “размолотые груди”, тянущиеся отовсюду руки, “пальцы на которых судорожно сокращались, хватая все”, – становятся не средством

нагнетания “безумия и ужаса”, как это представлялось тогдашним критикам, а реальным отражением “ужасов и зверств” войны, зафиксированных ее свидетелями и участниками. Эти реалии, разумеется, экспрессивно сгущены в андреевском повествовании. Особенной беспощадностью отличались корреспонденции Вас. Немировича-Данченко, детально воспроизводившие ужасы войны. “Нельзя себе вообразить, в каких положениях смерть застает противников, – описывал он поле после битвы. – Вот один так и замер, сжимая горло другому, а в нем самом торчит впившийся в спину и сломавшийся штык; вон несколько человек переплелось так, что разобрать нельзя, где враг, а где наши. Руки, сжатые в кулаки, руки, вытянувшиеся куда-то, руки, подвернувшиеся под спины, – и все раны в голову, в грудь. Разбитые черепа, вывалившиеся и расплывшиеся мозги, и лужа крови у самых тел, клочья мяса, бывшие когда-то человеком, вывороченные раны, из которых торчат сломанные кости, ножом перехваченные горла, из которых кипучей струей хлестала кровь” (РС. 1905. 10 янв. С. 2). Это описание во многом перекликается с рассказом о бое в “Отрывке четвертом”: “(...) солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, – и вдруг сразу стали неподвижны. (...) Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все (...) сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили” (ОТ. Ч. I, стк. 244–248; 262–266).

Русско-японская война впервые начала вести счет не на сотни, а на тысячи погибших. Газеты писали о горах трупов, оставшихся после каждого сражения. Только в битве под Ляояном, по сведениям газеты “Рейтер”, потери обеих сторон достигали 50 тысяч человек. Газета “Дэйли мэйл”, подводя итоги году войны, называла цифру в 240 тысяч погибших. При этом она сообщала, что в маньчжурских битвах японцы потеряли 57200 человек убитыми и ранеными, а русские – 111 тысяч, и 3483 человека были взяты в плен (СПбВед. 1905. 30 янв. (№ 23). С. 2). “Русский инвалид” с сентября 1904 г. печатает регулярные выпуски “Приложений” к газете – огромные белые листы, заполненные фамилиями раненых, убитых и пропавших без вести. И в “Красном смехе” появляются созвучные цифры потерь, масштабы которых постепенно увеличиваются: “сотни человек”, выхваченные градом шрапнелей и пуль; “четыре тысячи трупов”; “в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч человек”; “сотни тысяч слезами оглашают мир”; “миллион людей, собравшись в одно место (...) убивают друг друга”; “обе армии, сотни тысяч людей стоят друг против друга (...) и каждую минуту живые люди превращаются в трупы”.

Под явным впечатлением от газетных материалов возникает ряд сюжетных мотивов. Так, Вас. Немирович-Данченко в своих “Дневниках корреспондента” писал о так называемых летучих отрядах Красного Креста, осуществлявших необычную для традиционной войны дерзкую

практику прохода через линию фронта, чтобы вытаскивать раненых, оставленных отходящими войсками. В частности, он описывал ночную экспедицию врача Лерхе. По настроению и деталям это описание совпадает с “Отрывком пятым” – ночной экспедицией сумасшедшего доктора на санитарном поезде. «Теперь кругом было настоящее “поле смерти”... Насколько можно было разобрать и впереди, и по сторонам – всюду мерещились тела, тела и тела, иногда грудями, иногда в одиночку, часто исковерканные... с подвернувшимися головами, с искривленными конечностями, вывернутые, то ничком, то лицом вверх, глазами прямо в звездные бездны. Некоторые трупы были совсем разорваны снарядами, в холодеющий воздух еще дымились вывороченные внутренности. Попадались комья мяса, в которых уже ничего нельзя разобрать. И между трупами, в сумраке, скорее слышишь, чем видишь, крадущееся, непрекращающееся движение... и вместе с движением – стоны, тягучие, часто жалобные. (...) И раненые точно почуяли своих: теперь они отовсюду ползут сюда, угадывая во мраке всадников. Ползут, теряя последние силы, исходя кровью, часто умирая – в печальной надежде, что сейчас, вот сейчас, еще несколько шагов, и их подберут, увезут или унесут к своим” (РС. 1905. 9 янв. С. 2). О летучих отрядах шталмейстера Родзянко, 18 часов подряд не уходивших с поля, писал и П. Краснов: “Два полных поезда ушло, а раненые все прибывают (...) накаплиются на площадке, просят перевязки, просят есть или, упавши в глинистую грязь, воспаленными страдальческими глазами смотрят в темное, покрытое тучами небо” (ПИ. 1904. 9 июля (№ 149). С. 4). Детали обеих заметок находят отражение в рассказе Л. Андреева. Писатель материализует метафору “поле смерти”, где перемешано живое и мертвое: “равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали” (ОТ. Ч. I, стк. 584–586); с другой стороны, земля словно приходит в движение живыми бугорками раненых: “(...) и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности” (Там же. Стк. 616–622); а человеческие стоны и крики сливаются в “дикий, неслышанный стон, не имевший видимого источника, – как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо” (Там же. Стк. 578–580). И так же, как у Краснова, изображает он бесконечное количество людей, идущих и ползущих, протягивающих руки за помощью и спасением: “Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, (...) а раненых все несли. И все так же дико копошилось ожившее поле” (Там же. Стк. 626–629).

Газеты неоднократно писали о хаосе, царившем во время сражений, об обходах японцами наших войск, о панике и криках: “нас обошли”, о путанице, когда наши части истребляли друг друга: “Вдруг сзади нас

тяжело ударила пушка и над нашими головами занял и заскрипел, разворачивая воздух, снаряд.

– Господа, неприятель сзади... Нас обошли.

Хаос. Стрельба стихла. Это были наши. Отступавшие солдаты 5 дивизии, увидав сквозь гаолян орудия пограничной стражи, вообразили, что это японцы и открыли беспорядочный огонь” (*РИ*. 1904. 5 окт. (№ 218). С. 5). “...это были наши” – так начинается “Отрывок шестой”, рассказывающий о ранении героя, когда “гранатой, пущенной из нашей пушки”, ему оторвало ноги.

20 мая 1904 г. было опубликовано сообщение об обстреле японцами санитарного поезда с опознавательным белым флагом с огромным красным крестом. “Японцы залпами стали обдавать поезд. Они попрали международный военный культурный обычай” (*РИ*. 1904. 20 мая (№ 108). С. 5). “...Это было безбожно, это было незаконно. Красный крест уважается всем миром как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине”, – восклицает герой Андреева (Отрывок седьмой).

Тот факт, что японские войска были очень хорошо одеты и оборванные русские солдаты раздевали трупы японцев, чтобы надеть их платье на себя (*РС*. 1905. 10 янв. С. 2), преломлен у Андреева в строках из письма погибшего офицера: “Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. (...) Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собой” (*ОТ*. Ч. II, стк. 617–619; 624–625).

Рассказывая о знаменитом бое за Путиловскую сопку, ставшем центральным моментом сражения 18 апреля под Тюренченом, в котором было положено три с половиной тысячи жизней, Вас.И. Немирович-Данченко описывает гору трупов: “Видели вы воду, выступающую из берегов, когда, переполнив их, она широко выливается через высокие берега и затопляет собою все кругом? Так именно трупы после этой ужасной бойни выступали из длинных и глубоких окопов. Внутри они лежали одни на других, горбами, снаружи – точно их выбросили оттуда и, распластавшиеся, они были раскинуты около” (*РС*. 1904. 10 янв.). Возможно, именно этот эпизод из военной корреспонденции мог отразиться в образе земли, извергающей трупы, который предстает в потрясенном сознании младшего брата в финальной сцене рассказа<sup>10</sup>.

Сама тема безумия – ведущая тема “Красного смеха” – во многом имеет под собой реальную почву. Многие современники говорили

---

<sup>10</sup> Об отражении в повести реальных событий войны см. также: *ЛН72*. С. 219; *Соболева Н.И.* Леонид Андреев и “Красный смех”: Реальность и вымысел // Юбилейная междунар. конф. по гуманит. наукам, посвященная 70-летию Орловского гос. ун-та: Материалы. Вып. II: Л.Н. Андреев и Б.К. Зайцев. Орел: Орловский гос. ун-т, 2001. С. 23–26; *Афонин Л.Н.* Леонид Андреев: (Из неопубликованного). Орел, 2008. С. 85–86.

об искусственности произведения, его излишней болезненности и неправдоподобии психических состояний героев. Между тем феномен психического расстройства как характерная черта современной войны стал реальным фактом. В обществе распространялись толки о массовых заболеваниях в войсках. Об этом же глухо упоминали газеты. Напряженно работало психиатрическое отделение Московского военного госпиталя, которое было первым пунктом, куда эвакуировались с театра военных действий заболевшие солдаты и офицеры. По свидетельству одного из врачей, за время войны через отделение прошло более двух тысяч человек. Специалисты также свидетельствовали, что психическим заболеваниям вследствие сложившейся ситуации были подвержены не только непосредственные участники сражений, но и более широкий круг людей. Впервые вопрос о влиянии войны на психическое состояние человека был поставлен как научная проблема (хотя работы на эту тему появились после Балканской войны, но в то время они прошли практически незамеченными). В течение всего времени военных действий на Дальнем Востоке и непосредственно после их окончания анализ душевных заболеваний был предпринят в научных статьях известных русских психиатров А.И. Озеревецкого, М.О. Шайкевича, С.А. Суханова, П.М. Автократова и др., опубликованных в специальных журналах: “Обозрение психиатрии”, “Русский врач”, “Журнал им. С.С. Корсакова”, “Военно-медицинский журнал”.

Научный анализ авторитетных врачей-психиатров, их выводы о причинах различного рода душевных заболеваний, характеристика их симптомов, описание течения болезни подтверждают то, что было интуитивно угадано Андреевым, вплоть до деталей совпадая с описанием психологического состояния двух братьев, воссозданного писателем.

Так, А.И. Озеревецкий, заведующий психиатрическим отделением Московского военного госпиталя, считал главным последствием пребывания на передовой крайнее нервное истощение в результате непосильной работы, недостатка сна, неудовлетворительного питания, напряженного ожидания атаки. “Постоянная боязнь за собственную жизнь, проносящиеся над головой снаряды, иногда неожиданное ночное нападение, ложная тревога, неизвестность будущего – все это делает нервную систему до крайней степени раздраженной”, – перечислял он, добавляя еще и усугубляющие воздействия: визг шимоз, вид раненых, смерть близких, неудачный исход боя, особенно отступление, а также внутренние факторы тревоги, страха, предвкушения чего-то ужасного (*Озеревецкий А.И. О душевных заболеваниях в связи с русско-японской войной // ВМЖ. 1905. № 11. С. 577*). Все указанные характеристики, многократно повторенные, экспрессивно-сгущенные присутствуют в тексте Андреева.

А.И. Озеревецкий приводил рассказ своего пациента – молодого офицера о том, как во время паники в полку при ложной тревоге ночью перекололи 15 человек своих. Он же вспоминал, что “весь полк был настроен нервно вследствие отступления и неизвестности местности; беспокойство доходило до того, что один солдат начал стрелять неизвестно

в кого, сидя под телегой” (Там же. С. 578). У Андреева присутствуют и образ безумного солдата с черными бездонными зрачками, отражающими “бездну ужаса и безумия”, бессознательно пытавшегося убить главного героя, и неразбериха боя, и ночная атака, когда “два полка одной армии (...) взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем” (ОТ. Ч. I, стк. 732–734).

Переживания андреевского персонажа близки к свидетельствам еще одного офицера, приводимым Озеревецким: “От 17 до 23 июля мы почти не спали; роты были под ружьем, царила паника, попали под сильный артиллерийский огонь, шрапнель рвалась над головой, чувствовал себя усталым. С 13 по 19 августа опять встреча с японцами, марши день и ночь, бессонные ночи, семь суток ничего не ел, некогда было есть... После Ляоянского боя стал страдать бессонницей, вздрагивал при каждом стуке; все чудилось, что стреляют, палят, особенно действовали на нервы ужасы боя, кровь, стон раненых” (*Озеревецкий А.И.* Указ. соч. С. 578, 579).

Диагноз, поставленный проф. Озеревецким своим пациентам, – неврастенический психоневроз, симптомами которого были угнетение, истощение и раздражение нервной системы, выразившиеся в подавленном настроении, тоске, доходящей до мыслей о самоубийстве, полной неспособности к умственной работе. Он отмечал, что у больных наблюдался обман чувств: воспроизводились или тяжелые картины войны – треск разрывных снарядов, стоны раненых, убитые со снесенными черепами, или, напротив, возникали картины мирной жизни, наблюдались галлюцинации, объектом которых были жена, дети, родные (*ВМЖ.* 1905. № 10. С. 370). В качестве художественной параллели этому может рассматриваться многократно повторяющийся в первой части повести (воспроизводящей военные события) образ дома: комната с голубыми обоями, лампа под зеленым колпаком, хрустальный графин на столе, фигуры жены и сына в соседней комнате: «Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: “Кто-то убит!” – но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина» (ОТ. Ч. I, стк. 167–173).

Важным признаком психического заболевания было зафиксированное медиками состояние автоматизма. Мотив отупения, автоматизма возникает с первых страниц повести: “были – как лунатики”, “движения наши были уверенны и быстры”, “двигались как во сне” и т.д. и многократно повторяется.

Другой врач, исследовавший состояние жертв войны, М.О. Шайкевич считал наиболее распространенным и показательным заболеванием депрессивно-ступорозный психоз. Среди его симптомов он указывал: состояние угнетения, молчаливости, отупения, когда человек плохо или совершенно не ориентируется во времени и пространстве, замедление ассоциативного процесса, наличие отрывочных, бредовых идей,

выражающих путаницу мыслей, постоянное ощущение тоски, сильного страха, опасности и неминуемой гибели, подстерегающей всюду, зрительные галлюцинации, приобретающие устрашающий характер. Истоки подобных состояний Шайкевич видел в психологическом воздействии текущих общественно-политических событий (в том числе и войны) при непроизвольном сопротивлении им личности с обостренным сознанием: “Чем интеллигентнее больные, тем у них бредовые идеи и обманы чувств были ярче выражены, обнаруживали большую стойкость и склонность к системе” (*Шайкевич М.О.* К вопросу о душевных заболеваниях в войске в связи с русско-японской войной // *ВМЖ.* 1907. № 6. С. 90). И причины болезни, и ее признаки, зафиксированные врачом, близки к той клинической картине, которую создает Андреев, рисуя судьбу младшего брата.

Интересны позднейшие отзывы врачей-психиатров и о самой повести Андреева. Тот же М.О. Шайкевич, отметив необычайный интерес “Красного смеха” для психиатра, наблюдавшего больных, эвакуированных с театра военных действий, считал, что все же основная задача писателя – в схематизированно-символической и импрессионистической форме воссоздать “всю силу страха и ужаса современной адской войны”, чего он, безусловно, достиг. Поэтому с позиции психиатра можно говорить лишь об отдельных эпизодах повести, в которых были художественно зафиксированы некоторые психиатрические феномены и факторы: поражающее влияние новейших военных приспособлений, описание сумеречного, “просоночного”, полусознательного состояния людей, специфическая окраска бреда из фактов войны (*Шайкевич М.О.* Психопатология и литература. СПб., 1910. С. 11).

Доктор А. Муморцев, напротив, утверждал, что “ультраимпрессионистичность” произведения, о которой так много писала критика, мнимая и в своей основе оно абсолютно реалистично. При этом под реалистичностью он имел в виду воспроизведение реалий войны, преломленное сквозь двойную призму двух болезненных сознаний. Первая часть, по его мнению, представляла “скорбный лист” участника войны, которому психиатр ставил диагноз: прогрессивный паралич. Скрупулезно анализируя текст, он показывал, как Андреев воссоздает развитие болезни. При этом отмечал точность изображения галлюцинаторных образов слуха и зрения, например, в сцене, где санитарный поезд собирает раненых, когда единичные стоны и крики вызывают в сознании персонажа иллюзорное представление “дикого неслыханного стоны, не имевшего видимого источника”, а также фиксировал представленные Андреевым типичные состояния обманных воспоминаний, парамнезии, выпадения звеньев ассоциативной цепи и т.д. (*Муморцев А.Н.* Психопатические черты в героях Леонида Андреева. Разбор произведений: “Красный смех”, “Бездна”, “В тумане”, “Жизнь Василия Фивейского”, “Мои записки”. СПб., 1910. С. 8). И в последующей характеристике героя после его возвращения домой каждый жест, каждый штрих, отмеченные писателем: трясение головы и дрожание рук, эйфория, на почве которой возникает грандиозный бред и мания величия, когда больной представляет себя властелином

мира, по мнению психиатра, соответствует клинической картине болезни “без капли преувеличения” (Там же. С. 7).

Анализируя историю болезни, воспроизведенную в рассказе младшим братом, прослеживая развитие психоза с характерными для него особой болезненной подозрительностью – “бредом подозрения”, “навязчивыми состояниями”, к которым он относит эпизод в театре, А. Муморцев делает вывод: “Л. Андреев – не декадент и не импрессионист. Художественная правда его ни на минуту не оставляет. И если неверно изображение войны, то верен весь мир переживаний душевнобольных” (Там же. С. 15). Самый образ “красного смеха”, по мнению Муморцева, при всей его безусловной символичности, также имеет под собой реалистическую почву, сочетанием несочетаемых категорий свидетельствуя о нарушении познавательной функции нервной системы воспринимающего действительность персонажа. Психиатр подробно и доказательно объяснял вполне достоверную с точки зрения медицины его биологическую природу. “Благодаря переутомлению, поле сознания героя сужено до фиксированной точки, которой является лицо вольноопределяющегося, точнее – до его испуганной улыбки. И в тот же момент он был ранен именно в лицо. Брызнувшая кровь стала содержанием большого сознания, таким же, как и его улыбка. Эти два содержания сознания равноценны по силе яркости и отчетливости, а поле сознания настолько сужено, что кровь и улыбка сочетались в красный смех. И больному кажется, что в этом красном смехе и кроется разгадка того, что было во всех этих изуродованных, разорванных телах” (Там же. С. 9). Тем самым красный смех был возведен до степени реального понятия, и именно в болезненном восприятии, а не в “импрессионизме”, убежден Муморцев, кроется разгадка странного на первый взгляд заглавия повести.

Русско-японская война породила целый пласт литературы: рассказы, очерки, повести, дневники, путевые записки, принадлежащие перу писателей разной степени таланта и известности, непосредственных участников военных действий, очевидцев или просто современников событий. Страницы журналов были заполнены разного рода очерками о войне. В “Русском вестнике” в 1904 г. свыше полугода печатались псевдопатриотические очерки Ю. Ельца “На театре военных действий”. Вслед за ним появился “дневник корреспондента” И. Шахновского с характерным названием “Желтая гуча: (Двенадцать месяцев войны с Японией)”, на шумевшая “Правда о войне” И. Табурно, многократно перепечатывавшаяся издательством Суворина. “Русское богатство” в трех номерах печатало очерки “На войне” Г. Белорецкого. Очерки с тем же названием, принадлежавшие перу Н. Мордвинова, появились в журнале “Наука и жизнь”. В “Родной ниве” печатались романы В. Светлова “На войне” и Г. Эрастова “В огненном вихре”. Откликом на события стали рассказы Е. Чирикова “Тайна”, Н. Гарина-Михайловского, А. Новикова-Прибоя<sup>11</sup>. Широко откликнулась на события войны поэзия.

---

<sup>11</sup> См., например: *Выходцев П. С.* Русско-японская война в литературе эпохи первой русской революции 1905 г. // *Революция 1905 года и русская литература.* М.; Л., 1956. С. 280–320; *Иезуитова 1976.* С. 151–157.

В. Брюсов в стихотворениях 1904–1905 гг. “К Тихому океану”, “Война”, “На новый 1905 год”, “К согражданам”, “Цусима” и др. писал о том, что в минуту опасности, нависшей над Россией, “не время буйным спорам, как и веселым звонам струн”; “в час сражений в ратном строе” он звал сомкнуть против врага. С серией наивно-патриотических стихов выступил юный И. Северянин, прославлявший храбрость русских моряков, погибших за царя и Отечество. Напротив, трагическая сторона войны, приносящей горе и несчастье, стала темой стихотворений, получивших широкую известность: А. Белозерова “Вопли матерей”, П. Якубовича-Мельшина “Последняя жертва”, Т. Щепкиной-Куперник “На родине”.

Безусловно, центральным литературным событием, явившимся откликом на Русско-японскую войну, стала статья Л.Н. Толстого “Одумайтесь!”. Опубликованная издательством “Свободное слово” в Англии через четыре месяца после начала войны, она мгновенно стала широко известна в России.

Статья Толстого – это страстный протест против всякой войны и призыв к цивилизованному человечеству “одуматься” и прекратить бессмысленную бойню: “Но как могут так называемые просвещенные люди проповедовать войну, содействовать и участвовать в ней, и, что ужаснее всего, посылать на нее своих несчастных обманутых братьев?” (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1936. Т. 36. С. 101–102); “И вдруг начинается война (...) и те самые люди, которые вчера еще доказывали жестокость, ненужность, безумие войн, нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей и как можно сильнее разжечь страсти человеконенавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях, которые своими трудами кормят, одевают, содержат тех самых просвещенных людей (...)” (Там же. С. 102–103).

В отношении к войне у Толстого и Андреева много общего. Для обеих всякая война – массовое безумие, ведущее к высвобождению темных инстинктов человеческой природы, бессмысленное и безнравственное убийство и кровопролитие. Создавая “Красный смех”, Андреев, безусловно, испытывал влияние Толстого. Отдельные положения толстовской статьи Андреев разворачивал в ряд кошмарных картин. Толстой писал: “Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей” (Там же. С. 102). У Андреева читаем: “...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать, – красная кровь просится наружу и течет охотно и обильно” (ОТ. Ч. II, стк. 208–211).

Толстого поражало проявление радости по поводу множества убитых японцев. Это же потрясает и одного из двух братьев у Андреева. Толстой удивлялся, что “(...) люди, воздерживающиеся от таких проявлений, если они пытаются образумить людей, считаются изменниками,

предателями и находятся в опасности быть обруганными и избитыми озверевшей толпой людей” (*Толстой Л.Н.* Указ. соч. С. 106). Андреев показывает подобное избиение людей, вышедших с лозунгом “Долой войну!” (Отрывок одиннадцатый).

Толстой предупреждает о пропасти, к которой неудержимо движется человечество, “все больше и больше вооружаясь друг против друга и истребляя друг друга на войнах, мы, как пауки в банке, ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга” (Там же. С. 115). То же ощущение присутствует в словах андреевского персонажа: “Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы” (*ОТ. Ч. II*, стк. 193–195)<sup>12</sup>.

Однако природа их пацифизма различна. Толстой выражает протест с христианской (в его понимании) точки зрения и от лица ста миллионов русских крестьян. Ему кажется, что он знает, как предотвратить войну. Войн не будет, когда «обманутые люди опомнятся и скажут: “да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как вас там называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов”» (*Толстой Л.Н.* Указ. соч. Т. 36. С. 143). Андреев же пытается говорить от имени лишнего социально-сословных признаков (и, в принципе, абстрагированного и от религии) “общечеловека”, хотя повествователями в “Красном смехе” выступают братья, явно принадлежащие к кругу городской интеллигенции.

По Толстому, война неприемлема, потому что она противостоит мирной трудовой природе патриархального “естественного” земледельца, она противоречит укладу жизни крестьянства и основам его христианской нравственности. Для Андреева война – результат общечеловеческого безумия. В уже цитированном письме Горькому он пишет об “аристократичности” повести: “Разум, который не хочет, не может примириться с войною и гибнет, как часовой на своем посту, – разум будущего, а не настоящего; я ведь так вначале и хотел писать фантазию на тему о будущей войне и будущем человеке» (*ЛН72*. С. 242).

В определенной степени проблематика андреевского произведения могла повлиять на произведения, вышедшие позднее, такие как рассказы и записки “На японской войне” В. Вересаева (1906–1907), “Путь” Л. Сулержицкого (1906), “Отступление” Г. Эрастова (1906). Тема распада личности в качестве одного из мотивов присутствует в рассказе В. Вересаева “В мышеловке” (1906). В повести Сулержицкого рассуждения героя-повествователя приводят к мысли, что война разрушающе действует на сознание и психику человека. “Больные и измученные” глаза раненых солдат говорят рассказчику, следующему на войну: “не ездите туда, там ужас” (*Сулержицкий Л.* Путь // Сб. т-ва “Знание”. 1906.

<sup>12</sup> См. также: *Беззубов В.И.* Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 40–44.

Кн. 9. С. 267). Присутствуют и андреевские мотивы сумасшествия и одичания: последний вагон каждого идущего навстречу санитарного поезда – с душевнобольными, у которых “странно-наивные лица”, а толпы возвращающихся солдат – это одуревшие или опустошенные полулюди; и разочарование в основных идеях прогресса и гуманизма.

Тем не менее, большинство писателей делало акцент на воспроизведении повседневных военных будней, на тяготах войны, на ее фактах, которые сами по себе были выразительны. Убеждение в том, что факт ярче и значительнее художественного вымысла, лежит в основе очерков В. Вересаева. Показывая войну в обыденности ее мелочей, он наглядно продемонстрировал “самую страшную и самую спасительную способность человека – способность ко всему привыкать” (Вересаев 1985. Т. 5. С. 398).

Андреев же дает в “Красном смехе” общепризнанное осмысление войны, выходящее за рамки утилитарных рассуждений о ней как о невзгоде, несущей вред семье, здоровью и нравственности. По Андрееву, война – это нарушение общих законов человеческого и природного бытия. И любая попытка осмыслить ее логически ставит человеческий разум на грань разрушения. «(...) Ведь безумие войны так очевидно, – писал он О. Дымову 28 января 1905 г., – и чем больше о нем писать, тем лучше. (...) А относительно данной войны, мне кажется, даже необходимо не видеть ее непосредственно, не участвовать в ней, чтобы судить о ней правильно. Так как они все немножко сумасшедшие, то они не замечают этого и думают, что все обстоит в высшей степени благополучно: шашка рубит, пушка стреляет, тело продырявливается. Нужно стоять в стороне, чтобы слышать, как пищит несчастный человеческий разум под горами бессмысленно-умных ядер и умно-бессмысленных приказов к наступлению и отступлению. Бывают случаи, когда “очевидцы” неизбежно лгут, и очень редко случается, чтобы свидетель мог быть хорошим судьей» (цит. по: *Иезуитова 1976. С. 164, 165*).

Андреев утверждал, что написал “Красный смех” на одном дыхании, за короткое время (в цитированных выше письмах к различным адресатам он называет семь, восемь, девять дней<sup>13</sup>). Рукописные редакции и варианты свидетельствуют, что писатель настойчиво искал форму, которая наиболее точно могла бы выразить авторскую мысль и необходимую особую интонацию повествования.

В уже цитированном письме Горькому от 8 октября 1904 г. он сообщает: “Рассказ так труден, что я все не решаюсь взяться за него и тренируюсь на мелочах”. Вероятно, именно к этому времени относятся первоначальные наброски к повести (ЧН1, ЧН2, ЧН3 и ЧН4). Первые два построены как объективированное авторское повествование, содержащее рассуждения о феномене войны, оба открываются фразой: “Уже давно не было войны, и люди стали забывать о ней”. В первом черновом наброске (по объему это всего один абзац) война представляется как

<sup>13</sup> На самом деле (как уже было указано ранее), согласно авторской датировке различных рукописей, повесть была написана между 17 октября и 8 ноября, т.е. как минимум она создавалась на протяжении 23 дней.

пережиток прошлого, нечто архаичное, ушедшее из жизни современного человека, – очевидно, что в этом и последующем наброске действие как бы перенесено в будущее<sup>14</sup>. В *ЧН2* исходные мотивы расширяются и углубляются, включают в себя суждения о целом типе культуры, обожествившей человеческий Разум, в результате чего человек поверил в знание, в способность ума устроить наилучшие порядки на земле, уверовал в идею прогресса, в победное шествие человечества к счастью, истине и добру. “Десятки лет глубокого мира приучили людей к господству разума, а непрерывная проповедь любви, жалости и уважения к человеку облагородила их души, сделала их чуткими и нежными, отзывчивыми к страданиям. (...) Как и тысячи лет тому назад, люди не могли доказать, что убивать нельзя, но привыкли не убивать, всей своей жизнью признали, что убийство безрассудно, и были уверены, что кто-то давно доказал это так неопровержимо и ясно, как математическую истину” (*ЧН2*). Рассуждения о новом характере будущей войны, не похожей на прежние, о гуманности современной цивилизации занимали в то время страницы газет. В частности, “Русский инвалид” писал: «Лет пять тому назад богатый варшавский банкир г. Блюх выпустил громадное сочинение под названием “Война будущего”. С развязностью дилетанта, целым рядом математических таблиц, выкладок, схем, чертежей и рисунков этот банкир доказывал, что при силе современных взрывных веществ, бездымном порохе, дальнобойности и скорострельности ружей – война стала невозможна. Военное сословие низводится будто бы на нет, личная храбрость и героизм отсутствуют, и война становится историческим пережитком, который людям XX века уже будет не знаком. Книга, написанная в полунаучном тоне, стала популярной, ей многие поверили, и в обществе мирные тенденции стали преобладать» (*РИ*. 1904. 3 июля (№ 144). С. 7). В какой-то степени возможна перекличка Андреева с подобными утопиями: “И как прежде, во всех больших государствах существовали огромные полчища людей, одетых в особую форму и снабженных оружием, и назывались они военными. Большинство из них скучали и тяготились ношением ненужного оружия и особым порядком жизни. (...) Они талантливо строили неприступные крепости и титанические суда, недоступные гибели, они изобретали новые разрушительные орудия и с математическими таблицами в руках вычисляли дальность полета и силу удара. Они были творцами в деле разрушения и их вдохновенные грезы были грезами поэта” (*ЧН2*), представлявшими игру ума и не использовавшимися для уничтожения людей.

Однако на утопический (“футурологический”) ракурс ранних набросков накладывались реалии текущей войны (нелепость и внезапность ее начала). Действительно, с первых дней нового, 1904 года газеты были полны обсуждением ситуации на Дальнем Востоке, русское правительство послало ноту Японии по поводу ее действий в Корее, потом

---

<sup>14</sup> Ср. (в ранее цитированном письме Горькому от 14 или 15 ноября 1904 г.): “(...) я ведь так вначале и хотел писать фантазию на тему о будущей войне и будущем человеке”.

начались смутные намеки на подготовку японской армии, обсуждалась необходимость борьбы за Маньчжурию и т.д. 24 января Япония прервала дипломатические отношения с Россией, а в ночь с 26 на 27 января ночью была атакована русская порт-артурская эскадра. 27 января произошел первый морской бой у Порт-Артура, в котором были затоплены “Варяг” и “Кореец”. Близкую сюжетную версию можно найти в раннем наброске: “Как уже часто бывало, поднялся вначале безвредный шум и угрозы войною, и часть войск была приведена в боевую готовность; и шум уже начал утихать, когда внезапно, среди ночи, на наш флот было произведено нападение, а к утру уже состоялось первое морское сражение. Начало войны было так случайно и нелепо, что целую неделю никто не считал этого за настоящую войну, называли это конфликтом и все еще думали, что дело уладится. Но близость враждебных эскадр вызвала новое столкновение и к концу недели были уже сотни убитых, были побежденные и победители” (ЧН2).

Третий ранний вариант начала повести (ЧН3) представляет уже повествование от первого лица, потому на первый план здесь выступает субъективное восприятие событий героем-повествователем. Здесь присутствуют мальчишки-газетчики “с бледными лицами и хриплыми криками”, раздающие прохожим телеграммы, и сообщение о том, что ночью “на наш флот напал неприятельский, и что один броненосец потонул, и что погибли 26 человек”. Но главное – это настроение важного переломного события – тревоги и радостного возбуждения, которым охвачена толпа и которое переживает герой: “{...} какой-то странный восторг охватил меня: восторг страха, восторг ожидания, восторг какой-то еще неведомой опасности”.

Первая черновая редакция повести<sup>15</sup> (ЧА1) была завершена 31 октября 1904 г. Но она не вполне удовлетворила писателя, и он создает вторую версию – ЧА2, в которой, вероятно, оставляет в основном прежним текст первой половины повести (л. 1–44, “отрывки” с первого по десятый). Вместе с тем значительной переработке подвергается вторая часть рассказа. Особое внимание ко второй части было связано, очевидно, с проблемой героя-повествователя и поисками адекватной замыслу повествовательной манеры. В ЧА2 Андреев усиливает мотив разрушающего воздействия войны, показав ее сквозь призму двух больших сознаний: не только человека, ставшего непосредственным участником событий, но и не воевавшего младшего брата, обостренно чувствующей личности, сознание которой сопротивляется антигуманному смыслу войны. Это вызвало определенное недоумение современников (отраженное, например, в цитированном ранее горьковском разборе повести). В начале ЧА1 – ранней версии второй половины повести, описание “последней ночи” велось, вероятно, от лица первого брата<sup>16</sup> и завершало “Отрывок

<sup>15</sup> О соотношении ЧА1 и ЧА2 и об условности деления рукописей “Красного смеха” на самостоятельные редакции см. выше.

<sup>16</sup> Хотя тот факт, что повествователь мог “пойти в столовую” и затем вернуться в кабинет, противоречит его образу – инвалида, лишенного обеих ног (ЧА1. Л. 45).

девятый” (т.е. оказывалось ближе к середине повествования). Сидя за письменным столом, он видел сквозь опущенные драпри разливающийся в воздухе красный свет, звал жену, и им предстала картина красного неба и темно-красного поля, покрытого трупам. В этом варианте не было образа Красного Смеха. Отрывок заканчивался словами: “За окном, в багровом и неподвижном свете...”. Далее следовал “Отрывок десятый”, открывавшийся словами “...к счастью, он умер неделю тому назад”, в начале которого достаточно подробно “разъяснялась” проблема повествователя: «Все, что рассказал брат о [войне] себе, включая сюда и последнюю ночь, я записал, многое прямо с его слов, но в общем не могу, конечно, поручиться за полную точность и безошибочность в описании военных действий. Отчасти виноват в этом и сам брат, который про один и тот же случай рассказывал совершенно по-разному, сам того не замечая. О многом я не стану даже писать – так страшно и запутанно выходит это в многократном изложении брата. О нашем разговоре и о последней ночи, когда он сошел с ума, он так часто говорил в бреду, что я мог вполне, мне кажется, точно восстановить всю последовательность ощущений. К сожалению, о том всем интересном: что увидел брат из окна, когда жена его крикнула: “Туда нельзя”, я ничего не могу сказать. В бреду, доходя до этого момента, брат бледнел и умолкал, иногда даже лишался чувств. И умер он в одну из таких минут» (ЧА1. Л. 47–48). В ЧА2 Андреев убирает это объяснение, не считая реалистическую и психологическую обусловленность принципиальной для экспрессивного воздействия рассказа. «Психологическая несообразность (...) меня не смущает, так как на “Красный смех” я не смотрю как на художественную вещь», – отвечал он на недоумение Горького (ЛН72. С. 245).

Во второй половине (еще не ставшей “частью II”<sup>17</sup>) ЧА2 по сравнению с ЧА1 увеличивается количество глав: от шести до девяти. Ряд мотивов, объединенных в “Отрывке десятом” ЧА1 получает развитие в других, отдельных “отрывках” ЧА2. Но главное – автор последовательно смещает акценты с описания внешних фактов и событий на изображение человеческого сознания, их воспринимающего.

В начале “Отрывка десятого” ЧА2 меняется характер описания сумасшествия старшего брата. “Непосредственная”, объективизированная его характеристика: “⟨...⟩ в ту ночь лишился рассудка и целый месяц наполнял дом криком, воплями и диким смехом” (ЧА1. Л. 47) – заменяется в позднейшей версии опосредованным, но более “диагностическим” рассказом: “⟨...⟩ прогрессивное падение умственных способностей, соединяющееся с грандиозным бредом и бредом величия, когда больные считают себя героями, владельцами мира, богами богов” (на эти особенности, характерные для диагноза “прогрессивный паралич”, указывал в своем анализе “Красного смеха” А. Муморцев (Муморцев А.Н. Указ. соч. С. 14)). Поэтому часть “отрывка”, описывающая процесс болезни старшего брата, значительно расширена. Подчеркнуто состояние творческого экстаза, когда “он водил сухим пером по бумаге, и все писал,

<sup>17</sup> Деление повести на две части появилось только в печатных редакциях.

писал”, создавая свой “бессмертный труд о цветах и песнях”, – навязчивое состояние, когда бредовая идея, принимающая причудливую окраску, воспринимается больными как истина, спутанность сознания, повышенная впечатлительность, раздражительность и прочие симптомы, воссоздающие точную клиническую картину психического заболевания.

Но основное внимание уделено теперь другому брату. В ранней версии подробно описывается его осмысление событий войны. Приводятся его рассуждения о странности данной войны, не похожей на предшествующие войны (здесь, возможно, присутствует переключка с рядом статей военных историков, появившихся в периодической печати), говорится о загадочном перерыве в корреспонденциях с фронта, о том, что в последних телеграммах и сообщениях присутствует нечто недосказанное, путаница в датах, названиях полков и местностей, о протесте печати всего мира против войны, которая уже перешла за грань нормального, многочисленные слухи, которые становятся новой формой коммуникации, своего рода беспроволочным телеграфом, что создает неустойчивость видимого мира и порождает восприимчивость к разного рода внушениям и галлюцинациям. В *ЧА1* после слов: “⟨...⟩ меня не покидает неприятное чувство, что в остальных комнатах, где меня нет, сидят какие-то люди и молчат” следовал большой (позднее исключенный) фрагмент о “вечеринках с галлюцинациями”, когда собиравшиеся на чьей-либо квартире люди сидели в темноте, ведя разговоры о войне и все более проникаясь “неудержимой заразой безумия”.

В данном фрагменте большое место занимает тема безумия войны, но она передается через перечисление фактов сумасшествия, известных герою с чужих слов: “*говорили* с полной уверенностью, что на войне не осталось ни одного здорового человека, что обе армии сошли с ума”; “*рассказывали*, что уже давно исчезла внешняя правильность убийств”; “*рассказывают*, ссылаясь на секретные официальные источники, что мир уже заключен” “*добавляли*, что болезнь главы враждебного государства ⟨...⟩ болезнь неизлечимая и заключается в полной потере рассудка”; “*рассказчик намекал*, что и свежие войска ⟨...⟩ бесследно исчезли...” и т. д. (*ЧА1*. Л. 53; курсив везде наш. – *Сост.*). В позднейших версиях повести отдельные мотивы “Отрывка десятого” *ЧА1*, как уже было сказано, становятся самостоятельными главами-“отрывками”. Так, уже в *ЧА1* присутствуют рассуждения о поездах с ранеными, которые почему-то не доходят до городов, и о сумасшедших, которых становится больше, чем раненых: “Но еще более смущения вызывает вопрос о сумасшедших, потерявших рассудок под влиянием ужасов войны. Уже давно с каждым поездом их доставляют сотни, и уже больницы и тюрьмы полны ими, и нет почти дома в городе, где их не было бы на попечении родственников и знакомых, и уже трудно выйти на улицу, чтобы не встретить в толпе одну или две этих страшных зловещих фигуры, похожих на теней из другого мира – а теперь и их не привозят” (Л. 50–51). В *ЧА2* и печатных редакциях эта тема развивается: герой каждый день ходит на вокзал, чтобы видеть эти лица, в которых для него проглядывает безумный лик войны (“видел целый вагон с нашими сумасшедшими”). Объективная

констатация факта заменяется субъективным впечатлением от лица сумасшедшего солдата: “Чрезмерно вытянутое, желтое, как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него” (ОТ. Ч. II, стк. 170–172). Тот же мотив разворачивается и в “Отрывке одиннадцатом” с его центральным образом пленного вражеского офицера, о котором конвойный говорит, что он сумасшедший и таких много. Безумие войны воссоздается уже не через количественное описание ее жертв, а через фигуру одного, в глазах которого герой видит “такую муку ⟨...⟩, как будто заглянул в самую несчастную душу на свете” (Там же. Стк. 126–127).

Говоря о восприимчивости общества ко всякого рода внушениям, порожденным современной войной, события которой окружены загадочными слухами, повествователь приводит один из примеров подобного внушения: “На днях, когда мы, несколько человек, сидели на месте, один из нас уверенно сказал, что по соседству пожар. И мы все увидели огонь, пожарных, услышали запах гари, а потом оказалось, что никакого пожара не было. ⟨...⟩ Во многих театрах и общественных собраниях уже были, под влиянием этого настроения и податливости к внушениям, случаи непреодолимой паники, влекущей за собой массу жертв” (ЧА1. Л. 52). Данный фрагмент позднее трансформируется в “Отрывок четырнадцатый”, где идея неустойчивости видимого мира как результата фантазмагоричности событий заменяется принципиально иной – идеей изначального присутствия в каждом цивилизованном человеке стихийного первобытного начала, которое неизбежно пробуждается под влиянием страха смерти. Инстинкт самосохранения превращает людей в животных, которые “в безумии своем будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам ⟨...⟩” (ОТ. Ч. II, стк. 278–279).

Мотив галлюцинаций, захватывающих огромное количество людей, широко развивается в ранней версии: “Многие постоянно видят отсутствующих и даже умерших людей, и обыкновенно при таких естественных условиях, что необходимо крайнее напряжение ума, чтобы понять ошибку. Отсутствующие или умершие появляются на улицах, в домах. С ними вступают в беседу – затем они бесследно исчезают, увеличивая чувство нарушенного мирового порядка и возбуждая полное недоверие к себе и к миру” (ЧА1. Л. 51). В позднейшем тексте он становится лейтмотивом “Отрывка двенадцатого”, где появляется фигура умершего брата, и достигает крещендо в “Отрывке последнем”. Мотив городской толпы, “зловещих фигур с скотским выражением лица”, “умственной черни города, созданной веками несправедливости, свою невольную и жалкую ограниченность сделавшей орудием мести” (ЧА1. Л. 55), разворачивается в ЧА2 (в “Отрывке пятнадцатом”) – как сон героя, в котором тот присутствует на сборище этой “черни” (как уже отмечалось выше, в МАП2 Андреев от этого эпизода отказывается).

Как было сказано выше, в позднейшей версии “Отрывка десятого” (когда явным повествователем становится младший брат) перечисление внешних фактов (большинство из которых, видимо, перекликаются со сведениями из периодической печати) заменяется интроспекцией

героя-повествователя: “война безраздельно владеет мною и стоит как непостижимая загадка, как страшный дух, которого не могу облечь плотью”; “Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда”; “мысль – еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя”; “Сейчас же прекратите войну, или...”. Соответствующим образом меняется композиционное соотношение последующих “отрывков”. Исчезают в своем первоначальном виде “отрывки” двенадцатый и тринадцатый, содержание которых в *ЧА1* представляло собой описание фактов и слухов. В *ЧА2* “Отрывок двенадцатый” весь строится на субъективном восприятии: вслед за галлюцинацией (появление умершего брата), повествователь передает собственные впечатления от вида поезда с сумасшедшими, о странных черных закрытых каретах, появившихся в городе и т.п. Начало “Отрывка тринадцатого” в *ЧА1* – “...очень страшная телеграмма” – об огромных потерях русских войск и подготовке генерального сражения (очевидно, перекликающееся с разгромом армии под Ляояном и подготовкой Куропаткиным битвы при Шахэ, также закончившейся поражением русских). Сюда же включен фрагмент, повествующий о письме погибшего офицера. В *ЧА2* “Отрывок тринадцатый” начинается с более абстрактной констатации: “...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые”. В него введен новый эпизод о шестерых крестьянах, которых, как скот, гонят на бойню. “Отрывок четырнадцатый”, в *ЧА1* состоявший из одной фразы “...весь день гудит колокол”, в позднейших версиях дополняется обширным эпизодом о посещении героем театра. При этом фантазмагория воображаемого пожара в театре заканчивается прорывом реальности (мальчишки-разносчики газет, кричащие о “громовом сражении” и огромных потерях), сменяемой вновь приближающейся галлюцинацией и предчувствием безумия.

Ранняя версия “Отрывка пятнадцатого” развивала тему детей: “маленькие живые капельки” в страшные дни безумия и ужаса становятся единственным островком спасения – “когда пошатнулись самые законы миропорядка, – детская стала нашим храмом” (*ЧА1*. Л. 64). В нем основное место занимает фигура маленького сына старшего брата по имени Диди. Такое ласковое домашнее прозвище – Диди, Дидишка – носил старший сын Леонида Андреева Вадим, родившийся 23 декабря 1902 г., и милые и забавные привычки ребенка, описанные в повести, во многом совпадают с наблюдениями за собственным сыном, отраженными в дневнике, который вел он сам и его жена (см.: *МиИ2012*. С. 31–50).

В подобном ключе и в последующих главах *ЧА1* “фактографическое” начало в позднейших версиях повести последовательно заменяется на “интроспективное”, пафос “злободневности” – философско-психологическим ракурсом. Именно за счет этих тенденций во второй части *ЧА2* увеличивается количество глав-“отрывков”.

В позднейшей версии повести после короткого “Отрывка семнадцатого” в текст был включен один из самых больших по объему “Отрывок восемнадцатый”, центральное место в котором занимает письмо убитого жениха сестры. По сравнению с аналогичным сюжетом, входившим

в “Отрывок тринадцатый” *ЧА1*, он значительно расширен. В ранней версии повествователь упоминает о том, что “полностью приводит его содержание”, хотя на самом деле текст обрывается. В позднейших – говорится: “Оно написано на клочках и не окончено: что-то помешало”. Все дополнения, включенные в этот фрагмент в позднейших редакциях, направлены на то, чтобы показать, как под воздействием войны перестают работать доводы логики и разума и начинают торжествовать первобытные инстинкты. Так, после начальных слов письма: “...Только теперь я понял высокую радость войны (...)” Андреев, изменив “высокую” на “великую”, добавляет: “(...) это древнее первичное наслаждение убивать людей – умных, хитрых, лукавых (...) Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами” (*ОТ. Ч. II*, стк. 591–595). После фразы: “Милый друг, как жаль, что ты должен был уехать с этого кровавого пира” (*ЧА1. Л. 60*) развивается сам образ кровавого пира (см.: *ОТ. Ч. II*, стк. 599–602). В *ЧА1* письмо было коротким и заканчивалось фразой: “Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на..., чем на офицера победоносной армии”. В позднейшей редакции Андреев вводит в письмо еще два абзаца. Первый – воспоминание о светлом и печальном лице девушки – невесты адресата, будившее желания любви и счастья, не совместимые с первобытными инстинктами войны. Последний абзац “Воронье кричит...” образовывал кольцевое обрамление этого фрагмента, перекликаясь с той же фразой в начале письма. Заключительная глава повести – “Отрывок последний” – в *ЧА2* значительно расширена, хотя в ней практически полностью исчезает подробная картина расстрела митингующих солдатами; диалог с неизвестным прохожим заменен на сцену агрессивного нападения его на героя, существенно увеличен эпизод блуждания испуганного и прячущегося героя по пустому собственному дому.

В финале *ЧА1* (через призму сознания младшего брата) повторяется сцена ночи, предвещающей безумие старшего брата (в “Отрывке восьмом”), однако в нее не перенесено видение трупов, выходящих из земли. Концовка в обоих случаях зловеще-неопределенная: “За окном, в багровом и неподвижном свете...”

И только в *ЧА2* появляется финальный образ-символ повести: “...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный Смех”.

Уже в раннем слое *ЧА2* определилась в целом структура повести как близкая к печатным редакциям. Тем не менее, Андреев продолжает работу над рукописью, усиливая в первую очередь ее экспрессивное воздействие. Он ищет наиболее точные слова, меняет знаки препинания, демонстрируя чисто авторское употребление двоеточия и тире, когда они подчеркивают нужный смысл, становятся способом выражения прерывистой, “задыхающейся” речи повествователя, игры контрастов и т.д. (подробнее см. “Варианты *ЧА2*”). При подготовке рассказа для печати Андреев разделяет его на две части, обозначая их римскими

цифрами. В дальнейшем изменения текста незначительны<sup>18</sup> и касаются в первую очередь пунктуации (см. “Варианты МАП2” и “Варианты прижизненных печатных изданий”).

“Красный смех” вызвал серьезный общественный и литературный резонанс. Он произвел ошеломляющее впечатление на современников. Наиболее ярко его выразил А.А. Блок в своем письме В.М. Соловьеву: «Читая “Красный смех” Андреева, захотел пойти к нему и спросить, когда всех нас перережут. Близился к сумасшествию...» (Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 117). Писатель П.Д. Боборыкин, присутствовавший на чтении “Красного смеха” на квартире Андреева, вспоминал: “{...} содержание и весь строй рассказа, чередование картин, одна другой сильнее, – приковывали нас чрезвычайно. Я не помню, чтобы какой-нибудь роман, повесть, или поэма, или пьеса, в исполнении самого автора, так на меня подействовали, как эта вещь. Местами я сознавал, что я потрясен” (Боборыкин П.Д. Трагический романтик // Родина. Лозанна. 1920. 7 авг. (№ 10). С. 1). Под впечатлением “Красного смеха” И.Е. Репин задумал картину-аллегория против войны.

Для самого писателя весьма важным было восприятие произведения теми, кто непосредственно пережил опыт войны. Сообщая М. Горькому о чтении рассказа на “Среде”, он не без гордости замечал: “При чтении случайно присутствовал один военный корреспондент, только что вернувшийся оттуда, – нашел, что с подлинным верно” (ЛН72. С. 236). Однако в действительности оценки рассказа не были однозначны. Так, корреспондент газеты “Наша жизнь” г. А. Эр, приобретя в Харбине три экземпляра сборника “Знание”, повез их в действующую армию, чтобы узнать, насколько “Красный смех” удовлетворяет самих участников событий. Характерно, что высокие чины отзывались о повести с негодованием, как о произведении лживом, нехудожественном, а главное, вредном. Среди молодых офицеров мнения разошлись. Некоторые хвалили повесть и находили, что описанное Андреевым еще слишком бледно и в действительности война еще ужаснее. Другие же восприняли ее как декадентскую картину, слишком далекую от реальности. Сам же корреспондент считал такое отношение вполне естественным, так как в действительности война не только сплошной кошмар, но имеет гораздо много общего с обыденной жизнью, и «“Красный смех” изобразил только одно из многих настроений, создаваемых войной» ([Б.л.] Военные о “Красном смехе” // Южное обозрение. Одесса, 1905. 31 июля (№ 2887). С. 3). Позднее о том же писал в своих воспоминаниях В. Вересаев, подчеркивая, что Андреев увидел ужас войны в том, что человеческий разум, оставаясь гуманным, не может вынести бесчеловечности войны, тогда как на самом деле ужасно другое: “человек привыкает ко всем ужасам и перестает их замечать” (Реквием. С. 148); «Мы читали “Красный смех” под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и – смеялись. Настолько неверен основной тон рассказа – упущена

---

<sup>18</sup> Об одном из немногих, но существенном изменении в машинописной редакции в “Отрывке пятнадцатом” было сказано ранее.

из виду самая спасительная особенность человека – *ко всему привыкать*» (Вересаев В.В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 397–398).

Разноречивой была и оценка критиков. Большинство из них отметили актуальность произведения, оценив его общественный и публицистический смысл. «Произведение это стоит на грани изящной литературы и злободневной публицистики, поэтому оно является крупным вкладом не только в русскую литературу, но и в русскую жизнь. Неустрашимая и беспощадная мысль Леонида Андреева облекла в потрясающие образы все те вопросы, которые властно захватили душу современного русского человека», – писала газета «Киевские отклики» (*И.* «Красный смех» // Киевские отклики. 1905. 2 февр. (№ 33). С. 2). ««Красный смех» появился, и в несколько дней вся Россия, всё, что не потеряло способности думать и чувствовать, с захватывающим интересом прочтет этот новый страшный кошмар Леонида Андреева», – констатировал С. Яблоновский (*Яблоновский С. [Потресов С.В.] «Красный смех» // Волгарь. Н. Новгород, 1905. 27 февр. (№ 55). С. 1*). А Чехихин-Ветринский считал, что произведение, с такой чуткостью и страстностью отозвавшееся на больной нерв современности, не поддается традиционному литературному анализу: «Когда прочитаешь произведение до того современное, до того отвечающее тому, что давно уже копилось днем за днем в душе читателя и наблюдателя современной жизни, произведение настолько цельное и властно захватывающее вас в свои объятия, – как-то неподходящими кажутся все обычные мерки, обычные литературно-критические приемы, хочется только уловить непосредственное впечатление и мрачное обаяние этих страниц, с разлитым в них стоном истерзанной души человеческой перед лицом «Красного смеха»». Это произведение «не может не вспугнуть общественную совесть», и потому «это не только литературно-художественное, но и общественное явление, такое же, как сама война или 9-е января» (*Ветринский Ч. [Чехихин В.Е.] «Красный смех». Сборник т-ва «Знание» за 1904 г., книга III // Нижегородский листок. 1905. 23 февр. (№ 53). С. 2*).

Н. Ашешов характеризовал «Красный смех» как «гневный пламенный памфлет против войны и всех ее ужасов. Это не слащавый буржуазный протест, облеченный в нарядную форму искусства, а огненное слово, надрывным криком вырывающееся из возмущенной души» (*Ашешов Н. Из жизни и литературы. III: Новое произведение Л. Андреева // Обр. 1905. № 2. Отд. II. С. 37*). Многие считали, что «ничего более сильного на тему о войне не появлялось в текущей литературе, и не в текущей, за исключением разве «Четырех дней» Гаршина» (*Надеждин Н. «Красный смех» // Вестник литературы. 1905. 8 февр. (№ 3). С. 51*). ««Красный смех», безусловно, событие в нашей литературе, такой вялой и бледной за последнее время. По силе, яркости и глубокому чувству негодования «Красный смех» – лучшее, что написано после Мопассана против войны.⟨...⟩ Весь ужас, все безумие войны представлено в ярких красках, которые не сумели найти и дать самые талантливые из наших военных корреспондентов», – высказывал свое мнение Н. Попов (*Попов Н. Литературный календарь: Красный смех //*

Вечерняя почта. 1905. 30 янв. (№ 40). С. 1). Г. Чулков считал, что «(...) повесть – странное сочетание публицистики и беллетристики, исповеди и проповеди, святого безумия и простой ненормальности. (...) “Красный смех” – драгоценный психологический документ и любопытное литературное произведение» (Чулков Г. Третий сборник т-ва “Знание” за 1904 год. СПб., 1905 // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 304). Ему вторил Вячеслав Иванов: «“Красный смех” – сильнейшая, может быть, из проповедей, жесточайшее из проклятий, которым современное человечество порывается умертвить бессмертного, загадочного духа войны» (Иванов Вяч. О “Красном смехе” и “правом безумии” // Весы. 1905. № 3. С. 43). «Война никогда не получала такого страшного проклятия, – писал Яблоновский, – ни картины Верещагина, ни роман баронессы Зуттнер<sup>19</sup>, ни гаршинские “Четыре дня”, ни самые страшные и трогательные страницы “Войны и мира”, ничто не наполняет вашей души таким кошмаром, таким протестом против звериного дела, которое называется войной, как эти “отрывки из найденной рукописи”» (Волгарь. 1905. 27 февр. (№ 55). С. 1). Эту же мысль продолжал П.Д. Боборыкин. «В ней (повести Андреева. – *Сост.*) трепещет, рыдает и бьется страждущая душа целого народа в годину небывалых испытаний. На такое (...) произведение откликнется всякий: и мужик, и барин, и “запасный”, и молодая жена, и престарелая мать, и “простец”, и тонко развитой любитель литературы. (...) Ни в одной беллетристике в Западной Европе за целых полвека вы не найдете ничего равного по страстному тону и силе, по глубине страдания за человека, по взмаху воображения в авторе, который пользовался только материалами из вторых рук, по трепетному состраданию с тем, что чудовищная война творит по сие время. Никем еще в изящной литературе начала XX века не было это чудовище так заклеено, как русским писателем – автором “Красного смеха”». В силу актуальности для XX века поставленных проблем он предрекал “Красному смеху” всемирную славу, утверждая, что последний “будет греметь своими раскатами по обоим полушариям” (Рутений [Боборыкин П.Д.]. Литературное движение. (...) “Красный смех” Л. Андреева // РС. 1905. 1 марта (№ 57). С. 1). Событием не только русской, но и мировой литературы считал “Красный смех” и Яблоновский: «Он переведется на все языки, как по своему чисто художественному достоинству, так и потому, что это самое сильное, самое громкое и самое глубокое из всего, что было до сих пор написано в защиту великой заповеди “не убий”» (Волгарь. 1905. 27 февр. (№ 55). С. 2).

Антивоенный пафос “Красного смеха” вызвал бурю негодования у представителей охранительного лагеря. Обозреватель “Московских ведомостей” А. Басаргин в статье с характерным названием “Поджигатели” относил Андреева к разряду писателей, форсировавших проповедь разрушительной босядкой философии – стремления “превратить

---

<sup>19</sup> Имеется в виду роман австрийской писательницы Берты фон Зуттнер (Suttner) “Долой оружие!” (1889), появление которого содействовало мощному подъему пацифистского движения в Европе.

залежи горючего материала в зарево социального пожара”. «Его искусственный и фальшивый “Красный смех” с начала и до конца кажется одним надорванно-истерическим криком “пожар”», брошенным в толпу, “которая за последнее время и без того слишком болезненно возбуждена и настроена на ожидание всего худшего”, – писал критик, считая, что искусство Андреева – яркое, но тенденциозное и крикливое – демонстрирует лишь одну сторону действительности, показывая ее с точки зрения животного эгоизма, но обходит молчанием другие стороны войны – нравственно-героическую и государственно-политическую, – этим и обусловлена, по его мнению, “решительная фальшь произведения, не имеющего ничего общего с требованиями художественного воссоздания действительности, которое, как известно, должно быть объективным” (*Басаргин А. [Введенский А.И.]. Поджигатели // МВед. 1905. 19 февр. (№ 50). С. 3.* О несвоевременности “Красного смеха” писал и В. Чаговец: “{...} слишком свежа еще кровь, обновляемая ежедневно новыми жертвами, слишком в упор мы смотрим в лицо смерти, а г. Андреев слишком страстен и слишком неподготовлен для того, чтобы представить (войну. – *Сост.*) в художественно-философском освещении”. Критик считал, что писатель в своем произведении выражает точку зрения обывателя, напуганного антигуманностью современной цивилизации и подвергнувшегося гипнозу массового безумия: «Писатель же – не стадный обыватель и не должен бежать со всеми с воплем и криком: “безумие и ужас”. Обществу нужны не неврастеники, а здоровые и сильные, которых не может напугать никакой “красный смех”» (*Чаговец В. Критические этюды. “Красный смех” Андреева // Киевская газета. 1905. 14 февр. (№ 45). С. 2.*)

Постоянный противник Андреева, критик “Русского вестника” Стародум назвал “Красный смех” “клеветой на нашу молодежь” и “на русского солдата”. Он был возмущен антипатриотической позицией писателя, который, по его мнению, присоединил свой голос к “голосам сознательных врагов России”, и требовал отлучить его от русской литературы и русского общества, запретив ему писать о войне: “Если бы г. Андреев вел себя как серьезный, уважающий себя писатель, как русский писатель, он осознал бы несвоевременность своей повести” (*Стародум Н.Я. [Стечкин Н.Я.]. Журнальное обозрение: (Сборник товарищества “Знание”. Книга третья) // Русский вестник. 1905. № 3. С. 261.*) Наиболее одиозным был отзыв известного критика “Нового времени” В. Буренина. В статье, написанной в язвительно-издевательской манере, он назвал “Красный смех” “плодом фантазии двух умалишенных”, “картиной лубочного живописца”, желающего нагромоздить на полотне как можно больше трупов с отрубленными руками, ногами, головами: «Г. Андреев, очевидно, тешится с каким-то нагло-идиотским видом над читателями и хочет испугать их “до смерти” кровавыми и мерзостными глупостями упадочной и припадочной фантазии. “Красный смех” – это поистине литературная эпилепсия» (*Буренин В.П. Критические очерки // НВ. 1905. 4 февр. (№ 10387). С. 4.*) Сам Андреев писал об этом отзыве: «Буренин разнес бешено, называет “зеленой белибердой”» (Письмо

В. Вересаеву от марта 1905 г. – *Реквием*. С. 161). Отповедь Буренину дал критик Н.В. Туркин: “Буренин бросает упрек автору в односторонности, однобоком освещении впечатлений войны, – писал он. – Совершенно верно. Даже больше можно сказать: автор взял только одну точку огромного явления; только на ней сосредоточил свое внимание. Но дело в том, что эта точка и есть *главный фокус*, в ней вся трагедия человека, властно захваченного явлением. И все остальное перед нею только подробности, только обстановка, только мелочи” (*Гранитов [Туркин Н.В.]*. Литературный календарь: Критические очерки // *Вечерняя почта*. 1905. 9 февр. (№ 50)). Он же отмечал: «Нынешние ужасы войны мы довели до неопикуемых пределов, и сам “Красный смех” Андреева – является только слабым отголоском действительности» (*Н.Т. [Туркин Н.В.]* В.М. Гаршин и современный красный мак // *Вечерняя почта*. 1905. 24 марта (№ 92). С. 1).

Как видно из приведенных цитат, современники ставили “Красный смех” в один ряд с самыми выдающимися произведениями русской и мировой литературы на тему войны: Л. Толстого, Гаршина, Мопассана, с картинами Верещагина – художника, погибшего во время Русско-японской войны на затопленном флагмане русского флота крейсере “Петропавловск”. Но вместе с тем видели и принципиальные отличия андреевского произведения от остальных, прежде всего в отказе от объективности повествования. Ф. Белявский считал, что в отличие от Толстого как военного писателя, подчеркнувшего “будничность людей, занятых будничным делом”, и от Гаршина, написавшего рассказ от имени раненого рядового, Андреев сказал третью правду о войне: “Рассказ Андреева есть порыв богатой, могучей творческой фантазии изобразить все ужасы войны, а не простая передача пережитого. От этого и разница в тонах”. Андреев, по мнению критика, показал “переживание” войны обостренным сознанием человека, «не “сроднившимся” с ее безумиями и ужасом, нервного, отзывчивого и чуткого» (*Белявский Ф.* Кошмар // *Слово*. 1905. 29 янв. (№ 51). С. 5). Однако многие высказывали недоумение по поводу нагнетания атмосферы “безумия и ужаса”. “Чувствуется сочиненность, вымученность, надуманность, и это производит тяжелое, болезненное впечатление, (...) болезненное чувство страдания за самого писателя, которому чего-то не хватает. Он мучит читателя не столько ужасами темы, сколько муками своего авторского творчества”, – писал Г. Петров (*Старый Г. [Петров Г.С.]* Литературные очерки: (Последние три сборника “Знания”) // *РС*. 1905. 17 марта (№ 73). С. 2). А. Измайлов назвал рассказ “психопатическим”, при чтении которого читатель испытывает лишь одно чувство: “Скоро ли, скоро ли желанный конец?” (*Смоленский Н. [Измайлов А.А.]* Леонид Андреев: Критический очерк. М., 1905. С. 47). Решительно не принял творческую манеру Андреева Ю. Айхенвальд. Он назвал писателя “виртуозом околесицы” и “мастером неправдоподобия”, “поставщиком толпы”, берущим у жизни заказы: «“Безумие и ужас” – без них он не может обойтись. (...) Тот, кто видел сам войну, кто участвовал в ней, великий Толстой, не услышал в ней никакого “Красного смеха”, потрясаяще изобразил ее в ее обыкновенности,

как факт среди фактов, как то, к чему *привыкают*; (...) то же сделал и Гаршин, – между тем как Андреев, далеко от поля битвы, литературно отделил ее ужас, нарисовал какую-то психологическую олеографию и залил ее красной краской» (*Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. М., 1910. Вып. 3. С. 75).

В ряде статей проскальзывало определенное недоумение: писатель, не бывавший на полях сражений, использовал факты военных корреспонденций, свидетельства очевидцев, публикуемые в газетах и хорошо известные большинству читателей. Факты эти, ужасные в своей достоверности, уже сами по себе потрясали воображение. «Все, что автор дневника “Красного смеха” рассказывает о войне в отрывочных фразах, более похожих на бред, – мы знаем из писем талантливых военных корреспондентов с театра военных действий. Я лично припоминаю даже еще более страшные подробности, вычитанные мною из газет или услышанные из уст вернувшихся участников», – писал А. Плетнев (*Плетнев А.* “Красный смех: (Рассказ г. Л. Андреева) // *СПбВед.* 1905. 6 февр. (№ 29). С. 2). “Оба героя рассказа Андреева (...) ненормальные люди, и оба они кончают безумием. Через призму их восприятий пропускаются все картины рассказа. (...) Безумен автор первого дневника. Тем же кончает автор второго. Безумен хохот одного из участников пирушки. Ненормален доктор”, – писал А. Измайлов, усматривая в этом сущности тона, в нагромождении трагического ради явных целей так называемого настроения слабую сторону рассказа (*Измайлов А.* Литература и жизнь // *Родная нива.* 1905. 19 марта (№ 12). С. 112). В Брюсов также считал, что “в “Красном смехе” “много смелых замыслов, решительно испорченных неудачным исполнением. Иные сцены волнуют даже меньше, чем простые газетные сообщения” (*Пентаур [Брюсов В.Я.]*. Сборник Товарищества “Знание” за 1904 г. Книга третья. СПб. Ц. 1 р. // *Весы.* 1905. № 2. С. 61).

Ряд критиков были склонны объяснять это тем, что писатель, лично не знакомый с реалиями происходящей войны, создал “выдумку”, передав собственные ощущения, мало соотносящиеся с действительностью. “Поезжай Леонид Андреев как писатель на войну, увидай ее живыми глазами, а не сочиняй ее себе, – он не громоздил бы искусственно придуманные ужасы, а дал бы ряд простых, по-видимому, заурядных сцен и картин войны, без всяких сгущенных образов. (...) И от живой этой простоты было бы неизмеримо страшнее, чем от надуманных и подобранных ужасов”, – наставлял писателя Г.С. Петров (*РС.* 1905. 17 марта (№ 373)). Против подобной постановки вопроса резко выступил В. Боцяновский, считая ее абсурдной: если не был на войне – “значит и тревожиться, и мучиться ее кровавыми картинами – не стоит. (...) Леонид Андреев принадлежит, напротив, к тем людям, которые переживают за льющуюся за тысячи верст кровь и чужие страдания так же сильно, как за свои собственные” (*Боцяновский В.* Красный смех // *Русь.* 1905. 26 янв. (№ 19). С. 2). В. Баранов, позже полемизируя с критиками, обвинявшими Андреева в незнании фактов войны, объяснял это оригинальностью замысла и особенностями художественного метода писателя:

“В том-то и дело, – утверждал он, – что писать г. Андреев мог, не видев никогда ни капли пролитой человеческой крови. Последняя война была только импульсом, а писал художник о войне – как таковой, и даже не только о войне.

Здесь, в этом произведении особенно сильно проявляется основная черта творчества Андреева – трактовать о мировом, общечеловеческом явлении, не замыкаясь ни в какие условные рамки. Не все ли равно, дерутся ли на полях Манчжурии, в Корейском проливе, или же человеческой кровью и мозгами оросится земля культурной Европы? Тут дело не в том или ином факте. Художник-мыслитель об этом не думает: его мучит невозможность проникнуть в суть этих явлений” (*Баранов В. Леонид Андреев как художник-психолог и мыслитель. Киев, 1907. С. 83*).

Ф. Фидлер сделал запись в своем дневнике от 10 (23) июня 1905 г.: «Мы заговорили о “Красном смехе”, и он (Андреев. – *Сост.*) сказал: “Мне ставят в упрек, что я изобразил ужасы войны, не побывав на поле военных действий и не видя их собственными глазами. Но так, ведь, вообще нельзя писать ни одного исторического романа!” Я добавил: “И ни одной исторической драмы, как, например, “Юлия Цезаря” (Шекспир) или “Бориса Годунова” (Пушкин)”. Я напомнил также, что и Шиллер написал “Вильгельма Телля”, ни разу не побывав в Швейцарии. Андреев слушал меня с явным удовлетворением» (*Иванова Л.Н. К биографии Л.Н. Андреева: (По материалам коллекции Ф.Ф. Фидлера) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 39*). Подробно свой взгляд на право художника творчески осмысливать действительность Андреев изложил в письме О. Дымову от 28 января 1905 г.: «Некоторые – немногие впрочем – упрекают меня, что я взялся изображать то, что не видел; такой упрек представляется мне положительным недоразумением. При существовании “Божественной комедии”, Каина, Фауста и пр. и пр. это просто бестолково. Хуже того, искусственно ограничивать кругозором художника пределы реально-видимого и осязаемого – это значит посягать на самый дух творчества. И особенно странно такое недоразумение теперь, когда над вкусами публики царят Бёклин, Врубель и т.п. Почти всякий, кто знает меня и знает, что я не был на войне, попервоначально относится к рассказу с недоверием, а кто не знает, уверяет, что я на войне был, и очень разочаровывается, узнав правду» (цит. по: *Иезуитова 1976. С. 164–165*).

Другие критики связывали своеобразие произведения с особым трагическим восприятием мира, обычным для Л. Андреева “тревожно-бредовым и фантастическим освещением” жизни (*Чужой [Гофман В.В.]. Заметки о современной литературе // Москвич. 1906. 1 мая (№ 59). С. 2*). Третьи – с “леонид-андреевской” “внушающей” манерой письма, желанием “ударить по нервам”, потрясти сознание читателей. «Художник точно насилует внимание читателя. Он заставляет читателя смотреть в одну точку, и беспрестанным повторением одного слова, одного эпитета он хочет не *изобразить*, а *внушить* присутствие “красного смеха”», – писал, например, В. Львов-Рогачевский (*Львов-Рогачевский В. “Призраки” и “Красный смех” // Обр. 1905. № 3. Отд. II. С. 125*).

“В этом повторяющемся литературном приеме сквозит определенная тенденция – желание напугать воображение читателей страшными образами”, – утверждал А. Плетнев (*СПбВед.* 1905. 6 февр. (№ 29). С. 2). О Кубе определяет стиль Андреева как гипноз: “⟨...⟩ он пишет иносказательными притчами. Он выработал себе и слог своеобразный, бьющий по нервам; его систематическое повторение не только отдельных слов и союзов, но и целых мыслей – упрямо и ритмически вколачивает их в мозг, в нервы; его смелые краски, часто нелепые, но оригинальные, – гипнотизируют воображение” (*Кубе О.* Кошмары жизни. СПб., 1909. С. 45). О своеобразии Андреева-писателя интересно рассуждал К. Чуковский: “Андреев взял на себя почти невозможную задачу – словами, ритмом их, их распределением, криками, жестами, какой-то оргией восклицаний – внушить человеку ощущение ужаса. Он старается расширить компетенцию литературы. Его красочные, пьяные, полубезумные слова – действуют вне своего назначения, как музыка”. Он же попытался объяснить причину подобного изображения. Будучи уверенным, что для Андреева главным является не моральный элемент, не образительный, и не психологический, он высказывал мнение, что писателя в “Красном смехе”, как и везде, интересует философская сторона жизни, отсюда и его “уклон от конкретности, от образа, от временного и преходящего. Андреев абстрагирует жизнь – ему нужна всегда субстанция ее, ему хочется заглянуть в душу человека”. В этом, по мнению критика, и сила, и слабость писателя – “для художника он слишком отвлеченно мыслит, а для философа – он слишком конкретно ощущает” (*Чуковский К.* Заметки читателя. I. Красный смех // *ОН.* 1905. 28 янв. (№ 6546). С. 2).

Этот же аспект андреевского творчества выделял и М. Гельрот. “Андреев – не только художник настроения, он и художник мысли. ⟨...⟩ Он заставит вас проникнуть в глубь жизни. Он заставит вас увидеть все то важное, что заключено в кажущемся неважном. Хотя бы на час – он сделает вас философом. ⟨...⟩ Отдельные факты и явления жизни освещаются новым светом. Они уже не разрозненны, а входят в общую драму человеческой жизни. Если до сих пор они казались нам случайными, то теперь они вытекают из самых глубин жизни, как ее неизбежный результат” (*Гельрот М.* “Красный смех” // Самарканд. 1905. 1 марта (№ 42). С. 2).

Многие считали, что Андреев проник в самую суть современности. По мнению Вяч. Иванова, писатель изобразил “картину современной души, бессильной выдержать и вынести войну”, ибо ей нечего противопоставить надвигающемуся хаосу (*Иванов Вяч.* О “Красном смехе” и “правом безумии” // *Весы.* 1905. № 3. С. 44). “Упрекают Л. Андреева в субъективизме: вместо того чтобы описывать массовое движение войск или бытовую картину войны, он будто грезит. Но в этом его проникновение в современность”, – утверждал А. Белый (*Белый Андрей.* Апокалипсис в русской поэзии // *Весы.* 1905. № 4. С. 13), в своей интерпретации произведения апеллируя к корреспонденциям французского журналиста Л. Нодо и его характеристике войны с Японией как

невидимой, фантазмагорической, таинственной и т.д. Об этом же писал в своей рецензии Л. Мович: «Я хочу сказать, что это повальное безумие “красного смеха” не есть психическая зараза, и даже не болезнь психическая как таковая, а только вполне естественный, логически правильный выход из фактов безумной действительности. Все формы здоровой нормальной мысли погибли, все устои нормальной человеческой психики разрушены. (...) Л. Андреев ответил на поставленный себе вопрос: если сотни тысяч людей живут бессмысленным безумием ужаса, то мыслящее существо среди них логически кончает безумием» (Мович Л. [Маркович Л.З.] Трагедия “Красного смеха” // Вестник и библиотека самообразования. 1905. № 7. С. 215).

“Вопрос о войне взят автором в обобщенной форме, – подчеркивал Ф. Батюшков, – и отмеченные в рассказе усовершенствования военной техники именно последнего времени еще сильнее подчеркивают разнь успехов цивилизации с пережитком того, что для культурного человека представляется актом безумия” (Батюшков Ф. Сборник товарищества “Знание” за 1904 г. Кн. 3 // МБ. 1905. № 3. С. 94). М. Гельрот связал тему сумасшествия именно с характером современной войны, когда “воюют не люди, а чудовищные машины-пушки. Люди только придаток, ворочающее колесо чудовищной машины. (...) Отдельные случаи умопомешательства, о которых сообщали военные корреспонденты, художник вставил в общую трагическую рамку современной войны, и они выступают совсем в другом свете. Мы не встречали их ни у Гаршина, ни тем менее у Толстого. (...) Мы стали нервнее, тоньше, восприимчивее, а война – страшнее, разрушительнее и безжалостнее” (Самарканд. 1905. 1 марта (№ 42). С. 3). “Безнравственное приложение науки создает ужасы современной войны с Японией – войны, в которой видим явившийся миру символ встающего хаоса”, – подводил итог А. Белый (Весы. 1905. № 4. С. 13).

Критик газеты “Русь” справедливо отмечал, что рассказ Андреева не исчерпывается протестом против войны. «Война дала ему лишь новый материал для разработки вопроса о человеке и его “мысли”, над которым он работает уже давно. (...) Вдумываясь в войну, он видит (...), до какой степени гордый человек, кичащийся своим умом, своей мыслью, своей логикой, бессилен, до какой степени он раб какой-то иной, пока еще не понятной ему силы, которая играет им по своему усмотрению. (...) Человек, привыкший себя считать господином мысли, лишний раз убеждается, что он совершенно бессилен. И трудно сказать, что в большей степени производит в рассказе Леонида Андреева впечатление давящего кошмара: ужасные, даже, быть может, слишком пропитанные кровью картины военного быта или же эта душевная драма чутких, нервных, отзывчивых людей. Эти две совершенно параллельные драмы (...) сплелись в рассказе Андреева случайно на фоне войны» (Ан. Новая идея и новые люди: “Красный смех” на five o'clock // Русь. 1905. 26 янв. (№ 19). С. 3). В. Боцяновский, отмечая исключительность андреевских героев, поставленных в исключительные ситуации для иллюстрации авторской мысли, напротив, считал, что цельности впечатления “несколько вредит

их философско-психологическая предвзятость». «Леонид Андреев (...) дал вполне реальный психологический этюд “Красный смех”. Вредят ему только сгущенные краски, растянутость, но главным образом основная тенденция Андреева, стремящегося и здесь показать, как человек с его гордой мыслью ничтожен по сравнению с теми неведомыми могучими силами, которые коренятся не то в нем, не то вне его и которые заставляют его постоянно приносить им в жертву все, самое для него дорогое и высокое» (*Боцяновский В.* Критические наброски // Русь. 1905. 26 марта (№ 77). С. 3). Рассматривая “Красный смех” в одном ряду с “Мыслью”, “Жизнью Василия Фивейского”, “Призраками” – произведениями, говорившими о крушении рационалистического сознания, критики характеризовали главную тему повести как “ужас неразрешимой мысли” (*Марганец Е.* Сб. “Знания”. Книга третья: “Красный смех” Л. Андреева // Киевские отклики. 1905. 7 (20) мая (№ 66). С. 2), “разрушение системы традиционных культурных ценностей” (*Ан. Указ. соч.* С. 3).

Показательно заглавие статьи Л. Мовича: “Доктор Керженцев<sup>20</sup> на войне”. По его мнению, писатель нарисовал картину души “срединного” человека – представителя современной цивилизации, “живущего мыслью, поклоняющегося мысли и верящего только в мысль”, поставленного в условия современной войны, когда “все законы мысли, все прочные плотины логики разрушены, размыты, снесены каким-то диким ураганом безумия”, привычные понятия, логические чувства и мысли теряют свою реальную конкретность, прежние культурные законы отменены, вся культура уничтожена – душа человека “вынуждена реагировать на безумие войны – красным смехом” (*Мович Л. [Маркович Л.З.].* Летопись современной жизни и литературы: Доктор Керженцев на войне // Наука и жизнь. 1905. Кн. 2. С. 882).

Наиболее подробно данная проблема рассматривалась в цикле статей Треплева (А.А. Смирнова), опубликованных в нескольких номерах журнала “Русская мысль” за 1905 г. Анализируя произведения Андреева в контексте научных открытий конца XIX – начала XX в., он подчеркнул двойственность андреевской личности, несущей в себе борьбу культурного и природного начал, конфликт разумного и стихийного. Восстание бессознательного и его победу над интеллектом Андреев изобразил в “Бездне”, “Мысли”, “В тумане”. В “Красном смехе”, по мысли критика, Андреев показал, как гибнет все, что было приобретено человечеством путем напряженных усилий ума, все то, что стало “второй природой”, как погибает культура, а разумное уступает место стихийному. «“Красный смех” – выражает недоумение и ужас культурной мысли перед иррационализмом войны», и тем самым говорит о гибели рассудочной цивилизации, делал вывод критик (*Треплев [Смирнов А.А.].* Разоренная жизнь: Рассказы Л. Андреева с точки зрения жизненной эволюции // РМ. 1905. № 6. Отд. 2. С. 98).

Другие современники также увидели в “Красном смехе” взрыв бессознательного, стихийного начала, прорывающегося сквозь культурные

<sup>20</sup> Герой повести Андреева “Мысль” (1902).

запреты, причем уже не в отдельной личности, а в массах. Так, В. Брюсов заметил, что Андреев “попытался дать психологию массового движения” (Весы. 1905. № 2. С. 60–61). “Война является диким отголоском давно ушедших в глубь истории веков, когда не была так резко очерчена грань между человеком и животным, когда сильный, светлый, как гра- нит, разум человека не раздвигал покровы тайн природы и не приобщал человеческой души к вечному, незыблемому, светлому”, – размышлял в связи с андреевским произведением Б. Барский (*Барский Б.* “Красный смех” (год войны) // *Новости.* 1905. 27 янв. (№ 20). С. 2).

Разрушение мысли и обнажение первобытных инстинктов увидел в “Красном смехе” М. Рейснер, автор монографии о писателе, поместив анализ повести в главе “Человек-зверь”: «(...) бывают времена, когда на одном поприще сходятся и сытые и голодные, сбрасывают с себя все наносное и условное и являют миру свою истинную, подлинную природу. Это бывает тогда, когда воцаряется царство “Красного смеха”. Уже Керженцев в “Мысли” рассказал нам о том, как приятно бывает убить человека. Но только в “Красном смехе” имеем мы полное изображение человека-зверя, освобожденного от всех сдерживающих его начал. Безумие, опьянение смерти, радость убийства, восторг кровавого истребления – таковы стихии, освобожденные в душе современного человека, который празднует во время войны свой настоящий праздник. (...) Андреев рисует нам не только резню, где слышно, как хрустят кости, не только ужасы современной войны с ее бойней в течение недель, не ограничивается изображением целых армий, охваченных безумием крови, – он открывает в каждом современном человеке такого же хищного зверя» (*Рейснер 1909.* С. 61, 62). “В ужасном образе чудовищных уродцев-детей с головами взрослых убийц” М. Рейснер увидел “олицетворение души человека” (Там же. С. 63). Письмо убитого жениха сестры, где нежный и ласковый сын, человек, любивший музыку и книги, талантливый поэт, пишет о древнем первичном наслаждении убивать, Ф. Батюшков называет “превосходно написанным”, увидев в ряде его мотивов (“Мы бродим по колена в крови (...)”, “Воронье кричит...”) переклички с древнерусским эпосом “Слово о полку Игореве” – выражением первобытного языческого сознания. «Искусным приемом Леонид Андреев, всего на двух страницах вызвав в памяти “древнее, первичное наслаждение убивать людей” и сравнив битву с “кровавым пиром”, дает резкий отпор героическому настроению и знакомит с ужасами рукопашной резни» (*МБ.* 1905. № 3. С. 94).

Полемику вызвало и само название произведения. Современные критики посвятили немало страниц разгадке символического значения этого экспрессивного образа, выразившего “безумие и ужас” войны. Многие сочли его неудачным. Так, А. и Е. Редько, понимая эту метафору конкретно: “война смеется над людьми, над их грезами о всеобщем счастье и вечными идеалами”, “война – значит кровь, и этот смех кажется кровавым”, полагали, что содержанию рассказа более соответствовало бы заглавие “Безумие и ужас” (*Редько А.Е. [Редько А.М. и Е.И.]. Горький о виноватых и Л. Андреев о неповинных: (“Дачники” и “Красный*

смех”) // *РБ*. 1905. № 2. Отд. II. С. 61). П. Боборыкин считал название удачным по сочетанию слов, но слишком вымученным – “как обобщение психопата накануне полного безумия” (*РС*. 1905. 1 марта (№ 57). С. 1). Очевидную связь с традиционной символикой цветов увидел в нем Ф. Батюшков, находя, однако, что образ получился до конца не ясным и объяснить его можно лишь галлюцинацией больного (*МБ*. 1905. № 3. С. 94). Существовали и более обобщенные трактовки образа. Выражением общего кошмара и ответом на недоуменные вопросы современного человека назвал его В. Львов-Рогачевский: “Это слово должно уяснить смысл бессмысленной бойни. (...) Имя непонятному – смех... Имя этому непонятному – *красный смех*, потому что когда просто смеются, не краснеет небо от пожаров, не краснеет земля от убийств”; “Этот красный цвет – всюду. Он становится иногда багровым, иногда розовым, но он всегда говорит о реках человеческой крови. (...) Газеты несут вести о кровавых потерях... Над землею висит кровавый смутный туман... Люди бредут по колено в крови...” (*Обр*. 1905. № 3. Отд. II. С. 124, 125).

Были и те, кто воспринял образ “красного смеха” как символ общеглобального неблагополучия. «“Красный смех” Л. Андреева слышится не только во время войны, но при виде всякого бессмысленного страдания, всякой пошлости. Всякого унижения человеческого достоинства», – писал В. Вартанян (*Вартанян В. Л.Н. Толстой и Леонид Андреев* (как идеологи трудящихся классов). Баку, 1906. С. 31). А. Белый понял эту метафору как “гримасу ужаса” и наступающего “торжества хаоса”. Он считал этот образ пророческим символом, выразившим наступающие всемирно-исторические катаклизмы: «Извне налетающий дракон соединится с красным петухом, расплескавшим крылья над старинными поместьями в глубине России: все потонет в море огня. Призрак будет смеяться. И “красный смех” его подожжет вселенную. Светопреставление для ослепленных ужасом – ведь оно – только мировой “красный смех” ужаса» (*Весы*. 1905. № 4. С. 14). Характерно, что сам Андреев был близок именно к такому обобщенно-экспрессивному пониманию образа. В ноябре 1906 г. в письме В. Вересаеву о том, что он доволен воздействием “Красного смеха”, который “многих заставил пережить мучительный кошмар войны”, он отмечал: «И разве я был не прав? Разве не гуляет сейчас это “смех” по самой России? Военно-полевые суды... только сумасшедшие могут их принимать и рассуждать о них» (*Реквием*. С. 167).

Характерно, что в позднейших монографиях “Красный смех” получил более критическую оценку. Так, например, Р. Иванов-Разумник назвал его одним из самых слабых произведений Андреева, усматривая противоречия и в построении (неясно, от лица которого из братьев ведется повествование), и в самой идее рассказа – “вскрывать ужас жизни на явлениях массовых” (*Иванов-Разумник Р. О смысле жизни*: Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов. СПб., 1910. С. 93). В. Львов-Рогачевский также считал, что в художественном отношении “Красный смех” уступал другим произведениям этого периода, хотя и имел огромный успех: «Теперь трудно эту вещь дочитать до конца. У художника, начавшего с самой высокой ноты, со слов “безумие и ужас”, не хватило

силы и размаха, и он докончил ее ужасными по своей безвкусице страницами» (*Львов-Рогачевский В.* Две правды: Книга о Леониде Андрееве. СПб., 1914. С. 66). Высказывалась мысль о том, что это произведение осталось в прошлом вместе с историческим событием, послужившим поводом для ее создания. «“Красный смех” теперь уже одна из забытых повестей Андреева. Едва ли ее станут перечитывать даже особые любители литературы и критики», – писал в 1910 г. К. Арабажин, объясняя неудачу данной вещи нагромождением ужасов, превышающих закон психологического восприятия, и отсутствием личных переживаний писателя, не побывавшего на войне (*Арабажин 1910.* С. 53).

Вместе с тем, на вечере памяти писателя, состоявшемся в Ревеле 11 октября 1919 г., большой успех имела живая картина, посвященная героям андреевских произведений. Среди прочих, самых узнаваемых персонажей писателя в ней были показаны и герои “Красного смеха” (*[Б.н.] Вечер памяти Л. Андреева // Свобода России. Ревель, 1919. 22 окт. (№ 30).* С. 4).

При жизни автора повесть была переведена на болгарский (1904, 1905, 1919), грузинский [1902–1905], датский (1905), польский (1905 – 4 раза), финский (1905 – 2 раза), французский (1905 – 2 раза), чешский (1905), идиш (1905, [1906]), румынский (1905, 1906 – отрывок, 1909 – отрывок, 1909 – 2 раза), эстонский (1905, 1907 – отрывки), сербский (1905 – 2 раза, а также 3 разных перевода отрывков, 1908–1909, 1909, 1912), хорватский (1905 – полностью и отрывок, 1908–1909 – отрывки), английский (1905, 1909 – отрывки, [1915], [1918]), венгерский (1905, 1910), немецкий (1905, [1905], [1906], 1914 – отрывок), испанский (1905 – отрывки, 1905, 1918), нидерландский (1905, 1918 в Бельгии), шведский (1905, 1918), норвежский (1906), эсперанто (1906), японский (1908, [1912], 1919), словенский (1909), китайский (1914), итальянский (1915).

## ЧАСТЬ I

С. 36. *Ездовой* – солдат, правящий конной упряжкой в артиллерии.

*Фейерверкер* (от нем. *Feuerwerker*) – в русской армии чин младшего командного (унтер-офицерского) состава в артиллерии.

С. 49. ...*два полка одной армии ~ взаимно истребляли друг друга...* – О фактах путаницы, когда части русской армии истребляли друг друга, и о том, что японцы использовали переодевание, неоднократно сообщали газеты. Так, например, П. Краснов писал в одной из своих корреспонденций: “Из темноты надвигалась темно-серая масса. Русские солдатские шинели, кое у кого большие сибирские папахи. {...} Не стреляй! Свои! – кричали из этой толпы, и она надвигалась быстро, незаметно, как страшное привидение... Эти люди быстро окружили окоп, занятый ротой Воронежского полка, и открыли быстрый и частый огонь пачками” (*РИ.* 1904. 8 нояб. (№ 240). С. 6). О подобном случае сообщал и К. Агафонов: “Одинаково одетые люди дрались до изнеможения” (*РИ.* 29 нояб. (№ 260). С. 6).

С. 50. *Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад....* – Имеется в виду Русско-турецкая война

1876–1877 гг. – последняя война XIX века в Европе. Сравнения с нею постоянно присутствовали в корреспонденциях с полем Маньчжурии.

С. 53. ...*Красный крест уважается всем миром как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными*... – О факте обстрела японцами санитарного поезда, опознавательными знаками которого были огромный белый флаг с красным крестом, сообщала газета “Русский инвалид”: “Японцы опять попрали международный культурный военный обычай (...) залпами стали обдавать поезд” (РИ. 1904. 12 мая (№ 108). С. 5).

...и я в шутку, конечно, запел: “Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...” – Вариант строки повторяющегося рефрена военного марша, известного как “Славянский марш” (другое название “Хорватский марш”):

Мы дружно на врагов,  
На бой мы поспешим.  
За родину, за славу  
И честь мы постоим.

(Сб. гимнов, маршей, русских народных  
и малороссийских песен /  
Собр. И.И. Лопатовский. Лодзь, 1903. С.10–11)

Автор музыки не установлен. Неоднократно переиздавался в России в разных аранжировках (Г. Скрипицын, В. Нейф, И. Матвеев).

С. 59. *Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой “Возвращенный рай”*. – Джон Мильтон (1608–1674) – великий английский поэт, автор эпических поэм “Потерянный рай” (1667) и “Возвращенный рай” (1671).

## ЧАСТЬ II

С. 62. ...*сильная, как Самсон*... – Самсон – герой ветхозаветных преданий (библейская история Самсона изложена в Книге Судей Израилевых – Суд 13–16), наделенный невиданной физической силой.

С.68. – *Аршин* – русская мера длины, равная 0,71 м, применявшаяся до введения метрической системы.

С. 74. *Мы крались тихонько ~ как на дрохв*. – Драхва, драфа, дудак – варианты названия птицы дрофа (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 495). Дрофа – крупная степная птица с длинной шеей и сильными ногами.

## ЧА2

С. 310. – *Дождик, дождик, перестань, // Я поеду в Арестань*... – Детская “закличка” (шутливый заговор) от дождя (см., например: Детский поэтический фольклор: Антология / Сост. А.Н. Мартынова. СПб., 1997. С. 243).

Источники текста:

*ЧА1* – черновой автограф рассказа (без начала). 13 сентября 1904 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: а) *Hoover*. Box 141. Folder 13. 19 л.; б) РГАЛИ. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 183 (редакция вырезанного фрагмента на л. 18).

*ЧН1* – черновой набросок конца главы IV и главы V. Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 13. 6 л.

*ЧН2* – черновой набросок конца главы V. Хранится: Там же.

*ЧА2* – черновой автограф рассказа. Б.д. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. 24 л.

*СБЗн* – Сб. товарищества “Знание” за 1904. СПб., 1905. Кн. 5. С. 263–285.

*Зн*. Т. 4. С. 2–24.

*Пр*. Т. 5. С. 3–28.

*ПССМ*. Т. 2. С. 7–21.

Впервые: *СБЗн*.

Печатается по *ПССМ* со следующими исправлениями:

*Стк. 153*: колыханиям – вместо: дыханиям (по *СБЗн* и *Зн*)

*Стк. 211*: паутина – вместо: паутинка (по *СБЗн* и *Зн*)

*ЧН1* является первоначальной редакцией гл. 3 *ЧА2*. Причем характер правки свидетельствует о своеобразном характере работы автора над главой. Сначала был создан первый слой текста *ЧН1* (скорее всего, этот текст первоначально не существовал самостоятельно, как он теперь хранится в архиве, а входил в *ЧА2*). Затем Андреев переписывает гл. 3, т.е. создает ее *первую версию* в нынешнем составе *ЧА2*, частично ее изменяя, т.е. создает второй слой текста гл. 3 *ЧА2*. Затем он, скорее всего, по ошибке заново правит *ЧН1*. Позже, осознав свою ошибку, он полностью переносит эту правку в гл. 3 *ЧА2* (т.е. создает *третий слой текста гл. 3*). Далее он еще раз перерабатывает главу, переписывая некоторые листы и вычеркивая отдельные фрагменты, совпадающие с *ЧН1*. Только таким порядком работы можно объяснить *буквальное совпадение правки* в совпадающих (сохраненных и отвергнутых) фрагментах *ЧН1* и гл. 3 *ЧА2*. Разночтения с *ОТ ЧН1* и *ЧА2* в целом даны в «Вариантах». В связи со сложной текстологией гл. 3 *ЧА2* она приводится полностью в редакциях. В *ЧА2* есть ряд совпадающих по фабуле листов-дублей, передающих разные слои текста. Это: 1) исходно (в первом слое) листы 12\*, 13\* и 14\*, текстуально и по нумерации совпадающие с соответствующими листами *ЧН1*, расположены рядом с дублирующими их нenumерованными листами, и 2) листы, передающие четвертый и последующие слои текста, – 12, 13ред<sup>21</sup>, 13Аред, 14ред. Скорее всего, листы 12\*, 13\* и 14\* были подложены

<sup>21</sup> Постфикс “ред” означает, что при отсутствии в рукописи архивной нумерации номер листа присвоен составителями.

в рукопись позже, при позднейшем формировании архивной единицы. Они фактически являются промежуточными текстовыми инстанциями между *ЧН1* и *ЧА2*. Но так как формально по своей археографической принадлежности они относятся к *ЧА2*, то они воспроизводятся полностью в конце *ЧА2*, под заголовком “*ЧА2*. Ранняя версия л. 12, 13 и 14”.

Рассказ “Вор” не имеет сколько-нибудь протяженной творческой истории. Ранняя, рукописная, редакция произведения завершается авторской датой – 13 сентября 1904 г. В первопечатном тексте (5-й сборник “Знания”) она отсутствует. В трех последующих переизданиях рассказа (см. выше “Источники текста”) фигурирует авторская дата – “сентябрь 1904 г.”

Но, по-видимому, работа над рассказом продолжалась несколько дольше. На протяжении большей части октября 1904 г. он оставался у автора и был отослан в “Журнал для всех” (где по договоренности с издателем и редактором журнала В.С. Миролюбовым должен был быть напечатан) не ранее конца месяца. Около 20 октября Андреев сообщил М.П. Неведомскому, что “на днях” посылает Миролюбову “маленький рассказ” (Искусство. 1925. № 2. С. 266), а после 20 октября извещал об этом самого Миролюбова: «...слово мое твердо и рассказ “Вор” будет у Вас в руках не позже 1-го Ноября» (*ЛД5*. С. 112).

Рассказ, однако, был отклонен. “Зачем же я для успеха своего журнала стал бы содействовать неуспеху любимого писателя? Обещанный рассказ привлек бы читателей, но какой ценой?” – писал Миролюбов Андрееву 21 января 1905 г., на что тот отвечал ему: «Я доложил “Среде” о Вашем со мною поступке – и она, подлая, Вас одобрила (...) хотя с Вашею оценкою “Вора” не согласна» (Там же. С. 113). Между тем самый отказ опубликовать “Вора” последовал значительно раньше, еще в ноябре 1904 г., о чем Андреев был тогда же – письменно или устно – осведомлен (из чего следует, что январские письма издателя и писателя – это уже вторичный обмен информацией по данному поводу). В том же ноябре Андреев писал А.С. Серафимовичу: «Миролюбов-то забраковал моего “Вора”. Очень говорит, это мне грустно, но рассказ плох и по совести я не могу и т.д.» (Московский альманах. 1927. Т. 1. С. 286). Отклоненный рассказ – тоже в ноябре – писатель предложил Горькому для сборника “Знания”. 4 декабря Горький сообщал К.П. Пятницкому: “Андреев своего (рассказа. – *Сост.*) еще не прислал” (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 190). А 5 или 6 декабря, уже обладая рассказом и прочитав его, писал Андрееву: «Рассказ – недурной, а Миролюбов – дурак и нахал. В рассказе, пожалуй, слишком много “злых наг” и обычных для тебя повторений, которые повергают читателя, – как рака, поставленного на хвост, – в состояние каталепсии. Это, конечно, можно убрать, но, конечно, можно и оставить» (Там же). И одновременно, 6 декабря, писал Пятницкому: “Рассказ Андреева не очень великолепен, но давайте напечатаем его во втором сборнике” (Там же. С. 192).

“Вор”, однако, был опубликован не во втором, а в пятом сборнике “Знания”, который вышел в свет 10 марта 1905 г.

В небольшом промежутке времени, отделяющем раннюю рукописную редакцию (*ЧА1*) рассказа от окончательного текста, – по-видимому, главное объяснение того, что уже в ней в основном определились философско-содержательная сторона, характер героя, композиционная структура

и образный строй произведения. Вместе с тем, наряду со многими отличительными частными особенностями ранней, значительно более короткой, редакции на уровне описательных подробностей, отдельных фраз, слов прослеживаются и некоторые сквозные тенденции правки, которой подверглась рукопись на переходе к окончательному тексту. Это, с одной стороны, дальнейшее расширение и усиление лирико-символического пласта повествования. С другой – сокращение (или видоизменение) отдельных эпизодов из “внешней” жизни, бытового фона произведения.

В первом случае прежде всего существенно укрупняется символизированный образ прекрасной, но равнодушной к герою и отчуждающей его от себя природы. К примеру, 2-я глава рассказа начинается развернутым вступлением, отсутствующим в ранней редакции (“Было начало июня месяца, и все перед глазами, до самой дальней неподвижной полоски лесов, зеленело молодо и сильно <...> и от прекрасных, молчаливо-загадочных полей на него повеяло тем же холодом отчуждения, как от людей в вагоне”). В дальнейшем варьировании и расширении этой темы усугубляются – по отношению к первоисточнику – и противоречия внутреннего мира героя (“...исчезли мысли и сомнения и глухая постоянная тревога <...> и по лицу нежно струился теплый и осторожный воздух полей” – гл. 2, “...а здесь только равнодушные и сытые поля, и Юрасов начинает ненавидеть их всею силою своего одиночества” – гл. 3). (Федор Юрасов, реальное имя героя, выдающего себя за Генриха Вальтера, “молодого немца, бухгалтера из какого-нибудь солидного торгового дома”, появляется лишь в позднейшем тексте. В сохранившемся неполном тексте ранней редакции реального имени нет, а фигурирует только “немецкое” прозвище – Вальц.)

Характерны изменения, касающиеся и отмеченного бытового фона.

В тексте 1-й главы ранней редакции раздраженный недоброежелательством соседей по вагону Юрасов отвечает на это откровенно грубой реакцией, и, “очень довольный” ею, он “совсем не похож на банковского чиновника”, которым хотел казаться (л. 3–4). А в последующем тексте в той же ситуации даже более явного недоброежелательства он, изменяясь в лице, удерживается, однако, от такого рода реакции, что гораздо больше соответствует его всегдашнему страху быть узанным, вызвать подозрение у окружающих в том, что он не тот, за кого себя выдает. Так, с самого начала повествования усилена центральная для него тема отчуждения и одиночества.

Из позднего текста целиком устраняется эпизодический собеседник Юрасова (2-я глава ранней редакции), “костлявый узкогрудый парень”, с “тупой и унылой обстоятельностью” рассказывавший о неурядицах своей жизни (“С тех пор, как умерли мои родители, мне больше нигде стало столоваться” и т.д. – л. 11–12). Этот эпизод, занимавший приблизительно полторы страницы рукописи, явно отдалял читателя от общей эмоциональной атмосферы рассказа, полностью сосредоточенной на “внутреннем”.

Вместе с тем текст дополняется отдельными новыми деталями и подробностями “мнимо” бытового характера, на самом деле воплощающими главную философскую тему рассказа. Таков краткий диалог с юношей (гл. 4), отказавшим герою, как чужому человеку, в просьбе присоединиться к дачному балу (поскольку “здесь только свои”), что вызвало у Юрасова

“холодное отчаяние”, необъяснимое с точки зрения бытовой ситуации, но оправданное испытанным им ощущением всеобщего отчуждения.

С подобным же обогащением темы мы встречаемся и далее. Лихорадочное передвижение героя по поезду в надежде уйти от воображаемой погоны, коротко описанное в ранней редакции (“Ему кажется, что он прошел уже десятки, сотни вагонов, а впереди еще площадка, еще запертые двери – а там опять люди и двери” и др. – л. 19), разрастается в подробную и густо “материализованную” картину (гл. 5) – в том числе “ужасных вагонов III-го класса”, где “так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода”, и где не раз повторяющийся мотив “сопротивления злых человеческих ног” возводится к зловеще метафизическому смыслу, который остается до конца повествования. “Вот наконец последняя площадка и перед нею глухая, темная стена багажного вагона – дальше некуда бежать” (л. 19). Эта фраза из ранней редакции (гл. 3), заключающая в себе тот же фатальный смысл, снова “расшифровывается” в последующем тексте, превращаясь в символически одушевленный образ “холодной и твердой стены”, которая “тихо и настойчиво отталкивает его (...) как живая, как хитрый и осторожный враг” (гл. 5), вызывая в памяти другой символический образ стены, которая “всегда была наш враг, всегда”, из известного андреевского рассказа “Стена”.

Вместе с тем близко от цитированной фразы из ранней редакции (“дальше некуда бежать”) находился короткий фрагмент, который не попал в позднейший текст, – описание страха перед будущим у героя: “Холодно, темно и так страшно. Опять месяцы тюрьмы, б(ыть) м(ожет) годы. С него снимут пальто из английского сукна и желтые ботинки, наденут халат и твердые, стучащие туфли, и будет скука, грязь, расчесанное до крови тело, бесцельная ругань и злость. И это на целые месяцы, б(ыть) м(ожет) на годы” (л. 20). Андреев отказался от этого места, по-видимому, из-за его чрезмерной привязанности к обычному “быту” героя – его воровской “профессии”, тогда как уже в ранней редакции и почти с самого ее начала он оказывается в полной власти другого, метафизического, ужаса (“Вальц, Вальц, какая, брат, смертная тоска!” – гл. 1).

Здесь еще раз обнаружена одна из примечательных тенденций работы Андреева над текстом, которую можно подчас наблюдать в его работе и над другими сочинениями, – возведение жизненно конкретной реалии к отвлеченной всеобщности.

В результате рассказ приобрел цельность своего мирозерцательного и художественного облика.

В прижизненной литературе об Андрееве критических отзывов о “Воре” относительно немного, по сравнению с отдельными другими его произведениями (включая, например, и малую прозу), которые вызвали обширную прессу. Вместе с тем значение критики о рассказе достаточно весомо, поскольку в ней были представлены некоторые очень крупные имена, и к тому же она выразительно продемонстрировала характерное для современной писателю литературы о нем особенно резкое расхождение точек зрения и мнений.

Большая часть рецензентов оценивала рассказ в контексте общего андреевского творчества тех лет, усматривая в его последних произведениях (назывались “Жизнь Василия Фивейского”, “В тумане”, “Красный смех”, “Призраки”) особое качество по отношению к предшествующему творчеству. Но о самом этом качестве высказывались полярные суждения.

“Дарование Л. Андреева несомненно и явно растет, – писал В.Я. Брюсов. – Все его последние произведения представляют настоящий литературный интерес. Он умеет смотреть в корень вещей (...) У него отпадает все случайное, временное” (*Смирнов И.* Сборники товарищества “Знание” за 1904 г. Кн. IV и V. СПб., 1905. Ц. по 1 р.; Нижегородский сборник. Изд. т-ва “Знание”. СПб. Ц. 1 р. // *Весы.* 1905. № 4. С. 47). При этом Андреев, в том числе как автор “Вора” (подробнее о брюсовской оценке “Вора” скажем позже), напечатанного в пятом сборнике, противопоставлен всей другой “знаниевской” литературе – удручающему в восприятии критика зрелищу “одноцветного, однопокройного писательских-дел-мастерства” (Там же. С. 48). «А принимая в расчет, что “Сборники Знания” расходятся в громадном количестве экземпляров, надо признать, что они развращают и принижают литературный вкус читателей. Все любящие русскую литературу и русскую речь должны бы бороться с влиянием этих сборников», – заключает рецензию Брюсов (Там же. С. 49–50).

“Исключительное место” Андреева в кругу “знаниевцев” признает и критика “Русского богатства”, но расставляет иные акценты. В отличие от других участников сборников “Знания”, “отразивших – в изображениях разной художественной ценности – почти всю современную Россию”, “тема” Андреева “далека от острых вопросов современной русской жизни; его литературная задача – чисто психологического значения”, в рассказе “Вор” она оказалась, однако, “непонятной в самой основе своей” (*Редько А.Е.* [*Редько А.М. и Е.И.*] Литературные наблюдения: Сборник “Знания”, книги 4–6; г. Куприн, Гусев–Оренбургский, Найденов и Чириков – о “стране отцов” и г. Андреев о “воре” // *РБ.* 1905. № 10. Отд. 2. С. 69). «Что создало страх и что превратило этот страх в ужас, заставивший человека броситься под поезд? Клеймо вора? Но в чем же оно заключалось для “вора” г. Андреева» и “почему же он так остро чувствует” это, «что бросается под встречный поезд? Все это не только не ясно (...) но и не поддается никакой примирительной догадке при попытке читать “Вора”» (Там же. С. 70–71). И объяснение тому следующее: “Облюбовав область исключительного и необыкновенного, г. Андреев вместе с тем придал своим последним произведениям намеренную недосказанность и отрывочность в изложении”, в результате чего, вопреки “крупному таланту” писателя, произведение получилось “смутно сжатым, недоговоренным и противоречивым” (Там же. С. 70).

Рецензент “Русского слова” выдвигает ту же тему “последних произведений Л. Андреева” (наряду с “Вором” идет речь о “Красном смехе”), “талантливого писателя”, в которых, однако, находит не только “сочиненность” и “надуманность”, но и не менее серьезные изъяны: “Горе одно: нет материала. Автор не знает жизни, беден впечатлениями, не обладает достаточным запасом наблюдений”, и “Вор” “как нельзя лучше подтверждает эту мысль” (*Старый Г.* [*Петров Г.С.*] Литературные

очерки: Последние три сборника “Знания” // РС. 1905. 17 марта (№ 73)). К “каждодневному случаю для газетной заметки в 10–15 строк” Андреев “притягивает за волосы психологию ужаса”, демонстрируя элементарную неправдивость изображаемого. “Зачем было Юрасову с ними (украденными деньгами. – Сост.) метаться в ужасе по вагонам, лезть на крышу вагона, бросаться на ходу с поезда и т.д.? Стоило кинуть в окно или с площадки хотя бы один кошелек, а то и самые деньги, и делу конец. Где улики? Кто докажет, что Юрасов украл? Для вора обыкновенный, пустяковый случай, а сочинитель плетет вокруг своего героя целую паутину страхов”, стремясь усилить впечатление “искусственными приемами”.

В кратком отзыве из “Вестника литературы” рассказ Андреева характеризуется как “психологическая картина своеобразной душевной драмы выбитого из колеи человека с нечистой совестью”, производящая “тяжелое впечатление” (*Беспристрастный*). Перед судом критики. – Текущая беллетристика // Вестник литературы. 1905. 23 апр. (№ 8). С. 182).

Отдавая дань “крупному художественному дарованию” Андреева, В. Боцяновский полагает, что его рассказу, как и другим произведениям этого времени, “вредит их философско-психологическая предвзятость, исключительность положений, в которые Андреев ставит своих героев для иллюстрации той или иной своей мысли” (*Боцяновский В.* Критические наброски // Русь. 1905. 26 марта (№ 77). С. 3). Критик иллюстрирует подобную неубедительность прежде всего развязкой рассказа: “Вор, трижды судимый за кражу (...) доходит до такого животного страха, что без всякой, в сущности, серьезной для него опасности бросается под поезд” (Там же).

Рассуждения этого рода целиком сводили содержание андреевского рассказа к намерению, чаще всего как неудавшемуся, изобразить в лице героя психологию воровской среды. Подобная версия, высказанная менее явно и в рецензии “Русского богатства”, разделялась и другими критиками.

Близкую, по сути, логику рассуждений мы встречаем в посвященной рассказу Андреева ироничной в целом статье И.И. Ясинского (*Чуносков М.* Критические эскизы: Рассказы с эффектами // Слово. 1905. 17 марта (№ 97)). Герой – “странный вор”: акцент статьи именно на этом. Все выполнено с “необыкновенным мастерством”, но автор “обманывает” читателя, утверждая, что рассказывает о “профессиональном воре”, между тем как перед нами “проворовавшийся недюжинный поэт”. Его “поэтическое потрясение” “впору хотя бы и большому писателю”. “Юрасов пел, и так плакала его душа, как будто бы он был Бальмонтом или Андреем Белым”. “Он мог сделаться выдающимся писателем, художником, музыкантом, оратором, но он не мог сделаться вором”.

Неподлинность рассказа объясняется опять же новыми художественными путями, избранными Андреевым, и исчезновением “с его палитры” “тех благородных и правдивых полутонов”, отличавших его ранние произведения, появление которых в свое время горячо приветствовал Ясинский. Что же касается “последней усовершенствованной манеры Леонида Андреева”, как ее аттестует критик, то она “располагает повествование так, чтобы в душе читателя нарастал ужас”, между тем как “ужасы, нагроможденные на ужасы, наконец притупляют внимание”. «Так и в “Воре”», где “изображен если не поэт с редким

дарованием, то, во всяком случае, сумасшедший, так как, говорят, поэты и безумцы близко соприкасаются между собой”.

В оценке “последней” манеры Андреева к Ясинскому близок Е.А. Ляцкий. Критик полагает, что “наиболее яркие и симпатичные стороны писателя” относились к “первым годам его литературной деятельности”, когда в его произведениях господствовали “неразбавляемые психологическими отвлечениями образы непосредственной жизни” ([Б.л.] [Ляцкий Е.А.] Андреев Л. Мелкие рассказы. Том третий. Изд. товарищества “Знание”. СПб. 1906 г. // ВЕ. 1906. Т. V. № 9. С. 370). Основная их “сила”, удерживающая писателя “на краю бездны отчаяния и пессимизма”, – “вера в человека и его призвание к жизни, какова бы она ни была” (Там же. С. 368). Позднее Андреев “уходил (...) все дальше и дальше (...) в мир искусственной, риторически холодной, вымученной эффектации и полной разнузданности творческой воли” (Там же. С. 370), соединенных с безысходным и пессимистическим взглядом на жизнь.

В “Воре” сказалось и то и другое: и “мелькнувшая под звуки такта вагонных колес” “мелодия природы”, связующая героя “с этой мелодией своим сердцем” – “лучшее”, что есть в рассказе, и наставшие затем, характерные для последующего Андреева “ужас и трагическая развязка” (Там же. С. 375).

Совсем другое, высоко положительное отношение к рассказу Андреева можно встретить, например, в некоторых отзывах из киевской прессы, где идет речь о замечательном художественном мастерстве автора рассказа, сказывающемся прежде всего в глубине психологического анализа (*Марганец Е.* Литературные заметки: Сборник “Знания”. Книга пятая // Киевские отклики. 1905. 4 апр. (№ 94); *Джонсон И.* [Иванов И.В.] Заметки читателя: Л. Андреев. Рассказы и пьесы. Том четвертый. Л. Андреев. “Елеазар”, рассказ // Киевские вести. 1907. 31 июля (№ 49)). Оба рецензента чужды представлениям о сочиненности, искусственности, нарочитости новой манеры писателя, представляющей в “Воре”. Напротив: “автор ничего от себя вам не говорит, ничего не навязывает (...) он сам подчиняется силе жизни, скрытой от наших взоров, но видимой ему действительности” (Е. Марганец), его “художественная наблюдательность” восхищает (И. Джонсон).

Отзываясь на 4-й том сочинений писателя, где рядом с “Вором” напечатана повесть “Губернатор”, И. Джонсон находит внутреннюю близость между этими произведениями, которые в “представителях столь разных сред раскрывают то глубоко человеческое, которое (...) скрывалось их внешней оболочкой” и проявилось “после того, как внешние обстоятельства вышибают их из привычного равновесия”. В противоположность упомянутым толкованиям рассказа, рецензент отвлекается от обсуждения вопроса о психологии определенной среды, изображенной в “Воре”, считая главным достоинством рассказа проникновение автора в общечеловеческое начало, освобождающее героя из-под ее власти.

Именно это свойство произведений Андреева ставит во главу угла, но по-своему его объясняя, К.И. Чуковский в статье о “Воре” (*Чуковский К.* Заметки читателя: Новый рассказ Леонида Андреева // ОН. 1905. 20 марта (№ 6595)). Называя рассказ “чрезвычайно андреевским”, критик рассматривает его как запечатление основных особенностей всего

творчества писателя того времени. И наиболее важная из них такова: «Он (Андреев. – *Сост.*) исследует психологию человека, – поскольку она общечеловеческая (...) Дикий вор Юрасов и образованнейший доктор Керженцев, идиот – сын отца Фивейского и сифилитик-гимназист – “В тумане” – все они бесконечно различны, но Андрееву интересно только то в их душе, что есть там одинакового, равного, безличного (...) “Все живое имеет одну и ту же душу, страдает одними страданиями и в великом безличии сливается воедино перед грозными силами жизни”, – писал Андреев в одном частном письме»<sup>22</sup>. И это “одинаковое” видится автору статьи “вне особенностей разума, нравственности, воспитания” ввиду того, что Андреев “берет человека не таким, как он выразился в культуре, в этой пестрой, поверхностной, далекой от истинного человеческого я, культуре”, а в том, “что за словами”, в том “невысказанном, темном”, что “остаётся в сердце у нас, и пред чем все слова бессильны”. Критик убежден, что «никто не умеет передать так ошутимо то, что творится в “душевной тишине”, как Л. Андреев. Он нашел (...) для этого свою собственную манеру. И так как ужас, страх, – это наиболее универсальное из всех переживаний “всего живого, имеющего одну и ту же душу”, – то это переживание наиболее часто эксплуатируется Андреевым».

Всесторонней иллюстрацией сказанного и является разбор рассказа, не избежавшего, однако, по мнению критика, художественных недостатков: “Все чаще и чаще обнаруживается, что не стиль во власти автора, а автор во власти своего стиля (...) Поэтому рассказ написан неровно. Есть масса драгоценных черточек, масса блесков яркого таланта. Но наряду с этим есть надуманные, обусловленные стилем, страницы” (Там же).

В упомянутой рецензии Брюсова художественный мир автора “Вора” также воспринят в духе всеобщности, но истолкованной в чисто метафизическом смысле (Андреев “льнет к основным, метафизическим вопросам бытия”) и отвлекающейся от какой бы то ни было социальной психологии и характерности: «Может быть, таких воров не бывает. Не в том дело. (...) Вора Федора Юрасова ловят по железнодорожным вагонам. Но Юрасов и вагоны – только условные знаки. Вор – просто человек, ловит его сама жизнь, а бешеный, стоголосный полет поезда – это беспощадное, слепое стремление мировой воли. У нее одна мировая цель, она не знает индивидуумов. (...) Ужас, преследующий Юрасова, – ужас подневольного, проклятого человека, который возвысился до того, чтобы сознать свое рабство миру и железные тиски законов вселенной, но чужд благодати, дающей возможность овладеть миром, не приобщен к любви Того, Кто сказал: “я победил мир”» (*Брюсов В.Я.* Указ. соч. С. 47, 48).

Указанная в заглавии статьи Батюшкова о “Воре” “параллель” с “темой немецкой новеллы (...) написанной лет десять тому назад”, в известной

---

<sup>22</sup> Подразумевается письмо Андреева Чуковскому 1901(?) г., целиком опубликованное им в позднейших воспоминаниях об Андрееве (см., напр.: *Чуковский К.И.* Современники: Портреты и этюды. М., 1963. С. 302). В названной публикации цитированный текст не вполне совпадает с тем, что помещен в статье 1905 г.: “все живое имеет одну и ту же душу, все живое страдает одними страданиями и в великом безличии и равенстве сливается воедино перед грозными силами жизни” (Там же).

похожести сюжета не имеет значения, поскольку, “откуда бы ни взял сюжет своего рассказа, он (Андреев. – *Сост.*) несомненно сделал его вполне своим” (*Батюшков Ф.* “Вор” г. Леонида Андреева и “Вор” Феликса Зальтена (параллель) // Южные записки. 1905. 17 апр. (№ 16). С. 24).

Оригинальность Андреева проявляется в том, что он отказывается от запечатления психологии определенной среды, полагает Батюшков, возражая тем, кто подходит к рассказу с этими понятиями: “...его вор не типичен как бытовое явление, автор развернул перед нами психологию общечеловеческих свойств, возможных, как таковых, и в воре, и выдержал с чрезвычайной цельностью и стройностью гамму ощущений, переживаемых человеком, поставленным в соответствующие исключительные для него условия” (Там же. С. 29). При этом для критика общечеловеческое в герое не является чисто метафизическим, в отличие от толкования Брюсовым, а представляет собой исключительно психологический феномен, выражающийся в “чистой игре произвольных ощущений”, не подчиненных “логическим обоснованиям” (Там же. С. 26). В этом смысле рассказ – “особый вид литературы, который нельзя подводить под категории реалистической поэтики”, поскольку в его основе – “особая логика (...) чувств, подчиненная своим законам” (Там же. С. 28, 26).

Называя “Вора” “психологическим этюдом”, Батюшков вместе с тем усматривает в нем широкий “обобщенный смысл”, формулируя его как “холод отчуждения”, от которого “он (герой. – *Сост.*) и погиб. В этом – общечеловеческая суть рассказа, напоминающего “человечеству, что нельзя жить (...) без сочувствия ближнему (...) и что холод отчуждения толкает людей на неминуемую смерть” (Там же. С. 30, 31).

Об отношении А. Блока к рассказу Андреева (еще до появления его печатного отзыва о “Воре”) сказала А.А. Кублицкая-Пиоттух, мать поэта, в письме А. Белому от 26 марта 1905 г.: “Очень ли Вам важен Леонид Андреев? Прочли ли Вы Вора? Это чудо. Я бы хотела, чтоб Вы теперь очень любили Леонида Андреева, потому что мы все трое (Кублицкая-Пиоттух, А.А. Блок, Л.Д. Блок. – *Сост.*) его теперь очень и особенно любим” (Андрей Белый и Александр Блок: Переписка: 1903–1919. М., 2001. С. 540).

Рецензия Блока, опубликованная в № 3 журнала “Вопросы жизни” за 1905 г. под заглавием «Сборник товарищества “Знание” за 1904 год. Книга пятая. СПб. 1905. Ц. 1 р.», на самом деле была целиком посвящена “Вору” (за исключением последнего абзаца о “Рассказе Филиппа Васильевича” Горького). Рецензия достаточно резко выделялась на фоне всей другой критической литературы о “Воре” не только своим особым, метафорическим строем, но – главное – особым взглядом на творчество Андреева – особым восприятием его как явления, выходящего за границы литературы, как фактора, будоражащего окружающую жизнь в самых косных недрах ее. Эта главная мысль была заявлена уже в самом начале рецензии, с первой ее строки: «О рассказах Леонида Андреева могут сказать: “литературный кошмар”. Такой внутренний нерв рассказа, как у Андреева, наверно должен заставить вскрикнуть что-то особенно спокойно дремавшее в серой каменной клетке, под железной крышей. Этот крик должен непременно раздаваться, дрожать, поселяться в стенах *обыденной* квартиры, в обыденном кругу, где положены часы для чтения,

и часы для обеда, и часы для пищеварения и сна. (...) Выносимо ли для “приличного”, сытого “вседовольного и всеблаженного”, – чтобы книга “втесывалась” в жизнь, в *домашнюю жизнь!*» И, однако, “вопли” Андреева «услышаны; они так пронзительны, так вещи, что добираются до сокровенных тайников смиренных и сытых телячьих душ, Бог весть до какой трясины, на которой воздвигнуты храмы чиновничьих мировоззрений. Так же пронзителен вопль последнего рассказа Л. Андреева – “Вор”» (цит. по: *Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2003. Т. 7. С. 146–147*).

В завершающей части разговора о “Воре” и его финале высказаны суждения, возвращающие к началу рецензии: “Это – *не кошмар*. Это настигает нас повсюду – в домах, в углах, на улицах. Нет здесь ничего, кроме дикого ужаса, ибо *внезапно сорваны все маски*” (Там же. С. 148). За “литературным кошмаром” – реальный “ужас”, за индивидуально психологической коллизией, трагической судьбой одинокого героя видится Блоку катастрофичность общего состояния современного мира.

Важное свидетельство об отношении к рецензии автора рассказа находим в письме Блока к матери от 29 августа 1905 г.: «Самое приятное, что я узнал от Чулкова, это – что Леонид Андреев очень любит мои стихи и очень доволен моей рецензией. Говорит, что сам не знал, что у него в “Воре”» (Там же. С. 361).

Два года спустя в статье “Литературные итоги 1907 года” (Золотое руно. 1907. № 11–12) Блок кратко отозвался о второй публикации рассказа в изданном “Знанием” четвертом томе произведений Андреева, назвав “Вора” “лучшей” из напечатанных здесь “вещей” (Там же. С. 121).

Отношение Блока к рассказу остается неизменным и впредь. Много позднее, в мемуарном очерке 1919 г. “Памяти Леонида Андреева”, он очень коротко воспроизвел, по существу, тот же взгляд на “Вора” – но уже не в метафорически отвлеченной, а в другой, более прозрачной и “прямой”, исторически “проясненной” стилистике: «...что катастрофа близка, что ужас при дверях, – это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне “Жизнь Василия Фивейского”, потом “Красный смех”, потом – особенно ярко – маленький рассказ “Вор”» (*Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 131*). И здесь же вспомнил о своей понравившейся Андрееву рецензии: “...что она ему должна была понравиться, я знал – не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним – вернее, не с ним, а с тем хаосом, который он в себе носил” (Там же).

При жизни автора рассказ переведен на грузинский (1905), немецкий (1905), французский (1905), сербский (1906).

С. 84. *Ресторан “Прогресс”* – московский ресторан, расположенный “по проезду Чистопрудного бульвара” (Вся Москва за 1900 год. М., 1901. Стб. 1419).

С. 87. *Маланья моя, луно-гла-за-я...* – Песня Н.И. Красовского “Маланья”, входившая в репертуар ресторанных цыганских хоров как “комическая” (см.: Лапоточки: Сб. комических куплетов и дуэтов / Сост. Н.И. Красовский. М., 1901). Отмечено: *Богданов А.В. Комментарии // Андреев Л.Н. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. С. 510*.

Источники текста:

*НС* – Нижегородский сборник. СПб.: Знание. 1905. С. 26–29.

*Зн.* Т. 3. С. 241–245.

*Пр.* Т. 4. С. 127–132.

*ПССМ.* Т. 2. С. 3–6.

Впервые: *НС*.

Печатается по тексту *ПССМ*.

В рабочей тетради Андреева среди прочих набросков к будущим произведениям возникает запись, связанная с рассказом (ее можно датировать не ранее лета 1903 г.): «Распятие Христа с точки зрения человека толпы. Будний день, кого-то распинают, сам он страшно занят – проходит где-то за забором, незаметно величайшее историческое явление. Начало. “В тот страшный для мира день, когда на Голгофе etc. ... – в этот день с самого раннего утра у Гириши Лейбова страшно разболелись зубы”» (*МиИ*2012. С. 123). Замысел упоминается в той же тетради в перечне задуманных “Маленьких рассказов”: “2) Еврей” – с позднейшей припиской: «Напечатано. “Бен-Товит”» (Там же. С. 130).

Рассказ впервые был напечатан в “Нижегородском сборнике” (вышел 9 марта 1905), задуманном Горьким для пополнения средств Общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам Нижегородской губернии. В письме от 13 октября 1904 г. он просит Андреева: «⟨...⟩ дай же ты какой-нибудь рассказ или два из напечатанных в “Курьере” – “Жандарма”, “Марсельезу”, “Негритянок”<sup>23</sup> – для Нижегородского учительского сборника. Прошу, прошу, даже надоело!» (*Горький. Письма.* Т. 4. С. 147). Андреев передал для сборника три рассказа: “Бен-Товит”, “Марсельезу” и “Мельком”. Только последний был ранее опубликован под другим названием (В ожидании поезда: Из дачных мотивов // *К.* 1900. 13 июля (№ 192). С. 3).

В процессе подготовки рассказа к публикации Андреев писал заболевшей М.Ф. Андреевой 12–13 января 1905 г., сочувствуя ей в связи с ее недомоганием и с недавним арестом Горького: “А за себя мне совестно. У меня... у меня – болят зубы. Вы можете себе представить: зубы. Идиотская, бесстыднейшая, безвредная боль, а человек ни к чему неспособен. У меня есть рассказ про некоего еврейчика, который проморгал распятие Христа, так как в этот день у него нестерпимо болели зубы, – думал ли я быть таким евреем! И вырвать нельзя – ни одного зуба во рту не останется” (*ЛН*72. С. 256).

Современная Андрееву критика, как правило, лишь упоминает рассказ (в числе двух остальных) при рассмотрении “Нижегородского

<sup>23</sup> Помимо “Марсельезы” (еще нигде не опубликованной, но текст которой, видимо, уже был знаком Горькому) имеются в виду (соответственно) рассказы “На станции” (Итоги. М.: Изд. газеты “Курьер”, 1903. С. 1–4; первоначальное название “Жандарм”) и “Оригинальный человек” (*К.* 1902. 24 окт. (№ 294). С. 2).

сборника” в целом. Так, В. Чаговец говорит о “ничтожном литературном значении” этих произведений, отданных именитым автором в провинциальный благотворительный сборник (*Чаговец В. Критические этюды: “Нижегородский сборник”*. Издание товарищества “Знание”. 1905 // Киевская газета. 1905. 21 марта (№ 89). С. 5). Ф. Белявский, напротив, высоко оценил попытку сопоставления “маленького” человека и человека “большого” в двух рядом напечатанных андреевских рассказах – “Бен-Товите” и “Марсельезе” (*Белявский Ф. Нижегородский сборник // Слово*. 1905. 15 марта (№ 95). С. 5–6).

По-видимому, единственный подробный разбор этой миниатюры принадлежит В. Боцяновскому. Ее критик противопоставляет андреевскому же “Вору”, на котором, как он считает, лежит печать схематичности (как и на повести “Красный смех”). Иное дело – “Бен-Товит”: «По силе впечатления его и сравнить нельзя с рассказом “Вор”» (*Боцяновский В. Критические наброски // Русь*. 1905. 26 марта (№ 77). С. 3). Проанализировав содержание рассказа, он усматривает в нем большой социально-психологический смысл: “Это – рассказ, который огненными буквами врезывается в память и остается ярким на всю жизнь! Слишком уж много в нем горькой, но настоящей правды. <...>

Много таких Бен-Товитов было во времена Спасителя, много их и теперь. Маленькие, пошленькие, больше всего боящиеся расстроить свое пищеварение, они как-то теряются, – каждый в отдельности слишком ничтожен для того, чтобы бросаться в глаза.

Но в массе – это сила. Это тот камень, который нередко даже сильного пловца может увлечь на дно, который давит собой зарождающиеся под ним самые свежие ростки растений. Как бы они тяжелы ни были, задавить жизнь они не могут. <...> Бен-Товиты слишком жалеют себя, слишком дорожат своими олисками, своим покоем, для того чтобы идти впереди и убивать эту жизнь в зародыше. Рано или поздно, а они уступают тем, кто, не жалея себя, идет вперед” (Там же).

При жизни автора рассказ переведен на шведский (1905), немецкий (1906), чешский (1906), польский (1906, 1908), финский (1906, 1908), сербский (1906, 1909, 1910, 1912, 1913), хорватский (1908 – 2 раза), английский (1910, 1916, 1917), норвежский (1917), испанский (1919).

С. 95. *Бен-Товит* – сын Товита; человек из рода Товита (*ивр.*). Товит – библейский праведник, был исцелен от постигшей его слепоты архангелом Рафаилом (“Книга Товита”).

С. 95; 97. *...солнца, которому суждено было <...> померкнуть от ужаса и горя; ...из глубоких ущелий <...> поднималась черная ночь.* – Ср. с евангельским текстом: “Было же около шестого часа дня, сделалась тьма по всей земле <...> и померкло солнце” (Лк 23: 44–45).

С. 96. *...осколок камня от разбитой Моисеем скрижали Завета.* – Имеются в виду две каменные плиты с заповедями, полученные пророком Моисеем от Бога на горе Синай и разбитые им, когда пророк увидел поклонение народа золотому тельцу (Исх 32: 15–16, 19). Позже, по велению Бога, скрижаль Завета была восстановлена Моисеем (Исх 34: 1–4).

## МАРСЕЛЬЕЗА

(С. 98)

Источники текста:

*НС* – Нижегородский сборник. СПб.: Знание, 1905. С. 30–32.

*Зн.* Т. 3. С. 235–240.

*Пр.* Т. 4. С. 79–83.

*ПССМ.* Т. 4. С. 150–152.

Впервые: *НС*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующим исправлением:

*Стк. 90:* грозная песня – *вместо:* громкая песня (*по всем источникам*).

Согласно записи в одной из рабочих тетрадей писателя, возникновение замысла рассказа можно приблизительно отнести к лету 1903 г.: «Умирал студент в лазарете – скромный, тихонький, мирный – и попросил: Когда я умру, пойте надо мною “Марсельезу”» (*МиИ2012.* С. 126). Позже в той же тетради рассказ упоминается в перечне задуманных “Маленьких рассказов”: “1) Марсельеза. Написано. Август 1904” (Там же. С. 130). Последняя запись позволяет уточнить дату создания рассказа, так как нужно отметить, что в *ОТ* рассказ датирован (возможно, временем возникновения замысла) августом 1903 г.

Рассказ был отдан Горькому для публикации в благотворительном “Нижегородском сборнике” (см. также коммент. к рассказу “Бен-Товит”).

Слова и музыка будущей Марсельезы, гимна Французской революции, были написаны в 1792 г. Руже де Лилем и носили название “Боевая песнь Рейнской армии”. В июне 1792 г. она была принесена в Париж марсельскими добровольцами как “гимн марсельцев”, сыграла огромную роль в революционном движении. В 1795 г. Марсельезу провозгласили национальным гимном Франции. В начале XX в. была излюбленным гимном революционных движений в разных странах, в России имела необыкновенную популярность, наряду с “Интернационалом”.

В июле 1904 г. Андреев рассказывает В. Вересаеву о своем впечатлении от книги Феликса Гра “Марсельцы”: «А красив человек – когда он смел и безумен и смертью попирает смерть. Вы читали “Марсельцев”? Оборванные, они шли в Париж спасать свободу и пели “Марсельезу”. Пели и шли, пели и шли. В Париже их обкарнали, а теперь, сто лет спустя, французская свобода возложила пышный венок на гроб русского министра Плеве. На это все наплевать. Главное – пели и шли, пели и шли. В этом есть что-то очень убедительное, очень большое, и мне всегда легче становится при воспоминании о марсельцах. Как будто здесь кроется ответ.

Вероятно, я еще жив. Меня, помимо абрикосового варенья, очень трогает, очень волнует, очень радует героическая, великолепная борьба за русскую свободу. Быть может, все дело не в мысли, а в чувстве?» (*Реквием.* С. 159).

В процитированном письме речь идет о романе провансальского писателя и поэта Феликса Гра, автора романа-трилогии “*Li Rouge dou Miéjour*” (Красные южане, 1896–1897), где описан поход марсельских батальонов на север Франции в 1793 г. для защиты революционного Парижа и поддержки автономии Прованса (сам автор – один из идеологов фелибража – движения за возрождение провансальской литературы). Русский перевод романа вышел под заголовком “Марсельцы. Повесть из времен французской революции” в серии «Приложение к “Историческому вестнику”» в 1897 г. Очевидно, что в одном из несохранившихся писем к Горькому Андреев интересовался текстом “Марсельезы” на французском языке. В ответном письме от 22 декабря 1904 г. М. Горький сообщал ему: «Текст “Марсельезы” зри у Ламартина “История жирондистов”, книга, которую трудно найти. Проще – Дюма “Графиня Шарни”, издание Суворина» (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 206). В книге А. Ламартина, в главе 29, носящей название «Происхождение “Марсельезы”», полностью приведен текст гимна на французском языке с подстрочным переводом и дана его характеристика: “Марсельеза заключает в себе отголосок славы и крики смерти. Славная, подобно первому, похоронная, как второй, она ободряет отечество, но вместе с тем заставляет бледнеть граждан” (*Ламартин А. История жирондистов*: В 4 т. СПб., 1872. Т. 2. С. 46)<sup>24</sup>.

Первые строки революционного гимна (на французском языке) вложены в уста полицеймейстера в повести “Губернатор” (гл. 3), что свидетельствует о широком распространении его в русском обществе предреволюционных и революционных лет. Герои пьесы “К звездам” в одной из ранних редакций в финале второго действия поют (также по-французски) Марсельезу (вместо вошедшего в печатную редакцию сочиненного самим Андреевым “гимна к Солнцу”; см.: “Другие редакции и варианты”, *ЧА2* и *ЧН9*).

“Марсельеза” воспринималась Андреевым как символ героического порыва, преображение и переосмысление кровавых событий в лирическую стихию. О таком расширительном, символическом понимании французского гимна свидетельствует интервью, данное писателем значительно позднее, в годы Первой мировой войны: «Я говорю о лирической поэзии, о “Марсельезе” в широком смысле, о поэтическом и художественном отображении текущих мгновений, неповторимых и полных глубокого смысла. Для этого нет необходимости лично быть на войне. Художник изображает не явления, а их душу, их тайный смысл, а действительность – только его материал» (*М.З. Литература и война: Беседа с Леонидом Андреевым*) // *Утро России*. 1915. 21 окт. (№ 289). С. 5).

Мнения критиков о рассказе разделились. Ф. Белявский называет его “прекрасно написанным этюдом” и рассуждает о глубоком раскрытии Андреевым темы “о маленьком и большом человеке”, сопоставляя “Марсельезу” с андреевским же рассказом “Бен-Товит”, опубликованным в том же “Нижегородском сборнике” (*Белявский Ф. Нижегородский*

<sup>24</sup> Сведения о книгах Гра и Ламартина сообщены Л.И. Шишкиной.

сборник // Слово. 1905. 15 марта (№ 95). С. 5–6). Высоко оценил рассказ, в числе двух других помещенных в сборнике андреевских вещей (третий – рассказ “Мельком”), В. Ходасевич: отмечая “однообразность и малопримечательность” сборника, “сухость и тенденциозность” его содержания, он оговаривает, что, впрочем, “хорош Л. Андреев, давший три коротких рассказа” (*Ходасевич В.* Нижегородский сборник. Т-во “Знание”. СПб. 1905. 350 стр. 1 р. // Искусство: Журнал художественный и художественно-критический. 1905. № 5–7. С. 172).

Восторженную оценку получил рассказ “Марсельеза” в “Одесских новостях”. Автор статьи весьма необычно трактует тему произведения, усматривая ее не в революционности, а в обращении к “общественно-психологической проблеме” одиночества личности и незаметного героизма, что вообще свойственно, полагает критик, творчеству Андреева в целом (*Геккер Н.* Новые рассказы г. Андреева: Нижегородский и V сборники издания товарищества “Знание” // *ОН.* 1905. 28 марта (№ 6602). С. 1). Свой отзыв о рассказе критик сопровождает чрезвычайно эмоциональным описанием своего читательского восприятия трех андреевских миниатюр из “Нижегородского сборника”: “Что может быть очаровательнее этих маленьких глубоко, истинно поэтических произведений, проникнутых скорбной думой о человеке? Разве можно без волнения читать еще что-нибудь после того, как душа потрясена зрелищем олицетворенного зла, когда ваш мозг подавлен картиной внутреннего душевного страдания? И как соразмерить наши впечатления, когда столь неожиданно и с такой удивительной ясностью перед нами раскрываются маленькие, а иногда и большие потайные, сокровенные уголки человеческой души?.. Очарование наших чувств происходит не от одной лишь чарующей формы изложения, являющейся таинственным ключом к нашему сердцу в руках мага и чародея слова. Оно объясняется и той глубиной проникновения, которая доступна гению в его свободных изысканиях темной области нашей сложной душевной жизни. <...> И пусть факел исследования бросит на него иногда преувеличенную тень или представит его в причудливых контурах, оно явится нам все же в новом свете и более понятным...”.

Далее Геккер отмечает, что «из трех маленьких рассказов г. Андреева, помещенных в “Нижегородском сборнике”, самым замечательным кажется <...> меньший из них, всего на трех страничках, рассказ “Марсельеза»» (Там же). После сочувственного пересказа рассказа Геккер делится следующими психологическими размышлениями: «Так часто бывает и в жизни. Мимо “маленьких” людей мы проходим совсем с пренебрежением или останавливаемся перед ними, чтобы посмеяться над их слабостью, пошпынить их недостатком мужества. Но очень редко мы замечаем драму их души и даже совсем не подозреваем того ада, который носит человек в самом себе.

<...> Жить среди людей, в обществе, и быть одним, одиночкой, всегда в стороне от других, всегда чужим для других, – что может быть ужаснее и непереносимее этого внутреннего и никем не видимого страдания? <...> А между тем, сколько людей среди нас томится и страдает

этими муками одиночества и, часто не выдерживая этого бремени жизни, совсем сбрасывает его с себя и уходит в лучший мир...» (Там же).

Такая необычная интерпретация рассказа позволяет Геккеру сделать следующее заключение о его авторе: “Г. Андреев неподражаемый и, можно сказать, великий мастер в изображении этих страшных мук одиночества. Он является красноречивым и могучим защитником личности, обезличенной общественными условиями, изолированной тяжкими общественными условностями, отверженной неразрешимыми противоречиями сложной, но не совершенной общественной жизни. И становясь на сторону ее, этой одинокой и отверженной личности, он тем самым выступает протестантом вместе с ней против несовершенства жизни, против сытой и самодовольной тупости, не замечающей явно противостоящей угрозы... (...) Так умеет художник раскрыть перед нами величие душевной драмы, иногда не совсем ясной для носителя ее...” (Там же).

В. Чаговец, напротив, объединяя в своем отзыве оценку всех трех рассказов Андреева, опубликованных в сборнике, говорит о “ничтожном литературном значении” этих произведений, отданных именитым автором в провинциальный благотворительный сборник. При этом критик возбуждает вопрос об авторской этике, подразумеваемая пренебрежительное отношение Андреева к подобным общественным акциям (Чаговец В. Критические этюды: “Нижегородский сборник”: Издание товарищества “Знание”. 1905 // Киевская газета. 1905. 21 марта (№ 89). С. 5).

Абсолютно уничижительный отзыв о рассказе принадлежит В.П. Буренину, которого возмутила “революционно-пропагандистская подоплека” этого “мерзостного творения” (Буренин В. Критические очерки // *НВ*. 1905. 8 апр. (№ 10450). С. 4). Буренин, осуждая не идею благотворительных сборников, а “благотворительность за счет читателя”, когда последний покупает книжку с перепечатанным из старых журналов “хламом”, в качестве «особенно отличившихся дрянностью своих произведений “с благотворительной целью”» выделяет Андреева – писателя, воплощающего для него “литературную наглость”. По ходу глумливого пересказа “коротенького – короче воробыного носа – рассказа” Буренин фиксирует внимание на некоторых частностях. Так, главного героя рассказа критик определяет как “идиота”, плачущего «самым удивительным образом: слезы у него текли “из глаз, из носа, изо рта”», и далее саркастически замечает: “Слезы, текущие из носа и изо рта, конечно, довелось наблюдать только г. Андрееву, как, может быть, довелось ему наблюдать и еще откуда-нибудь текущие слезы, например из пальцев рук и ног, что ли” (Там же). Комментируя же описание необычных слез других героев “Марсельезы”, Буренин замечает: “Вот какие слезы, подумаешь: дикие звери от них бегут, целые города под слезами погрбеаются! И такая наглая бессмыслица пишется без зазрения совести...” (Там же).

В заключение Буренин раздражается гневными пассажами в адрес автора “Марсельезы”: «Начав рассказ наглой бессмыслицей, вроде

приведенной, г. Андреев ничуть не ослабевает в наглости и дальше, валет чепуху с плеча, валет, что ни взбредет ему в его ухарскую мысль. (...) Без всякого сомнения, если определять просто, прямо и кратко, это несуразная чепуха. Какое отношение имеет “маленькая свинья” и большие свиньи “черных рядов” к Марсельезе, “великой песне свободы”? Какое отношение к ним имеет “милая Франция”, которую на хребтах валов нес неизвестно отколе взявшийся океан? Откуда выскочили ружья с щелкающими замками, острые жала штыков и прочая бутафория “борцов” с “нежными руками”, изготавливаемая столь легко по утвержденному образцу теперешнему фразерами-беллетристами? На такие резонные вопросы можно ответить только одно: весь этот несуразный вздор, вся эта грубая риторическая трескотня не что иное, как порыв истерической наглости, выдаваемый за порыв мысли и творчества. И подобную лубочную наглостью, которая, казалось бы, по известному выражению Толстого, может быть интересна только для “молодых лакеев”, теперь пленяется, ее анализирует и истолковывает критика, наивно полагающая, что это “неисследимая” по приемам литература самого последнего фасона» (Там же). “Помилуйте, господа, какая же это литература – это просто шарлатанство...” – восклицает Буренин в финале своей разгромной статьи.

Позднее рассказ интерпретировался в более широком контексте. Так, одесский критик сравнивает его с книгой Антона Ловенгарда “Старый гарибальдиец” (*Г-берг И.* Солнечные блики // Новый одесский курьер. 1909. 14 июня (№ 11). С. 3).

Молодой В.В. Маяковский, защищая позиции футуристов, в частности трагический пафос их произведений, отражающих настроения первого года Первой мировой (в первую очередь свои стихотворения “Траурное ура”, “Бельгия”, “Мама и убитый немцами вечер”), цитирует фрагменты из рассказа (правда, не называя его): «Андреев говорит, что есть слезы, от которых только “краснеет лицо и намокает платочек”, а есть и такие, которые “выжигают города, и дикие звери даже разбегаются” от них. Если и пролиты в наших стихах, то только эти, последние слезы» (*Маяковский В.* Без белых флагов // Новь. М., 1914. 23 нояб. (№ 122). С. 8; *Он же.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 321–324).

Львов-Рогачевский в своей позднейшей монографии об Андрееве, отмечая сложность морально-этической и философско-художественной позиции Андреева после создания им скандального рассказа “Бездна” (1902), пишет: «Перед Леонидом Андреевым вставал вопрос: станет ли он беспощадным отрицателем уродливых сторон жизни или он восстанет против жизни вообще и станет ее преследовать, как смертельный враг.

Он стоял над бездной, но не знал определенного решения.

Достаточно вспомнить, что в 1903 г., точно в ответ на рассказ “Бездна”, где в человеке художник открыл зверя, он же пишет прекрасный сильный рассказ “Марсельеза”, противоположный “Бездне” по выводу.

В ничтожном человеке – “в маленькой свинье”, в робком, забитом существе, в котором точно жила душа зайца и бессильная терпеливость рабочего скота, художник увидел и показал его *большое Я*, его прекрасное, героическое, достойное человека я.

Вспомните этого забитого человека, по внешнему виду раба, который голодал с товарищами, заболел голодным тифом, бредил все время “милой Францией” и завещал товарищам: “когда умру, пойте надо мной марсельезу”.

Это было совершенно иное решение поставленной Ф. Ницше задачи. (...)

Рассказ “Бездна” кончался позорным падением чистого юноши и *торжеством зверя* (...)

Рассказ “Марсельеза”, написанный через год, кончался апофеозом героя, скрытого под смешной внешностью маленького человека (...)» (*Львов-Рогачевский В.* Две правды: Книга о Леониде Андрееве. СПб., 1914. С. 62–63).

Прочитывая далее финал рассказа, критик замечает (имея в виду социально-политические события в России в 1904–1906 гг., Русско-японскую войну и революцию): “Это стихотворение в прозе явилось точно увертюрой к великим годам, отмеченным красным крестом в календаре русской общественности” (Там же. С. 63).

При жизни автора рассказ переведен на венгерский (1905 – 2 раза), французский (1905), грузинский (1905), немецкий (1905 – 2 раза, 1906 – 3 раза, 1907), финский (1905, 1906, 1907, [1908]), шведский (1905, 1910), болгарский (1906), польский (1906 – 2 раза), хорватский (1906 – 2 раза, 1907 – 2 раза, 1908, 1909, 1910 – 2 раза, 1911, 1917), сербский (1907, 1910, 1911, 1919), идиш (1907, 1912), румынский (1909), английский (1909, 1910, 1915), эстонский (1910), чешский (1911), датский (1912), японский (1913), испанский (1919), итальянский (1919 – 2 раза), словенский (1919).

## ХРИСТИАНЕ

(С. 101)

Источники текста:

*ЧА1* – черновой автограф. 1 сентября 1905 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 8. 14 л.

*ЧН* – черновой набросок. Хранится: Там же. Folder 15. 1 л.

*ЧА2* – черновой автограф. 10 сентября 1905 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. Folder 8. 23 л.

*БКАП* – беловая копия с авторской правкой (рукой А.М. Андреевой). Начало рассказа // РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 13. 4 л.

*НР* – авторизованная наборная рукопись (машинопись, отпуск). 10 сентября 1905 г. (дата зачеркнута). Подпись: Леонид Андреев // РО ИРЛИ. Ф. 185. Оп.1. Ед. хр. 1454. 28 л.

*Шт* – Христиане (Christen). Stuttgart: Verlag von J.H.W. Dietz Nachfolger, 1905. (23 декабря). 26 с.

*ЖДВ* – Журнал для всех. 1906. № 1. С. 15–22.

*Зн.* Т. 3. С. 271–294.

*Пр.* Т. 8. С. 233–261.

*ПСС.* Т. 3. С. 3–19.

Впервые: *Шт*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующим исправлением (по всем источникам, кроме *Пр*):

*Стк. 56*: Пелагея Васильева Караулова – *вместо*: Пелагея Васильевна Караулова.

Созданная 1 сентября 1905 г. ранняя редакция рассказа (*ЧА1*) при фактически полном сюжетном совпадении с позднейшими значительно меньше их по объему. Так, в ней отсутствует важный “пролог” к самому описанию судебного процесса, где дано излюбленное Андреевым сопоставление суда с театром, в котором разыгрываются “судебные драмы” (*ОТ. Стк. 7*). Нет и в *ЧА2* перекликающегося с зачином рассказа финала, где повторяется ироническая характеристика суда-театра: “Весело, тепло, уютно”, и приведены показания обвиняемого (*ОТ. Стк. 664–673*). В позднейших редакциях меняется и усложняется описание главной героини: в *ЧА1* она – “Женщина средних лет, некрасивая <...>” (*Л. 1*) – позже: “Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая <...> В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами <...> Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижным” (*ОТ. Стк. 59–66*); снижающие ее образ детали (“Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то говорит тусклым, сиплым голосом: точно глухо кашлянул кто-то под полом” (*ЧА1. Л. 3*)) заменяются на привлекательные (“Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении” (*ОТ. Стк. 85–86*)). Только в *ЧА2* (*Л. 13*) появляется “ремесленник”, персонаж, реплики которого иронически оттеняют общую атмосферу “судебной драмы”; существенно расширяются увещевания священника (ср. *ЧА1. Л. 6* и *ОТ. Стк. 191–232*); нет в *ЧА1* и эпизодов с ортодоксально настроенным “толстым купцом” и агрессивным частным приставом (*ОТ. Стк. 332–348; 432–457*). Весьма расширено в позднейших версиях рассказа описание выступления защитника (ср. *ЧА1. Л. 9–11* и *ОТ. Стк. 479–563*; характерно, что в *ОТ* сопоставление героини с Сонечкой Мармеладовой заменено сравнением с евангельской Магдалиной), концовка которого связана с обширным и важным монологом героини о своей жизни (*ОТ. Стк. 564–611*), отсутствующим в *ЧА1*.

В созданной через десять дней второй редакции рассказа (*ЧА2*) уже присутствуют многие вышеперечисленные добавления и изменения, но при существенной текстуальной близости к *ОТ* редакция (особенно ее вторая часть) отражает напряженную работу автора над рассказом (многочисленные вставки и исправления). В связи с этим вторая половина

рассказа представлена в наст. изд. как часть самостоятельной редакции (ЧА2), в то время как первая учитывается в “Вариантах”.

Примером работы над совершенствованием текста служит сохранившийся промежуточный фрагмент (ЧН), в котором звучат радикальные, чуть ли не антицерковные высказывания героини: “Все это обман для слабых людей, чтоб не так страшно жить было. (...) Конечно, когда Христос по земле ходил, тогда, может, и лучше было, больных он исцелял, голодных кормил (...), да тогда и больных-то меньше было, не столько, как теперь. Так ведь это давно было, а теперь, вы сами знаете, голодного никто даром кормить не станет”. В переработанном (вероятно, из-за цензурных опасений; убраны слова о Христе) виде Андреев вставляет эту заготовку в ЧА2 (см. вставку на л. 20 после слов: “И к церкви я равнодушна, и даже мимо старалась не ходить, не люблю”), однако затем, видимо, почувствовав ее несоответствие вырисовывающемуся образу героини, перечеркивает.

Собственные судебная хроника и фельетоны на тему суда не раз становились материалом для художественных произведений Андреева, в 1897–1900 гг. служившего (недолгое время) помощником присяжного поверенного и работавшего судебным репортером в газетах “Московский вестник” и “Курьер”. Позже, перечисляя свои труды, связанные с “принадлежностью к сословию, являющемуся одним из проводников в русскую жизнь начал справедливости и права”, Андреев указывал: «“Семь повешенных” – по вопросу о смертной казни; (...) “Христиане” – по процессу, и так далее» (см. наст. изд., т. 13, с. 589).

По мнению Л.А. Иезуитовой, протосюжеты рассказа “Христиане” явлены в анонимных (но атрибутируемых Андрееву) судебных очерках “Московские трущобы” (Московский вестник. 1897. 25 сент. (№ 263); наст. изд., т. 13, с. 9–12, 603) и “Грабёж с насилием” (Курьер. 1899. 1 апр. (№ 96); наст. изд., т. 13, с. 47, 613). Связь между сюжетами, где персонажами являются проститутки, устанавливается исследовательницей на том основании, что писателя в первом судебном деле «поразил диссонанс между кротостью и нежностью внешнего вида “девушки” и ее “деянием”», а во втором – “схожесть ситуации” в судьбе подсудимой с судьбой героини романа Л.Н. Толстого “Воскресение” (Муй2000. С. 196). Не углубляясь в многочисленные детали различия между характерами героини “Христиан” и фигурантов двух вышеупомянутых судебных отчетов, вместе с тем отметим, что первая является активной фигурой процесса, свидетельницей на суде (по ходу сюжета превращающейся чуть ли не в обвинительницу), а последние – пассивными обвиняемыми.

Непосредственным импульсом к созданию рассказа “Христиане”, по свидетельству С.Я. Елпатьевского, был его разговор с Горьким и Леонидом Андреевым о литературном творчестве, о писательских темах в Озерках под Петербургом: «Я сказал, что жизнь часто создает свои повести и романы интереснее писательских, а в подтверждение вынул из кармана вырезку из “Русских ведомостей”, где репортер сообщал, что во время какого-то судебного дела одна из свидетельниц отказалась принять присягу, заявив, что она проститутка, не чистая, и потому недостойна

целовать крест и Евангелие. После обеда мы играли в крокет. В перерыве Леонид Николаевич отозвал меня в сторону и убедительно, с его особой настойчивостью, стал просить меня уступить ему эту тему.

Я чувствовал, что тема захватила его, знал, что здесь он будет в своей стихии, и отдал ему газетную вырезку. Так появилась его “Христианка”» (*Елпатьевский С.Я.* Из воспоминаний // *Былое.* 1924. № 27–28. С. 281). Описываемые события, скорее всего, относятся к лету 1905 г., когда какое-то время Андреев проживал в Финляндии. Автор одного из первых отзывов отмечал: «Рассказ озаглавлен “Христиане” и помимо своих художественных достоинств для москвичей имеет свое особое значение. Случай, в нем описанный, имел место в московском окружном суде в прошлом году и тогда же возбудил общее внимание. Художник-писатель воспользовался им для проведения глубокой серьезной мысли» ([Б.л.] “Христиане”: Новый рассказ Андреева // *Народная газета.* 1906. 30 янв. (№ 15). С. 2–3). Соответствующие газетные материалы, однако, обнаружить не удалось.

Вероятно, именно ко времени разговора с Елпатьевским относится запись в рабочей тетради Андреева, в которой впервые зафиксирован замысел: “Проститутка, отказавшаяся принять присягу на том основании, что она не христианка” (*Мий2012.* С. 120).

Согласно авторской дате на второй, близкой к *ОТ* редакции рассказа (*ЧА2*), он был в целом закончен 10 сентября 1905 г. А уже 20–21 сентября Горький сообщил К.П. Пятницкому: «Но всё же – какой это талант, Леонид! – есть места большой силы, дьявольски глубокие по настроению. Написал он еще рассказ “Христиане” и отдал его Миролубову. У Миролубова – не пройдет, в этом я уверен. Во-первых, не понравится самому Виктору, во-вторых – цензуре. Суть рассказа: проститутка отказывается принять на суде присягу, потому что она – “проститутка, значит, не христианка”. Судьи, защитник, адвокат Волжский из “Вопр[осов] Жизни” и всякие другие “христиане” убеждают ее в противном, а она – стоит на своем. Вот и всё. Написано – в форме репортерского отчета, не по-андреевски. По-моему – это усиливает впечатление...» (*Горький. ПСС. Письма.* Т. 5. С. 91).

Горький называет присяжного заседателя из “Христиан” «адвокатом<sup>25</sup> Волжским из “Вопросов жизни”», имея в виду критика этого религиозно-философского журнала А.С. Глинку-Волжского. Основанием этому служит речь данного персонажа рассказа, в которую введены цитаты из статей Глинки-Волжского, содержащие образы из религиозно-философской публицистики В.В. Розанова<sup>26</sup>. Имеется в виду следующий фрагмент из его монолога:

---

<sup>25</sup> В данном случае Горький допускает оговорку: адвокат в то время именовался присяжным поверенным.

<sup>26</sup> Впервые отмечено: *Богданов А.В.* Комментарии // Андреев Л.Н. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. С. 527. Более подробно полемическая соотнесенность рассказа с публикациями Розанова и Волжского прокомментирована в указ. ст. Л.А. Иезуитовой (см.: *Мий2000.* С. 222–223).

“– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот – вот эмбрион всех сфинксов...” (ОТ. Стк. 415–417).

Необходимо предварительно указать, что здесь существенно меняются идейно-смысловые акценты “первоисточника”. Цель выступающего – уговорить героиню принять присягу, связанную с официальным православием (в самой процедуре участвует священнослужитель). Соответствующие же (связанные с двумя первыми фразами из процитированного отрывка) места у Розанова, философа-неохристианина, направлены против “традиционного” христианства и содержат протест именно против “христоцентричности” официального православия – с позиций розановской “мистики пола”:

«Действительно, *единственный мотив жизни в христианстве* (при заглохших крови и семени) – *Лик Христов*. “Спаситель, Спаситель, чиста моя вера” (Кольцов) и вещее продолжение: “Но, Боже – и вере *могила строима!*” Только Лик Христов, и – точка. Звезда – но на фоне беспросветной темноты. Ночь без звезд и одна звезда. Звезда эта темный лик в углу комнаты. Мерцание лампы. Вращаю глаза туда: “Боже, буди милостив мне грешному” – и ничего больше, ни царств, ни богов, ни игр: все это стало по Р. Х. смешно, жалко, декадентно. Все померкло в темных лучах нового сияния. О, “Христов дух” – вовсе, вовсе новый, небывалый, неслыханный, неожиданный на земле; прямо “новое откровение”! Еще раскрылось небо, после Ветхого, после обрезания – и новый совсем голос послышался оттуда. И вдруг не стали мне нужны царство, боги, игры. Состроган гроб. “Куда ты смотришь, старче?” – “В гроб”» (Розанов В.В. В мире неясного и нерешенного. 2-е изд. СПб., 1904. С. 164, примеч. 3; здесь и далее подчеркиванием выделены слова, корреспондирующие с текстом рассказа Андреява. – Сост.). Данный отрывок частично процитирован и Глинкой-Волжским (*Волжский [Глинка А.С.]*. Мистический пантеизм В.В. Розанова. Статья вторая // Вопросы жизни. 1905. № 3. С. 147).

Странный образ “эмбриона всех сфинксов” также восходит к Розанову. В статье “Семья как религия” он много рассуждает о “богочеловеческой природе” древнеегипетских сфинксов, утверждая через этот образ земные, “посюсторонние”, витальные основы своей “религии пола”, которые опять-таки противопоставлены “историческому христианству” с его, по мнению философа, иссушающим аскетизмом и направленностью к “жизни будущей”: «Мысль сфинкса – “ищи Бога в животном”; “ищи – в жизни”; “ищи Его – как Жизнедавца”.

Маленькое соображение: по очертанию львиных частей сфинкс изображает Бога и есть только комментарий к одному стиху открытой Липсусом “Книги мертвых”: “Я – великая кошка” (слова о себе Ра-Солнца); но бог – как может видеть каждый петербуржец – оканчивается спереди человеком, и, следовательно, полная мысль сфинкса читается: “Бого-человек”» (Розанов В.В. Указ. соч. С. 58).

В соответствии с названием статьи этот образ подводит к искомому заключению. По-своему перетолковывая предсказание “Апокалипсиса”:

“Кто подобен зверю сему? он принесет нам огонь с небеси”<sup>27</sup>, – Розанов утверждает: «“Зверь” – это опять “ищите божьего в животном”, на что указывают сфинксы; а “огонь с небеси”, “небесный огонь”, есть огонь брачных уз, постигнутых в небесном своем происхождении, которым свяжется человечество, начав религию рождений взамен религии умираний. (...) Эмбрион всех сфинксов и того, кто принесет “огонь с небеси”, заключается уже теперь в институте брака, который как только из речитатива “Господи помилуй” переведем к красоте и неге мистической херувимской песни – мы получим новую религию... мы получим христианство же, но выраженное столь жизненно-сладостно, что около Голгофы, аскетической его фазы, оно представится как бы новою религией...» (Там же. С. 60–61).

В последней реплике персонажа Андреев объединяет вырванный из контекста фрагмент (“Эмбрион всех сфинксов...”) с оценкой этого места из Розанова в статье Глинки-Волжского: “Это страстный, задыхающийся, прерывистый шепот мистики пола, мистики плоти” (*Волжский* [Глинка А.С.]. Мистический пантеизм В.В. Розанова // Новый путь. 1904. № 12. С. 46).

Введение в рассказ фигуры присяжного заседателя, молодого человека, увлекающегося новейшими мистико-религиозными идеями и излагающего их туманным, в своей усложненности доведенным до абсурда языком, а также то, что Горький моментально опознает в нем «Волжского из “Вопросов жизни”», имеет отчетливо выраженный злободневный смысл. Критик Глинка-Волжский с конца 1903 г. начал печататься в близком к Горькому и его окружению (включая Андреева) демократическом “Журнале для всех”, что вызвало недовольство последних и породило конфликт группы Горького с редактором журнала В.С. Миролубовым. Причиной тому служила религиозно-философская и антидемократическая тематика, привнесенная критиком на страницы издававшегося громадным для того времени тиражом, популярного, в целом позитивистского и просвещенческого журнала (см.: *Коляда Е.Г.* “Журнал для всех” // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века: 1890–1904: Социально-демократические и общедемократические издания. М., 1981. С. 338–346). Уже первая публикация Глинки-Волжского в декабре 1903 г. вызвала протест группы авторов журнала. В январе 1904 г. Вересаев, Андреев, Дмитриева, Серафимович, Белоусов обратились к Миролубову с письмом, в котором осудили эту статью “с проповедью бога и злорадною отходною над направлением, имеющим глубокие, жизненные корни в современной русской жизни” и предупредили о невозможности своего дальнейшего участия в журнале в случае появления “подобных статей” (см.: Горький и

<sup>27</sup> Ср. (в рус. пер.): “И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? (...) И творит (зверь) великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми” (Откр 13: 4, 13). В традиционной трактовке зверь имеет, разумеется, сатанинскую, а не “божью”, как у Розанова, природу.

его современники. Л., 1962. С. 63). Приезд Глинки-Волжского в Москву в феврале на переговоры с Андреевым и Вересаевым и его обещания Миролюбову не затрагивать “разные там марксизмы” ситуацию, однако, не изменили: в новых статьях критик продолжал ту же линию (Там же).

В конце 1904 г. Волжский все же был вынужден уйти из журнала в связи с тем, что Горький и другие писатели-“знаньевцы” вновь заявили Миролюбову о том, что их сотрудничество в журнале несовместимо с пребыванием в нем Волжского. Андреев сообщил Миролюбову в сентябре 1904 г., что Вересаев и Горький «намереваются (...) напечатать письмо, в котором, ввиду изменившегося направления, отказываются от участия в “Ж[урнале] д[ля] всех”» (ЛАЗ. С. 109). Е.Г. Коляда считает, что, “по-видимому, не без влияния” Андреева это письмо не появилось в печати (Коляда Е.Г. Указ. соч. С. 350). В 1905 г. Волжский становится постоянным автором религиозно-философского журнала “Вопросы жизни”. И, вопреки предсказаниям Горького, в январской книжке за 1906 год “Журнала для всех” появился рассказ “Христиане”.

Печатные отзывы о рассказе относительно немногочисленны и разнородны. М. Ивинский оповещал читателей о выходе в свет нового рассказа Андреева, где «воспроизводится с обычной для талантливого автора яркостью и живостью эпизод из практики суда присяжных: отказ принять присягу свидетельницы-проститутки, не соглашающейся, несмотря на “всеобщие”, так сказать, уговоры, признать себя христианкой. И вот судьи, присяжные заседатели, прокурор и священник, незаметно для самих себя, излагают свои “христианские” воззрения...». За этой преамбулой следовали некоторые отрывки из рассказа, которые были предназначены для того, чтобы передать “самое существенное, необходимое для характеристики свидетельницы и (...) воззрений мнимохристиан” (Ивинский М. Из литературы и жизни христиан: (“Христиане” Л. Андреева) // Вестник знания. 1906. № 2. С. 429).

В журнале “Современность” (под таким названием в 1906 г. выходило запрещенное цензурой “Русское богатство”) была опубликована довольно обширная рецензия, содержащая критику Андреева за ненужные подробности, в ней также отмечался разлад между замыслом и средствами художественного исполнения “Христиан” (Редько А.Е. [Редько А.М., Редько Е.И.] Литературные наброски // Современность. СПб., 1906. Апр. (№ 2). С. 19–25). Караулову Редько отнесли к разряду людей, “живущих своим позором и заранее отказывающихся от мысли Божеского прощения и от надежды избыть свою душевную беспросветность хотя бы за пределами могилы” (Там же. С. 23). Ее облик, по мнению критиков, был обрисован “в нескольких резких чертах удачно”. Изображение же тех, кому в зале суда “весело, тепло, уютно”, критиков не удовлетворило, так как, по их мнению, в своем “желании подавить читателя массой подробностей, г. Андреев не замечает даже, что некоторые из ново-сообщаемых им подробностей устраняют возможность основного события в рассказе...” (Там же). В обрисовке присутствующих в судебном заседании отмечался “главный ущерб” рассказа. Ибо вместо образов людей Андреев дал «только схемы людей, которым

должно бы быть “весело, тепло и уютно”», потому что все эти фигуры отодвинули от Карауловой, главной героини, внимание читателей, потому, наконец, что “христиане” слишком “многочисленны и выдержаны в манере шаржа, анекдота, карикатуры”, что, по мысли супругов Редько, «лишает рассказ единства стиля, где реалистический рисунок соседствует с художественными “чрезмерностями”, неприемлемыми в искусстве» (Там же).

В июле того же года появилось упоминание о “Христианах” в обширной рецензии А.Е. Редько во втором и третьем томах Собрания сочинений Андреева, вышедших в издательстве “Знание”. Художественные достоинства и положительное содержание были отмечены в рассказах “Кусака”, “Гостинец” и “Христиане”; остальные произведения из “Мелких рассказов” были оценены низко: «Кроме упомянутых двух рассказов и “Христиан”, (...) значительных – с чисто художественной точки зрения – вещей нет» (Редько А.Е. [Редько А.М., Редько Е.И.] Литературные наброски: Л. Андреев. Рассказы. Том второй. Мелкие рассказы. Том третий. “Так было” // РБ. 1906. Июль. Отд. 2. С. 49).

Ю.И. Айхенвальду рассказ не понравился; показался искусственным, многословным, уступающим по силе впечатления простой газетной заметке. “Андреев, – пишет Айхенвальд, – больше высмеивает судей и людей вообще, мнимых христиан, чем проникает в истерзанную душу своей героини” (Айхенвальд Ю.И. Журнальное обозрение // РМ. 1906. № 4. Отд. 2. С. 216–217).

Тогда же, в апреле, рецензент журнала “Церковный голос” И.Г. Айвазов определил расстановку сил в “Христианах”, сказав, что суд с его юридически-формальной правдой противопоставлен автором проститутке с нерастраченными представлениями о “высшей правде” жизни, ее христианских началах (А. [Айвазов И.Г.] Новый рассказ Леонида Андреева “Христиане” и вопросы, затронутые им // Церковный голос. СПб., 1906. № 4. С. 124).

А. Курсинский считал, что «“Христиане” не лишены претензии на идейность, и в этом их главная неудачность. Этот стоящий совсем особняком рассказ слишком разросся вширь и не пошел вглубь». Критик определяет его “как произведение периода утомленности. (...) Карикатурный шарж – вне таланта г. Андреева, и особенно когда он переплетается с мотивами хотя бы и старой, по все же серьезной темы» (Курсинский А. Л. Андреев. Том II. Рассказы. Том III. Мелкие рассказы. Издание Т-ва “Знание”. СПб. 1906 г. // Золотое руно. 1906. № 5. С. 86, 87).

Ю. Глаголин, говоря о рассказе и признавая оригинальность таланта Андреева, писал: «Ни один из современных русских писателей не обладает таким страстным и глубоким темпераментом, как Леонид Андреев (...). Андреев не указывает способ найти “правду” и жить сообразно с ее законами, но (...) он говорит нам, что она есть. Она в обновлении души, в весне человеческой жизни» (Глаголин Ю. “Мелкие рассказы” Андреева. III том сочинений // Перестрой. Пенза, 1906. 10 июня (№ 111). С. 2–3).

Критик “Душеполезного чтения” выделил небольшой рассказ Леонида Андреева “Христиане” из литературной продукции 1906 г. “Об этом рассказе, – отмечал он, – очень много говорили (хотя писали не особенно много); книжки журнала зачитывались до невозможности; словом, рассказ возбудил исключительный интерес” (*Колосов Н., свящ.* Преступницы или жертвы? (“Христиане”, рассказ Леонида Андреева) // Душеполезное чтение. М., 1906. Ч. III. Окт. № 10. С. 170). Содержание рассказа, по мнению рецензента, “не совсем обыкновенно даже для нашего, обильного всякими необычайностями, времени; и, несмотря на общий юмористический тон и на комические детали рассказа, он производит трагическое впечатление” (Там же). Колосов, анализируя “мировоззрение и вообще психику Карауловой” (Там же. С. 171), предпринимает попытку встать на точку зрения героини, “несмотря ни на что, еще не совершенно испорченной и погибшей души” (Там же), которая “непоколебимо убеждена, что нравственно, духовно, для Бога она уже погибла, и спасения ей не может быть ни в этой, ни в будущей жизни” (Там же. С. 172). Задаваясь вопросом: “Но христиане ли те, кто создает Карауловых, да еще хвалится иногда количеством своих жертв?” (Там же. С. 173), рецензент сокрушается: “Как глубоко нуждается в исправлении такое общество, и как много труда и дела здесь духовенству” (Там же). Однако, по мнению священника, “тон рассказа и самое заглавие его указывают на явное предпочтение нашим автором своей героини всем находящимся в зале суда” (Там же. С. 174), с чем он никак не может согласиться: “полное равнодушие Карауловой к своему греху” ни в коем случае не может быть идеалом и не может и не должно “ставить человека на какой-то пьедестал”, а может “возбуждать только лишь бесконечную скорбь и горькое сознание нашей общей вины” (Там же).

Исаак Г. считает, что с образом Карауловой связан целый круг представлений о Боге, об облике того, в ком живет живой Бог. Он отмечает бесстрастность, сухость, твердость в душе и в словах Карауловой, произнесшей: “Я не христианка”. Он понял их не как отказ от Бога, но как высокую меру представлений о Боге: «Она не может носить в себе Бога. И никто ее не убедит, никто ей не докажет, что раскаяние приближает к Нему, что можно быть падшим, погибшим, и стоит только однажды сказать: “Я делал плохо, я поступал не по-божески” – чтобы тем обрести себе Бога... Целой вереницей идут мимо этого камня, непоколебимой уверенности в своей правоте, разные люди, с разными взглядами, – а она остается той же равной, раз узнавшей...» (*Г. Исаак [Гольдберг И.Г.]*. Литературные очерки. II. Искание отрицания // Забайкальская новь. Чита. 1907. 22 июля (№ 63). С. 2). Существенным в реакции на поступок Карауловой окружающих Исаак Г. считает явившееся в словах, действиях и чувствах “христиан” то явное, то скрытое смущение: на слова служителя Бога (“нужно только верить в Господа”) “она вскидывает (...) полуудивленный, холодный взгляд, – и священник смущается, теряет под собой почву, чувствует тоску и смятение”; «“христиане” – все те, кто искренно считал себя таковыми, – им кажется диким упрямство

проститутки, но в то же время внутри их копошится нехорошее чувство, завистливое, неожиданное: “а кажется, она права...”» (Там же. С. 3).

Критик утверждает: «“Христиане” Андреева – только слабые проблески его представления о величии и величине человеческого духа... Начинается пока слабая ломка того, что обыденными людьми признается за силу и мощь человеческого духа, – строится новый человек. Проститутка в “Христианах”, может быть, не ярящийся по художественности тип, – возможно, что в нем не хватает красок, – но истина... андреевская, широкой полосой прошла через этот рассказ – прошла, чтобы уже дальше вылиться свободно и мощно...» (Там же).

Исаак Г. причислил Андреева к современным богоборцам, “смелым и дерзким”, за бунтом которых скрыты, пока еще не ясные, черты современного то ли ницшеанства, то ли неохристианства. В то же время в его рассказах, в “Христианах” особенно, по мысли критика, “нарастают первые проблески будущих прочных основ чистого искусства, лишенного неестественности, вымученности и больных нервов” (Там же).

Архимандрит Михаил из казанского еженедельника “Церковно-общественная жизнь” воспринял рассказ Андреева как произведение, вошедшее в самую глубину понимания того, что есть христианин и каково его отношение к Христу и его учению. «Кому не известна ужасная по своей характерности, – писал он, – сцена из “Христиан” Андреева? Проститутка-свидетельница отказывается считать себя христианкой оттого, что живет не по-христиански, отказывается покаяться, потому что пребывает и будет пребывать в грехе» (Михаил, архим. [Семенов П.В.] Двенадцать писем о свободе и христианстве. Первая серия писем. “О Христе подлинном”: Письмо восьмое // Церковно-общественная жизнь. Казань. 1907. 26 окт. (№ 43). С. 1329). О. Михаил подметил, что в обоих случаях наставляющий ее священник уличает ее в “сатанинской гордости”. В этом противостоянии автор отзыва стал на сторону Карауловой: ни священник, ни остальные участники ритуала присяги не желают понимать позиции проститутки, которую он обозначает так: “или имя христианки – и тогда жизнь под Его водительством, – или жить без Него – но тогда вынести и Его икону из комнаты” (Там же).

Анализ рассказа Андреева позволил о. Михаилу перейти к широкому обобщению и печальному выводу относительно современного ему состояния церковного народа: “Как малые дети играют драгоценными камнями, так люди забавляются святыми словами. Рядятся в них, как дикари в цветные перья, но под этими перьями все же остаются дикарями. Наше христианство наружное, словно накладное. Снаружи как будто христианин: и в храм ходит, и крест на себе носит, и слово евангельское порою молвит; а попробуй его царапнуть, как накладную мебель, ногтем, сейчас увидишь истинную природу, скажется язычник, – ненависть и злоба проявятся наружу. Мало этого... Христианство не только не проникло в глубь: оно просто не выходит за пределы метрических книг” (Там же).

Тот же о. Михаил, но уже под псевдонимом Дьяк Шигони в конце 1907 г. вспомнил о рассказе. «Два года тому назад, – писал он, – Андреев

напечатал своих “Христиан”. Это была простая и вовсе не головоломная вещь. И, по существу, это было первой частью его “Тьмы”, упрощенной частью, назначенной для большинства, для смешных и тупых, так называемых “христиан”. Там дело обстоит просто, проститутка Караулова бесплодно пытается разъяснить “христианам”, что христианство есть живая жизнь в известном принципе, и не иначе мыслимо. (...) И проститутке не удастся передать христианам, что для нее так ясно, что христианство – немного больше записи в метриках, в исполнении обрядов. Оно обязывает, требует известной линии жизни, с которой можно сойти по ошибке, но нельзя спуститься сознательно, позволить себе сойти. Одно из двух: или принимай христианство как закон жизни, или брось самое имя. Не самозванствуй, не одевайся в краденое! Такая мысль была понятна. Если она не кажется убогой, то только потому, что психология “христиан” в самом деле еще скуднее, еще более убогая. Настолько скуднее, что для них и Караулова – истерическая сектантка. (...) Караулова № 1 говорит к будничным христианам. Караулова вторая (речь идет о Любви – главной героине “Тьмы”. – *Сост.*) продолжает ту же христианскую мысль (*Дьяк Шигони [Семенов П.В.]*. “Тьма” Андреева и “христиане” первого и второго разряда // Час. М., 1907. 12 дек. (№ 68). С. 2).

А.Г. Горнфельд сравнивает “Христиан” с другим рассказом Андреева – “трагической карикатурой” “Оригинальный человек”; это уподобление подводит его к выводу: «Страшен и шарж “Христиане”. Пусть нет у нас ни таких нелепых председателей окружного суда, ни таких тупых прокуроров, ни таких беспардонных защитников, ни таких чудовищных присяжных заседателей, пусть немислимо это судебное заседание, где все они наперерыв убеждают принять присягу свидетельницу Караулову, которая с непоколебимой уверенностью утверждает, что она не может присягать, потому что она не христианка, а не христианка потому, что проститутка. Пусть утрированы и выдуманы эти “верхние десять тысяч” облыжных “Христиан”, – и эта упорная женщина, смутившая их гнусный покой, – но художественный и моральный эффект, достигаемый этим преувеличением, так силен, так беспощадно обнажена в рассказе глубокая трясина нашей общественно-церковной лжи, такой захватывающей трагедией целого культурного слоя проникнут весь рассказ, что остается признать за писателем право на эти преувеличения. Победителя не судят» (*Горнфельд А.Г. “Мелкие рассказы” Л. Андреева // Горнфельд А.Г. Книги и люди. СПб., 1908. С. 12).*

Близок к такой оценке “жизнеподобия” андреевского рассказа и Амфитеатров, который сопоставляет его со скандальной андреевской же “Бездной”: «“Бездна” – миф, но миф, стоящий реальности. В этих торжествах над умом и в этом перекоре стихиям одинаково сказываются – сила таланта Андреева и его искусство поворачивать свое мастерство самыми казовыми, ошеломляющими сторонами. Так, например, я считаю одним из шедевров Андреева рассказ “Христиане” (...). “Христиане” – вещь потрясающей могучести. Настолько, что, благодаря энергии тона и красочности “Христиан”, публика оставила без внимания то обстоятельство, что судебная обстановка рассказа – фантастична

и невозможна, как будто Андреев и в суде никогда не бывал. Критика же, хотя, помнится, этого пробела без внимания не оставила, но рассказ производил такое сильное впечатление, что – махнула рукою: да будет ему триумф! Что считать пятна на солнце! Таким образом, мрачная мощь исповеди проститутки в “Христианах” заставила забыть и извинить, что длинная и подробная исповедь эта ни пред каким судом не могла быть произнесена; что суд не в состоянии был, да и права не имел ее слушать; что председательствующие российские богословствовать и философствовать не позволяют; что – чуть не до холодного пота теряться пред отказом свидетельницы от присяги не с чего: дело формальное и легко оформляемое, – разве что, при цепком адвокате, лишний повод к кассации, – так это уже сенат разбирай!» (*Амфитеатров А.В. Талант во тьме // Амфитеатров А.В. Против течения. СПб., 1908. С. 198–199.*)

Возведя этот тезис к обобщению, Амфитеатров утверждает: «Это – писатель условных предложений, живущий в сослагательном наклонении. Спешные плоды субъективных гипотез и условностей он с нервной торопливостью подает ждущей, на лету хватающей талантливое слово, публике. В “Христианах” воображению Андреева удалось победить враждебные протесты действительности и захватить нас эффектами психологической условности, к тому же, всегда, мастерски маскированной натуралистическими штришками и словечками» (Там же. С. 199).

Л.Н. Толстой познакомился с рассказом в октябре 1909 г., скорее всего перечитывая произведения Андреева в ожидании его предполагаемого приезда (встреча состоялась только в апреле 1910 г.) (*Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 57. С. 151*). 19 октября, согласно записи Д.В. Маковицкого, Толстой отметил, что рассказ “очень хороший, это – сатира на quasi-христанство” (Там же. С. 372). Согласно записям С.А. Толстой, 29 октября в Ясной Поляне читали вслух рассказ “Христиане” (Там же. С. 287). Писатель С.Т. Семенов вспоминал: «Когда я рассказывал об одном судебном деле, Лев Николаевич вспомнил прекрасно описанный суд у Леонида Андреева в его рассказе “Христиане”. Превосходно! – воскликнул Лев Николаевич» (Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1960. Т. 1. С. 406).

В.Л. Львов-Рогачевский отмечал, что рассказ написан “с редкой, – я бы сказал толстовской – простотой и силой” (*Львов-Рогачевский 1914. С. 68*).

В 1987 г. на киностудии “Эдельвейс” по рассказу был поставлен фильм “Христиане”. Режиссер Дмитрий Золотухин, сценарий Павла Лунгина, в главной роли – Любовь Полищук.

При жизни автора рассказ переведен на болгарский (1906), немецкий (1906), чешский (1906), эстонский (1906), хорватский (1906, 1907, 1910), польский (1907 – 2 раза), сербский (1908, 1913, 1918), итальянский (1910, 1918, 1919), идиш (1912), французский (1913), японский (1914) и испанский (1919).

## ГУБЕРНАТОР

(С. 117)

Источники текста:

*ЧН1* – черновой набросок ранней редакции начала повести (фрагменты):

*А.* Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 10. 6 л.;

*Б.* Хранится: РАЛ. MS.606/С.5. 1 л.;

*В.* Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 10. 1 л.

*ЧА* – черновой автограф. 15–23 августа 1905 г. Под заглавием: “Осужден”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. 44 л.

*ЧН2* – черновой набросок (фрагмент гл. 1). Хранится: Там же. 4 л.

*РКАП* – рукописная копия (рукой А.М. Андреевой) с авторской правкой глав 1–4. Под заглавием: “Бог отмщений”. Хранится: Там же. Folder 6. 38 л.

*Шт* – Губернатор (*Der Gouverneur*). Stuttgart: Verlag von J.H.W. Dietz Nachfolger, 1906. 72 с.

*Правда* (журнал). М., 1906. Кн. 3. С. 1–58.

*Зн.* Т. 4. С. 25–94.

*Пр.* Т. 5. С. 171–255.

*ПССМ.* Т. 2. С. 22–71.

Впервые: *Шт*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

*Гл. 4, стк. 146:* странная убедительность – *вместо:* страшная убедительность (*по всем источникам*)

*Гл. 5, стк. 115:* задевая бутылку – *вместо:* задевая бутылки (*по всем источникам*)

*Гл. 6, стк. 11:* губернаторского жилища – *вместо:* губернского жилища (*по Шт, Правда, Зн*)

*Гл. 6, стк. 34:* а на самом деле ничего этого нет. – *вместо:* и на самом деле ничего этого нет (*по всем источникам*)

В самых ранних набросках начала повести (*ЧН1*), сюжетно совпадающих с аналогичными эпизодами позднейших версий, губернатор имел титул графа, коим нередко и именовался. Полицеймейстер Судак здесь обозначается как полковник.

Сохранившаяся ранняя редакция повести (*ЧА*), работа над которой продолжалась с 15 по 23 августа 1905 г., озаглавлена “Осужден”. Внешняя ее фабула в целом близка к *ОТ*, однако по объему редакция почти в два раза меньше его. При совершенствовании повести Андреев развивает эпизоды (в основном диалоги и размышления главного героя), относящиеся к эволюции сознания губернатора, постепенно постигающего неотвратимость собственной смерти. В редакции четыре главы (а не восемь, как в *ОТ*).

Короткий разговор губернатора с сыном в гл. 2 *ЧА* (л. 12–13) в *ОТ* существенно развит и превращен в систему диалогов, ставшую одним

из смысловых контрапунктов повести (*ОТ*. Гл. 3, стк. 49–206). Отсутствует в *ЧА* большой фрагмент, содержащий размышления героя о своей виновности (Гл. 4, стк. 20–88), дополненный подробным описанием (как воспоминание) расстрела (Гл. 4, стк. 178–200). С другой стороны, в *ОТ* нет его разговора с Судаком во время возвращения с дачи (*ЧА*. Л. 21). Фрагмент, повествующий о толках в городе о неизбежности убийства губернатора занимает в *ЧА* всего три с половиной листа (Л. 22–25), в *ОТ* же он распространен до целой главы (Гл. 5), здесь в него включены известный пассаж о древнем “грозном законе, за смерть платящем смертью”, важный фрагмент о женщинах Канатной как “самых умолимых и беспощадных судьях” и многое другое. По-иному решена в *ЧА* тема переживаний близких губернатора. В *ЧА* присутствует эпизод (не вошедший в *ОТ*), повествующий об общем решении семьи уехать за границу, якобы из-за необходимости лечения жены героя (Л. 27–28). Зато в ранней редакции еще в зачаточном (по сравнению с *ОТ*; см. гл. 6, стк. 49–249) виде дано описание чтения губернатором писем с угрозами (*ЧА*. Л. 28–32). Важнейший из не вошедших в *ОТ* микросюжетов *ЧА* – это воспоминание героя о солдате, осужденном им когда-то на смертную казнь, и связанный с ним кошмарный сон, в котором губернатор просит милости у людей и прощения – у этого солдата (Л. 34, 41–42).

Последующая работа над повестью отражена в небольшом фрагменте-автографе (*ЧН2*; ср.: *ОТ*. Гл. 1, стк. 42–203) и рукописной копии первых ее четырех глав, сделанной женой писателя А.М. Андреевой (*РКАП*; см. “Варианты”). О связи разных редакций с реальными событиями и лицами, используемыми в сюжете, см. ниже.

Принято считать, что поводом для написания рассказа “Губернатор” послужили события Первой русской революции: прежде всего, убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (см.: *Наумова А.И.* Примечания // Андреев Л. Повести и рассказы. М., 1957. С. 514; *Михайловский Б.М.* Избранные статьи. М., 1969. С. 364; *Кулова Т.К.* Творческие искания Леонида Андреева // Критический реализм XX века и модернизм. М., 1967. С. 267–268) и расстрел народной демонстрации 9 января (на оба эти события как основу произведения указывают Л.А. Иезуитова и В.Н. Чуваков (*Иезуитова 1976*. С. 207; *Чуваков В.Н.* Примечания // Андреев Л.Н. Повести и рассказы: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 682); см. также: *Келдыш В.А.* Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 230; *ССХЛ*. Т. 2. С. 521).

Сам Андреев писал тогда Вересаеву: «Поводом к убийству великого князя послужило избивание на улицах Москвы демонстрантов 5 и 6 декабря – тогда же социал-революционеры “приговорили” его и Трепова к смерти, о чем оповестили всех прокламациями. И все, и сам С.А. ждали, и казнь совершилась» (*Вересаев 1985*. Т. 3. С. 393).

Однако ни место действия, ни обстоятельства убийства вел. кн. Сергея Александровича (4 февраля 1905 г. в центре Москвы, на Сенатской площади Кремля, он был разорван на куски бомбой, брошенной в его экипаж эсером-террористом Иваном Каляевым, который был схвачен

на месте), ни характеристика личности Сергея Александровича, даваемая его современниками (“В моральном отношении он обладал суровым и деспотическим характером; ум его был ограничен, образование скудно” (*Палеолог М.* Царская Россия во время Мировой войны / Пер. с франц. и предисл. М. Павловича. М.; Пг., 1923. С. 154)), не соответствуют образам андреевского рассказа. Описанная в нем ситуация и отдельные подробности позволяют предположить, что более вероятным событием, послужившим основой для замысла “Губернатора”, могло стать убийство уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича.

В дневнике французского посланника при русском дворе, уже ранее цитированном, Мориса Палеолога от 30 ноября 1915 г. отмечено: «Одна из нравственных черт, какую я повсюду наблюдаю у русских, это быстрая покорность судьбе и готовность склониться перед неудачей. Часто даже они не ждут, чтобы был произнесен приговор рока: для них достаточно его предвидеть, чтобы тотчас ему повиноваться, они подчиняются и приспособляются к нему, некоторым образом, заранее. (...) Этой врожденной наклонностью вдохновился писатель Андреев в рассказе, только что прочитанном мною и полном захватывающего реализма; называется он “Губернатор”».

Меня уверяют, что этот рассказ только литературная обработка действительного происшествия. 19<sup>28</sup> мая 1903 г. уфимский губернатор Богданович внезапно столкнулся в пустынной аллее общественного сада с тремя людьми, которые убили его выстрелами в упор. Он приобрел себе, среди своих подчиненных, репутацию человека доброго и справедливого. Но 23-го предшествующего марта ему пришлось усмирять волнения среди рабочих, и это усмирение вызвало до сотни жертв.

С этого трагического дня Богданович, преследуемый мрачными предчувствиями, подавленный скорбью, жил только одним покорным ожиданием, что его убьют» (*Палеолог М.* Указ. соч. С. 302–303). На это свидетельство впервые обратил внимание С.П. Ильев (*Ильев С.П.* Проза Леонида Андреева: (Проблематика рассказов “Губернатор” и “Так было”) // Русская литература XX века (дооктябрьский период). Тула, 1975. Сб. 7. С. 98).

Это убийство широко освещалось на страницах столичных и провинциальных газет. Так, “Уфимские ведомости” сообщили обстоятельства происшествия, воспроизведенные через несколько дней практически всеми столичными изданиями: “6 мая, в четвертом часу дня, губернатор Богданович гулял один в городском парке, где было много гуляющих, пойдя по боковой аллее, прилегающей к собору, он был встречен двумя или тремя злоумышленниками, точно не установлено, один, поклонившись, подал запечатанный пакет, остальные одновременно произвели ряд выстрелов в спину и грудь. Смерть наступила моментально, церковный сторож первый увидел злодеяние и бросился схватить преступника, но, испугавшись выстрелов, направленных в него, дал им возможность

<sup>28</sup> Палеолог указывает дату убийства (и прочие даты) по “европейскому”, григорианскому календарю, который в России был принят только в 1918 г.

скрыться, сбежавшимся народом бездыханное тело было перенесено в губернаторский дом, куда немедленно прибыли власти” (УВ. 1903. 11 мая (№ 64). С. 1).

Судебно-медицинским вскрытием было установлено, что стреляли в спину уже бездыханного тела. “Оказались простреленными: сердце двумя пулями, легкие – четырьмя, желудок и рука – двумя. (...) Убийцы обнаружены не были” (Там же).

“Уфимские ведомости” писали, что весь город оплакивал искренними слезами убитого Богдановича, “снискавшего за шестилетнее пребывание общую любовь за горячую отзывчивость ко всякому горю” (Там же).

Гроб с телом покойного губернатора был перевезен для захоронения в Петербург. Столичные газеты освещали хронику проезда траурного вагона. В частности отмечалось, что 14 мая на Николаевском вокзале в Москве была отслужена торжественная панихида в присутствии московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и массы публики, а 15 мая в С.-Петербурге траурный вагон встречали министр внутренних дел Плеве и министр юстиции Муравьев. Несмотря на то что похороны Богдановича совпали с торжествами по случаю 200-летия Петербурга, они прошли со всей официальной торжественностью, при выражении высочайшего соболезнования императора. Богданович был похоронен в семейном склепе на кладбище Новодевичьего монастыря.

Андреев, безусловно, знал о деле Богдановича, тем более что газета “Курьер”, с которой в это время он продолжал активно сотрудничать (в марте 1903 г. в двух номерах печатался его рассказ “Весенние обещания”), давала подробную хронику событий. Как писателя его могло заинтересовать не столько громкое убийство государственного деятеля само по себе, сколько сопровождавшие его психологические коллизии. Целый ряд мотивов, отмеченных в прессе, найдут впоследствии отражение в “Губернаторе”.

В большинстве газетных комментариев отмечались не только государственные заслуги покойного губернатора как энергичного и просвещенного государственного деятеля, “чьи широкие взгляды, строгая законность и мягкое доступное обращение упрочили за ним репутацию одного из лучших российских губернаторов” – что было бы традиционно, – но подчеркивались его исключительные человеческие качества. “Н.М. Богданович не был администратором-зверем, напротив, он был известен мягкостью характера и просвещенным либерализмом”, – писали “С.-Петербургские ведомости” (1903. 8 мая (№ 123). С. 2).

Убийство, демонстративно совершенное в день рождения императора Николая II, непосредственно после торжественного молебна, на котором присутствовал губернатор, явилось актом политической мести. «Какая цель этого подлого преступления, совершенного над человеком, снискавшим себе за шестилетнее управление уфимской губернией горячую любовь всего населения? Цель все та же: “запугать” общество и правительство и побудить последнее к уступчивости перед

требованиями революционной крамолы. Есть и другая цель: терроризировать губернские власти, дабы они, при вспышке каких-либо местных беспорядков, потворствовали им, вопреки своему долгу, и не принимали против них каких-либо разумных, энергических мер», – восклицал обозреватель официозных «Московских ведомостей» (1903. 8 мая (№ 125). С. 2).

«Уфимские ведомости», а вслед за ними и столичные газеты «Новое время», «Биржевые ведомости» и др. непосредственно увязывали убийство Богдановича с волнениями на горных заводах в Златоусте 12–13 марта 1903 г., которые он вынужден был усмирять. Ситуация и подробности этого события дают большие основания предполагать, что скорее оно, а не расстрел народного шествия к Зимнему дворцу, могло найти отражение в описании рабочей демонстрации, ставшей завязкой фабулы повести Андреева.

Как сообщали газеты, поводом для рабочих волнений стало введение администрацией златоустовского горного округа новых расчетных книжек. Тайные агитаторы, воспользовавшись этим, распространили слух, рассчитанный на невежественную толпу, что с «введением новых расчетных книжек отменяется освобождение горнозаводского населения от крепостной зависимости. Рабочие отказались принять новые книжки, затем забастовали, не подчинились требованиям вернуться на работу под угрозой увольнения» (*БВед.* 1903. 8 мая (№ 123). С. 2). Толпа в две тысячи человек осадила квартиры жандармского офицера и исправника, враждебно встретила приехавшего на место событий губернатора. Богданович мужественно объяснялся с толпой рабочих, принял от нее прошение и просил разойтись и начать утром работать. Но толпа не слушалась и ломилась к губернатору и вечером 12-го, и утром 13-го марта. Богданович вновь вышел к толпе и после просьб и увещаний предупредил о том, что он вынужден будет применить оружие. Толпа попыталась вломиться в дом горного управления, из нее раздались револьверные выстрелы, ранившие исправника и жандармского унтер-офицера. После трех установленных сигналов предупреждения войска прибегли к оружию. Выстрелов было три. После первого выстрела толпа легла на землю, но потом вскочила и стала снова грозить войскам. После второго залпа она начала отступать и лишь после третьего рассеялась. Всего пострадавших было 128: общее число убитых – 28, умерло от ран – 17, тяжело раненных – 41, легко – 19 и незначительно – 23.

14 марта, как сообщали газеты, «работы во всех цехах Златоустовского завода возобновились, и как правильный ход их, так и общий порядок в г. Златоусте более уже не нарушался» (*УВ.* 1903. 20 марта (№ 27 (64)). С. 1; перепечатка – *РВед.* 1903. 26 марта (№ 84). С. 1).

Златоустовские события стали причиной глубочайшей внутренней трагедии Богдановича. В некрологе, опубликованном в специальном выпуске «Уфимских ведомостей», говорилось: «Как опытный администратор, как человек, принявший на себя долг и свято его исполнявший, Николай Модестович был спокоен. Он отлично понимал, что бурное возбуждение полутемной толпы, разгоревшиеся страсти требовали

от него решительных мер. (...) Но, сознавая это, он страдал – как человек. Его мягкая душа болела за тех несчастных людей, кои явились невольной жертвой, мало сознавая, за что, собственно, они жертвуют собой, тяжесть обстановки резко запечатлелась в его отзывчивом сердце” (УВ. 1903. 13 мая (№ 65/101), доп. вып. С. 20).

«Рок преследовал этого мягкого и доброго человека, который, судя по рассказам, упал в обморок, потрясенный последствием залпа, данного войсками при усмирении златоустовских беспорядков, – писал автор “С.-Петербургских ведомостей”, – сам залп, если верить разноречивым слухам, был также отчасти последствием недоразумения: говорят, что Богданович, страдая глухотой, обнял за шею делегата от рабочих, желая приблизить его к своему уху, – рабочая толпа не поняла этого жеста и бросилась на губернатора с такими угрожающими намерениями, что залп после этого стал неизбежен» (СПбВед. 1903. 8 мая (№ 123). С. 2).

Из газетных сообщений Андреев, очевидно, почерпнул и несколько мотивов, которые стали важными сюжетобразующими моментами рассказа, например неоднократное упоминание о многочисленных письмах, содержащих угрозы и предупреждения о мести, усиливших тяжелое душевное состояние губернатора; характер поведения губернатора, который, отказавшись от всякой охраны, спокойно появлялся на улицах и в общественных местах города, считая позорным для себя скрываться от людей и от судьбы, наконец, тот элемент фатализма, который современники усматривали в судьбе и поведении Богдановича. Так, в своем прощальном слове уфимский вице-губернатор И.Л. Блок упомянул о том, что он, исполняя желания близких и сослуживцев, упрашивал губернатора принять меры к охране его личности, на что последний отвечал: “Чему быть, того не миновать; исполнитель долга и государственный деятель обязан быть на виду у всех и смотреть с вызовом в глаза смерти” (УВ. 1903. 14 мая (№ 66 /102), доп. вып.).

Наконец, “Московские ведомости” отметили характерную психологическую деталь: в день убийства губернатор особенно горячо и усердно молился во время торжественного молебна, а на правой руке покойного было замечено трехперстное сложение, как будто он хотел перекреститься перед смертью между выстрелами (МВед. 1903. 17 мая (№ 134). С. 2).

Первая редакция повести под названием “Осужден” была создана 15–23 августа 1905 г. на даче в Финляндии, где тогда жил Андреев (см. Ча). Осенью 1905 г. писатель вернулся в Москву и познакомил Горького, вероятно, с более поздней редакцией, имеющей заголовок “Бог отмщений” (см. РКАП – в “Вариантах”). На это указывает письмо Горького от 20–21 сентября К.П. Пятницкому: «(...) Андреев написал своего “Губернатора” – озаглавил “Бог отмщения”<sup>29</sup>. Вышло длинно, не очень

<sup>29</sup> Стоит отметить не только ошибку Горького (первая редакция называется на самом деле “Бог отмщений”), но и то, что, судя по этому письму, замысел Андреева был уже ранее знаком как Горькому, так и адресату под другим названием – “Губернатор”. Это подтверждается записью в рабочей тетради писателя,

сильно и вообще – не удалось, что он, к великому удовольствию моему, и сам понял. Печатать эту вещь не надо, как по первой – указанной – причине, так и по нецензурности, коя не искупается содержанием, – то есть рассказ плох, пока, и рисковать не стоит” (*ЛН72*. С. 421)<sup>30</sup>.

Сам Андреев также не был удовлетворен своей повестью. 17 октября 1905 г. он писал тому же Пятницкому: «“Губернатор” мой вышел плох. Оставил его на время или совсем» (*ЛН72*. С. 421). Осенью 1905 г. он опасался расправы, которую грозились учинить над ним и его семьей черносотенцы. Брат писателя, П.Н. Андреев вспоминал об этих днях: “Это были тревожные и мрачные дни и ночи в жизни его, когда каждую минуту он ждал беспощадной и бессмысленной расправы над собой, когда мщение, злоба и ненависть разлились по всему городу и давили людей, сердца” (*Андреев П.Н.* Воспоминания о Леониде Андрееве // *Литературная мысль*. Л., 1925. Кн. 3. С. 96–97). «(…) Жизнь в Москве для меня становится невозможной, – писал Л. Андреев в письме К.П. Пятницкому от 24 октября 1905 г. – И через участок, и другим путем (толпа, собирающаяся ночью у двери и выражающая желание “убить с[вол]очь” и т.п.) я получаю предостережения и уже два раза должен был перекочевывать с семьей на разные квартиры. В связи со всякими личными делами это делает положение скверным, утомительным: мешают работать и просто жить. Эти же скверные избиения на автора “Кр[асного] смеха” производят впечатление ужасное. Далее: не играя в революционном движении активной роли, я могу быть только пассивным зрителем, – а я вовсе не хочу видеть этих истерзанных тел и озверевших рож» (*Письма Пятницкому*. С. 169). В ноябре 1905 г. писатель вместе с сыном и женой, ожидающей ребенка, уезжает в Германию.

В Германии он вступает в переговоры с И.П. Ладыжниковым, заграничным комиссионером книгоиздательства товарищества “Знание”, намереваясь осуществить издание “Губернатора” за границей. 16 (29) декабря 1905 г. он писал Пятницкому: ““Губернатора” мне посоветовали закрепить. Аврамов (член редакционной комиссии берлинского издательства И. Ладыжникова. – *Сост.*) говорит, что немцам он понравится. Так и делаю – нужно только сперва исправить его» (*Письма Пятницкому*. С. 178).

Повесть была выпущена И.П. Ладыжниковым, вероятно, в январе 1906 г. В том же году (судя по рецензиям, в начале лета) вышло издание на немецком языке в переводе А. Шольца (*Der Gouverner: Novelle*. Stuttgart: Verlag von J.H.W. Dietz Nachfolger, 1906). На него был ряд откликов в немецких изданиях преимущественно аннотационного характера: *Adeit L.* *Der Gouverner*. Von Leonid Andrejew (...) Berlin 1906 (...) // *Die Zeit*. Wien, 1906. 15 Jul.; [*Б.н.*] Leonid Andreev. *Der Gouverner*. Berlin (J. Ladyschnikow Verlag) // *Breslauer Zeitung*. 1906. 6 Sept.; [*Б.н.*] Leonid Andreev. *Der Gouverner*. Verlag von J. Ladyschnikow. Berlin // *Berliner*

---

относящейся приблизительно к 1904–1905 гг., где среди списка замысленных произведений значится: “27) Губернатор” (*Мий2012*. С. 131).

<sup>30</sup> Письмо отсутствует в изд.: *Горький. Письма*.

Tageblatt. 1906. 14 Jul.; R. Leonid Andreev. Der Gouverner // Muenchener Neueste Nachrichten. 1906. 11 Aug.; G.F. Der Gouverner. Von Leonid Andreev // Bohemia. 1906. 3 Dec. (см.: *БиблиА2а*. С. 18).

В России “Губернатор” вышел в свет в феврале 1906 г. в третьем номере журнала “Правда”.

“Правда” – журнал искусства, литературы и общественной жизни, близкое к социал-демократическим кругам периодическое издание, – издавался с 1904 г. В.А. Кожевниковым. Вся недолгая история этого журнала (он был закрыт в феврале 1906 г.) была связана с противоборством с московским генерал-губернатором вел. кн. Сергеем Александровичем. Журнал постоянно подвергался цензурным преследованиям за свой “ярко либерально-оппозиционный характер”, его материалы – и беллетристика, и статьи – неоднократно признавались “неудобными к печати” (Красный архив. 1925. № 3. С. 167).

К сотрудничеству в “Правде” Л. Андреева привлек В. Вересаев. В одиннадцатом номере журнала за 1904 г. был напечатан рассказ “Призраки”. Андреев “Правду” не любил. В письме В.С. Миролюбову от сентября 1904 г. он назвал его «унылой “Правдой”» (*ЛАЗ*. С. 109). В письме М. Неведомскому от октября 1904 г. Андреев признавался: «Не люблю я эту “Правду” до чрезвычайности, бранил ее на всех перекрестках, божился на образ, что участвовать не буду – а в ноябре пойдет мой рассказ (“Призраки”. – *Сост.*). Думаю, что этим отношения наши и кончатся» (Искусство. 1925. № 2. С. 265).

Вновь обратиться к “Правде” Андреева заставили как очевидное нежелание М. Горького печатать “Губернатора” в “Знании” по причинам художественного и цензурного характера, так и определенные обязательства перед Кожевниковым. С ноября 1904 г. в журнале постоянно появлялся анонс следующего андреевского произведения – “Царь”. Публикация рассказа затягивалась, и с января 1905 г. анонсирование его было прекращено, а во втором номере редакция поместила извещение о том, что «непоявление до сих пор в “Правде” обещанных произведений Максима Горького и Леонида Андреева отчасти объясняется известными из газет событиями из личной жизни названных писателей». Эти “известные события” заключались в том, что М. Горький с 11 января по 14 февраля находился в Петропавловской крепости, куда он был заключен за составление противоправительственного воззвания “Ко всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств”, а Л. Андреев, предоставивший свою квартиру для проведения заседания ЦК РСДРП, 9 февраля 1905 г. был арестован вместе с девятью членами ЦК и заключен в Таганскую тюрьму, откуда был освобожден 25 февраля под залог в 10 тысяч рублей, внесенный за него С.Т. Морозовым (см. об этом: *Пухов Ю.С.* Л. Андреев и Скиталец в революции 1905–1907 годов // *Революция 1905 года и русская литература*. Л., 1956. С. 416–424; *Письма из Таганской тюрьмы: К столетию со дня рождения Леонида Андреева* / Вступ. ст. и коммент. Л.Н. Афонина // *Звезда*. 1971. № 8. С. 168–182).

С майского номера анонс “Царя” возобновился, но это произведение так и не было закончено Андреевым (см. рассказ “Из глубины веков” в наст. изд.). Вместо него в “Правде” печатается “Губернатор”. Повесть была признана нецензурной. Номер журнала был запрещен к свободной продаже и конфискован. Ссылаясь на это, Кожевников резко уменьшил авторский гонорар. «Объегорил меня на 300 руб. Кожевников: под тем предлогом, что “Губернатор” раньше был напечатан в Германии (Verlag’ом) и что книжка с рассказом по каким-то причинам конфискована, хотя все подписчики получили, – сделал скидочку в 300 р.» – жаловался Андреев Пятницкому в письме от 14 (27) апреля 1906 года (*Письма Пятницкому*. С. 178). Самоуправство редактора возмутило писателя и привело к окончательному разрыву их отношений. В письме А. Серафимовичу, посланном весной 1906 г., он сообщал: «Кожевников под предлогом, что “Губернатор” раньше вышел за границей, что книжки не поступили в розничную продажу, самовольно уменьшил мой гонорар на 300 р. Отказался у него работать. А денег нет» (Московский альманах. М.; Л., 1926. Кн. 1. С. 294); о том же Андреев писал своему брату Павлу (*Андреев Л.Н. Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым* / Публ. Л.Н. Ивановой и Л.Н. Кен // Рус. лит. 2003. № 1. С. 159).

После напечатания Андреев оставался не вполне довольным своим произведением. «Можешь ли ты понять, за что хвалят “Губернатора”? Я – нет», – писал он из швейцарского Глиона брату Павлу (Там же. С. 161).

Однако разночтения, которые имеются в изданиях “Знания”, “Просвещения” и Полного собрания сочинений, изданного А.Ф. Марксом, незначительны, носят характер стилистической правки и исправления большого количества опечаток, имевшихся в журнальном варианте.

Возвращаясь к вопросу о развитии замысла повести, прослеживаемом в рукописных материалах, необходимо данный выше общий текстологический комментарий дополнить наблюдениями над развитием конкретных мотивов и образов, как и отдельными наблюдениями, в том числе стилистическими, над эволюцией повествования.

Черновые автографы сохраняют явную связь с конкретным событием – убийством уфимского губернатора. Все они начинаются с изображения внешних фактов, в которых отчетливо выявляются реалии златоустовского бунта, зафиксированные в газетных сообщениях. Андреев упорно работает над описанием демонстрации и расстрела рабочих, неоднократно возвращаясь к этой сцене. В черновых отрывках писатель подробно разрабатывает образ взбунтовавшейся толпы, который подается преимущественно в отрицательных тонах, через субъективное восприятие главного героя: “женщины с детьми на руках, тощие и злые, как волчицы, потерявшие страх от голода”, которые “рвались к губернатору сквозь строй полицейских и солдат” (*ЧН1, Б*), рабочие – “недисциплинированные, грубые, беспорядочные, хронические алкоголики”, “лишенные чувства достоинства и чести”, “лишенные чувства

товарищества, какое есть даже у животных”, стоявшие “вечную угрозою всему городу” (ЧН2. Л. 3).

Постоянно меняется количество пострадавших. В ЧН1 указано: “всего убитых оказалось тридцать восемь человек и раненых – сто десять”, в ЧА убитых 67, в ЧН2 – 47; эта цифра сохраняется во всех последующих редакциях и почти совпадает с общим количеством (45) погибших, названным в газетах.

В ЧА в этом месте появляется еще один важный штрих: “из них – шестнадцать женщин и трое детей” (Л. 2), который породит в позднейших версиях повести тему “убийцы детей”, сделавшуюся одним из важнейших аргументов в осуждении и самоосуждении губернатора. Здесь же дано еще одно уточнение в описании убитых: “почему-то все трое были девочки”; в окончательном тексте этот штрих отзовется мотивом маленьких девочек-гимназисток, у которых “лица казались розовыми лепестками в шапочках”, и в образе гимназисточки, единственной, кто искренне сочувствует губернатору.

Меняется суть и способ характеристики персонажей. Это касается прежде всего образа главного героя. Черновые наброски содержат пространные авторские описания, в которых просматриваются черты реального прототипа (Н.М. Богдановича), отмеченные в прессе. Подчеркивалась человеческая доброта губернатора: “Он был мягкий и добрый человек, и уже давно обещал им все разобрать и устроить, но толпа требовала чего-то более определенного и ясного” (ЧН1, Б); его растерянность перед лицом толпы: “{...} он беспомощно озирался на лица своей свиты, но и там он видел только слепой страх, растерянность, жалкие попытки сохранить достоинство, кривые и фальшивые улыбки” (ЧН1, Б), объясняющая роковой взмах платком. Однако по мере работы над текстом писатель все более уходит от конкретики, его внимание переносится с внешнего события на внутреннее состояние героя и его духовную эволюцию; характеристики персонажа становятся более краткими и обьективированными.

В ранних набросках и первой редакции повести Андреев еще не нашел нервный узел противоречий, определивший трагедию главного героя, – противоречие между его человеческой сущностью и предназначенной для него социальной ролью. Поэтому в нем пока еще не акцентировано “губернаторское”. В ЧН1 (А) он не столько губернатор, сколько граф, в его внешности подчеркнут нарочитый аристократизм (“Он стоял красиво и прямо, двумя пальцами касаясь стола, в той изысканно-красивой и умышленно-властительной позе, в какой он был изображен на своем портрете в приемной зале”), который, впрочем, сразу же разоблачается повествователем: “непрочная красота старости куда-то исчезла, и казалось, что от этого человека идет дурной и тяжелый запах {...}” (ЧН1 (А). Л. 1). Даже в позднейшем фрагменте герой еще уверен в правильности своего поступка и не испытывает раскаяния: “Еще и еще раз допросил свою совесть, и добыл от нее без усилий успокоительный ответ, и поднял глаза, чтобы по-прежнему спокойно, бодро и весело взглянуть на мир {...}” (ЧН2. Л. 6).

Меняет Андреев и описание навестившего губернатора священнослужителя. Он настойчиво ищет имя (в *ЧА* он зовется Мафусаилом, в *ЧН2* он становится уже, как в *ОТ*, “преосвященным Мисаилом”) и “интегрирующую” деталь внешности, через которую Андреев выражает сущность образа, – это руки священника. В ранней редакции он разводит “пухлыми руками” (*ЧА*. Л. 3), в *ЧН2* они “сухие, как у мощей” (Л. 4), в окончательном варианте это прямолинейное сравнение заменено сложным, снижающим образ – “как гусиные лапы, руками”.

В ранней версии повести Андреев дает лишь сжатое метафорическое определение, кидающее мрачную тень на архиерея: тот говорит “со змеиной кротостью” (*ЧА*. Л. 3); в позднейшем отрывке этот образ распространяется: “Когда по траве скользит ядовитая змея, трава остается зеленою и даже следа не хранит на себе, а человеку, видевшему змею, кажется она особенною, точно живою, и страшною” (*ЧН2*. Л. 5), – он сопровождает развернутую негативную характеристику: “И отвратителен и жалок показался ему (губернатору. – *Сост.*) этот старик, лгавший перед своим Богом, трус и лицемер, всех других считавший такими же трусами и лицемерами”. В окончательном варианте делает характеристику краткой и сжатой: “И противен и жалок показался ему этот старик, бесцельно лгавший перед своим Богом” (*ОТ*. Гл. 1, стк. 168–169).

В процессе работы Андреев значительно увеличивает объем повествования. Четыре главы ранней редакции разрастаются до восьми. Писатель раздвигает каркас каждой главы ранней версии, материал которой точно образует две главы окончательного текста. Это происходит за счет введения новых фрагментов, принципиально меняющих концепцию произведения, значительно усиливается и аргументируется тема нравственного прозрения героя, приводящего его к духовному перерождению и, как следствие, к самоосуждению.

В ранней редакции поток событий сгущен, они следуют друг за другом. В окончательном тексте значительное место начинают занимать описания внутреннего состояния главного героя. Значительно расширена тема Канатной улицы, и вместе с нею в произведение входит социальный контекст. В ранней редакции Канатная улица присутствует на периферии текста. В первой главе она лишь упомянута, а глаз проезжающего по ней на дачу губернатора фиксирует случайные внешние детали. В позднейшей редакции эти детали, тщательно отобранные и дополненные, служат выявлению социальной темы жизни-тюрьмы – “На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме” (*ОТ*. Гл. 2, стк. 202–205). В гл. 5 *ОТ*, по сравнению с ранней редакцией, дана широкая панорама жизни Канатной (разговор двух пьяных рабочих о неизбежности смерти губернатора, описание тягостного труда и быта рабочих, особенно судьбы женщин с их вечным врагом – печкой, сумасшествие Насти Сазоновой). По контрасту с первой главой, изображающей демонстрацию глазами губернатора, те же события представлены в восприятии женщин. Тем самым повествование выводится за пределы субъективного

плана, появляется оценка событий народом, который выносит приговор губернатору.

Характерные изменения претерпевает тема писем, получаемых губернатором перед убийством. В ранней редакции цитируются три письма: первое, подписанное “мать”, говорит о неминуемом суде народа за убийство детей, второе – без подписи – эмоциональное проклятие, пророчествующее смерть убийце, третьим в этом перечне идет письмо гимназистки (ЧА. Л. 28–32). В *ОТ* (Гл. 6) меняются авторы писем, их содержание. Наряду с двумя письмами, полными стандартных обвинений, появляется большое и важное по смыслу письмо за подписью “рабочий”, в котором затрагиваются проблемы, особенно тревожившие в это время самого писателя: это проблема рабской психологии, сформированной веками негативного исторического опыта, вопрос о неизбежности, смысле и возможности оправдания индивидуального террора.

Письмо гимназистки, вынесенное в следующую главу, выделено как единственный голос сочувствия и понимания среди пустоты и “смертельного одиночества” губернатора. Но если глава 3 ранней редакции, включающая его, заканчивается умиротворяющей нотой: “Будь благословенно, милое дитя!” (ЧА. Л. 35), то концовка соответствующей ей в поздней редакции главы, где повествуется о письмах, выдержана в трагически-напряженном ключе (см.: *ОТ*. Гл. 6, стк. 194–249).

Второе направление, по которому происходит расширение текста первоначальной редакции, – включение фрагментов, поднимающих тему вины и возмездия на уровень обобщенно-философского осмысления. Поступок губернатора выводится за пределы только социального преступления и начинает рассматриваться как нарушение вечного закона бытия, изначально данного соотношения между человеком и природой, в соответствии с которым человеку не дано распоряжаться жизнями других людей. Так, в *ОТ* появляется и начинает последовательно развиваться тема Древнего Закона-Мстителя, которой в ранней редакции не было.

В четвертой главе у Петра Ильича возникают мысли о “каком-то суде, облеченном огромными и грозными полномочиями” (Стк. 65–72). В связи с этим значительно расширен разговор с рабочим Егором и изменена характеристика последнего. В ранней редакции это “глуповатый и честный мужик”, послушный слуга, уверяющий губернатора в невозможности покушения. В дальнейшем его образ абстрагируется, он превращается в непонятного, молчаливого представителя загадочной силы, несущей возмездие.

В ранней редакции внутреннее смятение губернатора определялось в первую очередь страхом, возникающим от ожидания дня собственной смерти. Впоследствии концепция произведения принципиально меняется. Не случайно в поздней редакции отсутствует тема, связанная с воспоминанием губернатора о молодом солдате, которого он когда-то осудил на смерть. В позднейшей версии перерождение губернатора наступало не в результате страха смерти, а как итог переоценки ценностей (подробнее см.: *Шишкина Л.И.* Эволюция замысла: К творческой

истории рассказа “Губернатор” // Шишкина Л.И. Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века. СПб., 2009. С. 94–112).

“Губернатор” был с интересом встречен читающей публикой, хотя реакция критики оказалась разнородной и порой противоречивой. В первых откликах повесть Л. Андреева рассматривалась в ряду произведений литературы, рожденных “бурными днями” революции. Рецензенты, практически единодушно отметив актуальность сюжета, как это часто случалось при оценке андреевского творчества, обратили внимание на разные аспекты произведения.

Н. Геккер в обзоре литературы за 1906 г., назвав произведения В. Вересаева, В. Короленко, М. Горького, А. Куприна, писал: “Но еще замечательнее выступление в 1906 г. самого талантливого, мы бы сказали, из всех молодых писателей (<...> самого видного представителя нашей школы художников-символистов г. Л. Андреева. Он решительно забросил свои прежние темы и остановился на потрясающих явлениях нашей общественной и политической жизни”. При этом, отмечает критик, к каждому из них, запечатленному в “Губернаторе”, “Так было”, “Савве”, “К звездам”, он подходит с такой глубиной понимания и участия, что “мы должны отдать ему дань нашей признательности и почтения” (*Геккер Н.* Наша литература в 1906 году // *ОН.* 1907. 1 янв. (№ 7120). С. 3).

А. Горнфельд в своем годовом литературном обзоре, будучи в целом солидарен с этой оценкой, вместе с тем отметил, что Андреев, заставив задуматься о разнообразии социальных явлений, все же “скорее назвал их, чем изобразил, и потому едва ли доставил кому-либо настоящее художественное удовлетворение”. Правда, для “Губернатора” и “Так было” критик сделал исключение: «Естественно прост и силен был его рассказ “Губернатор”, искусственно проста и рукой мастера сделана историческая фантазия “Так было”» (*Горнфельд А.* Русская литература в 1906 году // *Столичная почта.* 1907. 12 янв. (№ 87). С. 3).

Даже обычно беспощадная к творчеству Андреева З. Гиппиус назвала “Губернатора” “единственной недурной вещью” среди революционной литературы в целом и среди произведений Андреева, написанных в годы революции, испорченной только тем, что это “картинка революционного времени” (*Антон Крайний.* [*Гиппиус З.Н.*] Братская могила // *Весы.* 1907. № 7. С. 58).

Пожалуй, наиболее суровым был один из первых откликов – В. Крайнихфельда. Он относил “Губернатора” к разряду “публицистической беллетристики”, которая в настоящее время стала властителем дум. Андреев, поставив задачу разобраться в психологии палачей, хладнокровно истязавших и убивавших людей, по мнению критика, разрешил ее неубедительно, изображение душевного перелома главного героя неоригинально. “(<...> Несмотря на то что печень, да и вообще здоровье Петра Ильича находится в полном благополучии, он вдруг, совершенно неожиданно как для читателя, так и для самого себя перевоплощается в измученного болезнью Ивана Ильича. Не хватило красок для изображения губернаторской души на палитре г. Андреева, и он признал их у Льва Толстого”, – писал критик.

Отметив в рассказе места, достойные кисти Андреева, в первую очередь характеристику темных бесформенных настроений, овладевших городом и самим губернатором, Кранихфельд в целом счел рассказ неудачным – “рассказ страшно растянут и производит впечатление искусственности и публицистической преднамеренности”, а его публицистическую задачу – невыполненной: «Хотел ли автор пригрозить всем этим Нейдгартам, Курловым и даже самому Петру Николаевичу Дурново<sup>31</sup> альтернативой тех мучительных душевных переживаний, какие он навязал своему герою?

Или, может быть, наоборот, автор пытался своим рассказом пролить хоть каплю бальзама на возмущенную народную совесть, требовавшую и не получившую ни суда, ни возмездия! Но народ вправе был бы ответить: художник, твори в своих произведениях жизнь, но не твори суда, ибо “мне отмщение, аз воздам”» (*Кранихфельд В. Журнальные отголоски // МБ. 1906. № 4. Отд. 2. С. 71–72*).

Вскоре, однако, Кранихфельд смягчил свою оценку; в новой статье он назвал Андреева художником, как будто специально созданным для революции, в ее событиях проникающим “в самые сокровенные глубины человеческого духа”: “И если все наши художники так или иначе захвачены революционной стихией, если многие из них чувствуют себя *обязанными* сказать и свое слово по поводу разыгравшихся событий, то Леонид Андреев принадлежит к числу тех немногих, которые по самой природе своей не могут не откликнуться на призывный грохот революционной борьбы”. При этом среди произведений Андреева, имеющих прямое отношение к революции, он отвел особое место “Губернатору”: “Здесь художник пытался подойти к проблеме того жестокого мучительства, с каким приспешники реакции подавляют отдельные вспышки или даже симптомы революционного движения” (*Кранихфельд В. Литературные отклики // СМ. 1906. № 10. Отд. 2. С. 68*).

Неожиданную трактовку рассказа применительно к российской действительности предложил обозреватель “Народной газеты”. Он делал вывод, что губернатор, расстрелявший людей, действительно нарушил закон, но не таинственный, мистический закон, а конкретный закон общественного права. Губернатор – жертва современного строя, уродующего человека до такой степени, что в творимом им беззаконии он видит долг и заслугу перед родиной. “Все было бы понятно в этой истории, если бы человек, расстрелявший людей и потом убитый сам, был бы (...) безжалостным, жестоким человеком. (...) Власть опьяняет и сознание своего всемогущества и безнаказанности и мешает отличить дозволенное от недозволенного”, – считает автор, выражая надежду, что скоро утвердится “правовой строй”, который “сметет правление самодержцев” (*С.Б. Губернатор // Народная газета. 1906. 25 апр. (№ 96). С. 2–3*).

---

<sup>31</sup> Перечислены государственные чиновники – сторонники жесточайших методов подавления в годы первой русской революции; соответственно: градоначальник Одессы, минский губернатор и министр внутренних дел.

Способность автора чутко реагировать на острейшие события современности оценивалась критикой неоднозначно. Раздавались упреки в публицистичности и стремлении соответствовать “злобе дня” (*Пильский П.М.* Критические письма: Революция и беллетристика // Свобода и жизнь. 1906. 9 окт. (№ 6). С. 2). К.И. Чуковский обвинил писателя в банальном репортерстве и окрестил “Губернатора” модной сезонной трагедией, изготовленной “к дате” (*Чуковский К.И.* Леонид Андреев большой и маленький. СПб., 1908. С. 40). Вместе с тем поднятые Андреевым “больные” проблемы, в первую очередь вопрос о правомочности и оправданности террора, вызывали неподдельный интерес. М. Неведомский утверждал: «Темой “Губернатора” является “террор”, террор вообще, и “белый”, и “красный”, как принято говорить на газетном жаргоне; и притом последний трактуется не как проявление единичных героических личностей, а как реакция на первый – в психике массы, исполнителями велений которой лишь являются единицы» (*Неведомский М. [Миклашевский М.П.]* Художественная жизнь: (Кое-какие итоги последнему году) // *СМ.* 1906. № 12. Отд. 2. С. 64). Для критика несомненно, что Андреев «прекрасно, захватывающе ярко и глубоко разработал проблему о терроре, при свете своего “ибсенианского” культа человека; что он заглянул при этом свете в совсем еще неведомые тайники человеческого духа и дал правдивую картину трагической работы этого духа, в его реагировании на явления политического террора, в его непримиримой жажде восстановить поруганный образ человека» (Там же. С. 66).

М. Неведомский как бы предвосхитил последовавшие позже неоднозначные и противоречивые оценки, которые вызывала андреевская трактовка темы террора в “Губернаторе” и в других произведениях писателя. Так, например, Ю. Александрович заявлял, что Андреев, “уподобляясь Пуришкевичам”, тенденциозно отрицает террор слева, оправдывая при этом террор справа. “Губернатор”, по мнению критика, – первый шаг, обозначивший “политическое поправление” писателя, которое позже нашло яркое выражение в “Тьме”. «Рассказ Л. Андреева “Губернатор” (...) появился в дни революции и шел совершенно вразрез с существовавшими политическими тенденциями русского общества, – писал Ю. Александрович. – (...) В момент наивысшей конкретизации русской общественно-политической мысли Андреев выступил во имя абстрактного “человека”, которого он видел в жандарме, в губернаторе, и во французском короле (в рассказе “Так было”. – *Сост.*), но не увидел, как оказалось позднее по рассказу “Тьма” – в революционере» (*Александрович Ю. [Потеряхин А.П.]* После Чехова: Очерк молодой литературы последнего десятилетия. 1898–1908. М., 1908. С. 184). Утверждая, что все творчество Андреева – это систематическое развенчание революционера и увенчание мученическим венцом представителя власти, критик выносил суровый приговор: «В рассказе “Губернатор” действующее лицо совершенно не отвечает действительности, оно выдуманно от начала до конца и наивно, по-детски идеализировано. Весь рассказ лишен чувства меры, он смело перешагивает пределы художественно-реальной правды и тенденциозен» (Там же. С. 185).

Противоположную точку зрения высказал В. Вартамян. Он считал, что, “систематически осуждая террор, Андреев тем не менее поет гимны революционеру”, а письмо рабочего в “Губернаторе” – “свидетельство пробуждения народа, сознавшего свое право” (*Вартамян В. Л.Н. Толстой и Леонид Андреев как идеологи трудящихся классов. Баку, 1909. С. 31*).

Часть критиков отмечала, что произведение Андреева интересно не публицистическим изображением конкретного факта, а именно художественным осмыслением его. А.А. Измайлов писал: «Из всего необъятного множества рассказов, пристроившихся к минуте, можно отметить как выдающийся и подлинно художественный, может быть единственно, рассказ Андреева “Губернатор”, передающий психологию администратора, имевшего несчастье скомандовать расстрел рабочих и влекущего дни под жутким воспоминанием непоправимой ошибки и ужасным гнетом мысли о стерегущей его Немезиде. С интересом и захватом вы следите переживания этого человека, по существу не злого, не жестокого, но воспитавшегося в беспринципной, антигражданской школе русского деспотизма, – вплоть до той минуты, когда мщение действительно совершается и губернатор падает под пулями своих идейных врагов» (*Измайлов А. Литературные беседы // РС. 1906. 24 авг. (№ 210). С. 2*).

М.П. Неведомский полагал, что “Губернатор” отличается сложностью нравственно-психологической проблематики – изображением противоречия между “человеком вообще” и личностью, облеченной в губернаторский мундир и в силу этого становящейся убийцей, и называл “великолепными”, “прямо гениальными” «места, где рисуются первые, громадных усилий стоящие попытки сознания освободиться от “мундира”, стать сознанием “просто человеческим”» (*Неведомский М. [Миклашевский М.П.] Художественная жизнь: (Кое-какие итоги последнему году). С. 64*). Считая ошибочными выискивание В. Кранихфельдом “публицистических тенденций” и псевдо-“реалистической” достоверности, он увидел в повести Андреева воплощение внутренней, этико-философской правды: «Что это не реалистично, что губернаторы, обыкновенно, так себя не ведут – не бродят без охраны по рабочим кварталам, да еще после усмирений, – что вообще андреевский “Губернатор” есть миф, а не русская действительность, – с этим я готов охотно согласиться. (...) Скажут: нет среды, нет ее психологии. Во-первых, и она есть в двух-трех ярких намеках (...). А главное, (...) среды, быта в настоящем смысле этого слова, а стало быть, и реализма – тут нет, как тем более нет и “публицистических тенденций”... А вот внутренней, художественной и этико-философской правды – этого всегда можно искать в Андрееве, с верным расчетом на успешные поиски» (Там же. С. 66).

Сочетание “жгучих тем кровавой современности” и общепсихологического анализа оценил в “Губернаторе” и Ю. Айхенвальд, признавая, правда, что “психология Андреева более изысканна и тонка, чем убедительна. Она не захватывает читателя неоспоримой властью, ей можно и должно противиться. Красивые узоры человеческих переживаний, необычные сплетения чувств и мыслей, комбинации причудливых

штрихов вызывают к себе художественный интерес. Но они слишком красивы и эффектны для того, чтобы все это могло потрясти душу глубоким впечатлением простоты и естественности. Не возникает истинного сродства между героем и читателем: последний только любит, но не любит, ценит искусство мастера, но не перестает видеть, что здесь именно искусство и мастерство, так что в его сердце из рассказа не переливается жизнь. И экзотический рассказ остается необязательным” (Айхенвальд Ю. Журнальное обозрение // *РМ*. 1906. № 4. Отд. 2. С. 211). Для Айхенвальда героем рассказа был не столько губернатор, сколько мистический Закон-Мститель, и задачу автора он видел в том, чтобы показать роковую связь внутренних потрясений с ходом внешних событий, “когда преступник, казнив самого себя внутренней казнью, в этот самый момент, силой неизбежного соответствия, на перекрестке улицы столкнулся со своими внешними судьями” (Там же. С. 215). Считая, что Андреев недостаточно отчетливо изобразил психическую эволюцию своего героя, нарастающую потребность в наказании, Айхенвальд, впрочем, замечает, что “эта психологическая и эстетическая проблема во всем своем объеме была бы под силу только титанам литературы”, и читатели “должны быть признательны г. Андрееву уже за то, что он ее верно поставил и искусно наметил” (Там же. С. 216).

Обстоятельный разбор повести сделал А.В. Луначарский. Критик-марксист считал, что русская революция дает художнику богатейший материал для социально-психологического исследования явлений общественной жизни, прежде всего тех основ социального бытия, “которые определяют собою сознание групп, а в конечном счете – и индивидуальностей” (Луначарский А.В. Заметки философа: Социальная психология и социальная мистика // *Обр*. 1906. № 5. Отд. 2. С. 63).

Признавая “Губернатора”, бесспорно, наиболее значимым произведением последнего времени, Луначарский не принял авторской концепции и определил его как “яркий образчик подмены социальной психологии социальной мистикой”, под которой он понимал зависимость индивидуальности от всеобщего, но не от общественного. “Весь эпизод из мира нашей революции оказывается простым применением мистического, необъяснимого, в природе вещей заложенного закона” (Там же. С. 71). По характеристике Луначарского, действие этого закона подобно “страшной загадке”, он похож на “чародейство”: “С большим талантом и на разные лады старается автор описать могущество закона и уверить читателей, что разумная воля людей и всякому понятные чувства – тут ни при чем, все дело в велениях древнего седого закона” (Там же. С. 72). “Только он и действует с тех пор, как махнул белым платочком губернатор, только он и действует, остальные – марионетки в его руках” (Там же. С. 71).

Луначарскому в рассказе Андреева недостает психологической и социальной мотивации “самоказни” губернатора. По его мнению, Андреев намеренно устраняет из числа мотивов как раскаяние губернатора, так и чувство социальной мести народа. За исключением одной страницы, которую критик считает достойной всяких похвал именно потому, что

поведение женщин Канатной объясняется «не лживой метафизикой» и не мнимым трагизмом «тайных сил», а реальным врагом – печкой, которую критик считает «в миллион раз страшнее “седого закона”». В целом же изображение Канатной не удовлетворяет его: «мы видим (...) какое-то одержимое “чернокрылым темным” инстинктом стадо!» «Как формулируется жажда мести, как выдвигаются мстители? Ведь все это интереснейшие вопросы. Тут-то и разгуляются даровитому проницательному социальному психологу, тут-то и показать, как “настроение” класса находит своих “героев”. Ничего этого нет у Андреева. Та же стадная (...) безотчетная уверенность в неизбежности казни» (Там же. С. 72).

Проанализировав произведение с позиций реалистического психологизма (в его понимании) и марксистского детерминизма, Луначарский приходит к выводу, что мистическая “самоказнь” андреевского губернатора во исполнение приговора вечного закона есть чистейшая выдумка: «Живых красок нет, жизни нет, есть талантливая выдумка. И все потому, что нет понимания массового чувства. Вместо массового чувства дается мистика, безличное “нечто”, “чародейство”, покоряющее все и всех. Какое социально-психологическое значение имеет эта даровитая фантазия? Она талантлива, но что же из этого?» (Там же. С. 76).

Т. Ганжулевич в своей монографии опровергла многие упреки критиков, отметив, что правдивость и верность действительности – эти элементарные требования, предъявляемые к художественному произведению эстетикой доброго старого времени, – не применимы к Андрееву, ибо “он сам создает действительность”. “Он не фотографирует ее деталей, (...) а сохраняет только верность духу им же созданной действительности...” (Ганжулевич Т. Русская жизнь и ее течения в творчестве Леонида Андреева. СПб., 1908. С. 18). “Читая произведения Л. Андреева, даже и без знания хода исторических событий можно смело сказать, что это литература революционной эпохи, ее порождение”, ибо, по мысли критика, в ней выражено человеческое сознание, требующее переустройства жизни, пытающееся сбросить оковы рабства, унижающего разум: “Это революция, конечно, не народная, а человеческая, революция за освобождение разума и за устройство жизни на его началах. (...) Здесь встречаемся с обычным у Леонида Андреева стремлением вдохнуть вечность в быстро-текущий момент, связав его с историей человеческих переживаний” (Там же. С. 87).

Концептуальную трактовку повести дал в своей книге К. Арабажин. Он также склонялся к мысли, что Андреев стал выразителем общей атмосферы и умонастроений своего времени, отмечая, что “Губернатор” написан под влиянием “гапоновской и последующих за ней историй”. При этом он особо подчеркнул заслугу Андреева в том, что тот “очень тонко и вдумчиво объясняет происхождение и психологические мотивы террора”. “В этой атмосфере напряженного ожидания, пропитанной неуловимыми флюидами коллективной совести и воли, должно было родиться террористическое деяние. И ответственным за него являлось, конечно, не одно лицо, его совершившее, а коллективная совесть целого города” (Арабажин 1910. С. 100, 103). Высоко оценив произведение,

Арабажин, в отличие от Луначарского, полагал, что “Губернатор” представляет собой принципиально новую для писателя и литературы того времени попытку выяснения коллективной психологии: “Нигде еще в художественном произведении не была выяснена так ярко и так мастерски связь личности, личной воли с коллективной и его коллективной волей. Андреев установил эту связь с удивительной художественной и психологической чуткостью” (Там же. С. 103). Все это, наряду с умением писателя воссоздать душевные переживания губернатора в ожидании неизбежной смерти, по мнению критика, дает возможность отнести “Губернатора” к числу шедевров мировой литературы.

Рассмотрение “Губернатора” в монографиях об Андрееве в контексте творчества писателя позволило увидеть в произведении ряд лейтмотивных для Андреева тем. Так, М. Рейснер указал на воплощение в нем типично андреевской темы рока, который в ранних произведениях приобретал различные формы: «И точно так же преследует рок губернатора, расстрелявшего при усмирении сорок семь человек; но тут образ древнего закона принимает безжалостный фатум. (...) Это и есть “оно” – огромное, властное, всепроникающее, всепобеждающее чувство, в силе своей (...) подобное смерти» (*Рейснер 1909*. С. 34).

К.И. Чуковский назвал повесть одним из наиболее характерных андреевских произведений и на ее материале построил рассуждения об антиномичности таланта писателя, соединявшего в себе плакатного уличного художника, умеющего любую отвлеченную философскую мысль превратить в “эксцентричный, парадоксальный, эффектно-афишный образ” (*Чуковский К. О Леониде Андрееве*. СПб., 1911. С. 13), и “элегического и нежного живописца человеческих душ”, каким он предстает в таких “бесшумных” творениях, как “Губернатор”, “Иуда”, “В тумане”, “Вор”, выразивших сочувствие к человеку.

В “Губернаторе” К. Чуковский увидел выражение центральной, по его мнению, андреевской проблемы – противоречия внешней социальной оболочки “из тела, платья и жизни”, в которую, как в скорлупу, заключен человек, и его глубоко скрытой внутренней сущности. По мысли критика, Андреев срывает социальную маску и обнаруживает святое и незащитное человеческое “я”, скрытое не только за привычками, но и за словами: «Мы до Андреева и не знали, что “самые звуки могут носить такие отвратительные маски” – это он указал нам впервые, что когда генерал говорит: “Вы о чем же, сударь, думаете? Ведь я же показывал Вам буб-ны”. В этих самых словах мы должны услышать: Пожалейте меня!» (Там же. С. 52).

Простоту и задушевность, внимание к человеку оценил в “Губернаторе” А. Амфитеатров. Не принимая “сочиненности” и нарочитости многих произведений Андреева, который, по убеждению критика, свой “хороший реалистический талант” забил в себе “дансами макабрами”, сочиняя “фаустов” для малограмотных, он особо выделил в его творчестве “Губернатора”, считая, что последний, как и “Большой шлем” и “Христиане”, будет жить долго (*Амфитеатров А. Разговоры по душе*. М., 1909. С. 96).

Проблематика андреевского произведения вызвала живой отклик в литературе его времени. Непосредственно под воздействием “Губернатора” был написан рассказ Н. Телешова “Надзиратель”, опубликованный в девятом сборнике “Знание” за 1906 г. Андреевская тема – внезапное пробуждение сознания “слуги закона”, использование сходных сюжетных мотивов (взмах белого платка – взмах обнаженной шашки), – однако, освобождена в нем от философской нагрузки (см.: *Шишкина Л.И.* “Социальная психология” Леонида Андреева: “Губернатор” // *Стиль и время: Развитие реалистического повествования.* Сыктывкар, 1985. С. 96). Более опосредованно мотивы андреевского рассказа звучат в социально-бытовой повести И. Сургучева “Губернатор”, появившейся в 1912 г. В ней автор поставил своего героя, узнающего о неизбежной смерти, в сходную ситуацию, когда он переоценивает свою жизнь и видит зло, которое он творил как государственное лицо и как частный человек (см.: *Аутлева З.А.* Два губернатора: (“Губернатор” Л.Н. Андреева и “Губернатор” И. Сургучева) // *Русская литература XX века: Советская литература.* М., 1976. С. 16–34; *Шишкина Л.И.* Два губернатора: И. Сургучев и Л. Андреев // *VI Сургучевские чтения: Культура Юга России – пространство без границ.* Ставрополь: Изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2009. С. 90–93).

В 1928 г. по рассказу “Губернатор” на студии “Межрабпром-фильм” режиссером Я. Протазановым был снят фильм “Белый орел” (авторы сценария О. Леонидов, Я. Уринов и Я. Протазанов). Режиссер рассматривал свою картину как социально-психологический этюд, в центре которого – противопоставление субъективно привлекательной личности и ее исторической функции, что было подчеркнуто выбором в качестве исполнителя главной роли В.И. Качалова с его громадным человеческим обаянием (это была единственная роль Качалова в кино, привлекавшая его психологической сложностью). При этом режиссер совершенно игнорировал общефилософскую проблематику андреевского произведения, вместо нее усилив, в соответствии с требованиями новой эпохи, социальный конфликт. Для этого была введена тема императорского чиновного Петербурга, откуда поступал приказ о расправе с рабочими, введен однозначно отрицательный персонаж – сенатор в ярко-гротескном исполнении В. Мейерхольда. Название фильма связано с введенной в него сюжетной ситуацией: за расстрел рабочих губернатор представлен к ордену Белого орла. Этот орден, имевший девиз: “За веру, царя и закон” (причислен к числу российских императорских орденов в 1831 г.), имел очень высокий статус и был четвертым по значимости русским орденом, которым награждались сановники высокого ранга (*Шенелев Л.Е.* Титулы, мундиры и ордена в Российской империи. СПб.: Наука, 2004. С. 362–363).

Игнорируя андреевскую психологическую проблему душевного перерождения и самоосуждения, фильм демонстрировал, что губернатора убивает тот самый режим, верным слугой которого он является (он погибает от пули провокатора). Режиссер усилил социально-обличительное начало, сосредоточив внимание на теме обреченности всего государственного устройства. «В “Белом орле” я совершенно сознательно беру наилучшего возможного представителя царской власти (своего рода “белую ворону”), чтобы на его примере показать, что даже такой

представитель отмирающего режима не мог не быть злейшим врагом рабочего класса», – объяснял свой замысел Протазанов (*Арлазоров М. Протазанов. М., 1973. С. 193*). В соответствии с режиссерской трактовкой и Качалов стремился показать, по его словам, «как самые сознательные, самые “человечные” представители старого режима мало-помалу поняли обреченность этого режима» (Там же. С. 192). В фильме губернатор, обращаясь к портретам царей, произносит: “Наше дело кончено, господа!”

Но даже эта весьма социологизированная трактовка, выхолащивающая нравственно-философскую проблематику повести Андреева, не была принята советской критикой, посчитавшей, что в фильме непропорционально большое место было уделено этическим и психологическим переживаниям губернатора и это ослабило остроту социальных обобщений. Рецензент “Правды”, отмечая, что сценарий Я. Протазанова и О. Леонидова тщетно пытается преодолеть специфику андреевского текста, писал: «Личная драма все равно остается психологически замкнутой и нигде не перерастает в драму общественную, столкновение классов, обреченность старого режима – эти задания сценаристов так и остались заданиями. (...) Как мировой боевик, как революционная драма и даже просто как драма реалистическая “Белый орел” не удался. В борьбе кино с андреевским текстом победил Л. Андреев, и ясно видишь, какие мучения претерпели в этой борьбе и сценаристы, и режиссер, и актеры, и, вероятно, даже... Главрепертком» (*Волков Н. Качалов и Мейерхольд на экране // Правда. 1928. 18 окт. (№ 243 (4075)). С. 5*).

“Губернатор” привлекал деятелей культуры последующих поколений. В 1961 г. польский драматург Леон Кручковский по мотивам повести Андреева написал драму “Смерть губернатора”, в которой трактовал его сюжет как развертывание древнейших мифологических представлений о совести и справедливости (см.: *Сон Чжон Рак. Интуиция совести в повести Л.Н. Андреева “Губернатор” // От Ермолая-Еразма до Михаила Булгакова: Статьи о русской литературе. СПб., 1997. С. 122–123*).

В 1991 г. на Свердловской киностудии по повести был поставлен фильм “Губернатор” (режиссер В. Макеранец, в главной роли Б. Химичев). 23 декабря 2016 г. состоялась премьера инсценировки повести в Большом драматическом театре в Петербурге. Режиссер-постановщик Андрей Могучий, в роли Губернатора Дмитрий Воробьев.

При жизни Андреева “Губернатор” был переведен на немецкий (1906), нидерландский (1906), идиш (1906), английский (1907), польский (1907), итальянский (1907, 1910), хорватский (1907 – 2 раза, 1914), шведский (1908), французский (1908, 1909), румынский (1908, 1910, 1913), чешский (1912), сербский (1915), венгерский (1918 – 2 раза, 1919).

С. 125. *Стражник* – низший полицейский чин, подчиненный уряднику. Был учрежден в 1903 г. в связи с ростом стихийных выступлений крестьян и тем, что десятские и сотские утратили доверие начальства, так как часто присоединялись к восставшим крестьянам.

С. 127. *Треск лопающихся бураков...* – Бурак – вид паркового фейерверка, запускается с помощью мортиры.

С. 129. *Будь я немец, Август Карлович Шлиппе-Детмольд...* – Здесь: ироническая игра слов. Липпе-Детмольд – историческое государство (“земля”) на территории современной Германии, существовавшее с 1123 по 1918 г. Шлиппе Владимир (Рудольф Август-Вольдемар) Карлович (1834–1923) был тульским губернатором в 1893–1905 гг.

С. 130. *Вы новые, вы академики...* – Академик в данном случае употребляется в значении: “окончивший курс или учащийся в академии” (Словарь русского языка: В 4 т. М., 1985. Т. 1. С. 281). В начале XX в. в России было пять военных академий, из которых наибольшей славой пользовались три: Николаевская военная, более известная как Академия Генерального штаба, Михайловская артиллерийская и Николаевская инженерная. Поскольку в рассказе говорится о блестящей карьере, сделанной сыном Петра Ильича, скорее всего, он закончил наиболее престижную Академию Генерального штаба, образовательный ценз которой давал исключительные права и преимущества. В одной из газетных публикаций, в частности, характеризуются ее выпускники: “{...} ведь это маленькие боги, дошедшие до самообожания, вследствие своей самонадеянности и непогрешимости, такими их делает отчасти академия, а затем в дальнейшем – отсутствие ответственности и конкуренции” (Русь. 1905. 11 марта (№ 62). С. 2) – что соотносится с андреевским описанием сына Петра Ильича.

*...я верю в старый закон: кровь за кровь.* – Один из ветхозаветных принципов: “Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию” (Быт 9: 6).

С. 132. *...в пятнадцать десятин, парка...* – Десятина – старинная мера площади, равнялась 2400 кв. саженей, или почти 1,092 гектара.

С. 134. *Окрапленный* – от “окрапать” “делать крапины” (*Зелинский*. С. 345).

С. 137. *Загорожа* – изгородь, плетень (*СРНГ*. Вып. 10. С. 24).

С. 141. *Хлюст козырей* – в данном случае: полный набор козырей (на руках одного игрока) (карточный термин).

С. 149. *...по взглядам моим я против убийства, как против войны, так против смертной казни, политических убийств и вообще всяких убийств...; ...граждане должны пользоваться такими средствами, которые не противоречат этому идеалу.* – Возможно, что здесь и в других местах этого письма (например, в утверждении морального превосходства простого народа) нашли отражение толстовские взгляды, в частности размышления, выраженные в статье “Единое на потребу. О государственной власти”: “Деятели революции ясно выставили те идеалы равенства, свободы, братства, во имя которых они намерены перестроить общество. {...} Принципы эти, так же, как и вытекавшие из них меры, как были, так и остались и останутся истинными и до тех пор будут стоять как идеалы перед человечеством, пока не будут достигнуты. Но достигнуты эти идеалы никогда не могли быть насильем.

Противоречия, которые заключаются в мысли осуществления равенства, свободы, братства посредством насилия – от этого все ужасы террора. В ужасах этих виноваты не принципы, как думают многие

(принципы были и останутся истинными), а способ их осуществления (...). И теперь это противоречие проникает все современные попытки улучшения общественного строя” (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1936. Т. 36. С. 195; впервые напечатано в июле-августе 1905 г. в издательстве “Свободного слова”, № 99). Эти же слова Толстой повторил в статье “Великий грех”, опубликованной в июльском номере “Русской мысли” за 1905 г.

*Я и революцию, по моим взглядам, признаю только как пропаганду идей, в том смысле, в каком были христианские мученики ~ Побеждать нужно головой, а не руками...* – Революционному насилию Толстой противопоставлял духовную деятельность, которая “подтачивает те основы, на которых держатся существующие правительства, в тысячу раз сильнее и вернее, чем самые продолжительные стачки, чем миллионы распространенных социалистических брошюр, чем самые успешно организованные бунты или самые отчаянные политические убийства” (*Толстой Л.Н.* О революции // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 36. С. 152). В статье “Об общественном движении в России” (напечатана в лондонской газете “Таймс”, изложение ее помещено в “Русских ведомостях”. 1905. 2 марта (№ 58)) Л. Толстой заявил, что только “внутреннее религиозно-нравственное совершенствование отдельных лиц” было и остается единственным средством уничтожения зла на земле (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 36. С. 157). Эта статья стала предметом обсуждения в переписке Андреева и Горького. В письме от 10.11 марта 1905 г. Андреев замечает: “Ты написал открытку Толстому. В первую минуту мне это не понравилось, а потом подумал – и понравилось очень. Primo: в России и Европе ты единственный, могущий в вопросах морали и общественности противопоставить свой авторитет авторитету Толстого. Secundo: старик нагородил много неподходящего. Он не ханжа и не фарисей, но он упрям, как осел, как старый осел, и мысль его потеряла молодую гибкость” (*ЛН72. С. 258*). Толстовская идея о нецелесообразности “борьбы силою и вообще внешними проявлениями (а не одной духовной силою) ничтожной горсти людей с могущественным правительством” нашла отражение в рассуждениях “рабочего”.

С. 155. *...на нашем акте...* – Акт – торжественное собрание в учебных заведениях или научных учреждениях (чаще употребляется с прилагательным: торжественный акт).

С. 156. *...оказалась она адской машиной...* – Адская машина – снаряд, снабженный взрывателем, регулируемый часовым механизмом.

С. 160. *...похожий на консисторского чиновника.* – Консистория – в дореволюционной России – учреждение с административными и судебными функциями при епархиальном архиепископе.

## ТАК БЫЛО

(С. 163)

Источники текста:

*ЧН1* – черновой набросок. Под заглавием “Двадцатый”. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 170 об. Опул.: *МиИ2012*. С. 118–119.

*ЧА1* – черновой автограф. Ранняя (неоконченная) редакция рассказа. С подзаголовком: “Рассказ из эпохи французской революции”. Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 7. 22 л.

*ЧН2* – черновой набросок. Вариант главы VIII. Хранится: Там же. 3 л.

*ЧН3* – черновой набросок. Ранний вариант финала рассказа. 6 октября 1905 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. 2 л.

*ЧН4* – черновой набросок. Ранний вариант финала рассказа. 6 октября 1905 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. 3 л.

*ЧА2* – черновой автограф рассказа. С подзаголовком: “Очерк из эпохи французской революции”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: Там же. 42 л.

*Шт* – Андреев Л. Так было: Очерк из эпохи французской революции. (So war’s). Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachfolger, 1906 (март). 40 с. Факелы. СПб., 1906 (апрель). Кн. 1. С. 65–102.

*Зн*. Т. 4. С. 95–128.

*Пр*. Т. 5. С. 259–299.

*ПССМ*. Т. 4. С. 68–91.

Впервые: *Шт*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями (по всем источникам):

*Стк. 544*: необыкновенно живое сознание – *вместо*: необыкновенное живое сознание

*Стк. 574*: заливая площади, проезды – *вместо*: заливая площади, подъезды

История создания рассказа достаточно сложна. Ее можно проследить (в ряде случаев с некоторыми предположениями) по материалам сохранившихся рукописных источников.

Первое упоминание о рассказе встречается, вероятно, около 1905 г., когда Андреев кратко изложил для себя его замысел (см.: *ЧН1*). Тогда будущий рассказ фигурировал под заглавием “Двадцатый”. Данный замысел – составная часть цикла произведений под общим названием “Сказки [диавола] бессмертного”: “I. (...) Двадцатый. (...) II. Воскресение Лазаря. III. Две женщины на войне. IV. Иуда (...)”, что зафиксировано в рабочей тетради писателя (*МиИ2012*. С. 118). Другое условное наименование задуманной вещи – “Людовик”, оно дважды упоминается в перечне задуманных произведений в той же рабочей тетради:

“25) Сказки диавола: Людовик. Лазарь.

26) Так было (Людовик) напечатано 1905 г.” (*МиИ2012*. С. 131).

Непосредственно к работе над текстом Андреев приступил, видимо, во второй половине сентября 1905 г., когда была создана неоконченная первоначальная редакция произведения, имевшая подзаголовок “Рассказ из эпохи французской революции” (см.: *ЧА1*). Реконструкция данного текста представляет определенные трудности, поскольку автор, создавая основную редакцию, непосредственно использовал целый ряд листов *ЧА1* в составе рукописи *ЧА2*. Первый крупный фрагмент – это часть 2-й главы и 3-я глава. Далее следует зачеркнутый вариант 4-й главы (сцена заседания народного собрания). Второй крупный фрагмент – 4-я и 5-я главы. 6-я глава имеет две версии, одна из которых зачеркнута. В составе *ЧА1* восстановлена часть из перенесенного в *ЧА2* текста (фрагменты, позволяющие установить смысловую цельность редакции). Заключительная 8-я глава представлена двумя редакциями, и обе они, судя по всему, не окончены. Более завершенным можно считать тот текст этой главы, который приводится отдельно (см.: *ЧН2*).

Основная редакция (*ЧА2*) поначалу имела заглавие “Двадцатый”, которое затем было изменено на каноническое. Был несколько изменен и подзаголовок: “Очерк из эпохи французской революции”. Верхний слой текста *ЧА2* близок к основному. И в данной рукописи тоже отразилась кропотливая работа Л. Андреева над финалом. Об этом свидетельствует текст после фразы, соответствующей стк. 860 *ОТ* (“– Да здравствует Двадцать Первый!”), который не вошел в основную редакцию и которым писатель намеревался завершить рассказ; после него проставлены подпись и дата: “6 октября 1905 г.” Под другим вариантом окончания также проставлены подпись и та же дата. Обе ранние версии финала приводятся отдельно (см.: *ЧН3* и *ЧН4*).

При подготовке к публикации в сборнике “Факелы” Андреев решил отказаться от подзаголовка, видимо, потому, что не хотел тесно увязывать содержание рассказа конкретно с Великой французской революцией, стремясь придать ему обобщенно-философский смысл.

Закончив работу над произведением, Л. Андреев, вероятно, предварительно договорился о включении его в состав одного из томов своих “Рассказов” (*Зн*. Т. 4); это косвенно подтверждается письмом автора к К.П. Пятницкому от 16 декабря 1905 г., в котором он, в частности, уведомлял: «“Двадцатого” желательнее раньше напечатать в журнале или сборнике, а это страшно затянет дело...» (*Письма Пятницкому*. С. 172). В то же самое время Андреев вел активные переговоры с редактором альманаха “Факелы” Г.И. Чулковым. 1 января 1906 г. сообщал ему: «Рассказ “Так было”, как уже сказано, я отдаю Вам, но точно времени напечатания назначить не могу: необходимо, чтобы рассказ сперва вышел за границей» (*Письма Чулкову*. С. 16). В другом письме к нему же писатель объяснил, что “это необходимо для укрепления права; так делается со всеми рассказами Горького и моими” (Там же. С. 24). 4 февраля 1906 г. Л. Андреев выслал Чулкову рукопись рассказа, сообщив в сопроводительном письме: «Посылаю в трех частях “Так было”: бандероль и два заказных письма. Печатайте на здоровье» (Там же. С. 23).

Бандероль, однако, до адресата не дошла, о чем Чулков уведомил Л. Андреева. Тот немедленно откликнулся: “Что с рукописью? Как послать Вам новую, чтобы не пропала? Счастье еще, что у меня оказался второй экземпляр, но если пропадет и он?” (Там же. С. 24). По этому же поводу Л. Андреев писал своей сестре Р.Н. Андреевой: «Бандероли пропадают в России. Так пропало посланное Чулкову “Так было”. Новый род цензуры» (Русский современник. 1924. № 4. С. 126).

Рассказ был издан в Германии в марте 1906 г., что явствует из письма Л. Андреева Чулкову, посланного во второй половине февраля: «“Так было”, вероятно, выйдет недели через 2–3» (*Письма Чулкову*. С. 24). Идентичный текст был опубликован в альманахе “Факелы”, вышедшем в апреле того же года.

События Великой французской революции, отразившиеся в рассказе, вызывали у Л. Андреева большой интерес. Так, в сентябре 1904 г. он сообщал Горькому: “Читаю сейчас историю Французской революции” (*ЛН72*. С. 220). Круг источников, с которыми знакомился писатель, достаточно широк: «О Великой французской революции в библиотеке Андреева было почти всё, что выходило в России с 1870-х до начала 1900-х годов: популярные в России в 70–90-е годы “История” Луи Блана, очерк Н.Н. Бертолотти, работы Л. Гейссера, Л.И. Карно и других; новейшие труды французских историков Э. Лависса, А. Рамбо, А. Минье, А. Олара, которые были написаны на рубеже веков и сразу же переведены в России. (...) Особого упоминания требуют работы историко-социологического характера. Среди них – “весь” Н.К. Михайловский, “История цивилизации Англии” Г. Бокля, четырехтомный труд М.М. Ковалевского “Происхождение современной демократии”, книги Т. Карлейля, Н.И. Кареева, У. Кеннингема и других» (*Иезутова 1976*. С. 215, 216). Выявлению конкретных связей рассказа с работами Н. Бертолотти, Л.И. Карно, Э. Кине, Т. Карлейля посвящена специальная статья С.Ю. Ясенского «Рассказ Леонида Андреева “Так было”: (Историко-культурный контекст)» (см.: Великая французская революция и русская литература. Л., 1990. С. 397–406). Представляет интерес свидетельство Горького, который вспоминал: (...) в октябре 1905 г. (Андреев) прочитал мне в рукописи “Так было”.

– Не преждевременно ли? – спросил я.

Он ответил:

– Хорошее всегда преждевременно... (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 345).

В. Брусянин поделился своими впечатлениями о чтении Андреевым “Так было” в кругу близких ему литераторов осенью 1905 г.: «Только что написанный тогда рассказ был прочтен автором среди товарищей на одной из литературных “сред”, и я помню, с каким смятенным чувством ожидания ехали мы по московским улицам к тому дому, где предполагалось чтение рассказа. Улицы были пустынные, в домах горели робкие огни, а мимо каменных и деревянных домов разъезжали патрули, и на углах стояли городовые по двое... И я помню, каким противоречием

в настроении слушателей отзывались заключительные строки этого рассказа: “Так было – так будет”...

Так будет: люди победят своего короля и над его могилой будут кричать: “Да здравствует Двадцать Первый!..” И я помню, многие из слушавших рассказ накинудись на автора: зачем он попытался развезть иллюзии, которыми мы в то время жили... И я не могу забыть, с какой печалью в глазах на бледном лице защищал свое неверие Андреев. Он нам говорил: пройдите чрез свое неверие, преодолейте его, чтобы остаться жить и верить. Пессимизм Андреева того времени являлся для нас противоядием тому пессимизму, которым было охвачено русское общество в годы разрухи» (*Бруснянин В.В.* Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912. С. 11–12).

Рассказ, ввиду его очевидной актуальности, получил в прессе массу разнообразных откликов.

Среди самых первых отзывов следует выделить интерпретации, с которыми выступили А. Измайлов и Н. Геккер. “Андреев, – писал в своей рецензии А. Измайлов, акцентируя мысль об общеисторической и общечеловеческой подоплеке рассказа, – рисует картину революции, сотрясшей город-коLOSS, – сердце и мозг великой страны. Не названа страна, не назван город. Намеренно не так назван король страны. Его имени нет, есть прозвище Двадцатый. Надо бы, конечно, Шестнадцатый.

По многим и иным частностям явно, что целиком французская революция вдохновила беллетриста. И поминутные смены народного рабoлепства на гнев и народного гнева на рабoлепство, и внешние частности мятежа, вплоть до суда над королем, до возведения на эшафот, до показания его головы палачом народу, – всё это могла целиком рассказать страшная действительность великой революции во Франции. Но автор не хочет сводить своей, в сущности вполне космополитической, мировой, всечеловеческой картины к узкому, частному, индивидуально разывравшемуся факту истории одного народа.

Тут, в самом деле, нечто всеобъемлющее, типическое, органическое для всей истории. (...) аналогично разыгрывались и, может быть, будут разыгрываться революции в десятке других стран. И огромный маятник вечности будет отстукивать, как отстукивал тогда, в 1793 году, холодно, спокойно, бесстрастно: – Так было. Так будет...” (*Измайлов А.* “Так было” Леонида Андреева // *БВед.* 1906. 20 апр. (№ 9248)). Критик отметил, что писатель достаточно выразительно и правдиво показывает хаос революционного брожения: “На всем протяжении рассказа Андреев ловит настроение революционной толпы, иногда намеренно уклоняясь от определенности рисунка и прибегая к широким, расплывчатым, сливающимся тонам. Он больше психолог, чем живописец. Там, где он делает подход к настроениям народного брожения, где уходит в психологически-обобщающий анализ философии власти (в трех первых главах), он стоит на истинной высоте своей задачи. От его стиля веет здесь суровою непреложностью истории, угрюмостью старой легенды, обвьянной стилем готики и духом далеких веков” (Там же). Вместе с тем, А. Измайлов увидел в рассказе налет “искусственности”, нарочитости

некоторых гиперболизированных образов, излишней претенциозности: “Усвоение трагической точки зрения на вещи, точки зрения какого-то как бы напускного безумия, сказывается как пересол, искусственность, деланность, разрушает иллюзию. (...) Андреев сам становится на точку потерявшего равновесие человека, он сам запутывается в прихотливой фантастике жизни, и сам готов видеть призраки. Персонафикация природы (туман-призрак) становится надуманной и деланной, суровый стиль рассказа сменяется риторическим цветословием, и на весь рассказ ложится печать рассчитанности, претенциозности и манерности...” (Там же).

По мнению Н. Геккера, “Так было” – “это не исторический рассказ”: «Это апофеоз пробуждения народа к свободе, к сознанию своих прав, к достижению лучшей жизни. Это картина борьбы, полной радости и отчаяния, переходящей от мести к всепрощению и оканчивающейся целыми гекатомбами новых жертв. (...) Правда, политический скептицизм автора сказался тут больше, чем в иных его произведениях, во всяком случае, не меньше. И он несколько противоречит заглавию “Так было”: из рассказа мы узнаем, что не только “так было”, но что и “так будет” (...) т.е. не только было рабство, но оно еще и будет». Тем не менее, полагаю критик, рассказа, несмотря на известный скептицизм автора, возбудает “бодрое настроение”: “Во всяком случае художник так ярко, тепло и сочувственно изобразил нам одно из этих движений, что мы остаемся малочувствительны к его темным пессимистическим намекам и отдаемся всей душой чаянию успехов и побед, выпадавших раньше на долю человечества только ненадолго. Да, – думаем мы, – так было – так будет: всякое зло и неправда встречали отпор и противление, еще больше и еще сильнее будут они отражены в будущем. И в той великолепной эпопее борьбы и побед, которая представлена нам сейчас даровитым художником, может всякий черпать уверенность в том, что везде и всегда так было – так будет”. Л. Андреев, утверждал критик, “становится политическим писателем. И этот новый жанр совершенно идет к нему, делает его еще более симпатичным и интересным. (...) он дает исход его скрытой писательской энергии и является лучшей пробой его литературных дарований и художественных сил. Если он не остановится на нем, мы будем иметь не только летописца наших трагических дней, но и блестящего их иллюстратора и комментатора в живых и ярких образах, во вдохновенных символах” (*Геккер Н.* Из текущей беллетристики: “Так было” Л. Андреева и другие рассказы // *ОН.* 1906. 21 мая. (№ 6933). С. 6).

По мнению Вл. Кранихфельда, Л. Андреев в рассказе “вскрывает темные и таинственные процессы, путем которых создавалась, нарастала и обожествлялась в общественном сознании идея абсолютизма” (*МБ.* 1906. Апр. (№ 4). Отд. II. С. 64). Критик также подчеркивал, что автор, “следуя своему постоянному тяготению к символическому художеству”, “старательно избегает конкретизирования действия и лиц рассказа” (Там же. С. 64). В то же время Вл. Кранихфельд высказал предположение, что Л. Андреев “соблазнился возможностью извлечь из своего

художественного очерка публицистические выводы...”. “С публицистикой г. Андреева можно было бы и поспорить, – писал он в связи с данной трактовкой авторских намерений, – но художественная идея его очерка сама по себе настолько значительна, что устраняет всякую потребность в публицистическом истолковании, а тем более в публицистической полемике по поводу него” (Там же).

Высоко оценил рассказ критик “Золотого руна” А. Бачинский, который признал его “лучшей вещью” альманаха “Факелы”: “Это – полная своеобразия, мастерская вышивка по канве, представляемой историей великой революции и Людовика XVI. Читатель проникается ощущением темной власти тысячелетних призраков, которые, словно некие испарения коллективной души человечества, сгущаются и витают над ней в течение веков, обессиливая стремление к окрыленной свободе и ясной радости. С технической стороны эту повесть надо отнести к наиболее совершенным произведениям Л. Андреева” (Золотое руно. 1906. № 5. С. 83).

В. Брюсов, отметив недостатки рассказа, увидел его главное достоинство в талантливом, впечатляющем изображении автором стихийных проявлений революции: «К программе “Факелов”, к неприятию мира, рассказ относится лишь своими наиболее слабыми частями: наивной характеристикой царской власти, придуманной моралью (в начале последней главы) и т.д. Но отдельные страницы, где изображаются беспричинные, стихийные движения толпы, написаны с тем мастерством, с той силой, с той магией искусства, которая всегда побеждает в рассказах Л. Андреева даже предубежденного читателя» (*Аврелий [Брюсов В.]*. Вехи. IV. Факелы // *Весы*. 1906. № 5. С. 58).

А. и Е. Редько попытались определить сумму различных факторов, которые могли воздействовать на автора и так или иначе обусловили сам замысел произведения: «Художник – мастер по части мрачного колорита, под влиянием передуманного и лично пережитого им, с одной стороны, под влиянием того, что происходило вокруг него в русской действительности, с другой стороны, – внимательно перечитал сочинения о Великой французской революции, соединил впечатления от прочитанного о ней с общеизвестными фактами из последующей истории Франции вплоть до наших дней, и размышления по этому поводу изложил в полупублицистической-полубеллетристической форме “Так было”. (...)  
Конечная мысль в “Так было” имеет временный характер временного настроения, созданного больше всего желанием услышать, как красиво звучит мечта о свободе, которая должна быть единым Богом будущего человечества...» (*Редько А.Е. [Редько А.М. и Е.И.]* Литературные наброски // *РБ*. 1906. № 7. Отд. II. С. 46, 48).

Развернутый отзыв дал А. Луначарский, который, анализируя рассказ с позиций социологической, позитивистской критики, настойчиво подчеркивал тезис о пессимизме андреевских воззрений на революцию, о бессилии писателя постичь ее реальные истоки и ее истинную сущность. «Г. Андреев, – утверждал он, – к сожалению, “глубокий художник” в любезном Шопенгауэру роде. История тикает ему “так было, так

будет”. (...) И с этой-то точки зрения г. Андреев подошел к социально-психологическому исследованию такого единственного в своем роде события, как великая революция.

Для него это событие есть не что иное, как столкновение двух неисследимых тайн: власти и революции. Власть – тайна. Г. Андреев с торжественным ужасом проходит мимо нее, отнюдь не мечтая ее разгадать, а лишь обрисовывая ее запертые ворота, ее висячие замки. (...) Революция для писателя – такая же тайна, такие же наглухо затворенные ворота за семью печатями. (...) Свою главную идею Андреев выжимает именно из мрака тайны. Неведомо почему, миллионы повиновались одному. Были ли короли великими, сильными, особенными существами? Отнюдь нет. В ту минуту, когда народ в лице своих даровитейших и закаленных революцией представителей собирается судить “тирана”, происходит нечто смешное, открывается стыд человечества. (...) Итак, дело проясняется: тиран жизни – ничтожество людей. Как всегда, когда у г. Андреева есть мысль, он высказывает ее даже с некоторою назойливостью, ставя все точки над *i*» (*Луначарский А.* Заметки философа: Социальная психология и социальная мистика. Статья вторая // *Обр.* 1906. № 6. С. 36–37, 38, 39). По Л. Андрееву, полагал критик, все спонтанные, стихийные движения масс обусловлены неискоренимой рабской психологией человека, уничтожить которую может только чудо. «Действительно, – доказывал он, – чем же иным объяснить тысячекратнее повиновение “носатым толстякам” миллионов людей, как не присущим им рабством? Чем объяснить тот необузданный, дикий страх, который испытывали миллионы перед королем, даже заключенным в неприступную башню? Чем объяснить безотчетное беспокойство народа, его болезненную подозрительность, взрыв яростной жестокости? (...) Рабы, рабы! Не был бы человек рабом, не было бы власти. Но человек – раб; кто знает, придет ли время, когда раб будет убит в человеке; но можно сказать одно, что революционные движения, народные расправы с тиранами ничего не изменят. (...) Если бы вырваться вдруг из времени, если бы у человека выросли крылья, вместо крови побежал огонь по жилам, если бы чудо, чудо совершилось! Но революция – не чудо. (...) Кто совершит чудо? Кто убьет миллионы рабов, угнетающих души наши? Не надо убивать тиранов, не надо революции, надо чуда. Маятник смеется.

Так учит Андреев. (...)

Рабы! – вот открытие, вот дно тайны! Почему рабы? – не знаю. Почему восстали? – не знаю. (...) Знаю, что, низвергнись внутренняя власть рабства, не стали бы повиноваться или восставать – внешнее рабство пало бы само.

Царство тьмы, насилия, тирании внутри вас есть! Вот художественное учение Андреева. Оно не могло быть иным: на свои “тайны” он посматривал в щелочку индивидуальной души» (Там же. С. 39–40).

Среди откликов на первую публикацию рассказа, в которых в той или иной мере варьируются приведенные выше мнения и высказывания, можно указать также следующие: *Феникс.* Литература и жизнь // Южный край. Харьков, 1906. 1 июля (№ 8827). С. 3; *Чужой* [*Гофман В.В.*]. Заметки

о современной литературе // Москвич. 1906. 1 мая (№ 59). С. 2; *Аничков Е.* Факелы // Народ и дума: Понедельник. СПб., 1906. 21 авг. (№ 3). С. 3.

И позднее рассказ привлекал пристальное внимание многих критиков.

В. Сперанский в статье “Идея трагической красоты и Леонид Андреев” рассматривал “Так было” как “яркую иллюстрацию старой истины о том, что не цепи делают раба, а рабское сознание, что каждый народ достоин своего правительства”: “Историю делает человек, и самые неумолимые статистические законы – лишь конечный итог вольных и лукавых наших прегрешений” (Новый журнал для всех. 1908. № 1 (нояб.). Стб. 77–78). К. Арабажин увидел в рассказе “намек на ницшеанскую идею вечного возвращения” (*Арабажин 1910*. С. 248). Он считал, что невозможно разгадать истинный смысл произведения: “Что хотел Андреев сказать этой красивой и талантливой повестью, – нам представляется неразгаданным. Все зависит от интонаций, которые можно придать фразе. В одном случае в однообразном припеве маятника звучит унылый мотив повторяемости ошибок, в другом случае – вера в победу (так *будет!*). Судя по тому, что в пережитую Андреевым эпоху он не остался чужд общественных настроений, можно думать, что эта повесть носила только отчасти пессимистический характер и не чужда веры в торжество справедливости и истинной свободы” (Там же. С. 106–107). По мнению В. Боцяновского, Французская революция представлена в рассказе “крайне мелким и совершенно ничтожным эпизодом. Андреев верит, что новую жизнь, новые всходы может дать только заново вспаханная, обновленная и очищенная от всего старого земля” (*Боцяновский В. Ф.* Богоискатели. СПб.; М., 1911. С. 208). Оригинальную трактовку предложил П. Коган, полагавший, что в истории Двадцатого Л. Андреев “предрек свою собственную судьбу”: «Великие не сами творят себя, а творят их массы. Великих нет, или, вернее, великие существуют, но только до тех пор, пока их представляют себе таковыми массы. Эта истина одинаково действительна и для королей, и для писателей. И ничего “таинственного” нет ни в поклонении, ни в восстании миллионов... (...) И не будет ничего “таинственного”, когда тысячи, смотревшие “Жизнь Человека” с тревожным ужасом, будут “пожимать плечами” и “посылать друг другу насмешливые улыбки”, когда на месте “короля” и “дракона” они увидят “шута” или – что еще хуже – “носатого буржуа”. Мы не смеемся и не издеваемся. Андреев сам придумал эти символы, чтобы показать “обычность” того, что казалось необычайным» (*Коган П.* Очерки по истории новейшей русской литературы. 2-е изд. М., 1912. Т. 3. Вып. II. С. 60, 61). Л. Войтоловский рассматривал рассказ в ряду откровенно пессимистических произведений Л. Андреева: “А революция, – столь же кровавая и непонятная, как власть Двадцатого – этого шута, выдававшего себя за короля...” (*Войтоловский Л.* Леонид Андреев // Книга. Пг.; М.; Киев, 1920. Сб. 2. С. 78).

Среди прочих откликов обратим внимание на следующие: *Волжский* [*Глинка А.С.*]. Литературные письма: 1. Несерьезное о серьезном (“Факелы”, вып. 2) // Век. 1907. 3 июня (№ 21). С. 320–323; *Джонсон И.*

[Иванов И.В.] Литературные итоги 1906 г. // Киевский голос. 1907. 1 янв. (№ 1). С. 3–4; *Грузинский С.* Из дневника: (Кошмарная ночь...) // Донская жизнь. Новочеркасск, 1908. 28 июня (№ 148). С. 2–3.

При жизни автора рассказ был переведен на немецкий (1906), болгарский (1906, 1918), идиш (1908, 1912), итальянский (1910, 1918), финский (1912 – 2 раза), хорватский (1913).

С. 163. *На башне были огромные старые часы, видимые издалека. ~ Так было – так будет.* – Ср. в книге Т. Карлейля “Французская революция: История” (СПб., 1866. Т. 1): “Огромные башенные часы на внутреннем дворе бьют себе час за часом, как будто не происходит ничего необыкновенного” (С. 273; отмечено С.Ю. Ясенским в указ. статье).

С. 167. *Брызнули огнем факелы по бокам, ~ Я рад видеть мой добрый народ.* – Данный эпизод ближайшим образом восходит к тому фрагменту книги Т. Карлейля, в котором описывается встреча короля с народом (см. об этом: *Ясенский С.Ю.* Указ. соч. С. 400).

С. 170. *И уже убивали изменников. ~ в коричневый навоз.* – О тесной связи этого эпизода с одним из фрагментов книги Э. Кине “Революция” см.: *Ясенский С.Ю.* Указ. соч. С. 399.

С. 172. *Он умер, старый депутат. ~ сон о молодой свободе.* – Как установил С.Ю. Ясенский, эту фактическую деталь Андреев мог почерпнуть из книги Карно “История французской революции”, где упоминается о смерти депутата Леблана прямо на заседании народного собрания (см.: *Ясенский С.Ю.* Указ. соч. С. 399).

С. 175. *...лучше умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавианом.* – Брут Марк Юний (85–42 до н.э.) являлся убежденным поборником республики; он возглавил (вместе с Гаем Кассием) заговор против римского диктатора Юлия Цезаря, в результате которого тиран в 44 г. до н.э. был убит. Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.), внучатый племянник Юлия Цезаря, стал в 27 г. до н.э. первым римским императором, получив имя Август, в переводе с латинского означавшее “возвеличенный богами”.

*Гибнет свобода, бедная невеста в белых цветах, ~ Еще раз спасена свобода!* – Д. Мережковский в статье “В обезьяньих лапах” привел данный отрывок в качестве иллюстрации ущербности андреевского стиля при изображении революционных событий. «Да ведь это же Кукольник, – писал он. – “Рука Всевышнего отечество спасла”, или вывернутые наизнанку –

Гром победы раздавайся,  
Веселися, храбрый Росс!

Революционная казенщина, которая хуже правительственной. (...) Стоило начинать революцию, чтобы не найти в ней ничего, кроме “грам-грам-грам”. Неужели Андреев не чувствует, что такие молитвы – кощунство?» (РМ. 1908. № 1. Отд. II. С. 77–78).

С. 176. *...зремит революционная песня. ~ Идем – Идем!* – Имеется в виду французская революционная песня Марсельеза (1792; слова и музыка Руже де Лилия). В России была известна как “Рабочая Марсельеза” (текст П.Л. Лаврова, 1875).

*Мифический дракон, пожиривший девушек ~ дышащую огнем.* – Как отметил С.Ю. Ясенский, этот мифологизированный образ – очевидная реминисценция из книги Т. Карлейля (Указ. соч. С. 400); ср.: “Был ли ты сказочным драконом, поглощающим дела людей и ежедневно похищающим дев в свой вертеп? И был ли также покрыт чешуями, которые могло пробить одно только копьё смерти?” (*Карлейль Т. Указ. соч. С. 29*).

С. 183. *Находили лужицу еще не всосавшейся и не растоптанной крови ~ царство свободы.* – Ср. в книге Н. Бертолотти “Чтения из всемирной истории: Французская революция (1789–1795)”: “Кровь несчастного страдальца сделалась святыней, многие мочили ею свои платки и хранили, как мощи святых” (С. 198; отмечено С.Ю. Ясенским в указ. статье, с. 399).

## К ЗВЕЗДАМ

(С. 187)

Источники текста:

*ЧН1* – черновой набросок начала первого действия. Хранится: ИРЛИ. Р. III. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 2–8. 7 л.

*ЧН2* – черновой набросок начала первого действия. Хранится: Там же. Ед. хр. 51. Л. 1–4. 4 л.

*ЧН3* – черновой набросок начала первого действия. Хранится: Там же. Л. 5–11. 7 л.

*ЧН4* – черновой набросок списка действующих лиц. Хранится: Там же. Ед. хр. 48. Л. 1–2. 2 л. Опубл.: Андреевский сборник: Исследования и материалы / Вступ. ст. и подгот. текста Л.Н. Афонина. Курск, 1974. С. 144. (Науч. труды Курского гос. пед. ин-та; Т. 37 (139)).

*ЧН5* – черновой набросок списка действующих лиц и вводной ремарки к первому действию. 10 октября 1905 г. Хранится: Там же. Ед. хр. 49. Л. 1.

*ЧА1* – черновой автограф. 11–20 октября 1905 г. Хранится: Там же. Ед. хр. 48. Л. 3–51, 55–69. 64 л. Опубл.: Андреевский сборник: Исследования и материалы / Вступ. ст. и подгот. текста Л.Н. Афонина. Курск, 1974. С. 145–191. (Науч. труды Курского гос. пед. ин-та; Т. 37 (139)).

*ЧН6* – черновой набросок фрагмента второго действия. Хранится: Там же. Ед. хр. 50. Л. 21–23. 3 л.

*ЧН7* – черновой набросок финала четвертого действия. Хранится: Там же. Ед. хр. 48. Л. 52–54. 3 л.

*ЧА2* – черновой автограф. 3 ноября 1905 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 142. Folder 1. 72 л.

*ЧН8* – черновой автограф. Наброски к “гимну к солнцу”. А. Хранится: *Hoover*. Box 142. Folder 1. 1 л. Б. Хранится: РАЛ. MS.606. С. 18. 1 л.

*ЧН9* – черновой автограф. Варианты финала действия второго. Хранится: *Hoover*. Box 142. Folder 1. 3 л.

*ЧН10* – черновой автограф. Позднейшие версии отдельных фрагментов пьесы (действия первое и второе). Хранится: Там же. 6 л.

*ЦЭ1* – Цензурный экз. Машинопись. Хранится: С.-Петербургская гос. театральная биб-ка. Фонд “Драматическая цензура”. Шифр 55270. С пометой красными чернилами: “К представлению признано неудобным. СПб. 3 января 1906. Цензор (подпись)”.

*ЦЭ2* – Цензурный экз. (*СБЗн*). Хранится: Там же. Шифр 57947. С пометой: “К представлению признано неудобным. 23 сентября 1906 г.”

*ЦЭ3* – Цензурный экз. (*СБЗн*). Хранится: Там же. Шифр 20224. С пометой: “К представлению признано неудобным. Цензор драматических сочинений (подпись). СПб. Ноября 1908”.

*Шт* – К звездам. Драма в четырех действиях. (*Zu den Sternen. Drama in 4 Akt.*). Stuttgart: Verlag von J.H.W. Dietz Nachfolger, [1906]. 74 с.

*СБЗн* – Сб. товарищества “Знание” за 1906 г. СПб., 1906. Кн. 10. С. 1–127.

*Зн*. Т. 4. С. 129–206.

*Пр*. Т. 6. С. 1–143.

*ПССМ*. Т. 4. С. 192–241.

Впервые – *Шт*.

Печатается по *ПССМ* со следующим исправлением:

*Д. 4, стк. 169*: Хотя, по веществу, в нем стоимости мало – вместо: Хотя по существу в нем стоимости мало (*по ЧА2 и ЦЭ1*)<sup>32</sup>

Судя по сохранившимся автографам, в целом можно выделить четыре основных стадии работы писателя над пьесой.

**Первая, наиболее ранняя, стадия** относится к периоду до 10 октября 1905 г. К ней можно с большой степенью уверенности отнести три первоначальных наброска начала пьесы – сцены, где изображены толки о комете народа, собравшегося у городского оврага (*ЧН1*, *ЧН2* и *ЧН3*).

В самом раннем наброске (*ЧН1*) выделяются четыре основных микросюжета:

1) жалобы на судьбы женщины, изгнанной мужем из дома (Второй женский голос; л. 2–4);

2) заявление Негодующего голоса о наступлении власти дьявола на земле и приближении таинственной “ее” (эпидемии, смерти?) – л. 4–5;

3) жалобы мужиков на панику (воют псы и плачут бабы) в деревне (Первый мужик, Второй мужик; л. 6) и описание обряда опахивания как панацеи от приближающейся “ее” (Кто-то; л. 6);

<sup>32</sup> Отмечено Е.С. Панковой (*Панкова Е.С. «– По существу?» – “По веществу”*): О текстологической ошибке в изданиях пьесы Л. Андреева “К звездам” (Вестник С.-Петербургского гос. ун-та культуры и искусства. 2013. № 4. С. 137–140).

4) заявление Высокого, изгнавшего из дома ученого сына, что все зло исходит от книг (Л. 7–8).

В *ЧН1* впервые появляется анархический мотив об очистительной роли огненной катастрофы, которую должна принести с собой наблюдаемая на небе комета (“Негодующий и голос. Взял бы я звезду эту за голову да хвостом бы ее, как помелом дьявольским, по всей бы земле: гори все! Гори все, когда правды нет” (Л. 4)).

Писатель уже здесь дает оригинальное решение массовой сцены посредством “хоровой” организации действия, когда персонажи с конкретными именами заменяются анонимными голосами или социокультурными “ярлыками”: Первый (Второй) старик, Старческий (Детский) голос, Первый (Второй) женский голос, Первый (Второй) молодой голос, Грубый (Суровый; Негодующий; Наивный) голос, Первый (Второй) мужик, Кто-то, Высокий.

Во втором из самых ранних набросков (*ЧН2*) отсутствует пространная вводная ремарка из *ЧН1* (подразумевается, что она должна быть механически добавлена к новой версии без изменений). Различия и общность между двумя набросками также отчетливо проступают при выявлении микросюжетов последнего:

1) диалог Мужчины и Дамы, наблюдающих за кометой, – отсутствующих в *ЧН1* персонажей из образованных классов (Здесь следует обратить внимание на тему войны, возникающую в данном отрывке, вероятно навеянную недавними событиями Русско-японской войны: “Да ма а. Какой ужасный год! Война, голод, болезни, всякие ужасы, – тут еще эта комета. (...) Вы знаете, что у Лидочки муж, кажется, убит?” (Л. 1));

2) толки народа о голоде и негодовании в адрес сытых и беспечных господ (объявление о пропаже собаки с вознаграждением в целых десять рублей); разговор с ищущим работу дровоколом;

3) рассказ Тихого о плане господ истребить простой народ.

В диалогах простолудинов также возникает тема *ведущейся в настоящее время войны* (Кто-то. (...)) Вот мы тут стоим, балагурим, папироски курим, а там тысячи убивает” (Л. 3); “Тихий. (...) А только лишнего народу много стало. Вот они и войну затеяли, а теперь вот голод” (Л. 4)).

Общими между двумя первыми набросками оказываются темы страха перед кометой, насланной свыше за грехи, и противопоставленного ему анархического призыва сожжения всего на земле (Второй молодой; л. 2) при несовпадении содержания микросюжетов.

Система анонимных персонажей лишь частично совпадает с “этикетками” более ранней редакции: Дама, Мужчина, Голос в толпе, Первый (Второй) молодой, Старик, Кто-то, Низкий, Тихий.

Третий из ранних набросков (*ЧН3*) не имеет ни заголовка, ни вводной ремарки. Более того, текст начинается в нижнем поле листа – более чем две трети листа оставлены чистыми. Судя по всему, оставленное чистым пространство совпадает с первым микросюжетом предшествующей версии начала пьесы (диалогом Мужчины и Дамы). Вероятно, автор был удовлетворен этим текстом (и оставил пустое место для

последующего копирования или вклеивания его), но решил заново переписать последующую часть первого действия – толки о комете простолоудинов. Возможно, что также подразумевалось включение в эту версию вводной ремарки из *ЧН1*. В пользу предположения, что данная версия является не промежуточным фрагментом действия, а началом новой, третьей его версии, говорит наличие на последнем, седьмом листе наброска авторской нумерации (цифры “7”). Анализ структуры наброска (микрорепизодов) свидетельствует об объединении и развитии здесь основных мотивов двух предыдущих версий начала пьесы (*ЧН1* и *ЧН2*):

1) подразумеваемый диалог Мужчины и Дамы, наблюдающих за кометой (должен быть перенесен из *ЧН2* в пустующее место на первом листе – л. 5<sup>33</sup>);

2) страхи народа перед падением кометы и противопоставление им анархического призыва от имени Молодого голоса взять “эту звезду за голову, да хвостом ее, да хвостом ее, как помелом по всей бы земле” (Л. 5–7);

3) негодование против сытых и насмешливых господ (Л. 7–8);

4) реплики Кого-то о том, что комета является частью плана истребления жизни “по всей земле” (без апелляции к тому, что это подстроено господами, как в *ЧН2*);

5) страх перед “ней” (эпидемией?) и описание Горбатым обряда опахивания (ср. *ЧН1*);

6) провокационные речи Неизвестного, предлагающего устроить “пожарчик”, а также выпустить зверей из клеток в зверинце (последний мотив будет позже использован в “Царе Голоде”).

Необходимо отметить, что в данной версии Андреев пытается уйти от конкретных жизненных деталей, переданных в диалогах персонажей (рассказы Второго женского голоса о своей судьбе и Высокого о ссоре с ученым сыном в *ЧН1*; изложение Тихим плана господ истребить простой народ в *ЧН2*). Конкретику отдельных судеб заменяют неопределенно-общие, “хоровые” эмоции народа, отражающие страх перед кометой, которая несет голод, эпидемии и гибель всего живого; монолог в данной версии начала пьесы вытесняется “полилогом”, хором с трудом различных голосов.

С другой стороны, здесь четко выделены отдельные “голоса”, отражающие разноречивые тенденции народной жизни: консерватизм и богобоязненность – Авторитетный голос; анархический протест – Молодой голос, провокацию – Неизвестный.

К первой стадии, вероятнее всего, относится и *ЧН4* – черновой список действующих лиц. Он во многом совпадает по характеристикам персонажей с первой полной редакцией пьесы (*ЧА1*), но здесь они имеют другие имена и фамилии (астроном Сергей Николаевич – фамилию

---

<sup>33</sup> Здесь приведена архивная нумерация (авторская отсутствует – не считая единственного, указанного выше случая). Два самостоятельных отрывка ошибочно были собраны в одну архивную единицу со сквозной нумерацией.

Верховцев, его жена именуется Инной Александровной, его помощник имеет фамилию Житов, а приятель его дочери Анны – Горбатов<sup>34</sup>).

Второй список действующих лиц (*ЧН5*) более тесно связан с первой полной редакцией пьесы (*ЧА1*), так как имена персонажей совпадают в обоих источниках. Астроном именуется Сергеем Николаевичем (без фамилии), фамилия Верховцев здесь передана поклоннику его дочери Анны, жена астронома становится Ольгой Андреевной, а помощник его – Синицыным. Развернутая вводная реплика в *ЧН5* по смыслу стыкуется с краткой вводной репликой к действию 1 *ЧА1*: ее можно рассматривать как непосредственное продолжение первой. На хронологическую близость двух текстов указывают и пометы на их полях: соответственно “10 октября 1905 г.” и “11 октября 1905 г.”. Благодаря этому можно говорить о принадлежности двух автографов ко **второму этапу** создания пьесы (10–20 октября 1905 г.).

Однако краткость, “усеченность” (отсутствие развернутых характеристик **почти у всех** персонажей, имени-отчества у Синицына и Верховцева) не позволяют рассматривать *ЧН5* как органичную часть *ЧА1*. Вероятнее всего, *ЧА5* имеет характер дополнительного и корректирующего документа по отношению к более полной и развернутой *ЧА4*. Автор собирался в будущем свести два варианта перечня персонажей воедино, точнее скорректировать некоторые имена, возраст и отдельные детали в более ранней его версии на основании позднейшей.

Необходимо рассмотреть развитие мотивов и микросюжетов ранних набросков в тексте *ЧА1* – ранней редакции пьесы, имеющей, как известно, самостоятельное значение.

Следует сказать, что в раннем (зачеркнутом) слое текста *ЧА1* еще упоминается о войне, например: “О н. (...) Какой ужасный год! [Война,] голод, болезни” (Л. 3). И если в аналогичном диалоге в *ЧН2* говорилось об убитом на войне знакомом (“Вы знаете, что у Лидочки муж, кажется, убит?”), то здесь говорится о просто неожиданной (вероятно, от болезни) смерти: “О н. Светлов умер. / О н а. Светлов умер. Лидочка умерла. Отчего она умерла? Ей всего было девятнадцать лет” (Л. 3).

Соотношение микрорепизодов в *действии первом ЧА1* и в более ранних набросках выглядит следующим образом:

1) разговор Его и Ее (Л. 3). (Частично соответствует диалогу Господина и Дамы в *ЧН2*, однако отдельные мотивы и фразы из последнего перенесены в параллельный (также оттеняющий толки простонародья) разговор Гимназиста и Гимназистки (*ЧА1*. Л. 9–10));

2) толки народа о комете (Л. 4–5). (Страх перед ней и одновременно анархический протест Второго молодого (текстуально совпадает с репликой Молодого голоса в *ЧН3*));

---

<sup>34</sup> Это обстоятельство заставило первого публикатора ранней редакции пьесы, Л.Н. Афонина, включившего этот список в публикацию в качестве части редакции, сделать специальное, не совсем убедительное пояснение (см.: Андреевский сб. Курск, 1975. С. 143).

3) толки о нищете народа и легкомыслии сытых господ (объявление о пропаже собаки), появление ищущего работу дровокола (Л. 5–6). (Ср. *ЧН2*; сохранено “имя” дровокола – Низкий);

4) толки о приближении “ее” (эпидемии); Кто-то рассказывает о плане господ истребить простой народ (Л. 7–8; ср. *ЧН2*);

5) эпизод с Пьяным, у которого утопилась жена (Л. 8–9);

6) разговор Гимназиста с Гимназисткой (Л. 9–10; ср. диалог Мужчины и Дамы в *ЧН2*);

7) нагнетание в толпе агрессии и провокации (“Передушить бы их (господ) всех, дьяволов!”; “Братцы, а ей-богу, она (комета) падает. Гляди, гляди, хвостом ворочает!”, “Надо бы разломать все это!”; “Надо бы пожарчик. Если бы в местах в четырех сразу, очень хорошо бы вышло” (Л. 9–10);

8) скандал с предлагавшим сделать “пожарчик” Тонким и его намеки Ивану, что в появлении кометы виноват астроном (Л. 11);

9) более развернутый, чем в ранней версии, монолог Высокого о книгах как главном источнике зла и его рассказ об изгнании из дома ученого сына (Л. 12; ср. *ЧН2*, сохранено “имя” персонажа).

**Третья стадия создания пьесы** обозначается хронологическими рамками: после 20 октября – 3 ноября 1905 г. В этот период была создана вторая редакция пьесы, *ЧА2*, достаточно близкая к *ОТ*.

В *ЧА2* автор кардинально меняет сюжет драмы: действие переносится из российской провинции в “обсерваторию в горах” за границей, полностью исключаются линии, образывавшие в *ЧА1* внешнюю динамику действия: явление на небе кометы, волнение простонародья, затмение Солнца, разрушение испуганной толпой обсерватории и убийство астронома. Соответственно полностью перерабатываются действия первое и четвертое. Сюжетная основа действий второго и третьего в целом не меняется: в обеих редакциях она зиждется на спорах персонажей, в которых противопоставляются вечное и злободневное, наука и революция, небо и земля, переживаниях о судьбе томящегося в тюрьме Николая, развитии психологических эксцессов, связанных с гимназистом Петей. Однако конкретные фабульные ходы существенно изменены: в *ЧА2* общее драматическое напряжение связано не со зловещими астрономическими явлениями (кометой и затмением), а с происходящей и терпящей крах “внизу”, в городе, революцией, в которой принимали участие многие из героев, укрывшихся в горной обсерватории (действие второе завершается коллективным исполнением Марсельезы); попытка самоубийства Пети заменена его истерическим припадком и т.п. В соответствии с обновленным сюжетом меняется состав персонажей: в *ЧА2* вместо русского слуги Евмена появляются немецкие слуги Минна и Франц, добавлены две фигуры революционеров – Лунц и Трейч, а также второй помощник астронома, прагматик и педант Поллак. Различия между *ЧА2* и *ОТ* в целом несущественны, в основном они имеют стилистический характер (см. “Варианты”). Два фрагмента второй редакции, являющиеся более ранними версиями соответствующих мест *ЧА2*, выделены в качестве самостоятельных текстов (*ЧН6* и *ЧН7*).

**Четвертая стадия** и связанные с ней сохранившиеся архивные материалы позволяют проследить последующую эволюцию *ЧА2* в сторону *ОТ*; ее можно обозначить интервалом: после 3 ноября 1905 – не позднее 5 января 1906 г. (дата под запрещающей резолюцией цензора в *ЦЭ1* – машинописном экземпляре драмы, предназначенном для постановки в МХТ).

Прежде всего Андреев много работает над финалом действия второго – ищет замену цензурно уязвимой Марсельезе, которую хором исполняют герои пьесы (*ЧН9(1)*). Первоначально она заменяется шуточной песенкой, основанной на популярном стихотворении В.С. Курочкина “Царь Додон. (Из Жан-Пьера Беранже)” (1863) (*ЧН9(2)*). Однако окончательным решением здесь было завершение действия второго своеобразным “гимном к солнцу” (“Солнце сверкает, солнце играет...”) как более близким по своему звучанию к основным идеям пьесы (*ЧН9(3)*; ср. финал действия в *ОТ*). Процесс создания “гимна” Андреевым, в частности то, что ритмической основой первоначального наброска к нему являлось стихотворение Г. Гейне “Гренадеры” (1846) в переводе М.Л. Михайлова, отражен в *ЧН8* – своде двух разных, но близких по содержанию архивных источников. В *ЧА10* представлены промежуточные (между *ЧА2* и *ОТ*) версии отдельных фрагментов драмы. Машинописный экземпляр пьесы *ЦЭ1* – наиболее близкий к *ОТ* архивный материал – сохраняет, однако, отдельные разночтения (см. “Варианты”).

В 1900 г. издательство “Знание” выпустило в свет книгу немецкого астронома Германа Клейна “Астрономические вечера”. Она произвела большое впечатление на литераторов самых разных направлений и послужила толчком для возникновения многих художественных произведений. В частности, существенное влияние на художественную мысль начала века оказало содержащееся в книге определение людей как “детей солнца”, т.е. таких “живых организмов”, существование которых немислимо без энергии Солнца. «Припомните главные произведения человеческого гения: эти научные открытия, эти религиозные и философские системы, эти дивные поэмы, мелодии и картины, статуи и храмы, – писал Г. Клейн, – все, что создано человеческим умом, воображением и волею. Все эти завоевания стоили тысячелетий упорного духовного труда. Силы для него доставлены солнцем. Когда Рафаэль рисовал Сикстинскую Мадонну, когда Ньютон размышлял над законом тяготения, когда Спиноза писал свою “Этику” или Гете своего “Фауста”, – в них работало солнце. Все мы, гении и простые смертные, сильные и слабые, цари и нищие, все мы – дети солнца» (Клейн. С. 181).

С подлинным восторгом эта мысль была подхвачена “старшими” символистами, в особенности К. Бальмонтом и В. Брюсовым. Бальмонт даже выпустил в 1903 г. книгу стихов “Будем как солнце”. Увлекла она и М. Горького, который еще раньше снабжал “солнечными” эпитетами своих любимых романтических героев, а в 1900 г. восхищался строками из героической комедии Эдмона Ростана “Сирано де Бержерак” о людях “с солнцем в крови”. “Это, знаете ли, страшно хорошо – быть

рожденным с солнцем в крови! – с восторгом писал он в статье о пьесе. – Если б нам, людям, кровь которых испорчена пессимистической мутью, отвратительными, отравляющими душу испарениями того болота, где мы киснем, – если б в нашу кровь хоть искру солнца!” (*Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 23. С. 311*).

Не менее важной для литературы оказалась и другая тема книги Клейна – тема человека во времени и пространстве, его места во вселенной. “Во всяком мыслящем человеке живет затаенное стремление, – утверждал Клейн, – подняться над областью земною и проникнуть – хотя бы только мысленно – в царство небесных светил, которые теперь, как и тысячи лет назад, блистая, смотрят вниз каждую ясную ночь. Взгляните на звезды, когда они беззвучно, в немом величии, проходят свои небесные пути, вспомните об океане времени и пространства, о котором говорят эти сверкающие точки, и вас невольно охватит чувство вечности” (*Клейн. С. 181*). Более подробно о том, как новое мироощущение воплотилось в творчестве символистов, см.: *Долгополов Л.К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX – начала XX века. Л., 1985. С. 57–90*. Эта тема разрабатывалась и в творчестве А.П. Чехова, В.Г. Короленко, писателей-“знаниевцев” (например, в “восточной сказке” “Звезда” (1903) В. Вересаева).

Откликаясь на эту проблематику, Л. Андреев и М. Горький в 1903 г. задумывают пьесу “Астроном” о противоречиях между интеллигенцией, занятой отдаленными и даже отдаленнейшими исканиями, и основными массами народа, темными, забитыми, полностью погруженными в насущные нужды. «С Андреевым (...) буду писать пьесу “Астроном”. Леонид вдохновился Клейном и хочет изображать человека, живущего жизнью всей вселенной среди нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4-ом акте телескопом по башке» (*Горький. Письма. Т. 3. С. 220*). Так писал Горький К.П. Пятницкому 26 октября 1903 г., излагая совместный замысел и намечая его трактовку.

В несколько ином виде тот же замысел предстает в письме Андреева. Предлагая иной акцент трактовки, Андреев убеждал Горького: “Понимаешь: эти болваны убивают астронома в момент затмения солнца, думают, что он солнце погасил – и вдруг солнце-то и вылезает! И спрашивает: вы что же это, сукины дети, сделали?” (*ЛН72. С. 213*).

Горький хотел воплотить в пьесе трагикомедию современного разрыва между умом и волей, между народом и интеллигенцией, и все дело заключалось в том, чтобы найти соответствующее соотношение между “виной” и “бедой” каждой из сторон. «Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции – как разумного начала – от народной стихии всю жизнь более или менее настойчиво преследовало меня, – писал он впоследствии в рассказе “Сторож”. – В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы (...) Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе “Дети солнца”. Если разрыв воли и разума является тяжелой драмой

жизни индивидуума, в жизни народа этот разрыв – трагедия» (*Горький. ПСС-ХП. Т. 16. С. 156*).

Андреев еще на стадии обдумывания этого замысла раскрывает свое виденье его, о чем сообщено в одном из интервью с ним: “У писателя уже давно созрела мысль написать пьесу, сюжет которой хотя еще и не ясен для него, но совершенно ясна ее центральная фигура – ученого астронома, всей душой преданного своей науке. Он меряет время тысячелетиями, пространство миллионами километров, а кругом него – вчера, завтра, через неделю – аршины, фунты, копейки”. Писателя занимает, комментировал далее корреспондент, “та близость, которая существует между астрономом и его коллегой, имеющим только родиться через тысячу лет, то трогательное доверие, с которым он относится к этому товарищу будущего, та связь, которая между ними существует. Астроном изучает движение какой-нибудь кометы, измеряет, вычисляет, устанавливает ее дальнейшую биографию, а проверит и окончательно санкционирует эти вычисления уже его товарищ, который появится на свет через тысячелетие. Ибо только тогда наступит возможность закончить предпринятую нынче работу. Человек говорит с человеком через стену веков, передает ему свою мысль и уверен, что она дойдет до того, для кого предназначается, а тут жена говорит ему, что ситец, купленный для подарка прислуге, оказался линючим и что в лавке нет порядочных огурцов”. “На этом контрасте я и думаю построить свою пьесу, – сказал Андреев” (*[Б.н.] У Леонида Андреева в Финляндии // РС. 1905. 21 июля (№ 195). С. 2*).

Совместному замыслу суждено было осуществиться в несколько ином виде и к тому же в двух весьма различных вариациях. Разведенные обстоятельствами, друзья создали совершенно самостоятельные произведения. Горький, заключенный в Петропавловскую крепость, в январе-феврале 1905 г. разработал этот сюжет в трагикомедии “Дети солнца”, заменив астронома химиком, но сохранив как существо ведущей коллизии, так и основные наброски финала. В октябре того же года завершил свою драму “К звездам” и Андреев.

Существует довольно устойчивая традиция противопоставления двух этих произведений. Критика начала XX в. неизменно сравнивала “Детей солнца” и “К звездам”, см.: *Измайлов А. Литературный календарь: Первая пьеса Л. Андреева “К звездам”. Поправки Андреева к “Детям солнца” // БВед. 1906. 9 июня (№ 9332). Утр. вып. С. 5; Батюшков Ф. Театральные заметки // МБ. 1906. № 7. Отд. 2. С. 15–29; Аничков Е. “К звездам” Л. Андреева // Страна. 1906. 4 авг. (№ 125). С. 2; Сутугин С. [Этингер О.Г.] “К звездам” // ТуИ. 1906. 23 июля (№ 30). С. 461–465; Сильверсан Б. “К звездам” // ТуИ. 1906. 6 авг. (№ 32). С. 488–489.*

При этом андреевская пьеса казалась многим и более революционной и более сильной. О.Л. Книппер-Чехова, например, по мнению самого Горького прекрасно игравшая в мхатовской постановке “Детей солнца” Меланию, но не любившая ни пьесы, ни спектакля, с восторгом отзывалась об “удивительной пьесе” Андреева, “пропитанной современным движением, но не а la Горький” и производящей “сильнейшее

впечатление” (Ольга Леонардовна Книппер-Чехова: В 2 ч. Ч. II: Переписка (1896–1959). Воспоминания об О.Л. Книппер-Чеховой. М., 1972. С. 74).

В том же духе, с подробной аргументацией своего одобрительного отношения к Андрееву и критического к Горькому, якобы не сумевшему справиться с той дилеммой, которую он вынес на сцену, писали Е. Аничков, А. Измайлов, Б. Сильверсван, С. Сутугин. «И та и другая драмы, – писал, например, Измайлов, – контраст пламенеющих, горячих, деятельных душ, ищущих общественного блага, забывающих себя в этом искании, – спокойно уравновешенной душе, ушедшей на высоты объективного знания и в своей далекой мечте о счастье человечества не замечающей крови и слез, льющихся тут, рядом. Химик Протасов у Горького и астроном Терновский у Андреева – типы одного идейного замысла. (...) Однако, при сходстве основного замысла, безмерна разница между Горьким и Андреевым. Конечно, не может быть сомнения в сочувствии Андреева идее освобождения. Но у него хватает настолько такта, чтобы не обрисовать своего ученого теми чертами отвратительной и часто просто смешной эгоистичности, какие использует Горький для обрисовки своего химика. Андреев не говорит о науке, как Горький, словами петуха, нашедшего жемчужное зерно: “К чему оно? Какая вещь пустая! Не странно ль, что его высоко так ценят?” Как писатель-интеллигент он вышел победителем из той дилеммы, которая повалила Горького. Его астроном прекрасен в своем возвышенном эгоизме, а не отталкивает, как герой Горького. Он весь живет для будущего, мечтает о будущем “неизвестном и далеком друге”». «Не могло найтись другой темы, – подводил итог своим размышлениям критик, – где бы ярче обнаруживалось, при значительном равенстве художественных сил, в одном случае превосходство культурности, образованности, широты мысли, дающейся только стройною умственной подготовкой, и в другом – невыгод саморазвития, отсутствия настоящего образования, слабых сторон творчества “самородка”» (*Измайлов А.* Литературный календарь: Первая пьеса Л. Андреева “К звездам”. Поправки Андреева к “Детям солнца” // *БВед.* 1906. 9 июня (№ 9332). Утр. вып. С. 5).

В целом ранняя версия драмы не удовлетворяла Андреева<sup>35</sup>. Тем не менее, Андреев считал, что основная часть работы уже позади. Об этом лаконичное упоминание в письме К.П. Пятницкому от 24 октября 1905 г.: “С рукописью под мышкой я таскался по Москве – и разными

<sup>35</sup> Позже, когда в распоряжении исследователей оказались первый вариант пьесы “К звездам” и несколько набросков отдельных актов, возникла дискуссия о коренном различии конфликта, лежащего в основе ранней и позднейшей версий (см.: *Чуваков В.Н.* Примечания // Андреев Л.Н. Пьесы. М., 1959. С. 558–559; *Долгополов Л.К.* Вокруг “детей солнца” // Долгополов Л.К. На рубеже веков. С. 79–80; *Афонин Л.Н.* Вступ. ст. [к публ. ранней редакции “К звездам”] // Андреевский сб. С. 139; *Чирва Ю.Н.* Комментарии // Андреев Л.Н. Драматические произведения: В 2 т. Л., 1989. Т. 1. С. 478–479).

чернилами, в промежуток между 11 и 20 октября, накатал 4-хактную драму” (*Письма Пятницкому*. С. 169).

Объяснение ситуации “таскался по Москве” – в воспоминаниях брата писателя Павла Андреева. По его рассказу, “в эти тяжелые месяцы реакции, когда черносотенцы избивали интеллигенцию и студентов, Леонид значился в их списках. Пришлось организовать дома охрану из моих товарищей по Строгановскому училищу живописи и добровольцев студентов. Это были тревожные и мрачные дни и ночи в жизни его, когда каждую минуту он ждал беспощадной и бессмысленной расправы над собой; когда мщение, злоба и ненависть разлились по всему городу и давили мозг, сердце, в то же время заставляя чутко прислушиваться к малейшему шуму и крику на улице” (*Андреев П.Н.* Воспоминания о Леониде Андрееве // *Литературная мысль*. Л., 1925. Вып. III. С. 204).

О жизни в состоянии постоянной тревоги и о принятом решении уехать за границу сам писатель рассказал Пятницкому: «Дело вот в чем: жизнь в Москве для меня становится невозможной. И через участок, и другим путем (...) я получаю предостережения и уже два раза должен был перекочевывать с семьею на разные квартиры. (...) Нервы мои, и без того поганые, отказываются выдерживать эту чертовщину. Конечно, меня будут ругать, что я “удрал” за границу в “такой момент”, но все это вздор: я моменту ни на кой черт не нужен» (*Письма Пятницкому*. С. 169).

Последние дни Андреева в Москве прошли в заботах об усовершенствовании пьесы и ее сценической судьбе. Возможно, что, прежде чем взяться за окончательную отделку пьесы, Андреев познакомил с ней ближайших друзей и, в частности, Горького. На это указывают воспоминания В. Тройнова, в которых утверждается, что Горький сделал Андрееву ряд замечаний по первому варианту и предложил внести множество изменений (*ЛН72*. С. 580–583). Эти воспоминания, как уже отмечалось в горьковедении, не внушают особого доверия ни в целом, ни в частности. По мнению К.Д. Муратовой, роль Горького в этой переработке “не следует преувеличивать” (*ЛН72*. С. 28). Достоверно только то, что после знакомства с пьесой “Дети солнца” Андреев взялся за написание новой редакции своей собственной драмы. В письме к Пятницкому начала ноября 1905 г. он сообщал: “Дело в том, что я уже написал пьесу, но поразмыслил – и перечеркнул ее всю. А теперь пишу заново, совсем в иной концепции, и тороплюсь, чтобы начерно окончить до отъезда” (*ЛН72*. С. 28).

Совершенно очевидно, что направляющим моментом в новой работе над пьесой было само развитие революционного движения в стране, вся атмосфера московских событий. Что же касается оценки пьесы Горьким, то она дана в письме Пятницкому от 7 или 8 ноября: «Андреев написал пьесу “К звездам”. Очень плохо» (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 105).

Новая редакции была в основном завершена 3 ноября 1905 г. Эта дата стоит на черновом рукописном варианте, хранящемся в архиве Гуверовского института (*ЧА2*).

В начале ноября 1905 г. Андреев извещал Пятницкого: «Вчера был у меня Немирович, и я читал ему свою драму “К звездам” – выразил крайнее одобрение, верит, что это именно то, что нужно сейчас для Худож(ественного) театра» (цит. по: Чуваков В. Примечания // Андреев Л. Пьесы. М., 1959. С. 560).

10 ноября 1905 г. состоялось чтение пьесы перед труппой Московского художественного театра. Читал Вл.И. Немирович-Данченко (см.: Фрейдкина Л. Дни и годы Вл.И. Немировича-Данченко: Летопись жизни и творчества. М., 1962. С. 217). Сообщая об этом Пятницкому, Андреев привел выдержку из письма к нему Немировича-Данченко: “⟨...⟩ пьеса произвела громадное впечатление, сильное, тяжелое и радостное... Наши хорошо знают все написанное Вами и подтверждают, что это лучшее из всего...” (Письма Пятницкому. С. 169–170). От себя Андреев добавил, что “последнее ерунда. И вообще пьеса – посредственная, скоро я напишу получше, но все же я очень доволен. Вот и я – в драматургах!” (Там же).

16 ноября 1905 г. Андреев выезжает в Берлин. В письме к Пятницкому от 26 ноября он пишет: “Пьеса кончена, но переписчиков здесь нет, и придется мне посылать ее в Москву, откуда Вы и получите экземпляр” (Там же. С. 170). Спустя несколько дней, 4 декабря, еще раз сообщив Пятницкому о завершении работы, добавляет: “⟨...⟩ насилию отыскал переписчика – единственного, и он, конечно, содрал. Когда можно печатать в России – не знаю. Разговаривал с Гейером, разговаривал с Аврамовым, сегодня приехавшим сюда; много разговариваю с Шольцем и с Перским, дело выясняется, разъясняется и пока стоит на месте. Пытаемся все вместе устроить драму повыгоднее. Ничего не знаю, как в Москве – существует ли Художественный театр, существует ли Москва” (Там же. С. 171).

В конце декабря 1905 г. Андреев читал пьесу в Берлине в Общественном доме района Моабит (Moabiter Gesellschaftshaus). Среди слушателей были русские политические эмигранты. По словам писателя, “народу было тысячи две с половиной и сбор – около 5000 марок в пользу российских. Отзывы в печати хвалебные ⟨...⟩” (Там же. С. 172). Намеченное следующее чтение не состоялось. “Вчера я должен был читать, – сообщил Андреев Горькому 28 декабря, – явился – распорядители докладывают, что полиция собрания не разрешила. Совсем как в России, даже хуже. У нас хоть скандалчик бы устроили, а тут – разошлись тихо, благородно, как в царствии небесном” (ЛН72. С. 262).

При этом Андреев не переставал сомневаться в том, насколько удалась ему первая пьеса. В письме от 4 января 1906 г. Е. Чирикову он просил прочесть “К звездам” и сообщить “как показалось”: «Мне кажется – слабовато. Точно молодой человек в трике на коньках катается, везеля выписывает и, падая, только двумя перстами грациозно касается земли. И вновь чертит. И похоже также на битые сливки, а равным образом на тот опьяняющий напиток, к(отор)ый известен под именем “Ланинской шипучей”: этакое приятное брожение мозгов – точно после бани чай с малиновым вареньем пьешь» (МиИ2000. С. 40–41).

«“К звездам” – жидкая пиесса, нет в ней силы, нет удара, – уточнил Андреев спустя две недели в письме Г. Чулкову, – (...) И слова тоже мелкие – петит. Каждое слово должно быть как жернов, и между ними в порошок должна стираться душа читающего – вот как нужно писать» (Письма Леонида Андреева / Предисл. и послесл. Г. Чулкова. Л., 1924. С. 22).

Прием и поддержка, оказанные Андрееву Художественным театром, побудили драматурга предоставить МХТ исключительное право на исполнение своей пьесы. Станиславский и Немирович-Данченко предполагали подготовить спектакль для зарубежных гастролей 1906 г. и, если цензура не пропустит пьесу, показывать ее за границей без разрешения. Однако этот план не был осуществлен. 7 января Канцелярия Главного управления по делам печати известила В.И. Немировича-Данченко, что пьеса Л. Андреева “К звездам” “признана неудобною к представлению” (*Фрейдкина Л. Дни и годы Вл.И. Немировича-Данченко: Летопись жизни и творчества.* С. 218). Уже в январе 1906 г. Андреев писал Пятницкому из Мюнхена, что «получил сегодня от Немировича письмо – “К звездам” в Берлине ставить не будут: не успеют приготовить» (*Письма Пятницкому.* С. 175).

Не удалось добиться разрешения на постановку и осенью 1906 г., несмотря на хлопоты Немировича-Данченко, намечавшего включить пьесу в репертуарный план театра на сезон 1906/1907 г. Такая же неудача постигла и другие театры, в том числе и Театр В.Ф. Коммиссаржевской, настойчиво добивавшейся от Андреева права на постановку пьесы.

В Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке имеется три экземпляра пьесы “К звездам” с одним и тем же приговором: “К представлению признано неудобным. Цензор драматических сочинений Ламкерт”. Только один из них представляет собой машинопись (ЦЭ1), тщательно переплетенную, с толстой матерчатой обложкой. Это мхатовский экземпляр. На нем дата – “3 января 1906 г”. Запрет обосновывается цензором следующим рапортом: «Действие этой драмы происходит где-то за границей, в заброшенной в горах обсерватории, которую заведует русский астроном. Астроном отшеллся от всего земного, весь погружен в науку и чужд стремлений своих детей и окружающих его лиц. Помыслы последних сосредоточены исключительно на земных делах, на борьбе с современным строем. Они принимают участие в революции, в открытом вооруженном восстании против властей, жертвой которого гибнет сын астронома, заключаемый правительством в тюрьму, где он лишается рассудка. Об этих событиях, происходящих вне обсерватории, мы узнаем лишь из рассказов действующих лиц. Драма заканчивается настоящим гимном в честь погибшего сына-революционера, “чистая, непорочная душа” которого в гибели “прекрасной внешней формы” обрела себе бессмертие.

Вся эта символическая драма, талантливо и с большим подъемом написанная, служит идеализацией революции и ее деятелей, вследствие чего не может быть дозволена к представлению» (Рапорты театральной

цензуры в годы первой русской революции / Публ. В. Цинкович // Первая русская революция и театр: Статьи и материалы. М., 1956. С. 338–339). Такой приговор, естественно, не предполагал какой бы то ни было возможности что-либо изменить, исправить, смягчить в данном произведении. Поэтому в тексте мхатовского варианта нет никаких пометок, подчеркиваний или вычеркиваний.

Нет каких-либо цензурских подчеркиваний, помет или вычеркиваний и в двух других цензурных экземплярах Театральной библиотеки, представляющих собой оттиски 10-го сборника “Знания” (ЦЭ2, 23 сентября 1906; ЦЭ3, ноябрь 1908). И эти две позднейшие попытки пройти цензуру оказались неудачными, пьеса также отвергается изначально. Правда, в одном из этих экземпляров есть многочисленные вычеркивания жирным черным карандашом, но очевидно, что цензорскими они не являются. И определить, кому они принадлежат, и датировать их нельзя. Возможно, это одна из неудачных попыток какого-либо режиссера сделать пьесу более приемлемой для цензуры. Но это только предположение.

Впервые “К звездам” была показана в Австрии в венском Свободном театре 21 октября 1906 г. Ставил пьесу и играл в ней роль Трейча режиссер и актер Рихард Валлентин. Эта постановка была дебютом нового театрального предприятия – театральной организации “Freie Volksbühne”, созданной в сентябре 1906 г. при социал-демократической газете “Die Arbeiter Zeitung”. Поэтому все писавшие о спектакле отмечали значение самого события – создания Свободного народного театра, учрежденного организованными рабочими под эгидой социал-демократической партии. Премьера сопровождалась огромным успехом и превратилась в подлинную демонстрацию солидарности австрийских рабочих с русским революционным пролетариатом.

Этот успех получил отражение и на страницах русских газет. «И какое это было наслаждение, – цитировал корреспондент “Русских ведомостей” венского рецензента, – видеть в первых рядах кресел и лож, где обычно восседают равнодушные, пресыщенные фигуры, ждущие, чтобы их пощекотали и расшевелили со сцены, видеть эти простые, честные, славные лица, так жадно ловившие каждое слово, с такой глубокой восприимчивостью относившиеся к тому, что происходило на сцене. В данном случае можно с уверенностью сказать, что автор и аудитория вполне понимали друг друга, говорили на одном языке, дополняли друг друга. Было ясно недоговоренное слово; превращался в живой образ даже легкий абрис, и глубоко западало в душу каждое выражение, так как оно в данном случае обращалось к широко раскрытой душе, к глубоко сочувствующему сердцу, понимавшему все, что хотел сказать автор, если бы ему даже не удалось воплотить это в надлежащие образы и слова. (...) Но в данном случае эта дополнительная работа даже не требовалась. (...) Со сцены чувствовалось лишь влияние огромной магнетической силы, заражающей всякого своим гневом, своим призывом к мести и призывом к любви. Какой стон поднялся в театре после монолога Трейча, блистательно произнесенного Валлентином! В аплодисментах,

которыми ответила на него публика, и в ее бешеных криках “браво!” чувствовались не обычные клики одобрения, а как бы чувствовалась клятва, даваемая этой аудиторией, исполнить призыв Трейча и подпереть своими руками самое небо, если оно готово будет обрушиться на нас и помешать нам идти вперед» (*Звездич П. [Ротенштерн П.И.] “К звездам”*. Пьеса Андреева в венском Свободном театре. Вена. 12 октября // *РВед.* 1906. 20 окт. (№ 257). С. 3–4).

Об успехе спектакля сообщали и другие русские газеты: *Соснов Як. [Соскин Я.Г.]* Вена: От нашего корреспондента. Русское в Вене // *ОН.* 1906. 22 окт. (№ 7061). С. 3; *Караваев Н. [Соколовский Л.Н.]* Письма из Вены. 14 октября (27 октября) 1906. “К звездам” Л. Андреева на венской сцене // *Южный край.* 1906. 1 нояб. (№ 8928). С. 3. См. также библиографию отзывов зарубежной прессы – *БиблА2а.* С. 19–21, 24–25).

Большое удовольствие Андрееву доставили переходившие из рецензии в рецензию слова о том, что на спектаклях “К звездам” “искусство впервые встретилось с народом”. Этой оценкой спектакля он поделился с Горьким: «Совершенно неожиданный и своеобразно окрашенный успех имели в Вене “К звездам”. Там только что образовался “Свободный народный театр”, как говорят некоторые газеты, социал-демократический; и для первого дебюта они поставили “К звездам”.

И удивление: все газеты без исключения хвалят, а рабочие листки говорят даже, что “впервые искусство встретилось с народом”. И публика, почти сплошь рабочие, доходила “даже до энтузиазма”. Вообще успех необыкновенный» (*ЛН72.* С. 274–275).

“Я не особенный любитель рекламы, – писал он брату, П.Н. Андрееву, – но на этот раз хочется похвастаться, особенно перед эсдерами и пр.” (Леонид Андреев: Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым // *Рус. лит.* 2003. № 1. С. 166). И здесь же: «Вчера и сегодня меня поздравляют. “К звездам” имела в Вене огромный, даже необыкновенный успех. Все венские газеты (больше 10), даже консервативные, очень одобряют пиесу, демократические же – в восторге. Говорят, что эта пиеса начало нового рода творчества; говорят, что “свободный народный театр”, начав свое существование с этой пиесы, сразу заслужил название “Венского художественного театра”. Публика “свободного театра”, главным образом рабочие, бесновались, а под конец устроили режиссеру Валентину триумф: взлезли на сцену, благодарили, и он благодарил и плакал. Просто удивительно! Наши берлинские издатели ходят именинниками; выражают надежду, что через месяц пиеса пойдет в 15 театрах. (...) Недели через 3 “К звездам” идет в Берлине в “Kleines Theater” – интересно, как пройдет у них. Во всяком случае теперь провал не страшен» (Там же).

Интересно и то, что Рихард Валлентин в 1908 г., умирая, завещал вместо традиционных религиозных ритуалов прочитать над его могилой монолог профессора Терновского (см.: *Измайлов А.* Литературный Олимп. М., 1911. С. 238).

Что касается упомянутых выше надежд автора на берлинские спектакли, то еще летом 1906 г. шли интенсивные переговоры о возможной

постановке “К звездам” на сцене одного из театров города. И.П. Ладыжников, выступавший на этих переговорах в качестве посредника, писал Андрееву: «Директор здешнего “Малого театра” Барновский склонен поставить “К Звездам” и платить нам 10% тонтъем<sup>36</sup>. Мы не дали ему еще нашего согласия, ожидая ответа Рейнгардта о “Савве”. Если Рейнгардт возьмет “Савву”, то мы отдадим немедленно “К Звездам” Барновскому. Если нет, то мы постараемся отдать “К Звездам” Рейнгардту, кот(орый) тоже интересуется пьесой, а “Савву” предложим Брамму из “Лессинг Театра”».

Барновский и Лессинг просили нас передать Вам след(ующего) содержания просьбу.

Они находят, что конец 3-го акта “К Звездам” (сцена Пети со старухой и особенно заключительные слова Лунца), равно как и начало 4-го акта (сцена Терновского с Петей) непонятны, и желали бы получить от Вас некоторые разъяснения, в форме ли объяснительного письма или в форме новой, несколько более подробной разработки упомянутых мест пьесы – все равно.

Они не знают, как понимать конец третьего акта, слова Лунца. Они чувствуют, что имеют дело с символом, но не понимают смысла его, и, поэтому, как режиссеры, остаются совсем бессильными в этом месте. Они бы хотели знать замысел автора, или иметь по крайней мере еще несколько слов Лунца, кот(орые) разрешили бы им “эту загадку”.

В 4-ом акте им кажется, что разговор между Петей и Терновским крайне абстрактен и пройдет, благодаря этому, незамеченным публикой, в ущерб всей пьесы. А пьеса им в начале сезона страшно стала нравиться. От первых двух актов и от конца 4-го они прямо в восторге. Вы должны только, по их мнению, придти им на помощь в упомянутых местах 3-го и 4-го акто(в).

Мы обещали Барновскому и драматургам Рейнгардта передать Вам их просьбу, потребовали, однако, с их стороны обязательства поставить пьесу так, как оно есть. Барновский готов принять пьесу и на этих условиях, и только *просит*. Он говорит, что пьеса могла бы сделаться “успехом сезона”, и поэтому автору следовало бы не оставлять его без указаний и разъяснений. Он думает поставить вещь лучшими своими актерами, называет уже имена – имена, правда, не первоклассных артистов Берлина, но все-таки далеко не плохих актеров.

Мы считаем это дело, Леонид Ник(олаевич), личным делом автора и режиссера, и поэтому просили бы Вас дать нам подробнейшие указания того, как мы должны ответить названным театрам. Сами мы хотели бы знать Ваше решение раньше, чем театры могли бы надеяться получить ответ на свой запрос. Очень хорошо было бы, если бы Вы нам телеграфировали. Мы постараемся тогда использовать равным образом как положительный Ваш ответ, так и отрицательный. Мы будем рады, если только удастся устроить обе пьесы – одну у Рейнгардта, другую

---

<sup>36</sup> Tantiem – принятый в Германии термин, обозначающий процент от прибыли, роялти.

у Барновского. Отдать их обе одному и тому же театру не имеет смысла, т(ак) к(ак) тогда одна из них должна будет остаться неиспользованной до след(ующей) зимы, ибо здешние большие театры берут новые пьесы только под условием отдачи им права премьеры. Нам, наоборот, страшно (хочется?), чтобы Берлин был вынужден заговорить о Вас, даже вопреки воле, а для этого нет лучшего средства, как овладеть на целую зиму театральную трибуну» (цит. по: Leonid Andreev's Unpublished Correspondence with his First Wife in 1906 / Ed. and Introd. by R. Davies // Scottish Slavonic Review. 1990. Spring. Vol. 14. P. 79–80).

В итоге пьесу поставил только берлинский Малый театр. Премьера состоялась 4 февраля 1907 г. Спектакль выдержал только шесть представлений. В письме к Е.Н. Чирикову Андреев писал: «Ты читал, вероятно, что “К звездам” имели в Берлине средний успех, т. е. попросту провалились?» (*МиИ2000*. С. 49). О провале пьесы в Берлине писатель говорил и приехавшему в апреле 1907 г. на Капри корреспонденту газеты “Русь” Н. Шебуеву. В изложении журналиста Андреев так отозвался о заграничных спектаклях: «Да, “К звездам” шла и в Вене и в Берлине с поразительно противоположными результатами. В Вене с возрастающим успехом прошла до тридцати раз, а в Берлине форменно провалилась. (...) Лично я объясняю это тем, что в Берлине в это время были выборы. Под влиянием победившей партии временно появилось отвращение к русской революции и всему русскому» (*Шебуев Н. Негативы // Русь*. 1907. 30 апр. (№ 119). С. 3).

Среди известных зарубежных спектаклей – постановка в гамбургском театре “Талия” “под режиссерством Леопольда Иснера, знатока русской литературы” (*[Б.н.] // ОбозрТ*. 1912. 9 янв. (№ 1627). С. 14).

27 мая 1907 г. пьеса была показана полулюбительской труппой В.Р. Гардина в Териоках, в Финляндии. Поставил ее В.Э. Мейерхольд, в условном оформлении, в коричнево-серых полотнищах. Рецензент “Биржевых ведомостей”, объясняя выбор места для спектакля, писал: «В.Р. Гардин и Мейерхольд, заарендовавшие териокский театр, воспользовались цензурными условиями вольной Финляндии, и русская публика получила возможность видеть пьесу “К звездам” на нашей сцене» (*Вас. Р. [Раппопорт В.А.] “К звездам” Л. Андреева // БВед*. 1907. 29 мая (№ 9919). Утр. вып. С. 4).

В развернувшейся по поводу спектакля полемике немало претензий было обращено в сторону режиссера. По мнению В.А. Раппопорта, в стилизации Мейерхольда пьеса растеряла свои достоинства: “В одном акте Мейерхольд усаживает всех исполнителей за стол и они, подобно фонографу, произносят длинные монологи, без движения, мертво, безжизненно, и часто едва слышно (...) Появление старухи-нищей, символизированной Мейерхольдом, внесло в постановку дешевый мелодраматизм, как и стоны, бесконечно тянувшиеся в продолжение всех четырех актов. (...) В театре царила тоска, публика рассеянно слушала артистов и удивлялась нелепой постановке” (Там же).

Столь же категорично оценивает работу постановщика спектакля и корреспондент газеты “Русь”: “(...) усердием г. Мейерхольда даже

понятное и удачное в произведении г. Андреева стало непонятным и неудачным” (К. Сцена // Русь. 1907. 29 мая (№ 137). С. 6). При этом для автора статьи «“К звездам” – вовсе не пьеса, а резонерский диалог», где “быт” заменен чем-то “безлично личным”, а поэзия – “грубыми аллегориями” (Там же).

Более чем определенно высказался о спектакле в Териоках и А.Р. Кугель. Он написал: “...впечатление от спектакля подтвердило мое впечатление от чтения этой неудачной вещи” Л. Андреева. “Конечно, тут еще Мейерхольд от себя прибавил”. Приглашать Мейерхольда, по словам Кугеля, “более несчастной мысли нельзя себе представить”, потому что «Мейерхольд, со своею бесплотностью, отрицанием реализма и презрением к жизни, – величайший и прирожденный враг театра, бьющего на современность, на мотивы дня, то есть действительности, быта, жизни... Ведь он живет в чертогах бессознательного, где-то “там внутри” или “там снаружи”, одним словом там, где мы с вами не бывали и где никогда не будем. А ведь от этих пьес, которые цензура не разрешает и которые имеет смысл ставить на финляндской территории, должно веять современным, настоящим, всем знакомым ужасом повседневности» (Туй. 1907. № 22. С. 367).

«Но с другой стороны, – заканчивает свои заметки Кугель, – Мейерхольд – находка для дачного театра. Дачный театр, как известно, не имеет обыкновенно декораций, мебели, бутафории. Все это придется доставать, иногда с большими, непосильными затратами, что причиняет огорчение антрепренерам. И вот тут является на выручку Мейерхольд. Он упраздняет двери, окна, мебель, реквизит. Рапортчика расходов чувствительно уменьшается. Ему нужно всего-навсего три венских стула и одна лампа. Павильон может быть один. Для стилизации он увешан длинными коричнево-серыми полотнищами. Это называется “стилизацией”, но также называется экономией. Я ничего против не имею, потому что обстановка убивает игру актера и, собственно говоря, представляет безумную и совсем ненужную роскошь. Я бы хотел только знать, что означают полотнища, как вообще желал бы найти какое-нибудь касание между моим воображением, как зрителя, и стилизационными “символами” Мейерхольда, чего никогда не нахожу» (Там же).

Почти все рецензенты сетовали на то, что из-за цензурного запрета петербургской публике приходится смотреть пьесу в тесном помещении дачного териокского театра, с плохими декорациями, с актерами, которые плохо знают свои роли, играют вяло.

Автор статьи в “Товарище” с сочувствием писал о том, что из-за цензуры “К звездам” пришлось смотреть не на петербургской сцене, а в дачном театре, что труппа не успела сыгратся, что на сцене жалкие декорации. Но все эти понятные недостатки не мешают видеть главное: “К звездам” – “пьеса, чуждая тенденций, ее главное – это высокий гуманизм, чистый и прозрачный, как горный воздух” (Ч. Театр в Териоках: “К звездам” Леонида Андреева // Товарищ. 1907. 30 мая (№ 279). С. 6).

Ч. пишет: «Доктринеры нового христианства обвиняют Леонида Андреева в том, что он не знает Бога, но поэт влагает в уста своего

героя, Сергея Николаевича, свой ответ: “Я его не знаю – но я его люблю...” И вчера на подмостках летнего балагана, несмотря на примитивность постановки и наивность игры, горел огонь настоящей любви к Неведомому Богу, и проклятия небу звучали упреком земле, еще неокрыленной, еще неспособной лететь навстречу свободному и вечному солнцу...» (Там же).

Несмотря на особые привилегии Финляндии, спектакль был все же запрещен местным лендсменом, напуганным тем, что революционная пьеса привлекает слишком много публики из Петербурга. Не увенчались успехом и хлопоты антрепренера о разрешении его труппе играть пьесу в столице или совершить турне по провинции.

Летом 1907 г. состоялась премьера в Харбине. В одной из рецензий на спектакль Художественно-артистического театра Губанова отмечалось, что роли Терновского, Поллака, Житова “прекрасно изображены гг. Абрамовым, Незнамовым, Деоша и Шорштейном”. Маруся, по мнению корреспондента, “вышла очень бледной в исполнении г-жи Надеждиной {...} Остальные исполнители были очень хороши” (Новый край. Харбин, 1907. 12 июля (№ 149). С. 3–4).

Автор “Маленького фельетона”, опубликованного на следующий день в той же газете (*Отголосок*, Маленький фельетон: По поводу пьесы Л. Андреева “К звездам” // Новый край. Харбин, 1907. 13 июля (№ 150). С. 3), настаивал на “повсеместном неуспехе” пьесы Андреева, объясняя его тем, что все действующие лица из молодежи – “сплошь отрицательные типы”. Только профессор Терновский, считает критик, – положительный тип: “Как трогательно спокойна речь этого астронома, как чиста и прекрасна незлобивая душа, поглощенная исканием вечных идеалов!” Терновский “совершенно затмевает и уничтожает фигуры злобной, односторонне настроенной молодежи {...} Вот он глашатай вечной правды, вот он незлобивый христианин”. По мысли автора фельетона, досадное чувство у зрителя вызвали несколько финальных фраз Терновского, в которых он сочувствует революции. Они “звучат диссонансом со всей спокойной фигурой этого лица. Эти фразы – ложка дегтя...” (Там же).

11 декабря 1907 г. “К звездам” была поставлена в бенефис актрисы З.М. Славяновой в Городском театре Самары. Спектаклю предшествовало обсуждение пьесы, состоявшееся в аудитории коммерческого училища. По сообщению корреспондента “Городского вестника”, «А.А. Смирнов прочел свой реферат на тему “Восстановление Храма” (оптимизм Л. Андреева – пьеса “К звездам”)»; “Автор реферата талантливо разработал избранную им тему” (*В.П. Реферат А.А. Смирнова // Городской вестник. Самара, 1907. 11 дек. (№ 262). С. 3*).

Репортеры самарских газет отмечали “тонкий, чуткий выбор пьесы” г-жой Славяновой, высокий культурный уровень провинциальной публики, сумевшей оценить столь сложное произведение. Корреспондент “Голоса Самары” указал на “две притягательные силы”, которые “собрали во вторник полный зрительный зал” и “содействовали шумному успеху спектакля”, – это “бенефис талантливой любимицы публики и

новая, не шедшая еще на самарской сцене пьеса” (Б. Городской театр: Бенефис З.М. Славяновой; “К звездам”, пьеса в 4-х действиях Леонида Андреева // Голос Самары. 1907. 13 дек. (№ 260), прилож.).

“Роль Маруси, – продолжал автор статьи, – была блестяще, с громадным нервным подъемом и глубоким пониманием типа, передана бенефицианткой. Последний монолог ее в 4 акте был покрыт целою бурей долго не смолкавших аплодисментов. Успех ее вполне заслуженно разделяли г. Павленков в роли Терновского и г. Волохов (молодой ученый Лунц). Прекрасный тип Пети дал г. Болеславский (...)” (Там же).

Автор еще одной рецензии на спектакль также отметил достоинства игры Славяновой: «Безусловно хороша была лишь бенефициантка, детально отделавшая роль Маруси (...). Чувствовался энтузиазм, подъем, “полет”, у г-жи Славяновой превосходные внешние данные для таких чарующих образов и красивый жест» (Н.Ш. “К звездам”, пьеса Л. Андреева // Городской вестник. Самара, 1907. 14 дек. (№ 265). С. 3).

Успехи других артистов и режиссера показались рецензенту средними. По его словам, «неплохо играли Г. Каширин (Трейч), г. Волохов (Лунц), г. Белостоцкий (Поллак). Недурны были бы и остальные, если бы они более твердо знали свои роли. Неожиданно огорчил талантливый г. Павленков, который не совсем понял своего героя, в его игре не было перехода от “холода” к оттенкам нежного лиризма четвертого акта» (Там же).

Сам Л. Андреев ни одного из упомянутых спектаклей не видел и оценки им не давал. В интервью корреспонденту газеты “Сегодня” он признается, что впервые свою пьесу на сцене он увидит только в 1907 г. и это будет “Жизнь Человека” в постановке Мейерхольда: “Случилось так, что эти два года я не мог видеть ни одной из своих пьес. За границей, когда я бывал в одном конце Европы, мои пьесы ставились в другом. А в Териоках, в ужасной обстановке, я не решился смотреть” (Старый воробей [Соляный П.М.]. Л. Андреев о Мейерхольде // Сегодня. 1907. 20 сент. (№ 328). С. 3).

Суждения о самой пьесе отличались резкой полярностью. В Литературно-художественном кружке А.А. Смирнов-Треплев выступил с рефератом о пьесе, названном “Союз с небом”. Из газетного отчета явствует, что народу было мало, доклад длинен, читался скороговоркой. «Спасла доклад оригинальная точка зрения Треплева на пьесу Андреева. В этой пьесе он видит поворот в творчестве Андреева (...) “К звездам” – возвышенное произведение» (Н.Н. В кружке // Вечерняя заря. 1907. 3 янв. (№ 111). С. 3).

По словам автора публикации, докладчику возражал только Б.А. Грифцов, для которого “К звездам” – “одна из слабых вещей Андреева, лишь попытка драматического построения, а не художественное произведение”. Другой оппонент – Е. Жураковский “ограничился заявлением, что у него у самого уже написана и даже напечатана статья о произведениях Андреева (...) и что в этой статье он развивает взгляды, подобные взглядам г. Треплева (...)” (Там же).

А.Р. Кугель увидит в пьесе черты морализаторства и резонерства. Правда, он признает, что «литература наша состоит сплошь из резонеров. Театральным читателям должно быть это особенно понятно. Толстой давно уже резонер, Горький – резонер, Андреев – резонер. Его “К звездам” – по-моему, скучная, вымученная, чванная и надутая пророческая вещь, в которой почти не чувствуется теплых, мягких красок художника. Я смотрел эту пьесу в териокском казино, прозванном мною “театральным порто-франко”<sup>37</sup>». В полутора часах езды от Петербурга, на финляндской территории, открылся русский театр, содержимый Гардиным и избавленный от цензурных придинок. Там можно ставить пьесы, не справляясь с цензурой. Для начала и была поставлена пьеса Л. Андреева “К звездам”. Цензура нашла пьесу революционной. Я ее нашел просто надуманной и совершенно не согретой ни воображением, ни чувством» (*Ното новус* [Кугель А.Р.]. Заметки // *ТуИ*. 1907. 3 июня (№ 22). С. 365–366).

«Если “К звездам” произведение искусства, то Пантеоном искусства следует признать Хрестоматию избранных мыслей и изречений, – продолжает Кугель. – И если “К звездам” играть в театре, то я не вижу причины, почему не разыгрывать “Диалоги” Платона. Ведь уж во всяком случае Платон и Сократ рассуждали глубже и остроумнее Л. Андреева. От произведения Андреева веет каким-то талмудизмом, каким-то ковырянием в буквах, какой-то схоластикой. Революционная эпоха, а в особенности стремление пропеть гимн революции, само собой понятно, еще более подчеркнули свойственную Андрееву склонность к пророчеству, резонерству, сухой абстракции. Такие эпохи и такие настроения могут дать толчок только лирику, поэту непосредственного чувства. Но не думаю, чтобы Андреев притязал на лавры лирика» (Там же. С. 366).

Рецензент консервативной газеты “Россия” Н.Н. Рейхельт позволяет себе откровенную брань, называя драму “вороной в павлиньих перьях, лягушкой, раздувающейся в слона. Резкая и грубая тенденциозность, яркие и утрированные положения – вот отличительные качества произведения г. Андреева, этого модного панегириста революции” (*Н. Лнд* [Рейхельт Н.Н.]. “К звездам”, драма г. Леонида Андреева // *Россия*. 1907. 1 июня (№ 464). С. 4).

“Действие пьесы происходит как бы вне времени и пространства, – продолжал Н.Н. Рейхельт. – Получается не пьеса, а какая-то вычурная и кровожадная тенденциозная сказка, в которой даже в самых рискованных местах вы должны верить автору на слово и соглашаться с ним, что в долинах свирепствуют варвары и кровопийцы, а здесь в башне сидят святые мученики” (Там же).

Литераторы из неохристианского лагеря пьесу оценили также весьма негативно. З. Гиппиус в своей статье “Братская могила” назовет “К звездам” “самой слабой, уже не слабой, а прямо позорной, пошло-грубой до скверности” вещью (*Крайний Антон* [Гиппиус З.Н.]. Братская могила: Леонид Андреев. Рассказы (...) // *Весы*. 1907. № 7.

<sup>37</sup> Свободный порт (*итал.*), зона, свободная от уплаты пошлины.

С. 57–58). «Драма, кажется, написана давно, – продолжает Гиппиус. – Во всяком случае, прошло достаточно времени, чтобы опомниться и, если не уничтожить, то спрятать рукопись в стол. А он ее печатает и выпускает! Как мало друзей у русского литератора! Никто ему вовремя не даст душевного совета! Единственная недурная вещь Андреева в его сборнике – это рассказ “Губернатор”, испорченный только тем, что неизменно портит нашу последнюю беллетристику, – тем, что это – “картинка революционного времени”. Да, нечего себя обманывать, нечего скрывать: революция не удалась... в литературе. Я это утверждаю; и как литератор – печалюсь немного, но как революционер – радуюсь: ведь это может означать, что революция наша еще не кончилась, не отлилась в форму и не застыла, она – еще не искусство, она – еще только жизнь. Бесчисленные и упорные попытки ввести ее в литературу – лишь вредят ей, ей самой, и вредят литературе: потому что кто за эту задачу теперь ни берется, – всякий, независимо от своего художественного таланта, дает, непременно, бездарную вещь. И революция, преподнесенная под соусом лже-искусства, невольно раздражает, незаметно надоедает. Повестям, рассказам, поэмам и трагедиям наступает время, когда проходят времена прокламаций. Что-нибудь одно из двух» (Там же. С. 58).

Далее Гиппиус ставит вопрос о том, “а прошли ли эти времена?” – и отвечает на него отрицательно. Характеризуя произведения, публикуемые в следующих сборниках “Знания”, в том числе и роман “Мать”, она негодует: «Какая уж это литература! Даже не революция, а русская социал-демократическая партия сжевала Горького без остатка. Я еще помню времена Великого Максима, “властителя дум”, и бесчисленных “подмаксимков”... Был же в нем писатель. А теперь, посмотрите, после воза всяких “Дачников”, “Варваров”, которых трудно прочесть и нельзя упомянуть, – последний шедевр...» (Там же). Так иронически называет критик “Мать” М. Горького и заключает: “Над всеми этими литературными произведениями, революционными и пустяковыми, над талантливыми авторами и полуграмотными, – стоит общий чад русской некультурности...” (Там же. С. 59).

Близка к оценке З. Гиппиус и разделявшая многие ее воззрения Зинаида Венгерова. В большой статье, посвященной в основном “Жизни человека”, она попутно высказалась и о пьесе “К звездам” (З.В. [Венгерова З.А.] Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. Кн. 1. СПб. 1907 // ВЕ. 1907. Кн. 5. С. 371–376). «В последние годы, – пишет З. Венгерова, – Леонид Андреев сосредоточился на драматическом творчестве. Оно составляет у него как бы поворот к большей созерцательности, большей идейности, в противоположность прежнему захлебыванию мрачными картинами и фактами. В драмах преобладает идеология, сталкиваются разные мирозозерцания, борются разные отношения к жизни. Но и тут перемена только кажущаяся, и маска мыслителя оказывается неудобной для бреда Л. Андреева. Она каждую минуту спадает, и перед нами – искаженное от животного крика лицо.

В драме “К звездам” мудрости “звездочета”, для которого судьба отдельных людей – безразличная подробность в жизни миров, которые

он изучает в своей обсерватории, – противопоставляется человек с живой кровью, идущий от холодной науки к живым страданиям людей. В пьесе, очень рассудочной, наименее художественной из всех драм Л. Андреева, – наука, активная совесть революционеров, и пассивные страдания, “крик обиды” (в лице еврея, свидетеля погромов) – как бы делят мир между собой. Но наука занимает фальшивое положение, потому что она берется не за свое дело: вместо того, чтобы только изучать познаваемое и увеличивать опытное знание, она хочет стать совестью мира, указывать пути духу – и потому оказывается беспомощной перед страданием человеческим. Но и других, в том числе сраженного безумием революционера, побеждает жизнь, – и опять драма духа кончается нестройным криком. Позитивизм Л. Андреева, который не видит в явлениях ничего, кроме их внешней правды, кроме надрыва, – звучит резким диссонансом, как только он подступает к сложности трагедий духа» (Там же. С. 373–374).

Не менее резким будет отзыв о пьесе “К звездам” и Валерия Брюсова. С его точки зрения, драма Л. Андреева оказалась «гораздо ниже своей славы и вообще произведением заурядным. Сила Л. Андреева в воссоздании темной, стихийной жизни души, в умении передать читателю ощущение ужаса перед скрытыми “безднами” бытия. В чисто реалистическом построении драмы Л. Андрееву негде было выявить этой стороны своего творчества, а настоящего дарования драматурга у него не оказалось. “К звездам” – ряд плохо связанных сцен, почти без всякого действия, где выведены довольно шаблонные типы революционеров. Образ астронома Терновского, ученого, всецело преданного науке, не удался автору, вышел неглубоким, условным, напоминающим подобные же типы в романах Жюль Верна. Мы думаем, что Л. Андреев, бесспорно самый значительный из русских новеллистов наших дней, напрасно вступает в не свойственную ему область драмы» (*Пентаур [Брюсов В.Я.]* О книгах. Сборник Знания. Х. СПб. 1906 // Весы. 1906. № 6. С. 83).

В своей обобщающей статье о творчестве Андреева “В обезьяньих лапах” Д.С. Мережковский резко отрицательно оценивает как идеи, так и стилистику пьесы. Цитируя слова из монолога Терновского: “Разве умер Джордано Бруно?”, он с возмущением писал: «Еще бы не умер! Издох, как пес, хуже пса, потому что животное не знает, что с ним делается, когда умирает, а Джордано Бруно знал и то, что “лучше быть живым псом, нежели мертвым львом”. Перед несомненною “гниющей массой” что значит сомнительное нетление в славе, в памяти человеческой?.. Утешать таким бессмертием все равно что кормить нарисованным хлебом: пустая риторика или злая шутка» (*Мережковский Д.С.* В обезьяньих лапах // *РМ.* 1908. № 1. Отд. 2. С. 80).

Критик пишет, что «“К звездам”, кажется, единственное произведение Андреева, в котором действующие лица не только вопят и скрежещут зубами, но и беседуют». Но их беседы и изречения рожают у него вопрос и об уме самого Андреева, и о том, “знает ли он или не знает, что его герои одарены нечаянным и самоубийственным остроумием Козьмы Пруткова”. Далее Мережковский находит в сочинениях

Андреева “красноречие дурного вкуса”, “революционную казенщину, которая хуже правительственной”, «стиль арапчеевских казарм в стиле “военной диктатуры пролетариата”» и так заканчивает этот пассаж: «Горько сознаться, что в русской революции дела, достойные титанов, совершаются под песни пигмеев, под такие гимназические вириши, как “Вставай, поднимайся, рабочий народ”. Неужели наша свобода родилась глухонемой, или это еще древнее косноязычие рабов?» Но больше всего не устраивает Мережковского то, что Андреев, как бы испугавшись “вопроса о чуде в новой религии (...) повернул назад к старой позитивной религии без чуда”. В романтической философии Сергея Николаевича Мережковский находит “отвлеченную религиозно-позитивную путаницу”, “религию человечества без Бога”. И это его не устраивает, но он выражает надежду, что когда-нибудь Л. Андреев вернется к “мистической теории прогресса”. «И как хотелось бы, – пишет Мережковский, – чтобы он, первый в русской революционной общественности вспомнивший о Христе, первый же и пришел ко Христу. Как хотелось бы, чтобы он понял – да, может быть, и понял уже, – что его “человек” вовсе не сверхчеловек, не титан, не богоборец, а маленький, голенький ребенок, украденный у матери хитрым чудовищем» (Там же. С. 89).

Почти во всех статьях и рецензиях будет обсуждаться вопрос о причинах перехода Л. Андреева к новому для него жанру драматургии, та или иная связь драмы “К звездам” с “Детьми солнца” М. Горького, сущность исследуемого конфликта, отношение к революции и характер нового этапа в творчестве писателя. «Я не знаю, – писал А.В. Луначарский в статье о “К звездам”, – как самая важная публика – большая публика, встретит драму, не покажется ли ей среди революционного шума и резких очертаний социального вопроса эта драма слишком критической, слишком сентиментальной, слишком внутренней и... слишком интеллигентской? Это очень может случиться. Но если даже сейчас это будет так, то пройдет время и ее оценят. Она из прочных. Ее материал долго не потеряет цены. Не все испытывают революцию, как обострение философских внутренних запросов, но художнику она именно позволяет подняться выше, чем он держался обыкновенно, чем держится обыкновенно художественно-философская мысль, и это остается» (*Луначарский А. “К звездам”*: Новая драма Л. Андреева // *Вестник жизни*. 1906. № 8. С. 14).

Называя драму Андреева “явно философской пьесой”, критик в то же время отказывает ей в художественной убедительности. Если брать ее “как драматическое произведение”, пишет он, то “необходимо сказать, что в пьесе нет действия, есть разговоры, действия за кулисами, лица выговариваются на сцене, а живут не на сцене. Драм так писать нельзя. Но, быть может, публика будет слушать с интересом. Почему не ставить на сцене философские диалоги? Это хорошо. Только это не драмы. Но, повторяю, это маловажно именно потому, что в пьесе есть большие думы, большие чувства. Она из хорошего металла. Что за дело, что из него сделано не совсем то и не совсем так, что и как мог бы сделать Шекспир, а то, может быть, и просто Сарду? Дорогой металл налицо.

Андреев напряженно прочувствовал большую и интересную гамму мироощущений. Он пришел к выводу. Думает или уверяет, что пришел. Вывод гораздо менее ценен, чем материал. Но пусть каждый сделает свой, – материал ценность, это важно” (Там же. С. 12). Все же, несмотря на художественную слабость пьесы, Андреев, по словам Луначарского, привел своих читателей, “как умел, на вершины активной философии жизни, философии всечеловеческого труда, человеческого преображения мира”. С этой вершины – гора, где построен храм Урании, кажется “тихим пригорком, лежащим далеко в стороне от нашей большой дороги” (Там же. С. 14).

Правда, позже критик отнесет “К звездам” к числу пьес, которые “несут значительное обогащение для русской драматургии, которая на наших глазах вступает в период расцвета”. И “настоящая причина этого расцвета – революция”. “Пройдут десятилетия и о расцвете русской драмы в эпоху начала русской революции (...) будут говорить как о чем-то несомненном” (*Луначарский А.В.* Критические этюды. Русская литература. Л., 1925. С. 153).

Если Луначарский увидел в “К звездам” прежде всего философские диалоги и попытку примирить между собой “любовь к ближнему и любовь к дальнему”, а трактовку революции и образы революционеров не слишком художественно удачными и убедительными, то В. Львов-Рогачевский, напротив, оценил в ней именно великолепное, по его мнению, изображение революции и революционеров. «При чтении драмы “К звездам” читатель должен помнить, – писал он, – что за сценой происходит революция, не русская революция, а “революция вообще”. Где-то, в какой-то абстрактной стране восстал за новый мир какой-то абстрактный народ...

Художник говорит о ратуше, которой овладел пролетариат, о министре, подавшем в отставку, о президенте, отказывающем в помиловании, о штернбергской тюрьме, куда запрятали Николая, о чужой стране и о чужом народе, но под “революцией вообще” не трудно узнать русскую революцию: слишком горячо реагируют на события все действующие лица, русские революционеры, слишком много чисто российских подробностей.

Читатель не верит художнику, не верит в существование ратуши и президента...

В самом деле, все эти пулеметы и виселицы – слишком яркие атрибуты русской революции...

Там расстреливают без суда даже раненых... Там скрывают имена взятых в плен, чтобы тихонько прикончить... Там горы трупов, убивают стариков, женщин, детей, там избивают зверски в тюрьмах, там погромы и голод – все черные тени земли – ну разве это не российская действительность?

Там люди-герои мужественно, с радостной песней идут на смерть – разве это не русская революция?

Там люди-звери избивают цвет страны “и они злы и страшно глупы” – разве это не русское правительство?

Невольно бросается в глаза подробность, заимствованная художником из жития одного из русских революционеров.

Помните, Трейч рассказывает о повешении Занько и говорит между прочим: “Он храбро встретил смерть, хотя с ним поступили подло. Он просил, чтобы при казни присутствовал его защитник... Ему обещали и обманули его, а в последнюю минуту он видел только лица палачей и звезды”» (*Львов В. Литературные заметки: К жизни: (По поводу драмы Леонида Андреева “К звездам”) // Обр. 1906. № 7. Отд. 2. С. 48–49.*)

Подчеркивая, что речь, в сущности, идет о России и русской революции, критик подводит итог: “Это было в России и так поступало русское правительство” (Там же. С. 49).

«Вообще наши художники держат читателя на большом расстоянии от положительных революционных типов, – продолжает В. Львов. – М. Горький едва, едва намечает образы представителей революционной молодежи в “Дачниках” (Соня и ее жених), в “Варварах” (Степан и т. д.).

Где-то что-то делают – этого достаточно, остальное должно дополнить пылкое воображение читателей» (Там же. С. 48).

Напротив, Л. Андреев прямо выводит на сцену русских революционеров. Это и Верховцев, и Анна, и Трейч. Конечно, их образы “далеко не исчерпывают все разнообразие революционных типов” (Там же. С. 57), но позволяют все-таки критику попытаться выявить индивидуальные черты каждого. В Анне он выделяет крайнюю уозость, прямолинейность и нетерпимость. Образ ее мужа Верховцева представляется критику очерченным более сложно и определенно. Это человек команды. Он настоящий революционер. Вне революции ему просто нечего делать. Поэтому он “и не может представить себе человека, не занимающегося революционной деятельностью” (Там же. С. 58).

Но самые большие восторги у критика вызывает Маруся. «Маруся – это лучший образ во всех произведениях Леонида Андреева, да и во всей русской литературе немного найдется ему подобных.

Вересаевская Наташа (героиня повести В.В. Вересаева “Поветрие” (1897) Наташа Чеканова, молодая марксистка. – *Сост.*) как-то ступшевывается в ослепительно ярком сиянии этой женщины-революционерки. Быстрота и энергия Веры Николаевны Фигнер, смелость и находчивость Софьи Перовской, обаятельная грация тургеневской женщины сочетаются в одном жизнерадостном образе Маруси.

Она не говорит, а поет, вся ее жизнь, каждый шаг – это песня, лучшая песня поэта» (Там же. С. 59). С точки зрения Львова, “Маруся – единственное действующее лицо всей драмы” (Там же. С. 60). “Всюду, где появляется Маруся, она вносит бодрость и радость; в ней в широкой степени развита инициатива, каждому она умеет найти его полочку, каждого втянет в работу. Это революционерка в лучшем смысле этого слова” (Там же). «Когда-то поэт Бальмонт бросил клич: “Будем как солнце”, обращенный к одиноким избранникам, оторванным от человечества. Жизнь Николая, Маруси, Трейча – это призыв, обращенный к миллионам, и благо тем, которые его услышат и загорятся божественным огнем!» (Там же. С. 61). Всех представленных художником

революционеров – начиная от Анны и кончая Трейчем – “объединяет страстная любовь к жизни, к ее теплу и свету, и сами они несут в жизнь и свет и тепло” (Там же).

Большое впечатление произвел на критика образ Николая Терновского. В этом персонаже он увидел “интересную и характерную особенность драмы”: зритель видит на сцене фигуры, без которых свободно можно было бы обойтись, и в то же самое время художник скрывает от зрителя главное действующее лицо, сына ученого Терновского Николая Сергеевича. “Этот революционер – центральная фигура, о нем все говорят и думают, он – душа драмы, или половина души матери, Маруси, Трейча, даже Анны, и в то же время, как древнего Бога, его закрывает облако. Николая мы видели в душе действующих лиц, но его нет на сцене.

Благодаря такому приему фигура Николая, как снеговая вершина, тонущая во мраке, вырастает в величественной загадочный образ, но в то же время крайне неопределенна и фантастична” (Там же. С. 47–48). «Таких ремесленников, как Анна и Верховцев, – тысячи, – пишет далее Львов, – таких творцов – как Трейч и Маруся, – десятки, таких, как Николай, – вдохновенных борцов и вдохновителей – единицы. Николая, живого человека, могут убить, Николай – знамя останется. Этот революционер – человек, которому ничто человеческое не чуждо, и в котором “все гармонично и стройно”» (Там же. С. 61).

Несмотря на то что действие драмы происходит наверху, в астрономической лаборатории, “гул революции, ее проклятия и стоны, ее надежды и поражения, ее мечты и кровавый подвиг врываются властно сюда” и придают героическое звучание драме, утверждает критик.

Как и А. Луначарский, В. Львов не видит в пьесе Л. Андреева настоящего драматического произведения. С его точки зрения, современное увлечение театром и драмой вообще просто мода. «Наши художники, – утверждает он, – пишут “картины”, пишут “сцены”, пишут “диалоги”, пишут произведения в драматической форме, а все-таки не удается им написать ни одной хорошей драмы; они все пробуют. Сегодня неудача, завтра неудача, авось явится, наконец, и умение...» (Там же. С. 45).

«Право, без преувеличения можно сказать: неудачная драма стала трагедией русской литературы. Литературное поле усеяно мертвыми костями “сцен” и “картин”. Пора бы дать отдых себе и читателю» (Там же. С. 47). Вот и Л. Андреев, “наиболее талантливый и глубокий художник”, тоже стал “жертвой эпидемии”. Но «если сравнить пьесы “Дети солнца”, “Варвары”, “Голод”, “Мужики” с драмой Л. Андреева, то нельзя не прийти к заключению, что последнее произведение – наиболее содержательное, наиболее интересное: перед читателем проходит целая галерея характеров, правда, едва, едва намеченных, характеров новых в нашей литературе и близких переживаемой эпохе (...)» (Там же. С. 47).

По мысли критика, «художник затрагивает тот же вопрос, какой затронул и М. Горький в его драме “Дети солнца”. (...) Нам даже казалось, что пьеса Л. Андреева написана как бы в ответ на пьесу М. Горького». При этом “самая постановка вопроса у Л. Андреева гораздо глубже, но

самая форма произведения помешала художнику создать законченные характеры и разрешить поставленный вопрос” (Там же. С. 47). “Ученые, идущие к звездам, и революционеры, ушедшие к людям, по воле художника встречаются лицом к лицу и все четыре действия проводят целые недели под одним кровом”, – констатирует критик. – Но “не ищите действия на сцене – здесь сценой является человеческая душа, внутренний мир человека; этот внутренний мир раскрывается перед духовным взором зрителя на огне исторических событий, точно раковина, содержащая драгоценный камень” (Там же. С. 51).

Знаменитого ученого Сергея Николаевича Терновского, всецело посвятившего себя науке и гордо написавшего на фронтоне своего храма: “Здесь попирается низменная земля, отсюда идут к звездам”, в то же время являющегося отцом революционеров, всецело отдавших себя “земли мученьям”, Верховцевы называют “звездочетом” и его взгляды приписывают тому, что он находится “на содержании у правительства”. Но сам художник, утверждает Львов, “относится к Сергею Николаевичу без всякой иронии” (Там же. С. 62). “Астроном Л. Андреева – это ответ на образ М. Горького”. «М. Горький создал своего ученого химиком и обвинил его. М. Горький создал бытовую фигуру одного из “детей солнца”, рыхлую, добродушную, неподвижную фигуру генеральского сына, уходящего от жизни и знающего только “свои колодки”». А Л. Андреев “создал философский образ гордого мыслителя-борца, который умеет думать обо всем, о прошлом и будущем, о земле и о звездах – обо всем. И в тумане прошлого он видит мириады погибших, и в тумане будущего он видит тех, кто погибнет; и он видит космос, и он видит везде торжествующую жизнь” (Там же. С. 62).

По мысли В. Львова, пьеса “К звездам” – новый этап в творчестве писателя: «Драма Леонида Андреева – это гимн жизни. В его творчестве где-то позади осталось “Мертвое царство”, пустыня с одиноким и тоскующим человеком», каковым еще недавно оно представлялось критике (см.: *Львов-Рогачевский В.* Борьба за жизнь: Сб. статей. СПб., 1907. С. 103–168). Если бы прежние герои Л. Андреева «услышали монологи Сергея Николаевича, они бы запели радостным хором: “Да здравствует жизнь!”» (Там же. С. 65).

Подобно Львову, Евгений Аничков тоже находит в “К звездам” прежде всего изображение русской революции. Он отмечает символический характер андреевской драмы, пишет о том, что действие ее происходит “вне пространства и времени”, “где-то, где горы”, что собственно действия в привычном смысле в драме нет и она сосредоточена на рассуждениях. Но это, с его точки зрения, нисколько не мешает ее актуальности и художественной убедительности.

“Символизм и реальность, свобода вымысла и жизненность образов уже давно сочетались в современном искусстве, – утверждает критик. – Новая драма Леонида Андреева широко пользуется этим приобретением.

И зачем реальность? Особенно теперь, в эти годы, когда жизнь развертывала перед нами такую потрясающую правду, что никакой вымысел не может с ней сравниться”. Цитируя слова Маруси о том, что

“привычка – это что-то вроде сумасшествия”, критик присоединяется к этой мысли: “Мы испытываем это. Мы познали ужас этого сумасшествия, когда живем и движемся среди убийств и казней и не содрогаемся всем существом, когда мы говорим, что все это можно пережить, даже надо пережить. Притупилось внимание к жизни; привычен стал жизненный ужас. Не действует.

Мы знаем, слишком знаем ужас жизни. Оттого, читая второй и третий акты драмы Андреева, где замедляется действие, чтобы стал ясен зрителю душевный склад действующих лиц, не чувствуется потребности в большей отделанности и в большей определенности” (Аничков Е. “К звездам” Леонида Андреева // Страна. СПб., 1906. 4 авг. (№ 125). С. 2).

“Воображение читателя или зрителя доканчивает образы и воплощает их. Они так знакомы. В самой жизни прошли перед нами вот такие прямолинейные, озлобленные и узкие революционеры, как Анна и ее муж, Верховцев, такие остающиеся таинственными Трейчи, фантазеры, в фантазиях которых есть та странная черта, что и при своем, именно явном безумии, они как-то осуществляют, и такие чистые, пламенные, красивые во всех своих порывах и во всех своих движениях Маруси, – это украшение русской революции, неизвестное никакой другой, эти запуганные погромами, взволнованные и страстные евреи, похожие на Лунца, и эти равнодушные, хотя и добрые Житовы, любопытные и растерянные. Знаем мы и Поллаков, аккуратных, родившихся ровно в такой-то час и столько-то минут, распределивших свою жизнь так точно, что никакая революция не способна сбить их, и потому среди общего переполоха продолжающих вить свое гнездо (...) Знаем мы и вот таких матерей, как Инна Александровна. Это даже один из удачнейших образов” (Там же).

«Так мучительно знакомы и эти два настроения: бодрое и полное надежд, как во втором акте, когда хочется петь и веселиться только потому, что Трейч сказал увлекательное слово, только потому, что “придумали новый план”, и потом в третьем акте чувство мучительно нудное, когда приходят лишь скверные вести, а добрых все нет, и нет дела, нет успокоения борьбой, нет движения, и не сверкает надежда» (Там же. С. 2).

«“К звездам” – такое же злободневное, такое же глубоко общественное произведение, как и “Красный смех”, – утверждает Аничков. – Но это уже вполне законченное, продуманное до конца создание Леонида Андреева. Оттого оно – à thèse. Это почти притча. Драма эта хочет нечто показать. Леонид Андреев вылил в ней свое тревожное, до боли, до неистовства истомленное раздумье над современными событиями. Оттого это самое личное из всех его произведений. Он сказался здесь весь. Теперь мы знаем его. Мы знаем теперь не только его талант, его искусство. Мы знаем теперь и его заветные мысли. Мы знаем его как человека.

И – hinc itur ad astra<sup>38</sup>.

<sup>38</sup> Следовательно, мы идем к звездам (лат.).

Привыкнуть к ужасу жизни – безумие. Но пересилить его – подвиг. Так должен был начать думать автор “Красного смеха”.

И тогда – прочь суетные заботы. Смело за работу художественного воспроизведения и раздумья (...) Надо не только не потерять себя среди общего разгрома, но и более, чем когда-либо, найти себя. В случайных, частных образах открывается великое общее, великий смысл всего нашего существования, великий урок жизни, которым она будет побеждена и направлена в новое русло, которым создается жизнь, “где уже не будет тюрем”. Вот душевное настроение, сказавшееся в драме “К звездам”» (Там же).

Приветствует и по-своему объясняет обращение к драматургии “одного из самых интересных и, пожалуй, наиболее талантливых молодых писателей-беллетристов” критик Ю. Соболев. Для него вступление Л. Андреева “на новый путь драматурга” – закономерный этап в его развитии. “Пытливый психолог-писатель”, он постоянно погружен в “молчаливые тайники сокровеннейших дум и душевных волнений человека” и потому “берется за новые формы, пробует иные, может быть, более яркие приемы. Вот эта-то жажда, это страстное искание” и заставило г. Андреева выступить “с драматическим произведением”. Критик категорически отвергает мысль о влиянии на Л. Андреева Художественного театра. Сам характер творчества Л. Андреева влек его к драматургии (*Соболев Ю. “К звездам”: (Критический этюд) // Южная жизнь. Харьков, 1906. 25 окт. (№ 8). С. 2; 29 окт. (№ 11). С. 2–3).*

В этой первой его пьесе Андреева, по-видимому, занимает один из “проклятых вечных вопросов”: об отношении “избранников, баловней судьбы”, “детей солнца” к обыкновенным средним “детям земли”. Для Ю. Соболева этот вопрос начинается с “Бури” Шекспира и продолжается вплоть до “Детей солнца” М. Горького: «Громадное расстояние времени, громадная разница в освещении вопроса, а между тем, дело не выяснено, отношения по-прежнему сложны, пропасть между “детьми солнца” и простыми смертными по-прежнему глубока». Горький тоже не решил вопроса. «Он написал очень яркую, очень сильную и умную вещь, с едкой иронией отнесся к “барскому дитяте, большому ребенку химику Протасову”, показал нам весь ужас жизни Егора, выглянул из пьесы большими испуганными глазами страдальцы Лизы и, желая, верно, разом покончить с больным вопросом, заставил почему-то зло посмеяться над химиком...» Как известно, результат получился иной и зрители “ушли из театра с очень скверным впечатлением после погрома и глубокой жалостью, а не презрением к Протасову” (*Соболев Ю. Указ. соч. // Южная жизнь. 25 окт. (№ 8). С. 2).*

А вот “Леонид Андреев на дело взглянул глубже. Он не пожелал посмеяться над своим Терновским и обрисовал очень мягкими штрихами благородную и умную фигуру астронома” (Там же). Для Ю. Соболева «несомненно, что пьеса Л. Андреева написана красиво и сильно. Идея пьесы глубока и интересна. Символизм Андреева играет здесь главную роль. Терновский, его дети и вообще все персонажи – символы двух вечно борющихся начал в жизни. С одной стороны, – очень яркий

образ представителя отвлеченной мысли, “сына вечности”, как он сам про себя говорит, с другой – ряд фигур, взятых из жизни, лиц, живущих земными интересами» (Соболев Ю. Указ. соч. // Южная жизнь. 29 окт. (№ 11). С. 3).

Достаточно высоко оценил драму Л. Андреева и известный критик Евг. Ляцкий. Он увидел высокий поэтический настрой уже в самой обстановке драмы. “Высокие молчаливые горы, покрытые вечным снегом, завывание ветра, рефрактор, как гигантский людской глаз, похищающий небесные тайны, – все это необычно, оригинально, все это создает настроение и усиливает интерес к драме”, – пишет критик (Ляцкий Е. Сборник “Знание” за 1906 год. Кн. X // ВЕ. 1906. № 7. С. 801). “Словно кусок жизни выхвачен неведомой рукой из самого ее горнила, чтобы показать, что и здесь, высоко над миром, в соседстве с вечностью, она такая же страдающая, страстная, полная борьбы, обманов и лишений, – утверждает Ляцкий. – С большим талантом давая отдельные яркие сцены и жизненные, меткие очерки характеров, автор разбавил их монотонностью длинных рассуждений, холодом надуманности; он словно вылил их из воска и дал застыть в холодном прозрачном воздухе гор, и потому все роковое, ужасное, что подчас в рассказах Андреева бывает так близко человеческому сердцу, здесь только рисуется отчетливо, резко, наглядно, но оставляет читателя безучастным, не шевелит в нем глубоких отзывно-трагических струн” (Там же. С. 802). Эту противоречивость художественной позиции драматурга, которую критик определяет как масштабность, типичность замысла, соединенную с эскизностью исполнения, критик считает главной слабостью драмы.

Кого бы ни изображал в своей пьесе Л. Андреев, профессора-астронома Терновского, занятого проблемами небесных сфер, или его детей, поглощенных революцией, всегда масштаб и типичность замысла, по мысли Ляцкого, ставятся под сомнение эскизностью и неубедительностью исполнения: “Рисует ли Андреев старого астронома профессора – и этот образ у него бесспорно красив, с мыслью, устремленной в вечность, с сердцем, раскрытым тайнам вселенной, среди которых личные привязанности и скорби занимают лишь ничтожную частицу, – но этому образу не хватает жизненной теплоты, энергии, самооправдания в том смысле, что он – не бездушный механизм, воспринимающий течение светил, а живой человек, с живым, заблуждающимся мозгом, с трепещущим сердцем и кровью (...)” (Там же. С. 802). И когда затем Андреев выводит Терновского “из оцепенения и бросает на него луч солнца, от которого он оживает и начинает страдать и любить по-человечески, весь предыдущий образ уничтожается, восковая фигура тает и на минуту все звезды, и луна, и солнце становятся ничто для него перед скорбью о сыне, погибшем жертвою революции” (Там же). Конечно, профессор, спохватывается и говорит о том, что всюду жизнь и что она всегда восполняет утраты, но “читатель ему уже не верит; он увидал в Терновском живого человека, на миг сроднился с ним и не хочет отдать его обратно холодному небу и безучастным звездам” (Там же). То же самое, по мысли критика, можно сказать и о других лицах пьесы. Почти “повсюду

трагичность замысла борется с эскизностью исполнения” (Там же. С. 803). Недурно очерчены, с точки зрения критика, “типичные разновидности деятелей революционной борьбы”, чета Верховцевых, “грубых и самодовольных, из числа людей, заслуги которых тяжело отзываются на окружающих”; и очень хорошо, что их так оттеняет и дополняет “простой, скромный и мужественный рабочий Трейч, в котором так и хочется видеть типичного дружинника недавних массовых событий” (Там же).

Противопоставляя Л. Андреева М. Горькому, Ляцкий пишет о том, что “в пьесе Л. Андреева нет орлов, но есть уже орлята”, так называет свою молодежь Инна Александровна. “Но ассоциации, из которых рождаются эти прообразы, различны у обоих писателей: орлы Горького хищны, жадны до жизненных благ, сильны индивидуализмом своей воли” (Там же. С. 804). Орлята же Андреева – символы иного плана, символы “вскормленных на воле молодых орлов”, которые, когда вырвутся скоро на волю, бросятся не за добычей, а полетят к своим товарищам – спасать и освобождать их. “Маруся у Андреева, – пишет Ляцкий, – является чудным прообразом действенной любви к свободе и людям, и читатель ни на минуту не усомнится поверить ей, когда она говорит, что она пойдет в жизнь и принесет туда, как святыню, то, что осталось от Николая – его мысль, его чуткую любовь, его нежность”, чтобы поддерживать вечный огонь в тех, кто гибнет “за высокую, бессмертную цель” (Там же).

“Литературно-искусная, звучащая в тон современным нашим упованиям на обновление родины” – так охарактеризовал пьесу “К звездам” А. Налимов, заметив при этом, что “драма эта отнюдь не лучший цветок в венке сочинений г. Андреева – беллетриста – лирика и психолога” (*Налимов А. О драме г. Андреева // Пробуждение. 1907. № 3. С. 65*).

Критик увидел в пьесе свойственные, по его мнению, Андрееву “некоторое философствование” и “немало фигуральностей” (Там же). Уделив особое внимание характеристике образа Терновского, Налимов писал, что “вдохновенный и проникновенный” астроном – “целая эмблема разных отвлечений” (Там же. С. 65). Однако “несчастье с Николаем” открывает в Терновском “общечеловеческие вибрации чувств. Он теперь и отец, и муж, и благородный гуманист” (Там же. С. 66). «Терновский у г. Андреева, в конце пьесы, как бы, подымает общее настроение. Призыв “к звездам” восстанавливает духовное равновесие пораженных воинов прогресса. Окрыляет к жизни мечтательного и необычайно восприимчивого юношу Петю. Внушает, что жажда подвигов в человеке неуничтожима. Создает хотя бы и вечно текущий, не знающий традиций – культ героизма» (Там же). По мнению Налимова, «другие “лица” пьесы не “живые образы” и не “иллюстрации умозрений”, а какие-то ходячие разного сорта добродетели (...) подмалеванные наброски вычурных, приподнятых “героев”» (Там же).

Довольно описательны и весьма эмоционально-оценочны две статьи, опубликованные в журнале “Театр и искусство”. По мысли первого критика, пьеса Л. Андреева “обладает незаурядными достоинствами. Драма эффектна. Этого, впрочем, можно было ожидать, зная склонность и способность Л. Андреева к эффектам” (*Сутугин С. [Этингер О.Г.]*

К звездам // *ТуйИ*. 1906. 23 июля (№ 30). С. 461). И эти эффекты новы. “На одной площадке сходятся наиболее социальное чувство и то наше чувство, которое скорбит о скоротечности молодости, красоты и жизни, – утверждает критик. – Петя и Лунц глядят в лицо истинному трагизму жизни; оно не в том, что кого-то убили, а в том, что все люди умрут или состарятся. Драма не в том, что прелестной Эллен стукнуло шестьдесят, а что шестьдесят минет Пете, невесте Поллака (...) всем.

Загадочный древний фатум, трагический рок, каравший одиночек – и то лишь за преступления – пусть бы до какого-то там поколения – какой это не страшный, какой добродушно-романтический бес в сравнении с “неизбежным ходом вещей” – трагическим гением современной драмы» (Там же. С. 462). Фабулы в пьесе нет, утверждает критик, потому “интерес пьесы не во внешней занимательности сюжета”. “Трудно также сказать, чтобы автором с достаточной ясностью, полнотою, а главное, определенностью была выражена так называемая основная идея его произведения. Но может быть, в некоторых случаях неясность до известной степени – является неизбежной, если тема большая, сложная, и добросовестность не позволяет верить в том, что видишь больше света, чем его в действительности проникает” (Там же. С. 463). Андреев не дает основного решения, исчерпывающего вопрос, констатирует критик, “он лишь рисует – талантливо и умно – несколько главных возможностей” (Там же. С. 464).

Многие тирады действующих лиц пьесы воспринимаются критиком как “противовес” уверениям героев Горького, что “все для человека” (Там же). «Я всегда опасался, – поясняет свою мысль критик, что если во главу угла положить Горьковское “все для человека”, то, сколь ни кажется, что оно исходит из чистейшего морального источника – любви к ближнему – в результате, однако, получится далеко не высокий этический уровень. Почему? Да по тому самому, что мораль – любви к ближнему – вовсе не находится на очень высокой ступени этики. Гораздо выше ее любовь к дальнему, наказ миловать скот, и орлиным полетом вздымается над ней буддийская любовь ко всему живому. Свет науки находил до сих пор жизнь во всех новых областях, куда он проникал по мере ее развития. И поэтому профессор Терновский имел право уверенно сказать, что “все живет” и “смерти нет”. А так как жизнь повсюду, то человек ценен не тем, что тоже живет, а постольку, поскольку он творит новую высшую жизнь» (Там же. С. 464–465).

Столь же эмоциональна и риторична рецензия Б. Сильверсвана. Он пишет: «Десятки тысячелетий живет человек, брошенный на ничтожную планету, несущуюся с бешеной скоростью по бесконечному пространству; он живет, не зная зачем, скованный цепью великой тайны, и это незнание – самое страшное, самое глубокое из его страданий. (...) Но он живет... и эта жизнь окружает его целым океаном страданий, страданий иного порядка, но для него столь же нестерпимых и ужасных. Когда он, отвернувшись от неба, опускает свои взоры на землю, – вместо первого великого вопроса “зачем жить?” в его душе встает другой грозный вопрос: “как жить?”» (*Сильверсван Б.* К звездам // *ТуйИ*. 1906.

№ 32. С. 488). Погруженность в тот или иной вопрос и разделяет, по его мнению, людей на “детей солнца” и “детей земли”: “Перед нами два совершенно различных мировоззрения, сопоставленные автором, но не приведенные им к внутреннему конфликту в одном человеке” (Там же). “Кто же из них прав?” – вопрошает критик и констатирует, что “едва ли нужно отвечать на этот вопрос”, но сам по себе он важен, потому что позволяет правильно оценить то, что происходит в стране – “великую революцию, которая не имеет параллели в ее истории” (Там же).

Довольно странным, “неубедительным” произведением оказалась пьеса А. Горнфельду. Он увидел в ней “символическую драму”, образы которой “насквозь абстрактны” (*Горнфельд А.Г. Книги и люди: Литературные беседы.* СПб., 1908. С. 50). При этом “абстрактная драма Андреева призвана быть выражением самой животрепещущей реальности” (Там же). Критик полностью отрицает драматургический талант у Л. Андреева: «Драмы в драме Андреева, разумеется, нет никакой; есть события, есть напряженные состояния, но последовательного, логически изнутри развивающегося движения нет. Нет и характеров, ибо какой же характер могут иметь те бесплотные тени, которые так таинственно и сосредоточенно витают по пустынным и холодным елисейским полям драмы “К звездам”».

“Эта бесплотность необходима, – иронизирует критик, – так как драма должна быть символической. Когда-то полагали, что символично всякое поэтическое произведение; оно заставляет думать, оно способно обнять своими образами бесконечную массу жизненных явлений, которых его создатель и не мог иметь в виду в процессе создания: в этом символичность. Она приходит сама; символичность произведения есть только его жизнь; заботиться о символичности все равно что рисовать картину на экране, вместо того чтобы рисовать ее на стекле волшебного фонаря (...) Теперь символизм достигается по преимуществу неопределенностью” (Там же. С. 50–51). К несчастью, по мнению Горнфельда, «символизм драмы “К звездам” не чужд этой намеренной пустоты. Пьеса скорее жаждет поэтического содержания, чем имеет его. Она откровенно неопределенна, чтобы найти определенность в мысли читателя. Поэтому так бесцветно-прозрачны ее образы, поэтому в ней нет плоти и крови» (Там же. С. 51). Но, по мысли критика, “в ней есть другое. В ней есть публицистика, есть поучение, есть, быть может, признание. Мы переживаем эпоху потрясающего переворота, от насильственной власти которого не могла уйти ничья жизнь, ничья мысль. И, однако, есть стоящие вне революции, есть даже среди тех, кого мы охотно считаем призванными, обязанными и так далее; мы ведь так легко налагаем обязанности” (Там же. С. 51).

Кто же такие эти безразличные, стоящие в стороне? “К звездам” есть ответ Андреева на этот вопрос. Поэтому его драма – “драма о безразличии”. Конечно, в ней есть “непосредственные участники революции”, но они “только аксессуар”. “Средоточие пьесы, ее герой есть тот, чьи проницательные и всеобъемлющие взоры обращены не к залитой кровью и ищущей правды земле, а к бесстрастному небу, к его недосягаемым и

манящим созвездиям” (Там же). В своем анализе основного конфликта пьесы Горнфельд явно на стороне “детей земли”, а не Терновского, прежде всего из-за его отношения к революции, “поскольку он сознательно стоит вне ее и над нею” (Там же. С. 52).

Астроном все проблемы решает с точки зрения вечности. “С точки зрения вечности” – великое слово великого любителя неба остается для Терновского принципом всегда, даже тогда, когда погибает его сын, в судьбе которого как бы воплощается и судьба поверженной революции. «Величаво спокойствие старого рационалиста, – утверждает Горнфельд, – но был другой русский отец, который также лишился сына и которому надлежало утешиться тем же возвышенным аргументом. Быть может, не все забыли злосчастного и смешного штабс-капитана Снегирева – “мочалку” из “Братьев Карамазовых” и его безумно любимого больного Илюшу» (Там же. С. 53–54).

По мнению Горнфельда, “едва ли может быть спор о том, чей образ привлекательнее...” «Даже убежденнейшие поборники небесного мировоззрения, верно, предпочтут ответ иступленного и нелепого штабс-капитана (“Не хочу другого мальчика!” – *Сост.*) возвышенно-спокойному и обаятельно-прекрасному настроению старого астронома», – утверждает критик. По его словам, “близко к издевательствам” то “олимпийское утешение”, которое астроном “предлагает девушке, любившей его погибшего сына”. Но ее гневное неприятие слов астронома «не есть ответ автора, – быть может, потому, что в эти страшные дни он иногда сам чувствовал себя на холодных высотах философии Сергея Николаевича. А если и не так, то он слишком хорошо знает, что эта философия так же стихийно сильна, как и философия борьбы. Мы можем проповедовать, можем убеждать, можем проклинать и издеваться, – мы не устраним того мировоззрения, которое позволяет себе смотреть на всецело захватившую нас общественную борьбу “с точки зрения вечности”».

То, что это возмущает самоотверженных участников борьбы, так же естественно, как то, что борьба эта представляется ничтожною с столь возвышенной точки зрения. Здесь нет логики: здесь есть психология. И оттого Андрееву ясно, что если нельзя логически объединить эти противоположные воззрения, то их можно психологически примирить» (Там же. С. 54).

В каждом из двух лагерей, считает критик, на которые делятся герои пьесы, есть нелепые, есть узенькие и ничтожные, как корректный и ничтожный астроном Поллак, который уткнулся в свои звезды и больше ничего знать не хочет и не может, как революционер Верховцев, который тупо уперся в свою революцию. Между ними пропасть, ибо их поглотили конечные цели, заменившие им идеал. Но есть среди них и те, кто способен видеть дальше других и не терять из виду идеал, погружаясь в сугубо сиюминутные вопросы. Таков в лагере революционеров Трейч, которому понятна позиция астронома Терновского, потому что “сегодняшними победами и поражениями не исчерпана для него революция (...). Он живет ее далеким завтрашним днем” (Там же. С. 56).

“Это примирение на высоте дорого Андрееву, – утверждает Горнфельд. – Оттого точно благоговейные солнечные гимны пифагорейцев звучат мерно сменяющиеся заключительные аккорды пьесы”. Маруся идет в жизнь – и Сергей Николаевич благословляет ее на подвиг. Сам он приветствует своего далекого друга. А мать плачет о погибшем сыне. “Эта молитвенная fuga заражает читателя”. “Пусть драма не удалась Андрееву – ему удалась ее лирика. Драма о безразличии сделалась драмой о бесконечном. Она слишком холодна, чтобы звать к звездам наши чувства, но она зовет к ним нашу мысль” (Там же).

Особое место заняло осмысление творчества Л. Андреева революционных лет на страницах журнала “Мир Божий”, в конце 1906 г. в соответствии с духом эпохи переименованного в “Современный мир”. Журнал этот будет многократно обращаться на своих страницах и вообще к творчеству Л. Андреева и к пьесе “К звездам”. Первым выскажется по поводу пьесы Ф. Батюшков. В большой статье под названием «Театральные заметки. “Дети Солнца” и “К Звездам”» (МБ. 1906. № 7. Отд. 2. С. 15–29) Ф. Батюшков укажет на то, что человечество издавна “распадается на два класса – людей, преданных интересам реальной жизни, людей дела и действий, и живущих по преимуществу отвлеченными интересами, созерцателей, идеологов, людей мысли, для которых жизнь – раскрытие, созерцание и воплощение в той или другой форме вековых идей. Между этими двумя классами, из которых один составляет высшую интеллигенцию – чистые ученые, художники, мыслители, религиозные созерцатели, другой – все остальное человечество, преданное интересам практической жизни, проявляется порою тоже своего рода антагонизм, не вполне непримиримый, но особенно ощутительный, когда жгучесть и неотложность интересов устройства форм и задач жизни требует участия всех в общем деле” (Там же. С. 15).

Этот момент в России наступил, поэтому оба произведения крайне актуальны. Батюшков не склонен противопоставлять драмы друг другу. Для него они во многом схожи. «В обеих драмах призыв ввысь – и “к солнцу”, и “к звездам” – противопоставляется интересам реальной жизни. (...) В обеих – индивидуалистическое стремление человека к отвлеченно созерцательной жизни рассматривается в обстановке семейных отношений и в столкновении с запросами неотложной действительности. Есть и другие точки соприкосновения в обеих пьесах» (Там же. С. 16). И различаются драмы главным образом временем описываемого в них действия.

“У Горького нет еще народного восстания; холерный бунт, которым заканчивается пьеса, служит лишь предвестником возможной революции в будущем. В драме Андреева революция уже настала”. Соответственно пьеса М. Горького – прежде всего предупреждение. Когда народные массы наконец поднимутся, тогда, в еще более грозной форме, чем теперь, в сравнительном затишье, «они могут поставить вопрос: “Что вы, господа ученые и художники, живущие своей, обособленной жизнью, сделали для народа, в его низших слоях, для той части населения, которая коснеет в грубости, невежестве и порою безумной

жестокости? Что вы сделали для водворения правды на земле, той правды-справедливости, отсутствие которой так давит низы общества?» (Там же. С. 16–17).

Батюшков вполне одобрительно относится к горьковской пьесе. Он пишет о том, что ему нравится и “общий замысел пьесы”, и “целый ряд отдельных сцен”. Он категорически отвергает мнение тех рецензентов, которые увидели в пьесе Горького “плевков в интеллигенцию”: “Такое обвинение совершенная напраслина. Автор вполне серьезно отнесся к своей задаче и дал достаточно указаний на то, как он высоко ставит образ Протасова, рассматриваемого обособленно, вне того или другого отношения к его внешней жизни” (Там же. С. 20). Общий замысел пьесы “правдив, вопрос поставлен правильно, выводы не вызывают никаких возражений, образы не все достаточно цельно и последовательно очерчены, но уже одна фигура Чепурного безусловно мастерски выписана”. А предупреждение автора: “Торопитесь, господа, откликнуться на запросы жизни, ибо жизнь не ждет”, – “оказывается именно теперь у нас не только вполне современным мотивом, но и как нельзя более своевременным” (Там же. С. 21).

В драме Л. Андреева революция уже настала. Она происходит сейчас, где-то внизу и терпит поражение. И это обстоятельство придает спорам в астрономической обсерватории принципиально иной характер. Казалось бы, все то же разделение людей на тех, кто живет общей жизнью с человечеством, скорбит о его нуждах и борется за его свободу, и тех, кто не знает печалей земной юдоли, кто отстранился от интересов практической жизни и витает умом в звездных и надзвездных краях. Однако Л. Андреев в своей пьесе “еще ближе подошел к актуальности” (Там же. С. 21). В ней поражение революции обостряет спор между противниками и придает ему несколько иной смысл. «При общности темы “К звездам” и “Детей солнца” вопрос взят в пьесе Андреева шире: наряду с ученым (...) являются и его ученики; представлено несколько видов “индивидуальностей” по отношению к зачастую роковой борьбе между отвлеченным знанием и запросами действительности; выставлены и непосредственные участники общественного движения, люди, предавшие душу и телом “тревогам и битвам”» (Там же. С. 22).

В утверждении Терновского, что “человек – сын вечности”, Батюшков видит глубокое содержание. «Как человек науки, живущей интересами отвлеченного знания, он становится выше не только будничных забот, но как бы старается свести счеты со всем происходящим, временным, обреченным на смерть и гибель. Смерти нет, не должно быть для тех, кто обращает свой взор к вечности: “Умирают только звери, у которых нет лица. Умирают только те, кто убивает, а те, кто убит, кто растерзан, кто сожжен, – те живут вечно. Нет смерти для человека, нет смерти для сына вечности...”»

“Родовое и идейное бессмертие, на которое указывает Терновский”, – пишет Батюшков, – конечно, не может служить заменой живого лица для тех, кому дорога именно данная, конкретная личность, «но другого выхода нет, если не стоять на почве религиозных верований, и

все-таки желать ответить на присущую человеку “потребность в бессмертии”. (...) Объяснение Терновского есть общая вера людей, живущих идейной жизнью» (Там же. С. 23). Л. Андреев сумел придать отвлеченным рассуждениям Терновского характер живого чувства. Его герой «так всецело охвачен идеей служения истине, так поглощен созерцанием вековых тайн природы, так настойчиво верит, что в конце концов наука овладеет “древнею тайной”, что для него все временное и преходящее приобретает значение только по отношению к вечному, не умирающему, и он не только умом раскрывает связь явлений, зависимость настоящего от прошлого и будущего от настоящего, но всецело проникнут чувством реальности этой связи и действительно живет духом и в прошлом, и в настоящем, и в будущем» (Там же. С. 24).

Образ Терновского безусловно представляется критику большим достижением драматурга. «От всей фигуры Терновского веет величавым спокойствием человека, стоящего выше всего, что его окружает, но вместе с тем бесконечно доброго той добротой, которая присуща только выдающимся натурам; мелкий человек не может быть истинно добрым, ибо настоящая доброта – не просто покладистость, уступчивость, пассивное потворство, что нередко принимается за доброту, – требует прежде всего понимания, проникновения и более широких взглядов. До нее надо возвыситься не только душевными свойствами, но мудростью, добываемой лишь при созерцании тайн вечности, пониманием основ жизни, умением охватить одним взглядом то, что есть, что будет. Терновский действительно “сын вечности”, но и на своем пути “к звездам” он умеет чувствовать по-человечески и подобно тому, как наперекор своему заявлению, что у него “нет детей” и что “все люди для него одинаковы”, он просиживает ночи у изголовья больного ребенка, отдает все наличные средства, чтобы выручить сына из тюрьмы, устраивает его дальнейшую участь...» (Там же).

“В отличие от пьесы Горького, – пишет критик, – из драмы Л. Андреева не вытекает никакого практического поучения. Автор не морализирует и не наставляет. Его драма, – в которой нет в тесном смысле слова действия, а есть только ряд психических состояний, служит лишь образным выражением взаимоотношений различных индивидуальностей перед двумя различными деятельностями человека, перед выбором двух разных целей жизни – отвлеченно-созерцательной и прикладно-жизетской. Он, как бы забегая вперед, к тому времени, когда исчезнет антагонизм и в классовой борьбе на почве экономической (...) считает возможным нарушить и представления о неизбежной противоположности, а не только различии, – между людьми мысли и людьми дела, между учеными, созерцателями, поборниками спекулятивной мысли и чистого знания, и устроителями общей жизни, деятелями революции, борцами за свободу и распределение высших благ жизни между всеми” (Там же. С. 28). Но способ, которым характеризуются персонажи пьесы, ясно указывает, что для автора если и есть различия в направлении деятельности между двумя классами людей, то антагонизма между

ними быть не должно. “Этот вывод очень значителен”, – утверждает критик (Там же).

Вторым в журнале выскажется по поводу нового этапа в творчестве Л. Андреева Вл. Кранихфельд. С его точки зрения, “Леонид Андреев принадлежит к числу тех немногих, которые по самой природе своей не могут не откликнуться на призывный грохот революционной борьбы” (Кранихфельд В. По поводу последних произведений Л. Андреева // *СМ.* 1906. № 10. Отд. 2. С. 68). Он словно бы создан «специально для революции. В огромном и ярком зареве ее он может проникать в сокровенные глубины человеческой души, не прибегая к тем искусственным приемам, которые, как, например, в рассказе “Оригинальный человек”, дают больше дыма и копоти, чем огня. И если вообще все наши художники так или иначе захвачены революционной стихией, если многие из них чувствуют себя обязанными сказать и свое слово по поводу разыгрывающихся событий, для чего нудят и насилуют свои таланты, то Л. Андреев принадлежит к числу тех немногих, которые “по самой природе” не могут пройти мимо картин “революционной борьбы”» (Там же). «И он откликнулся: все произведения Андреева, появившиеся в текущем году (“Губернатор”, “Так было”, “К звездам” и “Савва”) имеют прямое отношение к революции и к ее проявлениям. И мы уверены, что эти четыре произведения являются только началом и что впереди нас ожидает целая серия картин, в которых отдельные проявления индивидуальной и общественной жизни будут зарисованы художником на фоне кровавой зари революционного пожара» (Там же).

Кранихфельд тоже обращает внимание на своеобразное построение пьесы, в которой, несмотря на отсутствие на сцене, “единственный живой человек... это Николай... (...) Даже в отце Николая, в знаменитом ученом Терновском, которому автор уделяет особенно много внимания, желая показать читателю не только его из ряда выдающуюся голову, но и чуткое, отзывчивое сердце, даже в нем больше искусственной схемы, чем живой человеческой плоти” (Там же. С. 70).

“Ярче, выпуклее и яснее других лиц, выступающих в пьесе, – по мнению критика, – зарисован художником образ Маруси. Она олицетворяет собою поэтическую сторону революции. И Маруся, на самом деле, в нестройный шум революционной борьбы привходит красивым музыкальным аккордом. Артистическая натура, она делает свое дело легко и бодро, оживляя своим настроением всех, с кем только сводит ее судьба. Ее не страшат опасности, она как будто не знает утомления, потому что при ее находчивости, там, где другим приходится изворачиваться с тратой огромных усилий ума и воли, она отделяется игрой. И она охотно, по-детски лукаво и просто рассказывает о своих рискованных, но удачно закончившихся похождениях... Делу революции Маруся отдалась всем своим существом, ей принадлежит инициатива самых рискованных предприятий, самые опасные поручения она берет на себя. И все-таки она остается бодрой и жизнерадостной” (Там же. С. 72).

Как и для Батюшкова, для Кранихфельда значим финал пьесы, где трое главных лиц пьесы сливаются в общей скорби по поводу гибели

Николая. «“Коля...Колюшка!” – рыдает мать, и в этом дорогом имени сливаются в одно гармоническое целое понятия “сын вечности” с понятием “сын земли”. Потому что именно Николай представлен автором драмы “таким цельным человеком, одинаково чутким и к строгой гармонии сфер и к скучным песням земли”» (Там же).

Исключительно высокую оценку и творчеству Л. Андреева революционных лет и пьесе “К звездам” даст в итоговом годичном обзоре “Художество и жизнь: (Кое-какие итоги последнему году)” М. Неведомский (СМ. 1906. № 12. С. 34–72). Статья посвящена вопросу о том, насколько русская литература последних лет сумела отразить на своих страницах такое величественное событие, как первая русская революция. Автор характеризует современный этап не только русской, но и всей европейской литературы как этап, проходящий под знаком Генрика Ибсена. “Властитель творческих дум всего современного европейского художества, мудрец-художник” Генрик Ибсен, по мысли Неведомского, завещал не останавливаться на каких-то частных революциях, а видеть основную свою задачу “в революционизировании человеческого духа” (Там же. С. 46). «Этой задаче всецело посвятил себя норвежский драматург и, поскольку она была в силах одного хотя бы и гениального человека, выполнил ее. Все молодое свободное и свободоблюбное европейское искусство есть искусство школы Ибсена, – продолжает критик. – Я, конечно, не говорю ничего нового, констатируя, что в наши дни ибсенианским “духовным аристократизмом” проникнута вся наша молодая литература, что она думает и чувствует в том же тоне, что кругозор ее очерчен тем же почти кругом. Религия человечества, в смысле религии личности, в смысле мечты о красивом, гармонично-цельном и сильном человеческом образе, как критерий и центр, как отправная точка всех оценок и построений, – вот несомненное морально-эстетическое или религиозное содержание нашего современного художества. А философские его тенденции укладываются лучше всего в ницшевскую формулу, удачно переведенную Горьким (...) словами: “все в человеке, все для человека” (...) условия момента сделали то, что моральный аристократизм аполитических Ибсена и Ницше у нас сочетался с последовательным и радикальным политическим демократизмом, и сочетался не то слово: эти два до сих пор антагонистических принципа слились в совершенно законном и красивом эстетико-философском синтезе». Таким образом, утверждает Неведомский, данное слияние стало у нас неотъемлемым элементом “синтетического идеала, служащего путеводной звездой во всех художественных исканиях” (Там же. С. 46, 47).

Если присмотреться с этой точки зрения к Л. Андрееву, по убеждению критика, «этому несомненному корифею нашей беллетристики, который растет и становится глубже с каждым новым своим произведением, вы увидите, в какой степени он является последователем и продолжателем именно Ибсена. И одинаковость содержания породила, разумеется, одинаковость в концепциях и методах творчества. Если Ибсен является родоначальником современного символического неоромантизма, если все образы его суть полу-символы, полу-отвлечения и

полу-конкретности, полу-образы, полу-идеи; то то же самое мы видим (...) и в нашей беллетристике, и, конечно, прежде всего у Андреева. Реализм в прежнем смысле слова почти исчез. Даже истинные реалисты по призванию, как Куприн, Вересаев, Гусев-Оренбургский, и те отчасти “заражены”, и те то и дело приносят жертвы на алтарь того же ибсе-нианского бога, – бога полу-символов...» (Там же. С. 47). Для оценки того, как “наши художники отозвались на революцию”, Неведомский делит их на две группы: “С одной стороны – Андреев и иже с ним, с их этико-философскими исканиями и символами. С другой стороны – реалисты, призванные делать огромно-полезное дело – собирания и воспроизведения уголков и осколков действительности (обнять ее всю, как я уже не раз старался доказать, реализму теперь не дано), для созидания в будущем объемлющих ее в целостности картин.

Что же дали нам те и другие?

Реалисты почти молчали. Я не поставлю им этого в укор... Наоборот, для меня это лишь доказательство их высокой художественной искренности и честности” (Там же. С. 47–48). Единственным художником, сумевшим создать “значительные отражения нашей революции”, – конечно, “преломив ее лучи на гранях своей художественной индивидуальности”, является Л. Андреев, “безусловный глава нашей молодой школы” (Там же. С. 61). В отличие от реалистов, в лучшем случае сумевших уловить только какую-то одну черту разворачивающихся великих событий, «Леонид Андреев (...) занимался не “отдельными чертами”, а по обыкновению своему созерцал только общие идеи, искал решения только кардинальных вопросов, на которые наводила его наша жизнь. И если бы наша литература ответила на революцию только этими созданиями, только этим новым рядом его художественно-философских синтезов – я бы сказал, что она сделала не мало, что художники наши “не упустили своего счастья”, употребляя не то наивный, не то сектантски-тупой и бездушный термин Луначарского» (Там же. С. 63).

Во всех его произведениях, посвященных революции, по Неведомскому, – “одна отправная точка, один основной тон, свет одной и той же религии жизни. Во всех них все оценки – с точки зрения того пленительного образа, который держит в своих чарах все верхи современной художественной мысли. Этот критерий применяется к разрешению различных проблем, всегда подсказанных перипетиями нашей действительности (хоть и доведенных до высот широких обобщений), но всегда остается руководящим, главенствующим” (Там же. С. 63–64). И критерий этот – образ прекрасного человека, чудовищно искаженный всей человеческой историей. Для художников андреевской школы «душа человеческая не есть такая *tabula rasa* (...) Они знают, что “культурно-исторических” отложений на этой *tabula* целые груды, что вырастить из них что-нибудь путное можно лишь долгой, упорной и жестокой *культурой*, с абсолютно нетерпимыми требованиями. И художники этого толка предъявляют свои требования и дают с высоты своих излюбленных моральных абсолютов оценку мира... И с суровой правдивостью они отмечают тот долгий и трудный путь, который

отделяет человека-раба от *человека* в истинном смысле слова...» (Там же. С. 71). “Реальной действительности, конкретных черт *быта* у этого художника вы почти нигде не найдете. Лучше и не искать даже, чтобы не терять времени” (Там же. С. 66). “А вот внутренней, художественной и этико-философской правды – этого всегда можно искать в Андрееве с верным расчетом на успешность поисков” (Там же). С этой точки зрения пьеса “К звездам” содержит в себе «огромную вполне “самостоятельную” и прекрасную мысль – говорит, может быть, лучшее, что когда-либо и кем-либо сказано о революциях» (Там же. С. 72). Среди интересно намеченных типов революционеров, с одной стороны, и типов ученых – с другой, особенное внимание Неведомского привлекают фигуры самого астронома Терновского и невесты его сына – Маруси. С его точки зрения, “это безусловно два полюса той оси, на которой построена пьеса, безусловно центральные ее фигуры.

Он – ученый, поборник абсолютной научной истины, почти мистически влюбленный в мироздание, почти глухой и слепой ко всему человечески-житейскому.

Она – сама поэзия борьбы за человеческую правду, для нее все – на земле, все в счастье и достоинстве человечества” (Там же).

Он всю жизнь проводит в обсерватории.

«Она только что вырвалась из “долины”, из ада революции, подавленной буржуа, которые “недурно защищаются”, как говорит израненный в схватке с ними инженер, и где гибнет от побоев в тюрьме ее возлюбленный – сын ученого» (Там же).

Но изо всех собранных волей автора в горной обсерватории людей, по мысли Неведомского, «вполне понимают друг друга только два эти “полюса” драмы, два *полюса* и в смысле полярной противоположности их... Старика Терновского даже никто, кроме Маруси, и не ценит...» – “Заключительная сцена, где Маруся сообщает Терновскому, что любимый его сын в тюрьме и превратился в идиота, резюмирует, – на взгляд критика, – основной замысел пьесы” (Там же). В итоговых словах Терновского о тех, кто в гибели своей обрел бессмертие, Неведомский находит ту родственность стремлений, которая отныне соединяет крайние полюса драмы. По его интерпретации, Терновский и Маруся «породнились духом в эту минуту. Он ее понимает, ибо для него понять это значит найти ей и ей подобным почетное место в его полумистической космогонии, найти философское оправдание страданиям ее и ей подобных... А она, ощущая свою прикованность к жизни всего мира, как бы излечивается от только что владевшего ею отчаяния и жесточения, она как бы просветлела и снова готова “идти в жизнь” и гибнуть для жизни...» (Там же. С. 72–73). По мысли Неведомского, «они *единственные двое* из всех в драме, которые *родны* духом, которые содержат в себе отличные друг от друга, но как бы *равноценные* человеческие “Я” (...). Абсолютная, холодная истина и абсолютная живая любовь как бы стремятся навстречу друг другу, ища слиться в одном, еще доселе редком синтезе. И еще один синтез, еще одно примирение здесь намечается: примирение как бы заполняющее ту пропасть, которая отделяет тех,

что взметнулись на высоту культа *сильного и прекрасного человека*, – от живых маленьких “конкретных” людей с их скорбями и радостями. При таком синтезе эта пропасть не только заполняется, а становится *мнимой*, перестает существовать...

Такая прекрасная и оригинальная идея, подсказанная Андрееву героизмом и непереносимым страдальчеством нашей революции...» (Там же. С. 73).

В заключение Неведомский утверждает, “что если бы у нас был только один писатель – Андреев и если бы только и существовали, что его отклики на этот кошмарный и великий год русской жизни, мы не имели бы права жаловаться на нашу литературу...” (Там же).

Для В. Ходасевича в целом “Леонид Андреев – поэт мучительных и неизгладимых противоречий. Его область – роковой вопрос, остающийся без ответа. Его герои ни на секунду не забывают, что, когда они громко спросят, – земля под ними разверзнется. И если они молчат, то это – спокойствие на вулкане. Поэт безысходности Леонид Андреев” (*Ходасевич Вл. Х* сборник т-ва “Знание”, СПб., 1906. XI сборник т-ва “Знание”, СПб., 1906 // Перевал. 1906. № 1. С. 51).

Но, предполагает критик, Андреев «захотел согласия и успокоения, захотел отречься от себя. И вот написал драму “К звездам”, построив ее на банальном противополжении двух устремлений: к земле и к небу. Призвал на помощь непритязательную тенденциозность, так глубоко чуждую его творчеству. Отбросил обычную глубину замысла, тонкость и вычерченность психологического облика, отказался от своей всегдашней кованности стиля, и, чтобы еще больше отречься от себя, заставил всех персонажей драмы говорить языком, одинаково бесцветным. Словно не свою пьесу писал Л. Андреев» (Там же. С. 52).

«Высоко, на горном кряже, в тихой обсерватории, где звезды кажутся близкими, потому что воздух чист и рефракторы сильны, – должно состояться примирение, – так интерпретирует основную ситуацию пьесы Вл. Ходасевич, слегка иронизируя над очевидной схематичностью построения драмы. – Сюда сошлись все. Старый профессор, идущий “к звездам”, рабочий, покрывающий шум битвы песней о будущем счастье, девушка, которая любит, еврей, чья семья стала жертвой мерзости, называемой погромом; и здесь же – рядовой революционной армии, раненый на баррикаде инженер, односторонний, как все рядовые, как рядовой науки – ассистент Поллак, чья жизнь легко укладывается в стук метронома. И у каждого из них своя правда.

Леонид Андреев стоял на верной дороге, когда предчувствовал, что объединит их – страдание. – Но забыл, что все эти правды могут примириться только в действии, в движении, только тогда, когда каждое “Верую” само войдет в трагедию, само переживет ее. В соответствии с замыслом Андреева его пьеса должна быть трагедией душ. По исполнению она – драма положений...» (Там же).

“Николай, сын профессора Терновского, ранен на баррикаде, взят в плен и сошел с ума, – продолжает Ходасевич. – Общее горе постигло

его невесту, родителей, друзей. Такова вся фабула драмы, ее внешнее содержание” (Там же).

Но “общее мирное, тихое семейное горе – не достаточно, чтобы перекрывать души, – уверен Ходасевич. – Люди просто утешатся. Каково бы ни было их горе, в какие бы отношения к жизни оно их ни ставило, – чтобы эту жизнь принять, чтобы остаться в ней, каждый может найти или не найти в своей душе соответственные слова примирения, – счеты закончатся так или иначе. На мгновение скорбь объединит сердца, но только до тех пор, пока она не заглушена, пока рана не залечена, слова не найдены. Души останутся прежними... Прошел ураган, – но все дальше, дальше убегают клубы пыли, и вот уже теряются за горизонтом. Каждая душа будет лелеять в себе то, что любила раньше. Каждая по-прежнему будет любить свое...” (Там же). И поэтому, считает критик, подлинный финал пьесы не скорбное трио отца, матери и невесты, а видение все того же кошмара жизни: «Все затихло. Каждый замирает в себе. Но не замирает – жизнь. Не появляясь на сцене, из списка “действующих лиц” смотрит на них лик безумия: “Николай, двадцати семи лет...”». «Старики Терновские, – утверждает Ходасевич, – останутся доживать свой век “в горной обсерватории”». Но Маруся, земная невеста, когда “пойдет в жизнь”, как обещает, – увидит все тот же ужасный лик “безумия и ужаса”. «Жизнь окликнет ее: “Взгляни, что там!” – И за окном, “в багровом и неподвижном свете”, будет стоять сам “Красный Смех”: “Безумие и ужас!” (...) Бессознательно Л. Андреев остался верным себе» (Там же. С. 51).

Как и многие другие критики, Ю. Айхенвальд отмечает приход Л. Андреева в стан драматургов, но не видит в этом ничего положительного (*Айхенвальд Ю.* Литературные заметки: “К звездам”. Драма Леонида Андреева // Московский еженедельник. 1906. № 16. С. 43–46). «До сих пор наш известный писатель в роли драматурга не выступал, – указывает он, – и “Звезды” являются первым опытом его на поприще диалога и действия. Впрочем, как и большинство сценических произведений современности, пьеса Андреева именно от действий свободна, внутреннего движения в ней не существует, и на протяжении ее четырех актов люди говорят, психологически не трогаясь с места. Драма статика, а не динамика, она в себе не заключает событий: последние совершаются за сценой, так что до вас доносятся только их отголоски, иногда – реальные, в виде выстрелов, чаще же – словесные, в виде речей, которые должны выражать собою настроение не действующих, а разговаривающих лиц» (Там же. С. 43).

При этом Л. Андреев и в драме ни в чем не изменяет себе, констатирует критик. “Завязтый коллекционер ужасов”, он им остался и в новом для себя жанре. Поэтому самые события пьесы “принадлежат к неиссякаемой сфере ужаса, к этому ящику Пандоры”, который автор любит так часто раскрывать: “Происходит революция, и хотя, как и все бездействие пьесы, происходит она за границей, но для русского читателя звучат слишком родными звуками все эти рассказы вестников о бомбах и пулеметах, о горе трупов, о расстрелянных и повешенных людях”

(Там же. С. 43). Ужасы черпаются автором и в прошлом его героев, в странствиях Инны Александровны с большими детьми, в истории гибели родителей и сестры Лунца. И для того «чтобы тоскливое настроенное персонажей и публики было еще тягостнее, в течение всего первого акта слышен свист и вой горной вьюги и равномерно звонит колокол, сзывая заблудившихся в горах, он “плачет, хоронит кого-то”, и, как справедливо замечает одна из героинь, “этот колокол всю душу вымотает”» (Там же. С. 43–44). “Можно себе представить, какой узор уныния и невроза вышьет на этой благодарной канве Московский художественный театр, когда он в своем упоении конкретностью поставит на сцене пьесу Андреева!..” – иронизирует критик.

Не устраивает Айхенвальда и работа Л. Андреева над образами основных действующих лиц. “Если бы астроном Терновский в изображении Андреева, – утверждает он, – хоть несколько походил на живое лицо, если бы он весь не дышал явной сочиненностью, то его можно было бы охарактеризовать как противника антропоцентризма. Он в средоточие мира не хочет ставить не только отцовского, но и вообще человеческого сердца” (Там же. С. 44). “И вообще, – утверждает критик, – надо сказать, что пьеса Андреева чужда жизненности. Ее герои мертвенны, их речи придуманы, их остроты, на которые они, к сожалению, довольно щедры, поражают своей плоскостью” (Там же. С. 46). Не видит критик и настоящей глубины в разработке драматургом конфликта между астрономом Терновским, который “в своем панпсихизме” не скорбит об исчезновении отдельных существ да и “все тревоги земли, ее революции и страдания, ее смерти и несчастья” характеризует как “суетные заботы”, – и деятелями земли. Этот конфликт под пером Айхенвальда превращается в простой “разлад”, да и тот в конце концов сходит на нет в финале. Маруся, как пишет Айхенвальд, «склонилась на убеждения тяготеющего к вечности Терновского и пойдет в жизнь, “сохранив как святыню то, что осталось от Николая, – его мысль, его чуткую любовь и нежность”» (Там же. С. 45). При этом, настаивает критик, “все то возвышенное, философское, оваянное космосом, что в пьесе Андреева вторгается в обыкновенную жизнь, сделано слабо и неубедительно, так что речь героев о солнце, о звездах, о Джордано Бруно звучит риторикой и не может согнать усмешки с уст читателя” (Там же).

Свою статью о последних произведениях Л. Андреева супруги А. и Е. Редько начинают с утверждения о том, что “одной из подробностей переживаемого момента является своего рода виноватость художественной литературы перед бодрыми людьми, которых жизнь создает во всех разновидностях, вплоть до представителей полутитанической мощности воли и энергии, а художники не изображают – несмотря на упреки” (*Редько А.Е.* Литературные наброски: “Савва” и “К звездам” // *РБ.* 1906. № 11. Отд. 2. С. 116). Упрек в таком “неулавливании тона окружающей жизни”, по их мнению, легко предъявить и Л. Андрееву. Но вряд ли стоит, поскольку, если оценивать этого художника с точки зрения “общественной полезности тех душевных комплексов, которыми создаются его художественные произведения”, то Андреев “должен

быть отнесен к категории отрицательных явлений в нашей литературе. Читатель, который раскрыл новую вещь Л. Андреева, может быть заранее уверен, что он сохранит свое нормальное состояние только в том случае, если новая вещь окажется неудовлетворительной по исполнению в большей мере, чем это можно ожидать от Л. Андреева. Если же новая вещь принадлежит к числу более удачных, читателю Л. Андреева не освободиться от чувства известной подавленности жизнью” (Там же. С. 117).

В начальную пору своей деятельности, пишут Редько, Л. Андреев еще “мог рассматриваться как художник-обличитель чисто временных уродств, свидетельствующих только об уродливых условиях живой действительности”, теперь же он все чаще пишет об “уродстве и безобразии самого человека” (Там же). Его «символическая драма “К звездам” посвящена вопросу о том: “Каким образом можно переносить жизнь, похожую на кошмар”?”. Как драма, она уступает “Савве”, но тем не менее “представляет существенный интерес, поскольку интересен сам Л. Андреев как художник-мыслитель, поскольку интересна самая идея драмы” (Там же. С. 122).

В разворачивающемся конфликте пьесы, который определяется вслед за М. Горьким как конфликт между “детьми солнца” и “детьми земли”, Редько целиком и полностью на стороне последних. Терновский, с точки зрения критиков, «страдает некоторой однобокостью. Он говорит о себе как о человеке, который совершенно неспособен шутить, хотя и любит, когда шутят другие. Совершенно так же “звездочет” не умеет и ненавидеть, хотя понимает это чувство в других» (Там же. 124). А это означает, по мысли Редько, “встать в стороне от зверской свалки-жизни” (Там же. С. 125). Прямой противоположностью астронома являются “фигуры настоящих участников жизни”. Все они представители “настоящего, значительного отношения к жизни” (Там же. С. 124).

По мнению М. Гераклитова, “пьеса Андреева дает не только ключ ко всему его творчеству с объективной и субъективной его стороны: пробужденные ею мысли и чувства группируются и объединяются в одно целое, внезапно и с силой в сознании вырастает и воплощается в стройные гармонические формы грандиозная система философии жизни, полная внутреннего единства и захватывающая центральное содержание психической жизни человечества” (*Гераклитов М. Певец индивидуального бессмертия: Л. Андреев. “К звездам” // Студенческий сб. Харьков, 1907. С. 145*).

«(...) Центральная идея драмы, – пишет далее Гераклитов, – заключается в идее индивидуального бессмертия: личность может быть только тогда богата и счастлива, когда стремится “к звездам”, т.е. к вечному, неизменному и бессмертному; тогда исчезают борьба и страдания внутри человека, он сам становится гармоническим осколком бессмертной гармонии, вечности, миниатюрой мирового бессмертия; он сливается, как говорили когда-то, с мировой душой, он чувствует себя бессмертным. Какое бы действующее лицо драмы вы ни взяли, вы увидите на нем печать бессмертия, – и не потому, что каждый, кто бы он ни был,

в сущности, бессмертен, ибо оставляет по себе живую память во всем том, что он делал и что его окружало: мало того, в пьесе Андреева каждый сознательно борется во имя *taхitum*'а бессмертия, каждый стремится слиться с возможно большей массой человечества и с возможно более широкой сферой вселенной, жить в возможно дальнем будущем. Эта "любовь к дальнему", сливаясь с горячей, деятельной "любовью к ближнему", рождает безграничное торжество и наслаждение жизнью, наполняет горячей радостью душу, чаруя ее будущим бессмертием, вмещающая в ней мир и сливаясь ее с миром» (Там же. С. 159–160).

В работе Гераклитова много места отводится характеристике персонажей, тому, как в их словах и поступках варьируется основная идея: "вечно обращен к бессмертию, ко вселенной" взор Сергея Николаевича; «Трейч тоже стремится "к звездам", ибо его душа вместила мир и слилась с ним, она полна чувства братства и солидарности со всем человечеством, частицей которого он себя чувствует и вместе с которым он чувствует себя бессмертным – вот его звезды!». «Дыханием бессмертия овевана кроткая и бодрая душа Инны Александровны, неизменно друга и спутника Сергея Николаевича в его стремлении "к звездам". Сын ее, ее любимый Николай, эта "редкая красивая форма, которую природа разбивает, чтобы не было повторений" – безумен. Но ее материнское горе стихает и тонет в безмерной любви к вечности» (Там же. С. 160–167). Завершая статью, ее автор задает вопрос: "Но отчего же революционная и ученая группы так резко сталкиваются между собой, откуда та пропасть, что их разделяет и в чем существо различия между их идеалами?" И отвечает: "⟨...⟩ дело в том, что если Трейч, Николай и друзья их избирают базой своего бессмертия – человечество, то Сергей Николаевич, отказываясь от земли, сливается со всей вселенной: базой его бессмертия является весь мир. Этот маяк будет вечно светить человечеству ⟨...⟩" (Там же. С. 170).

Довольно много места анализу пьесы "К звездам" уделяет в своей книге "Трагикомедия современной жизни" Евг. Жураковский. Он приветствует обращение к драматургии "вдохновенного повествователя", в своих рассказах изображающего «и ужас жизни, и порывы темных сил, и мистификацию веры, и обман "вечно лгушей мысли"» (*Жураковский Евг.* Трагикомедия современной жизни. М., 1906. С. 152). Для Жураковского современная русская драматургия вдохновлена прежде всего Ибсенем, его символизмом. При этом «символизм пьесы Л. Андреева – здоровый символизм, чуждый бесформенного декадентства. ⟨...⟩ В ней меньше реализма, чем в пьесе М. Горького ("Дети солнца". – *Сост.*), которая больше всех близка к ней. Но, с другой стороны, новое произведение Л. Андреева чуждо и того фантастического символизма, который характеризует многие пьесы Метерлинка» (Там же. С. 153).

"В корне пьесы, – утверждает Жураковский, – лежит контраст между отвлеченной жизнью ума, философских стремлений к истине и бурными насущными требованиями борьбы за экономическую и социальную реорганизацию. Эта борьба выражается в спорах между русским ученым и революционными деятелями" (Там же. С. 158). При этом каждое

из действующих лиц “очерчено с точки зрения того преобладающего значения, которое оно имеет в пьесе” (Там же. С. 153). Критик на стороне профессора Терновского. Для него он – замечательный человек с широким научным горизонтом, истинный и плодотворный исследователь, уже прославившийся научными открытиями. Он только кажется бесстрастным. На самом деле ему понятны и требования революционеров, и рабочего Трейча, и еврея Лунца, и маленького Шмидта. Временами и в нем самом поднимается поток гневных чувств, и он не выдерживает и выходит из себя при известии о мучениях его сына Николая: “В пьесе это центральное лицо из того мира, который живет в сфере отвлеченных абстракций, в стремлении к чистому наслаждению открытиями новых приближений к той истине, которая окружена тайнами” (Там же. С. 153–154). Его образ, как пишет Жураковский, обрисован “возвышенными и симпатичными чертами”. “Он символизирует то стремление к звездам, к небу, – к бесконечности, которое составляет пафос всей пьесы, давшей ей и заглавие. Этот пафос превращает пьесу в лирико-эпическую поэму. Местами поэзия слышна в речи, местами она изливается в вставочных стихотворных тирадах”. “Напоминая некоторые типы ученых, выведенных в литературе, ученый Л. Андреева отличается тем, что он – лицо, *символизирующее поэзию и философию чистой науки*” (Там же). И потому в его монологах то, над чем иронизируют революционеры, “вовсе не смешно, а глубокомысленно” (Там же. С. 165). «Если юная героиня пьесы, Маруся, верящая вначале в “*Бога отмщенья*”, после испытанных ею страданий идет в жизнь, чтобы служить *Богу милосердия и любви*, то это является под влиянием той философии и религии, которую исповедует символический руководитель символической обсерватории. Чтобы понять жизнь, нужно над нею возвыситься. Чтобы возвыситься над жизнью, надо подняться на высоту тех идеалов, которые открываются в науке, в творчестве, в поэзии. Преображение души происходит под влиянием ее просветления! Ненависть и злоба не могут так содействовать реорганизации жизни, как любовь и умягчение души!” (Там же. С. 166). По мнению Жураковского, “вдохновенные речи профессора о высших целях жизни, о бессмертии человека” “более увлекательны, чем орлиные песни о свободном полете Маруси” (Там же. С. 158). Ему даже кажется, что Андреев невольно высказал здесь свой собственный взгляд на вещи и оценивает этот взгляд как “истинно христианский” (Там же. С. 158). “К символическим звездам призывает эта пьеса, и, призывая людей от мрака к свету, она будет служить вечным целям искусства, пробуждению влечения к истине, к гуманной реорганизации жизни. Если на нее смотреть как на призыв к небу, к звездам, то в этой пьесе послышится призыв к совершенствованию духа, к обновлению жизни, к переустройству мира на началах высшей культуры. И бодростью и силой и величием повеет от ее речей!” (Там же. С. 166).

Существенное место разговор о творчестве Л. Андреева и, в частности, о драме “К звездам” займет в книге Р.В. Иванова-Разумника “О смысле жизни. Федор Сологуб. Л. Андреев. Л. Шестов. 2-е изд.” (СПб., 1910). Для Иванова-Разумника творчество Л. Андреева – целая

эпоха, непосредственно следующая за Чеховым и М. Горьким. А значение ее определяется тем, что «в Л. Андрееве осуществился переход от общественно-этических к философско-этическим проблемам; в творчестве Л. Андреева мы видим возвращение “назад к Достоевскому”. Это возвращение назад бывает иногда громадным шагом вперед; таким громадным шагом вперед было, например, возвращение философской мысли второй половины XIX века “назад к Канту”; таким же шагом вперед в русской художественной литературе является и это возвращение Л. Андреева “назад к Достоевскому”, возвращение к художественной разработке вечных философско-этических и, говоря шире, философско-религиозных проблем.

Вечные карамазовские вопросы снова поставлены на очередь современным художественным творчеством; трагические проблемы снова стоят перед нашим сознанием и требуют ответа. Цель, смысл и оправдание отдельной жизни человека; цель, смысл и оправдание общей жизни человечества – на все эти вопросы Л. Андреев дает нам, быть может, сам того не сознавая, один из возможных ответов своим творчеством. И в этом – главное его значение в современной русской литературе» (Там же. С. 159–160).

Вопросы о смысле жизни, поставленные Л. Андреевым “во главу угла своего художественного и философского творчества”, приобрели, по мнению Иванова-Разумника, особую актуальность в связи с крахом прежнего позитивистского мировоззрения, которое мыслитель определяет как “*позитивную теорию прогресса*”. Согласно этой теории, целью исторического процесса является счастье грядущих поколений, постепенное приближение будущего Человечества к идеальному общественному устройству. На слабость этой позитивной теории указали “отщепенцы марксизма”, перешедшие от него к идеализму. Но и “*мистическая теория прогресса*”, как называет ее Иванов-Разумник, согласно которой “цель исторического процесса является трансцендентной – эта цель есть Бог (...) Мы боремся, страдаем и умираем не за счастье будущих поколений, не для достижения золотого века на земле, а для достижения некоторой трансцендентной нам великой цели, великого идеала – осуществления некоего премирного плана Создателя мира”, – не удовлетворяет современное сознание (Там же. С. 13–14).

Вот почему карамазовские вопросы о смысле жизни и истории требуют теперь настоящего ответа. На них-то и пытается ответить писатель, “Л. Андреев хочет отыскать смысл нашей земной, конечной жизни и не ищет решения в области ноуменального или за пределами трех измерений” (Там же. С. 89). Вывод же, к которому он приходит, заключается в том, что “жизнь массы, жизнь человечества имеет не более смысла, чем жизнь одного человека” (Там же. С. 115). “Объективного смысла человеческой жизни нет – вот что еще и еще раз говорит нам Л. Андреев образом Некогого в сером. И тщетны надежды найти этот смысл, перенося свои упования на человечество...” (Там же. С. 123).

Но на самом деле такая надежда, по мысли исследователя, присутствует в творчестве Л. Андреева. В наибольшей степени она ощущается

в его драме “К звездам”. Здесь драматург берет тот же вопрос о смысле жизни, но в иной плоскости. “И приходит к несколько иным выводам; очевидно, он еще сам себе не уяснил окончательного ответа. Вот, например, отдельный вопрос: человек – цель или средство? Вопрос этот тесно связан с проблемой о смысле человеческой жизни: если человек – средство, то смысл жизни лежит в будущем, в будущности класса, общества, человечества; если человек – цель, то смысл его жизни лежит в настоящем, в широте, глубине и интенсивности переживаний” (Там же. С. 127).

Драма “К звездам” показывает нам, утверждает Иванов-Разумник, что здесь для Л. Андреева человек является средством. Характерно, однако, “что эта мысль является у Л. Андреева следствием только великого отчаяния, великой тоски от окружающего нас зла, ужаса, страданий”. “В этой драме перед нами снова стоят лицом к лицу два человека разных воззрений на смысл человеческой жизни: для Маруси – цель в настоящем, живой и страдающий человек не может служить для нее средством; для Сергея Николаевича человек есть только средство, а цель лежит в далеком будущем даже не человечества, а всей вселенной – таково его пантеистическое миросозерцание. Столкновение двух этих убеждений – центральный пункт всей драмы” (Там же. С. 130). «Сергей Николаевич отстранился от земли и ее интересов, – пишет Иванов-Разумник, – в своей горной астрономической обсерватории он живет “за пределами предельного” {...} Из этого мира, где люди страдают и умирают, он ушел в свою обсерваторию и там отсидивается от жизни; он не может понять мирового зла и предпочитает просто закрывать перед ним глаза и искать смысла в мировой жизни” (Там же). Однако “для того, чтобы достичь высот такого объективизма, нужно сначала атрофировать в себе все человеческое”, утверждает мыслитель, – только “после этого объективизм станет неуязвим ни логически, ни психологически. Но это не мешает нам, вслед за Иваном Карамазовым, чувствовать к такой сверхчеловеческой точке зрения полнейшее отвращение, какое и чувствует к ней Маруся” – утверждает Иванов-Разумник. “Тут примирения быть не может; одно из двух – либо человеческая, либо сверхчеловеческая (а потому и бесчеловечная) точка зрения. Л. Андреев, по-видимому, хотел сгладить это противоречие: по крайней мере, Сергей Николаевич благословляет Марусю идти в жизнь, а она начинает убеждать себя мыслью, что душа Николая живет в ней, Марусе...” Такой финал, видимо, по мысли критика, должен был гармонически заканчивать драму. Но тщетна эта попытка примирить непримиримое (Там же. С. 136).

В монографии К.И. Арабажина драма “К звездам” названа “весьма замысловатым и слегка фантастическим произведением” (*Арабажин 1910*. С. 107), а ее главный герой (своего рода продолжение обособленного, некогда одинокого Керженцева) – фигура “вымученная, риторическая” (Там же. С. 112).

“Не особенно удачно, – по мнению критика, – обрисованы и другие действующие лица”. Среди недостатков пьесы, отмеченных Арабажиным, ее “техническая сторона”: “Целых три акта люди живут ожиданием

близкого освобождения Николая. В четвертом выясняется гибель Николая. Третий акт для поднятия интереса заканчивается совершенно дикой и ненужной сценой истерики Лунца и Пети, которые издеваются над жалкой старухой, один, называя ее своей невестой, а другой, вообразив ее своей матерью” (Там же. С. 114).

Кроме того, автор монографии утверждает, что “Андреев не церемонится с действительностью, считая ее чем-то посторонним и во всяком случае второстепенным”. В качестве примера он, сославшись на реплику: “а в Польше опять начались погромы”, приводит следующие аргументы: “Кстати заметим, что Андреев плохо знает русскую действительность, ибо он иначе никогда не стал бы говорить о погромах в Польше. Польша настолько культурная страна, что погромы в ней совершенно невозможны; их и не было” (Там же. С. 115–116).

Главные же претензии Арабажина к писателю в том, что тот изменил себе, создав “вымученную и недостаточно искреннюю” драму: “Она – дань великому общественному движению. Но если бы Андреев захотел остаться верен самому себе – он построил бы пьесу по тому мотиву, который только мимоходом намечен им в пьесе. Это контраст между страданием благородного, светлого умом Николая и его блаженством в качестве идиота. Вот тут Андреев мог бы, с большей искренностью и мастерством, проявить свое влечение к контрастам и ужасам. Но у него не хватило на это решимости – быть самим собой, и пьеса производит на нас впечатление выдуманной, холодной, неискренней. В ней много красивых фраз, много революционной риторики, но нет жизни, нет искреннего чувства. Самая комбинация житейских отношений слишком уж фантастична” (Там же. С. 115).

В июле 1917 г. “К звездам” на сцене Малаховского театра показал А.Л. Загаров (он же играл Терновского). По мнению корреспондента “Театральной газеты”, в пьесе есть интересные места, удачные акты, но в целом она производит сумбурное впечатление. При этом спектакль показался ему вполне успешным: “Малаховская труппа с большим старанием отнеслась к произведению Леонида Андреева. Мягко играет профессора Терновского г. Загаров. Г-жа Красавина дает интересную фигуру благородной, сильной Анны. Много молодости у г-жи Малянтович. Хороши г-жа Азагарова и г. Шамаков, Массин, Малянтович и Колосов. Пьеса тщательно поставлена А.Л. Загаровым” (*Константинов В. [Василевский И.М.] Малаховский театр: “К звездам” // Театральная газета. 1917. 16 июля (№ 28). С. 8.*

При жизни автора пьеса переведена на болгарский (1906), немецкий (1906), английский (1907), польский (1907) и японский (1914 – 2 раза).

С. 192. *Астролябия* – угломерный прибор, служивший до XVIII в. для определения широты и долготы в астрономии. Впоследствии была заменена более совершенными приборами. Сравнивая Поллака с астролябией, Терновская, возможно, имеет в виду не только его механистичность, но и своего рода архаичность.

С. 202. ...*Штернбергскую тюрьму*... – Штернберг – букв.: звездная гора.

С. 208. *Рефрактор* – телескоп, в котором изображения небесных светил создаются преломлением световых лучей в линзовом объективе и рассматриваются через окуляр.

С. 210. *Когда я увидел комету Биелу, предсказанную Галлеем*... – Андреев допускает здесь неточность. Ошибка вызвала язвительную заметку В. Брюсова:

«В драме Леонида Андреева “К звездам” (Х. Сб. Знания стр. 56) читаем такие слова астронома Терновского: “Когда я видел комету Беллу, предсказанную Галлеем, я заплакал”. Любопытно было бы знать, когда это случилось с Терновским. Никакой кометы “Белла” нет, а есть “комета Биелы”, названная так по имени открывшего ее Вильгельма Биелы (Biela) и наблюдавшаяся в последний раз в 1852 г. Никакого отношения комета Биела не имеет к астроному Галлею, по имени которого называется другая комета “Галлеева”, в последний раз наблюдавшаяся в 1835 г. и ожидаемая вновь в 1911 году» (*Брюсов В. Горестные заметы // Весы. 1906. № 12. С. 80*).

Скорее всего, фактическая точность для Андреева (всегда внимательно читавшего критику о себе) здесь не была важна, во всех изданиях ошибка не была исправлена (см. “Варианты прижизненных изданий”). Только в *ПССМ* (под редакцией К.И. Чуковского) появилась поправка, которая, что характерно, так и не сделала название кометы “научно достоверным”.

*Когда молодой Будда увидел голодную тигрицу, он отдал ей себя*... – Согласно одной из буддистских джатак (легенд о жизни Будды до его воплощения), молодой Будда (тогда Бодхисаттва, т.е. еще человек, стремящийся к совершенствованию, в одном из прежних своих воплощений) однажды увидел тигрицу, изнемогавшую от голода и на своих маленьких детенышей смотревшую как на пищу. Он проникся великим состраданием и бросился с утеса, чтобы убить свое тело, насытить им тигрицу и избавить ее от пожирания детей. Согласно другому варианту предания, он сделал надрез на руке и дал возможность тигрице испить его крови, после чего она, набравшись сил, набросилась на принца и разорвала его.

*Haec domus Uraniae est. Curae procules te profanae. Temnitur hic humilis tellus. Hinc ITUR AD ASTRA* – соответствующая надпись имелась на фронтоне обсерватории Вильнюсского университета. Она приведена в газетной заметке о выдающемся русском астрономе М.М. Гусеве (1826–1866), который в 1865–1866 гг. был ее директором. Вырезка из заметки вклеена в одну из рабочих тетрадей Андреева (см.: *Мий 2012. С. 121*). Возможно, именно эта надпись послужила причиной изменения названия пьесы (на этапе замысла именуемой “Астроном”).

С. 213. *Киришассер* – Kirschwasser (нем.) – вишневая наливка.

С. 216. *Точно осуществился сон Байрона*... – Имеется в виду знаменитое стихотворение Байрона “Тьма” (1816), одно из наиболее известных в европейской литературе XIX в. произведений о неизбежном конце мира и человечества. Существует множество его русских переводов, например А.Г. Ротчева (1828), И.С. Тургенева (1846), Д.Д. Минаева (1860) и др.

С. 217. *Атмосфера тут очень чистая. Вот в Калифорнии... (...)* на обсерватории Лика, так, правда, иногда жутко смотреть. – Ликская обсерватория в Калифорнии расположена на склоне горы Гамильтон на высоте 1300 метров. В книге Клейна есть иллюстрация, изображающая рефрактор Лика (Клейн. Вклейка перед с. 17). История обсерватории подробно описана на с. 109–112, где, в частности, говорится об атмосфере на горе Гамильтон: “Воздух – удивительно прозрачен; условия наблюдения – самые благоприятные. (...) Исследования Бернгэма показали, что с этой местностью нельзя сравнивать ни одну из существующих обсерваторий” (Там же. С. 110).

С. 218. *Среди астрономов нет самоубийц.* – Г. Клейн пишет: “Самоубийства, эти кровавые показатели пессимистического мировоззрения, почти совсем не находят жертв среди астрономов...” (Клейн. С. 121).

С. 230. *Когда стулья, шкапы, стаканы собираются ночью, как у Андерсена, и начинают разговаривать...* – Вероятно, речь идет о сказке Х.-К. Андерсена “Старый дом” (1847), где оживают и разговаривают дверные ручки, старые кожаные обои, кресла и т.п.

С. 231 *...стихи написал астроном Тихо Браге по поводу одного инструмента. Это был параллактический инструмент, которым пользовался Коперник...* Коперник Николай (1473–1543) – польский астроном. Пользовался собственного изготовления параллактическим инструментом (“Толомеевы линейки”) – прибором для определения высоты над горизонтом наблюдаемого небесного тела. Описание этого прибора находится в четвертой книге его труда “*De revolutionibus orbium coelestium*” (“Об обращениях небесных сфер”). В 1584 г., после смерти Коперника, параллактический инструмент был перевезен в Уранибург и подарен Тихо Браге (1546–1601). Отрывок из стихотворения Тихо Браге, посвященного параллактическому инструменту Коперника, Андреев приводит в переводе Ф.Е. Корша (1843–1915).

*Нагроможденные когда-то Пелион // И Осса с Этною, Олимп с другими разом ~ Гиганты мощные, но слабые умом, // Не достигнули звезд.* – Согласно греческой мифологии, Гиганты, сыновья Геи, подняв восстание против богов, хотели взгромоздить гору Пелион на гору Оссу, чтобы достигнуть Олимпа – обиталища богов. Этна – вулкан на Сицилии, самый высокий и самый активный действующий вулкан Европы. В античные времена образ вулкана, периоды его активности и покоя, объясняли борьбой между олимпийцами и гигантами.

## ЧНИ

С. 468. *...жуды жуткие.* – Жуда – страх, тоска, беда (Даль; СРНГ. 1972. Вып. 9. С. 220–221).

*На духов день сгони всех баб, раздень их догола...* – Описание обряда опахивания заимствовано писателем из современной прессы. В его рабочей тетради 1902–1907 гг. сохранилась вклеенная газетная вырезка

о зафиксированном в то время обряде опахивания деревни голыми бабами с целью “огорождения от холеры” в Духов день в Тверской губернии (МиИ2012. С. 128).

...закидыши мы горькие... – Закидыш – закинутый щенок, котенок (Даль); “О человеке (обычно ребенке), оставленном без попечения, при-смотрим” (СРНГ. 1974. Вып. 10. С. 124).

## ЧА1

С. 496 (примеч.). *Нордкап* – мыс на норвежском острове Магерё, считался самой северной точкой Европы, разделяющей атлантические и арктические воды.

С. 510. *Хожалый* – рассыльный, служитель при полиции для разных поручений, полицейский.

С. 514. *Затмение будет кольцеобразное или полное?* – “Иногда луна покрывает собою весь диск солнца; происходит полное затмение. Иногда луна представляется черным кругом, который заслоняет только середину солнечного диска и окаймлен ярким, сверкающим кольцом; это – кольцеобразное затмение” (Клейн. С. 226, 228 – ил. 171).

## ЧА2

С. 542. *Впереди идет Маруся, по бокам – треугольником, как в картине Дорэ, остальные...* – Имеется в виду картина Густава Доре “Марсельеза” (1870). Весной или летом 1905 г. картина была воспроизведена на открытке, выпущенной большевистским издательством “Вперед”.

## НЕОПУБЛИКОВАННОЕ<sup>39</sup>

### В ПОЕЗДЕ

(С. 241)

Источник текста – черновой автограф. (1904 г.) Хранится: Архив Горького (ИМЛИ). Зн. Рав 1-5-1.

Впервые: Неделя. 1965. № 13. 21–27 марта. С. 6. Публ. В.Н. Чувакова.

Печатается по черновому автографу.

Датируется по бумаге и почерку.

---

<sup>39</sup> В раздел входят произведения, не опубликованные при жизни писателя.

## ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

(С. 246)

Источники текста:

*БАП* – беловой автограф с авторской правкой. 15 февраля 1904 г. Хранится: *РГАЛИ*. Ф. 11. Оп. 3. Ед. хр. 4.

*Весна* – редакция начала рассказа. Под заголовком: “Царь”. 15 февраля 1904 г. Подпись: Леонид Андреев (подпись и дата – факсимиле). Опубл.: *Весна*. 1908. № 1. С. 4.

Впервые – Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы. Курск, 1983. С. 111–130. Публ. Л.А. Иезуитовой.

Печатается по тексту *БАП*.

Замысел Андреева, связанный с библейским преданием о Навуходоносоре, вавилонском царе, который из-за своей гордыни был наказан Богом и “семь времен” пребывал в скотском состоянии: “⟨...⟩ отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него – как у птицы” (Дан 4: 30), – первоначально должен был быть воплощен в драматическую форму. В рабочей тетради писателя приблизительно в 1903–1904 гг. появляется план пьесы, под названием “Царь”:

### «Царь»

I акт. Суд царя над изменившею женою и рабом. Раб – высокий, узловатый, безобразно-прекрасный, олицетворение могучей и счастливой животности. Она: “я люблю тебя, царь, но поцелуй твои холодны”. Прекрасная, страстная, чистая. Царь: “подлежат смерти” – приближенные одобряют. Царь: “оставить безнаказанными” – одобряют. Он гневается: рабы. Они отвечают: “Ты – закон”. Царь обращается к [Обья(снение?)] пленным царям. Царь-старик, хитрый, злой, ненавистник жизни и живущего, нигилист, Другой – молчит. Все время молчит с тех пор, как взят в плен.

Обьяснение царицы с царем. “Дай я убью его (раба)”. Нет. “Тогда он опять возьмет меня”. Царь смотрит с любопытством. Страдает оттого, что ничего не чувствует.

II акт. Тревожные слухи о царе.

Разговор со стариком о смерти. Самум» (*Мир*2012. С. 118).

Однако замысел реализовался в форме рассказа “Из глубины веков”, датированного 17 февраля 1904 г.

Дата, скорее всего, имеет условный характер, так как 10..12 марта того же года Андреев пишет Горькому (ожидая его приезда в Москву 16 марта): “К этому времени я кончу рассказ о Навуходоносоре и послушаю, что ты о нем скажешь. Не хотелось бы пускаться в свет без твоего напутствия” (*ЛН*72. С. 204).

Поездка Горького в Москву не состоялась. 20..21 марта Андреев пишет ему: «Посылаю тебе рассказ. Он уже отдан мною в “Правду”, но,

окончивши, я увидел необходимость некоторых переделок. Как только прочтешь ты и прочтет Константин Петрович (Пятницкий. – *Сост.*), – пожалуйста, сейчас же пришли в Крым – Ялта, Елпатыевскому для меня. Нужно приготовить для майской книжки.

Если будет у тебя время, скажи поподробнее свое мнение. Если времени не будет, то хотя бы коротко, ибо это для меня необходимо. Кстати: стоит ли отдавать рассказ немцам для перевода? (...)

Заглавие рассказа будет другое» (ЛН72. С. 205).

11 апреля Андреев посылает Горькому телеграмму уже из Ялты: «Если получил мой рассказ, пришли сюда Елпатыевскому. Если нет, телеграфируй, боюсь потерян» (Там же. С. 208).

11 же апреля от Горького приходит краткая телеграмма: «Хорошо. Сообщи срок. Заглавие лишнее» (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 72).

Обязательства перед журналом вынуждают Андреева торопить Горького с отзывом, что отражено в его письме от 12..13 и 22 апреля: «А тороплюсь я с этим Навуходносором потому, что Кожевников (редактор журнала “Правда”. – *Сост.*), которому я его продал, торопит меня и пишет письма» (ЛН72. С. 208).

25 апреля 1904 г. Горький отзывается на “Царя” большим письмом: «(...) твой рассказ мне не понравился. Написан он чересчур “нарочито”, в нем куча лишних слов, они покрывают его налетом скуки, делают тяжелым и портят его внутреннюю красоту – красоту его смысла. Смысл же его – глубок и важен, гораздо более, чем ты, видимо, думаешь.

И его нужно сильно вычистить, сократить, отшлифовать, как бриллиант.

И – вот что: твой вавилонский сверхчеловек – не очень дерзок: в том, что он осмелился тепленького говнеца поесть – еще немного истинно-человеческого, тут только – “слишком человеческое” – как говорят иначе, свинское, зоологическое. Пробудить в себе зверя, скота, это всякий может, но вознести себя на крыльях гордости и отчаяния до богов, до небес, и в лицо богам бросить несколько вопросов – вот это – хорошая выходка!

Ты как бы хочешь оправдать скота – ну, стоит ли? Ведь этим все занимаются, друг мой. Но проще: по моему мнению, темой рассказа ты должен был поставить *испытание царем глубины рабства людей* – это тебе не совсем удалось, Леонид. Ты слишком много обратил внимания на царя, но – упустил из виду рабов. А ведь пока что мы, писатели русские, должны внушить нашему читателю не стремление быть царем – куда уж ему! – а хотя бы отвращение к рабству.

И нужно, друг мой, рабами заняться, им больше места уделять. Царь скучает не оттого, что ищет равенства с богами и – теряет веру в их бытие – это, если хочешь, хорошо – но оттого, что на земле всюду рабы, и он среди них одинок на земле.

Ты поймешь меня? И, разумеется, не обидишься? Не обижайся.

(...) рассказ – в том виде, как он есть у меня, – слаб. И говорю, в нем много “нарочитого”. Такую тему надо писать языком флюберовских легенд. Милый мой друг, – не торопись с этой вещью, умоляю!

Раньше осени “Правде” не давай, а за лето – перестрой его» (Горький. Письма. Т. 4. С. 76).

Вдогонку этому письму Горький сразу шлет следующее (от 26 апреля), желая укрепить Андреева в намерении продолжить работу над “Царем”: «Мне бы хотелось поговорить с тобой о рассказе раньше, чем ты его отдашь “Правде”, ведь – все равно! – летом они его не напечатают.

Задержи до меня, а? Видишь ли – я считаю эту тему очень важной и – что еще важнее – очень “твоей”» (Там же. С. 77–78).

В ответном письме (написанном в первой декаде мая) Андреев хотя и признает, что рассказ нуждается в стилистической правке, однако отстаивает собственное понимание его смысла: «Не согласен я с тобой кое в чем по существу: превращение царя в скота и обратно это не вульгарное *оправдывание* скотства, а, точнее, его *оправдание*, т.е. признание за скотством некоторой весьма даже своеобразной красоты и смысла. Разные бывают скоты, разные и герои, и в конечном предумышленном скотстве, пожалуй, больше гордости и свободы, чем в геройстве: герой может рассчитывать на сочувствие, если не современников, то потомства, а в случаях одинокого безвестного геройства его одобряют предки, которые сидят у него в душе и радуются. На что может рассчитывать “скот”?»

Потом ты говоришь, что я должен выдвинуть вперед рабов и меньше заниматься царем. На кой черт мне рабы? Мне царь нужен, мне нужен хоть и призрачный образ одинокого, свободного и смелого человека, который заглянул во все дыры мироздания, который отверг славу, могущество, мудрость во имя чего-то лучшего, имени чему я не знаю. Это не свобода, так как и свободу, он, в сущности, отверг – по крайней мере, внешнюю. Быть может, это безграничный произвол наглости, высшее утверждение своего “я” на своих собственных развалинах» (ЛН72. С. 212). Неудовлетворенный “тоном” рассказа, его чрезмерно “приподнятым пафосом”, писатель согласен с Горьким в том, что рассказ должен “отстояться”: “А Навуходносора в таком виде – насмарку. Может, я его и напишу вновь, может, и совсем заброшу – пусть его повалется” (Там же).

В ответном (от 20 мая) письме Горького полемика, однако, продолжается: «(...) это так: скоты бывают разные: и бык – скот, и лев, и свинья – скотина, но в свинье я ни в телескоп, ни в микроскоп никак не мог бы усмотреть “своеобразной красоты и смысла”. Ты же именно свинскому скотству апологию сочинил в письме своем. Сие – не важно. И в поведении свиньи никогда не может быть “больше гордости и свободы, чем в геройстве”, – это уж [так] факт!

Гордость – красива, свобода – тоже, свобода может быть ужасно красива, но – свинья и свобода – не соединимы, равно как не соединимы гордость и свинья. А ты своего царя именно в свинью превратил. Это – некрасиво, хотя, м.б., правдиво, и это к теме твоего рассказа не относится – пойми!

“Утверждение своего “я” на своих собственных развалинах” – ловко сказано, но опять же надо помнить вот о чем: это делалось (...) тогда,

когда человек побеждал в себе скота и на трупе его разгорался огонь духа свободы. Не забывай, что в человеке скота – больше, чем человека, и что сей факт очевиден, в апологии не нуждается. Не забывай также, что между скотом и зверем – есть большая разница.

Тебе нужен образ одинокого, свободного и смелого человека, который отверг бы мудрость, могущество и славу во имя чего-то лучшего – надо это лучшее искать где-то в другом месте, а не в превращении в свинью. Просто – обидно слушать тебя!» (*Горький. Письма*. Т. 4. С. 88). Горький противопоставляет андреевскому герою человека, ведающего о неизбежности своего конца и даже о неизбежности конца вселенной и, несмотря на это скорбное знание, продолжающего жить и творить: “Вот человеческий голос. И – поверь мне – настоящий человек, истинно свободный, человеческое свое достоинство всегда ценит и он всегда мужественно сознает конечность и свою и всего окружающего” (Там же. С. 89).

Вместе с письмом Горький посылает сам текст рассказа со своими пометами (см. ниже). Их характер в целом перекликается со смысловыми и стилистическими оценками в письмах.

В письме Е.Л. Бернштейну, написанном в июне 1904 г., Андреев сообщает: “Горькому рассказ этот не понравился: замысел он одобряет, но исполнение ругает, и я в значительной мере с ним согласен” (*ЛН* 72. С. 508). Бернштейн читал рассказ во время своего посещения Андреева в Москве 25 августа 1904 г. и сделал из него выписки, которые были им опубликованы вместе с воспоминаниями об Андрееве (Утро. Сб. 1. М.; Л., 1927. С. 248).

Андреев не сразу отказывается от намерения печатать рассказ, ничего не меняя в его основе. Об этом, в частности, свидетельствует анонс в ноябрьской книжке журнала “Правда” за 1904 г., извещающий, что в одной из первых книг 1905 г. будет опубликован рассказ “Царь”. Однако рассказ так и не появился в журнале.

Короткая версия рассказа появилась в 1908 г. в журнале “Весна”. Его редактор Н. Шебуев через поэта и сотрудника журнала Василия Каменского обратился к Андрееву с просьбой дать что-нибудь из своих вещей в первый номер “Весны”, органа “независимых писателей и художников”. Андреев дал Каменскому, как вспоминал последний, «начало большого рассказа “Царь”, четко написанного на почтовой клетчатой бумаге крупного формата» (*Каменский В.В. Путь энтузиаста*. Пермь, 1968. С. 81).

На такой же бумаге написана и первоначальная версия рассказа – “Из глубины веков”. Возможно, переработка была осуществлена уже осенью 1904 г. Андреев изменил название рассказа, снял первоначальное деление на главы. В новый, значительно сокращенный вариант первой части попала часть бывшей первой главы (здесь она сократилась до первых двух абзацев), существенно изменено начало бывшей второй главы, но почти без изменений дан отрывок со слов “Глубокой ночью...” до слов “с тех пор, как он умер”. Далее после пропуска трех больших абзацев снова почти без изменений идет отрывок со слов “Лучший

из людей” до слов “огромная, грозно красивая голова на гордо изогнутой шее”. Последняя фраза, которой оканчивается начало нового варианта рассказа (“Так в таинственном полете времен роднится со смертью жизнь”), в первоначальной редакции рассказа отсутствует. Дата на обоих вариантах одна и та же: 15 февраля 1904 года.

На публикацию в “Весне” отозвался критик Боровой: «“Царь” – пустьчок, написанный с обычной для самого талантливого из молодых писателей красочностью. “Царь” – это стихотворение в прозе, иллюстрирующее яркими образами из жизни пустыни то, как в таинственном полете времен роднится со смертью жизнь. (...) “Царь” является лишним подтверждением, что Леонид Андреев – талант, которого не признать нельзя» (Боровой [Якушев Д.П.]. Литературные очерки: Журнал “Весна”. “Царь” Леонида Андреева. Еще два слова о “Рассказе о семи повешенных” (...) // Голос правды. СПб., 1908. 17 сент. (№ 898)).

Параллельно Андреев продолжает надеяться на драматургическое воплощение замысла. Около 1905 г., в плане цикла произведений “Сказки [дьявола] бессмертного” упоминается и задуманная драма:

«Царь.

Личность – Екклесиаст + Навуходоносор. “Суета” и ужас непостижимой смерти. Жажда животности. Пустыня» (МИИ2012. С. 119).

Новым в этой помете является понятие “жажда животности”. Можно предположить, что обращение “на семь времен” всеильного царя в животное связано не только с наказанием свыше, но и с внутренним тяготением самого Навуходоносора к освобождению от екклесиастической “суеты сует” и “ужаса непостижимой смерти” – через утрату человеческого разума.

В очередном перечне “Что нужно написать” (от 22 сентября 1909 г.) уточняется жанр пьесы: “5. *Навуходоносор*, трагедия” (Там же. С. 142). Непосредственно здесь же развернут новый план произведения, в который введены существенные фабульные уточнения, по сравнению с первым (1903–1904):

«*Царь*, неограниченный, всемогущий. Вершина власти. Пирамида. Ужас смерти – жажда бессмертия. Сотни тысяч рабов гибнут у подножия, трепещут. Пирамида кончена. Торжество

I. Заканчивается пирамида. Рабы стенают и ветер свищет.

II. Вершина пирамиды на фоне синего неба. На вершину могут подняться только цари. Десяток пленных царей. Окидывает взором и видит: ничего не достигнуто, смерть не убита. Отчаяние, тоска, вопросы. Где бессмертие? Все умрет. Ограниченность. Он знает, но не все. Он знает вершины, не знает низа: быть скотом, рабом.

III. Колоннада, часть дворца, лунная тропическая ночь. Прносятся и исчезают придворные. Входит *безумный* царь. Садится на трон. Все в страхе трепещут. Входит царица, любимая. Ее привели, на нее одна надежда. “Возьми мое сердце”. “Выньте у нее сердце и принесите его сюда”. Мольба, тоска ее. Приносят сердце. “И это все, это любовь, вся жизнь, этот кусок мяса – бросьте его собакам”.

IV. Пустыня. Ночь. Говорит змея: как хорошо быть змеей, лежать в зное, жалить. Камень, песок говорит.

Голос: А как же быть человеку?

Свет факелов, потеряли царя» (Там же. С. 142–143).

Важно, что здесь уже отсутствуют две внешние мотивировки раннего плана: казнь царицы из-за ее измены с рабом (здесь ее убивают в порядке чисто умозрительного эксперимента) и зависть к молодости и непосредственности восприятия жизни раба (стимулирующая “жажду животности”, повлекшую последующую метаморфозу). Отметим, что второй план ближе к тексту рассказа 1904 г. “Из глубины веков”, где также отсутствует тема раба и ревности к нему.

Любопытно сообщение мемуариста Андреева: «Написав “рассказ о царе Навуходоносоре”, Л.Н. не был им удовлетворен, не встретил рассказ одобрения и среди друзей писателя. Но величественная идея, положенная в основу неудавшегося произведения, не покидала его, и он решил переделать рассказ в пьесу. (...) Передавая мне содержание и построение будущей пьесы, Л.Н. особым ударением остановился на том моменте, когда придворные в пышной обстановке ожидают выхода грозного и гордого владыки, а он, этот гордец, уже лишенный разума в наказание за гордость, должен поразить их своим видом:

– Я заставлю его выйти на четвереньках, как животное, и мычать по-ослиному... Но придворные должны понять это как новый каприз неограниченного властелина и приветствовать его безумие. (...)

Излагал он содержание пьесы не как третье лицо, а как участник мировой драмы, и я боялся, что вот-вот Андреев встанет и пройдет по ресторану на четвереньках, вместе с героем переживая и гордыню разума, и мрак безумия. Пьесу о Навуходоносоре он так и не написал, несмотря на то, что возвращался к этой теме спустя много лет” (*Алексеевский А.П.* Герцог Лоренцо: Из воспоминаний журналиста // Орловский объединенный гос. лит. музей И.С. Тургенева. Отд. рукописей. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 147. КП 5692оф. С. 47–48).

Характерно данное в интервью замечание Горького, видимо посвященного в планы писателя: «Вот у него есть чудесная вещь “Царь”, из которой он хочет сделать драму (“Навуходоносор”). Я бы ее так и оставил рассказом» (*Измайлов А.А.* У Горького на Капри // *БВед.* 1908. 8 июля (№ 10593). Веч. вып. С. 3).

Однако, судя по газетным сообщениям, Андреев серьезно намеревался закончить пьесу. Так, газета “Вечер” извещала своих читателей: «В близком будущем готовятся к печати два новых произведения Леонида Андреева: “Навуходоносор” и “Наша тюрьма”» ([*Б.л.*]. Литературное эхо // *Вечер.* СПб., 1908. 14 июля (№ 42). С. 3). После поездки Андреева в Москву к Вл.И. Немировичу-Данченко в начале августа хроника “Столичного утра” сообщала: «Л. Андреев в скором времени заканчивает свою историческую драму в новом стиле “Царь Навуходоносор”; пьеса пойдет в Художественном театре. 6 августа Л. Андреев был в Москве и вел переговоры с г. Немировичем-Данченко по поводу постановки своих новых пьес» ([*Б.л.*]. Театр и музыка. Художественный театр //

Столичное утро. М., 1907. 8 авг. (№ 59). С. 4). Другая газета писала, что «историческую драму “Царь Навуходоносор” Л. Андреев закончит к 5-му сентября. Третьего дня Л. Андреев вернулся из Москвы в Финляндию» ([Б.н.] *Новости искусства и литературы // ОбзорТ.* СПб., 1907. 11 авг. (№ 167). С. 9). 13 августа 1907 г. сам писатель называет Горькому, среди прочих произведений, над которыми он планирует работать, “Навуходоносора” – “писсой, и совершенно в новом виде!” (ЛН72. С. 295). Отвечая ему около 20 августа, Горький пишет: «“Навуходоносора” – мне жаль. Я думаю, ты испортишь его в пьесе. А чего не сможешь сам испортить, довершат режиссеры с актерами» (Горький. *Письма.* Т. 6. С. 76).

В интервью очередному корреспонденту Андреев повторяет, что «наметил целый ряд работ (...) рассказ “Агасфер” (...) и стилизованную историческую пьесу “Навуходоносор”». (Эс. Пе. [Поляков С.Л.] У Леонида Андреева // РС. 1907. 5 окт. (№ 228). С. 2). В ноябре и сам Андреев и Художественный театр все еще надеются – один написать и напечатать, другой – поставить драму. Редактор литературно-художественных альманахов “Шиповника” Б.К. Зайцев оповестил своих читателей: «Леонид Андреев обещал нам свою новую пьесу “Навуходоносор”» (Се Бе. Наши беседы. I. У Бориса Зайцева // Вечерняя заря. М. 1907. 19 нояб. (№ 375). С. 3). Сообщение из МХТ было тоже более или менее официальное: «Художественный театр. В будущем сезоне решено поставить “Юлиана Отступника” Ибсена, “Ревизора” Гоголя и “Царя Навуходоносора” Леонида Андреева» ([Б.н.] Москва // Жизнь-сцена. М., 1907. 21 нояб. (№ 1). С. 13).

27 августа 1914 г. он писал Вл.И. Немировичу-Данченко: «А теперь я иду на кладбище, где схоронены мои неродившиеся дети: “Революция”, “Мир и Война”, “Навуходоносор”, “Агасфер”, “Самсон” и кричу: вставай, ребята! Нас зовут» (Учен. зап. Тарт. ун-та. 1971. Вып. 266. Т. XVIII. С. 254).

#### ПОМЕТЫ А.М. ГОРЬКОГО НА БАП<sup>40</sup>

Стк 10. ...и у имени есть душа... – Буквы “и у и(мени)” подчеркнуты красным.

⟨л. I⟩ – На нижнем поле листа примечание (очевидно, к тексту гл. I): “<sup>+</sup>) Так ли это? Время украшает имена великих тысячами вымыслов, и, вероятно, Соломон был глупее, чем мы думаем о нем”.

Стк. 23–30. *Глубокою ночью ~ славный царь.* – Текст выделен с обеих сторон квадратными скобками (красным). Внутри текста подчеркнута: Глубокою ночью... ...тьма полуночи... ...и смотри долго, и смотри долго... ...родит из себя... ...побеленный луною...

<sup>40</sup> Пометы Горького производились красным, синим и простым карандашами, что, видимо, отражало степень их критичности. Примечания делались обычно черными чернилами.

Стк. 31–39. *Он был красив ~ и чувств.* – Текст отчеркнут красным на левом поле, здесь же примечание: “Не ясно”. Внутри текста красным подчеркнуто: ...красив и силен и ясен умом... ..свою темную (...) душу... Тогда он поразила ее смертью и над трупом ее воздвиг...

⟨л. 2⟩ – На нижнем поле листа примечание (простым карандашом): “+Лота(?)”

Стк. 66. ...*слушай долго, и слушай долго.* – Слева от текста помета простым карандашом (крестик).

Стк. 73. ...*о чьей-то смерти, о чьей-то смерти.* – Второе “чьей-то” помечено синим, в конце строки помета (два крестика).

Стк. 82. ...*когда луна побелит пустыню...* – “Побелит” подчеркнуто синим.

Стк. 85–86. ...*тьень бросят на голубой песок.* – “Голубой” подчеркнуто простым карандашом, на полях помета (отчерк).

Стк. 118–121. ...*надоело царю ~ холодный труп.* – Текст отчеркнут на полях синим.

Стк. 154 ...*они были похожи один на другого...* – Текст подчеркнут простым карандашом, на полях помета (крестик).

⟨л. 8⟩ – На нижнем поле помета простым карандашом (крестик).

Стк. 174. ...*безмолвным чертогам.* – Подчеркнуто синим бывшее здесь прежде слово “палатам”, которое Андреевым позже исправлено на “чертогам”.

Стк. 180. *На восьмой день...* – Синим зачеркнуто “И”, ранее начинавшее предложение.

Стк. 198. *Ничего не сказало ей сердце.* – Следовавший далее (и исключенный позднее Андреевым) текст: “Ты видал людей ~ шли ей навстречу” (см. *ОТ*, примеч. 36) – выделен с обеих сторон квадратными скобками (красным).

Стк. 277–278. ...*приветствуют они звонко скачущую смерть.* – “Скачущую” подчеркнуто красным.

Стк. 278–279. *Припадая к земле, ползет истерзанное безумие...* – Подчеркнуто простым карандашом.

⟨л. 14⟩ – На нижнем поле помета простым карандашом (отчерк и длинная линия).

Стк. 303. *И что-то страшное сказали ему...* – “Страшное” подчеркнуто красным.

Стк. 323–328. *Он ползал ~ необычно и зловеще.* – Абзац отчеркнут синим на левом поле; здесь же примечание: “Сомнительно!” Внутри абзаца подчеркнут синим текст: “не одна нога дрогнула”.

Стк. 335–337. *Свободен лишь тот, кто не желает свободы, и последним на земле дана великая радость, которой не знают первые.* – Фраза отчеркнута на левом поле красным со знаком вопроса.

Стк. 337–338. *И в безумном восторге безмерного освобождения...* – Текст подчеркнут синим.

Стк. 353. ...*раздраженные, с трудом хранили они бесстрастие...* – Текст подчеркнут синим.

Стк. 361–362. *...и с отвращением, с тоскою и злобой отвернулись...* – Текст подчеркнут синим. Далее в той же фразе подчеркнута “и рабы”.

Стк. 370. *...свирепая злоба...* – Подчеркнуто синим со знаком вопроса.

Стк. 387–389. *Но прокаженный был свободнее ~ его сон.* – Фраза отчеркнута на левом поле синим.

Стк. 394. – *Вон отсюда!* – Подчеркнуто синим.

Стк. 398. *...связь души...* – Подчеркнуто синим со знаком вопроса.

Стк. 410–411. *...царя извлекли солдаты...* – “Солдаты” зачеркнуто синим.

Стк. 421–425. *...в нем в тысячах ~ не нужны мудрецы*”. – Текст отчеркнут на левом поле синим.

Стк. 438–440. *Юноше же ломал ~ Отец?* – Напротив текста на левом поле помета – вопросительный знак синим.

Стк. 475–481. *Пусть они судят его ~ тяжело молчат.* – Напротив текста на левом поле помета – вопросительный знак красным.

Стк. 520–521. *...как скот, утративший личину человека.* – “Утративший” выделено красным.

Стк. 531–532. *...образ зверя и скота, увиденный ими однажды.* – “Увиденный” подчеркнуто красным.

Стк. 581. VIII (номер главы) – Ниже примечание: “А это – лишнее.

В конце”.

Стк. 610–611. *...бежала, согнувшись, высокая ночь и сдирала с неба его обманчивый голубой покров...* – В тексте подчеркнуты синим слова: “высокая”, “сдирала”, “обманчивый голубой покров”.

## СТАРУХИ

(С. 265)

Источник текста – черновой автограф. 12 августа 1905 г. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 3. Ед. хр. 5.

Впервые – Неделя. 1977. № 44. 1–7 авг. С. 7. Публ. Г. Сорокиной. Ил. В. Козлова.

Печатается по черновому автографу.

С. 265. *...видны были {...} часть высокой башни с огромными круглыми часами...* – Окружной суд помещался в Кремле, в здании московских судебных установлений (бывшее здание Сената). Поэтому, скорее всего, имеется в виду Спасская башня со знаменитыми курантами.

## НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

### 〈ДВЕ СЕСТРЫ〉

(С. 271)

Источник текста – черновой автограф. 13 апреля (1905 г.). Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 11. 13 л.

Публикуется впервые.

Год определяется по бумаге и почерку.

Рассказ упоминается в письме Андреева Г.И. Чулкову от октября 1906 г. Ранее Чулков просил у Андреева дать какой-либо новый рассказ для включения в редактируемый им альманах “Факелы”. Андреев по этому поводу пишет: «Окончив эти две работы (имеются в виду пьесы “Савва” и “Жизнь Человека”. – *Сост.*), жду родов жены, вслед за каковым снова сажусь писать – именно рассказ для Факелов. Так как Пятницкий настойчиво просит рассказ для сборника, и я хочу таковой ему дать, то вот о чем еще нужно знать Ваше мнение: есть у меня две темы для двух рассказов – какую Вы для себя выберете? Одна – “Иуда Искариот” – совершенно свободная фантазия на тему о предательстве, добре и зле, Христе и проч., другая “Две сестры”, нечто бессюжетное, на тему о злых и добрых людях, о войне, о бедности и богатстве, о любви к России. Что будет лучше, не знаю – интересно и то, и другое; какую тему Вы изберете, ту и буду писать раньше. Более своевременна – вторая; более факельна – первая» (*Письма Чулкову*. С. 13).

Судя по записи А.И. Андреевой (см. ее пометы к рукописи), Андреев собирался вернуться к этому сюжету. Так, в одной из его позднейших рабочих тетрадей сделана запись: “Что нужно написать. От 22 сентября 1909.

1. *Сестры* (туда и обратно) рассказ” (*МиИ2012*. С. 142).

### НАРОД (к революции)

(С. 280)

Источник текста – рукописный набросок. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 3. Ед. хр. б. 4 л.

Публикуется впервые.

Известный собиратель и мемуарист Ф.Ф. Фидлер, описывая свое посещение Андреева 10 июня 1905 г. на даче в Финляндии, отмечает: «〈...〉 он сообщил, что собирается написать рассказ “К оружию, граждане!” в котором будет призыв к войне, именно к войне народа с тиранией правительства. Эту вещь он намерен опубликовать за границей. Но

сейчас он не может взяться за столь тяжкую работу, поскольку его нервы еще не совсем в порядке: он сам очень страдал, когда писал “Красный смех”» (*Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Изд. подг. К. Азадовский. М., 2008. С. 403*).

Видимо, именно к этому времени относится данный набросок, близкий по тематике к вышеупомянутому замыслу.

Позднее Андреев захотел воплотить его в драматической форме, о чем свидетельствует запись в одной из его рабочих тетрадей, в очередном списке задуманных произведений, который относится ко второй половине 1907 г.:

“18. Революция. К оружию, граждане. [Пьеса] Представление”.

Запись является первой в ряду планируемой писателем драматургической тетралогии, замысел которой в целом не осуществился:

“19. Война. Представление.

20. Мир. Представление.

21. Царь-Голод. Представление” (*МиИ2012. С. 134*; подробнее о тетралогии см. там же, в подстрочном примечании).

В позднейшем перечне планируемых произведений (от 22 сентября 1909 г.) этот замысел упоминается также:

“2. Революция. Представление” (Там же. С. 142).

# УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

## ОБЩИЕ <sup>1</sup>

- Б.д. – без даты  
Б.п. – без подписи  
*незаверш. правка* – незавершенная правка  
*незач. вар.* – незачеркнутый вариант  
*неуст.* – неустановленное  
*ОТ* – основной текст  
*Сост.* – составитель  
*стк.* – строка

## АРХИВОХРАНИЛИЩА

ИРЛИ – Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукописный отдел (С.-Петербург).

РАЛ – Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Archive). Лидский университет (Великобритания).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

*Hoover* – Стэнфордский университет. Гуверовский институт (Стэнфорд, Калифорния, США). Коллекция Б.И. Николаевского (№ 88).

## ИСТОЧНИКИ

*Арабажин 1910* – *Арабажин К.И.* Леонид Андреев: Итоги творчества. СПб., 1910.

*БВед* – газета “Биржевые ведомости” (С.-Петербург).

*БиблА2а* – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. Вып. 2а: Аннотированный каталог собрания рецензий Славянской библиотеки Хельсинкского университета / Сост. М.В. Козьменко. М., 2002.

*ВЕ* – журнал “Вестник Европы” (С.-Петербург).

*Вересаев 1985* – *Вересаев В.В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1985.

*ВМЖ* – “Военно-медицинский журнал” (С.-Петербург).

*Горький. Письма* – *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997–.

*Горький ПСС-ХП* – *Горький М.* Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. М., 1968–1976.

---

<sup>1</sup> В перечень общих сокращений не входят стандартные сокращения, используемые в библиографических описаниях, и т.п.

- Зелинский* – Подробный орфографический словарь / Сост. В. Зелинский. 2-е изд. М., 1914.
- Зн – Андреев Л.Н.* [Сочинения]. СПб.: Т-во “Знание”. Т. 1–4.
- Иезуитова 1976 – Иезуитова Л.А.* Творчество Леонида Андреева. 1892–1906. Л., 1976.
- К* – газета “Курьер” (Москва).
- Клейн – Клейн Г.* Астрономические вечера. СПб., 1900.
- Книга о ЛА* – Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина, Андрея Белого. 2-е изд., доп. Б.; Пг; М., 1922.
- ЛАС* – Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения / Под ред. К.Д. Муратовой. М.; Л., 1960.
- ЛН72* – Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М., 1965. (Литературное наследство; Т. 72).
- Львов-Рогачевский 1914 – Львов-Рогачевский В.Л.* Две правды: Книга о Леониде Андрееве. СПб.: Прометей, 1914.
- МБ* – журнал “Мир божий” (Москва).
- МВед* – газета “Московские ведомости”.
- МиИ2000* – Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2000.
- МиИ2012* – Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2012. Вып. 2.
- НВ* – газета “Новое время” (С.-Петербург).
- ОбозрТ* – газета “Обозрение театров” (С.-Петербург).
- Обр* – журнал “Образование” (С.-Петербург).
- ОН* – газета “Одесские новости”.
- Письма Пятницкому* – Из писем Л. Андреева – К.П. Пятницкому (1904–1906) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. В.Н. Чувакова // Вопр. лит. 1971. № 8. С. 160–184.
- Письма Чулкову* – Письма Леонида Андреева / Предисл. и послесл. Георгия Чулкова. Л.: Колос, 1924.
- Пр – Андреев Л.Н.* Собр. соч.: [В 13 т.]. СПб.: Просвещение, 1911–1913.
- ПССМ – Андреев Л.Н.* Полн. собр. соч.: [В 8 т.]. СПб.: Изд-е т-ва А.Ф. Маркс, 1913.
- РБ* – журнал “Русское богатство” (С.-Петербург).
- РВед* – газета “Русские ведомости” (Москва).
- Рейснер 1909 – Рейснер М.* Л. Андреев и его социальная идеология: Опыт социологической критики. СПб., 1909.
- Реквием* – Реквием: Сб. памяти Леонида Андреева / Под ред. Д.Л. Андреева и В.Е. Беклемишевой; с предисл. В.И. Невского. М.: Федерация, 1930.
- РИ* – газета “Русский инвалид” (С.-Петербург).
- РМ* – журнал “Русская мысль” (Москва).
- РС* – газета “Русское слово” (Москва).
- СМ* – журнал “Современный мир” (С.-Петербург).
- СПбВед* – газета “Санкт-Петербургские ведомости”.
- СРНГ* – Словарь русских народных говоров. М.; Л. 1965– .
- ССХЛ – Андреев Л.Н.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1990–1996.
- ТиИ* – журнал “Театр и искусство” (С.-Петербург).
- УВ* – газета “Уфимские ведомости”.
- Ш* – Андреев Л.Н. Собр. соч. СПб.: Шиповник, 1909. Т. 5–7.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*

- Абрамов, актер 709  
Август *см. Гай Юлий Цезарь*  
*Октавиан*  
Авель, библия. 296  
Аврамов Р.П. 665, 702  
Аврелий *см. Брюсов В.Я.*  
Автократов П.М. 602  
Агафонов К.К. 595, 628  
Азагарова А.Я. 741  
Азадовский К.М. 572, 755  
Айвазов И.Г. <А.> 654  
Айхенвальд Ю.И. 620, 621, 654,  
674, 675, 734, 735  
Александрович Ю. [Потеря-  
хин А.П.] 673  
Алексеевский А.П. 750  
Алексинский Г.А. 576  
Амфитеатров А.В. 657, 658, 677  
Ан. 624, 625  
Андерсен Х.-К. 513, 743  
Андреев В.Л. 569, 570, 571, 614,  
665  
Андреев Д.Л. 665  
Андреев П.Н. 591, 592, 665, 667,  
701, 705  
Андреева Анна Ивановна 667, 705  
Андреева Анна Ильинична 271,  
754  
Андреева А.М. (Шура) 569, 571,  
647, 659, 660, 665  
Андреева А.Н. (мать) 554  
Андреева М.Ф. 576, 594, 640  
Андреева Р.Н. 684
- Аничков Е.В. 689, 699, 700, 718,  
719  
Антон Крайний *см. Гиппиус З.Н.*  
Апушкин В.А. 595  
Арабажин К.И. 577, 628, 676, 677,  
689, 740, 741, 756  
Арлазоров М.С. 679  
Аутлева З.А. 678  
Афонин Л.Н. 601, 666, 691, 695,  
700  
Ашешов Н.П. 617  
Ашкинази В.А. <Пэк> 575
- Бабичева Ю.В. 572  
Багдасарян И.С. 574  
Байрон Дж.-Г. 742  
Бальмонт К.Д. 635, 697  
Баранов И.П. 621, 622  
Барновский В. 706, 707  
Барский Б. 626  
Басаргин А. [Введенский А.И.]  
618, 619  
Батюшков Ф.Д. 624, 626, 627, 637,  
638, 699, 726–729  
Бачинский А.И. 687  
Беззубов В.И. 607  
Беклемишева В.Е. 757  
Белозеров А.А. 606  
Белорецкий Г.П. [Ларионов Г.П.]  
605  
Белостоцкий, актер 710  
Белоусов И.А. 652

\* В указателе использовано три вида скобок: в угловых дается псевдоним рядом с наст. именем; в квадратных – реальная фамилия человека; в круглых – дополнительное равнозначное реальное имя / фамилия.

- Белый А. [Бугаев Б.Н.] 578, 580, 623, 624, 627, 635, 638, 757  
 Белявский Ф.Н. 577, 580, 582, 620, 641, 643  
 Беранже Ж.-П. 697  
 Бернгэм [Бернгейм Э.] 743  
 Бернштейн Е.Л. 748  
 Бертолотти Н.Н. 684, 691  
 Беспристрастный 635  
 Бетховен Л. ван 590  
 Бёклин А. 622  
 Биела В. 742  
 Блан Л. 684  
 Блюх И.С. 609  
 Блок А.А. 616, 638, 639, 757  
 Блок И.Л. 664  
 Блок Л.Д. 638  
 Боборыкин П.Д. <Рутений> 616, 618, 627  
 Богданов А.В. 639, 650  
 Богданович А.И. 578  
 Богданович Н.М. 661–664, 668  
 Боева Г.Н. 574, 760  
 Бокль Г. 684  
 Болеславский Р.В. 710  
 Бомарше П. 582  
 Боривой [Якушев Д.П.] 749  
 Борисов П. 595  
 Боцяновский В.Ф. 580–582, 621, 624, 625, 635, 641, 689  
 Браге Т. 743  
 Брам О. 706  
 Бруно Дж. 504, 521, 533, 562, 564, 713, 735  
 Брусянин В.В. 577, 684, 685  
 Брут М.-Ю. 690  
 Брюсов В.Я. <Аврелий, Пентаур, И. Смирнов> 606, 621, 626, 633, 634, 637, 638, 687, 697, 713, 742  
 Будда (Бодхисатва) 505, 742  
 Булгаков М.А. 679  
 Булышева Е.В. 574, 760  
 Буренин В.П. 619, 620, 645, 646  
 Быстров В.Н. 573, 760  
 Быховский В.В. <Сторонний Наблюдалатель> 577, 578, 581  
 Вадим *см. Андреев В.Л.*  
 Валлентин Р. 704, 705  
 Вартанян В. 627, 674  
 Вас. Р. [Раппопорт В.А.] 707  
 Введенская В.М. 574, 760  
 Введенский А.И. *см. Басаргин А.*  
 Венгерова З.А.(З.В.) 712  
 Вересаев В.В. 569, 586, 588, 593, 594, 607, 608, 616, 617, 620, 627, 642, 652, 653, 660, 666, 671, 698, 716, 731, 756  
 Верещагин В.В. 618, 620  
 Верн Ж. 713  
 Ветринский Е. [Чешихин В.Е.] 617  
 Войтоловский Л.Н. 581, 689  
 Волжский *см. Глинка-Волжский А.С.*  
 Волков Н.Д. 679  
 Волохов, актер 710  
 В.П. 709  
 Врубель М.А. 622  
 Выходцев П.С. 605  
 Гай Кассий Лонгин 690  
 Гай Юлия Цезарь Октавиан (Август) 690  
 Гайдебуров В.П. 597  
 Галилей Г. 594  
 Галлей Э. 506, 742  
 Ганжулевич [Проскурина] Т.Я. 676  
 Гардин В.Р. 707, 711  
 Гарин-Михайловский Н.Г. 595, 605  
 Гаршин В.М. 578, 580, 617, 618, 620, 621, 624  
 Г-берг 646  
 Гейер 702  
 Гейне Г. 697  
 Гейссер Л. 684  
 Геккер Н.Л. 578, 581, 644, 645, 671, 685, 686  
 Гельрот М.В. 623, 624  
 Генералова Н.П. 760  
 Гераклитов М. 736, 737  
 Гёте И.-В. 697  
 Гиппиус З.Н. <Антон Крайний> 593, 671, 711, 712  
 Глаголин Ю. 654

- Глинка-Волжский А.С. [Глинка А.С.], <Волжский> 579, 580, 582, 650–653, 689  
 Гоголь Н.В. 751  
 Гойя Ф. 595  
 Гольдберг И.Г. см. *Исаак Г.*  
 Гольцев В.А. 593  
 Горнфельд А.Г. 657, 671, 724–726  
 Горький А.М. [Пешков А.М.] 251, 571, 572, 575–577, 584–592, 594, 607–611, 616, 626, 631, 638, 640, 642, 643, 649, 650, 652, 653, 664–666, 671, 681, 683, 684, 697–702, 705, 711, 712, 714, 716–718, 720, 722, 723, 726–728, 730, 736, 737, 739, 744–748, 750, 751, 757  
 Гофман В.В. <Чужой> 622, 688  
 Гра Ф. 642, 643  
 Гранитов [Туркин Н.В.], <Н.Т.> 620  
 Грифцов Б.А. 710  
 Грузинский С. 690  
 Губанов А.А. 709  
 Гусев М.М. 742  
 Гусев-Оренбургский С.И. 634, 731
- Даль В.И. 629, 743  
 Двинятина Т.М. 574  
 Деоша, актер 709  
 Джонсон И. [Иванов И.В.] 636, 689, 690  
 Диккенс Ч. 570  
 Дмитриева В.И. 652  
 Долгополов Л.К. 698, 700  
 Доре Г. 744  
 Достоевский Ф.М. 376, 739  
 Дурново П.Н. 672  
 Духовская Ю.И. 761  
 Дымов О. [Перельман И.И.] 591, 608, 622  
 Дьяк Шигони [Семенов П.В.], (Михаил, архим.) 656, 657  
 Дэвис Р.Д. 574, 760  
 Дюма А. 643
- Елец Ю.Л. 605
- Елпатьевский С.Я. 587, 649, 650, 746  
 Ермолай-Еразм 679
- Жураковский Е.Д. 710, 737, 738
- Заболотный В.С. 598  
 Загаров А.Л. 741  
 Зайцев Б.К. 580, 601, 751, 757  
 Зальтен Ф. 638  
 Замятин Е.И. 757  
 З.В. см. *Венгерова З.А.*  
 Звездич П. [Ротенштерн П.И.] 705  
 Зелинский В.В. 680, 757  
 Зернова Р.А. 572  
 Золотухин Д.Л. 658  
 Зуттнер, баронесса [Берта фон Зуттнер] 618
- Ибсен Г. 579, 673, 730, 731, 737, 751  
 Иванов В.И. 618, 623  
 Иванов-Разумник Р.В. 627, 738–740  
 Иванова Л.Н. 622, 667  
 Ивинский М.И. 653  
 Игнатов И.Н. 577, 578, 580, 581  
 Иезекииль, библ. 589  
 Иезуитова Л.А. 591, 605, 608, 622, 649, 650, 660, 684, 745, 757, 760  
 Иеснер Л. 707  
 Измайлов А.А. <Смоленский Н.> 579, 580, 581, 585, 620, 621, 674, 685, 699, 700, 705, 750  
 Ильев С.П. 661  
 Исаак Г. [Гольдберг И.Г.] 655, 656
- К** 708  
 Каин, библ. 295  
 Каляев И.П. 660  
 Каменский В.В. 748  
 Кант И. 739  
 Караваев Н. [Соколовский Л.Н.] 705  
 Кареев Н.И. 684  
 Карлейль Т. 684, 690, 691  
 Карно Л.И. 684, 690

- Качалов В.И. 678, 679  
 Каширин Г., актер 710  
 Келдыш В.А. 574, 660, 760  
 Кен Л.Н. 574, 667, 760  
 Кеннингем У. 684  
 Кине Э. 684, 690  
 Клейн Г. 697, 698, 743, 744, 757  
 Книппер-Чехова О.Л. 699, 700  
 Ковалевский М.М. 684  
 Коган П.С. 689  
 Кожевников В.А. 666, 667, 746  
 Козлов В. 753  
 Козьма Прутков [А.К. Толстой  
 и А-др М., В.М. и Ал-й М. Жем-  
 чужниковы] 713  
 Козьменко М.В. 572, 574, 576, 760  
 Колосов, актер 741  
 Колосов Н. 655  
 Колтоновская Е.А. 579, 580  
 Коляда Е.Г. 652, 653  
 Коммиссаржевская В.Ф. 703  
 Константинов В. [Василев-  
 ский И.М.] 741  
 Коперник Н. 231, 743  
 Кораблев В.Н. 581  
 Короленко В.Г. 671, 698  
 Корсаков С.С. 602  
 Корш Ф.Е. 743  
 Крандиевская Н.В. 585  
 Кранихфельд В.П. 572, 671, 672,  
 674, 686, 729, 730  
 Красавина, актриса 741  
 Краснов П.Н. 595–597, 600, 628  
 Кручковский Л. 679  
 Кубе О. 623  
 Кублицкая-Пиоттух А.А. 638, 639  
 Кугель А.Р. <Номо novus> 708, 711  
 Кулова Т.К. 660  
 Куприн А.И. 634, 671, 731  
 Курлов П.Г. 672  
 Куропаткин А.Н. 587, 614  
 Курочкин В.С. 697  
 Курсинский А.А. 581, 654
- Лависс Э. 684  
 Лавров П.Л. 690
- Ладыжников И.П. (I. Ladyshnikow)  
 665, 706  
 Ламартин А. 643  
 Ламкерт О.И. 703  
 Леблан 690  
 Леонидов О.Л. 678, 679  
 Лерхе Г.Г. 600  
 Лессинг Г. 706  
 Лик Дж. 743  
 Ловенгард А. 646  
 Лопатовский И.И. 629  
 Луначарский А.В. 572, 675–677,  
 687, 688, 714, 715, 717, 731  
 Лунгин П.С. 658  
 Львов В. [Рогачевский В.Л.],  
 <Львов-Рогачевский В.Л.> 579,  
 622, 627, 628, 646, 647, 658, 715–  
 718, 757  
 Ляцкий Е.А. 636, 721, 722  
 Людовик XVI 687
- Магдалина, еванг. 387, 648  
 Макеранец В.И. 679  
 Маковицкий Д.П. 658  
 Маянтович, актриса 741  
 Марганец Е. 625, 636  
 Мария *см. Андреева М.Ф.*  
 Маркс А.Ф. 667, 757  
 Маркс К. 539, 540  
 Мартынова А.Н. 629  
 Массин, актер 741  
 Матвеев И. 629  
 Маяковский В.В. 646  
 Мейерхольд В.Э. 678, 679, 707,  
 708, 710  
 Мережковский Д.С. 690, 713, 714  
 Метерлинк М. 737  
 М.З. 643  
 Мильтон Дж. 59, 629  
 Минаев Д.Д. 742  
 Минский Н.М. 578, 580, 581  
 Минье А. 684  
 Миролюбов В.С. 631, 650 (Вик-  
 тор), 652, 653, 666  
 Михаил, архим. *см. Дьяк Шигони*  
 Михайлов М.Л. 697  
 Михайлова М.В. 760

- Михайловский Б.В. 660  
 Михайловский Н.К. 684  
 Мович Л. [Маркович Л.З.] 624, 625  
 Моисей, библ. 641  
 Мопассан Г. де 617, 620  
 Мордвинов Н. 605  
 Морозов С.Т. 570, 666  
 Муморцев А.Н. 604, 605, 611  
 Муравьев Н.В. 662  
 Муратова К.Д. 701, 757
- Навуходоносор** 571, 745, 746, 747, 749–751  
 Надеждин Н. 617  
 Надеждина, актриса 709  
 Найденов С.А. 634  
 Налимов А.П. 722  
 Наумова А.И. 660  
 Неведомский М. [Миклашевский М.П.] 576, 579, 580, 587, 593, 594, 631, 666, 673, 674, 730–733  
 Невский В.И. 757  
 Незнамов, актер 709  
 Нейдгарт Д.Б. 672  
 Нейф В. 629  
 Немирович-Данченко Вас.И. 595, 597, 599, 601  
 Немирович-Данченко Вл.И. 702, 703, 750, 751  
 Николаевский Б.И. 756  
 Николай II, имп. [Романов Н.А.] 662  
 Николай Модестович *см. Богданович Н.М.*  
 Николай Чудотворец (Николай Угодник, Святитель Николай, Николай Мирликийский) 29, 30, 571, 577, 582  
 Ницше Ф. 497, 576, 647, 730  
 Н. Лнд *см. Рейхельт Н.Н.*  
 Н.М. *см. Минский Н.М.*  
 Н.Н. 710  
 Новиков-Прибой А.С. [Новиков А.С.] 605  
 Нодо Л. 623  
 Н.Т. *см. Гранитов*  
 Н.Ш. 710
- Ньютон И. 697
- Озерецкий А.И.** 602, 603  
 Олар А. 684  
 Ольгинский А. 595
- Павел Николаевич** *см. Андреев П.Н.*  
 Павленков, актер 710  
 Павлович М.Л. 661  
 Палеолог М. 661  
 Панкова Е.С. 692  
 Пентаур *см. Брюсов В.Я.*  
 Перовская С.Л. 716  
 Перский 702  
 Петров Г.С. <Старый Г.> 620, 621, 634, 635  
 Пешков А.М. *см. Горький А.М.*  
 Пешкова Е.П. 588  
 Пильский П.М. 673  
 Платон 711  
 Плеве В.К. 662  
 Плетнёв А. 621  
 По Э. 593  
 Полищук Л.Г. 658  
 Полонский В.В. 760  
 Попов Н. 617  
 Приходько И.С. 760  
 Протазанов Я.А. 678, 679  
 Пуришкевич В.М. 673  
 Пухов Ю.С. 570, 666  
 Пушкин А.С. 582, 622  
 Пшибышевский Ст. 593  
 Пятницкий К.П. 569–571, 576, 586, 593, 594, 631, 650, 664, 665, 667, 683, 698, 700–703, 746, 757
- Рамбо А.** 684  
 Раппопорт В.А. <Вас. Р.> 707  
 Рафаэль Санти 697  
 Редько А.Е. [Редько А.М. и Редько Е.И.] 626, 634, 653, 654, 687, 735, 736  
 Резникова Т.А. 761  
 Рейнгарт М. 706  
 Рейснер М.А. 578, 579, 626, 677, 757  
 Рейхельт Н.Н. <Н. Лнд> 711

- Репин И.Е. 616  
 Родзянко П.В. 600  
 Розанов В.В. 650–652  
 Ростан Э. 697  
 Ротчев А.Г. 742  
 Руже де Лиль К.-Ж. 642, 690  
 Рутений *см. Боборыкин П.Д.*
- Самсон, библ. 614, 629  
 Сарду В. 714  
 С.Б. 672  
 Светлов В.Я. 605  
 Святополк-Мирский Д.С. (Мирский Д.С.) 572  
 Се Бе 751  
 Северянин И. [Лотарев И.В.] 606  
 Семенов С.Т. 658  
 Серафимович А.С. 631, 652, 667  
 Сергей Александрович, вел. кн. [Романов С.А.] 660–662, 666  
 Сильверсван Б.П. 699, 700, 723, 724  
 Скиталец (Петров С.Г.) 569, 570, 586, 666  
 Скрипицын Г. 629  
 Славянова З.М. 709, 710  
 Смирнов А.А. *см. Треплев*  
 Смирнов И. *см. Брюсов В.Я.*  
 Смирнов-Треплев А.А. *см. Треплев*  
 Смоленский Н. *см. Измайлов А.А.*  
 Соболев Ю.В. 720, 721  
 Соболева Н.И. 601  
 Сократ 521, 711  
 Соловьев В.М. 616  
 Сологуб Ф.К. [Тетерников Ф.К.] 627, 738  
 Соломон, библ. 751  
 Сон Чжоу-Рак 679  
 Сорокина Г.В. 753  
 Соснов Як. [Соскин Я.Г.] 705  
 Сперанский В.Н. 689  
 Спиноза 697  
 Станиславский К.С. 703  
 Стародум [Стечкин Н.Я.] 619  
 Старый Воробей [Соляный П.М.] 710  
 Старый Г. *см. Петров Г.С.*
- Сторонний Наблюдатель *см. Быховский В.В.*  
 Страдивари А. 245  
 Страхов Ф.А. 592  
 Суворин А.С. 605, 643  
 Сулержицкий Л.А. 607  
 Сургучев И.Д. 678  
 Суругин С. [Этингер О.Г.] 699, 700, 722, 723  
 Суханов С.А. 602
- Табурно И.П. 605  
 Телешов Н.Д. 587, 678, 757  
 Толстая С.А. 658  
 Толстой Л.Н. 244, 591, 592, 607, 620, 624, 627, 649, 658, 671, 674, 680, 681, 711  
 Треплев (Смирнов А.А.) 625, 709, 710  
 Трепов Д.Ф. 660  
 Тройнов В.П. 701  
 Тургенев И.С. 742, 750  
 Туркин Н.В. *см. Гранитов*  
 Тютчев Ф.Ф. 595
- Уринов Я.И. 678
- Фатов Н.Н. 581  
 Федотов Г.П. 593  
 Феникс 688  
 Фигнер В.Н. 716  
 Фидлер Ф.Ф. 572, 622, 754, 755  
 Фрейдкина Л.М. 703
- Хачатурян Л.В. 574  
 Химичев Б.П. 679  
 Ходасевич В.Ф. 644, 733, 734
- Цинкович В.А. 704
- Ч 708  
 Чагин А.И. 760  
 Чаговец В.А. 619, 641, 645  
 Чехов А.П. 577, 580, 581, 587, 590, 673, 698, 739  
 Чешихин-Ветринский В.Е. *см. Ветринский Е.*

Чирва Ю.Н. 574, 700, 760  
Чириков Е.Н. 605, 634, 702, 707  
Читатель 579  
Чуваков В.Н. 660, 700, 702, 744,  
757  
Чужой *см. Гофман В.В.*  
Чуковский К.И. 623, 636, 637, 673,  
677, 742, 757  
Чулков Г.И. 570, 618, 639, 683, 684,  
703, 754, 757  
Чуносов М. *см. Ясинский И.И.*

Шайкевич М.О. 602–604  
Шалыгина О.В. 574, 760  
Шахновский И.К. 605  
Шебуев Н.Г. 707, 748  
Шевчук Ю.В. 574  
Шекспир В. 622, 714, 720  
Шепелев Л.Е. 678  
Шестов [Шварцман] Л.И. 627, 738  
Шиллер Ф. 622  
Шишкина Л.И. 574, 643, 670, 671,  
678, 760  
Шлиппе В.К. 680  
Шмаков, актер 741  
Шольц А.К. 665, 702  
Шопенгауэр А. 497, 498, 500, 503,  
687

Шорштейн, актер 709  
Шура *см. Андреева А.М.*

Щепкина-Куперник Т.Л. 606

Эр. А. 616  
Эразм, св. (Эразм Антиохийский)  
582  
Эрастов Г. 605, 607  
Эс. Пе. [Поляков С.Л.] 751

Юлий Цезарь 690

Яблоновский С. [Потресов С.В.]  
617, 618  
Якубович-Мельшин П.Ф. 606  
Ясенский С.Ю. 684, 690, 691  
Ясинский И.И. <Чуносов М.> 635

Adeit L. 665  
Aleksinski G.A. *см. Алексин-  
ский Г.А.*  
Davis R. *см. Дэвис Р.*  
Ladyshnikow I. *см. Ладыжни-  
ков И.П.*  
W 617

## УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ В ТОМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. АНДРЕЕВА

- Бездна 604, 625, 646, 647, 657  
Бен-Товит 95–97, 368, 574, 640–643  
Большой шлем 677  
Вор 81–94, 332–367, 574, 630–639, 641, 677  
В поезде 241–245, 574, 744  
В тумане 604, 625, 634, 637, 677  
Гостинец 654  
Грабеж с насилием 649  
Губернатор 117–162, 395–436, 558, 572, 574, 636, 643, 659–681, 712, 729  
Две сестры 271–279, 570, 574, 754  
Дни нашей жизни 571  
Елезар 636  
Жандарм *см. На станции*  
Жизнь Василия Фивейского 569, 580, 604, 625, 634, 639  
Жизнь Человека 573, 689, 710, 754  
Жили-были 579  
Закон и люди 572  
Из глубины веков (Царь) 246–264, 565, 566, 571, 574, 594, 666, 667, 745–753  
Иностранец 576  
Иуда Искарот 677, 682, 754  
К звездам 187–238, 465–564, 572–574, 643, 671, 691–744  
Красный смех 32–80, 290–331, 570, 572–574, 579, 583–629, 634, 639, 641, 719, 720, 734, 755  
Кусака 654  
Марсельеза 98–100, 369, 574, 640–647  
Мельком (В ожидании поезда: Из дачных мотивов) 640, 644  
Мои записки 604  
Московские трущобы 649  
Мысль 625, 626  
На станции (Жандарм) 640  
Народ (к революции) 280–282, 574, 754, 755  
Оригинальный человек 640, 657, 729  
Призраки 7–31, 285–289, 571–573, 575–582, 587, 622, 625, 634, 666  
Рассказ о семи повешенных 649  
Савва 671, 706, 729, 735, 736, 754  
Самсон в оковах 751  
Старухи 265–268, 574, 753  
Стена 633  
Так было (Двадцатый) 163–184, 437–464, 571, 572, 574, 654, 661, 671, 673, 682–691, 729  
Тьма 657, 673  
Христиане 101–116, 370–394, 574, 647–658, 677  
Царь *см. Из глубины веков*  
Царь Голод 573, 755  
Черные маски 579

# СОДЕРЖАНИЕ

	Осн. текст	Другие ред. и вар-ты	Ком- мен- тарин
<b>РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ</b>			
Призраки.....	7	285	575
Красный смех.....	32	290	583
Вор.....	81	332	630
Бен-Товит.....	95	368	640
Марсельеза.....	98	369	642
Христиане.....	101	370	647
Губернатор.....	117	395	659
Так было.....	163	437	682
<b>ПЬЕСА</b>			
К звездам.....	187	465	691
<b>НЕОПУБЛИКОВАННОЕ</b>			
В поезде.....	241		744
Из глубины веков.....	246	565	745
Старухи.....	265		753
<b>НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ</b>			
〈Две сестры〉.....	271		754
Народ (к революции).....	280		754
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ.....	283		
<b>КОММЕНТАРИИ</b>			
Леонид Андреев в 1904–1905 гг. ....	569		
Условные сокращения.....	756		
Указатель имен.....	758		
Указатель упоминаемых в томе произведений Л.Н. Ан- дреева.....	765		

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*В.Н. Быстров, Н.П. Генералова,  
Р.Д. Дэвис (зам. главного редактора),  
В.А. Келдыш (главный редактор),  
Л.Н. Кен, М.В. Козьменко (зам. главного редактора),  
В.В. Полонский, А.И. Чагин, Ю.Н. Чирва*

Основные тексты и другие редакции  
и варианты произведений подготовили,  
комментарии составили:

*Г.Н. Боева, Е.В. Булышева, В.Н. Быстров, В.М. Введенская,  
Р.Д. Дэвис, Л.А. Иезуитова, В.А. Келдыш,  
Л.Н. Кен, М.В. Козьменко, Ю.Н. Чирва,  
О.В. Шалыгина, Л.И. Шишкина*

Ответственные редакторы тома:

*Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко*

Рецензенты:

*М.В. Михайлова, И.С. Приходько*

*Печатается по решению  
Научно-издательского совета  
Российской академии наук*

**Леонид Николаевич  
АНДРЕЕВ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В ДВАДЦАТИ ТРЕХ ТОМАХ**

**Том четвертый**

*Редактор М.Л. Береснева  
Художник В.Ю. Яковлев  
Корректоры А.Б. Васильев, Р.В. Молоканова,  
Т.А. Печко, Т.И. Шеповалова*

Подписано к печати 05.12.17  
Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Таймс  
Печать офсетная  
Усл. печ. л. 48,6. Уч.-изд. л. 53,6  
Тип. зак. 1496

ФГУП Издательство «Наука»  
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90  
E-mail: [secret@naukaran.ru](mailto:secret@naukaran.ru)  
[www.naukaran.ru](http://www.naukaran.ru)

ФГУП Издательство «Наука»  
(Типография «Наука»)  
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN: 978-5-02-039204-5



9 785020 392045

